

ИЗДАТЕЛЬСТВО «КНИГА»

ПИСАТЕЛИ О ПИСАТЕЛЯХ

П.Е.ЩЕГОЛЕВ
ДУЭЛЬ И СМЕРТЬ ПУШКИНА

ИССЛЕДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

МОСКВА «КНИГА» 1987

ББК 84Р7-4
Щ 34

Текст печатается по изданию:

П. Е. Щеголев
ДУЭЛЬ И СМЕРТЬ ПУШКИНА
Исследование и материалы

Издание третье, просмотренное
и дополненное

Государственное издательство
Москва 1928 Ленинград

Вступительная статья и примечания
Я. Л. Левкович

Рецензент:
Р. В. Иезуитова,
кандидат филологических наук

Разработка серийного оформления
Б. В. Трофимова, А. Т. Троянкера,
Н. А. Ящука

Иллюстрации художника
Д. Ф. Терехова

Павел Елисеевич Щеголев

ДУЭЛЬ И СМЕРТЬ ПУШКИНА

Исследование и материалы

Зав. редакцией *Т. В. Громова.* Редактор *Э. Б. Кузьмина.* Художественный редактор *Н. В. Тихонова.* Технический редактор *А. З. Коган.* Корректор *Н. И. Скворцова.*

ИБ № 1375. Сдано в набор 11.06.86. Подписано в печать 11.10.86. Формат 60×90¹/₁₆. Бум. офсетная. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 36,0. Усл. кр.-отт. 36,5. Уч.-изд. л. 48,27. Тираж 200 000 экз., (2-й завод 100 001—150 000 экз). Изд. № 4132. Заказ № 1388. Цена в бумвиниле 3 р. 70 к., в коленкоре 3 р. 90 к.

Издательство «Книга», 125047, Москва, ул. Горького. 50.
Ярославский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 150014, Ярославль, ул. Свободы, 97.

Щ $\frac{4702010200-010}{002(01)-87}$ 75-87

П. Е. ЩЕГОЛЕВ И ЕГО КНИГА «ДУЭЛЬ И СМЕРТЬ ПУШКИНА»

Павел Елисеевич Щеголев (1877—1931) — выдающийся ученый, филолог и историк, человек широких интересов и разносторонних дарований. Он известен как исследователь, издатель, публицист, один из редакторов журнала «Былое» (1906—1907; 1917—1926) — первого периодического органа, посвященного истории освободительного движения в России.

Щеголев — человек яркой биографии. Выходец из крестьян, он был близок революционным кругам и несколько раз подвергался репрессиям со стороны правительства. В 1899 г. его арестовывают первый раз за организацию крупного студенческого выступления. Восьмимесячное заключение сменяет ссылка в Полтаву, затем ссылка в Вологду — вплоть до 1903 г. В 1909 г. Щеголева как издателя-редактора журнала «Былое» вновь привлекают к суду и приговаривают к трем годам тюремного заключения. В Петропавловской крепости, где он отбывал срок, Щеголев написал известную монографию об «утаенной любви» Пушкина[1]. Пушкинисты ждали от Щеголева обстоятельной биографии поэта. «Все думали тогда, — вспоминает Н. В. Измайлов, — что никто не мог написать ее лучше Павла Елисеевича <...>. Борис Львович Модзалевский не раз говорил, что „следовало бы еще раз посадить Щеголева на годик-другой в Петропавловскую крепость — и биография Пушкина была бы написана“»[2]. Вместо «обстоятельной биографии» поэта Щеголев написал другую книгу, тоже обстоятельную, — о его дуэли и смерти.

П. Е. Щеголев известен и как писатель — автор сценариев к популярным в свое время фильмам и написанной вместе с А. Н. Толстым сенсационной пьесы «Заговор императрицы». Вместе с А. Н. Толстым он сочинил известную мистификацию — «Дневник Вырубовой», который до сих пор принимается читателями за подлинный дневник фрейлины последней императрицы России.

Диапазон научных интересов Щеголева велик — от Древней Руси

---

[1] Щеголев П. Е. Из разысканий в области биографии и текста Пушкина // Пушкин и его современники. Спб., 1911. Вып. 14. С. 53—193. В работе утверждается, что предметом «утаенной» и долголетней любви Пушкина и адресатом ряда его стихотворений была Мария Раевская. Вывод опирался на внимательное изучение черновиков поэта: в посвящении «Полтавы» Щеголев обнаружил стих «Сибири хладная пустыня» и отнес его к Марии Раевской-Волконской.

[2] Измайлов Н. В. Воспоминания о Пушкинском доме (1918—1928) // Рус. лит. 1981. № 1. С. 102—103.

до начала XX в.[3] Среди массы его работ (их перечень насчитывает более 400 номеров) выделяются две темы, которые привлекали ученого всю жизнь: декабристы и Пушкин. Пушкиноведческие работы Щеголева Б. В. Томашевский справедливо считал «наиболее ценным и интересным»[4] из всего, что писалось о Пушкине в его время, не утратили они своего значения и в наши дни.

С именем Щеголева связаны поиски новой методологии в пушкиноведении. Его метод сводился к пересмотру всех источников, касающихся Пушкина, и к широкому привлечению черновых рукописей поэта. Черновые рукописи он признавал важнейшим орудием исследователя, искал в них ответа на спорные моменты биографии и творчества Пушкина.

В исследовательской индивидуальности Щеголева особенно ценно соединение пушкиниста и историка революционного движения. Это соединение вызвало особый интерес ученого к проблемам, связанным с политической биографией Пушкина: Пушкин и тайные общества, Пушкин и декабристы, Пушкин и Николай I. В серии статей о поэте и царе Щеголев стремился отделить «показную сторону от закулисной и выяснить истинные, настоящие взгляды Николая I на поэта»[5]. Документальное изучение отношений монарха и поэта помогло разрушить бытовавшие легенды о добром покровителе поэта царе и враждебном Бенкендорфе.

Щеголев был инициатором таких тем в пушкиноведении, которые сам ученый определил как «будни Пушкина»[6]. Его работы, основанные на изучении архива Болдинского имения и архива опеки над детьми и имуществом Пушкина, позволяют судить о сложном финансовом положении поэта, объеме и характере его материальных забот в последние годы жизни.

Раскрыты «будни Пушкина» и в заключительный, трагический период его жизни, которому посвящено капитальное исследование «Дуэль и смерть Пушкина». Талант биографа, широкая историческая и литературная эрудиция Щеголева, его исследовательское мастерство сделали эту книгу одним из лучших биографических трудов.

В биографической литературе о Пушкине книга Щеголева занимает особое место. Без ссылок на нее не обходится ни одна из работ, касающихся последних лет жизни поэта. На нее опираются, с ней полемизируют, спорят, извлекают из нее факты и документы. В то время, когда Щеголев работал над своей книгой, огромный материал, который давали исследователю свидетельства современников, не был

---

[3] О Щеголеве, кроме указанных выше воспоминаний Н. В. Измайлова, см.: Емельянов Ю. Н. Общественно-политическая и научная деятельность П. Е. Щеголева (1877—1931 гг.) // История и историки: Историогр. ежегодник, 1977. М., 1980. С. 260—284. Библиография работ П. Е. Щеголева/Сост. Ю. Емельянов // Там же. С. 432—452. Обстоятельный разбор основных работ П. Е. Щеголева был сделан В. Я. Брюсовым: см. Отзыв о книге П. Е. Щеголева [«Пушкин. Очерки». Спб., 1912] // Брюсов В. Я. Мой Пушкин. М.; Л., 1929. С. 119—128. См. также: Толстой А. Н. Павел Елисеевич Щеголев // Звезда. 1976. № 5. С. 181—182.

[4] Томашевский Б. В. Пушкиноведение // 50 лет Пушкинского дома. М.; Л., 1956. С. 61.

[5] Щеголев П. Е. Пушкин и Николай I // Из жизни и творчества Пушкина. 3-е изд., испр. и доп. М.; Л., 1931. С. 69.

[6] См.: Емельянов Ю. Н. Указ. соч. С. 282.



П.Е. Щеголев. Силуэт работы Е. С. Кругликовой.
Из собрания И. В. Щеголевой

систематизирован и подвергнут критическому и сопоставительному анализу. Не было предпринято и попыток разыскать материалы, хранящиеся в государственных архивах. Щеголеву, при содействии Академической комиссии по изданию сочинений Пушкина, за 15 лет тщательных поисков удалось собрать множество ценных документов и свидетельств, исходящих от участников событий и из государственных учреждений. Из собрания А. Ф. Онегина-Отто (в то время находившегося в Париже) были получены конспективные заметки Жуковского, воссоздающие остов всех дуэльных событий, черновые письма Жуковского к отцу Пушкина и к Бенкендорфу, написанные после смерти поэта, документы, связанные с «посмертным обыском» на квартире Пушкина.

Министерство иностранных дел предоставило Щеголеву копии писем Геккерна к голландским властям (тогда же перлюстрированных на почте), парижский профессор Андре Мазон познакомил его с архивом Дантеса, герцог Мекленбург-Стрелицкий передал ему письмо Вяземского к великому князю Михаилу Павловичу о дуэли Пушкина. От историка Кавалергардского полка Панчулидзева он получил данные о службе Дантеса. Среди документов, идущих от друзей поэта, следует отметить извлечения из дневника А. И. Тургенева. Наконец,

в книге собраны известия о смерти Пушкина, которые посылали из Петербурга в депешах иностранные послы своим правительствам. Была проведена также экспертиза анонимных писем, полученных Пушкиным 4 ноября 1836 г. После первого издания книги в 1916 г. (за ним сразу же, в 1917 г., последовало второе) казалось, что весь материал, относящийся к дуэли, обследован с исчерпывающей полнотой, все обстоятельства приобрели почти полную ясность, а не до конца выясненными остались только кой-какие подробности. Именно так рассматривал свою работу сам Щеголев. «Думается, — писал он в предисловии к первому изданию, — что после систематически веденных мною в различных направлениях розысков в будущем вряд ли можно будет разыскать много документального материала в дополнение к настоящему собранию» (см. с. 25 наст. изд.).

Книга Щеголева состоит из двух частей, названных автором «Исследование» и «Материалы». «Исследование» является первым в литературе монографическим этюдом, подводящим итоги всем опубликованным ранее и добытым вновь материалам о дуэли. Мастерство изложения придает исследованию силу художественного произведения. Шаг за шагом в увлекательном повествовании развертывается перед читателями история Дантеса, его приемного отца Геккерна, их характеристика, темная история их отношений, их поведение, приведшее поэта к необходимости выйти на смертный поединок.

Обширное собрание материалов, составляющих вторую часть книги, сопровождено вступительными очерками, где дается критический анализ этих материалов. Первым в этом ряду следует назвать письмо Жуковского к С. Л. Пушкину, написанное 15 февраля 1837 г. и напечатанное в посмертном томе «Современника». В научный оборот был введен первоначальный черновой текст письма, который более точно излагает события. Сравнительный анализ черновиков и печатного текста, виртуозно выполненный Щеголевым, позволяет следить, как менялся текст письма, как письмо превращалось в статью, приемлемую для подцензурной печати. Щеголев убедительно показал мемуарную ущербность печатного источника, который до его работы рассматривался как одно из наиболее точных и значительных свидетельств о последних минутах Пушкина.

Значительный интерес представляют документы и вводные к ним статьи, касающиеся забот Жуковского по посмертным делам Пушкина. Дореволюционное пушкиноведение чаще всего рисовало Николая I благодетелем Пушкина, начиная с известной беседы в Москве 26 сентября 1826 г. и до последней минуты жизни поэта. Скрытое недоброжелательство и недоверие к поэту монарх умело скрывал. Щедрые милости Николая семье Пушкина после смерти поэта приписывались его собственному почину. Щеголев установил, что вдохновителем царя был Жуковский, наметивший все царские распоряжения. Стало известно также: Жуковский хотел, чтобы «милости» государя сопровождались особым рескриптом, чтобы им, таким образом, было придано значение государственного национального дела. В этом ему было решительно отказано. Щедроты государя не выходили за рамки частной благотворительности. Царь творил добро семье Пушкина, но не во имя Пушкина.

Добытые Щеголевым документы впервые раскрыли обстоятельства так называемого «посмертного обыска» бумаг Пушкина. Сперва Николай разбор бумаг доверил Жуковскому (с тем, чтобы все

предосудительные бумаги были сожжены, письма возвращены писавшим, а казенные бумаги – по принадлежности), но уже через два дня Жуковский узнал, что все «предосудительные бумаги» перед сожжением должны быть доставлены для прочтения царю, а письма посторонних лиц – жандармскому генералу Дубельту, которому вместе с Жуковским было поручено рассматривать бумаги поэта[7].

Среди бумаг Жуковского, полученных Щеголевым, был и черновик письма его к Бенкендорфу, написанного после «посмертного обыска», когда через руки Жуковского прошли все письма Бенкендорфа к Пушкину. Жуковскому впервые открылась вся тяжесть положения поднадзорного поэта. Жуковский обвиняет Бенкендорфа (а вместе с ним и Николая I) в гибели Пушкина. А. Н. Веселовский, видевший это письмо и опубликовавший из него небольшой отрывок, считал его «свидетельством того, что Жуковский был способен на гражданский подвиг»[8].

Донесения иностранных дипломатов, которые публикует Щеголев, уже в первом издании книги выводят дуэль Пушкина за рамки чисто «семейственных отношений». Гибель поэта расценивается как национальная потеря, в депешах отмечается либерализм Пушкина, противоречия его с властью и аристократией, излагаются обстоятельства похорон поэта. Из донесений послов мы узнаем подробности, которых нет в воспоминаниях современников. Так, прусский посол Либерман пишет: «...многие корпорации просили нести останки умершего. Шел даже вопрос о том, чтобы отпрячь лошадей траурной колесницы и предоставить несение тела народу».

Большая часть «материалов» относится к Геккернам. Здесь публикуются письма Геккерна к Дантесу, переписка Геккерна с Е. И. Загряжской во время ноябрьского конфликта, его оправдательные письма к министру иностранных дел Нессельроде и своему правительству, письма к Жоржу Дантесу-Геккерну его приятелей после дуэли, воспоминания товарища Дантеса по полку, А. В. Трубецкого. Все это позволяет восстановить «версию Геккернов», которая заключается идиллическим изображением женитьбы Дантеса в его биографии, написанной Луи Метманом – внуком убийцы Пушкина. Сетуя на «злоречие», которое соединяло в светских салонах имена Дантеса и Натальи Николаевны, Луи Метман пишет: «В самом деле, иное чувство, кроме чувства восхищения, которое могла внушить изумительная красота госпожи Пушкиной, заставляло его посещать дом, где он познакомился со старшей сестрой, Екатериной Гончаровой, возвышенный ум и привлекательная внешность которой увлекли его» и дальше: «После свадьбы отношения между обоими домами остались корректными, хотя и холодными». Мы видим, что Жорж Дантес делал все возможное, чтобы обелить себя перед лицом потомства.

---

[7] Цявловский М. А. «Посмертный обыск» у Пушкина. // Цявловский М. А. Статьи о Пушкине. М., 1962. С. 276–356.

[8] Веселовский А. Н. Поэзия чувства и сердечного воображения. Спб., 1904. С. 365.

Свою задачу в первом издании книги Щеголев сформулировал как «попытку прагматического изложения истории столкновения Пушкина с Дантесом». Отбросив дела материальные, журнальные, отношение к императору, к правительству, к высшему обществу, он сосредоточил свое внимание на семейных делах Пушкина. Обилием новых документов, обстоятельностью и почти художественной манерой изложения книга убедительно рисовала драму ревности. В драму ревности вписывалась характеристика жены поэта как пустой светской дамы, далекой от интересов и дел мужа, бросившей детей на попечение своей сестры Александрины и занятой только собой и своими успехами в свете.

Третье издание книги вышло уже после революции, в 1928 г., когда новые материалы и новые возможности их разработки, созданные освобождением от цензурных и условных пут, побудили Щеголева к пересмотру истории дуэли. Главным мотивом для пересмотра событий стало новое, предложенное им толкование анонимного пасквиля. Раньше он видел в нем только насмешку над мужем-рогоносцем, теперь открылось второе дно пасквиля — составители его прочили Пушкину судьбу «величавого рогоносца» Д. Л. Нарышкина — мужа многолетней любовницы Александра I. В рамки «семейственной истории» события дуэли теперь не укладывались. В нее вошли отношения уже не поэта, а камер-юнкера и мужа первой красавицы столицы с двором и с правительством.

Концепция дуэли, предложенная Щеголевым, долгое время была незыблемой. Казалось, что персонажи драмы обрели устойчивые характеристики, обстоятельства определены, движение сюжета разгадано. Концепция стала колебаться с появлением новых документальных свидетельств. Предсказание Щеголева, что в «будущем вряд ли можно будет разыскать много документальных материалов в дополнение к настоящему собранию», не сбылось. Важный для истории дуэли документ нашел он сам вскоре после выхода книги. Это — запись в камер-фурьерском журнале об аудиенции, которая была дана Пушкину царем 23 ноября 1836 г. — через два дня после того, как Пушкин написал Бенкендорфу (конечно же, для передачи царю) о пасквиле и о событиях, происшедших в его доме. Известно было, что, умирая, Пушкин просил у царя прощения за нарушенное слово. Запись об аудиенции, казалось, легко создавала цепь событий: письмо к Бенкендорфу 21 ноября, вызов во дворец, беседа с царем 23 ноября, обещание, данное царю, ничего не предпринимать без его ведома и просьба о прощении. Так представлялись события до 1972 г., когда был обнаружен и опубликован архив секретаря Бенкендорфа П. И. Миллера[9]. У Миллера хранился подлинник письма Пушкина к Бенкендорфу. Из пометы на автографе стало очевидным, что письмо это не было отправлено по назначению и попало в руки Бенкендорфа только после смерти поэта — 11 февраля. Логически стройная цепь распалась. Пришлось по-новому располагать звенья. Свидание с царем состоялось, но начальным звеном было не письмо к Бенкендорфу, а письмо к Геккерну; Пушкин написал его в тот же день, 21 ноября, и в тот же день, 21 ноября, прочитал его В. А. Соллогубу. Встревоженный Соллогуб сразу же обратился к Жуковскому, а Жуковский,

[9] См.: Эйдельман Н. Я. Десять автографов Пушкина из архива П. И. Миллера // Зап. отд. рукописей / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. 1972. Вып. 33. С. 280—320.

стараясь избежать беды, — к царю. Выстроилась новая цепь фактов: письмо к Геккерну — Соллогуб — Жуковский — царь — аудиенция.

Щеголев был уверен, что знает, о чем разговаривали поэт и царь — в письме Пушкина к Бенкендорфу была заявлена не только тема беседы, но и ее детали. Находка в архиве Миллера привела к тому, что знание сменилось сомнением. Пушкин, конечно, должен был сказать царю о своем вызове и об анонимном пасквиле, который был причиной вызова. По Щеголеву — царь знал содержание пасквиля и может быть видел его. Но в 1962 г. Э. Герштейн опубликовала переписку императрицы с ее близкой приятельницей С. А. Бобринской. Из этой переписки мы видим, что полное содержание анонимного письма императорская чета узнала только после смерти Пушкина. 4 февраля императрица пишет Бобринской: «Я хотела бы уже знать, что они уехали, отец и сын (Геккерны). Я знаю теперь все анонимное письмо, гнусное, и все же частично верное»[10]. Современные исследователи полагают, что имя Геккерна на аудиенции 23 ноября не было названо Пушкиным — обвинение без доказательств было бы несовместимо с правилами чести[11]. Однако в пылу полемики со Щеголевым отводится и предложенное им истолкование диплома «по царственной линии», т. е. как намека на возможную связь жены поэта с царем или на увлечение царя Н. Н. Пушкиной[12]. Нам кажется, что Щеголев прав — составители пасквиля присуждали Пушкину не только звание историографа ордена рогоносцев, но и возводили его в ранг заместителя председателя ордена — Нарышкина. После смерти Александра I место «величавого рогоносца» пустовало.

Поправку в изложение Щеголева внесли опубликованные М. А. Цявловским письма Дантеса к Геккерну от января и февраля 1836 г., когда посланник уезжал на время из Петербурга. Щеголев считал, что Дантес был влюблен в Н. Н. Пушкину два года и недоумевал, как мог поэт терпеть двухлетний роман своей жены с «котильонным принцем» (так называла Дантеса Ахматова). Уверенность ему придавали слова Пушкина в том последнем письме к Геккерну, которое вызвало картель. «Я хорошо знал, — писал Пушкин, — что красивая внешность, несчастная страсть и двухлетнее постоянство в конце

---

[10] Герштейн Э. Вокруг гибели Пушкина: По новым материалам // Новый мир. 1962. № 2. С. 211—226. М. И. Яшин попытался отвести точку зрения Герштейн и отнес слова императрицы к другому анонимному письму, якобы полученному Пушкиным перед дуэлью (Яшин М. И. Хроника преддуэльных дней // Звезда. 1963. № 9. С. 166). После его статьи Герштейн изменила свое толкование записки императрицы и отнесла ее сообщение к анонимному письму, полученному Жуковским 1 февраля 1837 г. (письмо см. наст. изд., с. 194—195) (Герштейн Э. Г. Судьба Лермонтова. М., 1964. С. 58—59). И Яшин и Герштейн исходят из того, что Пушкин 21 ноября отправил Бенкендорфу письмо, а Виельгорский передал в III отделение «диплом», присланный на его адрес, до 10 ноября. Нам представляется, что Виельгорский мог сделать это только после смерти Пушкина. Вмешивать жандармов в столь интимное дело противоречило бы правилам чести. «На его дружбу к тебе и на его скромность можешь положиться», — писал Жуковский Пушкину 10 ноября в ответ на опасения, что хотят в «его дело замешать правительство» (*Акад.* Т. 16, 184 — список сокращений см. в конце книги, с. 453).

[11] Эйдельман Н. Я. Указ. соч. С. 312; Абрамович С. Л. Пушкин в 1836 году: Предыстория последней дуэли. Л., 1984. С. 162.

[12] Раевский Н. А. Портреты заговорили. 2-е изд. Алма-Ата, 1976. С. 350, 369—370; *Абрамович.* С. 95—98.

концов производят некоторое впечатление на сердце молодой женщины». Пушкин ошибался — «двухлетнего постоянства» и «несчастной страсти» не было. Письма Дантеса дали возможность А. Ахматовой отвести легенду о «двухлетнем постоянстве». 15 января 1836 г. Дантес сообщает посланнику как новость, что он влюблен в женщину, чей муж «отвратительно ревнив», а в ноябре, после вынужденного сватовства к Екатерине Гончаровой, в разговоре с В. А. Соллогубом он уже называет Наталью Николаевну «кривлякой». «Великая страсть» не длилась и года. Это подтверждает и наблюдательная свидетельница событий Д. Ф. Фикельмон. В ее дневнике, частично опубликованном в 1959 г.[13], о Дантесе читаем: «Он был влюблен в течение года, как это бывает позволительно всякому молодому человеку...». Ошибку Пушкина Ахматова объясняет так: «Легенда о многолетней возвышенной любви Дантеса идет от самой Натальи Николаевны — это она рассказывала мужу в подробностях о своих светских успехах и жаловалась Дантесу на ревность Пушкина»[14].

Значительной для истории дуэли была «Тагильская находка»[15]. В предисловии к третьему изданию своей книги, называя документы, которые могут быть обнаружены в дальнейшем, Щеголев упоминает и «письма весьма осведомленных в деле Пушкина Карамзиных — вдовы историка и ее дочерей к Андрею Николаевичу Карамзину, находившемуся в то время в Париже». Эти письма были найдены в 1954 г. Щеголев в своем исследовании пользовался ответными письмами Ан. Н. Карамзина, в которых можно было найти отблески событий, происходящих в Петербурге. Письма его родных насыщены фактами и делают нас свидетелями мучительной и долгой драмы, окончившейся гибелью поэта. Мы видим, что ближайшие друзья поэта, на глазах которых разворачивались события, не понимали их смысла. Андрей Карамзин не подозревал, что его родные в известной мере тоже были среди тех, кто вел драму к развязке, — дом Карамзиных был постоянным местом встреч всех участников драмы, а каждая встреча приближала развязку. Легко раздражаясь, отзываясь на

---

[13] Флоровский А. В. Пушкин на страницах дневника графини Д. Ф. Фикельмон // Slavia. 1959. Roč. 28. Seč. 4. Русский перевод опубликован Н. В. Измайловым. См. его: Пушкин в дневнике графини Д. Ф. Фикельмон // *Временник ПК.* 1962. М.; Л., 1963. С. 32—37. Полную сводку всех публикаций отрывков из дневника Д. Ф. Фикельмон см.: *П. в восп. 1974.* Т. 2. С. 417; *П. в восп. 1985.* Т. 2. С. 455.

[14] Ахматова А. А. Гибель Пушкина // Ахматова А. А. О Пушкине: Ст. и заметки. Л., 1977. С. 115. Ахматова обрушивает на жену поэта всю горечь за его гибель. Она пишет запальчиво, резко и часто пристрастно. Ее захлестывает гнев против всех, кто был рядом с Пушкиным и не спас его. Все семейство Карамзиных для нее дантесовская «веселая шайка», Наталья Николаевна — «агентка» Геккерена. Беспощадно относится она и к Александрине — ей ставится в упрек все, что казалось бы естественным для молодой девушки — желание повеселиться и иметь новые наряды. Не проверив дошедших до нее сведений, она сообщает, что уже после замужества Александрины, в имении ее мужа барона фон Фризенгофа под Веной, Дантес встретился с Натальей Николаевной. Ахматова ссылается на якобы существующий дневник А. Н. Гончаровой-Фризенгоф. Этот дневник неизвестен.

[15] См.: Баташев Н. С. Ценная находка: Новые материалы о Пушкине // Урал. рабочий. Свердловск. 1954. 25 апр. Полную публикацию писем см.: Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 годов. М.; Л., 1967 (далее — *Карамзины*).

каждую мелочь, Пушкин находился в подавленном состоянии духа и много страдал. Поведение поэта, попавшего в искусно расставленные искушенным дипломатом сети, выламывалось из рамок светских приличий и вызывало осуждение. В день дуэли Пушкина С. Н. Карамзина пишет: «Дядюшка Вяземский утверждает, что он закрывает свое лицо и отвращает его от дома Пушкиных»[16].

Еще один массив новых документов — письма жены поэта к брату Дмитрию. Наконец среди голосов участников событий последних лет жизни Пушкина мы услышали голос его жены, и оказалось, что ставший привычным облик этой женщины поколебался. Щеголев нарисовал в своей книге яркий портрет Н. Н. Пушкиной. Жену поэта он не пощадил. Для него она — виновница гибели национального гения, и через призму негодования он смотрит на документы, которые могут помочь составить представление о жене поэта. Рисуя ее облик, он опирается на воспоминания современников и на письма самого Пушкина к ней. Но воспоминания современников писались после смерти Пушкина, когда причастность к гибели мужа невольно влияла и на характеристику, которую они ей давали. Пристрастно читает Щеголев и письма Пушкина к ней. Для него они — свидетельство «скудости ее духовной природы» и склонности к «светски-любовному романтизму». Он проходит мимо пушкинских слов «а душу твою я люблю больше твоего лица» и не замечает, что письма к жене, вытянутые в хронологическую цепочку, можно рассматривать как своеобразный дневник Пушкина. Они — подробные отчеты о прошедших днях и о событиях того дня, когда пишется письмо. Записи в дневнике и куски писем часто совпадают и дополняют друг друга. В письмах и в дневнике одинаково отражены события общественной жизни и светские пересуды, новости о друзьях и знакомых. В письмах, как и в дневнике, мы находим обличительные, негодующие высказывания об императоре и дворе. Письма к брату Дмитрию поколебали устойчивые представления о жене поэта как о пустой светской красавице, далекой от интересов и забот мужа, и раскрыли новые, неожиданные стороны ее характера: душевную щедрость, отзывчивость и одновременно практичность. Мы узнаем, что Наталья Николаевна выполняет деловые поручения мужа, использует светские связи, чтобы помочь брату в тяжбе с купцом Ушаковым. Основная тема писем к брату — денежные нехватки — определяется его положением главы семьи Гончаровых. Естественно, что письма к мужу раскрыли бы совсем другие стороны ее характера, суждения о свете и светских связях, отношение к тем советам и предостережениям, которыми наполнены письма Пушкина[17]. Но Щеголев ошибался, когда писал, что письма ее находятся в Румянцевском музее. Надежда ученого не сбылась — этих писем там нет и не было[18].

На основе писем к брату создается новый облик жены поэта. Но теперь исследователи впадают в другую крайность, видят в ней прежде всего заботливую жену и мать, забывая, что она была украшением петербургских балов и что Пушкин гордился этим. «Гуляй, женка, только не разгуливайся и меня не забывай», — просил

---

[16] *Карамзины.* С. 69.

[17] Подробно см. мою статью: Пушкин А. С. Письма к жене. Л., 1986. С. 105—106.

[18] См.: Житомирская С. В. К истории писем Н. Н. Пушкиной // *Прометей.* 1971. Т. 8. С. 148—165.

жену Пушкин и радовался, что она «блистает» в свете, «как прилично» в ее «лета» и с ее «красотой».

Говоря об облике жены поэта, мы вступаем в сложную область семейных отношений Пушкина. Наталья Николаевна старалась быть и была хорошей женой — но лишь до катастрофы. Перед женитьбой Пушкин писал будущей теще: «Только привычка и длительная близость могли бы помочь мне заслужить расположение Вашей дочери: я могу надеяться возбудить со временем ее привязанность, но ничем не могу ей понравиться; если она согласится отдать мне свою руку, я увижу в этом лишь доказательство спокойного безразличия ее сердца» (*Акад.* Т. 14. 404).

Пушкин предвидел свою участь: появилась «привычка», была «привязанность», а «спокойное безразличие сердца» нарушил Дантес.

Облик жены поэта, созданный Щеголевым, при всей резкости, противостоит тому стремлению к сентиментальной идеализации, которая проникает в исследовательскую и художественную литературу последних лет, вносит коррективы в изображение семейной жизни Пушкина.

В том же архиве Гончаровых находились и письма Александры и Екатерины Гончаровых брату Дмитрию, писавшиеся после переезда их в Петербург. Нам открылись характеры сестер, их чаяния, надежды, занятия, стал яснее очерчен облик домашнего очага Пушкина и членов его семьи. Письма Александрины Гончаровой вызвали полемику со Щеголевым. М. И. Яшин, публикуя впервые несколько ее писем[19], задался целью опровергнуть мнение современников и биографов, что она была «добрым гением» Пушкина. Против Александрины выдвигается то же самое обвинение, которое Щеголев выдвигал против Натальи Николаевны, — увлечение светской жизнью. Действительно, она пишет брату о балах и кавалькадах, о своем желании выйти замуж, просит денег и выражает сожаление об испорченной чернилами кацавейке «из самой красивой материи небесно-голубого цвета», но все эти желания естественны для 24-летней девушки. При этом ее письма остроумны, ироничны, даже язвительны, т. е. свидетельствуют о незаурядном уме, а незаурядный ум помогал ей трезво оценивать происходящие события. Недаром в конспективных заметках Жуковского не раз упоминаются наблюдения «Александрины».

Дошло до нас и свидетельство самой Александрины Гончаровой о дуэльных событиях. По просьбе дочери Н. Н. Пушкиной от второго брака, А. П. Араповой, муж А. Н. Гончаровой барон Фризенгоф записал ее воспоминания[20]. Анализ этого документа позволил достаточно точно разместить во времени отдельные эпизоды дуэльных событий[21].

---

[19] Яшин М. Пушкин и Гончаровы: По неизвест. эпистолярным материалам // Звезда. 1964. № 8. С. 169—189. Публикацию всех писем Александры Гончаровой см.: Ободовская И. М., Дементьев М. А. Вокруг Пушкина: Неизвест. письма Н. Н. Пушкиной и ее сестер Е. Н. и А. Н. Гончаровых. 2-е изд., доп. М., 1978. С. 183—258; Ободовская И. М., Дементьев М. А. После смерти Пушкина: Неизвест. письма. М., 1980. С. 200—246. Полемику с Яшиным см.: Левкович Я. Л. Новые материалы для биографии Пушкина, опубликованные в 1963—1966 годах // Пушкин: Исслед. и материалы. 1967. Т. 5. С. 370—372.

[20] Гроссман Л. Цех пера. М., 1930. С. 264—278.

[21] См.: *Абрамович.* С. 62—65.

Щеголев пытался добыть в архивах Нидерландов письмо Николая I своему шурину принцу Вильгельму Оранскому, отправленное со специальным курьером, в котором сообщались обстоятельства смерти Пушкина. Письмо это так и осталось в недрах голландских архивов. Но в архиве Зимнего дворца Н. Я. Эйдельман нашел несколько писем Вильгельма Оранского, в том числе и ответ на это письмо. По ответу можно судить, о чем писал Николай I шурину. Из писем Оранского следует, что дуэль Пушкина была лишь поводом для того, чтобы удалить дипломата, впавшего уже в немилость.

Мы упомянули только те документальные находки, которые влияли на общую концепцию дуэли. В действительности их значительно больше. Последний период жизни Пушкина наиболее обилен новыми документами. Безвременная, трагическая смерть гения всегда привлекает внимание, особенно если эта смерть была насильственной или предполагает «загадочные» обстоятельства. Вспомним, как обширна литература и сколько существует гипотез вокруг смерти Моцарта. А там, где возникает повышенный интерес, там больше целенаправленных поисков, там скорее возможны новые находки и новые гипотезы.

Когда Щеголев начал работать над своей книгой, последние месяцы жизни Пушкина не подвергались еще монографической обработке. За годы, прошедшие после выхода его книги, о дуэли Пушкина писали много. Писали Б. В. Казанский, Л. П. Гроссман, М. И. Яшин, А. А. Ахматова и другие. Недавно вышла книга С. Л. Абрамович «Пушкин в 1836 году». В историю дуэли были внесены поправки и дополнения. Располагая события во времени, Щеголев пользовался выписками из приказов по полку, которые сделал для него Панчулидзев — составитель истории полка. В приказах отмечались назначения офицеров на дежурства. Щеголев, а за ним и другие исследователи дни назначения на дежурства принимали за дни дежурства (которые в действительности были на следующий день). Обратившись вновь к приказам, Яшин установил правильные даты. Известно, что в день, когда Пушкин послал свой картель Дантесу, тот был на дежурстве. Щеголев считал, что это было 5-го; Яшин уточнил — не 5-го, а 4-го, т. е. Пушкин послал вызов в тот же день, когда получил подметное письмо (4-го, а не 5 ноября, как было принято считать). Это убедительно. Зная характер Пушкина, мы так и должны полагать. Взрыв негодования и вызов сразу, не на другой день.

Щеголев знал, кому и сколько было послано анонимных писем для вручения Пушкину, но считал, что имена адресатов не имеют значения, и не счел необходимым даже дать их полный перечень. Он не заметил одной важной особенности, на которую обратила внимание Ахматова: пасквили были посланы только *друзьям* Пушкина. Она усмотрела в этом тонкий дипломатический трюк Геккерна: голландский посланник хотел разлучить Дантеса с Натальей Николаевной и был уверен, что, получив пасквиль, Пушкин немедленно увезет жену из Петербурга[22]. Друзьям отводилась роль советчиков.

Посылая вызов Геккерну в январе, Пушкин обвинял его в сводничестве. Щеголев удивлялся: «Спрашивается, какой для него был

---

[22] См.: Ахматова А. А. Гибель Пушкина // Ахматова А. А. О Пушкине: Ст. и заметки. Л., 1977. С. 127.

смысл в сводничестве своему приемному сыну? <...> Ревнуя Н. Н. Пушкину к Дантесу, не сводничать его с ней он был должен, а разлучать во что бы то ни стало». Наблюдение Ахматовой рассеяло недоумение Щеголева. Опытный дипломат «сводничал», чтобы разлучить.

Щеголев полагал, что о возможной женитьбе Дантеса на Е. Гончаровой судачили еще в октябре, т. е. задолго до появления анонимных писем. С. Л. Абрамович показала, что это было основано на неверном прочтении письма О. С. Павлищевой к С. Л. Пушкину из Петербурга в Москву. Она же распутала еще один узел дуэльной истории. Щеголев, а за ним и другие исследователи непосредственным поводом к дуэли считали свидание Натальи Николаевны с Дантесом на квартире Идалии Полетики. Об этом свидании писали дочь Натальи Николаевны от второго брака, А. Арапова, и Трубецкой со слов Полетики. По словам Араповой, Пушкин узнал о свидании на другой же день из анонимного письма. Получив это письмо, он и решил — быть поединку. Щеголев, как и другие, относил свидание к январю и полагал, что в январе Пушкин получил новые анонимные письма. С. Л. Абрамович выдвинула гипотезу, что Наталья Николаевна и Дантес встретились на квартире Полетики не в январе, а 2 ноября и что вслед за этим свиданием Пушкин и получил диплом на звание рогоносца.

Значительный штрих в поведение Дантеса после женитьбы внесла Е. С. Булгакова[23]. В заметках Жуковского есть такая запись:

«После свадьбы. Два лица. Мрачность при ней. Веселость за ее спиной.

Les Révélations d'Alexandrine[24].

При тетке ласка с женой; при Александрине и других, кои могли бы рассказать, des brusqueries[25]. Дома же веселость и большое согласие». Щеголев относит эту запись к Пушкину, Е. С. Булгакова — к Дантесу. Оскорбленное тщеславие «котильонного принца» диктовало линию поведения. Раньше он был влюблен, теперь — продолжал разыгрывать влюбленного. «Грубость к жене» должна была демонстрировать его любовь к Наталье Николаевне, «согласие дома» — возбуждать ее ревность.

Время внесло свои поправки и в интерпретацию одного из важнейших документов, помещенных в разделе «Материалы», — письма Жуковского к С. Л. Пушкину. Интерпретация этого документа у Щеголева несет на себе отпечаток социологических концепций эпохи. Для Щеголева Жуковский — человек, который в силу своей социальной характеристики «склонен затирать в потоке идеализации шероховатости жизни» и который поэтому не понимал, не старался и не мог понять Пушкина и который влиял на политические воззрения Пушкина. Признавая, что письмо Жуковского является документом первостепенной важности для биографии Пушкина, он также видел в нем стремление внушить читателю определенное представление о внутренней жизни Пушкина, его мировоззрении. Обращаясь к описанию Жуковского, он считал необходимым его «разоблачать». «Разоблаче-

---

[23] См. комментарий Э. Г. Герштейн: Ахматова А. А. О Пушкине: Ст. и заметки. С. 256.

[24] Разоблачения Александрины (*фр.*).

[25] Грубости (*фр.*).

нию» подлежали «христианские» и «патриотические» чувства Пушкина «в момент кончины», как их изобразил Жуковский.

Вопрос о «христианских чувствах» Пушкина Щеголев связывает с исповедью и причащением умирающего поэта. Щеголев уверен, что Пушкин исполнил христианский обряд только под влиянием записки от царя, переданной через Арендта.

Сопоставляя данные, идущие от современников, Щеголев «ловит» их на противоречиях в изложении событий: когда было решено послать за священником, когда была получена записка императора, когда совершился обряд исповеди и причащения.

Из всех свидетельств (доктора Спасского, Жуковского, Тургенева, Данзаса) очевидно, что Пушкин, «следуя совету родных и друзей», согласился исповедоваться сразу после того, как узнал от Арендта, что рана его смертельна. Правда, друзья поэта расходятся в показаниях о времени, когда был совершен обряд. Расхождения эти и кажутся Щеголеву доказательством сознательной подтасовки фактов. Но неточность показаний свидетельствует только об одном — христианскому обряду они не придавали того значения, которое вложил в него Щеголев. В пушкинскую пору исповедь и причащение умирающего так же обязательны, как крещение или венчание, и, независимо от религиозных чувств Пушкина, он должен был обряд этот исполнить, и только случай повинен в том, что священник пришел после того, как Арендт привез от царя записку с советом «умереть по-христиански». Это случайное совпадение дало основание царю сказать: «Пушкина мы насилу довели до смерти христианской». Так Николай I создавал свою легенду о Пушкине-безбожнике, что в устах монарха было равнозначно бунтовщику.

«Патриотические чувства» Пушкина выразились в словах благодарности, якобы переданных царю через Жуковского. Текстологический анализ автографа привел Щеголева к выводу, что слов этих Пушкин не произносил и что Жуковский сочинил их «в угоду излюбленным своим тенденциям» (с. 150) — т. е. в угоду своему «сентиментально-монархическому», как называет его Щеголев, миросозерцанию.

Мемуарное письмо Щеголев анализировал в отрыве от других документов и не обратил внимания на то, что «патриотические» слова Пушкина появились впервые в записке Жуковского о «милостях» семье поэта, написанной сразу после его смерти, когда Жуковский, потрясенный случившимся, не мог еще думать о своих будущих действиях. Им руководило только одно — обеспечить материальное благополучие семьи покойного. И, очевидно, лишь потом он понял, что слова, приписанные Пушкину, зафиксированные однажды в записке к царю, обрели видимость факта, который он уже не может исключить из документов, повествующих о последних минутах поэта.

За 50 лет, прошедших со времени выхода книги Щеголева, история дуэли обросла и гипотезами неубедительными, подчас фантастическими. На события, которые казались очевидными, набрасывался флер загадочности. Так, случайная описка в дате письма Н. И. Гончаровой к дочери в Эльзас (1837 г. вместо 1838) привела Л. Гроссмана, а потом Т. Г. Цявловскую к версии о добрачной связи Екатерины Гончаровой с Дантесом[26].

Одним из наиболее загадочных обстоятельств в истории дуэли считалась женитьба Дантеса. Что могло заставить блестящего кавалер-

---

[26] Гроссман Л. Указ. соч. С. 227; *Прометей*. 1974. Т. 10. С. 272–275.

гарда жениться на «ручке от метлы», как называли злые языки Екатерину Гончарову? Геккерны приписывали это благородству Дантеса, который якобы таким образом хотел спасти репутацию любимой женщины. Некоторые друзья Пушкина, например Н. М. Смирнов, предполагали, что Дантес мог сделать это из трусости, но большинство современников было в недоумении. Казалось бы, книга Щеголева сняла для нас это недоумение. Но все же ощущение загадки, над которой задумывались современники, передалось и некоторым исследователям. А загадка — источник для самых невероятных гипотез. И вот М. И. Яшин выдвинул гипотезу, что Дантес женился на Екатерине Гончаровой по желанию царя, т. е. что Николай I дал Дантесу соответствующее указание. Психологическая мотивировка поведения Николая следующая: 1) монарх был неравнодушен к красоте Натальи Николаевны и «не мог допустить возможных последствий ее неразборчивого кокетства с поручиком»; 2) женитьбой Дантеса на сестре Пушкиной царь стремился столкнуть Пушкина и Дантеса. Гипотеза Яшина получила, казалось бы, неожиданное подтверждение в записках дочери Николая I, Ольги Николаевны, которые были напечатаны в Париже на русском языке. Касаясь женитьбы Дантеса, она пишет, что «папа <...> поручил Бенкендорфу разоблачить автора анонимных писем, а Дантесу было приказано жениться на младшей сестре Наталии Пушкиной, довольно заурядной особе». Казалось, что загадка женитьбы Дантеса перестала быть загадкой. Но вскоре выяснилось, что приведенный текст — результат двойного перевода. Подлинные записки писались по-французски, а русский текст напечатан в Париже с немецкого перевода. Обращение к подлиннику показало, что никакого «приказа» не было, — во французском подлиннике речь идет не о вмешательстве царя, а об активности друзей поэта, которые «нашли только одно средство, чтобы обезоружить подозрения», — принудить Дантеса жениться[27].

Чем же интересна книга Щеголева сегодня, когда мы уже читали воспоминания современников поэта, а в последние годы — новые публикации, статьи и даже новую книгу о дуэли Пушкина, следили за перипетиями последних дней Пушкина на сцене?

В истории дуэли было много неясного, загадочного для современников, но и для нас, оснащенных документами, имеющих возможность сравнивать и сопоставлять факты, неизвестные даже близким друзьям Пушкина, в истории дуэли остаются все же «темные» места, которые поддаются различным толкованиям: был ли в анонимном пасквиле намек на Пушкина как возможного претендента на место «величавого рогоносца», кто сочинил пасквиль и кто его писал, когда пасквиль попал в III отделение, что заставило Наталью Николаевну переступить порог квартиры Идалии Полетики и когда это было, когда Екатерина Гончарова впервые узнала, что ей собираются сделать предложение, какого числа отправил Пушкин «ругательное» письмо «старому» Геккерну и что послужило непосредственным поводом к

[27] Подлинный текст сообщил живший в Париже праправнук Пушкина Г. М. Воронцов-Вельяминов. См.: Левкович Я. Л. Две работы о дуэли Пушкина // Рус. лит. 1970. № 2. С. 211—212; Воронцов-Вельяминов Г. М. Пушкин в воспоминаниях дочери Николая I. *Временник ПК,* 1970. Л., 1972. С. 24—29.

дуэли — казарменные каламбуры Дантеса или новые анонимные письма, о которых говорится в военно-судном деле[28], или, может быть, разгадку следует искать в конспективных заметках Жуковского, который уже после смерти Пушкина записал: «В понедельник приезд Геккерна и ссора на лестнице». В этот понедельник, 25 января, Пушкин написал Геккерну оскорбительное письмо, делавшее дуэль неизбежной.

Мы видели, что многие соображения Щеголева отводятся современными исследователями. Полемика ведется с книгой, которая была издана 50 лет тому назад тиражом всего 3000 экземпляров и давно стала библиографической редкостью. Возражают автору, который сам не может включиться в полемику. Современный читатель видит в работах о дуэли Пушкина многочисленные ссылки на книгу Щеголева и не имеет возможности их проверить, не знает доводов Щеголева во всей их совокупности. Книга Щеголева продолжает быть живым явлением нашей литературы и должна стать доступной для всех, кого интересует биография Пушкина.

Иногда возникают сомнения, не является ли повышенный интерес к истории дуэли праздным любопытством, имеют ли детали этого дела отношение к истории русской литературы, должны ли историки литературы изучать подробности, связанные с обстоятельствами дуэли, и доводить их до сведения широкого читателя. Мы думаем, что должны, потому что чем глубже и пристальней мы знакомимся с обстоятельствами дуэли, с отношением к ней современников, тем яснее становится для нас неизбежность гибели Пушкина, ее обусловленность, выходящая за рамки отдельного случая. Так считали и ближайшие друзья Пушкина. 24 февраля 1837 г. А. И. Тургенев писал П. А. Осиповой: «Умоляю вас написать мне все, что вы умолчали и о чем только намекнули в письме вашем, — это важно для истории последних дней Пушкина. Он говорил с вашей милой дочерью почти накануне дуэли; передайте мне верно и обстоятельно слова его; их можно сообразить с тем, что он говорил другим, и правда объяснится...» (с. 113).

В объяснение этой «правды» о последних днях Пушкина Щеголев внес щедрую лепту.

Настоящее издание является перепечаткой 3-го издания книги П. Е. Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина: Исследование и материалы» (М.; Л., Гос. изд-во, 1928). Цитаты из писем и дневников Пушкина и из воспоминаний и писем его современников проверены по авторитетным публикациям. Незначительные ошибки и опечатки в цитатах (как и в авторском тексте) исправлены в тексте без оговорок. В случае значительного расхождения текста, который дает Щеголев, и первоисточника — исправленный текст приводится в комментариях. При воспроизведении фрагментов из дневника А. И. Тургенева сохранены все особенности публикации П. Е. Щеголева. В дневнике А. И. Тургенева комментируются (за редкими исключениями) только записи, имеющие отношение к Пушкину.

Многие документы, которые входят в состав книги или цитируются Щеголевым, писались на иностранных языках, чаще всего по-французски (например, вся переписка Дантеса и Геккерна, письма Д. Ф. Фикельмон и О. С. Павлищевой, донесения иностранных дип-

---

[28] См.: Дуэль Пушкина с Дантесом-Геккереном. Подлинное военно-судное дело 1837 г. Спб., 1900. С. 75.

ломатов о дуэльных событиях и смерти Пушкина и др.). Щеголев дает их в русском переводе. В примечаниях мы указываем на иностранный источник в тех случаях, когда писавший пользовался в своей письменной речи двумя языками — русским и французским. Некоторые фразы Щеголев приводит по-французски, перевод мы даем в примечаниях в конце книги.

Разрядка в цитатах заменена курсивом.

В примечания к книге по возможности вводятся документы, которые появились в печати после 1928 г., т. е. после выхода книги Щеголева.

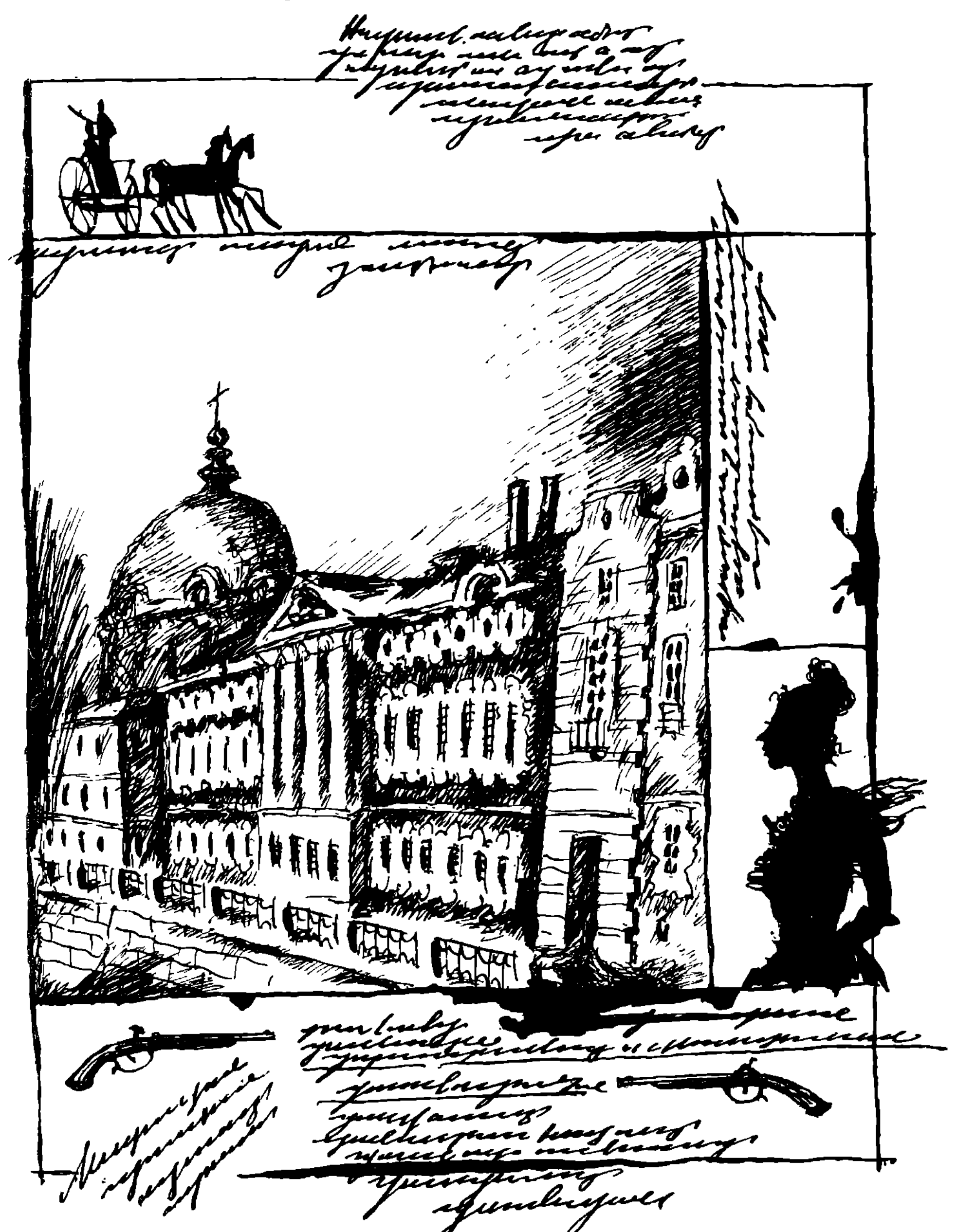
Из иллюстраций, опубликованных в книге Щеголева в 1928 г., мы приводим все факсимиле документов.

С признательностью отмечаем роль И. В. Щеголевой, по инициативе которой предпринято настоящее издание.

Я. Левкович

ИСТОРИЯ ПОСЛЕДНЕЙ ДУЭЛИ ПУШКИНА

4 ноября 1836 года - 27 января 1837 года



К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ

Настоящее, третье, издание значительно отличается от предшествующих. Текст книги просмотрен, исправлен и дополнен. Новые материалы, ранее мне недоступные и раскрытые революцией в 1917 году, введены в состав второй части книги — документов и материалов. Широко использован неизданный и ценный фактическими данными дневник А. И. Тургенева: извлечения, взятые из него в 1-м и 2-м изданиях, охватывали период с 27 января по 7 февраля 1837 года — а в настоящем издании период с момента приезда Тургенева в Петербург, с 25 ноября 1836 года и до 19 марта 1837 года. Увеличено число воспроизведений — портретов и факсимиле. Дан указатель собственных имен.

Текст исследования не подвергся изменениям, но новые материалы и новые возможности их разработки, созданные освобождением от цензурных и условных пут, побудили меня к пересмотру истории дуэли. Результатом пересмотра явился новый взгляд на возникновение дуэли и новое освещение темной роли Николая I в истории последних месяцев жизни Пушкина. Изложению произведенных мною разысканий посвящена написанная заново IX глава второй части книги «Анонимный пасквиль и враги Пушкина». Наконец, мной была поставлена судебная экспертиза почерков переписчика пасквиля и подозреваемых в составлении его лиц, тщательно выполненная судебным экспертом Ленинградского губсуда А. А. Сальковым и открывшая достоверного негодяя, чьей собственной рукой написан гнусный пасквиль. Протокол судебной экспертизы составил X главу второй части книги.

Считаю долгом поблагодарить за помощь в новой моей работе В. К. Лукомского, Б. Л. Модзалевского, А. А. Салькова, П. Е. Рейнбота, М. А. Цявловского и безвестных сотрудников Центрархива, с тщательной готовностью выполнявших мои многочисленные просьбы о разных нужных мне материалах.

П. Щеголев

15 ноября 1927 года.

КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Второе издание этой книги имеет следующие отличия от первого.

Исправления и дополнения, напечатанные в конце первого издания, введены во втором в текст; документы и материалы, образующие вторую часть книги, во втором издании получили иное, более стройное расположение, причем в документах, касающихся собственно Дантеса и его родных, сокращены некоторые детали и подробности, не имеющие решительно никакого значения для биографии Пушкина и для истории его последней дуэли. Самое же существенное отличие состоит в том, что все материалы и документы, которые в первом издании были напечатаны в иноязычных подлинниках, в настоящем издании приведены в русском переводе с опущением иностранного текста. Поступить так пришлось под давлением многочисленных заявлений о том, что многие любопытные материалы на иностранных языках остаются недоступными широкой публике. Перевод сделан Алдр. Ник. Чеботаревской.

Считаю нужным подчеркнуть при появлении второго издания то, что я говорил в предисловии к первому изданию. Рассказывая историю последней дуэли Пушкина, я останавливаюсь во всех подробностях только на одной из причин трагического конца Пушкина — правда, на ближайшей — на истории семейных отношений. Но это не значит, что я склонен к отрицанию влияния многих других и весьма важных обстоятельств жизни Пушкина. Разъяснение всех этих обстоятельств, приведших жизнь Пушкина к безвременному концу, является задачей исследования, над которым я работаю в настоящее время.

7 декабря 1916 года.

К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Литература о Пушкине растет с каждым днем. Пушкиноведение стало поистине органической потребностью науки истории русской литературы. И за всем тем у нас нет биографии поэта, сколько-нибудь отвечающей современным научным требованиям. Основная причина такого положения — в недостаточной монографической обработке отдельных моментов в истории жизни поэта. Полнее разработана первая половина жизни: нетрудно было бы дать биографию поэта по 1826 год — до отъезда из Михайловского в Москву. Уже менее обследован период жизни с 1826 года по 1831 — год женитьбы. Годы семейной жизни и зрелого творчества поэта (1831—1837) монографически почти не разрабатывались. Биографические материалы, относящиеся к этому периоду, немногочисленны и критическому исследованию, за малыми исключениями, не подвергались. С особенной настойчивостью должно относить это утверждение к истории последних месяцев жизни поэта, к истории его последней дуэли. Количественно литература о дуэли и смерти поэта весьма велика, но качественное ее значение прямо ничтожно. Кажется, ни об одном периоде жизни поэта нет такого множества рассказов, воспоминаний современников, писем, но материалов характера документального в этом обилии крайне мало, а критические исследования имеющихся материалов просто отсутствуют в пушкинской литературе; из-за скудности материалов, из-за их отсутствия оказывалось невозможным построение фактической истории дуэли Пушкина с Дантесом, и биографы поэта, писавшие о конце его жизни, вынуждались таким положением дела ко внесению в свою работу непроверенных россказней очевидцев и анекдотов современников. В новейшее время особенно пособили в этом отношении биографам Записки *А. О. Смирновой*, хотя при первом столкновении с документально проверенной действительностью обнаруживается совершенная беззаботность составительницы Записок по части фактов[1].

---

[1] Нельзя не пожалеть, что до сих пор нет работы, устанавливающей настоящую цену Запискам *А. О. Смирновой* как историческому источнику. Только отсутствием такой работы и можно объяснить, что кое-кто из исследователей все еще считается с сообщениями этих Записок. 1914 год принес еще одно обличение исторической «правды» Записок. Из напечатанных в этом году писем *А. Н. Карамзина* к матери («Старина и новизна», кн. 17-я. М., 1914) видно, что в Париже первое известие о смерти Пушкина было получено им, Андреем Карамзиным, в письме к нему матери, поданном ему в то время, когда он обедал у Смирновых (стр. 292). А между тем в «Записках» *А. О. Смирновой* (Из записных книжек 1826—

Занимаясь биографией Пушкина, я остановился на темном и необследованном периоде последних месяцев жизни поэта, на истории его последней дуэли. Следующие задачи стоят перед исследователем этого периода: розыски материалов, критическая их проверка и, как результат, попытка прагматического построения истории дуэльных событий. Эти задачи не исчерпывают еще, конечно, работы биографа, но без их решения невозможны какие-либо дальнейшие биографические изучения. Посильному осуществлению этих задач посвящена настоящая книга.

К собиранию материалов о дуэли Пушкина с Дантесом и об обстоятельствах его смерти я приступил лет тринадцать тому назад. Благодаря неустанному содействию, которое оказывала мне в моих разысканиях Комиссия по изданию сочинений Пушкина, благодаря деятельной помощи лиц и учреждений, к которым я обращался в своих поисках, удалось собрать целый ряд материалов, ценность коих не подлежит сомнению. Розыски велись систематично и планомерно. Основная их задача — нахождение *документов*, непосредственно относящихся к истории дуэли и смерти, и *свидетельств*, исходящих от участников событий.

На первых же порах удалось разыскать очень важные донесения барона Геккерена своему правительству и письма его к графу Нессельроде. Источником первостепенного значения являются конспективные наброски В. А. Жуковского по истории дуэли (часть 2, гл. V). Несколько важных документов извлечено из архива барона Геккерена-Дантеса. В печати не раз появлялись сведения о том, что в этом архиве имеются относящиеся к дуэли документы; но доступ к этому архиву был впервые открыт для исследователя по нашей просьбе. Ценнейшие материалы оказались в собрании А. Ф. Онегина — многочисленные черновики Жуковского, первоначальная редакция его письма к отцу Пушкина, огромнейшее письмо к Бенкендорфу. Из тургеневского архива извлечены сведения, имевшиеся в дневнике А. И. Тургенева; из архива герцога Мекленбург-Стрелицкого — подлинное письмо князя П. А. Вяземского к великому князю Михаилу Павловичу. Собраны все известия о дуэли и смерти Пушкина, заключающиеся в посланных из Петербурга депешах иностранных дипломатов.

Некоторые материалы, ранее известные, мы ввели в книгу отчасти по соображениям о полноте собрания, а отчасти потому, что в нашем распоряжении оказались подлинники: таковы записки врачей Спасского и Даля, лечивших Пушкина, таков рассказ князя А. В. Трубецкого. Перепечатка этого рассказа сопровождается критическими замечаниями и оценкой этого рассказа.

Думается, что, после систематически веденных мною в различных направлениях розысков, в будущем вряд ли можно будет разыскать много документального материала в дополнение к настоящему собранию. В V отделе второй части книги изложена история моих поисков за материалами и указаны те документы, которых мне, несмотря на все усилия, не удалось получить в свое распоряжение и которые должны быть все-таки найдены и напечатаны. К этим документам надо присоединить и важные для характеристики Н. Н. Пушкиной письма ее к мужу, которые хранятся в Румянцов-

---

1845 гг., ч. II, Спб, 1897, стр. 2—3) имеется правдоподобный, с первого взгляда, но необычайно далекий от действительности рассказ о том же событии, противоречащий точному известию *А. Н. Карамзина.*

ском музее и которые будут вскрыты только через несколько десятков лет, и письма весьма осведомленных в деле Пушкина Карамзиных — вдовы историка и ее дочерей — к А. Н. Карамзину, находившемуся в то время в Париже. По недавно опубликованным его ответным письмам мы знаем, что мать и сестры сообщали ему в письмах в подробностях семейную историю Пушкина. Местонахождение писем Е. А. Карамзиной и ее дочерей неизвестно.

Собранные материалы основательно меняют установившиеся взгляды, значительно дополняют наши сведения и дают возможность дать фактическую историю дуэли Пушкина с Дантесом. Документы, печатаемые нами, подвергают сильному сомнению достоверность той картины смерти поэта, которая, с легкой руки В. А. Жуковского, вошла в библиографический обиход. Анализ первоначальной редакции его знаменитого письма к отцу поэта вскрывает огромную работу Жуковского по приспособлению и приукрашению фактов. Документы, извлеченные из собрания А. Ф. Онегина, должны повлечь изменение общераспространенных взглядов на роль императора Николая в последние дни жизни и первые после смерти Пушкина.

Материалам и документам предпослана попытка прагматического изложения истории столкновения и поединка Пушкина с Дантесом. Мы поставили себе задачей, откинув в сторону все непроверенные и недостоверные сообщения, дать связное построение фактических событий. Душевное состояние, в котором находился Пушкин в последние месяцы жизни, было результатом обстоятельств самых разнообразных. Дела материальные, литературные, журнальные, семейные; отношения к императору, к правительству, к высшему обществу и т. д. отражались тягчайшим образом на душевном состоянии Пушкина. Из длинного ряда этих обстоятельств мы считали необходимым — в наших целях — коснуться только семейственных отношений Пушкина — ближайшей причины рокового столкновения.

Во избежание недоразумений необходимо отметить, что я не считал ни полезным, ни нужным перечислять и критически разбирать многочисленную литературу о дуэли. Библиографические цели были мне чужды, а опровержение всяких сообщений, заметок и статей, вздорность которых обнаруживается при первом же столкновении с достоверным материалом, положенным в основу моей работы, кажется мне делом излишним.

С появлением настоящей книги теряют значение все сделанные мной частичные публикации материалов и все напечатанные мной статьи и заметки, относящиеся к дуэли Пушкина, за исключением статьи «Дуэль Пушкина с Дантесом» («Историч. Вестн.», 1905, янв., февр., апр.; перепечатана в моей книге «Пушкин. Очерки», Спб., стр. 306—410): в этой статье сообщены в русском переводе некоторые из документов, появляющиеся в настоящей книге во французском подлиннике. Материалы, напечатанные в настоящей книге, я цитирую кратко «Дуэль»; названную свою статью цитирую по книге «Пушкин. Очерки» также кратко: «Пушкин». «Сочинения Пушкина. Изд. имп. Акад. наук. Переписка. Под ред. *В. И. Саитова*» в цитатах означаются одним словом «Переписка».

16 апреля 1916 г.

1.

Благополучие рода Дантесов было прочно обосновано на рубеже XVII и XVIII столетий Жаном-Генрихом Дантесом (1670—1733), крупным земельным собственником и промышленником. У него были доменные печи, серебряные рудники, занимался он производством жести и учредил фабрику холодного оружия. Им было приобретено имение в Зульце, ставшее постоянным местопребыванием семьи Дантесов. В 1731 году Жан-Генрих Дантес был возведен в дворянское достоинство. Его ближайшие потомки ревностно служили своим королям и вступили в родственные связи со многими родовитыми семьями. Внук его Жорж-Шарль-Франсуа-Ксавье Дантес (1739—1803) был женат на баронессе Рейтнер де Вейль; в революционную эпоху он должен был эмигрировать, но ему посчастливилось: он не потерял своего состояния. Продолжателем рода был второй его сын — Жозеф-Конрад (1773—1852). Во время бегства Людовика XVI в Варенн он служил в тех войсковых частях, которые должны были под руководством маркиза Буилье содействовать бегству короля. Эмигрировав из Франции, он поселился в Германии, у своего дяди и крестного отца, барона Рейтнера, командора Тевтонского ордена. Вернувшись из Германии на родину в Зульц, он женился здесь в 1806 году на графине Марии-Анне Гацфельдт (1784—1832). От этого брака родился Жорж Дантес, которому суждено было стать убийцей Пушкина[1].

Графиня Гацфельдт принесла в семью Дантесов значительные родственные связи. Их следует отметить, так как ими объясняются кое-какие позднейшие отношения Жоржа Дантеса. Мать Дантеса принадлежала к роду Гацфельдтов. Отец ее — брат первого в роду князя Гацфельдта, бывшего губернатором Берлина во время оккупации его французами. Одна из его сестер была замужем за графом Францем-Карлом-Александром Нессельроде-Эресгофен (1752—1816). Эта ветвь Нессельроде родственна той ветви, отпрыском которой является знаменитый «русский» граф Карл Нессельроде (1780—1862), канцлер и долголетний министр иностранных дел при императоре Николае Павловиче. Мать графини Гацфельдт, вышедшей за Дантеса, — графиня Фредерика-Элеонора Вартенслебен; ее сестра, графиня Шарлотта-Амалия-Изабелла Вартенслебен, родившаяся в 1759 году, вышла

---

[1] Луи Метман, сын дочери барона Дантеса-Геккерена от брака ее с генералом Метманом, по нашей просьбе, составил биографическую справку о своем деде, которая изложена нами во второй части книги. Обстоятельная биография Дантеса, составленная С. А. Панчулидзевым, помещена в «Сборнике биографий кавалергардов» 1825—1899, стр. 75—92. Все остальные «биографии» Дантеса лишены какого-нибудь фактического содержания.

в 1788 году замуж за графа Алексея Семеновича Мусина-Пушкина, русского дипломата, бывшего посланником в Стокгольме. Умерла она в России и похоронена в Москве, на иноверческом кладбище. На ее могильном камне значится: «Графиня Елизавета Федоровна Мусина-Пушкина, действительная тайная советница и кавалерственная дама. † 27 августа 1835 года»[1].

Жозеф-Конрад Дантес, отец Жоржа Дантеса, получивший баронский титул при Наполеоне I, был верным легитимистом. В 1823—1829 годах он был членом палаты депутатов и принадлежал к правым. Революция 1830 года заставила его уйти в частную жизнь.

Жорж-Шарль Дантес родился 5 февраля 1812 г. нов. ст. Он был третьим ребенком в семье и первым сыном. Учился он первоначально в коллеже в Эльзасе, потом в Бурбонском лицее. Отец хотел отдать его в пажи, но в ноябре 1828 года не оказалось свободной вакансии: была одна, и ту Карл X обещал герцогине Беррийской[2]. Поэтому Дантес был отдан в Сен-Сирскую военную школу. Зачисление его в списки школы состоялось 19 ноября 1829 года. Кончить курса барону Дантесу не удалось: он не пробыл в школе и года, когда произошла Июльская революция 1830 года. Ученики Сен-Сирской школы были настроены в это время совсем не либерально и в огромном большинстве были преданы Карлу X. Чтобы избежать возможных столкновений с народом, 1 августа 1830 года было предложено всем желающим ученикам взять отпуск до 22 августа. Но трехнедельный отпуск не помог и не истребил преданности законной монархии. 27 августа 1830 года начальник школы генерал Менуар доносил военному министру, что на 300 учеников с трудом найдется 60 человек, на подчинение которых новому правительству можно рассчитывать. «Другие, — писал генерал, — обнаруживают чувства прямо противоположные; вчера свистели при виде трехцветных значков, принесенных для упражнения; стены покрыли возмутительными надписями»[3]. В послужном списке Дантеса, хранящемся в архиве Сен-Сирской школы, отмечено, что 30 августа 1830 года он уволен был в отпуск, а 19 октября того же года уволен из школы по желанию семейства. Дантес был в числе преданных Карлу X. По рассказу *Луи Метмана*, «Дантес в июле 1830 года примкнул к той группе учеников школы, которая вместе с полками, сохранившими верность Карлу X, пыталась на площади Людовика XV выступить на его защиту. Отказавшись служить Июльской монархии, он вынужден был покинуть школу. В течение нескольких недель он считался в числе партизанов, собравшихся в Вандее вокруг герцогини Беррийской». Не сообщая более подробных сведений об участии Дантеса в Вандейском восстании, руководимом герцогиней Беррийскою, г. *Метман* едва ли не повторяет здесь известные и ранее смутные слухи об этом участии, не имея других источников. Более определенных указаний на этот факт из биографии Дантеса мы не встречали.

После вандейского эпизода барон Жорж Дантес вернулся в Зульц к отцу. Его он нашел «глубоко удрученным политическим перево-

---

[1] Московский Некрополь, II, 298.

[2] Об этом свидетельствует сохранившееся в архиве барона Геккерена письмо к отцу Дантеса от 20 ноября 1828 г.

[3] Eugène Titeux. Saint-Cyr et l'ecole spéciale militaire en France. Paris, 1898, p. 293—298.

ротом, разрушившим законную монархию, которой его род служил столько же в силу расположения, сколько в силу традиции».

О жизни Дантеса в лоне семьи его биограф сообщает: «На другой день после революции, рассеявшей все его надежды, молодой человек живого и независимого характера, каким был Жорж Дантес, не мог найти приложения своим склонностям в открывавшемся ему монотонном провинциальном существовании. Смерть баронессы Дантес в 1832 году усилила уныние родного очага. Жорж Дантес, которого отделяли от тогдашнего правительства политические взгляды его семьи, решил искать службы за границей, — по обычаю, в то время распространенному». Но из монотонного провинциального существования выталкивали Дантеса скорее всего обстоятельства чисто материального характера. Июльская революция не только разрушила законную монархию, но и сильно подорвала материальное благополучие семьи Дантесов. На руках Дантеса была огромная семья в шесть человек. Старшая дочь была замужем, но Июльская революция лишила ее мужа средств к существованию, и отцу приходилось содержать ее с мужем. У него же жила старшая его сестра, вдова графа Бель-Иля, с пятью детьми. Карл X назначил ей пенсию по 6000 франков, но революция отняла ее. Приходилось тратиться на учение детей: второй его сын Альфонс и младшая дочь учились в Страсбурге. А прибытки барона Жозефа-Конрада Дантеса были невелики. Были долги и 18—20 тысяч франков ренты[1]. При таком положении дел мог явиться обузой и не кончивший курса сен-сирец, к тому же заявивший себя участником в демонстрациях против существовавшего правительства. Ему, действительно, надо было искать счастья и удачи на стороне; надо было собираться в отъезд.

Проще всего было бы устроиться в Германии, где у него было много немецких родственников. Через них он нашел покровительство у прусского принца Вильгельма. Его готовы были принять, благодаря такой протекции, в военную службу, но в чине унтер-офицера, а это звание казалось неподходящим не кончившему курса в Сен-Сирской военной школе: ему хотелось сразу стать офицером, и дело со службой в прусских войсках не устроилось. Тогда прусский принц дал Дантесу добрый совет ехать в Россию и здесь искать своего счастья. Принц оказал активную поддержку молодому Дантесу и дал ему рекомендательное письмо в Россию. Этот принц прусский Вильгельм (1797—1888), позднее Вильгельм, император германский (с 1861 г.) и король прусский, был в интимно-близких, родственных отношениях к русскому императору Николаю Павловичу: он был женат на его родной племяннице. Письмо принца было адресовано генерал-майору Адлербергу. Владимир Федорович Адлерберг (1790—1884; с 1847 г. граф), один из приближеннейших к Николаю Павловичу людей, в 1833 году занимал пост директора Канцелярии военного министерства. В архиве Геккеренов хранится и по сей день письмо адъютанта прусского принца следующего содержания: «Его Королевское Высочество Принц Вильгельм Прусский, сын короля, поручил мне передать Вам прилагаемое здесь письмо к генерал-майору Адлербергу». Письмо датировано 6 октября 1833 года в Берлине. Дантес получил его здесь на руки, по пути в Россию. Одного этого

[1] Данные о материальном положении Дантесов — в письмах старшего Дантеса к Геккерену.

письма было достаточно для того, чтобы Дантес мог питать самые пылкие надежды на успех своего путешествия. Кроме того, он, быть может, имел в виду использовать и связи отдаленного свойства с графиней Мусиной-Пушкиной, приходившейся ему двоюродной бабушкой.

Чего только не приводили в объяснение блестящей жизненной карьеры Дантеса, на какие только положения и обстоятельства не ссылались современники, а за ними и все биографы Пушкина, писавшие о Дантесе, не имея фактических данных и испытывая потребность объяснить карьеру Дантеса. Одни утверждали, что Геккерен — побочный сын короля голландского; другие — что он был особо отрекомендован Николаю Павловичу Карлом X[1] и т. п. Наконец, пущен был в ход рассказ о случайной, а на самом деле подстроенной встрече Николая Павловича в мастерской французского художника с Дантесом и о глубоком впечатлении, которое последний произвел на русского государя.

В действительности ходатайство и рекомендация принца Вильгельма были самым лучшим свидетельством в пользу Дантеса в глазах императора Николая Павловича. К тому же молодой барон говорил сам за себя: он был легитимистом, манифестировал во имя Карла X, был в рядах повстанцев под знаменем герцогини Беррийской. Известно, как Николай Павлович ценил принцип легитимизма и как он покровительствовал легитимистам разных оттенков. Недаром французские легитимисты прибегали не раз к покровительству русского императора. Так в 1832 году граф Рошешуар искал поддержки планам Карла X и герцогини Беррийской при дворах нидерландском и русском: при первом он имел аудиенции у супруги наследного принца Анны Павловны, при втором имел конспиративные свидания с графом Нессельроде, Бенкендорфом и передал письмо герцогини русскому императору. И он был встречен сочувственно[2].

Без сомнения, одной рекомендации Вильгельма Прусского было бы достаточно для наилучшего устройства Дантеса в России. Но Дантес был исключительно счастливый человек. Во время своего путешествия по Германии Дантес не только заручился драгоценным письмом Вильгельма, но и снискал покровительство, которое оказалось для него в Петербурге полезным в высшей степени: он встретил барона Геккерена, голландского посланника при русском дворе, и завоевал его расположение. Вместе с Геккереном он въехал в Россию.

Необходимо сказать несколько слов о Геккерене, которому суждено было играть такую видную и незавидную роль в истории последней дуэли Пушкина.

Сын майора от кавалерии Эверта-Фридриха барона ван-Геккерена (1755—1831) и Генриетты-Жанны-Сузанны-Марии графини Нассау, барон Геккерен де-Беверваард (полное его имя — Jacob-Théodore-Borhardt Anne Baron von Heeckeren de Beverwaard) принадлежал к одной из

---

[1] Известие о том, что Дантес был рекомендован Карлом X Николаю Павловичу, идет из осведомленного источника — от Р. Е. Гринвальда, командовавшего Кавалергардским полком („Vier Söhne eines Hauses", I, 204; см. *Панчулидзев,* назв. соч., 76). По-видимому, здесь просто смешение: покровительство Вильгельма было отнесено к Карлу X.

[2] Comte de Rochechouart. Souvenirs sur la Révolution, l'Empire et la Restauration. Paris, Plon-Nourrit, 1889.

древнейших голландских фамилий[1]. Родился он 30 ноября 1791 года. По словам Метмана, Геккерен начал свою службу в 1805 году добровольцем во флоте. Тулон был первым портом, к которому было приписано его судно. Пребывание на службе у Наполеона оставило в Геккерене самые живые симпатии к французским идеям. В 1815 году было призвано к существованию независимое Королевство Нидерландское (Бельгия и Голландия), и Геккерен переменил род службы: из моряка стал дипломатом и был назначен секретарем нидерландского посольства в Стокгольме. В 1823 году он уже находился в Петербурге: в этом году нидерландский посланник при русском дворе Верстолк ван-Зелен выехал из Петербурга, а в отправление должности поверенного в делах вступил, 26 марта 1823 года, барон Геккерен. Через три года, представив 26 марта 1826 года верительные грамоты, он стал посланником или полномочным министром нидерландским в Петербурге. За свое долговременное пребывание в России Геккерен упрочил свое положение и при дворе и в петербургском свете. В 1833 году, отъезжая в продолжительный отпуск, он удостоился награды: государь пожаловал ему орден св. Анны 1-й степени как свидетельство своего высокого благоволения и как знак удовольствия по поводу отличного исполнения им обязанностей посланника. Среди дипломатов, находившихся в середине 1830-х годов в Петербурге, барон Геккерен играл видную роль: по крайней мере, княгиня Ливен, описывая в письме к Грею петербургских дипломатов, отмечает только двух „gens d'esprit“ — барона Фикельмона и Геккерена[2].

Таковы внешние, «формулярные», данные о Геккерене. Следует сказать несколько слов и о его личности. Не случись роковой дуэли, история, несомненно, не сохранила бы и самого его имени — имени человека среднего, душевно-мелкого, каких много в обыденности! Но прикосновенность к последней пушкинской дуэли выдвинула из исторического небытия его фигуру. Современники единодушно характеризуют нравственную личность Геккерена с весьма нелестной стороны. Надо, конечно, помнить, что все эти характеристики созданы после 1837 года и построены исключительно на основании толков и слухов о роли Геккерена в истории дуэли. Поэтому в этих суждениях о личности Геккерена слишком много непроверенных, огульных обвинений и эпитетов — один другого страшнее. Любопытно отметить, что ни князь Вяземский, ни В. А. Жуковский — друзья Пушкина и ближайшие свидетели всех событий — не оставили характеристики Геккерена, но, поминая его имя, не обнаружили того стремления сгустить краски, которое проникает все отзывы современников. Приведем отзыв Н. М. Смирнова, мужа близкой приятельницы Пушкина, известной А. О. Смирновой: «Геккерен был человек злой, эгоист, которому все средства казались позволительными для достижения своей цели, известный всему Петербургу злым языком,

---

[1] Фактические сведения о Геккерене даны в *моей* статье («Пушкин», стр. 340), в статье Н. В. *Чарыкова* «Известия о дуэли Пушкина, имеющиеся в Голландии» («Пушкин и его современники», вып. XI, стр. 71—72) и в статье *Метмана* в настоящей книге (ч. 2, отд. VI). Не все сведения, сообщаемые последним, верны. Так, он называет Геккерена le dernier-né, тогда как у него был младший брат, потомство которого владеет в настоящее время, по свидетельству *Н. В. Чарыкова,* родовым имением Геккеренов-Беверваард.

[2] См.: „Correspondance of Princess Lieven and Earl Gray", ed. and translat. by Guy le Strange. Vol. 111, Lond. 1890, p. 22.

перессорившии уже многих, презираемыи теми, которые его проникли»[1]. Если Геккерен и был таков, то «проникших» его до рокового исхода дела было всего-навсего один человек, а этот человек был Пушкин.

Любопытную характеристику Геккерена дает барон Торнау, имевший возможность наблюдать его среди венских дипломатов в 1855 году: «Геккерен, несмотря на свою известную бережливость, умел себя показать, когда требовалось сладко накормить нужного человека. В одном следовало ему отдать справедливость: он был хороший знаток в картинах и древностях, много истратил на покупку их, менял, перепродавал и всегда добивался овладеть какою-нибудь редкостью, которою потом любил дразнить других, знакомых ему собирателей старинных вещей. Квартира его была наполнена образцами старинного изделия и между ними действительно не имелось ни одной вещи неподлинной. Был Геккерен умен; полагаю, о правде имел свои собственные, довольно широкие понятия, чужим прегрешениям спуску не давал. В дипломатическом кругу сильно боялись его языка и хотя недолюбливали, но кланялись ему, опасаясь от него злого словца»[2].

Из всех характеристик Геккерена принадлежащая барону Торнау — наиболее бесстрастная, наиболее удаленная от пушкинского инцидента в жизни Геккерена, но и это его изображение сохранило отталкивающие черты оригинала. В нашей работе собраны письменные высказывания барона Геккерена, неизвестные ранее, и сделана попытка фактического выяснения его роли в истории дуэли. На основании этих объективных данных можно будет восстановить образ Геккерена. Крепкий в правилах светского тона и в условной светской нравственности, но морально неустойчивый в душе; себялюбец, не останавливающийся и перед низменными средствами в достижениях; дипломат консервативнейших по тому времени взглядов, неспособный ни ценить, ни разделять передовых стремлений своей эпохи, не увидавший в Пушкине ничего, кроме фрондирующего камер-юнкера; человек духовно ничтожный, пустой — таким представляется нам Геккерен.

Как и когда произошло знакомство и сближение Геккерена и Дантеса? Осенью 1833 года голландский посланник возвращался из продолжительного отпуска к месту своего служения в Петербург. Как раз в это время в поисках счастья и чинов совершал свое путешествие и Дантес. «Дантес серьезно заболел проездом в каком-то немецком городе; вскоре туда прибыл барон Геккерен и задержался долее, чем предполагал. Узнав в гостинице о тяжелом положении молодого француза и о его полном одиночестве, он принял в нем участие, и, когда тот стал поправляться, Геккерен предложил ему присоединиться к его свите для совместного путешествия; предложение радостно было принято». Так рассказывает А. П. Арапова, дочь вдовы Пушкина от второго ее брака. Источником ее сведений является позднейший рассказ самого Дантеса одному из племянников своей жены, т. е. одному из братьев Гончаровых[3].

---

[1] «Русск. арх.», 1882. I, 234.

[2] Воспоминания барона *Ф. Торнау* — «Истор. вестн.», 1897 г., кн. 1, январь, стр. 66.

[3] Нам известны два повествования А. П. Араповой об обстоятельствах последней дуэли Пушкина. Одна запись была предназначена для С. А. Панчулидзева, историка Кавалергардского полка, и использована им в биографии

Биограф Дантеса Луи Метман ограничивается глухим сообщением: «Дантес имел счастливый случай встретить барона Геккерена. Последний, привлеченный находчивостью и прекрасной внешностью Жоржа Дантеса, заинтересовался им и вошел в постоянную переписку с его отцом, который высказывал живейшую признательность за покровительство, сослужившее свою пользу как в военной карьере, так и в светских отношениях сына».

Луи Метман подыскивает объяснения увлечению Геккерена: голландский посланник, начавший свою службу во Франции, питал склонность к идеям французской культуры. Его юношеская дружба с герцогом Роган-Шабо (умер в 1833 году в сане Безансонского архиепископа) дала толчок религиозному перевороту. Геккерен принял католичество, и этот поступок уединил его и отдалил от его протестантской родни. Наконец, Луи Метман упоминает и об отдаленном свойстве, которое могло существовать между бароном Геккереном и рейнскими фамилиями, с которыми Дантес был в родстве по отцу и матери. В русской литературе о Дантесе нередко встречается утверждение о родстве его с бароном Геккереном в разных степенях близости вплоть до объявления Дантеса побочным сыном посланника. Родства никакого не было; при тщательном разборе, быть может, можно установить отдаленнейшие линии свойства. Во всяком случае,

---

Дантеса. Другая, позднейшая и пространнейшая, запись предназначалась для печати и была помещена в приложениях к «Новому времени» в декабре 1907 и январе 1908 гг. (№ 11406, 11409, 11413, 11416, 11421, 11425, 11432, 11435, 11442, 11446, 11449). Первая запись, с которой мы знакомы по отрывкам, приведенным С. А. Панчулидзевым, носит деловой характер, написана сжато, без художественных прикрас и лишних подробностей. Вторая запись готова перейти из области мемуарной литературы в область беллетристики. Для сравнения приводим по этой записи рассказ о встрече Дантеса с Геккереном:

«Проезжая по Германии, он простудился; сначала он не придал этому значения, рассчитывая на свою крепкую, выносливую натуру, но недуг быстро развился, и острое воспаление приковало его к постели в каком-то маленьком захолустном городе.

Медленно потянулись дни с грозным признаком смерти у изголовья заброшенного на чужбине путешественника, который уже с тревогой следил за быстрым таянием скудных средств. Помощи ждать было неоткуда, и вера в счастливую звезду покидала Дантеса. Вдруг в скромную гостиницу нахлынуло необычайное оживление. Грохот экипажей сменился шумом голосов; засуетился сам хозяин, забегали служанки.

Это оказался поезд нидерландского посланника, барона Геккерена (d'Hekeren), ехавшего на свой пост при русском дворе. Поломка дорожной берлины вынуждала его на продолжительную остановку. Во время ужина, стараясь как-нибудь развлечь или утешить своего угрюмого, недовольного постояльца сопоставлением несчастий, словоохотливый хозяин стал ему описывать тяжелую болезнь молодого одинокого француза, уже давно застрявшего под его кровом. Скуки ради, барон полюбопытствовал взглянуть на него, и тут у постели больного произошла их первая встреча.

Дантес утверждал, что сострадание так громко заговорило в сердце старика при виде его беспомощности, при виде его изнуренного страданием лица, что с этой минуты он уже не отходил более от него, проявляя заботливый уход самой нежной матери.

Экипаж был починен, а посланник и не думал об отъезде. Он терпеливо дождался, когда восстановление сил дозволило продолжать путь, и, осведомленный о конечной цели, предложил молодому человеку присоединиться к его свите и под его покровительством въехать в Петербург. Можно себе представить, с какой радостью это было принято!»

до сближения с Дантесом Геккерен не был даже знаком с отцом и семьей Дантеса[1]. Но тут даже не свойство, а тень свойства.

Современники, реально настроенные, старались подыскать чисто реальные основания близости Геккерена и Дантеса, и выставленные ими основания были двух порядков: естественного и противоестественного. В русской литературе на все лады повторялось утверждение о родстве Геккерена с Дантесом и указывались разные степени родственной близости. Нередко современники заявляли о том, что Дантес доводился барону Геккерену просто-напросто побочным сыном. Фактических данных для подобного заявления не имеется, а на



основании документов, опубликованных в нашей книге, можно категорически утверждать неверность всех сообщений о родстве Геккерена и Дантеса. Объяснение порядка, так сказать, противоестественного сводилось к утверждению, что посланник был близок к молодому французу по-особенному — извращенной близостью мужчины к мужчине[2].

Как бы там ни было, отношения Геккерена к Дантесу, поскольку они засвидетельствованы его письмами и фактической историей, проникнуты необычайной заботливостью и нежностью. Поистине он был отцом родным Дантесу, и Дантес-отец сам признавал это и неоднократно выражал Геккерену свою глубокую признательность о сыне.

Но возвратимся к истории Дантеса. Рекомендательное письмо прусского принца было вручено Дантесу 6 октября (нов. ст.) 1833 года, и, вероятно, без замедления Дантес проследовал в Петербург. В хронике «Санкт-петербургских ведомостей» за 11 октября 1833 года читаем: «Пароход „Николай I“, совершив свое путешествие в 78 часов, 8-го сего октября прибыл в Кронштадт с 42 пассажирами, в том

---

[1] Неверны и наши сообщения о родстве Дантеса и Геккерена в книге «Пушкин», стр. 344.

[2] См. свидетельство князя А. В. Трубецкого в VIII отделе второй части нашей книги.

числе королевский нидерландский посланник барон Геккерен». А с ним вместе «Николай I» привез и Дантеса.

На первых порах Дантес поселился в Английском трактире на Галерной улице.

Рекомендация была доставлена им по назначению и произвела должное действие. О Дантесе было доложено государю, и Адлерберг обнаружил большое расположение к ученику Сен-Сирской школы и оказал ему мощное содействие в деле экзаменов.

Он подыскал ему профессоров, которые должны были «натаскать» молодого сен-сирца по военным предметам, заручился поддержкой самого нужного в этом деле человека — Ивана Онуфриевича Сухозанета, в это время занимавшего должности члена военного совета, директора Пажеского, всех сухопутных корпусов и Дворянского полка и члена военно-учебного комитета. В архиве барона Геккерена хранятся два письма Адлерберга к Дантесу. В первом, от 23 ноября 1833 года, Адлерберг писал: «Внезапный отъезд, которого я не мог предвидеть, когда видел вас, мой дорогой барон, поставил меня в невозможность завязать условленные сношения с профессорами, которые должны руководить вашей подготовкой к экзамену; я искренно огорчился бы, если бы не был убежден, что генерал Сухозанет возьмет целиком на себя одного это дело, часть которого он уже взял. Если бы случайно он оказался не в состоянии сделать это, то нужно будет, дорогой барон, вам потерпеть до моего возвращения, и вы ничего не потеряете, так как мое отсутствие не продолжится больше двух недель»[1]. А 5 января 1834 года Дантес получил следующую примечательную записку от Адлерберга: «Генерал Сухозанет сказал мне сегодня, дорогой барон, что он рассчитывает подвергнуть вас экзамену сейчас же после Крещения и что он надеется обделать все в одно утро, если только всем профессорам можно будет быть одновременно свободными. Генерал уверил меня, что он уже велел узнать у г. Геккерена, где вас найти, чтобы уведомить вас о великом дне, когда он будет фиксирован; вы хорошо сделаете, если повидаете его и попросите у него указаний. Он обещал мне не быть злым, как вы говорите; но не полагайтесь слишком на это, не забывайте повторять то, что вы выучили. Желаю вам удачи. Ваш Адлерберг». В этой записке имеется еще любопытнейшая приписка: «Император меня спросил, знаете ли вы русский язык? Я ответил наудачу утвердительно. Я очень бы посоветовал вам взять учителя русского языка».

По высочайшему повелению 27 января 1834 года барон Дантес был допущен к офицерскому экзамену при Военной академии по программе школы гвардейских юнкеров и подпрапорщиков, причем он был освобожден от экзаменов по русской словесности, уставу и военному судопроизводству[2]. Экзамены Дантес выдержал, и 8 февраля был отдан высочайший приказ о зачислении его корнетом в Кавалергардский полк. А в приказе по Кавалергардскому полку 14 февраля 1834 года было отдано: «Определенный на службу по высочайшему приказу, отданному в 8 день сего февраля и объявленному в приказе по Отдельному гвардейскому корпусу 11 числа

---

[1] Адрес: „A Monsieur le Baron d'Anthès. В Галерной улице, в Английском трактире, во 2-м этаже, в квартире № 11".

[2] *В. В. Никольский*. Идеалы Пушкина. Изд. 3-е. Спб., 1899, стр. 124.

за № 20, бывший французский королевский воспитанник военного училища Сент-Сир барон Дантес в сей полк корнетом зачисляется в списочное состояние, с записанием в 7-й запасный эскадрон, коего и числить в оном налицо»[1].

Каким-то темным предчувствием веет от записи в дневнике, сделанной Пушкиным 26 января 1834 года: «Барон Дантес и маркиз де-Пина, два шуана, будут приняты в гвардию офицерами. Гвардия ропщет».

2.

Из приведенного выше письма Адлерберга, писанного 5 января 1834 года, т. е. три месяца спустя после приезда Дантеса в Петербург, видно, что барон Геккерен являлся уже признанным покровителем Дантеса. Действительно, он выказал самую деятельную заботливость о молодом французе, хлопотал о помещении его на службу, заботился об его экзаменах, устраивал ему светские и сановные знакомства и, наконец, оказал ему самую широкую материальную поддержку. Дантес сообщил своему отцу в Зульц о добром к нему отношении Геккерена, а Дантес-старший поспешил высказать свои чувства в письме к Геккерену: «Я не могу в достаточной мере засвидетельствовать Вам всю мою признательность за все то добро, которое Вы сделали для моего сына; надеюсь, что он заслужит его. Письмо Вашего Превосходительства меня совершенно успокоило, потому что я не могу скрыть от Вас, что я беспокоился за его судьбу. Я боялся, как бы он, с его доверчивым и распущенным характером, не наделал вредных знакомств, но, благодаря Вашей благосклонности, благодаря тому, что Вы пожелали взять его под свое покровительство и выказать ему дружеское расположение, я спокоен. Я надеюсь, что его экзамен сойдет хорошо, так как он был принят в Сен-Сир четвертым по порядку (из 180 принятых вместе с ним)... Я принимаю с благодарностью предложение Вашего Превосходительства выдать ему на первые расходы по его экипировке и прошу Вас соблаговолить сообщить мне сумму Ваших издержек, дабы я мог вернуть их Вам. Доброе расположение Вашего Превосходительства дает мне право войти в подробности, которые покажут Вам все, что я могу сделать в настоящий момент для моего сына». Далее Дантес-отец говорит о своем материальном положении. Сын просил отца выдавать ему 800—900 франков ежемесячно, но для отца такая выдача была не по силам. Он мог ему дать всего 200 франков. Эта сумма вместе с жалованьем превосходила, по мнению отца, в три раза ту сумму, с которой можно было обойтись на французской службе. Если бы понадобилось, то с напряжением он мог бы еще увеличить выдачу, но лишь на время. Наконец, отец Дантеса согласился и еще на некоторые жертвы, если бы сын его попал в гвардию. Получив известие о зачислении сына в Кавалергардский полк, Дантес пишет восторженное письмо барону Геккерену: «Я сейчас узнал от Жоржа о его назначении и о том, что Вы соблаговолили для него сделать. Я не могу в достаточной мере выразить Вам мою благодарность и засвидетельствовать всю мою признательность. Жорж обязан своей будущностью только Вам, господин барон, — он смотрит на Вас, как на своего отца, и я надеюсь, что он будет достоин

---

[1] *Панчулидзев*, назв. соч., стр. 76.

такого отношения. Единственное мое желание в этот момент — иметь возможность лично засвидетельствовать Вам всю мою признательность, так как со времени смерти моей жены это — первая счастливая минута, которую я испытал... Я спокоен за судьбу моего сына, которого я всецело уступаю Вашему Превосходительству...» Когда Дантес-отец писал последнюю фразу, он говорил просто из вежливости и вряд ли имел в виду реальное значение этих слов и уж наверно не думал, что через два года он действительно уступит своего сына барону Геккерену.

В действительности расположение и любовь барона Геккерена к Дантесу росли с каждым днем все больше и крепче. Можно сказать, что барон Геккерен души не чаял в молодом офицере, заботясь о нем с исключительной нежностью и предусмотрительностью. Родитель Дантеса и его семья не усматривали ничего странного в преданности барона Геккерена Жоржу. В 1834 году Дантес-старший имел возможность лично познакомиться с голландским посланником, который, путешествуя в Париж, нашел время заглянуть в Эльзас, на родину Жоржа. С течением времени у барона Геккерена возникла и окрепла мысль легализировать отношения, существовавшие между ним и Дантесом: он решил его усыновить; очевидно, неоднократно он доводил об этом до сведения Дантеса-старшего и, наконец, в начале 1836 года сделал отцу Дантеса формальное предложение дать согласие на усыновление им его сына. Дантес не удивился и согласился. Письмо его весьма любопытно, и некоторые выдержки из него необходимы для обрисовки взаимных отношений этих трех лиц.

«С чувством живейшей благодарности пользуюсь я случаем побеседовать с Вами о том предложении, которое Вы были добры делать мне столько раз, — об усыновлении Вами сына моего Жоржа-Шарля Дантеса и о передаче ему по наследству Вашего имени и Вашего состояния.

Много доказательств дружбы, которую Вы не перестали высказывать мне столько лет, было дано мне Вами, г. барон, это последнее как бы завершает их; ибо этот великодушный план, открывающий перед моим сыном судьбу, которой я не в силах был создать ему, делает меня счастливым в лице того, кто для меня на свете всех дороже.

Итак, припишите исключительно лишь крепости уз, соединяющих отца с сыном, то промедление, с которым я изъявляю вам мое подлинное согласие, уже давно жившее в моем сердце. В самом деле, следя внимательно за тем ростом привязанности, которую внушил Вам этот ребенок, видя, с какою заботливостью Вы пожелали блюсти его, пещись о его нуждах, словом, окружать его заботами, не прекращавшимися ни на минуту до настоящего момента, когда Ваше покровительство открывает перед ним поприще, на котором он не может не отличиться, — я сказал себе, что эта награда вполне принадлежит Вам и что моя отцовская любовь к моему ребенку должна уступить такой преданности, такому великодушию.

Итак, г. барон, я спешу уведомить Вас о том, что с нынешнего дня я отказываюсь от всех моих отцовских прав на Жоржа-Шарля Дантеса и одновременно даю Вам право усыновить его в качестве Вашего сына, заранее и вполне присоединяясь ко всем шагам, которые Вы будете иметь случай предпринять для того, чтобы это усыновление получило силу пред лицом закона».

5 мая (нов. ст.) 1836 года формальности усыновления были завершены королевским актом — и барон Жорж Дантес превратился в барона Геккерена. 4 июня генерал-адъютант Адлерберг довел до сведения вице-канцлера о соизволении, данном императором Николаем Павловичем на просьбу посланника барона Геккерена об усыновлении им поручика барона Дантеса, «с тем, чтобы он именуем был впредь вместо нынешней фамилии бароном Георгом-Карлом Геккереном»[1]. Соответствующие указания на этот счет были даны правительствующему сенату и командиру Отдельного гвардейского корпуса.

К этому времени Дантес уже совершенно акклиматизировался в Петербурге и пустил прочные корни в высшем свете.

Служебное положение Дантеса тоже сильно укрепилось, несмотря на то, что он оказался неважным служакой. Хотя в формуляре его и значится, что он «в слабом отправлении обязанностей по службе не замечен и неисправностей между подчиненными не допускал», но историк Кавалергардского полка и биограф Дантеса, на основании данных полкового архива, пришел к иному заключению. «Дантес, по поступлении в полк, оказался не только весьма слабым по фронту, но и весьма недисциплинированным офицером; таким он оставался в течение всей своей службы в полку: то он «садится в экипаж» после развода, тогда как «вообще из начальников никто не уезжал», то он на параде, «как только скомандовано было полку вольно, позволил себе курить сигару»; то на линейку бивака, вопреки приказанию офицерам не выходить иначе, как в колетах или сюртуках, выходит в шлафроке, имея шинель в накидку». На учении слишком громко поправляет свой взвод, что, однако, не мешает ему самому «терять дистанцию» и до команды «вольно» сидеть «совершенно распустившись» на седле; «эти упущения Дантес совершает не однажды, но они неоднократно наперед сего замечаемы были». Мы не говорим уже об отлучках с дежурства, опаздывании на службу и т. п. 19 ноября 1836 года отдано было в полковом приказе: «Неоднократно поручик барон де Геккерен подвергался выговорам за неисполнение своих обязанностей, за что уже и был несколько раз наряжаем без очереди дежурным при дивизионе; хотя объявлено вчерашнего числа, что я буду сегодня делать репетицию ординарцам, на коей и он должен был находиться, но не менее того... на оную опоздал, за что и делаю ему строжайший выговор и наряжаю дежурным на пять раз». Число всех взысканий, которым был подвергнут Дантес за три года службы в полку, достигает цифры 44[2].

Все эти неисправности не помешали движению Дантеса по службе. Мы знаем уже, что при назначении он получил чин корнета и зачислен был, при вступлении в полк, в 7-й, запасный, батальон. Перевод его в действующий батальон несколько задержался, так как к положенному для перевода из запасной части сроку Дантес еще не знал российского языка. Кажется, российского языка, как следует, Дантес так и не изучил. 28 января 1836 года Дантес был произведен в поручики, и на этом кончились его повышения на русской службе.

Блистательно складывались дела Дантеса в обществе, или, вернее,

---

[1] См. «Дело об усыновлении» и т. д. в книге «Пушкин. Документы Государственного и С.-Петербургского Главного архива министерства иностранных дел». Спб., 1900.

[2] *С. А. Панчулидзев,* назв. соч., стр. 77.

в высшем свете. Введенный туда бароном Геккереном, молодой француз быстро завоевал положение: он считался «l'un des plus beaux chevaliers gardes et l'un des hommes le plus à la mode»[1]. Своими успехами он обязан был и покровительству Геккерена и собственным талантам. Красивый, можно сказать, блестяще красивый кавалергард, веселый и остроумный собеседник внушал расположение к себе. Этому расположению не мешала даже некоторая самоуверенность и заносчивость.

Отзывы современников не в отталкивающем освещении рисуют Дантеса.

Полковой командир Гринвальд отзывался о Дантесе как о ловком и умном человеке, обладавшем злым языком. Его остроты смешили молодых офицеров. Несколько таких острот сохранил в своих воспоминаниях А. И. Злотницкий, вступивший в полк спустя несколько лет после трагической истории: «Дантес, — по его словам, — видный, очень красивый, прекрасно воспитанный, умный, высшего общества светский человек, чрезвычайно ценимый, как это я видел за границей, русской аристократией. И великому князю Михаилу Павловичу нравилось его остроумие, и потому он любил с ним беседовать. В то время командир полка Гринвальд обыкновенно приглашал всех четырех дежурных по полку к себе обедать. Однажды во время обеда висевшая лампа упала и обрызгала стол маслом. Дантес, вышедши из дома генерала, шутя сказал: «Гринвальд nous fait manger de la vache enragée assai sonnée d'huile de lampe". Генерал Гринвальд, узнав об этом, перестал приглашать дежурных к себе обедать».

В воспоминаниях полкового товарища Дантеса Н. Н. Пантелеева Дантес остался с эпитетом «заносчивого француза»[2].

Другой полковой товарищ, князь А. В. Трубецкой, отзывается о Дантесе следующим образом: «Он был статен, красив; как иностранец, он был пообразованнее нас, пажей, и, как француз, — остроумен, жив. Отличный товарищ».

В полку Дантес пользовался полными симпатиями своих товарищей, и они доказали ему свою любовь, приняв решительно сторону Дантеса против Пушкина после злосчастного поединка.

За свое остроумие Дантес пользовался благоволением великого князя Михаила Павловича, который считался изрядным остряком своего времени и круга и любил выслушивать остроты и каламбуры. Даже трагический исход дуэли Пушкина не положил предела их общения на почве каламбуров. После высылки из России Дантес встретился с Михаилом Павловичем в Баден-Бадене и увеселил его здесь своими шутками и дурачествами[3].

По словам К. К. Данзаса, бывшего секундантом Пушкина, Дантес, «при довольно большом росте и приятной наружности, был человек не глупый, и хотя весьма скудно образованный, но имевший какую-то

---

[1] «Пушкин и его современники», вып. XIV, стр. 94.

[2] Отзывы Гринвальда, Пантелеева и Злотницкого приведены у *С. А. Панчулидзева,* назв. соч., стр. 77.

[3] Об отношении великого князя Михаила Павловича к Дантесу см. рассказ *П. И. Бартенева,* «Русск. арх.», 1888, II, стр. 300. Уезжая поневоле из России, Дантес заявлял, что «по приезде в Баден он тотчас явится к великому князю Михаилу Павловичу» (*В. В. Никольский.* Идеалы Пушкина. Изд 3-е. Спб., 1899, стр. 132).

врожденную способность нравиться всем с первого взгляда... Дантес пользовался хорошей репутацией и заслуживал ее, если не ставить ему в упрек фатовство и слабость хвастать своими успехами у женщин»[1].

Вот отзыв о Дантесе Н. М. Смирнова, мужа известной Александры Осиповны, — человека, отнюдь не благорасположенного к нему: «Красивой наружности, ловкий, веселый и забавный, болтливый, как все французы, он был везде принят дружески, понравился даже Пушкину, дал ему прозвание Pacha à trois queues, когда однажды тот приехал на бал с женою и ее двумя сестрами»[2].

Этих данных вполне достаточно для объяснения светского успеха Дантеса, но он был еще и прельстителем. «Он был очень красив, — говорит князь А. В. Трубецкой, — и постоянный успех в дамском обществе избаловал его: он относился к дамам вообще, как иностранец, смелее, развязнее, чем мы, русские, и, как избалованный ими, требовательнее, если хотите, нахальнее, наглее, чем даже было принято в нашем обществе». По отзыву современника-наблюдателя, «Дантес возымел великий успех в обществе; дамы вырывали его одна у другой»[3].

В свете Дантес встретился с Пушкиным и его женой. Наталья Николаевна Пушкина, затмевая всех своей красотой, блистала в петербургском свете и произвела на Дантеса сильнейшее впечатление. Роковое увлечение Дантеса завершилось роковым концом — поединком и смертью Пушкина.

3.

На личности Натальи Николаевны мы должны остановиться. В нашу задачу не входит подробное изображение семейной жизни Пушкина; здесь важно отметить лишь некоторые моменты и подробности семейной истории Пушкина, не в достаточной, быть может, мере привлекавшие внимание исследователей[4]. Для нас же они важны с точки зрения освещения семейного положения Пушкина в конце 1836 года. Обстоятельствами семейными объясняется многое в душевном состоянии Пушкина в последние месяцы его жизни.

---

[1] *А. Аммосов.* Последние дни жизни и кончина А. С. Пушкина. Спб., 1863, стр. 5, 8.

[2] «Русск. арх.», 1882, I, стр. 233.

[3] Там же, 1878, I, стр. 455.

[4] В последнее время история семейной жизни Пушкина изложена *П. О. Морозовым* — Сочинения Пушкина. Редакция С. А. Венгерова. Изд. Брокгауза—Ефрона, т. IV, стр. 201—225. См. еще статью *П. В. Засодимского* «Чем была для Пушкина женитьба» («Наблюдатель», 1888, декабрь, стр. 338—382) и возражение *А. Новицкого* на эту статью, под тем же заголовком, в «Русск. арх.», 1889, III, 124—130; статью *Е. Поселянина* «Несчастье Пушкина» («Московские ведомости», 28 мая 1899 года); исследование *Н. Ф. Сумцова* — Комментарии к стихотворению «Красавица» (в книге «А. С. Пушкин. Исследования проф. Н. Ф. Сумцова». Харьков, 1900, стр. 243—252). Сравн. также очерк *И. Филиппова* «Стихи Н. Н. Пушкиной» (в книге «Неумирающие темы». Одесса, 1913, стр. 20—28). Не цитируем и не упоминаем, за незначительностью, многих и многих заметок и статеек о семейной жизни Пушкина.

Поразительная красота шестнадцатилетней барышни Натальи Гончаровой приковала взоры Пушкина при первом же ее появлении в 1828 году в большом свете Первопрестольной. «Когда я увидел ее в первый раз, — писал Пушкин в апреле 1830 года матери Натальи Николаевны, — ее красота была едва замечена в свете: я полюбил ее, у меня голова пошла кругом»[1]. Но красота Натальи Гончаровой очень скоро была высоко оценена современниками. О ней и об А. В. Алябьевой шумела молва, как о первых московских красавицах. Пушкин, желая похвалить эстетические вкусы князя Н. Б. Юсупова, в известном послании «К вельможе» (дата — 23 апреля 1829 года) писал:

Влиянье красоты
Ты живо чувствуешь. С восторгом ценишь ты
И блеск Алябьевой, и прелесть Гончаровой.

Князь П. А. Вяземский сравнивал красоту Алябьевой avec une beauté classique, a красоту Гончаровой avec une beauté romantique и находил, что Пушкину, первому романтическому поэту, и следовало жениться на первой романтической красавице[2].

История женитьбы Пушкина известна. Бракосочетанию предшествовал долгий и тягостный период сватовства, ряд тяжелых историй, неприятных столкновений с семьею невесты. Налаженное дело несколько раз висело на волоске и было накануне решительного расстройства. Приятель Пушкина С. Д. Киселев в письме Пушкина к Н. С. Алексееву от 26 декабря 1830 года сделал любопытную приписку, — конечно, не без ведома автора письма: «Пушкин женится на Гончаровой, — между нами сказать, — на бездушной красавице, и мне сдается, что он бы с удовольствием заключил отступной трактат»[3]. И когда до свадьбы оставалось всего два дня, «в городе опять начали поговаривать, что Пушкина свадьба расходится». А. Я. Булгаков, сообщивший это известие своему брату в Петербург, добавлял: «Я думаю, что и для нее (т. е. Гончаровой), и для него лучше было бы, кабы свадьба разошлась»[4]. Сам Пушкин был далеко не в радужном настроении перед бракосочетанием. «Мне за 30 лет, — писал он Н. И. Кривцову за неделю до свадьбы. — В тридцать лет люди обыкновенно женятся — я поступаю, как люди, и вероятно не буду в том раскаяваться. К тому же я женюсь без упоения, без ребяческого очарования. Будущность является мне не в розах, но в строгой наготе своей. Горести не удивят меня: они входят в мои домашние расчеты. Всякая радость будет мне неожиданностью»[5].

Свадьба состоялась 18 февраля. Тот же Булгаков писал брату: «Итак, совершилась эта свадьба, которая так долго тянулась. Ну, да как будет хороший муж? То-то всех удивит, — никто не ожидает, а все сожалеют о ней. Я сказал Грише Корсакову: быть ей миледи Байрон. Он пересказал Пушкину, который смеялся только»[6]. Злым вещуном был не один Булгаков. Можно было бы привести ряд

---

[1] Переписка, II, № 425, стр. 130.
[2] Переписка, II, № 429, стр. 139.
[3] Переписка, II, № 500, стр. 204.
[4] «Русск. арх.», 1902, I, 52.
[5] Переписка, II, № 522, стр. 223.
[6] «Русск. арх.», 1902, I, стр. 54.

свидетельств современников, не ждавших добра от этого брака. Большинство сожалело «ее». С точки зрения этого большинства Пушкин в письме к матери невесты гадал о будущем Натальи Николаевны: «(Если она выйдет за него), сохранит ли она сердечное спокойствие среди окружающего ее удивления, поклонения, искушений? Ей станут говорить, что только несчастная случайность помешала ей вступить в другой союз, более равный, более блестящий, более достойный ее, — и, может быть, эти речи будут искренни, а во всяком случае она сочтет их такими. Не явится ли у нее сожаление? не будет ли она смотреть на меня, как на препятствие, как на человека, обманом ее захватившего? не почувствует ли она отвращения ко мне?»[1].

Злые вещуны судили по прошлой жизни Пушкина. Но нашлись люди, которые пожалели не «ее», но «его», Пушкина. Весьма своеобразный отзыв о свадебном деле Пушкина дал в своем дневнике А. Н. Вульф, близкий свидетель интимных успехов поэта: «Желаю ему быть щастливу, но не знаю, возможно ли надеяться этого с его нравами и с его образом мыслей. Если круговая порука есть в порядке вещей, то сколько ему, бедному, носить рогов, — это тем вероятнее, что первым его делом будет развратить жену. Желаю, чтобы я во всем ошибся»[2]. Е. М. Хитрово, любившая поэта самоотверженной любовью, боялась за Пушкина по другим, благородным основаниям: «Я опасаюсь для вас прозаической стороны супружества. Я всегда думала, что гений может устоять только среди совершенной независимости и развиваться только среди повторяющихся бедствий»[3].

Первое время после свадьбы Пушкин был счастлив. Спустя неделю он писал Плетневу: «Я женат — и счастлив. Одно желание мое, чтоб ничего в жизни моей не изменилось — лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился»[4]. Светские наблюдатели отметили эту перемену в Пушкине. А. Я. Булгаков сообщал своему брату: «Пушкин, кажется, ужасно ухаживает за молодою женою и напоминает при ней Вулкана с Венерою... Пушкин славный задал вчера бал. И он, и она прекрасно угощали гостей своих. Она прелестна, и они как два голубка. Дай Бог, чтобы все так продолжалось!»[5] А Е. Е. Кашкина уведомляла П. А. Осипову, что «со времени женитьбы поэт — совсем другой человек: положителен, уравновешен, обожает свою жену, а она достойна такой метаморфозы, потому что, говорят, она столь же умна (spirituelle), сколь и прекрасна, с осанкой богини, с прелестным лицом. Когда я встречаю его рядом с прелестной супругой, он мне невольно напоминает одно очень умное и острое животное, — какое вы догадаетесь, я вам его не назову»[6]. Отмеченный в последних словах,

---

[1] Переписка, II, № 425, стр. 131.

[2] «Пушкин и его современники», вып. XXI—XXII, стр. 124.

[3] Переписка, II, № 451, стр. 152; князь *П. П. Вяземский.* Собрание соч. Спб., 526.

[4] Переписка, II, № 526, стр. 228.

[5] «Русск. арх.», 1902, I, 56.

[6] «Пушкин и его современники», вып. I, стр. 65. «Пушкин не любил стоять рядом со своей женой и шутя говаривал, что ему подле нее быть унизительно: так мал был он в сравнении с нею ростом» — записал П. И. Бартенев со слов князя Вяземского («Русск. арх.», 1888, II, стр. 311).

а также в ранее приведенном сравнении Пушкиных с Вулканом и Венерой физический контраст наружности Пушкина и его жены бросался в глаза современникам. Проигрывал при сравнении Пушкин.

Любопытное свидетельство о Н. Н. Пушкиной и о семейной жизни Пушкина в медовый месяц оставил его приятель, поэт В. И. Туманский: «Пушкин радовался, как ребенок, моему приезду, оставил меня обедать у себя и чрезвычайно мило познакомил меня с своею пригожею женою. Не воображайте, однако ж, чтобы это было что-нибудь необыкновенное. Пушкина — беленькая, чистенькая девочка, с правильными чертами и лукавыми глазами, как у любой гризетки. Видно, что она и неловка еще, и неразвязна. А все-таки московщина отражается в ней довольно заметно. Что у нее нет вкуса, это видно по безобразному ее наряду. Что у нее нет ни опрятности, ни порядка — о том свидетельствовали запачканные салфетки и скатерть и расстройство мебели и посуды»[1].

Очень скоро после свадьбы опять начались нелады с семьей жены, заставившие Пушкина озаботиться скорейшим отъездом в Петербург. Пушкин в письме к теще так резюмировал свое положение: «Я был вынужден оставить Москву во избежание разных дрязг, которые, в конце концов, могли бы нарушить более, чем одно мое спокойствие; меня изображали моей жене, как человека ненавистного, жадного, презренного ростовщика, ей говорили: с вашей стороны глупо позволять мужу и т. д. Сознайтесь, что это значит проповедовать развод. Жена не может, сохраняя приличие, выслушивать, что ее муж — презренный человек, и обязанность моей жены подчиняться тому, что я себе позволяю. Не женщине в 18 лет управлять мужчиною 32 лет. Я представил доказательства терпения и деликатности; но, по-видимому, я только напрасно трудился»[2].

Пушкин мечтал «не доехать до Петербурга и остановиться в Царском Селе». «Мысль благословенная! Лето и осень таким образом провел бы я в уединении вдохновительном, вблизи столицы; в кругу милых воспоминаний и тому подобных удобностей», — писал Пушкин Плетневу[3]. Плетнев помог осуществлению мечты поэта и устроил его в Царском. В середине мая Пушкины благополучно прибыли в Петербург и остановились здесь на несколько дней — до устройства квартиры. Е. М. Хитрово сообщала князю Вяземскому о впечатлениях своей встречи с Пушкиными: «Я была очень счастлива свидеться с нашим общим другом. Я нахожу, что он много выиграл в умственном отношении и относительно разговора. Жена очень хороша и кажется безобидной»[4]. Дочь Е. М. Хитрово, графиня Фикельмон, очень тонкая и умная светская женщина, писала тому же Вяземскому: «Пушкин к нам приехал к нашей большой радости. Я нахожу, что он в этот раз еще любезнее. Мне кажется, что я в уме его отмечаю серьезный оттенок, который ему и подходящ. Жена его прекрасное создание; но это меланхолическое и тихое выражение похоже на предчувствие несчастья... Физиономии мужа и жены не предсказывают ни спокойствия, ни тихой радости в будущем. У Пуш-

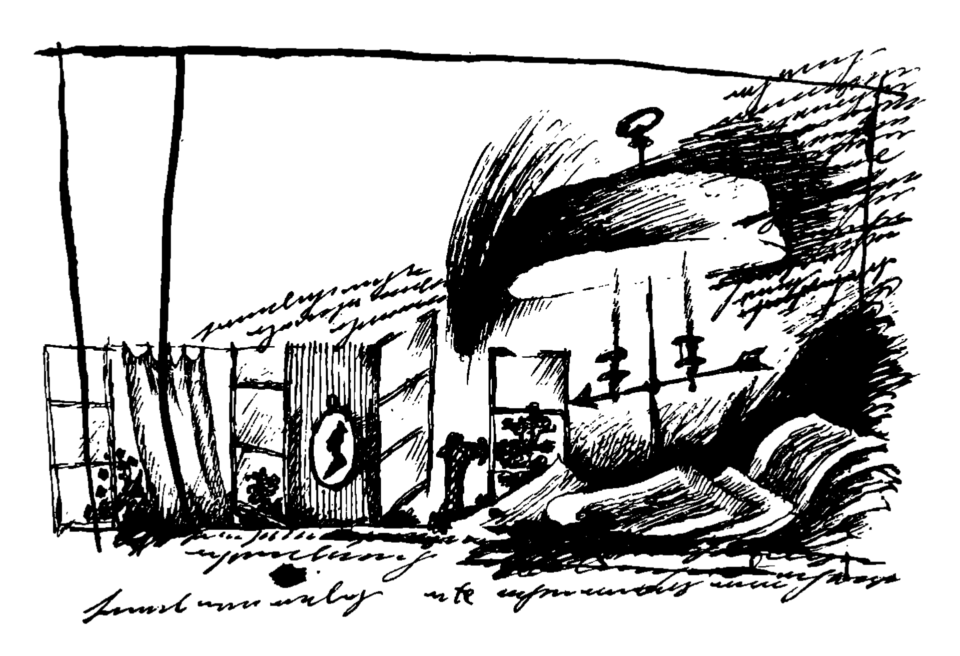
---

1 Стихотворения и письма *В. И. Туманского,* под ред. С. Н. Браиловского. Спб., 1912, стр. 310—311.

2 Переписка, II, № 556, стр. 259.

3 Переписка, II, № 530, стр. 231.

4 Князь *П. П. Вяземский.* Собрание сочинений. Спб., стр. 531.



кина видны все порывы страстей; у жены — вся меланхолия отречения от себя. Впрочем, я видела эту красивую женщину всего только один раз»[1]. Предчувствие несчастья не оставляло эту светскую наблюдательницу и впоследствии, в декабре 1834 года она писала князю П. А. Вяземскому: «Жена его хороша, хороша, хороша! Но страдальческое выражение ее лба заставляет меня трепетать за ее будущность»[2].

В двадцатых числах мая 1831 года Пушкины обосновались в Царском и стали жить «тихо и весело». Сестра Пушкина, О. С. Павлищева, жившая в это время в Петербурге, в письмах к мужу оставила немало подробностей о семейной жизни своего брата. Вот ее первые впечатления: «Они очарованы друг другом. Моя невестка прелестна, красива, изящна, умна и вместе с тем мила» («Ma belle-sœur est tout à fait charmante, jolie et belle et spirituelle avec cela bonne enfant tout à fait»). А через несколько дней О. С. Павлищева добавляла: «Моя невестка прелестна, она заслуживала бы более любезного мужа, чем Александр». Спустя 2½ месяца она писала: «С физической стороны они — совершенный контраст: Вулкан и Венера, Кирик и Улита и т. д. В конце концов, на мой взгляд, здесь есть женщины столь же красивые, как она: графиня Пушкина не много хуже, m-me Фикельмон не хуже, а m-me Зубова, урожденная Эйлер, говорят, лучше»[3]. Отличное впечатление произвели молодые и на В. А. Жуковского. «Женка Пушкина очень милое творение. C'est le mot. И он с нею мне весьма нравится. Я более и более за него радуюсь тому, что он женат. И душа, и жизнь, и поэзия

[1] Там же, стр. 532.
[2] Там же, стр. 533.
[3] «Пушкин и его современники», XV, стр. 67, 76, 84.

в выигрыше», — писал Жуковский князю Вяземскому и А. И. Тургеневу[1].

Периоду тихой и веселой жизни в Царском летом и осенью 1831 года мы придаем огромное значение для всей последующей жизни Пушкина. В это время завязались те узлы, развязать которые напрасно старался Пушкин в последние годы своей жизни. Отсюда потянулись нити его зависимости, внешней и внутренней; нити, сначала тонкие, становились с годами все крепче и опутали его вконец.

Уже в это время семейная его жизнь пошла по тому руслу, с которого Пушкин впоследствии тщетно пытался свернуть ее на новый путь. Уже в это время (жизнь в Царском и первый год жизни в Петербурге) Наталья Николаевна установила свой образ жизни и нашла свое содержание жизни.

Появление девятнадцатилетней жены Пушкина при дворе и в петербургском большом свете сопровождалось блистательным успехом. Этот успех был неизменным спутником Н. Н. Пушкиной. Создан он был очарованием ее внешности; закреплен и упрочен стараниями светских друзей Пушкина и тетки Натальи Николаевны — пользовавшейся большим влиянием при дворе престарелой фрейлины Екатерины Ивановны Загряжской. Е. И. Загряжская играла большую роль в семье Пушкиных. Она была моральным авторитетом для племянницы, ее руководительницей и советчицей в свете, наконец, материальной опорой. Гордясь своей племянницей, она облегчала тяжелое бремя Пушкина, оплачивая туалеты племянницы и помогая ей материально.

В письмах сестры Пушкина, О. С. Павлищевой, к мужу мы находим красноречивые свидетельства об успехах Н. Н. Пушкиной в свете и при дворе. В середине августа 1831 года Ольга Сергеевна писала мужу: «Моя невестка прелестна: она является предметом удивления в Царском; императрица желает, чтобы она была при дворе; а она жалеет об этом, так как она не глупа; нет, это не то, что я хотела сказать: хотя она вовсе не глупа, но она еще немного застенчива, но это пройдет, и она — красивая, молодая и любезная женщина — поладит и со двором, и с императрицей». Немного позже Ольга Сергеевна сообщала, что Н. Н. Пушкина была представлена императрице и императрица от нее в восхищении! В письмах Ольги Сергеевны есть сообщения и о светских успехах Натальи Николаевны. Ольге Сергеевне не нравился образ жизни Пушкиных; они слишком много принимали, в особенности после переезда, в октябре месяце, в Петербург. В Петербурге Пушкина сразу стала «самою модною женщиной. Она появилась на самых верхах петербургского света. Ее прославили самой красивой женщиной и прозвали «Психеей» (Quant à ma belle-sœur, c'est la femme la plus à la mode ici. Elle est dans le très grand monde et on dit en général qu'elle est la plus belle; on l'a surnommée «Psychée»)[2]. Барон М. Н. Сердобин писал в ноябре 1831 года барону Б. А. Вревскому: «Жена Пушкина появилась в большом свете и была здесь отменно хорошо принята, она нравится всем и своим обращением, и своей наружностью, в которой находят что-то трогательное»[3]. Вот еще одно

---

[1] Письма В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу, стр. 256.
[2] «Пушкин и его современники», вып. XV, стр. 84, 89, 101, 106.
[3] Там же, вып. XXI—XXII, стр. 371.

свидетельство об успехах Н. Н. Пушкиной в осенний сезон 1832 года: «Жена Пушкина сияет на балах и затмевает других», — писал 4 сентября 1832 года князь П. А. Вяземский А. И. Тургеневу[1]. Можно было бы привести длинный ряд современных свидетельств о светских успехах Н. Н. Пушкиной. Все они однообразны: сияет, блистает, la plus belle, поразительная красавица и т. д. Но среди десятков отзывов нет ни одного, который указывал бы на какие-либо иные достоинства Н. Н. Пушкиной, кроме красоты. Кое-где прибавляют: «мила, умна», но в таких прибавках чувствуется только дань вежливости той же красоте. Да, Наталья Николаевна была так красива, что могла позволить себе роскошь не иметь никаких других достоинств.

Женитьба поставила перед Пушкиным жизненные задачи, которые до тех пор не стояли на первом плане жизненного строительства. На первое место выдвигались заботы материального характера. Один, он мог мириться с материальными неустройствами, но молодую жену и будущую семью он должен был обеспечить. Еще до свадьбы Пушкин обещал матери своей невесты: «Я ни за что не потерплю, чтобы моя жена чувствовала какие-либо лишения, чтобы она не бывала там, куда она призвана блистать и развлекаться. Она имеет право этого требовать. В угоду ей я готов пожертвовать всеми своими привычками и страстями, всем своим вольным существованием»[2]. Женившись, Пушкин должен был думать о создании общественного положения, Ему, вольному поэту, такое положение не было нужно: оно было нужно его жене. Светские успехи жены обязывали Пушкина в сильнейшей степени, принуждали его тянуться изо всех сил и прилагать усилия к тому, чтобы его жена, принятая dans le très grand monde, была на высоте положения и чтобы то место, которое она заняла по праву красоты, было обеспечено еще и признанием за ней права на это место по светскому званию или положению ее мужа. Звание поэта не имело цены в свете — и Пушкин должен был думать о службе, о придворном звании.

Если бы в обсуждении планов будущей жизни, в принятии решений Пушкин был предоставлен самому себе, быть может, он имел бы силы не ступить на тот путь, который наметился в первые же месяцы его брачной жизни, но он имел несчастие попасть в Царское Село. На его беду, в холерное лето 1831 года в Царское прибыл двор, пребывание которого там первоначально не предполагалось. Вместе с двором переехал в Царское и В. А. Жуковский. Первые месяцы своей женатой жизни по отъезде из Москвы Пушкин провел в теснейшем общении с Жуковским и подвергся длительному влиянию его личности, его политического и этического миросозерцания[3]. Жуковский жил по соседству с Пушкиным и часто с ним видался; немало вечеров провели они вместе у известной фрейлины

[1] «Тургеневский архив. Письма А. И. Тургенева к князю П. А. Вяземскому». Ред. Н. К. Кульмана, стр. 104.

[2] Переписка. II, № 425, стр. 131.

[3] До 1831 года Пушкину не приходилось общаться с Жуковским. До высылки из Петербурга в 1820 году Пушкин не мог быть интимно близок с Жуковским, его учителем в поэзии. В годы изгнания Жуковский был его благодетелем и старшим советчиком. По возвращении из Михайловского в скитальческие годы своей жизни Пушкин видался с Жуковским только урывками.

А. О. Россет, помолвленной в 1831 году с Н. М. Смирновым. Вместе с Жуковским Пушкин дышал воздухом придворной атмосферы. В том освещении, которое создавал прекраснодушный Жуковский, воспринимал Пушкин и личность императора.

В определении и разрешении жизненных задач, возникавших перед Пушкиным, Жуковский принял ближайшее участие. Он и раньше был благодетелем и устроителем внешней жизни Пушкина; таким он явился и летом 1831 года. Под его влиянием, по его советам Пушкин стал искать разрешения житейских задач и затруднений около двора и от государя. Пушкин должен был получить службу, добыть материальную поддержку. Жуковский всячески облегчал Пушкину сношения с государем; конечно, при его содействии было устроено и личное общение поэта с государем в допустимой этикетом мере. Жуковский был инициатором царских милостей и царского расположения. Он докладывал государю о Пушкине и говорил Пушкину о государе. «Царь со мною очень милостив и любезен, — писал поэт П. А. Плетневу[1]. — Царь взял меня в службу, но не в канцелярскую, или придворную, или военную — нет, он дал мне жалованье, открыл мне архивы с тем, чтоб я рылся там и ничего не делал. Это очень мило с его стороны, не правда ли? Он сказал: „Puisqu'il est marié et qu'il n'est pas riche il faut faire aller sa marmite“. Ей богу, он очень со мною мил». Эти милости, это благоволение, подкрепленные личным общением с государем, обязали Пушкина навсегда чувством благодарности, и росту, укреплению этого чувства как нельзя больше содействовал Жуковский. Впоследствии боязнь оказаться неблагодарным не раз сковывала стремление Пушкина разорвать тягостные обязательства. «Я не хочу, чтобы могли меня подозревать в неблагодарности: это хуже либерализма», — писал однажды Пушкин[2].

Но Жуковский мощно влиял и на политическое миросозерцание Пушкина, Если на один момент воспользоваться привычными теперь терминами, то придется сказать, что в 1831 году убеждения Пушкина достигли зенита своей правизны: после 1831 года они подвергались колебаниям, но всегда влево. Политические обстоятельства этого года дали большую пищу для политических размышлений; мысли Жуковского и Пушкина совпали удивительнейшим образом. Недаром их политические стихотворения появились в одной брошюре, и Жуковский сообщал А. И. Тургеневу: «Нас разом прорвало, и есть от чего»[3]. Есть указание на то, что «Клеветникам России» написано по предложению Николая Павловича, что первыми слушателями этого стихотворения были члены царской семьи. «Граф В. А. Васильев сказывал (Бартеневу), что, служа в 1831 году в лейб-гусарах, однажды летом он возвращался часу в четвертом утра в Царское Село, и, когда проезжал мимо дома Китаевой, Пушкин зазвал его в раскрытое окно к себе. Граф Васильев нашел поэта за письменным столом в халате, но без сорочки (так он привык, живучи на юге). Пушкин писал тогда свое послание «Клеветникам России» и сказал молодому графу, что пишет по желанию государя»[4]. Поэт

---

[1] Переписка, II, № 577, стр. 287.
[2] Переписка, III, № 854, стр. 153.
[3] Письма В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу. М., 1895, стр. 259.
[4] «Русск. арх.», 1912, II, стр. 516. «Из записной книжки».

отражал, несомненно, мысли и настроения тесного придворного круга. Князь Вяземский, ближайший приятель Пушкина, весьма осведомленный об эволюции его политических взглядов, был горестно поражен политическими стихотворениями Пушкина 1831 года: взгляды Пушкина были неожиданностью для Вяземского, хотя со времени разлуки, с отъезда Пушкиных из Москвы, прошло всего каких-нибудь три месяца. Читатели же и почитатели Пушкина, которым была неизвестна внутренняя жизнь Пушкина, судили несправедливо и грубо, делая выводы из фактов внешней жизни, узнавая о назначении его в службу, о близости ко двору. Близость, конечно, мнимая: Пушкин был близок к Жуковскому и, только по Жуковскому,—ко двору. Таков резкий отзыв Н. А. Мельгунова в письме к С. П. Шевыреву от 21 декабря 1831 года. А этот отзыв не единичный: «Мне досадно, что ты хвалишь Пушкина за последние его вирши. Он мне так огадился как человек, что я потерял к нему уважение даже как к поэту. Ибо одно с другим неразлучно. Я не говорю о Пушкине, творце „Годунова“ и пр.; то был другой Пушкин, то был поэт, подававший великие надежды и старавшийся оправдать их. Теперешний же Пушкин есть человек, остановившийся на половине своего поприща, который вместо того, чтобы смотреть прямо в лицо Аполлону, оглядывается по сторонам и ищет других божеств, для принесения им в жертву своего дара. Упал, упал Пушкин, и, признаюся, мне весьма жаль этого. О, честолюбие и златолюбие!»[1]

Нельзя отрицать того, что общие черты были и раньше в политических взглядах Жуковского и Пушкина, но полного тождества не было: оно было создано лишь подчинением Пушкина политической мысли Жуковского. Но это подчинение приводило Пушкина не только к зависимости теоретического характера, но и к зависимости чисто практической, ибо центральный объект теоретической мысли воплощался на практике в лице императора Николая Павловича. Пушкин, конечно, не мог успокоиться на безропотном подчинении; он пробовал протестовать—но являлся на сцену, как это было летом 1834 года, Жуковский и погашал протест призывом к чувству благодарности. Пушкин уходил в себя, замыкался и должен был тщательно заботиться в процессе творчества о сокрытии следов своей критической мысли. В «Медном всаднике» он так тщательно укрыл свою политическую мысль, что только путем внимательнейшего анализа ее начинают обнаруживать новейшие исследователи.

Итак, уже в первый год семейной жизни, в 1831 году, жизнь Пушкина приняла то направление, по которому она шла до самой его смерти. С годами становилось все тяжелее и тяжелее. Разноцветные нити зависимости переплелись в клубок. Уж трудно было разобрать, что от чего, с чего надо начать перемену жизни: бросить ли службу, скрыться от государственных милостей, вырвать жену и себя из светской суеты, раздостать деньги, разделаться с долгами? По временам Пушкин мог с добродушной иронией писать жене: «Какие вы помощницы или работницы? Вы работаете только ножками на балах и помогаете мужьям мотать... Вы, бабы, не понимаете счастья независимости и готовы закабалить себя навеки, чтобы только сказали про вас: „Hier madame une telle était décidément la

[1] *А. И. Кирпичников.* Очерки по истории новой русской литературы, т. II. М., 1903, стр. 169.

plus belle et la mieux mise du bal"[1]». Но иногда Пушкин не выдерживал добродушного тона. Горьким воплем звучат фразы письма к жене: «Дай бог... плюнуть на Петербург, да подать в отставку, да удрать в Болдино, да жить барином! Неприятна зависимость, особенно, когда лет 20 человек был независим. Это не упрек тебе, а ропот на самого себя»[2]. Эти слова писаны в мае 1834 года. В этот год Пушкин ясным оком взглянул на свою жизнь и решился на резкую перемену всего строя жизни, судорожно рванулся, но тут же был остановлен в своем движении Жуковским, который просто накричал на него. Кризис не наступил, а с 1834 года петли, образовавшиеся из нитей зависимости, медленно, но непрестанно затягивались.

Наталья Николаевна не была помощницей мужа в его замыслах о перемене жизни. В том же мае 1834 года Пушкин осторожно подготовлял жену к мысли об отъезде из Петербурга: «С твоего позволения, надобно будет, кажется, выдти мне в отставку и со вздохом сложить камер-юнкерский мундир, который так приятно льстил моему честолюбию и в котором, к сожалению, не успел я пощеголять. Ты молода, но ты уже мать семейства, и я уверен, что тебе не труднее будет исполнить долг доброй матери, как исполняешь ты долг честной и доброй жены. Зависимость и расстройство в хозяйстве ужасны в семействе; и никакие успехи тщеславия не могут вознаградить спокойствия и довольства. Вот тебе и мораль»[3].

Доводы Пушкина не были убедительны для Натальи Николаевны. Не покидавшая Пушкина мысль об отъезде в деревню не воспринималась его женой. Годом позже, в 1835 году, Наталья Николаевна отвергла предложение поездки в Болдино. Сестра Пушкина в характерных выражениях сообщила об этом отказе своему мужу: «Они (т. е. Пушкины) не едут больше в Нижний, как предполагал Monsieur, потому что Madame об этом и слышать не желает»[4].

В процессе закрепления ните-петель, стягивавших Пушкина, Наталья Николаевна, быть может, бессознательно, не отдавая себе отчета и подчиняясь лишь своему инстинкту, играла важную роль. «Она медленно, ежеминутно терзала восприимчивую и пламенную душу Пушкина», — говорит хорошо знавшая Пушкиных современница. Никогда не изменявшая, по ее мнению, чести, Наталья Николаевна была виновна в чрезмерном легкомыслии, в роковой самоуверенности и беспечности, при которых она не замечала той борьбы и тех мучений, какие выносил ее муж[5].

Но кто же, наконец, она, эта поразительная красавица? Какую душу облекла прелестная внешность? Мы уже упоминали, что почти все современные свидетельства о Наталье Николаевне Пушкиной говорят только об ее изумительной красоте и ни о чем больше: они молчат об ее сердце, ее душе, ее уме, ее вкусе. Перечтите письма князя Вяземского к А. И. Тургеневу, наполняющие огромные

---

[1] Переписка, III, № 829, стр. 127.
[2] Переписка, III, № 820, стр. 118.
[3] Там же, III, № 824, стр. 120.
[4] «Пушкин и его современники», вып. XVII—XVIII, 162.
[5] Княгиня Е. Н. Мещерская, дочь Н. М. Карамзина. — Я. Грот. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. Изд. 2-е. Спб., 1899, стр. 262.

C'est avec peine que je me suis décidée à t'écrire, n'ayant rien à te dire, et t'ayant donné de mes nouvelles par une occasion qui a eu lieu l'un de ces jours. Maman elle-même était sur le point de remettre sa lettre à la poste prochaine, cependant elle a craint que tu n'éprouves quelques inquiétudes en restant quelques tems sans avoir de nos nouvelles c'est ce qui l'a décidée à surmonter le sommeil et la fatigue qui l'accablent ainsi que moi, car nous avons été à l'air toute la journée. Tu verras d'après la lettre de Maman que nous nous portons tous très bien, ainsi je ne te dis rien à ce sujet, je termine ma lettre en t'embrassant bien tendrement, je compte t'écrire plus au long à la première occasion, ainsi adieu, porte toi bien, et ne nous oublie pas

Lundi 14 Mai 1834. Ярополец.

Письмо Н. Н. Пушкиной мужу

Перевод: С трудом решаюсь написать тебе, так как ничего не имею тебе сказать и только что на днях сообщила тебе все новости через одну оказию. Maman сама хотела было передать свое письмо со следующей почтой, но побоялась, что ты испытаешь некоторое беспокойство, оставаясь некоторое время без известий. Это заставило ее превозмочь сонливость и усталость, которые ее удручают так же, как и меня, так как мы были целый день на воздухе. Ты увидишь из письма maman, что мы все чувствуем себя очень хорошо, поэтому я тебе ничего на этот счет не пишу, кончаю письмо, нежно целуя тебя, при первом случае намереваюсь написать тебе побольше.

Итак прощай, будь здоров, не забывай нас.

Письмо Н. Н. Пушкиной мужу (1834 г.).

томы «Остафьевского архива»: вы найдете в них множество сообщений о красавицах, которыми всегда интересовался Вяземский; почти всякое сообщение дает одну, другую подробность к характеристике духовной личности, почти о каждой красавице — Авроре Мусиной-Пушкиной, А. В. Киреевой, о Долли Фикельмон и т. д. — из этих писем вы узнаете что-нибудь. Но сообщения о Пушкиной, крайне немногочисленные, говорят только об ее бальных успехах. Во всех свидетельствах о ней — не только князя Вяземского, но и всех других — не приведено ни одной ее фразы, не упомянуто ни об одном ее действии, поступке. Точно она — лицо без речей в драме, и вся ее роль сводится только к блистанию и затмеванию всех своей красотой. В этом молчании современников нет ничего загадочного: молчат, потому что нечего было сказать, нечего было отметить.

Нельзя не пожалеть о том, что в нашем распоряжении нет писем Натальи Николаевны, каких бы то ни было, а в особенности к Пушкину[1]. В настоящее время изображение личности Натальи Николаевны мы можем только проектировать по письмам к ней Пушкина. И вот, строя проекцию, что мы можем, например, сказать о вкусах Натальи Николаевны? Писем Пушкина к ней довольно много, и ни в одном из них Пушкин не поделился с ней ни одним своим литературным замыслом. Если он и пишет о своем творчестве, так только с точки зрения количественной, материальной, — какую выгоду ему принесет то или иное произведение! Необходимость творчества оправдывается в письмах материальными потребностями. О своей творческой, художественной деятельности Пушкин мог говорить с своими друзьями — князем Вяземским, Жуковским, с А. О. Смирновой, с Е. М. Хитрово, — с дипломатами, но с женой ему нечего было говорить об этой важнейшей стороне его жизни; ей это было безразлично или непонятно. Только непонятливостью Натальи Николаевны или ее нечувствительностью к литературе можно объяснить решительное отсутствие каких-либо заметок литературного характера в письмах к ней Пушкина.

К литературе Наталья Николаевна относилась так же, как к театру. Укоряя как-то в письмах жену за праздную, ненужную поездку из имения в Калугу, Пушкин писал: «Что за охота таскаться в скверный уездный городишко, чтоб видеть скверных актеров, скверно

[1] В счет не идет несколько известных нам писем Натальи Николаевны, преимущественно делового характера. На стр. 50 мы воспроизводим единственное известное нам письмо Н. Н. к мужу, впервые нами публикуемое. Оно говорит за себя своею бессодержательностью.

играющих старую, скверную оперу? Что за охота останавливаться в трактире, ходить в гости к купеческим дочерям, смотреть с черныю губернской фейворок, — когда в Петербурге ты никогда и не думаешь посмотреть на Каратыгиных»[1].

Точно так же ни из писем Пушкина, ни из каких-либо других источников мы ничего не узнаем об интересах Натальи Николаевны к живописи, к музыке.

Всем этим интересам неоткуда было возникнуть. Об образовании Натальи Николаевны не стоит и говорить. «Воспитание сестер Гончаровых (их было три) было предоставлено их матери, и оно, по понятиям последней, было безукоризненно, так как основами такового положены были основательное изучение танцев и знание французского языка лучше своего родного. Соблюдение строжайшей нравственности и обрядов православной церкви служило дополнением высокого идеала „московской барышни"»[2]. Обстановка детства и девичьих лет Н. Н. Пушкиной отнюдь не содействовала пополнению образовательных пробелов. Знакомства и интересы — затхлого, провинциального разбора[3]. «Как я не люблю, — писал Пушкин, — все, что пахнет московской барышней, все, что не comme il faut, все, что vulgar»[4]. Значит, московская барышня, какой и была девица Наталья Гончарова, — не comme il faut, vulgar.

В сравнении с такими представительницами высшего света, как А. О. Смирнова, Е. М. Хитрово, графиня Фикельмон или Карамзины, Наталья Николаевна была слишком проста, слишком «безобидна», по ироническому выражению Е. М. Хитрово.

Вспоминается рассказ А. О. Смирновой о жизни Пушкина в Царском[5]. По утрам он работал один в своем кабинете наверху, а по вечерам отправлялся читать написанное к А. О. Смирновой; здесь он толковал о литературе, развивал свои литературные планы. А жена его сидела внизу за книжкой или за рукодельем; работала что-то для П. В. Нащокина. С ней он о своем творчестве не говорил. Дочь Н. Н. Пушкиной, А. П. Арапова, в воспоминаниях о своей матери, объясняя отсутствие литературных интересов у своей матери, ссылается на то, что Пушкин сам не желал посвящать жену в свою литературную деятельность[6]. Но почему не желал? Потому, что не

---

[1] Переписка, III, № 861, стр. 160. Впрочем, справедливость требует упомянуть, что Наталья Николаевна пробовала писать стихи, но Пушкин отнесся сурово к ее попытке: «Стихов твоих не читаю. Чорт ли в них, — и свои надоели», — писал он жене (Переписка, II, № 647, стр. 356).

[2] *П. П. Каратыгин.* Н. Н. Пушкина в 1831—1837 гг. — «Русск. стар.», т. XXXVII, 1883, янв., стр. 56. В довольно пространных воспоминаниях дочери Пушкиной не сказано ни одного слова об образовании Н. Н. Пушкиной: см. «Н. Н. Пушкина-Ланская» в приложениях к газете «Новое время». 1907—1908 годы.

[3] См. нашу статью «Пушкин и московские студенты в 1831 году». — «Ист. вестн.», т. XCVI, 1904, апр., стр. 219 и сл.

[4] Переписка, III, № 752, стр. 55.

[5] «Русск. арх.», 1871, стр. 1876 и сл.

[6] Не лишне привести повествование А. П. Араповой («Новое время», 1907, № 11413), основанное на рассказах ее матери, хотя и, не свободное от добавлений. «Когда вдохновение сходило на поэта, он запирался в свою комнату, и ни под каким предлогом жена не дерзала переступить порог, тщетно ожидая его в часы завтрака и обеда, чтобы как-нибудь не нарушить прилив творчества. После усидчивой работы он выходил усталый, про-

было и не могло быть отзвука. «Наталья Николаевна была так чужда всей умственной жизни Пушкина, что даже не знала названий книг, которые он читал. Прося привезти ему из его библиотеки Гизо, Пушкин объяснял ей: «4 синих книги на длинных моих полках»[1].

Если из писем Пушкина к жене устранить сообщения фактического, бытового характера, затем многочисленные фразы, выражающие его нежную заботливость о здоровье и материальном положении жены и семьи, и по содержанию остающегося материала попытаться осветить духовную жизнь Н. Н. Пушкиной, то придется свести эту жизнь к весьма узким границам, к области любовного чувства на низшей стадии развития, к переживаниям, вызванным проявлениями обожания ее красоты со стороны ее бесчисленных светских почитателей. При чтении писем Пушкина, с первого до последнего, ощущаешь атмосферу пошлого ухаживания. Воздухом этой атмосферы, раздражавшей поэта, дышала и жила его жена. При скудости духовной природы главное содержание внутренней жизни Натальи Николаевны давал светско-любовный романтизм. Пушкин беспрестанно упрекает и предостерегает жену от кокетничанья, а она все время делится с ним своими успехами в деле кокетства и беспрестанно подозревает Пушкина в изменах и ревнует его. И упреки в кокетстве, и изъявления ревности — неизбежный и досадный элемент переписки Пушкиных.

Покидая свою жену, Пушкин всегда пребывал за нее в беспокойстве — не только по обыкновенным основаниям (быть может, больна; быть может, материальные дела плохи!), но и по более глубоким: не сделала ли она какого-либо ложного шага, роняющего

голодавшийся, но окрыленный духом, и дома ему не сиделось. Кипучий ум жаждал обмена впечатлений, живость характера стремилась поскорее отдать на суд друзей-ценителей выстраданные образы, звучными строфами скользнувшие с его пера. С робкой мольбой просила его Наталья Николаевна остаться с ней, дать ей первой выслушать новое творение. Преклоняясь перед авторитетом Карамзиной, Жуковского или Вяземского, она не пыталась удерживать Пушкина, когда знала, что он рвется к ним за советом, но сердце невольно щемило, женское самолюбие вспыхивало, когда, хватая шляпу, он, со своим беззаботным звонким смехом, объявлял по вечерам: „А теперь пора к Александре Осиповне (Смирновой) на суд! Что-то она скажет? Угожу ли ей своим сегодняшним трудом?“ — Отчего ты не хочешь мне прочесть? Разве я понять не могу? Разве тебе не дорого мое мнение? — и ее нежный, вдумчивый взгляд с замиранием ждал ответа. Но, выслушивая эту просьбу как взбалмошный каприз милого ребенка, он с улыбкою отвечал: „Нет, Наташа! Ты не обижайся, но это дело не твоего ума, да и вообще не женского смысла“. — „А разве Смирнова не женщина, да вдобавок и красивая?“ — с живостью протестовала она. — „Для других — не спорю. Для меня — друг, товарищ, опытный оценщик, которому женский инстинкт пригоден, чтобы отыскать ошибку, ускользнувшую от моего внимания, или указать что-нибудь, ведущее к новому горизонту. А ты, Наташа, не жужжи и не думай ревновать! Ты мне куда милей с твоей неопытностью и незнанием“. — Конечно, здесь важна не форма и не подробности этого рассказа, а общее содержание, общий смысл. Но в каком незавидном освещении рисуется здесь образ Н. Н. Пушкиной!

[1] *В. Я. Брюсов.* Из жизни Пушкина. — «Новый путь», 1903 г., июнь, 102. Цитата у В. Я. Брюсова неверна: не Гизо, а Монтень (Переписка, III, стр. 230).

ее и его в общем уважении? А ложные шаги она делала — и нередко; то в отсутствии Пушкина дружится с графинями, с которыми неловко было кланяться при публике, то принимает человека, который ни разу не был дома при Пушкине, то принимает приглашение на бал в дом, где хозяйка позволяет себе невнимание и неуважение. Еще сильнее волновало и беспокоило Пушкина опасение, как бы его жена не зашла далеко в своем кокетстве. «Ты кругом виновата <...> кокетничаешь со всем дипломатическим корпусом». «Смотри, женка! Того и гляди, избалуешься без меня, забудешь меня — искокетничаешься»... «Не стращай меня, женка, не говори, что ты искокетничалась»... «Не кокетничай с Соболевским»... «Не стращай меня <...> не кокетничай с царем, ни с женихом княжны Любы»... Такими фразами пестрят письма Пушкина. Один раз Пушкин подробно изложил свой взгляд на кокетство: «Ты, кажется, не путем искокетничалась. Смотри: не даром кокетство не в моде и почитается признаком дурного тона. В нем толку мало. Ты радуешься, что за тобою, как за сучкою, бегают кобели, подняв хвост трубочкой и понюхивая тебе задницу; есть чему радоваться! Не только тебе, но и Парасковье Петровне легко за собою приучить бегать холостых шаромыжников; стоит разгласить, что-де я большая охотница. Вот вся тайна кокетства. Было бы корыто, а свиньи будут. К чему тебе принимать мужчин, которые за тобою ухаживают? не знаешь, на кого нападешь. Прочти басню А. Измайлова о Фоме и Кузьме. Фома накормил Кузьму икрой и селедкой. Кузьма стал просить пить, а Фома не дал. Кузьма и прибил Фому, как каналью. Из этого поэт выводит следующее нравоучение: красавицы! не кормите селедкой, если не хотите пить давать; не то можете наскочить на Кузьму»[1]. Смягчая выражения, в следующем письме Пушкин возвращается к теме о кокетстве: «Повторю тебе помягче, что кокетство ни к чему доброму не ведет; и хоть оно имеет свои приятности, но ничто так скоро не лишает молодой женщины того, без чего нет ни семейственного благополучия, ни спокойствия в отношениях к свету: уважения»[2]. В кокетстве раздражала Пушкина больше всего общественная, так сказать, сторона его. Интимная же сторона, боязнь быть «кокю» не волновала так Пушкина. Эту особенность взглядов Пушкина на кокетство надо подчеркнуть и припомнить при изложении истории столкновения его с Дантесом.

У Пушкина был идеал замужней женщины, соответствие которому он желал бы видеть в Наталье Николаевне, — Татьяна замужем.

Она была не тороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей...
Все тихо, просто было в ней.
Она казалась верный снимок
Du comme il faut...
. . . .

[1] Переписка, III, № 752, стр. 55.
[2] Там же, III, № 755, стр. 58.

С головы до ног
Никто бы в ней найти не мог
Того, что модой самовластной
В высоком лондонском кругу
Зовется vulgar.

«Кокетничать я тебе не мешаю, — обращался Пушкин к жене, — но требую от тебя *холодности, благопристойности, важности* — не говорю уже о беспорочности поведения, которое относится не к *тону*, а к чему-то уже важнейшему». И еще: «Я не ревнив, да и знаю, что ты во все тяжкое не пустишься; но ты знаешь, как я не люблю все, что пахнет московской барышнею, *все, что не comme il faut, все,* что *vulgar*... Если при моем возвращении я найду, что твой *милый, простой, аристократический* тон изменился, разведусь, вот те Христос». Но, несмотря на то, что жизнь в петербургском свете сильно преобразила московскую барышню Гончарову, ей было далеко до пушкинского идеала. Ложные шаги, которые ей ставил в строку Пушкин, снисходительная податливость на всяческие ухаживания делали этот идеал для нее недостижимым.

Как бы в ответ на постоянные напоминания мужа о кокетстве, Наталья Николаевна свои письма наполняла изъявлениями ревности; где бы ни был ее муж, она подозревала его в увлечениях, изменах, ухаживаниях. Она непрестанно выражала свою ревность и к прошлому, и к настоящему. Будучи невестой, она ревновала Пушкина к какой-то княгине Голицыной; когда Пушкин оставался в Петербурге, подозревала его в увлечении А. О. Смирновой; обвиняла его в увлечении неведомой Полиной Шишковой; опасалась его слабости к Софье Николаевне Карамзиной; сердилась на него за то, что он будто бы ходит в Летний сад искать привязанностей; не доверяла доброте его отношений к Евпраксии Вульф; думала в 1835 году, что между Пушкиным и А. П. Керн что-то есть... Когда читаешь из письма в письмо о многократных намеках, продиктованных ревностью Натальи Николаевны, то испытываешь нудную скуку однообразия и останавливаешься на мысли: а ведь это даже и не ревность, а просто привычный тон, привычная форма! Ревновать в письмах значило придать письму интересность. Ревность в ее письмах — манера, а не факт. Подчиняясь тону ее писем, и Пушкин усвоил особенную манеру писать о женщинах, с которыми он встречался. Он пишет о любой женщине, как будто наперед знает, что Наталья Николаевна обвинит его в увлечениях и изменах, и он заранее ослабляет силу ударов, которые будут на него направлены. Он стремится изобразить встреченную им женщину возможно непривлекательнее как с внешней, так и с внутренней стороны. Таковы отзывы его об А. А. Фукс, об А. П. Керн и др. Справедливо говорит автор, собравший указания на ревность Н. Н. Пушкиной: «(О женщинах) Пушкин писал (в письмах к жене) не для себя и потомства, а для жены, и судить по ним об его истинных отношениях к людям, особенно к женщинам, не следует»[1]. С другой стороны, нельзя не отметить отсутствия хороших отзывов о женщинах в письмах Пушкина к жене.

Не вдаемся в разбор вопроса, каковы фактические основания для ревности Н. Н. Пушкиной. Княгиня В. Ф. Вяземская передавала

---

[1] «Ревность Н. Н. Пушкиной», статья *Н. О. Лернера*. — «Русск. стар.», т. CXXIV, 1905, ноябрь, стр. 424—425.

П. И. Бартеневу, что в истории с Дантесом «Пушкин сам виноват был; он открыто ухаживал сначала за Смирновой, потом за Свистуновою (ур. гр. Соллогуб). Жена сначала страшно ревновала, потом стала равнодушна и привыкла к неверностям мужа. Сама она оставалась ему верна, и все обходилось легко и ветрено»[1]. Верно, во всяком случае, то, что любовь Пушкина к жене в течение долгого времени была искреннейшим и заветнейшим чувством. А. Н. Вульф жестоко ошибся, предположив в 1830 году, что первым делом Пушкина будет развратить жену. Вульф, действительно, хорошо знал Пушкина в его отношениях к женщинам и ярко изобразил в своем дневнике полный своеобразной эротики любовный быт своих современников (или, по крайней мере, группы, кружка); примером же и образцом он считал Пушкина[2]. Но Вульф не знал всего о любовном чувстве: ему была ведома феноменология пушкинской любви, но ее «вещь в себе» была для него за семью печатями. Ему была близка любовь земная и чужда любовь небесная. Вульф и в жизни остался достойным гнева и жалости эмпириком любви, а Пушкин, для которого любовь была гармонией, изведал высший восторг небесной любви. Но Пушкин с стыдливой застенчивостью скрывал свои чувства от всех и — от Вульфа. Этот «развратитель» упрашивает жену: «Не читай скверных книг дединой библиотеки, не марай себе воображения»[3]. Не станем приводить доказательств любви Пушкина к жене: их сколько угодно и в письмах, и в произведениях. Надо только внести поправки: с любовью к жене уживались увлечения другими женщинами, а затем в истории его чувств к жене был свой кризис.

Но, принимая к сведению свидетельства об увлечениях Пушкина, вроде рассказов княгини Вяземской, мы все-таки думаем, что чувство ревности у Н. Н. Пушкиной не возникало из душевных глубин, а вырастало из настроений порядка элементарного: увлечение Пушкина, его предпочтение другой женщине было тяжким оскорблением, жестокой обидой ей, первой красавице, заласканной неустанным обожанием света, двора и самого государя. Итак, ревность Н. Н. Пушкиной — или манера в письмах, или оскорбленная гордость красивой женщины.

Но попробуем углубиться в вопрос об отношениях Пушкиных, попробуем измерить глубину чувства Натальи Николаевны. Пушкин имел дар строгим и ясным взором созерцать действительность в ее наготе в страстные моменты своей жизни. С четкой ясностью он оценил отношение к себе девицы Натальи Гончаровой, от первой встречи с которой у него закружилась голова. Его горькое признание в письме к матери невесты (в апреле 1830 г.) не обратило достаточного внимания биографов Пушкина, а оно — документ первоклассного значения для истории его семейной жизни. В нем нужно взвесить и оценить каждое слово: «Только привычка и продолжительная близость может доставить мне ее (Натальи Николаевны) привязанность; я могу надеяться со временем привязать ее к себе, но во мне нет ничего, что могло бы ей нравиться; если она

---

[1] «Русск. арх.», 1888, II, стр. 309.

[2] Дневник А. Н. Вульфа в издании «Пушкин и его современники», XXI–XXII; сравн. *мои* статьи: «Любовный быт в пушкинскую эпоху». — «День», 11 и 20 ноября 1915 г.

[3] Переписка, III, № 805, стр. 101.

согласится отдать мне свою руку, то я буду видеть в этом только свидетельство ее сердечного спокойствия и равнодушия»[1]. Пушкин сознавал, что он не нравится семнадцатилетней московской барышне, и надеялся снискать ее привязанность (не любовь!) по праву привычки и продолжительной близости. Самое согласие ее на брак было для него символом свободы ее сердца и... равнодушия к нему.

В своей великой скромности Пушкин думал, что в нем нет ничего, что могло бы понравиться блестящей красавице, и в моменты работы совести приходил к сознанию, что Наталью Николаевну отделяет от него его прошлое. В один из таких моментов создан набросок:

Когда в объятия мои
Твой стройный стан я заключаю,
И речи нежные любви
Тебе с восторгом расточаю —
Безмолвна, от стесненных рук
Освобождая стан свой гибкий,
Ты отвечаешь, милый друг,
Мне недоверчивой улыбкой.
Прилежно в памяти храня
Измен печальные преданья,
Ты без участья и вниманья —
Уныло слушаешь меня.
Кляну коварные старанья
Преступной юности моей,
И встреч условных ожиданья
В садах, в безмолвии ночей;
Кляну речей любовный шопот,
Стихов таинственный напев,
И ласки легковерных дев,
И слезы их, и поздний ропот...

Не прошлое Пушкина отделяло от него Наталью Николаевну. С горьким признанием Пушкина о равнодушии к нему невесты надо тотчас же сопоставить теснейшим образом к признанию примыкающее свидетельство о чувствах к нему молодой жены:

Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем,
Восторгом чувственным, безумством, исступленьем,
Стенаньем, криками вакханки молодой,
Когда, виясь в моих объятиях змеей,
Порывом пылких ласк и язвою лобзаний
Она торопит миг последних содроганий.
О, как милее ты, смиренница моя!
О, как мучительно тобою счастлив я,
Когда, склонясь на долгие моленья,
Ты предаешься мне нежна, без упоенья,

---

[1] „L'habitude et une longue intimité pourroient seules me faire gagner l'affection de M-lle votre fille; je puis espérer me l'attacher à la longue, mais je n'ai rien pour lui plaire; si elle consent à me donner sa main, je n'y verrois que la preuve de la tranquille indiférence de son coeur" (Переписка, II, № 425, стр. 131).

Стыдливо-холодна, восторгу моему
Едва ответствуешь, не внемлешь ничему,
И разгораешься потом все боле, боле —
И делишь наконец мой пламень поневоле.

Пытаются внести ограничения в это признание. Так, Н. О. Лернер, возражая против толкования В. Я. Брюсова[1], рассуждает: «Брюсов видит здесь доказательство того, что Н. Н. Пушкина была чужда своему мужу. Между тем это признание говорит, самое большое, лишь о физиологическом несоответствии супругов в известном отношении и холодности сексуального темперамента молодой женщины»[2]. Неправильность этого рассуждения обнаруживается при сопоставлении признания в стихах с признанием в прозе. Если в начале любви было равнодушие с ее стороны и надежда на привычку и близость с его стороны, то откуда же возникнуть страсти? откуда быть соответствию восторгов? Да, Наталья Николаевна исправно несла свои супружеские обязанности, рожала мужу детей, ревновала, и при всем том можно утверждать, что сердце ее не раскрылось, что страсть любви не пробудилась. В дремоте было сковано ее чувство. Любовь Пушкина не разбудила ни ее души, ни ее чувства. Можно утверждать, что круг, заключавший внутреннюю жизнь Пушкина, и круг, заключавший внутреннюю жизнь Натальи Николаевны, не пересеклись и остались эксцентрическими.

Наталья Николаевна дала согласие стать женой Пушкина — и оставалась равнодушна и спокойна сердцем; она стала женой Пушкина — и сохранила сердечное спокойствие и равнодушие к своему мужу.

4.

Зимний сезон 1833—1834 года был необычайно обилен балами, раутами. В этот сезон Наталья Николаевна Пушкина получила возможность бывать на дворцовых балах. «Двору хотелось», чтобы она «танцевала в Аничкове», — и Пушкин был пожалован, в самом конце 1833 года, в камер-юнкеры. Впрочем, кончился сезон для Натальи Николаевны плохо. «Вообрази, что жена моя на днях чуть не умерла», — писал Пушкин П. В. Нащокину в начале марта 1834 года: «Нынешняя зима была ужасно изобильна балами. На масленице танцевали уж два раза в день. Наконец настало последнее воскресенье перед великим постом. Думаю: слава богу! балы с плеч долой! Жена во дворце. Вдруг, смотрю — с нею делается дурно — я увожу ее, и она, приехав домой, выкидывает»[3]. 15 апреля Наталья Николаевна уехала с детьми в калужскую деревню своей матери, отчасти для поправления расстроенного здоровья, а главным образом для свидания со своими сестрами. Обе сестры, Александра и Екатерина Гончаровы, были старше Натальи Николаевны, сидели в девах, почти теряя на-

[1] В. Я. Брюсов писал по поводу этого стихотворения: «Разве не страшно думать о тех „долгих молениях", с которыми Пушкин должен был обращаться к своей жене, прося ее ласк, о том, что она отдавалась ему „нежна, без упоенья", „едва ответствовала" его восторгу и делила, наконец, его пламень лишь „поневоле"» («Из жизни Пушкина». — „Новый путь", 1903, июнь, стр. 102).

[2] Сочинения Пушкина, ред. С. А. Венгерова, т. VI, 426.

[3] Переписка, III, № 783, стр. 83.

дежду выйти замуж, и ужасно страдали от капризов своей матери, в ужасающей обстановке семейной жизни. По выражению Пушкина, мать, Наталья Ивановна, ходуном ходила около дочерей, крепко-накрепко заключенных[1].

Н. Н. Пушкина, беспредельно любившая сестер, во время летнего пребывания в деревне раздумалась над устройством их судьбы и решила увезти их от матери в Петербург, пристроить во дворец фрейлинами и выдать замуж. Своими проектами она делилась с мужем, но он отнесся к ним без всякого увлечения. Он был решительно против того, чтобы его жена хлопотала о помещении своих сестер во дворец. «Подумай, что за скверные толки пойдут по свинскому Петербургу. Ты слишком хороша, мой ангел, чтоб пускаться в просительницы... Мой совет тебе и сестрам — быть подалее от двора: в нем толку мало. Вы же не богаты. На тетку нельзя вам всем навалиться»[2]. По поводу планов Натальи Николаевны выдать одну сестру за Хлюстина, а другую за Убри Пушкин шутливо пишет жене: «Ничему не бывать: оба влюбятся в тебя, — ты мешаешь сестрам, потому надобно быть твоим мужем, чтобы ухаживать за другими в твоем присутствии»[3]. Наконец, к решению жены взять сестер в Петербург Пушкин отнесся отрицательно: «Эй, женка, смотри... Мое мнение: семья должна быть *одна* под *одной* кровлей: муж, жена, дети, покамест малы; родители, когда уж престарелы, а то хлопот не оберешься, и семейственного спокойствия не будет»[4].

Доводы Пушкина не убедили Наталью Николаевну, и осенью 1834 года сестры ее — Азинька и Коко — появились в Петербурге и поселились под одной кровлей с Пушкиными. Мать Пушкина сообщала дочери Ольге Сергеевне об этом событии 7 ноября 1834 года: «Натали тяжела, ее сестры вместе с нею, нанимают пополам с ними очень хороший дом. Он (Пушкин) говорит, что в материальном отношении это его устраивает, но немного стесняет, так как он не любит, чтобы расстраивались его хозяйские привычки»[5]. Сестры, несомненно, способствовали заполнению досугов Натальи Николаевны, тотчас же по приезде вошли в круг ее жизни и вместе с нею стали выезжать в свет[6].

Красота Натальи Николаевны рядом с сестрами казалась еще ослепительнее. Вот впечатления Ольги Сергеевны Павлищевой: «Александр представил меня своим женам: теперь у него целых три. Они красивы, его невестки, но они ничто в сравнении с Натали, которую я нашла очень похорошевшей. У нее теперь прекрасный цвет лица и она чуть пополнела: единственное, чего ей не хватало»[7].

Старшая — Екатерина Николаевна, «высокая, рослая»[8], «далеко не красавица, представляла собою довольно оригинальный тип скорее

---

[1] Переписка, II, № 552, стр. 255.
[2] Переписка, III, № 829, стр. 127.
[3] Там же, III, № 834, стр. 133.
[4] Там же, № 856, III, 154.
[5] «Пушкин и его современники», XIV, 21.
[6] Там же, XIV, 25. «Натали и ее сестры выезжают ежедневно», — пишет 6 декабря 1835 года О. С. Павлищева; ср. там же, XVII—XVIII, 197.
[7] Там же, XVII—XVIII, 168.
[8] Слова княгини В. Ф. Вяземской. — «Русск. арх.», 1888, II, 309.

южанки с черными волосами»[1]. Вскоре по приезде в Петербург, 6 декабря 1834 года, она была взята, по желанию Н. К. Загряжской, фрейлиной ко двору[2].

Средняя — Александра Николаевна[3], по словам А. П. Араповой, «высоким ростом и безукоризненным сложением подходила к Наталье Николаевне, но черты лица, хотя и напоминавшие правильность гончаровского склада, являлись как бы карикатурою. Матовая бледность кожи Натальи Николаевны переходила у нее в некоторую желтизну, чуть приметная неправильность глаз, придающая особую прелесть вдумчивому взору младшей сестры, перерождалась у ней в несомненно косой взгляд, — одним словом, люди, видевшие обеих сестер рядом, находили, что именно это предательское сходство служило в явный ущерб Александре Николаевне»[4]. Это свидетельство А. П. Араповой находит полное подтверждение во впечатлениях баронессы Е. Н. Вревской, которая видела двух сестер — Наталью и Александру — в декабре 1836 года: «Пушкина в полном смысле слова восхитительна, но зато ее сестра (Александра) показалась мне такой безобразной, что я разразилась смехом, когда осталась одна в карете с моей сестрой»[5]. Княгиня Вяземская говорила П. И. Бартеневу, что Александра Николаевна должна была заняться хозяйством и детьми, так как выезды и наряды поглощали все время ее сестер. Пушкин, по словам княгини, подружился с ней... Анна Николаевна Вульф 12 февраля 1836 года сообщала своей сестре Евпраксии, со слов сестры Пушкина, Ольги Сергеевны, что Пушкин очень сильно волочится за своей невесткой Александрой и что жена стала отъявленной кокеткой[6].

Сама Наталья Николаевна в 1834—1835 годах была в апогее своей красоты. Даем место двум восторженным отзывам современников, пораженных ее красотой. Один из них встретил Наталью Николаевну в салоне князя В. Ф. Одоевского, и эта встреча навсегда врезалась в его память. «Вдруг — никогда этого не забуду — входит дама, стройная, как пальма, в платье из черного атласа, доходящем до горла (в то время был придворный траур). Это была жена Пушкина, первая красавица того времени. Такого роста, такой осанки я никогда не видывал — incessu dea patebat! Благородные, античные черты ее лица

---

[1] Слова А. П. Араповой. — «Нов. вр.», 1907, № 11413. Есть еще один отзыв о внешности Екатерины Николаевны: „elle ressemble assez à une grande haquenée ou à un manche à balai -- comparaisons d'une galanterie caucasienne" («Пушкин и его современники», XXI—XXII, 397). Любопытно, что ни в одном из известных нам документов не показан год ее рождения: по косвенным указаниям, данным в статье А. В. Средина «Полотняный Завод» («Старые годы», 1910, июль — сент., 94), надо заключить, что родилась она в 1808 году. Сравн. еще указание Луи Метмана в его очерке о Дантесе.

[2] Архив министерства имп. двора — дело о фрейлинах.

[3] Александра Николаевна родилась 27 июля 1811 года (А. В. Средин, назв. ст. в «Старых годах», стр. 113). Во фрейлины она была пожалована уже после смерти Пушкина, в январе 1839 года (Арх. мин. имп. двора — дело о фрейлинах).

[4] «Новое время», 1907, № 11413.

[5] «Пушкин и его современники», XXI—XXII, 321.

[6] Отношения Пушкина к Александре Гончаровой рассмотрены подробно во второй части нашей книги, VIII отдел.

напоминали мне Евтерпу Луврского музея, с которой я хорошо был знаком»[1].

Другой отзыв принадлежит графу В. А. Соллогубу: «Много видел я на своем веку красивых женщин, много встречал женщин еще обаятельнее Пушкиной, но никогда не видывал я женщины, которая соединяла бы в себе такую законченность классически правильных черт и стана. Ростом высокая; с баснословно тонкой талией, при роскошно развитых плечах и груди, ее маленькая головка, как лилия на стебле, колыхалась и грациозно поворачивалась на тонкой шее; такого красивого и правильного профиля я не видел никогда более, а кожа, глаза, зубы, уши! Да, это была настоящая красавица, и недаром все остальные, даже из самых прелестных женщин, меркли как-то при ее появлении. На вид она была сдержанна до холодности и мало вообще говорила. В Петербурге... она бывала постоянно и в большом свете, и при дворе, но ее *женщины* находили несколько странной. Я с первого же раза без памяти в нее влюбился; надо сказать, что тогда не было почти ни одного юноши в Петербурге, который бы тайно не вздыхал по Пушкиной; ее лучезарная красота рядом с этим магическим именем всем кружила головы; я знал очень многих молодых людей, которые серьезно были уверены, что влюблены в Пушкину, не только вовсе с нею незнакомых, но чуть ли никогда собственно ее даже не видевших»[2].

И такие невинные обожатели, как юный граф В. А. Соллогуб, привлекали раздраженное внимание Пушкина: в начале 1836 года Пушкин посылал вызов и ему. Но опытные светские ловеласы были, конечно, страшнее: для них само имя Пушкина не имело значения. Ведь Пушкин был какой-то там сочинитель и не чиновный камер-юнкер! Впрочем, в этом взгляде сходилась с ними и жена Пушкина. По заключению недружелюбно настроенного наблюдателя, барона М. А. Корфа, «прелестная жена, любя славу своего мужа более для успехов своих в свете, предпочитала блеск и бальную залу всей поэзии в мире и — по странному противоречию, — пользуясь всеми плодами литературной известности Пушкина, исподтишка немножко гнушалась тем, что она, светская женщина par excellence, привязана к мужу homme de lettres, — эта жена с семейственными и хозяйственными хлопотами привила к Пушкину ревность»...[3]

Самое близкое участие в семейной жизни Пушкиных принимала родная тетка сестер — Екатерина Ивановна Загряжская, фрейлина высочайшего двора (род. в 1799 году, умерла в 1842 году)[4]. Она была самым близким лицом в доме Пушкиных и в развитии дуэльного недоразумения в ноябре 1836 года играла видную роль, а потому нелишне сказать о ней несколько слов. Тетушка заменила племянницам мать, устраивала их положение при дворе и в свете, оказывала им материальную поддержку, была для них моральным авторитетом, руководительницей и советчицей — и пользовалась огромным влиянием. Особенно она любила Наталью Николаевну, баловала ее, платила за ее наряды. Как-то взгрустнув о своем материальном положении, Пушкин писал (21 сентября 1835 г.) жене: «У нас ни гроша верного дохода, а верного расхода 30000. Все держится на мне да на тетке. Но ни я,

---

[1] «Русск. арх.», 1878, 1, 442.

[2] Воспоминания графа В. А. Соллогуба. Спб., 1887, стр. 117—118.

[3] *Я. Грот.* Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. Изд. 2-е. Спб., 1899, стр. 251.

[4] Петербургский Некрополь, II, Спб., 1912, стр. 176.

ни тетка не вечны». Наталья Николаевна платила тетке такою любовью и преданностью, что мать ее, Наталья Ивановна Гончарова, ревновала свою дочь к своей сестре[1]. Если судить по письмам Пушкина к жене, он хорошо относился к Екатерине Ивановне за ее любовь к своей жене. Он доверялся Загряжской и оставлял жену на тетку, когда уезжал из Петербурга. В письмах он не забывает переслать ей почтительный поклон, поцеловать с ермоловской нежностью ручку и поблагодарить ее за заботы о жене. Вот несколько отрывков из писем Пушкина к жене, рисующих отношения Пушкиных к Екатерине Ивановне Загряжской: «К тебе пришлют для подписания доверенность. Катерина Ивановна научит тебя, как со всем этим поступить» (3 октября 1832 г.). «Благодари мою бесценную Катерину Ивановну, которая не дает тебе воли в ложе. Целую ей ручки и прошу, ради бога, не оставлять тебя на произвол твоих обожателей» (21 октября 1833 г.). «А Катерина Ивановна? как это она тебя пустила на божию волю» (30 октября 1833 г.). Когда уезжала Наталья Николаевна в калужскую деревню, тетка тревожилась и постоянно справлялась о ней у Пушкина. «Она тебя очень целует и по тебе хандрит» (22 апреля 1834 г.). «Целые девять дней от тебя не было известий. Тетка перепугалась» (28 апреля 1834 г.). «Зачем ты тетке не пишешь? Какая ты безалаберная!» (11 июня 1834 г.). «Тетка заезжала вчера ко мне и беседовала со мною в карете; я ей жаловался на свое житье-бытье, а она меня утешала» (11 июля 1834 г.). Любовь Загряжской к Наталье Николаевне была хорошо известна в свете и при дворе. Когда Пушкин представлялся императрице Александре Федоровне, императрица спросила у него о здоровье уехавшей жены и добавила: „Sa tante est bien impatiente de la voir à bonne santé, la fille de son cœur, sa fille d'adoption"...[2]. О близком участии Загряжской в семейных делах Пушкиных дает определенное свидетельство сестра Пушкина, Ольга Сергеевна. «Загряжская бывала всякий день в доме Пушкиных, делала из Натальи Николаевны все, что хотела, имела большое влияние на Пушкина»[3].

Так складывались обстоятельства семейной жизни Пушкина с зимы 1834—1835 года. Но еще до женитьбы своей, будучи женихом, Пушкин, отвечая Плетневу на его замечания о свете, писал 29 сентября 1830 года: «Все, что ты говоришь о свете, справедливо; тем справедливее опасения мои, чтоб тетушки да бабушки, да сестрицы не стали кружить голову молодой жене моей пустяками. Она меня любит, но посмотри, Алеко Плетнев, как *гуляет вольная луна* etc.»[4]. Пушкин вспоминает те оправдания женской неверности, которые он вложил в «Цыганах» в уста старику, утешающему Алеко:

Утешься, друг; она дитя;
Твое унынье безрассудно;
Ты любишь горестно и трудно,
А сердце женское — шутя.
Взгляни: под отдаленным сводом
Гуляет вольная луна:
На всю природу мимоходом

---

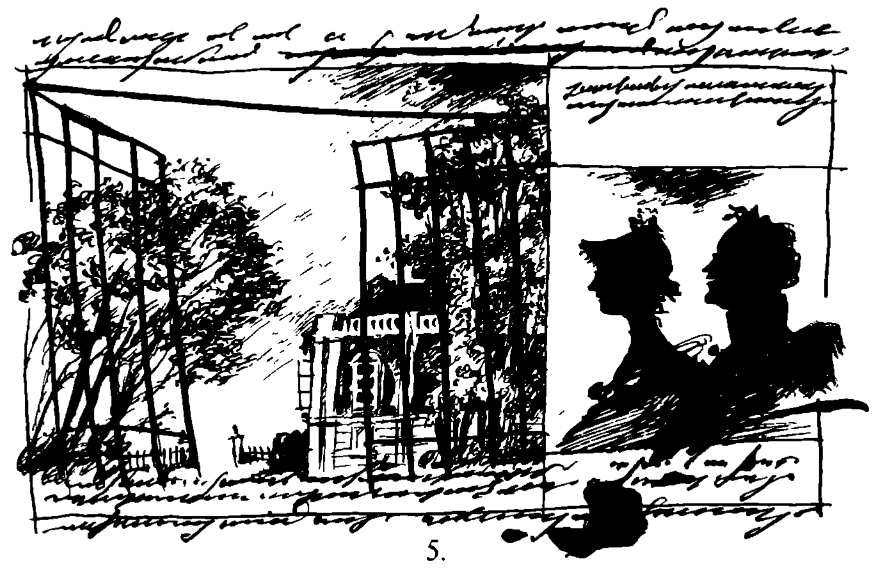
[1] Переписка, III, № 738, стр. 36.

[2] Запись в дневнике Пушкина — см.: Дневник Пушкина. Под ред. Б. Л. Модзалевского. М. — П., 1923, стр. 12.

[3] «Пушкин и его современники», XII, 108.

[4] Переписка, II, № 476, 176.

Равно сиянье льет она;
Заглянет в облако любое,
Его так пышно озарит,
И вот, уж перешла в другое,
И то недолго посетит.
Кто место в небе ей укажет,
Примолвя: там остановись!
Кто сердцу юной девы скажет:
Люби одно, не изменись?
Утешься...



5.

Дантес прибыл в Петербург в октябре 1833 года, в гвардию был принят в феврале 1834 года. По всей вероятности, тотчас же по приезде (а может быть, только по зачислении в гвардию), при содействии барона Геккерена, Дантес завязал светские знакомства и появился в высшем свете.

Если Дантес не успел познакомиться с Н. Н. Пушкиной зимой 1834 года до наступления великого поста, то в таком случае первая встреча их приходится на осень этого года, когда Наталья Николаевна блистала своей красотой в окружении старших сестер[1]. Почти с этого же времени надо вести историю его увлечения[2].

---

[1] «Данзас познакомился с Дантесом в 1834 году, обедая с Пушкиным у Дюме, где за общим столом обедал и Дантес, сидя рядом с Пушкиным» (*А. Аммосов.* Последние дни жизни и кончина Пушкина. Спб., 1863, стр. 5).

[2] В своем изложении истории рокового столкновения Пушкина с Дантесом я исхожу из достоверных, документальных, бесспорных данных и совершенно не принимаю в расчет многочисленных рассказов и сообщений — плодов досужей болтовни современников. С особенною резкостью исследователь истории последней дуэли должен оттолкнуть от себя такие негодные источники, как пресловутые «Записки А. О. Смирновой» (печатавшиеся в «Северном вестнике» и вышедшие отдельно) и рассказы Л. Н. Павлищева, как в книге «Из семейной хроники. Воспоминания об А. С. Пушкине», М., 1890, так и в брошюре «Кончина А. С. Пушкина». Спб., 1899.

Ухаживания Дантеса были продолжительны и настойчивы. Впоследствии барон Геккерен в письме к своему министру иностранных дел от 30 января 1837 года сообщал: «Уже год, как мой сын отличает в свете одну молодую и красивую женщину, г-жу Пушкину». Сам Пушкин упоминает о двухлетнем постоянстве, с которым Дантес ухаживал за его женой[1].

Встретили ли его ухаживания какой-либо отклик или остались безответными? Решения этого вопроса станем искать не у врагов Пушкина, а у него самого, у его друзей, наконец, в самих событиях.

В письме к барону Геккерену Пушкин пишет: «Я заставил вашего сына играть столь плачевную роль, что моя жена, пораженная такой плоскостью, не была в состоянии удержаться от смеха, и *чувство, которое она, быть может, испытывала к этой возвышенной страсти,* угасло в презрении»...[2]. Уже намек, содержащийся в подчеркнутых строках, приводит к заключению, что Н. Н. Пушкина не осталась глуха и безответна к чувству Дантеса, которое представлялось ей возвышенною страстью. В черновике письма к Геккерену Пушкин высказывается еще решительнее и определеннее: «Поведение вашего сына было мне хорошо известно.., но я довольствовался ролью наблюдателя с тем, чтобы вмешаться, когда сочту это удобным. *Я знал, что хорошая фигура, несчастная страсть, двухлетнее постоянство всегда произведут в конце концов впечатление на молодую женщину,* и тогда муж, если он не дурак, станет вполне естественно доверенным своей жены и хозяином ее поведения. *Я признаюсь вам, что несколько беспокоился»*[3]. Князь Вяземский, упоминая в письме к великому князю Михаилу Павловичу об объяснениях, которые были у Пушкина с женой после получения анонимных писем, говорит, что невинная, в сущности, жена «*призналась в легкомыслии и ветрености, которые побуждали ее относиться снисходительно к навязчивым ухаживаниям молодого Геккерена»*[4]. Можно из этих слов заключить, что Наталья Николаевна «увлеклась» красивым и модным кавалергардом, — но как сильно было ее увлечение, до каких степеней страсти оно поднялось? Что оно не было только данью легкомыслия и ветрености, можно судить по ее отношению к Дантесу после тяжелого инцидента с дуэлью в ноябре месяце, после сватовства и женитьбы Дантеса на сестре Натальи Николаевны. Наталья Николаевна знала гневный и страстный характер своего мужа, видела его страдания и его бешенство в ноябре 1836 года; казалось бы, всякое легкомыслие и всякая ветреность при таких обстоятельствах должны были исчезнуть навсегда. И что же? Вяземский, озабоченный охранением репутации Натальи Николаевны, все-таки не нашел в себе силы обойти молчанием ее поведение после свадьбы Дантеса: «Она должна бы удалиться от света и потребовать того же от мужа. У нее не хватило характера, — и вот она опять очутилась почти в таких же отношениях с молодым Геккереном, как и до его свадьбы; тут не было ничего преступного, но было много

---

[1] «Переписка», III, № 1105, стр. 415.

[2] Французский текст цитат дан в первом издании книги, обозначаемом в примечаниях кратко «Дуэль». Во второй части этого издания все тексты приведены в переводах, и указаний страниц этой части не делается. «Дуэль», 188.

[3] «Переписка», III, № 1105, стр. 415.

[4] «Дуэль», 141.

непоследовательности и беспечности»[1]. Ясно, кажется, что сила притяжения, исходившего от Дантеса, была слишком велика, и ее не ослабили ни страх перед мужем, ни боязнь сплетен, ни даже то, что чувственные симпатии Дантеса, до сих пор отдававшиеся ей всецело, оказались поделенными между ней и ее сестрой. Дантес взволновал Наталью Николаевну так, как ее еще никто не волновал. «Il l'a troublé»,—сказал Пушкин о Дантесе и своей жене[2]. Любовный пламень, охвативший Дантеса, опалил и ее, и она, стыдливо-холодная красавица, пребывавшая выше мира и страстей, покоившаяся в сознании своей торжествующей красоты, потеряла свое душевное равновесие и потянулась к ответу на чувство Дантеса. В конце концов, быть может, Дантес был как раз тем человеком, который был ей нужен. Ровесник по годам, он был ей пара по внешности своей, по внутреннему своему складу, по умственному уровню. Что греха таить: конечно, Дантес должен был быть для нее интереснее, чем Пушкин. Какой простодушной искренностью дышат ее слова княгине В. Ф. Вяземской в ответ на ее предупреждения и на ее запрос, чем может кончиться вся эта история с Дантесом! «Мне с ним (Дантесом) весело. Он мне просто нравится, будет то же, что было два года сряду»[3]. Княгиня В. Ф. Вяземская объяснила, что Пушкина чувствовала к Дантесу род признательности за то, что он постоянно занимал ее и старался быть ей приятным[4].

Итак, сердца Дантеса и Натальи Николаевны Пушкиной с неудержимой силой влеклись друг к другу. Кто же был прельстителем и кто завлеченным? Друзья Пушкина единогласно выдают Наталью Николаевну за жертву Дантеса. Этому должно было бы поверить уже и потому, что она не была натурой активной. Но были, вероятно, моменты, когда в этом поединке флирта доминировала она, возбуждая и завлекая Дантеса все дальше и дальше по опасному пути. Можно поверить, по крайней мере, барону Геккерену, когда он позднее, после смерти Пушкина, предлагал допросить Н. Н. Пушкину и, не имея возможности предвидеть, что подобные расспросы не будут допущены, заявлял: «Она (Пушкина) сама может засвидетельствовать, сколько раз предостерегал я ее от пропасти, в которую она летела; она скажет, что в своих разговорах с нею я доводил свою откровенность до выражений, которые должны были ее оскорбить, но вместе с тем и открыть ей глаза; по крайней мере, я на это надеялся»[5].

Какую роль играл в сближении Дантеса и Пушкина голландский посланник барон Геккерен, ставший с лета 1836 года приемным отцом француза? Был ли он сводником, старался ли он облегчить своему приемному сыну сношения с Пушкиной и привести эпизод светского флирта к вожделенному концу? Пушкин, друзья его и император Николай Павлович отвечали на этот вопрос категорическим да. У всех них единственным источником сведений о роли Геккерена было свидетельство Натальи Николаевны. «Она раскрыла мужу,—писал князь Вяземский великому князю Михаилу Павловичу,—все поведение молодого и старого Геккеренов по отношению к ней; последний старался склонить

---

1 «Дуэль», 145.
2 «Русск. арх.», 1901, III, 619.
3 «Русский арх.», 1888, II, 309.
4 «Русский арх.», 1888, II, 311.
5 «Дуэль», 185.

ее изменить своему долгу и толкнуть ее в пропасть»[1]. «Хотя никто не мог обвинять жену Пушкина, — сообщал император Николай I своему брату, — столь же мало оправдывали поведение Дантеса, а в особенности гнусного его отца... Порицание поведения Геккерена справедливо и заслуженно; он точно вел себя, как гнусная каналья. Сам сводничал Дантесу в отсутствии Пушкина, уговаривая жену его отдаться Дантесу, который будто умирал к ней любовью... Жена Пушкина открыла мужу всю гнусность поведения обоих»...[2] Пушкин самому Геккерену так характеризовал его роль: «Вы, представитель коронованной особы, — вы были отеческим сводником вашего побочного сына... Все его поведение, вероятно, было направлено вами: вы, вероятно, нашептывали ему те жалкие любезности, в которых он рассыпался, и те пошлости, которые он писал. Подобно развратной старухе, вы отыскивали по всем углам мою жену, чтобы говорить ей о любви вашего сына, и, когда он, больной в с<ифилисе>, оставался дома, принимая лекарства, вы уверяли, что он умирает от любви к ней; вы бормотали ей: „отдайте мне моего сына“»...[3]

На личности барона Геккерена мы уже останавливались, но согласимся сейчас с самыми худшими о нем отзывами, согласимся в том, что барон Геккерен был человек низких нравственных качеств; согласимся, что он не остановился бы ни перед какой гадостью, раз она была средством к известной цели. Но все, что мы о нем знаем, не дает нам права на заключение, что он совершал гадости ради них самих. Спрашивается, какой для него был смысл в сводничестве своему приемному сыну? Еще до усыновления он мог бы секретно оказывать Дантесу свое содействие, свое посредничество, но, связав с ним свое имя, он не стал бы рисковать своим именем и положением. Светский скандал был неизбежен, все равно — завершился бы флирт Дантеса тайной связью и он увез бы Наталью Николаевну за границу, или же Дантес и его приемный отец добились бы развода и второго брака для Н. Н. Пушкиной. Второе предположение, конечно, чистая утопия; разводы были в то время очень затруднены, и Николай Павлович не был их покровителем. Но в том или другом случае барон Геккерен, полномочный нидерландский министр, представитель интересов своего государства, подвергал не только словесному сраму, но и серьезному риску всю свою карьеру. Надо признать, что в жизненные расчеты барона Геккерена отнюдь не могло входить поощрение любовных ухаживаний Дантеса. А если мы приложим к барону Геккерену ту мерку, с которой подходили к нему многие из обвинявших его в сводничестве, и если на минуту согласимся с ними в том, что любовь Геккерена к Дантесу заходила далеко за пределы отцовской и была любовью мужчины к мужчине, то тогда обвинение в сводничестве станет невероятным. И если Геккерен был действительно человек извращенных нравов, то, ревнуя Н. Н. Пушкину к Дантесу, не сводить его с ней он был должен, а разлучать во что бы то ни стало.

До нас дошли оправдания Геккерена как раз против обвинений в сводничестве. Защищаясь он них, он ссылается на признания Пушкиной и на свидетельства лиц посторонних. «Я будто бы подстрекал моего сына к ухаживаниям за г-жею Пушкиной. Обращаюсь к ней самой

---

[1] «Пушкин», 314.

[2] «Дуэль», 141.

[3] «Переписка», III, № 1105, стр. 412.

по этому поводу. Пусть она покажет под присягой, что ей известно, и обвинение падет само собой... Если г-жа Пушкина откажет мне в этом признании, то я обращусь к свидетельству двух высокопоставленных дам, бывших поверенными всех моих тревог, которым я день за днем давал отчет во всех моих усилиях порвать эту несчастную связь»[1]. Трудно допустить, чтобы Геккерен писал эти признания графу Нессельроде на ветер, заранее будучи уверен, что ни Пушкину, ни высокопоставленных дам не спросят: ведь он знал, что его письма к графу Нессельроде будут известны императору Николаю, и должен был считаться с возможностью того, что император возьмет да и прикажет расспросить всех указанных им свидетельниц по делу! Наконец, Геккерен в своем оправдании указывает на один любопытный факт, остающийся невыясненным для нас и по сей день: «Мне скажут, что я должен был бы повлиять на сына? Г-жа Пушкина и на это могла бы дать удовлетворительный ответ, воспроизведя письмо, которое я потребовал от сына, — письмо, адресованное к ней, в котором он заявлял, что отказывается от каких бы то ни было видов на нее. Письмо отнес я сам и вручил его в собственные руки»[2]. Если поверить Геккерену, то этот факт с письмом заставляет многое в истории Дантеса и Н. Н. Пушкиной отнести за ее счет. К вышеприведенным словам Геккерен делает ехидное добавление: «Г-жа Пушкина воспользовалась им, чтобы доказать мужу и родне, что она никогда не забывала своих обязанностей». Итак, следуя соображениям здравого смысла, мы более склонны думать, что барон Геккерен не повинен в сводничестве: скорее всего, он действительно старался о разлучении Дантеса и Пушкиной. Вспоминается одна фраза из письма Геккерена к Дантесу, написанного из Петербурга после высылки последнего за границу: «Боже мой, Жорж, что за дело оставил ты мне в наследство! А все недостаток доверия с твоей стороны. Не скрою от тебя, меня огорчило это до глубины души; не думал я, что заслужил от тебя такое отношение»[3]. Отношения, зачерченные в этих строках, не позволяют принять огульно утверждение о своднической роли барона Геккерена.

Ухаживанья Дантеса за Н. Н. Пушкиной стали сказкой города. Об них знали все и с пытливым вниманием следили за развитием драмы[4]. Свет с зловещим любопытством наблюдал и ждал, чем

---

[1] «Дуэль», 185. Кто эти две дамы? Можно делать только догадки. Одна из них, наверно, графиня Нессельроде. Об отношении к последней Пушкина см.: «Русск. арх.», 1910, II, стр. 128.

[2] «Дуэль», 186. С этим указанием, кажется, следует сопоставлять тоже неясное сообщение князя Вяземского о письме, которое будто бы, по просьбе Геккеренов, должна была написать Наталья Николаевна к Дантесу («Дуэль», 143).

[3] «Дуэль», 279.

[4] Граф Отто фон Брей, бывший в 1833—1836 годах секретарем баварского посольства и *в феврале 1836* года переведенный из Петербурга в Париж, уже был свидетелем того тяжелого положения, которое привело Пушкина к трагическому концу. Граф Брей, живя в Петербурге, вращался в салонах Карамзиной и Виельгорских, поддерживал знакомство с князем П. А. Вяземским. См.: Graf Otto von Bray-Steinburg. Denkwürdigkeiten aus seinem Leben. Mit einem Vorwort von Prof. Dr. K. von Heigel. Lpz. 1901. S. 11, 14. А.О. Россет вспоминал впоследствии, что летом 1836 года шли толки, будто у Пушкина в семье что-то не ладно: две сестры, сплетни, и уже замечали волокитство Дантеса. — «Русск. арх.», 1882, I, 246.

разразится конфликт. Расцвет светских успехов Натальи Николаевны больно поражал сердце поэта. В марте 1836 года Пушкина была в наибольшей моде в петербургском свете, а Пушкин внимательным и близким наблюдателям казался все более и более скучным и эгоистичным[1]. В октябре того же года, т. е. накануне рассылки пасквилей, в Петербурге говорили о Пушкиной гораздо больше, чем о ее муже. Анна Николаевна Вульф признавала, что о Пушкине в Тригорском больше говорили, чем в Петербурге[2]. И никто из видевших не подумал о том, что надо помочь Пушкину, надо предупредить возможный роковой исход. «Вашему императорскому высочеству, — писал после смерти поэта князь Вяземский Михаилу Павловичу, — небезызвестно, что молодой Геккерен ухаживал за г-жею Пушкиной. Это неумеренное и довольно открытое ухаживание порождало сплетни в гостиных и мучительно озабочивало мужа»[3]. Михаилу же Павловичу писал то же после смерти поэта император Николай: «Давно ожидать должно было, что дуэлью кончится их неловкое положение»[4]. И этот монарх, считавший для себя все позволенным, не сделал ровно ничего к предупреждению рокового исхода. П. И. Бартенев слышал от графа В. Ф. Адлерберга о его попытке устранить столкновение Пушкина с Дантесом: «Зимой 1836—1837 гг., на одном из бывших вечеров, граф В. Ф. Адлерберг увидел, как стоявший позади Пушкина молодой князь П. В. Долгорукий кому-то указывал на Дантеса и при этом подымал вверх пальцы, растопыривая их рогами... Находясь в постоянных дружеских сношениях с Жуковским, восхищаясь дарованием Пушкина, он тревожился мыслью о сем последнем. Ему вспомнилось, что кавалергард Дантес как-то выражал желание проехаться на Кавказ и подраться с горцами. Граф Адлерберг поехал к великому князю Михаилу Павловичу (который тогда был Главнокомандующим Гвардейским корпусом) и, сообщив ему свои опасения, говорил, что следовало бы хоть на время удалить Дантеса из Петербурга. Но остроумный француз-красавец пользовался большим успехом в обществе. Его считали там украшением балов. Он подкупал и своим острословием, до которого великий князь был большой охотник, и меру, предложенную графом Адлербергом, не успели привести в исполнение»[5].

«Неумеренное и довольно открытое ухаживание Дантеса за Н. Н. Пушкиной порождало сплетни в гостиных»[6]. Дантес и Пушкина встречались на балах, в великосветских гостиных. Местом встреч был также и дом ближайших друзей Пушкина, князей Вяземских. Хозяйка дома, обязанная принимать и Дантеса и Пушкина, была поставлена в двусмысленное положение. «Н. Н. Пушкина бывала очень часто, и всякий раз, как она приезжала, являлся и Геккерен, про которого уже знали, да и он сам не скрывал, что Пушкина очень ему нравится. Оберегая честь своего дома, княгиня-мать напрямик объявила нахалу-французу, что она просит его свои ухаживания за женою Пушкина производить где-нибудь в другом доме. Через несколько времени он опять приезжает вечером и не отходит от Натальи Николаевны. Тогда княгиня ска-

---

[1] «Пушкин и его современники», XXI—XXII, стр. 332.
[2] Там же, стр. 341.
[3] «Дуэль», 140.
[4] «Пушкин», 358.
[5] «Русск. арх.», 1892 г., т. II, стр. 488. Из записной книжки «Р. А.».
[6] «Дуэль», 140.

зала ему, что ей остается одно — приказать швейцару, коль скоро у подъезда их будет несколько карет, не принимать г-на Геккерена. После этого он прекратил свои посещения, и свидания его с Пушкиной происходили уже у Карамзиных»[1].

У Карамзиных Дантес был принят наилучшим образом. В особенно дружеских отношениях он был с Андреем Николаевичем Карамзиным: после смерти Пушкина А. Н. Карамзин должен был употребить усилие, дабы не стать вновь на такую же дружескую ногу, как было раньше[2].

Мы уже говорили о том, что обвинения Геккерена в сводничестве вряд ли имеют под собой почву. Но были добровольцы, принявшие на себя эту гнусную обязанность. К таковым молва упорно причисляет Идалию Григорьевну Полетику, незаконную дочь графа Григория Александровича Строганова. «Она была известна», говорит один современник, князь А. В. Мещерский, «в обществе как очень умная женщина, но с весьма злым языком, в противоположность своему мужу, которого называли „Божьей коровкой"»[3]. «Она олицетворяла тип обаятельной женщины не столько миловидностью лица, как складом блестящего ума, веселостью и живостью характера, доставлявшими ей всюду постоянный несомненный успех»[4]. С этой Идалией подружилась Наталья Николаевна; сближению сильно содействовало то обстоятельство, что отец Идалии, граф Г. А. Строганов, был двоюродным братом матери Пушкиной, Натальи Ивановны Гончаровой, рожденной Загряжской. Муж Полетики — в то время ротмистр Кавалергардского полка — был приятелем Дантеса. Идалия Полетика дожила до преклонной старости (умерла в 1889 году) и до самой смерти питала совершенно исключительное чувство ненависти к самой памяти Пушкина[5].

Причины этой ненависти нам неизвестны и непонятны. Редкие упоминания о Полетике в письмах Пушкина к жене рисуют довольно дружественные отношения Пушкиных к Идалии. Но Идалия не платила им той же монетой. Княгиня В. Ф. Вяземская обвиняла Идалию Полетику в том, что она сводила Дантеса с Натальей Николаевной и предоставляла свою квартиру для свиданий[6]. В последней главе истории дуэли мы еще встретимся с Полетикой.

Своеобразной пособницей Дантесу и Пушкиной явилась, по словам княгини В. Ф. Вяземской, и сестра Натальи Николаевны, девица Екатерина Гончарова. Она была влюблена в Дантеса и нарочно устраивала свидания своей сестры с Дантесом, чтобы только, в качестве наперсницы, повидать лишний раз предмет своей тайной страсти[7].

Пушкин знал об ухаживаниях Дантеса; он наблюдал, как крепло и росло увлечение Натальи Николаевны. До получения анонимных

---

[1] «Русск. арх.», 1888, II, 308. Сравн. там же, 1906, III, 619.

[2] О хорошем отношении к Дантесу в семье Карамзиных можно заключить по письмам А. Н. Карамзина. — «Старина и новизна», кн. 17.

[3] *С. А. Панчулидзев.* Сборник биографий кавалергардов. 1801—1826. Спб., 1906, стр. 351.

[4] *А. П. Арапова,* назв. соч. — «Нов. время», 1908, № 11425.

[5] О Полетике см. любопытный рассказ П. И. Бартенева. — «Русск. арх.», 1911, I, 175 и сл. Ее портрет — в «Альбоме Пушкинской юбилейной выставки в императорской Академии наук», под редакцией Л. Н. Майкова и Б. Л. Модзалевского. Спб., 1899.

[6] См.: «Русск. арх.», 1911 г., I, стр. 176.

[7] Там же, 1888, II, 309.

писем в ноябре он, по-видимому, не пришел к определенному решению, как ему поступить в таких обстоятельствах. Вяземский писал впоследствии: «Пушкин, будучи уверен в привязанности к себе своей жены и в чистоте ее помыслов, воспользовался своей супружеской властью, чтобы вовремя предупредить последствия этого ухаживания, которое и привело к неслыханной катастрофе»[1].

Сам Пушкин в письме к Геккерену пишет, что поведение его сына было ему давно известно и что он не мог оставаться равнодушным; но до поры, до времени он довольствовался ролью наблюдателя, откладывая свое вмешательство до удобного момента. В Пушкине сидел человек XVIII века, рационалист, действующий по известным максимам, которых было так много в этот век. Он теоретически верил тому, что при нарастании любовного конфликта жены с третьим человеком муж в определенный момент и может, и должен стать доверенным своей жены и взять в свои руки управление поведением жены. Но этот принцип, удобный теоретически, на практике оказался неудобоприменимым. Из письма Пушкина к барону Геккерену видно, что он только по получении анонимных писем счел момент подходящим для того, чтобы стать доверенным своей жены и хозяином ее поведения, но из дальнейших событий ясно, что Пушкин упустил момент: доверенность жены не оказалась полной, и полновластным хозяином поведения молодой женщины он уже не мог стать. Несмотря на свою пассивность, робость, Наталья Николаевна не имела сил подчиниться исключительно воле мужа и противостоять сладкому влиянию Дантеса.

6.

«4-го ноября по утру, — писал Пушкин в неотправленном письме к Бенкендорфу, — я получил три экземпляра анонимного письма, оскорбительного для моей чести и чести моей жены»...[2] После некоторых справок и розысков Пушкин узнал, что «в тот же день семь или восемь лиц также получили по экземпляру того же письма, в двойных конвертах, запечатанных и адресованных на мое имя. Почти все, получившие эти письма, подозревая какую-нибудь подлость, не отослали их ко мне»[3]. Нам известно, что такие письма получили князь П. А. Вяземский, граф М. Ю. Виельгорский, тетка графа В. А. Соллогуба — г-жа Васильчикова, Е. М. Хитрово. «4 ноября, — писал князь Вяземский великому князю Михаилу Павловичу, — моя жена вошла ко мне в кабинет с запечатанной запиской, адресованной Пушкину, которую она только что получила в двойном конверте по городской почте. Она заподозрила в ту же минуту, что здесь крылось что-либо оскорбительное для Пушкина. Разделяя ее подозрения и воспользовавшись правом дружбы, которая связывала меня с ним, я решился распечатать конверт и нашел в нем документ. Первым моим движением было бросить бумагу в огонь, и мы с женой дали друг другу слово сохранить все это в тайне. Вскоре мы узнали, что тайна эта далеко не была тайной для многих лиц, получивших подобные письма, и даже Пушкин не только сам получил такое же, но и два других подобных, переданных ему друзьями, не знавшими их содер-

[1] «Дуэль», 140, 141.
[2] «Переписка», III, № 1106, стр. 416.
[3] Там же, 416.

жания и поставленными в такое же положение, как и мы»[1]. «В первых числах ноября 1836 г., — читаем мы в воспоминаниях графа В. А. Соллогуба, — тетка моя Васильчикова, у которой я жил тогда на Большой Морской, велела однажды утром меня позвать к себе и сказала: «Представь себе, какая странность! Я получила сегодня пакет на мое имя, распечатала и нашла в нем другое, запечатанное письмо с надписью: Александру Сергеевичу Пушкину. Что мне с этим делать?» Говоря так, она вручила мне письмо, на котором было действительно написано кривым лакейским почерком: Александру Сергеевичу Пушкину. Мне тотчас же пришло в голову, что в этом письме что-нибудь написано о моей прежней личной истории с Пушкиным, что, следовательно, уничтожить его я не должен, а распечатать не вправе. Затем я отправился к Пушкину и, не подозревая нисколько содержания приносимого мною гнусного пасквиля, передал его Пушкину. Пушкин сидел в своем кабинете, распечатал конверт и тотчас сказал мне: «Я уж знаю, что такое; я такое письмо получил сегодня же от Елиз. Мих. Хитрово: это мерзость против жены моей. Впрочем, понимаете, что безымянным письмом я обижаться не могу. Если кто-нибудь сзади плюнет на мое платье, так это дело моего камердинера вычистить платье, а не мое. Жена моя — ангел, никакое подозрение коснуться ее не может. Послушайте, что я по сему предмету пишу г-же Хитрово». Тут он прочитал мне письмо, вполне сообразное с его словами»[2].

В конце концов, анонимные письма, которым нередко приписывают гибель Пушкина, явились лишь случайным возбудителем. Не будь их, — все равно раньше или позже настал бы момент, когда Пушкин вышел бы из роли созерцателя любовной интриги его жены и Дантеса. В сущности, зная страстный и нетерпеливый характер Пушкина, надо удивляться лишь тому, что он так долго выдерживал роль созерцателя. Отсутствие реакции можно приписать тому состоянию оцепенения, в которое его в 1836 г. повергали все его дела: и материальные, и литературные, и иные. О состоянии Пушкина в последние месяцы жизни следовало бы сказать особо и подробно.

Анонимные письма были толчком, вытолкнувшим Пушкина из колеи созерцания. Чести его была нанесена обида, и обидчики должны были понести наказание. Обидчиками были те, кто подал повод к самой мысли об обиде, и те, кто причинил ее, кто составил и распространил пасквиль.

Повод был очевиден: ухаживания Дантеса. Лица, с которыми Пушкин говорил по этому поводу, по его собственным словам, «пришли в негодование от неосновательного и низкого оскорбления». «Все, повторяя, что поведение моей жены безукоризненно, говорили, что поводом к этой клевете послужило слишком явное ухаживание за нею Дантеса», — писал Пушкин в письме к Бенкендорфу[3]. Произошли объяснения с женой, которые, конечно, только утвердили общую молву. Наталья Николаевна, передавая мужу об ухаживаниях Дантеса, подчеркивала его навязчивость, а заодно указала и на то, что старый

---

[1] «Дуэль», 141.

[2] «Воспоминания графа В. А. Соллогуба. Новые сведения о предсмертном поединке А. С. Пушкина». М., 1866, стр. 41—44. Письмо Пушкина к Е. М. Хитрово до нас не дошло.

[3] «Переписка», III, № 1106, стр. 417.

Геккерен старался склонить ее к измене своему долгу; о себе она призналась только в том, что, по легкомыслию и ветрености, слишком снисходительно отнеслась к приставаниям Дантеса. Ее объяснения, если верить словам Вяземского и самого Пушкина, оставили в Пушкине впечатление полной ее невиновности и решительной гнусности ее соблазнителей. «Пушкин, — говорит Вяземский, — был тронут ее доверием, раскаянием и встревожен опасностью, которая ей угрожала, но, обладая горячим и страстным характером, не мог отнестись хладнокровно к положению, в которое он с женой был поставлен; мучимый ревностью, оскорбленный в самых нежных, сокровенных своих чувствах, в любви к своей жене, видя, что честь его задета чьей-то неизвестной рукой, он послал вызов молодому Геккерену, как единственному виновнику, в его глазах, в двойной обиде, нанесенной ему в самое сердце»[1]. «Я не мог допустить, — писал Пушкин в письме к Бенкендорфу, — чтобы в этой истории имя моей жены было связано клеветою с именем кого бы то ни было. Я просил сказать об этом г. Дантесу»[2].

4 ноября Пушкин получил анонимные письма и на другой день, 5 ноября[3], отправил вызов Дантесу на квартиру его приемного отца барона Геккерена. Как раз в этот день Дантес находился дежурным по дивизиону[4], дома не был, и вызов попал в руки барона Геккерена. Со слов К. К. Данзаса сообщалось в свое время, что «Пушкин послал вызов Дантесу через офицера Генерального штаба К. О. Россета»[5].

---

[1] «Дуэль», 141.

[2] «Переписка», III, № 1106, стр. 417.

[3] Геккерн в письме к Загряжской от 13 ноября дает эту дату: „Depuis huit jours d'angoisses j'ai été si heureux et si tranquille hier au soir..." («Дуэль», 178). Промежуток восьми тревожных дней, кончившийся 12 ноября вечером, начался, следовательно, с 5 ноября, — дня, в который в руки барона Геккерена попал вызов, предназначенный Дантесу.

[4] С. А. Панчулидзев сообщил мне касающиеся Дантеса выписки из приказов по Кавалергардскому полку. Из них видно, что 4 ноября поручику барону Дантесу-Геккерену за незнание людей своих взводов и за неосмотрительность в своей одежде командир полка сделал строжайший выговор и предписал нарядить его дежурным по дивизиону пять раз. Дежурил Дантес, во исполнение предписания, 5, 7, 9, 11 и 13 ноября. Эти даты важны для хронологии событий.

[5] «Последние дни жизни и кончина А. С. Пушкина», со слов К. К. Данзаса. Спб., 1863, стр. 10. Рассказы о секундантстве К. О. Россета вызывают много недоумений. По рассказу К. К. Данзаса, Пушкин приглашал К. О. Россета в секунданты сейчас же по получении анонимных писем, ибо Данзас сообщает, что Дантес, приняв переданный К. О. Россетом вызов, попросил на две недели отсрочки. По приведенным в тексте соображениям, мы полагаем, что этот первый вызов Дантесу был письменным. О К. О. Россете как секунданте мы думаем, что Пушкин, приглашая его быть секундантом, ограничился только словами и о претворении их в дело, т. е. о формальном его приглашении, и не подумал. Да и из рассказа брата К. О. Россета, А. О. Россета («Русск. арх.», 1882, I, 247), ясно, что Пушкин, выслушав ответ со стороны К. О. Россета, не настаивал на своем приглашении. Неясно, когда Пушкин имел этот разговор с К. О. Россетом. Если верить А. О. Россету, это случилось как раз в тот день, когда Пушкин во время обеда, на который он пригласил К. О. Россета, получил письмо Дантеса с предложением Екатерине Гончаровой. Но это случилось после того, как дело с первым вызовом было улажено секундантами Пушкина (гр. В. А. Соллогуб) и Дантеса (виконт д'Аршиак). Но зачем же понадобился Пушкину новый секундант, раз у него уже был приглашен гр. Соллогуб! Или А. О. Россет ошибся, утверждая, что предложение секундантства его брату

Вряд ли это сообщение верно. Вызов был письменный. Когда графу Соллогубу пришлось позднее выступить в роли секунданта, д'Аршиак, секундант Дантеса, желая ознакомить его с обстоятельствами дела, предъявил ему документы и среди них «вызов Пушкина Дантесу». По всей вероятности, вызов был просто послан, а не передан кем-либо, ибо попасть не по назначению он мог только в том случае, если он был послан, и ни один секундант в мире не позволил бы себе передать вызов кому-либо иному, а не вызываемому. Вызов Пушкина не был мотивирован.

Вызов Пушкина застал барона Геккерена врасплох. О его замешательстве, о его потрясении свидетельствуют и дальнейшее его поведение, и сообщения Жуковского в письмах к Пушкину. Он в тот же день отправился к Пушкину, заявил, что он принимает вызов за своего сына, и просил отложить окончательное решение на 24 часа — в надежде, что Пушкин обсудит еще раз все дело спокойнее и переменит свое решение. Через 24 часа, т. е. 6 ноября, Геккерен снова был у Пушкина и нашел его непоколебимым. Об этом его свидании с Пушкиным князь Вяземский рассказывает в письме к великому князю Михаилу Павловичу следующее: «Геккерен рассказывал Пушкину о своем критическом положении и затруднениях, в которые его поставило это дело, каков бы ни был его исход; он говорил ему о своих отеческих чувствах к молодому человеку, которому он посвятил всю свою жизнь с целью обеспечить ему благосостояние. Он прибавил, что видит здание всех своих надежд разрушенным до основания в ту самую минуту, когда считал свой труд доведенным до конца. Чтобы приготовиться ко всему, могущему случиться, он попросил новой отсрочки на неделю. Принимая вызов от лица молодого человека, т. е. своего сына, как он его называл, он тем не менее уверял, что тот совершенно не подозревает о вызове, о котором ему скажут в последнюю минуту. Пушкин, тронутый волнением и слезами отца, сказал: «Если так, то не только неделю — я вам даю две недели сроку и обязуюсь честным словом не давать никакого движения этому делу до назначенного дня и при встречах с вашим сыном вести себя так, как если бы между нами ничего не произошло»[1]. Пушкин в письме

и предложение Дантеса Екатерине Гончаровой были сделаны в один и тот же день, или же это сообщение дает нам неизвестную в истории дуэли подробность, которую мы не можем связать с известными нам фактами.

Биограф Дантеса, С. А. Панчулидзев (назв. соч., стр. 79), пишет, что первый вызов Пушкин послал через своего шурина Ивана Гончарова. Это утверждение неверно и, кажется, не имеет никакого другого основания, кроме сообщения П. И. Бартенева со слов княгини В. Ф. Вяземской («Русск. арх.», 1888, 307, II). Но и здесь сообщение только предположительное: «вызов послал, *вероятно*, через брата жены, Гончарова».

В письме к Бенкендорфу Пушкин о способе вызова пишет: „Il ne me convenait pas de voir le nom de ma femme accollé, en cette occasion, avec le nom de qui que ce soit. Je le fis dire M-r Dantès. Le Baron de Heckern vint chez moi et accepta un duel pour M-r Dantès, en me demandant un délai de 15 jours» («Переписка», III, 417). Каким образом Пушкин передал свой вызов, из этих слов неясно. Больше похоже на то, что он кого-то просил передать вызов, но фраза может быть истолкована и в смысле свидетельства о передаче письменного заявления.

[1] «Дуэль», 142. В позднейших рассказах князей Вяземских, записанных П. И. Бартеневым, этот момент передан с некоторыми новыми подробностями: «Князь Вяземский встретился с Геккереном на Невском, и он стал

к Бенкендорфу излагает кратко историю отсрочки: «Барон Геккерен является ко мне — и принимает вызов за г. Дантеса, прося отсрочки поединка на 15 дней»[1].

7.

Геккерену удалось отсрочить поединок и выиграть таким образом время. Теперь надо было употребить все старания к тому, чтобы устранить самое столкновение с возможным роковым исходом. Эта забота легла на сердце не одному Геккерену. Переполошилась, конечно, прежде всего Наталья Николаевна, а за нею — ее сестры и тетушка, покровительница всех сестер Гончаровых, — фрейлина Екатерина Ивановна Загряжская. Вызов был сделан; срам грозил ее любимой (fille de son coeur, sa fille d'adoption) племяннице, так хорошо принятой при дворе, и, конечно, ей самой, опекавшей и охранявшей сестер Гончаровых. Надо было сделать все, что только возможно, чтобы предупредить скандал, устранить дуэль, затушить дело. Ни Наталья Николаевна, ни ее сестры, конечно, ничего тут не могли сделать, и надо было действовать самой Загряжской. Она так и поступила и приняла деятельнейшее участие в развитии дальнейших событий. 6 ноября молодой Гончаров, брат Натальи Николаевны, съездил в Царское Село к Жуковскому, и в тот же день Жуковский был уже в Петербурге. Жуковский был другом, которого Пушкин слушался в мирских делах; Жуковский любил Пушкина и был миролюбив, и Гончаровы поступили правильно, вызвав его и вмешав в разыгравшиеся события.

Пушкин отправил вызов. Надо было убедить его отказаться от вызова. Над вопросом, как это сделать, ломали голову барон Геккерен, Е. И. Загряжская и Жуковский.

6 ноября Жуковский, по вызову Гончарова, приехал в Петербург и направился к Пушкину. В то время, как он находился у него, явился Геккерен. Это было второе посещение Пушкина Геккереном, когда он добился двухнедельной отсрочки. Жуковский оставил Пушкина и спустя некоторое время снова вернулся к нему. Конец дня Жуковский провел у графа Виельгорского и князя Вяземского. Очевидно, разговор шел о деле Пушкина. Вечером Жуковский получил письмо от Е. И. Загряжской.

На другой день, утром 7 ноября, Жуковский был уже у Загряжской. «От нее к Геккерену» — кратко гласит конспективная записка Жуковского, которою мы в дальнейшем изложении будем пользоваться; она является важнейшим источником для истории ноябрьского столкновения Пушкина с Дантесом; к сожалению, многие заметки

рассказывать ему свое горестное положение: говорил, что всю жизнь свою он только и думал, как бы устроить судьбу своего питомца, что теперь, когда ему удалось перевести его в Петербург, вдруг приходится расстаться с ним, потому что, во всяком случае, кто из них ни убьет друг друга, разлука несомненна. Он передавал князю Вяземскому, что он желает сроку на две недели для устройства дел, и просил князя помочь ему. Князь тогда не понял старика и не взялся за посредничество, но Жуковского старик разжалобил: при его посредстве Пушкин согласился ждать две недели» («Русск. арх.», 1888, II).

[1] «Переписка», III, № 1106, стр. 417.

в записке Жуковского слишком конспективны, писаны были про себя и толкованию не поддаются[1].

«Поутру у Загряжской. От нее к Геккерену. (Mes antécédents – неизвестное <незнание. – *Я. Л.*> совершенное прежде бывшего)». Эти краткие указания нетрудно развернуть. Загряжская обратилась к Жуковскому с просьбой о содействии и помощи при разрешении конфликта и рассказала остававшиеся ему неизвестными обстоятельства, происшедшие до вызова. Эти «antécédents» мы не можем выяснить ни по заметкам Жуковского, ни по другим источникам. А что-то было действительно! На это есть намеки и в разорванном черновике письма Пушкина к Геккерену[2]. От Загряжской Жуковский поехал к Геккерену. Ясно, что посещение Геккерена было продиктовано Жуковскому именно Загряжскою. Во всяком случае, сообщение Вяземского о том, что барон Геккерен бросился к Жуковскому и Михаилу Виельгорскому с уговорами о посредничестве, неверно, по крайней мере, по отношению к Жуковскому. Если Геккерен искал помощи в Жуковском и других, то и они, в свою очередь, искали его содействия. Неясно, было ли внушенное Загряжскою посещение Жуковским Геккерена первым опытом ее сношений с Геккереном, или они обменялись встречами еще до наступления этого момента и Жуковский явился официальным посредником? Неясен, по связи с только что поставленным, и следующий вопрос: был ли у Загряжской уже определенный (но пока не сообщенный Жуковскому) план предотвращения беды, или она отправила Жуковского к Геккерену только поговорить и посмотреть, нельзя ли что-либо сделать?

У Геккерена Жуковского ждали «открытия»: «о любви сына к Катерине; открытие о родстве; о предполагаемой свадьбе». По поводу первого открытия Жуковский в скобках заметил: «моя ошибка насчет имени». Дело, кажется, надо представлять себе так. Геккерен сказал Жуковскому, что его сын любит не m-me Пушкину, а ее сестру. Жуковский назвал Александрину и ошибся. Второе открытие Геккерена невразумительно: о каком родстве мог открыться Геккерен? О родстве с Дантесом? Но об этом говорили только сплетни, а в действительности его не было. Быть может, Геккерен говорил о далеком родстве или, вернее, свойстве Дантеса с Пушкиными?[3]

Итак, уже 7 ноября, через 48 часов после вызова, была пущена в оборот мысль об ошибочных подозрениях Пушкина и о предполагавшейся свадьбе Дантеса и Екатерины Гончаровой. Как, у кого

---

[1] Конспективная записка Жуковского, хранящаяся в принадлежащем Пушкинскому дому Музее А. Ф. Онегина в Париже, появляется в настоящей книге (см. ниже, в V отделе второй части нашей книги) впервые. При цитировании ее в дальнейшем изложении отдельных ссылок не делаю.

[2] „Le 2 de novembre vous eûtes (de) cru M-r votre fils (une) à la suite d'une... (coup de plaisir). Il vous dit... té que ma femme crai... u'elle en perdoit la tête..."

[3] В современных французских известиях нередки ссылки на родство. Выше (стр. 27) мы упоминали о том, что Дантес по матери был внук графини Елизаветы Федоровны Вартенслебен, бывшей замужем за графом Алексеем Семеновичем Мусиным-Пушкиным (1730–1817). Этот Мусин-Пушкин доводился шестиюродным братом Надежде Платоновне Мусиной-Пушкиной, бабушке жены поэта. Родство же Пушкина с Мусиными-Пушкиными – родство кровное, хотя и весьма отдаленное, – по общему предку Радше (сообщение Б. Л. Модзалевского).

возникла эта мысль? Жуковский услышал ее впервые от Геккерена, но это не значит, что эта мысль его создание. Обычное представление таково: Геккерены так перепугались вызова и были в таком смятении, что готовы были пойти на все, что открывало просвет среди темных и тревожных обстоятельств. Прежде всего подставили вместо Натальи Николаевны Катерину Николаевну и заявили, что чувства Дантеса относились к последней. Ну, а если такое заявление поведет к женитьбе? Не беда: можно и жениться, но только бы не драться, только бы не подставлять грудь под выстрел Пушкина! Такое обычное представление должно признать несоответствующим действительности. *Проект сватовства Дантеса к Катерине Гончаровой существовал до вызова.* Жуковский в одном из «дуэльных» писем к Пушкину упоминает о бывшем в его руках и полученном от Геккерена материальном доказательстве, что «дело, о коем теперь идут толки (т. е. женитьба Дантеса), затеяно было еще гораздо прежде вызова». Геккерен в письме к Загряжской от 13 ноября тоже говорит о том, что проект свадьбы Екатерины Гончаровой и Дантеса существует уже давно и что сам он отрицательно относился к этому проекту по мотивам, известным Загряжской. В переписке отца Пушкина с дочерью, Ольгой Сергеевной, есть упоминания о возможном браке m-lle Гончаровой и Дантеса еще в письме от *2 ноября 1836 года.* В этот день Ольга Сергеевна писала из Варшавы своему отцу: «Вы мне сообщаете новость о браке Гончаровой». А Сергей Львович Пушкин жил в то время в Москве, и, следовательно, по крайней мере *во второй половине октября* в Москву уже дошли слухи о возможной женитьбе[1].

Итак, мысль о женитьбе Дантеса на Гончаровой существовала до вызова. В каких реальных формах нашла выражение эта мысль, определить затруднительно. Было ли Геккеренами только брошено на ветер слово о возможности брака Екатерины Гончаровой и Дантеса, или мысль эта дебатировалась подробно, неизвестно. Нам представляется наиболее вероятным, что и в самый момент возникновения проект женитьбы на Гончаровой уже представлялся средством отвести глаза Пушкину и скрыть от него истинный смысл ухаживаний Дантеса. Мысль была высказана не только между Дантесом и Геккереном, но пошла, как мы видели, и дальше и, следовательно, не могла быть чуждой и Загряжской с ее племянницами. Геккерен в свое время отринул проект женитьбы, но произошли новые события, Пушкин прислал вызов; надо было отбиться от поединка, — и вот отверженная мысль становится спасительной. Но ведь точно так же, как Геккерен, и Загряжская, не менее Геккерена желавшая потушить все дело, могла схватиться за отброшенную в свое время мысль о женитьбе как за якорь спасения. Как ни была мимолетна эта мысль, она тотчас же всплыла на поверхность, лишь только грянул гром и Пушкин послал свой вызов. Геккерен заметался, ища выхода, ища спасения от дуэли, а Дантес, лишь только осведомился о вызове, сейчас же принял позу.

В объяснениях своих перед русским министром иностранных дел графом Нессельроде и перед нидерландским правительством Геккерен определенно говорит о том, что Дантес решился на брак с исключительной целью не компрометировать дуэлью m-me Пушкину. «Сын

---

[1] См.: «Пушкин и его современники», вып. XII, стр. 88 и 94.

мой, — писал Геккерен своему министру барону Верстолку, — понимая хорошо, что дуэль с г. Пушкиным уронила бы репутацию жены последнего и скомпрометировала бы будущность его детей, счел за лучшее дать волю своим чувствам и попросил у меня разрешения сделать предложение сестре г-жи Пушкиной, молодой и хорошенькой особе, жившей в доме супругов Пушкиных; этот брак, вполне приличный с точки зрения света, так как девушка принадлежала к лучшим фамилиям страны, спасал все: репутация г-жи Пушкиной оставалась вне подозрений, муж, разуверенный в мотивах ухаживания моего сына, не имел бы поводов считать себя оскорбленным (повторяю, клянусь честью, что он им никогда и не был), и, таким образом, поединок не имел бы уже смысла. Вследствие этого я полагал своей обязанностью дать согласие на этот брак»[1]. В письме к графу Нессельроде Геккерен выражается еще резче, еще определеннее. Опровергая предположение, выставлявшее Дантеса автором подметных писем, Геккерен пишет: «С какою целью? Разве для того, чтобы заставить ее броситься в его объятия, не оставив ей другого исхода, как погибнуть в глазах света и отвергнутой мужем? Но подобное предположение плохо вяжется с тем высоконравственным чувством, которое заставило моего сына *закабалить себя на всю жизнь,* чтобы спасти репутацию любимой женщины. Или он хотел вызвать тем поединок, надеясь на благоприятный исход? Но три месяца тому назад он рисковал тем же; однако, будучи далек от подобной мысли, он предпочел *безвозвратно себя связать* с единственной целью — не компрометировать г-жу Пушкину»[2]. Прусский посланник Либерман, доносивший после смерти Пушкина об истории дуэли и почерпавший свои сведения, по всей вероятности, от самого Геккерена, — по поводу брака Дантеса сообщил, между прочим: «Чтобы положить конец поднявшемуся по поводу этого дела шуму, молодой барон Геккерен совершенно добровольно решился жениться на сестре m-me Пушкиной, которой он также оказывал большое внимание. Хотя девушка не имела никакого состояния, приемный отец молодого человека дал свое согласие на брак»[3].

Каковы были психологические мотивы решимости Дантеса «закабалить» себя браком на немилой женщине? Действительно ли для него на первом плане стояло счастье любимой женщины, и для того лишь только, чтобы не омрачить его, он, как рыцарь, приносил в жертву своей любви счастье своей жизни? Или же он попросту испугался поединка и ради устранения его, ради устранения возможного рокового исхода предпочел «закабалить» себя на всю жизнь? Такие вопросы ставил себе в 1842 году, значит, через пять лет после смерти Пушкина, его приятель Н. М. Смирнов. И не мог их разрешить. «Что понудило Дантеса вступить в брак с девушкою, которой он не мог любить, трудно определить; хотел ли он, жертвуя собою, успокоить сомнения Пушкина и спасти женщину, которую любил, от нареканий света, или надеялся он, обманув этим ревность мужа, иметь, как брат, свободный доступ к Наталье Николаевне; испугался ли он дуэли, — это неизвестно»[4]. Прежде чем ответить на эти вопросы, приведем любопытные рассуждения князя Вяземского в письме к великому

---

[1] «Дуэль», 189.
[2] Там же, 186.
[3] Там же, 242.
[4] «Русск. арх.», 1882, I, стр. 235—236.

князю Михаилу Павловичу: «Говоря по правде, надо сказать, что мы все, так близко следившие за развитием этого дела, никогда не предполагали, чтобы молодой Геккерен решился на этот отчаянный поступок, лишь бы избавиться от поединка. Он сам был, вероятно, опутан темными интригами своего отца. Он приносил себя ему в жертву. Я его, по крайней мере, так понял. Но часть общества захотела усмотреть в этой свадьбе подвиг высокого самоотвержения ради спасения чести г-жи Пушкиной. Но, конечно, это только плод досужей фантазии. Ничто ни в прошлом молодого человека, ни в его поведении относительно нее не допускает мысли о чем-либо подобном»[1]. В рассуждениях Вяземского следует отметить, что он и другие друзья Пушкина не решались приписать поступка Дантеса побуждению трусливого характера. Очень темны сообщения Вяземского о темных интригах Геккерена, которые будто бы вызвали Дантеса на такой поступок. Не согласнее ли с истиной вещей признать, что решение Дантеса, как и большинство человеческих решений, не является следствием одного какого-либо мотива, а есть результат взаимодействия мотивов? Остается, во всяком случае, фактом то, что он был влюблен в Наталью Николаевну, желал ее, тянулся к ней через все препятствия, не останавливаясь и перед смертельной опасностью. После всего того, что случилось в ноябре, не удержался же он от соблазна новых сближений с ней в январе после своей свадьбы! Чего достигал он, объявляя о своих матримониальных намерениях и вступая в брак? Да, конечно, прежде всего он мог питать надежду, что его решение отведет гнев Пушкина от головы Натальи Николаевны и охранит ее репутацию, ослабив светское злословие и светские сплетни. Но были и еще выгоды. Поединок оторвал, отдалил бы его навсегда от Пушкиной, а брак на ее сестре, наоборот, приблизил бы, облегчил бы возможность встреч, сближений под покровом родственных отношений и чувств. Стоило только бракосочетанию совершиться, как Дантес сейчас же стал пользоваться такой возможностью. О том, что между ними станет третий человек — Екатерина Гончарова, Дантес, по всей вероятности, и не думал: он слишком был легок для таких долгих мыслей и слишком победитель женских сердец. Екатерина Гончарова была вся в его власти, ибо она была страстно влюблена в него и, зная, конечно, об отношениях Дантеса к сестре, об его влюбленности в нее, ни на минуту не задумалась соединить свою руку с рукой Дантеса. «Согласие Екатерины Гончаровой и все ее поведение в этом деле непонятны, если только загадка эта не объясняется просто ее желанием во что бы то ни стало выйти из разряда старых дев», — писал князь Вяземский, забывая добавить, что к этому, вполне законному, желанию присоединялось и страстное увлечение Геккереном. Припомним и рассказ княгини Вяземской о том, как Екатерина Николаевна содействовала свиданиям сестры с Дантесом, чтобы лишний раз насладиться лицезрением предмета своей страсти. А затем, как бы ни было сильно чувство любви Дантеса к Н. Н. Пушкиной, выливавшееся, главным образом, в стремлении к обладанию, оно не исключало возможности любовных достижений у других женщин. И даже перед Натальей Николаевной Дантес мог бы выиграть своим решением, — она должна была оценить самоотвержение, с каким он бросился в кабалу. И такое рас-

[1] «Дуэль», 144.

суждение могло быть у Дантеса, когда он решался объявить свое намерение жениться на Екатерине Гончаровой.

8.

Возвратимся к Жуковскому, выслушавшему «открытия» Геккерена. По рассказу князя Вяземского, «Геккерен уверял Жуковского, что Пушкин ошибается, что сын его влюблен не в жену его, а в свояченицу, что уже давно сын его умоляет своего отца согласиться на их брак, но что тот, находя брак этот неподходящим, не соглашался, но теперь, видя, что дальнейшее упорство с его стороны привело к заблуждению, грозящему печальными последствиями, он, наконец, дал свое согласие»[1]. Свои действия и свое впечатление Жуковский отметил в конспективной записке кратко: «Мое слово. — Мысль все остановить». «Слово» Жуковского, по всей вероятности, верно передано в воспоминаниях со слов К. К. Данзаса: «Жуковский советовал барону Геккерену, чтобы сын его сделал как можно скорее предложение свояченице Пушкина, если он хочет прекратить все враждебные отношения и неосновательные слухи»[2]. Рассказ Геккерена открыл умственным очам Жуковского ранее не существовавшую возможность расстроить дуэль, внушил «мысль все остановить». Все оказывалось таким простым: стоило сказать Пушкину, что он ошибся, что Дантес желал в действительности не его жену, а Екатерину Гончарову, — и дело образуется.

Но сделать это было не легко. Геккерен открылся Жуковскому в своих планах, но потребовал от него строжайшего сохранения всего им сказанного в величайшей тайне от всех, и от Пушкина в том числе, представляя Жуковскому положение вещей в таком виде. Обстоятельства складывались в пользу брака, он сам дает свое разрешение, брак мог бы осуществиться, но теперь его осуществлению мешает вызов Пушкина, ибо теперь в свете скажут, что угроза поединка заставила Дантеса неожиданно и против воли жениться на Гончаровой; а такое мнение — мало того, что оно неверно, — оскорбительно и Геккеренами не может быть допущено. Но в то же время, раз их действительные желания таковы и раз вообще действительность такова, какою рисуют ее они, а не Пушкин, то поединок явно нелеп и должен быть устранен. Об этом уж пусть заботятся друзья Пушкина. А Дантес исполнит то, что велит ему долг: он принял вызов, примет и поединок и после поединка объявит о сватовстве своем к Екатерине Гончаровой. Поединок мог бы быть устранен, по мнению Геккеренов, в том случае, если бы Пушкин взял свой вызов обратно и притом отнюдь не на основании предполагаемой возможности брака: Геккерены не приняли бы вожделенного отказа от вызова, если бы он был мотивирован именно таким образом. Выходило так, что действительным основанием для прекращения дуэли была мысль о женитьбе Дантеса на Гончаровой, но Пушкин должен был взять обратно свой вызов на ином, мнимом основании, а не действительном. Жуковскому предстояло вести тонкую двойную игру. То, что Геккерен открыл ему под великим секретом, он должен был передать Пушкину под таким же секретом. Пушкин внутри себя должен был решать в зависимости от узнанного под секретом, а вне, в рассуждениях с другими, он не мог опираться на внутренние основания.

---

[1] «Пушкин», 315.

[2] Аммосов, назв. соч., 11.

Вслед за словами «мысль все остановить» в конспективной записке следуют краткие, но выразительные фразы: «Возвращение к Пушкину. Les révélations. Его бешенство». Révélations — это, конечно, те открытия, которые только что выслушал Жуковский от Геккерена. Открытия эти возмутили Пушкина до крайней степени, до степени «бешенства». Простодушному Жуковскому можно было отвести глаза, можно было внушить, что предметом исканий Дантеса была не жена Пушкина, а ее сестра! Но как можно было убедить в этом Пушкина, как можно было пытаться говорить об этом Пушкину, когда об ухаживаниях Дантеса за Натальей Николаевной, об его влюбленности в нее он знал от нее самой! Она сама созналась в легкомысленной снисходительности к ухаживаниям Дантеса; наконец, Пушкин видел, что «красивая наружность, несчастная страсть и двухлетнее постоянство» произвели уже действие на сердце его жены. Смешно было убеждать Пушкина в противном, и потому нетрудно представить «бешенство» Пушкина в ответ на открытия Жуковского и Геккерена. В упоминании о проекте женитьбы он увидел низкую и трусливую попытку увильнуть от дуэли. Пушкин способен был на бешеное излияние своих страстей, но он был прямой человек. И если, вызывая Дантеса, он мог думать, что тот посвоему, но все-таки искренне увлечен Натальей Николаевной, то теперь этот, так легко отрекающийся от любимой им женщины человек показался ему неизмеримо низким, ничтожным и вдобавок презренным трусом, готовым ускользнуть от выстрела противника в немилые объятия. Не имея решительно никакой возможности поверить в свою ошибку (жена вместо свояченицы), Пушкин не поверил и серьезности намерения Дантеса сочетаться браком с Екатериной Николаевной Гончаровой: он думал, что Геккеренам было важно лишь добиться с его стороны отказа от вызова и сорвать поединок. Для этого надо было пустить мысль о браке, а потом можно было и отложить ее осуществление навеки.

Итак, предстояла тяжелая задача — переубедить Пушкина. Время было лучшим помощником.

Непоколебимость Пушкина в своем решении о дуэли нужно было сломить не натиском, а продолжительной и настойчивой осадой. Эту осаду повели Жуковский, Геккерен, Загряжская. Начались переговоры, в которые был вовлечен и Пушкин. Цель их была, с одной стороны, вывести Геккеренов из области слов о предложении, о свадьбе к определенным действиям теперь же, до наступления момента дуэли: с другой стороны — освоить Пушкина с мыслью о браке Гончаровой и Дантеса и убедить его в непременном осуществлении этой мысли.

Под 7 ноября Жуковский отметил еще следующие события: «свидание с Геккерном. Извещение его Вьельгорским. Молодой Геккерн у Вьельгорского». День 8 ноября был посвящен переговорам. «Геккерн у Загряжской», — пометил Жуковский. Тут, очевидно, разговор сводился к убеждению Геккеренов поскорее выявить свои намерения. Жуковский был у Пушкина. «Большое спокойствие. Его слезы. То, что я говорил о его отношениях». Под 9 ноября Жуковский занес опять неясное слово «les révélations de Heckern». Какие разоблачения сделал на этот раз Геккерен, остается неизвестным. Но в результате их Жуковский предложил посредничество. «Мое предложение посредничества. Сцена втроем с отцом и сыном. Мое предложение свидания». Чтобы понять эту запись Жуковского, надо вспомнить двойственность его игры. Официально о предполагаемой женитьбе Дантеса Жуковский не мог

говорить, ибо Геккерен взял с него слово держать это в тайне. Неофициальная попытка воздействовать на Пушкина не только была безуспешна, но и чрезмерно раздражила его. Таким образом, дело не подвинулось ни на шаг. Оставался путь официальный, требовавший в данном случае особого дипломатического такта, и Жуковский предложил себя в посредники по переговорам. Мало того, он наметил и первый пункт своей посреднической программы. По его мысли, необходимо было устроить свидание Дантеса с Пушкиным. В этом свидании Пушкин должен был играть роль человека, официально ни о чем не знающего, и пойти на выяснение мотивов своего немотивированного



вызова. Затем вступал в дело Дантес и, очевидно, излагал свой настоящий взгляд насчет женитьбы. В результате Пушкин должен был взять вызов обратно. Таков был замысел Жуковского. Ему принадлежит инициатива посредничества и свидания, но для Пушкина эта инициатива должна была исходить от самого Геккерена. Официальная версия: именно Геккерен обратился к Жуковскому с просьбой о посредничестве. Так Геккерен и поступил. 9 ноября он написал Жуковскому следующее письмо:[1]

9/21 ноября 1836 года.

Милостивый государь!

Навестив m-lle Загряжскую, по ее приглашению, я узнал от нее самой, что она посвящена в то дело, о котором я вам сегодня пишу. Она же передала мне, что подробности вам одинаково хорошо известны; поэтому я могу полагать, что не совершаю нескромности, обращаясь к вам в этот момент. Вы знаете, милостивый государь, что вызов г-на Пушкина был передан моему сыну при моем посредничестве, что я принял его от его имени, что он одобрил это принятие и что все было

[1] В подлиннике это письмо напечатано впервые нами в первом издании книги, стр. 171—172.

решено между г-м Пушкиным и мною. Вы легко поймете, как важно для моего сына и для меня, чтоб эти факты были установлены непререкаемым образом: благородный человек, даже если он несправедливо вызван другим почтенным человеком, должен прежде всего заботиться о том, чтобы ни у кого в мире не могло возникнуть ни малейшего подозрения по поводу его поведения в подобных обстоятельствах.

Раз эта обязанность исполнена, мое звание отца налагает на меня другое обязательство, которое представляется мне не менее священным.

Как вам также известно, милостивый государь, все происшедшее по сей день совершилось без вмешательства третьих лиц. Мой сын принял вызов; принятие вызова было его первой обязанностью, но, по меньшей мере, надо объяснить ему, ему самому, по каким мотивам его вызвали. Свидание представляется мне необходимым, обязательным, — свидание между двумя противниками, в присутствии лица, подобного вам, которое сумело бы вести свое посредничество со всем авторитетом полного беспристрастия и сумело бы оценить реальное основание подозрений, послуживших поводом к этому делу. Но после того, как обе враждующие стороны исполнили долг честных людей, я предпочитаю думать, что вашему посредничеству удалось бы открыть глаза Пушкину и сблизить двух лиц, которые доказали, что обязаны друг другу взаимным уважением. Вы, милостивый государь, совершили бы таким образом почтенное дело, и если я обращаюсь к вам в подобном положении, то делаю это потому, что вы один из тех людей, к которым я особливо питал чувства уважения и величайшего почтения, с каким я имею честь быть ваш, милостивый государь, покорнейший слуга барон Геккерен».

С письмом Геккерена в руках Жуковский пришел к Пушкину и предложил ему устроить свидание с Дантесом. «Дантес хотел бы видеться и говорить с Пушкиным», — сказал Пушкину Жуковский. Как Жуковский объяснял положение вещей, как он мотивировал желание Дантеса, с каким дипломатическим подходом подошел он к Пушкину, обо всем этом ясное представление дают его письма к Пушкину, которые теперь уже можно датировать. Предложение свидания Жуковский сделал 9 ноября; Пушкин, очевидно (если судить по письмам Жуковского), отнесся резко-определенно к предложению Жуковского, столь резко-определенно, что Жуковский не успел даже развить перед ним всю силу своей дипломатической аргументации и был вынужден убеждать Пушкина письменно. В тот же день, 9 ноября, Жуковский отправил Пушкину следующую записку: «Я не могу еще решиться почитать наше дело конченным. Еще я не дал никакого ответа старому Геккерну; я сказал ему в моей записке, что не застал тебя дома и что, не видавшись с тобою, не могу ничего отвечать. Итак есть еще возможность все остановить. Реши, что я должен отвечать. Твой ответ невозвратно все кончит. Но ради бога одумайся. Дай мне счастие избавить тебя от безумного злодейства, а жену твою от совершенного посрамления. Я теперь у Вьельгорского, у которого обедаю»[1].

Вечером 9 ноября Пушкин был у Вьельгорского, и разговоры его с Жуковским на тему о дуэли продолжались здесь. Придя к Вьельгорскому, Пушкин увидел, что Вьельгорский знает о дуэли, и взволновался:

[1] «Переписка», III, № 1093, стр. 400.

ему показалось, что слухи о дуэли распространяются слишком быстро, и недостает только того, чтобы о дуэли узнали жандармские власти. На другой день утром Жуковский написал новое письмо Пушкину. Он успокаивал Пушкина и убеждал его в том, что тайна сохранится. Но главная задача письма была не в этом. «Пишу это, однако, не для того только, чтобы тебя успокоить на счет сохранения тайны. Хочу, чтобы ты не имел никакого ложного понятия о том участии, какое принимает в этом деле молодой Геккерн. Вот его история. Тебе уж известно, что было с первым твоим вызовом, как он не попался в руки сыну, а пошел через отца, и как сын узнал о нем только по истечении 24 часов, т. е. после вторичного свидания отца с тобою. В день моего приезда, в то время, когда я у тебя встретил Геккерна, сын был в карауле и возвратился домой на другой день, в час. За какую-то ошибку он должен был дежурить три дня не в очередь. Вчера он в последний раз был в карауле и нынче в час пополудни будет свободен. Эти обстоятельства изъясняют, почему он лично не мог участвовать в том, что делал его бедный отец, силясь отбиться от несчастья, которого одно ожидание сводит его с ума. Сын, узнав положение дел, хотел непременно видеться с тобою, но отец, испугавшись свидания, обратился ко мне. Не желая быть зрителем, или актером в трагедии, я предложил свое посредство, то есть хотел предложить его, написав в ответ отцу то письмо, которого брульон тебе показывал, но которого не послал и не пошлю. Вот все. Нынче поутру скажу старому Геккерну, что не могу взять на себя никакого посредства, ибо из разговоров с тобою вчера убедился, что посредство ни к чему не послужит, почему я и не намерен никого подвергать неприятности отказа. Старый Геккерн таким образом не узнает, что попытка моя с *письмом* его не имела успеха. Это письмо будет ему возвращено, и мое вчерашнее официальное свидание с тобою может считаться не бывшим.

Все это я написал для того, что счел святейшею обязанностью засвидетельствовать перед тобою, что молодой Геккерн во всем том, что делал его отец, был совершенно посторонний, что он также готов драться с тобою, как и ты с ним, и что он также боится, чтобы тайна не была как-нибудь нарушена. И отцу отдать ту же справедливость. Он в отчаянии, но вот что мне сказал: «*Я приговорен к гильотине, я прибегаю к милости; если мне это не удастся — придется взойти на гильотину. И я взойду, так как люблю честь моего сына так же, как и его жизнь*». — Этим свидетельством роля, весьма жалко и неудачно сыгранная, оканчивается»...[1].

Но Пушкин был непреклонен, и Жуковскому пришлось поступить так, как он хотел: он вернул Геккерену его письмо. Это письмо хранится до сего дня в архиве барона Дантес-Геккерена. В своем конспекте событий под 10 ноября Жуковский записал: «Молодой Геккерн у меня. Я отказываюсь от свидания. Мое письмо к Геккерну. Его ответ. Мое свидание с Пушкиным».

Пушкин не пошел ни на какие компромиссы, и роль Жуковского, весьма жалко и неудачно сыгранная, закончилась. Дружеское воздействие Жуковского не принесло желанных результатов и уступило место воздействию родственному. В дело вступила Екатерина Ивановна Загряжская, а отказавшийся Жуковский играл роль ее пособника. В его конспективных записках читаем помету: «Посылка ко мне Е. И. Что

---

[1] «Переписка», III, № 1094, стр. 401—402

Пушк. сказал Александрине». Слова Пушкина Александрине, очевидно, заключали в себе что-то значительное, но что именно, сказать мы сейчас не можем, да и вряд ли будем иметь возможность. Но, очевидно, результатом посещения Жуковским Загряжской было отмеченное им в записке его «посещение Геккерна». У Геккерена Жуковский, конечно, говорил все о том же — как уладить дело. Если бы Геккерены привели в исполнение свой матримониальный проект, то Пушкин взял бы вызов обратно — в этом, очевидно, и Жуковский, и Загряжская были убеждены. Но Геккерен упирался и говорил, что невозможно приступить к осуществлению этого проекта до тех пор, пока Пушкин не возьмет вызова, ибо в противном случае в свете намерение Дантеса жениться на Гончаровой приписали бы трусливому желанию избежать дуэли. Упомянув в конспекте о посещении Геккерена, Жуковский записывает: «Его требование письма». Путь компромисса был указан, и инициатива замирения, по мысли Геккерена, должна была исходить от Пушкина. Он, Пушкин, должен был послать Геккерену письмо с отказом от вызова. Этот отказ устраивал бы господ Геккеренов. Но Пушкин не пошел и на это. «Отказ Пушкина. Письмо, в котором упоминает о сватовстве», — записывает в конспекте Жуковский. Эта запись легко поддается комментарию. Пушкин соглашался написать письмо с отказом от вызова, но такое письмо, в котором было упомянуто о сватовстве как о мотиве отказа. Пушкин хотел сделать то, что Геккерену было всего неприятнее. Есть основания утверждать, что такое письмо было действительно написано Пушкиным и вручено Геккерену-отцу[1]. Но, оно, конечно, оказалось неприемлемым для Геккеренов.

12 ноября произошло новое совещание Геккерена с Загряжской, на котором выработан новый план воздействия на Пушкина. Загряжская должна была лично переговорить с Пушкиным и утверждать, что инициатива брака Дантеса и Гончаровой исходит от нее, что старый Геккерен долго не соглашался на этот брак, но теперь согласился, и брак состоится сейчас же после дуэли. Сколько правды в этих заявлениях Загряжской и сколько дипломатии, которою надо было опутать Пушкина, сказать трудно. Я выше указывал на то, что слухи о женитьбе Дантеса на Гончаровой существовали гораздо раньше 4 ноября. Содержание той беседы, которую должна была иметь Загряжская с Пушкиным, можно узнать из неизданного письма Геккерена к Загряжской, которое он написал ей 13 ноября утром:

«После беспокойной недели я был так счастлив и спокоен вечером, что забыл просить вас, сударыня, сказать в разговоре, который вы будете иметь сегодня, что намерение, которым вы заняты, о К. и моем сыне существует уже давно, что я противился ему по известным вам причинам, но, когда вы меня пригласили прийти к вам, чтобы поговорить, я вам заявил, что дальше не желаю отказывать в моем согласии, с условием, во всяком случае, сохранять все дело в тайне до окончания дуэли, потому что с момента вызова П. оскорбленная честь моего сына обязывала меня к молчанию. Вот в чем главное, так как никто не может желать обесчестить моего Жоржа, хотя, впрочем, и желание было бы напрасно, ибо достигнуть этого никому не удалось бы. Пожалуйста,

[1] Указание на существование этого письма находится в «Воспоминаниях» графа Соллогуба. Об этом указании дадим разъяснения дальше. Этого письма нельзя, во всяком случае, отождествлять с письмом к графу В. А. Соллогубу («Переписка», т. III, № 1101, стр. 183).

сударыня, пришлите мне словечко после вашего разговора, страх опять охватил меня, и я в состоянии, которое не поддается описанию.

Вы знаете тоже, что с Пушкиным не я уполномачивал вас говорить, что это вы делаете сами по своей воле, чтобы спасти своих».

Читая это письмо, чувствуешь, что Геккерен боится, как бы Загряжская чего не напутала, не сбилась, и, простившись с ней накануне, спешит послать к ней подробнейшее наставление.

В какой мере Пушкин был убежден речами Загряжской, мы не знаем, но он, во всяком случае, согласился на свидание с Геккереном у Загряжской, которое и состоялось, может быть, уже 13 ноября или же 14 ноября. Очевидно, Пушкин тут, уже в несколько официальной обстановке, в присутствии Загряжской и Геккерена, выслушал сообщение о предполагаемой свадьбе Дантеса и Гончаровой, и тут же с него было взято слово, что все сообщенное ему останется тайной. К этому именно свиданию относится упоминание Жуковского в письме к Пушкину: «Все это очень хорошо, особливо после обещания, данного тобою Геккерну в присутствии твоей тетушки (которая мне о том сказывала), что все происшедшее останется тайною»[1]. Выслушав официальное заявление, Пушкин нашел возможным пойти на уступки и согласился взять свой вызов обратно. Старший Геккерен должен был передать отказ Пушкина своему приемному сыну.

Пушкин дал слово держать в тайне сообщенный ему проект бракосочетания Дантеса и Гончаровой, но, кажется, он не считал себя особо связанным им. Тут были особые причины. Ведь он-то знал, что все симпатии Дантеса были на стороне Натальи Николаевны и что проект женитьбы на Екатерине Николаевне есть только отвод глаз; не верил он в искренность и действительность желаний Дантеса и укрепился в убеждении, что все это делается с исключительным намерением избежать дуэли. Этот образ действий ему был противен, и он в некоторой степени афишировал низость Дантеса, рассказывая, правда в ближайшем кругу, о матримониальных планах Дантеса. От нескромности Пушкина трепетал Жуковский, который все боялся, что разглашение тайны Пушкиным станет известно Геккеренам, они откажутся от брака и, следовательно, дуэли не миновать. До нас дошло два длиннейших письма Жуковского к Пушкину, в которых он выговаривает поэту за его нескромность. Он с необыкновенным жаром ратует за Геккеренов, за чистоту их намерений. Письма Жуковского столь характерны, что я позволю себе привести их почти целиком[2].

«Ты поступаешь весьма неосторожно, невеликодушно и даже против меня несправедливо. Зачем ты рассказал обо всем Екатерине Андреевне и Софье Николаевне?[3] Чего ты хочешь? Сделать невозможным то, что теперь должно кончиться для тебя самым наилучшим образом. Думав долго о том, что ты мне вчера говорил, я нахожу твое предположение совершенно невероятным и имею причину быть уверенным, что во всем том, что случилось для отвращения драки, молодой Г<еккерн> нимало не участвовал. Все есть дело отца и весьма натурально, чтобы он на все решился, дабы отвратить свое несчастие. Я видел его в таком

---

[1] «Переписка», III, № 1096, стр. 404.

[2] «Переписка», III, № 1095, 402—405.

[3] Екатерина Андреевна Карамзина, вдова историка. Пушкин относился к ней с большим уважением и любовью. Умирая, он просил вызвать ее к нему и благословить его. Софья Николаевна — дочь Карамзина.

положении, которого нельзя выдумать и сыграть как роль. Я остаюсь в полном убеждении, что молодой Г<еккерн> совершенно в стороне; и на это *вчера* еще имел доказательство. Получив от отца Г. доказательство материальное, что дело, о коем теперь идут толки, затеяно было еще гораздо прежде твоего вызова, я дал ему совет поступить так, как он и поступил, основываясь на том, что, если *тайна сохранится,* то никакого бесчестия не падет на его сына, что и ты сам не можешь предполагать, чтобы он хотел избежать дуэля, который им принят, именно потому, что не он хлопочет, а отец о его отвращении. В этом последнем я уверен, вчера еще более уверился и всем готов сказать, что молодой Г. с этой стороны совершенно чист. Это я сказал и Карамзиным, запретив им крепко-накрепко говорить о том, что слышали от тебя, и уверив их, что вам непременно надобно будет драться, если тайна теперь или даже после откроется. И так требую от тебя уже собственно для себя, чтобы эта тайна у вас умерла навсегда. Говорю для *себя* вот почему; полагая, что все обстоятельства, сообщенные мне отцом Геккерном, справедливы (в чем я не имел причины и нужды сомневаться), я сказал, что почитаю его, как отца, в праве и даже обязательно предупредить несчастие открытием дела *как оно есть;* что это открытие будет в то же время и репарациею того, что было сделано против твоей чести перед светом. Хотя я не вмешан в самое дело, но совет мною дан. Не могу же я согласиться принять участие в посрамлении человека, которого честь пропадает, если тайна будет открыта. А эта тайна хранится теперь *между нами;* нам ее должно и беречь. Прошу тебя в этом случае беречь и мою совесть. Если что-нибудь откроется и я буду это знать, то уже мне по совести нельзя будет утверждать того, что неминуемо должно нанести бесчестие. Напротив, я должен буду подать совет противный. Избавь меня от такой горестной необходимости. Совесть есть человек: не могу же находить приличным другому такого поступка, который осрамил бы самого меня на его месте. И так требую тайны теперь и после. Сохранением этой тайны ты также обязан и самому себе, ибо в этом деле и с твоей стороны есть много такого, в чем должен ты сказать: виноват! Но более всего ты должен хранить ее для меня: я в это дело замешан невольно и не хочу, чтобы оно оставило мне какое-нибудь нарекание; не хочу, чтобы кто-нибудь имел право сказать, что я нарушил доверенность, мне оказанную. Я увижусь с тобою перед обедом. Дождись меня».

Это письмо не подействовало на Пушкина, и он продолжал совершать нескромности. Жуковский вновь писал ему: «Вот что приблизительно ты сказал княгине третьего дня, уже имея в руках мое письмо: „Я знаю автора анонимных писем, и через неделю вы услышите, как будут говорить о мести, единственной в своем роде; она будет полная, совершенная; она бросит человека в грязь; громкие подвиги Раевского — детская игра перед тем, что я намерен сделать“, и тому подобное».

Но Жуковский не считался с Пушкиным, не принимал во внимание его взглядов на виновников события и только, как завороженный, продолжал твердить об одном: о том, что надо хранить тайну и что несохранение тайны компрометирует его, Жуковского. «Все это очень хорошо, — продолжал в письме Жуковский, — особливо после обещания, данного тобою Геккерну в присутствии твоей тетушки (которая мне о том сказывала), что все происшедшее останется тайною. Но скажи мне, какую роль во всем этом я играю теперь и какую

должен буду играть после перед добрыми людьми, как скоро все тобою самим обнаружится и как скоро узнают, что и моего тут меду капля есть? И каким именем и добрые люди, и Геккерн, и сам ты наградите меня, если, зная предварительно *о том, что ты намерен сделать,* приму от тебя письмо, написанное Геккерну, и, сообщая его по принадлежности, засвидетельствую, что все между вами кончено, что тайна сохранится и что каждого честь останется неприкосновенною. Хорошо, что ты сам обо всем высказал и что все это мой добрый Гений довел до меня заблаговременно. Само по себе разумеется, что я ни о чем случившемся не говорил княгине. Не говорю теперь ничего и тебе; делай что хочешь. Но булавочку свою беру из игры вашей, которая теперь с твоей стороны жестоко мне не нравится. А если Геккерн вздумает от меня потребовать совета, то не должен ли я по совести сказать ему: остерегитесь? Я это и сделаю».

9.

Дело все же казалось слаженным. Как бы то ни было, а Пушкин все-таки согласился отказаться от вызова. Но тут пришла новая беда — с совершенно противоположной стороны. На сцену явилось действующее лицо, которое до сих пор выступало без слов. Это — Дантес.

До сих пор о нем говорили, за него высказывались, за него принимали решения — теперь начал действовать он сам. По существу, дело было очевидное: женитьба на Екатерине Гончаровой была компромиссной сделкой, средством избежать дуэли (пусть так было для Геккерена) или охранить репутацию Натальи Николаевны (пусть так было для Дантеса). Для Дантеса было ясно, что так понимал дело Пушкин. Наступил момент ликвидировать дело, и тут, когда Дантес остался наедине с самим собой, перед его умственным взором осветилась вдруг вся закулисная действительность, заговорили голоса чести и благородства, и он сделал неожиданный ход, который, конечно, был принят без ведома Геккерена и который чуть было не спутал все карты в этой игре. Об этом движении души Дантеса, неведомом для биографов поэта, мы узнаем впервые из найденных нами материалов.

В архиве барона Геккерена хранится листок, писанный Дантесом. На этом листке изложены следующие размышления Дантеса:

«Я не могу и не должен согласиться на то, чтобы в письме находилась фраза, относящаяся к m-lle Гончаровой: вот мои соображения, и я думаю, что г. Пушкин их поймет. Об этом можно заключить по той форме, в которой поставлен вопрос в письме.

„Жениться или драться". Так как честь моя запрещает мне принимать условия, то эта фраза ставила бы меня в печальную необходимость принять последнее решение. Я еще настаивал бы на нем, чтобы доказать, что такой мотив брака не может найти места в письме, так как я уже предназначил себе сделать это предложение после дуэли, если только судьба будет мне благоприятна. Необходимо, следовательно, определенно констатировать, что я сделаю предложение m-lle Екатерине не из-за соображений сатисфакции или улажения дела, а только потому, что она мне нравится, что таково мое желание и что это решено единственно моей волей»[1].

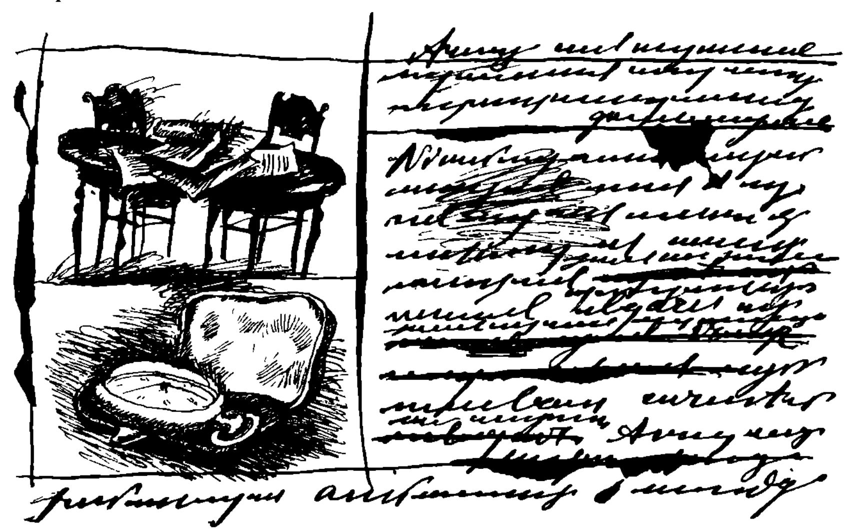
Эти размышления набросаны Дантесом сейчас же вслед за такой заметкой, им же написанной вверху листка:

---

[1] Напечатано впервые в нашей книге. 1-е изд., стр. 175.

«В виду того, что г. барон Жорж де Геккерен принял вызов на дуэль, отправленный ему при посредстве барона Геккерена, я прошу г. Ж. де Г. благоволить смотреть на этот вызов, как на несуществовавший, убедившись, случайно, по слухам, что мотив, управлявший поведением г. Ж. де Г., не имел в виду нанести обиду моей чести — единственное основание, в силу которого я счел себя вынужденным сделать вызов»[1].

Это, очевидно, составленный самим Дантесом проект письма, которое должен был бы написать Пушкин и которое было бы приемлемо для Геккеренов.



От размышлений Дантес перешел к делу. Он возмутился и написал примечательное письмо к Пушкину, также впервые появившееся среди наших материалов. Прежде чем привести это письмо, необходимо остановиться на недоумении, вызываемом первыми его строками. «Барон Геккерен сообщил ему, что он уполномочен уведомить его, что все те основания, по которым он был вызван Пушкиным, перестали существовать и что посему он может смотреть на этот поступок как на не имевший места» — вот слова Дантеса. Выходит, как будто барон Геккерен не сообщил Дантесу о письме Пушкина с упоминанием о сватовстве и будто он словесно передал об отказе Пушкина от поединка без каких бы то ни было мотивов. А в записке, писанной про себя, Дантес даже говорит о форме, в которой поставлен вопрос; значит, о письме не только знал, но и читал. В объяснение этого разноречия приходится сделать ссылку на двойственность, проникающую все поступки действующих в истории дуэли лиц: официально — одно, неофициально — другое; все играют роли, перед одними одну, перед другими другую, иногда прямо противоположного амплуа! Официально обращаясь к Пушкину, Дантес хотел бы убедить его в том, что о письме его он

[1] Там же.

не знает и отказ Пушкина от поединка дошел до него совершенно немотивированным. Дантес писал Пушкину:[1]

«Милостивый государь.

Барон Геккерен сообщил мне, что он уполномочен г-ном[2] уведомить меня, что все те основания, по которым вы вызвали меня, перестали существовать и что посему я могу смотреть на этот ваш поступок как на не имевший места.

Когда вы вызвали меня без объяснения причин, я без колебаний принял этот вызов, так как честь обязывала меня это сделать. В настоящее время вы уверяете меня, что вы не имеете более оснований желать поединка. Прежде, чем вернуть вам ваше слово, я желаю знать, почему вы изменили свои намерения, не уполномочив никого представить вам объяснения, которые я располагал дать вам лично. Вы первый согласитесь с тем, что прежде, чем взять свое слово обратно, каждый из нас должен представить объяснения для того, чтобы впоследствии мы могли относиться с уважением друг к другу».

Письмо это передано было Пушкину. Одновременно или почти одновременно Дантес сделал еще один «рыцарский» ход, отправив к Пушкину секунданта Аршиака с заявлением, что срок двухнедельной отсрочки кончился, и он, Дантес, к услугам Пушкина. Напрашивается предположение, не было ли письмо передано именно Аршиаком и не являлся ли составленный Дантесом проект письма от имени Пушкина руководственным указанием того, чего должен был добиваться Аршиак. Дантес не жаждал, очевидно, кровавой встречи; он надеялся на мирное разрешение вопроса с непременным условием соблюдения приличий. Мы знаем теперь, что у Пушкина в это время уже был определенный взгляд на лица и дела: брачный проект Дантеса казался ему низким и его роль — жалкой (pitoyable), а о Геккерене он знал достоверно, что он был автором подметных писем. Можно себе представить, какое впечатление произвела на Пушкина выходка Дантеса, предпринятая с «благородными» намерениями! В конспективных заметках Жуковского читаем выразительную строчку, не требующую никаких пояснений:

«Письмо Дантеса к Пушкину и его бешенство»[3].

10.

Обращение Дантеса к Пушкину с письмом и с предложением своих услуг по части дуэли произвело эффект, на который он уж никак не рассчитывал: Пушкин пришел в ярость, и Дантесу пришлось спасаться от его гнева. Вслед за упоминанием о «бешенстве» Пушкина в конспективных заметках Жуковский записал:

«Снова дуэль. Секундант. Письмо Пушкина».

Эти фразы расшифровать нетрудно. Участником событий, очерченных в этих пяти словах, был «секундант» граф В. А. Соллогуб, оставив-

---

[1] Письмо впервые появилось в нашей книге. 1-е изд., стр. 174.

[2] К величайшему сожалению, фамилия осталась неразобранной.

[3] Письмо Дантеса к Пушкину извлечено из архива барона Геккерена. Оно, очевидно, является копией того, которое было послано Пушкину. Косвенное подтверждение находим в одном *черновике*, напечатанном в «Переписке», III, № 1101, стр. 409—410. Тут есть фраза, являющаяся прямым ответом на письмо Дантеса: «Pour avoir tenu envers ma femme une conduite qu'il ne me convient pas de souffrir (*en cas que M-r Heeckeren exige que la provocation soit motivée*)». См. прим. 2 на стр. 94.

ший воспоминания, в общем своем содержании весьма достоверные и ошибочные лишь в частностях. Предоставим слово этому очевидцу и участнику, попутно указывая неточности его рассказа[1].

Мы уже знаем, что граф В. А. Соллогуб доставил Пушкину присланный в конверте на его имя пасквиль. При встрече с поэтом через несколько дней Соллогуб спросил его, не добрался ли он до составителя подметных писем. Пушкин отвечал, что не знает, но подозревает одного человека. Граф В. А. Соллогуб предложил Пушкину свои услуги в качестве секунданта. Пушкин сказал: «Дуэли никакой не будет: но я, может быть, попрошу вас быть свидетелем одного объяснения, при котором присутствие светского человека <...> мне желательно для надлежащего заявления, в случае надобности». Этот разговор происходил до получения письма Дантеса и до истечения двухнедельной отсрочки дуэли. По-видимому, сам Пушкин уже пришел к заключению, что дуэли не будет, но получение письма Дантеса изменило его настроение. Граф Соллогуб рассказывает:

«У Карамзиных праздновался день рождения старшего сына[2]. Я сидел за обедом подле Пушкина. Во время общего веселого разговора он вдруг нагнулся ко мне и сказал скороговоркой: „Ступайте завтра к д'Аршиаку. Условьтесь с ним только на счет материальной стороны дуэли. Чем кровавее, тем лучше. Ни на какие объяснения не соглашайтесь“. Потом он продолжал шутить и разговаривать, как бы ни в чем не бывало. Я остолбенел, но возражать не осмелился. В тоне Пушкина была решительность, не допускавшая возражений». В этом описании Соллогуба чувствуются отголоски того «бешенства», картину которого наблюдал Жуковский.

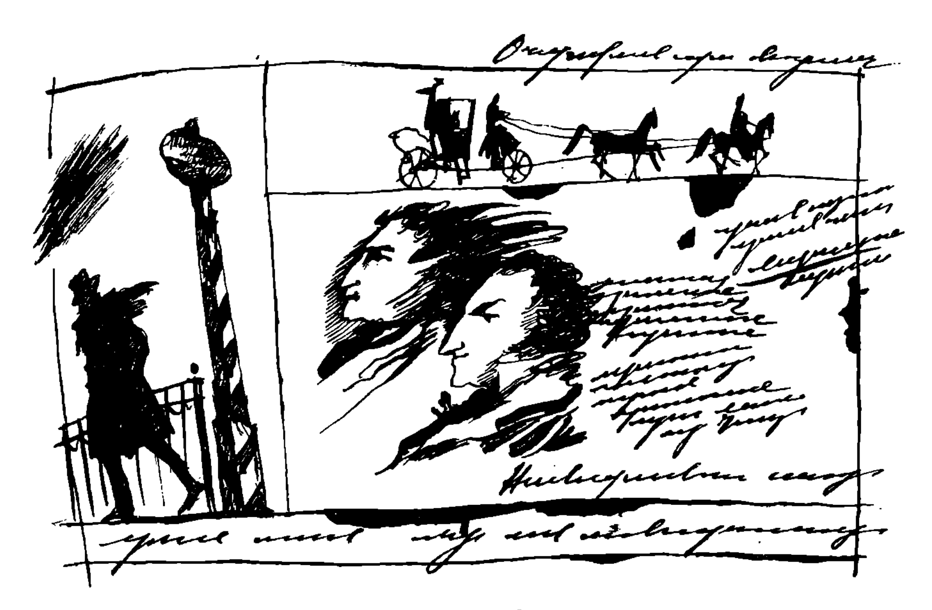
Вечером 16 ноября граф Соллогуб поехал на большой раут к графу Фикельмону, австрийскому посланнику. К этому рауту относится, надо думать, темная для нас запись Жуковского в конспекте: «Записка Н. Н. ко мне и мой совет. Это было на (бале) рауте Фикельмона». Запись свидетельствует, несомненно, о тянущемся, неопределенном положении. Не только прямым участникам, но и лицам, ближайшим к действующим, было известно, что Дантес собирается жениться, а официально дело все не получало соответственного разрешения; и неизвестная нам записка Натальи Николаевны Пушкиной к Жуковскому, по всей вероятности, была вызвана побуждением ликвидировать дело.

«На рауте, — вспоминает граф Соллогуб, — все дамы были в трауре, по случаю смерти Карла X. Одна Катерина Николаевна Гончарова, сестра Натальи Николаевны Пушкиной (которой на рауте не было), отличалась от прочих белым платьем. С ней любезничал Дантес-Геккерен. Пушкин приехал поздно, казался очень встревожен, запретил Катерине Николаевне говорить с Дантесом и, как узнал я потом, самому Дантесу высказал несколько более чем грубых слов. С д'Аршиа-

---

[1] Воспоминания эти напечатаны в «Русском архиве», 1865 г., стр. 1203—1239, и отдельно под заглавием «Воспоминания графа В. А. Соллогуба. Новые сведения о предсмертном поединке А. С. Пушкина». М., 1866. Ссылок на страницы не делаю.

[2] Здесь память изменила графу Соллогубу. Старший сын Карамзина, Андрей Николаевич, родился 24 октября 1814 года. В это время он находился за границей. Очевидно, граф Соллогуб был на ином семейном торжестве у Карамзиных: 16 ноября был день рождения вдовы Карамзина, Екатерины Андреевны (род. 16 ноября 1780 года).



ком, статным молодым секретарем французского посольства, мы выразительно переглянулись и разошлись, не будучи знакомы. Дантеса я взял в сторону и спросил его, что он за человек. „Я человек честный, — отвечал он, — и надеюсь это скоро доказать". Затем он стал объяснять, что не понимает, чего от него Пушкин хочет; что он поневоле будет с ним стреляться, если будет к тому принужден; но никаких ссор и скандалов не желает. Ночь я, сколько мне помнится, не мог заснуть: я понимал, какая лежала на мне ответственность перед всей Россией. Тут уже было не то, что история со мной[1]. Со мной я за Пушкина не боялся. Ни у одного русского рука на него бы не поднялась; но французу русской славы жалеть было нечего.

На другой день[2] погода была страшная — снег, мятель. Я поехал сперва к отцу моему, жившему на Мойке, потом к Пушкину, который повторил мне, что я имею только условиться насчет материальной стороны самого беспощадного поединка, и наконец, с замирающим сердцем, отправился к д'Аршиаку. Каково же было мое удивление, когда с первых слов д'Аршиак объявил мне, что он всю ночь не спал: что он, хотя не русский, но очень понимает, какое значение имеет Пушкин для русских, и что наша обязанность сперва просмотреть все документы, относящиеся до порученного нам дела. Затем он мне показал:

1. Экземпляр ругательного диплома на имя Пушкина.

2. Вызов Пушкина Дантесу, после получения диплома.

3. Записку посланника барона Геккерена, в которой он просил, чтоб поединок был отложен на две недели[3].

---

[1] Соллогуб имеет в виду вызов на дуэль, который Пушкин послал ему весной 1836 года.

[2] Т. е. 17 ноября.

[3] Вряд ли такая записка была! Геккерен лично просил об отсрочке Пушкина. Если бы такая записка и была, то она находилась бы скорее в руках Пушкина.

4. Собственноручную записку Пушкина, в которой он объявлял, что берет свой вызов назад, на основании слухов, что г. Дантес женится на его невестке К. Н. Гончаровой[1].

Я стоял пораженный, как будто свалился с неба. Об этой свадьбе я ничего не слыхал, ничего не ведал и только тут понял причину вчерашнего белого платья[2], причину двухнедельной отсрочки, причину ухаживания Дантеса. Все хотели остановить Пушкина. Один Пушкин того не хотел[3].

«Вот положение дела, — сказал д'Аршиак. — Вчера кончился двухнедельный срок,[4] и я был у г. Пушкина с извещением, что мой друг Дантес готов к его услугам. Вы понимаете, что Дантес желает жениться, но не может жениться иначе, как если г. Пушкин откажется просто от своего вызова без всякого объяснения, не упоминая о городских слухах. Г. Дантес не может допустить, чтоб о нем говорили, что он был принужден жениться и женился во избежание поединка. Уговорите г. Пушкина безусловно отказаться от вызова. Я вам ручаюсь, что Дантес женится, и мы предотвратим, может быть, большое несчастие». Этот д'Аршиак был необыкновенно симпатичной личностью и сам скоро потом умер насильственной смертью на охоте. Мое положение было самое неприятное: я только теперь узнавал сущность дела; мне предлагали самый блистательный исход, — то, что я и требовать и ожидать бы никак не смел, а между тем я не имел поручения вести переговоры. Потолковав с д'Аршиаком, мы решились съехаться в три часа у самого Дантеса. Тут возобновились те же предложения, но в разговорах Дантес не участвовал, все предоставив секунданту».

Секундантам, действительно, было над чем поломать голову. Дантес не соглашался принять отказ Пушкина от вызова, так как отказ этот был мотивирован дошедшими до Пушкина «слухами» о намерении Дантеса жениться. В письме к Пушкину Дантес сделал вид, что этот мотив ему даже неизвестен, что отказ передан ему без всяких мотивов, и наивно требовал от Пушкина, чтобы тот объяснился с ним, дабы впоследствии они «могли относиться с уважением друг к другу».

---

[1] Это письмо, надо думать, не было показано Геккереном Дантесу, так же, как и второе, писанное по настоянию д'Аршиака и Соллогуба.

[2] Белое платье, по мнению Соллогуба, означало помолвку Дантеса и Екатерины Гончаровой, но в это время ее еще не было, так как все дело велось пока неофициально.

[3] В этом месте «Воспоминаний» Соллогуба имеется следующее отступление, содержащее собственные соображения рассказчика: «Мера терпения преисполнилась. При получении глупого диплома от безымянного негодяя Пушкин обратился к Дантесу, потому что последний, танцуя часто с Н. Н., был поводом к мерзкой шутке. Самый день вызова неопровержимо доказывает, что другой причины не было. Кто знал Пушкина, тот понимает, что не только в случае кровной обиды, но что даже при первом подозрении он не стал бы дожидать подметных писем. Одному богу известно, что он в это время выстрадал, воображая себя осмеянным и поруганным в большом свете, преследовавшем его мелкими беспрерывными оскорблениями. Он в лице Дантеса искал или смерти, или расправы со всем светским обществом».

[4] Здесь маленькая неточность, Аршиак был у Пушкина 16 ноября: в это время двухнедельный срок не истек, а только истекал. Если анонимные письма были получены 4 ноября (так отметил и Жуковский, и Пушкин) и если вызов был послан 5 или даже уже 4 ноября, то двухнедельный срок кончался 18 или 19 ноября. Значит, Дантес упредил события и направил свое письмо секунданту, не дожидаясь конца отсрочки.

Пушкин, ответивший новым вызовом на выходку Дантеса, был в таком состоянии, что убеждать его в необходимости вступить в объяснения с Дантесом или изменить мотивы отказа от первого вызова было бы делом прямо невозможным. И если в этом столкновении одна из сторон должна была в чем-то поступиться, то такой стороной мог быть только Дантес — так смотрели на дело секунданты; и потому в разговорах, происходивших без участия Дантеса, они решились принести в жертву его интересы. Быть может, они решились на это потому, что видели, что и Дантесу хотелось только одного: закончить дело без скандалов и поединков, и были уверены, что Дантес посмотрит сквозь пальцы на отступления от его воли, которые собирались допустить секунданты.

В результате переговоров граф Соллогуб написал Пушкину записку. В «Воспоминаниях» своих граф Соллогуб приводит по памяти эту записку, добавляя: «точных слов я не помню, но содержание верно». Записка Соллогуба после смерти Пушкина была найдена в бумагах Пушкина и передана на хранение в III Отделение. Опубликована только в самое последнее время[1]. Приводим текст записки в переводе с французского подлинника.

«Я был, согласно Вашему желанию, у г. д'Аршиака, чтобы условиться о времени и месте. Мы остановились на субботе, так как в пятницу я не могу быть свободен, в стороне Парголова, ранним утром, на 10 шагов расстояния. Г. д'Аршиак добавил мне конфиденциально, что барон Геккерен окончательно решил объявить о своем брачном намерении, но удерживаемый опасением показаться желающим избежать дуэли, он может сделать это только тогда, когда между вами все будет кончено и Вы засвидетельствуете словесно передо мной или г. д'Аршиаком, что Вы не приписываете его брака расчетам, недостойным благородного человека.

Не имея от Вас полномочия согласиться на то, что я одобряю от всего сердца, я прошу Вас, во имя Вашей семьи, согласиться на это предложение, которое примирит все стороны. Нечего говорить о том, что г. д'Аршиак и я будем порукой Геккерена. Будьте добры дать ответ тотчас»[2].

Записка Соллогуба заключала минимум желаний, с которыми можно было обратиться к Пушкину. В то же время, по содержанию своему, она не соответствовала вожделениям Дантеса; они остались пренебреженными, и текст записки не был сообщен Дантесу. Надо отметить, что

---

[1] «Переписка», т. III, № 1100, стр. 408; здесь напечатан и «черновик» этой записки, предварительно появившийся в книге проф. И. А. Шляпкина «Из неизданных бумаг Пушкина» (Спб., 1903, 292—293). Проф. Шляпкин сомневается в том, что рукопись черновика является оригиналом. И действительно странно: приходится предположить, что граф Соллогуб перед тем как написать по-французски письмо Пушкину составил еще черновичок — по-русски. В действительности мы имеем дело не с черновиком, а просто с переводом французского текста на русский.

[2] «Очень мне памятно число 21 ноября, потому что 20 было рождение моего отца, и я не хотел ознаменовать этот день кровавой сценой», — замечает граф Соллогуб. Замечание очень точное. 20 ноября приходилось в 1837 г. именно в пятницу, а отец Соллогуба родился 20 ноября 1784 г. (См. «Остафьевский архив», т. II, стр. 505; указание «Петербургского Некрополя», т. IV, стр. 133 на 22 ноября неправильно). Чтобы судить, насколько хорошо память Соллогуба сохранила подробности события, приводим текст его записки, какой он приводит в «Воспоминаниях» по памяти:

Соллогуб просил у Пушкина не письменного, а *словесного* заявления об уверенности в благонамеренности поступка Дантеса.

«Д'Аршиак, — рассказывает Соллогуб, — прочитал внимательно записку, но не показал ее Дантесу, несмотря на его требование, а передал мне и сказал: „Я согласен. Пошлите". Я позвал своего кучера, отдал ему в руки записку и приказал везти на Мойку, туда, где я был утром. Кучер ошибся и отвез записку к отцу моему, который жил тоже на Мойке и у которого я тоже был утром. Отец мой записки не распечатал, но, узнав мой почерк и очень встревоженный, выглядел условия о поединке. Однако он отправил кучера к Пушкину, тогда как мы около двух часов оставались в мучительном ожидании. Наконец, ответ был привезен. Он был в общем смысле следующего содержания: „Прошу гг. секундантов считать мой вызов недействительным, так как по городским слухам (par le bruit public) я узнал, что г. Дантес женится на моей свояченице. Впрочем, я готов признать, что в настоящем деле он вел себя честным человеком" ».

Это письмо Пушкина, переданное Соллогубом по памяти, хранится в архиве барона Геккерена[1]; впервые оно стало нам известным по копии в военно-судном деле, изданном в 1900 году[2]. Приводим подлинный текст в переводе.

«Я не колеблюсь написать то, что я могу заявить словесно[3]. Я вызвал г. Ж. Геккерена на дуэль, и он принял ее, не входя ни в какие объяснения. Я прошу господ свидетелей этого дела соблаговолить

«Согласно вашему желанию я условился насчет материальной стороны поединка. Он назначен 21 ноября в 8 часов утра на Парголовской дороге на 10 шагов барьера. Впрочем, из разговоров узнал я, что г. Дантес женится на вашей свояченице, если вы только признаете, что он вел себя в настоящем деле как *честный* человек. Г. д'Аршиак и я служим вам порукой, что свадьба состоится; именем вашего семейства умоляю вас согласиться» и пр.

[1] Факсимиле подлинника дается ныне в нашей книге.

[2] «Дуэль Пушкина с Дантесом-Геккереном. Подлинное военно-судное дело 1837 года». Спб., 1900, 50–51. Это письмо было представлено бароном Геккереном графу Нессельроде, а от последнего, по приказанию государя, было передано в военно-судную комиссию и по миновании в нем надобности возвращено через Нессельроде барону Геккерену. В «Переписке» (III, № 1101, стр. 409) оно напечатано по копии из военно-судного дела; тут же напечатана и его «первоначальная редакция». Редактор «переписки» впал в ошибку: оригинал этой «первоначальной» редакции находится в собрании А. Ф. Онегина и совершенно правильно помечен Б. Л. Модзалевским («Описание рукописей Пушкина, находящихся в музее А. Ф. Онегина в Париже», стр. 24) как «черновое письмо от имени Пушкина, но писанное не его рукой». Действительно, это не автограф, а список, — быть может, с пушкинского оригинала, первоначальной редакции письма к секундантам на имя графа В. А. Соллогуба от 17 ноября. Этот список не может быть беловою редакцией, так как в нем просьба считать вызов не имевшим места обращена не к секундантам, а к Геккерену-отцу. Во второй части этого письма, кстати сказать, написанной на значительном расстоянии от первой, к концу листа, находится фраза, дающая ответ на требование мотивировать вызов. Мы уже указывали раньше, что эта фраза находится в известном соотношении к письму Дантеса. Мы высказывали предположение, что письмо Дантеса было доставлено Пушкину д'Аршиаком, но не настаиваем на нем. Возможно разделить эти моменты: сначала было доставлено письмо и Пушкин попытался отвечать на него, а затем явился д'Аршиак и разразилась буря.

[3] Граф Соллогуб просил в своей записке только об устной декларации.

рассматривать этот вызов, как не существовавший, осведомившись, по слухам, что г. Жорж Геккерен решил объявить свое решение жениться на m-lle Гончаровой после дуэли. Я не имею никакого основания приписывать его решение соображениям, недостойным благородного человека. Я прошу Вас, граф, воспользоваться этим письмом по Вашему усмотрению».

В этом письме Пушкин не сделал никакой уступки. Он опять повторил, что берет вызов назад только потому, что, по слухам, узнал о намерении Дантеса жениться после дуэли. Совершенно механически он добавил только, по просьбе Соллогуба, что не приписывает брачного проекта неблагородным побуждениям. Такое письмо не могло бы удовлетворить самолюбие Дантеса, но секунданты не посчитались с ним.

Соллогуб рассказывает, как было встречено письмо Пушкина. «Этого достаточно, — сказал д'Аршиак, ответа Дантесу не показал и поздравил его женихом. Тогда Дантес обратился ко мне со словами: «Ступайте к г. Пушкину и поблагодарите его, что он согласен кончить нашу ссору. Я надеюсь, что мы будем видаться как братья». Поздравив, с своей стороны, Дантеса, я предложил д'Аршиаку лично повторить эти слова Пушкину и поехать со мной. Д'Аршиак и на это согласился. Мы застали Пушкина за обедом. Он вышел к нам несколько бледный и выслушал благодарность, переданную ему д'Аршиаком. «С моей стороны, — продолжал я, — я позволил себе обещать, что вы будете обходиться со своим зятем как с знакомым». — «Напрасно, — воскликнул запальчиво Пушкин. — Никогда этого не будет. Никогда между домом Пушкина и домом Дантеса ничего общего быть не может!» Мы грустно переглянулись с д'Аршиаком. Пушкин затем немного успокоился. «Впрочем, — добавил он, — я признал и готов признать, что г. Дантес действовал, как честный человек». «Больше мне и не нужно», — подхватил д'Аршиак и поспешно вышел из комнаты.

Вечером на бале С. В. Салтыкова свадьба была объявлена, но Пушкин Дантесу не кланялся. Он сердился на меня, что, несмотря на его приказание, я вступил в переговоры. Свадьбе он не верил. „У него, кажется, грудь болит, — говорил он, — того гляди, уедет за границу. Хотите биться об заклад, что свадьбы не будет. Вот у вас тросточка. У меня бабья страсть к этим игрушкам. Проиграйте мне ее". — А вы проиграете мне все ваши сочинения. — Хорошо. — (Он был в это время как-то желчно весел)»[1].

---

[1] Заключительный момент ноябрьского столкновения сохранился в воспоминаниях А. О. Россета. Со слов брата своего, Клементия Осиповича Россета, А. О. рассказывал впоследствии П. И. Бартеневу: «Осенью 1836 года Пушкин пришел к Клементию Осиповичу Россету и, сказав, что вызвал на дуэль Дантеса, просил его быть секундантом. Тот отказывался, говоря, что дело секундантов вначале стараться о примирении противников, а он этого не может сделать, потому что не терпит Дантеса, и будет рад, если Пушкин избавит от него петербургское общество; потом, он недостаточно хорошо пишет по-французски, чтобы вести переписку, которая в этом случае должна быть ведена крайне осмотрительно; но быть секундантом на самом месте поединка, когда уже все будет условлено, Россет был готов. После этого разговора Пушкин повел его прямо к себе обедать. За столом подали Пушкину письмо, прочитав его, он обратился к старшей своей свояченице Екатерине Николаевне: „Поздравляю, вы невеста. Дантес просит вашей руки". Та бросила салфетку и побежала к себе. Наталья Николаевна за нею. „Каков!" — сказал Пушкин Россету про Дантеса» («Русск. арх.», 1882, I, 247. Сравн. еще «Русск. арх.», 1896, I, стр. 279 и 1888, II, 297).

Как бы там ни было, женитьба Дантеса была оглашена, и дело на этот раз было слажено. С чувством облегчения после всех передряг писала тетушка невесты, Е. И. Загряжская, Жуковскому: «Слава богу, кажется все кончено. Жених и почтенной его Батюшка были у меня с предложением. К большому счастию за четверть часа перед ними приехал из Москвы старшой Гончаров и он объявил им Родительское согласие, и так, все концы в воду. Сегодня жених подает просбу по форме о позволении женидьбы и завтре от невесте поступаить к императрице[1]. Теперь позвольте мне от всего моего сердца принести вам мою благодарность и простите все мучении, которые вы претерпели во все сие бурное время, я бы сама пришла к вам, чтоб от благодарить, но право сил нету». Жуковский кратко отметил этот момент в своем конспекте: «Сватовство. Приезд братьев».

Весть о женитьбе Дантеса на Е. Н. Гончаровой вызвала огромное удивление у всех, кто не был достаточно близок, чтобы знать историю этой помолвки, и в то же время не был достаточно далек, чтобы не знать о бросавшемся в глаза ухаживании Дантеса за Н. Н. Пушкиной. Приведем несколько современных свидетельств.

Вот что писал Андрей Николаевич Карамзин своей матери, узнав о предстоящей свадьбе из ее письма, посланного из Петербурга *20 ноября*. «Не могу придти в себя от свадьбы, о которой мне сообщает Софья[2]. И когда я думаю об этом, я, как Екатерина Гончарова, спрашиваю себя, не во сне ли я, или, по меньшей мере, не во сне ли сделал свой ход Дантес; и если брачное счастье есть что-то иное, чем сон, то я боюсь, как бы оно навсегда не исчезло из сферы достижения. Этим я был очень огорчен, потому что я люблю их обоих. Какого черта хотели этим сказать? Когда мне нечего делать и я курю свою трубку, потягивая свой кофий, я всегда думаю об этом и не подвинулся дальше, чем был в первый день. Это было самоотвержение (dévouement)...»[3]. Андрей Карамзин принадлежал, очевидно, к той части общества, которая, по словам князя Вяземского, захотела усмотреть в этой свадьбе подвиг высокого самоотвержения ради спасения чести Пушкиной.

В письме сестры Пушкина, Ольги Сергеевны, к отцу из Варшавы от 24 декабря 1836 года находится любопытнейшее сообщение по поводу новости о предстоящем бракосочетании Дантеса и Е. Н. Гончаровой. «По словам Пашковой, которая пишет своему отцу, эта новость удивляет весь город и пригород не потому, что один из самых красивых кавалергардов и один из наиболее модных мужчин, имеющий 70000 рублей ренты, женится на m-lle Гончаровой, — она для этого достаточно красива и достаточно хорошо воспитана, — но потому, что его страсть к Наташе не была ни для кого тайной. Я прекрасно знала об этом, когда была в

---

[1] Мы не могли по архивным данным установить ни дня, в который Дантес обратился по начальству за разрешением на женитьбу, ни дня, в который невеста Екатерина Николаевна Гончарова, фрейлина двора, подала государыне свою просьбу. В Архиве министерства двора сохранилось письмо Наталии Ховен к обер-гофмейстеру Нарышкину от 5 декабря 1836 года: «Mon Prince! M-lle de Gontsharoff ayant obtenue de Sa Majesté d'Impératrice sa gracieuse permission pour son mariage avec M-r Baron de Heckern, vous supplie de lui accorder la bonté de la vérifier par une information à la Princesse Dolgorouky» etc.

[2] София Николаевна Карамзина. Андрей Николаевич Карамзин, бывший в момент получения письма в Париже, выехал из России летом 1836 года.

[3] «Старина и новизна», книга 17. М., 1914, стр. 235.

Петербурге, и я довольно потешалась по этому поводу; поверьте мне, что тут должно быть что-то подозрительное, какое-то недоразумение и что, может быть, было бы очень хорошо, если бы этот брак не имел места»[1].

Анна Николаевна Вульф писала из Петербурга своей сестре, баронессе Евпраксии Вревской, *28 ноября:* «Вас заинтересует городская новость: фрейлина Гончарова выходит замуж за знаменитого Дантеса, о котором вам Ольга, наверное, говорила, и способ, которым, говорят, устроился этот брак, восхитителен». 22 декабря Анна Николаевна Вульф сообщала подробности: «Про свадьбу Гончаровой так много разного рассказывают и так много, что я думаю лутче тебе ето расказать при свиданее. Entre autres choses on prétend que Pouchkine a reçu par la petite poste un diplôme avec des cornes en or, souscrit par les personnes les plus marquants de la haute société et reconnus de la confrérie, qui lui écrivent qu'ils sont tout fiers d'avoir un homme aussi célèbre dans leur catégorie et qu'ils s'empressent de lui envoyer ce diplôme comme à un membre de leur société, и что с радостью они принимают в свое общество et qu'à la suite de cela s'est arrangé le mariage de M-lle Gontcharoff. Pour les autres versions je les garde pour avoir quelque chose à vous raconter quand nous nous reverrons»[2]. Умалчивая о подробностях, А. Н. Вульф верно передает основной факт: женитьба Дантеса на Гончаровой была средством отвести глаза, но общество, или свет, оценило этот брак надлежащим образом.

Приведем еще не лишенный интереса отрывок из письма барона П. А. Вревского к брату. Барон П. А. Вревский жил в декабре месяце в Ставрополе и встречался здесь с братом Пушкина, Львом Сергеевичем, который и явился источником его сведений. *23 декабря* 1836 года барон Вревский писал: «Знаете ли вы, что старшая из его кузин, которая напоминает нескладную дылду или ручку у метлы — сравнения кавказской вежливости! — вышла замуж за барона Геккерена, бывшего Дантеса... Влюбленный в жену поэта, Дантес, выпровоженный, вероятно, из Сен-Сирской школы, должно быть, пожелал оправдать свои приставания в глазах света»[3].

Сам Пушкин был доволен, что история с Дантесом так кончилась и что положение, в которое он поставил Дантеса, было не из почетных. «Случилось, — резюмировал Пушкин события в письме к Бенкендорфу, — что в продолжение двух недель г. Дантес влюбился в мою свояченицу, Гончарову, и просил у нее руки. Молва меня предупредила — и я просил передать г. д'Аршиаку, секунданту г. Дантеса, что я отказываюсь от своего вызова»[4]. А в письме к Геккерену Пушкин писал: «Я заставил вашего сына играть столь жалкую роль, что моя жена, удивленная такою низостию и плоскостию его, не могла воздержаться от смеха, и ощущение, которое бы она могла иметь к этой сильной и высокой страсти, погасло в самом холодном презрении и заслуженном отвращении»[5]. Таким образом Пушкину представлялось, что нападение на его

---

[1] «Пушкин и его современники», вып. XII, стр. 94.
[2] «Пушкин и его современники», вып. XXI–XXII, стр. 346–347.
[3] Там же, стр. 397.
[4] «Переписка», т. III, № 1106, стр. 417.
[5] Там же, т. III, № 1138, стр. 444. Цитируем по переводу, сделанному в военно-судной комиссии: см. «Дуэль Пушкина с Дантесом-Геккереном. Военно-судное дело», стр. 56.

честь, произведенное по вине Дантеса, отражено извне и внутри — как в недрах семейных, так и в свете. Знаменательно упоминание о том, что в цели Пушкина входило и намерение произвести определенное впечатление на свою жену, показать ей Дантеса разоблаченного и тем погасить ее чувство к нему. Показать своим друзьям и знакомым Дантеса до нелепости смешным, заставив его под угрозою дуэли жениться на Е. Н. Гончаровой, — значило для Пушкина подорвать его репутацию в обществе. Но всякая психология имеет два конца. Вышло так, что вскоре обнаружился другой конец, которым ударило по Пушкину.

11.

Отойдем от эпизода с Дантесом. Пока длилась двухнедельная отсрочка, данная Пушкиным Геккерену, и пока разыгрывались вокруг Дантеса все рассказанные нами события, в представлении Пушкина центр тяжести всей этой истории постепенно перемещался. Пушкин начал с Дантеса, как главного виновника, давшего повод к обиде подметных писем, но ему было важно разыскать и составителей пасквиля и подметчиков. По «Воспоминаниям» графа Соллогуба, передавшего Пушкину экземпляр пасквиля в день его получения, выходит, что в первый момент Пушкин заподозрил в составлении диплома на звание рогоносца одну даму, которую он и назвал графу Соллогубу. Но Пушкин в непосланном письме к Бенкендорфу дает иные сведения: «4 ноября я получил три экземпляра анонимного письма... По бумаге, по слогу письма и по манере изложения я удостоверился *в ту же минуту,* что оно от иностранца, человека высшего общества, дипломата». Князь Вяземский сообщал великому князю Михаилу Павловичу, что, как только были получены анонимные письма, Пушкин заподозрил в их сочинении старого Геккерена и умер с этой уверенностью. «Мы так никогда и не узнали, на чем было основано это предположение...»[1]. В черновых набросках письма к Геккерену Пушкин напрямик объявляет Геккерена автором писем. В этих обрывках нам многое неясно и в высшей степени возбуждает наш интерес, но обвинение Геккерена из них можно извлечь без всякого труда. «2 ноября вы полагали, что сын ваш вследствие... <много> удовольствия. Он сказал вам... что моя жена... безыменное письмо... <у нее голова пошла кругом>... нанести решительный удар... сочиненное вами и <три экземпл>яра <безыменного письма>... роздали ... Смастерили с.... на .... беспокоился более. Действительно, не прошло и трех дней в розысках, как я узнал, в чем дело. Если дипломатия ничто иное, как искусство знать о том, что делается у других, и разрушать их замыслы, то вы отдадите мне справедливость, сознаваясь, что сами потерпели поражение на всех пунктах...»[2]. Позволяем себе еще раз привести уже цитированный нами в своем месте отрывок из письма Жуковского:

---

[1] Приведем конец этой фразы: «...и до самой смерти Пушкина считали его недопустимым. Только неожиданный случай дал ему впоследствии некоторую долю вероятности. Но так как на этот счет не существует никаких юридических доказательств, ни даже положительных оснований, то это предположение надо отдать на суд божий, а не людской». Насколько крепка была в Пушкине уверенность в виновности Геккерена, мы еще будем говорить по поводу письма к Геккерену от 25 января 1837 года. О прикосновенности к анонимным письмам князя Гагарина и князя Долгорукова см. в конце этой книги (ч. 2, отд. IX).

[2] «Русск. стар.», т. XXVIII, 1880, июль, стр. 520.

«Вот что приблизительно ты сказал княгине третьего дня, уже имея в руках мое письмо: „Я знаю автора анонимных писем, и через неделю вы услышите, как будут говорить о мести, единственной в своем роде; она будет полная, совершенная; она бросит человека в грязь; громкие подвиги Раевского — детская игра перед тем, что я намерен сделать“», и т. д.

Заявления Пушкина княгине Вяземской совершенно разъясняют нам, почему Пушкин не считал нужным прилагать усилия к охранению тайны Геккеренов, о чем так убедительно просил его Жуковский; он пришел к твердому убеждению, что автором анонимных писем был барон Геккерен. А уверившись в этом, он пришел к какому-то определенному плану действий, плану, который, по его расчету, должен был окончательно уничтожить репутацию Геккерена и повергнуть его в прах. Приведение этого плана он откладывал на неделю. Кажется, будет верным предположение, что, откладывая на неделю свою месть, Пушкин ждал окончания им самим данной Геккерену отсрочки на две недели. Но вот вопрос о дуэли с Дантесом был решен 17 ноября: быть может, Пушкин так легко согласился исполнить просьбу Соллогуба именно потому, что в это время Дантес его уже не интересовал так сильно, а все его внимание перешло на Геккерена. Уместно дать слово теперь опять графу Соллогубу. Через несколько дней после 17 ноября он был у Пушкина. Если принять указанную дальше в его рассказе субботу за ближайшую к событиям и, следовательно, приходившуюся на 21 ноября, то получим точную дату этого посещения Пушкина — *21 ноября.* Произошел следующий разговор:

— Послушайте, — сказал он мне через несколько дней, — вы были более секундантом Дантеса, чем моим; однако я не хочу ничего делать без вашего ведома. Пойдемте в мой кабинет.

Он запер дверь и сказал: «Я прочитаю Вам мое письмо к старику Геккерну. С сыном уже покончено.... Вы мне теперь старичка подавайте».

Тут он прочитал мне всем известное письмо к голландскому посланнику. Губы его задрожали, глаза налились кровью. Он был до того страшен, что только тогда я понял, что он действительно африканского происхождения. Что мог я возразить против такой сокрушительной страсти? Я промолчал невольно, и так как это было в субботу (приемный день князя Одоевского), то поехал к князю Одоевскому. Там я нашел Жуковского и рассказал ему про то, что слышал. Жуковский испугался и обещал остановить отсылку письма. Действительно, это ему удалось; через несколько дней он объявил мне у Карамзиных, что дело он уладил, и письмо послано не будет. Пушкин точно не отсылал письма, но сберег его у себя на всякий случай!»

Когда граф В. А. Соллогуб писал свои воспоминания о поединке Пушкина, документы по истории дуэли были опубликованы Аммосовым в 1863 году по оригиналам, принадлежавшим К. К. Данзасу; среди этих документов было напечатано впервые ходившее до тех пор в списках известное письмо Пушкина к барону Геккерену, от 26 января 1837 года. Граф В. А. Соллогуб утверждает, что это письмо — то же самое, которое Пушкин прочел ему в ноябре месяце: «только прежнее было, если не ошибаюсь, длиннее и, как оно ни покажется невероятным, еще оскорбительнее». С легкой руки графа Соллогуба многие из биографов повторяют, что письмо Геккерену, написанное в ноябре, Пушкин в январе только переписал и отправил по адресу. Редактор же переписки Пушкина в академическом издании печатает это письмо дважды:

и в ноябре (по снимку, сделанному Аммосовым с подлинного пушкинского автографа, бывшего у К. К. Данзаса), и в январе (по копии военно-судного о дуэли дела, тоже с подлинного пушкинского автографа, доставленного в военно-судную комиссию Геккереном). Но к этому сообщению графа В. А. Соллогуба надо отнестись с величайшей осторожностью. И сам Соллогуб высказывается за тождество ноябрьского и январского писем с оговоркой, да и действительно трудно, не имея перед глазами подлинников, утверждать тождество двух документов, к тому же весьма однообразных по содержанию, ибо задача и ноябрьского, и январского писем была одна и та же: нанести возможно более резкое и тяжкое оскорбление Геккерену. Трудно предположить, что Пушкин так долго хранил неотправленное в ноябре письмо к Геккерену, что Пушкин, пережив 25—26 января сильнейшую вспышку гнева и негодования, не излил свои чувства набросанным тут же злым письмом, а порылся в своем столе, достал оттуда документ и отправил его Геккерену. Наконец, и по содержанию своему январское письмо не могло быть написано в ноябре[1].

Не признавая январское письмо Геккерену тождественным тому письму, которое Пушкин прочел графу Соллогубу в ноябре или точнее, — если наше предположение верно, — именно 21 ноября, мы не отрицаем реального содержания в его сообщении: по нашему мнению, оно намечает еще одну стадию в истории ноябрьских событий — ту стадию, намек на которую заключается в цитированном отрывке из письма В. А. Жуковского. Пушкин думал над осуществлением плана какого-то необычайного отомщения Геккерену. Может быть, план был таков, как рассказывает граф Соллогуб, может быть, иной. Осуществление части этого плана мы находим в известном письме к графу А. Х. Бенкендорфу, датированном 21 ноября 1836 года: «Я вправе и думаю даже, что обязан довести до сведения вашего сиятельства о случившемся в моем семействе» — так начинается это письмо. Изложив кратко историю событий до отказа своего от вызова Дантесу, Пушкин пишет: «Между тем я убежден, что анонимное письмо было от г. Геккерна, о чем считаю обязанностью довести до сведения правительства и общества. Будучи единственным судьею и хранителем моей чести и чести моей жены — почему и не требую ни правосудия, ни мщения, — не могу и не хочу представлять доказательств кому бы то ни было *в том, что я утверждаю*»[2].

---

[1] „Vous sentez bien, qu'après tout cela je ne pouvais souffrir qu'il y eut des relations entre ma famille et la vôtre" (Переписка, III, № 1138, 445). Эта фраза могла быть написана только после женитьбы Дантеса. Об этом письме нам еще придется говорить.

[2] История этого письма загадочна. Впервые оно напечатано в книжке Аммосова по подлиннику, доставленному К. К. Данзасом (назв. соч. 43—46). Озаглавлено оно здесь: «Письмо Пушкина, адресованное, *кажется,* на имя графа Бенкендорфа». Адресат указан здесь приблизительно, но в тексте книжки (стр. 9) сказано уже положительно: «Автором анонимных записок, по сходству почерка, Пушкин подозревал барона Геккерена — отца, и *даже писал* об этом графу Бенкендорфу». По традиции считается, что письма Пушкин не послал. П. И. Бартенев «со слов князей Вяземских» повествует, что письмо это найдено было у Пушкина в кармане сюртука, в котором он дрался. «В подлиннике я видел его у покойного Павла Ивановича Миллера, который служил тогда секретарем при графе Бенкендорфе; он взял себе на память это не дошедшее по назначению письмо» («Русск. арх.», 1888, II, 308). Желая объяснить мотивы, побудившие Пушкина написать графу Бенкендорфу, Бартенев рассказывает следующую историю: «После

Итак, задача этого письма — обличение Геккерена-старшего, составителя анонимного пасквиля, и таким образом сильнейшая компрометация посланника европейской державы. По всей вероятности и по показаниям традиции, письмо это осталось непосланным и план неслыханной мести Геккерену остался не осуществленным ни в целом, ни в части.

Но у Пушкина создалось уже не покидавшее его глубокое убеждение в том, что главный его оскорбитель — Геккерен-старший, а Геккерен-младший — лицо второстепенное.

12.

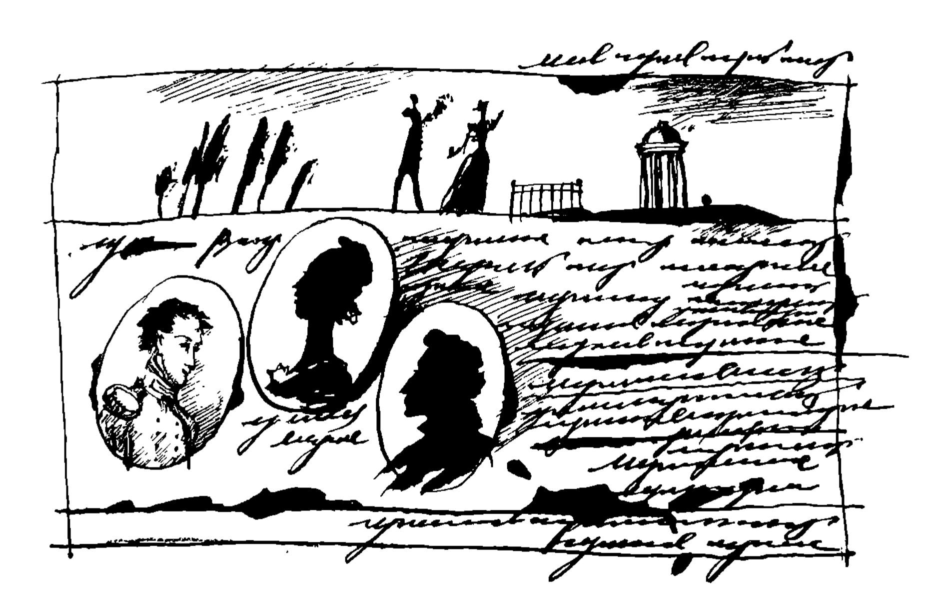
В фамильном архиве баронов Геккерен-Дантесов сохранилось несколько писем Дантеса-жениха к своей невольной невесте Екатерине Гончаровой. Эта письменная идиллия показывает нам, что Дантес с добросовестностью отнесся к задаче, возложенной на него судьбой, и попытался в исполнение обязанностей невольного жениха внести тон искреннего увлечения. Вот письмо, писанное, очевидно, в самом начале жениховства:

«Завтра я не дежурю, моя милая Катенька, но я приду в двенадцать часов к тетке, чтобы повидать вас. Между ней и бароном условлено, что я могу приходить к ней каждый день от двенадцати до двух, и, конечно, мой милый друг, я не пропущу первого же случая, когда мне позволит служба; но устройте так, чтобы мы были одни, а не в той комнате, где сидит милая тетя. Мне так много надо сказать Вам, я хочу говорить о нашем счастливом будущем, но этот разговор не допускает свидетелей. Позвольте мне верить, что Вы счастливы, потому что я так счастлив сегодня утром. Я не мог говорить с Вами, а сердце мое было полно нежности и ласки к Вам, так как я люблю вас, милая Катенька, и хочу вам повторять об этом сам с той искренностью, которая свойственна моему характеру и которую вы всегда во мне встретите. До свидания, спите крепко, отдыхайте спокойно: будущее Вам улыбается. Пусть все это заставит Вас видеть меня во сне... Весь Ваш, моя возлюбленная».

Вот еще два письма, весьма стильных для Дантеса: по этим немногим строкам можно схватить характерные черты его личности.

«Если бог, производя на свет два существа, которые вы называете вашими статс-дамами, хотел доказать своему созданию, что он может сделать его уродливым и безобразным, сохраняя ему дар речи, я готов преклониться и признать его всемогущество; во всю мою жизнь я не видел ничего менее похожего на женщину, чем та из вашей свиты, которая говорит по-немецки.

этого (т. е. после оглашения помолвки Дантеса) государь, встретив где-то Пушкина, взял с него слово, что, если история возобновится, он не приступит к развязке, не дав знать ему наперед. Так как сношения Пушкина с государем происходили через графа Бенкендорфа, то перед поединком Пушкин написал известное письмо свое на имя графа Бенкендорфа, собственно назначенное для государя. Но письма этого Пушкин не решился послать». Но это объяснение явно несостоятельно и заключает целую путаницу фактов. Вообще история этого письма, пролежавшего полтора месяца в кармане сюртука, весьма сомнительна и неясна. Где в настоящее время находится подлинник этого письма, неизвестно.



...P. S. Я писал сегодня утром моему отцу и передал ему от вашего имени миллион нежностей. Я думаю, что это доставит удовольствие виновнику моего существования».

Вот письмо поздравительное:

«Мой дорогой друг, я совсем забыл сегодня утром поздравить Вас с завтрашним праздником. Вы мне сказали, что это не завтра; однако я имею основание не поверить Вам на этот раз; так как я испытываю всегда большое удовольствие, высказывая пожелания Вам счастья, то не могу решиться упустить этот случай. Примите же, мой самый дорогой друг, мои самые горячие пожелания; Вы никогда не будете так счастливы, как я этого хочу Вам, но будьте уверены, что я буду работать изо всех моих сил, и надеюсь, что при помощи нашего прекрасного друга[1] я этого достигну, так как Вы добры и снисходительны. Там, увы, где я не достигну, Вы будете, по крайней мере, верить в мою добрую волю и простите меня. — Безоблачно наше будущее, отгоняйте всякую боязнь, а главное — не сомневайтесь во мне никогда; все равно, кем бы мы ни были окружены, я вижу и буду видеть всегда только Вас; я — Ваш, Катенька, Вы можете положиться на меня, и, если Вы не верите словам моим, поведение мое докажет Вам это».

Последние слова этого письма свидетельствуют о том ревнивом чувстве, с которым следила Екатерина Николаевна за своим женихом. В число тех, кто мог бы окружать чету Дантесов, входила, конечно, и Наталья Николаевна.

Не менее стилен ответ Дантеса своей невесте на ее просьбу о портрете. Екатерина Николаевна желала иметь портрет любимого ею человека, и любимый отвечал следующим письмом:

---

[1] Речь идет, конечно, о Геккерене-старшем.

«Милая моя Катенька, я был с бароном[1], когда получил Вашу записку. Когда просят так нежно и хорошо — всегда уверены в удовлетворении; но, мой прелестный друг, я менее красноречив, чем Вы: единственный мой портрет принадлежит барону и находится на его письменном столе. Я просил его у него. Вот его точный ответ. „Скажите Катеньке, что я отдал ей „оригинал“, а копию сохраню себе“».

Еще одна записочка, последняя в коллекции писем Дантеса-жениха, сохранившейся в фамильном архиве баронов Геккеренов-Дантесов.

«Моя милая и дорогая Катенька, единственный мой ответ на Ваше письмо: я говорю Вам, что Вы — большой ребенок, если так благодарите меня. Цель моей жизни — доставить Вам удовольствие, и если я достиг этого, то я уже слишком счастлив. До завтра от всего сердца...»

Нельзя отказать в известной искренности этим куртуазным письмам, но Дантес, по-видимому, тщетно боролся с самим собой, если только боролся, и со своими чувствами к Наталье Николаевне.

Пушкин в конце декабря 1836 года писал своему отцу: «У нас свадьба. Моя свояченица Катенька выходит замуж за барона Геккерена, племянника и приемного сына посланника короля голландского. Это un très beau et bon garcon fort à la mode, богатый и моложе своей невесты на 4 года. Приготовление приданого очень занимает и забавляет мою жену и ее сестер, но выводит меня из себя, так как мой дом похож на модную и бельевую лавку»[2].

1 января 1837 года в приказе по Кавалергардскому ее величества полку было отдано о разрешении поручику барону Геккерену вступить в законный брак с фрейлиною двора Екатериной Гончаровой, а через два дня, 3 января, приказом по полку было предписано: «Выздоровевшего г. поручика барона де Геккерена числить налицо, которого по случаю женитьбы его не наряжать ни в какую должность до 18 сего января, т. е. в продолжение 15 дней»[3]. Бракосочетание было совершено 10 января по католическому обряду — в римско-католической церкви св. Екатерины и по православному — в Исаакиевском соборе. Свидетелями при бракосочетании расписались: барон Геккерен, граф Г. А. Строганов, ротмистр Кавалергардского полка Августин Бетанкур, виконт д'Аршиак, л.-гв. Гусарского полка поручик Иван Гончаров и полковник Кавалергардского полка Александр Полетика.

Екатерина Николаевна вошла в семью Геккеренов-Дантесов и стала жить их жизнью.

Вот ее первое письмо своему свекру.

«Милый папа, я очень счастлива, что, наконец, могу написать Вам, чтобы благодарить от всей глубины моего сердца за то, что Вы удостоили дать Ваше согласие на мой брак с Вашим сыном, и за благословение, которое Вы прислали мне и которое, я не сомневаюсь, принесет мне счастье. Наша свадьба состоялась в последнее воскресенье, 22 текущего месяца, в 8 часов вечера, в двух

---

[1] Геккереном.
[2] «Переписка», т. III, № 1125, стр. 434.
[3] «Пушкин», стр. 349.

церквах — католической и греческой. Моему счастию недостает возможности быть около Вас, познакомиться лично с Вами, с моим братом и сестрами и заслужить Вашу дружбу и расположение. Между тем это счастие не может осуществиться в этом году, но барон обещает нам наверное, что будущий год соединит нас в Зульце. Я была бы очень рада, если бы, в виду этого, моя сестра Нанина вступила со мной в переписку и давала мне сведения о Вас, милый папа, и о Вашей семье. С своей стороны, я беру на себя держать Вас в курсе всего, что может Вас здесь интересовать, а ей я дам те мелкие подробности интимной переписки, какие получаются с радостию, когда близких разделяет такое большое расстояние. Мое счастие полно, и я надеюсь, что мой муж так же счастлив, как и я; могу Вас уверить, что посвящу всю мою жизнь любви к нему и изучению его привычек и когда-нибудь представлю Вам картину нашего блаженства и нашего домашнего счастия. Я ограничусь теперь очень нежным поцелуем, умоляя Вас дать мне Вашу дружбу. До свидания, милый папа, будьте здоровы, любите немного Вашу дочь Катю и верьте нежному и почтительному чувству, которое она всегда питает к Вам».

Читая любовные письма Дантеса-жениха и это идиллическое письмо, прямо не можешь себе и представить ту трагедию, которая разыгрывалась около баронессы Дантес-Геккерен и которой, кажется, только она одна в своей ревнивой влюбленности в мужа не хотела заметить или понять. Она ни в чем не винила своего мужа и во всем виноватым считала Пушкина, до такой степени, что, покидая после смерти Пушкина Россию, имела дерзкую глупость сказать: «Я прощаю Пушкину»[1].

13.

Между тем ни помолвка, ни совершившийся брак не внесли радикальных перемен в положение действующих лиц трагедии. Сам Пушкин на свадьбе Дантеса не был. Он только по показанию Дантеса впоследствии, в военно-судной комиссии, «прислал жену к Дантесу в дом на его свадьбу». Отсутствие Пушкина и присутствие одной Пушкиной на свадьбе, по мнению Дантеса, «вовсе не означало, что все наши сношения должны были прекратиться». На самом деле такого заключения Дантес не имел права делать: оно соответствовало всего-навсего только его желанию видеть действительность такой, чтобы возможность его сношений с Натальей Николаевной продолжалась. Но Пушкин «непременным» условием требовал от Геккерена, чтобы не было «никаких сношений между семействами»[2]. Геккерены, действительно, стремились к восстановлению мирных отношений. По рассказу Данзаса, Дантес приезжал к Пушкину с свадебным визитом, но не был принят. Данзас прибавляет, что Дантес пытался писать Пушкину, но он возвратил письмо старшему Геккерену непрочитанным. О сцене, разыгравшейся при возвращении письма, скажу дальше. Нам понятно, почему Дантес стремился к примирению, но почему этого же добивался Геккерен, не совсем ясно. Желание, чтобы хотя по внешности все представлялось высокоприличным, играло тут, конечно, большую роль.

---

[1] «Пушкин и его современники», I, стр. 58.

[2] Так говорил Пушкин 27 января в квартире д'Аршиака.

Геккерены не бывали у Пушкиных, но сношения не только не прекратились после бракосочетания, но участились, сделались, как кажется, легче, интимнее. Дантес ведь стал родней Пушкиным. Встречалась Пушкина с Дантесом у своей тетушки, Е. И. Загряжской, на вечерах, на балах, которых в январе 1837 года было особенно много. Ухаживания Дантеса сейчас же обратили общее внимание. Н. М. Смирнов через пять лет после событий следующим образом описывал положение дел после свадьбы: поведение Дантеса «после свадьбы дало всем право думать, что он точно искал в браке не только возможности приблизиться к Пушкиной, но также предохранить себя от гнева ее мужа узами родства. Он не переставал волочиться за своею невесткою; он откинул даже всякую осторожность, и казалось иногда, что насмехается над ревностью не примирившегося с ним мужа. На балах он танцевал и любезничал с Натальею Николаевною, за ужином пил за ее здоровье, словом, довел до того, что все снова стали говорить про его любовь. Барон же Геккерен стал явно помогать ему, как говорят, желая отмстить Пушкину за неприятный ему брак Дантеса»[1].

В одном современном дневнике под 22 января 1837 года записана следующая любопытная сцена, которую наблюдала на балу романтически настроенная девица[2].

«На балу я танцевала. Было слишком тесно.

В мрачном молчании я восхищенно любовалась г-жею Пушкиной. Какое восхитительное создание!

Дантес провел часть вечера неподалеку от меня. Он оживленно беседовал с пожилою дамою, которая, как можно было заключить из долетевших до меня слов, ставила ему в упрек экзальтированность его поведения.

Действительно — жениться на одной, чтобы иметь некоторое право любить другую, в качестве сестры своей жены, — боже, для этого нужен порядочный запас смелости (courage)...

Я не расслышала слов, тихо сказанных дамой. Что же касается Дантеса, то он отвечал громко, с оттенком уязвленного самолюбия:

— Я понимаю то, что вы хотите дать мне понять, но я совсем не уверен, что сделал глупость!

— Докажите свету, что вы сумеете быть хорошим мужем... и что ходящие слухи неосновательны.

— Спасибо, но пусть меня судит свет.

Минуту спустя я заметила проходившего А. С. Пушкина. Какой урод! (Quel monstre!).

Рассказывают, — но как дерзать доверять всему, о чем болтают?! — Говорят, что Пушкин, вернувшись как-то домой, застал Дантеса tête-à-tête с своею супругою.

Предупрежденный друзьями, муж давно уже искал случая проверить свои подозрения; он сумел совладать с собою и принял участие в разговоре. Вдруг у него явилась мысль потушить лампу. Дантес

---

[1] «Русск. арх.», 1882, I, стр. 236.

[2] «Русская старина», 1900, т. CIII, август, стр. 382—385. Ср. этот же рассказ, но в другом переводе, в «Русском вестнике», 1893, март, стр. 292—303, в заметке: «Пушкин и Дантес-Геккерен». Дневник принадлежит М. К. Мердер. А. Мердер, сообщивший в «Русскую старину» отрывок из дневника, сообщил (по всей вероятности, из этого же дневника) еще две мелочи о Дантесе. — Там же, 1902, октябрь, стр. 602.

вызвался снова ее зажечь, на что Пушкин отвечал: „Не беспокойтесь, мне, кстати, нужно распорядиться насчет кое-чего..."

Ревнивец остановился за дверью, и через минуту до слуха его долетело нечто похожее на звук поцелуя...

Впрочем, о любви Дантеса известно всем. Ее якобы видят все.

Однажды вечером я сама заметила, как барон, не отрываясь, следил взорами за тем углом, где находилась она. Очевидно, он чувствовал себя слишком влюбленным для того, чтобы, надев маску равнодушия, рискнуть появиться с нею среди танцующих».

И Дантеса, и Наталью Николаевну вновь неодолимо потянуло друг к другу. Победа над Екатериной Николаевной не могла особенно льстить самолюбию Дантеса: достиженья были легки. Не то с Натальей Николаевной, желанной ему и трудно достижимой. Брак не насытил любовного жара Дантеса, и когда он оказался на положении родственника Натальи Николаевны, то частые встречи с нею у Е. И. Загряжской, на балах раздразнили вновь его любовные стремления к Наталье Николаевне. Если он, из любви к Наталье Николаевне, принес себя в жертву и женился на женщине, которая не была для него особливо желанной, то должен же он был вознаградить себя за воздержание и за жертву и добиться достижений. Он возобновил свои нападения на Наталью Николаевну, и любовная схватка началась. Пушкина так сильно потянулась к своему бо-фреру, что впечатления этой любви вытеснили из области ее памяти и сознания тяжелые ноябрьские переживания. Атмосфера сгустилась. Князь Вяземский в письме к великому князю Михаилу Павловичу нарисовал следующими чертами картину положения после бракосочетания Дантеса:

«Это новое положение, эти новые отношения мало изменили сущность дела. Молодой Геккерен продолжал, в присутствии своей жены, подчеркивать свою страсть к г-же Пушкиной. Городские сплетни возобновились, и оскорбительное внимание общества обратилось с удвоенной силою на действующих лиц драмы, происходящей на его глазах. Положение Пушкина сделалось еще мучительнее; он стал озабоченным, взволнованным, на него тяжело было смотреть. Но отношения его к жене от того не пострадали. Он сделался еще предупредительнее, еще нежнее к ней. Его чувства, в искренности которых невозможно было сомневаться, вероятно, закрыли глаза его жене на положение вещей и его последствия. Она должна была бы удалиться от света и потребовать того же от мужа. У нее не хватило характера, и вот она опять очутилась почти в таких же отношениях с молодым Геккереном, как и до его свадьбы; тут не было ничего преступного, но было много непоследовательности и беспечности».

Нельзя не отметить, что из всех свидетельств о последней дуэли Пушкина, оставленных друзьями Пушкина и редактированных в духе строгой охраны чести вдовы Пушкина, приведенные слова князя Вяземского являются единственным свидетельством, несущим осуждение поведению Натальи Николаевны. В письме к А. Я. Булгакову от 9 февраля 1837 года, предназначенном для разглашения в обществе, тот же князь Вяземский почти в тех же самых выражениях рисует положение дел после брака, так же характеризует поведение Дантеса и отношение Пушкина, но... опускает сообщение, касающееся Пушкиной. «Отношения к жене не пострадали», говорит князь П. А. Вяземский в этом письме к А. Я. Булгакову, «и стали еще нежнее».

Конспективные заметки, набросанные Жуковским, не позволяют нам принять утверждение Вяземского за истинное. В действительности отношения Пушкина к жене были очень сложны. Прежде всего, неровны. «После свадьбы. Два лица. Мрачность при ней. Веселость за ее спиной» — записал Жуковский. Что значит эта двойственность в отношениях Пушкина: при жене мрачен, без нее весел?

За только что приведенной заметкой следует в заметках Жуковского совершенно нерасшифрованная запись «des révélations d'Alexandrine». Какие разоблачения и кому сделала старшая из трех сестер, Александрина? Кому? — Кажется, по контексту надо думать: Жуковскому. Вслед за этой загадочной записью Жуковский заносит: «При тетке ласка к жене, при Александрине и других, кои могли бы рассказать, — des brusqueries. Дома же веселость и большое согласие». В этой заметке все неясно. При тетке Пушкин ласков к жене, при других, кто мог бы рассказать, грубоват. Кому рассказать? Дантесу, что ли? Если Дантесу, то почему же Пушкину нужно, чтобы до Дантеса дошли сведения не о том, что он ласков с женой, а о том, что он с ней груб? Последняя фраза записи «дома же веселость и большое согласие» как будто противоречит приведенной раньше записи: «Мрачность при ней. Веселость за ее спиной». Слишком скудны заметки Жуковского, не дают они ответа на бесчисленные вопросы, не дают представления о том, что же было? Они бросают намеки, тревожат наше воображение и остаются немыми. Все, кто занимается Пушкиным, кто любит его, будут склоняться в тревожном раздумье над записями Жуковского, и их жадная и раздражительная пытливость вряд ли будет удовлетворена. И будут ли разрешены когда-либо загадки, заключенные в словах и фразах, набросанных для памяти Жуковским? Вот последние три строки во втором листке конспективных заметок Жуковского:

История кровати
Le gaillard très bien[1]
Vous m'avez porté bonheur.

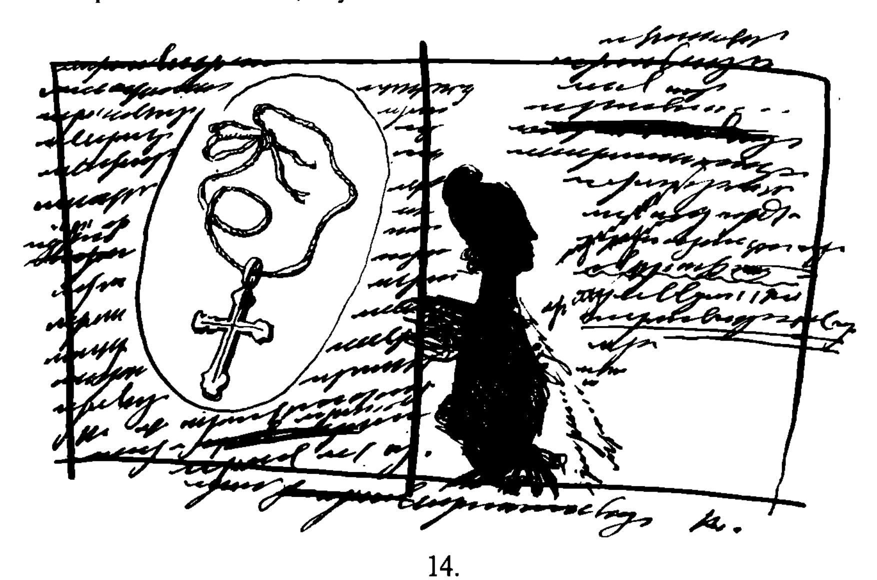
Любопытство читателя возбуждено до крайности. История кровати?.. Какое значение играла эта история в событиях последних дней жизни поэта? Но помета «история кровати» связывается невольно в нашем уме с тем рассказом, который приводит в своих воспоминаниях А. П. Арапова, дочь Н. Н. Пушкиной. Пушкин вошел в интимное общение с сестрой своей жены, Александриной, — Азинькой, как звали ее в семье. Случай будто бы обнаружил эту связь. «Раз как-то, — рассказывает А. П. Арапова в своих воспоминаниях, — Александра Николаевна заметила пропажу шейного креста, которым она очень дорожила. Всю прислугу поставила на ноги, чтобы его отыскать. Тщетно перешарив комнаты, уже отложили надежду, когда камердинер, постилая на ночь кровать Александра Сергеевича, — это совпало с родами его жены, — нечаянно вытряхнул искомый предмет. Этот случай должен был неминуемо породить много толков, и хотя других данных обвинения няня не могла привести, она с убеждением повторяла мне: „Как вы там ни объясняйте, это ваша воля, а по-моему, — грешна была тетенька перед вашей маменькой!“».

---

[1] В подлиннике оставлен пробел для какого-то слова.

И вот Жуковский, как нечто примечательное для истории последних дней Пушкина, отмечает «историю кровати», а строчкой выше — не комментированный им факт «les révélations d'Alexandrine». Создается навязчивая ассоциация, но соответствует ли она в какой-либо мере действительности? Ответить на этот вопрос нет возможности.

А Александрина Гончарова знала много: недаром из всех домочадцев Пушкина ей одной было известно о том, что Пушкин послал 26 января письмо Геккерену.



14.

Итак, на виду у всего света Дантес недвусмысленно ухаживал за Пушкиной. Не мог не видеть этого и Пушкин. Он узнавал об ухаживаниях из тех же источников — от жены и из анонимных писем. Жена передавала ему плоские остроты Дантеса и рассказывала о той игре, которую вел Дантес, и об участии в ней Геккерена-старшего. Приходится думать, что Пушкину в этом новом сближении роль Натальи Николаевны не казалась активной. Ее соблазняли, и она была жертвой двух Геккеренов. Недалеко от правды предположение, что после всего происходившего в ноябре Пушкин не считал искренним и сколько-нибудь серьезным увлечение Дантеса Натальей Николаевной. Наоборот, новая игра в любовь со стороны Дантеса должна была представляться Пушкину сознательным покушением не на верность его жены, а на его честь, обдуманным отмщением за то положение, в которое были поставлены Геккерены им, Пушкиным. Само собой разумеется, в своих рассказах мужу Наталья Николаевна не выдвигала своей активности и, конечно, во всем винила Геккеренов, в особенности старшего. Иного она не могла рассказать своему мужу. В ноябрьском столкновении Пушкин на момент почувствовал некий романтизм в страсти Дантеса; теперь же романтизм исчез бесследно, и осталась одна грубая проза житейских отношений. Мотивы действий противников были обнажены для Пушкина, и положение стало безмерно тягостнее, чем прежде. Гораздо острее почувст-

вовалась роль «света». Он не мог не сознавать, что он и его жена — притча во языцех, предмет злорадства многих и многих светских людей, у которых было немало своих причин негодовать на Пушкина. Князь П. А. Вяземский в письме к великому князю Михаилу Павловичу изображает душевное состояние Пушкина:

«Когда друзья Пушкина, желая его успокоить, говорили ему, что не стоит так мучиться, раз он уверен в невинности своей жены, и уверенность эта разделяется всеми его друзьями и всеми порядочными людьми общества, то он им отвечал, что ему недостаточно уверенности своей собственной, своих друзей и известного кружка, что он принадлежит всей стране и желает, чтобы имя его оставалось незапятнанным везде, где его знают. За несколько часов до дуэли он говорил д'Аршиаку, секунданту Геккерена, объясняя причины, которые заставляли его драться: „Есть двоякого рода рогоносцы; одни носят рога на самом деле; те знают отлично, как им быть; положение других, ставших рогоносцами по милости публики, затруднительнее. Я принадлежу к последним". Вот в каком настроении он был, когда приехали его соседки по имению, с которыми он часто виделся во время своего изгнания. Должно быть, он спрашивал их о том, что говорят в провинции об его истории, и, вероятно, вести были для него неблагоприятны. По крайней мере, со времени приезда этих дам он стал еще раздражительнее, тревожнее, чем прежде. Бал у Воронцовых, где, говорят, Геккерен был сильно занят г-жей Пушкиной, еще увеличил его раздражение. Жена передала ему остроту Геккерена, на которую Пушкин намекал в письме к Геккерену-отцу, по поводу армейских острот. У обеих сестер был общий мозольный оператор, и Геккерен сказал г-же Пушкиной, встретив ее на вечере: „Je sais maintenant que votre cor est plus beau, que celui de ma femme"[1]. Вся эта болтовня, все эти мелочи растравляли рану Пушкина. Его раздражение должно было выйти из границ».

Вот еще рассказ о каламбуре Дантеса по воспоминаниям княгини В. Ф. Вяземской, записанным П. И. Бартеневым: «На одном вечере Гекерн, по обыкновению, сидел подле Пушкиной и забавлял ее собою. Вдруг муж, следивший за ними, заметил, что она вздрогнула. Он немедленно увез ее домой и дорогою узнал от нее, что Гекерн, говоря о том, что у него был мозольный оператор, тот самый, который обрезывал мозоли Наталье Николаевне, прибавил: „Il m'a dit que le cor de madame Pouchkine est plus beau que le mien". Пушкин сам передавал об этой наглости княгине Вяземской»[2].

О степени раздражения Пушкина рассказывают современники. Так, со слов княгини В. Ф. Вяземской передает П. И. Бартенев: «Накануне Нового года у Вяземских был большой вечер. В качестве жениха Гекерн явился с невестою. Отказывать ему от дому не было уже повода. Пушкин с женою был тут же, и француз продолжал быть возле нее. Графиня Наталья Викторовна Строганова говорила княгине Вяземской, что у него такой страшный вид, что, будь она его женой, она не решилась бы вернуться с ним домой. Наталья Николаевна с ним была то слишком откровенна, то слишком сдержанна.

---

[1] Непереводимая игра слов, основанная на созвучии слов: „cor" — мозоль и „corps" — тело. Буквально: «Я теперь знаю, что у вас мозоль красивее, чем у моей жены».

[2] «Русск. арх.», 1888, II, стр. 311.

На разъезде с одного бала Гекерн, подавая руку жене своей, громко сказал, так что Пушкин слышал: „Allons, ma légitime"»[1].

В воспоминаниях А. О. Россета сохранился следующий случай: «В воскресенье (перед поединком Пушкина) (значит, 24 января) Россет пошел в гости к князю П. И. Мещерскому (зятю Карамзиной, они жили в д. Вьельгорских) и из гостиной прошел в кабинет, где Пушкин играл в шахматы с хозяином. „Ну что, — обратился он к Россету, — вы были в гостиной: он уж там, возле моей жены?" Даже не назвал Дантеса по имени. Этот вопрос смутил Россета, и он отвечал, запинаясь, что Дантеса видел. Пушкин был большой наблюдатель физиономий, — он стал глядеть на Россета, наблюдал линии его лица и что-то сказал ему лестное. Тот весь покраснел, и Пушкин стал громко хохотать над смущением 23-летнего офицера»[2].

Данзас рассказывает один эпизод из этого периода, рисующий степень раздражения Пушкина. Мне кажется, что в рассказе Данзаса не все соответствует действительности, но он может объяснить, почему вызов был направлен не Дантесу, а Геккерену.

Геккерен «заставлял сына своего писать к нему письма, в которых Дантес убеждал его забыть прошлое и помириться. Таких писем Пушкин получил два, одно еще до обеда, бывшего у графа Строганова, на которое и отвечал за этим обедом барону Геккерену на словах, что он не желает возобновлять с Дантесом никаких отношений. Несмотря на этот ответ, Дантес приезжал к Пушкину с свадебным визитом, но Пушкин его не принял. Вслед за этим визитом, который Дантес сделал Пушкину, вероятно, по совету Геккерена, Пушкин получил второе письмо от Дантеса. Это письмо Пушкин, не распечатывая, положил в карман и поехал к бывшей тогда фрейлине г-же Загряжской, с которою был в родстве. Пушкин через нее хотел возвратить письмо Дантесу, но, встретясь у ней с бароном Геккереном, он подошел к нему и, вынув письмо из кармана, просил барона возвратить его тому, кто писал его, прибавив, что не только читать писем Дантеса, но даже и имени его он слышать не хочет.

Верный принятому им намерению постоянно раздражать Пушкина, Геккерен отвечал, что так как письмо это писано было к Пушкину, а не к нему, то он и не может принять его.

Этот ответ взорвал Пушкина, и он бросил письмо в лицо Геккерену со словами: „Tu la recevras, gredin"».

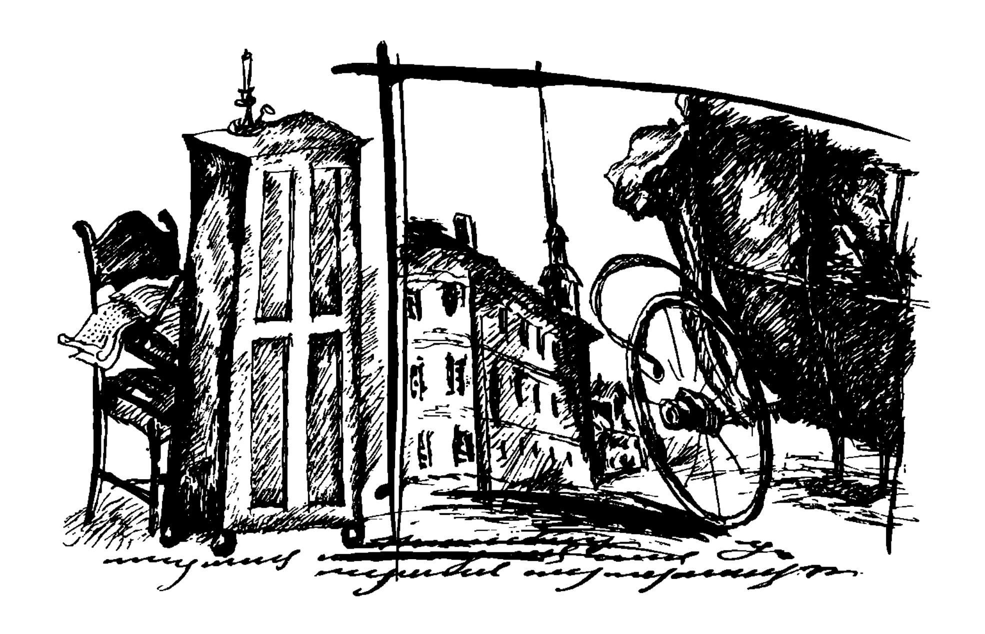
Ну, конечно, последняя фраза не была сказана. Как ни смотреть на Геккерена, нельзя, конечно, не признать, что, выслушав такое оскорбление, Геккерен тотчас же должен был вызвать Пушкина. Недопустимо, чтобы он смолчал.

Ближайший повод рассказан дочерью Пушкиной (от П. П. Ланского) — А. П. Араповой в ее воспоминаниях. В них личность Пушкина изображена темными красками, и ей трудно верить в очень многих сообщениях о Пушкине, но в том рассказе, который я сейчас приведу, ей можно и должно поверить, ибо это говорит дочь о матери[3].

«Геккерен, окончательно разочарованный в своих надеждах, так как при редких встречах в свете Наталья Николаевна избегала, как

---

[1] «Русск. арх.», 1888, II, стр. 310.
[2] «Русск. арх.», 1882, II, 247.
[3] «Нов. вр.», № 11425, 2 января 1908 г.



огня, всякой возможности разговоров, хорошо проученная их последствиями, прибегнул к последнему средству.

Он написал ей письмо, которое было — вопль отчаяния с первого до последнего слова.

Цель его была добиться свидания. Он жаждал только возможности излить ей всю свою душу, переговорить только о некоторых вопросах, одинаково важных для обоих, заверял честью, что прибегает к ней единственно, как к сестре его жены, и что ничем не оскорбит ее достоинства и чистоту. Письмо, однако же, кончалось угрозою, что если она откажет ему в этом пустом знаке доверия, он не в состоянии будет пережить подобное оскорбление. Отказ будет равносилен смертному приговору, а может быть, даже и двум. Жена в своей безумной страсти способна последовать данному им примеру, и, загубленные в угоду трусливому опасению, две молодые жизни вечным гнетом лягут на ее бесчувственную душу».

«Года за три перед смертью, — пишет в своих воспоминаниях А. П. Арапова, — она рассказала во всех подробностях разыгравшуюся драму нашей воспитательнице, женщине, посвятившей младшим сестрам и мне всю свою жизнь и внушавшей матери такое доверие, что на смертном одре она поручила нас ее заботам, прося не покидать дом до замужества последней из нас. С ее слов я узнала, что, дойдя до этого эпизода, мать, со слезами на глазах: „Видите, дорогая Констанция, сколько лет прошло с тех пор, а я не переставала строго допытывать свою совесть, и единственный поступок, в котором она меня уличает, это согласие на роковое свидание... Свидание, за которое муж заплатил своей кровью, а я — счастьем и покоем всей своей жизни. Бог свидетель, что оно было столь же кратко, сколько невинно. Единственным извинением мне может послужить моя неопытность на почве сострадания. Но кто допустит его искренность?“

Местом свидания была избрана квартира Идалии Григорьевны Полетики, в Кавалергардских казармах, так как муж ее состоял офицером этого полка... Чтобы предотвратить опасность возможных последствий, Полетика сочла нужным посвятить в тайну предполагавшейся встречи своего друга, влюбленного в нее кавалергардского ротмистра П. П. Ланского (впоследствии второго мужа Пушкиной), поручив ему, под видом прогулки около здания, зорко следить за всякой подозрительной личностью». Когда Наталье Николаевне пришлось давать объяснения по поводу свидания своему мужу, получившему анонимное уведомление об этом событии, она так рассказала (в передаче ее дочери) о том, что происходило во время этого свидания: «Она не только не отперлась, но с присущим ей прямодушием поведала ему смысл полученного послания, причины, повлиявшие на ее согласие, и созналась, что свидание ее не имело того значения, которое она предполагала, а было лишь хитростью влюбленного человека. Этого открытия было достаточно, чтобы возмутить ее до глубины души, и тотчас же, прервав беседу, своей таинственностью одинаково оскорбляющую мужа и сестру, она твердо заявила Геккерену, что останется навек глуха к его мольбам и заклинаниям и что это первое его угрозами вынужденное свидание непреклонною ее волею станет и последним».

А. П. Арапова окружает свой рассказ роем психологических и моральных соображений. Мы можем оставить их без внимания и взять только одно утверждение о факте свидания. Да, на квартире у Идалии Григорьевны Полетики состоялось свидание Дантеса с Натальей Николаевной.

Об этом свидании мы знаем и из другого источника — из рассказов княгини В. Ф. Вяземской, записанных П. И. Бартеневым: «Madame N. N., по настоянию Гекерна, пригласила Пушкину к себе, а сама уехала из дому. Пушкина рассказывала княгине Вяземской и мужу, что, когда она осталась с глазу на глаз с Гекерном, тот вынул пистолет и грозил застрелиться, если она не отдаст ему себя. Пушкина не знала, куда ей деваться от его настояний; она ломала себе руки и стала говорить как можно громче. По счастию, ничего не подозревавшая дочь хозяйки дома явилась в комнату, и гостья бросилась к ней»[1].

Наталья Николаевна, передававшая мужу всякие волновавшие его пустые подробности своих отношений к Дантесу, на этот раз не сочла нужным рассказать ему о столь выдающемся и столь компрометирующем событии, как свидание наедине с Дантесом, и Пушкин узнал о свидании, по рассказу А. П. Араповой, на другой же день из анонимного письма. Носило ли свидание в Кавалергардских казармах тот характер, какой стремилась придать ему Н. Н. Пушкина, или иной, гораздо более обидный для ее женской чести, — все равно чаша терпения Пушкина была переполнена, и раздражению уже не могло быть положено никакого предела. Оно стремительно вышло из границ. Пушкин решил — быть поединку.

---

[1] «Русск. арх.», 1888, II, стр. 310. Сравн. также в заметках П. И. Бартенева: «Дантес был частым посетителем Полетики и у нее видался с Натальей Николаевной, которая однажды приехала оттуда вся впопыхах и с негодованием рассказала, как ей удалось избегнуть настойчивого преследования Дантеса» («Русск. арх.», 1908, III, стр. 295).

В своем решении он открылся накануне вызова давнишней своей приятельнице из Тригорского, дочери П. А. Осиповой, Зине Вульф. Впрочем, в это время она уже не была «Зиной Вульф», а была замужем и звалась баронессой Евпраксией Николаевной Вревской. За несколько дней до дуэли, в январе 1837 года, она приехала в Петербург к жившей здесь сестре своей Аннете Вульф и видалась с Пушкиным. Пушкин был очень близок с П. А. Осиповой и ее дочерьми; с ними он мог говорить совершенно откровенно и просто, говорить так, как он, пожалуй, ни с кем в Петербурге не мог говорить. И действительно, надо думать, что он имел с Вульф значительный разговор. В письме к брату Николаю Ивановичу от 28 февраля 1837 г. Александр Иванович Тургенев пишет: «Теперь узнаем, что Пушкин накануне открылся одной даме, дочери той Осиповой, у коей я был в Тригорском, что он будет драться. Она не умела или не могла помешать, и теперь упрек жены, которая узнала об этом, на них падает»[1]. Когда Тургенев, отвозивший тело Пушкина в Святогорский монастырь, навестил Тригорское, Осипова рассказывала ему о разговоре дочери своей с Пушкиным и впоследствии писала о том же. По поводу ее письма Тургенев писал ей 24 февраля: «Умоляю вас написать мне все, что вы умолчали и о чем только намекнули в письме вашем, — это важно для истории последних дней Пушкина. Он говорил с вашей милой дочерью почти накануне дуэли; передайте мне верно и обстоятельно слова его; их можно сообразить с тем, что он говорил другим, — и правда объяснится. Если вы потребуете тайны, то обещаю вам ее; но для чего таить то, на чем уже лежит печать смерти!»[2]. Письма Осиповой к Тургеневу до нас не дошли, и неизвестно, ответила ли она на запрос Тургенева. Есть еще одно свидетельство о разговоре Пушкина с сестрами Вульф. Муж Евпраксии Николаевны, барон Б. А. Вревский, писал 28 февраля 1837 года мужу сестры Пушкина, Н. И. Павлищеву: «Евпраксия Николаевна была с покойным Александром Сергеевичем все последние дни его жизни. Она находит, что он счастлив, что избавлен этих душевных страданий, которые так ужасно его мучили последнее время его существования»[3]. Очевидно, задушевные беседы Пушкина с тригорскими приятельницами имели влияние на его душу, что-то выяснили, были значительными. Недаром и князь Вяземский отметил факт разговора Пушкина с сестрами Вульф: «Должно быть, он спрашивал их о том, что говорят в провинции об его истории, и, верно, вести были для него неблагоприятны. По крайней мере, со времени приезда этих дам он стал еще раздраженнее и тревожнее, чем прежде». До последних дней в памяти князя и княгини Вяземских сохранилось впечатление о том, что беседа с дочерьми П. А. Осиповой имела какое-то решительное значение в истории поединка. По позднейшим их рассказам, записанным П. И. Бартеневым, «в Петербург приехали девицы Осиповы, тригорские приятельницы поэта; их расспросы, что значат ходившие слухи, тревожили Пушкина. Между тем он молчал, и на этот раз никто из друзей его ничего не подозревал»[4]. Но почему Осипова не передала

---

[1] «Пушкин и его современники», вып. VI, стр. 92.
[2] Там же, вып. I, стр. 59.
[3] Там же, вып. XII, стр. 111.
[4] «Русск. арх.», 1888, II, стр. 309.

Тургеневу всего, что говорил Пушкин ее дочерям? Что он сказал им такого, что Осипова не сочла возможным сообщить Тургеневу? Ясно, во всяком случае, что ее сообщения далеко не соответствовали той версии истории дуэли, которую распространяли друзья Пушкина,— той версии, которая тщательно умалчивала об интимных событиях в семье Пушкина. В прямую связь с тем обстоятельством, что Осипова и ее дочери знали о дуэли Пушкина больше того, что хотели бы оповестить о ней друзья Пушкина, надо поставить их отрицательное отношение к Наталье Николаевне. А. И. Тургенев опасался даже, что П. А. Осипова окажет плохой прием Наталье Николаевне. 31 мая 1837 года он писал князю П. А. Вяземскому: «Не пошлешь ли ты Осиповой выписки из своего письма к Давыдову всего, что ты говоришь о вдове Пушкина. Не худо ее вразумить прежде, нежели Пушкина приедет к ней»[1]. Евпраксия Николаевна писала 25 апреля 1837 года своему брату А. Н. Вульфу: «Недавно читали мы из Сенатских Ведомостей приговор Дантеса: разжаловать в солдаты и выслать из России с жандармом за то, что он дерзким поступком с женою Пушкина вынудил последнего написать обидное письмо отцу и ему, а он за это вызвал Пушкина на дуэль. Тут жена не очень приятную играет роль во всяком случае. Она просит у маменьки позволение приехать отдать последний долг *бедному Пушкину*— так она его называет. Какова?»[2].

Вообще в семействе Осиповых-Вульф Пушкин оставил по себе долгую память. Проходили годы, а Пушкин все еще оставался живым в преданиях этой семьи, в разговорах, письмах. С этим культом Пушкина хочется сопоставить отношение к Пушкину и его памяти со стороны Гончаровых. И если неприязнь П. А. Осиповой и ее дочерей, любивших Пушкина и осведомленных в истории последних месяцев его жизни, является лишь косвенным свидетельством о степени прикосновенности Натальи Николаевны к трагическим событиям, преждевременно лишившим нас Пушкина, то таким же косвенным доказательством может послужить отношение Гончаровых к памяти Пушкина. Вот их-то память оказалась чрезвычайно коротка. Пушкин умер для них 29 января 1837 года и не был забыт окончательно лишь по той простой причине, что с его памятью была крепко связана материальная жизнь его вдовы, его детей. Никакого культа Пушкина у Натальи Николаевны не оказалось, да и не могло оказаться, и не прошло 4 лет, как Наталья Николаевна, выйдя замуж за П. П. Ланского, вошла в тихую и счастливую жизнь, заставившую ее забыть о годах первого своего замужества. Даже маланаблюдательный старик Пушкин, отец поэта, повидав Наталью Николаевну осенью 1837 года, нашел, что сестра ее Александра Николаевна «более ее огорчена потерею ее мужа»[3]. А о других Гончаровых и говорить нечего. Разговоры о том, будто общение между Гончаровы-

---

[1] «Остафьевский архив», т. IV, стр. 18.

[2] «Пушкин и его современники», вып. XIX–XX, стр. 110.

[3] «Пушкин и его современники», вып. XIX–XX, стр. 110. Слишком легкое отношение к памяти Пушкина у Н. Н. Пушкиной бросалось в глаза. Графиня Долли Фикельмон, узнав, что Пушкина появилась на балах, находила, что она, будучи причиной ужасной трагедии, могла бы воздержаться от светской жизни (См.: Comte F. de Sonis. Lettres du Comte et de la Comtesse de Ficquelmont a la Comtesse Tiesenhausen. Paris, 1911, p. 38–39).

ми и Дантесами было порвано, действительностью не оправдываются: в архиве Дантесов-Геккеренов сохранилось немало пространных и задушевных писем Н. И. Гончаровой и ее сыновей к Екатерине Николаевне и ее мужу Дантесу. Эта переписка с очевидностью говорит нам о том, что деяние Жоржа Дантеса не диктовало Гончаровым никакой сдержки в отношениях к убийце Пушкина[1]. Следовательно, его поведение не встречало с их стороны отрицательной оценки. Воздерживалась от переписки с сестрой и ее мужем только Наталья Николаевна, а объяснения ее воздержания, данные ее братом Д. Н. Гончаровым в письме к Екатерине Николаевне, весьма любопытны: «Вы спрашиваете меня, по какой причине Nathalie Вам не пишет; честное слово, не знаю, но думаю, что нет никаких других причин, кроме опасения скомпрометировать перепиской с Вами свое достоинство или скорее свое положение в свете»[2]. Итак, между Пушкиной и Дантесами стояла всего лишь боязнь скомпрометировать себя в свете — и больше ничего.

Еще одно косвенное доказательство против Пушкиной имеется в весьма категорическом указании Геккерена-старшего. В своих объяснениях графу Нессельроду барон Геккерен возложил ответственность за случившееся на Наталью Николаевну. «Я якобы подстрекал моего сына к ухаживаниям за г-жею Пушкиной. Обращаюсь к ней самой по этому поводу. Пусть она покажет под присягой, что ей известно, и обвинение падет само собой. Она сама сможет засвидетельствовать, сколько раз предостерегал я ее от пропасти, в которую она летела; она скажет, что в своих разговорах с нею я доводил свою откровенность до выражений, которые должны были ее оскорбить, но вместе с тем и открыть ей глаза; по крайней мере, я на это надеялся». Известно, что следственная комиссия не нашла возможным обращаться с какими-либо вопросами к Наталье Николаевне Пушкиной[3].

Дантес не считал себя виновным и утверждал, что доказательства его невиновности находятся в руках Натальи Николаевны. Летом 1837 года в Баден-Бадене Дантес встретился с Андреем Николаевичем Карамзиным, — и вот как описывал эту встречу А. Н. Карамзин в письме к матери от 28 июня 1837 года: «Вечером на гулянии увидал я Дантеса с женой: они оба пристально на меня поглядели, но не кланялись; я подошел к ним первый, и тогда Дантес à la lettre бросился ко мне и протянул мне руку. Я не могу выразить смешения чувств, которые тогда толпились у меня в сердце при виде этих двух представителей прошедшего, которые так живо напоминали мне и то, что было, и то, что уж нет и не будет. Обменявшись несколькими обыкновенными фразами, я отошел и пристал к другим: русское чувство боролось у меня с жалостью и каким-то внутренним голосом, говорящим в пользу Дантеса. Я заметил, что Дантес ждет меня, и в самом деле он скоро опять пристал ко мне и, схватив меня за руку, потащил в пустые аллеи.

Не прошло двух минут, что он уже рассказывал мне со всеми

---

[1] Для образца несколько писем в переводе дано в VI отделе второй части нашей книги.

[2] См. дальше, там же.

[3] «Дуэль», 185. Сравн. наши соображения («Пушкин», 387) и соображения С. А. Панчулидзева в биографии Дантеса, назв. соч., стр. 87.

подробностями свою несчастную историю и с жаром оправдывался в моих обвинениях, которые я дерзко ему высказывал. Он мне показывал копию с страшного пушкинского письма, протокол ответов в военном суде [1] и клялся в совершенной невиновности. Всего более и всего сильнее отвергал он малейшее отношение к Наталье Николаевне после обручения с сестрою ее и настаивал на том, что второй вызов a été comme une tuile qui lui est tombée sur la tête. Со слезами на глазах говорил он о поведении вашем в отношении к нему и несколько раз повторял, что оно глубоко огорчило его... Votre famille que j'estimais de coeur, votre frère surtout que j'aimais et dans lequel j'avais confience m'abandonnait en devenant mon ennemi sans vouloir m'entendre ni me donner la possibilité de me justifier, c'etait cruel, c'etait mal à lui. Он прибавил: „Ma justification complète ne peut venir que de M-me Pouchkine, dans quelques années, quand elle sera calme, elle dira peut-être, que j'ai tout fait pour les sauver et que si je n'y ai pas réussi, cela n'a pas été de ma faute" и т. д. Разговор и гулянье наше продолжались от 8 до 11 час. вечера. Бог их рассудит, я буду с ним знаком, но не дружен по-старому — c'est tout ce que je puis faire"[2].

«Я сделал все, чтобы *их спасти*», — говорил Дантес А. Н. Карамзину. Когда Е. И. Загряжская собиралась переговорить с Пушкиным о брачных намерениях Дантеса, барон Геккерен накануне разговора писал ей: «Вы знаете, что я не уполномочивал Вас говорить с Пушкиным, что Вы делаете это по своей воле, чтобы *спасти своих*». Этого заявления Дантеса и Геккерена нельзя не оценивать.

Приведенными свидетельствами — прямыми (рассказы дочери Н. Н. Пушкиной и княгини В. Ф. Вяземской со слов самой Н. Н.) и косвенными — исчерпываются все данные, имеющиеся в нашем распоряжении в настоящее время о вине Натальи Николаевны. Эти свидетельства достаточно красноречивы.

15.

Во вторник, 26 января, Пушкин отправил барону Геккерену письмо, в котором, по выражению князя Вяземского, «он излил все свое бешенство, всю скорбь раздраженного, оскорбленного сердца своего, желая, жаждая развязки, и пером, омоченным в желчи, запятнал неизгладимыми поношениями и старика, и молодого». Письмо было нужно лишь как символ нанесения неизгладимой обиды, и этой цели оно удовлетворяло вполне — даже в такой мере, что ни один из друзей Пушкина, ни один из светских людей, ни один дипломат, ни сам Николай Павлович не могли извинить Пушкину этого письма. «Последний повод к дуэли, которого никто не постигает, и заключавшийся в самом дерзком письме Пушкина к Геккерену, сделал Дантеса правым в сем деле», — заключал император Николай Павлович в письме к брату своему, великому князю Михаилу Павловичу[3]. Н. М. Смирнов позднее отзывался об этом письме: «Оно было столь

[1] Это, очевидно, тот самый черновик ответов, который по сей день хранится в архиве баронов Геккеренов. Напечатан в первом издании нашей книги, стр. 178—180.

[2] «Старина и новизна», книга 17-я, стр. 317—318.

[3] «Пушкин», стр. 359.

сильно, что одна кровь могла смыть находившиеся в них оскорбления»[1].

Приводим это письмо в переводе, сделанном (не вполне точно, зато стильно) в следственной по делу о дуэли комиссии.

«Господин барон! Позвольте мне изложить вкратце все случившееся. Поведение Вашего сына было мне давно известно, и я не мог остаться равнодушным.

Я довольствовался ролью наблюдателя, готовый взяться за дело, когда почту за нужное. Случай, который во всякую другую минуту был бы мне очень неприятным, представился весьма счастливым, чтобы мне разделаться. Я получил безымянные письма и увидел, что настала минута, и я ею воспользовался. Остальное Вы знаете. Я заставил Вашего сына играть столь жалкую роль, что моя жена, удивленная такою низостью и плоскостью его, не могла воздержаться от смеха, и ощущение, которое бы она могла иметь к этой сильной и высокой страсти, погасло в самом холодном презрении и заслуженном отвращении. Я должен признаться, господин барон, что поведение собственно Ваше было не совершенно прилично. Вы, представитель коронованной главы, Вы родительски сводничали Вашему сыну; кажется, что все поведение его (довольно неловкое, впрочем) было вами руководимо. Это Вы, вероятно, внушали ему все заслуживающие жалости выходки и глупости, которые он позволил себе писать. Подобно старой развратнице, Вы сторожили жену мою во всех углах, чтобы говорить ей о любви вашего незаконнорожденного или так называемого сына, и, когда, больной венерической болезнью, он оставался дома, Вы говорили, что он умирал от любви к ней; Вы ей бормотали: „Возвратите мне сына“.— Вы согласитесь, господин барон, что после всего этого я не могу сносить, чтоб мое семейство имело малейшее сношение с Вашим. С этим условием я согласился не преследовать более этого гадкого дела и не обесчестить Вас в глазах Вашего двора и нашего, на что я имел право и намерение. Я не забочусь, чтобы жена моя еще слушала Ваши отцовские увещания, не могу позволить, чтоб сын Ваш после своего отвратительного поведения осмелился обращаться к моей жене и еще менее того говорил ей казарменные каламбуры и играл роль преданности и несчастной страсти, тогда как он подлец и негодяй. Я вынужден обратиться и просить Вас окончить все эти проделки, если Вы хотите избежать новой огласки, пред которой я, верно, не отступлю.

Имею честь быть, господин барон, Ваш покорный и послушный слуга А. Пушкин»[2].

---

[1] «Русск. арх.», 1882, I, стр. 236.

[2] Мы решительно отказываемся принимать это письмо за то, которое в ноябре 1836 г. читал Пушкин графу В. А. Соллогубу (сравн. выше, стр. 99). В. И. Саитов печатает это письмо дважды: под 21 ноября — № 1105 («Переписка», III, 412) и под 26 января — № 1138 (там же, 444). По всей вероятности, основанием к такому размещению послужила наличность разночтений в обоих текстах. Оба текста восходят к пушкинским автографам. Последний текст (№ 1138) дан по копии, оставленной в военно-судном о дуэли деле и снятой с того подлинного письма Пушкина, которое было в руках Геккерена, от него поступило в следственную комиссию и затем было возвращено барону Геккерену (см. «Дуэль Пушкина с Дантесом-Геккереном. Военно-судное дело 1837 г.». Спб., 1900, стр. 51—52 Подлинное

Князь Вяземский, — очевидно, со слов д'Аршиака — приводит сказанную ему Пушкиным за час до поединка фразу: «С начала этого дела я вздохнул свободно только в ту минуту, когда именно написал это письмо»[1]. В тот день, когда письмо было отправлено к Геккерену, Тургенев видел Пушкина два раза, и оба раза Пушкин был весел. Он провел с ним часть утра и видел его веселого, полного жизни, без малейших признаков задумчивости; Тургенев и Пушкин долго разговаривали о многом, и Пушкин шутил и смеялся[2].

Почти никто из окружающих Пушкина не знал о письме, которое

дело перешло из Пушкинского музея при Александровском лицее в Пушкинский дом). Другой собственноручный подлинник был изготовлен Пушкиным для своего секунданта и вручен им К. К. Данзасу. В 1863 году факсимиле этого автографа дано в брошюре Аммосова «Последние дни жизни и кончина Пушкина». По этому-то факсимиле В. И. Саитов дал первый текст № 1105. Явное недоразумение! Наличность разночтений, правда, весьма незначительных, чисто словесных, без изменения смысла, может лишь свидетельствовать о том волнении, в котором находился Пушкин, оказавшийся не в состоянии снять точную копию своего письма. О душевном состоянии Пушкина ярко говорит и тот факт, что не сразу ему далось это письмо: после его смерти в его кабинете были найдены клочки бумаги; с большим трудом удалось расположить эти лоскутки так, что из них составилось два черновика, две первоначальных, — к сожалению, неполных, — редакции этого письма. Факсимиле этих черновых было дано в «Русской старине», 1880, июль, 516—521. По этому факсимиле В. И. Саитов дал свои черновые к № 1105, т. е. якобы к письму от 21 ноября. Не входя в сравнительный анализ черновиков и окончательной редакции письма, отметим основное отличие последней редакции от первоначальных: в черновиках Пушкин развивал тему об отношении Геккерена-старшего к анонимным пасквилям и категорически утверждал его *авторство* этих писем; в беловом не оставалось даже намека на это обстоятельство. Важное отличие, указывающее, по нашему мнению, на то, что полной и решительной, основанной на фактах и могущей быть доказанной уверенности в авторстве Геккерена у Пушкина не было. Переходя к содержанию письма в окончательной редакции, можно отметить, что в нем самом есть указания, не позволяющие относить его к ноябрю 1836 года: упоминание о казарменных каламбурах, которыми потчевал Дантес Наталью Николаевну, заключает, очевидно, намек на каламбур о мозольном операторе, но эта острота могла быть сказана только после женитьбы Дантеса. Самое выражение «je ne pouvais souffrir qu'il y eut des relations entre ma famille et la vòtre» могло быть употреблено опять-таки только после женитьбы Дантеса.

Нелишне упомянуть здесь об ошибке В. И. Срезневского в его описании «Пушкинской коллекции, принесенной в дар Библиотеке Академии наук А. А. Майковой» («Пушкин и его современники», IV, 35 и отд. отт., 35). В этой коллекции находятся клочки письма Пушкина, отнесенные В. И. Срезневским к письму Пушкина к барону Геккерену, а на самом деле представляющие черновик письма к графу А. Х. Бенкендорфу от 21 ноября 1836 года и напечатанные в «Переписке», т. III, стр. 417—418, № 1106.

[1] «Русск. арх.», 1879, II, 248.

[2] «Пушкин и его современники», вып. XI, стр. 48. Внешняя веселость Пушкина бросалась в глаза сторонним наблюдателям. Стоит вспомнить, например, бесподобную сцену в мастерской К. Брюллова накануне, т. е. 26 января, записанную в дневнике А. Мокрицкого («Современник», 1855, т. CIII. Воспоминания о Брюллове, стр. 165—166). Точно, приняв бесповоротное решение покончить с ненавистным делом Дантеса, Пушкин действительно снял с души своей тяжкое бремя. Но по некоторым признакам, которые мы вскоре отметим, надо думать, что внутреннее его состояние было далеко не спокойным и не ровным. Веселость же была результатом не внутреннего спокойствия, а возбуждения, вызванного предпринятым важным решением.

было послано 26 января барону Геккерену. Веселость его, так запомнившаяся А. И. Тургеневу, могла обмануть все подозрения. Один только человек в доме Пушкина знал об этом письме: то была Александра Николаевна Гончарова[1].

Каких результатов ждал Пушкин от своего письма? Конечно, он должен был предвидеть, что может последовать вызов на дуэль, но можно ли думать, что Пушкин, зная характер Геккерена, мог рассчитывать и на то, что Геккерен не пойдет на дуэль, промолчит о нем и только примет меры к действительному прекращению флирта и каких-либо сношений с домом Пушкина? Такое мнение было высказано в литературе о пушкинской дуэли, но вряд ли с ним можно согласиться.[2] Пушкин жаждал именно развязки, а пока существовал свет и в этом свете были своими Геккерены, до той поры не мог бы успокоиться Пушкин. Наоборот: если бы письмо не подействовало, Пушкин, конечно, не остановился бы и перед дальнейшими воздействиями.

Предоставим слово барону Геккерену. 30 января в донесении своему министру он следующим образом излагал историю дуэли:

«Мы в семье наслаждались полным счастьем; мы жили, обласканные любовью и уважением всего общества, которое наперерыв старалось осыпать нас многочисленными тому доказательствами. Но мы старательно избегали посещать дом господина Пушкина, так как его мрачный и мстительный характер нам был слишком знаком. С той или другой стороны отношения ограничивались лишь поклонами.

Не знаю, чему следует приписать нижеследующее обстоятельство: необъяснимой ли ко всему свету вообще и ко мне в частности зависти, или какому-либо другому неведомому побуждению, — но только прошлый вторник (сегодня у нас суббота), в ту минуту, когда мы собирались на обед к графу Строганову, без всякой видимой причины, я получаю письмо от господина Пушкина. Мое перо отказывается воспроизвести все отвратительные оскорбления, которыми наполнено было это подлое письмо.

Все же я готов представить вашему превосходительству копию с него, если вы потребуете, но на сегодня разрешите ограничиться только уверением, что самые презренные эпитеты были в нем даны моему сыну, что доброе имя его достойной матери, давно умершей, было попрано, что моя честь и мое поведение были оклеветаны самым гнусным образом.

Что же мне оставалось делать? Вызвать его самому? Но, во-первых, общественное звание, которым королю было благоугодно меня облечь, препятствовало этому; кроме того, тем дело не кончилось бы. Если бы я остался победителем, то обесчестил бы своего сына; недоброжелатели всюду бы говорили, что я сам вызвался, так как уже раз улаживал подобное дело, в котором сын обнаружил недостаток храбрости; а если бы я пал жертвой, то его жена осталась бы без поддержки, так как мой сын неминуемо выступил бы мстителем. Однако я не хотел опереться только на мое личное мнение и посоветовался с графом Строгановым, моим другом.

---

[1] «Пушкин и его современники», вып. VI, стр. 50. О дуэльных намерениях Пушкина знала еще, как мы отмечали уже, баронесса Е. Н. Вревская. См. выше, стр. 113 и еще «Русск. вестн.», 1869, т. LXXXIV, стр. 91.

[2] *Б. В. Никольский.* «Последняя дуэль Пушкина». Спб., 1901, стр. 68.

Так как он согласился со мною, то я показал письмо сыну, и вызов господину Пушкину был послан».

Эти строки подтверждают рассказ Данзаса: «Говорят, что, получив это письмо, Геккерен бросился за советом к графу Строганову и что граф, прочитав письмо, дал совет Геккерену, чтобы его сын, барон Дантес, вызвал Пушкина на дуэль, так как после подобной обиды, по мнению графа, дуэль была единственным исходом». Этот граф Григорий Александрович Строганов (1770—1857) был родственником Натальи Николаевны: он был по матери двоюродный брат матери



Натальи Николаевны — Н. И. Гончаровой. В свое время, будучи посланником в Испании (1805—1813), граф Г. А. Строганов приобрел шумную известность своими победами над женскими сердцами[1].

Вызов Пушкину от лица Дантеса передал в тот же день виконт д'Аршиак вместе с письмом Геккерена.

«Милостивый государь! — писал барон Геккерен. — Не зная ни Вашего почерка, ни Вашей подписи, я обратился к виконту д'Аршиаку, который передаст Вам это письмо, с просьбой удостовериться, точно ли письмо, на которое я отвечаю, от Вас».

Начало письма неудачное и фальшивое. Геккерен пишет, что не знает ни подписи, ни почерка Пушкина, а тремя строками ниже, упоминая о письме с отказом от вызова, он говорит, что это письмо, писанное рукою Пушкина, налицо: значит, почерк и подпись Пушкина были ему знакомы, и удостоверяться в подлинности письма Пушкина от 26 января было делом лишним[2].

---

[1] Русские портреты XVIII и XIX вв. Изд. великого князя Николая Михайловича, т. V. Спб., 1909, стр. 30 и «Русск. арх.», 1908, III, стр. 204

[2] Таким образом, из первых фраз письма Геккерена нельзя извлечь доказательство того, что первый вызов Пушкина был не письменный, а устный. Сравн. выше, стр. 72, примеч. 5.

«Содержание письма, — продолжал Геккерен, — до такой степени переходит всякие границы возможного, что я отказываюсь отвечать на подробности этого послания». — Но менее всего Пушкин хотел бы объяснений Геккерена! — «Мне кажется, вы забыли, милостивый государь, что вы сами отказались от вызова, сделанного барону Жоржу Геккерену, принявшему его. Доказательство того, что я говорю, писанное вашей рукой, налицо и находится в руках секундантов. Мне остается только сказать, что виконт д'Аршиак едет к вам, чтобы условиться о месте встречи с бароном Геккереном; прибавляю при этом, что эта встреча должна состояться без всякой отсрочки. Впоследствии, милостивый государь, я найду средство научить вас уважению к званию, в которое я облечен и которое никакая выходка с вашей стороны оскорбить не может». — Под письмом, кроме подписи барона Геккерена, находится еще надпись Дантеса: «Читано и одобрено мною».

В письме Геккерена останавливает внимание последняя фраза. Очевидно, Геккерен не верил в серьезность дуэли, если писал, что впоследствии, после дуэли, он найдет средство научить Пушкина уважению к его званию. Не лишенная интереса черточка!

16.

Письмо к барону Геккерену Пушкин написал и отправил днем: Геккерен получил его, собираясь на обед к графу Строганову. Ответное письмо Геккерен сочинил, вернувшись с обеда от графа Строганова, с которым он посоветовался по поводу своих действий, и повидавшись с д'Аршиаком, который дал согласие вручить письмо Геккерена Пушкину и быть секундантом Дантеса. Д'Аршиак запросил Пушкина записочкой на визитной карточке: «Прошу г. Пушкина сделать мне честь сообщить, может ли он меня принять, и если он не может сейчас, то в каком часу это будет возможно».[1] Сохранилась записка Пушкина к А. И. Тургеневу, писанная, по обозначению Тургенева, накануне дуэли: «Не могу отлучиться. Жду вас до 5 часов»[2]. Из сопоставления записок Пушкина и д'Аршиака можно с вероятностью заключить, что Пушкин не мог отлучиться в этот день, 26 января, так как он назначил час д'Аршиаку. Таким образом, посещение д'Аршиака можно отнести ко времени перед вечером. Князь Вяземский сообщает следующую подробность этого посещения: «Д'Аршиак принес ответ. Пушкин его не читал, но принял вызов, который был ему сделан от имени сына»[3]. Своего секунданта Пушкин, конечно, не мог назвать сразу и сказал, что он в тот же день пришлет к д'Аршиаку лицо, которое им будет избрано. В тот же день д'Аршиак сообщил Пушкину, что он будет ждать секунданта его, Пушкина, до 11 часов вечера у себя на дому, а после этого часа — на балу у графини Разумовской[4].

Выбор секунданта оказался для Пушкина делом нелегким. Сейчас мы расскажем о неудачном его обращении к англичанину Меджнису. Друзья Пушкина объяснили это обращение нежеланием

---

[1] «Переписка», III, № 1140, стр. 446.
[2] «Пушкин и его современники», II, 8—9.
[3] «Дуэль», 146.
[4] «Переписка», III, № 1141, стр. 446—447.

Пушкина подводить своих соотечественников под неприятность следствия. Нам кажется, у Пушкина было и другое, важнейшее соображение: он боялся, что, пригласив в секунданты кого-либо из друзей своих или ближайших знакомых своего круга, он встретит с их стороны противодействие своей решимости и попытку опять устроить промедление, примирение вроде того, что было устроено в ноябре месяце. Пушкин боялся, что опять вмешаются Жуковский, князь Вяземский, потянется опять надоедливая канитель в деле, развязки которого он страстно жаждал. И Пушкин достиг своей цели. «Все мы, — писал впоследствии П. А. Плетнев, — узнали об общем нашем несчастии только тогда, когда уже удар совершился»[1]. Пушкин вел дело с крайней стремительностью. 26 января он послал вызов, и в этот же день было решено, что дело должно быть окончено на другой день — 27 января.

Вечер 26 января Пушкин, по всей вероятности, посвятил поискам секунданта, не давшим результата. На короткое время Пушкин заходил к Вяземским, князя не было дома, и Пушкин открылся в том,что он послал вызов, княгине Вере Федоровне, которая с давнего времени, еще с одесской поры, была близким его другом и поверенной в весьма интимных событиях его жизни. Сказал он ей о вызове или потому, что был уверен в том, что она не примет мер к активному противодействию, или потому, что знал, что колесо событий теперь уже нельзя повернуть в обратную сторону никакими вмешательствами. По всей вероятности, Пушкин не сказал о стремительности, с которой развивались события. Княгиня Вяземская не знала, что ей делать; не помогли ей в этом и бывшие у нее в тот вечер В. А. Перовский и граф М. Ю. Вьельгорский. Князь же Вяземский на беду вернулся очень поздно[2].

Вечером Пушкин был на балу у графини Разумовской. Здесь он имел разговор с д'Аршиаком. Кто-то обратил внимание князя Вяземского на Пушкина и д'Аршиака. «Пойдите, посмотрите, Пушкин о чем-то объясняется с д'Аршиаком, тут что-нибудь недоброе», — сказали Вяземскому. Вяземский направился в сторону Пушкина и д'Аршиака, но при его приближении разговор прекратился[3].

По всей вероятности, на балу же Пушкину пришла мысль обратиться с просьбой быть его секундантом к Артуру Медженису (Arthur C. Magenis), состоявшему при английском посольстве. В рассказах Н. М. Смирнова есть несколько строк об этом Медженисе: «Он часто бывал у графини Фикельмон — долгоносый англичанин (потом был посол в Португалии), которого звали perroquet malade,

---

[1] Из письма П. А. Плетнева к В. Г. Теплякову. — «Истор. вестн.», 1887, июль, 21.

[2] «Русск. арх.», 1888, II, 310. К этому позднейшему рассказу княгини Вяземской, записанному П. И. Бартеневым, относимся с некоторым недоверием: выходит, будто княгиня ничего не предприняла к предотвращению дуэли только потому, что князь Вяземский вернулся поздно. Но ведь было еще утро и день 27 января. Почему же утром или днем 27 января княгиня не сказала князю?

[3] «Русск. арх.», 1888, II, 312. На балу у графини Разумовской видел Пушкина А. И. Тургенев. См.: «Пушкин и его современники», вып. VI, стр. 48 и дальше у нас в отрывках из дневника Тургенева.

очень порядочный человек, которого Пушкин уважал за честный нрав»[1]. Артур Медженис не дал категорического согласия, а только обещал переговорить с д'Аршиаком тут же на балу.

Медженис сказал д'Аршиаку, что Пушкин только что сообщил ему о своем деле с Геккереном и просил его быть секундантом; но Медженис добавил, что он не дал окончательного согласия, а только обещал Пушкину переговорить с ним, д'Аршиаком. Но д'Аршиак отказался вступить в какие-либо переговоры с Медженисом, так как формально он не являлся секундантом Пушкина. Медженис бросился искать по залам Пушкина, но не нашел его: он уже уехал домой. Было за полночь. Медженис не решился лично заехать к Пушкину в такой поздний час, не желая вызвать своим посещением подозрения у хозяйки дома, и во втором часу ночи отправил Пушкину письмо. Изложив свой разговор с д'Аршиаком, Медженис закончил письмо отказом от секундантства, мотивируя его тем, что дело, на его взгляд, не могло окончиться миром, а только надежда на возможность мирного улажения дела и могла побудить его принять участие в деле[2].

Таким образом, в течение дня 26 января Пушкин не успел найти секунданта[3].

---

[1] «Русск. арх.», 1882, II, 248.

[2] «Переписка», III, № 1144, 448, письмо Меджениса к Пушкину.

[3] В «Переписке» (III, 448, № 1143) напечатан еще один «дуэльный» документ — записочка к К. О. Россету: «Partie remise, je vous préviendrai». Мы отказываемся принимать в соображение при нашем рассказе эту записку в виду крайней сомнительности источника ее происхождения. Текст ее сообщен в записках А. О. Смирновой (Записки. Часть II. Спб., 1897, 79); оригинал записки, по ее словам, затерялся. Как раз перед текстом письмеца в Записках (стр. 78) помещен совершенно вздорный и неверный рассказ о том, как Пушкин провел вечер накануне дуэли у Мещерских, где были в это время Дантес с женой и т. д. Уже одно соседство документа с таким рассказом должно бы внушить решительное недоверие к «тексту» записки.

Не считаем нужным и полезным отмечать представляющиеся нам недостоверными различные сообщения современников о Пушкине накануне дуэли. Все эти рассказы, созданные в позднейшее время под впечатлением случившегося. Таков, например, рассказ графа А. Ф. Ростопчина о том, как Пушкин за день до поединка обедал у Ростопчиных и неоднократно убегал из гостиной мочить себе голову, до того она у него горела («Русск. арх.», 1905, III, стр. 212). Таков рассказ князя П. П. Вяземского: «25 января Пушкин и молодой Геккерен с женами провели у нас вечер. И Геккерен, и обе сестры были спокойны, веселы, принимали участие в общем разговоре. В этот самый день уже было отправлено Пушкиным барону Геккерену оскорбительное письмо. Смотря на жену, он сказал в тот вечер: „Меня забавляет то, что этот господин забавляет мою жену, не зная, что ожидает его дома. Впрочем, с этим молодым человеком мои счеты кончены"» (Князь П. П. Вяземский. Собрание сочинений. Спб., 1893, стр. 556). Явно недостоверное сообщение: письмо было отправлено не 25-го, а 26-го, и 26-го был бал у графини Разумовской. Посылая письмо старшему Геккерену, Пушкин, конечно, не мог предвидеть, что драться ему придется с младшим, и т. д. Столь же недостоверен рассказ Н. М. Коншина о посещении им Пушкина в день 27 января 1837 года («Яросл. губ. вед.», 1864, № 17 и 18; перепечатано в «Русск. арх.», 1877, III, стр. 402—403). А. И. Кирпичников (Очерки по истории новой русской литературы, Т. II, М., 1903, стр. 113 и сл.) выяснил недостоверность рассказа Коншина и указал психологические основания к возникновению такого свидетельства: «Сознательного искажения, конечно, ни с чьей стороны не было, а здесь действовал

17.

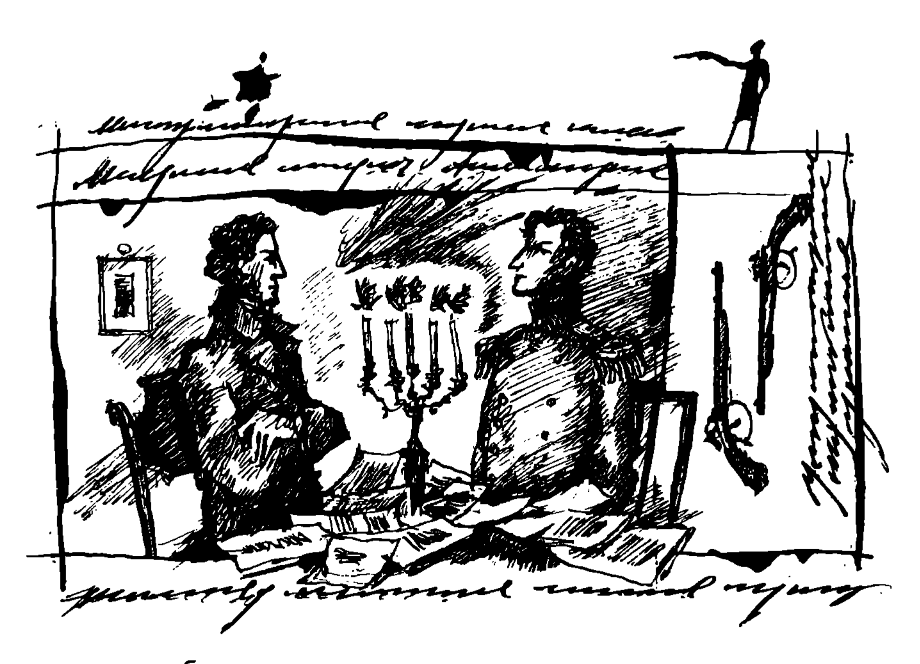
В решительный день 27 января, день дуэли, Пушкин находился с утра в возбужденном, бодром и веселом настроении.

Жуковский в заметках, впервые оглашенных в нашей книге, записал следующие подробности этого утра Пушкина: «Встал весело в 8 часов — после чаю много писал — часу до 11-го. С 11 обед. — Ходил по комнате необыкновенно весело, пел песни — потом увидел в окно Данзаса, в дверях встретил радостно. — Вошли в кабинет, запер дверь. — Через несколько минут послал за пистолетами. — По отъезде Данзаса начал одеваться; вымылся весь, все чистое; велел подать бекешь; вышел на лестницу. — Возвратился. — Велел подать в кабинет большую шубу и пошел пешком до извощика. — Это было в 1 час». Вернулся домой Пушкин уже после дуэли, раненым. Эти краткие, сжатые и необычайно ценные записи Жуковского мы можем несколько развернуть при помощи известных уже нам данных. Жуковский писал свои заметки на основании показаний домочадцев Пушкина, домочадцы судили о настроении Пушкина по его внешности, но было бы рискованно утверждать, что внутреннее его состояние соответствовало его наружному виду, что он внутренне был так же спокоен и бодр, как это казалось по его внешности.

27 января Пушкин встал весело в 8 часов. После чаю много писал — часу до 11-го. В начале 10-го часа Пушкин получил записку от д'Аршиака, который 26 января так и не дождался встречи с секундантом Пушкина. «Я ожидаю, — писал д'Аршиак, — сегодня же утром ответа на мою записку, которую я имел честь послать к вам вчера вечером. Мне необходимо переговорить с секундантом, которого вы берете, притом в возможно скором времени. До полудня я буду дома; надеюсь еще до этого времени увидеться с тем, кого вам будет угодно прислать ко мне». На это обращение Пушкин отвечал письмом, которое ему далось не сразу. Сохранились клочки черновика с поправками, свидетельствующие о неспокойном, нервном состоянии духа Пушкина[1]; содержание ответа говорит о том же. Один опыт с секундантом накануне не удался, приглашать нового, посвящать его в подробности и рисковать получить отказ значило для Пушкина давать пищу петербургским празднолюбам. Разглашение же дела могло повести к вмешательству друзей. Поэтому он писал д'Аршиаку: «Я вовсе не желаю, чтобы праздные петербургские языки вмешивались в мои семейные дела; поэтому я не согласен ни на какие переговоры между секундантами. Я приведу моего только на место поединка». Из этих слов видно, что у Пушкина как будто уже наметился секундант. Но следующие слова письма приводят к обратному заключению: «Так как г. Геккерен — обиженный и вызвал меня, то он может сам выбрать для меня секунданта, если увидит

закон бессознательного творчества, в силу которого мелкие и нехарактерные события исчезают, а крупные сближаются к времени и месту». Не оговариваем и некоторых других подобных же свидетельств.

[1] Черновик этого письма («Переписка», III, 450, № 1146) сообщен впервые И. А. Кубасовым в «Русск. стар.», 1900, март, 589—592. Тут дано и факсимиле, к сожалению, в уменьшенном виде. Текст черновика прочитан полнее и вернее В. Я. Брюсовым, давшим транскрипцию. См.: «Письма Пушкина и к Пушкину», собр. кн-вом «Скорпион». М., 1903, 26—27.



в том надобность: я заранее принимаю всякого, если даже это будет его егерь». Предложение Пушкина шло против правил дуэльного кодекса, и, понятно, ни в коем случае не могло быть принято противной стороной. Пушкин, конечно, знал это прекрасно, и если писал об этом д'Аршиаку, так потому только, что не мог сдержать себя, своей досады на невольную и нелегко исполнимую обязанность найти секунданта. Не удержался он и еще от одного выпада — уже по адресу д'Аршиака. «Что касается времени и места — я всегда готов к его услугам. По понятиям каждого русского, это совершенно достаточно, — писал Пушкин. — Виконт, прошу вас верить, что это мое последнее слово, что мне нечего больше отвечать вам по поводу этого дела, и что я не тронусь с места до окончательной встречи». Этот ответ д'Аршиаку был написан около 10 часов утра и тотчас же был отправлен по адресу.

Но этот ответ не разрешил дела. Он освобождал Пушкина лишь на некоторое время от настойчивости д'Аршиака. Секунданта еще не было, и найти его нужно было непременно и безотлагательно. Мы не знаем, каким образом всплыла в памяти Пушкина мысль о лицейском товарище и друге Константине Карловиче Данзасе. В 1837 году Данзас, в чине подполковника, служил в С.-Петербургской инженерной команде и аттестовался по кондуитному списку отлично-благородным. Благородство своего характера он доказал в деле Пушкина. Не лишнее привести его характеристику: «Данзас, по словам знавших его, был весельчак по натуре, имел совершенно французский склад ума, любил острить и сыпать каламбурами; вообще он в полном смысле был bon-vivant. Состоя вечным полковником, он только за несколько лет до смерти, при выходе в отставку, получил чин генерала, вследствие того, что он в мирное время относился к службе благодушно, индифферентно и даже чересчур

беспечно; хотя его все любили, даже его начальники, но хода по службе не давали... Данзас жил и умер в бедности, без семьи, не имея и не нажив никакого состояния, пренебрегая постоянно благами жизни, житейскими расчетами. Его и хоронили за счет казны. Открытый, прямодушный характер, соединенный с саркастическим взглядом на людей и вещи, не дал ему возможности составить, как говорится, себе карьеру. Несколько раз ему даже предлагались разные теплые и хлебные места, но он постоянно отказывался от них, говоря, что чувствует себя неспособным занимать такие места»[1].

Пушкин вспомнил о Данзасе и послал за ним. Мы не верим принятой и распространенной версии о нечаянной встрече Пушкина с Данзасом на улице утром 27 января и всецело принимаем сообщение Жуковского, что Пушкин встретил радостно Данзаса у себя в доме около 12 часов[2].

---

[1] *Н. Гастфрейнд.* Товарищи Пушкина по императорскому Царскосельскому лицею, т. III, Спб., 1913, стр. 333. Сверх данных, приведенных у Н. Гастфрейнда и в издании «Дуэль Пушкина... Военно-судное дело», о Данзасе см. еще сообщение *Е. Праве* «Историческая справка по делу инженер-подполковника Данзаса» (в газете «Народ», № 886, от 20 июня 1899 г.). Ничего не прибавляют к нашим данным и показания Данзаса, опубликованные В. Протасьевой в статье «Военно-судное дело Данзаса» в журнале «Дела и дни». Пгр., I, 1920, стр. 402 и сл.

[2] Заметки Жуковского мы полагаем в основу нашего рассказа о дне дуэли. Они прекрасно дополняют данные, имевшиеся в распоряжении исследователей, но есть один пункт — и довольно важный, — в котором запись Жуковского решительно расходится со свидетельствами современников. Это вопрос о приглашении Данзаса к участию в дуэли. 28 января А. И. Тургенев сообщал А. И. Нефедьевой: «Пушкин встретил на улице Данзаса, повез его к себе на дачу и только там показал ему письмо, писанное к отцу Геккерена; Данзас не мог отказаться быть секундантом» («Пушкин и его современники», VI, 49). 9 февраля князь П. А. Вяземский писал А. Я. Булгакову: «В день дуэли нечаянно напал он на улице на старого товарища лицейского Данзаса, с которым он был всегда отменно дружен; не говоря ему ни слова, посадил в свои сани и повез к д'Аршиаку. Спустя два часа они были уже на месте дуэли» («Русск. арх.», 1879, II, 249). В письме к великому князю Михаилу Павловичу Вяземский писал иначе: «После отказа Меджениса, в отчаянии, что дело расстроилось, Пушкин вышел 27 утром, наудачу, чтобы поискать кого-нибудь, кто бы согласился быть секундантом. Он встретил на улице Данзаса, своего прежнего школьного товарища, а впоследствии друга. Он посадил его к себе в сани, сказав, что везет его к д'Аршиаку, чтобы взять его в свидетели своего объяснения с ним. Два часа спустя противники находились уже на месте поединка» («Пушкин», 320; «Дуэль», 146). Сам Жуковский в неизданной части предназначавшегося к оглашению письма к С. Л. Пушкину о смерти его сына утверждал: «Утром 27 числа Пушкин, еще не имея секунданта, вышел рано со двора. Встретясь на улице со своим лицейским товарищем подполковником Данзасом, он посадил его с собою в сани и, не рассказывая ничего, повез к д'Аршиаку. Там, прочитав перед Данзасом собственноручную копию с того письма, которое им было писано к министру Геккерену и которое произвело вызов молодого Геккерена, он оставил Данзаса для условий с д'Аршиаком, а сам возвратился к себе и ждал спокойно развязки» (См. ниже, стр. 154). Спустя некоторое время, сообщает дальше Жуковский, Пушкин вышел из дома, «чтобы найти своего секунданта, кажется в кондитерской лавке Вольфа, дабы оттуда ехать на место; он пришел туда в... часов» (пустое место, оставленное в рукописи для пометы часа, осталось незаполненным). Наконец, Данзас в своих показаниях в следственной комиссии

изъяснял: «27 генваря, в 1-м пополудни, встретил его Пушкин на Цепном мосту, что близ Летнего сада, остановил и предложил ему быть свидетелем разговора, который он должен был иметь с виконтом д'Аршиаком: не предугадывая никаких важных последствий, а тем менее дуэли, он сел в его сани и отправился с ним; во время пути он с ним разговаривал о предметах посторонних с совершенным хладнокровием». Изложив происшедший у д'Аршиака разговор, Данзас показывал: «Объяснив все причины неудовольствия, Пушкин встал и сказал г. д'Аршиаку, что он представляет ему, как секунданту своему, сговориться с ним, с д'Аршиаком, изъявив твердую волю, чтобы дело непременно было кончено того же дня. Г. д'Аршиак спросил его при Пушкине, согласен ли он принять на себя обязанность секунданта. После такого неожиданного предложения со стороны Пушкина, сделанного при секунданте противной стороны, он не мог отказаться от соучастия... По окончании разговора с д'Аршиаком Данзас отправился к Пушкину, который тотчас послал за пистолетами, по словам его, на сей предмет уже купленными; в исходе 4 часа они отправились на место дуэли» («Дуэль Пушкина с Дантесом-Геккереном. Подлинное военно-судное дело 1837 г.», Спб., 1900, стр. 99—100). Наконец, в позднейшее время со слов Данзаса Аммосов записал следующий его рассказ: «27 января 1837 г. К. К. Данзас, проходя по Пантелеймонской улице, встретил Пушкина в санях. В этой улице жил тогда К. О. Россет; Пушкин, как полагает Данзас, заезжал сначала к Россету и, не застав последнего дома, поехал уже к нему. Пушкин остановил Данзаса и сказал: «Данзас, я ехал к тебе, садись со мной в сани и поедем во французское посольство, где ты будешь свидетелем одного разговора». Данзас, не говоря ни слова, сел с ним в сани, и они поехали в Большую Миллионную. Во время пути Пушкин говорил с Данзасом, как будто ничего не бывало, совершенно о посторонних вещах... (У д'Аршиака Пушкин сделал свою декларацию и по окончании ее) Пушкин указал на Данзаса и прибавил: „Voilà mon témoin". Потом обратился к Данзасу с вопросом: „Consentez-vous?" После утвердительного ответа Данзаса Пушкин уехал, предоставив Данзасу условиться с д'Аршиаком... Условия поединка были составлены на бумаге. С этой роковой бумагой Данзас возвратился к Пушкину. Он застал его дома, одного. Не прочитав даже условий, Пушкин согласился на все... Условясь с Пушкиным сойтись в кондитерской Вольфа, Данзас отправился сделать нужные приготовления. Наняв парные сани, он заехал в оружейный магазин Куракина за пистолетами, которые были уже выбраны Пушкиным заранее; пистолеты эти были совершенно схожи с пистолетами д'Аршиака. Уложив их в сани, Данзас приехал к Вольфу, где Пушкин уже ожидал его. Было около 4 часов... Пушкин вышел с ним из кондитерской; сели в сани и отправились по направлению к Троицкому мосту» (*Аммосов*, назв. соч., 18—21).

Всеми этими свидетельствами как будто и прочно устанавливается тот факт, что Пушкин рано утром 27 января вышел из дому, встретил на улице Данзаса, повез его к д'Аршиаку и здесь Данзас вынужден был дать свое согласие быть секундантом Пушкина. Но записи «для себя» Жуковского о дне дуэли заключают категорическое утверждение, что Пушкин в этот день до часу не выходил из дома, что незадолго до его ухода *к нему приехал* Данзас, что ровно в час он вышел из дому и вернулся домой уже раненым, после дуэли. Несмотря на ряд авторитетных свидетельств, в том числе самого Жуковского и самого Данзаса, мы считаем отвечающим действительности свидетельство, сохранившееся в публикуемой нами записи Жуковского. Документальные даты, которыми мы располагаем, приводят к заключению, что в 10 часов утра Пушкин еще не остановил своего выбора ни на ком и до часу дня, во всяком случае, д'Аршиак не знал, кто будет секундантом. Следовательно, *утром-то* Пушкин с Данзасом не могли быть у д'Аршиака, а были только после часу.

Умолчание в показаниях Данзаса в следственной комиссии и в рассказах современников о посещении Данзасом дома Пушкина и утверждение факта нечаянной встречи с Данзасом на улице объясняется, по нашему мнению, следующими соображениями. Данзасу предстоял ответ по суду за участие в дуэли. По закону секунданты «при зачатии драк должны были приятельски

Среди размышлений о дуэли Пушкин вспомнил об А. О. Ишимовой, составительнице «Русской истории в рассказах для детей». Он хотел привлечь ее к работе для «Современника» и заказать ей перевод из любимого им Барри Корнуэля. 22 января он заходил к ней поговорить об этой работе, но не застал ее, а 26 января получил от нее приглашение побывать у ней 27 января. «Если для вас все равно, в которую сторону направить прогулку Вашу завтра, то сделайте одолжение зайдите ко мне», — писала ему А. О. Ишимова[1]. Она слышала от знакомых Пушкина, что он обыкновенно по окончании утренних трудов, часу в четвертом, всегда прогуливался. Но 27 января Пушкину было не до обычной прогулки. Потому ли, что Пушкин вспомнил о письме и приглашении Ишимовой, или потому, что попалась на глаза книга Ишимовой, но мысли об Ишимовой пришли ему в голову. Он развернул книгу Ишимовой и зачитался. А затем он разыскал том Барри Корнуэля и отправил его к Ишимовой с письмом следующего содержания: «Крайне жалею, что мне невозможно будет сегодня явиться на Ваше приглашение. Покамест честь имею препроводить к Вам Barry Cornwall. — Вы найдете в конце книги пьесы, отмеченные карандашом, переведите их как умеете — уверяю Вас, что переведете, как нельзя лучше. Сегодня я нечаянно открыл Вашу Историю в рассказах и поневоле зачитался. Вот как надобно писать!»[2].

Пушкин, в роковой день дуэли зачитавшийся «Историей России в рассказах для детей», — вот подлинная пушкинская маска, приковывающая наше внимание и неустранимая из рассказов о последней дуэли Пушкина.

Глубокое впечатление оставляет и содержание, и форма, и внешность последнего письма к Ишимовой. «Тон спокойствия, господ-

---

искать помирить ссорящихся и ежели того не могут учинить, то немедленно по караулам послать и о таком деле объявить» («Дуэль Пушкина... Военно-судное дело...», стр. 104). При таком объяснении, которое дал Данзас, ясно было, что Данзас, ежели бы и хотел, то не мог ни отказаться от участия в дуэли, ни помешать ей. Таким образом, его вина в значительной степени смягчалась таким объяснением. Да и в объяснениях самого Данзаса, наряду с утверждением о случайности встречи с Пушкиным на улице, проскальзывает и заявление о том, что Пушкин остановил свой выбор (именно выбор!) не случайно на Данзасе: «Я не иначе могу пояснить намерения покойного, как тем, что, по известному мне и всем знавшим его коротко высокому благородству души его, он не хотел вовлечь в ответственность по своему собственному делу никого из соотечественников; и только тогда, когда вынужден был к тому противниками, он решился наконец искать меня, как товарища и друга с детства, на самоотвержение которого он имел более права считать» («Дуэль Пушкина... Военно-судное дело...», стр. 79).

[1] Письма к А. О. Ишимовой напечатаны в «Современнике», кн. VIII (1837 г.) с некоторыми комментариями «издателей» и перепечатаны в посмертном издании сочинений Пушкина, т. VIII, 1838, стр. 308—310, с теми же примечаниями. См. также книгу *И. А. Шляпкина* «Из неизданных бумаг Пушкина». Спб., 1903, стр. 121—122.

[2] Это последнее письмо хранится в настоящее время в Пушкинском доме. Факсимиле его дано в «Вестнике Европы», 1887 г., февраль.

Это письмо вместе с томом Корнуэля завернуто было Пушкиным в пакет из толстой сероватой бумаги, на котором Пушкин написал адрес. Эти строки, надо думать, — последние, им писанные. Обложка с этими строками сохранилась и находится в настоящее время также в Пушкинском доме, куда пожертвована В. А. Ляцкою.

ствующий в этом письме, порядок всегдашних занятий, не изменившийся до последней минуты, изумительная точность в частном деле, даже почерк этого письма, сохраняющий все признаки внутренней тишины, свидетельствуют ясно, какова была сила души поэта»[1].

Пакет Пушкина был получен Ишимовой «в 3-м часу пополудни»[2].

Но возвратимся к записи Жуковского.

«С 11 часов обед. Ходил по комнате необыкновенно весело, пел песни. — Потом увидел в окно Данзаса, в дверях встретил радостно. — Вошли в кабинет, запер дверь. — Через несколько минут послали за пистолетами». По зову Пушкина или случайно (такое предположение чересчур диковинно!) Данзас приехал, и радость Пушкина, что разрешился основной вопрос, который мучил его все утро, как больной зуб, была велика, бросалась в глаза — «Данзаса встретил радостно в дверях». Когда Данзас вошел в кабинет, Пушкин запер двери: он хотел сохранить в тайне разговор с Данзасом и то поручение, которое он давал ему. Объяснился с ним и послал за пистолетами, которые были им заказаны или закуплены раньше. После объяснения Данзас уехал: если он приехал по зову Пушкина, не зная, в чем дело, то естественно предположить, что ему надо было дать некоторое время для подготовки, — быть может, даже чисто внешней. Он уехал, конечно, условившись с Пушкиным встретиться в определенном месте. Какое поручение получил Данзас от Пушкина? Он должен был быть секундантом при дуэли, которая должна была произойти в тот же день, без всяких отсрочек и промедлений, должен был вместе с д'Аршиаком решить вопрос преимущественно о месте, — не о времени: время — самое ближайшее. Данзас согласился с предложениями Пушкина, и после его отъезда Пушкин стал готовиться к последнему в своей жизни поединку: начал одеваться; вымылся весь, надел чистое белье, приказал подать бекешу, вышел было в бекеше на лестницу, но вернулся и велел подать в кабинет большую шубу и пошел пешком до извозчика. Было ровно час, когда он вышел из дому.

Как раз в это время пришло новое письмо д'Аршиака — ответ на письмо Пушкина, отправленное последним в 10 часов утра. Понятно, письмо Пушкина не удовлетворило д'Аршиака. Посоветовавшись, быть может, со своим доверителем Жоржем Дантесом, д'Аршиак отвечал Пушкину следующим письмом, датированным «час дня пополудни»: «Оскорбивши честь барона Жоржа Геккерена, Вы обязаны дать ему удовлетворение. Вы обязаны найти своего секунданта. Речи не может быть о том, чтобы Вам его доставили. Готовый с своей стороны явиться в условленное место, барон Жорж Геккерен настаивает на том, чтобы Вы соблюдали узаконенные формы. Всякое промедление будет рассматриваемо им как отказ в том удовлетворении, которое Вы обещали ему дать, и как намерение оглаской этого дела помешать его окончанию. Свидание между секундантами, необходимое перед дуэлью, становится — раз Вы отказываете в нем — одним из условий барона Жоржа Геккерена, а Вы мне сказали вчера и написали сегодня, что Вы принимаете все его условия». В тот момент, когда это письмо пришло к Пушкину, оно было уже ненужным: дело было сделано — секундант был найден.

---

[1] «Сочинения Пушкина», т. VIII. Спб., 1838, 310.

[2] Там же, 309.

5—1388



Ровно в час дня Пушкин вышел из дома и пошел пешком до извозчика. В условленное время (через полчаса или около того?) в условленном месте он встретился с К. К. Данзасом, посадил его в свои сани и повез во французское посольство к д'Аршиаку. Прибыв к д'Аршиаку, Пушкин «после обыкновенного приветствия с хозяином сказал громко, обращаясь к Данзасу: „Je veux vous mettre maintenant au fait de tout" — и начал рассказывать ему все, что происходило между ним, Дантесом и Геккереном»[1]. В следственной комиссии Данзас следующим образом изложил содержание разговора у д'Аршиака: «Александр Сергеевич Пушкин начал объяснение свое у д'Аршиака следующим: „Получив письма от неизвестного, в коих он виновником почитал нидерландского посланника, и узнав о распространившихся в свете нелепых слухах, касающихся до чести жены его, он в ноябре месяце вызывал на дуэль г. поручика Геккерена, на которого публика указывала; но когда г. Геккерен предложил жениться на свояченице Пушкина, тогда, отступив от поединка, он, однако ж, непременным условием требовал от г. Геккерена, чтоб не было никаких сношений между двумя семействами. Не взирая на сие, гг. Геккерены, даже после свадьбы, не переставали дерзким обхождением с женою его, с которою встречались только в свете, давать повод к усилению мнения, поносительного как для его чести, так и для чести его жены. Дабы положить сему конец, он написал 26 января письмо к нидерландскому посланнику, бывшее причиною вызова г. Геккерена. За сим Пушкин собственно для моего сведения прочел и самое письмо, которое, вероятно, было уже известно секунданту г. Геккерена"». Прочитав копию с своего письма, Пушкин вручил ее Данзасу, затем отрекомендовал его д'Аршиаку как своего секунданта и удалился, предоставив секундантам выработать условия дуэли. К 2½ часам условия были выработаны и закреплены на

[1] *Аммосов*, назв. соч., 18.

бумаге. Один экземпляр остался в руках д'Аршиака и сохранился в архиве баронов Дантесов-Геккеренов, второй экземпляр был у Данзаса. Вот текст условий в русском переводе:

«1. Противники становятся на расстоянии двадцати шагов друг от друга и пяти шагов (для каждого) от барьеров, расстояние между которыми равняется десяти шагам.

2. Вооруженные пистолетами противники, по данному знаку, идя один на другого, но ни в коем случае не переступая барьера, могут стрелять.

3. Сверх того, принимается, что после выстрела противникам не дозволяется менять место, для того, чтобы выстреливший первым огню своего противника подвергся на том же самом расстоянии.

4. Когда обе стороны сделают по выстрелу, то, в случае безрезультатности, поединок возобновляется как бы в первый раз: противники ставятся на то же расстояние в 20 шагов, сохраняются те же барьеры и те же правила.

5. Секунданты являются непременными посредниками во всяком объяснении между противниками на месте боя.

6. Секунданты, нижеподписавшиеся и облеченные всеми полномочиями, обеспечивают, каждый за свою сторону, своей честью строгое соблюдение изложенных здесь условий».

«К сим условиям, — показывал на следствии Данзас, — д'Аршиак присовокупил не допускать никаких объяснений между противниками, но он (Данзас) возразил, что согласен, во избежание новых какихлибо распрей, не дозволить им самим объясняться; но, имея еще в виду не упускать случая к примирению, он предложил с своей стороны, чтобы в случае малейшей возможности секунданты могли объясняться за них».

Время поединка — пятый час дня; место — за Комендантской дачей. Условия дуэли были составлены в 2½ часа дня; очевидно, немного позже беседа Данзаса с д'Аршиаком была окончена, и Данзас поспешил к Пушкину, который, по условию, поджидал его в кондитерской Вольфа. «Было около 4-х часов. Выпив стакан лимонаду или воды, — Данзас не помнит, — Пушкин вышел с ним из кондитерской; сели в сани и направились к Троицкому мосту». Со слов, конечно, Данзаса, Вяземский сообщал вскоре после рокового события, что Пушкин казался спокойным и удовлетворенным[1], а во время поездки с Данзасом был покоен, ясен и весел[2].

18.

В памяти Данзаса сохранились некоторые подробности этого путешествия на место дуэли[3]. На Дворцовой набережной они встретили в экипаже Наталью Николаевну. Пушкин смотрел в другую сторону, а жена его была близорука и не разглядела мужа. В этот сезон были великосветские катанья с гор, и Пушкин с Данзасом встретили много знакомых, между прочим двух конногвардейцев: князя В. Д. Голи-

---

[1] «Дуэль», 146.
[2] «Русск. арх.», 1879, II, 249.
[3] Излагая историю самого поединка, мы основываемся на свидетельствах очевидцев — Данзаса и д'Аршиака — и ближайших современников — Жуковского и князя Вяземского. Дальнейших ссылок не делаем.

цына и Головина. Князь Голицын закричал им: «Что вы так поздно едете, все уже оттуда разъезжаются». Молоденькой, 19-летней графине А. К. Воронцовой-Дашковой попались навстречу и сани с Пушкиным и Данзасом и сани с д'Аршиаком и Дантесом[1]. На Неве Пушкин шутливо спросил Данзаса: «Не в крепость ли ты везешь меня?» «Нет, — ответил Данзас, — через крепость на Черную речку самая близкая дорога».

Переезд продолжался около получаса или немногим больше. Выехав из города, увидели впереди другие сани: то был противник со своим секундантом. Подъехали они к Комендантской даче в 4½ часа, одновременно с Дантесом и д'Аршиаком. Остановились почти в одно время и пошли в сторону от дороги. Снег был по колено. Мороз был небольшой, но было ветрено[2]. «Весьма сильный ветер, который был в то время, принудил нас искать прикрытия в небольшом сосновом леску» (свидетельство д'Аршиака). «Данзас вышел из саней и, сговорясь с д'Аршиаком, отправился с ним отыскивать удобное для дуэли место. Они нашли такое саженях в полутораста от Комендантской дачи: более крупный и густой кустарник окружал здесь площадку и мог скрывать от глаз оставленных на дороге извозчиков то, что на ней происходило» (позднейший рассказ Данзаса).

Место было выбрано, но множество снега мешало противникам, и секунданты оказались в необходимости протоптать тропинку. «Оба секунданта и Геккерен занялись этой работой, Пушкин сел на сугробе и смотрел на роковое приготовление с большим равнодушием. Наконец вытоптана была тропинка, в аршин шириною и в двадцать шагов длиною».

Секунданты отмерили тропинку, своими шинелями обозначили барьеры, один от другого в десяти шагах. Противники стали, каждый на расстоянии пяти шагов от своего барьера. Д'Аршиак и Данзас зарядили каждый свою пару пистолетов и вручили их противникам.

Впоследствии Данзас припоминал следующие подробности: «Закутанный в медвежью шубу, Пушкин молчал, по-видимому, был столько же покоен, как и во все время пути, но в нем выражалось сильное нетерпение приступить скорее к делу. Когда Данзас спросил его, находит ли он удобным выбранное им и д'Аршиаком место, Пушкин ответил:

„Ça m'est fort égal, seulement tâchez de faire tout cela plus vite"».

Отмерив шаги, Данзас и д'Аршиак отметили барьер своими шинелями и начали заряжать пистолеты. Во время этих приготовлений нетерпение Пушкина обнаружилось словами к своему секунданту: «Eh bien! est-ce fini?»[3]

Все приготовления были закончены. Сигнал к началу поединка был дан Данзасом. Он махнул шляпой, и противники начали сходиться. Они шли друг на друга грудью. Пушкин сразу подошел вплотную к своему барьеру. Дантес сделал четыре шага. Соперники

---

[1] «Современные известия», 1863, № 18, стр. 12, — отзыв М. Н. Лонгинова о книжке Аммосова.

[2] По позднейшим воспоминаниям Данзаса, мороза было градусов пятнадцать. В камер-фурьерском же журнале мороз 27 января утром отмечен в два градуса.

[3] *Аммосов,* назв. соч., 23.

приготовились стрелять. Спустя несколько мгновений раздался выстрел. Выстрелил Дантес.

Пушкин был ранен. Падая, он сказал:

«Je suis blessé».

Пушкин упал на шинель Данзаса, служившую барьером, и остался недвижим, головой в снегу. При падении пистолет Пушкина увязнул в снегу так, что все дуло наполнилось снегом. Секунданты бросились к нему. Сделал движение в его сторону и Дантес.

После нескольких секунд молчания и неподвижности Пушкин приподнялся до половины, опираясь на левую руку, и сказал: «Attendez, je me sens assez de force pour tirer mon coup».

Дантес возвратился на свое место, стал боком и прикрыл свою грудь правой рукой. Данзас подал Пушкину новый пистолет взамен того, который при падении был забит снегом[1].

Опершись левой рукой о землю, Пушкин стал прицеливаться и твердой рукой выстрелил. Дантес пошатнулся и упал. Пушкин, увидя его падающего, подбросил вверх пистолет и закричал: «Bravo!»

Поединок был окончен, так как рана Пушкина была слишком серьезна, чтобы продолжать. Сделав выстрел, он снова упал. После этого два раза он впадал в полуобморочное состояние, и в течение нескольких мгновений мысли его были в помешательстве. Но тотчас же он пришел в сознание и более его не терял[2].

---

[1] Перемену пистолетов д'Аршиак считал делом неправильным и в описание поединка, которое он вручил князю Вяземскому, по этому поводу внес следующие строки: «Так как оружие, бывшее у Пушкина в руке, оказалось покрытым снегом, то он взял другое. Я мог бы сделать возражение, но знак, данный мне бароном Жоржем Геккереном, мне в этом воспрепятствовал». Данзас горячо протестовал против заявления д'Аршиака. «Я не могу оставить без возражения заключения г. д'Аршиака, будто бы он имел право оспаривать обмен пистолета и был удержан в том знаком со стороны г. Геккерена. Обмен пистолета не мог подавать повода во время поединка ни к какому спору. — По условию, каждый из противников имел право выстрелить, пистолеты были с пистонами, следовательно, осечки быть не могло; снег, забившийся в дуло пистолета А. С., усилил бы только удар выстрела, а не отвратил бы его; никакого знака ни со стороны г. д'Аршиака, ни со стороны г. Геккерена подано не было. Что до меня касается, я почитаю оскорбительным для памяти Пушкина предположение, будто он стрелял в противника своего с преимуществами, на которые не имел права. Еще раз повторяю, что никакого сомнения против правильности обмена пистолета сказано не было; если б оно могло возродиться, то г. д'Аршиак обязан бы был объявить возражение свое и не останавливаться знаком, будто от г. Геккерена поданным; к тому же сей последний не иначе мог бы узнать намерение г. д'Аршиака, как тогда, когда бы и оно было выражено словами; но он их не произнес. Я отдаю полную справедливость бодрости духа, показанной во время поединка г. Геккереном, — но решительно опровергаю, чтобы он произвольно подвергнулся опасности, которую бы он мог от себя устранить. Не от него зависело не уклониться от удара своего противника, после того, как свой нанес» («Военно-судное дело...», 54—55). По поводу этого спора С. А. Панчулидзев пишет: «В данном случае прав д'Аршиак: замена пистолетов, раз они взяты в руки противника, не допускается. Но Данзас прав, что снег, набившийся в дуло пистолета Пушкина, мог на морозе только усилить „удар выстрела, а не ослабить его“» (*С. А. Панчулидзев,* назв. соч., 84).

[2] „La blessure de M-r Pouchkine était trop grave pour continuer, — l'affaire était terminée. Retombé après avoir tiré il eut presque immédiatement deux demi-évanouissements, quelques instants de troubles dans les idées. Il reprit tout à fait sa connaissance et ne la perdit plus" (Письмо д'Аршиака князю Вяземскому).

Ответы барона Геккерена-Дантеса на вопросы военно-судной комиссии
(см. стр. 267)

«Когда оба противника,— записал князь Вяземский,— лежали каждый на своем месте, Пушкин спросил д'Аршиака:

– Est-il tué?

– Non, mais il est blessé au bras et à la poitrine.

– C'est singulier: j'avais cru que cela m'aurait fait plaisir de le tuer; mais je sens que non.

Д'Аршиак хотел сказать несколько мировых слов, но Пушкин не дал ему времени продолжать.

– Au reste, c'est égal; si nous rétablissons tous les deux, ce sera à recommencer»[1].

Между тем из раны Пушкина кровь лилась изобильно. Надо было поднять раненого, но на руках донести его до саней, стоявших на дороге на расстоянии полверсты с лишком, было затруднительно. Данзас с д'Аршиаком подозвали извозчиков и с их помощью разобрали находившийся там из тонких жердей забор, который мешал саням подъехать к тому месту, где лежал раненый Пушкин. Общими силами усадив его бережно в сани, Данзас приказал извозчику ехать шагом, а сам пошел пешком подле саней, вместе с д'Аршиаком. Пушкина сильно трясло в санях во время более чем полуверстного переезда до дороги по очень скверному пути. Он страдал не жалуясь.

Дантес при поддержке д'Аршиака мог дойти до своих саней и ждал в них, пока не кончилась переноска его соперника.

У Комендантской дачи стояла карета, присланная на всякий случай старшим Геккереном. Дантес и д'Аршиак предложили Данзасу воспользоваться их каретой для перевозки в город тяжелораненного Пушкина. Данзас нашел возможным принять это предложение, но решительно отвергнул другое, сделанное ему Дантесом,— предложение скрыть его участие в дуэли. Не сказав, что карета была барона Геккерена, Данзас посадил в нее Пушкина и, сев с ним рядом, поехал в город.

Дорогой Пушкин, по-видимому, не страдал; по крайней мере, Данзасу это не было заметно. Он был даже весел, разговаривал с Данзасом и рассказывал ему анекдоты. Пушкин вспомнил о дуэли общего их знакомого офицера л.-гв. Московского полка Щербачева, стрелявшегося с Дороховым, на которой Щербачев был смертельно ранен в живот. Жалуясь на боль, Пушкин сказал Данзасу: «Я боюсь, не ранен ли я так, как Щербачев». Он напомнил также Данзасу и о своей прежней дуэли в Кишиневе с Зубовым[2].

---

[1] В письме к великому князю Михаилу Павловичу князь Вяземский излагал этот момент так: „En revenant à lui il demanda à d'Archiac: L'ai-je tué? – Non, lui répondit l'autre, mais vous l'avez blessé. – C'est singulier, dit Pouchkine, j'avais pensé que cela m'aurait fait plaisir de le tuer, mais je sens que non. Au reste – c'est égal, – une fois que nous serons rétablis tout les deux, cela sera à recommencer".

[2] В рассказе П. В. Анненкова о дуэли встречаются любопытные детали. Не зная их источников, трудно судить о степени их достоверности, но они заслуживают быть отмеченными. «Известно,— пишет Анненков,— радостное восклицание Пушкина при виде упавшего соперника, легко пораженного им в руку... Радость была столько же напрасна, сколько и противна нравственному чувству. Покамест противник садился в сани Пушкина и отправлялся домой, самого Пушкина перенесли в карету, заранее приготовленную семейством его соперника на случай несчастия. Пушкин еще поглядел вслед удаляющегося врага и прибавил: „Мы не все кончили с ним", но уже все было кончено, и другой ряд более возвышенных и более достойных мыслей ожидал умирающего в дому его. Карета медленно подвигалась на Мойку, к Певческо-

В шесть часов вечера карета с Данзасом и Пушкиным подъехала к дому князя Волконского на Мойке, где жил Пушкин. У подъезда Пушкин попросил Данзаса выйти вперед, послать за людьми вынести его из кареты и предупредить жену, если она дома, сказав ей, что рана не опасна.

Сбежались люди, вынесли своего барина из кареты. Камердинер взял его в охапку.

— «Грустно тебе нести меня?» — спросил его Пушкин.

Внесли в кабинет; он сам велел подать себе чистое белье; разделся и лег на диван...

Пушкин был на своем смертном одре.

му мосту. Раненый чувствовал жгучую боль в левом боку, говорил прерывчатыми фразами и, мучимый тошнотою, старался преодолеть страдания, возвещавшие близкую неизбежную смерть. Несколько раз принуждены были останавливаться, потому что обмороки следовали часто один за другим и сотрясение пути ослабляло силы больного» (*П. В. Анненков.* А. С. Пушкин. Материалы для его биографии. Спб., 1873, стр. 420).

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ



I. ПИСЬМО В. А. ЖУКОВСКОГО к С. Л. ПУШКИНУ О СМЕРТИ ПУШКИНА

I. ПИСЬМО В. А. ЖУКОВСКОГО К С. Л. ПУШКИНУ КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ БИОГРАФИИ А. С. ПУШКИНА

I

Важнейшим источником для истории последней дуэли и последних дней жизни Пушкина, кроме документов, находящихся в военно-судном деле[1] и касающихся дуэли писем, как напечатанных в издании переписки поэта[2], так и печатающихся впервые в этой книге, являются письма А. И. Тургенева от 28, 29, 31 января и 1 февраля того же года[3] и его записи в дневнике, впервые появляющиеся ниже; письма князя П. А. Вяземского к А. Я. Булгакову от 5 и 9 февраля[4] и письмо к великому князю Михаилу Павловичу от 14 февраля, опубликованное в нашей книге; записки врачей, лечивших Пушкина[5], и, наконец, письмо В. А. Жуковского к С. Л. Пушкину от 15 февраля 1837 года.

Самой достоверной и авторитетной историей последних дней жизни Пушкина принято считать описание, составленное В. А. Жуковским в форме письма к отцу поэта, жившему в то время в Москве. Жуковский воспользовался как своими наблюдениями и впечатлениями, так и показаниями других свидетелей — очевидцев. Жуковский произвел нечто вроде опроса свидетелей. Князь Вяземский в письме к Булгакову от 5 февраля писал: «Собираем теперь, что каждый из нас видел и слышал, чтобы составить полное описание, засвидетельствованное нами и документами». А на другой день по отсылке помянутого письма, 6 февраля, писал ему: «Сделай милость, не замедли выслать мне копию со вчерашнего письма моего: Жуковский требует его для составления общей реляции из очных наших ставок»[6]. Письмо-статья Жуковского датировано 15 февраля. Когда А. И. Тургенев уезжал в Москву, Жуковский вручил ему это письмо при следующей записке[7]:

---

[1] «Дуэль Пушкина с Дантесом-Геккереном. Подлинное военно-судное дело 1837 г.». Спб., 1900.

[2] Письма Пушкина Геккерену, Бенкендорфу, д'Аршиаку, письма к нему Геккерена, барона д'Аршиака, Медженисa и др. См. «Сочинения Пушкина». Изд. имп. Акад. наук. «Переписка», т. III, Спб., 1911.

[3] В издании «Пушкин и его современники». Вып. VI. Спб., 1908. Новые материалы для биографии Пушкина. (Из Тургеневского архива.)

[4] «Русский архив», 1879, кн. 2-я, стр. 243—253. Письмо от 5 февр. напечатано также и в «Русской старине», т. XIV (1875), с. 92—96.

[5] Перепечатываются дальше.

[6] «Русский архив», 1870, кн. 2, ст. 247.

[7] Эта записка писана на 1-й страничке 1/2 листа плотной писчей бумаги. Перешла из Пушкинского музея Александровского лицея в Пушкинский дом.

«Вот тебе, мой милый Александр, письмо, которое передай от меня Сергею Львовичу. Можешь его после вытребовать и прочитать в нем подробное описание последних минут Пушкина. Обнимаю тебя.

Жуковский».

Описание предназначалось не столько для отца покойного поэта, сколько для самого широкого распространения. В первой вышедшей после смерти Пушкина книге «Современника» (а с основания журнала 5-й) Жуковский напечатал это письмо под заглавием «Последние минуты Пушкина»[1]. Здесь оно появилось с значительными сокращениями. Только в 1864 году в «Русском архиве» были сообщены «Неизданные отрывки из письма В. А. Жуковского о кончине Пушкина»[2]. С этого времени письмо-статья В. А. Жуковского в полной редакции помещается в собраниях его сочинений[3].

Сразу, с момента появления статьи Жуковского, было признано огромнейшее ее значение как первостепенного и непререкаемого источника для истории не только последних смертных дней, но и больше — всей жизни и миросозерцания поэта. Свет, которым освещены в изображении Жуковского последние минуты жизни Пушкина, бросает отблеск свой на последние годы жизни поэта и проникает сокровеннейшие основы его мысли и сердца. С таким искусством написана статья Жуковского, что впечатление, навеянное картиной умирания поэта, неотвязно влечет за собой и определенное — то, а не иное — представление об его духовном образе, о внутренней жизни его в основных, по крайней мере, чертах. Описание Жуковского носит чисто житийный характер. Кончина Пушкина представлена как идеал кончины во всей его житийной закругленности. Пушкин умер глубоким христианином, в примирении, любви и просветлении. В момент перехода от жизни к смерти он с необычайной силой выказал чувства своей преданности монарху, напоминающие по настроению чувства сына к отцу. Своей кончиной он дал всем очевидцам заветы любви к монарху. Наконец, всякому читателю ясно, что Пушкин умирал в непоколебленных чувствах любви и доверия к жене своей; мало того, он дал многочисленные свидетельства в пользу ее решительной невиновности. Вообще, быть может, не характерны для жизни умирающего те настроения и чувства, что проявляются в моменты агонии, тяжкой и бессознательной борьбы жизни и смерти. Но в изображении Жуковского подчеркивается органическая связь настроения, проникавшего Пушкина в последние дни жизни, с жизнью его вообще. Поэтому-то описание Жуковского имеет интерес и значение не для истории частного эпизода жизни, а для биографии поэта в широком смысле слова.

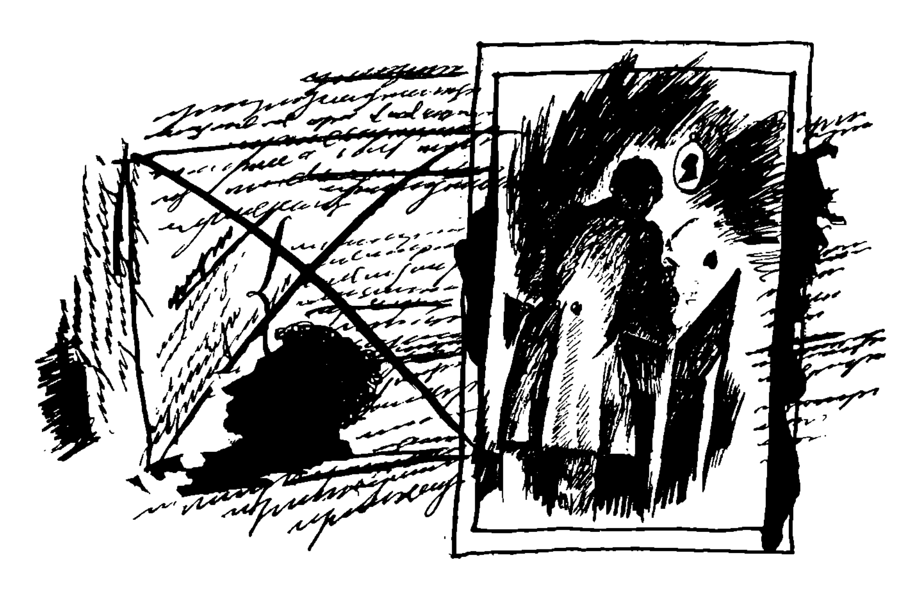
---

[1] «Современник», том пятый. Спб. 1837, стр. I—XVIII.

[2] «Русский архив», 1864, стр. 48—54. Редактор «Русского архива» сделал следующее примечание к своей публикации: «Письмо Жуковского о кончине Пушкина обыкновенно печатается в виде приложения в собраниях сочинений последнего. Оно до сих пор остается самым полным, связным рассказом об этом несчастном событии; но, вероятно, немногим было известно, что оно печатается далеко не вполне. Приводим теперь отрывки, взятые из современной рукописи с поправками Жуковского, благосклонно сообщенной нам гр. А. С. Уваровым».

[3] См., напр., Сочинения В. А. Жуковского. Изд. 7-е, т. VI, Спб., 1878, стр. 8—22.

Высказанное в момент появления признание именно такого значения за статьей Жуковского остается в силе и по сие время. Всякий раз, как исследователю приходится говорить о духовной жизни и миросозерцании Пушкина в последние годы его жизни, для истории которых источников меньше, чем для всякого другого периода, он невольно и неизбежно подпадает под влияние этой статьи Жуковского: столь непререкаемым свидетельством она представляется. Но источник этот для биографии Пушкина еще не подвергался критике и брался только на веру. А между тем у нас есть о письме Жуковского одно заявление, которым не следовало бы



пренебрегать, ибо оно исходит тоже от очевидца и человека, которому должно верить, — от П. А. Плетнева. В письме к Я. К. Гроту от 3 декабря 1847 года он пишет: «Ты, кажется, не все выразумел, что я думал, говоря об истории. Мне сердце сжала мысль, как неверно то, чем занимаемся мы с увлечением. Не от того дело портится, что много плохих историков, а от того, что это самое дело превышает естественные способы наши к его неукоризненному исполнению. Подобная мысль сжимает мое сердце уже второй раз в жизни. В первый раз это было, когда я прочитал известную прекрасную статью Жуковского под названием „Последние минуты Пушкина". Я был свидетель этих последних минут поэта. Несколько дней они были в порядке и ясности у меня на сердце. *Когда я прочитал Жуковского, я поражен был сбивчивостью и неточностью его рассказа*; тогда-то я подумал в первый раз: так вот что значит наша история... я тогда же мог бы хоть для себя сделать перемены в этой статье. Но время ушло. У меня самого потемнело и сбилось в голове все, казавшееся окрепшим навеки»[1].

Слова Плетнева вызывают на критическое отношение к статье

[1] «Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым», т. III, стр. 159.

Жуковского и обязывают выяснить, в какой мере она может быть признана соответствующей действительности. Выяснение может идти по двум путям. Во-первых, должно и можно проверить статью Жуковского сравнением с другими источниками — письмами Вяземского и Тургенева и записками врачей. Во-вторых, надо дать анализ содержания самой статьи и решить вопрос о возможности внутренних противоречий. С этой целью необходимо произвести и филологическую работу: сравнение редакций печатных и известных нам списков. Последняя работа была, впрочем, невозможна, ибо авторских рукописей письма не было известно. Только в самое последнее время стало возможным изучение списков письма, находящихся в собрании А. Ф. Онегина, принадлежащем ныне Пушкинскому дому. Эти соображения о методе исследования мы должны положить в основу критики письма Жуковского как исторического источника.

Для нашей цели представляется необходимым критическое издание самого текста статьи Жуковского.

Выше было упомянуто о двух печатных редакциях: краткой в «Современнике» и полной по дополнениям «Русского архива». В собрании А. Ф. Онегина оказалось два весьма авторитетных списка письма, зарегистрированных в описании Б. Л. Модзалевского под № 63 в серии «Документы из бумаг Жуковского». Первый список — тетрадка в 12 листов почтовой бумаги большого формата: текстом занято в ней 11 листов. Это — черновик с многочисленнейшими исправлениями, часть коих сделана, чернилами и карандашом, самим Жуковским. Второй список — тетрадка из такой же бумаги в 18 листов, из которых записано 17. Здесь текст перебелен без помарок, весьма тщательно. Карандашом сделаны кое-какие пометы и намечены места, исключенные в печати.

При ближайшем изучении выяснилось, что текст первого списка до исправлений, тут же сделанных, представляет первоначальную редакцию письма и приобретает весьма значительный интерес в двух отношениях. Во-первых, часть этой редакции отсутствует в обеих печатных редакциях — как полной, так и сокращенной — и, следовательно, становится известной впервые. Надо думать, первый замысел Жуковского был — изложить не только историю умирания Пушкина, но и обстоятельства самого поединка. Но рассказ о поединке, имеющийся в первоначальной редакции, не попал в нашедшие распространение тексты. Во-вторых, анализ исправлений и изменений, сделанных в первоначальной редакции, дает возможность вскрыть самый процесс последовательной работы Жуковского над фактическим материалом, легшим в основу статьи, и установить факт весьма своеобразного использования этого материала. От установления этого факта уже нетрудно перейти к определению степени зависимости фактического изложения от тенденций, руководивших Жуковским в составлении описания, и к выяснению действительного значения его статьи как фактического источника. Получаются выводы весьма любопытные и важные для фактической истории последних дней жизни поэта.

Мы издаем тот текст статьи Жуковского, который читается в первом списке, как он был положен на бумагу, до начала каких-либо исправлений. Это — первоначальная и самая полная редакция письма. Ее Жуковский основательно «проредактировал»: внес много изменений и сделал сокращения. Все изменения и сокращения, кото-

рые в большей части сделаны Жуковским тут же, на этом списке, и лишь в незначительной части находятся в других списках и печатных редакциях, указываются нами в примечаниях. В окончательном виде читается письмо во втором списке. Первоначальная редакция сравнена мною с текстом краткой редакции в «Современнике» и полной по «Русскому архиву».

Нетрудно сразу же определить мотивы, по которым были совершены Жуковским исключения для «Современника». Очевидно, в печати Жуковский не мог или не должен был упоминать о том, что болезнь Пушкина была результатом дуэли, о том, как держал себя в этих обстоятельствах император Николай Павлович, и о том, какое отношение проявили в этом случае некоторые иностранные дипломаты, как барон Барант и барон Люцероде. Особенно странным является первый мотив умолчания, но, действительно, если статью Жуковского прочтет человек, не слыхавший, что Пушкин дрался на дуэли и был ранен, он никогда не узнает и не поймет, отчего же помер Пушкин и зачем ему нужно было прощение государя. Жуковский, например, всегда выбрасывает слово «рана» и поэтому не останавливается перед изменением подлинных слов Пушкина. Так, диалог между Пушкиным и первым осматривавшим его врачом Шольцем изменен следующим образом. В скобках ставим тот текст, который был первоначально, до исправлений, в первом списке и который сходен с текстом записки Шольца. Пушкин спрашивает:

«Что вы думаете о моем положении? [...о моей ране; я чувствовал при выстреле сильный удар в бок и горячо стрельнуло в поясницу. Дорогою шло много крови.] Скажите откровенно [,как вы находите рану?]

Не могу вам скрыть, вы в опасности [она опасная].

Скажите лучше умираю. [Скажите мне, смертельная!]»

Одного примера достаточно. Но для нас ценнее не отличие одной печатной редакции от другой, а отличие всех их от первоначальной.

Не ограничивая своей задачи сравнением редакций, в примечаниях мы даем материал для суждения об отношении Жуковского к своим источникам и другим современным свидетельствам. Непосредственными источниками являются печатаемые ниже записки врачей Шольца, Спасского и Даля. Из свидетельств мы привлекаем письма князя Вяземского к А. Я. Булгакову и великому князю Михаилу Павловичу и письма А. И. Тургенева. Мы имеем еще рассказ со слов очевидца и очень важного свидетеля К. К. Данзаса в книге «Последние дни жизни и кончина А. С. Пушкина. Со слов бывшего его лицейского товарища и секунданта К. К. Данзаса. Изд. Я. А. Исакова, Спб., 1863». Значение рассказов со слов Данзаса сильно ослабляется по двумя соображениям: они только «со слов» — и, кроме того, записаны уже значительно позже событий, о которых в них идет речь. Поэтому этим источником мы пользуемся лишь в редких случаях.

Отсылая за подробностями сравнения к примечаниям, здесь наметим только главные выводы, которые дает критическая проверка текста письма Жуковского.

2

П. А. Плетнев был поражен сбивчивостью и неточностью рассказа Жуковского. Подозрение в неточности возникает тотчас же, если поставить на разрешение задачу хронологическую, задачу определения, что в какой момент случилось. Жуковский пользовался записками врачей, и в примечаниях наших читатель найдет не одно указание на то, что фразу, приуроченную тем или иным источником к одному месту или к одному времени, Жуковский переносит в другое время и место. С своими источниками, т. е. главнейшим образом записками врачей, Жуковский обращается вполне свободно: он не останавливается даже перед редакцией тех подлинных слов Пушкина, которые приводятся в записках. Иногда эти изменения вызываются соображениями цензурными, по временам — просто литературными вкусами самого Жуковского, а кое-где — и его нарочитыми соображениями. Так, например, приводя в передаче доктора Спасского слова Пушкина о жене («не скрывайте от нее, в чем дело; она не притворщица, вы ее хорошо знаете»), Жуковский опускает еще одну фразу: «она должна все знать». Особенно чувствуется сбивчивость показаний Жуковского, излагающих отношение больного Пушкина к жене. Так, в первоначальной редакции Жуковский рассказывает, как жена встретила больного в передней, упала без чувств и, очнувшись, хотела войти в кабинет и как Пушкин закричал: «n'entrez pas». А по печатной редакции оказывается, что жена ничего не знала о прибытии раненого и хотела войти в кабинет, а он закричал: «n'entrez pas, il y a du monde chez moi». Первоначальная версия о первой встрече жены с Пушкиным соответствует и рассказу Данзаса, а главное, сообщению самого Жуковского в конспективных его записках, печатаемых дальше. «Жена встретилась в передней — дурнота — n'entrez pas». Остается неясным, по каким причинам Жуковский допустил явное искажение действительного факта. Еще одно противоречие бросается в глаза. Жуковский, как, впрочем, и князь Вяземский, старательно подчеркивает все изъявления заботливости умирающего Пушкина о жене, все выражения любви его к ней. Оно и понятно. Князь Вяземский совершенно отчетливо выразил основную задачу: «Более всего не забывайте, — писал он 9 февраля 1837 года А. Я. Булгакову, — что Пушкин нам всем, друзьям своим, как истинным душеприказчикам, завещал священную обязанность: оградить имя жены его от клеветы. Он жил и умер в чувстве любви к ней и в убеждении, что она невинна. И мы, очевидцы всего, что было, проникнуты этим убеждением. Это главное в настоящем положении»[1]. Жуковский несколько раз возвращается к заявлениям о том, как Пушкин, из любви к жене и из нежелания ее беспокоить, старался скрыть от нее свои страдания, представить свою рану неопасной и т. д. И рядом с этими заявлениями сам же Жуковский приводит фразу, сказанную Пушкиным вечером 27 января Спасскому: «...не давайте излишних надежд жене, не скрывайте от нее, в чем дело... она должна все знать». Весьма знаменателен тот мотив, который, по объяснению А. И. Тургенева, побудил Пушкина не скрывать своего опасного положения от жены. «Пушкин сказал

[1] «Пушкин и его современники», вып. VI, стр. 54.

жене: «Arnd m'a condamné, je suis blessé mortellement». Он беспокоится за жену, думая, что она ничего не знает об опасности, и говорит, что «люди заедят ее, думая, что она в эти минуты была равнодушною»: это решило его сказать ей об опасности». С обстоятельством, засвидетельствованным Спасским и Тургеневым, мало согласуются многие подробности, сообщаемые Жуковским.

3.

Вопрос о христианских чувствах Пушкина в момент кончины поднят и решен Жуковским в связи с изложением обстоятельств исполнения им христианского долга. Этот эпизод связан с эпизодом получения Пушкиным записки от государя. На нем следует остановиться подробнее.

История записки государя к Пушкину очень загадочна. Совершенно непонятно, почему Арендту было приказано не оставлять записки Пушкину, а только прочесть и вернуть обратно. По Жуковскому, Пушкин настоятельно умолял оставить ее при нем, и Арендт «успокоил его обещанием испросить на то позволение», но письмо все-таки не вернулось к Пушкину. Когда было привезено и прочитано это письмо Арендтом? По рассказу Спасского, Арендт, вернувшись в 8 часов, остался с Пушкиным наедине. Затем при нем же явился священник и приобщил его. Следующий приезд Арендта, по Спасскому, был уже в 11 часов; в этот приезд он уже не мог бы привезти записки, в которой государь давал просимое Пушкиным прощение и совет исполнить христианский долг. Ведь, если записка явилась ответом на доклад Арендта, хотя бы и заочный, то, несомненно, докладывая просьбу Пушкина о прощении, он, только что бывший свидетелем исполнения христианского долга, не преминул бы доложить о свершившемся факте. Если верить рассказу Спасского, написанному 2 февраля, то записка государя была прочитана Арендтом уже во второй его приезд, когда он вернулся в 8 часов вечера. Надо, впрочем, подчеркнуть, что Спасский не упоминает о факте чтения записки. По рассказу Жуковского, составлявшемуся значительно позже, Арендт приехал с запиской в полночь[1]. Любопытно сопоставить с этими данными и сообщение Тургенева в письме к Нефедьевой. Хронологически это самое первое известие о дуэли и болезни Пушкина. А. И. Тургенев корреспондировал, так сказать, с места: он писал свое письмо в 9 часов утра от себя, собираясь идти вновь в дом Пушкина, из которого он ушел в 4-м часу утра. А прибыл он туда с вечеринки князя Щербатова уже после Жуковского, бывшего там между 10 и 11 часами. И вот в первом своем письме, писанном в 9 часов утра, Тургенев совершенно не упоминает о записке государя. По изложению Тургенева, дело про-

[1] В камер-фурьерском журнале ни посещение Арендта, ни посещение Жуковского не зарегистрированы. Государь вечером 27 января действительно был в Каменном театре вместе с гостившим в то время в Петербурге принцем Карлом Прусским. Из дворца он отбыл в 8 час. 10 мин. и вернулся в 10 час. 55 минут. Возможно, что существовало в действительности только письмо царя к Арендту, а в этом письме были строки, относящиеся к Пушкину. См. заметку Ю. Г. Оксмана в книжке «Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина». «Атеней», 1924.

исходило так: «Пушкин просит Арендта съездить к государю и попросить у него прощение секунданту Данзасу, коего подхватил он на дороге,—и себе самому; государь прислал к нему Арендта сказать, что *если он исповедуется и причастится, то ему это будет очень приятно и что он простит его.* Пушкин обрадовался, послал за священником и приобщился после исповеди... Государь велел сказать ему, что он не оставит жены и детей его: это его обрадовало и успокоило[1]. Итак, по этому раннейшему отчету выходит, что во-1) записки вовсе не было, и во-2) исполнение Пушкиным христианского долга было в какой-то зависимости от выраженного государем совета-желания и обещания простить, обусловленного именно соблюдением обряда. По Спасскому же, Пушкин изъявил желание исповедаться и приобщиться до приезда Арендта; тогда же и было послано за священником. По Жуковскому, Пушкин согласился исполнить долг, но «положено было» призвать священника утром. Послали же за священником тотчас же по приезде Арендта, специально вследствие выраженной в записке воли[2].

Тургенев, отправив письмо Нефедьевой, отправился в дом Пушкина и отсюда в 11 часов утра писал нечто иное: «Государь прислал к нему вчера[3] же Арендта с письмом, писанным карандашом, которое велел прочесть Пушкину и привезти к себе назад: вот à peu près выражения письма: «Есть ли Бог не велит уже нам увидеться на этом свете, то прими мое прощение и совет умереть по-христиански и причаститься, а о жене и детях не беспокойся. Они будут моими детьми, и я беру их на свое попечение».—Это обрадовало Пушкина и успокоило».

Но почему же Тургенев, просидевший у Пушкина до 4 часов утра, узнал о таком важном факте только утром 29 января? Ответ представляется затруднительным. Но если записка была, то какое же было ее содержание? Уехав в полночь (если еще не раньше, если еще не вечером), Арендт уже увозил ее с собой. Показал ли он ее наполнявшим комнаты Пушкина его друзьям? Нет, ибо если бы показал хотя бы Жуковскому, то Тургенев уже, конечно, написал бы об этом в письме, отправленном в 9 часов утра. Если самый факт чтения собственноручной записки государя сделался известен друзьям Пушкина значительно позже, через несколько часов после того, как записки самой уже не было, то каким образом сделался известен ее текст? Он не был никем записан; иначе он не варьировался бы во всех, самых авторитетных списках у Вяземского, Тургенева, Жуковского.

Мало того, он варьируется под пером одного и того же лица. Так, Тургеневу пришлось сообщить текст записки еще раз, 31 января, в письме к брату Николаю Ивановичу. В текстах сказалось различие. Воспроизводим еще раз текст записки по спискам Тургенева, отмечая в прямых скобках отличие по письму к брату.

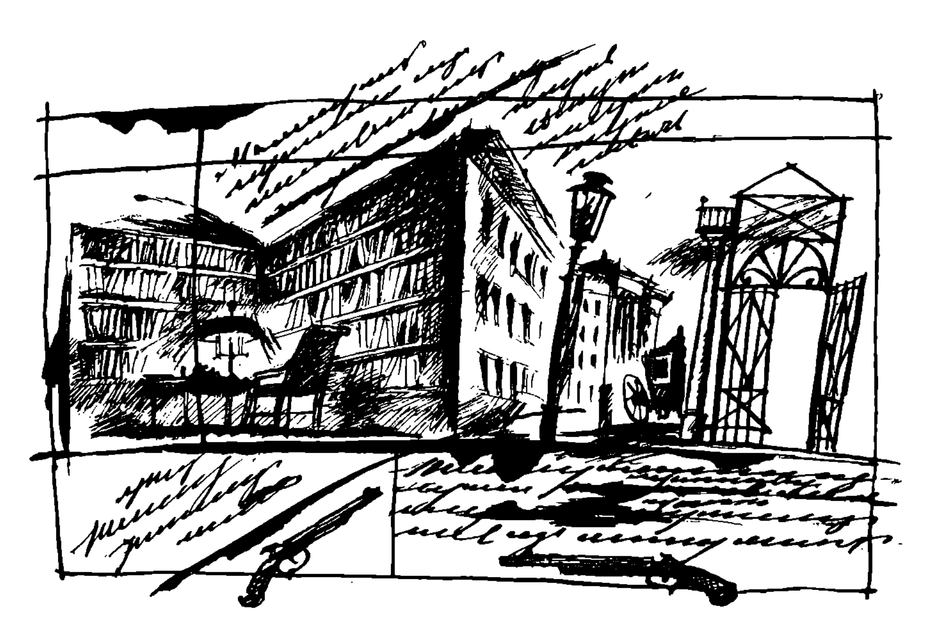
«Есть ли бог не велит уже нам увидеться [не приведет нам

---

[1] «Пушкин и его современники». Вып. VI. Спб., 1908. Новые материалы для биографии Пушкина, стр. 47—51.

[2] По поздней записи рассказов Данзаса (цит. соч., стр. 30). Пушкин приобщался после отъезда Арендта и до его приезда с запиской.

[3] Вчера, но ночью; по рассказу Спасского, факт имел место вчера, а по рассказу Жуковского — ночью.



свидеться] на этом свете, то прими мое прощение и совет умереть по-христиански и причаститься [исполнить долг христ. исповедайся и причастись]; а о жене и о детях не беспокойся. Они будут моими детьми, и я беру их на свое попечение».

А в своем дневнике под 27 января (л. 71) А. И. Тургенев сообщил записку государя уже с новыми изменениями:

«Есть ли бог не велит нам свидеться на этом свете, то прими мое прощенье (которого Пушкин просил у него себе и Данзасу) и совет умереть христианином, исповедаться и причаститься; а за жену и детей не беспокойся: они мои дети и буду пещись о них».

Князь Вяземский в письме к А. Я. Булгакову дает следующий текст:

«Есть ли бог не приведет нас свидеться в здешнем свете, посылаю тебе мое прощение и последний совет: умереть христианином. О жене и детях не беспокойся: я беру их на свои руки».

Переходя к сообщению Жуковского и обращаясь к черновику его письма к С. Л. Пушкину, мы можем видеть, как Жуковский работал над установлением текста. Приводим текст окончательный, отмечая в скобках первоначальные чтения.

«Есть ли бог не велит нам более увидеться, [прими] посылаю тебе мое прощение, [а с ним и] и вместе мой совет: [кончить жизнь христиански] исполнить долг христианский. О жене и детях не беспокойся; я их беру на свое попечение».

Итак точный текст записки Николая Павловича нам неизвестен. Но содержание слов, написанных государем или только устно переданных, по всем версиям одинаково: они содержали обещание позаботиться о жене и детях Пушкина и, кроме того, настоятельный совет исполнить христианский долг. Исполнением долга, быть может, было обусловлено просимое прощение. Несмотря на то, что Спасский, Жуковский и Вяземский стараются представить дело так, что

Пушкин согласился исполнить христианский долг по собственному почину, приходится признать, что обращение к священнику было совершено под воздействием устно через Арендта или письменно выраженной воли государя.

Вяземский и Жуковский стараются изобразить смерть Пушкина как момент замирения противоположных чувств, момент забвения обид и вражды, момент высшего просветления, или вообще как идеал христианской кончины в боге. «Дай бог, — говорит князь Вяземский, — нам каждому подобную кончину». В описаниях Вяземского и Жуковского немало риторических мест, и если таланту Жуковского была свойственна некоторая риторичность, мешающая различать риторику слова и риторику факта, то князю Вяземскому это свойство было чуждо, и он поистине не похож сам на себя в своих риторических отступлениях. Но соответствие действительности в набросанной друзьями картине смерти окажется весьма сомнительным, если вспомним оброненный Тургеневым рассказ в письме к Нефедьевой от 1 февраля: «Когда Жуковский представлял государю записку о семействе Пушкина, то, сказав все, что у него было на сердце, он прибавил à peu près так: „Для себя же, государь, я прошу той же милости, какою я уже воспользовался при кончине Карамзина: позвольте мне так же, как и тогда, написать указы о том, что Вы повелеть изволите для Пушкина“ (Жуковский писал докладную записку и указы о пенсии Карамзину и семейству его). На это государь отвечал Жуковскому: „Ты видишь, что я делаю все, что можно для Пушкина и для семейства его, и на все согласен, но в одном только не могу согласиться с тобою: это в том, чтобы ты написал указы как о Карамзине. Есть разница: ты видишь, что мы насилу довели его до смерти христианской (разумея, вероятно, совет государя исповедаться и причаститься), а Карамзин умирал, как ангел“». Сообщая о том же факте своему брату 31 января, Тургенев писал немного иначе: «Государь отвечал: „Я во всем с тобою согласен, кроме сравнения твоего с Карамзиным. Для Пушкина я все готов сделать, но я не могу сравнить его в уважении с Карамзиным. Тот умирал, как ангел“». К этому следует добавить слова Д. В. Дашкова, который передавал князю Вяземскому, что государь сказал ему: «Какой чудак Жуковский! Пристает ко мне, чтобы я семье Пушкина назначил такую же пенсию, как семье Карамзина. Он не хочет сообразить, что Карамзин человек почти святой, а какова была жизнь Пушкина»[1]. Если бы все происходило так, как описывают Вяземский и Жуковский, то вряд ли бы в императоре могло возникнуть такое нехорошее мнение о последних минутах жизни Пушкина! Ясно, таким образом, что рассказам Жуковского и Вяземского нельзя доверять. Эпизод с запиской государя и исполнением христианского долга для нас остается темным и весьма недоуменным; но можно, кажется, утверждать, что в действительности события развивались не так, как изображено у друзей Пушкина.

4.

Переходим к тому изображению патриотических чувств Пушкина, которое находим в письме Жуковского.

---

[1] «Русск. арх.», 1888, II, стр. 297. Сравн. «Русск. арх.» 1906, III, стр. 619.

«Несколько слов, произнесенных Пушкиным на своем смертном одре, доказали, насколько он был привязан, предан и благодарен государю», — писал князь П. А. Вяземский великому князю Михаилу Павловичу. «В эти два дня (дни предсмертных мучений) Пушкин только и начинал говорить, что о жене и о государе» — читаем в письме Вяземского к А. Я. Булгакову. Одною из главнейших задач друзей Пушкина было показать силу и глубину верноподданнических чувств Пушкина, тех чувств, в которых сильно сомневались и граф Бенкендорф, и сам Николай Павлович. И действительно, об этих чувствах свидетельствует фраза Пушкина, напечатанная курсивом в «Современнике» в описании Жуковского: *«Скажи государю, что мне жаль умереть; был бы весь его. Скажи, что я ему желаю долгого царствования, что я ему желаю счастия в его сыне, счастия в его России».* Эта патриотическая фраза, конечно, не была произнесена Пушкиным, а была сочинена Жуковским; за авторство Жуковского говорит ее стиль с закруглениями и повторениями. Несомненно также, что не мог Пушкин говорить столь долго и столь стройно среди тяжких физических страданий. Даже прощаясь с друзьями, он не в состоянии был сказать им слово. Но если бы мы попытались выяснить, когда и кому была сказана эта фраза, то мы констатировали бы полное расхождение в показаниях друзей Пушкина. Такая фраза должна бы отлиться в неизменную форму в памяти свидетелей кончины. А между тем в самом точном источнике — в письмах А. И. Тургенева, писанных в комнатах Пушкина в самый час развертывавшихся событий, такой фразы нет[1]. Только в письме от 28 января под датой «2-й час» (дня) Тургенев, не придавая эпизоду еще того значения, которое было закреплено Вяземским и Жуковским, упоминает лишь о следующем: «Прежде получения письма государя сказал: жду царского слова, чтобы умереть спокойно» и еще: «жаль, что умираю: весь его бы был», т. е. царев». По Тургеневу выходит, что слова эти сказаны были задолго до прощания с друзьями, до получения письма, т. е. по крайней мере до 12 часов ночи. В письме к А. Я. Булгакову князь Вяземский относит произнесение этих слов ко времени получения записки государя. «Скажите государю, — говорил Пушкин Арендту, — что жалею о потере жизни, потому что не могу изъявить ему мою благодарность, что я был бы весь его!» Итак, по этой версии, слова эти были сказаны Арендту. Но князь Вяземский, как бы боясь возможных сомнений, счел нужным заверить истину факта еще следующим утверждением в скобках: «Эти слова слышаны мною и врезались в память и сердце мое по чувству, с коим они были произнесены». Но если слова были сказаны Арендту часов в 12 ночи, когда была прочтена записка, то князь Вяземский не присутствовал в этот момент, ибо, как из сообщения Спасского видно, Арендт говорил с Пушкиным наедине, это во-первых, а во-вторых, никто из друзей не входил в комнату умирающего. «Я провел в доме Пушкина, — говорит Тургенев, — до 4-го часа утра с Жуковским, гр. Вьельгорским, Данзасом: но к нему входит только один Данзас». Но, может быть, князь Вяземский ошибся: не Арендту были сказаны эти слова, а Жуковскому. «В одном

---

[1] А в дневнике, сообщив текст записки, Тургенев добавляет всего лишь следующее: «Пушкин сложил руки и благодарил бога, сказав, чтобы Жуковский передал государю благодарность».

современном списке с этого письма — говорится в примечании к тексту письма в «Русском архиве» — слова „говорил Арендту“ зачеркнуты и рукою князя П. А. Вяземского вместо них написано: „сказал Жуковскому“». Но не сделаны ли эти поправки князем Вяземским, когда уже распространилось письмо Жуковского к С. Л. Пушкину. В подлиннике письма, писанном 5 февраля, стоит «говорил Арендту»; так точно и в копии письма, приложенной к письму князя Вяземского к великому князю Михаилу Павловичу от 14 февраля[1].

Обращаясь теперь к сообщению Жуковского, мы можем, благодаря сохранившимся черновикам, восстановить процесс постепенной разработки этой фразы, постепенного ее округления. Рассказ о сцене прощания и о том, как Пушкин только махнул рукою, когда Жуковский с ним прощался, кончается фразой «я отошел», а после этих слов в черновике следовало: «также простился он и с Вяземским», но над строкой знаком # отмечена вставка, которую Жуковский предложил перенести из последующего своего рассказа. Сообщив о своем решении (после того, как услышал слова Пушкина: «Жду царского слова, чтобы умереть покойно») ехать к государю, Жуковский объясняет свои мотивы: «Надобно знать, что, простившись с Пушкиным, я опять возвратился к его постели и сказал ему: „Может быть, я увижу государя; что мне сказать ему от тебя“. — „Скажи ему, — отвечал он, — что мне жаль умереть; был бы *весь* его“». Эти слова были выделены скобками, как подлежащие перенесению в отмеченное место, но здесь же для этой цели они были выправлены так: «Но через минуту я возвратился к его постели и спросил у него, может быть, увижу государя; что мне сказать ему от тебя. „Скажи, — отвечал он, — что мне жаль умереть; был бы *весь* его“». Но на этом разработка слов Пушкина еще не закончилась, ибо при слове *весь* Жуковский сделал карандашом отметку, а вверху страницы, повторяя эту отметку, он карандашом же написал: «В другой раз нет... нет скажи, что я... я желаю ему долгого... долгого». На этих карандашных строках Жуковский наконец написал слова Пушкина в окончательной редакции: «Он опять подозвал меня: „Скажи государю, — сказал он, — что мне жаль умирать: был бы весь его. Скажи, что я ему желаю долгого, долгого царствования — что я ему желаю счастия в его сыне, счастия в его России“. Эти слова говорил он слабо, отрывисто, но явственно». Эта редакция была тут же перечеркнута самим Жуковским. Итак, по первоначальной редакции выходит, что, выслушав слова Пушкина («Скажи ему, что мне жаль умереть; был бы весь его»), Жуковский отправился к государю и встретил фельдъегеря, посланного от царя звать Жуковского во дворец. «Я рассказал, — пишет Жуковский, — о том, что говорил Пушкин. Я счел долгом сообщить эти слова немедленно Вашему величеству». Затем Жуковский передал государю просьбу за Данзаса и не получил на нее удовлетворительного ответа. Тем не менее Жуковский пишет: «Я возвратился с *утешительным* ответом государя. Выслушав меня, он поднял руки к небу с каким-то судорожным движением: «Вот как я утешен! — сказал он. — Скажи государю, что я желаю ему счастия в его сыне, что я желаю ему

[1] Так и в том списке, по которому письмо к Булгакову напечатано в «Русской старине», т. XIV (1875 г.), стр. 92—96.

счастия в его России». Эти слова говорил слабо, отрывисто, но явственно».

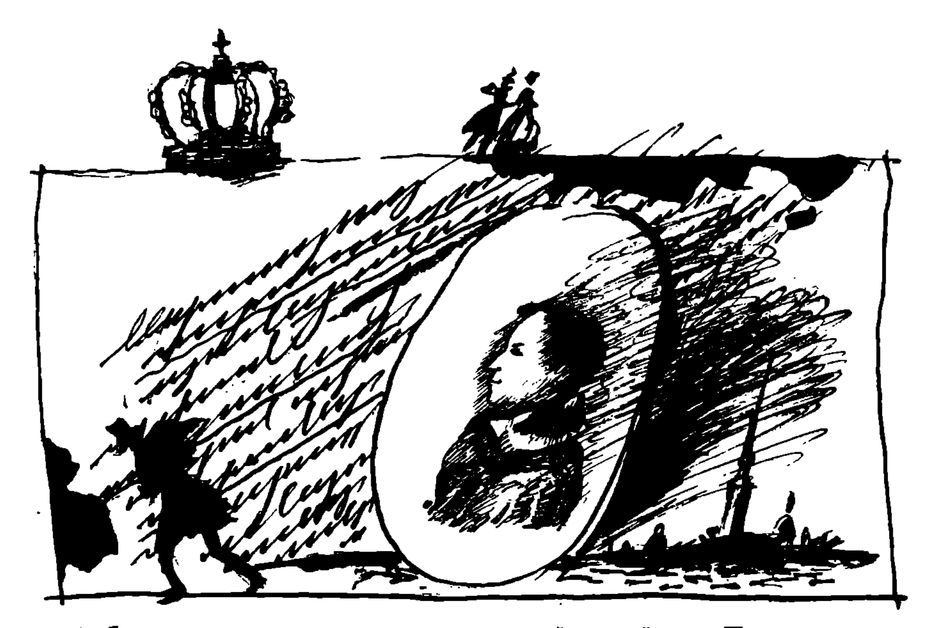
Из изложения процесса работы Жуковского над воссозданием или, вернее, над созданием патриотических слов Пушкина обнаруживается сомнительность самого факта их произнесения. Пушкин среди своих мучений так мало и редко говорил, что каждое слово отпечатывалось в памяти, и странно было бы забыть или спутать его слова, особенно такие торжественные. Признавая всю возможную слабость человеческой памяти, нельзя же думать, что Жуковский мог забыть и спутать обстоятельства. Но мы имеем в своем распоряжении один документ, в котором Жуковский выдает себя с головой

В черновом проекте просьбы о милостях семье Пушкина, который напечатан впервые в III отделе нашей работы, Жуковский, между прочим, просит у государя разрешения написать по поводу смерти Пушкина особую бумагу, или манифест, вроде того, который он, Жуковский, написал после смерти Карамзина. Желая подвигнуть государя к согласию, Жуковский пишет: «Мною передано было от вас последнее радостное слово, услышанное Пушкиным на земле. Вот что он отвечал, подняв руки к небу с каким-то судорожным движением (и *что я вчера забыл передать Вашему величеству*): как я утешен! скажи государю, что я желаю ему долгого, долгого царствования, что я желаю ему счастия в сыне, что я желаю счастия в счастии России».

Трудно, почти невозможно допустить, что Жуковский забыл бы передать государю такие слова Пушкина, докладывая ему о последних минутах Пушкина. Легче допустить, что эти слова создались сами собой в голове и сердце Жуковского. И не принять ли за истинную — версию, записанную в дневнике Тургенева: «Пушкин сложил руки и благодарил бога, сказав, чтобы Жуковский передал государю благодарность»? Не дали ли «сложенные руки» повод Жуковскому говорить о судорожном движении, а изъявление чувства благодарности не развернулось ли в риторическую фразу?

5.

Приведенными выше наблюдениями и данными анализа текста значение письма Жуковского, как непреложного и достоверного источника, сильно подрывается. Ясно, что картины смерти Пушкина, набросанные Жуковским, не соответствуют действительности. Самые факты Жуковский подгонял в угоду излюбленным своим тенденциям. Академиком А. Н. Веселовским отмечено присущее Жуковскому стремление к своеобразной идеализации всего, к чему он ни прикасался. Процесс идеализации совершался у него бессознательно. Эта особенность творческого дарования Жуковского отразилась и на разбираемом письме не на пользу истине факта. Пушкин у него явился таким же христианином и патриотом по настроению и чувству, каким был он сам, Жуковский. Но не только указанная творческая особенность играла роль при воссоздании истории последних минут Пушкина. После катастрофической смерти Пушкина надлежало охранить моральные и материальные интересы семьи Пушкина, и надо отдать справедливость — Жуковский и друзья Пушкина совершили с этой целью в пределе земном все земное. Но охрана материальных инте-



ресов была неразрывно связана с защитой покойного Пушкина против сыпавшихся на него обвинений и в безбожии, и в неблагодарности императору, и в отсутствии у него истинного патриотизма, и в забвении истинно монархических начал. Дело друзей Пушкина обострялось еще и тем обстоятельством, что эти обвинения падали и на них, как на друзей Пушкина. Защищая Пушкина, они защищали, следовательно, и себя. Допустим, что помянутые обвинения в значительной мере не соответствовали действительности. Значит ли такое допущение, что абсолютно верны опровергающие утверждения Жуковского и Вяземского? Не перегнули ли они слишком в обратную сторону? А между тем, надо признать, что победу и в памяти современников, и в памяти потомства одержали они, друзья Пушкина. Своим пониманием Пушкина, которое было манифестировано ими сейчас же после смерти и по поводу ее, они заразили всех исследователей и биографов Пушкина.

Поэтому-то совершенно особенное значение приобретают те разоблачения, которые приносит критика письма Жуковского, как исторического источника. Ибо пострадавшим является не только «самое достоверное» изображение последних минут Пушкина, но и связанное с ним известное представление о Пушкине в последние годы, о религиозных и политических основах его миросозерцания. Мы получаем возможность отрешиться, наконец, от навязанного нам Жуковским образа поэта: мы не приобретаем, правда, положительных знаний о нем, но мы можем сказать, что перо Жуковского не считалось с действительным положением вещей; можем сказать, что ни предсмертные настроения Пушкина, ни сокровенные глубины его души не были такими, какими они явились в изображении Жуковского. Какими же они были в действительности? Ответить на этот вопрос мы сейчас не можем, но мы будем искать ответа, ибо

теперь нет у нас ни достоверной картины последних дней жизни поэта, ни авторитетной и бесспорной характеристики его духовной личности в последние годы.

---

2. ПИСЬМО В. А. ЖУКОВСКОГО К С. Л. ПУШКИНУ В ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ РЕДАКЦИИ

Здесь печатается первоначальная редакция письма Жуковского, т. е. тот текст, который читался в первом (черновом) из указанных выше двух списков до начала каких-либо исправлений.

Все исправления и изменения, сделанные в этом списке, приводятся в примечаниях, в которых этот список обозначается буквою А.

Буква *ж* в скобках (*ж*) означает, что исправления сделаны собственноручно Жуковским. В примечаниях даются все разночтения по второму (беловому) списку, обозначаемому буквою *В*, по краткой печатной редакции «Современника», отмечаемой буквою С[1], и по полной «Русского архива» — *D*.

Для целей сравнения и удобства сносок текст разделен на параграфы, а в некоторых параграфах даже на отдельные фразы. § 8 первоначальной редакции до нашего издания не был до сих пор известен ни в полной, ни в краткой печатных редакциях; исключены были в краткой редакции «Современника» и стали известны по сообщению «Русского архива» § 2, 4, 15_{2-3}, 19_4, 23, 24, 26, 38—41, 49, 50, $51_{5 и 10}$, 61, 64, 67.

[§ 1] Я не имел духу писать тебе, мой бедный Сергей Львович. Что я мог тебе сказать, угнетенный нашим общим несчастием, которое упало на нас, как обвал, и всех раздавило? Нашего Пушкина нет! это, к несчастию, верно; но все еще кажется невероятным. Мысль, что его нет, еще не может войти в порядок обыкновенных, ясных, ежедневных мыслей. Еще по привычке продолжаешь искать его, еще так естественно ожидать с ним встречи в некоторые условные часы; еще посреди наших разговоров как будто отзывается его голос, как будто раздается[2] его живой, веселый[3] смех, и там, где он бывал ежедневно, ничто не переменилось, нет и признаков бедственной утраты, все в обыкновенном порядке, все на

---

[1] В *С* тексту письма предпослано следующее введение: «Россия потеряла Пушкина в ту минуту, когда гений его, созревший в опытах жизни, размышлением и наукою, готовился действовать полною силою, — потеря невозвратная и ничем невознаградимая. Что бы он написал, если бы судьба так внезапно не сорвала его со славной, едва начатой им дороги? В бумагах, после него оставшихся, найдено много начатого, весьма мало конченого; с благоговейною любовию к его памяти мы сохраним все, что можно будет сохранить из сих драгоценных остатков; и они в свое время будут изданы в свет*. Здесь сообщаются читателям известия о последних минутах его жизни. Они написаны просто и подробно в письме к несчастному отцу его*. *Примечание.* Вскоре за полным изданием сочинений, уже известных публике и теперь издаваемых в шести частях по подписке. Если напечатать все найденное в рукописях Пушкина, то, конечно, составится два хороших тома, или и *пять,* если присоединить к литературным отрывкам все материалы, приготовленные для Истории Петра Великого. *Ж*».

[2] До исправления читалась явная описка: «рождается».

[3] ребячески-веселый — *АС*, ребяческий веселый — *В*.

своем месте; а он пропал, и навсегда — непостижимо. В одну минуту погибла сильная, крепкая жизнь, полная Гения, светлая надеждами. Не говорю о тебе, бедной[1] дряхлой[1] отец; не говорю об нас, горюющих друзьях его. Россия лишилась своего любимого, национального поэта. Он пропал для нее в ту минуту, когда его созреванье совершалось; пропал, достигнув до той поворотной черты, на которой душа наша, прощаясь с кипучею, буйною[2], часто[2] беспорядочною[2] силою молодости, тревожимой Гением, предается более спокойной, более образовательной силе здравого[3] мужества, столь же свежей, как и первая, может быть, не столь порывистой, но более творческой. У кого из русских с его смертию не оторвалось что-то родное из сердца?

[§ 2][4] И между всеми русскими особенную потерю сделал в нем сам государь. При начале своего царствования он его себе присвоил; он отворил[5] руки ему в то время, когда он был раздражен несчастием, им самим на себя навлеченным; он следил за ним до последнего его часа; бывали минуты, в которые, как буйный, еще не остепенившийся[6] ребенок, он навлекал на себя неудовольствие своего хранителя, но во всех изъявлениях неудовольствия со стороны государя было что-то нежное, отеческое. После каждого подобного случая связь между ими усиливалась, в одном — чувством испытанного им наслаждения простить, в другом — живым движением благодарности, которая более и более проникала душу Пушкина и наконец слилась в ней с поэзиею.

[§ 3][7] Государь потерял в нем свое создание, своего поэта, который принадлежал бы к славе его царствования, как Державин славе Екатерины, а Карамзин славе Александра.

[§ 4][8] И государь до последней минуты Пушкина остался верен своему благотворению. Он отозвался умирающему на последний земной крик его; и как отозвался? какое русское сердце не затрепетало благодарностью на этот голос царский? в этом голосе выражалось не одно личное, трогательное чувство, но вместе и любовь к народной славе и высокий приговор нравственный, достойный царя, представителя и славы и нравственности народной.

1.

[§ 5] Первые минуты ужасного горя для тебя прошли; теперь ты можешь меня слушать и плакать. Я опишу тебе все, что было в последние минуты твоего сына, что я видел сам, что мне рассказали другие очевидцы.

---

[1] бедный и дряхлый — *АС;* бедный дряхлый — *В.*

[2] иногда беспорядочно — *А (ж) ВС.*

[3] зрелого — *АВС.*

[4] Весь § 2 в *С* — исключен.

[5] развязал — *Д.*

[6] До исправления читалась явная описка: «неизменившийся».

[7] Этот § («Государь... Александра»), без всяких изменений повторяющийся в *Д,* в *А* после исправлений (наш век потерял... Славное царствование утратило...) получил следующую редакцию, повторяющуюся дословно в *С* и с отмеченным в прямых скобках отличием в *В:* «Слава нынешнего царствования утратила [потеряла — В] в нем своего поэта, который принадлежал бы ему, как Державин славе Екатеринина, а Карамзин — славе Александрова».

[8] Весь § 4 в *С* исключен.

[§ 6][1] Опишу просто все, что со мною было. В середу 27 числа генваря в 10 часов вечера приехал я к князю Вяземскому. Вхожу в переднюю. Мне говорят, что князь и княгиня у Пушкиных. Это показалось мне странным. Почему меня не позвали? Сходя с лестницы, я зашел к Валуеву. Он встретил меня словами: «Получили ли Вы записку княгини? К Вам давно послали. Поезжайте к Пушкину: он умирает; он смертельно ранен». Оглушенный этим известием, я побежал с лестницы, велел везти себя прямо к Пушкину, но, проезжая мимо Михайловского дворца и зная, что граф Вьельгорский находится у великой княгини (у которой тогда был концерт), велел его вызвать и сказать ему о случившемся, дабы он мог немедленно по окончании вечера, вслед за мною же приехать. Вхожу в переднюю (из которой дверь была прямо в кабинет твоего умирающего сына); нахожу в нем докторов Арендта и Спасского, князя Вяземского, князя Мещерского, Валуева. На вопрос мой: каков он? Арендт, который с самого начала не имел никакой надежды, отвечал мне: *очень плох, он умрет непременно.*

[§ 7] Вот что рассказали мне о случившемся[2].

[§ 8][3] Дуэль была решена накануне (во вторник 26 генваря); утром 27 числа Пушкин, еще не имея секунданта, вышел рано со двора. Встретясь на улице с своим лицейским товарищем, полковником[4] Данзасом, он посадил его с собою в сани и, не рассказывая ничего, повез к д'Аршиаку, секунданту своего противника. Там, прочитав перед Данзасом собственноручную копию с того письма, которое им было написано к министру Геккерну и которое произвело вызов от молодого Геккерена, он оставил Данзаса для условий с д'Аршиаком, а сам возвратился к себе и дожидался[5] спокойно развязки. Его спокойствие было удивительное; он занимался своим «Современником» и за час перед тем, как ему ехать стреляться, написал письмо к Ишимовой (сочинительнице «Русской истории для детей», трудившейся для[6] его журнала); в этом письме, довольно длинном, он говорит ей о назначенных им для перевода пиесах

---

[1] После значительных сокращений этот § получил в *А* следующую редакцию, с которой совершенно тождествен текст *С*. Единственное отличие текста *В* в том, что в нем не исключены слова, приводимые нами в прямых скобках: «В среду 27 числа, генваря, в 10 часов вечера, приехал я к князю Вяземскому. Мне сказывают, что и он и княгиня у Пушкиных: а Валуев, к которому я зашел, встречает меня словами: получили ли Вы записку княгини? За вами давно послали. Поезжайте к Пушкину: он умирает [он смертельно ранен]. Оглушенный этим известием, я побежал с лестницы. Приезжаю к Пушкину, в его прихожей пред дверьми его кабинета нахожу докторов Арендта и Спасского; князя Вяземского и князя Мещерского. На вопрос, каков он? Арендт отвечал мне: очень плохо; умрет непременно».

[2] Так в *С;* в *АВ* — о случившемся в этот день.

[3] Всего этого § совсем нет ни в *С*, ни в *D*. В этом исключенном отрывке останавливает внимание сообщение Жуковского о письме к А. О. Ишимовой. То письмо, которое мы знаем и которое печатается ныне («Переписка П.», Изд. имп. Академии наук, т. III, № 1148, стр. 451), не соответствует описанию Жуковского. Как объяснить это несоответствие, не знаю. Не отнести ли его за счет типичного для Жуковского приема: сентиментально-гиперболического приукрашивания действительности?

[4] подполковником — *В*.

[5] ждал — *АВ*.

[6] и для — *АВ*.

и входит в подробности о ее истории, на которую делает критические замечания, так просто и внимательно, как будто бы ничего иного у него в эту минуту[1] в[1] уме не было. Это письмо есть памятник удивительной силы духа: нельзя читать его без умиления, какой-то[2] благоговейной грусти; ясный, простосердечный слог его глубоко трогает, когда вспоминаешь при чтении, что писавший это письмо с такою беззаботностью через час уже лежал умирающий[3] от[3] раны[3]. По условию, Пушкин должен был встретиться[4] в[4] положенный[4] час[4] со[4] своим секундантом[4], кажется в кондитерской лавке Вольфа, дабы оттуда ехать на место; он пришел туда в[5] часов. Данзас уже его дожидался с санями; поехали; избранное[6] место[6] было[6] в[6] лесу[6] у Комендантской дачи; выехав из города, увидели впереди другие сани; это был Геккерн с своим секундантом; остановились почти в одно время и пошли в сторону от дороги; снег был по колена; по выборе места надобно было вытоптать в снегу площадку, чтобы и[7] тот[7] и[7] другой[7] удобно могли и[8] стоять[8] друг против друга и сходиться. Оба секунданта и Геккерн занялись этою работою; Пушкин сел на сугроб и смотрел на рсковое приготовление с большим равнодушием. Наконец, вытоптана была тропинка в аршин шириною и в двадцать шагов длиною; плащами означили барьеры, одна от другой в десяти шагах; каждый стал в пяти шагах позади своей. Данзас махнул шляпою; пошли, Пушкин почти дошел до своей барьеры; Геккерн за шаг от своей выстрелил; Пушкин упал лицом на плащ, и пистолет его увязнул в снегу так, что все дуло наполнилось снегом. Je suis blessé, — сказал он, падая. Геккерн хотел к нему подойти, но он, очнувшись, сказал: Ne bougez pas; je me sens encore assez fort, pour tirer mon coup. Данзас подал ему другой пистолет. Он оперся на левую руку, лежа прицелился, выстрелил, и Геккерн упал, но[9] его[9] сбила[9] с[9] ног[9] только[9] сильная[9] контузия[9]; пуля пробила мясистые части правой руки, коею он закрыл себе грудь, и, будучи тем ослаблена, попала в пуговицу, которою панталоны держались на подтяжке против ложки: эта пуговица спасла Геккерна. Пушкин, увидя его падающего, бросил вверх пистолет и закричал: Bravo! Между тем кровь лила из[10] раны[10]; было надобно поднять раненого; но на руках донести его до саней было невозможно; подвезли[11] к[11] нему[11] сани[11], для чего надобно было разломать забор; и в санях довезли его до дороги, где дожидала[12] его[12] Геккернова карета, в которую он и сел с Данзасом. Лекаря на месте сражения не было. Дорогою он, по-видимому, не страдал, по крайней мере этого не было заметно; он был, напротив, даже весел, разговаривал с Данзасом и рассказывал ему анекдоты.

---

[1] на уме — *АВ*.
[2] без какой-то — *АВ*.
[3] на смертной постели без надежды спасения — *АВ*.
[4] найти своего секунданта — *АВ*.
[5] После этого слова пробел и в *А* и в *В*.
[6] место для поединка выбрано было на Петербургской стороне — *АВ*.
[7] противники — *АВ*.
[8] стоять — *АВ*.
[9] опрокинутый сильною контузиею — *АВ*.
[10] изобильно — *АВ*.
[11] их к нему подвезли — *АВ*.
[12] находилась — АВ.

[§ 9] Домой возвратились[1] в[1] шесть[1] часов[1]. Камердинер взял[2] его[2] на руки и понес на лестницу. Грустно тебе нести меня? спросил у него Пушкин.

[§ 10][3] Бедная жена встретила его в передней и упала без чувств. Его внесли в кабинет; он сам велел подать себе чистое белье; разделся и лег на диван, находившийся в кабинете. Жена, пришедши в память, хотела войти; но он громким голосом закричал: n'entrez pas, ибо опасался показать ей рану, чувствуя сам, что она была опасною. Жена вошла уже тогда, когда он был совсем раздет.

[§ 11] Послали за докторами. Арендта не нашли: приехал Шольц и Задлер. В это время с[4] Пушкиным[4] были Данзас и Плетнев. Пушкин[5] велел[5] всем[5] выйти[5].

[§ 12] (1) *Плохо со мною*, сказал он, подавая руку Шольцу. Рану[6] осмотрели, и Задлер уехал за нужными инструментами. (2) Оставшись с Шольцем, Пушкин спросил: что Вы думаете о моей[7] ране[7]; я чувствовал при выстреле сильный удар в бок и горячо стрельнуло в поясницу. Дорогою шло много крови. Скажите откровенно, как вы находите рану[8]? (3) Не могу вам скрыть, она[9] опасная. (4) Скажите мне[10], смертельная[10]? (5) Считаю долгом не скрывать и того. Но услышим мнение Арендта и Соломона, за коими послано[11]. (6) Je vous remercie, vous avez agi en honnête homme envers moi — сказал Пушкин; замолчал; потер рукою лоб, потом прибавил: «il faut que j'arrange ma maison[12]. (7)[13] Мне кажется, что идет много крови».

---

[1] Эта фраза зачеркнута и вместо нее в *А* Жуковским написано: «В шесть часов после обеда привезен он был в этом отчаянном положении домой подполковником Данзасом, его лицейским товарищем». Так точно и в *ВС*.

[2] принял его из кареты — *А (ж) ВС*.

[3] Этот § подвергся значительным и существенным изменением в *А*. Окончательная его редакция тождественна в *АВС:* «Его внесли в кабинет; он сам велел подать себе чистое белье; разделся и лег на диван. В то время, когда его укладывали, жена, ни о чем не знавшая, хотела войти; но он громким голосом закричал: n'entrez pas, il y a du monde chez moi. Он боялся ее испугать. Жена вошла уже тогда, когда он лежал совсем раздетый». Слова «он боялся ее испугать» вписаны Жуковским вместо зачеркнутых: «он не хотел, чтобы она видела рану его, которую сам почитал опасною».

[4] у него — *АВС*.

[5] Эта фраза в этом месте в *А* зачеркнута и перенесена выше, после слова «Задлер»; так точно в *ВС;* в *С* она — в скобках.

[6] Его — *АВС*. И здесь, и дальше слово «рана» всюду исключается.

[7] моем положении — *А (ж) ВС*.

[8] Это первое обращение и вопрос Пушкина доктору Шольцу (1—2) буквально выписаны из записки Шольца, но подверглись обработке. В *А* еще сохранился первоначальный с указанным в предыдущем примечании изменением текст *А*, но уже в *А* отмечены Жуковским к исключению слова Пушкина. Согласно с этими отметами текст окончательный в *А* и *С* таков: «Что вы думаете о моем положении, скажите откровенно». Ввиду исключения слова «рана» Жуковскому пришлось сделать соответственные изменения и дальше в сообщении Шольца.

[9] вы в опасности — А (ж) ВС.

[10] лучше умираю — *А (ж) ВС*.

[11] послали — *В*.

[12] Французские слова Пушкина (фр. 6) Жуковский приводит вполне согласно с запиской Шольца, но вместо разделяющей их вставки Жуковского у Шольца читаем только: «При сем рукою потер себе лоб».

[13] По Жуковскому, русские слова (фр. 7) произнесены без перерыва вслед за французскими; у Шольца же последние отделены фразой: «через несколько минут сказал».

(8) Шольц осмотрел рану; нашлось, что крови шло немного; он наложил новый компресс[1]. (9). Не желаете ли видеть кого из ваших ближних[2] приятелей[2] спросил Шольц. (10) «Прощайте, друзья! — сказал Пушкин, и[3] в[3] это[3] время[3] глаза[3] его[3] обратились[3] на[3] его[3] библиотеку. (11) С кем он прощался в эту минуту, с живыми ли друзьями, или с мертвыми, не знаю. (12). Он, немного погодя, спросил: разве[4] вы думаете, что я часу не проживу? (13) О нет! но я полагал, что вам будет приятно увидеть кого-нибудь из ваших. Г-н Плетнев здесь — (14) Да; но я желал бы Жуковского[5]. Дайте мне воды; тошнит. (15). Шольц тронул пульс, нашел руку[6] довольно[6] холодную[6]; пульс[6] слабый[6], скорый[6], как[7] при[7] внутреннем[7] кровотечении[7]; он вышел за питьем, и послали за мною. (16) Меня в это время не было дома; и не знаю, как это случилось, но ко мне не приходил никто. (17) Между тем приехали Задлер и Соломон. (18) Шольц оставил больного, который добродушно пожал ему руку, но не сказал ни слова.

[§ 13] (1) Скоро потом явился Арендт. (2) Он с первого взгляда увидел[8], что не было никакой надежды. (3)[9] Первою заботою было остановить внутреннее кровотечение; (4) начали прикладывать холодные со льдом примочки на живот и давать прохладительное питье; (5) они[10] произвели[10] желанное действие, (6)[11] и кровотечение остановилось. (7)[12] Все это было поручено Спасскому, домовому доктору Пушкина, который явился за Арендтом и всю ночь остался при постеле страдальца.

[§ 14] (1)[13] Плохо мне, сказал Пушкин, увидя[14] Спасского и подавая ему руку. (2) Спасский старался его успокоить; но Пушкин махнул рукою отрицательно. (3) С этой минуты он как будто перестал

---

[1] Слов Пушкина по-русски (фр. 7) и следующей (8) фразы о действиях Шольца в *С* нет.

[2] ближних — *ABC;* в записке Шольца — близких приятелей.

[3] обратив глаза на свою; в записке Шольца — глядя на.

[4] По записке Шольца, эти слова сказаны подряд вслед за словами «прощайте друзья»; таким образом, фр. — 10—12 (без слов Пушкина) являются образцом «редакции» Жуковского.

[5] Эти слова совершенно одинаково цитируются в записке Шольца, в *А* и *В,* но в *С* внесена одна буква *и:* «и Жуковского».

[6] руку довольно холодною; пульс слабый, скорый — *В;* что рука была холодна, пульс слаб и скор — *С.*

[7] Эти четыре слова, взятые из записки Шольца, обведены карандашом в *А* и отсутствуют в *В* и *С.*

[8] уверился — *ABC.*

[9] Этой фразы в *С* нет, а в *А* она обведена карандашом.

[10] Это произвело — *ABC.*

[11] Эта фраза обведена карандашом, и над ней карандашом же рукой Жуковского написано: больной поуспокоился. Так и в *В* и в *С.* В *С* вслед за этими словами читается: перед отъездом Арендта он сказал ему: попросите Государя, чтобы он меня простил. В *А* и *В* эта самая фраза в иной уже редакции и с добавлением просьбы за Данзаса помещена несколько ниже, см. § 15. В *С* же весь параграф 15 отсутствует.

[12] Эта 7-я фраза в *ABC* — Арендт уехал, поручив больного Спасскому, домовому его доктору, который во всю ночь не отходил от его постели.

[13] Первые две фразы — переделка слов Спасского, а 3-я фраза — собственное размышление Жуковского.

[14] Вместо конца фразы с этого слова в *ABC:* когда подошел к нему Спасский.

заботиться о себе и все его мысли обратились на жену. (4)[1] «Не давайте излишних надежд жене, говорил он Спасскому, не скрывайте от нее, в чем дело; она не притворщица, вы ее хорошо знаете. (5). Впрочем, делайте со мною что хотите, я на все согласен и на все готов».

[§ 15] (1) Когда Арендт перед своим отъездом подошел к нему, он ему сказал: попросите государя, чтобы он меня простил; (2)[2] попросите за Данзаса, он мне брат, он невинен, я схватил его на улице. (3)[3] Арендт уехал.

[§ 16] В это время уже собрались мы[4] все[4], князь Вяземский, княгиня, граф Вьельгорский и[5] я.

[§ 17] (1) Княгиня была с женою, которой состояние было невыразимо; (2) как привидение, иногда прокрадывалась она в ту горницу, где лежал ее умирающий муж; (3) он не мог ее видеть (он лежал на диване лицом от окон к двери); (4)[6] но он боялся, чтобы она к нему подходила, ибо не хотел, чтобы она могла приметить его страдания, кои с удивительным мужеством пересиливал, (5) и[7] всякий раз, когда она входила или только останавливалась у дверей, он чувствовал ее присутствие. (6) Жена здесь, говорил он. Отведите ее. (7) Что делает жена? спросил он однажды у Спасского. Она, бедная, безвинно терпит! в[8] свете[8] ее[8] заедят[8].

[§ 18] (1) Вообще с начала до конца своих страданий (кроме двух или трех часов первой ночи, в которые они превзошли всякую меру человеческого терпения) он был удивительно тверд. (2)[9] «Я был в тридцати сражениях, — говорил доктор Арендт, — я видел много умирающих, но мало видел подобного».

---

[1] Слова Пушкина к Спасскому переданы неточно по сравнению с запиской. У Спасского стоит: «больших», а не «излишних»; кроме того, в записке Спасского читаются заключительные слова этой 4-й фразы, Жуковским пропущенные; она должна все знать.

[2] Эта 2-я фраза обведена в *А* карандашом; см. пр. 11, стр. 157. В письме князя П. А. Вяземского А. Я. Булгакову этот эпизод изложен так: «Расставаясь с ним, Арендт сказал ему: „Еду к государю; не прикажете ли, что сказать ему?" — „Скажите, — отвечал Пушкин, — что умираю и прошу у него прощения за себя и за Данзаса». В цитированной книжке, составленной со слов Данзаса, этот эпизод изложен еще суше: «Прощаясь, Арендт объяснил Пушкину, что, по обязанности своей, он должен доложить обо всем случившемся государю. Пушкин ничего не возразил против этого, но поручил только Арендту просить, от его имени, государя не преследовать его секунданта» (стр. 30).

[3] В *А* зачеркнуто и в *В* отсутствует.

[4] В *С* нет.

[5] Тургенев и — *С*.

[6] Фр. 4-я зачеркнута в *А*, а вместо нее сейчас же после фразы 6-й должна была быть внесена написанная на полях фраза, которая и имеется в *В* и *С*: он боялся ее присутствия, ибо не хотел, чтобы она могла заметить его страдания, кои с удивительным мужеством пересиливал. В *С* вместо ее присутствия — допускать ее к себе.

[7] но — *АВС*.

[8] Но в записке Спасского иначе: «и может еще потерпеть во мнении людском». У Спасского вопрос Пушкина приурочен к тому времени, когда Спасский вошел к Пушкину после его исповеди.

[9] Князь Вяземский в письме к А. Я. Булгакову пишет: «Арендт, который видел много смертей на веку своем и на полях сражений, и на болезненных одрах, отходил со слезами на глазах от постели его и говорил, что он никогда не видал ничего подобного: такое терпение при таких страданиях!»

[§ 19] (1) И особенно замечательно то, что в эти последние часы жизни он как будто сделался иной; (2) буря, которая за несколько часов волновала его душу яростною[1] страстию, исчезла, не оставив на нем[2] никакого[2] следа; (3) ни слова, ниже воспоминания о поединке. (4)[4] Однажды только, когда Данзас упомянул о Геккерне, он сказал: не мстить за меня! Я все простил.

[§ 20][5] Но вот черта, чрезвычайно трогательная. В[6] самый[6] день[6] дуеля[6] рано[6] по[6] утру[6] получил он пригласительный билет на погребение Гречева сына. Он вспомнил об этом посреди всех[7] страданий[7]. Если увидите Греча, сказал он Спасскому, поклонитесь ему и скажите, что я принимаю душевное участие в его потере.

[§ 21] У него спросили: желает ли исповедаться и причаститься. Он согласился охотно, и положено было призвать священника утром[8].

[§ 22][9] В полночь доктор Арендт возвратился.

[§ 23][10] (1) Покинув Пушкина, он отправился во дворец, но не застал государя, который был в театре, и сказал камердинеру, чтобы по возвращении его величества было донесено ему о случившемся. (2) Около полуночи приезжал за[11] Арендтом[11] от государя фельдъегерь с повелением немедленно ехать к Пушкину, прочитать ему письмо, собственноручно государем к нему написанное, и тотчас обо всем донести. (3). Я не лягу, я[12] буду ждать, стояло[13] в[13] записке[13] государя[13] к[13] Арендту. Письмо же приказано было возвратить. И что же стояло в этом

---

[1] неодолимою — *ABC*.

[2] ней и — *ABC*.

[3] В *A* зачеркнуто слегка карандашом и надписано «случившемся». Так и в *C*. В *B* — случившемся поединке.

[4] Вся 4-я фраза в *C* опущена. У Вяземского в письме к А. Я. Булгакову: «Данзас, желая выведать, в каких чувствах умирает он к Геккерну, спросил его: не поручит ли он ему чего-нибудь в случае смерти касательно Геккерна? „Требую, — отвечал он ему, — чтобы ты не мстил за мою смерть; прощаю ему и хочу умереть христианином“». По рассказу Данзаса (цит. соч., 32), Пушкин снял с руки кольцо и отдал Данзасу, прося принять его на память. При этом он сказал Данзасу, что не хочет, чтобы кто-нибудь мстил за него, и что желает умереть христианином.

[5] Весь этот § основан на соответствующих строках записки Спасского. В словах Пушкина по Жуковскому — поклонитесь, а по Спасскому — кланяйтесь.

[6] В *A* зачеркнуто карандашом и надписано: накануне; так и в *C;* в *B* — накануне дуэли.

[7] своего страдания — *ABC*.

[8] Но Спасский пишет: «По желанию родных и друзей Пушкина, я сказал ему об исполнении христианского долга. Он тотчас на то согласился. „За кем прикажете послать?“ — спросил я. — „Возьмите первого ближайшего священника“», — отвечал П. Послали за отцом Петром, что в Конюшенной.

[9] По Спасскому, Арендт вернулся в 11 часов. В словах записки Спасского «Арендт обещал вернуться в 11 часов» рукою Жуковского «11» подчеркнуто и подписано «в час».

[10] В C § 23—27 опущены и заменены следующими словами, которые мы находим в *A* записанными собственноручно Жуковским сначала карандашом, а затем чернилами рядом с обведенными карандашом § 23—27; «То, что от него услышал умирающий, обрадовало, успокоило и укрепило его душу. Исполняя желание уже угаданное, в котором выражалась трогательная заботливость о его судьбе и за гробом, он исповедался и причастился Святых Таин».

[11] к Арендту — *D*.

[12] и — *B*.

[13] писал государь к — *AB;* приказывал государь — *D*.

письме? «Если Бог не велит нам более увидеться, прими[1] мое прощенье, а[2] с[2] ним[2] и[2] мой совет: кончить[3] жизнь[3] христиански[3]. О жене и детях не беспокойся, Я их беру на свое попечение».

[§ 24] Как бы я желал выразить простыми словами то, что у меня движется в душе при перечитывании этих немногих строк. Какой трогательный конец земной связи между царем и тем, кого он когда-то отечески присвоил и кого до последней минуты не покинул: как много прекрасного человеческого в этом порыве, в этой поспешности захватить душу Пушкина на отлете, очистить ее для будущей жизни и ободрить последним земным утешением. Я не лягу, я[4] буду ждать! О чем же он думал в эти минуты[5]? где он был своею мыслью? О, конечно, перед постелью умирающего, его добрым земным гением, его духовным отцом, его примирителем с небом и землею[6].

[§ 25] В[7] ту[7] же[7] минуту[7] было[7] исполнено[7] угаданное желание государя. Послали за священником в ближнюю церковь. Умирающий[8] исповедался и причастился с глубоким чувством.

[§ 26][9] Когда Арендт прочитал Пушкину[10] письмо государя, то он вместо ответа поцеловал его и долго не выпускал из рук; но Арендт не мог его оставить[11] ему[11]. Несколько раз Пушкин повторял: отдайте мне это письмо, я хочу умереть с ним. Письмо! где письмо? Арендт успокоил его обещанием испросить на то позволение у государя.

[§ 27) Он скоро потом уехал.

[§ 28] (I)[12] До пяти часов Пушкин страдал, но сносно. (2)[13] Кровотечение было остановлено холодными примочками. (3) Но около пяти часов боль в животе сделалась нестерпимою, и сила ее одолела силу души; он начал стонать; послали[14] за Арендтом. По приезде его нашли нужным поставить промывательное, но оно не помогло и только что усилило страдания, которые в[15] чрезвычайной[15] силе[15] своей[15] продолжались до 7 часов утра.

[§ 29] Что было бы с бедною женою, если бы она в течение двух[16] часов могла слышать эти[17] крики[17]; я уверен, что ее рассудок не вынес бы этой душевной пытки. Но вот что случилось: она в совершенном изнурении

---

[1] посылаю тебе — *ABD*.

[2] и вместе — *ABD*.

[3] исполнить долг христианский — *ABD*.

[4] и — *B*.

[5] минуты ожидания — *ABD*.

[6] собою — *ABD*.

[7] умирающий немедленно исполнил уже — *ABD*.

[8] Пушкин — *ABD*.

[9] Этому § в письме Вяземского к Булгакову соответствует более сухое изложение: «Пушкин был чрезвычайно тронут этими словами (словами записки) и убедительно просил Арендта оставить ему эту записку; но государь велел ее прочесть ему и немедленно возвратить».

[10] ему — *ABD*.

[11] ему — оставить — *ABD*.

[12] Так и в *B*, но в *A* на полях есть написанная рукою Жуковского (сначала карандашом, потом тоже чернилами), заменяющая ее фраза, имеющаяся и в *C*: «До пяти часов утра в его положении не произошло никакой перемены».

[13] Эта фраза зачеркнута в *A* и ее нет в *BC*.

[14] послали опять — *ABC*.

[15] наконец дошли до крайней степени и — *ABC*.

[16] этих двух вековых — *ABC*.

[17] его стоны — *ABC*.

лежала в гостиной, головою[1] к[1] дверям[1], и[2] они[2] одни отделяли ее от постели мужа. При первом страшном крике его княгиня Вяземская, бывшая в той же горнице, бросилась к ней, опасаясь, чтобы с нею чего не сделалось. Но она лежала неподвижно (хотя за минуту говорила); тяжелый, летаргический сон овладел ею; и этот сон, как будто нарочно посланный свыше, миновался в ту самую минуту, когда раздалось последнее стенание за дверями[3].

[§ 30] (1) И[4] в эти минуты жесточайшего испытания, по словам Спасского и Арендта, во всей силе сказалась твердость души умирающего; (2) готовый вскрикнуть, он только стонал, боясь, как он говорил[5], чтобы жена не слышала[6], чтобы ее не испугать[7]. (3) К семи часам боль утихла.

[§ 31] Надобно заметить, что во все это время и до самого конца мысли его были светлы, и память свежа. Еще до начала сильной боли он подозвал к себе Спасского, велел подать какую-то бумагу, по-русски[8] написанную[9], и заставил ее сжечь[10]. Потом призвал Данзаса и продиктовал ему записку о некоторых долгах своих[11]. Это его, однако, изнурило, и после он уже не мог сделать никаких других распоряжений.

[§ 32] Когда поутру кончились его сильные[12] страдания, он сказал Спасскому: жену! позовите жену! — Этой прощальной минуты я тебе не стану описывать[13].

[§ 33] Потом потребовал детей; они спали; их привели и принесли к нему полусонных. Он на каждого оборачивал глаза, молча; клал ему на голову руку; крестил и потом движением руки отсылал от[14] себя[14].

[§ 34] Кто здесь? спросил он Спасского и Данзаса. Назвали меня и Вяземского. Позовите — сказал он слабым голосом. Я подошел, взял его

---

[1] у самых дверей — *ABC*.
[2] кои — *ABC*.
[3] У Тургенева в письме к неизвестному от 28 января сказано: «Ночью Пушкин кричал ужасно; почти упал на пол в конвульсии страдания. Благое провидение в эти самые 10 минут послало сон жене; она не слыхала криков; последний крик разбудил ее, но ей сказали, что это было на улице: после этого он еще не кричал».
[4] Но — *ABC*.
[5] говорил сам — *ABC*.
[6] услышали — *ABC*.
[7] Фразы 1 и 2 этого § с ничтожными изменениями взяты из записки Спасского, в которой есть еще опущенная Жуковским фраза: «Зачем эти мучения, сказал он, без них я бы умер спокойно».
[8] его рукою — *ABC*.
[9] писанную — *B*.
[10] О бумаге, сожженной по просьбе Пушкина Спасским, Жуковский упоминает и в своей записке к Бекендорфу: см. дальше. Спасский не упоминает об этом факте.
[11] О том, что Данзас под диктовку Пушкина записал его долги, упоминается и в рассказе со слов Данзаса (цит. соч., 31—33).
[12] нестерпимые — *ABC*.
[13] При этой прощальной минуте Жуковский не присутствовал, так как до прощания с друзьями, которые прощались уже после прощания с женой и детьми, в комнату Пушкина никто не допускался и там были доктора, жена, изредка и Данзас. В рассказе со слов Данзаса сказано, что он при прощании Пушкина с женой и сестрой жены Александриной не присутствовал. Спасский пишет в записке: „Жену, просите жену, — указал П. — Она с воплем горести бросилась к страдальцу. Это зрелище у всех извлекло слезы».
[14] прочь — *ABC*.

6—1388

похолодевшую, протянутую ко мне руку, поцеловал ее: сказать ему ничего я не мог, он махнул рукою, я отошел[1].

[§ 35] Также[2] простился[2] он[2] и[2] с Вяземским[3]. В эту минуту приехал граф Вьельгорский и вошел к нему и также в последние подал ему живому руку.

[§ 36] (1) Было очевидно, что спешил сделать свой последний земной расчет и как будто подслушивал идущую[4] к[4] нему[4] смерть[4]. (2)[5] Взявши себя за пульс, он сказал Спасскому: смерть идет.

[§ 37] (1)[6] Карамзина? тут ли Карамзина? — спросил он, спустя немного. (2) Ее не было; за нею немедленно послали, и она скоро приехала. (3) Свидание их продолжалось только минуту, (4) но, когда Катерина Андреевна отошла от постели, он ее кликнул и сказал: перекрестите меня! потом поцеловал у нее руку[7].

[§ 38] В это время приехал доктор Арендт. Жду царского слова, чтобы умереть спокойно, сказал ему Пушкин[8]. Это было для меня указанием, и я решился в ту же минуту ехать к государю, чтобы известить его величество о том, что слышал.

[§ 39] (1) Надобно[9] знать[9], что[9], простившись[9] с[9] Пушкиным[9], я[9] опять[9] возвратился к его постели и сказал[10] ему: [10] (2) может быть.

---

[1] В *С* идет далее: «Но он опять подозвал меня: скажи государю, промолвил он, что мне жаль умереть; был бы весь его. Скажи, что я ему желаю долгого, долгого царствования, что я ему желаю счастия в его сыне, счастия в его России. — Эти слова говорил он слабо, отрывисто, но явственно». После этих слов идут в *С* § 35, 36, 37, 42; § 38—41 в С выпущены. Таким образом, в редакции *С* оказываются соединенными вместе слова Пушкина, которые в первоначальной редакции *А* оказываются сказанными по двум разным случаям и приведены в разных местах, именно § 39з и 41₄,₅. Рукопись *А* сохранила следы приспособления к редакции *С*. Сначала, как видно из условной пометки, Жуковский хотел просто перенести § 39 с поправкой вместо первоначального начала: «но через минуту я возвратился» и т. д. (как раз на этой стадии приспособления — текст *D*). А к этому § 39 Жуковский приписал вверху страницы: «Он опять подозвал меня: «Скажи государю, сказал он, что мне жаль умереть; был бы весь его. Скажи, что я ему желаю долгого, долгого царствования, — что я ему желаю счастия в его сыне, счастия в его России». — Эти слова говорил он слабо, отрывисто, но явственно». Такая старательная работа над редакцией подлинных слов Пушкина не говорит ни за их точность, ни даже за факт их произнесения.

[2] Потом простился он — *ABC*.

[3] Вяземский в письме к Булгакову пишет: «С нами прощался он посреди ужасных мучений и судорожных движений, но духом бодрым и с нежностью. У меня крепко пожал руку и сказал: прости, будь счастлив!»

[4] Шаги приближающейся смерти — *ABC*.

[5] Эта 2-я фраза взята из записки Спасского.

[6] Вместо 1-й фразы в *С*: когда подошел к нему Тургенев, он посмотрел на него два раза пристально, пожал ему руку, казалось, хотел что-то сказать; но махнул рукою и только промолвил: «Карамзину!» Тургенев в письме к неизвестному пишет: «Пушкин со всеми нами прощается: жмет руку, потом дает знак выйти. Мне два раза пожал руку, взглянул, но не в силах был сказать ни слова».

[7] Тургенев в том же письме о прощании с Карамзиной пишет: «Узнав, что К. А. Карамзина здесь же, просил два раза позвать ее и дал ей знак, чтобы перекрестила его. Она зарыдала и вышла».

[8] В записке Спасского: «Приезда Арендта он ожидал с нетерпением. Жду слова от царя, чтобы умереть спокойно, — промолвил он». Последняя просьба, с которой Пушкин обратился через Арендта к государю, — за Данзаса.

[9] Но через минуту я — *ABD*.

[10] Спросил у него — *ABD*.

я[1] увижу[1] государя; что мне сказать ему от тебя. (3) Скажи ему, отвечал он, что мне жаль умереть; был бы весь (его)[2].

[§ 40] (1) Сходя с крыльца, я встретился с фельдъегерем, посланным за мной[3] от государя. (2) Извини, что я тебя потревожил, сказал он мне при входе моем в кабинет. — (3) Государь, я сам спешил к вашему величеству в то время, когда встретился с посланным за мною. (4) И[4] я[4] рассказал[4] о том, что говорил Пушкин[5]. (5) Я счел долгом сообщить эти слова немедленно вашему величеству. (6)[6] Полагаю, что он тревожится о участи Данзаса. (7) Я не могу переменить законного порядка, — отвечал государь, но сделаю все возможное. (8). Скажи ему от меня, что я поздравляю его с исполнением христианского долга; о жене же и детях он беспокоиться не должен; они мои. (9). Тебе же поручаю, если он умрет, запечатать его бумаги; ты после их сам рассмотришь.

[§ 41] (1) Я возвратился к Пушкину с утешительным ответом государя. (2) Выслушав меня, он поднял руки к небу с каким-то судорожным движением. (3) Вот как я утешен! — сказал он. (4) Скажи государю, что я желаю ему долгого, долгого царствования, что я желаю ему счастия в его сыне, что я желаю ему счастия в его России. (5)[7] Эти слова говорил[8] слабо, отрывисто, но явственно.

[§ 42] Между тем данный ему прием опиума несколько его успокоил. К животу вместо холодных примочек начали прикладывать мягчительные; это было приятно страждущему. И он начал послушно[9] исполнять предписания докторов, которые прежде отвергал упрямо, будучи испуган своими муками и ожидая[10] смерти для их прекращения. Он[11] сделался послушным, как ребенок, сам накладывал компрессы на живот и помогал тем, кои около него суетились. Одним[12] словом, он сделался гораздо спокойнее.

[§ 43] (1) В[13] этом [13] состоянии[13] нашел его доктор Даль, пришедший к нему в два часа. (2) Плохо[14], брат[14], — сказал Пушкин, улыбаясь[15], Далю (3)[16]. В это время он, однако, вообще был спокойнее: руки его были теплее, пульс явственнее. (4) Даль, имевший сначала более надежды, нежели другие, начал его ободрять. (5) Мы все надеемся, — сказал[17] он[17], —

---

[1] Увижу — *ABD*.

[2] Фразы 2-я и 3-я в записке Спасского так: «Что сказать от тебя царю,» — спросил у него Жуковский. «Скажи, жаль, что умираю, весь его бы был», — отвечал Пушкин.

[3] От самого — *AB*.

[4] я рассказав — *A;* я рассказал — *B;* рассказав — *D*.

[5] Пушкин, я прибавил — *AD*; и прибавил — *B*.

[6] §40[6] и [7] в *D* нет.

[7] Этой фразы в *D* нет.

[8] говорил он — *AB*.

[9] беспрекословно — *ABC*.

[10] жадно желая — *ABC*.

[11] Но тут он — *ABC*.

[12] Вся эта фраза в *ABC:* Словом, ему, по-видимому, стало лучше.

[13] Так — *ABC*.

[14] Так и в записке Даля, но уже в *A*, а затем *B* и *C* слова изменены «худо брат!»

[15] с улыбкою.

[16] Фраза 3-я взята из записки Спасского. Фразы 3-я и 4-я зачеркнуты в *A* и заменены в *ABC* — «Но Даль, действительно имевший более других надежды, отвечал ему».

[17] Зачеркнуто в *A*; в *BC* нет.

не отчаивайся и ты. — (6) «Нет! — отвечал[1] он, — мне здесь не житье; я умру, да видно так и надо»[2].

[§ 44] (1) В это время пульс его был полнее и тверже. Начал показываться небольшой общий жар. (2)[3] Поставили пиявки. (3)[4] Пульс стал ровнее, реже и гораздо мягче. (4) Я ухватился, говорит Даль, как утопленник за соломинку, робким голосом провозгласил надежду и обманул было и себя и других. (5). Пушкин, заметив, что Даль был пободрее, взял его за руку и спросил: «Никого тут нет?» «Никого». (7) «Даль, скажи мне правду, скоро ли я умру?» — «Мы за тебя надеемся, Пушкин, право, надеемся». — (8) «Ну спасибо!» — отвечал он. (9) Но, по-видимому, только однажды и обольстился он надеждою[5], ни прежде, ни после этой минуты он ей не верил.

[§ 45][6] Почти всю ночь (на 29-е число; эту ночь всю Даль просидел у его постели, а я, Вяземский и Вьельгорский в ближней горнице) он продержал Даля за руку; часто брал по ложечке[7] или по крупинке льда в рот, и всегда все делал сам: брал[8] стакан с ближней полки, тер себе виски льдом, сам накладывал на живот припарки, сам их снимал[9] и проч.

[§ 46][6] Он мучился менее от боли, нежели от чрезмерной тоски: «Ах! какая тоска! — иногда восклицал он, закидывая руки на голову, — сердце изнывает!» Тогда просил он, чтобы подняли его, или поворотили на бок, или поправили ему подушку, и, не дав кончить этого, останавливал обыкновенно словами: «Ну! так, так — хорошо: вот и прекрасно и довольно; теперь очень хорошо». Или: «Постой — не надо — потяни меня только за руку — ну вот и хорошо, и прекрасно». (Все это его точное[10] выражение)[10]. Вообще, говорит Даль, в обращении со мною он был повадлив и послушен, как ребенок, и делал все, что я хотел.

[§ 47] Однажды он спросил у Даля: «Кто у жены моей?» — Даль отвечал: «Много добрых людей принимают в тебе участие; зало и передняя полны с утра до ночи». «Ну спасибо, отвечал он, однако же поди, скажи жене, что все слава Богу легко; а то ей там, пожалуй, наговорят».

[§ 48] Даль его не обманул. С утра 28 числа, в которое разнеслась по городу весть, что Пушкин умирает, передняя была полна приходящих. Одни осведомлялись о нем через посланных спрашивать[11] об[11] нем[11], другие — и люди всех состояний, знакомые и незнакомые — приходили сами. Трогательное чувство национальной, общей скорби выражалось в этом движении, произвольном[12], ни[12] чем[12] не[12] приготовленном[12]. Число

---

[1] возразил — *ABC.*

[2] Фразы 5-я и 6-я из записки Даля.

[3] Фразам 1—2-й в записке Даля соответствует следующее место: «С обеда пульс был крайне мал, слаб и част — пополудни стал он подниматься, а к 6-му часу ударял не более 120 в минуту и стал плотнее и тверже. В то же время начал показываться небольшой общий жар. Вследствие полученных от д-ра Арендта наставлений, приставляли мы с д-м Спасским 25 пиявок и в то же время послали и за Арендтом. Он приехал и одобрил распоряжение наше. Больной наш твердою рукою сам ловил и припускал себе пиявки и неохотно позволял нам около себя копаться».

[4] Фразы 3—9 взяты из записки Даля с незначительными изменениями.

[5] утешением надежды *А (ж) ВС.*

[6] § 45—47 с ничтожнейшими изменениями взяты из записки Даля.

[7] ложечке воды — *ABC.*

[8] снимал — *ABC.*

[9] переменял — *ABC.*

[10] точные выражения — *ВС.*

[11] Зачеркнуто в *А*; нет в *ВС.*

[12] Этих слов в *С* нет.

приходящих сделалось наконец так велико, что дверь прихожей (которая была подле кабинета, где лежал умирающий) беспрестанно отворялась и затворялась; это беспокоило страждущего; мы[1] придумали запереть дверь[2] из[2] прихожей[2] в[2] сени[2], задвинули ее[3] залавком и[4] отворили другую узенькую прямо с лестницы в буфет, а гостиную[5] от[5] столовой[5] отгородить[5] ширмами (это[6] распоряжение поймешь из приложенного плана). С этой минуты буфет был[7] набит народом; в столовую[8] входили только знакомые, на лицах выражалось простодушное участие, очень многие плакали.

[§ 49][9] Государь император получал известия от доктора Арендта (который раз по шести в день, и по нескольку раз ночью приезжал навестить больного); государыня великая княгиня, очень любившая Пушкина, написала ко мне несколько записок, на которые я отдавал подробный отчет ее высочеству согласно с ходом болезни.

[§ 50][9] Такое участие трогательно, но оно естественно; естественно и в государе, которому дорога народная слава, какого рода она бы ни была (а в этом отличительная черта нынешнего государя; он любит все русское; он ставит новые памятники и бережет старые); естественно и в нации, которая в этом случае не только заодно с своим государем, но этою общею любовью к отечественной славе укореняется между ими нравственная связь; государю естественно гордиться своим народом, как скоро этот народ понимает его высокое чувство и вместе с ним любит то, что славно отличает его от других народов или ставит с ним наряду; народу естественно быть благодарным своему государю, в[10] котором[10] он видит представителя своей чести.

[§ 51] (1)[11] Одним словом, сии изъявления общего участия наших добрых русских меня глубоко трогали, но не удивляли. (2) Участие[12] иноземцев было для меня усладительною нечаятельностью[13]. (3) Мы теряли свое; мудрено ли что мы горевали? (4) Но их что так трогало? (5)[14] Что думал этот почтенный Барант, стоя долго в унынии посреди прихожей, где около его шептали с печальными лицами о том, что делалось за дверями. (6) Отгадать[15] нетрудно. (7) Гений есть общее

---

[1] и мы — *ABC*.

[2] эту дверь — *ABC*.

[3] ее из сеней — *ABC*.

[4] и вместо ее — *ABC*.

[5] гостиную, где находилась жена, отгородили от столовой — *A*.

[6] Фраза в скобках зачеркнута в *A*, и ее нет в *BC*. В бумагах Жуковского в собрании А. Ф. Онегина сохранился составленный Жуковским план квартиры Пушкина; он воспроизводится нами в этой книге, на стр. 166—167. См.: М. Д. Беляев и А. А. Платонов. «Последняя квартира Пушкина». Ленинград, 1927.

[7] был беспрестанно — *ABC*.

[8] столовую же — *ABC*.

[9] § 49 и 50 в *C* нет.

[10] за любовь к отечественной славе и за великое выражение сей любви, ибо в своем государе — *AB*.

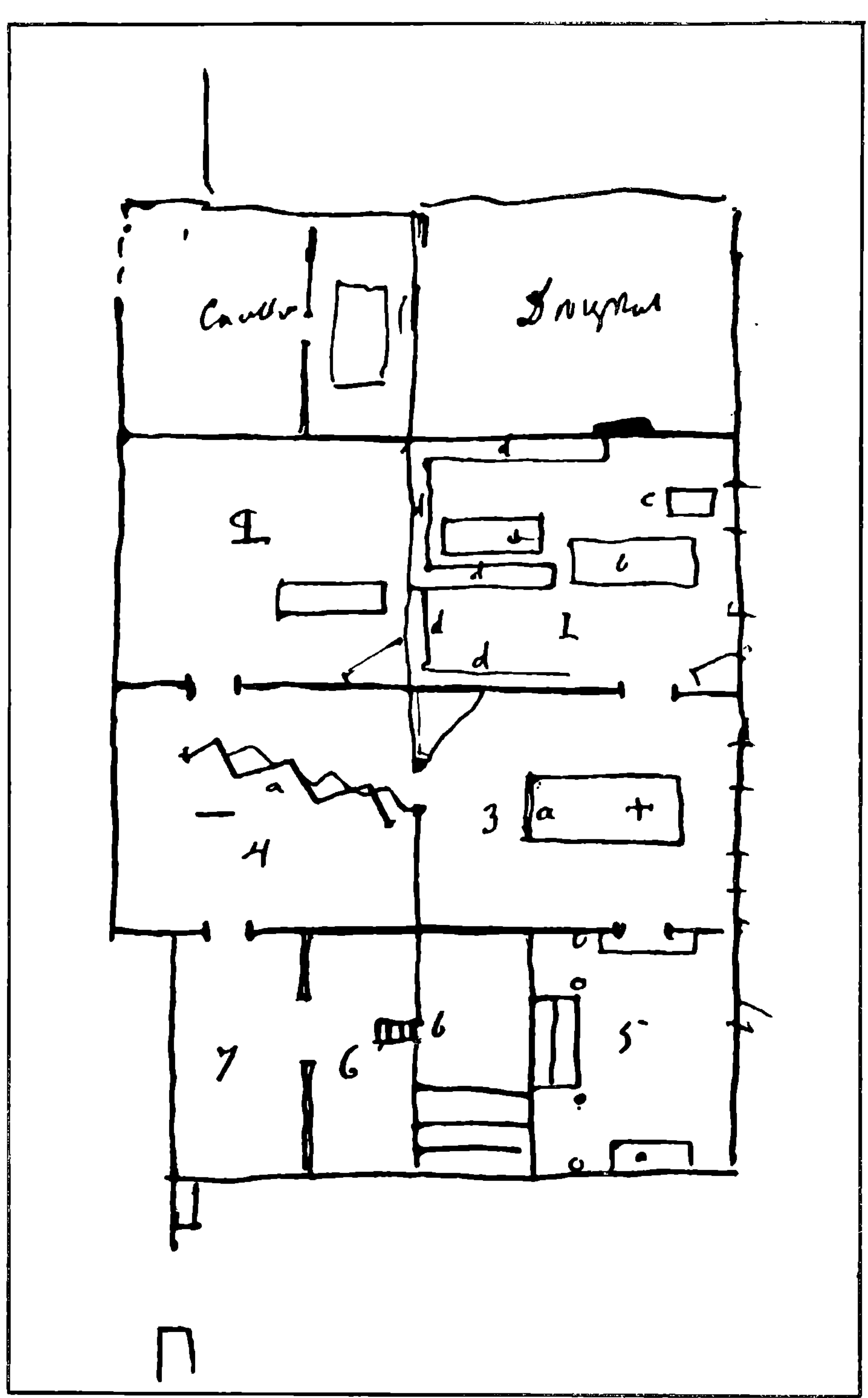
[11] Фраза 1-я в *A* собственноручно изложена Жуковским внизу страницы и вошла в *C* в таком виде: «Такое изъявление общей скорби меня глубоко трогало; в русских, которым дорога отечественная слава, оно было неудивительно, но участие иноземцев» и т. д.

[12] Но участие — *ABC*; участие — *D*.

[13] Так и в *B*; в *C* и *D* нечаянностию.

[14] Этой фразы в *C* нет.

[15] Отвечать *A (зач), BCD*.



3
4
5
6
7

I Кабинетъ а) Диванъ на которомъ умеръ Пушкинъ. в его большой столъ с кресл. на которыхъ онъ работалъ. d полки съ книгами.

2 Гостиная. а Кушетка, на которой лежала ночью Н. Н.

3 Передняя. а) здѣсь Пушкинъ лежалъ во гробѣ.

4 Столовая. а) такъ были поставлены ширмы, чтобъ загородить гостиную гдѣ находилась Н. Н.

5 Сени. а) здѣсь стоялъ залавокъ которымъ задвинули дверь. в маленькая узкая дверь, черезъ которую входили всѣ посторонніе.

6 Буфетъ съ чуланомъ здѣсь собирались приходившіе освѣдомиться во время болѣзни, ночью, тогда какъ заперли дверь въ прихожую.

План квартиры Пушкина, составленный Жуковским.

(1. Кабинет: а) диван, на котором умер Пушкин, в) его большой стол с кресл., на которых он работал; d) полки с книгами. 2. Гостиная: а) кушетка, на которой лежала ночью Н. Н. 3. Передняя: а) здесь Пушкин лежал во гробе. 4. Столовая: а) так были поставлены ширмы, чтобы загородить гостиную, где находилась Н. Н. 5. Сени: а) здесь стоял залавок, которым задвинули дверь, в) маленькая узкая дверь, через которую входили все посторонние. 6. Буфет с чуланом, здесь собирались приходившие осведомиться во время болезни, ночью, тогда как заперли дверь в прихожую)

добро; в поклонении гению все народы родня! и, когда он безвременно покидает землю, все провожают его с одинаковою братскою скорбию. (8) Пушкин по своему́ гению был собственностью не одной России, но и целой Европы; (9) потому-то и посол[1] французский[1] (сам[1] знаменитый[1] писатель[1]) приходил[1] к двери его с печалью *собственною* и о *нашем* Пушкине пожалел[2] как будто о *своем.* (10)[3] Потому же Люцероде, саксонский посланник, сказал собравшимся у него гостям в понедельник ввечеру: нынче у меня танцевать не будут, нынче похороны Пушкина.

[§ 52] Возвращаюсь к своему описанию. Послав Даля ободрить жену надеждою, Пушкин сам не имел никакой. Однажды спросил он: который час? И на ответ Даля продолжал прерывающимся голосом: «Долго ли... мне... так мучиться?... Пожалуйста поскорей!...» Это повторил он несколько раз[4]: «Скоро ли конец?.. и всегда прибавлял: «пожалуйста поскорей!»[5]

[§ 53] (1) Вообще (после мук первой ночи, продолжавшихся два часа) он был удивительно терпелив. (2)[6] Когда тоска и боль его одолевали, он делал движения руками или отрывисто кряхтел, но так, что его почти не могли слышать. «Терпеть надо, друг, делать нечего, — сказал ему Даль, — но не стыдись боли своей, стонай, тебе будет легче». — «Нет, — он отвечал перерывчиво, — нет... не надо... стонать... жена.. услышит... Смешно же... чтоб этот... вздор... меня... пересилил... не хочу».

[§ 54] Я покинул его в 5 часов и через два часа возвратился в[7] 7-м[7], то[7] есть[7] через[7] два[7] часа[7]. Видев, что ночь была довольно спокойна, я пошел к себе почти с надеждою, но, возвращаясь, нашел иное. Арендт сказал мне решительно, что все кончено и что ему не пережить дня. Действительно, пульс ослабел и начал упадать приметно; руки начали стыть. Он лежал с закрытыми глазами; иногда только подымая руки, чтобы взять льду и потереть им лоб[8].

[§ 55][9] (1) Ударило два часа пополудни, и в Пушкине осталось жизни на три четверти часа. (2). Он открыл глаза и попросил моченой морошки. (3) Когда ее принесли, то он сказал внятно: позовите жену,

---

[1] Многие иноземцы приходили — *А (ж) ВС.*

[2] пожалели *А (ж) ВС.*

[3] Этой фразы в *С* нет.

[4] раз после — *ABC.*

[5] у Даля сказано короче: «(Пушкин) не верил надежде, спрашивал нетерпеливо: «скоро ли конец?» и прибавлял еще: пожалуйста, поскорей!»

[6] Фразы 2-я и следующие (до конца §) взяты из записки Даля.

[7] Эти слова зачеркнуты в *А,* и их нет в *ВС.*

[8] Спасский, вернувшийся к больному «рано утром» 29 января, нашел его в таком положении: «Пушкин истаевал. Руки были холодны, пульс едва заметен. Он беспрестанно требовал холодной воды и брал ее в малых количествах, иногда держал во рту небольшие куски льду, и от времени до времени сам тер себе виски и лоб льдом. Доктор Арендт подтвердил мои и Даля опасения».

[9] В этом § фразы 1—5 взяты из записки Даля. У Спасского этот эпизод рассказан так: «Незадолго до смерти ему захотелось морошки. Наскоро послали за этой ягодой. Он с большим нетерпением ее ожидал и несколько раз повторял: морошки, морошки. Наконец привезли морошку. Позовите жену, — сказал П., — пусть она меня кормит. Он съел 2—3 ягодки, проглотил несколько ложечек соку морошки, сказал — довольно, и отослал жену». В сохранившейся в делах опеки над имуществом Пушкина заборной книжке от купца Герасима Дмитриева из Милютиных лавок значится под 29 января: «Из лавки отпущено 2½ фунта моченой морошки ценою 2 р.» (См. статью *Б. Л. Модзалевского:* «Архив опеки над детьми и имуществом Пушкина» — «Пушкин и его современники», вып. XIII, Спб., 1910, стр. 104).

пускай она меня покормит. (4) Она пришла, опустилась на колена у изголовья, поднесла ему ложечку, другую морошки, потом прижалась лицом к лицу его; (5) Пушкин погладил ее по голове и сказал: «Ну, ну, ничего; слава богу; все хорошо! поди». — (6)[1] Спокойное выражение лица его и твердость голоса обманули бедную жену; она вышла как[2] просиявшая от радости лицом[3]. (7) Вот увидите, — сказала она доктору Спасскому, — он будет жив, он не умрет.

[§ 56] (1) А в эту минуту уже начался последний процесс жизни. Я стоял вместе с графом Вьельгорским у постели его, в головах; сбоку стоял Тургенев. (2)[4] Даль шепнул мне: отходит. (3) Но мысли его были светлы. (4) Изредка только полудремотное забытье их отуманивало. (5) Раз он подал руку Далю и, пожимая ее, проговорил: ну подымай же меня, пойдем, да выше, выше... ну, пойдем! (6) Но, очнувшись, он сказал: мне было пригрезилось, что я с тобой лечу[5] вверх по этим книгам и полкам; высоко... и голова закружилась.

[§ 57][6] Немного погодя, он опять, не раскрывая[7] глаз, стал искать Далеву руку и, потянув ее, сказал: «Ну пойдем же пожалуйста да вместе». (2)[8] Даль, по просьбе его, взял его подмышки и приподнял повыше; (3)[8] и вдруг, как будто проснувшись, он быстро раскрыл глаза, лицо его прояснилось, и он сказал: кончена жизнь. (4)[9] Даль, не расслушав, отвечал: да, кончено; мы тебя положили[10], — (5)[11] «Жизнь кончена!» — повторил он внятно и положительно (6)[12] «Тяжело дышать, давит!» — были последние слова его[13].

[§ 58] В[14] эту[14] минуту[14] я не сводил с него глаз и заметил[14], что движение груди, доселе тихое, сделалось прерывистым. Оно скоро прекратилось. Я смотрел внимательно, ждал последнего вздоха; но я его не приметил. Тишина, его объявшая, казалась мне успокоением[15]. Все над ним молчали. Минуты через две я спросил: что он? Кончилось, —

---

[1] Фразы 6-я и 7-я взяты из записки Спасского.
[2] как будто — *ABC*.
[3] Зачеркнуто в *A*; нет в *B* и *C*.
[4] Фразы 2-я и следующие до конца § (кроме 3-й) взяты из записки Даля.
[5] В записке Даля — лезу; так и в *C*.
[6] Фраза 1-я взята у Даля.
[7] закрывая — *B*.
[8] Фразы 2-я и 3-я взяты у Даля.
[9] У Даля изложено так: я не дослышал и спросил тихо: «Что кончено?».
[10] поворотили — *C*.
[11] Фразы 5-я и 6-я взяты из записки Даля.
[12] У Спасского этот конечный эпизод изложен так: «Минут за пять до смерти, П. просил поворотить его на правый бок. Даль, Данзас и я исполнили его волю: слегка поворотили его и положили к спине подушку. Хорошо, сказал он и потом несколько погодя промолвил: жизнь кончена! Да, конечно, сказал доктор Даль, мы тебя поворотили. Кончена жизнь, возразил тихо П. Не прошло несколько мгновений как П. сказал: теснит дыхание. То были последние его слова». В 3-м часу пополудни 29 января Тургенев писал Булгакову: «Сию минуту я входил к нему, видел его, слышал, как он крехтит; ему надевали рукава на руки; он спросил: «ну — что кончено?» Даль отвечал: «Кончено», но после подумав, что он о себе говорит, Даль спросил его: «Что кончено?» Пушк. отвечал: «Жизнь». Ему сказали, что его перекладывали и что кончили надевание рукава».
[13] Зачеркнуто в *A* и нет в *BC*.
[14] заметил в эту минуту — *ABC*.
[15] успокоением, а его уже не было — *ABC*.

отвечал мне Даль[1]. Так тихо, так таинственно[2] удалилась душа его. Мы долго стояли над ним молча, не шевелясь, не смея нарушить великого[3] таинства смерти, которое совершилось перед нами во всей умилительной святыне своей.

[§ 59] Когда все ушли, я сел перед ним и долго один смотрел ему в лицо. Никогда на этом лице я не видал ничего подобного тому, что было на нем в эту первую минуту смерти. Голова его несколько наклонилась; руки, в которых было за несколько минут какое-то судорожное движение, были спокойно протянуты, как будто упавшие для отдыха, после тяжелого труда. Но что выражалось на его лице, я сказать словами не умею. Оно было для меня так ново и в то же время так знакомо! Это было не сон и[4] не покой! Это[5] не было выражение ума, столь прежде свойственное этому лицу; это[6] не было также и выражение поэтическое! нет! какая-то глубокая, удивительная мысль на нем развивалась, что-то похожее на видение, на какое-то полное, глубокое[7], удовольствованное[8] знание. Всматриваясь в него, мне все хотелось у него спросить: что видишь друг? и что бы он отвечал мне, если бы мог на минуту воскреснуть? вот минуты в жизни нашей, которые вполне достойны названия великих. В эту минуту, можно сказать, я видел самое[9] смерть[9], божественно[9] тайную[9], смерть[9] без покрывала. Какую печать наложила[10] она[10] на[10] лицо[10] его[10] и как удивительно высказала на нем и свою и его тайну. Я уверяю тебя, что никогда на лице его не видал я выражения такой глубокой, величественной, торжественной мысли. Она, конечно, проскакивала[11] в нем и прежде[12]. Но в этой чистоте обнаружилась только тогда, когда все земное отделилось от него с прикосновением смерти. Таков был конец нашего Пушкина.

[§ 60]. Опишу в немногих словах то, что было после. К счастию, я вспомнил вовремя, что надобно с него снять маску. Это было исполнено немедленно; черты его еще не успели измениться. Конечно, того первого выражения, которое дала им смерть, в них не сохранилось; но все мы имеем отпечаток привлекательный; это не смерть, а сон[13].

[§ 61][14] Спустя ¾ часа после кончины (во все это время я не отходил от мертвого, мне хотелось вглядеться в прекрасное лицо его) тело вынесли в ближнюю горницу; а я, исполняя повеление государя императора, запечатал кабинет своею печатью.

[§ 62] Не буду рассказывать того, что сделалось с печальною[15] женою: при ней находились неотлучно княгиня Вяземская, Е. И. Загряжская, граф и графиня Строгановы. Граф взял на себя все распоряжения похорон.

---

[1] В три четверти третьего часа 28 Генваря. *Примечание Жуковского.*
[2] спокойно *ABC.*
[3] Зачеркнуто в *A,* нет в *B* и *C.*
[4] В *C* нет.
[5] В *C* нет.
[6] В *C* нет.
[7] важная — *C.*
[8] глубоко удовлетворяющее — *C.*
[9] лицо самой смерти, божественное тайное лицо смерти — *ABC.*
[10] На него наложила она — *ABC.*
[11] таилась — *ABC.*
[12] прежде, будучи свойственна его высокой природе — *ABC.*
[13] глубокий величественный сон — *A (ж) B;* тихий величественный сон — *C.*
[14] Этого § в *C* нет.
[15] бедною — *ABC.*

[§ 63] Побыв еще несколько времени в доме, я поехал к Вьельгорскому обедать; у него собрались и все другие, видевшие последнюю минуту Пушкина; и он сам был приглашен за гробом[1] к этому обеду: это[2] был[2] день моего рождения.

[§ 64][3] Я[4]счел[4] обязанностью[4]донести[4]государю[4]императору[4] о том, как умер Пушкин; он выслушал меня наедине в своем кабинете: этого прекрасного часа моей жизни я никогда не забуду.

[§ 65] На другой день мы, друзья, положили Пушкина своими руками в гроб; на следующий день, к вечеру, перенесли его в Конюшенную церковь.

[§ 66] И в эти оба дни та горница, где он лежал в гробе, была беспрестанно полна народом. Конечно, более десяти тысяч человек приходило[5] взглянуть на него: многие плакали; иные долго останавливались и как будто хотели всмотреться в лицо его; было что-то разительное в его неподвижности посреди этого движения и что-то умилительно таинственное в той молитве, которая так тихо, так однообразно слышалась посреди этого шума[6].

[§ 67][7] И особенно глубоко трогало[8] мне душу то, что государь как будто соприсутствовал посреди своих русских, которые так просто и смиренно и с ним заодно выражали скорбь свою о утрате славного соотечественника. Всем[10] было известно, как государь утешил последние минуты Пушкина, какое он принял участие в его христианском покаянии, что он сделал для его сирот, как почтил своего поэта и что в то же время (как судия, как верховный блюститель нравственности) произнес в осуждение бедственному делу, которое так внезапно лишило нас Пушкина. Редкий из посетителей, помолясь перед гробом, не помолился в то же время за государя, и можно сказать, что это изъявление национальной печали о поэте было самым трогательным прославлением его великодушного покровителя.

[§ 68] Отпевание происходило 1 февраля. Весьма[11] многие[11] из[11] наших[11] знакомых[11] людей[11] и все[12] иностранные[12] министры[12] были в церкви. Мы на руках отнесли гроб в подвал, где надлежало ему остаться до вывоза[13] из города. 3 февраля в 10 часов вечера собрались мы в последний раз к тому, что еще для нас оставалось от Пушкина; отпели последнюю панихиду; ящик с гробом поставили на сани; сани[14] тронулись; при свете месяца несколько[15] времени[15] я[15] следовал[15] за[15] ними[15]; скоро они

---

[1] три дни — *ABC*.
[2] праздновать — *ABC*.
[3] Этого § в *C* нет.
[4] Ввечеру увлеченный необходимостью пошел я к государю, чтобы донести ему — *ABD*.
[5] перебывало в ней, чтобы — *ABC*.
[6] смутного говора — *ABC*.
[7] Этого § в *C* нет.
[8] тронуло — *D*
[9] так — *ABCD*.
[10] всем уже — *ABD*.
[11] Многие из наших знатных господ — *ABC*.
[12] многие из иностранных министров — *C*.
[13] отправления — *ABC*.
[14] В полночь сани — *ABC*.
[15] я провожал их несколько времени глазами — *ABC*.

поворотили за угол дома; и все, что было земной[1] Пушкин, навсегда пропало из глаз моих[2].
Февраля 15.

---

[1] на земле — *ABC.*

[2] В «Современнике» вслед за подписью под письмом «В. Жуковский» сделано еще следующее добавление: «За телом следовал А. И. Тургенев. Пушкин не раз говорил жене, что желает быть похоронен в Святогорском Успенском монастыре, где недавно положили его мать. Этот монастырь находится в Псковской губернии в Опочковском уезде, в 4-х верстах от сельца Михайловского, где Пушкин провел несколько лет поэтической жизни своей. 4 числа в девятом часу вечера тело привезли во Псков, оттуда оно, по надлежащем распоряжении со стороны губернского начальства, в ту же ночь на 5 число февраля было отправлено через город Остров в Святогорский монастырь, куда привезли его уже к 7 часам вечера. — Мертвый мчался к своему последнему жилищу мимо своего опустевшего сельского домика, мимо трех любимых сосен, им недавно воспетых. (*Примечание:* это стихотворение помещено в конце книжки под заглавием: Отрывок.) Тело поставили на Святой горе в Соборной Успенской церкви и отслужили с вечера панихиду. Всю ночь рыли могилу подле той, где покоится его мать. На другой день, на рассвете, по совершении божественной литургии, в последний раз отслужили панихиду, и гроб был опущен в могилу, в присутствии Тургенева и крестьян Пушкина, пришедших из сельца Михайловского отдать последний долг доброму своему помещику. Чудно показалось предстоявшим изречение Библии, сопровождавшее горсть земли, брошенной на Пушкина „земля еси“». — Добавление это писано А. И. Тургеневым. Об этом мы узнаем из его дневника.

II. ЗАПИСКИ ВРАЧЕЙ О БОЛЕЗНИ И СМЕРТИ ПУШКИНА

В этом отделе впервые издаются донесения старшего полицейского врача о дуэли Пушкина и записка доктора Шольца и вновь печатаются записки докторов Спасского и Даля, уже известные в печати. Перепечатка этих документов допущена отчасти по тесной их связи с письмом Жуковского, а в особенности потому, что в нашем распоряжении были авторитетнейшие списки, именно те, которые были в руках у Жуковского.

I. ДОНЕСЕНИЕ ПОЛИЦЕЙСКОГО ВРАЧА

Подлинник этого донесения находится ныне в Пушкинском доме. Дело, из которого он извлечен, имеет следующее название: «По донесениям старшего врача полиции о происшествиях в С.-Петербурге за 1837 год (дело) медицинского департамента министерства внутренних дел отделение 2, стол. 1». Печатаемый нами документ помещался здесь между донесением о «покусах супругов Биллинг кошкой, подозреваемой в бешенстве», и донесением о грабеже и отравлении «содержательницы известных женщин».

18 Генв. 1837
30

№ 117.

---

28 Генваря
1837 года
№ 231

№ 252.

Полициею узнано, что вчера, в 5-м часу пополудни, за чертою города позади Комендантской дачи, происходила дуель между камер-юнкером Александром Пушкиным и порутчиком Кавалергардского ее величества полка бароном Геккереном, первый из них ранен пулею в нижнюю часть брюха, а последний в правую руку навылет и получил контузию в брюхо. — Г-н Пушкин при всех пособиях, оказываемых ему его превосходительством г-м лейб-медиком Арендтом, находится в опасности жизни. — О чем вашему превосходительству имею честь донесть.

Старший врач полиции
Юденич, Петр Никитич,
стат. советн.

2. ЗАПИСКА ДОКТОРА ШОЛЬЦА

Привезя раненого Пушкина домой, Данзас отправился за доктором. Сначала поехал к Арендту, потом к Саломону; не застав дома ни того, ни другого, оставил им записки и отправился к доктору Персону; но и тот был в отсутствии. Оттуда, по совету жены Персона, Данзас поехал в Воспитательный дом, где, по словам ее, он мог найти доктора наверно. Подъезжая к Воспитательному дому, Данзас встретил выходившего из ворот доктора Шольца. Выслушав Данзаса, Шольц сказал ему, что он, как акушер, в этом случае полезным быть не может, но что сейчас же привезет к Пушкину другого доктора. Действительно, он вскоре приехал с д-ром Задлером, который перед приездом к Пушкину успел перевязать руку Дантеса[1].

Шольц оставил записку о своем посещении раненого Пушкина. Эта записка была вручена им Жуковскому и оказалась ныне в собрании А. Ф. Онегина. По описанию Б. Л. Модзалевского она значится под № 36 в серии «документы из бумаг Жуковского». Это чисто переписанная копия писарской руки; слова Пушкина выделены особым почерком — готиком; писано на гладком белом листе большого формата почтовой бумаги; занимает $2^3/_4$ страницы.

При сравнении записки Шольца, до сих пор остававшейся неизвестной, с письмом Жуковского о последних минутах Пушкина оказывается, что Жуковский воспользовался ею довольно основательно, но кое-что опустил, а кое-что изменил. Изменения простерлись даже на подлинные слова Пушкина. При воспроизведении письма Жуковского в примечаниях было указано отношение текста Жуковского к записке Шольца.

---

27 января в $6^1/_4$ ч полковник Данзас приглашал меня к трудно раненному, Александру Сергеевичу Пушкину.

Прибывши к больному с доктором Задлером, которого я дорогою сыскал, взошли в кабинет больного, где нашли его лежащим на диване и окруженным тремя лицами, супругою, полковником Данзасом и г-м Плетневым. — Больной просил удалить и не допустить при исследовании раны жену и прочих домашних. Увидев меня, дал мне руку и сказал: *«Плохо со мною».* — Мы осматривали рану, и г-н Задлер уехал за нужными инструментами.

Больной громко и ясно спрашивал меня: *«Что вы думаете о моей ране; я чувствовал при выстреле сильный удар в бок и горячо стрельнуло в поясницу; дорогою шло много крови — скажите мне откровенно, как вы рану находили?»*

«Не могу вам скрывать, что рана ваша опасная».

«Скажите мне — смертельна?»

Считаю долгом Вам это не скрывать, — но услышим мнение Арендта и Саломона, за которыми послано.

«Je vous remercie, vous avez agi en honnête homme envers moi — (при сем рукою потер себе лоб) — *il faut que j'arrange ma maison».* — Через несколько минут сказал: *«Мне кажется, что много крови идет?»*

Я осмотрел рану, — но нашлось, что мало, — и наложил новый компресс.

---

[1] Все предыдущее взято из составленной по рассказам К. К. Данзаса книжки: «Последние дни жизни и кончина А. С. Пушкина», изд. Я. А. Исакова. Спб., 1863.

«Не желаете ли Вы видеть кого-нибудь из близких приятелей?»

«Прощайте друзья!» (сказал он, глядя на библиотеку).

«Разве Вы думаете, что я часу не проживу?»

«О нет, не потому, но я полагал, что Вам приятнее кого-нибудь из них видеть... Г-н Плетнев здесь...»

«Да — но я бы желал Жуковского. — Дайте мне воды, меня тошнит».

Я трогал пульс, нашел руку довольно холодною — пульс малый, скорый, как при внутреннем кровотечении; вышел за питьем и чтобы послать за г-м Жуковским; Полковник Данзас взошел к больному. Между тем приехал Задлер, Арендт, Саломон — и я оставил печально больного, который добродушно пожал мне руку.

3. ЗАПИСКА ДОКТОРА СПАССКОГО

Записка доктора Спасского под заглавием «Последние дни Пушкина. Рассказ очевидца» напечатана впервые в «Библиографических записках» за 1859 год, № 18, ст. 555—559, с следующим примечанием М. Н. Лонгинова: «Предлагаемая статья была написана немедленно после кончины Пушкина бывшим свидетелем последних дней его жизни, известным петербургским медиком Иваном Тимофеевичем Спасским (недавно умершим), который тогда же подарил мне с нее список. В статье этой заключаются многие выражения, которые целиком вошли в «Последние минуты Пушкина», сочинение В. А. Жуковского, для которого они, вероятно, послужили материалом, хоть в статье И. Т. Спасского найдут немного нового, но мне кажется — она стоит быть напечатанною, как современный рассказ очевидца о смерти Пушкина».

Записка перепечатывалась не раз. В новейшее время, как «новость», она была опубликована в варшавской газете «Свободное слово» в номере 30-м, в декабре 1909 года, и отсюда перепечатана во многих газетах.

Современный список находится в собрании А. Ф. Онегина. Он занимает 6 страниц и писан на больших писчих листах писарским почерком очень четко, без помарок. Дата в конце и инициалы — другой рукой, по всей вероятности самого Спасского. Одна, указанная нами в своем месте, пометка сделана Жуковским.

В записке Спасского уже нет той протокольной непосредственности и простоты, которые отличают записку Шольца. В ней есть претензии на литературность изложения и чувствуется такое же стремление к ограждению моральных интересов семьи Пушкина, какое кладет печать на письма Жуковского и князя Вяземского. Спасский был домашним доктором в семействе Пушкина. По словам К. К. Данзаса, Пушкин мало имел к нему доверия[1].

Текст списка, хранящегося в собрании А. Ф. Онегина, воспроизводится нами без всяких изменений; оставлены даже сокращения: П. — Пушкин; Д. Д. — доктор Даль и т. д. Ввиду авторитетности нашего списка и незначительности отличий других списков разночтения не приводятся.

А.

Последние дни А. С. Пушкина. Рассказ очевидца

Его уж нет. Младой певец
Нашел безвременный конец!

---

[1] «Последние дни жизни» и т. д. Назв. соч., 31.

Дохнула буря, цвет прекрасной
Увял на утренней заре,
Потух огонь на алтаре!...
(Евгений Онегин. Гл. VI, XXXI)

Друзья мои, вам жаль поэта:
Во цвете радостных надежд
. . . .
. . . .
. . . .
Увял!
(Там же. XXXVI)

В 7 часов вечера, 27 числа минувшего месяца, приехал за мною человек Пушкина. Александр Сергеевич очень болен, приказано просить как можно поскорее. Я не медля отправился. В доме больного я нашел докторов Арендта и Сатлера. С изумлением я узнал об опасном положении Пушкина. Что, плохо, — сказал мне Пушкин, подавая руку. Я старался его успокоить. Он сделал рукою отрицательный знак, показывавший, что он ясно понимал опасность своего положения. Пожалуйста не давайте больших надежд жене, не скрывайте от нее, в чем дело, она не притворщица; вы ее хорошо знаете; она должна все знать. Впрочем, делайте со мною, что вам угодно, я на все согласен и на все готов. Врачи, уехав, оставили на мои руки больного. Он исполнял все врачебные предписания. По желанию родных и друзей П., я сказал ему об исполнении христианского долга. Он тот же час на то согласился. За кем прикажете послать, спросил я. Возьмите первого, ближайшего священника, отвечал П. Послали за отцом Петром, что в Конюшенной. Больной вспомнил о Грече. Если увидите Греча, молвил он, кланяйтесь ему и скажите, что я принимаю душевное участие в его потере. В 8 часов вечера возвратился доктор Арендт. Его оставили с больным наедине. В присутствии доктора Арендта прибыл и священник. Он скоро отправил церковную требу: больной исповедался и причастился св. тайн. Когда я к нему вошел, он спросил, что делает жена? Я отвечал, что она несколько спокойнее. Она бедная безвинно терпит и может еще потерпеть во мнении людском, возразил он; не уехал еще Арендт? Я сказал, что докт. А. еще здесь. Просите за Данзаса, за Данзаса, он мне брат. Желание П. было передано докт. А. и лично самим больным повторено. Докт. А. обещал возвратиться к 11 часам[1]. — Необыкновенное присутствие духа не оставляло больного. От времени до времени он тихо жаловался на боль в животе и забывался на короткое время. Докт. А. приехал в 11 часов. В лечении не последовало перемен. Уезжая, докт. А. просил меня тотчас прислать за ним, если я найду то нужным. Я спросил П., не угодно ли ему сделать какие-либо распоряжения. Все жене и детям, — отвечал он; позовите Данзаса. Д. вошел. П. захотел остаться с ним один. Он объявил Д. свои долги. Около четвертого часу боль в животе начала усиливаться и к пяти часам сделалась значительною. Я послал за А., он не замедлил приехать. Боль в животе возросла до высочайшей степени. Это была настоящая пытка. Физиономия П. изменилась; взор его сделался дик, казалось, глаза готовы были выскочить из своих орбит, чело покрылось холодным потом, руки похолодели,

[1] Карандашом рукою Жуковского подчеркнуто «11» и надписано: «в час».

пульса как не бывало. Больной испытывал ужасную муку. Но и тут необыкновенная твердость его души раскрылась в полной мере. Готовый вскрикнуть, он только стонал, боясь, как он говорил, чтоб жена не услышала, чтоб ее не испугать. Зачем эти мучения, сказал он, без них я бы умер спокойно. Наконец, боль, по-видимому, стала утихать, но лицо еще выражало глубокое страдание, руки по прежнему были холодны, пульс едва заметен. Жену, просите жену, сказал П. Она с воплем горести бросилась к страдальцу. Это зрелище у всех извлекло слезы. Несчастную надобно было отвлечь от одра умирающего. Таков действительно был П. в то время. Я спросил его, не хочет ли он видеть своих друзей. Зовите их, отвечал он. Жуковский, Вьельгорской, Вяземской, Тургенев и Данзас входили один за другим и братски с ним прощались. Что сказать от тебя царю, спросил Жуковский. Скажи, жаль, что умираю, весь его бы был, отвечал П. Он спросил, здесь ли Плетнев и Карамзины. Потребовал детей и благословил каждого особенно. Я взял больного за руку и щупал его пульс. Когда я оставил его руку, то он сам приложил пальцы левой своей руки к пульсу правой, томно, но выразительно взглянул на меня и сказал: смерть идет. Он не ошибался, смерть летала над ним в это время. Приезда Арендта он ожидал с нетерпением. Жду слова от царя, чтобы умереть спокойно, промолвил он. Наконец, докт. А. приехал. Его приезд, его слова оживили умирающего. В 11-м часу я оставил П. на короткое время, простился с ним, не полагая найти его в живых по моем возвращении. Место мое занял другой врач. По возвращении моем в 12 часов пополудни мне казалось, что больной стал спокойнее. Руки его были теплее и пульс явственнее. Он охотно брал лекарства, заботливо спрашивал о жене и о детях. Я нашел у него доктора Даля. — Пробыв у больного до 4 часу, я снова его оставил на попечение Д. Д. и возвратился к нему около 7 часов вечера. Я нашел, что у него теплота в теле увеличилась, пульс сделался гораздо явственнее, и боль в животе ощутительнее. Больной охотно соглашался на все предлагаемые ему пособия. Он часто требовал холодной воды, которую ему давали по чайным ложечкам, что весьма его освежало. Так как эту ночь предложил остаться при больном Д. Д., то я оставил П. около полуночи. Рано утром 29 числа я к нему возвратился. Пушкин истаевал. Руки были холодны, пульс едва заметен. Он беспрестанно требовал холодной воды и брал ее в малых количествах, иногда держал во рту небольшие куски льду и от времени до времени сам тер себе виски и лоб льдом. — Докт. А. подтвердил мои и Д.Д. опасения. Около 12 часов больной спросил зеркало, посмотрел в него и махнул рукою. Он неоднократно приглашал к себе жену. Вообще все входили к нему только по его желанию. Нередко на вопрос: не угодно ли вам видеть жену, или кого-либо из друзей, — он отвечал: я позову.

Незадолго до смерти ему захотелось морошки. Наскоро послали за этой ягодой. Он с большим нетерпением ее ожидал и несколько раз повторял: морошки, морошки. Наконец привезли морошку. Позовите жену, сказал П., пусть она меня кормит. Он съел 2—3 ягодки, проглотил несколько ложечек соку морошки, сказал — довольно, и отослал жену. Лицо его выражало спокойствие. Это обмануло несчастную его жену; выходя, она сказала мне: вот увидите, что он будет жив, он не умрет. Но судьба определила иначе. Минут за пять до смерти, П. просил поворотить его на правый бок. Даль, Данзас и я исполнили его волю: слегка поворотили его и подложили к спине подушку. Хорошо, сказал он и потом несколько погодя промолвил: жизнь кончена! Да, конечно,

сказал докт. Даль, мы тебя поворотили, — кончена жизнь, возразил тихо П. Не прошло нескольких мгновений как П. сказал: теснит дыхание. То были последние его слова. Оставаясь в том же положении на правом боку, он тихо стал кончаться, и — вдруг его не стало.

Недвижим он лежал, и странен
Был томный мир его чела.

И. С.

2 февраля 1837.

4. ЗАПИСКА ДОКТОРА В. И. ДАЛЯ

Записка доктора Даля напечатана впервые в «Медицинской газете» за 1860 год, № 49, и затем не раз перепечатывалась[1]. В 1888 году В. П. Гаевский сообщил одно исправление и одно дополнение к известному тексту по имевшемуся у него списку[2].

В собрании А. Ф. Онегина среди бумаг, принадлежавших раньше Жуковскому, оказались три собственноручные записки В. И. Даля: одна — без заглавия, содержащая рассказ очевидца о болезни и смерти Пушкина; другая — под заглавием «Вскрытие тела А. С. Пушкина» и третья — под заголовком «Ход болезни Пушкина». Все эти три записки входят в том же порядке в состав известного в печати текста, но без заголовков. По сравнению с последним в рукописях немало отступлений. Первая часть в печатном тексте изложена с большими подробностями, но зато вторая и третья части в рукописи изложены гораздо точнее и отчасти подробнее, чем в печати.

Поэтому, сообщая в примечаниях все мало-мальски важные разночтения печатного текста к первой записке, мы не приводим таковых ко второй и третьей записке Даля, ибо текст нашей рукописи должен быть безусловно предпочтен печатному.

Исправление, внесенное Гаевским в печатный текст, не касается нашего списка, ибо в нем данное место изложено правильно. Дополнение же Гаевского на своем месте приведено в примечаниях.

А.

28 генваря, во втором часу полудня, встретил меня г. Башуцкий, когда я переступил порог его, роковым вопросом: «слышали?» и на ответ мой: нет — рассказал, что Пушкин умирает[3].

У него, у Пушкина, нашел я толпу в зале и в передней — страх ожидания пробегал шепотом[4] по бледным лицам. — Гг. Арендт и Спасский пожимали плечами. Я подошел к болящему — он подал мне руку, улыбнулся и сказал: «Плохо, брат!» Я присел[5] к одру смерти — не отходил, до конца страстных[6] суток. В первый раз Пушкин сказал мне ты.

---

[1] Например, в 7 и 8 изданиях сочинений Пушкина под редакцией П. А. Ефремова в 1880 и 1882 гг. В «Полном собрании сочинений Владимира Даля» (1-е посмертное полное издание т-ва М. О. Вольф, Спб., 1898) записка напечатана в 10-м томе.

[2] «Вестник Европы», 1888, март, стр. 436—437. Заметки о Пушкине — № III.

[3] накануне смертельно ранен.

[4] Этого слова нет.

[5] приблизился.

[6] страшных.

Я отвечал ему также — и побратался с ним за[1] сутки[1] до[1] смерти[1] его[1], уже не для здешнего мира!

Пушкин заставил всех присутствовавших сдружиться со смертию[2], так спокойно он ее ожидал, так твердо был уверен, что роковой час ударил[3]. Пушкин положительно отвергал утешение наше и на слова мои: Все мы надеемся, не отчаивайся и ты! отвечал: нет; мне здесь не житье; я умру, да видно уж так и надо! В ночи на 29-е он повторял несколько раз подобное; спрашивал, например: «который час» и на ответ мой продолжал[4] отрывисто и с расстановкою: «долго ли мне так мучиться! Пожалуйста поскорей!» Почти всю ночь продержал он меня за руку, почасту брал[5] ложечку водицы или крупинку льда и всегда при этом управлялся своеручно: брал стакан сам с ближней полки, тер себе виски льдом, сам сымал и накладывал себе на живот припарки[6], ( )[7] собственно от боли страдал он, по словам его, не столько, как от чрезмерной тоски, что приписать должно воспалению в брюшной полости, а, может быть, еще более воспалению больших венозных жил. «Ах,[8] какая тоска! — восклицал он иногда, закидывая руки на голову, — сердце изнывает!» Тогда просил он поднять его, поворотить на бок или поправить подушку — и, не дав кончить этого, останавливал обыкновенно словами: «Ну, так, так — хорошо; вот и прекрасно, и довольно; теперь очень хорошо!» или:[9] «Постой, не надо, потяни меня только за руку — ну вот и хорошо, и прекрасно[10]!» Вообще был он — по крайней мере в обращении со мною, повадлив и послушен, как ребенок, и делал все, о чем я его просил. «Кто у жены моей?» — спросил он между прочим. Я отвечал: много добрых людей принимают в тебе участие — зала и передняя полны, с[11] утра[11] до[11] ночи[11]. «Ну, спасибо, — отвечал он, — однако же, поди, скажи жене, что все слава богу, легко; а то ей там, пожалуй, наговорят!»

[С вечера] с[12] обеда[12] пульс был крайне мал, слаб и част — после полу[ночи]дни стал он подыматься, а к 6-му часу ударял не более 120 в минуту и стал полнее и тверже. В то же время начал показываться

---

[1] Этих слов нет.

[2] К этому месту Даль сделал следующее примечание: «Хладнокровие Пушкина к смерти было всем известно. У него было 4 поединка; все 4 раза он стрелялся всегда через барьер; всегда первый подходил быстро к барьеру, выжидал выстрела противника и потом — 3 раза оканчивал дело шуткою — и заключал стихом. Так, например, Пушкин, будучи вызван в Кишиневе одним офицером, стрелялся опять через барьер, опять первый подошел к барьеру, опять противник дал промах. Пушкин подозвал его вплоть к барьеру, на законное место, уставил в него пистолет и спросил: «Довольны ли вы теперь?» Полковник отвечал, смутившись: «Доволен». Пушкин снял шляпу и сказал улыбаясь: «Полковник Старов слава богу здоров!» Дело разгласилось секундантами, и два стишка эти вошли в пословицу в целом городе». Несколько иначе рассказывает Даль об этом поединке Пушкина в отрывке из записок, напечатанном в «Русс. стар.», 1907, т. CXXXII (октябрь), 64—65.

[3] ударил. Плетнев говорил: «глядя на Пушкина, я в первый раз не боюсь смерти».

[4] снова спрашивал.

[5] просил.

[6] Припарки, и всегда еще приговаривая: вот и хорошо и прекрасно.

[7] Слово неразборчивое.

[8] Ох.

[9—10] Слов Пушкина (с слова «или» и до конца фразы) нет.

[11] Этих слов нет.

[12] С утра.

небольшой общий жар. Вследствие полученных от д-ра Арендта наставлений, приставили мы с д-м Спасским 25 пиявок и в то же время и (послали)[1] за Арендтом. Он приехал и одобрил распоряжение наше. Больной наш твердою рукою сам ловил и припускал себе пиявки и неохотно позволял нам около себя копаться. Пульс стал ровнее, реже и гораздо мягче; я ухватился, как утопленник, за соломинку, робким голосом провозгласил *надежду* и обманул было и себя и других — но ненадолго. П. заметил, что я был пободрее, взял меня за руку и спросил:[2] «Никого[3] тут нет?» «Никого», — отвечал я[4]. «Даль, скажи же мне правду, скоро ли я умру?» «Мы за тебя надеемся, Пушкин, — сказал я, — право, надеемся!» Он пожал крепко руку мне и сказал: «Ну, спасибо!» Но, по-видимому, он однажды только и обольстился моею надеждою: ни прежде, ни после этого он не верил ей, спрашивал нетерпеливо: «Скоро ли конец? — и прибавлял еще: Пожалуйста поскорее!»[5] В продолжение долгой, томительной ночи глядел я с душевным сокрушением на эту таинственную борьбу жизни и смерти — и не мог отбиться от трех слов, из Онегина, трех страшных слов, которые неотвязчиво раздавались в ушах и в голове моей:

Ну что ж? Убит!

О, сколько силы и значения в трех словах этих![6] Ужас невольно обдавал меня с головы до ног — я сидел, не смея дохнуть, и думал: «Вот где надо изучать опытную мудрость, философию жизни — здесь, где душа рвется из тела; то[7], что[7] увидишь[7] здесь[7], не найдешь ни в толстых книгах, ни на шатких[8] кафедрах[8] наших[8]».

Когда тоска и боль его одолевали, он крепился усильно и на слова мои «терпеть надо, любезный друг, делать нечего, но не стыдись боли своей, стонай, тебе будет легче», — отвечал отрывисто: «нет, не надо стонать;[9] жена услышит; и смешно же, чтобы этот вздор меня пересилил; не[10] хочу[10]».

Пульс стал упадать приметно, и вскоре исчез вовсе. Руки начали стыть. Ударило два часа пополудни, 29 янв. — и в Пушкине оставалось жизни — только на 3/4 часа! П. раскрыл глаза и попросил моченой морошки. Когда ее принесли, то он сказал внятно: «Позовите жену, пусть она меня покормит». Др.[11] Спасский исполнил желание умирающего. Наталья Николаевна опустилась на колени у изголовья смертного одра,

---

[1] Это слово в рукописи пропущено и поставлено мною.

[2] сказал.

[3–4] Фраз, заключенных между отмеченными словами, нет.

[5] поскорее! Я налил и поднес ему рюмку касторового масла. «Что это?» — «Выпей это, хорошо будет, хотя, может быть, на вкус и дурно»; — «Ну давай», — выпил и сказал: «а, это касторовое масло?» — «Оно; да разве ты его знаешь?» «Знаю, да зачем же оно плавает по воде? сверху масло, внизу вода!» — «Все равно, там (в желудке) перемешается». — «Ну хорошо, и то правда».

[6] этих. Они стоят знаменитого Шекспировского рокового вопроса: быть или не быть?

[7] Вместо этих слов читается: «где живое, мыслящее совершает страшный переход в мертвое и безответное, чего...»

[8] кафедре.

[9] Этого слова нет.

[10] Этих слов нет, а вместо них: «Он продолжал по-прежнему дышать часто и отрывисто, его тихий стон замолкал на время вовсе».

[11] Всей последующей фразы нет.

поднесла ему ложечку, другую — и приникла лицом к челу отходящего мужа. П. погладил ее по голове и сказал: «Ну, ну, ничего, слава Богу, все хорошо!»

Вскоре подошел я к В. А. Жуковскому, кн.[1] Вяземскому[1] и гр. Виельгорскому и сказал: отходит! Бодрый дух все еще сохранял могущество свое — изредка только полудремотное забвение на несколько секунд туманило мысли и душу. Тогда умирающий, несколько раз, подавал мне руку, сжимал ее и говорил: «Ну, подымай же меня, пойдем, да выше, выше — ну пойдем!» Опамятовавшись сказал он мне: «Мне было пригрезилось, что я с тобой лезу вверх по этим книгам и полкам, высоко — и голова закружилась»[2] — Немного погодя он опять, не раскрывая глаз, стал искать мою руку и, потянув ее, сказал: «Ну, пойдем же, пожалуйста, да вместе!»

Друзья и ближние, молча, сложа[3] руки[3], окружили изголовье отходящего. Я, по просьбе его, взял его под мышки и приподнял повыше. Он вдруг, будто проснувшись, быстро раскрыл глаза, лицо его прояснилось, и он сказал: «Кончена жизнь». Я не дослышал и спросил тихо: «Что кончено». «Жизнь кончена», — отвечал он внятно и положительно. «Тяжело дышать, давит» — были последние слова его. Всеместное спокойствие разлилось по всему телу — руки остыли по самые плечи, пальцы на ногах, ступни, колена также, — отрывистое, частое дыхание изменялось более и более на медленное, тихое, протяжное — еще один слабый, едва заметный вздох — и — пропасть необъятная, неизмеримая разделяла уже живых от мертвого![4]

В. Даль.

Подлинник занимает все четыре страницы обыкновенного писчего листа. Помарок почти нет.

Б.

Вскрытие тела А. С. Пушкина

По вскрытии брюшной полости все кишки оказались сильно воспаленными; в одном только месте, величиною с грош, тонкие кишки были поражены гангреной. В этой точке, по всей вероятности, кишки были ушиблены пулей.

В брюшной полости нашлось не менее фунта черной, запекшейся крови, вероятно, из перебитой бедренной вены.

---

[1] Этих слов нет.

[2] «закружилась». — Раза два присматривался он пристально на меня и спрашивал: «Кто это? ты?» — «Я, друг мой». — «Что это, — продолжал он, — я не мог тебя узнать».

[3] Этих слов нет.

[4] «мертвого. Он скончался так тихо, что предстоящие не заметили смерти его». В списке, бывшем в руках Гаевского, читались еще следующие строки: «В. А. Жуковский изумился, когда я прошептал «аминь!» Доктор Андреевский наложил персты на веки его. День смерти Пушкина был день рождения Жуковского. В тот самый день Жуковский подписал последний корректурный лист своей Ундины: *О том как рыцарь наш скончался.* По смерти Пушкина надо было опечатать казенные бумаги; труп вынесли, и запечатали опустелую рабочую комнату Пушкина черным сургучом: красного, по словам камердинера, не нашлось».

По окружности большого таза, с правой стороны, найдено было множество небольших осколков кости, а наконец, и нижняя часть крестцовой кости была раздроблена.

По направлению пули надобно заключать, что убитый стоял боком, в пол-оборота и направление выстрела было несколько сверху вниз. Пуля пробила общие покровы живота в двух дюймах от верхней, передней оконечности чресельной или подвздошной кости (ossis iliaci dextri) правой стороны, потом шла, скользя по окружности большого таза, сверху вниз, и, встретив сопротивление в крестцовой кости, раздробила ее и засела где-нибудь поблизости. Время и обстоятельства не позволили продолжать подробнейших розысканий.

Относительно причины смерти — надобно заметить, что здесь воспаление кишок не достигло еще высшей степени: не было ни сывороточных или конечных излияний, ни прирощений, а и того менее общей гангрены. Вероятно, кроме воспаления кишок, существовало и воспалительное поражение больших вен, начиная от перебитой бедренной; а наконец, и сильное поражение оконечностей становой жилы (caudae equinae) при раздроблении крестцовой кости.

На 1/2 листе писчей бумаги, сложенной в четвертку. Текст занимает $2^1/_4$ страницы.

В.

Ход болезни Пушкина

При самом начале из раны последовало сильное, венозное кровотечение; вероятно, бедренная вена была перебита. Судя по количеству крови на плаще и платье, раненый потерял несколько фунтов крови. Пульс соответствовал этому положению; оконечности стыли. Чело покрылось холодным потом. Опасались, чтобы раненый не изошел кровью. Итак, первое показание было унять кровотечение. Холодная, со льдом примочка на брюхо, холодительное питье и пр. вскоре отвратили опасение это, и 28-го утром, когда боли усилились и показалась значительная опухоль живота, решились поставить промывательное, чтобы облегчить и опростать кишки. С трудом только можно было это исполнить: больной не мог лежать на боку, а чувствительность воспаленной проходной кишки, от разробленного крестца, — обстоятельство в то время еще неизвестное — была причиной жестокой боли и страданий после этого промывательного. Оно не подействовало. Больной был так раздражен, духовно и телесно, что в продолжение этого утра отказывался вовсе от предлагаемых ему пособий. Около полудня дали ему несколько капель опия, что принял он с жадностью и успокоился. Перед этим принимал он extr. hyoskyami c. calomel, без всякого видимого облегчения. После обеда и во всю ночь давали попеременно aq. laurocerasi et opium c. calomel. К шести часам вечера 28-го болезнь приняла иной вид: пульс поднялся, ударял около 120, сделался жесток; оконечности согрелись: общая теплота тела возвысилась, беспокойство усилилось — словом, начало образоваться воспаление. Поставили 25 пиявок к животу; [лихорадка стихла] жар уменьшился, опухоль живота опала, пульс сделался ровнее и гораздо мягче, кожа показывала небольшую испарину. Это была минута надежды. Если бы пуля не раздробила костей, то, может быть, надежда эта нас и не обманула. Но уже с полуночи и в особенности к утру общее изнеможение взяло верх: пульс упадал с часу

на час и к полудню 29-го исчез вовсе; руки остыли — в ногах теплота сохранилась гораздо долее, — больной изнывал тоскою, начиная по временам уже забываться, ослабевал, и лицо его изменилось. При таких обстоятельствах — не было уже ни пособия, ни надежды. Надобно было полагать, что гангрена в кишках начала уже образоваться. Жизнь угасала видимо, и светильник дотлевал последнею искрой.

Вскрытие трупа показало, что рана принадлежала к безусловно смертельным. Раздробление подвздошной и в особенности крестцовой кости — неисцелимо. При таких обстоятельствах смерть могла последовать: 1-е) от истечения кровью; 2-е) от воспаления брюшных внутренностей, больших вен, общее с поражением необходимых для жизни нервов и самой оконечности становой жилы (cauda equina); 3-е) самая медленная, томительная смерть, от всеобщего изнурения, при переходе пораженных мест в нагноение. Раненый наш перенес первое и поэтому успел приготовиться к смерти и примириться с жизнью; и — благодаря бога — не дожил до последнего, чем избавил и себя и ближних своих от напрасных страданий.

В. Даль.

На 1/2 листе писчей бумаги, сложенной в четвертку. Все 4 страницы заняты текстом.

III. В. А. ЖУКОВСКИЙ В ЗАБОТАХ ПО ДЕЛУ ПУШКИНА

1. ВВЕДЕНИЕ

1

В момент смерти Пушкина и сейчас после нее друзьям Пушкина пришлось действовать на две стороны: на современников и на государя.

В письмах, назначенных для широкого распространения, Жуковский и Вяземский, искусно и тщательно подкрашивая действительность, давали ей то изображение, которое вызывалось потребностью момента: необходимостью оградить моральные и материальные интересы семьи Пушкина. Та история трагического конца Пушкина, которую они предлагали вниманию современников, имела в виду прежде всего охрану доброго имени Пушкина и его жены. «Доброе имя», конечно, в соответствии с уровнем тогдашних представлений. Стремясь убедить окружавших в высоком и государственном значении деятельности Пушкина, друзья его в своих рассказах внушали современникам, что государь принял смерть Пушкина как национальное горе; заботливостью своей, проявленной в момент смерти поэта, засвидетельствовал любовь к нему как человеку, а милостями, оказанными его семье, высказал высокую оценку его деятельности.

Но действительность далеко не соответствовала той картине, которую рисовали друзья Пушкина. Такой вывод намечается уже при разборе письма Жуковского к С. Л. Пушкину. Документы, впервые печатаемые в настоящем отделе книги, дают возможность развить и укрепить этот вывод. Мы получаем возможность судить, в каком направлении совершалось воздействие друзей Пушкина на государя и какими результатами оно сопровождалось. Разными путями друзья Пушкина *старались убедить* государя в том, что потеря Пушкина — великая национальная потеря и что Пушкин был искренний приверженец существующего строя и государя и, как таковой, достоин великих милостей. Старались убедить, но убедили ли? Образ действий друзей Пушкина мог повести только к заключению, что государь убежден и разделяет все их взгляды на Пушкина. На основании публикуемых теперь документов можно с достоверностью утверждать, что убеждения Жуковского не достигли цели, и роль государя в момент смерти поэта и после нее не была такой, какой она рисуется нам на основании свидетельств друзей Пушкина.

Все, стоявшие в России на стороне Пушкина, прославляли Николая Павловича за трогательное отношение к памяти умершего, с восторгом говорили о его щедрых милостях вдове и детям умершего и шепотом

одобряли от души приказание его Жуковскому разобрать бумаги покойного и сжечь все, что он найдет предосудительного для памяти Пушкина. Представители иностранных держав, находившиеся в 1837 году при петербургском дворе, сочли непременным своим долгом в своих депешах подчеркнуть отношение государя к Пушкину, и никто из них не упустил упомянуть о пожертвованиях государя семье Пушкина и о приказе его сжечь все предосудительное в бумагах Пушкина. Все предполагали, что в бумагах поэта должны быть произведения антиправительственные, антирелигиозные, резко сатирические или даже направленные против самого государя. Поэтому в глазах современников это разрешение или даже повеление сжечь рукописи «возмутительные» ярко иллюстрировало высокое благородство характера государя. Государь творит доброе дело и не желает ничего слышать о произведениях Пушкина, как бы несовместимых с щедрым покровительством его памяти.

Не только современники, но и позднейшие исследователи и биографы Пушкина излагают эту страничку из истории отношений императора к поэту так же и с таким же пафосом, как ее излагали в свое время друзья поэта. Эпизод государевой милости за гробом обычно является в изображении биографов поэта лишь увенчанием этой истории. Государь, по их мнению, после смерти поэта дал высшее и прекрасное доказательство тому, что он любил лично Пушкина и что он признавал все его огромное значение для России.

Печатаемые нами документы заставляют беспристрастного историка устранить обычный пафос с последних страниц истории отношений поэта и государя.

2.

Щедрые милости Николая Павловича семье Пушкина до сих пор приписывали безраздельно его собственной инициативе. Теперь приходится твердо установить, что вдохновителем государя был В. А. Жуковский, что распоряжения, сделанные государем 30 января, были в значительной мере предусмотрены и продиктованы Жуковским. В собрании А. Ф. Онегина сохранился черновик записки, в которой Жуковский изложил свои соображения по вопросу, как достойным образом почтить память умершего поэта. Эта записка составлена вечером 29 января 1837 года и должна была быть подана Жуковским государю. В беловом виде она еще неизвестна. Впрочем, быть может, Жуковский ограничился устным изложением своих предположений государю.

Черновик свидетельствует нам о благодетельной инициативе постоянного ходатая и благотворителя русских писателей — Жуковского. Это он «осмелился представить на благоусмотрение его величества мысль» об очищении от долгов сельца Михайловского; это он убедил присоединить «к такому великодушному дару и другой, столь же национальный» — издание сочинений Пушкина, с предоставлением дохода в пользу его семьи; это он указал на необходимость «единовременно пожаловать что-либо на первые домашние нужды». Но Жуковский хотел, чтобы милость Пушкину за гробом была оказана не по нужде, а по заслуге; Жуковский желал, чтобы милость не была совершена келейно, а была оглашена манифестом и, следовательно, понята как знак высочайшего признания государственного значения деятельности Пушкина. В 1826 году именно так был почтен Карамзин, и Жуковский писал манифест по этому поводу. «Позвольте мне, государь, — пишет

в своей записке Жуковский, — и в настоящем случае быть истолкователем Вашей монаршей воли и написать ту бумагу, которая должна будет ее выразить для благодарного отечества и Европы».

30 января Николай Павлович вручил Жуковскому собственноручно карандашом написанную записочку, в которой обозначены милости семье Пушкина. Из этой записочки, давно известной и вновь печатаемой нами по подлиннику, видно, что император осуществил все высказанные Жуковским пожелания материального характера и для семьи сделал даже больше, чем он просил. Но самое главное желание Жуковского, характера невещественного, осталось неисполненным. Император не пожелал своим милостям сообщить значение государственного дела и придал им характер личной, частной благотворительности. В письме А. И. Тургенева от 1 февраля к А. И. Нефедьевой находим и объяснение такого отношения государя к памяти Пушкина. Уместно повторить уже цитированные нами выше (стр. 147) любопытные подробности, находящиеся в этом письме.

«Когда Жуковский представлял государю записку о семействе Пушкина, то, сказав все, что у него было на сердце, он прибавил a peu près так: «Для себя же, государь, я прошу той же милости, какою я уже воспользовался при кончине Карамзина: позвольте мне так же, как и тогда, написать указы о том, что Вы повелеть изволите для Пушкина». (Жуковский писал докладную записку и указы о пенсии Карамзину и семейству его.) На это государь отвечал Жуковскому: „Ты видишь, что я делаю все, что можно для Пушкина и для семейства его, и на все согласен, но в одном только не могу согласиться с тобою: это — в том, чтобы ты написал указы, как о Карамзине. Есть разница: ты видишь, что мы насилу довели его до смерти христианской, а Карамзин умирал, как ангел"».

Итак, если Николай Павлович творил добро семье Пушкина, то он делал это отнюдь не во имя Пушкина, отнюдь не в силу признания за его личностью и деятельностью национального и государственного значения, а по иным соображениям. Тут играли роль и влияние Жуковского, и хорошее отношение к жене Пушкина, которую он любил видеть на придворных балах, и, наконец, конечно, значительную роль играл и расчет на добрую славу о его великодушии и щедрости.

Несмотря на ясный смысл категорического отказа государя огласить манифест сочувствия памяти Пушкина, Жуковский, а за ним и остальные друзья Пушкина продолжали придавать поступку государя тот смысл, который они хотели бы в нем видеть и которого в нем, заведомо для них, не было.

3

В. А. Жуковский старался изобразить пред Николаем Павловичем и современниками смерть Пушкина как идеал христианской кончины. Государь не поверил и остался при особом мнении, продолжая относиться к религиозности Пушкина с весьма большим сомнением. Надо думать, государь не отделался от воспоминаний об эпизоде с «Гавриилиадой», разыгравшемся в 1828 году, и не позабыл, как Пушкин, сначала отрекшийся от своей кощунственной поэмы, потом приносил покаяние в письме, которое прочел один он, император.

В. А. Жуковский, отождествлявший миросозерцание Пушкина с своим сентиментально-монархическим, старался и при жизни Пушкина и после его смерти убедить государя в благонамеренности политических

настроений и политических взглядов поэта. Государь не верил благонадежности Пушкина. Государю, по-видимому, было мало того, что в этом пункте все показания были на стороне Пушкина; ему хотелось, чтобы Пушкин не только внешне, но и внутренне был бы весь его, насквозь весь, с его сердцем и его совестью. Тому, что Николай Павлович не верил в искренность Пушкина, мы имеем немало доказательств. Новые и яркие подтверждения такому взгляду государя на поэта дают публикуемые нами материалы, относящиеся к сношениям Жуковского с графом А. Х. Бенкендорфом в первые дни по кончине Пушкина.

Николай Павлович не верил тому, что говорил о Пушкине Жуковский. В этом пункте влияние Жуковского на Николая Павловича столкнулось с влиянием, диаметрально противоположным, резко враждебным — графа А. Х. Бенкендорфа, шефа жандармов и начальника III отделения. Но, конечно, Бенкендорф был ближе государю, чем воспитатель его сына, речи Бенкендорфа уму и сердцу государя были понятнее речей Жуковского. Не могли забыть и государь, и Бенкендорф о 14 декабря 1825 года, и Пушкин оставался для них человеком 14 декабря, один из "des amis de 14".

Не раз Жуковскому приходилось схватываться с Бенкендорфом за Пушкина при его жизни. Была суждена ему и последняя схватка с Бенкендорфом — уже у гроба Пушкина. И если при жизни поэта борьба Жуковского оканчивалась некоторыми видимыми победами, то в последнем столкновении, после смерти Пушкина, он был разбит, а сердце его растерзано. Жуковского должен был мучить не тот верх, который взял над ним Бенкендорф, а то сочувствие, которое оказал Бенкендорфу государь. Для нас же это сочувствие является лишним, неложным свидетелем истинного отношения государя к Пушкину. Столкновение разыгралось вокруг бумаг Пушкина.

Мы знаем из заявлений Жуковского об исполненном великодушного благородства приказании государя Жуковскому о разборе бумаг Пушкина. Государь предполагал, что в бумагах могут оказаться вещи антиправительственные, предосудительные, но он не желал их знать. Он поручал Жуковскому запечатать бумаги Пушкина и затем на досуге разобрать их. Жуковский должен был сжечь все предосудительное, возвратить письма их авторам, а казенные документы — по принадлежности. Такова была первоначальная воля государя.

Пушкин умер 29 января в 2¾ часа пополудни. Через час тело его было вынесено из кабинета, и кабинет, в котором находились бумаги Пушкина, был опечатан Жуковским. Приступить к разбору Жуковский предполагал, конечно, после похорон поэта, но не прошло и двух дней со дня смерти, как Жуковский узнал, что разбирать бумаги будет он не один, а совместно с жандармским офицером по назначению графа Бенкендорфа. Чем было вызвано такое изменение высочайшей воли? Прежде всего, конечно, — влиянием Бенкендорфа, а затем проснувшимся вновь недоверием к Пушкину и страхом, теперь уже загробным, перед его сатирами и эпиграммами. Изменение первоначального распоряжения свидетельствовало и о недоверии к Жуковскому и должно было оскорбить его, но к таким оскорблениям Жуковский привык. Что касается недоверия, то Бенкендорф всегда питал к нему оное, считая его единомышленником Пушкина, а император Николай не доверял потому, что считал Жуковского человеком, доверие которого легко может быть обмануто. Так или иначе, но Жуковский должен был разделить труд

по разбору пушкинских бумаг вместе с помощником Бенкендорфа, генералом Дубельтом.

Какими же указаниями должны были руководствоваться при разборе бумаг Жуковский и Дубельт? В своем простодушии Жуковский полагал, что должны остаться те же правила, которые были изложены им перед государем и были приняты последним. Вот как изложил Жуковский эти правила к сведению графа А. Х. Бенкендорфа в письме от 5 февраля.

1. Бумаги, кои по своему содержанию могут быть во вред памяти Пушкина, сжечь.

2. Письма, от посторонних лиц к нему писанные, возвратить тем, кои к нему их писали.

3. Оставшиеся сочинения как самого Пушкина, так и те, кои были ему доставлены для помещения в «Современнике», и другие такого же рода бумаги сохранить (сделав им список).

4. Бумаги, взятые из государственного архива, и другие казенные возвратить по принадлежности.

К правилам Жуковский присоединил еще свое мнение, что письма жены Пушкина надо возвратить ей без рассмотрения.

Граф Бенкендорф ответил Жуковскому 6 февраля. Бенкендорф вновь повергнул на благоусмотрение государя правила, уже раз повергнутые Жуковским и принятые государем. Результаты были неожиданные: на этот раз правила были отвергнуты. Пожалуй, нельзя даже сказать «отвергнуты», но в правила были внесены изменения столь существенные, что изменился теперь самый смысл приказа о разборке бумаг. Достаточно посмотреть, во что обратились пункты Жуковского.

Предосудительные для памяти Пушкина бумаги надо сжечь,— так говорил Жуковский, и с ним согласился царь. Что их надо сжечь,— с этим был согласен и Бенкендорф, но эту меру он дополнял еще одной; предварительно бумаги эти должны быть доставлены к нему для прочтения! Великолепно объяснение, которое дает Бенкендорф такой мере: «Мера сия принимается отнюдь не в намерении вредить покойному в каком бы то ни было случае, но единственно по весьма справедливой необходимости, чтобы ничего не было скрыто от наблюдения правительства, бдительность коего должна быть обращена на все возможные предметы».

Письма к Пушкину надо вернуть их авторам,— полагал Жуковский и получил царское одобрение. Письма посторонних лиц будут возвращены тем, кои к нему писали, не иначе, как после моего прочтения,— полагал Бенкендорф и тоже получил высочайшее одобрение.

Бенкендорф соглашался и с мнением Жуковского о необходимости сохранить сочинения Пушкина и литературные материалы для «Современника», но он почитал необходимым сделать им разбор,— которые из них могут быть допущены к печати, которые возвратить сочинителям и которые истребить совершенно.

Относительно писем вдовы Пушкина Бенкендорф, конечно, соглашался с мнением Жуковского и считал нужным вернуть их ей «без подробного оных прочтения, но только с наблюдением о точности ее почерка».

Таковы те изменения первоначального распоряжения государя, которые последовали по докладу Бенкендорфа и о которых он поставил в известность Жуковского.

И при изменившихся обстоятельствах Жуковский не счел возможным уклониться от разбора бумаг. Мало того, он по-прежнему про-

должал вкладывать в распоряжение государя о разборе и сожжении бумаг тот смысл, который он увидал в первом изъявлении его воли и который совершенно исчез во втором изъявлении. Но ведь никоим образом нельзя усмотреть никакого благородства и великодушия в преподанных Бенкендорфом правилах разбору бумаг, ибо большая разница между сожжением бумаг до прочтения и сожжением после прочтения.

В. А. Жуковский и Л. В. Дубельт приступили к разбору бумаг и разобрали их. Бенкендорф сделал единственную уступку Жуковскому, отменив свое распоряжение разбирать бумаги в помещении Третьего отделения и разрешив сделать это в покоях Жуковского. Немало тяжелых минут пришлось пережить Жуковскому во время разбора. Сохранился публикуемый ниже черновик его обращения к государю, свидетельствующий о таком моменте в жизни Жуковского. Исполняя буквально волю государя, он должен был бы перечитать все чужие письма, но он все же имел силы не делать этого и предоставил чтение чужих писем жандармскому генералу. «Но все было мне, — писал он впоследствии государю, — прискорбно, так сказать, присутствием своим принимать участие в нарушении семейственной тайны; передо мною раскрывались письма моих знакомых». Такая щепетильность должна была казаться несколько странной Николаю Павловичу. Ему постоянно докладывали письма, перлюстрированные почтой; в 1835 году ему было, например, доставлено письмо Пушкина к жене. По этому поводу Пушкин записал в своем дневнике (под 10-м мая 1835 года): «Какая глубокая безнравственность в привычках нашего правительства! Полиция распечатывает письма мужа к жене и приносит их читать царю, человеку благовоспитанному и честному, и царь не стыдится в том признаться и давать ход интриге, достойной Видока и Булгарина».

Чтение писем в общем сошло благополучно, но два письма графа В. А. Соллогуба, найденные в бумагах Пушкина, доставили немало тревоги Жуковскому. Одно из писем касалось той дуэли, которая чуть было не состоялась в начале 1836 года между Пушкиным и графом В. А. Соллогубом. Другое письмо было написано им к Пушкину в ноябре 1836 года: указывая на решение Дантеса жениться на Е. Н. Гончаровой, Соллогуб вызвал Пушкина на примирение. Это последнее письмо Бенкендорф поспешил препроводить в военно-судную комиссию по делу о дуэли Дантеса и Пушкина. Графу В. А. Соллогубу грозили неприятности. Можно себе представить, какое впечатление произвело это обстоятельство на Жуковского. Тяжело и теперь читать строки его обращения к государю, которое делается ныне известным в черновом виде: «По найденным двум запискам, как я слышал, хотят предать суду Соллогуба. Государь, будьте милостивы, избавьте меня от незаслуженного наказания. Сохраните мне доброе имя. Меня назовут доносчиком. Вы не для этого благоволили поручить мне рассмотрение бумаг Пушкина: здесь не может быть и места наказанию».

Делу против Соллогуба не было дано хода, а самое письмо было возвращено графу Бенкендорфу и сохранялось до самого последнего времени в архиве III Отделения[1].

---

[1] Письмо это напечатано в «Переписке Пушкина», изд. Акад. наук, Т. III, стр. 408, № 1100. См. относящиеся к этому эпизоду бумаги в книге «Дела III отделения о Пушкине». Спб., 1906, стр. 186, 187. Первое из упоминаемых

Так было выполнено приказание о разборке и сожжении предосудительных бумаг — приказание, о котором с восторгом говорили современники, писали заграничные журналисты, доносили иностранные дипломаты, как о поступке высокого благородства.

У гроба Пушкина проснулась вся недоверчивость Николая Павловича. Он не верил христианским чувствам умершего, не верил в искренность его политических взглядов. Как же он мог относиться к Пушкину, как к человеку и как деятелю? Он не мог любить первого и не мог ценить и уважать последнего. Таковы выводы, к которым приводит нас знакомство с новыми материалами. Жуковский, несмотря на целый ряд личных неприятностей, несмотря на довольно категорическое выражение истинных чувств государя, продолжал твердить о том, что «государь постигнул потерю Пушкина, как личный благотворитель и создатель своего поэта, как представитель своего народа, как образец и блюститель народной нравственности» и т. д., и т. д. Мы можем не придавать *никакой ценности* этим утверждениям: все это — слова, слова, слова! В то время Жуковский считал необходимыми, в своих целях, все эти слова. Теперь уже нет такой необходимости в них, и наша обязанность перед памятью Пушкина заключается в восстановлении истины как она есть.

---

2. ДОКУМЕНТЫ

I. ЗАПИСКА В. А. ЖУКОВСКОГО ИМП. НИКОЛАЮ ПАВЛОВИЧУ О МИЛОСТЯХ СЕМЬЕ ПУШКИНА

(Черновик)

Вот мысль, которую осмеливаюсь представить на благоусмотрение В. И. В-а, Пушкин всегда говорил, что желал бы быть погребенным в той деревне, где жил [кажется], если не ошибаюсь, во младенчестве, где гробы его [отцов] предков и где недавно похоронили его мать (мы хотели перенести туда его тело)[1]. Не можно ли с исполнением этого [желания] воли мертвого соединить и благо его осиротевшего семейства и, так сказать, дать [детям] его сиротам при гробе отца верный приют на жизнь и в то же время воздвигнуть трогательный, национальный памятник поэту, за который вся Россия, его потерявшая, будет благодарна великодушному соорудителю? Эта деревня, сколько я знаю, заложена: ее могут продать; вместе с нею и прах Пушкина может сделаться собственностию равнодушного к нему заимодавца, и Русские могут не знать, где их Пушкин. Не можно ли эту деревню [очистить], очистив от всех долгов, на ней лежащих, [купить и] обратить в майорат для вдовы и семейства, отцу же, которому она принадлежит, дряхлому и больному старику определить пенсион по смерть? Таким распоряжением утвердилось бы навсегда все будущее осиротевших, в настоящем [был] было бы у них [верный приют]

Жуковским писем стало нам известным только после революции, напечатано в книге А. С. Полякова: «О смерти Пушкина». Пб., 1922, стр. 9—10. О столкновении графа В. А. Соллогуба с Пушкиным в начале 1836 года см. «Письма графа В. А. Соллогуба к А. С. Пушкину по поводу их дуэли», статья М. Голубцовой в «Отчете императорского российского Исторического музея в Москве за 1913 год», стр. 107—115.

[1] Фраза в скобках вписана над строкой; скобки мои.

верное пристанище (ибо, если не ошибаюсь, в деревне есть дом, и вдова, которая не имеет теперь угла, чтобы приклонить голову, могла бы там поселиться), а Россия была бы обрадована памятником, достойным и ее первого поэта и ее великого государя. Если же к такому великодушному, национальному дару присоедините, государь, другой, столь же национальный, издание стихотворений умершего, и присвоите себе его сирот, то будет исполнена вполне ваша высокая, благотворная мысль, а из издания выручится вдруг капитал, который к совершеннолетию детей составит значительную сумму. К вышесказанному осмеливаюсь прибавить личную просьбу. Вы Государь уже даровали мне высочайшее счастие быть через Вас успокоителем последних минут Карамзина. Мною же передано было от вас последнее радостное слово, услышанное Пушкиным на земле. Вот что он отвечал, подняв руки к небу с каким-то судорожным движением (и что я вчера забыл передать В. В-у): как я утешен! скажи государю, что я желаю ему долгого, долгого царствования, что я желаю ему счастия в сыне, что я желаю счастия [его] в счастии России. И так, позвольте мне, государь, и в настоящем случае быть изъяснителем вашей монаршей воли и написать ту бумагу, которая должна будет ее выразить для благодарного отечества и Европы.

Прибавлю еще одно: в доме Пушкина нашлось всего-навсего триста рублей. Деньги на необходимые расходы и на похороны дал граф Строганов. Не благоволите ли что-нибудь пожаловать на первые домашние нужды? Еще [одно] почитаю обязанностью сказать слово о бедном Данзасе. Он должен быть предан суду. Благоволите позволить, чтобы он, который (больной от горя и от ран) не отходил от Пушкина, мог остаться на свободе до совершения похорон и чтобы подвержен был домашнему аресту. Остальное предост. вашему милосердию. Он живет одним жалованьем и если вследствие [суда должен] будет [оставить] куда-нибудь сослан, то погиб [соверш.], а это несчастие упало на него как бомба; он не мог даже и одуматься, — и [состоял] [отдал себя безусловно] предал себя безусловно судьбе Пушкина, [с коим] его товарища.

Этот черновик находится в собрании А. Ф. Онегина и в описании Б. Л. Модзалевского значится под № 20 в серии: «Документы Жуковского». Он писан на белом писчем листе бумаги весь рукою В. А. Жуковского. Слова зачеркнутые поставлены мною в скобки. На 4-й странице в углу вверх ногами следующий список фамилий, записанный Жуковским же:

Арбенев, Моро, Смирнов, Стурдза, Штош, Семен, Рейтерн, Гоголь, Жуковский, Проташинский, Якоби, Елагин.

2. ЗАПИСКА ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА О МИЛОСТЯХ СЕМЬЕ ПУШКИНА

1. Заплатить долги.
2. Заложенное имение отца очистить от долга.
3. Вдове пенсион и дочери по замужество.
4. Сыновей в пажи и по 1500 р. на воспитание каждого по вступление на службу.
5. Сочинение издать на казенный щет в пользу вдовы и детей.
6. Единовременно 10 т.

Подлинная записка находится в собрании А. Ф. Онегина. Воспроизводится по кальке, сделанной А. Ф. Онегиным. Записка была вложена в бумагу, на которой имеется надпись Жуковского: Своеручная записка, данная мне государем императором 30 генваря 1837.

3. В. А. ЖУКОВСКИЙ – ГРАФУ Г. А. СТРОГАНОВУ

(Черновик)

Милостивый государь
Г. Григорий Александрович.

Имею честь препроводить к Вашему Сиятельству [собственноручную записку, которую я] копию с собственноручной записки государя императора, которую я имел счастие получить от его величества. В ней [им самим] означены те милости, коими благоугодно было нашему великодушному [государю] монарху осыпать семейство покойного Пушкина; сия [записка] копия должна [остаться документом] храниться как документ [в опеке] при бумагах опеки, оригинал же, мне драгоценный, сохраню у себя.

Примите уверение в совершенном почтении и преданности, с коими имею честь быть В.С.П.С.

Этот черновик писан рукою Жуковского на зеленоватой почтовой бумаге большого формата. Хранится в собрании А. Ф. Онегина (Описание Б. Л. Модзалевского, серия: «Документы из бумаг Жуковского», № 19).

Тут же заверенная Жуковским копия с записки государя. В копии несколько ошибок: так написано «долгов» вместо «долга»; «со службу» вместо «на службу».

4. ПРОСЬБА В. А. ЖУКОВСКОГО О РАЗРЕШЕНИИ ИЗДАНИЯ СОЧИНЕНИЙ ПУШКИНА

Представляя всеподданнейше по повелению Вашего Императорского Величества проэкт публикации о издании сочинений Пушкина, осмеливаюсь просить разрешения Вашего на ее напечатание. Само по себе разумеется, что из оставшихся сочинений Пушкина будет сделан выбор строгий. Все, что найдется в его бумагах касательно истории Петра Великого, будет мною приведено в порядок и представлено на рассмотрение вашему императорскому величеству. Я желал бы немедленно сделать публикацию, дабы иметь более подписчиков. Зимние месяцы для этого самые удобные.

Действительный статский советник *Жуковский.*

Писано на большом листе бумаги писарским почерком. Подпись — собственной руки Жуковского. Находится в собрании А. Ф. Онегина и занесено в описании Б. Л. Модзалевского под № 48. При этой бумаге находится и самый проект.

Подписка
на полное издание
сочинений в стихах и прозе
А. С. Пушкина
в пользу его семейства

Сие издание будет состоять из 7 томов в 8-ю долю листа. В первых шести поместятся все сочинения, уже известные публике; в седьмом все неизвестные, найденные в бумагах Пушкина после его смерти.

Содержание VII томов

I том. Борис Годунов. Евгений Онегин.

II. Поэмы: Руслан и Людмила. Кавказский пленник. Бахчисарайский фонтан. Полтава. Цыгане. Братья разбойники. Нулин.

III и IV. Разные стихотворения.

V. История Пугачевского бунта.

VI. Повести Белкина. Пиковая дама. Капитанская дочка. Смесь.

VII. Неизданные сочинения в стихах и прозе. Избранные письма.

При первом томе будут помещены портрет, биографические известия о Пушкине и снимки его почерка.

Подписная цена

На лучшей веленевой бумаге	40	рублей
С пересылкой . .	50	»
На простой бумаге	25	»
С пересылкой . .	35	»

Подписка принимается в С.-Петербурге во всех книжных лавках. Иногородняя адресуется в газетную экспедицию С.-Петербургского и Московского почтамтов. Имена Гг. подписавшихся будут напечатаны в конце последнего тома.

Надзор за изданием будут иметь В. А. Жуковский, К. П. А. Вяземский и П. А. Плетнев.

Все издание должно кончиться к исходу 1837 года.

На этом документе положена имп. Николаем Павловичем следующая резолюция:

Согласен, но с условием выпустить все, что не прилично из читанного мной в Борисе Годунове и строжайшего разбора еще неизвестных сочинений.

Писано на большом писчем листе. Собственноручная императора Николая резолюция писана карандашом и покрыта лаком.

К просьбе Жуковского о разрешении издания Сочинений Пушкина надо присоединить еще письмо его к государю от 5 апреля 1837 года, которое оказалось в коллекции Э. П. Юргенсона и напечатано в «Современнике», 1913 г., сентябрь, стр. 326. В целях полноты перепечатываем здесь это маленькое письмо:

«Основываясь на том, что я имел счастье лично слышать от вашего императорского величества, я уведомил министра народного просвещения, что Ваше величество насчет издания сочинений Пушкина соизволили изъявить мне следующее: «сочинения, уже напечатанные, пропустить, не подвергая их новому разбору; сочинения, еще не напечатанные, отослать в цензуру для разбора по установленному порядку; все рукописи, касающиеся до истории Петра Великого, предварительно предоставить Вашему императорскому величеству». Будучи принужден по причине отъезда своего поспешить сделать все нужные распоряжения для начала издания, о коем уже объявление публиковано, осмеливаюсь просить Ваше императорское величество благоволить

7—1388

подтвердить Вашу высочайшую мне изъявленную волю, дабы министр просвещения мог немедленно дать приказание о выдаче мне экземпляра печатных сочинений Пушкина, представленного мною в цензуру для надлежащего подписания.

Действительный статский советник Жуковский.

5 апреля

1837 г.

На этом письме собственноручная резолюция императора Николая: «Нет затруднений».

5. ГРАФ А. Х. БЕНКЕНДОРФ — В. А. ЖУКОВСКОМУ

(не позднее 3 февраля 1837 года)

(Перевод). Е. в. император уполномочил меня спросить у Вас анонимное письмо, которое Вы вчера получили и о котором Вы сочли нужным сказать е.в. императрице. Граф Орлов получил подобное же письмо и поспешил вручить его мне. Сравнение двух писем может дать указания на составителя.

Ваш А. Бенкендорф.

Записка писана по-французски собственноручно Бенкендорфом на четвертушке бумаги, сложенной вдвое, со штампом Н.И.П.Б.Ф. Находится в собрании А. Ф. Онегина и занесена в описании Б. Л. Модзалевского под № 14 в серии: «Документы из бумаг Жуковского». О каком анонимном письме идет речь, трудно сказать. Вероятно, тут имелись в виду не анонимные письма, разосланные 4 ноября 1836 года, а другие.

Это наше предположение, высказанное в первом издании нашей книги, можно было проверить только в 1917 году, когда революция раскрыла и самые секретные отделы архива III отделения. В. А. Жуковский получил не позднее утра 31 января нижеприводимое анонимное письмо, пересланное им графу А. Х. Бенкендорфу:

Милостивый государь
Василий Андреевич!

Убийство А. С. Пушкина, делавшего честь России своим имянем и поставившего себя (здесь неуместно употреблять лесть) первым после Вас поэтом, для каждого россиянина есть чувствительнейшая потеря. Неужели после сего происшествия может быть терпим у нас не только Дантест, но и презренный Гекерн? Неужели правительство может равнодушно сносить поступок презренного им чужеземца и оставить безнаказанно дерзкого и ничтожного мальчика? Вы, будучи другом покойному, конечно, одинаковое со всеми принимаете участие в такой горестной потере и, по близости своей к цар[ском]у дому, употребите все возможное старание к удалению отсюда людей, соделавшихся через таковой поступок ненавистными каждому соотечественнику Вашему, осмелившихся оскорбить в лице покойного — дух народный, — Вы один из тех, на которых надежда в исполнение сего общего желания. — Явное покровительство и предпочтение подобным прошлецам-нахалам и иностранцам может для нас быть гибельным. — А Вы носите важную на себе обязанность. — Не подумайте, однако же, что письмо сие есть средство к какому-либо противозаконному увлечению, нет, его писал верный

подданный, желающий славы и блага госу-рю и отечеству и живущий уже четвертое царствование.

30 января 1837.

Его превосходительству милостивому государю Василию Андреевичу Жуковскому. В Шепелевском дворце.

Анонимный автор не ограничился письмом к Жуковскому. Через два дня он отправил аналогичное заявление к графу А. Ф. Орлову:

Ваше Сиятельство.

Лишение всех званий, ссылка на вечные времена в гарнизоны солдатом Дантеста — не может удовлетворить Русских, за умышленное, обдуманное убийство Пушкина; нет, скорая высылка отсюда презренного Гекерна, безусловное воспрещение вступать в Российскую службу иностранцам, быть может, несколько успокоит, утушит скорбь соотечественников Ваших в таковой невознаграждаемой потере. Открытое покровительство и предпочтение чужестранцам, день ото дня делается для нас нестерпимее. Времена Биронов миновались. Вы видели вчерашнее стечение публики, в ней не было *любопытных* Русских — следовательно, можете судить об участии и сожалении к убитому. Граф! Вы единственный у престола представитель своих соотечественников носите славное и историческое имя и сами успели заслужить признательность и уважение своих сограждан; а потому все на Вас смотрят, как на последнюю надежду. Убедите его величество поступить в этом деле с общею пользою. Вам известен дух народный, патриотизм, любовь его к славе отечества, преданность к престолу, благоговение к царю; но дальнейшее пренебрежение к своим верным подданным, увеличивающиеся злоупотребления во всех отраслях правления, неограниченная власть, врученная недостойным лицам, стая немцев, все, все порождает более и более ропот и неудовольствие в публике и самом народе! Ваше сиятельство, именем Вашего отечества, спокойствия и блага государя просят Вас представить его величеству о необходимости поступить с желанием общим, выгоды от того произойдут неисчислимые, иначе, граф, мы горько поплатимся за оскорбление народное и вскоре.

С истинным и совершенным
уважением
имею честь быть
К. М.

Вторник
2 февраля

Граф Орлов препроводил это письмо графу А. Х. Бенкендорфу. Бенкендорф увидел в этом письме желанное подтверждение его всегдашних утверждений что злоумышленное Общество 14 декабря еще не умерло и соединяется вокруг имени Пушкина. Он тотчас же вернул графу Орлову анонимное письмо при следующей записке:

«Это письмо очень важно, оно доказывает существование и работу общества. Покажите его тотчас же императору и возвратите его мне, чтобы я мог по горячим следам найти автора».

Граф Орлов тотчас же отправил царю и анонимное письмо и записку Бенкендорфа при следующем письме:

«Я только что получил анонимное письмо по городской почте, которое немедленно показал Бенкендорфу. Имею честь присоединить

к этому его записку. Ваше величество по содержанию письма убедитесь, что оно написано особой не из простых: особа эта зла, ловка и льстива по отношению ко мне. К несчастью для автора, я знаю, что я стою, и угодливость меня нисколько не трогает».

2 февраля.

Повергнув на воззрение Николая I оба анонимных письма и не ожидая резолюции, Бенкендорф пугает высочайший слух устным докладом о том, что демонстрации, неудавшиеся в Петербурге, могут иметь место в Пскове, а кстати, попутно сообщает о том, что автором анонимных писем мог быть протоиерей Малов, отпевавший прах Пушкина. Своему помощнику А. Н. Мордвинову Бенкендорф пишет следующую служебную записку:

«Я только что видел императора, который приказал сказать Вам, чтобы Вы написали псковскому губернатору: пусть он запретит для Пушкина все, кроме того, что делается для всякого дворянина; к тому же раз церемония имела место здесь, не для чего уже ее делать.

Император подозревает священника Малова, который совершал вчера чин погребения, в авторстве письма; нужно бы раздобыть его почерк; до завтра, весь ваш».

Бенкендорф был прав в глазах своего монарха, придавая огромное значение анонимным письмам. На той записке, которую отправил Бенкендорф Орлову, а Орлов – царю, Николай положил резолюцию:

«Я считаю, как и вы, обстоятельство достойным внимания; постарайтесь узнать автора, и его дело не затянется.

По почерку и подписи легко будет добраться до источника».

III отделение не разыскало автора этих писем. См. книгу А. С. Полякова: «О смерти Пушкина» (по новым данным). Пб., Госиздат, 1922.

6. В. А. ЖУКОВСКИЙ – ГРАФУ А. Х. БЕНКЕНДОРФУ

Милостивый государь
граф Александр Христофорович

Имею честь препроводить к вашему сиятельству требуемое вами письмо[1]. Повторяя просьбу мою о не задержании разрешения на подписку *на сочинения Пушкина и на Современник*[2]. В сей поспешности нет никаких особенных видов, кроме желания сделать более успешную подписку, воспользовавшись тем живым чувством, которое пробуждено в сердце каждого русского к его памяти. Подписка в пользу семейства, и чем более даст она, тем лучше.

С совершенным почтением честь имею быть

Вашего сиятельства
покорнейший слуга

3 февраля. *Жуковский.*

Это письмо писано собственноручно Жуковским на 1-й странице листа почтовой бумаги большого формата зеленоватого цвета. Находится

---

[1] Речь идет о том письме, которое напечатано нами в комментарии к предшествующему № 5.

[2] Объявления об издании «Современника» и сочинений Пушкина были препровождены Жуковским при письме от 2 февраля 1837. Самое письмо и объявления напечатаны в книге «Дела III отделения о Пушкине». Спб., 1905, стр. 173–175.

в собрании А. Ф. Онегина и в описании Б. Л. Модзалевского занесено под № 15 в серии: «Документы из бумаг Жуковского».

7. В. А. ЖУКОВСКИЙ – ГРАФУ А. Х. БЕНКЕНДОРФУ

Милостивый государь
Граф Александр Христофорович!

В будущее воскресенье, 7 февраля, полагаю приступить вместе с генералом Дубельтом к разбору бумаг, оставшихся в кабинете Пушкина. Но предварительно полагаю обязанностию известить ваше сиятельство о следующем. Когда е.и. в-у было угодно призвать меня к себе и возложить на меня этот разбор, я представил на Высочайшее благоусмотрение Государя, что полагаю:

1-е. Бумаги, кои по своему содержанию могут быть во вред памяти Пушкина, сжечь.

2-е. Письма от посторонних лиц, к нему писанные, возвратить тем, кои к нему их писали.

3-е. Оставшиеся сочинения как самого Пушкина, так и те, кои были ему доставлены для помещения в Современнике, и другие такого же рода бумаги сохранить (сделав им список).

4-е. Бумаги, взятые из государственного архива и другие казенные, возвратить по принадлежности.

При сем имею честь известить Ваше сиятельство, что супруга покойного просила меня собрать все письма и записки, ею писанные к мужу, и возвратить ей. Полагаю, что этих писем рассматривать не следует.

Благоволите, Милостивый Государь, испросить разрешения от Е. И. В-а, будет ли ему угодно, чтобы и теперь, когда я буду рассматривать бумаги Пушкина вместе с генералом Дубельтом, следовал я тому же расположению, о котором было уже мною лично представлено государю императору и на которое е. в-у благоугодно было согласиться.

С совершенным почтением честь имею быть Вашего сиятельства
покорнейший слуга
Жуковский.

5 февраля 1837 г.
Е. сият. графу А.Х.
Бенкендорфу.

Писано на листе писчей бумаги писарским почерком. Только подпись – набранные с разрядкой <курсивом. – Я. Л.> три последних слова – руки Жуковского. Находится в собрании А. Ф. Онегина (в описании Б. Л. Модзалевского № 6 в серии: «Документы из бумаг Жуковского»).

8. В. А. ЖУКОВСКИЙ – ГРАФУ А. Х. БЕНКЕНДОРФУ

(Черновик)

Милостивый государь
граф Александр Христофорович.

Генерал Дубельт сообщил мне желание Вашего Сиятельства [рассматривать бумаги Пушкина], чтобы бумаги Пушкина рассматривались бы мною и им в вашем кабинете. Если [в] на нем выражается воля Государя Императора, повинуюсь беспрекословно. Если это только

одно собственное желание вашего сиятельства, то я так же готов исполнить его; но позволю себе сделать одно замечание; я имею другие занятия и для меня было бы гораздо удобнее рассматривать [эти] бумаги Пушкина у себя, нежели в другом месте. В. с. можете быть уверены, что и к [ним] этим бумагам, однако, не прикоснусь: [что] (впрочем, это [нрзб.]). Они будут самим генералом Дубельтом со стола в кабинете Пушкина положены в сундук; этот сундук будет перевезен его же чиновником ко мне, запечатанный его и моею печатью. Эти печати будут сниматься при начале каждого разбора и будут налагаемы снова самим генералом всякий раз, как скоро генералу будет нужно удалиться. Следовательно, за верность их сохранения ручаться можно. С таким распоряжением время, нужное мне на другие занятия, сохранится.

Прошу Ваше сиятельство сделать мне честь уведомить меня, может ли быть принято мое предложение?

С совершенным почтением честь имею быть

Милостивый государь

Вашего сиятельства

Покорнейшим слугою

В. Жуковский.

Февр. 5, 1837.
Его сиятельству
графу А. Х. Бенкендорфу

Этот черновик, хранящийся в собрании А. Ф. Онегина (по описанию Б. Л. Модзалевского № 39 в серии: «Документы из бумаг Жуковского»), писан рукою Жуковского, с его же исправлениями, на 2 страницах листа почтовой бумаги большого формата.

9. ГРАФ А. Х. БЕНКЕНДОРФ — В. А. ЖУКОВСКОМУ

Милостивый государь
Василий Андреевич!

Получив два письма вашего превосходительства от 5 числа с.м., я имел счастье повергать оные на высочайшее благоусмотрение — и поспешаю иметь честь ответствовать.

Бумаги, могущие повредить памяти Пушкина, должны быть доставлены ко мне для моего прочтения. Мера сия принимается отнюдь не в намерении вредить покойному в каком бы то ни было случае, но единственно по весьма справедливой необходимости, чтобы ничего не было скрыто от наблюдения правительства, бдительность коего должна быть обращена на все возможные предметы. По прочтении этих бумаг, ежели таковые найдутся, они будут немедленно преданы огню в Вашем присутствии.

По той же причине все письма посторонних лиц, к нему написанные, будут, как Вы изволите предполагать, возвращены тем, кои к нему их писали, не иначе, как после моего прочтения.

Предложение Вашего превосходительства относительно оставшихся сочинений, как самого Пушкина, так и тех, кои были ему доставлены для помещения в Современнике, и другие такого рода бумаги, будет исполнено с точностию, но также после предварительного их рассмотрения, дабы можно было сделать разбор, которые из них могут

быть допущены к печати, которые возвратить к сочинителям и которые истребить совершенно.

Бумаги, взятые из государственного архива, и другие казенные должны быть возвращены по принадлежности, и дабы иметь верное сведение об оных, я вместе с сим отнесся к г-ну вице-канцлеру графу Нессельроде.

Письма вдовы покойного будут немедленно возвращены ей, без подробного оных прочтения, но только с наблюдением о точности ее почерка.

Наконец, приемлю честь сообщить Вашему превосходительству, что предложение рассматривать бумаги Пушкина в моем кабинете было сделано мною до получения второго письма вашего, и единственно в том предположении, дабы, с одной стороны, отклонить наималейшее беспокойство от госпожи Пушкиной, с другой же, дать некоторую благовидность, что бумаги рассматриваются в таком месте, где и нечаянная утрата оных не может быть предполагаема. Но как по другим занятиям вашим вы изволите находить эту меру для вас затруднительною, то для большего доказательства моей совершенной к вам доверенности я приказал генерал-майору Дубельту, чтобы все бумаги Пушкина рассмотрены были в покоях вашего превосходительства.

Пользуясь случаем, чтобы удостоверить вас в чувствах моего отличного к вам уважения и преданности, с коими пребыть честь имею вашего превосходительства

покорнейший слуга
граф Бенкендорф

6 февраля
1837 года

Его пр-ству
В. А. Жуковскому

Писано на 5 страницах белой плотной почтовой бумаги большого формата писарской рукой: только подпись — взятые с разрядкой <курсивом. — Я.Л.> слова — руки Бенкендорфа. Находится в собрании А. Ф. Онегина и занесено в описание Б. Л. Модзалевского под № 24 в серии: «Документы из бумаг В. А. Жуковского».

10. В. А. ЖУКОВСКИЙ — ИМП. НИКОЛАЮ ПАВЛОВИЧУ

(Черновик)

Когда Ваше и. величество благоволили меня призвать [и с такою милостивою ко мне доверенностию поручить мне опечатание и рассматривание], дабы повелеть мне опечатать и разобрать бумаги Пушкина, я имел счастие получить от вас разрешение на следующее; все предосудительное памяти Пушкина сжечь, письма возвратить их писавшим, сочинения сберечь, казенные бумаги доставить куда следует. С глубочайшею [радость] благодарностью принял я такое повеление, в коем выразилась и милостивая личная ваша доверенность ко мне и ваша отеческая заботливость о памяти Пушкина, коему хотели Вы благотворить и за гробом. Впоследствии [это переменилось. Теперь

разбирает со мной] это распоряжение переменилось. [Чиновник жандармской полиции помогает] генералу Дубельту поручено помогать мне [По-настоящему в этом деле я лишний] По-настоящему мне бы надобно испросить у Вашего величества увольнение меня от такого дела, в коем участие совершенно стало излишним, но я этого не сделал из благодарности к той доверенности, внушившей Вам первое Ваше повеление; во-вторых, из дружбы к мертвому Пушкину, коему хотел я оказать последнюю услугу сохранением бумаг его, будучи наперед уверен, что в них [ничего предосудительного такого] не найдется [на что государственная пол. высшая полиция] ничего достойного преследования высшей полиции. Мое ожидание оправдалось. Все письма были пересмотрены, и в них не нашлось ничего, кроме, может быть, [немногих резких] нескольких вольных шуток или бранных слов вырвавшихся в свободе переписки [но какая нужда государству до] и недостойных внимания правительства. Но признаюсь, государь, мое положение было чрезвычайно тягостное. Хотя я сам и не читал ни одного из писем, а представил это исключительно моему товарищу генералу Дубельту. Но все было мне [тяжело видеть письма] прискорбно, так сказать, присутствием своим принимать [там личное] участие в нарушении семейственной тайны; передо мной раскрывались письма моих [коротких друзей] знакомых; я мог бояться, что писанное в разное время [в разных возрастах], в разные лета, в разных расположениях духа людьми, еще существующими, в своей совокупности произвело впечатление, совершенно ложное на счет их – к счастию, этого не случилось. Переписка Пушкина оказалась совершенно невинная. Но случилось, однако, одно, что меня жестоко тревожит и что есть единственная причина [того, что я осмелился написа. писать прямо В.и.в.], побудившая меня обеспокоить В.и.в. письмом моим. Нашлось два письма Сологуба, одно из Твери, из коего явствует, что Сологуб должен был сам иметь с Пушкиным дуэль; другое, написанное после, из коего видно, что он был выбран Пушкиным в секунданты для того дуэля, которому надлежало произойти между им и Геккерном до свадьбы. Первый дуэль устранен примирением, следовательно, преступление не существует. Второй дуэль не только не состоялся, но еще был остановлен самими секундантами: это не преступление, а заслуга. Между тем по найденным двум запискам, как я слышал, хотят предать суду Сологуба. Государь, будьте милостивы, избавьте меня от незаслуженного нарекания перед светом; [узнав о том, меня назовут доносчиком, сохраните мне мое доброе имя. Вы сначала избрали меня] сохраните мне мое доброе имя. Меня назовут доносчиком. Вы не для этого благоволили [избрать меня] поручить мне рассмотрение бумаг Пушкина: здесь же не может быть и места наказанию. Намерение не есть преступление, а неисполнение худого намерения есть часто и заслуга.

Писано рукою Жуковского на 4 страницах почтовой бумаги большого формата. Находится в собрании А. Ф. Онегина (по описанию Б. Л. Модзалевского № 23 в серии: «Документы из бумаг Жуковского»).

11. В. А. ЖУКОВСКИЙ – ГРАФУ А. Х. БЕНКЕНДОРФУ

(Черновик)

Этот черновик просьбы о передаче бумаг Пушкина в ведение Жуковского для нужд издания писан весь рукою Жуковского с много-

численными перечеркиваниями и занимает писчий лист бумаги малого формата. Страницы читаются в таком порядке 2_1, 1_2, 1_1 и 2_2. На 2_2 только две строки. Хранится в собрании А. Ф. Онегина и в описании Б. Л. Модзалевского значится под № 8 в серии «Документы из бумаг Жуковского».

Бумаги Пушкина можно разделить на три категории, в одних заключается его переписка, которая должна быть рассмотрена.

В других деловые бумаги, счета, документы, которые теперь же следует [сообщить] передать опеке.

В третьих его сочинения, кои можно разделить следующим образом:

1. Черновые манускрипты тех сочинений в стихах и прозе, кои уже выданы, они заключаются в 19 книгах и так перемараны, что их и читать никакой нет возможности. Автор обыкновенно переписывал сам. С его уже чистых манускриптов производилось печатанье.

2. Выписки для Истории Пугачевского бунта.

3. Выписки для составления истории Петра Великого.

4. Стихотворения и прозаические сочинения Пушкина вчерне для Современника.

5. [Чужие манускрипты] Статьи в рукописях, присланные Пушкину для Современника.

Сверх того:

20 рукописных книг, кои не входят в число рукописей Пушкина.

Бумаги   к. Долгорук.

Казенных бумаг не нашлось никаких.

Прошу ваше сиятельство испросить мне высочайшее разрешение на счет литературных рукописей Пушкина. Прошу Государя Императора их мне вверить. Приступая к изданию Современника и сочинений Пушкина и имея понятие дел литераторских, я извлеку из них все то, что может быть выдано в свет, разумеется с разрешения цензуры, остальное же не будет и не может быть извлеченным.

Предосудительные пиесы, написанные Пушкиным в молодости, давно ходили в списках; если они и найдутся в его бумагах, то вчерне и ходу иметь никакого не могут, оставшись под [моею] у меня. Новых такого рода пиес, кажется, нет; Пушкин давно ничего не писал подобного; по крайней мере, никто из его приближенных ничего об этом не знает. Впрочем, если бы и было мною открыто что-нибудь новое, то я не дам ему никакого хода. Из моих рук выйдет только то, что [бу] может быть напечатано, и предоставлено в цензуру. Что же у меня останется, того никто иметь в руках не будет и ни одной страницы списать не получит. [Это] В этом могу уверить вас своим честным словом.

Чтобы прочитать же этих рукописей скоро нельзя. И них никто не разберет.

IV. СВИДЕТЕЛЬСТВА ДРУЗЕЙ ПУШКИНА

1. ВВЕДЕНИЕ

Влияние графа А. Х. Бенкендорфа было только одною из причин, побудивших императора Николая взять назад опрометчиво данное Жуковскому приказание разобрать бумаги Пушкина и по своему усмотрению уничтожить в них все предосудительное памяти покойного и вредное для общества. Вопреки первоначальной воле государя, бумаги были рассмотрены в исключительных условиях, с принятием чрезвычайных мер предосторожности: так прочна была уверенность в существовании предосудительных рукописей в наследии Пушкина и так велика была боязнь возможного их распространения в обществе. Граф А. Х. Бенкендорф и вместе с ним император Николай Павлович не верили Жуковскому и не полагались на него: боялись, что он не уничтожит, а распространит такие произведения Пушкина. Граф Бенкендорф не остановился даже перед обвинением Жуковского в похищении бумаг из кабинета Пушкина. Трудно поверить в возможность такого обвинения, но это так! Жуковскому пришлось оправдываться против злокозненного навета. Без риска ошибиться можно утверждать, что шеф жандармов выдвинул это обвинение для того, чтобы изменить первоначальную волю государя. Но наветы Бенкендорфа не ограничились предъявлением обвинения в похищении бумаг. Ему нужно было окончательно дискредитировать Жуковского и всех друзей и защитников Пушкина в глазах государя. Он мог достичь этого испытанным приемом всех, кто стоит во главе тайной полиции. На основании донесений своих агентов он утверждал, что друзья Пушкина желали воспользоваться похоронами Пушкина и произвести возмущение в народе, или, выражаясь в современных терминах, устроить противоправительственную демонстрацию. Правда, такое утверждение всякому непредубежденному человеку должно казаться нелепостью, но «так доносили агенты», а, кроме того, Пушкин остался Пушкиным. По глубокому убеждению Бенкендорфа и вместе с ним Николая Павловича, Пушкин, несмотря на все его слова и действия, был человеком по меньшей мере оппозиционным правительству, а возможно, и членом неведомой тайной политической партии и, во всяком случае, знаменем для лиц, настроенных враждебно правительству. И в этом пункте государь поверил графу Бенкендорфу. В результате — поражающие своей бессмысленностью меры, принятые полицией Бенкендорфа при погребении Пушкина. Нельзя не сказать, что действия Бенкендорфа против памяти Пушкина и против его друзей были тем острее и интенсивнее, должно

быть, потому, что ему были известны ходившие тогда слухи, будто он, зная время и место дуэли, не принял мер к ее устранению.

Возбуждающий и резко враждебный образ действий графа Бенкендорфа привел Жуковского к решению объясниться с ним начисто; защититься против всех на него нападок Бенкендорфа и его агентов, высказать все, что накопилось у него на душе, и показать, что в той травле, которая издавна велась против Пушкина и кончилась его смертью, не последняя роль принадлежала ему, графу А. Х.Бенкендорфу. Жуковский задумал представить шефу жандармов подробную записку не без тайной — надо думать — надежды на то, что записка станет известна государю. В собрании А. Ф. Онегина сохранились черновики этого любопытного произведения Жуковского, которое до сих пор было известно лишь по очень кратким из него выдержкам, приведенным в книге академика А. Н. Веселовского о В. А. Жуковском. Ниже мы издаем полностью краткую и полную редакцию записки. В подлиннике записка неизвестна, и остается открытым вопрос, была ли она подана Бенкендорфу, и не оказался ли замысел Жуковского лишь благим намерением. В дневнике А. И. Тургенева под 8 марта 1837 года читаем следующую запись: «Жуковский читал нам свое письмо к Бенкендорфу о Пушкине и о поведении с ним государя и Бенкендорфа. Критическое рассмотрение действий жандармства, и он закатал Бенкендорфу, что Пушкин погиб от того, что его не пустили ни в чужие краи, ни в деревню, где бы ни он, ни его жена не встретили Дантеса. Советовал ему не посылать этого письма в этом виде». Вероятнее, пожалуй, Жуковский последовал совету А. И. Тургенева[1].

Несмотря на то, что в записке выдержан условный придворно-светский тон вежливости и деликатности, записка очень резка по существу. Жуковский сумел понять трагедию жизни Пушкина широко и глубоко. Он не останавливается на ближайших обстоятельствах, послуживших причинами дуэли. Жуковский говорит о том предубеждении, которое было против Пушкина в Бенкендорфе и, конечно, в самом Николае Павловиче. Жизнь Пушкина была окружена всевозможными запрещениями: ему делали выговоры за переезды с места на место, за чтение трагедии друзьям; ему не разрешили ни съездить за границу, ни переехать на житье в деревню. Милость государя, выразившаяся в разрешении Пушкину представлять свои произведения на государеву цензуру, обратилась в бремя для поэта. Сам Бенкендорф, убежденный в антиправительственном настроении Пушкина, не дал себе труда хоть раз побеседовать с ним по вопросам политическим. Но Пушкин не заслуживал такого к себе отношения. «Не должен ли он был, — спрашивает Жуковский, — необходимо с тою пылкостию, которая дана была ему от природы и без которой он не мог бы быть поэтом, наконец, прийти в отчаяние, видя, что ни годы, ни самый изменившийся дух его произведений, ничто не изменили в том предубеждении, которое раз навсегда на него упало и, так сказать, уничтожило все его будущее?» Жуковский пишет Бенкендорфу о тягостном надзоре, которым он, Бенкендорф, окружил поэта; о раздражительной тягости положения последнего, об угнетающем чувстве, которое грызло и портило жизнь

[1] Акад. А. Н. Веселовский. В. А. Жуковский. СПб., 1904, стр. 394—398. И 1917 год, открывший нам несколько самых секретных документов к истории дуэли, не открыл никаких следов этой записки Жуковского в архивах III Отделения.

Пушкина и которого, конечно, не замечал Бенкендорф. Роль, сыгранная Пушкиным в его трагедии, не есть в ней самая худшая.

Характеристика положения Пушкина — самая ценная часть письма Жуковского, ибо это — показание очевидца. Даже он, столь склонный затирать в потоке идеализации все шероховатости. был вытолкнут из своего безразлично мягкого и доброго настроения и вдруг понял то глубокое горе, которое наполняло чашу жизни Пушкина и которое было создано обстановкой, окружавшей поэта. Но в устройстве этой обстановки и сам Жуковский принял немалое участие, нередко сковывая волю Пушкина напоминаниями о чувстве неблагодарности к государю, которым могли бы быть объяснены некоторые его поступки.

Оправдывая Пушкина, Жуковский уступал Бенкендорфу молодого Пушкина, автора буйных произведений беспорядочной молодости, но выдвигал против него Пушкина тридцатых годов, созревшего. Весьма любопытно в устах Жуковского признание Пушкина в момент смерти не зрелым, а созревавшим... Благодаря отеческим заботам государя, которые привели бы в порядок и душу, и жизнь Пушкина, он со временем произвел бы много истинно превосходного и сделался бы славной принадлежностью славного времени своего царя и благотворителя — так убеждал Бенкендорфа Жуковский, совершенно не замечая того противоречия, в которое он впал. Он раскрыл сущность жизненной трагедии Пушкина и показал раздражительную тягость его положения, созданную отеческими заботами графа А. X. Бенкендорфа. Эти отеческие заботы грызли и портили жизнь Пушкина, но Жуковский не мог не видеть, что Бенкендорф был лишь исполнителем воли Николая Павловича. Жуковский сознавал, но, может быть, не имел сил признаться в том, что будь Николай Павлович действительно расположен к Пушкину, таким отеческим заботам не было бы места. Еще одно противоречие в рассуждениях Жуковского должно быть отмечено для правильной оценки его взгляда на отношение высшей власти к поэту. Поборник свободы поэтического творчества, защитник творческой индивидуальности, Жуковский с каким-то наслаждением говорит о том, что Николай Павлович присвоил Пушкина, присвоил и душу его, и жизнь. Присвоение души — выражение просто кощунственное для памяти Пушкина. И вряд ли у Жуковского это выражение — только раболепство стиля! Тут сказывается уже раболепство идеалов Жуковского зрелого возраста.

Выдвигая Пушкина тридцатых годов против Пушкина двадцатых, Жуковский набрасывает политическое credo Пушкина: Пушкин признавал самодержавие необходимым условием бытия России, был врагом Июльской революции и революции польской, отрицал принципиально свободу книгопечатания. Не место останавливаться здесь на правильности такой характеристики Пушкина. Разрозненные высказывания, подтверждающие ее, найдутся в сочинениях и письмах Пушкина, но гораздо важнее определить их действенность, их удельный вес в политическом миросозерцании и настроении Пушкина. Нельзя не отметить, что подтверждение, приводимое Жуковским в доказательство первого своего положения, — ссылка на письмо к Чаадаеву — не очень состоятельно. Из заявления Пушкина, что он не хотел бы иметь для России истории иной, кроме существующей, еще нельзя вывести признания существующего строя необходимым условием бытия. Но получилось бы впечатление, неожиданное и сильное, если бы Жуковский вместо глухой ссылки на письмо к Чаадаеву процитировал бы из него следующие строки: «Хотя я лично сердечно привязан к императору,

но я далеко не всем восторгаюсь, что вижу вокруг себя; как писатель, я раздражен; как человек с предрассудками, я оскорблен. Но клянусь вам честью, что ни за что на свете я не захотел бы переменить отечество, ни иметь другой истории, как история наших предков, такой, как нам бог ее послал». И еще: «Нужно признаться, что наша общественная жизнь весьма печальна. Это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, к справедливости и правде, это циническое презрение к мысли и к человеческому достоинству действительно приводит в отчаяние»[1].

В оценке записи Жуковского нельзя не присоединиться к академику А. Н. Веселовскому. «Ценность этого документа, — говорит он, — определяется его назначением; он писан для Бенкендорфа, в оправдание Пушкина, в интересах его семьи, в защиту всех, кто близко стоял к нему. В этом смысле характеристику легко заподозрить в преднамеренном шарже, но, не касаясь оценки взглядов самого Пушкина, я допускаю и бессознательный, невольный шарж — идеализации, к чему, как никто, способен был Жуковский. Эта черта давно и хорошо известна его приятелям: все, что входило в круг его симпатий, вырастало или поэтизировалось в его мерку. Жуковский знал своего Пушкина, который, казалось, зрел в его глазах к тем целям общественного служения и возвышенной поэзии, которые он ему ставил. Эти цели выяснились для Жуковского из того ограниченного круга идей, в которых он вырос и созрел и которые начинает приводить в систему»[2].

С точки зрения интересов Жуковского и друзей Пушкина, важна в записке как раз вторая часть, в которой подвергнута критике деятельность полиции, после кончины Пушкина, у его гроба и выяснена полная нелепость полицейских предположений о заговоре на демонстрацию, которую будто бы собирались устроить друзья покойного. Жуковский с необыкновенной обстоятельностью разбирает обвинение, выдвинутое против него и друзей Пушкина. Для нас эта часть письма не имеет большого значения.

С запиской Жуковского нужно сопоставить письмо князя П. А. Вяземского к великому князю Михаилу Павловичу, письмо, которое мы печатаем вслед за запиской Жуковского. Одни и те же побуждения руководили и Вяземским, и Жуковским: важно было защитить и охранить память Пушкина, важно было реабилитировать вместе с Пушкиным и себя. Вяземский писал Михаилу Павловичу, конечно, в надежде, что он доведет содержание письма до сведения государя. Недалеким от истины будет предположение, что Вяземский работал над своим письмом совместно с Жуковским. Характеристика политических взглядов Пушкина, сделанная Вяземским, совершенно совпадает с характеристикой Жуковского. Иногда совпадают даже подробности: подобно тому, как Жуковский указывает, что Бенкендорф не удостоивал его разговором на политические темы, и Вяземский пишет, что Бенкендорф не удостоил его разговором хоть бы на четверть часа о его убеждениях. Сходны рас-

---

[1] Письмо Пушкина к Чаадаеву (см. «Переписку Пушкина», изд. Акад. Наук, т. III, № 1083, стр. 387 и сл.) сохранилось в бумагах Пушкина и напечатано впервые в «Русском архиве» за 1884 год (см. также «Бумаги А. С. Пушкина», вып. II, изд. П. И. Бартенева).

[2] Акад. А. Н. Веселовский, назв. соч., стр. 397.

суждения князя Вяземского и Жуковского о мерах, принятых полицией, и т. д.

Для характеристики взглядов Пушкина письмом Вяземского должно пользоваться с такою же осторожностью, какая требуется и от исследователей, желающих опираться на записку Жуковского.

Ценность письма Вяземского — не в повествовании об обстоятельствах похорон Пушкина и не в характеристике его взглядов, а в историческом очерке роковой дуэли. Для историка дуэли описание Вяземского является источником первостепенного значения.

2. ДОКУМЕНТЫ

I. ПИСЬМО В. А. ЖУКОВСКОГО К ГРАФУ А. Х. БЕНКЕНДОРФУ

(февраль — март 1837 года)

А. Первая редакция

Этот черновик написан собственноручно Жуковским на зеленоватой почтовой бумаге большого формата со штампом НИПБФ; занимает один целый лист и 3 страницы другого. Страницы перемечены, очевидно, Жуковским же: помета начинается с цифры 3. Орфография Жуковского не сохраняется; знаки препинания кое-где поставлены мною. Слова зачеркнутые приводятся в прямых скобках. Разногласия чисто стилистического характера, не имеющие решительно никакого значения для содержания, не воспроизводятся.

Милостивый государь
граф Александр Христофорович.

Генерал Дубельт, без сомнения, словесно доложил Вашему сиятельству о действиях наших в рассматривании бумаг Пушкина. До сих пор в письмах, адресованных к покойному и прочтенных самим генералом Дубельтом, не найдено совершенно ничего такого, на что бы правительство могло обратить внимание [хотя]. Мы начали с лиц [или], которые были в особенной [могли бы] связи с Пушкиным и особенно [замечены] известны правительству, с писем Рылеева, Кюхельбекера, барона Дельвига, князя Вяземского и моих (сии последние генерал Дубельт прочитал; они по моему желанию сшиты в четыре тетради и закреплены казенными печатями и могут быть во всякое время представлены для прочтения); но в этих письмах не нашлось ничего такого, что могло бы потребовать дальнейшего исследования. В иных есть выражения шуточные, вольные, весьма много, весьма мало значащие, смотря по тому, как будешь их изъяснять. Если смею здесь [выразить] сказать искренно свое мнение, то подобные *выражения,* вырывающиеся по большей части без всяких [мыслей] особенных намерений, в свободе переписки, так же как и в свободе разговора, не стоят того, чтобы правительство на них обращало внимание. Такого рода инквизиция производит только обоюдное раздражение, весьма ненравственным образом действует на общество, из которого исчезает всякое спокойствие, всякая взаимная вера, и, пугая правительство призраками, заставляет его видеть врагов и тайные вредные замыслы там, где их никогда не бы-

вало, ничего не устраняет, напротив, сама производит ту вражду, которую отразить думает, и своими, по большей части ни на чем не основанными, [часто оскорбительными] опасениями [производит и в самых честных людях раздражение и во всяком случае] оскорбляет и честных людей, стоящих доверенности, и пылких. но благородных или, что еще хуже, основанными на толкованиях пристрастных и несправедливых, только тревожит и сердит умы и, обнаруживая перед ними какую-то беспокойную робость, невольно и их заставляет бояться чего-то им неизвестного [или думать что правительство в опас. страшится]. Такого рода общее, неопределенное беспокойство, в умах производимое, есть состояние вредное: [от него зарождаются в обществе тайные болезни] оно, как гнилой воздух, портит кровь и всю конституцию общества и производит наконец те сильные болезни, оканчивающиеся или разрушением, или долгим выздоровлением. Простите, что все это говорю: то, что случилось в последнее время по [нрзб. слово] смерти Пушкина [и та работа, которая теперь меня занимает], произвело во мне эти мысли. Сообщая их Вашему сиятельству без всякой закрышки, я доказываю тем мое искреннее уважение к Вашему характеру. Пушкин умирает, убитый на дуэли; [весьма естественно] что произвело эту дуэль, о том ни слова; скажу только, что роль, так бедственно [конченная] сыгранная Пушкиным в его [деле] трагедии, не есть в ней самая худшая; Пушкин был выведен из себя, потерял голову и заплатил за это дорого. С его стороны было одно бешенство обезу[мевшей?] ревности; с другой стороны, напротив, был и ветреный и злонамеренный разврат. Но до этого нет дела. Теперь хотят видеть в обществе две партии, из коих одна стоит за Геккерна, другая за Пушкина. [Как можно быть какой-нибудь партии]. Как можно думать о Геккерне, потеряв Пушкина. Что нам русским до Геккерна; кто у нас будет знать, что он когда-нибудь существовал, кто может полагать его . . . . (нрзб.). Пушкин — потеря для целой России; он погиб в цвете жизни, имел гений, каких не много и какие родятся редко. Этот гений только что пришел в силу; благодаря государю, которого [доверенность] отеческие заботы [и милости] подняли [душу] его из-под гнета судьбы (им самим на себя навлеченной), примирили с прошедшим, и, наконец, привели бы в порядок и душу его и жизнь, он произвел бы со временем много истинно превосходного и сделался бы славною принадлежностью [его времени] славного времени своего царя и благотворителя. Этот Пушкин погиб для России. По привычке, указывая на некоторые буйные произведения его беспорядочной молодости, его называют демагогическим писателем, мутителем народа (забывая, что он с тех пор, как государь подал ему руку, не написал ничего подобного, исключая нескольких злых эпиграмм и нескольких выходок против литературных врагов, не стоивших его внимания и клеветавших на него втайне. Но в эпиграммах нет греха против правительства; [лучше их не писать, согласен] и тот еще не бунтовщик, кто [скажет на чье-либо лицо] оскорбителю своему отомстит забавною и острою насмешкою. Недостойно бы правительства вмешиваться в эти личные домашние ссоры частных людей [и на них основывать].

Но как писатель Пушкин не демагогический, а национальный писатель, то есть выразивший в лучших своих произведениях то, что любезно сердцу русскому: Годунов, Полтава, многие песни на Петра великого, ода на взятие Варшавы, Клеветникам России и многие

другие написаны им при нынешнем государе, это его последние [сочинения. И во всех виден иной дух. Между тем все говоря] творения, по ним и следует теперь судить его. Несмотря на то, по старому один раз навсегда укоренившемуся предубеждению, говоря о Пушкине, все указывают на оду ко *Свободе,* на *Кинжал* — написанные им (в то время, когда Занд убил Коцебу) в 1820, и выставляют 20-летнего Пушкина, чтоб осуждать 36-летнего. Смею уверить, что в последние годы он ничего [в предосудительном] возмутительного не только не написал, но и про себя [в этом роде не] не думал. Я знал его образ мыслей. В суждениях политических он, как ученик Карамзина, признавал *самодержавие* необходимым условием бытия и безопасности России; был почти фанатический враг польской революции и ненавидел революцию французскую, чему последнему доказательство нашел я еще недавно в письмах его к жене. Но предубеждение, раз укоренившись, не уступит и очевидности. А здесь многое способствовало ему сохраниться. Множество пиес самых предосудительных, в которых нет ничего похожего на слог Пушкина (как, например, отвратительная пиеса, в которой описывается его первая ночь), ходило под именем Пушкина; литературные враги низкого класса не дремали, и многие из них чернили его доносами, и сам он — надобно признаться — иногда поступал неосторожно или беспорядочно. В один прием (?) из Демона не переделать (?) в ангела. Но все Пушкин последних годов уже был не прежний Пушкин; на нем уже лежала печать благотворения его государя: хотя еще и был он стеснен строгим высшим присмотром, который не может не быть тягостным, сколь бы, впрочем, ни был кроток, но он уже начинал чувствовать, что заботливость о нем обращалась в доверенность; [столь спаси, благотворную, столь целительную для всякой души благородной] и эта доверенность своею магическою силой начинала залечивать, возвышать и животворить его душу. И если бы непреодолимый порыв гибельных обстоятельств, вдруг взволновавших его пылкие страсти, не уничтожил [сего мирного] всего одним ударом, душа его наконец бы просветлела, и его Гений вспыхнул бы с новой силой к [чести] славе русского царя и [его века] нашего времени. Этот Пушкин вдруг погиб. [Весьма естественно что] Государь постигнул эту потерю, как личный благотворитель и создатель своего поэта, как представитель своего народа и в то же время как образец и блюститель народной нравственности; как он выразился в эту печальную минуту, этого я никогда не забуду и благодарю бога, что я был ее свидетель; это была одна из тех высоких минут жизни, в которые чувствуешь все благородство и высокое назначение души человеческой; эта минута познакомила меня с душой моего государя.

Б. Вторая редакция

Вторая редакция сохранилась в черновике, сплошь писанном рукою Жуковского, и в переписанной с него писцом копии с исправлениями автора.

Черновик, писанный весь рукою Жуковского, — на клетчатой бумаге частью синеватого, частью желтоватого цвета. Текст занимает одну половину страницы, другая оставлена для исправлений, которых немало. Часть записки, соответствующая у нас вступлению и 1-й части, помещается в черновике на 3 полных листах бумаги; 2-я часть записки находится на 5 полулистах, исписанных не вдоль, а поперек: 4 полулиста

заполнены сплошь, а 5-го полулиста — только начало страницы. Черновики заключены в лист клетчатой почтовой бумаги большого формата.

Черновик был переписан писцом на 19 листах писчей бумаги четким почерком. Копия подверглась новым исправлениям Жуковского, сначала карандашом, а затем по карандашу чернилами.

Мы печатаем текст собственноручного черновика Жуковского, сообщая в прямых скобках все зачеркнутые строки и слова. В примечаниях указываем все разночтения и особенности беловой переписанной писцом копии: все указания, находящиеся в примечаниях, за исключением случаев оговоренных, имеют в виду только текст копии. Копия не закончена перепиской, так же, как и исправлениями.

[Дело, возложенное на меня государем императором, кончено: бумаги Пушкина разобраны.]

Генерал Дубельт донес и[1] я с своей стороны почитаю обязанностию так же донести[2] Вашему сиятельству, что мы кончили дело, на нас возложенное, и что бумаги Пушкина все разобраны. *Письма* партикулярные прочтены одним генералом Дубельтом и отданы мне для рассылки по принадлежности; рукописные *Сочинения,* оставшиеся по смерти Пушкина, по возможности приведены в порядок; [те, что можно было сшить] некоторые рукописи[3] были сшиты в тетради, занумерены и скреплены печатью; переплетенные книги с черновыми сочинениями и отдельные листки, из коих нельзя было сделать тетрадей, просто занумерены. Казенных бумаг не нашлось никаких. Корбова[4] рукопись, о коей писал граф Нессельрод, вероятно, отыщется в библиотеке, которую [скоро я разобрать намерен] на сих днях будет разобрана[5]. Сверх означенных рукописей нашлись рукописные старинные книги, коих [мы не сочли нужным] не было никакой нужды рассматривать; [им сделан особый реестр] они принадлежат библиотеке. Всем нашим действиям был веден протокол, извлечение из коего, содержащее в себе полный реестр бумагам Пушкина, генерал Дубельт представил Вашему сиятельству. Приступая к [изданию] напечатанию Полного собрания сочинений Пушкина и взяв на себя обязанность издать на нынешний год в пользу его семейства четыре книги Современника, я должен иметь пред глазами манускрипты Пушкина и[6] прошу позволения их у себя оставить [при на том условии чтобы] с обязательством не выпускать их (из) своих рук и не [делать] позволять списывать ничего, кроме единственно того, что [выберу сам для напечатания с разрешения цензуры] будет выбрано мною самим для помещения в Современнике и в полном издании Сочинений Пушкина с одобрения цензуры. Сии манускрипты, занумеренные, записанные в протокол и в особый реестр, всегда будут у меня налицо, и я всякую минуту буду готов представить их на рассмотрение правительства[7]. Хотя я теперь после [строгого] внимательного разбора вполне убежден, что между сими [бумагами] рукописями ничего предосудительного памяти Пушкина и вредного [читателю] обществу не находится, но для собственной без-

[1–2] Фраза, заключающаяся между этими словами, зачеркнута карандашом.
[3] из сих рукописей.
[4–5] Эта фраза, по исправлении тут же в беловой копии, читается: «Я думал, что Корбова рукопись, о коей писал граф Нессельрод, отыщется в библиотеке, на сих днях разобранной, но она в ней не нашлась».
[6–7] В копии весь отдел между этими словами перечеркнут и заменен так: «Манускрипты, которые у меня по повелению государя императора и оставлены».

опасности наперед[1] протестую[2] перед Вашим сиятельством против всего, что может со временем, как то бывало часто и прежде, распущено быть в манускриптах под именем Пушкина. Если бы паче чаяния и нашлось в бумагах его что-нибудь предосудительное, то я разносчиком[3] такого рода сочинений не буду и списка их никому не дам. — В[4] этом[4] уверяю[4] один раз навсегда, а все противное этому в один раз навсегда отвергаю. Такую предосторожность почитаю необходимою тем более, что на меня уже был сделан самый нелепый донос. [Вам] Было сказано, что три пакета были вынесены мною из горницы Пушкина[5]. При малейшем рассмотрении обстоятельств такое обвинение должно бы было оказаться невероятным [и недостойным внимания]. Пушкин был [ранен в 5 ч.] привезен в шесть часов после обеда домой, 27 числа Генваря. 28-го в десять часов утра Государь Император благоволил поручить мне запечатать кабинет Пушкина (предоставив мне самому сжечь все, что найду предосудительного в бумагах). Итак, похищение могло произойти только в промежуток между 6 часов 27 числа и 10 часов 28 числа. С той же поры, т. е. с той минуты, как на меня возложено было сбережение бумаг, всякая утрата их сделалась невозможною. Или мне самому надлежало сделаться похитителем, вопреки повелению государя и моей совести. Но и это, во-первых, было бы не нужно; ибо все вверено было мне, и я имел позволение сжечь все то, что нашел бы предосудительным: на что же похищать то, что уже мне отдано; во-вторых, невозможно (если бы, впрочем, я и был на то способен); ибо, чтобы взять бумаги, надобно знать, где лежат они; это мог сказать один только Пушкин; а Пушкин умирал. Замечу здесь, однако, что я бы первый исполнил его желание, если бы он (прежде нежели я получил повеление, данное Государем, опечатать бумаги) сам поручил мне отыскать какую бы то ни было бумагу, ее уничтожить или кому-нибудь доставить. Кто же подобных препоручений умирающего не исполнит свято, как завещание? Это даже и случилось: он велел доктору Спасскому вынуть какую-то его рукою написанную бумагу из ближнего ящика, и её сожгли перед его глазами: а Данзасу велел найти какой-то ящик и взять из него находившуюся в нем цепочку. Более никаких распоряжений он не делал и не был в состоянии делать. Итак, какие бумаги, где лежали, узнать было и неможно и некогда. Но я услышал от генерала Дубельта, что Ваше сиятельство получили известие о похищении трех пакетов от лица доверенного (de haute volée). Я тотчас догадался, в чем дело. Это доверенное лицо могло подсмотреть за мною только в *гостиной,* а не в *передней*[6], в которую вела запечатанная дверь из кабинета Пушкина, где стоял гроб его и где бы мне трудно было действовать без свидетелей. В гостиной же точно в шляпе моей можно было подметить не три пакета, а пять; жаль[7] только, что неизвестное мне

[1–2] полагаю необходимым наперед протестовать.

[3] Испр.: раздавателем.

[4] Это объявляю.

[5] После этого в копии еще читается: «Хотя я это и объяснил уже словесно вашему сиятельству, но почитаю нелишним то же самое повторить и письменно».

[6] Конец фразы со слов «а не в передней» был в копии сначала зачеркнут, потом восстановлен.

[7] Фразы, заключенные между словом «жаль» и словом на следующей странице — «эти пять пакетов», зачеркнуты и заменены так: «Жаль, что неизвестный мой обвинитель вместо того, чтобы с такою жадностью признать меня похитителем, не спросил у меня просто, что у меня в шляпе? Он бы узнал от меня, что эти пять пакетов».

доверенное лицо [предположив наперед похищение, не спросило меня самого] не подумало, если не объясниться со мною лично, что, конечно, не в его роли, то хотя бы для себя узнать какие-нибудь подробности, а поспешило так жадно убедиться в похищении и обрадовалось случаю выставить перед правительством свою зоркую наблюдательность на счет моей чести и своей совести. Эти пять пакетов были просто оригинальные письма Пушкина, писанные им к его жене [с самой первой минуты его с нею знакомства, запечатанные по годам в пакеты], которые она сама вызвалась дать мне прочитать; [сперва дала мне пять пакетов, потом еще два]; я их привел в порядок, сшил в тетради и возвратил ей. Пакетов же[1], к счастию, не разорвал, и они могут теперь служить [мне доказательством] убедительными свидетелями всего сказанного мною[2]. Само по себе разумеется, что такие письма, мне вверенные, не могли принадлежать к тем бумагам, кои мне приказано было рассмотреть. [Да их] впрочем, и представлять было бы не нужно: все они были читаны [к чему доказательством послужило то], в чем убедило меня то, что между ними нашлось именно то письмо, из которого за год пред тем некоторые места были представлены государю императору и навлекли на Пушкина гнев его величества, потому что в отдельности своей представляли совсем не тот смысл, какой имели в самом письме в совокупности с целым[3]. Этот случай мне особенно памятен, потому что мне была показана Вашим сиятельством эта выписка; я тогда объяснил ее наугад, и теперь, по прочтении самого письма, вижу, что моя догадка меня не обманула.

[Ваше сиятельство знаете, что я уважаю Ваш благородный характер.] Не имею нужды уверять Ваше сиятельство в том уважении, которое (несмотря на многое мне лично горестное) я имею к Вашему благородному характеру. В[4] этом Вы сами должны быть уверены[5]. Новым[6] доказательством моего к Вам чувства[7] пускай послужит та искренность, с которою говорить с Вами намерен. Такому человеку, как Вы, она ни оскорбительна, ни даже неприятна быть не может.

I.

Сперва буду говорить о самом Пушкине. Смерть его все обнаружила, и несчастное предубеждение, которое наложили на всю жизнь его буйные годы первой молодости и которое давило пылкую душу его до самого гроба, теперь должно, и к несчастью слишком поздно, уничтожиться перед явною очевидностию. Мы разобрали его все бумаги. Полагали, что в них найдется много нового, писанного в духе враждебном против правительства, и вредного нравственности. Вместо того нашлись бумаги, разительно доказывающие совсем иной образ мыслей: это[8] особенно выразилось в его письме[9] к Чаадаеву, [хоть написанном] которое он

---

[1] Вставлено: надписанных ее рукою.

[2] Злосчастные конверты с письмами Натальи Николаевны, доставившие столько неприятностей Жуковскому, были сохранены им и находятся сейчас в музее А. Ф. Онегина (см. «Описание» Б. Л. Модзалевского, отд. отт., стр. 26, документы из бумаг В. А. Жуковского, № 33).

[3] предыдущим и последующим.

[4–5] Вычеркнута вся фраза.

[6–7] Заменено: «Доказательством сего уважения».

[8–9] Заменено: «особенно выразившийся в ответе на печатное письмо».

по-видимому хотел послать не по почте, но не послал[1], вероятно, по той причине, что он не желал своими опровержениями оскорблять приятеля, уже испытавшего заслуженный гнев государя. Одним словом, нового предосудительного не нашлось ничего и не могло быть найдено[2]. Старое, писанное в первой молодости, то именно, около чего вертелись[3] все предубеждения, на нем лежавшие, все, как видно, было им самим уничтожено; [нет (сколько можно судить теперь)] в бумагах его не осталось и черновых рукописей. Он сам про себя осудил свою молодость и произвольно истребил для самого себя несчастные[4] следы ее. Что же из сего следует заключить? Не то ли, что Пушкин в последние годы свои был совершенно не тот, каким видели его в первые? Но таково ли было об нем Ваше мнение? Я перечитал все письма, им от Вашего Сиятельства полученные: во всех них, должен сказать, выражается благое намерение. Но сердце мое сжималось при этом чтении. Во все эти двенадцать лет, прошедшие с той минуты, в которую Государь так великодушно его присвоил, его положение не переменилось; он все был, как буйный мальчик, которому страшишься[5] дать волю, под строгим, мучительным[6] надзором. Все формы этого надзора были благородные: ибо от Вас оно не могло быть иначе. Но надзор все надзор. [А годы между тем] Годы проходили; Пушкин созревал; ум его остепенялся. А прежнее против него предубеждение, не замечая внутренней нравственной перемены его, было то же и то же. Он написал «Годунова», «Полтаву», свои оды «К Клеветникам России», «На взятие Варшавы», т. е. все свое лучшее, принадлежащее нынешнему царствованию, а в суждении об нем все указывали на его оду *К Свободе, Кинжал*, написанный в 1820 году; в 36-летнем Пушкине видели все 22-летнего. Ссылаюсь на Вас самих, такое положение могло ли не быть огорчительным? К несчастию, оно и не могло быть иначе. Вы на своем месте не могли следовать за тем, что делалось внутри души его[7]. Но подумайте сами, каково было бы Вам, когда бы Вы в зрелых летах были обременены такою сетью, видели каждый шаг Ваш истолкованным предубеждением, не имели возможности произвольно переменить место без навлечения на себя

---

[1] В чрнв. осталось неисправленным; не посланному.

[2] Прибавлено: «в чем я был наперед уверен, зная, каков был образ мыслей Пушкина в последние годы».

[3] сосредоточивались.

[4] нечистые.

[5] Заменено: опасно.

[6] Заменено: непрестанным.

[7] Следующая за сим фраза зачеркнута, но зато есть следующее добавление: «Вы материально на это не имели времени и должны были, основываясь на мнении, раз утвердившемся, действовать все в одном смысле; само по себе разумеется, что всякое донесение на Пушкина, от существовавшего против него предубеждения, должно было казаться вероятным; а Пушкин имел врагов, между коими были и литературные враги, весьма деятельные на клеветы всякого рода [и, сверх того, доступные людям... (нрзб.) тайною полициею] и действовавшие таким оружием, которого Пушкин сам употребить против них не был в состоянии. Ваше Сиятельство не могли ни заметить, ни облегчить того чувства, которое в таком положении грозило душе Пушкина и отравляло жизнь его; Вам даже и понять такого положения невозможно. Вы делали свои выговоры с благонамерением и тотчас о них забывали, переходя от них к Вашим важным занятиям; а эти выговоры, для Вас столь маловажные и составлявшие одну незаметную для Вас минуту, определяли для Пушкина его жизнь. Например, в Ваших письмах нахожу выговор за то,» и так далее, как в черновике.

[выговора] подозрения или укора. В Ваших письмах нахожу выговоры за то, что Пушкин поехал в Москву[1], что Пушкин поехал в Арзрум. Но какое же это преступление? Пушкин хотел поехать в деревню на житье, чтобы заняться на покое литературой, ему было в том отказано под[2] тем видом, что он служил, а действительно потому, что не верили, [чтобы он]. Но в чем же была его служба? В том единственно, что он был причислен к Иностранной коллегии. Какое могло быть ему дело до Иностранной коллегии? Его служба была его перо, его Петр Великий, его поэмы, произведения, коими[3] бы ознаменовалось нынешнее славное время. Для такой службы нужно свободное уединение. Какое спокойствие[4] мог он иметь с своею пылкою, огорченною душой, с своими стесненными домашними обстоятельствами, посреди того света [к которому был прикован необходимостью], где все тревожило его суетность, где было столько раздражительного для его самолюбия, где, наконец, тысячи презрительных сплетней, из сети которых не имел он возможности вырваться, погубили его. Государь Император назвал себя его цензором. Милость великая, особенно драгоценная потому, что в ней обнаруживалось[5] все личное благоволение к нему Государя. Но скажу откровенно, эта милость поставила Пушкина в самое затруднительное положение. Легко ли было беспокоить ему Государя всякою мелочью, написанною им для помещения в каком-нибудь журнале? На многое, замеченное Государем, не имел он возможности делать объяснений; до того ли Государю, чтобы их выслушивать? И мог ли вскоре[6] решиться на то Пушкин?[7] А если [четыре] какие-нибудь мелкие стихи его появились напечатанными в Альманахе (разумеется, с ведома цензуры), это ставилось ему в вину, в этом виделись непослушание и буйство, [и Вы] Ваше Сиятельство делали ему словесные или письменные выговоры[8], а вина его состояла или в том, что он с такою мелочью не счел нужным идти к Государю и отдавал ее просто на суд общей для всех цензуры (которая, конечно, к нему не была благосклоннее, нежели к другим), или в том, что стихи его, ходившие по рукам в рукописи, были напечатаны без его ведома, но так же с одобрения цензуры (как то случилось с этими несчастными стихами к Лукуллу, за которые не один Вы, но и все друзья его жестоко ему упрекали). Замечу здесь, однако, что злонамереннее этих стихов к Лукуллу он не написал ничего, с тех пор как Государь Император так благотворно обратил на него свое внимание. Зато весьма часто ему было приписываемо чужое, как бы оно, впрочем, ни было нелепо[9]. Но[10] что же эти

[1] Дальше было написано и затем зачеркнуто: «в Арзрум».

[2] Конец фразы так: «ибо он считался на службе».

[3] Это предложение в таком виде: «кои бы придавали новую славу нашему славному времени».

[4] уединение вместо зачеркнутого спокойствие.

[5] Заменено словом «выразилось».

[6-7] Слово «вскоре» прочитано приблизительно. Эта фраза зачеркнута и вместо нее читаем: И мог ли Пушкин осмелиться представлять на благоусмотрение государя то, что всякую минуту без всякого затруднения могла и должна была принимать от него обыкновенная цензура?

[8] Заменено словом «замечания».

[9] Дальше читаем в скобках: (Ставлю здесь в пример ту отвратительную пиесу, в коей описывается его первая ночь, которая была приписана ему, хотя уже одного слога, коим она написана, достаточно, чтобы убедиться в том, что она не могла быть сочинена Пушкиным).

[10] Весь отрывок <до знака* на с. 214 — *Я. Л.*> зачеркнут.

стихи к Лукуллу? Злая эпиграмма налицо, даже не пасквиль, ибо здесь нет имени. Пушкин хотел отомстить ею за какое-то личное оскорбление; не* оправдываю его нравственности[1], но тут еще нет ничего возмутительного противу правительства. И какое дело правительству до эпиграммы на лица? Даже и для того, кто оскорблен такою эпиграммой, всего благоразумнее не узнавать себя в ней. Острота ума не есть государственное преступление. Могу указать на многих окружающих государя императора и заслуживающих его доверенность, которые не скупятся на эпиграммы; правда, эти эпиграммы без рифм и ненаписанные, но зато они повторяются в обществе словесно (на что уже нет никакой цензуры) и именно оттого врезываются глубже в память[2]. Наконец, в одном из писем Вашего сиятельства нахожу выговор за то, что Пушкин в некоторых обществах читал свою трагедию, прежде нежели она была одобрена. Да что же это за преступление? Кто из писателей не сообщает своим друзьям своих произведений для того, чтобы слышать их критику? Неужели же он должен до тех пор, пока его произведение еще не позволено официально, сам считать его не позволенным? Чтение ближним есть одно из величайших наслаждений для писателя. Все позволяли себе его[3], оно есть дело семейное, то же, что разговор, что переписка. Запрещать его есть то же, что запрещать мыслить[4], [думать про себя, дышать] и прочее. Такого[5] рода запрещения вредны потому именно, что они бесполезны, раздражительны и никогда исполнены быть не могут.

Каково же было положение Пушкина под гнетом[6] подобных запрещений? Не должен ли был он, необходимо, с тою пылкостью, которая дана была ему от природы и[7] без которой он не мог бы быть поэтом[8], наконец прийти в отчаяние, видя, что ни годы, ни самый изменившийся дух его произведений ничего[9] не изменили в том предубеждении[10], которое раз навсегда на него упало, и, так сказать, уничтожило все его будущее?[11] Вы называете его и теперь демагогическим писателем.

[1–2] Этих слов нет.
[3] Это наслаждение.
[4] Добавлено: «про себя, располагать своим временем и прочее».
[5] Эта фраза зачеркнута.
[6] Заменено: влиянием.
[7–8] Этих слов нет.
[9–10] Ничто не изменило этого предубеждения.
[11] Следует вставка: Замечу еще одно: Пушкин был лишен наслаждения видеть Европу, наслаждения, ему, как писателю, необходимого. Он чувствовал, что оно было ему запрещено, потому что к нему не имели доверенности. Не говорю о том, какое горе должна была развить (?) на душе его такая недоверенность. Но вот что верно. Путешествие было бы самым целительным для него лекарством во всех отношениях. Бояться, что выезд за границу вреден для России, есть не уважать России. Напротив, в душе каждого *мыслящего* русского поездка за границу только что укореняет любовь к России. Это я заметил во всех, кто имел (?) что-нибудь отличное. Отвыкают от России только те, кои и в России уже не русские. Такого рода люди, каков был Пушкин, всегда благотворно образуются близким знакомством с ходом вещей: они приобретают твердость мысли, видя вблизи таким, каково оно есть, то, что в дали может казаться совсем в ином свете. Пушкин быстрее бы созрел и созрел в пользу отечества мыслями и талантом, если бы мог видеть Европу; как бы возвысилась его душа оказанною ему доверенностью; и многое, многое, что после привело его к погибели, [может быть] с ним бы не случилось.

По каким же его произведениям даете Вы ему такое имя? По старым или по новым? И[1] какие произведения его знаете Вы, кроме тех, на кои указывала Вам полиция и некоторые из литературных врагов, клеветавших на него тайно?... что [Все последние произведения его такого рода что] Ведь вы не [занимаетесь] имеете времени заниматься русской литературой и должны в этом случае полагаться на мнение других? А истинно то, что Пушкин никогда не бывал демагогическим писателем[2]. Если по старым, ходившим только в рукописях, то они все относятся ко времени до 1826 года; это просто грехи молодости, сначала необузданной, потом раздраженной заслуженным несчастием. Но демагогического, то есть написанного с[3] намерением [произвести возмущение] волновать[4] общество не было между ими и тогда. Заговорщики против Александра пользовались, может быть, некоторыми вольными стихами Пушкина, но в их смысле (в смысле бунта) он не написал ничего, и они[5] ему были[6] чужды. Это, однако, не помешало (без всяких доказательств)[7] причислить его к героям 14 декабря и назвать его замышлявшим[8] на жизнь Александра. За его напечатанные же сочинения, и в особенности за его новые, написанные под благотворным влиянием нынешнего Государя, его уже никак нельзя назвать демагогом. Он просто русский национальный поэт, выразивший в лучших стихах своих наилучшим образом все, что дорого русскому сердцу. Что же касается до политических мнений, которые имел он в последнее время, то смею спросить Ваше Сиятельство, благоволили ли Вы взять на себя труд когда-нибудь с ним говорить о предметах политических? Правда и то, что Вы на своем месте [не могли бы верить ему] осуждены[9] думать, что с[10] Вами не может быть никакой искренности[11], Вы осуждены[12] видеть притворство в том мнении, которое излагает Вам человек[13], против [коего Вы имеете] которого поднято Ваше предубеждение[14] (как бы он ни был прямодушен), и Вам нечего другого делать, как принимать за истину то, что будут говорить Вам о нем другие. Одним[15] словом, вместо оригинала Вы принуждены довольствоваться переводами, [иногда не] всегда неверными и весьма часто испорченными, злонамеренных переводчиков. Я[16] сообщу[16] Вашему Сиятельству в немногих словах политические

[1–2] Все, что заключается между этими словами, зачеркнуто.

[3] с точным.

[4] Заменено: привести к волнению.

[5–6] и замыслы их были ему совершенно.

[7] Слова в скобках зачеркнуты.

[8] Заменено: умышленником.

[9] Заменено: принуждены.

[10–11] Заменено: человек, пораженный подозрением, не может иметь никакой искренности с Вами.

[12] Заменено: принуждены.

[13–14] Заменено: такой человек.

[15] Эта фраза зачеркнута; вместо нее вставка: «Но кто же эти другие? Всегда ли они понимают то, что слышат? всегда ли хотят понимать, ибо им нужна не истина? — всегда ли хотят понимать, ибо служат с предубеждением и всегда дают толкование, пристрастное тому, что слышат? и, наконец, достойны ли доверенности, будучи недостойны уважения? Между тем их слова часто решают участь человека и на всю его жизнь. Ибо клевета, как бы она, впрочем, нелепа ни была, всегда достигает своей цели, и легче сдвинуть с места гору, нежели стереть то клеймо [пятно], которое клевета налагает».

[16] Почитаю обязанным сообщить.

мнения Пушкина, хотя наперед знаю, что и мне Вы не поверите[1], ибо и я имею несчастие принадлежать к тем оригиналам, которые известны Вам по одним лишь ошибочным переводам. Первое: я уже не один раз слышал [от некоторых из переводчиков] и от многих, что Пушкин в государе любил одного Николая[2], а не русского императора и что ему для России надобно совсем иное. [Я знаю, что Пушкин был... Утверждаю] Уверяю Вас, напротив, что Пушкин (здесь говорю о том, что он был в последние свои годы) — решительно был [убежден] утвержден в необходимости для России чистого, неограниченного самодержавия, и это не по одной любви к нынешнему государю, а по своему[3] внутреннему убеждению, основанному[4] на фактах исторических (этому теперь есть и письменное свидетельство в его собственноручном письме к Чаадаеву). *Второе.* Пушкин был решительным противником *Свободы книгопечатания* и в этом он даже [переходил границы] доходил до излишества, ибо полагал, что свобода книгопечатания вредна и в Англии. Разумеется, что он в то же время утверждал, что цензура должна быть строга, но беспристрастна, что она, служа защитою обществу от писателей, должна и писателя защищать от всякого произвола. *Третье.* Пушкин был враг июльской революции. По убеждению своему, он был карлист; он признавал короля Филиппа необходимою[5] гарантиею[6] спокойствия Европы, но права его опровергал и непотрясаемость законного [наследственного права] наследия короны считал главнейшею опорою гражданского порядка... Наконец, *четвертое.* Он был самый жаркий враг революции польской и в этом отношении, как русский, был почти фанатиком. Таковы были главные, коренные[7] политические убеждения Пушкина [их можно назвать коренными], из коих все другие выходили как отрасли. Они были известны мне и всем его ближним из наших частых, непринужденных разговоров. Вам же они быть известными не могли, ибо Вы с ним никогда об этих материях[8] не говорили; да Вы бы ему и не поверили, ибо[9], опять скажу, Ваше положение таково, что Вам нельзя верить никому из тех, кому бы Ваша вера была вниманием, и что[10] принуждены на счет других верить именно тем, кои недостойны Вашей веры, то есть доносчикам, которые нашу честь и наше спокойствие продают за деньги или за кредит, или светским болтунам, которые неподкупною[11] иногда одним словом, брошенным на ветер, убивают доброе имя. [В этом поставлю примером и себя. Ваше сиятельство никогда не удостаивали меня никаким разговором, хотя несколько обстоятельным; а Вы считали меня если не демагогом, то какой-то вывеской демагогии, за которую прячутся тайные враги порядка: т. е.] Как бы то ни было, но мнения политические Пушкина были в совершенной противоположности с системой[12] буйных демагогов. И они были

---

[1] Дальше конец фразы зачеркнут.

[2] Заменено: своего благотворителя.

[3-4] Заменено: своей внутренней вере основанной.

[5-6] необходимым для.

[7] Зачеркнуто.

[8] предметах.

[9] С этого слова до точки все зачеркнуто.

[10] Далее в оригинале слово, которого я не мог разобрать, как не разобрал его и переписчик копии, оставивший пробелы.

[11] Далее в оригинале слово, которого я не мог разобрать, как не разобрал его и переписчик копии, оставивший пробелы.

[12] Сначала было: мнением.

таковы уже прежде 1830 года. Пушкин мужал зрелым умом и[1] и поэтическим[1] дарованием[1], несмотря на раздражительную тягость своего положения[2], которому не мог конца предвидеть, ибо он мог постичь, что не изменившееся в течение десяти лет останется таким и на целую жизнь и что ему никогда не освободиться от того надзора, которому он, уже отец семейства, в свои лета подвержен был, как двадцатилетний шалун. Ваше сиятельство, не могли заметить этого угнетающего чувства, которое грызло и портило жизнь его. Вы делали изредка свои выговоры, с благим намерением, и забывали о них, переходя к другим важнейшим Вашим занятиям, которые не могли дать Вам никакой свободы, чтобы заняться Пушкиным. А эти выговоры, для Вас столь мелкие, определяли целую жизнь его: ему нельзя было тронуться с места свободно, он лишен был наслаждения видеть Европу[3], ему нельзя было своим друзьям и своему избранному обществу читать свои сочинения, в каждых стихах его, напечатанных не им, а издателем альманаха с дозволения цензуры, было видно возмущение. Позвольте сказать искренно. Государь хотел своим особенным покровительством остепенить Пушкина и в то же время дать его Гению полное его развитие; а Вы из сего покровительства сделали надзор, который всегда притеснителен, сколь бы, впрочем, ни был кроток и благороден (как все, что от Вас истекает).

II.

Обращаюсь теперь ко второму предмету, о коем хотел говорить с Вашим сиятельством; к тому, что произошло по случаю смерти Пушкина. Я долго колебался, писать ли[4] к Вам об этом. Об этом происшествии уже не говорят; никаких печальных следствий оно не имело, толки умолкли — для чего же возобновлять прение о том, что лучше совсем изгладить из памяти. Это правда; но если общие толки утихли, то предубеждение еще осталось, и [еще многие и, что всего важнее, государь император мог, может иметь такое мнение насчет] многие благоразумные люди, не шутя, уверены, что было намерение воспользоваться смертью Пушкина для взволнования умов; но главное то, что я считаю своею обязанностью отразить в глазах государя императора то обвинение, которое на меня и на [других] немногих друзей

[1] Эти слова зачеркнуты.

[2] Дальше до конца абзаца все подлежало исключению, хотя зачеркивающая черта и не доведена до конца, а останавливается на заканчивающих страницу словах «в каждых стихах его на», не переходя на следующую страницу. Но вместо этих предназначенных к исключению строк находим следующую большую вставку: «Он только что достиг своего полного поэтического развития. Его литературные враги печатали и говорили, что он упал (и когда же начали они это говорить или в то время как написаны лучшие поэтические его произведения?). Публика им верила на слово, и это сделалось какой-то общею поговоркою. А Пушкин только что созрел, и что бы он написал, если бы тяжелые обстоятельства всякого рода, скопленные мало-помалу, не упали на бедную его голову тем обвалом, который толь незапно раздавил его пред нашими глазами. Отдадим же ему справедливость. Первые годы его были проведены в буйстве; несчастие, им самим на себя навлеченное, остепенило его; а то, что сделал с ним государь император, открыло ему новую, настоящую дорогу жизни. И с этой минуты, смело утверждаю, Пушкин был гораздо лучше того имени, которое дала ему первая половина его жизни и которое, к несчастию, сохранилось ему и на вторую, хотя в последний год свой он заслужил совсем иное».

[3] Дальше еще есть: «ему нельзя было произвольно ездить и по России».

[4] Этого слова нет.

Пушкина падает, и сказать слово в оправдание наше, не обвиняя никого и даже не имея никакой надежды быть оправданным.

Если бы Пушкин умер после [горячки, даже после] долговременной болезни или после быстрого удара, о нем бы пожалели; общее чувство национальной потери выразилось бы в разговорах, каких-нибудь статьях, стихами или прозою; в обществе поговорили бы о нем и скоро бы замолчали, предав его памяти современников, умевших ценить его высокое дарование, и потомству, которое, конечно, сохранит к нему чистое уважение. Но Пушкин умирает, убитый на дуэли, и убийца его [иностранец] француз, [осыпанный] принятый в нашу службу с отличием; этот [иностранец] француз преследовал жену Пушкина и за тот стыд, который нанес его чести, еще убил его на дуэли. Вот обстоятельства, поразившие вдруг все общество и сделавшиеся известными во всех классах народа, от Гостиного двора до петербургских салонов. [Сии обстоятельства сделались известны]. Если бы таким образом погиб и простой человек, без всякого национального имени, то и об нем заговорили бы повсюду, но это было бы просто светская болтовня, без всякого особенного чувства. Но здесь жертвою иноземного разврат[а]ника сделался первый поэт России, известный по сочинениям своим большому и малому обществу. Чему же тут дивиться, что общее чувство [было сильно, что] при таком трагическом происшествии вспыхнуло сильно. Напротив, надлежало бы удивиться, когда бы это сильное чувство не вспыхнуло и если бы в обществе равнодушно приняли такую внезапную потерю и[1] не было бы такое равнодушие оскорбительно для чувства народности[2]. Прибавить надобно к этому и то, что обстоятельства, предшествовавшие кровавой развязке, были всем известны, знали, какими низкими средствами старались раздражать и осрамить Пушкина; анонимные письма были [многим известны] многими читаны и об них вспомнили с негодованием. Итак, нужно ли было кому-нибудь [хлопотать] особенно заботиться о том, чтобы произвести в обществе то впечатление, которое неминуемо в нем произойти долженствовало. Разве дуэль был[а] тайною? Разве обстоятельства его были тайною? Разве погиб на дуэли не Пушкин? Чему же дивиться, что все ужаснулись, что все [огорчились] были опечалены и все [почувствовали негодование] оскорбились? Какие же тайные агенты могли быть нужны для произведения сего неизбежного впечатления?

Весьма естественно, что после того, как распространилась в городе весть о гибели Пушкина, поднялось много разных толков; весьма естественно, что во многих энтузиазм к нему, как к любому русскому поэту, оживился безвременною трагическою смертию (в этом чувстве нет ничего враждебного; оно, напротив, благородное и делает честь нации, ибо изъявляет, что она дорожит своею славою); весьма естественно, что этот энтузиазм, смотря по разным характерам, выражался различно, в одних с благоразумием умеренности, в других с излишнею пылкостию; в других и, вероятно, во многих было соединено с негодованием против убийцы Пушкина, может быть, и с выражением мщения. Все это в порядке вещей, и тут еще нет ничего возмутительного. Не знаю, что в это время говорилось и делалось в обществе (ибо и я и прочие обвиненные друзья Пушкина были слишком заняты им самим, его страданиями, его смертию, его семейством, чтобы заботиться о толках

[1–2] Конца фразы, заключающегося между этими словами, нет.

в обществе, и еще менее о том, как бы производить эти толки), но по слухам, дошедшим до меня после, полагаю, что блюстительная полиция подслушала там и здесь (на улицах, в Гостином дворе и пр.), что Геккерну угрожают; вероятно, что не один, а весьма многие в народе ругали иноземца, который застрелил русского, и кого же русского, Пушкина? Вероятно, что иные толковали между собою, как бы хорошо было его побить, разбить стекла в его доме и тому подобное; вероятно, что и до самого министра Геккерна доходили подобные толки и что его испуганное воображение их преувеличивало и что он сообщил свои опасения и требовал защиты. С другой стороны, вероятно и то, что говорили о Пушкине с живым участием, о том, как бы хорошо было изъявить ему уважение какими-нибудь видимыми знаками; [молодежь, вероятно, говорила] многие, вероятно, говорили, как бы хорошо отпречь лошадей от гроба и довезти его на руках до церкви; другие, может быть, толковали, как бы хорошо произнести над ним речь и в этой речи поразить его убийцу и прочее и прочее. Все подобные толки суть естественное следствие подобного происшествия; его необходимый, неизбежный отголосок. Блюстительная полиция была обязана обратить на них внимание и взять свои меры, но взять их без всякого изъявления опасения, ибо и опасности не было никакой. До сих пор все в порядке вещей. Но здесь полиция перешла границы своей бдительности. Из толков, не имевших между собой никакой связи, она сделала заговор с политическою целью и в заговорщики произвела друзей Пушкина, которые окружали его страдальческую постель и должны бы были иметь особенную натуру, чтобы в то время, как их душа была наполнена глубокою скорбию, иметь возможность думать о волновании умов в народе через каких-то агентов, с какою-то целию, которой никаким рассудком постигнуто быть не может. Раз допустивши [эту][1] нелепую идею, что заговор существует и что заговорщики суть друзья Пушкина, следствия этой идеи сами собою должны были из нее излиться. Мы день и ночь проводили перед дверями умирающего Пушкина; на другой день после дуэли, т. е. с утра 28 числа до самого выноса гроба из дома, приходили посторонние, сначала для осведомления о его болезни, потом для того, чтобы его увидеть в гробе, — приходили с тихим, смиренным чувством участия, с молитвою за него[2] и горевали о нем, как о друге, скорбели и о том великом даровании, в котором угасала одна из звезд нашего отечества, и в то же время с благодарностию помышляли о Государе, который, можно сказать, был впереди нас тем участием, что так человечески за одно с нами выразил в то же время. За[3] государя, очистившего, успокоившего конец Пушкина, простое, трогательное, христианское [участие благородное] выражение национального чувства — и все это делалось так тихо; более десяти тысяч человек прошло в эти два дня мимо гроба Пушкина, и не было слышно ни малейшего шума, не произошло ни малейшего беспорядка; жалели о нем; большая часть молилась за него, молилась и за государя; почти никому не пришло в голову, в виду гроба, упомянуть о Геккерне. Что же тут было кроме умилительного, кроме возвышающего душу?

---

[1] Неразборчивое слово.

[2] Это последнее слово на 5-й странице, а на следующей 6-й Жуковский продолжал: «и за Государя», но он сделал на 5-й вставку, разбив тему об участии общества к Пушкину, и после вставки не сделал нужного исправления начала 6-й страницы.

[3] См. предыдущее примечание.

И нам, друзьям Пушкина, до самого того часа, в который мы перенесли [ночью] гроб его в Конюшенную церковь, не приходило и в голову ничего иного, кроме нашей скорби о нем и кроме благодарности Государю, который явился нам во всей красоте своего человеколюбия и во всем величии своего царского сана; ибо он утешил его смерть, призрел его сирот, уважил в нем русского поэта, как русский государь, и в то же время осудил его смерть, как Судия верховный, [Каким жалким созданием надлежало бы быть, чтобы остаться нечувствительным] Какое нравственное уродство надлежало иметь, чтобы остаться нечувствительным пред таким трогательным величием и иметь свободу [заниматься] для каких-то замыслов, коих цели никак себе представить не можно и кои только естественны сумасшедшим.

Но, начавши с ложной идеи, необходимо дойдешь и до заключений ложных; они произведут и ложные меры. Так здесь и случилось. [Первая ложная идея (уже опровергнутая мною выше) была та] Основываясь на ложной идее (опровергнутой выше), что Пушкин, глава демагогической партии, [и первое ложное следствие этой идеи было то, что и друзья его принадлежат к той же демагогической партии], произвели и друзей его в демагоги. Друзья не отходили от его постели, и в то же время разные толки бродили по городу и по улицам [толки, не имеющие между собою связи]. Из этого сделали заговор, увидели какую-то тайную нить, связывающую эти толки, ничем не связанные, и эту нить дали в руки друзьям его. Под влиянием этого непостижимого предубеждения все, самое простое и обыкновенное, представилось в каком-то таинственном враждебном свете. Граф Строганов, которого уже нельзя обвинить ни в легкомыслии, ни в демагогии, как родственник, взял на себя учреждение и издержки похорон Пушкина; он призвал своего поверенного человека и ему поручил все устроить. И оттого именно, что граф Строганов взял на себя все издержки похорон, произошло то, что они произведены были самым блистательным образом, согласно с благородным характером графа. Он приглашал архиерея, и как скоро тот отказался от совершения обряда, пригласил трех архимандритов. Он назначил для отпевания Исаакиевский собор, и причина назначения была самая простая: ему сказали, что дом Пушкина принадлежал к приходу Исаакиевского собора; следовательно, иной церкви назначать было не можно; о Конюшенной же церкви было нельзя и подумать, она придворная. На отпевание в ней надлежало получить особенное позволение, в коем и нужды не было, ибо имели в виду приходскую церковь. Билеты приглашенным были разосланы без всякого выбора; Пушкин был знаком целому Петербургу; сделали для погребения его то, что делается для всех; Дипломатический корпус приглашен был, потому что Пушкин был знаком со всеми его членами; для назначения же тех, кому посылать билеты, сделали просто выписку из реэстра, который взят был у графа Воронцова. Следующее обстоятельство могло бы, если угодно, показаться подозрительным. [У меня кто-то спрос]. Мне сказали, кто, право, не помню, что между приглашенными на похороны забыты некоторые из прежних лицейских товарищей Пушкина. Я отвечал, что надобно непременно их пригласить. Но было ли это исполнено, не знаю. Этим я не занялся, но если бы мною были рассылаемы билеты, то, конечно бы, лицейские друзья Пушкина не были забыты. Как бы то ни было, но все до сих пор в обыкновенном порядке. Вдруг полиция [узнает, что] догадывается, что должен существовать (т. существовал) заговор, что министр Геккерн, что жена Пушкина в опас-

ности, что во время перевоза тела в Исаакиевскую церковь лошадей отпрягут и гроб понесут на руках, что в церкви будут депутаты от купечества, от Университета, что над гробом будут говорены речи (обо всем этом узнал я уже после [из разных слухов] по слухам). Что же бы надлежало бы сделать полиции, если бы и действительно она могла предвидеть что-нибудь подобное? Взять с большею бдительностью те же предосторожности, какие наблюдаются при всяком обыкновенном погребении, а не признаваться перед целым обществом, что [что против правительства есть заговор] правительство боится заговора, не оскорблять своими нелепыми обвинениями людей, не заслуживающих и подозрения, одним словом, не производить самой [беспорядка] того волнения, которое она предупредить хотела неуместными своими мерами. Вместо того назначенную для отпевания церковь переменили, тело перенесли в нее ночью, с какою-то[1] тайною, всех поразившею, без факелов, почти без проводников; и в минуту выноса, на который собралось не более десяти ближайших друзей Пушкина, жандармы наполнили ту горницу, где молились о умершем, нас оцепили, и мы, так сказать, под стражей [отнесли] проводили тело до церкви. Какое намерение могли в нас предполагать? Чего могли от нас бояться? Этого [ни] я [никто] изъяснить не берусь. И признаться, будучи наполнен главным своим чувством, печалью о конце Пушкина, я в минуту выноса и не заметил того, что вокруг нас происходило; уже после это пришло мне в голову и жестоко меня обидело.

2. ПИСЬМО КНЯЗЯ П. А. ВЯЗЕМСКОГО К ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ МИХАИЛУ ПАВЛОВИЧУ ОТ 14 ФЕВРАЛЯ 1837 ГОДА

Письмо князя П. А. Вяземского к великому князю Михаилу Павловичу об обстоятельствах дуэли и смерти Пушкина было известно в литературе или в неполном, или в неподлинном виде: черновик — не всего письма, а лишь части, — принадлежавший князю П. А. Вяземскому, напечатан в «Русском архиве» 1879 г., кн. 1-я, стр. 387—393, а перевод всего письма сообщен в статье П. Е. Щеголева «Дуэль Пушкина с Дантесом» («Исторический вестник», 1905, январь и в книге «Пушкин. Очерки». Спб., 1912) и повторяется в настоящем издании книги. В первом издании оно напечатано по французскому подлиннику, находившемуся в архиве герцога Мекленбург-Стрелицкого. Оно хранилось в конверте с надписью «Его Императорскому Высочеству в собственные руки от К. Вяземского»; тут же помета великого князя Михаила Павловича: «Affaire de Pouchkine». На самом письме его же рукою надписано: «Получено в Риме 14/26 марта 1837 года. Ответствовано из Баден-Бадена 29 мая/10 июня idem». Письмо не все написано рукою князя П. А. Вяземского; часть его дописана женой княгиней В. Ф. Вяземской. При письме находятся упоминаемые в нем следующие приложения:

№ 1. Копия известного пасквиля, полученного Пушкиным. См. «Переписку Пушкина», изд. Акад. наук, т. III, стр. 398, № 1091.

№ 2. Письмо Пушкина к барону Геккерну; см. там же, стр. 444, № 1138.

№ 3. Письмо барона Геккерна — ответ на предыдущее письмо Пушкина; см. там же, стр. 445, № 1139.

---

[1] Этим словом кончается копия; то, что идет далее на 9-й странице черновика Жуковского, осталось непереписанным в копии.

№ 4. Письмо Пушкина к виконту д'Аршиаку; см. там же, стр. 449, № 1146.

№ 5. Les conditions du duel — условия дуэли; печатаются нами ниже в отделе документов, относящихся до дуэли.

Кроме того, копия с известного письма князя П. А. Вяземского к А. Я. Булгакову; письмо (копия) Пушкина к графу А. Х. Бенкендорфу, напечатанное в «Переписке», т. III, стр. 416, № 1106, и записки (в копии) виконта д'Аршиака к Пушкину; см. там же № 1141 (стр. 446) и 1145 (стр. 449).

Так как в черновике из «Русского архива» некоторые подробности изложены пространнее и резче, чем в подлиннике, то мы в примечаниях к переводу подлинника даем извлечения из черновика.

Ваше высочество!

По всей вероятности, ваше императорское высочество интересуетесь некоторыми подробностями прискорбного события, которое таким трагическим образом похитило от нас Пушкина. Вы удостаивали его своей благосклонностью, его доброе имя и его слава принадлежат родине и, так сказать, царствованию государя императора. При своем вступлении на престол он сам призвал поэта из изгнания, любя своей благородной и русской душой его талант, и принял в его гении истинно-отеческое участие, которое не изменилось (в нем) ни в продолжение жизни его, ни у его смертного одра, ни по ту сторону его могилы, так как он не забыл своими щедротами ни его вдовы, ни детей. Эти соображения, а также тайна, которая окружает последние события в его жизни и тем дает обширную пищу людскому невежеству и злобе для всевозможных догадок и ложных истолкований, обязывают друзей Пушкина разоблачить все, что только им известно по этому поводу, и показать, таким образом, его личность в ее настоящем свете. Вот с какою целью я осмеливаюсь обратиться к вашему высочеству с этими строками. Соблаговолите уделить им несколько минут своего досуга. Я буду говорить одну только правду.

Вашему императорскому высочеству небезызвестно, что молодой Геккерен ухаживал за г-жей Пушкиной. Это неумеренное и довольно открытое ухаживание порождало сплетни в гостиных и мучительно озабочивало мужа. Несмотря на это, он, будучи уверен в привязанности к себе своей жены и в чистоте ее помыслов, не воспользовался своею супружескою властью, чтобы вовремя предупредить последствия этого ухаживания, которое и привело, на самом деле, к неслыханной катастрофе, разразившейся на наших глазах. 4 ноября прошлого года моя жена вошла ко мне в кабинет с запечатанной запискою, адресованной Пушкину, которую она только что получила в двойном конверте по городской почте. Она заподозрила в ту же минуту, что здесь крылось что-нибудь оскорбительное для Пушкина. Разделяя ее подозрение и воспользовавшись правом дружбы, которая связывала меня с ним, я решился распечатать конверт и нашел в нем диплом, здесь прилагаемый (№ 1). Первым моим движением было бросить бумагу в огонь, и мы с женой дали друг другу слово сохранить все это в тайне. Вскоре мы узнали, что тайна эта далеко не была тайной для многих лиц, получивших подобные письма, и даже Пушкин не только сам получил такое же, но и два других подобных, переданных ему его друзьями, не знавшими их содержания и поставленными в такое же положение, как и мы. Эти письма привели к объяснениям супругов Пушкиных между собой

и заставили невинную, в сущности, жену признаться в легкомыслии и ветрености, которые побуждали ее относиться снисходительно к навязчивым ухаживаниям молодого Геккерена; она раскрыла мужу все поведение молодого и старого Геккеренов по отношению к ней; последний старался склонить ее изменить своему долгу и толкнуть ее в пропасть. Пушкин был тронут ее доверием, раскаянием и встревожен опасностью, которая ей угрожала, но, обладая горячим и страстным характером, не мог отнестись хладнокровно к положению, в которое он с женой был поставлен; мучимый ревностью, оскорбленный в самых нежных, сокровенных своих чувствах, в любви к своей жене, видя, что честь его задета чьей-то неизвестной рукой, он послал вызов молодому Геккерену, как единственному виновнику в его глазах, в двойной обиде, нанесенной ему в самое сердце. Необходимо при этом заметить, что как только были получены эти анонимные письма, он заподозрил в их сочинении старого Геккерена и умер с этою уверенностью. Мы так никогда и не узнали, на чем было основано это предположение, и до самой смерти Пушкина считали его недопустимым. Только неожиданный случай дал ему впоследствии некоторую долю вероятности. Но так как на этот счет не существует никаких юридических доказательств, ни даже положительных оснований, то это предположение надо отдать на суд божий, а не людской. Вызов Пушкина не попал по своему назначению. В дело вмешался старый Геккерен. Он его принял, но отложил окончательное решение на 24 часа, чтобы дать Пушкину возможность обсудить все более спокойно. Найдя Пушкина, по истечении этого времени, непоколебимым, он рассказал ему о своем критическом положении и затруднениях, в которые его поставило это дело, каков бы ни был его исход; он ему говорил о своих отеческих чувствах к молодому человеку, которому он посвятил всю свою жизнь, с целью обеспечить ему благосостояние. Он прибавил, что видит все здание своих надежд разрушенным до основания в ту самую минуту, когда считал свой труд доведенным до конца. Чтобы приготовиться ко всему, могущему случиться, он попросил новой отсрочки на неделю. Принимая вызов от лица молодого человека, т. е. своего сына, как он его называл, он тем не менее уверял, что тот совершенно не подозревает о вызове, о котором ему скажут только в последнюю минуту. Пушкин, тронутый волнением и слезами отца, сказал: «Если так, то не только неделю — я вам даю две недели сроку и обязуюсь честным словом не давать никакого движения этому делу до назначенного дня и при встречах с вашим сыном вести себя так, как если бы между нами ничего не произошло». Итак, все должно было оставаться без перемены до решающего дня. Начиная с этого момента, Геккерен пустил в ход все военные приемы и дипломатические хитрости. Он бросился к Жуковскому и Михаилу Виельгорскому, чтобы уговорить их стать посредниками между ним и Пушкиным. Их миролюбивое посредничество не имело никакого успеха. Через несколько дней Геккерен-отец распустил слух о предстоящем браке молодого Геккерена с Екатериной Гончаровой. Он уверял Жуковского, что Пушкин ошибается, что сын его влюблен не в жену его, а в свояченицу, что уже давно он умоляет отца согласиться на их брак, но что тот, находя брак этот неподходящим, не соглашался, но теперь, видя, что дальнейшее упорство с его стороны привело к заблуждению, грозящему печальными последствиями, он, наконец, дал свое согласие. Отец требовал, чтобы об этом, во всяком случае, ни слова не говорили Пушкину, чтобы он не подумал, будто эта свадьба была только предлогом

для избежания дуэли. Зная характер Геккерена-отца, скорее всего можно предположить, что он говорил все это в надежде на чью-либо нескромность, чтобы обмануть доверчивого и чистосердечного Пушкина. Как бы то ни было, тайна была соблюдена, срок близился к окончанию, а Пушкин не делал никаких уступок, и брак был решен между отцом и теткой, г-жей Загряжской. Было бы слишком долго излагать вашему императорскому высочеству все лукавые происки молодого Геккерена во время этих переговоров. Приведу только один пример. Геккерены, старый и молодой, возымели дерзкое и подлое намерение попросить г-жу Пушкину написать молодому человеку письмо, в котором она умоляла бы его не драться с ее мужем. Разумеется, она отвергла с негодованием это низкое предложение. Когда Пушкин узнал о свадьбе, уже решенной, он, конечно, должен был счесть ее достаточным для своей чести удовлетворением, так как всему свету было ясно, что это брак по рассудку, а не по любви. Чувства, или так называемые «чувства», молодого Геккерена получили гласность такого рода, которая делала этот брак довольно двусмысленным. Вследствие этого Пушкин взял свой вызов обратно, но объявил самым положительным образом, что между его семьей и семейством свояченицы он не потерпит не только родственных отношений, но даже простого знакомства, и что ни их нога не будет у него в доме, ни его — у них. Тем, кто обращался к нему с поздравлениями по поводу этой свадьбы, он отвечал во всеуслышание: Tu l'as voulu, Georges Dandin». Говоря по правде, надо сказать, что мы все, так близко следившие за развитием этого дела, никогда не предполагали, чтобы молодой Геккерен решился на этот отчаянный поступок, лишь бы избавиться от поединка. Он сам был, вероятно, опутан темными интригами своего отца. Он приносил себя ему в жертву. Я его, по крайней мере, так понял. Но часть общества захотела усмотреть в этой свадьбе подвиг высокого самоотвержения ради спасения чести г-жи Пушкиной. Но, конечно, это только плод досужей фантазии. Ничто ни в прошлом молодого человека, ни в его поведении относительно нее не допускает мысли ни о чем-либо подобном. Последствия это хорошо доказали, как ваше высочество ниже увидите. Во всяком случае, это оскорбительное и неосновательное предположение дошло до сведения Пушкина и внесло новую тревогу в его душу. Он увидел, что этот брак не избавлял его окончательно от ложного положения, в котором он очутился. Молодой Геккерен продолжал стоять, в глазах общества, между ним и его женой и бросал на обоих тень, невыносимую для щепетильности Пушкина. Это был призрак, не существующий в действительности, так как Пушкин был уверен в своей жене, но тем не менее этот призрак его преследовал. Разве мог страстный и восприимчивый поэт обсудить свое положение и взглянуть на него, подобно мудрецу или беспристрастному зрителю? Легко так говорить равнодушным людям, но надо перечувствовать его страдания, всю ту горечь, которая снедала бедного Пушкина, чтобы позволить себе порицать его. Согласие Екатерины Гончаровой и все ее поведение в этом деле непонятны, если только загадка эта не объясняется просто ее желанием во что бы то ни стало выйти из разряда зрелых дев. Пушкин все время думал, что какая-нибудь случайность помешает браку в самом же начале. Все же он совершился. Это новое положение, эти новые отношения мало изменили сущность дела. Молодой Геккерен продолжал, в присутствии своей жены, подчеркивать свою страсть к г-же Пушкиной. Городские сплетни возобновились, и оскорбительное внимание общества обратилось с удвоенной силою на действующих

лиц драмы, происходящей на его глазах. Положение Пушкина сделалось еще мучительнее, он стал озабоченным, взволнованным, на него тяжело было смотреть. Но отношения его к жене оттого не пострадали. Он сделался еще предупредительнее, еще нежнее к ней. Его чувства, в искренности которых невозможно было сомневаться, вероятно, закрыли глаза его жене на положение вещей и его последствия. Она должна была бы удалиться от света и потребовать того же от мужа. У нее не хватило характера, и вот она опять очутилась почти в таких же отношениях с молодым Геккереном, как и до свадьбы: тут не было ничего преступного, но было много непоследовательности и беспечности. Когда друзья Пушкина, желая его успокоить, говорили ему, что не стоит так мучиться, раз он уверен в невинности своей жены, и уверенность эта разделяется всеми его друзьями и всеми порядочными людьми общества, то он им отвечал, что ему недостаточно уверенности своей собственной, своих друзей и известного кружка, что он принадлежит всей стране и желает, чтобы имя его оставалось незапятнанным везде, где его знают. За несколько часов до дуэли он говорил д'Аршиаку, секунданту Геккерена, объясняя причины, которые заставляли его драться: «Есть двоякого рода рогоносцы: одни носят рога на самом деле; те знают отлично, как им быть: положение других, ставших рогоносцами по милости публики, затруднительнее. Я принадлежу к последним». Вот в каком настроении он был, когда приехали его соседки по имению, с которыми он часто виделся во время своего изгнания. Должно быть, он спрашивал их о том, что говорят в провинции об его истории, и, верно, вести были для него неблагоприятны. По крайней мере, со времени приезда этих дам он стал еще раздраженнее и тревожнее, чем прежде. Бал у Воронцовых, где, говорят, Геккерен был сильно занят г-жей Пушкиной, еще увеличил его раздражение. Жена передала ему остроту Геккерена, на которую Пушкин намекал в письме к Геккерену-отцу по поводу армейских острот. У обеих сестер был общий мозольный оператор, и Геккерен сказал г-же Пушкиной, встретив ее на вечере: «je sais maintenant que votre *cor* est plus beau, que celui de ma femme!»[1]. Вся эта болтовня, все эти мелочи растравляли рану Пушкина. Его раздражение должно было выйти из границ. 25 января он послал письмо Геккерену-отцу (№ 2). Д'Аршиак принес ему ответ (№ 3). Пушкин его не читал, но принял вызов, который был ему сделан от имени сына. Сам собою напрашивается вопрос, какие причины могли побудить Геккерена-отца прятаться за сына, когда раньше он оказывал ему столько нежности и отеческой заботы; заставлять сына рисковать за себя жизнью, между тем как оскорбление было нанесено лично ему, а он не так стар, чтобы быть вынужденным искать себе заместителя? Так или иначе, но день 26 и утро 27 января прошли в переговорах между д'Аршиаком и Пушкиным о секунданте, которого должен был представить последний. Пушкин отказался взять секунданта, не желая никого компрометировать, и боялся взять кого-нибудь из соотечественников, так как не хотел подвергать их неприятным последствиям своей дуэли. Противная партия настаивала на этом пункте. 26-го, на балу у графини Разумовской, Пушкин предложил быть своим секундантом Магенису, советнику при английском посольстве. Тот, вероятно, пожелал узнать причины дуэли; Пушкин отказался

---

[1] Непереводимая игра слов, основанная на созвучии слов: "cor" — мозоль, "corps" — тело. Буквально: «теперь знаю, что у вас мозоль красивее, чем у моей жены».

сообщить что-либо по этому поводу (№ 4). Магенис отстранился. В отчаянии, что дело расстроилось, Пушкин вышел 27-го утром, наудачу, чтобы поискать кого-нибудь, кто бы согласился быть его секундантом. Он встретил на улице Данзаса, своего прежнего школьного товарища, а впоследствии друга. Он посадил его к себе в сани, сказал, что везет его к д'Аршиаку, чтобы взять его в свидетели своего объяснения с ним. Два часа спустя противники находились уже на месте поединка. Условия дуэли были выработаны (№ 5). Пушкин казался спокойным и удовлетворенным. Бедняк жаждал в ту минуту избавления от нравственных страданий, которые испытывал. Противники приблизились к барьеру, целя друг в друга. Геккерен выстрелил первый. Пушкин был ранен. Он упал на шинель, служившую барьером, и не двигался, лежа вниз лицом. Секунданты и Геккерен подошли к нему; он приподнялся и сказал: «Подождите, у меня хватит силы на выстрел». Геккерен стал опять на место. Пушкин, опираясь левой рукой о землю, правой уверенно прицелился, выстрел раздался. Геккерен в свою очередь был ранен. Пушкин после выстрела подбросил свой пистолет и воскликнул: «браво»! Его рана была слишком серьезна, чтобы продолжать поединок: он вновь упал и на несколько минут потерял сознание, но оно скоро к нему вернулось и больше уже его не покидало. Придя в себя. он спросил д'Аршиака: «Убил я его?» — «Нет, — ответил тот, — вы его ранили». — «Странно, — сказал Пушкин, — я думал, что мне доставит удовольствие его убить, но я чувствую теперь, что нет. Впрочем, все равно. Как только мы поправимся, снова начнем».

Когда его привезли домой, доктор Арендт и другие после первого осмотра раны нашли ее смертельной и объявили об этом Пушкину, который потребовал, чтобы ему сказали правду относительно его состояния. До 7-го часа вечера я не знал решительно ничего о том, что произошло. Как только мне дали знать о случившемся, я отправился к нему и почти не оставлял его квартиры до самой его смерти, которая наступила на третий день, 29 января, около 3 часов пополудни. Это были душу раздирающие два дня; Пушкин страдал ужасно, он переносил страдания мужественно, спокойно и самоотверженно и высказывал только одно беспокойство, как бы не испугать жены. «Бедная жена, бедная жена!» — восклицал он, когда мучения заставляли его невольно кричать. Идя к государю, Арендт спросил Пушкина, не хочет ли он передать ему что-нибудь. «Скажите государю, что умираю и что прошу прощения у него за себя и за Данзаса». Я попросил у Булгакова копии письма, которое я ему написал после смерти Пушкина и в котором я сообщил ему подробности о его последних минутах. Я надеюсь, что получу ее вовремя и успею вложить в это письмо. Смерть обнаружила в характере Пушкина все, что было в нем доброго и прекрасного. Она надлежащим образом осветила всю его жизнь. Все, что было в ней беспорядочного, бурного, болезненного, особенно в первые годы его молодости, было данью человеческой слабости обстоятельствам, людям, обществу. Пушкин был не понят при жизни не только равнодушными к нему людьми, но и его друзьями. Признаюсь и прошу в том прощения у его памяти, я не считал его до такой степени способным ко всему. Сколько было в этой исстрадавшейся душе великодушия, силы, глубокого, скрытого самоотвержения! Его чувства к жене отличались нежностью поистине самого возвышенного характера. Несколько слов, произнесенных им на своем смертном одре, доказали, насколько он был привязан, предан и благодарен государю. Ни одного горького слова, ни одной резкой жало-

бы, никакого едкого напоминания о случившемся не произнес он, ничего, кроме слов мира и прощения своему врагу. Вся желчь, которая накоплялась в нем целыми месяцами мучений, казалось, исходила из него вместе с его кровью, он стал другим человеком. Свидетельства доктора Арендта и других, которые его лечили, подтверждают мое мнение. Арендт не отходил от него и стоял со слезами на глазах, а он привык к агониям во всех видах.

Эти события и смерть Пушкина произвели во всем обществе сильное впечатление. Не счесть всех, кто приходил с разных сторон справляться о его здоровье во время его болезни. Пока тело его выставлено было в доме, наплыв народа был еще больше, толпа не редела в скромной и маленькой квартирке поэта. Из-за неудобства помещения должны были поставить гроб в передней, следовательно, заколотить входную дверь. Вся эта толпа притекала и уходила через маленькую потайную дверь и узкий отдаленный коридор. Участие, с которым все относились к этой столь неожиданной и трагической смерти, глубоко тронуло все общество; горе смягчилось тем, что государь усладил последние минуты жизни Пушкина и осыпал благодеяниями его семью. Не один раз слышал я среди посетителей подобные слова: «Жаль Пушкина, но спасибо государю, что он утешил его». Однажды, едучи в санях, я спросил своего кучера: «Жаль ли тебе Пушкина?» – «Как же не жаль? Все жалеют, он был умная голова: эдаких и государь любит». Было что-то умилительное в этой народной скорби и благодарности, которые так непосредственно отозвались и в царе, и в народе; это, как я уже сказал, было самое сильное, самое красноречивое опровержение знаменитого письма Чаадаева. Да, у нас есть народное чувство, это чувство безвредное, чисто-монархическое. И в этом случае, как и во всех остальных, император дал толчок, положил начало. Так это и поняли все сердечные и благонамеренные люди. К несчастью, печальные исключения встретились и здесь, как и во всяком деле встречаются. Некоторые из коноводов нашего общества, в которых ничего нет русского, которые и не читали Пушкина, кроме произведений, подобранных недоброжелателями и тайной полицией, не приняли никакого участия во всеобщей скорби. Хуже того – они оскорбляли, чернили его. Клевета продолжала терзать память Пушкина, как терзала при жизни его душу. Жалели о судьбе интересного Геккерена, а для Пушкина не находили ничего, кроме хулы. Несколько гостиных сделали из него предмет своих партийных интересов и споров. Я не из тех патриотов, которые содрогаются при имени иностранца, я удовлетворяюсь патриотизмом в духе Петра Великого, который был патриотом с ног до головы, но признавал, несмотря на это, что есть у иностранцев преимущества, которыми можно позаимствоваться. Но в настоящем случае как можно даже сравнивать этих двух людей? Один был самой светлой, литературной славой нашего времени, другой – человек без традиций, без настоящего и без будущего для страны. Один погиб, как сугубая жертва врага, который его убил физически, убив его предварительно нравственно; другой – жив и здоров и рано или поздно, покинув Россию, забудет причиненное им зло. Впрочем, все эти слухи и споры происходят совсем от других причин, вникать в которые мне не годится, но факт тот, что в ту минуту, когда всего менее этого ожидали, увидели, что выражения горя к столь несчастной кончине, потере друга, поклонения таланту были истолкованы, как политическое и враждебное правительству движение. Позвольте мне,

ваше высочество, коснуться некоторых подробностей относительно этого предмета.

После смерти Пушкина нашли только 300 рублей денег во всем доме. Старый граф Строганов, родственник г-жи Пушкиной, поспешил объявить, что он берет на себя издержки по похоронам. Он призвал своего управляющего и поручил ему все устроить и расплатиться. Он хотел, чтобы похороны были насколько возможно торжественнее, так как он устраивал их на свой счет. Из друзей Пушкина были Жуковский, Михаил Виельгорский и я. Было ли место в нашей душе чему-нибудь, кроме горя, поразившего нас? Могли ли мы вмешиваться в распоряжения графа Строганова?[1] Итак, распоряжения были отданы, приглашения по городской почте разосланы. Граф Строганов получил приказание изменить отданные распоряжения. Отпевание предполагалось в Исаакиевской церкви, в приходе дома, где умер Пушкин, вынос тела предполагался, по обычаю, утром, в день погребения. Приказали перенести тело ночью без факелов и поставить в Конюшенной церкви. Объявили, что мера эта была принята в видах обеспечения общественной безопасности, так как толпа будто бы намеревалась разбить оконные стекла в домах вдовы и Геккерена. Друзей покойного вперед уже заподозрили самым оскорбительным образом; осмелились, со всей подлостью, на которую были способны, приписать им намерение учинить скандал, навязали им чувства, враждебные властям, утверждая, что не

---

[1] В черновике кн. Вяземский гораздо пространнее выясняет свою непричастность к распоряжениям графа Строганова относительно похоронной церемонии. Желание Строганова устроить ее возможно великолепнее было принято графом Бенкендорфом за попытку демонстрации, приписанную друзьям Пушкина и прежде всего князю Вяземскому. Князь Вяземский оправдывается в черновике следующим образом: «Итак, изложу, что относится до меня лично во всем этом деле. Я не присутствовал при самых последних минутах Пушкина: по обязанностям службы мне необходимо было съездить в мой департамент. Когда я возвратился, Пушкина уже не было. Тут я узнал, что в доме нашлось только 300 рублей, что граф Строганов в качестве родственника г-жи Пушкиной принял на себя похоронные издержки, немедленно велел позвать к себе своего поверенного и отдал ему все нужные приказания, как поступать. С графом Строгановым я нахожусь не в таких отношениях, чтобы позволить себе, если бы я того и желал, малейшее вмешательство в эти распоряжения. С какого права стал бы я вмешиваться, да и что было сказать мне? Если в намерении графа было придать погребению некоторую внешность, то очень естественно, что, приняв на себя издержки, он хотел быть щедрым, даже расточительным. Во всяком случае и как бы то ни было, я положительно не принимал тут никакого участия и не знаю, имел ли кто-нибудь малейшее, прямое или косвенное влияние на распоряжения графа Строганова. Он давал деньги, и кто из людей сколько-нибудь благоразумных захотел бы определять и назначать, куда должны пойти эти деньги? Надобно заметить, что выбор Исаакиевского собора местом для отпевания подал повод к совершенно неосновательному истолкованию, которое могло идти от людей, особенно предубежденных и забывших, что к петербургским соборам приписаны приходы, как и к церквам обыкновенным. Дом, где жил Пушкин, принадлежал к Исаакиевскому приходу, и выбирать тут было нечего. То же самое было бы сделано и с последним нищим, обитателем этого квартала. Когда приглашенный графом Строгановым митрополит отказался прибыть к отпеванию и граф Строганов выражал мне по этому случаю свое неудовольствие и находил отказ незаконным, я подал ему мысль обратиться к графу Протасову, который, будучи прокурором святейшего синода, мог разъяснить поводы этого отказа и предложить свое посредничество для устранения, буде возможно, препятствий. Вот единственное мнение, единственное слово, шедшее от меня касательно этого дела».

друга, не поэта оплакивали они, а политического деятеля. В день, предшествовавший ночи, в которую назначен был вынос тела, в доме, где собралось человек десять друзей и близких Пушкина, чтобы отдать ему последний долг, в маленькой гостиной, где мы все находились, очутился целый корпус жандармов. Без преувеличения можно сказать, что у гроба собрались в большом количестве не друзья, а жандармы! Против кого была выставлена эта сила, весь этот военный парад? Я не касаюсь пикетов, расставленных около дома и в соседних улицах; тут могли выставить предлогом, что боялись толпы и беспорядка. Но чего могли опасаться с нашей стороны? Какие намерения, какие задние мысли могли предполагать в нас, если не считали нас безумцами или негодяями? Не было той нелепости, которая не была бы нам приписана[1]. Разумеется, и меня не пощадили; и даже думаю, что мне оказали честь, отведя мне первое место. Я должен все это высказать вашему высочеству, так как сердечно этим огорчен и дорожу вашим уважением. Клянусь перед богом и перед вами, что все, чему поверили, или хотели заставить поверить о нас, — была ложь, самая отвратительная ложь. Единственное чувство, которое волновало меня и других друзей Пушкина в это тяжелое время, была скорбь о нашей утрате и бла-

---

[1] В черновом наброске рассуждения о ложности полицейских донесений и о нелепости полицейских мер предупреждения изложены в несколько иных выражениях и много резче, чем в окончательном тексте. «Возникли ребяческие и неблагородные обвинения, имевшие целью исказить и оговорить изъявление столь возвышенных чувствований. В зложелательстве, в арсенале посторонних страстей захотели добыть орудие, чтобы очернить эти чувствования. Прикинулись, будто верят слуху о том, что некоторые друзья Пушкина намеревались воспользоваться его кончиною для произведения, не знаю, какого-то заговорщического действия и по своей наклонности к смуте хотели устроить что-то вроде похорон генерала Ламарка! Что за ослепление! Что за лживое применение к нашей стране событий, нравов и обстоятельств другой страны! Мало было оклеветать несколько человек; клевета не смутилась и перед мыслью, что иностранцы, живущие в Петербурге, а через них и вся Европа, получат ложное понятие о нашем общественном состоянии. Возможность уличных беспорядков и враждебных власти заявлений изобретена на досуге, между тем как все было спокойно, любовь к государю ощущалась всеми сердцами, и все благословляли его имя. Что бы ни говорили, но если полицейские донесения противоречат моим словам, то я утверждаю, будучи в том нравственно убежден, что эти показания были неверны, что они, во всяком случае, могли относиться лишь к каким-нибудь отдельным словам, сказанным на ветер, не знаю где и кем, и не имевшим никакого значения. Во всяком случае было бы неблагородно соединять имена друзей Пушкина с подобною гнусностью, каковая могла быть приписана разве самой подлой черни, и в этом отношении нанесла им напрасное оскорбление теми мерами, которые были приняты во время перенесения тела из дома в церковь. Они не оправдываются и необходимостью предосторожности в видах поддержания угрожаемого якобы общественного порядка. Не говорю о солдатских пикетах, расставленных по улице; но против кого была эта военная сила, наполнившая собою дом покойника в те минуты, когда человек двенадцать друзей его и ближайших знакомых собрались туда, чтобы воздать ему последний долг? Против кого эти переодетые, но всеми узнаваемые шпионы? Они были там, чтобы не упускать нас из виду, подслушивать наши сетования, наши слова, быть свидетелями наших слез, нашего молчания. Скажут, что это также меры общественной безопасности; согласен, но меры эти оскорбительны для тех, против кого они принимаются, а коль скоро оскорбление не заслужено, не вдвойне ли оно тяжело? Все становится известным. Подозрения, на нас возведенные, непременно разгласились, а наше оправдание не может быть гласным, и в глазах легковерного и зложелательного общества мы останемся под бременем тяжкого обвинения».

годарность государю за все, что было великодушного, истинно-христианского, непосредственного в его поступке, во всем, что сделал он для умирающего и мертвого Пушкина. Боже великий! Как могла какая-нибудь супротивная мысль закрасться туда, где было одно умиление, одна благоговейная преданность, где характер государя явился перед нами во всей своей чистоте, во всем, что только есть в нем благородного и возвышенного, когда он бывает сам собою, когда действует без посредников? Кроме того, какое невежество, какие узкие и ограниченные взгляды проглядывают в подобных суждениях о Пушкине! Какой он был политический деятель! Он прежде всего был поэт, и только поэт. Увлекаемый своей пылкой поэтической натурой, он, без сомнения, мог обмолвиться эпиграммой, запрещенным стихом; на это нельзя смотреть, как на непростительный грех; человек ведь меняется со временем, его мнения, его принципы, его симпатии видоизменяются. Затем, что значат в России названия — политический деятель, либерал, сторонник оппозиции? Все это пустые звуки, слова без всякого значения, взятые недоброжелателями и полицией из иностранных словарей, понятия, которые у нас совершенно не применимы: где у нас то поприще, на котором можно было бы играть эти заимствованные роли, где те органы, которые были бы открыты для выражения подобных убеждений? Либералы, сторонники оппозиции в России должны быть по крайней мере безумцами, чтобы добровольно посвящать себя в трапписты, обречь себя на вечное молчание и похоронить себя заживо. Шутки, некоторая независимость характера и мнений — еще не либерализм и не систематическая оппозиция. Это просто особенность характера. Желать, чтобы все характеры были отлиты в одну форму, значит желать невозможного, значит хотеть переделать творение божие. Власти существуют для того, чтобы пресекать злоупотребление подобными тенденциями, — это их обязанность, но бить тревогу и бросать грязью в некоторые, хотя бы и слишком свободные, болтливые излияния, в какую-нибудь вспышку, которая и сама улетучится, как дым, — есть, в свою очередь, злоупотребление властью. Да Пушкин никоим образом и не был ни либералом, ни сторонником оппозиции, в том смысле, какой обыкновенно придается этим словам. Он был глубоко, искренно предан государю, он любил его всем сердцем, осмелюсь сказать, он чувствовал симпатию, настоящее расположение к нему. В своей молодости Пушкин нападал на правительство, как всякий молодой человек; такою была и эпоха, и молодежь, современные ему. Но он был не либерал, а аристократ и по вкусу, и по убеждениям. Он открыто бранил падение прежнего режима во Франции, не любил июльского правительства и сочувствовал интересам Генриха V. Что касается восстания Польши, то его стихи могут дать истинную оценку его либерализма, эти стихи не вызваны обстоятельствами, это исповедание его политических убеждений. 14 декабря застало его чистым от всякого участия в разрушительных проектах, занимавших головы его друзей и товарищей его юности и лицейских. Он был противником свободы печати не только у нас, но и в конституционных государствах. Его талант, его ум созрели с годами, его последние и, следовательно, лучшие произведения: «Борис Годунов», «Полтава», «История Пугачевского бунта» — монархические. Наши, так называемые монархические, благонамеренные журналы, пользующиеся особым покровительством полиции, часто старались подорвать народную к нему любовь (и успевали в этом), объявляя, что талант его померк как раз в последних его произведениях, которые они вменяли ему чуть не в

преступление. Суть заключалась в том, что истинные его убеждения не сходились с доносами о нем полиции. Но разве те, кто их составлял, знали Пушкина лучше, чем его друзья? Разве наши должностные лица, обязанные наблюдать за общественным настроением умов, стараются вникнуть в истинные мнения (узнав их от них же самих) тех людей, чье доброе имя и благосостояние зависят от их суждения и предубежденности? Разве генерал Бенкендорф удостоил меня, хотя бы в продолжение четверти часа, разговора, чтобы самому лично узнать меня? А между тем целых десять лет мое имя записано на черной доске; своим же мнением обо мне он обязан нескольким словам, отрывкам, которые ему были переданы, клеветам, донесенным ему каким-либо агентом за определенную месячную плату.

Извините, ваше высочество, искренность и резкость моих жалоб, с которыми я обращаюсь к вам не с какою-либо скрытою целью, а потому, что я знаю вашу чуткость к правде, а я, повторяю, дорожу вашим благоволением и вашим уважением. Я хочу, чтобы вы меня знали таким, каков я есть на самом деле, а не таким, каким меня желают изобразить. Я должен еще просить ваше высочество извинить меня за чрезмерную длину моего письма, у меня не было времени его сократить. Я только вчера узнал об отъезде генерала Философова и принялся вчера переписывать свои воспоминания. Я даже позволил себе обратиться за помощью к моей жене, и ваше императорское высочество соблаговолите оказать мне вдвойне снисхождение и за изложение, и за переписку набело.

Повергаю к стопам вашего императорского высочества свою глубочайшую почтительность и самую искреннюю преданность, с каковыми имею честь быть

Вашего императорского высочества смиреннейший и покорнейший слуга

кн. Вяземский

С.-Петербург 14 февраля 1836 г.[1]

3. ИЗ ДНЕВНИКА А. И. ТУРГЕНЕВА

А. И. Тургенев оставил немало ценных сведений об обстоятельствах смерти и погребения Пушкина в своих письмах, напечатанных в статье А. А. Фомина «Новые материалы для биографии Пушкина» («Пушкин и современники», вып. VI, стр. 46—97). Но Тургенев вел еще дневник и в своих письмах широко пользовался записями своего дневника. В свое время мы обращались к дневнику Тургенева, хранящемуся в рукописном отделении Библиотеки Академии наук, и извлекли все записи, имеющие отношение к смерти и похоронам Пушкина. Они напечатаны в предшествующих изданиях нашей книги. И в то время мне была ясна ценность записей Тургенева, относящихся ко времени преддуэльному, но необычайная трудность чтения тургеневского почерка помешала использованию дневника в широком объеме. Подготавливая настоящее издание книги, я вновь обратился к изучению дневника, сверил изданные мной извлечения с подлинником и на этот раз извлек все, что могло бы иметь какое-либо касательство к Пушкину и к его обстоятельствам за последние месяцы жизни. А. И. Тургенев вернулся из-за границы после двухлетнего отсутствия прямо в Москву 2 июля 1836 года, из Москвы

---

[1] Так в подлиннике: le 14 Février 1836. Явная описка!

направился в свои симбирские именья, отсюда через Москву в Петербург, куда и прибыл 25 ноября. С этого момента Тургенев становится наблюдателем жизни Пушкина, и притом близким. Впоследствии после смерти поэта Тургенев писал об этой близости И. С. Аржевитинову и брату Николаю Ивановичу — 30 и 31 января 1837 года. Первому: «Последнее время мы часто виделись с ним и очень сблизились, он как-то более полюбил меня, а я находил в нем сокровища таланта, наблюдений и начитанности о России, особенно о Петре и Екатерине, редкие, единственные. Сколько пропало в нем для России, для потомства, знают немногие»[1]. Второму: «Я виделся с Пушкиным почти ежедневно: он был сосед мой, и жалею, что не записывал всего, что от него слыхал»[2]. Тургенев был для Пушкина приятным другом: все ближайшие петербургские друзья уж слишком внимательно следили за его семейной историей, за развитием конфликта его с Геккеренами в период с момента получения анонимных писем до ликвидации первого вызова — 21 ноября 1836 года. Тургенев был свежим человеком, близким, но не вторгавшимся в интимную жизнь Пушкина с вопросами и советами. Для Пушкина Тургенев был и желанным собеседником: он приехал с Запада со всеми новостями, политическими и литературными, а кроме того, он занимался на Западе извлечением из государственных архивов документов и актов, касающихся русской истории, и в гораздо большей мере, чем кто-либо из петербургских приятелей, мог соответствовать историческим интересам Пушкина. А надо сказать, чем острее становился надрыв в семейных и общественных отношениях, тем глубже уходил Пушкин в эти дни в исторические занятия. Здесь он искал забвения. Так, он занимался выписками о камчатских делах из известной книги Крашенинникова в страстные январские дни, когда Дантес после женитьбы начал вновь пролагать дорогу к сердцу Натальи Николаевны. Наконец, Тургенев был нужен Пушкину как сотрудник, как полезнейший вкладчик в пушкинский «Современник»: из писем, писанных им из заграницы к Вяземскому, слагались обширные и интересные статьи для журнала.

В дневнике А. И. Тургенева за период с 25 ноября 1836 года по 26 января 1837, т. е. за два месяца, нашлось 28 упоминаний о Пушкине, его семье и его обстоятельствах — почти по одному на два дня. Но, кроме этих, непосредственно относящихся к Пушкину записей, дневник ценен для последней главы биографии Пушкина картиной жизни большого света. В том кругу, общения с которым записывал в дневнике Тургенев, вращался и Пушкин: можно даже сказать, что все знакомства Тургенева, помимо его чисто деловых и родственных связей, были и знакомствами Пушкина. Так как дневник Тургенева в силу и своего объема и крайне затруднительной читаемости и разбираемости навряд ли будет издан в сколько-нибудь близком будущем, то мне представлялось необходимым ввести в научный обиход записи Тургенева, которые в какой-либо мере могли оказаться полезными для широких биографических изучений. Поэтому, воспроизводя их, я опустил все лишнее с этой точки зрения (заметки о деловых сношениях и разговорах, занесенные в дневник черновики писем, записи о получении и отправлении писем). Смею думать, что для целей пушкиноведения дневник за указанный период исчерпан полностью. Кое-где в примечаниях я даю параллельные

[1] Русский архив, 1903, I, 143.
[2] Пушкин и его современники. Вып. VI, стр. 59.

места из неизданных писем А. И. Тургенева к брату. Затем я стремился сохранить полноту текста, поскольку она содействует возникновению духовного образа автора дневника. К сожалению, не все удалось разобрать. Эти места отмечены в прямых скобках.

Для моих целей неважно построчное комментирование упоминаемых имен и фактов. Предпошлю общую характеристику Тургенева в это время.

Крутой перелом жизни А. И. Тургенева случился после заочного осуждения по делу декабристов его брата Николая Ивановича. По требованию русского правительства Н. И. не явился на суд из-за границы и правильно сделал: представ перед судом, он поплатился бы долгими годами каторжных работ. С этих пор Александр Иванович Тургенев становится хранителем и опекуном своего брата; он ставит крест на своей служебной карьере, попадает в двусмысленное положение, и только благодаря представительству своего начальника, влиятельнейшего сановника князя Голицына, и друга собинного Жуковского Николай Павлович и Бенкендорф, скрепя сердце, соглашаются смотреть сквозь пальцы на родственные связи и заботы о брате, государственном преступнике, камергера высочайшего двора. Тургенев, дабы формально оправдать свое пребывание за границей, выбирает занятие — подбор материалов для отечественной истории из заграничных архивов. Проходит год, два, и он должен появляться в России с своими работами, и каждое появление сопровождается тяжелыми сомнениями, как он будет принят и получит ли разрешение на новое возвращение за границу. Кроме того, всегдашняя цель поездки в Россию — выкачивание средств с крепостных, залог, продажа имений и перевод денег за границу. Так было и в интересующий нас период 1836—1837 годов. Тургенев приехал с бумагами, ждал представления царю и хлопотал о покупке Симбирского имения в уделы. До того момента, пока царь не сказал своего слова, Тургенев чувствовал себя весьма неловко и неуютно под взорами первых сановников, которые старались просто не замечать его. Обошлось благополучно, царь открыто выразил свою милость, и все переменилось, как по дуновению ветра. Главную помощь в устройстве дел оказывал ему князь А. Н. Голицын (в дневнике просто князь). Его он навестил в первый же день. Затем повидался со всеми своими друзьями, от них же первые — Жуковский, семьи Вяземских, Карамзиных, Виельгорских (Велгурских), Мещерских (дочь Карамзина Екатерина Николаевна вышла замуж за П. И. Мещерского), а затем пошло возобновление и восстановление знакомств в большом свете. Тургенев был любитель прелестных светских женщин, как и друг его, князь Вяземский. В декабре, январе его интересовала первейшая красавица графиня Мусина-Пушкина, Эмилия Карловна, сестра «Авроры», тоже первоклассной красавицы, и он не мог никак решить, кто же красивее, она или поэтша, Наталья Николаевна Пушкина. За красивыми дамами Тургенев ухаживал или, по его выражению, с ними любезничал, а они кокетствовали. Он любил делать им заграничные подарочки; любопытные вещички, недорогие (был скуповат!). Злободневными темами для разговоров в салонах в это время были перемены во французском правительстве (уход Гизо и появление Тьера или Тьерса, как писал Тургенев) и только что разыгравшаяся в Москве история с Чаадаевым, которого III отделение объявило не в себе и приставило к нему врача, произведя предварительно обыск и забрав бумаги.

О Пушкине и его делах семейных Тургенев был осведомлен до

приезда в Петербург. «Еще в Москве,—писал он брату после смерти Пушкина,—слышал я, что Пушкин и его приятели получили анонимное письмо»[1]. Первое впечатление от встречи с Пушкиным—«озабочен семейным делом». Упоминания о Пушкине и его семье находятся под датами: 26, 27, 30 ноября, 1, 2, 6, 10, 11, 15, 19, 21, 22, 24, 25, 28 и 30 декабря, 6, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24 и 26 января. Общее впечатление этих записей: разговор о семейном деле Пушкина в кругу его приятелей шел беспрерывно, и Тургенев (так же как и Вяземский и другие) знал об истории Пушкина гораздо больше того, что он рассказал на бумаге, в письмах и дневнике. По-видимому, приятели брали сторону жены, так, под 19 декабря Тургенев записал разговор у Карамзиной-Мещерской о Пушкине: «Все нападают на него за жену, я заступался». Софья Карамзина сочла заступничество Тургенева любезностью и комплиментировала его. Тургеневу тем труднее было заступаться за Пушкина, потому что он, питая слабость к женской красоте, высоко ценил Наталью Николаевну. Несколько раз Тургенев с краткостью, имеющей свое значение, отмечает появление на вечерах: «Пушкина и ее сестры». Рассказывал Тургеневу о столкновении Пушкина с Дантесом и д'Аршиак, который даже прочел ему письмо Пушкина от 17 ноября.

Из записей, не имеющих отношения к семейной истории, необходимо отметить чрезвычайное сообщение о занятиях Пушкина «Словом о полку Игореве» под 15 декабря и отметку со слов Пушкина об отношении к заговору декабристов Мих. Орлова, Киселева и Ермолова, под 15 декабря и 9 января—они все знали и ожидали—«без нас дело не обойдется»—Ермолов, желая спасти себя, спас Грибоедова; узнав, «предварил его за два часа». Это утверждение при его верности освещает новым светом позицию декабристов[2].

25 (ноября) в 6 час. утра в конторе дилижансов, на Невск[ую] перспек[тиву]—к Татариновым, от них к Жуковскому. Отзыв Перовского о Ч[аадаеве]. К гр. Велгурскому. К Вяземскому. К кн. Голицыну о Бадере, Шеллинге, короле греч. и баварск. Обедал у Татариновых, отыскал квартиру у Демута, № 1, за 30 руб. в неделю... После обеда к Вяземским, вечер у Карамзиной.

26 ноября... Был у Вяземских, у Мейенд[орфа], два раза встретил Государя, у Путят., у Щерб. обедал у Татар., вечер у Бравуры, у Вяземских, у Козловского, и опять у Вяземских. Объяснение с Эмилией Пушкиной. Жуковский, Пушкин.

27 ноября... У Хитровой. Фикельмон Al. Tolstoy о Чад[аеве]. Обед у Вяземских—с Жуковск. и Пушк. в театре. Семейство Сусан.; открытие театра, публика. Повторение одного и того же. Был в ложе у Экерна[3]. Вечер у Карамзиных, Жуковский!

---

[1] В счет не идут упоминания о деле Пушкина после его похорон. К воспроизведенным в первом издании отрывкам мы даем значительные дополнения.

[2] О том, что Ермолов, спасая Грибоедова, предупредил его об аресте, мы знали, но о том, что он делал это, спасая себя,—узнаем впервые. См. статью «Грибоедов и декабристы» в книге П. Е. Щеголева «Исторические этюды». Спб. 1913. стр. 284.

[3] О первом представлении «Жизни за царя» в письме (неизд.) к брату Тургенев рассказывает об этом подробнее; тут же первые впечатления встречи с Жуковским, Вяземским, Пушкиным: "J'ai été hier à l'ouverture du théâtre: on a donné un nouvel opéra russe Семейство Сусаниных de Глинка, le compositeur, et c'était fort bien par touts en rapports: luxe théâtral, costumes, public, musique et ballets! La Cour y assistait presque au complet. Les loges garnis de belles dames

29 ноября. Воскресенье... был у кн. Вяз. с Жуков. Познакомился с Нерво, зятем Баранта... К Бравуре — кокетствует с ... к. Г. К. Козлову: — жаль дочери! Вечер у Карамзиных с к. Долгору[кой] (Малиновской).

30 ноября. Был у графа Ник. Гурьева, у фр. и австр. послов, у Аршияка, у Хитровой, затем к Вяз. Обедал в трактире; вечер у Сербиновича... потом у кн. Вяз. с фр. посланн. Она звала по вечерам, когда нет франц. театра. Гр. Эмилия Пушкина. Как бледнеет пред ней другая Пушкина... Велгурский попрекнул отставкой своей при Александре, а я не виноват в ней.

1 декабря. Был у Бенкендорфа: о Симбирске и о намерениях Государя. Неожиданно ласковый прием... Во фр. театре, с Пушк. Гр. Строг. (Кочубей) звала к себе. Пашков звал обедать в субботу. Вечер у Карамз. (день рожд. Ник. Мих.) с Опочиниными. Разговор с младшею: прежде боялась меня по словам ее. Пушкины. Вранье Вяз. — досадно.

2 декабря ... к графу Нессельроду, велел явиться в другой день. У Пушкиной: с ним о древней России: *«быть без мест»*. К гр. Пушкиной; звала и на вечер и поручила Эмилию; — был и у Эмилии; мила; дала пакет Авроры; приняла кн. Шаховская. Оттуда в Невский монастырь — прах отца и брата!.. Обедал у гр. Велгурского, с Жуков. После обеда у Кроткова, у кн. Вяз. на минуту у Карамз. там Дашкова, Ганчерова и жених ее. На вечере у гр. Пушкиной с Донаур. и Эмилией; мила, но грустно и на нее смотреть...

3 декабря... был у Д. П. Татищева, у гр. Закревского. О Булгакове и фрелинстве дочери... Обедал у Татар... К Вязем. на минуту, к гр. Пушк., к гр. Строган. (кн. Кочубей), болтал о Чадаеве, о Париже, тут и сек. Кочубей, оттуда к Путят. — Вдовушка не бывшая супругой; к Карамз. тут Мальцев, ответ к Вяз.

4 декабря. Варв. день. Обедал у Путят. любезничал с вдовою невестой. Познакомился с Багговутшею. С Ел. Петр. о Дубенск. После обеда к Наст. Павл. Щербининой... оттуда к Кротковым и Карамз.

5 декабря... у меня сидел Барант: о короле и о Франции. ...Был у кн. Вяз. Оттуда к кн. Голиц. (Нат. Петр.) разговаривал со столетием[1] и с внучкой ее. Опять к кн. Вяз. где Вел. и Жук. ...Получил приглашение от Фикельмона. Был у Хитровой: разговор о Филарете. Живое Слово [кусок рукописи истлел].

6 декабря. Брал возок. В 11-м часу был уже во дворце. Обошел залы, смотрел на хоры. Великолепие военное и придворное. Костюмы дам двора и города. Объяснение с Новосильцевым. — Молчание на приветствие Хатова. — Приглашение Анненковой запросто обедать. Пушкина первая по красоте и туалету[2]... Лобызание Уварова. Гр. Орлов о жене. Разговор с Крузенштерном, Оленин, Свиньин и толпа des infiniment petits. Представление Императрице: спросила, был ли я в Берлине!

---

richement vêtues. J'ai trouvé Jouk. bien portant; il est toujours le même pour tout et pour tous et parlons pour moi. Wias. est moins triste; Pouchkine soucieux à cause d'une affaire de famille“.

[1] Столетняя почти старуха княгиня Нат. Петр. Голицына родилась в 1741 году.

[2] А. Я. Булгакову Тургенев писал на другой день: «Я был во дворце с 10 час. до 3½ и был почти поражен великолепием двора, дворца и костюмов военных и дамских... Пение в церкви восхитительное! Я не знал, слушать ли или смотреть на Пушкину и ей подобных — ? подобных! но много ли их? Жена умного поэта и убранством затмевала всех». (Московский пушкинист, I. Ред. М. А. Цявловского. М., 1927, стр. 33).

Обедня, пение, восхищение Лондондери, бриллиантами и костюмом жены его. Представлялся вел. кн. Марье Николаевне... «Из Парижа через Симбирск». Дипломатический корпус; долгий разговор с австрийским и с французским послом. — На кулебяке у Татар. К Карамзиным. Жуковский журил, за Строган.: но позвольте не обнимать убийц братьев моих, хотя бы они назывались и вашими друзьями и приятелями! О записке Карамзина с Екатериной Андреевной несмотря на похвалу, она рассердилась — и мы наговорили друг другу всякие колкости, в присутствии к. Труб., кот. брал явно мою сторону. Заступилась против меня за Жуковского, а я называл его Ангелом, расстались — может быть надолго! Оттуда к кн. Щерб. там любезничал — и к Фикельмон, где много говорил с нею, с мужем о гомеопатии и Чадаеве... С Барантом о Париже. Возобновил знакомство с прусск. посл., с принцессой Гогенлое [Голубцовой].

7 декабря. Получил письмо от Ал. И. Нефедьевой и от Булгакова и отвечал им о вчерашнем дне, о приеме Государя, о Чадаеве и Сотр. и просил передать и Сверб. Получил и гравюры. Был у Языковой: что-то родное влечет меня к ней и извиняет ее. У [пробел в подл.] Мила сходством с сестрою, Киреевой. У кн. Вяз.: опять объяснения. — У меня был к. Трубец. и звал обедать. У Татар. два раза. Обедал у Щербин. оттуда к Баранту: там краснобай к. Мещерск.,[1] Щербат. — У Путятиных и к Бравуре к полночи: тут опять кн. Мещ. о Чадаев., о народности. Не прежнее поет, но все прежний.

8 декабря... Узнал, что кн. А. Н. [Голицына] — день рождения. В 3 часа был у него, отдал гравюры, и слушал его рассказы более часу. Об Августине, о его краснобайстве и острых шутках; «где мои пламенные херувимы?» спросил он однажды, выходя из монастыря и не нашед двух *рыжих* лакеев своих. Тут и Галахов: о Платоне, о Евгении Киевском, о смерти Амвросия в Новгороде, куда он интригами удалил Гавриила. Князь вспомнил, что Амвросий умер в тот день, как я у него обедал. Государь прогневался на него за горностай. К Вяз. — не застал. Обедал в трактире. Потом у Татар. у Языковой, у Опочин. не застал. Кончил вечер у Козлова с гр. Лаваль: ни с кем откровенно говорить нельзя: кто за мнение, кто за людей сердится.

9 декабря... Был у Круга, отдал ему реймские снимки... хвалил Устрялова; от него к Фусу; также об Устрялове и о мундир. акад. Был у Брюллова: видел портрет Авроры.

10 декабря. Встретил Абр. Норова, обедал в трактире, гулял с Бенедиктовым... Был в театре, в ложе Пушк. (у коих был накануне) и веч. у Вяземских с Бенедиктовым. Был у гр. Велгурского, взял книжку Ганса, где два раза и обо мне.

11 декабря... Был у Ав. Читал письмо Фридриха прусского оттуда к Аршияку, читал в Courier статью о Ламене; обедал у кн. Ник. Трубецкого с Жук., Вяз. Пушк. к. Кочуб. Труб. Гагар. и с Ленским, болтал умно, и возбуждал других к остротам...

12 декабря. Послал новорожденной Ал. Вас. Путят. бумагу и перьев, и сестре ее. Нанял возок и отправился к вел. княгине, в Михайловский дворец, но встретил ее на канале; к часу собрались и другие представляющиеся и благодарящие. Встреча с Перовским — все в белом, а я в черном. Катер. Волод. любезничает с гр. Воронц. Со мной сухо. Вел. княгиня расспрашивала меня о рукописях и кончила изъявлением желания

---

[1] Краснобай — князь Элим Петрович Мещерский.

видеть их. Я не успел отвечать ей на это. Оттуда к Абраму Норову: он о брате, там встретил и Мейендорфа: с ним о брате. Оттуда к Азченковой. Обед и чтение стихов Чернышева: царь русский и царь немецкий. — Императрице не могло быть это приятно. Получил записку от Софьи Кар[амзиной] пригласительную и примирительную, заехал к Кротковым, любезничал с дамами... Оттуда прямо к Карамз., там Эмилия, Мещерские братья, Веневит. Вяземский. — Встреча с Мещ....

13 декабря. Воскресенье... К кн. Голицыну... После обедни с князем о вел. княгине и желании ее видеть бумаги; надеется, что меня опять отпустят. Был у кн. Долгор. (Салтык.) О Мейендорфше — вредит сестре ее гр. Шуваловой — мужа зовет вел. кн. в Лондон. К Тучкову. О Свидетельствах; к кн. Вяземскому о делах моих. Обедал у Карамз. После к Булгак.: милые дочери. К кн. Щербат.: зов, вынужденный братом. К к. Щерб. К гр. Пушк. там Эмилия — мила как прежде. Прислал ей книги: Aimable Tastu; вечного Guizot, m-me Remusat. Говорила о немце — учителе для сестры. Демидов не любит меня за подарки жене и за ее дружбу ко мне. «Вы тришуете» (Vous trichez).

14 декабря... Послал гр. Пушкиной туфли, надписал «que ne suis-je la fougère», а другой пошлю, надписал на них: suivez-moi — т. е. к ногам ctr. Долго искал Норова и не нашел; ожидал Аршияка — и не пришел. Обедал у Щербин. — день рождения Елиз. Петр... Был у всех Путятиных; вечер у княгини Шаховской, с графинями Пушк. веселил их и проиграл в лото до 1 часу.

15 декабря... Был у Карамз. встретил дочь Опочин. которая упрекала и звала на понедельник. Осмотрел магазин Гамбса: какая роскошь в мебелях! Сидел у Аршияка: с Нерво о Броглио, Гизо и Тьерсе, с Арш. о Bourbier и m-me Ancelot. Обедал у Татар. вечер у Пушкиных до полуночи. Дал песнь о полку Игореве для брата с надписью. О стихах его, Р. и Б. Портрет его в подражании Державину: «весь я не умру!» о М. Орл. о Кисел. Ермол. и к. Менш. Знали и ожидали, «без нас не обойдутся». Читал письмо к Чадаеву не посланное[1].

16 декабря. Написал письма к m-me Ancelot (особо), к m-me Recamier и к Баланшу и карту еще к m-me Ancelot; последнее вложил в письмо к Андрею Карамз., а послал его в пакете Турнейзена, в коем и письмо к

---

[1] В неизданном письме к брату (1836 дек. 13(25) Тургенев рассказывает подробнее. Сперва следующая заметка: *«О песне о Полку Игорев.* переговорю с Пушкин., который ею давно занимается и издает с примечаниями. Между тем посылаю две статьи о ней, напечатанные недавно в Журнале нар. просв. Передай их Эйхгофу и скажи ему, что постараюсь еще кое-что о ней доставить и самую *песнь.* Справлюсь о лучшем немец. переводе». А затем, придя от Пушкина, Тургенев дописывает: «Полночь. Я зашел к Пушкину справиться о песне о Полку Игореве, коей он приготовляет критическое издание. Он посылает тебе прилагаемое у сего издание оной на древнем русском (в оригинале) латинскими буквами и переводы Богемский и польский; и в конце написал и свое мнение о сих переводах. У него случилось два экз. этой книжки. Он хочет сделать критическое издание сей песни, в роде Шлецерова Нестора, и показать ошибки в толках Шишкова и других переводчиков и толкователей; но для этого ему нужно дождаться смерти Шишкова, чтобы преждевременно не уморить его критикою, а других смехом. Три или четыре места в оригинале останутся неясными, но многое пояснится, особливо начало. Он прочел несколько замечаний своих, весьма основательных и остроумных: все основано на знании наречий слав. и языка русского. Жена его так хорошо уложила три fichus с туфлями для Клары, что, вероятно, пакет примут в посольстве. Я провел у них весь вечер в умном и в любопытном разговоре и не поехал на бал к Щерб.».

брату с песнью о полку Игор. (в особом пакете, а в другом туфли и три fichus для Клары). Ввечеру все отдал Аршияку в двух пакетах на Турнейзена и письмецо Ансело. Пойдет завтра. Заходил к Карамз. Мещерск. и там приписал в письме Софьи Н. к Андр. Карамз. Оттуда к Козлову, к к. Вяз. Был в двух департаментах у Дружин. и Вяз. Обедал в трактире. Вечер у А. Оттуда на перспективе встретил двух графинь Пушк-х, Эмилию и Марью; с ними по магазинам; поднес им коробочку с конфектами; любовался великолепием магазинов и вещей. К Аршияку: с ним о партии русской и немецкой в России: я доказывал, что партий сих нет, что протестанты вступают в православие, что нет ненависти к полякам и пр. К Баранту — с Опочин. Звал на вечер и сам и через Жук. — Не пойду. О m-me Bourbier и фр. театре. Играют похабные пьесы. Оттуда к Карамз. Козлову к Вяз. где познакомился с Люцероде; с ним о Дрездене... и пр. с Перовским о хивинцах... остановили товары и купцов за наших пленных, коих до 3 тыс. Канкрин и Нессельроде против сей меры: боятся ce qu'en dira-t-on en Angleterre, а англичане между тем подвигаются. Эмилия и ее соперница в красоте и в имени. Жуковский совестится, что у меня не был! Возвратился с Веневитиновым — гулял поутру с гр. Комар. Встретил Келлера, кот. звал обедать в понедельник.

17 декабря... Заходил к Карамз-ой, она приняла меня в постеле; к Кологрив. объяснение. Обедал в трактире — оттуда к Путят. коих застал за обедом. Там любезничал с Александриной Апрелевой и пробыл до 7 час. вечера; домой — и на чай к к. Мещерскому, где просидел за полночь в разговоре о многом. С гр. Сологуб-м и пр. Элиму Мещ. написана [нрзб.] его приятелями за брошюру о России: «ври камер-юнкер, камер-гер будешь».

18 декабря.... Я был у гр. Строгановой. Как она мужественно переносит бедствия. Не многое изменилось в доме, напоминающем мне молодость. Оттуда к Лареде и этот café ту же эпоху напоминает, и к Кругу — опять та же эпоха в памяти возобновилась; но в разных отношениях к моей жизни.......... (У Круга) о Устрялове; Карамзин слаб в 1-м томе — о сочин. Баранта для избрания в академики....

19 декабря.... Был у Велгурских, просил о билете — и отдал 10 руб., за бал дворянский, с ней о чтении русских книг для детей, об Англии, оттуда к Вязем. о Горск. записку для Мордв. Стихи ссыльного тронули меня до слез. К Аршиаку: просил записку о произведениях Баранта о неудаче франц. в Африке. К Щербин. отдал записку Мордв-у о Горскине. Обед у гр. Толстого с Пашковой (Барановой) познакомился и любезничал, с Соловой о Плещееве и о ее бабке; кн. Щерб. Храпов. Гр. Матв. Велгурск. Кокошк. Буксгевден и пр. К кн. Долгорук. (Салтык.) и сестре ее, с ним о Семенове... К Козлову: стихи его и похвала дочери. Вечер у кн. Мещерской (Карамз.). О Пушкине; все нападают на него за жену, я заступался. Комплименты С. Н. моей любезности. О Париже и пр. О Велгурск. — при нем. —

20 декабря. Воскресенье. В 10-м часу кн. Херхеулидзев заехал за мною и мы отправились во дворец, осмотрел убранные к балу залы; в 10 час. съехались другие. Кн. Гагар. сказал мне о вдовушке с брюшком от Тютчева, Мейендорф избегал меня. Пезаровиус и пр. Гос[ударю] после обедни передал, сказал слова два: «мне, из Москвы? но был и, в Симбирске?» Мейендорфу: je suis enchanté de vous voir.

Vous me comprenez! У великого князя в комнатах картины императрицы Екат. для великого князя Александра заказанные; резьба Петровск. подаренная купцами: Спросил и о Жуковском... К Кологривовой — там с Васильчиковой о гр. Воронц. и Щербининых. К Вяз. и оттуда к Татар. к Сверб. о Филарете и Павск. окончание защиты его: «видно одно желание чернить *не черного* брата своего». Об Иннокентии и Жуков-м. К Иннокентию в Академию. Там и ректор: он напечатал в Христ. чтении две проповеди из Августина из числа девяти присланных мною из Италии к князю. О Штраусе, о Филарете; ректор помешал разговору, застал Красовского там, оттуда к Щербининой. Вечер у франц. посла. Там с Волковой, с Уваровым: о рукописях. 10 раз о Государе. 6-го поднес ему рукописи. Киселев не смотрит. На бал благородного собрания. Гр. Эмилия. Кроткова. Старые знакомые. Княг. Трубецкая. Ужин, в большой зале не для всех. Лубяновский.

21 декабря... Получил от Аршияка записку о Баранте и послал ее вместе с книгами Париса к Кругу. Отдал пакет Друж-у для отправления с ним о Новос. гулял с Люцероде: о новом тарифе, о бумаге брата короля его, о Либермане: слишком хорош для нас и оттого вреден в делах. Не поладил с Канкриным. Саксония воспользовалась. Обедал у Келлера, с братом его... Сын Келлера переводит моего Гордона по Высоч. повелению, а из Архива вытребовал и оригинал. Мой список с Архивского, но помечен рукою Мюллера. Вчера узнал об *Августине*, сегодня о Гордоне. Пошел в дело мой сборник. Пушкину обещал о Шотландии. После обеда у князя Вяз. с Пушкиным и пр. С кн. Труб. к Карамз. с С. Н. о ней с к. Мещерск. о Броглио и пр. с Велгур-м. Дошел с ним до дому в разговоре о Киселеве и об эмансипации крестьян.

22 декабря. Послал письма к Сверб., и в нем к сестрице и писал к Булгак. о благор. собрании: в Москве характер помещичий, здесь чиновничий. Кн-я Барятинская прислала билет на бал сегодня. Обедал у гр. Велгурского с Жуковским, разговор о пытке в Моск. полиции и пр. Вечер на бале у кн. Барятинской, — мила и ласкова. Приезд Государя и Государыни. С наследником и прусским принцем Карлом. Послал протопить или нагреть залу вальсами. Государь даже не мигнул мне, хотя стоял долго подле меня и разговаривал с к. Юсупов. [нрзб] Скорятин. — Лицо и движение кн. Труб-й иное у Ан. Толстой. Киселев, Мейенд. не узнают меня; кн-я Юсупова начала дружный разговор, и мы познакомились. Мила своею откровенностию о ее положении на бале. Я и Жук. в толпе: кому больнее? Мое положение. Опочин. обещала приехать. Тон глупее дела! Пушкины. Утешенный [?] Вяз.

23 декабря... Обедал у Кроткова... К Путят-ой оттуда домой и к Карамз. Опять Жук. и от них к к. Щербат. Прием их и зов к. Щерб. на завтра. Оттуда к к. Шаховск. Там Эмилия, мила, дружески со мною. Играл в ланц-кнехт. Вяземской был в школе трех реформатских церквей на публичн. испытании. И учителями, и учениками очень доволен. Мюральт Энгельгардт и пр.

24 декабря... Обедал в Демуте. У гр. Пушкиной с Жук. Велгур. Пушкин. гр. Растопч. Ланская. К. Волх. с Шернвалем, гр. Ферзен. Я сидел подле. Пушкин и долго и много разговаривал. Вяземск. порадовал действием, произведенным моей *Хроникою.* Пушк. о Мейендорфе: притворяется сердитым на меня за то что я хотел спасти

его. Пушк. зазвал к себе; оттуда к к. Щербат. на Christbaum: заговорил их о В. Скоте. о Козлове, к Карамз. К. А. хуже. К гр. Марье Ал. Пушкиной — с кн. Гагар. и Вяз. о портрете: «мы недовольны другим». — И то правда! Читал роман Пушкина.

25 декабря, Р. X... Был у Жук.. Как нам неловко *вместе*! Но под конец стало легче. От него прошел во дворец, встретил Государя, устанавливающего палки для церемонии. Обошел коридором в залу: там все сияло великолепием... Императрица шла об руку с принцем Карлом. Молебен Филаретом служенный. Молитва его, коей и я не был чужд. Разговор с Кир. Алек. Нарышкиным о Филарете и пр. После обедни отдал платье А. Не застал Сушк. обедал у Путят. — у Булгаковых о Плюшаре: дети милы и прелестны. Оттуда к Бравуре, которая писала ко мне. Опять кокетствует. Тут к. Гагарин о русском утреннем костюме к. Мещер. Оттуда к Карам. С Пушкиным, выговаривал ему за словцо о Жуков. в IV № Соврем. (Забыл Барклая). О рыжем Грабов. (feu m-r Grabovsky). Получил письмо от Аржев. о новом пожаре в Андреев.

26 декабря. Писал к Ив. Сем. о пожаре, о хлебе: сколько сгорело?... Послал IV № Соврем. и книгу для Бориса Петр. поздравлял сестрицу с нов. год. писал о пожаре и о холоде в П-бурге. К Булгакову о вчерашней церемонии и пр. Был у Аршияка: о речи Гизо, пробежал статью об оной в Courier. Оттуда к m-me Arendt. О Бравуре: обещала прислать мужа. К. Сушков, о Саше и пр. К гр. Пушк. Эмилия просила достать 4 билета на хоры: поехал к гр. Велгурскому к Панаеву и к камердинеру к. Волхонского, который обещал проводить одного на хоры. Обедал у М. В. Гурьева с Каляновской. Дочь ее призналась, что читала le père Goriot, ген. D'eström умничал не глупо...

В 9-м часу отправился на бал во дворец. Представление дипломатов прусскому принцу. Белая зала. Вход императора и императрицы. Гр. Комаров. и Шипова. Танцевал с ними, потом с Пашк.-Баран. Опочин. Дурново, Храповиц-й. Разговор с франц. послом о Гизо, о балах в Тюльери, о Ламене, коего он почитает величайшим якобинцем. Министр просв. подходит к Жук. и друг другу предлагают меняться масками. ... Обошел залы где ужин, остался на ужин подле Горголи и Ленского; взошел в главную залу. Подлость Ув. с Бенк. [нрзб] мне о дочери, которую я назвал племянницей.

27 декабря. Воскресенье. У меня Келер и Федоров. Барант прислал речь Гизо; не застал ни кн. Гол. ни Вяз. Был у Мар. П. Путят. Утро дома в чтении. Заехал Жуков.; ему сказал о неблагодарности тургенев. крестьян, с ним к гр. Растопч. обедать, сидел подле Лужиной, любезничал с Эмилией; потом к Вяз. и она туда; оттуда к Шумлянск: там Кологр. сказала о 5 000 для Щербин-й. О почтдиректорах о их благодеянии. Письмо Булгаков. к сестре о Кологр. Оттуда к кн. Шерб. Там с Опочин-м он был лично у меня. Опять к Вяз-у. С Жук. гр. Велгур. к Гагар. К Татар. читал речь Гизо. О месте гр. Велгур...

28 декабря. Писал к Свербеевым о Щербининой, о бале, о пожаре и к Булгакову о бале. Был у Щерб-й больна; у Анненковой — мила по-прежнему; ввечеру узнал от кн. Вяз. что она в Петергофе говорила с ним обо мне, в присутствии вел. к. Мих. Павл. и уверяла, что любит меня, выхваляя меня, так что заставила и великого князя

хвалить меня и вспомнить, где он в первый раз со мной познакомился. Спасибо — за неустрашимость! Люцероде не застал. К гр. Бобринской (Самойл.) с нею о птичке-Лагрене и об Авроре: она уладила дело с Демид. Поведение Авроры и Демидова. Боб. отказала за нее — подарки, цветы и плоды. Восхищение от писем Д. Чванство и смешные стороны Д. Аврора — им щастлива! Не нравился ей Вас. Волх. bonne mine à mauvais jeu. О моих рукописях etc. мы проболтали более часу. Встретили Государя и Государыню на набережной. Обед у гр. Комаровск. с Шиповым, Герке и пр. Болтали обо многом. У Сушк-й.

У Вяз. — гр. Велгур. читал Ламене, коего прислал Барант. Кончил вечер у Мещер. с Пушк. — О бале и о маскараде у гос. с Жук. Блуд. Увар. — Со мной согласен один Володя...

29 декабря. Дал камердинеру 2 N d'or писал к Булг. и послал ему для Аржев. маскарадный список. Был у Круга: он показывал мне свои замечания на Париса. Оттуда к Брюллову: опять портрет Авроры, Кукольника и пр. Бр. болен, тоскует по Италии. У меня был Дружинин, о месте своем при Павле I и при Алек., секретарем комнат был еще и при Екатерине... Обедал у Татар. не застал Сушк. вечер у Шумлянской и у Павского: читал его объяснения против Филар... Кончил вечер у кн. Вяз. с Жуков., с кот. в карете много говорил о моем здесь положении.

30 декабря. Был у гр. Новосильцова, принял дружески, по-прежнему, разговор о совете, об уголовн. законах, о гр. Сем. Ром. Воронцове. Все письма к Новосильцеву Александра I взяты поляками. В Академию: с Лондондери об оной; с Барантом, его выбрали в почетн. члены. Фус прочел отчет Грефе о языках

: много умного и прекрасного, но слишком гоняется за сравнениями и уподоблениями. Жук. Пушк. Блуд. Уваров о Гизо. Оттуда обедать в Англ. с Икскулем. Старое по-старому. Вечер у Вилро и Пашковой (Оничк.). Тут и кн. Долгор. (Сен.-При). Оттуда к Вяз-у и к Карамз. где Пушкины. Веневитинов обо мне Вяз-у.

31 декабря. Писал к Булгак. был в комиссии погашения, у гр. Велгурской; обещал прийти обедать, после обеда с Жук-м дерево рождественское и досталось по назначению графини, les trois vertus Théologales, — qui me manquent. Читал Ламене; вечер в театре; после у Карамз.; Саши рождение и к Вяз. где и встретил новый год, и получил письмо от сестрицы и от брата от 16—17 декабря № 11. Стало повеселее и на чужбине, т. е. в П-бурге.

1 генваря. Не застал князя, был у Путят. Получил письмо от Булг. сказал о нем Марье Конст. писал Булгакову и сестрице у Щербин. и в церковь Сергиев. К Щерб-й (у гр. Шерем) у Карамз-х подарил Владимиру и к. Мещ. платки. У кн. Шахов. и гр. Пушк. обедал у Кротких, с гр. Праск. Толст. и с Сушков. [нрзб] Кр.: «Je vous aime». Возвратился ввечеру и оттуда на бал к гр. Разумовской. Там долго с Фикельмоном о Ламене. Оттуда к Карам. С Велгурским, где о казнях. Велгурский вредно-равнодушен к казням.

2 генваря. У князя встретил Филарета: с ним о Ламене, о Риме. Князь рассказал, что ему рассказывала кн-я Ливен, что Георг IV нашел Карла с отсеченной головой, из коей хлынула кровь, в Вестминстере; Филарет о католицизме. Я о церкви для сестрицы: обещал. Писал о сем к сестрице и о разговоре о ней с князем и с Филаретом...

Отвечал Борису, послал книжку Зенеиды Волк. О новостях у Вязем. Поэт-сумасшедший, Кушников и Языков! — узнал о Канкриной. Заходил к Жуковскому. Он дал мне виды своей родины, им нарисованные, в его жизни есть какой-то поэтический характер, и он готовит себе сам память в людях, зная, как они неблагодарны — или забывчивы! Обедал у Татар. Соврал Языковой — с вами можно быть нараспашку — сердцем и душой, прибавил как бы нехотя. Вечер у ней с Сушк. Оттуда к Бравуре, и на вечер к кн. Шаховской, где гр. Пушкины, и Надинька Труб. и Вяземский.

3 генваря, воскресенье. У меня был Сербинович: о Краевском соч. статьи в прибавлении к Инвалиду. Опоздал к обедне в Кавал. полку; у князя А. Н.; много о Талейране и о пр. Завтракал-обедал у Мар. Петр. Путятиной, оттуда к Норову — не застал. Весь день дома — в чтении Ламене, ввечеру у Козлова, у Мар. Петр. на бале у к. Щербат. и оттуда Люцероде... Вяз. Там Эмилия, Велгурский — и страсбургский пирог.

4 генваря. Снег помешал идти в Академию; забрел к Хитровой, там с Фикельмоном о Ламене. Звала в среду. Поцеловал слишком нежно руку у Т. Обедал в трактире, вечер у m-lle Bourbier: об Ancelo и m-lle Mars, оттуда к кн. Алек. Петр. Голицыной: о Ламене и о религии вообще, не хочет читать его, ибо запрещен папой. Кончил вечер у к. Мещ-Кар. М. Ф. на коленях умоляла сына о помиловании. Посещение вдовьего дома А. Ф. Франк принес ко мне прошение для сестрицы.

5 генваря. Писал к сестрице и послал прошение на имя пр. Филарета, писал о присоединении униат. к об. — прок. погорелой Окуловой и пр. У меня был Карнович и просил рекомендацию к Блудову! Я был у Круга: там Нейман, который и у меня был, и Паррот. О Булгарине в Дерпте: весьма презрен. Пасквиль его на профессоров. Круг отдал мне бумаги и снимки мои с своею о них запискою. Оттуда к Жуковскому... Рассказал о моих рукописях, обедал у Татар, ввечеру у Кротких: опять не мила. К Вяз-у получил письмо от Сибенера от 16 ноября с 43 листами с книгою Ламене и с указами о франц. рекрутстве. Кончил вечер у Бравуры.

6 генваря. Послал к брату № 17 и вексель на 11 200 fr (prima) писал о дерев-х делах... Писал о бумагах к Булгакову. Был у дворца смотреть народ, la sainte canaille à la sainte cérémonie. Писал к Сверб. с Старынк. который поедет завтра. Обедал у Путят. После принимал А. и в 10 час. вечера отправился к Фикельмону: там любопытный разговор наш с Пушкин., Барантом, кн. Вязем-м. Хитрова одна слушала, англичанин после вмешался. Барант рассказывал о записках Талейрана, кои он читал, с глазу на глаз с Тал. о первой его молодости и детстве. Много нежного, прекрасного напоминающего les Confessions de J. J. Rosseau. В статье о Шуазеле, коего не любит Тал. Много против Шуазеля. Шуазель дурно принял Талейрана и не любил его. Бакур будет издателем записок его. О Лудвиге 18, как редакторе писем и записок. Письмо к Дофину, отданное Деказу. О записках Екатер., о Потемкине. Письмо Монтескье по смерти Орлеанского. После Монтескье осталось много бумаг, они были у Лене, для разборки и издания; вероятно возвращены внуку Монтескье, недавно умершему в Англии, и пропали. С Фикельмоном: о книге Лундмана. У него есть шведская рукопись *Бока*, шведа, пленного, сосланного в Сибирь, откуда он прислал

рапорт о войне в Штокгольм, обвиняя во многом Карла XII. С Либерманом о *Минье*; с Хитровой и Аршияком — о плотской любви. Вечер хоть бы в Париже! Барант предлагал Пушкину перевести Капитанскую дочь[1].

7 генваря. Весь день просидел дома по нездоровью и не поехал на бал графини Разумовской. — У меня сидел Федоров, потом Лубяновский, который рассказал снова историю 5000 семейств и преступную слабость Блудова и свое поведение; потом гр. Бобр. о Авроре: сильное чувство к [нрзб]. о Дем. — О Чадаеве о Мейендорфе. Весь вечер проспал.

8 генваря. Поутру был у меня Закревский. О Дашкове [конец страницы истлел]... государя, прежде и послал поручения ему, за отсутствием Закревского, министерства. Энгель при сем случае выпросил себе 100 т.р. Был у Хитровой. Там с Барантом о речах Дюпена поносящего [нрзб] опять о Тальер. Послал Lam. Фикельмон; с ней и с сестрой ее о многом: во дворце все больны. В Варшаве 60 т. больных. Получил письмо от Булгакова от 5 генваря, о жестах к. Вяз. Вечер у Карамз., Мещ-х с ним о Тьерсе, о Мейенд. о Париже.

9 генваря. Послал письмо к Ив. Сем. с постановлениями о франц. рекрутстве, о Борисовой записке, Булгакову много о балах, о вечере у Фикельмона, о больных во дворце. о «Капит. дочери» и о пр. пр. Я зашел к Пушкину: он читал мне свои pastiche на Вольтера и на потомка Jeanne d'Arc. Потом он был у меня, и мы рассматривали франц. бумаги и заболтались до 4-х час. Ермол. Орл. Кисел. все знали и ожидали: без нас дело не обойдется. Ермол. желая спасти себя — спас Грибоедова. Узнав, предварил его за два часа. Обедал у Татар. Зашел опять к Пушкину. Прочел ему письмо мое о Жольвекуре. Аршияк заходил ко мне и уехал к Бравуре. Дал Пушкину мои письма, переписку Бонштеттена с m-me Stahl, его мелкие сочинения; выписки из моего журнала о Шотландии и Веймаре. После обеда был у меня Татар-в, к. Мещерский и д'Аршияк, с последним к Бравуре. Она несколько жеманилась от застенчивости, но прекрасна, как и в будни; потом Элим Мещерский; оттуда к Фикельмону; там долго и много с Аннетой Шереметевой, вспомнил прежнее; m-me Paschalis, — свела нас. Опочин. [?] с нами также по-прежнему; просил познакомиться с Бакуниным. Гр. Гурьева отвела меня в другую комнату, допрашивала о кн. Фед. Голиц., призналась в проекте своем на него, спрашивала влюблен ли в гр. Гурьеву? Блудов и дочери его. Лицо его! Гр. Строганова-Кочуб. Салтыкова-Строг. — Гр. Растопчина-Сушк.

10 генваря. Воскресенье. Был у обедни у к. Гол. Там болтал о Павле I, о его уме, о младенчестве его, когда ум виден в нем. Танцы к. Гол. и Ив. В. Тутолмина. Кручина Тут. от пряжки только за 15 лет: писал Государю. Зачли время отпуска. Сидел у Вяз-го. Оттуда к Щерб. к Языковой. Ивашева умирает, не увидев сына в этом мире... Но надежда не покидала ее. У В. П. Тургеневой; просить за сына — студента Грефа. Обедал у Щербин, к Мих. Петр. Домой отдыхал до вечера Кн. Щерб. там Фикельмон, Бутурлин и пр. Оттуда к Опочининым: милый прием, любезничал с Алек-й О. Письма

---

[1] Сравн. в письме к А. Я. Булгакову в «Московском пушкинисте». Ред. М. А. Цявловского. М., 1928, стр. 34—35.

Петра I у Кикина. Отец пришел за полночь. Оттуда к к. Мещер.-Кар. приехали со свадьбы шаферы Велгур. Жук. и пр. Проводил Велг-о до его дома. О Киселеве. Государь писал к Канкрину, коего поразила мера с Дубен-м. Уговаривал не выходить в отставку.

11 генваря. Брал ванну; обедал у гр. Велгурского; графиня о моих письмах. С ним о Лубяновском. — Оттуда домой, и в концерт где с Волковой любезничал. Любовался на Сверчкову, коей мать любила меня... гр. Нессельрод... [истлело]... Барантша мило звала на бал. С Вяземским к Люцероду, там один после другого отстранялся от меня. Блуд. Салт. Мейен. и жена его Черныш. и пр. и пр. Кутузов: мое положение и смешно и неприятно. Смешно? Дочери Блудова. Оттуда к Мещерск. Читал прекрасное письмо Андрюши о Париже.

12 генваря. Татьяна. Попал только к одной племяннице; к. Гол. не застал. у Путятин., у Пушкиной, у гр. Пушкиной; нежно простились; у Языковой: матери позволили ехать к сыну, но не возвращаться! Успеет ли до смерти?... Встреча с Поливан-м — о дочери. Я простил ему [нрзб] за нежность к ней. Послал к брату письмо, писал о Зибекере и о разговоре моем с Олениным: он все тот же. Русские древности: сбруи, одежда, оружие и пр. Кларе послал шитье на подушку: все отдал Аделунгу. Был у Языковой. Обедал дома; был у Аделунга, о рукописях франц. в библиот. Дал свою записку о них. Получил письмо от брата № 12, от 10 генваря, вечер у к. Мещерских; но зашел и к Козлову, который дал мне своего Фолкетто с посвящением. Написал к брату письмо № 18. Послал Кларе в свертке шитье московское, отдал все Аделунгу.

У Хитрово: с Опочин. Она и Фикельмон звали в русский театр, где играл Отелло Каратыгин, Дездемону дочь Брянск. и очень хорошо. — Просидел с ними весь театр в ложе и с [пробел] Оттуда к к. Щербат. Опять встреча с Блуд. Дружеский прием, оттуда к к. Вяз. С ним; там молодые; Дашков и гр. Черныш. в Совете, и кн. Менш. о гр. Черн. Обедал у Карамз.

Вчера дал солдату Карезеву, идущему в Тургенево, письма к Булг. и к сестрице (с 10 р. на дорогу).

14 генваря. У меня сидел Щербин. Получил письма от сестрицы и от Булгакова. Был в комиссии погашения долгов у Геце и рассуждал о способе перевода капитала во Францию. Обедал у гр. Растопчин. с гр. Бобрин. и пр. После обеда описал Жуковского — а как встретил он меня на бале у посла? Нужны ли мы друг другу? Оттуда к Путят. к Сушковым: у больной Лизы — Саша. Бал у франц. посла. Прелесть и роскошь туалетов. Пушкина и сестры ее, сватовство — но мы обедали 13 сегодня и гр. Лили Толстой[1] рассказывал пророчество о нем Le Normand: его повесят в 1842 году! Разговор с Олениной, и после за ужином с Волковой. С кн. Юсуповой — мила; о ней — о ее нещастии; сказал. объяснил ей стих. Жук. — все в жизни к великому средство. Опять от меня многие отворачивались, но и я от многих.

15 генваря... Получил приглашение от австрийского посла на бал. Отнес к А. записку — и — но не доволен обращением с дочерью. Зашел к Пушкину; стихи к Морю о брате. Обедал у Татар. После

[1] Граф Александр Николаевич Толстой (1793—1866).

обеда к Кротк. Вlink Варинька — journalière. К Брав. Там d'Archiac. Оттуда на детский бал к Вяземской (день р. Наденьки) любезничал с детьми, маменьками и гувернантками. — Стихи Пушкина к гр. Закревской. Вальсировал, Барант о Benj. Constant и его характере; хотел занимать душу сильными ощущениями и для того якобинствовал. Письма его после 100 jours к Лудвигу 18. Прекрасно, увлекательно и — подействовало на Лудвига: он вычернил имя его из реестра ссылаемых. Барант подошел к нему сказал que sa lettre a persuadé Louis. «Elle m'a presque persuadé moi-même» — отвечал Constant. Взял деньги чрез Лафита, коему Benj. Const. был должен 150 т. фр. О Лафите; он получил более 11 миллионов и леса от Филиппа: платил себе долг — казенными деньгами. Пушкина и сестры ее.

16 генваря. Писал к Ивану Сем. и послал доклад Бл. о памятнике Кар-у, Фолькетто Козлова: к Булгакову о балах, о кн. Барят. о кн. Юсуп. о словце [нрзб] Хит. Lieu ou finit l'Europe et commence l'Asie. О Люцероде двух комнатах: c'est un ministre constitutionelle: il a deux chambres — приписал еще к Аржевитинову и Булгакову и послал письмо Ломоносова к Шувалову. У меня был гр. Пушкин; говорил о себе, о своих похождениях, о жене etc. Получил письмецо от Булгак. от 13 генваря. Все утро просидел дома в чтении своих же писем к к. Гол. Не узнаю себя даже в прошлом годе! Зашел к гр. Велгур. за билетом на бал; обедал у Щербин с к. Дадиян (Мосоловой) после у Сушков.: Лиза все больна. Вечер у к. Мещерского. О Жихарева детях: хвалил их от сердца. К. Элим М. хотел жениться на дочери: письмо матери его! Оттуда на бал в дворянское собрание: там опять толпы столоначальниц и адъютантов. К. Трубец., Кротков и Жерве. Ужин из аристократов et pour la Canaille quasi non la sainte. В другой раз не поймаете. Як. Толстой. С ним о Мейендорфе.

17 генваря. Воскресенье. Сто лет минуло княгине Н. П. Голицыной. Отдал молодому Черняеву юрид. книги для написания проекта письма. Кн. Голиц. не принял по болезни, сидел у кн. Вяз. читал письмо в.к. Михаила Павловича к княгине. Оттуда домой: у меня был Геце и продиктовал письмо к брату, Дубенский, и наконец Норов. С ним о раскольниках, о книжке: о духоборцах, вышедшей в Киеве. Об унии, ныне присоединяемых к греч. церкви. Обед у Карамз. с Полетикой, Жук. Вяз. Разговор о либерализме. Жук. просил портрета и оскорбился вопросом: на что тебе? Вечер у Аделунга: с Кругом, Шамбо и пр. Оттуда к столетней кн. Голиц. Там с к. Дмитр. Вол. о Чадаеве. — С Фикельмоном о Тьерсе, коего прежде, по словам Дургама, подкупала Англия. О Франции, о короле ее, о речи Тьерса и Моле, — с к-й Щербат. с Шереметьевой. Подлы движения Мейендорфа. Оттуда к к. Щербат. и на вечер к к. Мещерск., где Пушкины, Люцероде; Вяземский. Читал письмо Булг. о Лазарева разговоре с Талейраном. Щерб. был у меня. Подарил дочерям ожерелье и швед. souvenir.

18 генваря. Писал к Булгак. Все до обеда дома, обедал у Путят. Вечер у кн. Мещер-х Лужиной и Всевол. урожд. кн. Трубец. Оттуда к Люцероде, где долго говорил с Нат. Пушкиной и она от всего сердца, потом с Шереметьевой (Мартыновой).

19 генваря. Опять сидел дома до 3 часов. Зашел к гр. Потоцкой, обедал у Татар. После у Сушк. у Бравуры — с к. Гагар. Отец его

умирает. У кн. Вязем-о о Пушкиных, Гончаровой, Дантесе-Геккерне. Кончил вечер у к. Мещерск. С гр. Велгур.

20 генваря. Получил письмо от сестрицы и прошение, отнес его к Филарету и отвечал ей. Был у к. Голиц. о Брезе, о письмах Карамз. и о m-me Guyon. Обедал у новорожденной Саши Татар. с Сушков. Купил два фунта чаю; описал с д'Аршияком. Заходил к гр. Пушк. (Урус.) вечер у Карамз. с Огарев. читал письмо Андрюши.

21 генваря. Послал брату № 20 (прося все означить невыставленные), писал ему под диктант Геце (письмо на франц. о помещении капитала во Франции). Послал чаю два фунта: Ancelot и гр. Lagrange. С обещанием еще прислать. В том же письме о Guon — письмах для к. Голицына повторил. Стих. Пушкина о море, по поводу брата. Приложил письма к Андр. Карамзину.... Отдал письма Аршияку и завтракал с ним. Он прочел мне письмо А. Пушкина о дуэли от 17 ноября 836. Чаю — 2 ф. отдал Аделунгу. Отправит после. Зашел к Пушкину: о Шатобриане и о Гете, и о моем письме из Симбирска — о пароходе, коего дым проест глаза нашей татарщине. Гулял с Карамзиной по Невск. персп. Был у m-elle Bourbier, о ее бенефисе, нежно простился с ней. Обедал у Лубяновского с Пушкиным, Стогом, Свиньиным, Багреевым и пр. Анекдоты о Платоне, батюшке Репнине, Безбородке, Тутолмине и Державине. Донос его на Тутолмина государыне и поступок императрицы. Вечер проспал от венгерского и на бал к австрийскому послу. У посла любезничал с Пушкиной, Огаревой, Шереметьевой. Жуковск. примечает во мне что-то не прежнее и странное, а я люблю его едва ли не более прежнего. Ужин великолепен. Пробыл до 3 часов утра.

22 генваря. Получил письмо от Аржев. и приписал о нем к брату во втором письме, № 21, к коему приложил и незапечатанное письмецо к m-me Ancelot о чае и о переводе «Марии» для бенефиса Каратыгина, гулял по набережной: встретил Немочку, повел ее в Казанскую и там упал у столба, к ногам ее и Павла I. — Странный случай и намек мне! Заходил к Вяз. обедал в трактире у француза, после у Козлова с Немичевой — Соф. Ив. к ней, там — и оттуда к Вяз. и к Карамз. где кончил вечер.

23 генваря. Кончил переписку *Веймарского дня*, прибавил письмо 15 англичан к Гете и ответ его в стихах и после обеда отдал и прочел бумагу Вяземскому, а до обеда зашли ко мне Пушкин и Плетнев и читали ее и хвалили. Пушкин хотел только выкинуть стих. Лобанова. Послал Ив. Сем. письмо и последние 5№ Courier и один № Акад. газеты, а Булгакову написал несколько слов. Заходил к Опочин. Алекс. Фед. не было дома. Марья Фед. училась на клавикордах. К матери не пошел. Заходил к гр. Растопчиной. Она читала мне две прекрасные пьесы свои. Обедал у Путят. Оттуда к Булгаковым: развеселил их. Вяземская сказывала мне, что Немочка пересказала дочери о поцеловании в церкви! У Бравуры — любезничал. Условился с Вяземским ехать к гр. Пушкиной и провести там вечер с Шахов. и с belle-soeur ее к. Урусовой-Бороздиной. Она прекрасно пела, Вяземский рассказал надгробия русские «Здесь лежит крепостной человек г-на N.N.». «Ныне отпущаеши *раба твоего*, владыка, с миром. Здесь лежит титул. совет. но представленный в коллежские асессоры». Получил письмо от Булгакова от 20 генваря приглашение от Потоцк. на обед в понедельник.

24 генваря воскресенье. Кончил чтение Шатобриана Англ. литер.

Сколько прекрасных страниц, гармонических и трогательных: но где англ. литература? Везде он, а Мильтон редко выглядывает из-под Шатобриана.... У меня был Гекерн. Встреча с Загряжским на проспекте: добивался от меня извинения или комеража. Сухо отвечал ему и ясно дал чувствовать мое о нем мнение. Хотел зайти ко мне. Обедал в трактире, не застал Филарета, был у гр. Комаровск. Оттуда к Баранту: с ним о рукописях франц. в здешней библиотеке: он получил позволение снять их: с ней; милый, задушевный разговор о ее внуке, о женщинах вообще в минуты опасностей. Оттуда к к. Шербатов. Там с Лаваль и хозяйкой о Гете и Шиллере: хозяйка врет и умничает по-прежнему. К кн. Мещер. едва взошел, как повздорил опять с кн. Вяземской. Взбалмошная! Разговор о Пушкиной. Заметил гр. Велгур. о беспорядках в больнице, оправдывался, — но худо, признался, что бывает редко, а в этом главная обязанность! Жук. на свадьбе Блу-й. Я видел движение в доме. Ошибкой я сказал: «Шевичева посаженным отцом» — (а она с бородой) а Вяз. примолвил: «А Вигель посаженной матерью» — а он! Встретил Врон-ченку, расспрашивал о переводе сумм какая... [истлело]... невоспитанная скотина!

25 генваря. Отправился в полдень в Невский монастырь, отыскал памятники отца, брата и Нефед. все покрыты снегом. Я ходил в сугробах; в церкви отслужил панихиду. Возвращусь, когда снег оттает. Оттуда к Анненковой — нездорова. К Феслеру — не нашел на прежней квартире; к Бартеневой во дворец — обедал у вел. княгини. В книжную лавку. К Грефу: там гр. Комар. ходил по модным магазинам: обедал у гр. Потоцк. с Вяземск. Жук. странное положение мое с моими друзьями и приятельницами. К m-lle Bourbier в театр. — К Щербинину — имениннику — там вальсировал и прежде полуночи возвратился домой, где нашел записку из дел Сербиновича.

26 генваря. Я сидел до 4-го часа, перечитывая мои письма; успел только прочесть Пушкину выписку из парижских бумаг Серб. кот. был у меня и унес их. Заходил к Брав. встретил к. Ив. Гагар. Обедал у кн. Шахов. поручила прислать ей шелков из Парижа и дала обращик. Оттуда к Кротк. — нет дома, вечер на бале у гр. Разум. Криденер начала говорить со мной: Уваров и пр. Много о Ламене и о вдовушке. Великая княгиня была на бале. Получил письмо от Брав. — отвечал ей словесно.

27 генваря. У меня Федоров и Мюральт: с ним о Женевском соборе, о Канкрине и Государе, о Перов-м и пр. У гр. Бобр. не застал; у Стиглица о переводе сумм; хочет взять только 1/2%. Обедал в трактире.

* *
*

27 генваря... Встретил Греча: он тронул меня изъявлениями за что-то какой-то признательности и приглашением на похороны сына, в цвете первой молодости и успехов в науках умершего. Пойду: смерть все примиряет. Заходил к Люцероду — не застал. Обедал в трактире. После обеда встреча с прелестной шведкой... К к. Щербат. Там знакомство с кн. Гол. Скарятин сказал мне о дуэли Пушкина с Геккереном; я спросил у Карамзиной и побежал к Мещерской: они уже знали. Я к Пушкину: там нашел Жуковского, князя и кня-

гиню Вяземских и раненого *смертельно* Пушкина, Арендта, Спасского — все отчаивались. — Пробыл с ними до полуночи и опять к к. Мещерск. Там до двух и опять к Пушкину, где пробыл до 4 ч. утра. Государь присылал Арндта с письмом, собственн. карандашом: только показать ему: «Если Бог не велит нам свидеться на этом свете, то прими мое прощенье (которого Пушкин просил у него себе и Данзасу) и совет умереть христьянски, исповедаться и причаститься; а за жену и детей не беспокойся: они мои дети и я буду пещись о них». Пушкин сложил руки и благодарил Бога, сказав, чтобы Жуковский передал государю его благодарность. Приезд его: мысль о жене и слова, ей сказанные: «будь спокойна, ты ни в чем не виновата».

28 генваря. Луи[1] справлялся: хуже. В 10 часов я уже был опять у Пушкина. Опасность увеличилась. Страдания ночью и крики, коих не слыхала жена. Последний разбудил ее, но ей сказали, что это на улице. Все описал сестрице[2] и просил Булгакова послать копию к Аржевитинову. Получил письмо от Норова.

Был на похоронах у сына Греча; опять к Пушкину, простился с ним. Он пожал мне два раза, взглянул и махнул тихо рукою. Карамзину просил перекрестить его. Велгурскому сказал, что любит его. Жук. — все тот же.

Обедал у Путят. Потом опять к Пушкину и домой и к П.; пил чай у Карамз. до 4 часу.

29 генваря. День рожденья Жуковского и смерти Пушкина. Мне прислали сказать, что ему хуже да хуже. В 10-м часу я пошел к нему. Жуковский, Велгурский, Вяземский ночевали там. Князь А. Н.[3] призвал к себе: рассказал ему о Пушкине и просил за Данзаса... Описал весь день и кончину Пушкина в двух письмах для сестрицы[4].

В 2¾ пополудни поэта не стало: последние слова и последний вздох его. Жуковский, Вяземский, сестра милосердия, Даль, Данзас, Д-р...[5] закрыл ему глаза.

Обедал у графа Велгурского с Жуковским и князем Вяземским. Оттуда с Вяземским к Бравуре, письмо и комеражи ее. На панихиду Пушкина в 8 часов вечера. Оттуда домой и вечер у Карамзиных. «La justice distributive» — обо мне Софья Николаевна, отвечал ей это. О вчерашней встрече моей с отцом Геккерена. Барант у П.

30 генваря. День ангела Жуковского. У меня Татар., писал к Ив. Сем. и приложил «1812 г.» Глинки и «Прибавления к Инвалиду», в письме стих. Пушк. о море[6]. Писал и к сестрице и к Булга-

---

[1] Луи — слуга-француз А. И. Тургенева.

[2] Это письмо, датированное «Спб. 1837. Генваря 28. 9 час. утра», напечатано А. А. Фоминым в статье «Новые материалы для биографии Пушкина (Из тургеневского архива)» — «Пушкин и его современники», вып. VI, стр. 47—51.

[3] Голицын.

[4] Эти два письма — те самые, которые напечатаны А. А. Фоминым: одно под № 3 датировано 29 генваря 10 час. утра (стр. 51—53), другое под № 4 — отнесено к неизвестному и датировано «29 генваря 1837 года, с квартиры Пушкина» (стр. 53—55). На самом деле письмо написано не 29 генваря, а 28 генваря, в тексте его сказано: «2 часа с 1/2. Вот 22 часа ране».

[5] Пропуск в подлиннике; в письме к Булгакову (названная статья А. А. Фомина, стр. 55) доктор назван «Андреевский».

[6] Это письмо к И. С. Аржевитинову напечатано в «Русск. арх.», 1903, I, стр. 143—144.

кову о вчерашнем дне[1]. О пенсии Пуш., о детях. В 11 часов панехида. Письмо П. к Геккерену. Был у Даршиака, читал все письма его к П. и П. к нему и к англичанину о секундантах. Поведение Пушкина на поле или на снегу битвы назвал он «parfaite». Но слова его о возобновлении дуэля по выздоровлении отняли у Даршиака возможность примирить их. Обедал у графини Бобринской с Перовским: дал ей Ламенэ... Не был на панехиде по нездоровью, не поехал на бал к кн. Гол. по причине кончины Пушкина. Вечер у Карамзиных. О князе Иване Гагарине. О Кочубее. «Хохлу К. от русских». Катерина Андреевна пеняет за детей.

31 генваря. Воскресенье. Зашел к Пушкину. Первые слова, кои поразили меня в чтении псалтыря: «Правду твою не скрыв в сердце твоем». Конечно, то, что Пушкин почитал *правдою*, т. е. злобу свою и причины оной к антагонисту — он не скрыл, не угомонился в сердце своем и погиб. Обедня у К. Гол. Блудова болтовня. Оттуда к Сербиновичу... О бумагах, приписал о 14 тетрадях Броглио, опять к Пушкн. и к Даршиаку, где нашел Вяземского и Данзаса: о Пушкине! *Знать* наша не знает славы русской, олицетворенной в Пушкине. Слова государя Жуковскому о Пушкине и Карамзине. «Карамзин ангел». Пенсия, заплата долгов, 10 тысяч на погребение, издание сочинений и пр. Обедал у Карамзиной. Спор о Геккерене и Пушкине. Подозрения опять на К.И. Г. После обеда на панехиду. Оттуда пить чай к К. Мещер. — и опять на вынос. В 12-ть, т. е. в полночь, явились жандармы, полиция: шпионы — всего 10 штук, а нас едва ль столько было! Публику уже не впускали. В 1-м часу мы вывезли гроб в церковь Конюшенную, пропели заупокой, и я возвратился тихо домой.

1 февраля. У меня был А. <?> Бестужев. В 11 часов нашел я уже в церкви обедню, в 10 1/2 начавшуюся. Стечение народа, кóего не впускали в церковь, по Мойке и на площади. Послы со свитами и женами. Лицо Баранта: le seul russe — вчера еще, но сегодня ген. и флигель-адъютанты. Блудов и Уваров: смерть — примиритель. Крылов. Князь Шаховской. Дамы — посольши и пр. Каратыгин, молодежь. Жуковский. Мое чувство при пении. Мы снесли гроб в подвал. Тесновато. Оттуда к вдове: там опять Жуковский. Письмо вдовы к государю: Жуковского, графа Велгурского, графа Строганова просит в опекуны. Все описал сестрице и для других и послал билеты. Просил о присылке моих портретов. Не застал Даршиака, обедал на свадебном обеде у Щерб... генер.-адъют. Мартыновым: что за генерал! Оттуда к Сушк... Заходил прежде и к графине Потоцкой, не зная, что отец ее скончался. К Бравуре и к Арш. Опять не застал, к Карамзиной, где нашел нижегородскую знакомую Зубову (Эйлерт), опять с письмом к Кармз. к Аршиаку, нашел у него кн. Ив. Гагарина, отдал письмо и книжку, Карам. и мое с афишкой Каратыгина к Ансело. Простился с ним; дописал письмо к брату и

2 февраля рано поутру послал его к Даршиаку — о смерти Пушкина, о Штиглице, о покупке для Щерб. часиков и цепочек для двух дочерей, о посылке книг через Даршиака и о знакомстве с ним...[2]

Жуковский приехал ко мне с известием, что Государь назначает

---

[1] Письмо к А. Я. Булгакову в статье А. А. Фомина — № 5, стр. 55—56; письмо к сестрице — там же, № 7, стр. 57—58.

[2] Это письмо напечатано А. А. Фоминым: № 8, стр. 58—64.

меня провожать тело Пушкина до последнего жилища его. Мы толковали о прекрасном поступке Государя в отношении к Пушкину и к Карамзину. После него Федоров со стихами на день его рождения, и опять Жуковский с письмом графа Бенкендорфа к графу Строганову, — о том, что вместо Данзаса назначен я, в качестве *старого друга* (ancien ami), отдать ему последний долг[1]. Я решился принять и переговорить о времени отъезда с графом Строгановым. Поручил Федорову собрать сведения о Пскове. Пошел к графу Строганову. Встретил Даршиака, который едет в 8 часов вечера, — послал к нему еще письмо к брату, в коем копия с писем графа Бенкендорфа и с моего к графу Строганову[2]; а M-me Ancelot послал афишку о бенефисе Bourbier с припиской. Графа Строганова не застал, оставил карточку, встретил жену его; она сказала, что будет граф в 4 часа дома; не застал кн. Голицына ни дома, ни у Муравьевой, ни во дворце. — У князя Вяземского написал письмо к графу Строганову, обедал у Путят. и заказал отыскать кибитку. — Встретил кн. Голиц. и в сенях у кн. Кочубей прочел ему письмо и сказал слышанное: что не в мундире положен, якобы по моему или князя Вяземского совету? Жуковский сказал государю, что по желанию жены. Был в другой раз, до обеда у графа Строганова, отдал письмо, и мы условились о дне отъезда. Государю угодно, чтобы завтра в ночь. Я сказал, что поеду на свой счет и с особой подорожной.

Был у почт-директора: дадут почталиона... К Сербиновичу: условились о бумагах. К Жуковскому: там Спасский прочел мне записку свою о последних минутах Пушкина. Отзыв гр. Б. Гречу о Пушкине. Стихи Лермонтова прекрасные. Отсюда домой и к Татаринову и на панехиду; тут граф Строганов представил мне жандарма: о подорожной и о крестьянских подставах. Куда еду — еще не знаю. Заколотили Пушкина в ящик. Вяземский положил с ним свою перчатку. Не поехал к нему, для жены. У Карамз. Федоров отдал мне книги и бумаги. О Вяземском *со мною*: «он еще не мертвый»...

3 февраля... Писал к сестрице и к Булгакову и послал копию с писем графа Бенкендорфа и с моего и к Ивану Семеновичу тоже и справку для Татаринова[3]. Был у Арсеньева, много о великом князе и государе: жизнию Петра еще живет Россия, — сказал когда-то государь. Мнение наследника о Екатерине II. Вразумление его Арсеньевым. Опоздал на панехиду к Пушкину. Явились в полночь, поставили на дроги и

4 февраля, в 1-м часу утра или ночи, отправился за гробом Пушкина в Псков; перед гробом и мною скакал жандармский капитан. Проехали Софию, в Гатчине рисовались дворцы и шпиц протестантской церкви; в Луге или прежде пил чай. Тут вошел в церковь. На станции перед Псковом встреча с камергером Яхонтовым, который вез письмо Мордвинова к Пещурову, но не сказал

---

[1] Это письмо, разосланное в копии Тургеневым А. Я. Булгакову, Н. И. Тургеневу, сестрице, было напечатано вместе с ответом Тургенева несколько раз. См. «Последние дни жизни и кончина Пушкина». Спб., 1863, стр. 67—68; «Русский архив», 1864, стр. 469—471; назв. статья А. А. Фомина — № 11 и 13, стр. 69 и 70—71.

[2] Это письмо к Н. И. Тургеневу не напечатано.

[3] См. предыдущее примечание.

мне о нем[1]. Я поил его чаем и обогнал его, приехал к 9-ти часам в Псков, прямо к губернатору — на вечеринку. Яхонтов скор и прислал письмо Мордвинова, которое губернатор начал читать вслух, но дошел до высочайшего повеления — о *невстрече* — тихо и показал только мне, именно тому, кому казать не должно было: сцена хоть бы из комедии! Напился чаю; мы вытребовали от архиерея (за 5 верст) предписание архимандриту в Святогорском монастыре, от губернатора городничему в Остров и исправнику, в Опочковском уезде и в 1 час пополуночи

5 февраля отправились сперва в Остров, за 56 верст, оттуда за 50 верст к *Осиповой* — в Тригорское, где уже был в три часа пополудни. За нами прискакал и гроб в 7-м часу вечера; почталиона оставил я на последней станции с моей кибиткой. Осипова послала, по моей просьбе, мужиков рыть могилу; вскоре и мы туда поехали с жандармом; зашли к архимандриту; он дал мне описание монастыря; рыли могилу; между тем я осмотрел, хотя и ночью, церковь, ограду, здания. Условились приехать на другой день и возвратились в Тригорское. Повстречали тело на дороге, которое скакало в монастырь. Напились чаю; я уложил спать жандарма и сам остался мыслить вслух о Пушкине с милыми хозяйками; читал альбум со стихами Пушкина, Языкова и пр. Нашел Пушкина нигде не напечатанные. Дочь пленяла меня; мы подружились. В 11 часов я лег спать. На другой день

6 февраля, в 6 часов утра, отправились мы — я и жандарм!! — опять в монастырь, — все еще рыли могилу; мы отслужили панехиду в церкви и вынесли на плечах крестьян и дядьки гроб в могилу — немногие плакали. Я бросил горсть земли в могилу; выронил несколько слез — вспомнил о Сереже — и возвратился в Тригорское. Там предложили мне ехать в Михайловское, и я поехал с милой дочерью, несмотря на желание и на убеждение жандарма не ездить, а спешить в обратный путь. Дорогой Мария Ивановна объяснила мне Пушкина в деревенской жизни его, показывала урочища, места......[2], любимые сосны, два озера, покрытых снегом, и мы вошли в домик поэта, где он прожил свою ссылку и написал лучшие стихи свои. Все пусто. Дворник, жена его плакали. Я искал вещь, которую бы мог унести из дома; две каменные вазы на печках оставил я для сирот.

---

[1] Это письмо воспроизведено факсимиле в журнале «Искры» (№ 5 от 29 января 1912 года). Приводим его здесь: «Милостивый государь Алексей Никитич! Г. Действительный статский советник Яхонтов, который доставит сие письмо Вашему превосходительству, сообщит Вам наши новости. Тело Пушкина везут в Псковскую губернию для предания земле в имении его отца. Я просил г. Яхонтова передать вам по сему случаю поручение графа Александра Христофоровича, но вместе с тем имею честь сообщить Вашему превосходительству волю государя императора, чтобы Вы воспретили всякое особенное изъявление, всякую встречу, одним словом, всякую церемонию, кроме того, что обыкновенно по нашему церковному обряду исполняется при погребении тела дворянина. К сему неизлишним считаю, что отпевание тела уже здесь совершено. С отличным почтением и преданностию имею честь быть Вашего превосходительства покорнейший слуга Александр Мордвинов. С.-Петербург 2 февраля 1837 г.» Подлинное письмо находится в собрании Б. Л. Модзалевского. См. также статью «О перевозе тела камер-юнкера Пушкина для погребения в Псковскую губернию» — дела архива канцелярии министра внутренних дел, напечатанную в «Русск. стар.», т. CXXIX, 1907, февр., стр. 453—457.

[2] Клочок рукописи вырван.

Спросил старого, исписанного пера; мне принесли новое, неочиненное; насмотревшись, мы опять сели в кибитку-коляску и, дружно разговаривая, возвратились в Тригорское. Отзавтракав, простились. Хозяйка дала мне нем. keepsake на память... Я обещал ей стихи Лермонтова, Онегина и мой портрет. Мы нежно прощались, особливо с Марией Ивановной, уселись в кибитку и на лошадях хозяйки по реке Великой менее нежели в три часа достигли до 1-й станции. Заплатил за упадшую под гробом лошадь — и поехали дальше. Остров. Здесь нагнал нас городничий; благодарил его и чиновника — и в 4 часу утра приехал во Псков.

7 февраля в воскресенье. Остановился на почте; товарищ начал сбираться один в путь; я охотно благословил его; напились кофе и чаю; он ускакал, а я пошел в собор к заутрени, — гул колоколов раздавался в темноте ночи, в древнем городе, где бивал и вечевой колокол.

Узнал, что обедню будет служить архиерей, в 9 часов; пошел по другим церквам, в часовню церкви св. Николая, где перед чудотворной иконой сияли свечи и лампады и народ молился. Дослушал в древней церкви заутреню. Гулял в сумраке ночи по древнему городу, во тьме рисовались развалины Пскова и стен его. Я возвратился на почту; переоделся и пошел к губернатору уведомить о моем возвращении. Был на рынке, в кордегардии у арестантов; ко мне приехал губернатор; со мной к обедне, в собор, где уже служил архиерей, но прежде зашли мы в древний собор, осмотрели меч с надписью: Honorem meum nemini dabo, гроб осеребреный, образа, сбираемые для Дерптской архиерейской церкви, и выслушали в новом соборе обедню; познакомился с архиереем: он заехал для меня к губернатору и там болтали о многом; тут Львов по казенным крестьянам, и дворяне, и военные, позавтракали и распрощались с архиереем. Губернатор дал мне *Гуровского* в провожатые.

Я осмотрел губернские места, военную тюрьму, госпиталь, где приняли меня как важного ревизора. Все в мундирах. Тут подтвердилось мое замечание о железных цепях на руках, во время зимы. Солдат показал мне отмороженную руку оттого, что прут железный был к руке прикован. Накануне видел я колодников с обнаженными руками на том месте, где прут, и заметил это — почтальону. Я осмотрел и острог: тут чисто; стену, от защиты коей русскими бежал Баторий. Он показал мне и дом, где жил Петр I.

9 февраля. Описал сестрице мое путешествие и послал его к Булгакову и для Ив. Семен. Был у вдовы Пушкиной и отдал ей просфиру, обедал у Татар. Вечер у Карамз. с Люцероде и Огарев.

10 февраля... Обедал у гр. Бобрин. с Жуков. Бартеневой и гр. Матв. Велгур. На память о Пушкине. Был и у Бравуры. Бреверн, указал о комеражах гр. Растопч. на щет ее и с к. Мещерск.

11 февраля... Обедал у Анненковой. вечер у Люцероде с Вяз. Жук. Велгур. Разговор с дочерью и с матерью — о первой. Вчера писал к Осиповой, послал ей Онегина, стихи на кончину поэта и мой портрет и просил описание Трехгорного и Михайловского. Был у шведки.

12 февраля... (Кн. Гол.) допрашивал о пенсии, о пряжке, о послуж. списке, дал почувствовать, что хочу только — свободы и Парижа.

14 февраля... Гулял с Мюральтом: о Козлове. Отдал ему 100 р.

для Пушкина. Обедал у Карамз. С Жук. и Севериным: последний смешон и кичлив как прежде своими чинами и крестами! Вечер у кн. Мещер. Во дворце — был китайский бал и — Жук. не смел явиться к нам китайцем.

15 февраля... У Пушкиной — не видал ее. Обедал у Велгур. с Жуков. (Перед обедом у Хитрово... отдал Хитровой земли с могилы, и веточку из сада Пушкина. Вечер у Пушкин.: простился с ней, обещал, есть ли возможно, приехать в деревню. Вечер у кн. Щербатов. с кн. Салтыковой, о Пушк. о стихах его, о Париже.

16 февраля... Был у кн. Дм. Влад. Голицына: он советовал не либеральничать и опять слышал о фраке Пушкина... обедал у Норова; потом на бал к послу. Государь взглянул не по-прежнему, потом громко подозвал меня к себе, ...сказал мне: «Благодарю тебя, очень благодарен, я читал твои бумаги с большим удовольствием». Я — «я жалею В. В. что не все хорошо переписаны». Он: «Нужды нет. Я читать умею». Теперь благословляю тебя, можешь ехать куда хочешь, только одно условие: «другим не заниматься». Я — «Вы видели, гос., что я там трудился». «Верю, верю тебе. Дай же мне руку» — и пожал ее крепко. Все слышали, все видели, и в доме фр. посла! Лицо и приветствие Северина! Потом гос. говорил обо мне и с Жуковским, хвалил мои труды, желал бы напечатать; но опасается неудовольствия со стороны франц. правительства. Жук. сослался на выписки Раумера из англ. архива. На печатание Пушкина дал 50 т. руб.... Ужин. Бреверн....... передать Данзасу об аресте в пятницу.

17 февраля... Вечер у Бравуры с Жук. и к. Гагар., оттуда к Валуевой, там Велгур. Жук. о шпионах, о гр. Юлии Строг., о 3—5 пакетах, вынесенных из кабинета П. Жук-м. Подозрения. Графиня Нессельроде. Спор о Блуд. и о пр. с Жук.

18 февраля. Был у Жук. и взял мои бумаги, бывшие у Пушкина, читал его прекрасное письмо к отцу Пуш.

19 февраля... Обедал у Опочинин. с Жуков. выспрашивал об истории Пушк. а сам рассказал о разговоре своем с Либерманом у вел. княгини. Либер.: убил бы за письмо и думает, что посланн. не должен стреляться с обыкновенным подданным.

20 февраля... Оттуда к Карамз. где Данзас рассказал нам черные черты о Жихар. по Власова делу.

21 февраля... Зашел к Вяз.: он грустен: день рождения его Полины.

22 февраля... Фикельмон приглашает на бал 25 fevr. Вечер у Люцероде; долго говорил с принц. Гогенлое супругой саксонского министра....

23 февраля. Получил милое письмо от Осиповой из Тригорского... Получил приглашение на бал от неаполит. посланника.

24 февраля. Писал к Осиповой: «Все минуты Тригорского, для сердца незабвенные, ожили в памяти; еще сильнее захотелось повторить их в жизни; но во власти ли человека переделать судьбу свою? участь бездомного странника встречаться с наслаждением души и сердца, и постоянно жить только с тоскою и грустию по милом и по невозвратимым утратам: Не от того ль

«И меланхолии печать всегда на нем?» Постараюсь загладить необдуманную посылку Онегина.

26 февраля... У меня снова Ко : о гр. Велгурск. Ничтожны.

27 февраля... Вечер у кн. Мещерск. узнал, что государю сказали,

что якобы кн. Вяз. сказал, что «он не имел права посылать меня с гробом Пушкина!!!» Княгиня оправдала его на бале у вел. княгини.

3 марта, Вечер у Карамз. С Жук. Вяз. и пр. Слушал письмо Жуковск. к отцу Пушкина и поэму Медный рыцарь Пушкина.

4 марта... Обедал у гр. Велгур. с Жуков. читал статью о Пушкине Лев-Веймара в Débats. Запретили ее. Вечер у Жуков. с к. Одоевским, Плетневым, Краевским и пр. Рассматривали стихи и прозу, найденные в бумагах Пушкина и назначаемые в Современник. Отличного мало. Лучше — самого Пушкина...

5 марта. День рождения Софьи Ник. Карамз. у ней сидели Герке и Федоров, а я писал добавление к письму Жук. о Пушк. и послал его к Жук.

8 марта... После обеда Северин и Полетика — кольнул его конгрессами — при чтении стихов Пушкина «Лицейс. годовщина» об импер. Александре... Бенкендорфу лучше встреча с жандармом-спутником; он опять был в Пскове, встречать и остановить там митрополита сербского Петровича и не пускать в П.бург. Там приготовлен ему дом и пр. У Жук. с к. Одоевск. Краевск. Плетневой. Жуковский читал нам свое письмо к Бенк. о Пушк. и о поведении с ним государя и Бенк. Критическое расследование действий жандармства, и он закатал Бенкендорфу, что Пушк. — погиб от того, что его не пустили ни в чужие краи ни в деревню, где бы ни он ни жена его не встретили Дантеса. Советовал ему не посылать этого письма в этом виде; взял журнал Пушк. 1833, 34, 35 годов, но неполных. Вечер у Люцероде, и долго говорил с дочерью; она сознавалась, что ни с кем ни в связи здесь. Статья о Пушк.

9 марта.... Вечер у кн. Вяз. Жук. читал Пуш.; оттуда к Гогенлое.

19 марта. Встретил Дантеса, в санях с жандармом, за ним другой офицер, в санях. Он сидел бодро, в фуражке, разжалованный и высланный за границу... К Жуковскому, читал письмо Жуковского к отцу Пушкина с выпусками....

V. ДОКУМЕНТЫ 1836—1837 ГГ. К ИСТОРИИ ДУЭЛИ

В этом отделе помещаются документы 1836—1837 годов, относящиеся непосредственно к истории дуэли Пушкина с Дантесом. Это небольшое собрание является итогом продолжительных и настойчивых разысканий. История поисков за материалами о дуэли не лишена интереса для будущих исследователей и разыскателей, хотя бы и по одному тому, что дает указания на неразысканные источники. Нелишне будет поэтому сообщить некоторые подробности этой истории[1].

1.

Особенное внимание мое с самого начала работы было направлено на розыски письменных свидетельств о дуэли, исходящих от столь важного участника печальных событий — барона Геккерена. Он был представителем короля голландского в С.-Петербурге, дуэль его приемного сына отозвалась на его карьере. Вполне естественно было предположить существование письменных объяснений Геккерена перед русским государем, с одной стороны, и перед голландским правительством, с другой. Действительно, в С.-Петербургском главном архиве министерства иностранных дел оказались весьма любопытные письма барона Геккерена к графу К. В. Нессельроду, бывшему в то время русским министром иностранных дел. В свое время эти письма были использованы мной в статьях о дуэли Пушкина («Истор. вестн.», 1905 г., март, апрель); в полном же виде они появляются впервые в настоящей работе (№ IX).

Но все старания извлечь донесения Геккерена своему правительству из архива министерства иностранных дел в Гааге не увенчались успехом, к прискорбию друзей просвещения. Нидерландское правительство решительно отказало в сообщении интересующих нас документов. Еще в 1905 году наш посланник в Гааге Н. В. Чарыков получил от министра фан-Тетса уведомление, что «опубликование хранящейся в архиве переписки в настоящее время является нежелательным, так как оно было бы неприятно для проживающих ныне в Голландии и за границею родственников барона Геккерена»[2]. Между тем, пока шли эти переговоры, в моих руках оказались современ-

[1] О документах из музея А. Ф. Онегина (№ I, III, VI) сказано в заметках перед самыми документами.

[2] Н. В. Чарыков. Сведения о дуэли Пушкина, имеющиеся в Голландии. — «Пушкин и его современники», вып. XI, стр. 65.

ные копии с двух писем барона Геккерена барону Верстолку, бывшему в 1837 году голландским министром иностранных дел, и с письма к принцу Оранскому, супругу Анны Павловны, в то время еще наследнику нидерландского престола. В 1905 году в статьях о дуэли Пушкина и Дантеса я сообщил в переводе извлечения из этих примечательных писем барона Геккерена[1].

Нет сомнения, что признанные не подлежащими опубликованию документы голландского архива суть подлинники писем, известных нам лишь по копиям. Кое-что об архивных бумагах мы знаем частным образом. Так, нам известно, что по делу Геккерен — Пушкин в архиве находятся «донесения голландского министра в Петербурге (т. е. Геккерена), содержащие отчет о событиях, донесение уполномоченного в делах барона Геверса (заменившего барона Геккерена) о впечатлении, произведенном смертью Пушкина в С.-Петербурге, и, кроме того, вырезка из «Journal de St.-Pétersbourg» «с приговором над Дантесом». Графу Бреверну де-ла-Гарди, бывшему в 1905—1906 годах советником нашей миссии в Гааге, были показаны донесения Геккерена (числом три), и некоторые фразы напомнили ему донесения, напечатанные в русском переводе в моих статьях[2]. Так как для целей ученого исследования представлялось необходимым ознакомиться с подлинниками и так как то, что казалось в Гааге не подлежащим опубликованию, было уже оглашено в России, то, по просьбе Комиссии по изданию сочинений Пушкина, наш посланник в Гааге граф Пален в 1911 году взял на себя труд нового обращения к голландскому министру иностранных дел Ван Свиндерену. Но г. Ван Свиндерен сообщил графу Палену, что «он не находит возможным дать разрешение для личного осмотра посланником или секретарем миссии архива его министерства по этому крайне деликатному еще поныне вопросу, а тем более согласиться на опубликование таких вполне доверительно сообщенных бароном Геккереном сведений, которые до сих пор составляют семейную тайну, в особенности третье письмо, на имя принца Оранского; относительно этого письма для его публикации, он, министр, был бы обязан предварительно исходатайствовать разрешение ее величества королевы нидерландской, какового ее величество, по его, министра, глубокому убеждению, никогда не соизволит дать».

Нам не совсем понятны основания такого взгляда г. Ван Свиндерена, но во всяком случае будем ждать лучших времен, когда соображения, диктуемые чрезмерной щепетильностью, не будут иметь места, и мы получим возможность, во-первых, сверить имеющиеся у нас копии с хранящимися в Гааге подлинниками и, во-вторых, ознакомиться и с другими материалами о дуэли, о существовании которых в голландских архивах мы не знаем. Пока же считаем необходимым напечатать в этом отделе письма барона Геккерена в переводе со старинных, сделанных в 1837 году перлюстраций (№ X и XI)[3].

---

[1] Теперь, в 1927 году, можно открыть секрет: современные копии были перлюстрациями, полученными мною из архива мин. ин. дел.

[2] Письмо графа Бреверн де ла Гарди находится в собрании Пушкинского дома.

[3] Впервые французский текст писем появился в приложении к моей книге: Пушкин. Очерки. Спб., 1912, и затем в первом издании настоящей книги, где текст вновь сверен с подлинными копиями. Эти письма должны быть

2.

Вполне естественно предположение, что в семейных архивах барона Геккерена и барона Геккерен-Дантеса могли сохраниться письма и документы, имеющие отношение к последней дуэли Пушкина. В печать не раз проникали соответствующие известия о пушкинских документах в архиве сына Дантеса. Так, напр., И. Яковлев в 1899 г. со слов барона Геккерен-Дантеса (сына) сообщал, что «в бумагах, доставшихся ему после отца, имеется немало документов, касающихся отношений его отца к Пушкину, между прочим, два письма с вызовом на дуэль»[1]. Но все делавшиеся до сих пор попытки извлечь материал из архива Дантеса не давали результатов, и ни один документ этого собрания не был опубликован. Ныне барон Геккерен-Дантес, внук барона Жоржа Геккерен-Дантеса, во владении которого находится фамильный архив, благодаря в высшей степени обязательному содействию гг. А. Мазона и Л. Метмана, с большой любезностью согласился исполнить просьбу Комиссии по изданию сочинений Пушкина и сообщил целый ряд документов своего архива. Первая их группа касается его деда вне его отношений к Пушкину и способствует разрушению того легендарного представления о Дантесе, какое сложилось у пушкинистов; эти документы вошли в шестой отдел нашей книги. Вторую группу составляют документы, непосредственно относящиеся к дуэли Пушкина и Дантеса. Из них некоторые являются новостью для исследователей и имеют важное значение для биографа Пушкина. Таково в особенности неизвестное нам письмо барона Жоржа Геккерен-Дантеса к Пушкину (№ IV). В настоящем отделе помещены еще письма барона Геккерена Жуковскому (№ II), заметки Дантеса на письмо Пушкина (№ V), правила дуэли (№ VII), оригинал объяснений Дантеса перед судом (№ VIII).

Кроме печатаемых документов, в этом архиве находятся еще следующие, касающиеся дела Пушкина и Дантеса: 1) подлинное письмо Пушкина виконту д'Аршиаку от 17 ноября 1836 года. Это то самое письмо, которое было представлено в военно-судную по делу о дуэли комиссию и, по снятии копии, возвращено через министерство иностранных дел барону Геккерену[2] (см. «Переписку Пушкина», изд. имп. Академии наук, т. III, стр. 409, № 1101); 2) копия с письма барона Геккерена Пушкину от 26 января 1837 года. Подлинник находится в военно-судном деле (см. «Переписку», т. III, стр. 445, № 1139); 3) копия с письма Пушкина виконту д'Аршиаку с датой «27 Janvier, 10 heures du matin» (см. «Переписку», т. III, стр. 449, № 1146). Виконт д'Аршиак передал князю П. А. Вяземскому собственноручно сделанный им список этого письма; Вяземский передал его Данзасу, а от Данзаса при рапорте он поступил в военно-судную Комиссию. Подлинник остался, очевидно, у виконта д'Аршиака, где он теперь,

---

перепечатаны рядом с письмами к графу Нессельроду, так как истина может быть почувствована только при последовательном сопоставлении тех и других писем, столь различных по своему содержанию.

[1] «Новое время», № 8125, 12 июня 1899 г.

[2] Дуэль Пушкина с Дантесом-Геккереном. Подлинное военно-судное дело. Спб., 1900, стр. 51.

Письмо Пушкина
(из архива барона де-Геккерен-Дантеса)

неизвестно[1]; 4) ответ виконта д'Аршиака на это письмо в копии (см. «Переписку», т. III, стр. 450, № 1147). Подлинник его — в военно-судном деле[2]. Любопытно, что подлинник датирован только днем, а копия и часом: «27 Janvier 1 heure après-midi». Текст же письма совершенно сходен.

Кроме перечисленных, никаких других документов и материалов, относящихся *непосредственно* к истории дуэли Пушкина и Дантеса, в семейном архиве гг. Дантесов, по свидетельству владельца архива, не находится.

3.

Император Николай Павлович был хорошо осведомлен о причинах и обстоятельствах несчастной дуэли. Он имел о деле Пушкина доклады графа Нессельрода, графа Бенкендорфа и В. А. Жуковского. Всего того, что было ведомо Николаю Павловичу, мы, конечно, не знаем, и потому особый интерес приобретают все письменные высказывания Николая по делу Пушкина, какие только могут найтись.

О роли барона Геккерена, во всяком случае, он был определенного мнения и потребовал отозвания барона из России в письме к наследнику нидерландского трона принцу Вильгельму Оранскому, супругу сестры русского государя, великой княгини Анны Павловны. Мы знаем, что это письмо было отправлено с курьером в Гаагу

[1] См. в назв. соч., стр. 83—84. Текст списка д'Аршиака в военно-судном деле и списка в архиве Дантесов совершенно сходен, но есть разница в датах; первый датирован "27 Janvier entre 9½ et 10 h. du matin", а второй — "27 Janvier, 10 heures du matin".

[2] Назв. соч., стр. 84.

22 февраля 1837 года[1], но самое письмо нам неизвестно. Ввиду особой важности этого письма, Комиссия по изданию сочинений Пушкина, по моему ходатайству, приложила нарочитые старания к разысканию как этого письма, так равно и тех писем Николая Павловича к Анне Павловне, в которых могли бы оказаться упоминания об истории Пушкина. Нидерландский посланник в Петербурге барон Свергис де Ландас передал своему правительству просьбу о разыскании и сообщении названных писем; на эту просьбу был получен ответ: оказалось, что «ни в архиве королевского дома, ни в архиве кабинета королевы не нашлось никакого письма имп. Николая, относящегося к истории последних дней русского поэта». Директор же архива королевского дома сообщил, что письма Николая Павловича к Анне Павловне с 1820 по 1852 год были перевезены в Веймар великой герцогиней Софией Саксен-Веймарской. Сочтено было необходимым продолжать розыски — теперь уже в веймарских архивах. Соответствующая просьба была обращена к нашему посланнику в Дрездене, аккредитованному и при Веймарском дворе. Из хранящихся в велико-герцогском архиве писем императора Николая Павловича к Анне Павловне были извлечены и сообщены письма с 7—19 января по 31 мая (12 июня) 1837 года — всего четыре письма. Упоминание о Пушкине нашлось только в одном письме от 3 (15) февраля 1837 г. и занимает всего несколько строк:

«Пожалуйста, скажи Вильгельму, что я обнимаю его и на этих днях пишу ему, мне надо много сообщить ему об одном трагическом событии, которое положило конец жизни весьма известного Пушкина, поэта; но это не терпит любопытства почты». Так писал Николай Павлович своей сестре. Важное значение его письма к Вильгельму Оранскому для истории дуэли не подлежит никакому сомнению. С тем большим сожалением приходится констатировать, что поиски этого письма были безрезультатны. По сообщению голландского министерства, этого письма не оказалось в архивах королевского дома и кабинета королевы. Не оказалось его и в веймарских архивах. Сохранилось ли оно? Не уничтожено ли по соображениям щепетильности? Или же, по этим соображениям, не считается ли оно не подлежащим ни оглашению, ни даже ведению? Будем все-таки надеяться, что со временем этот пробел в источниках для биографии Пушкина будет заполнен.

Раз начата речь о неизвестных нам, но со временем могущих стать известными биографических источниках, нелишне поставить вопрос и о тех материалах, которые были под руками у графа Бенкендорфа. Мы уже знаем о переписке с ним В. А. Жуковского, известной нам по черновым последнего. Значит, где-нибудь находятся же подлинники, если, конечно, они сохранились. Кроме того, надо думать, что всеведущее III отделение, которое по всякому поводу собирало сведения и составляло доклады, имело в своем распоряжении какие-либо материалы и документы по этому делу. Наконец, вероятно, что граф А. Х. Бенкендорф по своему обыкновению сделал какой-либо письменный доклад государю. Наши розыски не дали никаких результатов. В архиве департамента полиции или, вернее, в архиве III отделения мы не могли найти никакого досье о смерти

---

[1] См. назв. статью *Н. В. Чарыкова* — «Пушкин и его современники», вып. XI (1909), стр. 66.

Пушкина. Дел III отделения о Пушкине, как известно, довольно много, но о смерти его в них нет ничего. Никаких подходящих сюда дел мы не могли подыскать и по алфавиту за 1837 год. Впрочем, такой результат еще не приводит к выводу, что интересующих нас документов не было или не сохранилось. Быть может, розыски и увенчаются успехом, если будут производиться в более свободных условиях. Думается, что со временем и в собственной его величества библиотеке могут быть найдены материалы, касающиеся истории дуэли и смерти Пушкина. Надо надеяться на заполнение и этих пробелов.

И действительно, после революции 1917 года открылся нам и секретный архив III отделения, неведомый до тех пор исследователям. В нем оказалось небольшое досье по делу о смерти Пушкина — в папке 19 под № 739. Оно состоит из двух групп документов, каждая в особой белой обложке, с надписью «Письма по случаю смерти Пушкина», и «О присланных Пушкину безымянных записках». Все эти документы подверглись расследованию А. С. Полякова в книге «О смерти Пушкина» (по новым данным). Труды Пушкинского дома при Российской Академии наук. Пб., 1922.

В целях полноты собрания материалов о дуэли и смерти Пушкина мы даем место открытым в 1917 году документам секретного архива III отделения. «Письма по случаю смерти Пушкина» вошли в III отдел нашей книги. А собранный III отделением материал «О присланных Пушкину безымянных письмах» размещен в этом отделе, отчасти в IX. Материал этот свидетельствует о том, что III отделение, под давлением, очевидно, царя, сделало попытку выяснить тех, кто писал анонимные пасквили, но попытка была слишком поверхностна и непременной задачи выяснения не ставила. Просто для отвода глаз.

ДОКУМЕНТЫ

I. КОНСПЕКТИВНЫЕ ЗАМЕТКИ В. А. ЖУКОВСКОГО О ДУЭЛИ ПУШКИНА

По описанию Б. Л. Модзалевского, в собрании А. Ф. Онегина под № 25 в серии «Документы из бумаг Жуковского» значится «5 записок Жуковского, в виде конспективных заметок на память, о времени, предшествовавшем дуэли Пушкина, и о самой дуэли».

Из пяти записок две совершенно незначительны. На одной написан только ряд фамилий: «Данзас Плетнев Вяземская Вяземский Мещерский Карамзина Даль Вьельгорский Спасский Одоевский»; последняя записанная фамилия «Краевский» зачеркнута. Все названные тут лица играют ту или иную роль в течение смертных дней Пушкина. Другая записка — набросанный рукою Жуковского сначала карандашом, а потом воспроизведенный чернилами конспектик к письму Жуковского к графу А. Х. Бенкендорфу: «Разбор сделан. Расположение. Протестую. Донос на меня. Что буду делать с ним. Что же оказалось мое положение. Что оказалось о Пушкине. Его смерть. Слухи — студенты мещане купцы речи. Граф Строганов» и т. д. Заметки относятся к напечатанной нами объяснительной записке

графу Бенкендорфу и никакого значения при наличности полного текста не имеют.

Зато остальные три записки представляют первостепенный интерес для истории обстоятельств, предшествовавших дуэли. В них ценно для нас каждое слово Жуковского, и жаль, что многих его упоминаний нельзя расшифровать. Они были понятны писавшему, но для нас недоступны. Эти заметки положены в основу нашего изложения истории дуэли и потому приводятся здесь без комментариев. Воспроизводим их с буквальной точностью.

1.

4 ноября. Les lettres anonymes.

6 ноября. Гончаров у меня — моя поездка в Петербург. К Пушкину. Явление Геккерна. Мое возвращение к Пушкину. Остаток дня у Вьельгорского и Вяземского. Вечером письмо Загряжской.

7 ноября. Я поутру у Загряжской. От нее к Геккерну. (Mes antécédents. Неизвестное <незнание. — *Я. Л.*> совершенное прежде бывшего). Открытия Геккерна. О любви сына к Катерине (моя ошибка насчет имени), открытие о родстве; о предполагаемой свадьбе. — Мое слово. — Мысль все остановить. — Возвращение к Пушкину. Les révélations. Его бешенство. — Свидание с Геккерном. Извещение его Вьельгорским. Молодой Геккерн у Вьельгорского.

8. Pourparlers. Геккерн у Загряжской. Я у Пушкина. Большое спокойствие. Его слезы, то что я говорил о его отношениях.

9. Les révélations de Heckern. — Мое предложение посредничества. Сцена втроем с отцом и сыном. Мое предложение свидания.

10. Молодой Геккерн у меня. Я отказываюсь от свидания. Мое письмо к Геккерну. Его ответ. Мое свидание с Пушкиным.

2.

После того как я отказался.

Присылка за мною Е. И. Что Пушк. сказал Александрине.

Мое посещение Геккерна.

Его требование письма.

Отказ Пушкина. Письмо, в котором упоминает о сватовстве.

Свидание Пушкина с Геккерном у Е. И.

Письмо Дантеса к Пушкину и его бешенство.

Снова дуэль. Секундант. Письмо Пушкина.

Записка Н.Н. ко мне и мой совет. Это было на (бале) рауте Фикельмона.

Сватовство. Приезд братьев.

После свадьбы. Два лица. Мрачность при ней. Веселость за ее спиной. —

Les Révélations d'Alexandrine.

При Тетке ласка к жене; при Александрине и других, кои могли бы рассказать, des brusqueries. Дома же веселость и большое согласие.

История кровати.

Le gaillard   très bien[1].

Vous m'avez porté bonheur.

---

[1] Пробел в подлинном автографе.

3.

Встал весело в 8 часов — после чаю много писал — часу до 11-го. С 11 обед. — Ходил по комнате необыкновен. весело пел песни — потом увидел в окно Данзаса в дверях встр. радостно. — вошли в кабинет, запер дверь, — через неск. минут посл. за пистолетами, — по отъезде Данзаса начал одеваться; вымылся весь, все чистое; велел подать бекешь; вышел на лестницу, — возвратился, — велел подать в кабинет большую шубу и пошел пешком до извощика. — это было ровно в 1 ч. — возвратился уже темно, в карете. Данзас входит, спр. барыня дома — вынесен из кареты людьми — Камердинер взял его в охапку. Грустно тебе нести меня попросил.

Жена встретилась в передней — дурнота — n'entrez pas Его положили на диван Горшок Раздели и все[1] Белье сам велел потом лег. У него все был Данзас. Жена вошла когда он был одет и когда уже послали за Арендтом — Задлер. — Арендт часу в девятом.

В понедельник приезд Геккерна и ссора на лестнице.

Получил деньги из Государств. казначейства 1-го февр. 10,000. Отдал графу Григорию Александровичу Строганову.

Третья страница не заполнена, на четвертой набросан рукою Жуковского план: «Спасение. О жене и брате. Арендт. Просит прощения уехал фельдъегерь прибытие Арендта Записка Исповедь и причащение. Страдание ночью Возвращение Арендта».

II. ПИСЬМО БАРОНА ГЕККЕРЕНА ЖУКОВСКОМУ.

9/21 Novembre 1836.

Monsieur,

Ayant été invité, par Mademoiselle de Zagriajsky, à passer chez elle, j'ai appris d'elle-même qu'elle était instruite de l'affaire au sujet de laquelle je vous écris aujourd'hui. Elle-même aussi m'a dit que les détails vous en étaient également connus, je ne puis donc croire commetre une indiscrétion en m'adressant à vous en ce moment. Vous savez, Monsieur, qu'une provocation de Monsieur de Pouchkine a été adressée à mon fils par mon entremise, que je l'ai acceptée en son nom, qu'il a ratifié cette acceptation et que tout cela a été déterminé entre Monsieur de Pouchkine et moi. Vous comprendrez facilement combien il importe à mon fils, et à moi, que ces faits soient admis d'une manière irrécusable; un homme d'honneur, lors même qu'il est injustement provoqué par un autre homme honorable, doit avant tout veiller à ce qu'il ne puisse être permis à personne au monde d'élever le moindre doute sur sa conduite en semblables circonstances. —

Ce devoir rempli, ma qualité de père m'impose une autre obligation que je crois ne pas être moins sacrée.

Ainsi que vous savez, Monsieur, tout jusqu'à tout ce jour s'est passé par l'entremise de tierces personnes. Mon fils à reçu une provocation, son premier devoir était de l'accepter, mais au moins doit-on lui dire, à lui-même, pour quel motif on l'a provoqué. Une entrevue me semble donc convenable, obligatoire, même entre les deux partis, en présence d'une personne qui comme vous, Monsieur, saurait intervenir entre elles par toute l'autorité d'une impartialité complète, et saurait apprécier le fondement réel

[1] Слово не разобрано.

de susceptibilités qui ont pu occasionner cette affaire. Au point où on est arrivé, après que chaque partie a su remplir ces devoirs d'homme d'honneur, j'aime à croire que votre médiation saura facilement désabuser de Pouchkine et pourra rapprocher deux hommes qui viennent de prouver qu'ils se doivent une estime mutuelle. Vous aurez ainsi accompli, Monsieur, une tâche bien honorable, et si je me suis adressé à vous en cette circonstance, c'est parce que vous êtes un des hommes pour lesquels je professe plus particulièrement les sentiments d'estime et de haute considération avec lesquels je suis, Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur

Baron de Heeckeren[1].

III. ПИСЬМО БАРОНА ГЕККЕРЕНА К Е. И. ЗАГРЯЖСКОЙ[2]

Depuis huit jours d'angoisses j'ai été si heureux et si tranquille hier au soir que j'ai oublié, Mademoiselle, de vous bien recommender de dire dans la conversation que Vous aurez aujourd'hui que le projet qui Vous occupe pour C. et mon fils existe depuis longtemps, que je m'y étais opposé pour les motifs à vous connus, mais que lorsque vous m'avez invité de passer chez vous pour m'entretenir de la dispute survenue, je vous avais declaré ne plus vouloir refuser mon consentement à condition toutefois de garder la chose secrète jusqu'après le Duel, puisque dès la provocation de P. l'honneur de mon fils compromis me faisait une loi de me taire. Voilà ce qui est essentiel car personne ne peut vouloir le deshonneur de mon Georges, d'ailleurs on le voudrait en vain on ne réussira jamais à l'obtenir. De grace, Mademoiselle, envoyez-moi de suite un mot après votre conversation, mes terreurs m'ont repris et je suis dans un état difficile à decrire.

Vous savez aussi qu'avec P. je ne vous ai pas autorisé à parler, que c'est de vous même que vous le faites pour sauver les vôtres.

Mes respectueux hommages

Vendredi matin. B. de Heeckeren.

Копия, сделанная рукою Жуковского на зеленоватом листке почтовой бумаги на 2 страницах, находится в собрании А. Ф. Онегина и зарегистрирована в описании Б. Л. Модзалевского под № 12 в серии «Документы из бумаг Жуковского». Пятница приходилась в ноябре 1836 года на 6, 13 и 20: это письмо надо, следовательно, датировать 13 ноября.

IV. ПИСЬМО БАРОНА ЖОРЖА ГЕККЕРЕНА ПУШКИНУ[3]

Monsieur,

Le B-on de H. vient de me dire qu'il a été autorisé par M.[4] de me faire savoir que toutes les raisons, pour lesquelles vous m'avez provoqué, avaient cessé, et que par conséquent je pouvais considérer cet acte de votre part comme non avenu. –

Lorsque vous m'avez provoqué, sans me dire pourquoi, j'ai accepté sans hésiter, car l'honneur m'en faisait un devoir; aujourd'hui que vous assurez

---

[1] Перевод этого письма дан в 8-й главе исследования, стр. 81—82.
[2] Перевод см. в 8-й главе исследования, стр. 84—85.
[3] Перевод см. в 9-й главе исследования, стр. 89.
[4] Фамилия, к сожалению, осталась неразобранной.

n'avoir plus de motifs à désirer une rencontre, avant de pouvoir vous rendre votre parole, je désire savoir pourquoi vous avez changé d'idées n'ayant chargé personne de vous donner des explications que je me réservais de vous donner moi-même. – Vous serez le premier à convenir qu'avant de nous retirer, il faut que les explications de part et d'autre soient données de manière à pouvoir par la suite nous estimer mutuellement.

Georges de Heeckeren.

V. ЗАМЕТКИ БАРОНА ЖОРЖА ГЕККЕРЕНА[1]

Monsieur le Baron Georges de Heeckeren ayant accepté la provocation en duel que je lui ai fait parvenir par l'entremise du Baron de Heeckeren, je prie Mr. G. de H. de vouloir bien regarder cette provocation comme non avenue, m'étant persuadé, par hazard, par le bruit public que les motifs qui dirigeaient la conduite de Monsieur G. de H.n'étaient pas de nature à porter atteinte à mon honneur, seul motif pour lequel je m'étais cru forcé de le provoquer. –

Note de M-r G. de H.

Je ne puis et ne dois consentir à ce que la phrase concernant M-lle de G. se trouve dans la lettre: mes raisons les voici, et je pense que M-r de Pouchkine les comprendra; à la manière dont la question est posée dans la lettre on pourrait en conclure ceci.

«Épouser ou se battre». Comme mon honneur me défend de recevoir des conditions, cette phrase me mettrait dans la triste obligation d'accepter la dernière proposition. J'insisterais encore pour prouver que cette raison de mariage ne peut se trouver dans la lettre, car moi je me suis toujours réservé de faire cette proposition après le duel, si toutefois les chances en avaient été favorables pour moi. Il faut donc qu'il soit bien constaté que ce n'est ni comme satisfaction ni comme arrangement que je demandrais M-lle Catherine, mais bien parce qu'elle me plait, que c'est mon désir et que cela a été décidé par ma seule volonté!

Эти две заметки писаны рукою барона Жоржа Геккерена, одна под другою, на одном и том же листке бумаги, сохраняющемся в архиве барона Геккерен-Дантес.

VI. ПИСЬМО Е. И. ЗАГРЯЖСКОЙ В. А. ЖУКОВСКОМУ

Слава богу кажется все кончено. Жених и почтенной его Батюшка были у меня с предложением. К большому щастию за четверть часа пред ними приехал из Москвы старшой Гончаров и он объявил им Родительское согласие, и так все концы в воду. Сегодня жених подает просбу по форме о позволении женидьбы и завтра от невесте поступаить к императрице. Теперь позвольте мне от всего моего сердца принести вам мою благодарность и простите все мучении, которые вы претерпели во все сие бурное время, я бы сама пришла к вам, чтоб от благодарить но право сил нету.

Честь имею быть с истинным почтением и с чувствительною благодарностию по гроб мой

К. Загряжская.

---

[1] Перевод см. в 9-й главе исследования, стр. 88.

Письмо на почтовой бумаге малого формата (“J. Whatman Turkey Mill 1835” — водяные знаки). На 4-й стр. адрес: Его Превосходительству Милостивому Государю Василию Андреевичу Жуковскому. Находится в собрании А. Ф. Онегина, куда поступило уже после составления описания Б. Л. Модзалевского.

VII. УСЛОВИЯ ДУЭЛИ ПУШКИНА И БАРОНА ГЕККЕРЕНА-ДАНТЕСА[1]

Печатаемый ниже документ составлен на французском языке в 2½ часа дня 27 января 1837 года секундантами виконтом Даршиаком и инженерным подполковником К. К. Данзасом, в двух экземплярах. Один находился в руках Даршиака, другой — Данзаса. В архиве барона Геккерен-Дантес сохранился первый экземпляр; копия со второго была приложена князем П. А. Вяземским к письму к великому князю Михаилу Павловичу. Подлинник оказался в бумагах П. И. Бартенева и воспроизведен факсимиле только в 1924 году в книге «Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина». «Атеней». 1924. Текст, конечно, одинаков. Разница только в том, что в первом экземпляре на первом месте в заголовке стоит фамилия Геккерена, а первая подпись сделана Даршиаком, а во втором документе первой помянута фамилия Пушкина, а первым подписался Данзас.

Воспроизводим документ по тексту архива барона Геккерен-Дантес.

Conditions du duel entre Monsieur le Baron Georges de Heeckeren et Monsieur de Pouchkine.

1. Les deux adversaires seront placés à vingt pas de distance, à cinq pas chacun des deux barrières qui seront distantes de dix pas entre elles.

2. Armés chacun d’un pistolet, à un signal donné, ils pourront en s’avançant l’un sur l’autre, sans cependant dans aucun cas dépasser la barrière, faire usage de leurs armes.

3. Il reste convenu en outre qu’un coup de feu parti, il ne sera plus permis à chacun des deux adversaires de changer de place pour que celui des deux qui aura tiré le premier essuie dans tous les cas le feu de son adversaire à la même distance.

4. Les deux parties ayant tiré, s’il n’y a point de résultat on recommencera l’affaire comme la première fois, en remettant les adversaires à la même distance de vingt pas, et en conservant les mêmes barrières et les mêmes conditions.

5. Les témoins seront les intermédiaires obligés de toute explication entre les adversaires sur le terrain.

6. Les témoins de cétte affaire, soussignés, chargés de pleins pouvoirs, garantissent sur l’honneur la stricte exécution des conditions ci-dessus mentionnées chacun pour sa partie.

27 Janvier 1837, 2½ de l’après-midi
signé: Vicomte d’Archiac, Attaché à l’Ambassade de France
Constantin Danzas, Lieutenant-Colonel de Génie.

[1] Перевод см. стр. 131.

VIII. ОБЪЯСНЕНИЯ БАРОНА ЖОРЖА ГЕККЕРЕНА НА СУДЕ

Ответы Дантеса на вопросы, чинимые ему комиссией военного суда, находятся в военно-судном деле[1]. Они писаны по-русски и лишь подписаны Дантесом: «К сему объяснению подсудимый поручик барон Д. Геккерен руку приложил». В архиве барона Геккерен-Дантес сохранились собственноручные автографы некоторых объяснений Дантеса, написанные наспех и с трудом разбираемые. Так как русский текст их давно оглашен[1], то французские подлинники в настоящем издании книги опускаются. Первая страница ответов Геккерена дается нами в факсимиле.

В секретном архиве III отделения оказалось письмо барона Жоржа Геккерена к полковнику Бреверну, бывшему презусом (председателем) военно-судной комиссии по делу о дуэли. Письмо являлось частным обращением по официальному делу. Самое пикантное, что оно оказалось в III отделении.

Очевидно, между презусом комиссии и начальником III отделения существовал какой-то альянс. Приводим это письмо в переводе, сделанном А. С. Поляковым.

Оригинал дан в его книге.

«Господин полковник!

Я только что узнал от моей жены, что при madame Валуевой в салоне ее матери он говорил следующее: «Берегитесь, Вы знаете, что я зол и что я кончаю всегда тем, что приношу несчастье, когда хочу». Она также только что мне рассказала о двух подробностях, которых я не знал. Вот почему я Вам пишу это письмо в надежде, что оно, может быть, даст еще некоторые объяснения насчет этого грязного дела.

Со дня моей женитьбы каждый раз, когда он видел мою жену в обществе madame Пушкиной, он садился рядом с ней и на замечание относительно этого, которое она ему однажды сделала, ответил: «Это для того, чтобы видеть, каковы вы вместе и каковы у вас лица, когда вы разговариваете». Это случилось у французского посланника на балу за ужином в тот же самый вечер. Он воспользовался, когда я отошел, моментом, чтобы подойти к моей жене и предложить ей выпить за его здоровье. После отказа он повторил то же самое предложение, ответ был тот же. Тогда он, разъяренный, удалился, говоря ей: «Берегитесь, я Вам принесу несчастье». Моя жена, зная мое мнение об этом человеке, не посмела тогда повторить разговор, боясь истории между нами обоими.

В конце концов он совершенно добился того, что его стали бояться все дамы; 16 января, на следующий день после бала, который был у княгини Вяземской, где он себя вел обычно по отношению к обеим этим дамам, madame Пушкина на замечание Валуева, как она позволяет обращаться с нею таким образом подобному человеку, ответила:

[1] Дуэль Пушкина с Дантесом-Геккереном. Подлинное военно-судное дело. Спб., 1900, стр. 41—44, 74—75.

«Я знаю, что я виновата, я должна была бы его оттолкнуть, потому что каждый раз, когда он обращается ко мне, меня охватывает дрожь». Того, что он ей сказал, я не знаю, потому что m-me Валуева передала мне начало разговора. Я вам даю отчет во всех этих подробностях, чтобы Вы могли ими воспользоваться, как вы находите нужным, и чтобы Вам дать понятие о той роли, которую играл этот человек в вашем маленьком кружке. Правда, все те лица, к которым я Вас отсылаю, чтобы почерпнуть сведения, от меня отвернулись с той поры, как простой народ побежал в дом моего противника, без всякого рассуждения и желания отделить человека от таланта. Они также хотели видеть во мне только иностранца, который убил их поэта, но здесь я взываю к их честности и совести, и я их слишком хорошо знаю и убежден, что я их найду такими же, как я о них сужу.

С величайшим почтением г. полковник, имею честь быть Вашим нижайшим и покорнейшим слугой.

Барон Георг Геккерен.

Петербург 26 февраля 1837.

Господину полковнику Бреверну [флигель] адъютанту его императорского величества. Петербург. От барона Геккерена».

А. С. Поляков дал анализ и комментарий к этому письму. К его замечаниям добавим следующее. Хронология Дантеса очень точна.

Он пишет: «16 января, на следующий день после бала, который был у княгини Вяземской»... Совершенно точно: А. И. Тургенев записал о бале у Вяземских, бывшем именно 15 января... «Детский бал у кн. Вяземской (день рожденья Наденьки), любезничал с детьми, маменьками и с гувернантками. Стихи Пушкина к гр. Закревской. Вальсировал. Барант о Benj. Constant... Пушкина и сестры ее». Запись, намекающая на какой-то инцидент: Пушкина и сестры ее. Бал у Баранта, о котором идет речь в письме Дантеса, был 14 января. Опять А. И. Тургенев записал под этим числом: «Бал у французского посла. Прелесть и роскошь туалетов. Пушкина и сестры ее, сватовство...» Угрозу Пушкина, о которой Дантес упоминает в начале письма (Пушкин говорил «Берегитесь» и т. д.), едва ли не нужно возвести к тем словам, которые, по свидетельству Жуковского, Пушкин говорил княгине Вяземской: «Я знаю автора анонимных писем, и через неделю вы услышите, как будут говорить о мести, единственной в своем роде» (см. нашей книги стр. 99).

Об угрозе Пушкина сообщила Дантесу его жена со слов m-me Валуевой.

M-me Валуева — дочь княгини Вяземской, Марья Петровна, — могла слышать об этом от матери или даже и сама присутствовать при разговоре Пушкина с матерью.

IX. ПИСЬМА БАРОНА ГЕККЕРЕНА ГРАФУ К. В. НЕССЕЛЬРОДЕ

Подлинные письма хранились в общем архиве министерства иностранных дел. Подлинный, французский текст опубликован впервые в первом издании настоящей книги, а в русском переводе они опубликованы были еще раньше в статье П. Е. Щеголева: «Дуэль Пушкина с Дантесом» («Историч. вестн.», 1905 г., март) и в книге: «Пушкин». Очерки (Спб., 1912) и в этом же переводе даются в настоящем издании.

При первых двух письмах (от 28 и 30 января 1837 года) барон Геккерен препроводил графу Нессельроде все документы, которые должны были поселить в императоре Николае и графе Нессельроде убеждение, что Дантес не мог поступить иначе, чем поступил. Барон Геккерен очень дорожил этими документами и, не получив их до своего отъезда, настойчиво требовал их возвращения. Из Гааги он писал 27 мая н. ст. 1837 года своему заместителю в Петербурге Геверсу: «Будьте добры отправиться от моего имени к графу Нессельроде и скажите ему, что я не нашел здесь бумаг, которые он обещал мне выслать и которые касаются события, заставившего меня покинуть Россию. Эти бумаги моя собственность, и я не допускаю мысли, чтобы министр, давший формальное обещание их возвратить, пожелал меня обмануть. Потребуйте их и пошлите их мне немедленно же: документов числом пять».

Из официальных документов мы знаем, что презус военно-судной комиссии по делу о дуэли полковник Бреверн 8 февраля получил от графа Нессельроде два полученных им от барона Геккерена письма Пушкина: одно — от 17 ноября 1836 года и другое — от 26 января 1837 года.

9 февраля эти письма были доложены в комиссии; с них были сняты копии, а подлинники, по требованию графа Нессельроде от 28 апреля того же года, были возвращены сему последнему 1 мая[1].

26 мая граф Нессельроде отправил нашему посланному в Гааге пакет с документами для вручения барону Геккерену.

Барон Геккерен передал графу Нессельроде пять документов; в военно-судную комиссию Нессельроде передал только два документа из пяти.

Три документа остаются нам неизвестными.

Что они заключали?

Если бы они говорили что-либо в пользу Пушкина, Геккерен, конечно, не передал бы их Нессельроде. Но почему Нессельроде не препроводил эти три документа в судную комиссию?

Возможно одно предположение: не заключали ли они что-либо, компрометирующее Пушкина или жену?

Мы никак не можем согласиться с автором биографии Дантеса в «Сборнике биографий кавалергардов 1825—1904 гг.» (Спб., 1908, стр. 91), предполагающим, что «остальные три документа были черновые трех записок д'Аршиака Пушкину с требованием указать своего секунданта.

---

[1] См.: Дуэль Пушкина с Дантесом-Геккереном. Подлинное военно-судное дело 1837 года. Спб., 1900, стр. 48, 50—52 и «Пушкин. Документы Госуд. Спб. главного архива мин. ин. дел». Спб., стр. 58—59.

Черновики эти не были переданы Нессельродом суду именно потому, что д'Аршиак принадлежал к дипломатическому кругу». Во-первых, такое предположение представляется совершенно произвольным; во-вторых, Нессельроде вручал документы презусу 8 февраля, а д'Аршиак уехал за границу 2 февраля; в-третьих, никакой компрометации д'Аршиака от передачи его черновых писем не могло произойти, ибо беловые-то находились в бумагах Пушкина и могли быть все равно доложены суду, как это и случилось, правда, несколько позже.

Из двух поступивших в суд документов подлинник одного оказался в архиве потомков Дантеса. Где находится подлинник другого — именно письма Пушкина к барону Геккерену от 26 января 1837 г. («Переписка Пушкина», т. III, стр. 444, № 1138) и где находятся три неизвестных нам документа, выяснить нам не удалось.

В секретном досье III отделения нашлось письмо барона Геккерена Жоржу Геккерену. Вряд ли это письмо из числа трех документов, представленных Геккереном-старшим графу Нессельроде. Оно могло попасть в III отделение и помимо воли Геккерена. Это письмо перепечатывается в XII разделе этой главы.

1.

Господин граф! Имею честь представить вашему сиятельству прилагаемые при сем документы, относящиеся до того несчастного происшествия, которое вы благоволили лично повергнуть на благоусмотрение его императорского величества.

Они убедят, надеюсь, его величество и ваше сиятельство в том, что барон Геккерен был не в состоянии поступить иначе, чем он это сделал.

Примите уверения и проч.

Барон де Геккерен

С.-Петербург. 28 января 1837 г.

2.

Вот, граф, документ, которого не хватало в числе тех, что я уже имел честь вам вручить.

Окажите милость, соблаговолите умолить государя императора уполномочить вас прислать мне в нескольких строках оправдание моего собственного поведения в этом грустном деле; оно мне необходимо для того, чтобы я мог себя чувствовать вправе оставаться при императорском дворе, я был бы в отчаянии, если бы должен был его покинуть; мои средства невелики, и в настоящее время у меня семья, которую я должен содержать. Примите уверения и проч.

Барон де Геккерен

Суббота, утро[1].

---

[1] Первая суббота вслед за 28 января 1837 года — датой первого письма — приходилась 30 января.

3.

Тысяча благодарностей, граф, за дружеское письмо, которое вы мне только что написали. Я увидел здесь то благорасположение, которому многочисленные доказательства вы мне давали в течение многих лет. Но слишком поздно, моя просьба отправлена. Вчера я просил короля соизволить на мое отозвание, и сегодня дубликат этой просьбы отправляется почтой. Я чувствую, что я должен был сделать то, что сделал, и совершенно не жалею об этом. Я рассчитываю получить от вас известие в ближайшую субботу и поэтому я буду иметь, быть может, удовольствие вас видеть.

Примите и проч.

Барон де Геккерен.

3 февраля 1837 г.

4.

Неофициально.

С.-Петербург 1 (13) марта 1837 г.

Господин граф!

После события, роковой исход которого я оплакиваю более, чем кто бы то ни было, я не предполагал, что должен буду обратиться к вам с письмом, подобным настоящему. Но раз я вижу, что вынужден сделать это, у меня мужества хватит. Честь моя, и как частного человека, и как члена общества, оскорблена, и я не замедлю дать вам некоторые объяснения.

Когда после кончины Пушкина мой сын был арестован, как совершивший уголовное преступление, предусмотренное законом, чувства самой элементарной порядочности не допускали меня бывать в обществе. Такое поведение, вполне естественное при данных обстоятельствах, было неверно истолковано; его сочли за молчаливое сознание какой-то вины, которую я будто бы чувствовал за собою во всем совершившемся. Многоуважаемый граф! Моя совесть смело заявляет, что я ни на одну минуту не переставал поступать так, как должно, и ваше сиятельство разделите это убеждение, если пожелаете уделить мне несколько минут своего внимания. Итак, общество не нашло бы неприличным, если бы я при подобных обстоятельствах стал принимать участие во всех его развлечениях, посещал все балы, привлекал на себя всеобщее внимание и тем поддерживал живость воспоминаний, еще не успевших улечься. Значит, меня упрекают в том, за что должны были бы, казалось, чувствовать признательность.

Единственным моим ответом на подобные инсинуации могло бы быть появление снова в обществе. Я заставил бы умолкнуть в себе голос крови; я сумел бы не отдаться во власть своему семейному горю и тревогам. Вооруженный сознанием исполненного долга, я явился бы, чтобы лично отражать нападки, на которые мне нельзя долее отвечать презрением, хотя они порождены лишь праздностью или недоброжелательством, от которого меня могло бы избавить мое прошлое во время столь долгого пребывания в столице.

Но клевета могла дойти до сведения государя; она могла поселить на мой счет некоторые сомнения в уме августейшего монарха; боязнь

этого оправдывает объяснения, которыми я хочу отразить обвинения, павшие на меня.

Итак, я должен положиться только на самого себя, чтобы опровергнуть клевету, предметом которой я сделался.

Я якобы подстрекал моего сына к ухаживаниям за г-жею Пушкиной. Обращаюсь к ней самой по этому поводу. Пусть она покажет под присягой, что ей известно, и обвинение падет само собой. Она сама сможет засвидетельствовать, сколько раз предостерегал я ее от пропасти, в которую она летела, она скажет, что в своих разговорах с нею я доводил свою откровенность до выражений, которые должны были ее оскорбить, но вместе с тем и открыть ей глаза; по крайней мере, я на это надеялся.

Если г-жа Пушкина откажет мне в своем признании, то я обращусь к свидетельству двух особ, двух дам, высокопоставленных и бывших поверенными всех моих тревог, которым я день за днем давал отчет во всех моих усилиях порвать эту несчастную связь (pour rompre cette funeste liaison).

Мне возразят, что я должен бы был повлиять на сына? Г-жа Пушкина и на это могла бы дать удовлетворительный ответ, воспроизведя письмо, которое я потребовал от сына, — письмо, адресованное к ней, в котором он заявлял, что отказывается от каких бы то ни было видов на нее. Письмо отнес я сам и вручил его в собственные руки. Г-жа Пушкина воспользовалась им, чтобы доказать мужу и родне, что она никогда не забывала вполне своих обязанностей.

Есть и еще оскорбление, относительно которого, вероятно, никто не думает, чтобы я снизошел до оправданий, а потому его никто и не нанес мне прямо: однако примешали мое имя и к другой подлости — анонимным письмам! В чьих же интересах можно было бы прибегнуть к этому оружию, оружию самого низкого из преступников, отравителя? В интересах моего сына, или г. Пушкина, или его жены? Я краснею от сознания одной необходимости ставить такие вопросы. Кого же задели, кроме того, эти инсинуации, нелепые и подлые вместе? Молодого человека, который обвиняется в тяжком уголовном преступлении и о котором я дал себе слово молчать, так как его участь зависит от милосердия монарха.

Мой сын, значит, тоже мог бы быть автором этих писем? Спрошу еще раз: с какою целью? Разве для того, чтобы добиться большого успеха у г-жи Пушкиной, для того, чтобы заставить ее броситься в его объятия, не оставив ей другого исхода, как погибнуть в глазах света отвергнутой мужем? Но подобное предположение плохо вяжется с тем высоконравственным чувством, которое заставляло моего сына закабалить себя на всю жизнь, чтобы спасти репутацию любимой женщины. Или он хотел вызвать тем поединок, надеясь на благоприятный исход? Но три месяца тому назад он рисковал тем же, однако, будучи далек от подобной мысли, он предпочел безвозвратно себя связать с единственной целью — не компрометировать г-жу Пушкину; я не думаю, чтобы можно было дойти до отрицания личной его храбрости; ему суждено было дать тому печальное доказательство.

Я покончил с этим чудовищным собранием гнусностей, которым не удалось отнять у меня мужества ответить на все. Мне остается, граф, только доказать, что дуэль не могла не состояться.

Из уважения к могиле я не хочу давать оценку письма, которое я

получил от г. Пушкина; если бы я представил его содержание, то было бы видно, как он, с одной стороны, приписывает мне позорное потворство, а с другой — запрещает мне делать родительские внушения его жене; можно пожелать, ради памяти Пушкина, чтобы это письмо не существовало. Мог ли я оставить его без ответа или спуститься на уровень подобного послания? Повторяю, что дуэль была неизбежна. Теперь, кто же должен был быть противником г. Пушкина? Если я сам, то, как победитель, я обесчещивал бы своего сына; злословие распространило бы повсюду, что я сам вызвался, что уже раз я улаживал дело, в котором сын мой обнаружил недостаток мужества; если же я был бы жертвою, то мой сын не замедлил бы отомстить мою смерть, и его жена осталась бы без опоры. Я это понял, а он просил у меня, как доказательства моей любви, позволения заступить мое место. Каждый порядочный человек был бы вполне убежден в роковой необходимости этой встречи.

Кончаю, граф, мое письмо, и так уже слишком длинное. Если всего того, что я изложил вашему сиятельству, недостаточно, чтобы выставить всю презренность взведенных на меня обвинений, я соглашаюсь, вручив мои отзывные грамоты, остаться в стране, как частный человек, и все мое поведение поставить в зависимости от результата следствия, просить о назначении которого прямо в моих интересах. Не обладая собственными средствами, я без жалоб оставляю почетный и выгодный пост. Хотя моя будущность и не обеспечена, я ничего не требую, я не надеюсь ни на что, но я не могу добровольно согласиться на потерю уважения монарха, перед которым я так долго имел счастие быть представителем интересов моего государя и моей страны. Единственно с этой целью я решился обратиться к вам с этим письмом.

Я не имею прав на благоволение его императорского величества, хотя я и получил тому доказательства, исполнившие меня признательностью, но совесть моя мне говорит, что я никогда не переставал быть достойным его уважения; в этом все мое честолюбие; оно велико, конечно, но я осмеливаюсь сказать, что все мое поведение всегда его оправдывало, и я осмеливаюсь надеяться, многоуважаемый граф, что вы соблаговолите довести о нем до сведения государя.

Имею честь быть с уважением вашим почтительным и покорным слугой

Барон де Геккерен.

X. ПИСЬМА БАРОНА ГЕККЕРЕНА БАРОНУ ВЕРСТОЛКУ

1

Копия.

С.-Петербург, 11 февраля (30 января) 1837 г.

Господин барон!

Грустное событие в моем семействе заставляет меня прибегнуть к частному письму, чтобы сообщить подробности о нем вашему пре-

восходительству. Как ни печален был его исход, я был поставлен в необходимость поступить именно так, как я это сделал, и я надеюсь убедить в том и ваше превосходительство простым изложением всего случившегося.

Вы знаете, барон, что я усыновил одного молодого человека, жившего много лет со мною, и он носит теперь мое имя. Уж год, как мой сын отличает в свете одну молодую и красивую женщину, г-жу Пушкину, жену поэта с той же фамилией. Честью могу заверить, что это расположение никогда не переходило в преступную связь, все петербургское общество в этом убеждено, и г. Пушкин также кончил тем, что признал это письменно и при многочисленных свидетелях. Происходя от одного африканского негра, любимца Петра Великого, г. Пушкин унаследовал от предка свой мрачный и мстительный характер (caractère ombrageux et vindicatif).

Полученные им отвратительные анонимные письма, около четырех месяцев тому назад, разбудили его ревность и заставили его послать вызов моему сыну, который тот принял без всяких объяснений.

Однако в дело вмешались общие друзья. Сын мой, понимая хорошо, что дуэль с г. Пушкиным уронила бы репутацию жены последнего и скомпрометировала бы будущность его детей, счел за лучшее дать волю своим чувствам и попросил у меня разрешения сделать предложение сестре г-жи Пушкиной, молодой и хорошенькой особе, жившей в доме супругов Пушкиных; этот брак, вполне приличный с точки зрения света, так как девушка принадлежала к лучшим фамилиям страны, спасал все: репутация г-жи Пушкиной оставалась вне подозрений, муж, разуверенный в мотивах ухаживания моего сына, не имел бы более поводов считать себя оскорбленным (повторяю, клянусь честью, что он им *никогда и не был*), и, таким образом, поединок не имел бы уже смысла. Вследствие этого я полагал своей обязанностью дать согласие на этот брак. Но мой сын, как порядочный человек и не трус, хотел сделать предложение только после поединка, несмотря на то, что знал мое мнение на этот счет. Секунданты были выбраны обеими сторонами, как вдруг г. Пушкин написал им, что, будучи осведомлен *общей молвой* о намерениях моего сына, он не имеет более причин его вызывать, что считает его человеком храбрым и берет свой вызов обратно, прося г. Геккерена возвратить ему его слово и вместе с тем уполномочивая секундантов воспользоваться этим письмом по их усмотрению.

Когда это дело было, таким образом, покончено, я, как это принято между порядочными людьми, просил руки г-жи Гончаровой для моего сына.

Два месяца спустя, 10 (22) января, брак был совершен в обеих церквах в присутствии всей семьи. Граф Григорий Строганов с супругой, родные дядя и тетка молодой девушки, были ея посаженными отцом и матерью, а с моей стороны графиня Нессельроде была посаженной матерью, а князь и княгиня Бутера свидетелями.

С этого времени мы в семье наслаждались полным счастьем; мы жили, обласканные любовью и уважением всего общества, которое наперерыв старалось осыпать нас многочисленными тому доказательствами. Но мы старательно избегали посещать дом господина Пушкина, так как его мрачный и мстительный характер нам был слишком хорошо знаком. С той или другой стороны отношения ограничивались лишь поклонами.

Не знаю, чему следует приписать нижеследующее обстоятельство: необъяснимой ли ко всему свету вообще и ко мне в частности зависти, или какому-либо другому неведомому побуждению, но только прошлый вторник (сегодня у нас суббота), в ту минуту, когда мы собрались на обед к графу Строганову, и без всякой видимой причины, я получаю письмо от господина Пушкина. Мое перо отказывается воспроизвести все отвратительные оскорбления, которыми наполнено было это подлое письмо.

Все же я готов представить вашему превосходительству копию с него, если вы потребуете, но на сегодня разрешите ограничиться только уверением, что самые презренные эпитеты были в нем даны моему сыну, что доброе имя его достойной матери, давно умершей, было попрано, что моя честь и мое поведение были оклеветаны самым гнусным образом.

Что же мне оставалось делать? Вызвать его самому? Но, во-первых, общественное звание, которым королю было угодно меня облечь, препятствовало этому; кроме того, тем дело не кончилось бы. Если бы я остался победителем, то обесчестил бы своего сына; недоброжелатели всюду бы говорили, что я сам вызвался, так как уже раз улаживал подобное дело, в котором мой сын обнаружил недостаток храбрости; а если бы я пал жертвой, то его жена осталась бы без поддержки, так как мой сын неминуемо выступил бы мстителем. Однако я не хотел опереться только на мое личное мнение и посоветовался с графом Строгановым, моим другом. Так как он согласился со мною, то я показал письмо сыну, и вызов господину Пушкину был послан. Встреча противников произошла на другой день в прошлую среду. Дрались на пистолетах. У сына была прострелена рука навылет, и пуля остановилась в боку, причинив сильную контузию. Господин Пушкин был смертельно ранен и скончался вчера среди дня. Так как его смерть была неизбежна, то император убедил его умереть христианином, послал ему свое прощение и обещал позаботиться о его жене и детях.

Нахожусь пока в неизвестности относительно судьбы моего сына. Знаю только, что император, сообщая эту роковую весть императрице, выразил уверенность, что барон Геккерен был не в состоянии поступить иначе. Его жена находится в состоянии, достойном всякого сожаления. О себе уж не говорю.

Таков, барон, быстрый ход изложенного здесь события. Со следующей почтой сочту своим долгом прислать вашему превосходительству новые данные, могущие окончательно осветить в вашем сознании происшедшее, на тот случай, если бы вы пожелали довести до его величества этот отчет, вполне точный и беспристрастный.

Если что-нибудь может облегчить мое горе, то только те знаки внимания и сочувствия, которые я получаю от всего петербургского общества. В самый день катастрофы граф и графиня Нессельроде, так же, как и граф и графиня Строгановы, оставили мой дом только в час пополуночи.

Примите уверение и проч.

Подписано: *Барон де Геккерен*

2

С.-Петербург, 2 (14) февраля 1837 г.

Господин барон!

Я нахожусь в необходимости возвратиться к тому прискорбному событию, которое было предметом моего частного письма от 11 февраля.

Долг чести повелевает мне не скрыть от вас того, что общественное мнение высказалось при кончине г. Пушкина с большей силой, чем предполагали. Но необходимо выяснить, что это мнение принадлежит не высшему классу, который понимал, что в таких роковых событиях мой сын по справедливости не заслуживал ни малейшего упрека; его поведение было достойно честного человека и обнаруживает осмотрительность, несвойственную обыкновенно его возрасту и на которую сам он был бы, без сомнения, неспособен при других обстоятельствах.

Чувства, о которых я теперь говорю, принадлежат лицам из третьего сословия, если так можно назвать в России класс промежуточный между настоящей аристократией и высшими должностными лицами, с одной стороны, и народной массой, совершенно чуждой событию, о котором она и судить не может, — с другой. Сословие это состоит из литераторов, артистов, чиновников низшего разряда, *национальных* коммерсантов высшего полета и т. д. Смерть г. Пушкина открыла, по крайней мере, власти существование целой партии, главой которой он был, может быть, исключительно благодаря своему таланту, в высшей степени народному. Эту партию можно назвать реформаторской: этим названием пользуются сами ее члены. Если вспомнить, что Пушкин был замешан в событиях, предшествовавших 1825 году, то можно заключить, что такое предположение не лишено оснований.

Вынос тела почившего в церковь должен был состояться вчера днем, но, чтобы избежать манифестаций при выражении чувств, обнаружившихся уже в то время, как тело было выставлено в доме покойного, — чувств, которые подавить было бы невозможно, а поощрять их не хотели, — погребальная церемония была совершена в час пополуночи. По этой же причине участвующие были приглашены в церковь при Адмиралтействе, а отпевание происходило в Конюшенной церкви.

Очень может быть, что нескольких дней будет достаточно, чтобы утишить это волнение, тем более, что оно не выразилось ни разу угрожающим образом; одним словом, это был просто взрыв чувства и гордости народной, затронутых личностью поэта, самого популярного в России. В то время, как честь литератора охранялась почитателями, честь частного человека насчитывала лишь немногих друзей. Сказанное мною есть дань, которую я, думается, могу отдать истине, не нарушая тем уважения к могиле.

Все-таки, ваше превосходительство, признаете, что я ничего не скрываю, даже, может быть, сам склонен преувеличивать значение происходящего. Как бы то ни было, считаю своим суровым долгом поставить вас в известность об истинном положении вещей в ту минуту, как я могу опасаться, что уже буду не в состоянии служить моему монарху здесь так, как моя честь и мои чувства к родине мне повелевают и как, смею надеяться, я имел счастие служить до сих пор.

Его величество решит, должен ли я быть отозван, или могу поменяться местами с одним из моих коллег. Если мне, при настоящих обстоятельствах, в которых я лично заинтересован, позволено будет высказаться, то осмелюсь почтительнейше доложить, что немедленное отозвание меня было бы громогласным выражением неодобрения моему поведению. Я был бы этим глубоко огорчен, а что касается настоящего печального события, совесть моя говорит, что я не заслуживаю такого приговора, который сразу погубил бы всю мою карьеру, как общественного деятеля. Моим желанием было бы переменить резиденцию; эта мера, удовлетворяя настоятельной необходимости, доказала бы вместе с тем, что я не лишился доверия короля, моего августейшего повелителя, которым он удостаивал меня в течение стольких лет и потери которого, осмелюсь повторить, я не заслужил.

Как верный и преданный слуга, я буду ожидать приказаний его величества, будучи уверен, что отеческое попечение короля примет во внимание при данных обстоятельствах, которых ни изменить, ни предвидеть я не мог, тридцать один год моей беспорочной службы, крайнюю ограниченность моих личных средств и заботы о семье, для которой я служу в настоящее время единственной опорой; заботы эти в виду положения молодой жены моего сына не замедлят еще увеличиться.

Так как уже много лет я пользовался указаниями вашего превосходительства, то смею рассчитывать, господин барон, на вашу поддержку в настоящем случае. Ваше благоволение непрестанно придавало мне сил для служения государю; мне хотелось бы надеяться, что еще долго я смогу помогать вам в исполнении предначертаний нашего монарха к чести и благу нашей родины. Вы обладаете, барон, такой великой душой, что я могу быть уверенным в вашем одобрении моего поведения относительно этого рокового события, где чувство чести должно было заставить смолкнуть все другие соображения. Тот, кто не смог бы сам заставить себя уважать, имел ли бы право быть представителем государя, который являет собою нашей эпохе пример всех добродетелей и самой изумительной твердости?

Ваше превосходительство, поймите, с каким нетерпением я буду ожидать распоряжений, которых я теперь домогаюсь.

Примите уверения и проч.

Барон де Геккерен.

XI. КОПИЯ С ПИСЬМА БАРОНА ГЕККЕРЕНА К ЕГО ВЫСОЧЕСТВУ ПРИНЦУ ОРАНСКОМУ

Ваше высочество!

В эту минуту, когда меня поразило событие, роковое и неожиданное в одно и то же время, благоволение и, смею сказать, благорасположение, которым Вашему королевскому высочеству угодно было меня удостоить, позволяет и даже вменяет мне в обязанность ничего не скрывать от Вас, что касается доводов и последствий дуэли моего сына с г. Пушкиным.

Чтобы не утруждать Ваше королевское высочество подробностями, которые, будучи, однако, необходимыми, слишком бы растянули это

письмо, я беру на себя смелость приложить к нему копии писем, посланных мною по этому предмету министру иностранных дел. Пусть Ваше королевское высочество соблаговолит забыть на минуту свой высокий сан и в качестве только военного, только порядочного человека решит: возможно ли было как-либо иначе отразить подобные оскорбления? Еще раз прибегну к мнению Вашего высочества для того, чтобы судить, могу ли я оставаться при императорском дворе после всего случившегося. В петербургском обществе у меня есть и сторонники и хулители. Как честный человек, я бы остался, так как уверен, что правда рано или поздно восторжествует и привлечет общество на мою сторону, но, как должностное лицо, имеющее счастье быть представителем своего государя, я не вправе допустить ни малейшего порицания моему образу действий.

Итак, смею надеяться, что Ваше королевское высочество поддержит перед королем мою просьбу о переводе и назначении меня посланником при другом дворе, где бы я мог продолжать службу моему монарху и отечеству, посвящая им все свои силы.

Ваше королевское высочество одобрит меня, смею надеяться, и эта уверенность есть самое лучшее утешение в горе, при обстоятельствах, от которых страдала и страдает моя любовь к семье, а карьере угрожает опасность, именно в ту минуту, когда я менее всего мог этого ожидать.

Благосклонность Вашего королевского высочества всегда драгоценна и почетна, но теперь я особенно живо чувствую, сколько утешения заключается в сознании, что можешь надеяться на чувство дружеского расположения в лице судьи, так высоко поставленного благодаря своему сану, своим заслугам и благородству своей души.

Имею честь быть и т. д.

Барон де Геккерен.

2/15 февраля 1837 г.

XII. ПИСЬМО БАРОНА ГЕККЕРЕНА БАРОНУ ЖОРЖУ ГЕККЕРЕНУ

Французский подлинник этого письма впервые опубликован А. С. Поляковым в его книге «О смерти Пушкина». Пб., Гос. изд., 1922. Стр. 17.

Мы не можем разделить мнение А. С. Полякова о том, что эта записка служит доказательством непричастности Геккерена к пасквилю, полученному Пушкиным 4 ноября 1836 года. На нас эта записка производит странное впечатление какого-то воровского документа, написанного с специальными задачами и понятного только адресату.

Вот это письмо:

«Если ты хочешь говорить об анонимном письме, я тебе скажу, что оно было запечатано красным сургучом, сургуча мало и запечатано плохо. Печать довольно странная; сколько я помню, на одной печати имеется посредине следующей формы «А» со многими эмблемами вокруг «А». Я не мог различить точно эти эмблемы, потому что, я повторяю, оно было плохо запечатано. Мне кажется, однако, что там были знамена, пушки, но я в этом не уверен. Мне кажется, так

припоминаю, что это было с нескольких сторон, но я в этом также не уверен. Ради бога, будь благоразумен и за этими подробностями отсылай смело ко мне, потому что граф Нессельроде показал мне письмо, которое написано на бумаге такого же формата, как и эта записка. Мадам Н. и графиня Софья Б. тебе расскажут о многом. Они обе горячо интересуются нами. Да выяснится истина, это самое пламенное желание моего сердца. Твой душой и сердцем.

Б. де Г.

Почему ты спрашиваешь у меня все эти подробности? До свидания, спи спокойно.

VI. К ИСТОРИИ ДАНТЕСА. ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

В VI отделе нами собраны документы и материалы, выясняющие личность Дантеса и некоторых его сторонников и, следовательно, врагов Пушкина, освещающие положение Дантеса в Петербурге до дуэли и после дуэли и раскрывающие те взаимоотношения, которые установились между Дантесами и Гончаровыми, между Геккереном и Дантесами.

Материалы эти, не имея непосредственного касания к поединку, помогают нам понять обстановку, в которой развертывались печальные события, и глубже проникнуть в психологию людей, принимавших участие в этих событиях и своим отношением так или иначе влиявших на образ действий Пушкина. Документы, приводимые нами, имеют еще и следующее значение. Биографы Пушкина вменили себе в правило, рассказывая о дуэли, останавливаться на личности убийцы поэта и приводить биографические о нем сведения. «Фактического» в этих сведениях было очень мало, — вернее, почти не было, так как сведения являлись повторением многочисленных о Дантесе рассказов. Собранные нами документы значительно увеличивают фактическое содержание сведений о Дантесе, о появлении его в России, о связях его с посланником Геккереном, об отношениях его к Гончаровым и т. д.

Документы, приводимые в этом отделе, извлечены из двух хранилищ: частного, принадлежащего внуку Дантеса — барону Геккерену-Дантесу, и правительственного, в котором случайно сохранились копии некоторых писем. Теперь можно расшифровать название последнего архива. Это — тот секретный отдел архива министерства иностранных дел, в котором хранились перлюстрированные выписки из писем.

К материалам мы присоединили в первом издании и биографический очерк Дантеса, составленный его родственником г. Луи Метманом и с величайшей любезностью предоставленный им в наше распоряжение. В настоящем издании этот очерк дан в переводе с опущением некоторых подробностей, не имеющих никакого отношения ни к делу Пушкина и Дантеса, ни к биографии Дантеса.

На основании всех печатаемых здесь документов, биографического очерка г. Луи Метмана и печатных источников в первой части книги изложена нами краткая история жизненного поприща Дантеса.

В первом издании настоящей книги документы, составляющие этот отдел, приведены в подлиннике, французском тексте, в настоящем издании все документы предлагаются только в русском переводе. Те письма, которые целиком приведены в первой части в русском переводе, здесь опускаются.

1. К БИОГРАФИИ БАРОНА ЖОРЖА ДАНТЕСА
(до усыновления его бароном Геккереном).

1. Письмо Л. де Герляха — барону Ж. Дантесу[1]

2—3. Письма графа Адлерберга барону Дантесу[2]

4—7. Письма барона Дантеса-отца к барону Геккерену

4.

Сульц, Верхний Рейн,
21 декабря 1833.

Ваше превосходительство.

Не могу в достаточной степени выразить вам всю мою признательность за ту доброту, с которою вы относитесь к моему сыну, надеюсь, что он окажется достойным ее. Письмо вашего превосходительства совершенно успокоило меня, ибо не стану скрывать, что я тревожился за его судьбу. Я боялся, что с его открытым и доверчивым характером он завяжет знакомства, которые принесут ему вред; но благодаря вашей доброте, благодаря тому, что вы пожелали взять его под ваше покровительство и отнестись к нему как друг, я спокоен. Я надеюсь, что он сдаст экзамен успешно, так как в Сен-Сирскую школу он был принят четвертым (из 180, принятых вместе с ним). Благодаря вашей доброте и благосклонности его покровителей, я надеюсь, что он получит звание офицера.

С благодарностью принимаю предложение вашего превосходительства покрыть первые расходы по его экипировке и прошу вас не отказать сообщить мне сумму издержек, дабы я мог вернуть их вам немедленно.

Доброе расположение вашего превосходительства позволяет мне войти в подробности, из коих явствует все, что я могу сделать для сына в настоящую минуту.

У меня шестеро детей; старшая дочь замужем, но вследствие июльской революции муж ее оказался в таком положении, что не может содержать жену, и мне приходится поддерживать обоих. Они живут у меня. Второй сын оканчивает учение в Страсбурге, а младшая дочь живет в пансионе, что обходится мне весьма дорого. Я был вынужден приютить у себя сестру с детьми; вследствие той же революции она осталась совсем без средств, овдовев после смерти мужа, графа Бель-Иль, не оставившаго ей ничего, кроме долгов; Карл X выдавал ей пенсию из собственных средств в размере 6000 франков, которой она лишилась. У нее пять человек детей. Мое состояние заключается в ренте от 18 до 20 000 франков, обремененной разными повинностями. Сын прислал мне счет, согласно которому просит высылать ему ежемесячно от 800 до 900 франков, но я не в состоянии давать ему такой суммы. Кроме экипировки, которую я беру на себя всецело, я рассчитываю посылать ему 200 франков в месяц, что составит 100 луидоров, или 2400 франков в год; вместе с жалованием, при

---

[1] Это письмо напечатано на стр. 29 книги.
[2] Эти письма напечатаны на стр. 35 книги.

условии бережливости, этого ему должно хватить, ибо это составляет тройную сумму против того, что он получал бы, служа во Франции. Это научит его беречь деньги, ибо единственный недостаток, который я знаю за моим сыном, это его расточительность. Если ваше превосходительство найдет, однако, что этой суммы ему мало, я постараюсь в течение некоторого времени принести несколько большую жертву, но я не смогу выдержать этого долго. Еще раз прошу извинения за эти подробности, но дружеское письмо вашего превосходительства и благосклонность, которою ваше превосходительство удостаивает моего сына, дают мне на них право.

Военный министр спрашивал сына, как велико содержание, получаемое им от меня, — вероятно, с целью решить, к какой части его причислить. Если бы вашему превосходительству довелось увидеть г. военного министра, то я был бы весьма обязан вам сообщением ему той суммы, которую я выдаю сыну ежемесячно, а также и того, что я мог бы принести еще некоторую жертву для зачисления сына в императорскую гвардию.

Беру смелость присоединить к этому письму письмо для моего сына, написавшего мне о вашем разрешении пересылать ему письма в пакете на имя вашего превосходительства.

Еще раз прошу ваше превосходительство принять мою глубокую благодарность за доброе расположение к Жоржу.

Имею честь принести уверение в глубочайшем почтении к вашему превосходительству и остаюсь ваш покорный слуга

Барон Дантес.

5.

Сульц, 12 марта 1834.

Ваше превосходительство.

Я узнал из сообщения Жоржа о его назначении, равно как обо всем, что вы для него сделали, и у меня нет слов благодарить вас. Жорж своим будущим обязан одному вам, барон, и он это чувствует, он видит в вас как бы отца, и я надеюсь, что он окажется этого достойным. Мое единственное желание в эту минуту лично выразить вашему превосходительству всю мою благодарность, ибо после смерти жены это первая счастливая минута в моей жизни, так как все мое утешение в настоящее время составляют дети. Я спокоен за судьбу сына, которую всецело вручаю вашему превосходительству.

Я давно не имел известий от гр. Мусиной-Пушкиной, но надеюсь, что она порадуется, узнав о зачислении сына в Кавалергардский полк.

Примите, барон, и пр.

Барон Дантес.

6.

Сульц, 15 марта 1834.

(Отрывок из письма)

...Не желая злоупотреблять добрым расположением вашего превосходительства к сыну, для коего вы делаете так много, я написал тотчас по получении от Жоржа извещения о его зачислении моему

поверенному, г. Стефану Бальи, чтобы он в кратчайший срок выслал вашему превосходительству 8.000 франков для покрытия части издержек по его экипировке, каковые должны быть весьма значительны при поступлении в такой полк.

7.

Сульц, 15 февраля 1836.

Барон.

С чувством живейшей благодарности собираюсь ответить вам на ваше предложение, которое вы с такой добротой делаете мне не в первый раз, — касательно усыновления вами моего сына, Жоржа Шарля Дантеса, и о назначении его наследником вашего имени и вашего состояния.

Немало доказательств дружбы, которую вы не переставали выказывать мне уже столько лет, было дано мне вами, и это новое доказательство завершает все; ибо этот великодушный план, раскрывающий перед моим сыном будущность, которой я никогда не мог бы устроить ему сам, делает меня счастливым в том, что для меня всего дороже.

Итак, припишите исключительно силе уз, связующих отца с сыном, то промедление, с которым я изъявляю вам мое согласие, жившее давно в моем сердце. В самом деле, наблюдая внимательно за ростом той привязанности, которую мой ребенок внушил вам, видя, с какой заботливостью вы взялись с той поры следить за ним, удовлетворять все его нужды, словом, окружать его заботами, которые ни на минуту не прекращались до сего дня, когда ваше покровительство раскрывает перед ним будущность, в которой он не может не отличиться, я сказал себе, что эта награда всецело принадлежит вам и что моя отцовская любовь должна уступить перед таким великодушием и самоотвержением.

Итак, барон, спешу сообщить вам, что с сегодняшнего дня я отказываюсь от всех моих отцовских прав на Жоржа Шарля Дантеса и в то же время разрешаю вам усыновить его в качестве вашего сына, заранее и всецело утверждая все хлопоты, которые вы найдете нужным предпринять для того, чтобы усыновление это получило силу перед законом.

Я ознакомился с прошением, копию с которого вы мне прислали и которое мой сын предполагает подать его величеству королю Голландии, с целью получить разрешение на принятие вашего имени и вашего герба; я не только вполне согласен с ним, но если бы оказалось необходимым, чтобы оно было подкреплено тем разрешением, которое я выдаю вам сегодня, то думаю, что настоящего письма, поданного королю, вашему повелителю, будет вполне достаточно, чтобы достигнуть цели его и ваших желаний.

Наконец, желая пополнить справки, в коих вы можете нуждаться, я просил власти города, где живу, изготовить мне свидетельство, удостоверяющее дворянское происхождение моего рода; прилагаю рисунок моего герба и обе бумаги присоединяю к письму.

Мне остается, барон, лишь высказать самое искреннее пожелание, чтобы сын мой своей преданностью вам и своим поведением в свете оправдал все то, что вы для него делаете; разрешите прибавить к этому новые уверения в глубочайшей благодарности, которую я никогда не перестану питать к вам и с которой остаюсь

Ваш старый друг
Барон Жозеф Конрад Дантес.

2. ПИСЬМА БАРОНА ЖОРЖА ГЕККЕРЕНА К СВОЕЙ НЕВЕСТЕ Е. Н. ГОНЧАРОВОЙ[1]

3. ИЗ ПЕРЕПИСКИ ГОНЧАРОВЫХ С ДАНТЕСАМИ

1–2. ПИСЬМА Н. И. ГОНЧАРОВОЙ К БАРОНУ ЖОРЖУ ГЕККЕРЕНУ

1

7 декабря 1836

Барон.

Я имела удовольствие получить ваше письмо, в котором вы просите у меня руки моей старшей дочери; последняя сообщает мне также о своем намерении соединить свою судьбу с вашей. Желая ей счастья, спешу с чувствами, свойственными матери, изъявить мое согласие на вашу просьбу, будучи уверена, что вы составите счастье той, которую избрали в подруги; постарайтесь сделать счастливыми друг друга — вот самое искреннее мое пожелание.

Примите уверение в отменном уважении той, которая имеет честь быть

Вам преданная Наталия Гончарова.

2.

25 января 1837

Милостивый государь.

Примите самые искренние поздравления по поводу вашего бракосочетания, а также и мою благодарность за готовность, с которой вы сообщили мне об интересующем меня событии; с чувством глубокого удовлетворения принимаю доказательства расположения вашего к Кате, которые делают ее вполне счастливою, ваши взаимные желания устроить обоюдное счастье друг друга, желания, достойные связывающих вас уз, а потому и достойны быть услышанными небом; в чистоте души моей присоединяюсь к законности этих желаний, с тем, чтобы ничто никогда их не поколебало. Позвольте поблагодарить вас за те почтительные чувства, которые вы выражаете мне, благодаря вашей любви к Кате; как мать, я всегда буду ценить их.

Примите, прошу вас, уверение в самой глубокой преданности той, которая имеет честь быть

Ваша Наталия Гончарова.

3. ПИСЬМО БАРОНЕССЫ ГЕККЕРЕН (РОЖД. ГОНЧАРОВОЙ) К СВОЕМУ СВЕКРУ, БАРОНУ ДАНТЕСУ, ПОСЛЕ СВАДЬБЫ[2]

---

[1] Эти письма полностью приведены в переводе на стр. 101–103.

[2] Это письмо напечатано в переводе на стр. 103–104 книги.

4. КОПИЯ С ПИСЬМА БАРОНЕССЫ Е. Н. ГЕККЕРЕН К БАРОНУ Ж. ГЕККЕРЕНУ (ДАНТЕСУ), В ТИЛЬЗИТ, БЕЗ ЧИСЛА[1]

Не могу пропустить почту, не написав тебе хоть несколько слов, мой добрый и дорогой друг. Я очень огорчена твоим отъездом, не могу привыкнуть к мысли, что не увижу тебя две недели. Считаю часы и минуты, которые осталось мне провести в этом проклятом Петербурге; я хотела бы быть уже далеко отсюда. Жестоко было так отнять у меня тебя, мое сердце; теперь тебя заставляют трястись по этим ужасным дорогам, все кости можно на них переломать; надеюсь, что хоть в Тильзите ты отдохнешь, как следует; ради бога, береги свою руку; я боюсь, как бы ей не повредило путешествие. Вчера, после твоего отъезда, графиня Строганова оставалась еще несколько времени с нами; как всегда, она была добра и нежна со мной; заставила меня раздеться, снять корсет и надеть капот; потом меня уложили на диван и послали за Раухом, который прописал мне какую-то гадость и велел сегодня еще не вставать, чтобы поберечь маленького: как и подобает почтенному и любящему сыну, он сильно капризничает, оттого, что у него отняли его обожаемого папашу; все-таки сегодня я чувствую себя совсем хорошо, но не встану с дивана и не двинусь из дому; барон окружает меня всевозможным вниманием, и вчера мы весь вечер смеялись и болтали. Граф меня вчера навестил, я нахожу, что он действительно сильно опустился; он в отчаянии от всего случившегося с тобой и возмущен до бешенства глупым поведением моей тетушки и не сделал ни шага к сближению с ней; я ему сказала, что думаю даже, что это было бы и бесполезно. Вчера тетка мне написала пару слов, чтобы узнать о моем здоровье и сказать мне, что мысленно она была со мною; она будет теперь в большом затруднении, так как мне запретили подниматься на ее ужасную лестницу, я у нее быть не могу, а она, разумеется, сюда не придет; но раз она знает, что мне нездоровится и что я в горе по случаю твоего отъезда, у нее не хватит духу признаться в обществе, что не видится со мною; мне чрезвычайно любопытно посмотреть, как она поступит; я, думаю, что ограничится ежедневными письмами, чтобы справляться о моем здоровье. Idalie[2] приходила вчера на минуту, с мужем; она в отчаянии, что не простилась с тобою; говорит, что в этом виноват Бетанкур: в то время, когда она собиралась идти к нам, он ей сказал, что уж будет поздно, что ты, по всей вероятности, уехал; она не могла утешиться и плакала, как безумная. M-me Загряжская умерла в день твоего отъезда в семь часов вечера[3].

Одна горничная (русская) восторгается твоим умом и всей твоей особой, говорит, что тебе равного она не встречала во всю свою жизнь и что никогда не забудет, как ты пришел ей похвастаться своей фигурой в сюртуке. Не знаю, разберешь ли ты мои каракули, во всяком случае, немного потерял бы, если бы и не разобрал, не могу сообщить тебе ничего интересного; единственную вещь, которую я хочу, чтобы ты знал ее, в чем ты уже вполне уверен, это — то, что тебя крепко, крепко

[1] Это письмо, без даты, писано, конечно, после высылки Дантеса за границу.
[2] Idalie — Идалия Полетика.
[3] Н. К. Загряжская, рожд. графиня Разумовская, умерла 19 марта 1837 года.

люблю и что в одном тебе все мое счастье, только в тебе, тебе одном, мой маленький S-t Jean Baptiste. Целую тебя от всего сердца так же крепко, как люблю. Прощай, мой добрый, мой дорогой друг; с нетерпением жду минуты, когда смогу обнять тебя лично.

5. ПИСЬМО Н. И. ГОНЧАРОВОЙ К ДОЧЕРИ — БАРОНЕССЕ Е. Н. ГЕККЕРЕН

15 мая 1837.

Дорогая Катя.

Я несколько промедлила с ответом на твое последнее письмо, в котором ты поздравляла меня с женитьбой Вани[1]; та же причина помешала мне написать тебе раньше. Свадьба состоялась 27 числа прошлого месяца; я не сомневаюсь в искренности твоих пожеланий счастья Ване, есть все поводы надеяться, что он будет счастлив: его жена — очаровательная женщина, нежная, умная, глубоко любящая Ваню, который, в свою очередь, горячо ей предан.

Все твои сестры и братья приезжали к свадьбе... Если нам и не доставало твоего присутствия, то мы были глубоко уверены, что ты разделяешь вполне нашу радость по поводу того, что будущее Вани так хорошо и прочно решилось. Твои сестры остались еще здесь на некоторое время. Нина с двумя детьми Наташи[2] здесь, и я предлагала ей написать тебе, но она ленится... Правда, что здоровье ее не совсем удовлетворительно. Ты говоришь в последнем письме о твоей поездке в Париж; кому поручишь ты надзор за малюткой[3] на время твоего отсутствия? Останется ли она в верных руках? Твоя разлука с ней должна быть тебе тягостна. Я тронута радостью, которую ты выражаешь по поводу моей надежды приехать навестить тебя; я не затрудню тебя необходимостью выезжать мне далеко навстречу и устрою тебе сюрприз, приехав в такую минуту, когда ты совсем не будешь ждать меня. Я твердо намерена выполнить мой план, если только позволят средства...

Я в восторге, дорогая Катя, от того, что ты продолжаешь чувствовать себя счастливою; уверенность в этом — для меня большое утешение. Да хранит тебя небо и да пошлет оно тебе лишь дни счастья и покоя. Надеюсь, дорогая Катя, что твое пребывание в Париже не помешает тебе вспоминать меня и писать мне почаще. Я получила твое последнее письмо в самый день твоего рождения; ты знаешь, как я помню этот день. Я вознесла молитву к господу, дабы он хранил тебя всю жизнь. Искренние пожелания твоему мужу, целую тебя и желаю вам обоим всех благ.

Наталия Гончарова.

---

[1] И. Н. Гончаров, женившийся 27 апреля 1837 года на княжне М. И. Мещерской.

[2] А. Н. Гончарова и Н. Н. Пушкина.

[3] Совершенно непонятно, о какой малютке идет речь. Свадьба Катерины Гончаровой была 10 января 1837 года; она была беременна к моменту высылки мужа и родила 7(19) октября, точка в точку.

6–7. ПИСЬМА Д. Н. ГОНЧАРОВА К СЕСТРЕ, БАРОНЕССЕ Е. Н. ГЕККЕРЕН (ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ ЕЕ В 1837 ГОДУ ВО ФРАНЦИЮ)

Дорогая и добрейшая Катенька.

Извини, если я промедлил с ответом на твое письмо от 15 марта; но я уезжал на несколько дней. Я понимаю, дорогая Катенька, что твое положение трудное, так как ты должна покинуть родину, не зная, когда сможешь вернуться, а быть может, покидаешь ее навсегда; словом, мне тяжела мысль, что мы, быть может, никогда не увидимся; тем не менее, будь уверена, дорогой друг, что как бы далеко я от тебя ни находился, чувства мои к тебе неизменны; я всегда любил тебя, и будь уверена, дорогой и добрый друг, что если когда-нибудь я мог бы тебе быть полезным, я буду всегда в твоем распоряжении, насколько мне позволят средства; в моей готовности недостатка не будет. Итак, муж твой уехал и ты едешь за ним; в добрый путь, будь мужественна; я не думаю, чтобы ты имела право жаловаться; для тебя трудно было бы желать лучшей развязки, чем возможность уехать вместе с человеком, который должен быть впредь твоей поддержкой и твоим защитником; будьте счастливы друг с другом, это смягчит вам боль некоторых тяжелых воспоминаний; это единственное мое пожелание; да сбудутся мои желания в этом направлении. Когда ты уедешь, пиши как можно чаще и с возможными подробностями, особенно во всем, что касается тебя, ибо ничто не интересует меня так, как твоя дальнейшая судьба; по правде сказать, изо всей семьи ты сейчас интересуешь меня всех более, поэтому будь откровенна со мной и, повторяю, в минуту нужды рассчитывай на мою дружбу.

Я уже приготовил Носову письмо о деньгах, когда получил твое письмо, в котором ты пишешь, что он выдал тебе ту сумму, в которой раньше отказывал. Чтобы не подвергать тебя возможности нового отказа с его стороны, я посылаю тебе при этом 416 рублей, которые адресую тебе через Носова, чтобы в случае твоего отъезда он переслал тебе их со Штиглицем; пишу ему сегодня же, чтобы условиться относительно дальнейшей доставки предназначаемых тебе денег.

Матушка еще здесь, и я посылаю тебе при сем ее письмо. Ваня приехал сегодня из Ильицына; что касается денег, которые он должен тебе, дорогой друг, потерпи немного; вскоре я тебе их вышлю; сейчас наши дела в застое. Жена моя согласна взять твою горничную; но, в самом деле, дорогой друг, мы не сможем платить ей более двухсот рублей в год. Если она согласна на это, пусть едет, и будь уверена, что из дружбы к тебе мы будем хорошо относиться к ней, только бы она не заводила сплетен.

Прощай дорогой друг, и проч.

Дмитрий Гончаров.

(Отрывок)

Завод, 15 сентября 1837.

...Натали и Александрина[1] в середине августа уехали в Ярополец с тремя старшими детьми, маленькая Таша[2] осталась здесь (она —

[1] Наталия Николаевна Пушкина и Александра Николаевна Гончарова.

[2] Впоследствии графиня Меренберг.

очаровательный и очень рослый для своих лет ребенок). Но мы вернемся сюда не ранее 25 числа этого месяца. Ты спрашиваешь меня, как они поживают и что делают: живут очень неподвижно, проводят время как могут; понятно, что после жизни в Петербурге, где Натали носили на руках, она не может находить особой прелести в однообразной жизни завода, и она чаще грустна, чем весела, нередко прихварывает, что заставляет ее иногда целыми неделями не выходить из своих комнат и не обедать со мной. Какие у нее планы на будущее, не выяснено; это будет зависеть от различных обстоятельств и от добрейшей тетушки[1], которая обещает в течение ближайшего месяца подарить нас своим присутствием, желая навестить Натали, к которой она продолжает относиться с материнской нежностью. Ты спрашиваешь меня, почему она не пишет тебе; по правде сказать, не знаю, но не предполагаю иной причины, кроме боязни уронить свое достоинство или, лучше сказать, свое доброе имя перепиской с тобою, и я думаю, что она напишет тебе не скоро. Что касается матушки, то могу тебя заверить, что, несмотря на все странности, она относится к тебе с истинным интересом и всякий раз с самой большой гордостью получает о тебе известия.

Сергей в Москве с женой, которая сделала его отцом маленького Мишеньки...

Кстати, дай мне какие-нибудь сведения и подробности о вашем городе Сульце; я не мог найти его на карте нашего старого друга Папи. Есть ли у вас приятное общество?

Привет твоему мужу.

Дмитрий Гончаров.

4. ИЗ СЕМЕЙНОЙ ПЕРЕПИСКИ ГЕККЕРЕНОВ И ДАНТЕСОВ (1837 Г.)

1. КОПИЯ С ПИСЬМА БАРОНА ДАНТЕСА-ОТЦА К БАРОНУ ГЕККЕРЕНУ ИЗ СУЛЬЦА ОТ 6 МАРТА Н.СТ., ПОЛУЧЕННОГО В ПЕТЕРБУРГЕ 6 МАРТА СТ. СТ. 1837

Дорогой барон, ваше письмо совершенно успокоило нас за участь Жоржа. Об этом печальном происшествии возвестили все газеты, весь город знал о нем, один я оставался в неведении. Не далее как вчера письмо m-me Irène возвестило о приезде г. д'Аршиака в Париж и о том, что рана Жоржа не так опасна, как о ней сообщали. Все газеты высказывают расположение моему сыну, объявляя г. Пушкина зачинщиком. "Journal des Débats" утверждает даже, что клевета и анонимные письма вынудили г. Пушкина на такой поступок, приведший его к гибели.

Жорж, мой дорогой барон, поступил так, как должно; зная его характер и его сердце, я удивился бы тому, если бы он поступил иначе... Нет, вы не могли бы действовать иначе, и я приглашаю вас, дорогой барон, быть бодрым. Это несчастное происшествие не могло не случиться, рано или поздно, и я благодарю провидение, покровительствовавшее Жоржу. Мои дети и я обнимаем вас, а также Жоржа и его жену. Сообщайте нам новости о бедном Жорже.

Дантес.

---

[1] Е. И. Загряжская.

2. ВЫПИСКА ИЗ ПИСЬМА БАРОНЕССЫ ДАНТЕС (СЕСТРЫ ДАНТЕСА), БЕЗ ПОДПИСИ, К БАРОНУ ГЕККЕРЕНУ ИЗ СУЛЬЦА ОТ 21 МАРТА Н. СТ., ПОЛУЧЕННОГО В ПЕТЕРБУРГЕ 23 МАРТА СТ.СТ. 1837

Альфонс с вечера 10-го — в Париже, но он мог видеть д'Аршиака только в понедельник 12-го; последний отправлялся за новостями из Петербурга; оказалось, что Жорж разжалован в рядовые. Д'Аршиак находит, что это пустяки, но мне кажется, что это чрезмерно. Ведь зачем же наконец подвергать наказанию, когда все согласно одобряют его поведение: понятно, что он не мог действовать иначе. Но, если, к несчастию для него, он был бы русским подданным, то его карьера была бы разбита. Русские, проводящие зиму в Бадене, произносят похвальные речи в честь своего поэта. Но, что вас должно успокоить в этом печальном деле, так это уверенность, что все благомыслящие люди не находят вины за Жоржем. Но все-таки я буду более спокойна лишь тогда, когда вы будете вне России. Признаюсь, я опасаюсь единственно того, не будете ли вы тосковать, покидая Россию таким образом.

Нанина.

3. КОПИЯ С ПИСЬМА БАРОНА ГЕККЕРЕНА К Г-ЖЕ ДАНТЕС В СУЛЬЦ ОТ 29 МАРТА Н.СТ. 1837

Ваши последние письма, моя дорогая Нанина, очень меня обрадовали тем, что успокоили нас совершенно относительно тревоги, перенесенной вами до получения моего первого письма; письмо же вашего отца меня просто осчастливило; я и не ожидал ничего другого от его прямого образа мыслей и его благородного и возвышенного характера; иначе поступить мы и не могли; Жоржу не в чем себя упрекнуть; его противником был безумец, вызвавший его без всякого разумного повода; ему просто жизнь надоела, и он решился на самоубийство, избрав руку Жоржа орудием для своего переселения в другой мир. Вы легко поймете, что после подобного события я не могу оставаться в России и просил позволения, которое мне и было дано, уехать из С.-Петербурга; рассчитываю выехать в скором времени, жду только приезда моего преемника; Жорж также оставляет русскую службу и вместе с женой явится прямо в Сульц, а я еду сперва в Голландию, где мне надо устроить кое-какие дела, а потом к вам; вы видите, что нет худа без добра; мы увидимся раньше, чем могли надеяться; какой пост мне предназначают, я еще не знаю, но все равно мы будем ближе друг к другу и сможем чаще видеться. Как только я получу назначение, Жорж приедет ко мне с женой. Они оба совсем здоровы; ваш брат совершенно оправился от раны: поведение его жены было безукоризненно при данных обстоятельствах; она ухаживала за ним с самой нежной заботливостью и радуется возможности покинуть страну, где счастливой уже быть не может. Что касается меня, то я также очень доволен, мне и без того надоела страна, где я расстроил свое здоровье, и, приближаясь к старости, я рад поселиться в более теплом климате и всецело посвятить себя своей новой семье; если Катерина будет умницей, то подарит нас маленьким Жоржем, который утешит нас во всех пережитых треволнениях. Как только день нашего отъезда будет назна-

чен, мы вас известим. А пока шлем вам все трое тысячу приветствий и просим вас совершенно успокоиться на наш счет.

Барон де Геккерен.

4. ВЫПИСКА ИЗ ПИСЬМА БАРОНА ГЕККЕРЕНА К Г-ЖЕ ДАНТЕС В СУЛЬЦ ОТ 5 АПРЕЛЯ Н.СТ. 1837

Это — последнее письмо, моя дорогая Нанина, которое я вам пишу отсюда. Для того, чтобы вас совершенно успокоить, я скажу Вам, что я очень рад; прежде всего мое здоровье не могло бы слишком долго сопротивляться пребыванию в этой стране. Событие, которое удаляет меня в настоящее время отсюда, несколько ускорило мой отъезд — вот и все. Жорж уже уехал: он покинул нас пять дней тому назад, это было немного резко, как и все в этой стране, но он чувствует себя хорошо: мы имели от него известие с дороги, он сообщает нам, что ждет нас в Кенигсберге. Катерина и я отправляемся через несколько дней, чтобы присоединиться к нему. Мы поедем медленно: дорога ужасна, а Катерина нуждается в предосторожностях. Разжалование в солдаты, о котором сообщил вам д'Аршиак, не имеет никакого значения, это — проформа. Так как дуэль запрещена, то необходима кара. Но всякий честный человек поймет, что Жорж не мог поступить иначе. Итак, не будем более об этом говорить и подумаем исключительно о радости свидания.

Барон де Геккерен.

5. КОПИЯ С ПИСЬМА БАРОНА ГЕККЕРЕНА К БАРОНУ ГЕККЕРЕНУ (SEIGNEUR D'ENGHUISEN) В СОНСБЕК, ОТ 5 АПРЕЛЯ Н.СТ. 1837

Уж давно, мой милый Генрих, должен был я написать вам, но я не был в состоянии взять перо в руки, чтобы поговорить с вами о роковом событии, происшедшем в моем доме; ни Жорж, ни я были тут не при чем; все это свалилось мне, как снег на голову: все, что было в человеческих силах, было сделано, чтобы избежать, не нарушая вместе с тем *правил чести,* этой дуэли; в конце концов пришлось прибегнуть к этой крайней мере: из газет вы могли узнать об ее исходе. На другой же день я писал королю, чтобы он разрешил мне оставить Россию, потому что я не желал оставаться в Петербурге после этой катастрофы: ответ его величества был вполне удовлетворителен: король дает мне отпуск; это все, чего я желал, и я еду через несколько дней; я продал всю свою обстановку, так как ни под каким видом не соглашусь когда-либо вернуться; хотя вообще мне отдают дань справедливости, но мне пришлось бы бороться с целой партией, главою которой был покойный; борьба с ней отравила бы со временем все мое существование; вслед за этим письмом явлюсь и я и лично расскажу вам все подробно; одно могу сказать, что если бы мне пришлось действовать опять сначала, я поступил бы точно так же. Передайте мой привет Эвердине; я ей не пишу, так как не стоит говорить о деле, о котором мне так тяжело вспоминать. Жорж больше не на русской службе; он уже уехал; я отправляю его вместе с женой к его отцу, где он обождет нового моего назначения...

Барон де Геккерен.

6. КОПИЯ С ПИСЬМА БАРОНА ГЕККЕРЕНА К БАРОНУ ЖОРЖУ ГЕККЕРЕНУ В ТИЛЬЗИТ (БЕЗ ЧИСЛА)

Я пишу тебе несколько слов, милый мой Жорж; судя по способу, которым тебя выслали, ты легко поймешь мою сдержанность; раз твоя жена и я еще здесь, надо соблюдать осторожность; дай бог, чтобы тебе не пришлось много пострадать во время твоего ужасного путешествия, — тебе, больному с двумя открытыми ранами; позволили ли, или, вернее, дали ли тебе время в дороге, чтобы перевязать раны? Не думаю и сильно беспокоюсь о том; береги себя в ожидании нас и, если хочешь, поезжай в Кенигсберг, там тебе будет лучше, чем в Тильзите. Не называю тебе лиц, которые оказывают нам внимание, чтобы их не компрометировать, так как решительно мы подвергаемся нападкам партии, которая начинает обнаруживаться и некоторые органы которой возбуждают преследование против нас. Ты знаешь о ком я говорю; могу тебе сказать, что муж и жена относятся к нам безукоризненно, ухаживают за нами, как родные, даже больше того, — как друзья. Как только прибудет Геверс, мы уедем. Все же пройдет недели две, прежде чем мы будем с тобой, если ты не остаешься в Тильзите; оставь нам на почте весточку о твоем здоровье. Во всяком случае, вот паспорт Баранта с прусской визой. Твоей жене сегодня лучше, но доктор не позволяет ей встать; она должна пролежать еще два дня, чтобы не вызвать выкидыша: была минута в эту ночь, когда его опасались. Она очень мила, кротка, послушна и очень благоразумна. Каждую почту я буду тебя извещать о состоянии ее здоровья. Положись на меня, я позабочусь о ней. Прощай; Баранты очень тебе кланяются, они прекрасно относятся к твоей жене; от души обнимаю тебя; до скорого свидания. Старуха Загряжская умерла вчера вечером. M-lle Z., тетка, сварливая и упрямая личность; но я употребил в дело свой авторитет и запретил твоей жене проводить целые дни за письмами к ней, лишь бы удовлетворить ее любопытство, потому что ее заботы и расположение — только одно притворство. Сейчас выходит доктор от твоей жены и говорит, что все идет хорошо...

Офицер G. (L'officier G.) хотел меня видеть; боже мой, Жорж, что за дело оставил ты мне в наследство! А все недостаток доверия с твоей стороны. Не скрою от тебя, меня огорчило это до глубины души; не думал я, что заслужил от тебя такое отношение.

7. ВЫПИСКА ИЗ ПИСЬМА БАРОНА ГЕККЕРЕНА К ЖОРЖУ ГЕККЕРЕНУ В КЕНИГСБЕРГ ОТ 5 АПРЕЛЯ (27 МАРТА) 1837

Мы заняты по горло приготовлениями к отъезду, сейчас упаковывают мебель. Я хочу быть совершенно готовым к приезду Геверса, у меня нет никаких известий ни от него, ни от кого-либо из Гааги. Это обстоятельство заставляет меня предположить, что он в дороге; я надеюсь, что ты по пути в Кенигсберг увидишь его и порекомендуешь ехать скорее.

Здесь тоже нет ничего нового для меня, то же молчание и никакого ответа. Я оставляю за собой право распоряжаться моим поведением независимо от того, как на него посмотрят после моего отъезда. Нельзя же видеть дурное в том, что я хочу оправдать себя в то время, когда упорно не желают сказать мне, что нельзя сделать никакого упрека, потому что я ни о чем больше не прошу.

Барон де Геккерен.

8. КОПИЯ С ПИСЬМА БАРОНА ГЕККЕРЕНА К ЖОРЖУ ГЕККЕРЕНУ В КЕНИГСБЕРГ (БЕЗ ЧИСЛА)

Два слова, мой возлюбленный Жорж! Приехал Геверс. Я жду только прощальной аудиенции, чтобы отправиться; еще немного терпения, и мы свидимся. Письма, привезенные Геверсом, не дают мне надежды на новое место. Я ничего не сказал об этом твоей жене, чтобы не огорчать ее. Я полон бодрости и самоотвержения, и от тебя жду того же. Останемся вместе, и мы будем еще счастливы... Твоя жена чувствовала себя очень хорошо утром и жаловалась только на голову... Доктор уверил меня, что путешествие не будет для нее вредно, но я беру с собой до Берлина горничную. Строганов написал мне великолепное письмо, мне и тебе...

5. ОТЗВУКИ ДУЭЛИ В ПИСЬМАХ СТОРОННИКОВ БАРОНА ГЕККЕРЕНА (1837)

1. ПИСЬМО АЛЬФРЕДА ФАЛЛУ К БАРОНУ ЖОРЖУ ГЕККЕРЕНУ

8 марта 1837.

Альфред Пьер Фаллу — известный политический деятель, легитимист и вождь клерикальной партии. Его убеждения сложились под влиянием духовного общения с Свечиной. В 1836 году 25-летний Фаллу вместе с виконтом ла-Булльери побывал в России. Здесь верховной руководительницей его знакомства с Петербургом и высшим светом была графиня Нессельроде, которой он был рекомендован ее другом Свечиной, а практически ввели его в жизнь петербургского света и показали столицу, вернее острова (Фаллу был при белых ночах), два блестящих кавалергарда — барон Жорж Геккерен и князь А. В. Трубецкой. Кроме них, он сблизился еще и с князем А. И. Барятинским, будущим покорителем Кавказа и фельдмаршалом, а в это время состоящим при наследнике Александре Николаевиче поручиком л.-гв. Кирасирского полка. О Трубецком и Барятинском упоминает Фаллу в своем письме. И сам он, и петербургские его спутники настроены враждебно к Пушкину. Фаллу оставил любопытный рассказ о посещении Петербурга в своих воспоминаниях. — “Mémoires d’un Royaliste par le comte de Falloux”, Paris, 1888, t. 1-er, p. 127–137.

Если Вы располагаете Ваших друзей скорее по степени той привязанности, которую они к Вам питают, дорогой Жорж, нежели по долголетию их дружбы, то я убежден, что Вы поставили бы меня во главе тех, которых Ваше несчастье живейшим образом поразило. Я не сумею сказать Вам, насколько я был им удручен, и г. де Монтессюи сможет передать Вам, надеюсь, через своего beau-frère’a, с какой поспешностью и настойчивостью я искал г. д’Аршиака, как только узнал о его возвращении в Париж. Малейшие подробности этой ужасной катастрофы имели для меня реальный интерес и подтвердили мне то, в чем я никогда не сомневался. Я не могу притязать на высказывание Вам каких-либо утешений, сверх того, Вы обладаете самым действительным из них — а именно сознанием того, что вы постоянно повиновались чувству

чести, но я хочу уверить Вас, по крайней мере, в том, что искренне сожалею о том, что не могу быть сейчас с Вами. Единственное, что могло помешать мне выразить Вам это в первую же минуту, это уверения русских, находящихся в настоящую минуту в Париже, что первая формальность в Вашем положении, которой Вы должны были подвергнуться, — заключение в крепости и что мое письмо, по всей вероятности, до Вас не дойдет. Я не знаю, желать ли мне увидеться с Вами вскоре во Франции, не знаю, каковы Ваши решения. Меня уверили, что Вы всецело остаетесь их хозяином; на первое время с меня этого достаточно, и я только хочу просить Вас, чтобы Вы держали меня в курсе Вашего положения, когда оно окончательно выяснится. В случае, если память о родине приведет Вас к нам, я буду весьма огорчен, если не узнаю о Вашем возвращении с тем, чтобы первым воспользоваться им. Равным образом, если бы я мог быть Вам чем-нибудь полезен, располагайте мною заранее и без всяких колебаний. В каждом поручении я увижу лишь доказательство Вашей дружбы и как бы знак некоторой веры в мою дружбу к Вам.

Г. д'Аршиак передал мне вчера письмо от Александра Трубецкого, скажите ему, что оно доставило мне невыразимое удовольствие. Доказательство памяти обо мне Вас обоих, поверьте, всегда будет трогать меня до глубины души; надеюсь, что он получил от меня длинное письмо приблизительно в то самое время, как писал мне. Я надеюсь, что наши мысли еще не раз невольно встретятся таким образом. Я отправлюсь тотчас к князю Барятинскому и употреблю все усилия, чтобы вместе с ним уплатить мой долг Вам. Я не хочу злоупотреблять конвертом г. де Монтессюи и на сегодняшний день должен ограничить этим все то, что был бы счастлив высказать Вам. Позвольте мне заключить все дружеским объятием.

Ваш Альфред де Фаллу.

P.S. Тысячу почтительных приветов барону Геккерену. Благодарные воспоминания о всех тех, кто помнит еще мое имя. Я не оставил еще мысли провести как-нибудь зиму в Петербурге.

2. ПИСЬМО ГРАФА Г. А. СТРОГАНОВА К БАРОНУ ГЕККЕРЕНУ

Я только что вернулся домой и нашел у себя на письменном столе старинный бокал и при нем любезную записку. Первый, несмотря на всю свою хрупкость, пережил века и стал памятником, соблазнительным лишь для антиквария, а вторая, носящая отпечаток современности, пробуждает недавние воспоминания и укрепляет будущие симпатии. С этой точки зрения и тот и другая для меня очаровательны, драгоценны, и я испытываю, барон, потребность принести Вам всю мою благодарность. Когда Ваш сын Жорж узнает, что этот бокал находится у меня, скажите ему, что дядя его Строганов хранит ее, как память о благородном и лойяльном поведении, которым отмечены последние месяцы его пребывания в России. Если наказанный преступник является примером для толпы, то невинно осужденный, без надежды на восстановление имени, имеет право на сочувствие всех честных людей.

Примите, прошу Вас, уверения в моей искренней привязанности и в совершенном моем уважении.

Строганов.

Среда, утром.

3–4. ПИСЬМА К БАРОНУ ЖОРЖУ ГЕККЕРЕНУ ЕГО ПОЛКОВЫХ ТОВАРИЩЕЙ

3.

С.-Петербург, 27 марта 1837.

Если, дорогой друг, Вам тяжело было покидать нас, то поверьте, что и мы были глубоко удручены злосчастным исходом Вашего дела. Тот способ, которым Вы были высланы из Петербурга, не заключает в себе ничего нового для нас, привычных к высылкам такого рода, но тем не менее огорчение, которое мы испытали, и особенно я, от того, что не могли проститься с Вами перед Вашим отъездом, было чрезвычайно велико. Я надеюсь, что Вы не сомневаетесь в моей дружбе, дорогой Жорж.

Бог знает, встретимся ли мы когда-либо; тогда, быть может, мы вспомним более счастливые времена. Едва я узнал, что Вас высылают, я первым делом бросился в Кордегардию Адмиралтейства, чтобы обнять Вас, но, увы, было уже поздно, Вы были уже далеко от нас, а я этого и не подозревал... Я надеюсь, что Ваша супруга будет так добра, что передаст Вам мое письмо, равно как и небольшой подарок, сопровождающий его; это — безделица и весьма слабый залог моей дружбы, дорогой Жорж, но примите их, так как я посылаю Вам это от души, уверяю Вас.

Не пишу Вам о С.-Петербурге, так как Вы, наверно, не хотите о нем слышать после всего, что с Вами случилось, а затем здесь нет и ничего нового, что могло бы заинтересовать Вас. Целую Вас нежно, дорогой Геккерен, и прошу Вас вспоминать порою Вашего бывшего сослуживца и друга; будьте счастливы и верьте той искренней привязанности, которую я к Вам питаю.

Ваш искренний друг А. К...[1]

4

19 марта 1837.

Мне чего-то недостает с тех пор, как я не видел Вас, мой дорогой Геккерен; поверьте, что я не по своей воле прекратил мои посещения, которые приносили мне столько удовольствия и всегда казались мне слишком краткими; но я должен был прекратить их вследствие строгости караульных офицеров. Подумайте, что меня возмутительным образом два раза отослали с галереи под тем предлогом, что это не место для моих прогулок, а еще два раза я просил разрешения увидеться с Вами, но мне было отказано. Тем не менее верьте по-прежнему моей самой искренней дружбе и тому сочувствию, с которым относится к Вам вся наша семья.

Ваш преданный друг
Барятинский.

---

[1] Подпись неразборчива; судя по инициалам (le P.A.K...), это, вероятно, — кавалергард князь Александр Борисович Куракин.

5. ВЫПИСКА ИЗ ПИСЬМА К ГОСПОДИНУ ФЛАГАКУ ИЗ ПАРИЖА ОТ 15 МАРТА Н.СТ., ПОЛУЧЕННОГО В ПЕТЕРБУРГЕ 18 МАРТА СТ.СТ. 1837

...Париж был весьма занят историей с Жоржем. По приезде я застал отца страшно возбужденным; он виделся с одним русским из посольства, Шписом, который не знал, как было дело, и тем не менее рассказывал и вследствие этого нес всякий вздор. Я был в русском посольстве (не у посланника), где рассказал, как было дело, и тогда все изменилось. Медем был чрезвычайно любезен со мной, передайте это его братьям; Шпис принес публичное покаяние, и все наладилось[1]. Все газеты, каждая по своему, рассказывали это дело. Я не думаю, чтобы мне следовало вмешиваться, в виду того, что моего имени не называли (я рассматриваю это как доказательство благосклонности ко мне корреспондентов); я полагал, что лучше заставить забыть эту историю, что теперь и сделано. Нет возможности думать дольше о чем-либо в этом чудесном городе. Я рассчитывал получить известия о Геккеренах. Брат Жоржа приехал сюда, чтобы узнать о подробностях поединка.

Я не слышал ни одного упрека по моему адресу. Господин Моле сказал мне, что нечего возразить против того, как все произошло.

д'Аршиак.

Париж, 15 марта 1837.

6. ВЫПИСКА ИЗ ПИСЬМА К ГРАФУ МОНТЕССЮИ ИЗ ПАРИЖА ОТ 17 МАРТА СТ.СТ., ПОЛУЧЕННОГО В ПЕТЕРБУРГЕ 18 МАРТА СТ.СТ. 1837

Как объяснить тот интерес, с которым отнеслись здесь к делу Геккерена? Почему писали о нем во всех газетах? Правда, что в течение недели наговорили кучу всевозможных глупостей, которые тотчас и позабыли. Моего имени нигде упомянуто не было. Русское посольство отнеслось к делу как должно: некоторые русские отнеслись иначе; г. Смирнов, между прочим, был нелеп[2].

д'Аршиак

Париж, 17 марта 1837

7. ВЫПИСКА ИЗ ПИСЬМА М. Г. ФРАНШ—ДЕНЕРИ К ГЕРЦОГУ ДЕ БЛАКА

Берлин, 28 февраля 1837.

Я имел честь сообщить Вам недавно о несчастной дуэли между г. Дантесом и поэтом Пушкиным; последний находился во главе

---

[1] Шпис Вас. Ив. — старший секретарь русского посольства в Париже, граф Пав. Ив. Медем — советник посольства; послом был граф Петр Петр. Пален.

[2] Смирнов Ник. Мих., муж А. О., урожд. Россет, находился в 1837 году в Париже вместе с женой.

русской молодежи и возбуждал ее к революционному движению, которое ощущается повсюду, с одного конца земли до другого. Император приказал рассмотреть и сжечь все те из его бумаг, которые могли бы кого бы то ни было скомпрометировать.

6. К ДЕЛУ БАРОНА ГЕККЕРЕНА (1837 Г.)

1. ВЫПИСКА ИЗ ПИСЬМА Г. ГЕВЕРСА К Г. ВЕРСТОЛКУ В ГААГУ ОТ 3—15 АПРЕЛЯ 1837

...На другой день после моего приезда барон Геккерен ходатайствовал о прощальной аудиенции у царской фамилии, но государь передал через Нессельроде, что он желает избежать объяснений, которые могут быть только тягостными. Он предпочел не видеть г. Геккерена и приказал по этому случаю пожаловать, как доказательство своего благоволения, бриллиантовую табакерку, украшенную портретом его величества. Не имея с этого мгновения никаких препятствий к оправданию, г. Геккерен закончил необходимые приготовления к отъезду и выехал в Гаагу третьего дня днем, сдав мне архив и бумаги посольства.

Геверс[1].

2. ПИСЬМО БАРОНА МАЛЬТИЦА ГРАФУ НЕССЕЛЬРОДЕ

Гаага, 12—24 мая 1837 г.

Конфиденциально.

Милостивейший государь,

Барон Геккерен прибыл сюда несколько дней назад. Он тотчас же попросил и получил аудиенцию у их королевских высочеств, у принца Оранского и принцессы Оранской. Но только сегодня, в среду, — обычный приемный день у короля — г. Геккерен должен предстать пред его величеством.

Не получая никакого уведомления от вашего сиятельства относительно причины отозвания этого посланника и зная, сверх того, ваше всегдашнее благожелательное к нему отношение, я полагал, что мой долг — отвечать сообразно той торопливости, с которой он постарался меня видеть тотчас... Геккерен, кажется, ожидал найти у меня некоторые документы, которые ваше сиятельство рассчитывали доставить ему при посредстве посольства и которые в его глазах, по-видимому, представляют огромную важность...

Я не мог не заметить тяжелого чувства, вызванного здесь всем этим делом, и я не скрою от вашего сиятельства, что здесь были, по-видимому, оскорблены теми обстоятельствами, которые сопровождали отъезд барона Геккерена из С.-Петербурга.

Имею честь быть
Вашего сиятельства
смиренным и покорным
слугой.

Его сиятельству графу Нессельроде и проч.

---

[1] На копии этого письма, хранящейся в С.-Петербургском архиве министерства иностранных дел, есть помета: «Геккерн не имел прощальной аудиенции, но получил табакерку: он уехал».

3. ВЫПИСКА ИЗ ПИСЬМА Г. ГЕВЕРСА К БАРОНУ ГЕККЕРЕНУ В ГААГУ ОТ 15/27 МАЯ 1837

...Здесь, г-н барон, нет никаких новостей сверх того, что я писал раньше; в свете не подымают больше вопросов о смерти Пушкина. С первого дня моего приезда я избегал и прерывал всякий разговор на эту тему; вражда общества, исчерпав весь свой яд, наконец стихла. Император принял меня несколько дней тому назад в частной аудиенции; все, что касалось до этого дела, тщательно избегаемо.

Геверс.

4. ВЫПИСКА ИЗ ПИСЬМА БАРОНА ГЕККЕРЕНА К Г. ГЕВЕРСУ ИЗ ГААГИ ОТ 27 МАЯ Н. СТ., ПОЛУЧЕННОГО В ПЕТЕРБУРГЕ 26 МАЯ СТ. СТ. 1837

...Будьте добры отправиться от моего имени к графу Нессельроде и скажите ему, что я не нашел здесь бумаг, которые он обещал мне выслать и которые касаются события, заставившего меня покинуть Россию. Эти бумаги — моя собственность, и я не допускаю мысли, чтобы министр, давший мне формальное обещание их возвратить, пожелал меня обмануть. Потребуйте их и пошлите их мне немедленно же: документов числом пять.

Барон де-Геккерен.

5. ПИСЬМО БАРОНА МАЛЬТИЦА ГРАФУ НЕССЕЛЬРОДЕ

Гаага, 11—23 июня 1837 г.

Господин Вице-Канцлер,

Пакет, адресованный барону Геккерену и порученный вашим превосходительством попечению моего предшественника письмом от 26 мая (7 июня) 1837 г., дошел до меня третьего дня. Наведя немедленно справки о том, где в настоящее время находится г. Геккерен, выехавший из Гааги несколько времени тому назад, я получил известие о том, что он отправился на воды в Баден, вблизи Раштадта. Но так как я не знал ни времени, к которому г. Геккерен рассчитывает прибыть в это место, ни продолжительности его пребывания там, я не счел себя вправе подвергнуть случайностям пересылку пакета, содержащего, по-видимому, важные бумаги. Я решил прибегнуть к посредству нашего поверенного в Карлсруэ для сообщения г. Геккерену о получении указанного пакета, который в ожидании указаний, которые он сочтет нужным сделать мне относительно его дальнейшей пересылки, останется на хранении в архиве посольства.

Льщу себя надеждой, что ваше сиятельство соблаговолит одобрить мое распоряжение, и имею честь представить вам, граф, уверение в моей почтительнейшей преданности.

Мальтиц.

Его сиятельству графу Нессельроде, и проч.

6. ПИСЬМО БАРОНА ЛИНДЕН ДЕ ГЕММЕН

Гаага, 1 мая 1837

Господин полномочный министр.

Разрешите мне справиться у вас, насколько достоверна заметка, напечатанная в Гаагской газете.

В с.-петербургской газете „*Русский инвалид*" напечатано: „Барон Геккерен, поручик кавалергардского ее величества государыни императрицы полка, объявлен, в силу приговора военного суда, лишенным чина и звания русского дворянина и разжалован в солдаты, вследствие его дуэли с камергером двора Александром Пушкиным, скончавшимся от полученной во время поединка раны".

Ввиду того, что мне в качестве председателя высшего суда по делам дворянства надлежит знать, согласно ли это сообщение с истиной, или нет, я беру смелость обратиться к вам с просьбой просветить меня относительно этого вопроса.

Имею честь быть с глубочайшим уважением, господин полномочный министр, вашим смиренным и покорным слугою.

Ф. Г. барон Линден де Геммен.

7. ИЗ ПОЗДНЕЙШИХ ОТНОШЕНИЙ ДАНТЕСА К РОССИИ

1. ПИСЬМО И. П. ОЗЕРОВА[1] БАРОНУ ЖОРЖУ ГЕККЕРЕНУ

Баден, 27 августа 1847.

Дорогой друг, спешу сообщить вам, что намерение моего князя приехать в Баден 7 сентября не изменилось. Я нашел удобный случай поговорить с ним о вас, о том, как вы хорошо устроились, передал ему о вашем желании явиться к нему засвидетельствовать ваше почтение, и он ответил мне, что будет очень рад вас видеть. Он много расспрашивал о всей вашей семье, о вашей настоящей жизни, и осведомился у меня, сохранили ли вы ваш любезный и веселый нрав. Я был рад успокоить его на этот счет.

В случае, если бы в намерениях князя произошла перемена, я тотчас уведомлю вас. В ожидании его, с тысячью благодарностей за ваше любезное гостеприимство, прошу принять уверение в чувстве глубокой преданности.

Озеров.

2. ПИСЬМО ГРАФА В. Ф. АДЛЕРБЕРГА[2] БАРОНУ Ж. ДАНТЕСУ-ГЕККЕРЕНУ

С.-Петербург, 20 июня (2 июля) 1852

Барон.

Вы найдете меня нескромным, когда ознакомитесь с содержанием письма, которое я имею честь направить вам, и, признаюсь, вы

---

[1] Камергер Иван Петрович Озеров, поверенный в делах.

[2] Граф Владимир Федорович Адлерберг, через два месяца назначенный министром императорского двора.

будете правы! Тем не менее, в память наших прежних добрых отношений, осмеливаюсь обратиться к вам с просьбой, дерзость коей находит себе оправдание не столько в мотиве ее, сколько в вашем добром расположении, на продление которого я смею надеяться. Дело в следующем: г. Тамбурини, артист с европейской известностью, чей прекрасный талант был по достоинству оценен в Париже, г. Тамбурини, который в течение десяти лет вызывал восторги любителей Итальянской оперы в Петербурге, к числу которых я принадлежу в первую очередь, г. Тамбурини, говорю я, умоляет меня порекомендовать вашему благосклонному вниманию, вашему покровительству его племянника, графа Александра Мальвецци де Ферраре, которого он желал бы оставить вблизи себя в Париже, где сам он устроился со всей своей семьей. Принимая живое участие в г. Тамбурини, я осмеливаюсь просить вас, барон, принять его милостиво и устроить для него то, о чем он просит, если это возможно; он желает и надеется, что, благодаря вашему могущественному влиянию, получит для племянника (который, кстати сказать, женат на дочери г. Струве, нашего посланника в Гамбурге) место в министерстве или какую-нибудь административную должность в Париже. Г. Тамбурини, который будет иметь честь передать вам это письмо, объяснит лучше меня характер той должности, которая могла бы ему подойти.

Еще раз прошу снисхождение к моему ходатайству, прошу не сердиться, если в нем есть что-либо нескромное, и пользуюсь случаем изъявить вам, барон, еще раз уверение в моем совершеннейшем почтении.

Граф В. Адлерберг.

8. ЖОРЖ-ШАРЛЬ ДАНТЕС

(Биографический очерк Луи Метмана)[1].

Семья Дантесов была родом с острова Готланда. В 1529 году мы находим ее утвердившеюся в Вейнгейме, в Пфальце, где представители ее, в несколько приемов, исполняют обязанности консулов[2].

Жан-Анри Дантес, родившийся в Вейнгейме 2 января 1670 года, поселился в Верхнем Эльзасе, где у его отца в Бельфоре был чугуноплавильный завод, а в Жироманьи серебряные копи. Он стал управлять железоделательным заводом в Обербрюке и создал там королевскую мануфактуру для выделки жести, для которой он получил исключительные привилегии, с освобождением от таможенных пошлин в силу писем-патентов от 14 сентября 1720 года.

Около 1720 года он приобрел имение в Сульце (Верхний Эльзас), которое сделалось обычным местопребыванием его семьи.

Потомство сына его, *Жана-Филиппа Дантеса*, продолжается в его третьем сыне:

---

[1] Биографический очерк о Дантесе принадлежит перу г. Луи Метмана, напечатанный по-французски в первом издании нашей книги, здесь дается в русском переводе с опущением генеалогических подробностей, совершенно неинтересных для русского читателя.

[2] В прирейнских городах звание консула носили муниципальные чиновники, несшие обязанности, аналогичные обязанностям мэра или бургомистра.

Жорж-Шарль-Франсуа-Ксавье Дантес родился в Кольмаре в 1739 году. 22 июля 1771 г. он женился на Марии-Анне-Сюзанне-Жозефе, баронессе Рейттнер де Вейль, от которой имел семерых детей; четверых сыновей и трех дочерей.

Во время революции он эмигрировал; имение его было секвестровано, но, благодаря тайным друзьям, дом, в котором жила семья, был превращен в тюрьму и таким образом не был отчужден.

Вернувшись в Сульц 10 Прериаля года V, он был прощен за эмиграцию, и 16 Брюмера года X его имущество было ему возвращено.

Его второй сын, *Жозеф-Конрад,* продолжает прямую линию и является отцом *Жоржа-Шарля Дантеса, барона Геккерена.*

Жозеф-Конрад, барон Дантес, владелец Блоцгейма, родился в Сульце 8 мая 1773, обучался в Королевской военной школе Pont-à-Mousson, затем служил офицером в Королевском германском полку и принадлежал к военным частям, которые, повинуясь маркизу де Буилье, в июне 1791 сделали попытку оказать содействие бегству короля Людовика XVI в Варенн. Во время эмиграции он жил в Германии, вблизи своего дяди и крестного отца, барона Рейттнера, командора Тевтонского ордена.

Вернувшись с отцом в Сульц, он в этом же городе 29 сентября 1806 года женился на Марии-Анне-Луизе, графине Гацфельдт, родившейся в Майнце 8 июля 1784.

Мария-Анна-Луиза была единственной дочерью Лотаря-Франсуа-Жозефа, графа Гацфельдта, генерал-майора на службе у Майнцкого Электора и капитана его конной гвардии, и Фредерики-Элеоноры, графини Вартенслебен.

Граф Гацфельдт был младшим братом Франца-Людвига, первого князя Гацфельдта (1756—1827), ставшего объектом милосердия императора Наполеона I (октябрь 1806), поступка, получившего известность благодаря изображению на картине. Губернатор Берлина во время французской оккупации, он был приговорен к смерти Военным советом за то, что, по-видимому, сообщил в письме прусскому правительству сведения о наличном составе французской армии. Но вследствие неотступных просьб его жены, бывшей на третьем месяце беременности, император помиловал его.

Жена графа Гацфельдта, Фредерика-Элеонора Вартенслебен, принадлежала к старинному дворянскому роду; ее сестра была *графиня Мусина-Пушкина,* жена посланника императрицы Екатерины II при английском дворе.

В 1823 году барон Дантес, будучи уже членом Генерального совета Верхнего Рейна, был избран в палату депутатов. Он заседал в ней до 1829 года. Будучи весьма привязан к своим родным местам, он жил в Париже лишь в течение законодательных сессий и делил свое время между имением в Сульце и Кольмаром, где у него был дом.

По традициям семьи он принадлежал к правой законодательного собрания.

Будучи любим коллегами за прямоту и лойяльность, стремясь оказать соотечественникам всевозможные услуги, он сумел приобрести общую любовь и уважение достойным характером своей общественной деятельности и простой семейной жизни[1]. После революции

[1] См.: Sitzmann. Dictionnaire biographique des hommes célèbres de l'Alsace.

1830 года барон Дантес вернулся к частной жизни; он был кавалером ордена Почетного легиона.

От брака с Марией-Анной Гацфельдт у него было шестеро детей.

Жорж-Шарль был третьим ребенком и старшим из сыновей барона Дантеса. Он родился в Кольмаре 5 февраля 1812 года.

Первоначальное обучение он получил в Эльзасе в колледже Chapelle sous Rougemont, в округе Верхнего Рейна, а последующее в Париже в Бурбонском лицее. Несмотря на рекомендацию генерала, графа Рапп, не будучи принят, за недостатком места, в пажеский корпус Карла X, директором которого был его дядя по отцу, граф де Бель-Иль, генерал-майор, он пожелал поступить в военную школу Сен-Сир, куда и был принят в 1829 году четвертым учеником. В июле 1830 г. он участвовал в отрядах школы, которые вместе с полками, сохранившими верность, попытались на площади Людовика XV защищать в Париже дело Карла X, который вскоре был принужден ехать в изгнание. Но отказавшись, вместе с несколькими своими товарищами, служить Июльской монархии, он должен был покинуть военную школу, и, после того как в течение нескольких недель состоял среди приверженцев, группировавшихся в Вандее вокруг герцогини Беррийской, он вернулся к отцу, которого застал глубоко удрученным политическими переменами, уничтожавшими законную монархию, которой он служил как по традиции, так и по симпатии.

В самом деле, в другой день после революции, разрушившей все его надежды, молодой человек с живым и независимым нравом, какой был у Жоржа Дантеса, не мог найти приложения своим способностям в однообразной провинциальной жизни, которая выпала ему на долю.

Кончина баронессы Дантес в 1832 году еще усилила для него грусть семейного очага. Жорж Дантес, отдалившийся, в силу роялистских взглядов своих родных, от правительства, которое было призвано ко власти Францией, решил поступить на службу за границу, согласно обычаю, довольно часто практиковавшемуся в то время.

Семейные связи, по-видимому, должны были помочь ему устроиться в Пруссии, и, благодаря покровительству наследного принца Вильгельма, он мог бы быть принят в полк, если бы ему подошел чин унтер-офицера. Но для воспитанника Сен-Сира, который выходил из военной школы после двух лет обучения офицером, это было бы понижением, и Жорж Дантес отказался. Наследный принц прусский, продолжая ему покровительствовать, посоветовал ему тогда отправиться в Россию, где его родственник император Николай I должен был выказать благосклонность французскому легитимисту. Прибыв с такой высокой рекомендацией в С.-Петербург, Жорж Дантес был уверен, что найдет себе здесь покровителей[1].

Граф Адлерберг занялся им, порекомендовал ему учителей; последние дали ему возможность успешно выдержать экзамен, кото-

---

[1] Вышеприведенные генеалогические подробности необходимы для того, чтобы опровергнуть бездоказательное утверждение плохо осведомленных историков, изображавшее Жоржа-Шарля Дантеса незаконным сыном барона Геккерена, имя которого он принял в 1836 году. (См. статью: «Пушкин» в первых изданиях словаря современников Ваперо, статью, исправленную в последующих изданиях.)

рому он обязан чином корнета в кавалергардском ее величества полку. Еще ранее от французского правительства он имел разрешение служить в иностранном государстве, не теряя своей национальности. В 1836 году он получил повышение и был зачислен поручиком этого полка.

Знаки внимания, оказанные ему в нескольких случаях императором Николаем I, семейные связи его в Германии и в России, где Жорж Дантес разыскал свою бабушку по материнской линии, графиню Мусину-Пушкину[1], внешность которой портреты той эпохи изображают весьма очаровательною, — создали вскоре молодому офицеру видное положение в салонах С.-Петербурга.

Он имел счастье встретить барона Геккерена-Беверварта, посла короля Голландии при российском дворе, и барон Геккерен, увлеченный умом и красотой Жоржа Дантеса, принял в нем участие и вступил в правильную переписку с его отцом, бароном Дантесом, который сразу выказал благодарность за покровительство, способное выдвинуть его сына, как на военном поприще, так и в области его светских связей[2].

Барон Луи Борхард де Геккерен родился в 1792 году. Он принадлежал к протестантской семье старинного голландского рода, которого он был последним представителем[3]. В 1805 году он вступил в морское ведомство в качестве гардемарина. Первый порт, куда он был назначен, был Тулон. Благодаря его службе при Наполеоне I, он сохранил навсегда живую симпатию к французским идеям.

События 1815 года прервали его морскую карьеру. Поступив на службу в дипломатический корпус у себя на родине, ставшей вновь независимой, он был назначен в 1815 году на пост секретаря посольства в Стокгольм. Его карьера отличалась быстротой, так как в 1832 году, в возрасте сорока двух лет, он был уже посланником в С.-Петербурге. Тесная дружба связывала его в молодости с герцогом Роган-Шабо, который, прослужив в чине полковника в армиях императора, пережил ужасное несчастье, а именно: лишился своей молодой жены, сгоревшей вследствие неосторожности. В отчаянии приняв монашество, герцог де Роган весьма быстро достиг высших духовных степеней; ему было суждено умереть кардиналом-архиепископом Безансона в 1833 году. Во время своего пребывания в Риме кардинал де Роган убедил своего друга принять католичество[4], что несколько лет спустя позволило барону Геккерену вести переговоры с Григорием XVI по поводу конкордата, возникшего между первосвятителем римским и Голландией. Эта перемена религии несколько отдалила барона от его семьи.

Таким образом, чисто французское образование и отдаленное свойство, могшее существовать между бароном Геккереном и рейнскими семьями, с которыми состоял в родстве Жорж Дантес по отцу и по матери, объясняют дружбу, возникшую между двумя людьми с весьма различными, на самом деле, характерами и вкусами.

---

[1] Она была сестрой графини Вартенслебен, бабушка Жоржа Дантеса с материнской стороны.

[2] Mémoires d'un Royaliste, par le Comte de *Falloux*, de l'Académie Française, 2 vol. Paris, librairie académique Didier-Perrin & C-ie, 1882, См. vol. 1, chap. IV, p. 132.

[3] Мать барона Геккерена-Беверварта была урожденная графиня Нассау.

[4] Портрет кардинала де Рогана, сохранившийся в Сульце, и несколько духовных книг с посвящениями вызывают воспоминание об этой дружбе.

Во всяком случае, горячая привязанность голландского посла, его уравновешенный ум могли оказать лишь самое благодетельное влияние на пылкий характер молодого двадцатитрехлетнего человека, который, вращаясь в блестящем обществе, должен был не только опасаться увлечений, свойственных его живому нраву, но, кроме того, и защищаться еще от зависти тех, которые недобрым взглядом смотрели на иностранца, преуспевавшего на службе и блиставшего в петербургских гостиных.

Эти чувства явствуют из каждой строчки переписки между бароном Геккереном и бароном Конрадом Дантесом. Поэтому-то последний и не был изумлен, когда голландский посланник, будучи бездетным, попросил у него разрешения передать свое имя молодому человеку, за карьерой которого он следил с отеческой нежностью. Г. Дантес тем охотнее согласился на почетное предложение, что надеялся, что его младший сын Альфонс, весьма привязанный к Эльзасу, останется близ него, женится для продолжения рода и будет помогать ему в управлении имуществом, заключавшимся в собственности, требовавшей сложного и постоянного надзора.

В 1834 году барон Геккерен воспользовался поездкой в Париж, чтобы посетить Эльзас и познакомиться с господином Дантесом и его семьей.

После того как согласие членов семьи Геккеренов было изложено в особом акте, король Голландии грамотой от 5 мая 1836 года разрешил Жоржу-Шарлю Дантесу принять имя, титул и герб барона Геккерена, как лично для него, так и для его потомства[1].

В следующем месяце под этим новым именем он был занесен в списки русской армии (письмо графа Нессельроде к барону Геккерену — архив барона Геккерена-Дантеса).

В салонах С.-Петербурга Жорж Геккерен встретился с госпожей Пушкиной, и если он имел неосторожность выказать ей некоторое внимание, то вражда и злоречие весьма скоро исказили характер тех светских отношений, которые существовали между ним и ею. В самом деле, иное чувство, кроме чувства восхищения, которое могла внушать изумительная красота госпожи Пушкиной, заставляло его посещать дом, где он познакомился со старшей сестрой, Екатериной Гончаровой[2], возвышенный ум и привлекательная внешность которой увлекли его.

Поэт был, однако, встревожен той близостью, которой он не мог себе объяснить: анонимное письмо раздражило его до такой степени, что 16 ноября 1836 года он бросил Жоржу Геккерену словесный вызов, от которого затем отказался сначала *устно*, а затем и *письменно*, по особой просьбе своего противника.

Письмо, текст которого, написанный рукою Пушкина, хранится в архивах барона Геккерена, было, по-видимому, первой редакцией,

---

[1] Когда Жорж Дантес, барон Геккерен, вернулся во Францию, он занялся упорядочением своего положения применительно к французскому закону. Королевский указ от 1 апреля 1841 года разрешает ему носить имя Геккеренов с титулом барона.

[2] Екатерина Гончарова родилась в Москве в 1808 году. Она была старшей дочерью Николая Гончарова и Наталии Загряжской. Она состояла в числе фрейлин императрицы. У графини Вандаль, ее второй дочери, сохранился бриллиантовый шифр, знак ее звания.

не удовлетворившей Жоржа Геккерена, вследствие намека на предполагаемый брак. Копия второй редакции, весьма отличная от первой, сопровождаемая заметкой, подчеркивающей ее дух, хранится в том же архиве на месте подлинного текста, который, быть может, находится в числе документов судебного процесса. Как бы то ни было, этот документ устанавливает, что Жорж Геккерен должен был объявить о своей женитьбе лишь после дуэли, чтобы Пушкин не имел права рассматривать эти планы, как отступление со стороны своего противника.

Бракосочетание было совершено в католической и в православной церквах 10 января 1837 года. Свидетели были в одной — барон Геккерен-Беверварт и действительный статский советник граф Григорий Строганов, родной дядя невесты, в другой — Огюстен де Бетанкур, капитан Кавалергардского полка, и виконт д'Аршиак, родственник жениха и состоявший при французском посольстве; госпожа Гончарова, урожденная Загряжская, не могла выехать из деревни, поэтому дядя и тетка невесты, граф и графиня Строгановы, были посаженными отцом и матерью; родители Жоржа Геккерена были представлены послом Голландии и графинею Нессельроде[1].

После свадьбы отношения между обоими домами остались корректными, хотя и холодными.

Вследствие многочисленных анонимных писем, почерк которых менялся постоянно, но которые носили характер несомненного тождества и, благодаря этому, являлись доказательством злостной интриги, Пушкин написал голландскому послу, барону Геккерену, оскорбительное письмо, которое побудило Жоржа Геккерена вступиться за оскорбление, посягавшее на честь не только того, чье имя носил Жорж, но и на честь его самого.

Переговоры, предшествовавшие печальному событию января 1837 года, известны; все относящиеся к нему документы были опубликованы. Жорж Дантес явился на место дуэли в сопровождении виконта д'Аршиака, состоявшего при французском посольстве и родственника семьи Дантесов.

После дуэли Жорж Геккерен, раненый, был заключен в Петропавловскую крепость. Над ним был наряжен суд. В своих показаниях, от которых сохранились неразборчивые черновики, он не переставал твердить о невинности госпожи Пушкиной и о чистоте тех чувств, которые она могла ему внушить. Помилованный императором во внимание к нанесенному ему тяжкому оскорблению, он был выслан за границу[2].

Его жена, никогда не сомневавшаяся в его привязанности к ней, нагнала его в Берлине, в сопровождении барона Геккерена, который среди этих обстоятельств выказал тем, кого он называл своими детьми, самую нежную преданность.

Несколько недель спустя молодые уехали в Эльзас и поселились в Сульце, в отцовском доме, где господин Дантес отвел им помещение. 19 октября того же года здесь родилась их старшая дочь Матильда-Евгения.

---

[1] Графиня Нессельроде была женой графа Нессельроде, впоследствии канцлера русского императора (1760—1856). См. Mémoires d'un Rovaliste, т. 1, стр. 127.

[2] Mémoires d'un Royaliste, par le C-te de Falloux. См. выше, т. I, гл. IV и V. Рассказ о дуэли графа *Фаллу* тождествен с рассказом о ней Жоржа Геккерена.

Жорж Геккерен горячо любил жену и выказывал ей свою любовь и доверие, о которых дети сохранили устные и письменные свидетельства. Несколько кратких писем, написанных им невесте в недели, предшествовавшие их союзу, записки, какими обмениваются молодые люди, влюбленные друг в друга и ежедневно встречающиеся в одном и том же городе,— показывают развитие любви, обоюдная искренность которой разрушает все клеветы, которыми пытались исказить ее характер.

К тому же Екатерина Гончарова вполне заслужила такую горячую преданность. Она была высока ростом и стройна. Ее черные, слегка близорукие глаза оживляли лицо с изящным овалом, с матовым цветом кожи. Ее улыбка раскрывала восхитительные зубы. Стройная походка, покатые плечи, красивые руки делали ее с внешней стороны очаровательной женщиной. Муж, родные, друзья — все, кто ее знал, в своих свидетельствах изображают ее как отменную супругу и страстную мать.

В общем, в этой двойной любви, которую она питала к мужу и к детям, и должна выразиться история счастливых лет, проведенных ею в Эльзасе.

Жизнь была проста в большом старом доме, которым в Сульце, близ Кольмара, владел ее свекор, барон Дантес. Он был окружен многочисленной семьей, сыновьями, незамужними дочерьми, родственниками, которых он приютил после падения Карла X. Дом, с высокой крышей, по местному обычаю, увенчанный гнездом аиста, просторные комнаты, меблированные без роскоши, лестница из вогезского розового камня,— все носило характер эльзасского дома состоятельного класса. Скорее городской дом, нежели деревенский замок, он соединялся просторным двором, превращенным впоследствии в сад, с фермой, которая была центром земледельческой и винодельческой эксплуатации фамильных земель. Боковой флигель, построенный в XVIII веке, был отведен молодой чете. Она могла жить в нем совершенно отдельно, в стороне от политических споров и местных ссор, которые временами занимали, не задевая, впрочем, глубоко, маленький провинциальный мирок, ютившийся вокруг почтенного главы семейства, преданного идеям былого.

По переписке, которою Екатерина Геккерен обменивается с матерью и с прочими родственниками, по письмам, ответы на которые хранятся в архивах Сульца, чувствуется на каждой странице, что если молодая женщина и продолжает интересоваться братьями и сестрами, то живет все-таки лишь для тех, кто ее окружает, для мужа, которого она обожает, для дочерей, за физическим и нравственным воспитанием которых она следит шаг за шагом.

Барон Геккерен, покинувший в первые месяцы 1842 года пост посла в Петербурге[1] для того же поста при венском дворе, входил в жизнь молодой четы многочисленными свидетельствами своего участия. Екатерина Геккерен охотно посещала одно имение, лежащее в долине Массево, близ Сульца, и расположенное на одном из уступов Вогез, с великолепным видом; он поспешил купить небольшой участок земли Шиммель, построил там простой дом и подарил

---

[1] Lettres et papiers du Chancelier Comte de Nesselrode ... Paris, Lahure, t. VIII, p. 171–172. (Неверно, Геккерен оставил Петербург в 1837 году. — *П. Щ.*)

его детям, чтобы они могли проводить там летние месяцы вполне интимно. Он пригласил их в 1842 году погостить у него несколько месяцев в Вене, с тремя их девочками[1]. Акварельный портрет, копия с которого была послана бароном Геккереном-Беверварт госпоже Гончаровой в ее имение Полотняный Завод, изображает их сидящих красивой группой, в широком кресле. Портрет этот сохранился там до сих пор[2].

Путешествие в Вену, редкие поездки в Баден-Баден, где Жорж Геккерен видался с некоторыми петербургскими товарищами и друзьями, и откуда его шурин, Иван Гончаров, посетил свою сестру в Сульце, путешествие в Париж (1838), во время которого была написана миниатюра, один из двух портретов Екатерины, написанных за время ее замужества, летние месяцы, проводимые в Шиммеле, вместе с рождением трех дочерей[3], суть самые крупные события семейной жизни, полной интимности и взаимного доверия.

Но мечта Екатерины могла сбыться лишь в тот день, когда она подарит своему мужу сына.

Последняя беременность принесла ей эту надежду. Несмотря на то, что она осталась православной, она посещала римско-католические церкви и усердно присутствовала на службах. К этому времени относится воспоминание о богомолье, которое она совершила со смирением, босая, согласно местному обычаю, в маленькую соседнюю часовню, которая укрывает чудотворную мадонну. Ее мольбы были услышаны. 22 сентября 1843 года она родила сына, Луи-Жозефа-Жоржа-Шарля-Мориса. Но несколько недель спустя родильная горячка, серьезность которой с самого начала не давала почти надежды, унесла эту избранную женщину.

Она принесла в жертву свою жизнь вполне сознательно. Ни одной жалобы не слетело с ее уст во время агонии; ее единственные слова были молитвы, в которых она благодарила небо за счастливые минуты, посланные ей с минуты замужества.

Она умерла 15 октября 1843 года и похоронена на кладбище Сульца в фамильном склепе.

Несколько писем, написанных лечившим ее доктором Вестом, бывшим другом детства ее мужа, почти ежедневно держали барона Геккерена, жившего тогда в Вене, в курсе болезни, роковой исход которой был неизбежен. Они рисуют с разительной реальностью опасения родных, а также любовь и преданность, которые баронесса Геккерен сумела внушить всем, кто ее окружал.

Горе ее мужа было глубоко. Он остался вдовцом в 30 лет, с четырьмя детьми, из которых старшей девочке было едва шесть лет. Воспоминание о женщине, которую он любил, никогда не покидало его. В блестящем положении, которое он занял впоследствии, он неизменно отказывался от новой женитьбы.

Его дети и внуки сохранили память о словах, в коих он непрестанно говорил о той, которая принесла ему самое полное супружеское счастье.

---

[1] Lettres du Comte et de la Comtesse de Ficquelmont à la Comtesse de Tiesenhausen publiées par F. de Jonis. Paris, 1911, pp. 35 et 298.

[2] «Полотняный Завод» А. Средина. — Старые годы, сентябрь 1910.

[3] Матильда-Евгения родилась в Сульце 19 октября 1837.
Берта-Жозефина родилась в Сульце 5 апреля 1839.
Леони-Шарлотта родилась в Сульце 3 апреля 1840.

Смерть Екатерины Гончаровой не прервала сношений Жоржа Геккерена с Россией. Судя по обмену писем, эти связи сделались даже теснее. Его теща, госпожа Гончарова, в длинных письмах выражает ему свою любовь и доверие. С живым интересом следит она за воспитанием и развитием внучат. Она предполагает совершить даже путешествие в Эльзас, осуществлению которого мешает плохое состояние ее здоровья.

После ее смерти Жорж Геккерен несколько раз принимал в Сульце своих племянников, а его дочери поддерживали дружеские отношения со своими двоюродными сестрами.

Мужчина в возрасте Жоржа Геккерена не мог остаться без дела. Потребность его в деятельности, лежавшая в основе его характера, должна была послужить исходом и для его горя, а так как его дети нашли у его незамужних сестер самые нежные материнские заботы, то вскоре он выступил на политическом поприще, согласно традициям семьи.

В 1845 году он сделался членом Генерального совета Верхнего Рейна; 28 апреля 1848 года он был избран народным представителем в Национальное собрание и 13 мая 1849 года был переизбран в Учредительное собрание количеством 34.000 голосов.

Обладая ясным умом, преданный друзьям, он вскоре выдвинулся в первые ряды: назначаемый секретарем в различных собраниях, следовавших одно за другим в Бурбонском дворце между 1848 и 1851 годами, он пользовался действительным влиянием на своих коллег. В 1848 году (1 мая) во время вторжения народной толпы в Палату он спас жизнь одному приставу, защитив его своим телом. Литография художника Бономе напоминает эту историческую сцену со всеми различными обстоятельствами: мужественный поступок депутата Верхнего Рейна изображен в ней на первом плане. Блестящий и остроумный собеседник, он был постоянным посетителем салонов Тьера[1], княгини Ливен[2] и госпожи Калержи[3].

В 1850 году, несмотря на легитимистские привязанности его семьи, он присоединился к принцу Луи-Наполеону, полагая, что его родина может вновь обрести покой лишь при условии сильной власти. Таким образом он очутился в числе политических деятелей, образовавших Комитет, известный под именем Комитета улицы Пуатье, и подготовивших водворение Империи.

---

[1] Mémoires d'un Royaliste, par le C-te de *Falloux*, ouvr. cit., vol. II, p. 160. Marquis Philippe de *Massa*. Souvenirs et Impressions (1840–1871). Paris, Calmann-Lévy éditeur, 1897, p. 31. Граф *де Фаллу* рассказывает об этом случае иначе, стр. 319 вышеприведенного произведения.

[2] Княгиня *Ливен*, урожденная *Бенкендорф* (1784–1857), супруга генерала *Ливена*, российского посла в Берлине и Лондоне, поселилась в Париже после смерти мужа, и с 1836 года у нее был там политический салон, возможности посещать который весьма добивались. *Гизо* был связан с нею преданной дружбой.

[3] Г-жа *Калержи*, урожденная Мария *Нессельроде* (1823–1874) и вышедшая вторично замуж в 1865 году за г. *Муханова*. В первые годы Империи у нее был в Париже салон, посещаемый художниками, писателями, музыкантами. Теофиль Готье посвятил в честь ее необыкновенной красоты одно из самых знаменитых стихотворений своего сборника «Эмали и Камеи»: *La Symphonie en blanc majeur.* Г-жа Калержи была племянницей *Нессельроде* и через семью отца была в родстве с *Гацфельдтами.*

В важных обстоятельствах принц-президент решил, что он может рассчитывать на ум и на такт барона Геккерена. Облеченный Луи-Наполеоном в мае 1852 года тайной миссией ко дворам Вены, Берлина и Петербурга, он должен был привести в Париж уверения в том, что восшествие на императорский престол принца-президента будет принято дворами северных держав.

Принятый благосклонно в Вене, затем в Берлине, он получил особые аудиенции у государей обеих держав. В последнем городе 22 мая он выполнил ту же миссию при императоре Николае Павловиче, гостившем у своего родственника, короля Пруссии. Царь выказал ему благосклонность, напомнил о его службе в русской армии и разрешил со всей откровенностью высказать ему пожелания и надежды принца Луи-Наполеона[1].

Кресло сенатора[2] вознаградило в 1852 году успех этой миссии. Барон Геккерен вступил в это высокое собрание сорока лет от роду, будучи моложе всех своих коллег. Всегда верный политике императора, хотя в 1859 году он и мало сочувствовал французским операциям в Италии, он нередко имел случай принимать участие в прениях, то по крупным вопросам внешней политики[3], то с целью поддержки эльзасских интересов, получая от национальных властей разрешение на постройку железнодорожных линий, необходимых для развития промышленности в долинах Верхнего Рейна. Благодаря его связям в дипломатическом мире[4], его осведомленности об иностранных дворах, которою он был обязан барону Геккерену, нидерландскому послу в Вене, он бывал неоднократно вовлекаем в щекотливые переговоры[5]. В последние годы Империи политическое положение барона Геккерена было видное: председатель Генерального совета Верхнего Рейна, мэр Сульца, он был произведен в кавалеры ордена Почетного легиона 12 августа 1863 года и в командоры ордена 14 августа 1868 года. Он не писал мемуаров и не оставил после себя никаких записок, которые относились бы к его политической карьере[6].

Следует напомнить, наконец, что его практическое чувство действительности оказало ему большие услуги в процессе финансового роста, отметившего годы процветания Второй империи; благодаря его бли-

---

[1] Souvenirs du Second Empire, par A. *Cranier de Cassagnac,* 2 vol. Dentu, éditeur. Paris, 1881, 2-e partie, pp. 121–133.

Lettres et papiers du Chancelier Comte de *Nesselrode,* ouvr, cité, vol. X, pp. 204 et 205. Lettres du comte de *Nesselrode* au baron de *Meyendorff.*

[2] Император лично назначал членов сената, они были несменяемы и получали годовой оклад 30.000 франков.

[3] Lettres de Prosper *Mérimée* à *Panizzi,* 2 vol. Paris, 1881, t. 1, pp. 178–180, lettre du 28 février 1861: «После Ларош Жаклена появился Геккерен (убийца Пушкина), атлетического сложения, с немецким акцентом, с тяжелым видом; не знаю, сам ли он сделал свою речь, но произнес он ее превосходно и с сдержанной силой, производящей впечатление...»

[4] Прусский посол в Париже в первые годы Империи, граф *Гацфельдт* был дядей барона *Геккерена* (См: Erinnerungen aus meinem Berufsleben, 1849, bis 1867, von Ereiherrn von Löe, Deutsche Verlags-Anstalt. Stuttgart, 1906).

[5] Souvenirs du Second Empire par A. Granier de Cassagnac. Ouvr. cité, vol. 11, 132–133.

[6] В 1909—1910 гг. появились три тома, озаглавленные: «Мемуары барона d'Anthès (Cocuault, édit. Paris), в которых ожидали увидеть личность барона Дантеса-Геккерена. Примечание издателя, напечатанное в начале третьего тома, устанавливает, что эти мемуары не имеют к нему никакого отношения.

зости к братьям Перейр, он был в числе первых учредителей некоторых кредитных банков, железнодорожных компаниий, обществ морских транспортов, промышленных и страховых обществ, которые возникли во Франции между 1850 и 1870 годами.

Незамужняя сестра барона Геккерена, Адель Дантес, взяла на себя заботу о воспитании четверых малолетних детей, которых Екатерина Гончарова, умирая, оставила мужу. С необыкновенной преданностью она воспитала своих племянниц так, как они были бы воспитаны тою, от которой, по словам современников, они унаследовали некоторые физические и моральные качества, и особенно ту природную грацию, которая составляет одну из очаровательных черт славянской расы.

Дочери барона Геккерена[1] были с первой же минуты их появления в свете весьма отмечены. Императрица Евгения выказала им свою благосклонность, по-матерински интересуясь их судьбой. Она допустила их в интимный круг Тюльери и осенних местопребываний двора в Компьене и Фонтенбло[2].

В 1861 году Матильда-Евгения, старшая дочь, вышла замуж за бригадного генерала Жана-Луи Метмана, командора ордена Почетного легиона, во время итальянской кампании командовавшего одним из полков императорской гвардии, сопротивление которого обеспечило победу при Мадженте[3]. Она умерла в Париже 29 января 1893 года.

В 1864 году барон Геккерен выдал замуж вторую дочь Берту-Жозефину (1839—1908) за Эдуарда, графа Вандаля (1813—1889), государственного советника, главного директора почт, командора Почетного легиона, оставившего видное имя во французской администрации[4]. Графиня Вандаль умерла в Аржантане 17 апреля 1908 года[5]. Ее сестра, Леони-Шарлотта, остававшаяся незамужней, умерла в Париже 30 июня 1888 года.

Его сын Луи-Жозеф-Морис-Шарль-Жорж де Геккерен Дантес с физическими качествами соединял необыкновенное мужество и энергию.

После первого путешествия в Чили он двадцати лет поступает на службу, едет в Мексику и участвует в походе в качестве офицера от 1863 до 1867 года. Возвращается во Францию тяжело раненный, и в приказе по армии объявляют о его подвиге, который занесен в историю Мексиканской экспедиции под названием дела при Котитлане.

Тотчас по объявлении войны Пруссии (июль 1870) он поступил простым солдатом в полк конных охотников и принимал участие во всех битвах под Мецом. После Гравелотта о нем было объявлено в приказе по армии, и он был награжден орденом Почетного легиона. Он был гоффурьером.

Чтобы не подвергнуться последствиям сдачи Меца, он переоделся крестьянином и, благодаря своему знанию немецкого языка, прошел

---

[1] Венгерский живописец Горовиц написал в 1862 году трех дочерей барона Геккерена во всем блеске молодости.

[2] *Marquis P. de Massa*. Souvenirs et Impressions (1840–1871), ouvr. cité, p. 150.

[3] Le Comte d'Hérisson, Journal de la Campagne d'Italie 1859. Paul Ollendorf, éditeur, 1889, Paris, pp. 43 et suivantes.

[4] Mes amis. Souvenirs par L. de la Brière. Paris, Kolb, édit. Souvenirs et Impressions par le Marquis P. de Massa, ouvr. cité, p. 345.

[5] От первого брака с m-lle de Naives у графа Вандаля был сын Альберт, граф *Вандаль*, французский историк, член Французской академии.

через линии прусских войск, причем был два раза остановлен. Добравшись до Тура, он предоставил себя в распоряжение правительства национальной обороны. Возвращенный в чине поручика в охотничий полк, он в этом чине участвовал в Луарском, а затем и в Восточном походе, в 24-м корпусе.

Произведенный в капитаны на поле битвы при Виллерсексель, он последовал за восточной армией в ее отступлении, но после того, как его солдаты вступили на Швейцарскую территорию, он снова перебросился во Францию. Когда он приехал в Бордо, война была окончена, и его военная карьера завершена[1].

Двенадцать лет спустя, 11 января 1883 года, он женился в Сульце на Марии-Луизе-Виктории-Эмилии Шауэнбург-Люксембург, родившейся в Оберкирхе (Великое Герцогство Баденское) и принадлежавшей к старинной дворянской фамилии Великого Герцогства Баденского, одна ветвь которой долго жила в Эльзасе.

Падение Империи закончило в 1870 году политическую жизнь барона Геккерена. Во исполнение статьи Франкфуртского договора, предоставлявшей эльзасцам право избирать себе национальность, он выбрал французскую национальность.

С тех пор он разделял свое существование между Эльзасом, Сульцем, — из которого после смерти отца в 1852 году он сделал более уютное жилище, окруженное большим садом, — Шиммелем и Парижем.

Портрет Каролюса Дюран, помеченный 1878 годом, одна из лучших работ художника, изображает барона Геккерена в его бодрой старости, которая, не взирая на жестокие припадки подагры, сохранила его уму всю его ясность.

Он изображен прямо сидящим в кресле и держащим в свисающей руке еще горящую сигару, с несколько высокомерно закинутой головой, что было для него привычно и что мы видим и на маленьком портрете, писанном с него в Петербурге, на котором он изображен в кавалергардском мундире.

Серебристо-белые, откинутые назад волосы, длинные усы и густая бородка обрамляют мужественное лицо, с крупными чертами, со свежим цветом кожи. Темно-голубые глаза смотрят прямо и пристально, что было отличительной чертой его своеобразного лица, и дополняют живой образ барона Геккерена за последние двадцать лет его жизни.

В 1875 году барон Геккерен-Беверварт переехал в Париж к детям после шестидесяти лет деятельной службы. Он покинул пост нидерландского посла в Вене, который он занимал с 1842 года и где давно уже был старшиной дипломатического корпуса.

Вплоть до смерти, наступившей 27 сентября 1884 года (ему было около 89 лет), он сохранил свой живой ум, свое колкое остроумие. Его внукам, видевшим его, нетрудно было узнать в этом восьмидесятилетнем старике, с изящными манерами, дипломата, который в Петербурге и в Вене был коллегой графа Нессельроде, принца Меттерниха, принца Шварценберга, графа Буоля, этих вдохновителей европейской политики девятнадцатого века.

Жорж-Шарль Дантес, барон де Геккерен, пережил своего приемного отца одиннадцатью годами. Он умер в возрасте 83 лет в Сульце (Верхний

---

[1] Arthur Meyer. “Ce que mes yeux ont vu”. Plon-Nourrit., édit. Paris, 1911, pp. 217–218.

Эльзас) 2 ноября 1895 года, в родном доме, окруженный детьми, внуками и правнуками[1].

Луи Метман.

Париж, 5 февраля 1912.

---

[1] Барон Жорж де Геккерен-Дантес-сын умер в Версале 27 сентября 1902 года. Он должен был на короткое время покинуть Эльзас, чтобы сохранить для своих сыновей, уроженцев Сульца, французскую национальность. Имение Сульц в настоящее время принадлежит его вдове баронессе де Геккерен-Дантес, урожденной Шауэнбург-Люксембург.

VII. ИНОСТРАННЫЕ ДИПЛОМАТЫ О ДУЭЛИ И СМЕРТИ ПУШКИНА

1. Поиски в дипломатических архивах. — 2. Донесение барона Баранта. — 3. Донесение британского посла графа Дёрама. — 4. Донесение австрийского посла графа Фикельмона. — 5. Донесение шведско-норвежского поверенного Густава де-Нордин. — 6. Донесения неаполитанского посланника графа ди-Бутера. — 7. Донесение сардинского посланника графа Симонетти. — 8. Донесение датского посланника графа Бломе (Блума). — 9. Донесения виртембергского посланника графа Гогенлоэ-Кирхберга. — 10. Донесения саксонского посланника барона Люцероде. — 11. Донесения баварского посланника графа Лерхенфельда. — 12. Донесения прусского посланника барона Либермана.

Предполагая, что в депешах и донесениях иностранных дипломатов, находившихся при петербургском дворе в 1837 г., могут оказаться сведения, любопытные для истории дуэли Пушкина с бароном Геккереном, я обратился в Пушкинскую академическую комиссию с просьбой о содействии в разыскании сих материалов. Комиссия отнеслась весьма сочувственно к моему предложению и постановила возбудить соответствующее ходатайство у министра иностранных дел. Министр, идя навстречу ходатайству комиссии, поручил нашим представителям при иностранных дворах войти в сношение с министрами держав, при которых они аккредитованы, по вопросу об извлечении из дипломатических архивов могущих там быть сообщений о дуэли и смерти Пушкина. Поручение министра было выполнено нашими представителями в Афинах, Берлине, Вашингтоне, Вене, Дрездене, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Париже, Риме, Стокгольме и Штутгарте.

Безрезультатными оказались только поиски в Афинах и Вашингтоне. В архивах греческого министерства иностранных дел «не нашлось каких-либо копий или выписок донесений, касающихся дуэли и смерти Пушкина». Об этом нельзя не пожалеть, так как греческим представителем при русском дворе был в 1837 году князь Михаил Суццо, с которым Пушкин был знаком еще по Кишиневу и встречался в петербургском свете. В ответ на обращение нашего посла в Вашингтоне государственный департамент уведомил его, что, «несмотря на тщательный пересмотр донесений как г-на Клая (Klay был Северо-Американским поверенным в делах в С.-Петербурге в 1837 году), так и генерального консула Соединенных Штатов в С.-Петербурге и разной другой переписки за 1837 год, не удалось найти каких-либо сведений, касающихся дуэли и преждевременной смерти русского поэта».

Но зато поиски в дипломатических архивах всех остальных названных

министерств иностранных дел принесли обильный результат. И если одни из дипломатов ограничились лишь попутным упоминанием о деле Пушкина в своих депешах, как, напр., послы британский и французский, то другие посвятили этому делу обширные сообщения или целые специальные донесения или даже целый ряд донесений. Особенно подробными оказались сообщения представителей Германии: посланников прусского — Либермана, виртембергского — князя Гогенлоэ-Кирхберга, саксонского — барона Люцероде и баварского — графа Лерхенфельда.

1.

Нельзя не пожалеть сугубо о скудных результатах поисков в архиве французского министерства иностранных дел. Французским послом в 1835—1841 гг. был барон Барант. Он сам был выдающимся писателем, интересовался вопросами литературы, знал и ценил Пушкина. Об его отношении к Пушкину свидетельствует официальное обращение от 23—11 декабря 1836 года к Пушкину с просьбой о сведениях по вопросам о литературной собственности для французской комиссии, занимавшейся разработкой правил. «Правила литературной собственности в России, — писал Барант Пушкину, — должны быть вам известны лучше, чем кому-либо другому, и, конечно, вы не раз обдумывали улучшение этого пункта русских законов. Вы очень мне поможете в моих розысках, сообщив действующие правила и обычаи и ваши соображения насчет таких правил, которые были бы пригодны в разных государствах в интересе авторов или их заместителей. Зная достаточно вашу любезность, я позволяю себе адресоваться к вам за подробными сведениями по этому важному вопросу»[1]. Но даже не это обстоятельство заставляло предполагать, что Барант должен был бы упомянуть о смерти Пушкина в своих депешах. К дуэли был причастен состоявший при французском посольстве виконт д'Аршиак. Он был секундантом барона Геккерена и через несколько же дней, очевидно, «по независящим от него обстоятельствам», был вынужден отправиться курьером во Францию. Казалось бы, в бумагах французского министерства должны храниться какие-либо сообщения по этому поводу. Но результаты поисков были ничтожны. Наш посол мог препроводить «единственное найденное донесение, в котором упоминается о дуэли Пушкина». Это — извлечение из депеши барона Баранта к графу Моле от 6 апреля 1837 года. Вот эти несколько строк: «Неожиданный приказ о высылке г. Дантеса, противника Пушкина, который был посажен в открытую телегу и отвезен на границу, как бродяга, без предупреждения его семьи об этом решении, явился результатом этого раздраженного состояния государя» (Affaires étrangers, Russie, *Correspondance politique)*. Чтобы понять смысл последних слов, надо упомянуть, что Барант в предшествующих отрывку фразах сообщал Моле об угрюмом и раздраженном настроении императора Николая и приписывал его недовольству фактом объявления свадьбы герцога Орлеанского с принцессой Мекленбургской.

Необходимо добавить, что сообщенное из французских архивов извлечение из донесения не является новинкой: самое донесение напечатано в «Souvenirs du baron de Barante» Paris, t. V. 1895, p. 557.

---

[1] *И. А. Шляпкин.* Из неизданных бумаг А. С. Пушкина. Спб., 1903, стр. 290—298.

Отсюда эта депеша с сокращениями переведена в «Русском архиве». 1896, т. 1. стр. 447—448.

Приходится все-таки предполагать, что в архивах французского министерства иностранных дел находятся и остаются неразысканными и другие сообщения о деле Пушкина или, по крайней мере, о роли д'Аршиака.

2.

В архиве великобританского министерства иностранных дел нашлось немного материала о смерти Пушкина. Маркиз Лансдоун доставил нашему послу копию с извлечения из депеши графа Дёрама (Durham) от 3 мая 1837 года и с приложенного к ней перевода, присовокупляя, что в архиве английского министерства других сообщений по сему предмету, по-видимому, не имеется.

Приложенный перевод оказался переводом краткой сентенции военного суда с конфирмацией государя по делу Геккерена. Эта сентенция была распубликована в выходивших в С.-Петербурге газетах на французском, немецком и русском языках. Самое же извлечение из депеши графа Дёрама виконту Пальмерстону от 3 мая 1837 года, за № 176, следующего содержания:

«Первое приложение (Указ) — приговор военного суда о бароне Геккерене, приемном сыне голландского министра. Он был офицером на русской службе и недавно убил на дуэли прославленного поэта Пушкина. Оскорбление, которое было направлено против голландского министра в письме Пушкина, слишком ясно для уразумения и совсем неблагожелательно для его превосходительства. Он оставил здешний двор, испросив отпуск, вынужденный этим несчастным обстоятельством, и получил отказ в аудиенции его величества, но был награжден табакеркой. Сын его был выслан на границу, в открытой телеге, в сопровождении жандарма».

Граф Дёрам был недолго представителем английских интересов в России, но он вдумчиво наблюдал нашу общественную и государственную жизнь. О ценности его наблюдений свидетельствуют его официальные донесения и отчеты и частные письма в Англию, могущие служить важным источником для русской истории. Они отчасти собраны в книге Reid'a «Life and Letters of First Earl of Durham (1792—1840)» London, T. 1 and II, 1907. О смерти и дуэли Пушкина в этой книге ничего не имеется.

3.

Поиски в архиве австро-венгерского министерства иностранных дел дали незначительные результаты. Фикельмон, бывший тогда послом в Петербурге, был женат на дочери Е. М. Хитрово, приятельницы Пушкина, влюбленной в него и водившей близкое знакомство с князем П. А. Вяземским, Жуковским и другими русскими писателями; он был осведомлен, конечно, об истории Пушкина лучше, чем всякий другой дипломат. Он не обошел этого дела в своих донесениях своему министру графу Меттерниху, но не счел нужным распространиться о нем подробно. Австро-Венгерское министерство препроводило нашему послу отрывок из депеши графа Фикельмона, касающийся дуэли Пушкина. Отрывок оказался уже известным в России. Он был извлечен из Венского архива д-ром Карлом Шрауфом и через Г. Ф. Штендмана

предоставлен в распоряжение Л. Н. Майкова, который и напечатал его в «Старине и новизне», кн. III. Спб., 1900, стр. 339—341.

В видах сохранения полноты подбора дипломатических сообщений о смерти Пушкина приводим перевод этого документа[1].

Из подлинного отчета графа Фикельмона князю Меттерниху,

С.-Петербург, 1837.
февраль 14—2.

Князь,

. . . .

. . . .

Вчера здесь хоронили г. Александра Пушкина, выдающегося писателя и первого поэта России. Император приказал ему поселиться в Петербурге, поручив ему написать историю Петра Великого; для этой цели в его распоряжение были предоставлены архивы Империи.

Г. Пушкин был убит на дуэли офицером Кавалергардского полка бароном Дантесом, французом, покинувшим Францию вследствие революции 1830 года. Это обстоятельство, вместе с солидными рекомендациями, обеспечило ему благосклонный прием; император отнесся к нему милостиво. Геккерен привязался к молодому человеку; есть какая-то тайна в поводах, побудивших его усыновить молодого человека, передать ему свое имя и свое состояние.

У г. Пушкина была молодая, необыкновенно красивая жена, которая подарила ему уже четырех детей. Раздражение против Дантеса за то, что он преследовал молодую женщину своими ухаживаниями, привело к вызову на дуэль, жертвою которой пал г. Пушкин. Он прожил 36 часов после того, как был смертельно ранен.

Император среди этих обстоятельств выказал то великодушие, которое свойственно его нраву. Его величество поздно вечером узнал о том, что Пушкин дрался на дуэли и что он безнадежен; он осчастливил поэта, написав ему несколько слов о том, что он его прощает, призывал его к выполнению христианского долга и успокоил последние минуты его жизни обещанием позаботиться о его жене и детях.

По слухам, его величество назначил пенсию в 6000 рублей вдове и по 1500 рублей каждому из четверых детей; он приказал поместить обоих сыновей в Пажеский корпус, с тем чтобы они воспитывались на его счет, и намеревается уплатить долги мужа по закладной на принадлежащую ему землю.

Но все это великодушие превзойдено следующим решением. Император призвал г. Жуковского, воспитателя его высочества наследника, бывшего также другом и, так сказать, духовным опекуном г. Пушкина, и сказал ему: «У Пушкина была горячая голова, у него бывали часто

---

[1] Нелишне привести примечание, сделанное Л. Н. Майковым к этому донесению графа Фикельмона: «П. О. Пирлинг сообщил нам следующие сведения о Дантесе: Георг-Шарль Дантес родился в Кольмаре 5 февраля (н. ст.) 1812 года; поступил в Сен-Сирское военное училище 19 ноября 1829 года, отбыл в отпуск 30 августа 1830, а 19 октября того же года уволен из училища по желанию семейства. Сведения эти извлечены из находящегося в училище послужного списка Дантеса. По преданию, он был исключен за участие в политических манифестациях».

экзальтированные мысли; я прикажу передать вам все его бумаги; сожгите из них те, которые захотите, меня это не касается, и оставьте только то, что вы сочтете нужным».

Я не осмеливаюсь высказываться, ибо слова бледны и слабы для изображения подобного факта, и я ограничусь простым сообщением его вашей светлости.

Прошу принять, князь, уверение в глубоком моем уважении.

Граф Фикельмон.

Его светлости князю Меттерниху, и проч.

4.

С декабря 1836 по май 1837 года, за отсутствием посла, секретарь Шведо-Норвежского посольства Густав Нордин (Gustav de Nordin) состоял Шведско-Норвежским поверенным в делах в С.-Петербурге. Нордин был знаком с Пушкиным и встречался с ним в салонах. В дневнике под 18 декабря 1834 года Пушкин упоминает о беседе с Нордином. «Вчера (т. е. 17 декабря 1834 года) вечер у S—. Разговор с Нордингом о (русском) дворянстве, о гербах, о семействе Екатерины I-й etc». После смерти Пушкина Нордин в своем донесении министру Веттерштедту от 6—18 февраля 1837 года дал сообщение о смерти Пушкина. По этому небольшому сообщению видно, что он высоко ценил Пушкина как писателя и сознавал значение потери Пушкина для России. Любопытно отметить упоминание Нордина по поводу того, что Пушкин в течение последних лет занимался историей Петра Великого: «Лица, имевшие возможность, — пишет Нордин, — ознакомиться с отрывками, уже написанными им на эту тему, способную вдохновить русского историка, вдвойне сожалеют о его преждевременной кончине».

Шведское Министерство иностранных дел доставило нашему посланнику извлечение из депеши Нордина, уведомив его, что «кроме этого документа, других сообщений г-на Нордина по требуемому предмету в архивах министерства не оказалось».

(Выдержка.)

С.-Петербург 6/18 февраля 1837.

Граф,

. . . .

Россия только что понесла чувствительную утрату со смертью г. Александра Пушкина, писателя высоких достоинств и как поэта не имевшего соперников в стране. Любимец русской публики, г. Пушкин начал блистать на литературном горизонте уже лет двадцать тому назад, когда его пылкие и смелые стихотворения были встречены соотечественниками его с истинным энтузиазмом. Последние работы автора, отмеченные большим спокойствием духа, носят печать необыкновенной законченности; но, по мнению некоторых, в них менее поэтического вдохновения, хотя в отношении стиля г. Пушкин все более и более приближался к той благородной простоте, которая является печатью подлинного гения. Император поручил ему написать историю Петра Великого, и г. Пушкин в последние годы занимался изучением и исследованиями, необходимость коих вытекала из столь огромной задачи; те, кому довелось познакомиться с отрывками, написанными им уже на эту тему, способную действительно вдохновить русского историка, вдвойне оплакивают его преждевременную кончину. Она была следствием смертель-

ной раны, полученной им на дуэли со свояком бароном Геккереном-Дантесом, приемным сыном нидерландского посла и офицером Кавалергардского полка. Уже давно удостаивая г. Пушкина своим благоволением и ценя его огромный талант, как украшение своего царствования, император особенно оплакивает эту национальную потерю. Его величество соблаговолил назначить вдове и детям покойного ежегодную пенсию в 11000 рублей, уплатил все его долги и, сверх того, дал обещание напечатать на свой счет роскошное издание произведений Пушкина, выручка от продажи которого должна поступить в пользу семьи; этим путем семья, по всей вероятности, получит свыше 300000 рублей.

Барон Геккерен-отец написал Нидерландскому двору, прося отставить его от должности посла, занимаемой им здесь. Неизвестно, какому наказанию будет подвергнут его сын, который в качестве русского офицера находится под военным судом, но предполагают, что ему дадут возможность уехать, вычеркнув его из полковых списков, тем более, что оскорбление, полученное им от свояка, делало смертельный поединок между ними неизбежным.

. . . .

Густ. Нордин.

Его превосходительству Графу Веттерштедту, и пр.

5.

Итальянское министерство иностранных дел доставило нашему послу в Риме сообщения о деле Пушкина, извлеченные из депеш посланников неаполитанского и сардинского.

С декабря 1835 по июнь 1841 года чрезвычайным посланником Неаполитанским и Обеих Сицилий в С.-Петербурге являлся князь Георгий Вильдинг ди Бутера и ди Радоли (Wilding di Butera et di Radoli). Англичанин по происхождению, Вильдинг женился на княгине Бутера из знатной палермской семьи и получил в 1822 году право на присоединение к своей фамилии княжеского титула и фамилии; в 1835 году ему было разрешено присоединить еще княжескую фамилию Радоли[1]. В 1836 году он женился на русской — графине Варваре Петровне Полье, по первому мужу Шуваловой, урожденной княжне Шаховской (1796—1870)[2]. Пушкин в своем дневнике под 17 марта 1834 года записал: «Из Италии пишут, что графиня Полье идет замуж за какого-то принца, вдовца и богача. Похоже на шутку, но здесь об этом смеются и рады верить». Очевидно, тут идет речь об ее третьем браке с князем ди Бутера. О князе Бутера сохранились отзывы, как об умном и образованном человеке[3].

О деле Пушкина князь Бутера упоминает в двух своих депешах — от 14 февраля и 15 апреля (нов. ст.) 1837 года. Вот эти упоминания.

1.

«Петербург, 14 февраля 1837 г. . . . .

. . . .

8 числа сего месяца здесь имела место дуэль между знаменитым русским поэтом г. Пушкиным и г. бароном де Геккерен, приемным сыном

---

[1] Chronique de Dino, t. 1, 412.

[2] Великий князь Николай Михайлович. Русские портреты, т. IV, № 90.

[3] *Franz Freiherr von Andlaw.* Mein Tagebuch. 1-er Band. Frankf. am M. 1862, S. 155.

здешнего Голландского посланника и офицером кавалерийского полка е. в. государыни. Говорят, что эта дуэль была вызвана настойчивым ухаживанием офицера за г. Пушкиной, возбудившим ревность ее мужа; позавчера он, к несчастью, умер, не проживши и двух дней после нанесения ему раны пистолетным выстрелом противника. Эта дуэль оценивается всеми классами общества, а в особенности средним, как общественное несчастье, потому что поэзия Пушкина очень популярна, и общество раздражено тем, что находящийся на русской государственной службе француз лишил Россию лучшего из ее поэтов. Кроме того, едва прошло пятнадцать дней, как офицер сделал предложение сестре жены Пушкина, которая жила в доме покойного; говорят, что этот шаг был сделан лишь с целью прекратить пересуды, вызванные его частым посещением дома Пушкина. Дуэли здесь очень редки, и русские законы карают участников смертью. Уже назначена военная комиссия для суда над офицером. Думают, что государь изменит приговор, который будет вынесен судьями, и смягчит суровость закона. Так как офицер — француз по происхождению и приемный сын посла Голландии, то последний должен будет покинуть здешнюю резиденцию: настолько общественное мнение возбуждено этим делом. Г. Пушкину не было еще 37 лет, и он оставил после себя молодую жену и четырех малюток. Три года тому назад ему была назначена пенсия за работы над историей Петра Великого, и он собрал уже ценные материалы, имея разрешение обследовать архивы Москвы, Казани и других городов для извлечения документов и собирания сведений. Два поступка императора в этом прискорбном событии делают ему честь. Во-первых, едва только он был извещен воспитателем наследника цесаревича, другом г. Пушкина, что последний смертельно ранен и просит прощения за нарушение закона, сейчас же написал ему по-русски собственноручное письмо с обещанием прощения, если останется жив, и с просьбой быть спокойным, если не придется увидеться, за жену и детей, о которых он позаботится, как о своих собственных. И действительно, не прошло трех дней после смерти Пушкина, как будущее двух мальчиков, двух девочек и вдовы было обеспечено. Пушкин был склонен к либерализму, и это было известно императору; не желая, чтобы бумаги и корреспонденция покойника кого-нибудь скомпрометировали, в момент смерти он послал в его дом воспитателя наследника собрать бумаги, сохранить материалы по истории Петра Великого и документы из Государственного архива, а все остальное, что может омрачить память Пушкина и повредить другим, сжечь без рассмотрения.

Общество оценило по достоинству это решение императора».

. . . .

II.

Петербург, 15 апреля 1837 г.

«Барон Геккерен, министр голландский, отправился вчера с тем, чтобы больше не возвращаться. Сын его, убийца г. Пушкина, разжалован и отправлен на границу с фельдъегерем».

6.

Сардинским посланником в С.-Петербурге с апреля 1829 по ноябрь 1837 года состоял граф Симонетти. Нам не встретилось решительно ни-

каких сведений о нем. Известно только, что он жил на Дворцовой набережной в доме князя Долгорукого. В четырех своих донесениях сардинский посланник сообщал своему министру в Турин сведения о деле Пушкина: 2(14), 9(21) февраля, 25 марта (6 апреля) и 3(15) апреля.

I.

Петербург, 2/14 февраля 1837.

В среду на прошлой неделе произошла дуэль на пистолетах между камер-юнкером Александром Пушкиным и офицером Кавалергардского полка бароном Геккереном. Так как дуэль эта служит темою для разговоров во всех салонах, то я не могу не сообщить о ней Вашему превосходительству. Дело в том, что г. Пушкин счел себя обязанным вызвать вторично на дуэль г. Геккерена и что последний равным образом почел для себя неизбежным, — да он и в самом деле не мог поступить иначе, — принять этот вызов.

Они стрелялись; Пушкин был ранен смертельно и скончался два дня спустя, Дантес получил легкую рану в правую руку, от которой он вскоре оправился.

Г. Пушкина оплакивают все лица, причастные к литературе, ввиду того, что он был русским поэтом, выдвинувшимся уже теми работами, которые были им написаны, и обещавшим много впереди. Поэтому, когда, согласно обряду греко-русской религии, прощаются с покойником, можно было видеть в церкви на похоронах множество лиц, пришедших в последний раз выразить те чувства, которые к нему питали. Дипломатический корпус, приглашенный на похороны вдовою писателя, присутствовал в полном составе. Не было только Английского посольства, посланников Прусского, Греческого и Нидерландского. Что касается последнего, который не был приглашен, то это вполне естественно, ибо вышеупомянутый г. Геккерен, именовавшийся раньше г. Дантесом, усыновлен восемь-десять месяцев тому назад Геккереном и носит его фамилию.

Император дал доказательство своего великодушного, отеческого сердца. Узнав, что надежды на спасение нет, он приказал передать Пушкину, что позаботится о его жене и детях, и взял их уже под свое покровительство, назначив им пенсию.

Секундантами были: со стороны Геккерена — виконт д'Аршиак, состоявший при французском посольстве, а со стороны Пушкина полковник русской службы. Д'Аршиак за то, что состоял секундантом, был отправлен сегодня курьером в Париж, и покидает здесь свой пост совершенно, — мера, всеми одобряемая.

Что касается полковника, то император не решил еще, равным образом он не высказался и относительно г. Геккерена, если не считать того, что вместо крепости разрешил ему отправиться домой, где он и находится под домашним арестом. Закон гласит, что если офицер дерется на дуэли, то он должен быть разжалован в солдаты.

(Estratto dal Copialettere della Legazione di Sardegna a Pietroburgo; vol 1836–37, rapp. n. 619).

II.

Петербург, 9/21 февраля 1837

До сих пор судьба барона Геккерена еще не решена, его еще пользуют на дому, леча его рану, затем его будут судить. Полагают, что

он будет приговорен к наказанию, согласно закону, но в силу помилования, которое дарует ему император, он проведет несколько месяцев в крепости, а затем уедет с бароном Геккереном, нидерландским послом при российском дворе, своим приемным отцом, который уже подал прошение об отставке своему государю и уже распродал свою обстановку и другие вещи. Ввиду того горя, которое обнаруживается здесь по поводу смерти Пушкина, ибо она рассматривается его соотечественниками как невознаградимая утрата, понесенная Россией в области литературы и поэзии, и тех сожалений, которые здесь высказываются, ввиду того также, что в качестве историографа на него была возложена задача написать историю Петра Великого, — я нахожу решение, принятое вышеназванным послом покинуть Петербург, весьма приличным и соответствующим тому положению, в которое он будет поставлен вследствие этой дуэли, так изменившей его прежнее положение. Император выказал великодушие сердца по отношению к вдове и детям покойного. Он назначил вдове пенсию в 6000 рублей и по 1500 рублей каждому из детей; мальчики будут приняты в Пажеский корпус, земля, принадлежавшая покойному и заложенная им, будет освобождена от долгов и возвращена во владение вдовы, которой немедленно было выплачено вперед 10 000 рублей. Сверх того, произведения покойного поэта будут напечатаны и переплетены в роскошный том на счет правительства и будут продаваться в пользу семьи поэта; полагают, что выручка может дать 200 000 рублей. К этим великодушным поступкам со стороны императора надо прибавить еще один, предшествовавший им, а именно, его величество, зная характер и убеждения писателя, возложил на одного из его друзей сжечь перед его смертью все произведения, которые могли бы ему повредить и которые находились в его бумагах.

(Estratto dal Copialettere della Legazione di Sardegna a Pietroburgo; vol. 1836–37, rapp. n. 620).

III.

Петербург, 25 марта (6 апреля) 1837

В моей депеше за № 619 я имел честь сообщить Вашему Превосходительству о дуэли, происшедшей между г. Пушкиным и бароном Геккереном, и о том, что до этой дуэли относилось. Ввиду этого я изложу теперь, что г. Геккерен, будучи приговорен к наказанию, согласно закону, и проведя около трех недель в заключении на гауптвахте, где посещать его разрешено было лишь его жене, был, согласно решению императора, разжалован и, в сопровождении фельдъегеря, выслан на днях на прусскую границу. Что касается нидерландского посла, барона Геккерена, то ответ его правительства на прошение его об отставке гласит, что ему разрешен шестимесячный отпуск и что впоследствии он увидит, как ему поступить, а в ожидании он будет получать половинный оклад; таким образом, нидерландский посол уедет лишь в отпуск. Г. Геверс, секретарь посольства, бывший в отпуску, вернется сюда через несколько дней и останется в качестве поверенного; как только он приедет, барон Геккерен уедет, чтобы присоединиться к своему приемному сыну в Кенигсберге, который должен его там ждать, и они будут продолжать путешествие вместе. Холодность, выказанная разными лицами послу в тех местах, где он был, должна ему показать, что пост его в С.-Петербурге уже не может быть ему столь же приятен, как был раньше: вследствие того полагают, что он более сюда не вернется.

(Estratto dal Copialettere della Legazione di Sardegna a Pietroburgo; vol. 1836–37, rapp. n. 626).

IV.

Петербург, 3/15 апреля 1837.

Г. Геверс, о котором я упоминал в моей последней депеше, прибыл в С.-Петербург неделю тому назад, чтобы остаться здесь в качестве поверенного Нидерландов, а барон Геккерен выехал третьего дня утром с супругою своего приемного сына, сестрою вдовы Пушкина. Нидерландский посол, заявивший, что он уезжает лишь в отпуск, просил, согласно обычаю, перед отъездом иметь честь повергнуть свое уважение перед его величеством, но в этой чести, которою мы обычно пользуемся в подобных обстоятельствах, ему было отказано и, сверх того, ему была вручена табакерка, украшенная портретом императора и усыпанная бриллиантами, которую, по установившемуся при императорском дворе обычаю, дарят послам, покидающим свой пост окончательно, из чего явствует, что император не пожелал видеть его здесь долее и что его сюда не ждут. Это неудовольствие, которое было ему выражено, должно обусловливаться тем, что он не старался советами, которые он мог и должен был подавать своему приемному сыну, помешать дуэли, состоявшейся между свойственниками, результаты коей тем более горестны для них. — Причина дуэли есть ревность, которая возгорелась в покойном г. Пушкине к жене, вследствие поводов, которые подавал к ней молодой Геккерен. Факт тот, что многочисленные версии, существующие об этом печальном деле, о которых я не знаю, насколько они основательны и верны, отчасти ли или целиком, не говорят в пользу барона Геккерена, и что император, зная, по всей вероятности, истину, предпочел не принять его и избавить себя от разговора, который мог быть только неприятен и его величеству и нидерландскому послу. Мне кажется, однако, что последний поступил не в духе своего двора, приняв табакерку, и так как ему написали, что он уедет из С.-Петербурга только после отпуска, разрешенного ему его государем, то он поступил бы более согласно с видами своего правительства, отклонив в настоящую минуту принятие подарка, который дарят только, когда посол окончательно покидает свой пост, или при представлении отзывных грамот, или после отсылки последних, что касательно его в данное время не имеет места. Посол не делал прощальных визитов ни дипломатам, ни иным лицам. Он ограничился тем, что после отъезда приказал вручить свои визитные карточки с надписью p.p. congé, да он и не мог поступить иначе, так как положение его стало затруднительным и требовало быстрого отъезда. Его приемному сыну был выдан французский паспорт, из чего видно, что, несмотря на усыновление, он признается французским подданным, как признавался им, нося свое первое имя Дантеса.

(Estratto del Copialettere della Legazione di Sardegna a Pietroburgo; vol. 1836–37; rapp. n. 627).

7.

В датском Государственном архиве нашлись два донесения датского посланника в С.-Петербурге графа Бломе со сведениями о дуэли и смерти Пушкина.

Граф Отто Бломе (Otto Blome) родился в Киле в 1770 г., а умер в 1849 году; в графское достоинство возведен в 1826 году. В Петербурге он находился с 1804 по январь 1824 года и затем с января 1826 по октябрь 1841 года. В промежутке, в течение нескольких месяцев, был министром иностранных дел. Во время войны России со Швецией он настойчиво советовал своему правительству поддержать Россию[1].

Граф Бломе, или, по русской транскрипций, Блум, был хорошо известен в петербургском обществе. По словам Д. Н. Свербеева, он был «любимец этого общества, страстный охотник до лошадей, постоянно сопровождавший императора Александра в красном своем мундире на параде и маневрах»[2].

В дневнике Пушкина за февраль 1835 года есть упоминание о Блуме. «На днях в театре Фикельмон, говоря, что Bertrand et Raton[3] не были играны на Петербургском театре по представлению Блума, датского посланника (и нашего старинного шпиона), присовокупил: — Je ne sais pourquoi; dans la comédie il n'est seulement pas question du Danemark. Я прибавил: — Pas plus qu'en Europe».

I.

С.-Петербург, 30 января (11 февраля) 1837.

М. г.

Последняя почта не принесла мне никаких известий о вашем превосходительстве . . . .

. . . .

Трагическое событие, разыгравшееся на днях, произвело тем сильнейшее и мучительнейшее впечатление на публику, что действующие лица драмы весьма известны в высшем обществе.

Молодой француз, г. Дантес, в прошлом году законным образом усыновленный в качестве сына и наследника нидерландским послом бароном Геккереном, лишь несколько дней тому назад отпраздновал свою свадьбу с сестрою г-жи Пушкиной. Последняя, выдающаяся красавица, — супруга писателя Пушкина, стяжавшего вполне заслуженную славу в русской литературе, главным образом благодаря стихам. Он был возведен в звание историографа российского, причем ему было поручено использовать важнейшие эпизоды Российской истории, из которых должен был составиться классический труд. Отличаясь неистовым нравом и ревностью, не знавшей границ, он сделался жертвою своих подозрений относительно якобы существовавших между его женою и его свояком тайных отношений. Его ярость излилась в письме, грубо-оскорбительные выражения которого сделали дуэль неизбежною. Оба противника, назначив друг другу место встречи в Екатерингофской роще, в прошлую среду в 4 часа дня стрелялись, на расстоянии 15 шагов. Оба искусные стрелки. Первый выстрел поразил г. Пушкина в нижнюю часть живота и свалил его с ног.

---

[1] Dansk Biografisk Lexicon udg. af. C. F. Bricka, Bd. II. Kjoph. 1888, стр. 430 и сл.

[2] *Д. Н. Свербеев.* Записки, том I, стр. 314—315. В «Русск. арх.», 1882, кн. 2-я, стр. 170—172 напечатаны два донесения Блума министру Розенкранцу о ссылке Сперанского.

[3] Пьеса Скриба, сюжетом которой послужила история Струэнзе, министра Дании.

Крайняя враждебность, одушевлявшая его, дала ему силы приподняться и, после меткого прицела, пронзить руку противника. Пуля, уже несколько ослабленная, скользнула по одному из ребер, слегка его контузив.

Г. Пушкин скончался вчера, заплатив жизнью за неистовую страсть, ослепление коей возлагает на него всю ответственность за это печальное событие. Что касается молодого Геккерена, то его рана не внушает серьезных опасений.

Лорд и леди Лондондерри уехали . . . .
. . . .

Имею честь быть с глубоким уважением

вашего превосходительства
смиренным и покорным
слугою О. Бломе

Его превосходительству
Г-ну Краббе Каризиус
Министру внутренних дел, и проч., и проч.
В Копенгаген.

II.

С.-Петербург, 2/14 февраля 1837.

М.г.

. . . .
. . . .

Похороны г. Пушкина происходили вчера утром.

Император передал следствие по этому злополучному делу суду, которому, согласно обычному порядку правосудия, передаются подобные преступления. Закон, карающий дуэли, весьма строг. Тот, кто убьет своего противника на дуэли, подлежит разжалованию в солдаты, но от милости его величества зависит, несомненно, ослабить несколько его суровость, и ввиду смягчающих обстоятельств надеются на то, что император изменит приговор, который относительно молодого Геккерена выразится в увольнении его со службы и в высылке на границу. Что касается его секунданта, г. д'Аршиака, атташе Французского посольства, то барон Барант поспешил послать его в Париж в качестве курьера.

Артиллерийский полковник, секундант Пушкина, не отделается так легко.

Никто не думает, чтобы барон Геккерен после столь громкого скандала и причиненных ему в связи с этим делом неприятностей захотел остаться здесь, и предполагают, что он будет просить у своего правительства другого назначения.

Г. Северин, российский посол при Швейцарской конфедерации, только что приехал . . . .
. . . . ваше превосходительство.

Примите уверение в глубочайшем уважении, с которым имею честь быть

Милостивый государь,
Вашего превосходительства
смиренным и покорным
слугою О. Бломе.

Его превосходительству
г-ну Краббе Каризиус
министру внутренних дел, и пр., и пр.
В Копенгаген.

8.

Председатель совета министров в Штутгарте доставил нашему посланнику семь выписок из хранящихся в архивах Виртембергского министерства иностранных дел донесений Виртембергского посланника в С.-Петербурге за 1837 год, заключающих в себе сведения о поединке Пушкина с Дантесом. Кроме выписок, председатель доставил копию довольно большой записки, хранящейся при названных донесениях и неизвестно кем составленной.

Отправив первое сообщение о дуэли и смерти Пушкина в депеше от 30 января (11 февраля) 1837 г., Виртембергский посланник знакомил свое правительство последовательно с ходом разыгравшейся вокруг имени Пушкина истории. В депешах от 6 (18), 9 (21) февраля, 20 марта (1 апреля), 30 марта (11 апреля), 3 (15), 14 (26 апреля). Его сообщения выдаются из ряда других дипломатических донесений обилием любопытных подробностей, а главное — ясным сознанием абсолютной ценности и значения творчества Пушкина. Очевидно, такое сознание побудило посланника не ограничиться фактическими сведениями о дуэли, смерти и суде, а приложить особую, и нельзя сказать, что малую, записку о Пушкине, имевшую задачей дать представление о Пушкине — о его жизни, о его литературной деятельности, о его духовной и физической личности. Записка имеет большой интерес и если ее сравнить с тем, что писано о Пушкине в иностранных газетах в 1837 году, то окажется, что она выгодно отличается от других писаний своей фактической стороной.

Заботливое отношение к памяти поэта, о котором свидетельствуют и донесения, и записка, заставляет нас подробнее остановиться на личности автора донесений.

Виртембергским посланником в С.-Петербурге с января 1829 по июль 1848 года состоял князь Гогенлоэ-Кирхберг (Christian Ludwig Friedrich Heinrich Prinz von Hohenlohe-Langenburg-Kirchberg). Он родился в 1788 году. В 1812 году он был одним из тех раненых воинов, которые были привезены в Петербург и за которыми ухаживали петербургские дамы. С января 1825 года в течение 23 лет с лишним он оставался Виртембергским посланником. В 1833 году он женился на русской — Екатерине Ивановне Голубцовой (1802—1840). Так как князь Гогенлоэ приходился родственником вел. кн. Елене Павловне и виртембергскому королевскому дому, то перед выходом замуж Голубцовой был пожалован титул графини. До самой своей смерти Гогенлоэ оставался в Петербурге; здесь он и умер в 1859 году. А. П. Бутенев в своих воспоминаниях говорит, что Гогенлоэ пользовался постоянным уважением и при дворе, и в высшем обществе[1]. Он приятельствовал с кн. Вяземским, с Жуковским, с А. И. Тургеневым. Был знаком и с Пушкиным.

---

[1] О Гогенлоэ: *Oettinger.* Monuments des Dates contenant un million des renseignements biographiques, généalogiques et historiques, Lpz. 1869—1880; *В. В. Руммель.* Родословный сборник, т. I, 210; Воспоминания *А. П. Бутенева.* «Русск. арх.», 1883, т. I, стр. 14.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ СЕМИ ДЕПЕШ ВЮРТЕМБЕРГСКОГО ПОСЛА В С.-ПЕТЕРБУРГЕ КНЯЗЯ ГОГЕНЛОЭ-КИРХБЕРГА

I.

Депеша от 30 января (11 февраля) 1837

В среду 27 января (8 февраля) в 4 часа дня вблизи столицы произошла дуэль на пистолетах между двумя свояками, а именно, между знаменитым поэтом Пушкиным и юным офицером Кавалергардского ея величества полка бароном Геккереном. Г. Пушкин был ранен смертельно, пуля пронзила его навылет. Противники стреляли на расстоянии десяти шагов, и г. Пушкин, будучи уже ранен пулею, велел себя приподнять и выстрелил еще в своего противника, ранив его в правую руку. Причиной этой дуэли была ревность г. Пушкина, возбужденная анонимными письмами, которые с некоторых пор приходили на имя писателя и в которых говорилось об интимных отношениях, существовавших якобы между молодым бароном Геккереном и его красавицей-женой и продолжавшихся, несмотря на то, что последний, будучи спрошен по этому поводу Пушкиным, заявил ему, что любит не его жену, а его свояченицу, Екатерину Гончарову, на которой барон Геккерен и женился недели две тому назад. Г. Пушкин, узнав, что его противник ранен не опасно, сказал, как передают, своему секунданту: в таком случае придется начинать сызнова. С целью вызвать эту дуэль, г. Пушкин написал оскорбительнейшее письмо Нидерландскому послу барону Геккерену, приемному отцу молодого человека, где он употребляет выражения, которые благопристойность не позволяет повторить, и где он всячески оскорбляет посла, так что примирить противников было невозможно. С первой же минуты возникли сильные опасения за жизнь г. Пушкина, и он скончался 29 января (10 февраля) в 3 часа пополудни. Россия будет оплакивать его смерть, как утрату своего величайшего поэта, но преданнейшие из его друзей признали, что он слишком дал увлечь себя своему чувству мести. Секундантами в этом злополучном поединке были со стороны молодого барона Геккерена виконт д'Аршиак, состоящий при Французском посольстве, а со стороны Пушкина Данзас, полковник гвардейского Саперного полка. Император, всегда готовый на поддержку несчастных, известил г. Пушкина, что в случае его смерти его величество позаботится о его жене и детях. Посол барон Геккерен рассчитывает также на помилование своего сына, ввиду того, что для молодого человека являлось совершенно невозможным избежать поединка, в коем оба противника обнаружили равное мужество. Виконт д'Аршиак должен завтра или послезавтра ехать курьером от Французского посольства. Он надеется через некоторое время вернуться снова в С.-Петербург, где он был на отличном счету.

II.

Депеша от 6/18 февраля 1837

В моей последней депеше от 11 февраля н. ст. я имел честь почтительнейше сообщить вашему величеству о том, что соблаговолил сделать император для несчастной вдовы поэта Пушкина, чью

печальную кончину не перестают оплакивать, и равным образом я писал об этом в ряде частных писем г. министру иностранных дел вашего величества, но ввиду того, что я только недавно узнал о том, что император сделал для семьи и для памяти знаменитого поэта, я спешу сообщить вашему величеству эти подробности. Во-первых, похороны г. Пушкина происходили на счет его императорского величества, и тело было выставлено, по особому распоряжению императора, в часовне дворцовой церкви на Конюшенной; затем его императорское величество приказал выдать довольно значительную сумму вдове Пушкина для покрытия необходимых текущих расходов; сверх того, ей будет выдаваться пенсия в 10 000 рублей в год, и ее четверо детей будут воспитываться на казенный счет. Принадлежавшее Пушкину имение в Псковской губернии совершенно освобождено императором от долгов и останется в качестве неприкосновенного дара его семье. Пушкин будет похоронен в этом имении, где на его могиле будет воздвигнут памятник. Затем его императорское величество повелел, чтобы за счет императора было выпущено полное издание сочинений поэта, которое должно продаваться в пользу детей: полагают, что это последнее благодеяние императора принесет семье не менее 200 000 рублей. Эта злополучная дуэль, отнявшая у России наиболее славного из поэтов в возрасте 37 лет, отзовется неблагоприятно также и на карьере нидерландского посла, барона Геккерена, решившего покинуть свой пост. Барон написал уже об этом своему государю и, без сомнения, покинет С.-Петербург в самом ближайшем будущем. Что касается барона Дантеса, его приемного сына, то его будут судить военным судом, как только его рана позволит ему предстать перед судом. Тем временем эта ужасная драма, поразившая несчастием стольких людей, не перестает служить темою для разговоров во всех классах общества столицы.

III.

Депеша от 9/21 февраля 1837

Военного суда над молодым бароном Геккереном еще не было. Полагают, что дело затягивают нарочно, до отъезда Нидерландского посла, и что затем молодого человека просто уволят со службы и вышлют из России, разжаловав его из офицеров и не принуждая его служить в полку в качестве простого солдата, с тем, чтобы он мог вместе с женою последовать за своим приемным отцом. Об этой злополучной дуэли больше не говорят, и мне передавали, что таково желание императора, положившего конец всем разговорам на эту тему. Между тем Пушкин по-прежнему оплакивается своими многочисленными друзьями, и по этому грустному поводу глаз стороннего наблюдателя мог убедиться еще раз, насколько сильна и могущественна чисто русская партия, к которой принадлежал Пушкин. Непосредственно после дуэли между Пушкиным и молодым бароном Геккереном большинство высказывалось в пользу последнего, но не понадобилось и 24 часов, чтобы русская партия изменила настроение умов в пользу Пушкина. Что же касается баронов Геккеренов, то они, правда, сделали все, чтобы, с своей стороны, навлечь на себя всеобщее неудовольствие, и многие лица, в былые

времена отличавшие посла барона Геккерена, принуждены в настоящую минуту сожалеть об этом.

IV.

Депеша от 20 марта (1 апреля) 1837

Его императорское величество изволил смягчить смертный приговор, вынесенный, согласно русским законам, военным судом против личности молодого барона Геккерена, заменив его высылкой за пределы империи; и вчера утром барон в сопровождении фельдъегеря был вывезен на границу и таким образом уволен от службы России. В этом распоряжении надо удивляться еще милости и благородной доброте его императорского величества, так как все русские офицеры до сих пор бывали караемы за дуэль разжалованием в солдаты. Барон Геккерен-отец получил от своего правительства разрешение на шестимесячный отпуск, которым он воспользуется тотчас по возвращении в Петербург г. Геверса. Последний примет вновь обязанности поверенного голландского короля, которые он уже неоднократно исполнял во время отлучек барона Геккерена. В том случае, если барон Геккерен не захочет более возвращаться в Россию, что весьма возможно, король Вильгельм разрешит ему находиться за штатом, удержав за ним половину того содержания, которое он получал до сих пор.

V.

Депеша от 30 марта (11 апреля) 1837

Четыре дня тому назад прибыл г. Геверс, назначенный представителем Голландии на время отсутствия барона Геккерена, и барон поспешил испросить у императора прощальную аудиенцию, но эта аудиенция до сих пор еще не назначена. Между тем меня уверяют, что барон вместе с супругою своего приемного сына покинут Петербург в будущую пятницу. Мне передавали еще, что барон Геккерен-отец написал официальное письмо вице-канцлеру графу Нессельроде с запросом о том, что ставится ему в упрек в злополучном деле его приемного сына. До моего сведения не дошло, ответил ли вице-канцлер на это письмо, но по-видимому письмо это, по крайней мере, не повредило барону Геккерену, так как он был приглашен на большой званый обед, бывший вчера у графа Нессельроде.

VI.

Депеша от 3/15 апреля 1837

Утром третьего дня барон Геккерен, посол его величества короля Голландии, покинул столицу вместе со своею невесткою, супругою своего приемного сына, с тем, чтобы вернуться в Голландию. В прощальной аудиенции, которой барон Геккерен добивался у их императорских величеств, ему было отказано, и император приказал вручить барону табакерку с портретом его величества, которая, согласно установившемуся при императорском дворе обычаю, дарится каждому

иностранному послу, когда он, будучи отозван своим двором, покидает Россию, несмотря на то, что барон Геккерен покидал Петербург, отправляясь лишь в шестимесячный отпуск на родину. Невозможно выразительнее отметить, как мало желают видеть вновь этого посла в Петербурге. Сильно упрекают барона Геккерена за то, что он принял в подобных обстоятельствах табакерку, и порицают его за этот случай не менее, чем за многие другие, в которых барон Геккерен вел себя не так, как того желали бы его коллеги. Для приемного сына этого посла Прусский посол г. Либерман был настолько добр, что написал прусским властям на границу, чтобы молодой человек мог остаться на границе до приезда своего отца и своей супруги без неприятностей со стороны этих властей, что могло бы случиться, не будь этой любезности со стороны г. Либермана. Между тем барон Геккерен даже не заехал к нему, также, как он не заехал и к остальным своим коллегам, которым только просил передать визитные карточки уже после своего отъезда из города. Об его отъезде никто не жалеет, несмотря на то, что он прожил в С.-Петербурге около 13 лет и в течение долгого времени пользовался заметным отличием со стороны двора, пользуясь покровительством графа и графини Нессельроде; в городе к барону Геккерену относились хуже уже в течение нескольких лет, и многие избегали знакомства с ним.

VII.

Депеша от 14/26 апреля 1837

Столичные газеты опубликовали приговор военного суда по делу барона Геккерена-сына[1].

VIII.

Заметка о Пушкине

Пушкин, замечательнейший поэт, молва о котором разнеслась особенно благодаря тому глубокому трагизму, который заключался в его смерти. Пушкин, представитель слишком передовых для строя своей родины взглядов, был на разные лады судим своими соотечественниками, чему следует приписать эту разницу в чувствах к человеку, жизнь которого всегда была общественною. На этот вопрос нетрудно будет ответить тому, кто жил в России, и особенно тому, кто имел возможность изучить разнообразные элементы, из которых состоит русское общество, равно как и его привычки и предрассудки. Чтение произведений Пушкина и его жизнь ясно указывают на то, почему этот писатель не пользовался уважением среди известной части аристократии, меж тем как все остальное общество превозносит его до небес и с восторгом и благоговением относится к его памяти.

Остроумные и язвительные намеки, направленные большею частью против высокопоставленных лиц, проступки и пороки которых изобличал Пушкин, создали поэту многочисленных и могущественных врагов. Бичующая эпиграмма против Аракчеева по поводу девиза, заключенного в его гербе, сатира на Уварова, усыпившая под названием

---

[1] Самый приговор опускаем.

подражания Катуллу обычную бдительность цензуры и помещенная в литературном журнале, ответ Булгарину, в котором, отражая упреки аристократии, Пушкин с правом или без права нападал на самые высокопоставленные фамилии в России, — вот истинные преступления Пушкина, преступления тем более тяжкие, чем выше и богаче были его враги, чем теснее они были связаны с влиятельнейшими домами и окружены многочисленными приверженцами. Пушкину не трудно было возбудить против себя недовольство власти, ибо дух и направление его произведений давали слишком много поводов для доносов врагов. Вот настоящие причины того недоброжелательства, которое известная часть дворянства (особенно та, которая занимала видные посты в государстве) питала к Пушкину при его жизни и которое отнюдь не исчезло с его смертью. Этим же можно, по всей вероятности, объяснить тот факт, что, пользуясь по-видимому милостивым благорасположением государя, Пушкин тем не менее продолжал оставаться под надзором полиции.

Молодежь в России, наоборот, рукоплескала вольнолюбивым произведениям этого писателя, остроумным и временами непристойным, правда, неосторожным, но смелым и талантливым. Особенно спешили рукоплескать чиновники, многочисленный класс, являющийся в некотором роде третьим сословием в России; в настоящую минуту они создают апофеоз человеку, произведения которого являются выражением их собственных чувств. С самого начала и, быть может, бессознательно Пушкин рассматривался и признавался ими как представитель оппозиции. Здесь мы даем его жизнеописание с краткою оценкою главнейших его произведений.

Родившись в Москве в 1799 году, Александр Пушкин по отцу принадлежал к одной из древнейших фамилий. Один из его предков Радша, германского происхождения и, по всей вероятности, тевтонский рыцарь, поселился в 13 веке (1252-62) в России и вступил в службу при Александре Невском. Он сделался родоначальником нескольких известных русских фамилий, а именно: Пушкиных, Бутурлиных, Каменских, Жулебиных, Мятлевых и пр. Дед Пушкина по отцу, сын арапа, найденного или купленного Петром Великим и привезенного ребенком в Россию, звался Аннибалом и при Екатерине II достиг чина адмирала. Ему принадлежит покорение Наварина, его имя и подвиги высечены на полуростральной колонне в Царском Селе.

Образование Пушкин получил в Царскосельском Лицее; его густые вьющиеся волосы, смуглый цвет кожи, не совсем правильные черты лица, неукротимая пылкость его характера — все обнаруживало в нем африканскую кровь, и в ранней юности его уже наметились те бурные страсти, которым впоследствии суждено было волновать его жизнь. В 14 лет он написал стихотворение, посвященное Царскому Селу, а также послание к Александру, благодаря которому он был отмечен учителями. По этому случаю его приветствовал в качестве поэта старик Державин, бывший министр, лирические произведения которого ценятся русскими гораздо выше таких же произведений Ж. Ж. Руссо (особенно славится его ода «Бог», величественное произведение, которое китайский император повелел перевести на китайский язык и вывесить на стене своего дворца, чтобы постоянно иметь его перед глазами). По выходе из лицея Пушкин написал свою оду вольности и вскоре затем целый ряд произведений, про-

никнутых тем же духом, привлекших к нему внимание общества, а впоследствии также и внимание правительства, повелевшего ему покинуть столицу. В качестве местожительства ему была указана Бессарабия, а после этого в течение пяти лет, до смерти Александра, Пушкин остается у гр. Воронцова в Одессе.

Уступая настояниям историка Карамзина, верного друга Пушкина и настоящего ценителя его таланта, император Николай, тотчас по восшествии своем на престол, вызвал Пушкина в столицу и оказал ему самый милостивый прием, как о том можно судить по ответу императора на замечания по этому поводу князя Волконского. «Это уже не прежний Пушкин, — сказал Николай, — это Пушкин раскаивающийся и чистосердечный; словом, это мой Пушкин, и отныне я один хочу быть цензором его произведений». Тем не менее до самой смерти писатель оставался под негласным надзором полиции.

В 1829 году Пушкин сопровождал Паскевича в Турецкой кампании. На следующий год, в эпоху холеры, Пушкин женился в Москве на девице Гончаровой, замечательной красавице, дед которой был купцом и впоследствии был возведен в дворянство. После женитьбы Пушкин приехал снова в Петербург, жена его была принята ко двору, а сам он вскоре был произведен в камер-юнкеры.

Пушкин всегда проявлял большое презрение к должностям и милостям, но с тех пор, как его жена была принята ко двору, суровость его мнений, по-видимому, смягчилась. Назначением в камер-юнкеры Пушкин почитал себя оскорбленным, находя эту честь много ниже своего достоинства. С этой минуты взгляды его снова приняли прежнее направление, и поэт снова перешел к принципам оппозиции.

Главнейшие его произведения суть:

Руслан и Людмила — фантастическая поэма в духе Ариоста, которую сравнивают с Обероном Виланда.

Кавказский пленник. }
Бахчисарайский фонтан. } Поэмы.

Цыганы — легкая поэзия, одно из замечательнейших произведений Пушкина, которое у русских почитается совершенным произведением в своем роде.

Братья-разбойники — повесть.

Полтава — поэма, написанная белыми стихами, настоящее заглавие которой должно было бы быть «Мазепа». Название Полтавы было дано Пушкиным во избежание упрека в подражании Байрону, автору также вещи, озаглавленной «Мазепа», с которою поэма Полтава не имеет ничего общего.

Евгений Онегин — роман в прекрасном стиле, сравниваемый по типу и по форме с Дон-Жуаном Байрона.

История Пугачевского бунта — посредственная вещь.

Домик в Коломне — также посредственная вещь, поэма, написанная октавами в подражание Тассу.

Черная шаль — небольшое стихотворение, полное грации и поэзии.

Борис Годунов — хорошо написанная драма, согласная в смысле исторических данных с повествованиями Карамзина, изображающая героя пьесы убийцей сына Ивана IV и узурпатором его престола, меж тем как, судя по новейшим историкам, каковы Устрялов, По-

годин, Краевский, Булгарин и др., Борис Годунов был избран духовенством, боярами и народом.

Анжело — стихотворный перевод Шекспира.

Повести — среди которых особенной известностью пользуются Пиковая дама и Капитанская дочка, и, наконец, огромное количество стихотворений, из которых особенно известны два, одно озаглавленное «Байрон», другое — «Наполеон». Кроме того, Пушкин издавал литературный журнал «Современник».

Стиль Пушкина в большинстве случаев блестящ, легок, отточен и изящен. Пушкин, собственно, не принадлежит ни к одной из двух крупнейших школ, оспаривающих друг у друга область литературы. В качестве талантливого писателя он сумел оценить и классические и романтические красоты. Наконец, в России он является главою школы, ни один ученик которой до сего времени не достиг совершенства учителя.

Нрав у Пушкина был страстный, порывистый, вспыльчивый. Он любил игру и искал сильных ощущений, особенно в молодости, ибо годы начали смягчать в нем пыл страстей: он был рассеян, беседа его была полна очарования для слушателей. Нелегко было заставить Пушкина говорить, но, раз вступив в беседу, он выражался необычайно изящно и ясно, нередко прибегая к французской речи, когда хотел придать фразе более убедительности. Ум у него был злой и насмешливый, тем не менее все знавшие его считают его образцовым другом.

Его дуэль с Геккереном и обстоятельства, сопровождавшие его смерть, слишком известны, чтобы быть упоминаемы здесь, но чтобы вернее понять его нрав, не бесполезно, быть может, прочесть его письмо к Геккерену, письмо, сделавшее немыслимым всякое примирение. Оно полно выражений, свидетельствующих о том, насколько Пушкин должен был быть озлоблен. Трудно узнать чистого и всегда пристойного писателя в необдуманных словах, внушенных этому огненному темпераменту гневом. Океан прорвал плотину, ничто не в силах его остановить.

Задолго до злополучной дуэли были разнесены и вручены всем знакомым Пушкина — частью через прислугу, частью по городской почте — анонимные письма, написанные по-французски за подписью председателя Н... и графа Б..., постоянного секретаря Общества Р..... Некоторые из этих анонимных писем были доставлены даже знакомыми (так, между прочим, письмо В. П.), и наряду с адресом, написанным явно измененным почерком, была помещена просьба переслать эти письма Пушкину. По поводу этих писем, когда Ж..... упрекал Пушкина в том, что он принимает слишком близко к сердцу это дело, и прибавил, что свет убежден в невиновности его жены, Пушкин ответил: «Ах, какое мне дело до мнения графини такой-то или княгини такой-то о виновности или невиновности моей жены. Единственное мнение, которым я дорожу, есть мнение среднего класса, который в настоящее время является единственным истинно русским и который восхищен женой Пушкина».

По поводу этих анонимных писем существует два мнения.

Наиболее пользующееся доверием публики указывает на О....[1]

---

[1] По-видимому, в подлиннике стоят полные фамилии, но в копиях, полученных из Штуттгарта, поставлены только инициалы. Возможная отгадка: О – Ouvaroff – Уваров; Н – Heeckeren – Геккерен.

Другое мнение, мнение власти, основывающееся на тожественности расстановки знаков препинания, на особенностях почерка и на сходстве бумаги, обвиняет Н.....

«Пчела» от 12 апреля содержит в себе резолюцию е. в. государя императора относительно Геккерена.

9.

Из саксонского Главного государственного архива нашему посланнику в Дрездене были доставлены извлечения из донесений Саксонского посланника при российском дворе барона Лютцероде.

Барон Лютцероде (Karl August Lützerode; род. в 1794, ум. в 1864 году) был посланником с октября 1832 по июнь 1840 года. Во время пребывания в России он прекрасно изучил русский язык, полюбил русскую литературу и завел дружеские и приятельские связи с передовыми русскими писателями: Жуковским, Пушкиным, Плетневым, князем П. А. Вяземским. Занимаясь немного литературой, Лютцероде переводил на немецкий язык Пушкина, Бенедиктова и Кольцова. Сохранился его перевод стихов казанской поэтессы Фукс: «На проезд А. С. Пушкина через Казань в 1833 году». Среди русских Лютцероде оставлял самое благоприятное впечатление. Князь П. А. Вяземский писал И. И. Дмитриеву 1 октября 1833 года: «Барон Лютцероде не нахвалится Москвою и благосклонным приемом вашим. Вообще, он доволен путешествием своим по России и смотрел на нее глазами доброжелательного иностранца, что встречается весьма редко в отношении к нам»[1].

Содержание донесений Лютцероде оправдывает представление о нем, как о ценителе и друге русской литературы. Не обинуясь, он говорит, что после смерти Гёте и Байрона Пушкину принадлежит первое место в мировой литературе. Горькой иронией звучит его сообщение о том, что смертный одр Пушкина окружали немногие, а нидерландский отель осаждался высшим обществом, справлявшимся о здоровье барона Геккерена.

Кроме трех донесений Лютцероде, в которых шла речь о деле Пушкина, в том же архиве оказалось еще любопытное донесение Зеебаха из Тильзита о встрече с Геккереном в Тильзите после его высылки из России. «Все это дело принимает иной вид потому, что он (Геккерен) рассказывает об обращении с ним Пушкина. С величайшим хладнокровием он рассказал мне все подробности»... Автор донесения Зеебах (Albin Leo) одно время также был саксонским посланником в С.-Петербурге, потом в Париже[2].

---

[1] О Лютцероде: Остафьевский архив князей Вяземских, т. III, стр. 237, 610; *Oettinger,* Monuments des Dates... Lpz., 1809–1880; «Русск. архив», 1902, т. 1, стр. 604; Tagebücher von K. A. Varnhagen von Ense, B. IV, S. 107.

[2] *Oettinger,* Monuments des Dates... Lpz. 1809–1880.

I.

С.-Петербург, 11 февраля (30 января) 1837.
Его превосходительству
г-ну статс-секретарю Зешау.

М.г.

Ужасное событие, совершившееся три дня тому назад, глубоко потрясло всех истинно образованных жителей Петербурга. Государственный историограф (Der Historiograph des Reichs) Александр Пушкин, который достоин быть назван со времени смерти Гёте и Байрона первым поэтом современной эпохи, пал жертвою ревности, злонамеренно доведенной до безумия. Молодой карлист, ранее носивший имя Дантеса, позднее, по усыновлении его голландским посланником, принявший титул барона Геккерена, увлекался и был очарован красивой женой Пушкина; анонимные же письма ложно выставляли перед мужем эти отношения преступными. Вышеназванный эльзасец, служивший в Кавалергардском полку, избежал ярости поэта, потомка африканского рода, только благодаря поспешному решению жениться на незначительной во всех отношениях старшей сестре г-жи Пушкиной. Но, несмотря на то, что брак этот состоялся с благословления симпатизирующей всем карлистам семьи Нессельроде, он все-таки вызвал громкие замечания со стороны некоторых лиц. Раздражило ли снова страстного мужа продолжавшееся внимание лейтенанта Геккерена к его невестке, или произошло это по интригам других тайных врагов, но 7 февраля Пушкин написал посланнику барону Геккерену письмо, в котором назвал только что заключенный брак, с одной стороны, делом змеиной, способной на происки, хитрости двух негодяев, связанных пороком, с другой стороны, их трусливой безнравственностью, и предсказывал, какие последствия ожидают его приемного сына всюду, если он откажется принять его вызов на самых серьезных условиях.

Это письмо посланник немедленно сообщил своему приемному сыну, который тотчас же принял вызов на пистолетах на расстоянии десяти шагов.

В то время, как посланник докладывал графу Нессельроде самые оскорбительные выражения из письма Пушкина и просил об официальном удовлетворении, противники уже отправились за город в сопровождении атташе французского посольства виконта Даршиака и друга Пушкина Данзаса. Молодой Геккерен выстрелил Пушкину в живот, но последний имел еще силы протянутою вперед рукою послать ему пулю, которая попала бы тому в печень, если бы не была задержана металлическою пуговицей.

Пушкин скончался вчера, в три часа, в полном сознании, после того, как просил государя дать ему возможность унести с собой в могилу прощение за нарушение им закона и принять уверение в том, что он никогда не переставал считать свою супругу чистой и невинной, но не мог заставить себя жить на одной планете с человеком, которого свет мог считать близким его жене. Государь дал ему на это весьма трогательный письменный ответ, в котором обещал поэту прощение, предлагал ему подумать о загробном будущем и обещал позаботиться о судьбе его жены и четырех маленьких детей.

Те немногие часы, которые ему оставалось жить, несчастный провел согласно воле государя, употребив их на приведение в порядок своих дел и любовно занимаясь своими близкими и литературным будущим России.

При наличии в высшем обществе малого представления о гении Пушкина и его деятельности не надо удивляться, что только немногие окружали его смертный одр, в то время как нидерландское посольство атаковывалось обществом, выражавшим свою радость по поводу столь счастливого спасения элегантного молодого человека.

Не только столь выдающаяся личность и положение Александра Пушкина, но в особенности тот прекрасный свет, который был брошен на эту мрачную сцену благородным характером государя, дали мне смелость обеспокоить вас, ваше превосходительство, этим описанием трагедии, которою окончил свой жизненный путь один из выдающихся умов Европы.

Секундант господина Геккерена отсылается бар. Барантом, по всей вероятности, навсегда в Париж. Поведение его было похвально.

К. фон Лютцероде.

II.

С.-Петербург, 18—6 февраля 1837.

Его превосходительству
г-ну статс-секретарю Зешау.

М.г.

...Эта неожиданность породила самые странные слухи и предположения, особенно потому, что сочувствие, выказанное вторым и третьим классами жителей Петербурга по поводу смерти Александра Пушкина, вызвало некоторые меры надзора со стороны полиции и корпуса жандармов, особенно вблизи дома голландского посольства.

Император довел свое великодушие до того, что уплатил все долги, лежавшие на имении Пушкина, превратив его в майорат для старшего сына, назначил ежегодную пенсию в 10 000 руб. его вдове и столько же дочерям и приказал выпустить новое полное издание его сочинений на свой счет, из выручки от которого должен составиться капитал для детей. Похороны г. Пушкина отличались особенной пышностью и в то же время были необычайно трогательны. Присутствовали главы всех иностранных миссий за исключением графа Дёрама и князя Суццо — по болезни, барона Геккерена, который не был приглашен, и г. Либермана, отклонившего приглашение вследствие того, что ему сказали, что названный писатель подозревался в либерализме в юности, бывшей, действительно, весьма бурною, как молодость многих гениев, подобных ему.

Император пожелал выразить свое уважение к покойному, возложив на действительного статского советника Тургенева и на жандармского капитана сопровождать останки писателя до монастыря, расположенного в его имении в Псковской губернии.

Милость его величества дошла до того, что он разрешил секунданту покойного, полковнику Данзасу, оставаться у постели умирающего до его смерти и в числе ближайших друзей поэта нести гроб с колесницы в склеп, имея при себе шпагу.

Барон Карл Лютцероде.

III.

С.-Петербург, 11 апреля—30 марта 1837

М.г.

Мне остается еще отметить, что молодой барон Геккерен-Дантес был приговорен к лишению звания офицера и русского дворянина и был вывезен жандармами за пределы империи, с запрещением когда-либо возвращаться в нее. Его супруга вскоре последует за ним.

Барон Карл Лютцероде.

Его превосходительству г-ну статс-секретарю Зешау.

IV.

Тильзит, 18 апреля 1837

М.г.

...Оканчивая письмо, я не могу обойти молчанием, что случай столкнул меня здесь с бароном Дантесом-Геккереном, убившим на дуэли Пушкина. Он был вывезен за границу, как простой солдат, жандармом и здесь ожидает свою жену и своего приемного отца, голландского посла, покинувшего Петербург и получившего отпуск, с которыми вместе предполагает продолжать свое путешествие, куда — еще не решено. Все это дело принимает иной вид по тому, что он рассказывает о поведении Пушкина по отношению к нему. Он с громадным хладнокровием рассказал мне все подробности, довольно верно переданные уже газетами.

Вашего превосходительства покорный слуга Альбин Зеебах.

10.

Баварским посланником в С.-Петербурге в год смерти Пушкина был граф Лерхенфельд (Maximilian Reichsgraf von Lerchenfeld-Koefering род. в 1779, умер в 1843 году)[1]. Он был в приятельских отношениях с французским послом бароном Барантом. Как известно, Ф. И. Тютчев весьма увлекался баронессой Амалией Максимилиановной Криденер, по 2-му браку графиней Адлерберг. Эта Криденер была незаконной дочерью княжны Турн-и-Таксис и графа Максимилиана Лерхенфельда. В библиотеке А. С. Пушкина оказалась книжка «Gedichte des Königs Ludvig von Bayern» с надписью «A. Lerchenfeld». Книжка идет, конечно, из этой семьи Лерхенфельдов и может свидетельствовать о знакомстве Пушкина с ними[2].

Граф Лерхенфельд отправил целое донесение о дуэли и смерти Пушкина и упоминал о нем в двух последовавших рапортах.

---

[1] О Лерхенфельде: *Oettinger,* Monuments des Dates... Lpz., 1809—1880; Остафьевский архив князей Вяземских, т. III, стр. 575; Neuer Nekrolog der Deutschen, 1843, 2-er Theil, Weimar, 1845, 1251; Souvenirs du baron de *Barante,* t. VI, p. 457; Chronique de Dino, t. II, p. 513; «Русский архив», 1903, кн. 3, стр. 416.

[2] *Б. Л. Модзалевский.* Библиотека А. С. Пушкина. Спб., 1910, стр. 277.

I.

С.-Петербург, 10 февраля 1837.

Ваше величество!

Россия потеряла самого замечательного своего писателя и самого знаменитого поэта, Александра Пушкина.

Он умер 37 лет, в лучшую пору своей деятельности, от тяжкой раны, полученной им на дуэли.

Подробности этой катастрофы, которую покойный, к несчастью, сам навлек на себя своим ослеплением и неистовой ненавистью (свидетельствовавшими об его арабском происхождении), являются уже в течение нескольких дней единственным предметом разговоров столицы. Он дрался со своим собственным зятем Жоржем Геккереном. Последний — приемный сын барона Геккерена, Голландского посланника, француз по рождению, носил ранее имя Дантес, был кавалергардским офицером и недавно женился на сестре г-жи Пушкиной.

Несмотря на такое близкое родство и безупречность поведения, которую выказал г. Геккерен, женясь на этой молодой особе, анонимные письма с самыми злостными намеками задели самолюбие поэта так глубоко, что сделали его нечувствительным к самым ясным доказательствам невинности его жены, а также и к его собственному убеждению, и он не находил себе отдыха до тех пор, пока не вызвал своего зятя и не принудил его к поединку, положившему конец его жизни.

Император сделал все от него зависевшее, чтобы смягчить последние минуты этого замечательного человека, убеждения которого его величество порицал, но талант почитал. Накануне его смерти государь собственноручно написал ему несколько слов, чтобы успокоить его относительно судьбы его жены и детей и предложить ему употребить те немногие дни, которые провидение, казалось, даровало ему, на исполнение религиозных обязанностей и на приготовление к христианской смерти.

Император поручил еще Жуковскому, прежнему учителю наследника цесаревича, другу покойного, просмотреть его бумаги и сжечь все сочинения, которые могли бы скомпрометировать память Пушкина, относясь к временам его юности, когда он предавался крайним и революционным идеям.

Для русской литературы смерть Пушкина является существенной потерей. Его называли русским Байроном, сделавшим больше других писателей, чтобы очистить русский язык и сделать его языком поэзии. Должно отметить также всеобщее возмущение и даже склонность к более сильному, чем обыкновенно, национальному негодованию, которое не ограничивается справедливыми упреками, но устремляется на противника, как на иностранца, и требует, чтобы он был строго наказан.

Последнее время Пушкину было поручено императором написать историю Петра Великого, и он был редактором литературного журнала «Современник».

13 февраля.

Я только что вернулся с похорон Пушкина, которые были замечательны по стечению народа всех классов, собравшегося там. Вслед за родственниками покойного, приблизившимися, по греческому обряду, к телу, чтобы проститься перед тем, как закроют гроб, все друзья и многие другие лица поспешили, рыдая, к катафалку и продлили эту сцену прощания, как последнюю почесть таланту, отнятому у его родины.

Его императорское величество уже исполнил обещание, данное Пушкину перед его смертью. Государь дал пять тысяч рублей пенсии вдове и шесть тысяч на воспитание детей, приказал списать со счетов сумму, за которую была заложена земля покойного, заплатить все долги, которые он мог оставить, и выпустить на казенный счет роскошное издание сочинений Пушкина, с предоставлением дохода от продажи его в пользу вдовы и детей.

Г. д'Аршиак, атташе французского посольства, бывший секундантом г. Геккерена, уезжает завтра в Париж.

Остаюсь с глубочайшим почтением вашего величества покорнейший и почтительный слуга и верноподданный.

(подписано) Лерхенфельд.

II.

Выдержка из отчета от 5 апреля 1837

Барон Геккерен получил от своего двора разрешение покинуть С.-Петербург, сохранив половинный оклад своего содержания. Он отправится в путь тотчас по приезде г. Геверса, возвращающегося сюда в качестве поверенного.

Между тем разбиралось дело его приемного сына. Он был лишен прав, чинов и дворянства и разжалован в простые солдаты. Но в то же время император сделал этот приговор менее чувствительным для г. Геккерена, приказав, чтобы он тотчас был выслан из империи и вывезен на границу. Итак, в тот самый день, когда приговор был опубликован в приказе, к г. Геккерену явился фельдъегерь, усадил его в открытые сани и вывез его на границу.

III.

Выдержка из отчета от 15 апреля 1837

Голландский посол г. Геккерен выехал третьего дня, получив оскорбление в виде отказа в прощальной аудиенции у их императорских величеств и получив теперь же прощальную табакерку, несмотря на то, что он не представил отзывных грамот и формально заявил графу Нессельроде, что его величество король Голландский не отозвал его, а только разрешил ему отпуск на неопределенное время.

По этой причине присылка табакерки вместе с отказом в обычной аудиенции явились настоящим ударом для г. Геккерена, вызванным, по-видимому, какою-нибудь особою причиной, что император, по всей вероятности, и объяснит королю Голландии.

11.

Германский департамент иностранных дел сообщил нашему послу выписки из донесений бывшего в 1837 году при русском дворе г-на Либермана, относящихся до дуэли Пушкина с Дантесом.

Донесения г-на Либермана самые характерные в ряду дипломатических свидетельств о деле Пушкина. Им нельзя отказать в осведомленности, иногда довольно детальной, по-видимому, с голоса старшего Геккерена, но они проникнуты духом крайней нетерпимости к Пушкину. Не понимая, а вероятнее не будучи в состоянии понять значение поэта, Либерман, верный идеалам космополитической реакции, окрашивавшим тогдашний политический горизонт, видит в Пушкине опасного революционера, вождя третьего сословия и т. д., а в сочувственных его памяти демонстрациях усматривает попытки мятежнические и бунтовщические. Саксонский посол барон Лютцероде, отметив в своем сообщении отсутствие на похоронах Пушкина г-на Либермана, объясняет это отсутствие весьма характерно для г-на Либермана: «Он отказался присутствовать, так как ему сказали, что Пушкин в молодости был заподозрен в либерализме».

Нам не удалось встретить обстоятельной характеристики г. Либермана. Он был послом в Мадриде, затем с ноября 1835 по июнь 1845 года в С.-Петербурге и, наконец, в Париже, где он и умер 15 мая 1847 г.[1].

Либерман писал о деле Пушкина в депешах 30 января (11 февраля), 2 (14) февраля, 24 февраля (8 марта), 16 (28) марта, 20 марта (1 апреля), 14 (26) апреля.

Впервые депеши Либермана были использованы в наших статьях о дуэли Пушкина («Историч. вестн.», 1905 и в книге «Пушкин» Спб. 1913). В последнее время они появились в «Zeitschrift für Osteuropäische Geschichte», hrsg. v. Theodor Schiemann etc. Band III, Heft 2. 1913. S. 227–233; «Ein preussischer Bericht über Puskins Tod. Mitgeteilt v. Th. Shiemann». Сообщение Т. Шимана использовано в «Истор. вестн.», 1913. Кн. 2, стр. 699—700: «Прусское донесение о смерти Пушкина».

I.

С.-Петербург, 11 февраля — 30 января 1837

Давно уже ни одно событие не производило столь общей сенсации и не заполняло столь исключительно всех бесед в салонах столицы, как та дуэль, которая произошла на днях и кровавую развязку которой я не смогу обойти полным молчанием, с одной стороны, потому, что дело касается смерти человека, громкая литературная слава которого была распространена не только в России, но начинала делаться до известной степени европейскою, а с другой стороны, потому, что в этом злополучном деле замешаны, по крайней мере косвенно, некоторые члены дипломатического корпуса.

Статский советник А. Мусин-Пушкин (sic!), по общему признанию, занимавший первое место среди современных русских поэтов и пользовавшийся огромною популярностью, хотя, как человек, он был характера грубого, насмешливого и задирающего (d'un caractère violent, satyrique et offensif), был женат уже несколько лет на молодой женщине замечательной красоты; она, находясь в родстве со многими

---

[1] См.: *Oettinger.* Monuments des Dates... Lpz., 1809–1880; Neuer Nekrolog der Deutschen. Weimar, 1849. S. 921; Souvenirs du baron de *Barante.* Paris, t. V et VI; Chronique. T. II, III. Об его отставке у *Varnhagen von Ense,* Tagebücher. B. 111, S. 73.

знатными семействами этой столицы (она — рожденная Гончарова и внучка графа Строганова), являлась одним из главных украшений балов высшего общества.

Превозносимая светом m-me Пушкина была также предметом очень пылкого обожания со стороны одного молодого человека, француза по происхождению, который состоит на русской службе, как офицер Кавалергардского полка. Его имя — Дантес, но, будучи усыновлен в прошлом году нидерландским министром, носит теперь фамилию барона Геккерена. Кажется, эти ухаживания с некоторых пор вызывали беспокойство в г. Пушкине, у которого была крайне некрасивая фигура и ревность которого вошла в пословицу, — и вся его африканская ярость (потому, что он был внуком негра, привезенного в Россию) разразилась против этого офицера из-за каких-то анонимных писем, которые были адресованы ему, как и некоторым другим, и заключали что-то вроде патента на звание обманутого мужа и т. д. Не входя ни в какие предварительные объяснения, Пушкин отправил молодому Геккерену вызов, написанный в весьма резких выражениях. Они сделали бы дуэль неизбежной, если бы письмо пришло прямо по назначению; но случайно оно попало в руки приемного отца, который, не скрыв от сына факта вызова, не сообщил ему всего содержания обидного письма. Так как молодой человек, заявляя, что он готов драться с Пушкиным, если последний может считать себя обиженным им, в то же время самым торжественным образом заявил своему отцу, что он не сделал ни малейшего посягательства на честь вызвавшего и что жена его совершенно невинна, то нидерландский министр сделал несколько примирительных попыток перед родственниками и друзьями семьи Пушкиных, в результате которых убедил в истине Пушкина, который к тому же с самого начала всегда заявлял, что он совершенно убежден в невинности жены. Вызов Пушкиным был формально взят обратно, и его честь, как и честь жены его, была в безопасности от всяких нападок тем более, что в конце концов, чтобы положить конец поднявшемуся по поводу этого дела шуму, молодой барон Геккерен совершенно добровольно решился жениться на сестре m-me Пушкиной, которой он также оказывал большое внимание. Хотя девушка не имела никакого состояния, приемный отец молодого человека дал свое согласие на брак. Графиня Нессельроде и граф Строганов присутствовали на бракосочетании, которое совершилось около двух недель тому назад. Г-жа Пушкина, как прежде, появлялась на всех балах, окруженная, как всегда, поклонниками, и никто не мог тогда подумать, что это дело так трагически кончится. Узнал ли Пушкин какие-нибудь новые скверные шутки на свой счет, или по какому-либо другому мотиву, но в прошлый понедельник он отправил нидерландскому министру новое письмо, которое заключало в себе самые грубые оскорбления не только молодого барона Геккерена, но и его приемного отца. Все содержание этого письма полно такого бешенства, такой гнусности, какую трудно себе вообразить. Констатировав авторство этого невероятного послания, молодой барон не мог колебаться в решении принять вызов, и его приемный отец ответил Пушкину, напоминая ему, что первый вызов, сделанный им сыну, он взял обратно сам, и предупреждая его, что относительно оскорблений, направленных лично против него, нидерландского посла, он сумеет принять соот-

ветствующие меры, чтобы наказать подобную дерзость, хотя такого рода брань и не может посягать на его достоинство.

Дуэль между г. Пушкиным и молодым бароном Геккереном состоялась днем, в прошлую среду, под С.-Петербургом, на островах,— на пистолетах и с барьером. Оба противника сходились одновременно и весьма быстро дошли до барьера; г. Геккерен, увидя, что ему целят в сердце, выстрелил первым, и г. Пушкин тотчас упал, так как пуля, пройдя со стороны правого бедра, поразила его в нижнюю часть живота. Когда секунданты и г. Геккерен подбежали к нему, чтобы его поднять, он сказал Геккерену, чтобы тот вернулся к барьеру, так как он намерен стрелять в него. На это согласились; он приказал подать себе другой пистолет, так как тот, который он держал, упал в снег, целился в течение нескольких минут, наконец выстрелил и попал в противника, который стоял всего в нескольких шагах от него, но который тем не менее ранен неопасно, ввиду того, что пуля пронзила правую руку в мясистой части, не раздробив кости, и ударилась затем о пуговицу мундира, так что не проникла в тело, а лишь слегка контузила нижнюю часть груди.

Рана г. Пушкина была тотчас же признана смертельною; но только вчера после полудня он скончался, оставив жену в состоянии, не поддающемся описанию, и четверых малолетних детей без всяких средств.

Его императорское величество и в этом случае проявил великодушие самым высоким и достойным глубочайшего восхищения образом. Хотя у императора немало было поводов быть недовольным г. Пушкиным, отличавшимся крайне либеральными убеждениями, любившим фрондировать и преследовавшим сатирами и иными оскорбительными нападками многих высших сановников империи, его величество тем не менее соблаговолил написать ему, вскоре после дуэли, узнав, что спасти его было невозможно, собственноручное письмо, обещал ему позаботиться о его жене и детях, но в то же время приглашая его умереть христианином, прибегнув к утешениям и к помощи религии, от которой он до тех пор отказывался, несмотря на близость и неизбежность смерти. Вследствие того же великодушного порыва его величество счел своим долгом поручить г. Жуковскому, близкому другу г. Пушкина, собрать все бумаги покойного (среди которых находились и некоторые документы, порученные ему в качестве историографа) и присоединить к этому поручению разрешение уничтожить все бумаги, которые могли бы оказаться компрометирующими для покойного.

Поведение молодого барона Геккерена, оставшегося у его приемного отца, отдано на решение военного суда, созванного третьего дня, и многие надеются, что, не взирая на строгость закона, его императорское величество соблаговолит принять во внимание обстоятельства, которые говорят в его пользу и по поводу которых его величеству были сделаны самые подробные сообщения.

Секундантом г. Пушкина был полковник корпуса путей сообщения по фамилии Данзас, который арестован, а у г. Геккерена секундантом был атташе французского посольства виконт д'Аршиак, который, не будучи в состоянии оставаться здесь после столь прискорбного события, отправляется на днях курьером в Париж.

С.-Петербург.

II.

С.-Петербург, 2—14 февраля 1837

Виконт д'Аршиак, бывший секундантом лейтенанта барона Геккерена в дуэли, в которой был убит знаменитый русский поэт Александр Пушкин, едет сегодня курьером в Париж и проездом будет в Берлине, до которого он доедет в обществе английского курьера, отправляемого лордом Дёрамом.

Военный суд, учрежденный над бароном Геккереном, еще не вынес приговора, и еще менее известно, каково будет то наказание, какое император признает справедливым наложить на молодого офицера. Правда, его величество высказался вначале довольно благоприятно на его счет, признавая, что он совершенно не мог отказаться от вызова своего бешеного противника и что во время дуэли, которая, по всегдашним заявлениям Пушкина, должна быть во всяком случае смертельным поединком, поведение его было и честно и смело. Но между тем начинают думать, что император не пожелает, а быть может, не сможет всецело следовать своим первым впечатлениям, но подвергнет барона Геккерена, по меньшей мере, на некоторое время достаточно суровому наказанию, хотя бы для того, чтобы успокоить раздражение и крики о возмездии, или, если угодно, горячую жажду публичного обвинения, которую вызвало печальное происшествие. Это чувство проявилось в низших слоях населения столицы с гораздо большею силою, чем в рядах высшего общества, потому что, с одной стороны, в последних лучше знают истинный ход и сущность дела, а с другой стороны, понятно, Пушкин был более популярен и встречал большее поклонение у русских низших слоев, которые совсем не знают иностранных литератур и, не имея вследствие этого критерия для справедливости сравнения, создавали преувеличенную оценку его литературных заслуг. Смерть Пушкина представляется здесь, как несравнимая потеря страны, как общественное бедствие. Национальное самолюбие возбуждено тем сильнее, что враг, переживший поэта, — иноземного происхождения. Громко кричат о том, что было бы невыносимо, чтобы французы могли безнаказанно убить человека, с которым исчезла одна из самых светлых национальных слав. Эти чувства проявились уже во время похоронных церемоний по греческому обряду, которые имели место сначала в квартире покойного, а потом на торжественном богослужении, которое было совершено с величайшей торжественностью в придворной Конюшенной церкви, на котором почли долгом присутствовать многие члены дипломатического корпуса. Думают, что со времени смерти Пушкина и до перенесения его праха в церковь в его доме перебывало до 50 000 лиц всех состояний, многие корпорации просили о разрешении нести останки умершего. Шел даже вопрос о том, чтобы отпрячь лошадей траурной колесницы и предоставить несение тела народу; наконец, демонстрации и овации, вызванные смертью человека, который был известен за величайшего атеиста, достигли такой степени, что власть, опасаясь нарушения общественного порядка, приказала внезапно переменить место, где должны были состояться торжественные похороны, и перенести тело в церковь ночью.

Эти необычные изъявления скорби изображаются, разумеется, друзьями и покровителями г. Пушкина, как дань уважения, безусловно

должная высоте его таланта, и как поразительное и блестящее доказательство тех успехов, которые любовь к поэзии и к литературе за последнее время сделала в России. Но я не считаю нужным скрывать, что существует, к сожалению, немало причин полагать, что большая часть оваций, вызванных смертью Пушкина, могут и должны быть отнесены насчет той популярности, которую покойный приобрел у некоторых отдельных лиц и в некоторых кругах, благодаря идеям новейшего либерализма, которые ему угодно было исповедовать и которые впоследствии побудили его сочинять постыдные стихи по адресу покойного императора Александра и вступить в еще более преступные политические происки. Ибо я знаю положительно, что под предлогом пылкого патриотизма в последние дни в С.-Петербурге произносятся самые странные речи, утверждающие между прочим, что г. Пушкин был чуть не единственною опорой, единственным представителем народной вольности, и проч. и проч., и меня уверяли, что офицер, одетый в военную форму, произносил речь в этом смысле посреди толпы людей, собравшихся вокруг тела покойного в доме, где он скончался.

III.

С.-Петербург, 8 марта — 24 февраля 1837

Лейтенант барон Геккерен, почти оправившийся от раны, полученной им во время дуэли с г. Пушкиным, и уже с неделю находящийся в заключении при гауптвахте, в прошлую пятницу был приговорен военным судом, состоящим из нескольких офицеров Конногвардейского полка под председательством адъютанта его величества полковника Бреверна, к смертной казни через повешение, согласно старым военным законам; но, по установившимся обычаям и правилам, этот приговор, неизбежный по форме, хотя и неисполнимый, — до того момента, когда он будет представлен его императорскому величеству, должен быть сообщен сначала командиру полка, в котором служил совершивший преступление, затем командиру бригады или дивизиона, затем командующему императорской гвардии, с тем, чтобы каждый из этих высших офицерских чинов мог прибавить к нему свое мотивированное мнение; выполнение этих формальностей влечет за собою обычно отсрочку в несколько дней, так что до сих пор никто еще не знает, какова в окончательном счете будет участь барона Геккерена, но предполагают, что если бы его и должно было приговорить к более суровому наказанию, чтобы успокоить народное раздражение, вызванное смертью г. Пушкина, тем не менее он от него вскоре будет избавлен, с тем, чтобы быть уволену со службы и выслану из России.

IV.

С.-Петербург, 18—28 марта 1837

С.-Петербургская газета заявляет сегодня, что журнал «Современник», основанный покойным Пушкиным, будет продолжаться в пользу семьи поэта, под руководством г. Жуковского, князя П. А. Вяземского, князя В. Ф. Одоевского и еще двух русских литераторов, Плетнева и Краевского.

V.

С.-Петербург, 20 марта — 1 апреля 1837

Участь лейтенанта барона Дантеса-Геккерена, имевшего несчастие убить на дуэли поэта Пушкина, наконец, решилась. Первый приговор военного суда, в силу которого этот офицер был приговорен, согласно старинным военным законам (равным образом как и секундант г. Пушкина, и как сам покойный), к повешению за ноги,— был смягчен, и наказание, к которому он приговорен, было заменено разжалованием; но так как барон Геккерен иностранного происхождения, то он одновременно приговорен к высылке из империи, вместо того, чтобы служить простым солдатом в Кавказской армии, где он мог бы получить обратно свои военные чины. Это решение его императорского величества было сообщено вчера утром г. Геккерену и было приведено в исполнение без малейшей отсрочки, так что несколько часов спустя, не дав ему разрешения проститься ни с приемным отцом, ни с женою, его вывезли отсюда, в сопровождении жандармского офицера, на прусскую границу.

VI.

С.-Петербург, 14—26 апреля 1837

Я позволяю себе приложить при сем копию статьи, которую напечатала сегодня С.-Петербургская газета и которая заключает в себе кое-какие подробности по поводу приговора, вынесенного против барона Геккерена, вследствие его дуэли с Пушкиным[1].

---

[1] Самой копии не приводим.

Приложение

ИНОСТРАННЫЕ ГАЗЕТЫ 1837 ГОДА О СМЕРТИ ПУШКИНА

(«JOURNAL DES DÉBATS» И «THE MORNING CHRONICLE»)

Дуэль и смерть Пушкина не нашли сколько-нибудь значительного отклика в русских газетах и журналах того времени. Статьи о Пушкине, появившиеся в 1837 г. в русских газетах, надо считать на строки, а журнальные статьи во всей совокупности заняли несколько десятков страниц. Вот и вся «литература». Нельзя было писать не только о фактических обстоятельствах кончины Пушкина, но и об историко-литературном значении его деятельности. Но за границей история дуэли и смерти Пушкина обошла столбцы всех мало-мальски крупных органов. Западная пресса интересовалась делом Пушкина, главным образом, в виду его сенсационности. Пушкина как поэта на Западе знали плохо. Несколько лет тому назад было сделано М. А. Веневитиновым обозрение немецких статей 1837 г. о Пушкине[1]. Число их оказалось почтенным, а фактические сведения немецких авторов при всей диковинности некоторых их сообщений представляют большой интерес.

Писали много о Пушкине и во французских и английских газетах, и, кажется, французские и английские статьи были обильнее немецких подробностями и обстоятельнее; по крайней мере, немецкие некрологисты делают немало ссылок на французские и английские газеты. К сожалению, еще не сделано никакого обзора находящихся в них статей о деле Пушкина — не только обзора, но и простого перечня. В ожидании такого расследования нелишне будет, в добавление к известиям иностранцев-дипломатов о дуэли и смерти Пушкина, привести статьи о том же двух влиятельных и распространенных газет — французской «Journal des Débats» и английской «The Morning Chronicle».

1.

Сообщения «Journal des Débats» приобретают особый интерес, так как одна из посвященных делу Пушкина статей или, вернее, целый фельетон принадлежит перу Леве-Веймара, который лично знал Пушкина.

В «Journal des Débats» за первые месяцы 1837 г. находим четыре статьи, касающиеся, если не целиком, то в значительной части, истории Пушкина. Первое известие о смерти Пушкина находится

---

[1] «Русск. стар.», 1900 и отд. отт.: *М. Веневитинов.* Некрологи Пушкина в немецких газетах 1837 года. Спб., 1900.

в номере от 28 февраля (н. ст.) в корреспонденции из Петербурга от 12 февраля.

On écrit de Saint-Pétersbourg, en date du 12 février: «Un événement des plus tragiques vient de répandre la consternation dans la société de cette capitale. Le célèbre M. Pouchkine, homme de lettres et le poète le plus distingué de la Russie, a été tué en duel par son beau-frère, M. d'Anthès, officier français au service russe et fils adoptif d'un ministre étranger accrédité auprès de cette cour. Des discussions de famille, d'abord assoupies, et que la malignité s'est empressée de rallumer et d'envenimer, ont amené M. Pouchkine, à provoquer M. d'Anthès. Le duel a eu lieu au pistolet. M. Pouchkine, frappé mortellement d'une balle qui lui a traversé la poitrine, a néanmoins survécu deux jours. Son adversaire a aussi été grièvement blessé.

On parle beaucoup d'un bal que vient de donner ici M. le baron de Barante etc».

Дальше идет описание этого бала, занимающее немного больше места, чем заметка о смерти Пушкина. Вот и все, что на первый раз было сообщено о деле Пушкина. Неверно сообщение только о тяжелой ране Дантеса, который был только контужен.

В номере от 2 марта находим известный фельетон Леве-Веймара, содержащий характеристику личности и значения Пушкина. В номере от 4 марта находим следующие сообщения.

«Le Morning Chronicle» rend aussi compte des motifs du duel qui a lieu à S.-P. entre M. d'Anthès et le célèbre poète russe Pouchkine:

«M. d'Anthès, jeune Français, récemment adopté par le baron de Heeckeren, ministre de Hollande à la cour de la Russie, avait épousé la soeur de M-me Pouchkine. Mais bientôt ses regards et son amour s'étaient portés sur M-me Pouschkine elle-même. Le mari outragé provoqua son beau-frère, et fut tué dans ce fatal duel qui a beaucoup affligé l'Empereur».

Un autre journal annonce que l'Empereur a donné ordre de traduire devant un conseil de guerre le baron d'Anthès, qui, après avoir quitté le service de France à la révolution de Juillet, avait obtenu un grade assez élevé dans la garde impériale russe».

В номере от 5 марта в отделе «Confédération germanique» читаем следующее известие из немецкого источника.

«On mande de S.-P.: «Avant de mourir, Pouchkine a fait recommander à l'Emp. Nikolas sa femme, dont il disait avoir reconnu l'innocence, et ses enfants qu'il laissait sans fortune. Pour toute réponse, l'Emp. lui a envoyé son confesseur, qui lui demanda s'il voulait en mourant persister dans les sentiments d'athéisme qu'il avait professés toute sa vie. Pouchkine ayant déclaré qu'il se repentait et qu'il abjurait son matérialisme, on a pu lui apprendre avant sa mort, que l'Emp. accordait une pension de dix mille roubles à sa veuve, et que ses enfants seraient tous placés dans des établissements de l'État».

Эта заметка остра и ядовита. Неверно то, что Николай Павлович послал духовника, но верно то, что он предложил Пушкину умереть по-христиански. Хотя друзья Пушкина и стараются заверить, что Пушкин приступил к исполнению христианского долга по собственной инициативе, есть немало оснований полагать, что этот поступок совершен им именно под влиянием воли государя.

Фельетон в "Journal des Débats" от 2 марта подписан инициалами

L.-V., обозначающими Loeve-Veimars. Франсуа-Адольф Леве-Веймар, или, как в шутку называли его русские приятели, Лев-Веймарский, — литератор, историк и дипломат (род. в 1801 г., ум. в 1854 г.). Он вышел из еврейско-немецкой семьи, покинувшей в 1814 году Францию и переселившейся в Гамбург. Леве-Веймар принял христианство и вернулся опять во Францию. Здесь он сыграл большую, еще не оцененную роль во французской литературе своими статьями о немецкой литературе и своими переводами немецких романтиков. Позднее он получил от Луи-Филиппа титул барона. Занимаясь журналистикой, он оказывал услуги французскому министерству иностранных дел, а на склоне своей жизни перешел на дипломатическкую службу: он был генеральным консулом в Багдаде (1841—48), в Каракасе и уполномоченным в делах в Венесуэле. О нем есть любопытная статья Генриха Гейне, воздающая сочувственную дань его памяти[1].

В 1836 году Леве-Веймар побывал в России и завязал здесь разнообразные связи с русским обществом. О нем писал 30 июня 1836 года Тьер барону Баранту, французскому послу: «У вас в Петербурге г-н Леве-Веймар. Знайте, что ему не дано никакого поручения; не проговоритесь и устройте, чтоб о том не писали в Париже. Дело его предпринять что-либо в политической литературе. Это сотрудник (нашего министерства) очень умный, очень способный, и полезно держать его на лучшем пути. Прошу вас хорошо с ним обращаться и выразить, что вам о том писали отсюда, но в сношениях с ним будьте весьма осмотрительны. Мы посылаем ему орден, и вы отдадите ему грамоту на него»[2]. В это пребывание в России Леве-Веймар даже женился на русской — Ольге Викентьевне Голынской. Леве-Веймар завел много знакомств в литературном мире Петербурга и Москвы и вошел в приятельские отношения с князем Вяземским, Жуковским, А. И. Тургеневым, Пушкиным[3]. Пушкин для него перевел на французский язык русские народные песни. В письме, приложенном к автографу Пушкина, Леве-Веймар сообщает, что этот труд был сделан только для него одного за несколько месяцев до смерти, на даче на Каменном острове.

Фельетон Леве-Веймара обратил внимание друзей Пушкина и понравился им. Князь В. Ф. Одоевский писал 14 мая 1837 года М. С. Волкову: «Вы знаете уже ужасное происшествие с нашим поэтом Пушкиным. В “Journal des Débats” была написана довольно справедливая статья»[4]. А князь Вяземский, жалуясь в письме к А. О. Смирновой на запрет русским писать о Пушкине, пишет: «С Пушкиным точно то, что с Пугачевым, которого память велено было предать забвению. Статья в „Журнале дебатов“ Леве-Веймара не пропущена, хотя она довольно справедлива и писана с доброжелательством, а клеветы пропускаются»[5].

Вот этот фельетон Леве-Веймара:

---

[1] Heines Sämtliche Werke. Tempel-Verlag, IX-er Band, S. 193—198.

[2] *Baron de Barante.* Souvenirs, V. 427. См. здесь же еще стр. 375. Не лишенные интереса сведения о пребывании Леве-Веймара в России см. еще у *Duchesse de Dino.* Chronique de 1831 à 1872, t. II, p. 83, 92.

[3] См. Остафьевский архив, т. III, по указателю, и заметки в дневнике *И. М. Снегирева.* — «Р.А.», 1902, 6, 7, 8 и др.

[4] «Русск. стар.», т. XXVIII, 1880, авг., стр. 804.

[5] «Русск. арх.», 1888, II, 303.

Россия потеряла своего поистине самого знаменитого писателя — Пушкина, который погиб на дуэли с бароном Дантесом, его свояком. Это несчастное событие взволновало все общество Петербурга, где Пушкин имел много искренних почитателей и нескольких благородных и истинных друзей. Клеветы и анонимные письма, которые погубили столько людей с благородным сердцем до Пушкина и которые будут их убивать и после него, были причиной его смерти в тот момент, когда он готовился к большому труду — к истории Петра Великого. Предадим забвению и не станем говорить (об этом сам он просил умирая) о причинах, вызвавших событие, прервавшее его жизнь, так как он считал себя оскорбленным и сам начал нападение, и скажем только несколько слов о его столь высоком уме, о его личности и характере.

Пушкин родился в мае 1799 года. Пятеро его предков подписали акт восшествия на престол Романовых. Мать была внучка арабского принца, подаренного Петру Великому, и Пушкин носил еще следы своего происхождения. Отец молодого Аннибала тщетно предлагал Петру Великому большой выкуп за своего сына; император, уже полюбивший ребенка, сделал его своим наперсником, и Аннибал Пушкин умер в должности начальника артиллерии. А Пушкин воспитывался в Лицее, в Петербурге, откуда он вышел в 1817 г.; он был воодушевлен в это время молодым и горячим стремлением к служению либерализму, находившему в то время покровительство у самого императора Александра. Талант поставил Пушкина во главе партии, избравшей его своим орудием. Первые его стихи были откровенно революционными, и под его именем ходили все анонимные сатиры и песни, направленные против правительства. Император Александр хотел помешать ему сделаться более преступным и избавить его от несправедливых обвинений, предметом которых он был, и причислил его к бессарабскому наместничеству. В Бессарабии Пушкин написал прекрасные поэтические произведения. В своих стихах он описывал всегда только те места, где он был. В его отсутствие друзья напечатали поэму его „Руслан и Людмила“, с сюжетом из времен двора Владимира, былиной эпохи России (вроде „Чаши Грааля“ и Круглого стола — из времен трубадуров). Его служба в Бессарабии продолжалась недолго. Он совершил путешествие по Кавказу и был прикомандирован к новороссийскому генерал-губернатору графу Воронцову. Бессарабия вдохновила его на прелестную поэму „Цыганы“, в которой он рисует с бесконечным очарованием прелесть нравов этого кочующего народа и его отвращение к жестокостям. Во время путешествия, под влиянием стихов Байрона, произведения которого он возил за своим седлом, он написал прелестную поэму в двух песнях: „Кавказский пленник“, в которой он описывает эту интересную страну, и „Бахчисарайский фонтан“. С тех пор слава его имени упрочилась и прогремела по всей России.

Новые доносы восстановили против него императора Александра, который сослал его в небольшое, принадлежавшее ему имение. Пушкин прожил там два года, употребив их на серьезные труды по истории России, которую он изучил основательно. Его беседа на исторические темы доставляла удовольствие слушателям; об истории он говорил прекрасным языком поэта, как будто сам жил в таком

же близком общении со всеми этими старыми царями, в каком жил с Петром Великим его предок Аннибал — любимец негр. Там, в тиши и уединении русской деревни, он сочинил еще множество мелких стихотворений, которые русские женщины так же хорошо знают наизусть и декламируют, как в Германии молодые девушки стихи Шиллера. Опала его принесла в дар поэзии еще шесть первых песен „Онегина“, в которых Пушкин уже освобождается от влияния лорда Байрона, и его лучшее произведение „Борис Годунов“. Этими произведениями Пушкин создал русский язык, которым пишут и говорят теперь, и заслужил все почести, которые мы воздавали Малербу.

Пушкину были оказаны все почести вскоре по прибытии его в Москву. Император вернул его из имения, где он все время жил в уединении, но не в безвестности, и обратился к Пушкину в своем кабинете с горячей и живой речью, свойственной ему, которая проникла в сердце поэта. Кажется, искренняя, простая, полная благородного чувства, речь Пушкина понравилась государю, так как все предубеждения против него исчезли. С тех пор его талант, оригинальность речи, исключительные особенности его жизни, его поэзия привлекли к нему общее внимание. Он участвовал в турецкой кампании волонтером, в свите фельдмаршала Паскевича, путешествовал по внутренней России, изучал нравы, памятники, разыскивая предметы, любопытные для его внимания: то старые песни, то следы знаменитого Пугачева, историю которого он тщательно описал. Затем влечения его меняются, он женится. Счастье его было велико и достойно зависти, он показывал друзьям с ревностью и в то же время с нежностью свою молодую жену, которую гордо называл „своей прекрасной смуглой Мадонной“. В своем веселом жилище с молодой семьей и книгами, окруженный всем, что он любил, он всякую осень приводил в исполнение замыслы целого года и перелагал в прекрасные стихи свои планы, намеченные в шуме петербургских гостиных, куда он приходил мечтать среди толпы. Счастье, всеобщее признание сделали его, без сомнения, благоразумным. Его талант более зрелый, более серьезный не носил уже характера протеста, который стоил ему стольких немилостей во времена его юности. „Я более не популярен“, — говорил он часто. Но, наоборот, он стал еще популярнее, благодаря восхищению, которое вызывал его прекрасный талант, развивавшийся с каждым днем.

Одного недоставало счастью Пушкина: он не был за границей. В ранней молодости пылкость его мятежных идей повлекла за собой запрещение этого путешествия, а позднее семейные узы удерживали его в России. Какою грустью проникался его взор, когда он говорил о Лондоне и в особенности о Париже! С каким жаром он мечтал об удовольствии посещений знаменитых людей, великих ораторов и великих писателей. Это была его мечта! И он украшал всем, что могло представить ему его воображение поэта, то новое для него общество, которое он так жаждал видеть. Об этом, без сомнения, сожалел Пушкин, умирая; это было одним из тех неудовлетворенных желаний, которые он оплакивал вместе со всем, что ему было дорого и что он должен был покинуть!

История Петра Великого, которую составлял Пушкин по приказанию императора, должна была быть удивительной книгой. Пушкин посетил все архивы Петербурга и Москвы. Он разыскал переписку Петра Великого включительно до записок полурусских, полунемец-

ких, которые тот писал каждый день генералам, исполнявшим его приказания. Взгляды Пушкина на основание Петербурга были совершенно новы и обнаруживали в нем скорее великого и глубокого историка, нежели поэта. Он не скрывал между тем серьезного смущения, которое он испытывал при мысли, что ему встретятся большие затруднения показать русскому народу Петра Великого таким, каким он был в первые годы своего царствования, когда он с яростью приносил все в жертву своей цели. Но как великолепно проследил Пушкин эволюцию этого великого характера и с какой радостью, с каким удовлетворением правдивого историка он показывал нам государя, который когда-то разбивал зубы не желавшим отвечать на его допросах и который смягчился настолько к своей старости, что советовал не оскорблять „даже словами“ мятежников, приходивших просить у него милости.

Пушкин умер мужественно и не изменил своему неустрашимому характеру. Пораженный насмерть пулею Дантеса, он приподнимается и требует оружия, чтобы выстрелить в свою очередь. Два раза оно выскальзывает из его ослабевшей руки, наконец, ему удается воспользоваться им, и он ранит в руку своего противника. Его отнесли домой, и он жил еще два дня. Он умер, не обвиняя никого в своем несчастье. Пушкин был камер-юнкером императора и имел несколько орденов. Он не оставил состояния, но император великодушно принял под свое могущественное покровительство вдову великого поэта и четырех бедных малюток.

2.

В заметке “Journal des Débats” встречается ссылка на английскую газету „Утренняя хроника“ (“The Morning Chronicle”). На статью этой английской газеты не раз ссылались и немецкие газеты. Она помещена в номере от 1 марта 1837 г. Действительно, она любопытна по некоторым подробностям и по общему освещению дела и представляет, кроме того, особенный интерес, как образец тех корреспонденций, которые посылали из С.-Петербурга английские корреспонденты 75 лет тому назад. Вот эта статья.

С.-Петербург, 11 февраля.

„Мы все находимся в самом разгаре споров, шума и движения, вызванных одной частной ссорой, о которой не следовало бы с вами беседовать, если бы такие события не приобретали важности при деспотическом режиме. Здесь находится барон Геккерен, посланник его величества короля голландского. Несколько времени тому назад он счел уместным усыновить молодого француза по фамилии Дантес; для него он выхлопотал зачисление в Кавалергардский полк. Молодой француз принял фамилию Геккерена и вскоре потом женился на русской даме, сестре жены известного поэта Пушкина. Собственная история Пушкина любопытна, хотя и не необыкновенна. Он был русским патриотическим и национальным поэтом с некоторым либеральным наклоном: эта примесь — особенность его гения, создавшая ему неприятности и беспокойство. Он получил приказание избрать образ жизни: или жить в Сибири, или вести жизнь придворного поэта, осыпанного богатством и почестями. Он выбрал последнее и был счастлив до тех пор, пока в семье поэта не появился

г-н Дантес-Геккерен. Живой и молодой француз, приемный сын голландского посланника, скоро стал предпочитать m-me Пушкину своей собственной жене, бывшей ее сестрой. Пушкин узнал об этом и не мог перенести обиды. Он вызвал Дантеса-Геккерена, и свояки дрались недалеко от столицы, по английскому обычаю, на пистолетах, в десяти шагах расстояния. Оба выстрелили в одно и то же время. Дантес был ранен легко, а Пушкин смертельно. Но он все-таки прожил достаточно долго для того, чтобы составить и продиктовать письмо, содержащее жалобы на голландского посланника и француза, его приемного сына, вместе с обвинениями самого тяжкого характера. После этого Пушкин умер. Все русские приняли участие в их любимом поэте, громко выражая свою скорбь и в то же время свое негодование против обстоятельств и лиц, бывших причиной потери. Сам царь был сильно взволнован смертью Пушкина. В настоящий момент ни о чем другом не думают и не говорят“.

VIII. РАССКАЗ КНЯЗЯ А. В. ТРУБЕЦКОГО ОБ ОТНОШЕНИЯХ ПУШКИНА К ДАНТЕСУ

В литературе о Пушкине существует одна брошюрка, отпечатанная всего в 10 экземплярах и составляющая поэтому величайшую библиографическую редкость. Это — книжечка в 8-ую долю листа, в 10 страниц, с следующим заглавием:

РАССКАЗ
об отношениях
Пушкина к Дантесу

Записан со слов князя Александра Васильевича Трубецкого, 74 лет, генерал-майора, состоящего на службе при артиллерийском складе в Одессе. В воскресенье 21 июня 1887 года. Павловск, дача Краевского.

С.-Петербург.

Указаний на типографию, из которой выпущена эта брошюрка, нет.

Самому рассказу князя Трубецкого предшествует следующее вступление.

«Князь Трубецкой не был „приятельски" знаком с Пушкиным, но хорошо знал его по частым встречам в высшем петербургском обществе и еще более по своим близким отношениям к Дантесу.

В 1836 году, летом, когда Кавалергардский полк стоял в крестьянских избах Новой Деревни, князь Трубецкой жил в одной хате с Дантесом, который сообщал ему о своих любовных похождениях, вернее, о своих победах над женскими сердцами.

Это обстоятельство и дало возможность кн. Трубецкому узнать о истинных, быть может, причинах роковой дуэли 27 января 1837 года.

Трудно предположить вымысел со стороны кн. Трубецкого, почтенного семидесятичетырехлетнего старца; быть может, некоторые подробности затемнились в его памяти; другие же получили несколько иную окраску, но рассказ его должен иметь в основании своем истинное происшествие.

Кн. Трубецкой в течение многих лет упорно отмалчивался о том, какие именно подробности в отношении Пушкина к Дантесу ему известны. Лишь совершенно случайно удалось выпытать у него этот рассказ, тотчас же записывавшийся со слов его.

Так как лишь в печатном виде рассказ может получить разъ-

яснения или опровержение, то и явилась необходимость выпустить его в свет.

Нежелание же распространять его в массе побудило печатать его лишь в 10 экземплярах».

Издателем этой брошюры, напечатанной в типографии А. С. Суворина, является В. А. Бильбасов. В 1901 году, несмотря на заявленное им нежелание распространять этот рассказ, он счел возможным воспроизвести его на страницах „Русской старины“ (т. CV, 1901, февр., 256—262). Никаких объяснений или опровержений В. А. Бильбасов не дал при воспроизведении, но самую брошюру перепечатал с сокращениями. Сокращения, допущенные им, несомненно искажают то впечатление, которое получается от прочтения брошюры целиком: то плохое, что говорилось князем Трубецким о Пушкине, осталось в подлинном виде, а резкости, сказанные им по адресу других лиц драмы, старика Геккерена, Н. Н. Пушкиной, оказались урезанными.

Автор биографии Дантеса С. А. Панчулидзев, давший разъяснения о происхождении брошюры, свидетельствует, что по сообщении ему Бильбасовым рукописи рассказа он тотчас же приступил к сбору материалов, дабы представить возможность самому В. А. подвергнуть критическому разбору рассказ князя Трубецкого. „К прискорбию нашему, — пишет С. А. Панчулидзев, — тяжкий недуг, а затем последовавшая кончина В. А. помешали ему осуществить это намерение“[1]. В своей биографии Дантеса С. А. Панчулидзев дал, на основании фактических данных, критические замечания к ряду подробностей рассказа князя Трубецкого.

Не лишенные интереса — не столько фактические, сколько психологические, — критические замечания к рассказу князя Трубецкого дал А. И. Кирпичников в своей статье: „По поводу Рассказа и т. д.“ („Русс. стар.“, т. CVI, 1901, апр., стр. 77—87). Б. В. Никольский в очерке „Последняя дуэль Пушкина“ (Спб., 1901) отрицательно отнесся к „Рассказу“ и вынес ему суровое осуждение, не вдаваясь, впрочем, в фактическую критику.

Мы назвали тех авторов, которые, считаясь с рассказом князя Трубецкого, более или менее пристально останавливались на его разборе. В конце концов значение этого источника для истории дуэли не выяснено. Должно ли, ввиду обилия анахронизмов и неточностей, ввиду явного затемнения памяти рассказчика, отбросить его в сторону и не пользоваться им, или же, не взирая на невероятность и неправильность многих сообщений, следует попытаться извлечь отсюда зерно действительности?

Прежде чем высказаться по этому вопросу, воспроизведем самый рассказ без всяких сокращений по тексту отдельного издания. В примечаниях к рассказу мы дадим указания крупнейших неверностей и анахронизмов.

„В 1834 году император Николай собрал однажды офицеров Кавалергардского полка и, подведя к ним за руку юношу, сказал: „Вот вам товарищ. Примите его в свою семью, любите как пажа“ (кавалергарды пополнялись по большей части камер-пажами) и прибавил по-французски: “Этот юноша считает за большую честь для

---

[1] Сборник биографий кавалергардов, 1826—1908. Составлен под редакцией С. Панчулидзева. Спб., 1908, стр. 76.

себя служить в Кавалергардском полку; он постарается заслужить вашу любовь и, я уверен, оправдает вашу дружбу“[1]. Это и был Дантес – племянник Голландского посланника Геккерна, родная сестра которого была замужем за французским chevalier Дантесом[2]. Он был статен, красив; на вид ему было в то время лет 20, много 22 года. Как иностранец, он был пообразованнее нас, пажей, и, как француз, – остроумен, жив, весел. Он был отличный товарищ и образцовый офицер[3]. И за ним водились шалости, но совершенно невинные и свойственные молодежи, кроме одной, о которой, впрочем, мы узнали гораздо позднее. Не знаю, как сказать: он ли жил с Геккерном, или Геккерн жил с ним... В то время в высшем обществе было развито бугрство. Судя по тому, что Дантес постоянно ухаживал за дамами, надо полагать, что в сношениях с Геккерном он играл только пассивную роль. Он был очень красив, и постоянный успех в дамском обществе избаловал его: он относился к дамам вообще, как иностранец, смелее, развязнее, чем мы, русские, а как избалованный ими, требовательнее, если хотите, нахальнее, наглее, чем даже было принято в нашем обществе.

В то время Новая Деревня была модным местом. Мы стояли в избах, эскадронные учения производили на той земле, где теперь дачки и садики 1 и 2 линии Новой Деревни. Все высшее общество располагалось на дачах поблизости, преимущественно на Черной Речке. Там жил и Пушкин[4]. Дантес часто посещал Пушкиных. Он уха-

---

[1] С. А. Панчулидзев по поводу приведенных строк рассказа пишет: «В Кавалергардском полку всегда служило мало иностранцев и на них вообще в полку косились. Мы не отвергаем самого *факта* представления, но, очевидно, государь не собирал офицеров, а мог при случае, напр., на придворном балу лично представить им нового товарища. Однако *подробности* этого эпизода следует безусловно отнести к «затемнению в памяти» 74-летнего рассказчика события, происшедшего 53 года до рассказа: не говоря уже о том, что Дантес никогда не был пажем французского двора, но кавалергарды не только в 30-х годах, но за все царствование Николая Павловича пополнялись преимущественно юнкерами полковыми и из школы, а вовсе не „исключительно воспитанниками Пажеского корпуса“» (*С. Панчулидзев,* назв. соч., стр. 76).

[2] Это категорическое заявление не имеет никакой почвы под собой. О родственных связях Дантеса см. выше, в статье г. Луи Метмана.

[3] Это утверждение («образцовый офицер...») совершенно не соответствует действительности: С. А. Панчулидзев, на основании данных полкового архива, сообщает, что Дантес «оказался не только весьма слабым по фронту, но и весьма недисциплинированным офицером: то он «садится в экипаж» после развода, тогда как «вообще из начальников никто не уезжал», то он на параде, «когда только скомандовано было по полку вольно, позволил себе курить сигару» и т. д. 19 ноября 1836 года в полковом приказе было отдано: «Неоднократно поручик барон де Геккерен подвергался выговорам за неисполнение своих обязанностей, за что уже и был несколько раз наряжаем без очереди дежурным при дивизионе; хотя объявлено вчерашнего числа, что я буду сегодня делать репетицию ординарцам, на коей и он должен был находиться, но не менее того... на оную опоздал, за что и делаю ему строжайший выговор и наряжаю дежурным на 5 раз». Число всех взысканий, которым был подвергнут Дантес за три года службы в полку, достигает, по свидетельству С. А. Панчулидзева, цифры 44.

[4] Князь Трубецкой рассказывает о событиях лета 1836 года. В этом году Пушкины жили летом на Каменном Острове. Наталья Николаевна переехала на дачу в бытность мужа в Москве в середине мая. 23 мая, за несколько часов до возвращения Пушкина, Н. Н. родила дочь, 21 августа Пушкины были

живал за Наташей, как и за всеми красавицами (а она была красавица), но вовсе не особенно «приударял», как мы тогда выражались, за нею. Частые записочки, приносимые Лизой (горничной Пушкиной), ничего не значили; в наше время это было в обычае. Пушкин хорошо знал, что Дантес не приударяет за его женою, он вовсе не ревновал, но, как он сам выражался, ему Дантес был *противен* своею манерою, несколько нахальною, своим языком, менее воздержным, чем следовало с дамами, как полагал Пушкин. Надо признаться, при всем уважении к высокому таланту Пушкина, это был характер невыносимый. Он все как будто боялся, что его мало уважают, недостаточно почета оказывают; мы, конечно, боготворили его музу, а он считал, что мы мало перед ним преклоняемся. Манера Дантеса просто оскорбляла его, и он не раз высказывал желание отделаться от его посещений. Nathalie не противоречила ему в этом. Быть может, даже соглашалась с мужем, но, как набитая дура, не умела прекратить свои невинные свидания с Дантесом. Быть может, ей льстило, что блестящий кавалергард всегда у ее ног. Когда она начинала говорить Дантесу о неудовольствии мужа, Дантес, как повеса, хотел слышать в этом как бы поощрение к своему ухаживанию. Если б Nathalie не была так непроходимо глупа, если бы Дантес не был так избалован, все кончилось бы ничем, так как, в то время по крайней мере, ничего собственно и не было — рукопожатие, обнимание, поцелуи, но не больше, а это в наше время были вещи обыденные.

Часто говорят о ревности Пушкина. Мне кажется, тут есть недоразумение. Пушкин вовсе не ревновал Дантеса к своей жене и не имел к тому повода.

Необходимо отделить две фазы в его отношениях к Дантесу: первая, летняя, окончившаяся женитьбой Дантеса на Catherine; вторая, осенняя, приведшая к дуэли[1].

Пушкин не выносил Дантеса и искал случая отделаться от него, закрыть ему двери своего дома. Легче всего это было для Nathalie, но та по свойственной ей дурости не знала, как взяться за дело. Нередко, возвращаясь из города к обеду, Пушкин и заставал у себя на даче Дантеса. Так было и в конце лета 36 года. Дантес засиделся у Наташи; приезжает Пушкин, входит в гостиную, видит Дантеса рядом с женой и, не говоря ни слова, ни даже обычного «bonjour», выходит из комнаты; через минуту он является вновь, целует жену, говоря ей, что пора обедать, что он проголодался, здоровается с Дантесом и выходит из комнаты. «Ну, пора, Дантес, уходите, мне надо идти в столовую», — сказала Наташа. Они поцеловались, и Дантес вышел. В передней он столкнулся с Пушкиным, который пристально посмотрел на него, язвительно улыбнулся и, не сказав ни слова, кивнул головой и вошел в ту же дверь, из которой только что вышел Дантес.

Когда Дантес пришел к себе в избу, он выразил мне свое опасение, что Пушкин затевает что-то недоброе. «Он был сегодня как-то особенно

еще на даче: под «Памятником» дата «21 августа Каменный Остров». Из Новой Деревни в казармы кавалергарды в 1836 году перешли 11 сентября, — по указанию С. А. Панчулидзева.

[1] Тут безнадежный анахронизм: летняя фаза закончилась женитьбой Дантеса на Catherine, — но женитьба состоялась 10 января 1837 года; осенняя фаза привела к дуэли, — но дуэль произошла 27 января 1837 года. Но дело не в хронологии, а в установлении *двух периодов* в столкновении Пушкина с Дантесом.

странен» — и Дантес рассказал, как он засиделся у Nathalie, как та гнала его несколько раз, опасаясь, что муж опять застанет их, но он все медлил, и муж действительно застал их вдвоем.

— Только-то?

— Только, но, право, у Пушкина был какой-то неприязненный взгляд и в передней он даже не простился со мной.

Все это Дантес рассказал, переодеваясь, так как торопился на обед к своему дяде. Едва ушел Дантес, как денщик докладывает, что пушкинская Лиза принесла ему письмо и, узнав, что барина нет дома, наказывала переслать ему письмо, где бы он ни был. На конверте было написано très pressée. С тем же денщиком было отправлено тотчас же письмо к Дантесу.

Спустя час, быть может с небольшим, входит Дантес. Я его не узнал, на нем лица не было. „Что случилось?“ — „Мои предсказанья сбылись. Прочти“. Я вынул из конверта с надписью très pressée небольшую записочку, в которой Nathalie извещает Дантеса, что она передавала мужу, как Дантес просил руки ее сестры Кати, что муж, с своей стороны, тоже согласен на этот брак. Записочка была составлена по-французски, но отличалась от прежних, не только vous вместо tu, но и вообще слогом вовсе не женским и не дамским billet doux.

— Что все это значит?

— Ничего не понимаю! Ничьей руки я не просил.

Стали мы обсуждать, советоваться и порешили, что Дантесу следует, прежде всего, не давать démenti словам Наташи до разъяснения казуса.

— Во всяком случае, Catherine мне нравится, и если я и не просил ее руки, но буду рад сделаться ее мужем.

На другой день все разъяснилось. Накануне, возвратясь из города и увидев в гостиной жену с Дантесом, Пушкин не поздоровался с ними и прошел прямо в кабинет; там он намазал сажей свои толстые губы и, войдя вторично в гостиную, поцеловал жену, поздоровался с Дантесом и ушел, говоря, что пора обедать. Вслед за тем и Дантес простился с Nathalie, причем они поцеловались, и, конечно, сажа с губ Nathalie перешла на губы Дантеса. Когда Дантес столкнулся в передней с Пушкиным, который, очевидно, поджидал его выхода, он заметил пристальный взгляд и язвительную улыбку, — это Пушкин высмотрел следы сажи на губах Дантеса[1].

Взбешенный Пушкин бросился к жене и сделал ей сцену, приводя сажу в доказательство. Nathalie не знала, что отвечать, и, застигнутая врасплох, солгала: она сказала мужу, что Дантес просил у нее руки Кати, что она дала свое согласие, в знак чего и поцеловала Дантеса, но что поставила свое согласие в зависимости от решения Пушкина. Тотчас же, под диктовку Пушкина, была

---

[1] Ни один из исследователей, касавшихся рассказа Трубецкого, не считает истории с поцелуем сколько-нибудь вероятной. А. И. Кирпичников пишет: «История с обличительным поцелуем есть „бродячая повесть“, очень почтенная по своей древности, встречающаяся в огромном количестве приурочений у разных народов, а сюда попавшая из какого-нибудь французского сборника contes pour rire. Несколько лет назад она фигурировала в анекдотической биографии Пушкина при потушенной свече, а ныне весьма неудачно изменила обстановку» («Русск. стар.», т. CVI, 1901, апр., стр. 79).

написана Наташей та записочка к Дантесу, которая так удивила и Дантеса и меня.

Вскоре состоялся брак Дантеса с Екатериной Николаевной Гончаровой[1].

Этим оканчивается первая фаза. Брак все прикрыл и все примирил. Теперь Дантес является к Пушкиным, как родной, он стал своим человеком в их доме, и Пушкин не выражался об нем иначе, как в самых дружественных терминах[2]. Дантес перестал уже быть для него невыносимым человеком.

Откуда же дуэль? Чем вызвана ссора? Где бесчестие, смываемое только кровью?

Это уже вторая фаза. Обстоятельства, вызвавшие вновь ссору и окончившиеся дуэлью, до сих пор никем еще не разъяснены. Об них в печати вообще не упоминается, — быть может, потому, что они набрасывают тень на человека, имя которого так дорого каждому из нас русских; быть может, однако, и потому еще, что они были известны очень немногим. Не так давно в Одессе умерла Полетика (Полетыка), с которой я часто вспоминал этот эпизод, и он совершенно свеж в моей памяти.

Дело в том, что Гончаровых было три сестры: Наталья, вышедшая за Пушкина, чрезвычайно красивая, но и чрезвычайно глупая; Екатерина, на которой женился Дантес, и Александра, очень некрасивая, но весьма умная девушка. Еще до брака Пушкина на Nathalie Alexandrine знала наизусть все стихотворения своего будущего beau-frère и была влюблена в него заочно. Вскоре после брака Пушкин сошелся с Alexandrine и жил с нею.

Факт этот не подлежит сомнению. Alexandrine сознавалась в этом г-же Полетике. Подумайте же, мог ли Пушкин при этих условиях ревновать свою жену к Дантесу. Если Пушкину и не нравились посещения Дантеса, то вовсе не потому, что Дантес балагурил с его женою, а потому, что, посещая дом Пушкиных, Дантес встречался с Alexandrine. Влюбленный в Alexandrine, Пушкин опасался, чтобы блестящий кавалергард не увлек ее. Вот почему Пушкин вполне успокоился, узнав от жены, что Дантес бывает для Катерины и просит ее руки. Вот почему, после брака Дантеса с Катериной, Пушкин стал относиться к Дантесу даже дружески. Повторяю, однако, — связь Пушкина с Александриною мало кому была известна. Едва ли многим известно и следующее обстоятельство, довольно, по-видимому, ничтожное, но в конце концов отнявшее у нас Пушкина. Вскоре после брака, в октябре или ноябре, Дантес с молодой женой задумали отправиться за границу к родным мужа[3].

---

[1] Вскоре... На самом деле 10 января 1837 года.

[2] Заявление Трубецкого о том, что Пушкин стал хорошо относиться к Дантесу после женитьбы, находится в резком противоречии с действительностью и не требует опровержения для каждого мало-мальски знакомого с историей дуэли. См. выше, в письме князя Вяземского к великому князю Михаилу Павловичу и мн. др.

[3] «Вскоре после брака, в октябре или ноябре, Дантесы задумали отправиться за границу». Что ни слово, то ошибка. У нас есть документальное доказательство, что Дантесы не собирались уезжать за границу: в письме к своему тестю Екатерина Николаевна Геккерен (см. стр. 103—104) сожалеет об одном — о том, что она лично не знакома с отцом своего мужа, и пишет: «Счастье личного знакомства не суждено мне в этом (1837) году, но барон Геккерен обещает, что в будущем году мы все соединимся в Сульце».

В то время сборы за границу были несколько продолжительнее нынешних, и во время этих-то сборов, в ноябре или декабре, оказалось, что с ними собирается ехать и Alexandrine. Вот что окончательно взорвало Пушкина, и он решился во что бы то ни стало воспрепятствовать их отъезду. Он опять стал придираться к Дантесу, начал повсюду бранить его, намекая на его ухаживанья, но не за Александриною, о чем он должен был прималчивать, а за Nathalie. В этом отношении Пушкин действительно невыносим. Как теперь помню: на святках был бал у Португальского, если память не изменяет, посланника, большого охотника. Он жил у нынешнего Николаевского моста. Во время танцев я зашел в кабинет, все стены которого были увешаны рогами различных животных, убитых ярым охотником, и, желая отдохнуть, стал перелистывать какой-то кипсэк. Вошел Пушкин. — «Вы зачем здесь? — Кавалергарду, да еще не женатому, здесь не место. Вы видите, — он указал на рога, — эта комната для женатых, для мужей, для нашего брата». «Полноте, Пушкин, вы и на бал притащили свою желчь; вот уж ей здесь не место». Вслед за этим он начал бранить всех и вся, между прочим Дантеса, и так как Дантес был кавалергардом, то и кавалергардов. Не желая ввязываться в историю, я вышел из кабинета и, стоя в дверях танцевальной залы, увидел, что Дантес танцует с Nathalie.

Пушкин все настойчивее искал случая поссориться с Дантесом, чтобы помешать отъезду Александрины. Случай скоро представился. В то время несколько шалунов из молодежи — между прочим Урусов, Опочинин, Строганов, мой cousin, — стали рассылать анонимные письма по мужьям-рогоносцам. В числе многих получил такое письмо и Пушкин. В другое время он не обратил бы внимания на подобную шутку и, во всяком случае, отнесся бы к ней, как к шутке, быть может, заклеймил бы ее эпиграммой. Но теперь он увидел в этом хороший предлог и воспользовался им по-своему.

Письмо Пушкина к Геккерену и подробности дуэли Пушкина с племянником Геккерена, Дантесом, всем известны».

Несомненно, память князя Трубецкого многое исказила в былой действительности, да и трудно требовать точной передачи, точных дат от глубокого старика, рассказывающего о событиях через 50 лет после их свершения. Но ведь старик вспоминал о самом дорогом ему времени, о своей молодости, когда ему было 24 года и когда из поручиков Кавалергардского полка он был произведен в штаб-ротмистры[1]. Можно забыть отдельные факты, эпизоды молодости, но нельзя забыть общего содержания, основного тона впечатлений молодости, нельзя забыть чувства жизни в эти годы в его характерных особенностях. Князь Трубецкой забыл детали, но хорошо помнит общий фон, и та отчетливая картина молодой жизни его самого, его ближайшего круга, которую рисует рассказ 74-летнего старца, совершенно соответствует тому, что мы знаем о жизни этого круга из других источников. Легкость жизни, легкомыслие и беспечность живущих — вот те основные черты, которыми рисуется жизнь в рассказе князя Трубецкого. И в той старческой наивности, с какою ведется рассказ, чувствуется отголосок поразительного легкомыслия

[1] Любопытная биография князя А. В. Трубецкого напечатана в цитированном «Сборнике биографий кавалергардов», 1826—1908, стр. 60—62.

молодости. Шалуны из молодежи, поименно перечисляемые рассказчиком, шутки ради рассылают анонимные письма обманутым мужьям; честь женщины — предмет для дружеской беседы в казармах; все подробности любовного романа передаются тотчас же друг другу и подвергаются совместному обсуждению. А из трех — муж, жена и счастливый ухаживатель — человеком наиболее смешным, наиболее заслуживающим порицания и наиболее виноватым оказывается, конечно, муж. Недружелюбие, или, скорее, враждебное отношение к Пушкину, которое, по-видимому, не остыло еще в 74-летнем старце, разделялось полковыми товарищами Трубецкого и Дантеса. Особенно



ярко сказалось пристрастие кавалергардов к своему полковому товарищу после смерти Пушкина, когда они горой стали за Дантеса и громогласно защищали его в великосветских гостиных. О поведении «красных», т. е. кавалергардских офицеров, особенно резко отозвался князь П. А. Вяземский в письмах к А. О. Смирновой и графине Э. К. Мусиной-Пушкиной[1]. О преданности полковых друзей свидетельствуют и напечатанные нами выше (см. стр. 293) письма двух из них к Дантесу.

Мы верим князю Трубецкому в том, что Дантес действительно рассказывал ему о ходе своего флирта с Н. Н. Пушкиной и что он, Трубецкой, был свидетелем некоторых моментов этого флирта. Пока не станем говорить о подробностях. То общее, к чему можно свести в этом пункте воспоминания Трубецкого, заключается в утверждении следующего факта: Наталья Николаевна была увлечена серьезнее, чем Дантес, если вообще можно тут говорить о серьезности; доминировал в любовном поединке Дантес: его искали больше, чем искал он сам. Теперь о подробностях. «Частые записочки,

[1] Письма к А. О. Смирновой — «Русский архив», 1888, кн. II, стр. 292 и след.; письмо к Э. К. Мусиной-Пушкиной — там же, 1900, кн. I, стр. 395 и след.

приносимые горничной, ничего не значили: в наше время это было в обычае...» «...все (между Н. Н. Пушкиной и Дантесом) кончилось бы ничем, так как, в то время по крайней мере, ничего собственно и не было — рукопожатие, обнимание, поцелуи, но не больше, а это в наше время были вещи обыденные»... Вот эти утверждения Трубецкого, эти детали больше всего шокировали современных исследователей и больше всего не располагали их верить князю Трубецкому. Уж очень такие нравы не подходят к буржуазным — позднейшей эпохи, — но ведь события, о которых рассказывает Трубецкой, происходили 50 лет тому назад, и нравы были иные. Бытовая история любовного чувства и любовных нравов совершенно не затронута в нашей культурной истории, но все-таки приходится поверить сообщениям князя Трубецкого. У нас есть один документ, напечатанный в 1915 году М. Л. Гофманом на страницах сборника «Пушкин и его современники» (вып. XXI—XXII), — документ, который принуждает нас верить князю Трубецкому. Это — дневник юрьевского студента, друга и приятеля Пушкина А. Н. Вульфа. В нем — целое откровение для истории чувства и чувственности в России в 1820—30 годах. Самое обращение с женщинами и девушками такое, какое нам трудно было представить. Правда, в письмах самого Пушкина хотя бы к жене, в письмах князя Вяземского к жене уже встречались нам намеки на иной, любовный быт, несозвучный буржуазному быту предреволюционной эпохи, но то были намеки, рассеянные подробности картины, которая в целом виде впервые появляется на страницах дневника Вульфа. Здесь не место входить в частности и доказывать цитатами правильность нашего мнения; отсылаем читателя к дневнику А. Н. Вульфа и надеемся, что он не откажет нам в своем согласии с нами. «Частые записочки, рукопожатия, обнимания, поцелуи» — все это были вещи обыкновенные в пушкинское время. А об обмене записочками есть указания и в дуэльном деле Пушкина — Дантеса, и в письмах Геккерена к графу Нессельроде.

Есть в истории флирта, как ее рассказывает князь Трубецкой, одна подробность, весьма любопытная и, может быть, отвечающая действительности, но не могущая быть принятой всецело за отсутствием других свидетельств. Откинем в сторону историю поцелуя с сажей: останется во всяком случае тот факт, что один раз Дантес и Н. Н. Пушкина были настигнуты поэтом; Н. Н. объяснила свое интимничанье намерением Дантеса сделать предложение ее сестре Екатерине и об этой своей объясняющей свидание уловке довела до сведения Дантеса. И было все это летом, до переезда кавалергардов (11 сентября 1836 года) с Черной речки на городские квартиры. Если предположить, что все было так в действительности, то тогда станут для нас ясными некоторые непонятные иначе указания. Обычно мы начинаем историю дуэли с 4 ноября — дня рассылки анонимных пасквилей, но у нас есть достоверные свидетельства о том, что слухи о возможном браке Дантеса на Екатерине Гончаровой распространились еще до 4 ноября; старик Геккерен, ринувшийся после 4 ноября хлопотать о примирении и выдвинувший проект женитьбы Дантеса на Е. Н. Гончаровой, категорически ссылался на то, что проект этот существовал раньше вызова на дуэль, сделанного Пушкиным. В конспективных заметках В. А. Жуковского (см. выше стр. 261) есть нерасшифрованная помета: 7 ноября Жуковский приехал к старику Геккерену для переговоров; то, что он

услышал от него, конспектировано в следующих словах: «Mes antécédents. Неизвестное <незнание. — *Я. Л.*> совершенное прежде бывшего». Эта помета указывает на неизвестный нам период в истории отношений Пушкина к Дантесу, предшествовавший первому вызову Пушкина. Не нашла ли эта неизвестная нам первая часть дуэльной истории некоторого отражения, хотя бы и очень искаженного, в рассказе князя Трубецкого?[1]

«Часто говорят о ревности Пушкина. Мне кажется, тут есть недоразумение: Пушкин вовсе не ревновал Дантеса к своей жене» и т. д. — рассказывает князь Трубецкой и затем приводит основание к отрицанию у Пушкина ревности к жене. Насколько верно основание, сейчас увидим, но в словах Трубецкого, быть может, отразился вывод из наблюдений света за отношениями Пушкина к жене. Светским наблюдателям Пушкин, очевидно, не казался верным семейному очагу и преданным своей жене. Были факты, вызывающие такое впечатление. Княгиня В. Ф. Вяземская рассказывала П. И. Бартеневу, что жену Пушкина раздражали ухаживания его за А. О. Смирновой и графиней Соллогуб. К вызову и поединку Пушкин был вызван сложной, очень сложной игрой многообразнейших мотивов, но в первый ряд — ряд мотивов первостепенного значения — мы не поставим чувства ревности, несмотря на то, что оно было сильно развито в поэте. Конечно, князь Трубецкой не понял, да он просто и не видел, не мог видеть всей сложности мотивов решения Пушкина; он, беспечный и легкомысленный, решал дело совсем просто: слышал и видел, что Пушкин не привержен жене своей, и решил, что у Пушкина ревности к Дантесу из-за жены не было. А так как по своей духовной ограниченности Трубецкой не полагал, что могут быть иные мотивы к поединку, а не чувство ревности, то ему надо было все-таки добраться до выяснения вопроса: если поединок, то значит, из ревности; если же из ревности, то к кому же, раз не к жене?

В ответ на этот вопрос князь Трубецкой сообщил историю о близких отношениях Пушкина к старшей сестре жены Александрине Гончаровой. Эта история, по его мнению, разрубала гордиев узел вопроса о причинах дуэли: Пушкин возревновал из-за Александрины, ибо ему показалось, что Дантес ухаживает и за ней и собирается увезти ее за границу. Но как объяснение дуэли эта история просто никуда не годится. У Трубецкого нет фактов, нет намека на факты. «Пушкину показалось, что блестящий кавалергард может увлечь Александрину». Такое заявление из уст князя Трубецкого — пустой звук. Мы не отказали бы ему в праве, по знанию друга и приятеля, говорить не без основания, что Дантесу показалось то и то. Ну, а о том, что показалось Пушкину, Трубецкому не следовало бы говорить. Правда, он приводит один факт или, вернее, тень факта: с Дантесами собиралась уехать за границу и Александрина. Но, к счастию, у нас оказались фактические данные, свидетельствующие о том, что Дантесы-то не собирались уезжать за границу, а, наоборот, — твердо знали, что в 1837 году им не попасть за границу: об этом сожалела Екатерина Дантес в письме к своему тестю, напечатанном у нас (стр. 103—104).

С полнейшею уверенностью можно утверждать, что история с Александриной никакого отношения к дуэли Пушкина с Дантесом

---

[1] Ср. дальше, в IX разделе книги.

не имеет. Какие бы близкие связи ни существовали между Пушкиным и Александриной Гончаровой, эти связи не причем в столкновении поэта с Дантесом. Но является новый вопрос: откуда же взял князь Трубецкой историю об интимной связи поэта с сестрой жены? Не выдумал же он сам. Очевидно, опять в рассказе князя Трубецкого мы должны искать отражения ходивших в свете слухов. Значит, слухи были. Трубецкой ссылается на Идалию Полетику. «Факт (связи Пушкина с Александриной) не подлежит сомнению. Alexandrine сознавалась в этом г-же Полетике». Идалия Полетика играла не последнюю роль в истории пушкинского поединка, она была очень осведомлена, но при всем том мы не решаемся принять эту ссылку на Полетику, как факт, не подлежащий сомнению[1]. Но знаменательно уже и то, что слухи о связи ходили в высшем обществе...

Мы имеем еще два определенных указания на близкие отношения поэта к Александрине Гончаровой.

Одно исходит от княгини Веры Федоровны Вяземской, жены ближайшего друга Пушкина, — женщины, пользовавшейся интимной доверенностью Пушкина и хорошо знавшей его семейную жизнь. В 1888 году П. И. Бартенев напечатал в „Русском архиве“ (1888, т. II, стр. 305—312) „Из рассказов князя Петра Андреевича и княгини Веры Федоровны Вяземских. (Записано в разное время, с позволения обоих)“. Тут, между прочим, есть и следующая запись (стр. 309): „Влюбленная в Геккерна, высокая, рослая старшая сестра Екатерина Николаевна Гончарова нарочно устраивала свидания Натальи Николаевны с Геккерном, чтобы только повидать предмет своей тайной страсти. Наряды и выезды поглощали все время. Хозяйством и детьми должна была заниматься вторая сестра, Александра Николаевна, после Фризенгоф. Пушкин подружился с нею...“ Точки, поставленные после этой записи и очевидно означающие в этом месте не то пропуск, не то желание умолчать о чем-то, заинтересовали меня, и я обратился за разъяснениями к П. И. Бартеневу, спрашивая его, случайны ли точки, или они со значением. П. И. Бартенев ответил мне следующим сообщением (в письме от 2 апреля 1911 года): „Княгиня Вяземская сказывала мне, что раз, когда она на минуту осталась одна с умирающим Пушкиным, он отдал ей какую-то цепочку и попросил передать ее от него Александре Николаевне. Княгиня исполнила это и была очень изумлена тем, что Александра Николаевна, принимая этот загробный подарок, вся вспыхнула, что и возбудило в княгине подозрение“. В другом своем письме (от 14 декабря 1911 года) П. И. Бартенев сообщил мне категорически: „Что он (Пушкин) был в связи с Александрой Николаевной, об этом положительно говорила мне княгиня Вера Федоровна“.

Другое свидетельство идет от А. П. Араповой, дочери Н. Н. Пушкиной от ее второго брака с П. П. Ланским. Оно находится в ее воспоминаниях о матери[2]. Вот отрывок, относящийся к этому вопросу...

---

[1] Об Идалии Полетике и об ее отношениях к Пушкину и к памяти о Пушкине см. интересные выдержки «Из записной книжки „Русского архива“». — «Русск. арх.», 1911, I, стр. 175—176.

[2] «Н. Н. Пушкина-Ланская» в приложениях к газете «Новое время» к след. №: 1907 год — № 11406, 11409, 11413, 11416, 11421; 1908 год — 11425, 11432, 11435, 11442, 11446, 11449. Эти записки выходят под моей редакцией в издательстве “Academia”.

„Роль старшей сестры, Екатерины Николаевны, трагически связанной со смертью Пушкина, стала историческим достоянием. Вторая же, Александра Николаевна, прожившая под кровом сестры большую часть своей жизни, положительно мучила своим тяжелым, строптивым характером и внесла немало огорчений и разлада в семейный обиход.

Все, что напоминало кровавую развязку семейной драмы, было так тяжело матери, что никогда не произносилось в семье не только имя Геккерен, но даже и покойной сестры. Из нас ее портрета никто даже не видел. Я слышала только, что; далеко не красавица, Ек. Н. представляла собой довольно оригинальный тип – скорее южанки, с черными волосами.

Александра Николаевна высоким ростом и безукоризненным сложением более подходила к матери, но черты лица, хотя и напоминавшие правильность гончаровского склада, явились бы его карикатурою. Матовая бледность кожи Натальи Николаевны переходила у нее в некоторую желтизну; чуть приметная неправильность глаз, придающая особую прелесть вдумчивому взору младшей сестры, перерождалась у ней в несомненно косой взгляд, – одним словом, люди, видевшие обеих сестер рядом, находили, что именно это предательское сходство служило в ущерб явный Александре Николаевне.

Мать до самой смерти питала к сестре самую нежную и, можно сказать, самую самоотверженную привязанность. Она инстинктивно подчинялась ее властному влиянию и часто стушевывалась перед ней, окружая ее неустанной заботой и всячески ублажая ее. Никогда не только слов упрека, но даже и критики не сорвалось у нее с языка, а одному богу известно, сколько она выстрадала за нее, с каким христианским смирением она могла ее простить!

Названная в честь этой тети, сохраняя в памяти образец этой редкой любви, я не дерзнула бы коснуться болезненно-жгучего вопроса, если бы за последние годы толки о нем уже не проникли в печать[1].

Александра Николаевна принадлежала к многочисленной плеяде восторженных поклонниц поэта; совместная жизнь, увядавшая молодость, не пригретая любовью, незаметно для нее самой могли переродить родственное сближение в более пылкое чувство. Вызвало ли оно в Пушкине кратковременную вспышку? Где оказался предел обоюдного увлечения? Эта неразгаданная тайна давно лежит под могильными плитами.

Знаю только одно, что, настойчиво расспрашивая нашу старую няню о былых событиях, я подметила в ней, при всей ее редкой доброте, какое-то странное чувство к тете. Что-то не договаривалось, чуялось не то осуждение, не то негодование. Когда я была еще ребенком и причуды и капризы тети расстраивали мать, или, поддавшись беспричинному, неприязненному чувству к моему отцу, она старалась восстановить против него детей Пушкиных, – у преданной старушки невольно вырывалось: „Бога не боится Александра Николаевна! Накажет он ее за черную неблагодарность к сестре! Мало ей прежних козней! В новой-то жизни – и то покою не дает.

---

[1] Речь идет, конечно, о рассказе князя Трубецкого, который с сокращениями был напечатан в 1901 году.

Будь другая, небось не посмела бы. Так осадила бы ее, что глаз перед ней не подняла бы! А наша-то ангельская душа все стерпит, только огорчения от нее принимает... Мало что простила, — во всю жизнь не намекнула!"

Уже впоследствии, когда я была замужем и стала матерью семейства, незадолго до ее смерти, я добилась объяснения сохранившихся в памяти оговоров.

Раз как-то Александра Николаевна заметила пропажу шейного креста, которым она очень дорожила. Всю прислугу поставила на ноги, чтобы его отыскать. Тщетно перешарив комнаты, уже отложили надежду, когда камердинер, постилая на ночь кровать Александра Сергеевича, — это совпало с родами его жены — нечаянно вытряхнул искомый предмет. Этот случай должен был неминуемо породить много толков, и хотя других данных обвинения няня не могла привести, она с убеждением повторяла мне:

— Как вы там ни объясняйте, это ваша воля, а по-моему — грешна была тетенька перед вашей маменькой!

Эта всем нам дорогая, чудная женщина была олицетворением исчезнувшего, с отменой крепостного права, типа преданных слуг, сливавшихся в единую плоть и кровь с своими господами; прямодушие и правдивость ее вне всякого сомнения, но суждение ее все-таки могло бы сойти за плод людских сплетен, если бы другой, малоизвестный факт не придал особого веса ее рассказу.

Сама Наталья Николаевна, беседуя однажды со старшей дочерью о последних минутах ее отца, упомянула, что, благословив детей и прощаясь с близкими, он ответил необъясненным отказом на просьбу Александры Николаевны допустить и ее к смертному одру, и никакой последний привет не смягчил ей это суровое решение. Она сама воздержалась от всяких комментариев, но мысль невольно стремится к красноречивому выводу.

Наконец, когда, много лет спустя, а именно в 1852 году, Александра Николаевна была помолвлена с австрийцем бароном Фризенгофом, за несколько времени до свадьбы она сильно волновалась, перешептываясь с сестрою о важном и неизбежном разговоре, который мог иметь решающее значение в ее судьбе. И на самом деле, — после продолжительной беседы с глазу на глаз с женихом она вышла успокоенная, но с заплаканным лицом, и с наблюдательностью подростков дети стали замечать, что с этого дня восторженные похвалы Пушкину сменились у барона резкими критическими отзывами.

Вот все скудные сведения, сохранившиеся в семье об этом мимолетном увлечении. Если я решилась приподнять завесу минувшего, то исключительно в виду важности для характеристики матери ее постоянно проявлявшегося незлобия, — той сверхчеловеческой доброты и любви, которая проповедуется евангелием и так мало применяется в жизни, — любви, способной все понять и все простить".

Мы привели этот отрывок из воспоминаний А. П. Араповой без всяких сокращений, сохранив все ее отступления и размышления, ибо контекст может облегчить правильное впечатление от ее сообщения. Имели или не имели места факты, о которых рассказывает А. П. Арапова, психологически их появление в ее рассказе понятно: рассказывая об отношениях своей матери к Дантесу, она лишь

умножила бывший уже в нашем распоряжении обвинительный против Натальи Николаевны материал. Подчеркивая решительную невинность матери, А. П. Арапова не умолчала о состоявшемся накануне второго вызова на квартире у Идалии Полетики свидании Дантеса с Пушкиной. Чтобы оправдать поведение Натальи Николаевны, чтобы, так сказать, уравновесить грехи, потребовался рассказ о нарушении Пушкиным всяких супружеских обетов. Вообще А. П. Арапова не пощадила поэта, и история о его связи с Александриной лишь увенчала ее воспоминания.

К приведенным данным об отношениях Пушкина к Александре Николаевне Гончаровой надо добавить еще следующие указания, использованные отчасти и во введении.

Перечисляем решительно все, чем мы располагаем по вопросу об отношениях Пушкина и А. Н. Гончаровой.

П. И. Бартенев записал рассказ Аркадия Осиповича Россет: «Тогда уже летом, 1836 года, шли толки, что у Пушкина в семье что-то неладно: две сестры, сплетни, и уже замечали волокитство Дантеса» („Русский архив", 1882, I, стр. 246).

Анна Николаевна Вульф 12 февраля 1836 года писала из Петербурга матери, П. А. Осиповой: „Ольга (сестра Пушкина) утверждает, что он (Пушкин) очень ухаживает за своей свояченицей Александриной" („Пушкин и его современники", вып. XXI—XXII, стр. 331).

А. И. Тургенев упоминает об Александрине в письмах своих — от 28 января 1837 года: „Пушкина привезли (после дуэли) домой; жена и сестра жены, Александрина, были уже в беспокойстве; но только одна Александрина знала о письме его к отцу Геккерена" — и от 29 января: „Жена подле него (умирающего Пушкина). Он беспрестанно берет его (sic!) за руку. Александрина плачет, но еще на ногах" (там же, вып. VI, стр. 50, 52). Цитируя фразу из первого письма, П. И. Бартенев дал следующее пояснение: „Показание замечательное. Умирающий Пушкин отдал княгине Вяземской нательный крест с цепочкой для передачи Александре Николаевне. Александра Николаевна была как бы хозяйкой в доме; она смотрела за детьми. В доме сестры своей Александра Николаевна оставалась до позднего брака с бароном Фризенгоф, от которого имела дочь-красавицу, вышедшую за принца Оттокара Ольденбургского. Барон Фризенгоф, венгерский помещик и чиновник австрийского посольства, первым браком женат был на Наталье Ивановне Соколовой, незаконной дочери И. А. Загряжского от какой-то простолюдинки. Эта вторая Наталья Ивановна была воспитана своею бездетною сестрой графиней де Местр" („Русский архив", 1908, III, 296).

Баронесса Евпраксия Вревская 2 сентября 1837 года писала мужу: „Сергей Львович (отец Пушкина), быв у невестки (Нат. Ник., летом, в Полотняном Заводе), нашел, что сестра ее (Александрина) более огорчена потерею ее мужа" („Пушкин и его современники", вып. XIX—XX, стр. 110).

Наконец, в 1925 году было опубликовано еще одно свидетельство, идущее от кн. Е. А. Долгоруковой, присутствовавшей при последних часах жизни Пушкина: „Александра Гончарова вышла замуж после 1844 года за Фризенгофа, живет за границей. Холодна, благоразумна. Кажется, что в последние годы Пушкин влюбился в нее. Она вышла за австрийца. Была дружна с его первой женой" („Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым

в 1851—1860 годах". Вст. ст. и прим. М. Цявловского. Изд. М. и С. Сабашниковых, 1925, стр. 60, 134, 135).

Александра Гончарова помогала Пушкину и материально. Так, в 1836 году она дала ему для заклада свое столовое серебро и брегет. Вещи не были выкуплены и пропали. Опеке пришлось возместить А. Н. Гончаровой часть ее убытков. Давала она в семью Пушкиных деньги и по мелочам: после смерти Пушкина Наталья Николаевна уплатила ей долг — 2500 руб. асс.

Упоминания о сестрах Натальи Николаевны в письмах Пушкина к жене в „Переписке", т. III, № 854, 929, 931, 933, 935, 1011 и 1015.

АНОНИМНЫЙ ПАСКВИЛЬ И ВРАГИ ПУШКИНА



IX. АНОНИМНЫЙ ПАСКВИЛЬ И ВРАГИ ПУШКИНА

I.

Друзья Пушкина поставили своей задачей охранение чести Пушкина и чести его жены и так тщательно укрыли тайну дуэли и смерти, что нам приходится разгадывать ее и до сих пор по крупицам. От друзей Пушкина пошли сборнички рукописных копий документов, относящихся до дуэли: анонимный пасквиль, письма Пушкина к Бенкендорфу, к барону Луи Геккерену, к Д'Аршиаку, письма к Пушкину Геккерена и Д'Аршиака, письма Д'Аршиака и Данзаса к П. А. Вяземскому, письмо гр. Бенкендорфа к Строганову. Один такой сборничек кн. П. А. Вяземский препроводил великому князю Михаилу Павловичу[1], другой сборник перешел от кн. Вяземского к Бартеневу (ныне в Пушкинском доме)[2]. В печати дуэльные документы были оглашены впервые в 1863 году в книжке: „Последние дни жизни и кончина А. С. Пушкина. Со слов бывшего его лицейского товарища и секунданта Константина Карловича Данзаса. Изд. Я. А. Исакова. Спб., 1863". Эта книга явилась откровением для читающей России и на долгое время послужила важнейшим источником для дуэльной истории[3]. Но среди дуэльных документов здесь не был опубликован анонимный пасквиль, список которого находился, несомненно, в распоряжении Данзаса. Впервые в печати пасквиль появился в книжке „Материалы для биографии А. С. Пушкина. Лейпциг. 1875". Здесь он помещен в русском переводе на первом месте в собрании дуэльных документов под следующим заголовком: „Два анонимные письма к Пушкину, которых содержание, бумага, чернила и формат совершенно одинаковы". К этому заголовку сделано примечание: „Второе письмо такое же, на обоих письмах другою рукою написаны адресы: Александру Сергеевичу Пушкину". Эти надписи, представляющие неуклюжий перевод с французского, повторяют сделанные по-французски рукою Данзаса пометы на снятой им для князя Вяземского копии диплома, находящейся в помянутой выше коллекции документов, перешедшей от князя Вяземского к Бартеневу. У нас в России пасквиль был напечатан по-французски (с неполным обозначением имен) П. А. Ефремовым в „Русской старине" (т. XXVIII, 1880, июнь, 330) и в русском

---

[1] См. в нашей книге, стр. 221.

[2] Описание этого собрания сделано М. А. Цявловским в книге «Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина» Б. Л. Модзалевского, Ю. Г. Оксмана и М. А. Цявловского. Петроград, 1924.

[3] См. дальше примечание на стр. 423.



переводе В. Я. Стоюниным в 1881 году в его книге „Пушкин“. Спб. 1881, стр. 420, 421. Отсюда пошли дальнейшие перепечатки, но подлинные пасквили в течение долгого времени оставались нам неизвестными. В военно-судную комиссию, производившую дело о дуэли, ни один экземпляр не был доставлен. Друзья, сняв копии, уничтожили подлинные экземпляры презренного и гнусного диплома. Приятель Пушкина С. А. Соболевский в 1862 году „обращался в Петербурге ко многим лицам, которые в свое время получили циркулярное письмо, но не нашел его нигде в подлиннике, так как эти лица его уничтожили“. „Если подлинник и находится где-нибудь, то, — пишет Соболевский, — только у господ, мне незнакомых, или, вернее всего, в III отделении“[1]. Хотя по справке, данной III отделением в 1863 году, в его архивах и не нашлось пасквиля, но в действительности экземпляр пасквиля, полученный графом Виельгорским, в III отделении был, хранился в секретном досье и только в 1917 году стал достоянием исследователей. Еще раньше другой экземпляр пасквиля оказался в музее при Александровском лицее, куда был доставлен после 1910 года[2]. И тот и другой экземпляры хранятся ныне в Пушкинском доме. Экземпляр III отделения — полный: диплом с надписью на оборотной стороне: „Александру Сергеевичу Пушкину“ и конверт, в который был он вложен, на имя Виельгорского. Лицейский экземпляр — без конверта[3]. Оба экземпляра воспроизводятся в настоящем издании.

Пасквиль, полученный Пушкиным, до сих пор не подвергся научному обследованию ни со стороны внешней, ни со стороны содержания. Как это ни кажется странным, но научного анализа

[1] «Новые материалы», назв. соч., стр. 25—26.

[2] К сожалению, не удалось установить, от кого поступил этот экземпляр в Лицейский музей. Во время моих работ над первым изданием настоящей книги он мне не был известен.

[3] В названной не раз книге А. С. Полякова дано описание обоих экземпляров пасквиля и воспроизведение экземпляра, полученного графом Виельгорским.

этого рокового памятника сделано не было. К этой работе следует приступить.

II.

Приведем французский текст документа.

“Les Grands-*Croix*, Commandeurs et Chevaliers du Sérénissime Ordre des *Cocus*, reunis en grand Chapitre sous la présidence du vénérable grand-Maître de l’Ordre, S.E.D.L.Narychkine, ***ont nommé à l’unanimité Mr. Alexandre Pouchkine coadjuteur du grand Maître de l’Ordre de Cocus*** et historiographe de l’Ordre.

Le sécrêtaire pérpétuel: C-te J. Borch”.

Вот точный перевод диплома.

„Кавалеры первой степени, командоры и кавалеры светлейшего ордена рогоносцев, собравшись в Великом Капитуле под председательством достопочтенного великого магистра ордена, его превосходительства Д. Л. Нарышкина, единогласно избрали г-на Александра Пушкина коадъютором великого магистра ордена рогоносцев и историографом ордена. Непременный секретарь граф И. Борх“.

По форме диплом пародирует грамоты на пожалование кавалерами орденов. Термины “Les Grands-Croix – Commandeurs – grand-Maître de l’Ordre – Sécrétaire – Grand-Chapitre” взяты из орденской практики и встречаются в статутах различных орденов, напр. св. Андрея Первозванного, в установлении о российских орденах имп. Павла и т. д.[1] Термин „коадъютор“ встречается в административной практике католической церкви: когда епископ впадает в физическую или духовную дряхлость, ему дается помощник — коадъютор.

Диплом, объявляя Пушкина рогоносцем, наносил обиду чести его самого и его жены. Составитель диплома заострял обиду по двум направлениям. Во-первых, Пушкина выбирали историографом ордена рогоносцев. Официально звание историографа было присвоено высочайшим рескриптом Н. М. Карамзину; Пушкин был зачислен после женитьбы в министерство иностранных дел и получил высочайшее разрешение собирать в архивах материал для истории Петра Великого. Историк Петра Великого провозглашался историографом ордена рогоносцев. Во-вторых, Пушкин выбирался в коадъюторы или помощники Д. Л. Нарышкину. Его сиятельство Дмитрий Львович был знаменитым и величавым рогоносцем. Его супруга Марья Антоновна — женщина „красоты неестественной, невозможной“ — была в долголетней связи с императором Александром I (1801—1814 гг.). „Д. Л. Нарышкин занимал невидное и довольно двусмысленное положение среди „свободно почтительного с хозяйкой“ веселого общества в своем роскошном доме, получившем от Александра I имя „Капуи“ за исполненную неги и наслаждений атмосферу в „храме красоты“, как Вигель называл внутренние апартаменты Нарышкиной. По наблюдению современников, Дмитрий Львович „по-видимому, не пользовался отношениями, существовавшими между монархом и его супругой“, да едва ли и был способен на это по своему „нетвердому“ уму и характеру. В конце концов, „широкое

---

[1] См.: Исторический очерк российских орденов. 2-е изд. Спб., 1892.

барское житье“ привело к учреждению над ним попечительства, по требованию его супруги, немало способствовавшей расстройству его состояния, и престарелый обер-егермейстер на склоне дней получал на расход лишь по 40 000 руб. асс. в год“[1].

Нарышкин — великий магистр ордена рогоносцев — стал рогоносцем по милости императора Александра, пошел, так сказать, по царственной линии. И первую главу в истории рогоносцев историограф должен был начать с императора Александра. Начать... а продолжать?

Мне думается, составитель диплома и продолжения хотел бы тоже по царственной линии. Если достопочтенный великий магистр был обижен в своей семейной чести монархом, то его коадъютору, его помощнику г-ну Александру Пушкину, историографу ордена, кто нанес такую же обиду, кто сделал его рогоносцем? Надо поставить вопрос точнее: в кого метил составитель пасквиля, на кого он хотел указать Пушкину, как на обидчика его чести? На Дантеса ли? Полно, так ли это? Не слишком ли мелко после пышного начала, после именования величавого рогоносца по высочайшей милости, кончить указанием на Дантеса! Не нужно ли взять выше: не в царственного ли брата обидчика чести Д. Л. Нарышкина, не в императора ли Николая метил составитель пасквиля? Для ответа не нужно искать данных, удостоверяющих факт интимных отношений царя и жены поэта, достаточно поставить и ответить положительно на вопрос, могли ли быть основания для подобного намека. И тут должно сказать, что оснований к такому намеку было не меньше, чем, например, к намеку на близкие отношения Дантеса к Н. Н. Пушкиной.

III.

В самом деле царь интересовался Натальей Николаевной. При его дворе было много прелестных и красивых женщин, но и среди них жена поэта с ее блистательной красотой занимала одно из первых, если не первое место. 6 декабря 1836 года в Николин день на приеме по случаю высочайшего тезоименитства, по отзыву тонкого знатока женской красоты, А. И. Тургенева, Пушкина была первая по красоте и туалету. И, слушая восхитительное пение в церкви Зимнего дворца, Тургенев не знал, слушать ли или смотреть на Пушкину и ей подобных?[2]

А Пушкина и ей подобные красавицы-фрейлины и молодые дамы двора — не только ласкали высочайшие взоры, но и будили высочайшие вожделения. Для придворных красавиц было величайшим счастьем понравиться монарху и ответить на его любовный пыл. Фаворитизм крепко привился в закрытом заведении, которым был русский двор. Наш известный критик Н. А. Добролюбов написал целую статейку о „Разврате Николая Павловича и его приближенных любимцев“. „Можно сказать, — пишет он, — что нет и не было при дворе ни одной фрейлины, которая была бы взята ко двору без покушений на ее любовь со стороны или самого государя или кого-нибудь из его августейшего семейства. Едва ли осталась

---

[1] Вел. кн. Николай Михайлович. Русские портреты, т. III.
[2] См. выше, стр. 235 <примеч. 2>.

хоть одна из них, которая бы сохранила свою чистоту до замужества. Обыкновенно порядок был такой: брали девушку знатной фамилии во фрейлины, употребляли ее для услуг благочестивейшего, самодержавнейшего государя нашего, и затем императрица Александра начинала сватать обесчещенную девушку за кого-нибудь из придворных женихов»[1].

Конечно, такая характеристика грешит преувеличением, но в основу положено правильное наблюдение. Уместно дать еще добавление: „Царь — самодержец в своих любовных историях, как и в остальных поступках; если он отличает женщину на прогулке, в театре, в свете, он говорит одно слово дежурному адъютанту. Особа, привлекшая внимание божества, попадает под наблюдение, под надзор. Предупреждают супруга, если она замужем; родителей, если она девушка, — о чести, которая им выпала. Нет примеров, чтобы это отличие было принято иначе, как с изъявлением почтительнейшей признательности. Равным образом нет еще примеров, чтобы обесчещенные мужья или отцы не извлекали прибыли из своего бесчестья. „Неужели же царь никогда не встречает сопротивления со стороны самой жертвы его прихоти?“ — спросил я даму, любезную, умную и добродетельную, которая сообщила мне эти подробности. — „Никогда! — ответила она с выражением крайнего изумления. — Как это возможно?“ — „Но берегитесь, ваш ответ дает мне право обратить вопрос к вам“. — „Объяснение затруднит меня гораздо меньше, чем вы думаете; я поступлю, как все. Сверх того, мой муж никогда не простил бы мне, если бы я ответила отказом“[2]. Автор этого рассказа сообщает об одном любовном эпизоде Николая — его романе с фрейлиной Урусовой, которую он выдал в 1833 году замуж за князя Радзивилла[3].

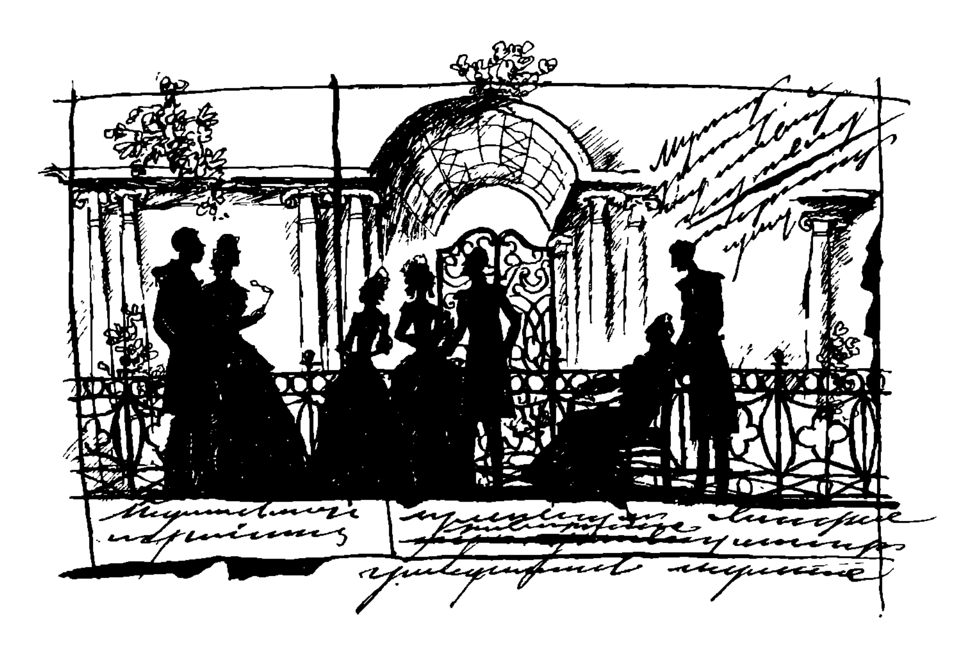
Николай Павлович был царь крепких мужских качеств: кроме жены, у него была еще и официальная, признанная фаворитка, фрейлина В. А. Нелидова, жившая во дворце, но и двоеженство не успокаивало царской похоти; дальше шли „васильковые дурачества“, короткие связи с фрейлинами, минуты увлечения молодыми дамами — даже на общедоступных маскарадах. Хорошо рисует влюбленного самодержца А. О. Смирнова, отлично знавшая любовный быт русского двора при Николае и, кажется, сама испытавшая высочайшую любовь. Рассказ ее относится к 1838 году, как раз к тому времени, когда вдова Пушкина скрывалась от света в деревне. „В Аничковом дворце танцевали всякую неделю, в белой гостиной; не приглашалось более ста персон. Государь занимался в особенности бар. Крюденер, но кокетствовал, как молоденькая бабенка, со всеми и радовался

---

[1] «Голос минувшего», 1922, № 1, стр. 65.

[2] Ach. Gallet de Kultur. "Le tzar Nicolas et la sainte Russie". Paris, 1855, стр. 202—203. Острая и любопытная книжка — при некоторых и немалых неточностях. Автор был секретарем у А. Н. Демидова, князя Сан-Донато, посетил Россию. В книге, между прочим, есть рассказ (стр. 57—61) о том, как Пушкин, по приказанию Александра I, был подвергнут телесному наказанию. Рассказ этот был выброшен автором во втором издании книги, под измененным заглавием "La sainte Russie". 1857. В Государственной Публичной библиотеке имеется экземпляр, принадлежавший С. Д. Полторацкому, с его рукописной заметкой об этой книге.

[3] С этой Урусовой связывали мадригал Пушкина 1827 года «Не веровал я троице доныне».



соперничеством Бутурлиной и Крюденер[1]. Я была свободна, как птица, и смотрела на все эти проделки, как на театральное представление, не подозревая, что тут развивалось драматическое чувство зависти, ненависти, неудовлетворенной страсти, которая не переступала из границ, единственно от того, что было сознание в неискренности государя. Он еще тогда так любил свою жену, что пересказывал все разговоры с дамами, которых обнадеживал и словами и взглядами, не всегда прилично красноречивыми.

Однажды в конце бала, когда пара за парой быстро и весело скользили в мазурке, усталые, мы присели в уголке за камином с бар. Крюденер; она была в белом платье, зеленые листья обвивали ее белокурые локоны; она была блистательно хороша, но невесела. Наискось в дверях стоял царь с Е. М. Бутурлиной, которая беспечной своей веселостью более, чем красотой, всех привлекала, и, казалось, с ней живо говорил; она отворачивалась, играла веером, смеялась иногда и показывала ряд прекрасных белых своих жемчугов; потом, по своей привычке, складывала, протягивая, свои руки, — словом, была в весьма большом смущении. Я сказала мадам Крюденер: „Вы ужинали вместе с государем, но последние почести сейчас для нее“. „Он чудак, — сказала она, — нужно, однако, чем-нибудь кончить все это, но он никогда не дойдет до конца — не хватит мужества, он придает странное значение верности. Все эти уловки с нею не приведут ни к какому результату“... Всю эту зиму он ужинал между Крюденер и Мери Пашковой, которой эта роль вовсе не

---

[1] О баронессе Крюденер см. выше, стр. 334; Е. М. Бутурлина, урожд. Комбурлей, — «красавица», создававшая карьеру своему мужу Д. П. Бутурлину. Род. в 1805, ум. в 1859 г.

нравилась. Обыкновенно в длинной зале, где гора, ставили стол на четыре прибора; Орлов и Адлерберг садились с ними. После покойный Бенкендорф заступил место Адлерберга, а потом и место государя при Крюденерше. Государь нынешнюю зиму мне сказал: „Я уступил после свое место другому“[1]. Картина царского кокетствования изображена очень тонко, и ярко передана любовная атмосфера, царившая на маленьких балах в Аничковом дворце. „Двору хотелось, чтобы Н. Н. Пушкина танцевала в Аничкове, и потому я пожалован в камер-юнкеры“, — записал Пушкин в дневнике. Ревность диктовала огорченной соперничеством Крюденер заявление, что Николай придает странное значение верности и в своих романах не доходит до конца. Конечно, доходил до конца.

Интерес царя к Н. Н. Пушкиной не мог не обратить внимания придворных обывателей, но комеражи о царских увлечениях передавались шепотом. И Пушкин знал об ухаживании женолюбивого самодержца и неоднократно предостерегал жену[2]. „Не кокетничай с царем“, — писал он ей не раз. По времени любопытно обращение к жене в письме из Москвы от 5 мая 1836 года: „И про тебя, душа моя, идут кой-какие толки, которые не вполне доходят до меня, потому что мужья всегда последние в городе узнают про жен своих: однако же видно, что ты кого-то довела до такого отчаяния своим кокетством и жестокостью, что он завел себе в утешение гарем из театральных воспитанниц. Нехорошо, мой ангел: скромность есть лучшее украшение вашего пола“[3]. „Кто-то“ — конечно, Николай, высочайший повелитель театральных школ и балета. Любопытнейшую запись сделал П. И. Бартенев со слов П. В. Нащокина: „Отношения царя к жене Пушкина. Сам Пушкин говорил Нащокину, что царь, как офицеришка, ухаживает за его женою: нарочно по утрам по нескольку раз проезжает мимо ее окон, а ввечеру на балах спрашивает, отчего у нее всегда шторы опущены. — Сам Пушкин сообщал Нащокину свою уверенность в чистом поведении Натальи Николаевны“[4].

Нас не может обмануть спокойный тон сообщений Пушкина о царе и Наталье Николаевне. Скандальную хронику двора он хорошо знал. Недаром, записав в дневнике о желании двора (читай: государя) видеть Наталью Николаевну на балах в Аничковом дворце, Пушкин прибавил: „...так я же сделаюсь русским Dangeau“. Маркиз де Данжо, адъютант Людовика XIV, вел дневник и заносил туда все подробности и интимности частной жизни короля изо дня в день. Но отместка, которую собирался сделать Пушкин, лишь в малой степени могла удовлетворить оскорбленную честь — в текущих обстоятельствах. Несомненно, Пушкин с крайней напряженностью

---

[1] Николаевская эпоха. Воспоминания французского путешественника маркиза де-Кюстина. С приложением дневника А. О. Смирновой (1845). М., 1910, стр. 141.

[2] Немногочисленные данные об увлечении Николая Н. Н. Пушкиной собраны М. А. Цявловским в книге «Рассказы о Пушкине, записанные П. И. Бартеневым». Москва, 1925, стр. 117—120. Здесь указана и соответствующая литература.

[3] Переписка, III, № 1011, стр. 309.

[4] Назв. книга, стр. 45. Нужно отметить, что Бартенев, записывая рассказ Нащокина для себя в свою тетрадь, побоялся писать «царь», а поставил три звездочки. Нечего и говорить о том, что в печать сведения о женолюбии Николая и об его ухаживании за Пушкиной не могли проникнуть.

следил за перипетиями ухаживания царя и не мог не задать себе вопроса, а что произойдет, если самодержавный монарх от сентиментальных поездок перед окнами перейдет к активным действиям?

Такая мысль могла быть только страшна Пушкину, и, как бы ни отгонял он ее, избавиться от нее он не мог! При самодержавном царе в нравах русского двора все — самое невероятное — могло сбыться.

Царские наперсники, ближайшие слуги, для которых Пушкин был неприятным, враждебным ничтожеством, могли только оказывать всяческое содействие затеям царского сладострастия — тот же Бенкендорф, тот же Нессельроде с охотой приняли бы роли высочайших сводников. А Пушкин не принадлежал к тому разряду супругов, к которому принадлежал муж петербургской рассказчицы. В записках барона Корфа, лицейского товарища Пушкина, сохранился рассказ об отношениях царя к Н. Н. Пушкиной, который можно оценить, только сопоставляя его с тем, что мы знаем об ухаживаниях царя от самого поэта. В апреле 1848 года Николай, беседуя с Корфом о Пушкине, сказал ему: „Под конец <...> жизни <Пушкина>, встречаясь очень часто с его женою, которую я искренно любил и теперь люблю, как очень хорошую и добрую женщину, я раз как-то разговорился с нею о комеражах, которым ее красота подвергает ее в обществе; я советовал ей быть как можно осторожнее и беречь свою репутацию, сколько для себя самой, столько и для счастия мужа при известной его ревности. Она, верно, рассказала об этом мужу, потому что, встретясь где-то со мною, он стал меня благодарить за добрые советы его жене. „Разве ты и мог ожидать от меня другого?“ — спросил я его. „Не только мог, государь, но, признаюсь откровенно, я и вас самих подозревал в ухаживании за моей женою...“ Три дня спустя был его последний дуэль“. Николай рассказывает об эпизоде отношений своих к Пушкиной через 11 лет после событий; в это время Наталья Николаевна уже носила фамилию Ланской; она пользовалась исключительным благоволением Николая, а муж ее, П. П. Ланской, делал удивительную карьеру: в это время он был командиром л.-гв. конного полка и свиты генерал-майором, а через год — в 1849 году — был назначен генерал-адъютантом. Понятен поэтому эпический тон повествования Николая, не дающий никакого представления о настроении Пушкина при знаменательном разговоре его с царем.

Возвращаюсь к пасквилю. Приведенных данных совершенно достаточно для того, чтобы можно было отстаивать предположенное выше толкование пасквиля: составитель пасквиля мог метить в Николая, и Пушкин мог принять такой намек. Составитель пасквиля наедине мог потирать руки и веселиться в чувствах удовлетворенной злости при одном представлении, что переживает получивший пасквиль историограф, до каких пределов раздражения доходит мнимый рогоносец, совершенно бессильный против указанного обидчика. В разорванных клочках письма Геккерена встречается фраза, которая содержит как бы ответ на оскорбление пасквиля, непонятный нам в целом ввиду отсутствия нескольких клочков... „Дуэли мне не достаточно... достаточно отмщен... письмо... самый след этого гнусного дела, из которого мне легко будет написать

главу из моей истории рогоносцев...“[1] Пушкин поднимал брошенную перчатку: да, он будет историографом ордена рогоносцев!

IV.

В пасквиле три имени. Если вести толкование по царственной линии, то великому магистру Д. Л. Нарышкину противопоставлен император Александр — первый брат, коадъютору г-ну Александру Пушкину — император Николай — второй брат. Очевидно, и третьему названному в дипломе члену ордена рогоносцев, непременному секретарю графу И. Борху, должен быть противопоставлен или третий брат или тот же Николай: во всяком случае, член императорской фамилии.

А. С. Поляков, изучавший пасквиль, не нашел никаких сведений об этом Борхе[2]. „О каком И. (Ж?) Борхе говорит аноним, сказать трудно. Кроме графа А. М. Борха, другого мы не знаем. Не было ли здесь описки?“ Поляков хочет сказать, не надо ли инициал *И* считать ошибочным и не читать ли вместо *И* букву *А*. „Не на него ли метило анонимное письмо?“ — ставит дальше вопрос А. С. Поляков. В дуэльной истории Пушкина встречается имя жены графа А. М. Борха, графини Софьи Ивановны Борх, урожденной Лаваль, — приятельницы А. О. Смирновой и графини М. Д. Нессельроде[3]. Необходимо поэтому войти в подробности о семье Борх и представить результаты наших розысков как в литературе, так и в различных архивах.

В 1783 году генеральный обозный войск княжества Литовского и Люценский староста Михаил Борх грамотой Иосифа II, римского императора, был возведен с потомством в графское достоинство. В 1839 году дети его искали русского графства, и 20 сентября этого года Николай утвердил мнение государственного совета о признании в графском достоинстве графов Борх и в Русской империи.

У графа Михаила Борха было три сына: Карл, Александр и Иосиф. Старший, Карл, нас не интересует, средний, Александр, родился 18 февраля 1804 года, младший, Иосиф, 30 июля 1807 года (мать их — Элеонора Борх, урожд. графиня де Броуне)[4]. Александр Борх делал дипломатическую карьеру, а по нему равнялся и его младший брат. По формулярному списку Александр Борх вступил на службу в коллегию иностранных дел в 1822 г. студентом, в 1823 стал актуариусом и т. д. С февраля 1826 года мы находим его в русской миссии во Флоренции в должности секретаря; с февраля 1827 года по апрель 1829 года он исправлял должность поверенного в делах во Флоренции, в 1831 году отозван из Флоренции к службе в Петербург, в министерство иностранных дел, и здесь быстро пошел в гору, повышаясь и по службе и в придворном звании. В декабре 1830 года он был камергером, а с апреля 1834 — в должности церемониймейстера. Служебное его положение было упрочено женитьбой на дочери его начальника графа Ивана Степановича Лаваля — графине

---

[1] «Русская старина», т. XXVIII, 1880, июнь, стр. 520.

[2] А. С. Поляков, назв. соч., стр. 79 и 83.

[3] См.: Николаевская эпоха, назв. соч., упоминание о С. И. Борх в дневнике А. О. Смирновой, стр. 140, а также упоминание и в фальшивых «Записках А. О. Смирновой». Спб., 1894, ч. I, стр. 36; 1897, ч. II, стр. 21—22.

[4] Дело архива Гос. Сов., деп. гр. и д. дел, 1839, № 78.

Софье Ивановне[1]. 26 марта 1833 года князь Вяземский сообщал А. И. Тургеневу о помолвке Лаваль: „София Лаваль помолвлена за Борха, и старик Лаваль не стоит на ногах от радости, а зыблется. Вчера во дворце у всенощной, с вербою и свечой в руке, il avait l'air d'un feu follet"[2]. На время отпуска графа Лаваля (с 1 ноября 1835 по 29 мая 1836 г.), стоявшего во главе 1-й особой экспедиции в Департаменте внешних сношений, Александр Борх замещал его. И он, дипломат, делавший карьеру при министре графе Нессельроде, и жена его, София Борх, были, конечно, приняты в доме Нессельроде[3]. Дальнейшая судьба графа Борха нам не интересна, а о графине Софье Борх надо сказать, что она была дамой-патронессой, с 1834 года состояла действительным членом совета Патриотического дамского общества, с 1841 года исправляла обязанности вице-президента совета этого общества. Кн. П. В. Долгоруков, очень скупой на положительные отзывы о людях, о графине Борх пишет: „Она — одна из самых выдающихся русских женщин, одаренная высоким умом, проницательным в высшей мере и в то же время обаятельным, превосходным сердцем и благородным характером. Она дала доказательство своих качеств в своем поведении по отношению к своей сестре, жене князя Сергея Трубецкого, сосланного в Сибирь Николаем. Графиня Борх в течение всей ссылки была добрым ангелом своей сестры и ее семьи"[4]. По делам благотворительным графиня Борх была в дружеских отношениях с кн. В. Ф. Одоевским. Какую-то роль в дуэльной истории Пушкина графиня Борх играла. В фальшивых записках А. О. Смирновой читаем о письме Софьи Борх, в котором она оправдывает чету Нессельроде от упреков в скверном отношении к Пушкину и в чрезмерно приветливом к семье Геккеренов. Поверим на этот раз запискам Смирновой. Возможно, что именно о ней упоминает старый Геккерен в письме к приемному сыну (см. стр. 278), „Мадам Н. (конечно, Нессельроде) и графиня Б. тебе расскажут о многом. Они обе горячо интересуются нами". Если это предположение верно, то тогда ее надо считать одной из двух

---

[1] Форм. список гр. А. Борх, составленный в 1839 г. в б. архиве мин. имп. двора.

[2] Остафьевский архив князей Вяземских. Спб., 1899, т. III, стр. 229. Не заключается ли в сообщении, подчеркивающем радость графа Лаваля, сбывающего свою дочь, фрейлину двора, какого-либо указания на затруднения интимного характера при выдаче дочери замуж?

[3] Граф Нессельроде находился в теснейших дружественных отношениях с австрийским посланником в Петербурге графом Лебцельтерном, женатым на другой дочери графа Лаваля — Зинаиде Ивановне. Третья дочь — Екатерина — была замужем за кн. С. П. Трубецким, неудачным диктатором 14 декабря 1825 г. О близости и даже о родстве Нессельроде с Лебцельтерном говорит кн. П. В. Долгоруков в «Листке» (1864, 23 июля, стр. 164) и в «Будущности» (1860, № 3—4, с. 23).

[4] Le Véridique, revue publiée par le prince Pierre Dolgoroukow, № 2, 1862, стр. 282. Там же, в № 3, 1863, стр. 443—444 любопытный рассказ о том, как по совету графини Борх князь Горчаков назначил графа П. Д. Киселева послом в Париж. В рукописном отделении Гос. Публичной библиотеки есть несколько безразличных писем графини Борх князю В. Ф. Одоевскому. Умерла 8 октября 1871 года. Некролог ее в «Иллюстрированной газете», 1871, № 41. Муж ее умер раньше, 29 июля 1867 года. По отзыву В. А. Инсарского, граф Борх — добрая, но ограниченная до ничтожества личность («Русская старина», т. IXXXIV, 1895, стр. 6—7). Некролог его — в «Русском инвалиде», № 212, 1867.

высокопоставленных дам, бывших поверенными всех тревог Геккерена, которым он день за днем давал отчет во всех своих усилиях порвать несчастную связь сына с Н. Н. Пушкиной (см. выше, стр. 271)[1]. По всем данным, графиню С. И. Борх должно считать в лагере врагов Пушкина.

Переходим к младшему брату, графу Иосифу Борху. В службу он вступил в ведомство государственной коллегии иностранных дел в 1827 году студентом, в актуариусы произведен в апреле 1829 года, в протоколисты в апреле 1832 года, в титулярные советники в апреле 1835 года, в этом же году назначен вторым переводчиком при 2-м (позднее 3-м) отделении департамента внутренних сношений. В этой должности мы застаем его в конце 1836 года. Кроме того, он имел и придворное звание: 7 апреля 1832 года он был пожалован в камер-юнкеры. Состояние его, по формуляру, заключалось в 2000 душ в Витебской губернии. В 1839 году он был уволен в отпуск за границу к минеральным водам, а в апреле 1840 года министр императорского двора князь Волконский уведомил придворную контору о том, что титулярного советника графа Борха, согласно прошению его, высочайше повелено уволить от службы с награждением следующим чином. На сем основании он был исключен из списков[2]. Вот и все официальные сведения, которые удалось нам разыскать о графе Иосифе Борх. Но надо найти ключ к наименованию его непременным секретарем ордена рогоносцев, наряду с Нарышкиным и Пушкиным.

Женился он 13 июля 1830 года на Любови Викентьевне Голынской, а она была дочерью тайного советника Викентия Ивановича Голынского от брака его с Любовью Ивановной Гончаровой и приходилась, таким образом, сродни Наталье Николаевне Пушкиной. Любовь Ивановна Гончарова была внучкой основателя фамилии Гончаровых Афанасия Абрамовича, а внуком его был дедушка Натальи Николаевны Афанасий Николаевич. Любовь Ивановна умерла в 1822 году, оставив мужу своему Викентию Ивановичу Голынскому огромное потомство (восемь человек детей) и большой наследственный процесс, не разрешенный при жизни Голынского (умер до 1832 года) и законченный уже опекунами малолетних Голынских сенатором Павлом Сумароковым и действ. ст. сов. Петром

---

[1] А. С. Поляков, пытаясь расшифровать графиню Софию Б., произвел расследование о двух графинях Софьях, живших в Петербурге, и решительно отводит графиню Софью Бобринскую, урожденную графиню Самойлову, и предпочитает остановиться на Софии Лаваль. Доводы Полякова против графини Бобринской основываются на отзывах кн. Вяземского о ней и об ее салоне. Такая хорошая женщина, по мнению Полякова, не должна быть зачислена в число врагов Пушкина. Соображение не веское: тогда надо поверить и характеристике, которую дает Вяземский графу Нессельроде и которая уже никак не соответствует действительности. Надо отметить, что муж графини, граф А. А. Бобринский, числился тоже по мин. ин. дел при департаменте церемониальных дел в должности церемониймейстера и по этой части был сослуживцем графа Александра Борха. Граф Нессельроде был постоянным гостем в салоне графини Бобринской. Она, по словам Фаллу, держала жезл правления петербургскими салонами, имела ум проницательный и твердый. См. Mémoires d'un Royaliste par le Comte de Falloux, Paris. T. 1-er. 1888, стр. 152.

[2] Формулярный список извлечен из архива б. мин. имп. двора.

Борейша[1]. Сам Голынский родился в 1770 году, служил в военной службе, в 1797 году был командиром сибирского драгунского полка, а в 1802 г. уже служил по выбору дворянства черниговским поветовым маршалом, в 1810 году произведен в статские советники, а в 1814 году он обратился к управляющему министерством полиции С. К. Вязмитинову с просьбой о помещении его в статскую службу по министерству полиции без жалования. По приказанию Вязмитинова он был зачислен чиновником для исполнения особых поручений. Перед смертью он состоял председателем совета при министре внутренних дел. В 1820 году он издал «Всеобщую географию» в двух частях[2], с 1824 по 1831 годы был председателем V отделения Вольно-Экономического общества, отделения, имевшего попечение о сохранении здоровья человеческого и всяких домашних животных. Здесь он занимался вопросами оспопрививания и пожертвовал на это дело 5000 руб[3].

Из многочисленного потомства, оставленного Голынским, наше внимание привлекают две старшие дочери: Ольга (в 1813 году, по послужному списку отца) пяти лет и Любовь (в этом же году) одного года. Ольга Викентьевна Голынская — та самая, которая вышла в 1836 году замуж за приехавшего в Россию французского журналиста Леве-Веймара, автора благожелательной памяти Пушкина статьи в «Journal des Débats»[4]. Любопытные о Голынской сведения находим в письме сестры Пушкина Ольги Сергеевны к отцу Сергею Львовичу от 2 ноября 1836 года: «Вы пишете мне о браке m-lle Гончаровой (выходившей за Дантеса), а я сообщу вам о браке ее кузины m-lle Голынской. Помните вы бывшую невесту Погодина (генерал-интендант действующей армии), она объехала Европу совсем одна в поисках приключений, вернулась из Парижа под вымышленным именем в сопровождении молодого французского маркиза, посмеиваясь над светом и в особенности над стариком Погодиным, который осыпал ее деньгами и подарками. Она проездом сейчас здесь и замужем — за кем бы вы думали — за известным Леве-Веймаром! Говорят, она глупа, а я думаю, что она очень умна: ей 34 года, она некрасива, быть три раза просватанной и выйти замуж за Веймара — в самом деле, это не так глупо!»[5] В 1836 году она уехала вместе с мужем из России; Леве-Веймар был не только журналистом, но и дипломатом. Он поддерживал русские связи; находим о нем много упоминаний и в дневниках А. И. Тургенева, и в его письмах к кн. П. А. Вяземскому о нем и о его жене, о последней довольно странного характера. Так, 2 января 1839 года

---

[1] Огромная печатная сенатская записка, содержащая немало интересных данных для истории рода Гончаровых, в делах архива 6. Гос. Сов., деп. гр. и д. дел 1832 г., № 154 и 1829 г., № 127 (тут родословная).

[2] Из предисловия к этой книге узнаем, что к изданию побудила его мысль о недостатке всеобщих географий на русском языке в отношении частных лиц и бедного юношества и что он, Голынский, пожертвовал 500 экземпляров книги для раздачи недостаточным питомцам наук губерний, в которых находились его поместья.

[3] Ходнев В. История имп. Вольно-Экон. общества. Спб., 1865. Стр. 650 и 298. Сведения о службе Голынского извлечены из дел архива б. министерства внутр. дел.

[4] См. выше, стр. 343—348.

[5] «Пушкин и его современники», вып. XXII, стр. 88.

Тургенев сообщал, что он, утром получив от князя Вяземского поручение к Леве-Веймару, пошел «в Веймар, но уже не застал Льва, а львица еще покоилась в объятиях Морфея, avec un M.»[1].

По-видимому, Ольга Голынская не была банальной светской женщиной и не скрывала своих свободных нравов. О сестре Любови знаем меньше, но то, что знаем, свидетельствует также о большой легкости нравов. Поразительное известие о чете Борх идет от Пушкина. В библиотеке М. Н. Лонгинова, находящейся ныне в Пушкинском доме, оказался экземпляр известной книжки Аммосова о «Последних днях жизни Пушкина». Лонгинов внимательно прочел эту книжку — он писал о ней отзыв для «Современной летописи» — и сделал на листках, вклеенных в книгу, некоторые фактические дополнения: так, он вписал текст пасквиля, пометив его в серии документов под № XIV, а под № XVII записал: «Подробности о переезде Пушкина и Данзаса от кондитерской Вольфа до места поединка». Подробностей записано М. Н. Лонгиновым две: одна воспроизведена Лонгиновым в рецензии на книгу Аммосова[2], другая — оглашается сейчас впервые в печати: «По дороге им попались едущие в карете четверней граф И. М. Борх (см. о нем приложение 14)[3] с женой р. Голынской. Увидя их, Пушкин сказал Данзасу: «Voilà deux ménages exemplaires» (Вот две образцовых семьи) и, заметя, что Данзас не вдруг понял это, он прибавил: «Ведь жена живет с кучером, а муж — с форейтором»[4]. Пушкин отразил в своей фразе светскую молву, сказал что-то общеизвестное и непонятное только для Данзаса, служившего вне Петербурга и жившего здесь только наездами.

Так вот кто такой — граф Иосиф Борх, непременный секретарь ордена рогоносцев, он был из круга «астов», как говорили тогда. Вспомним признание кн. А. В. Трубецкого о том, что в 30-х годах в высшем петербургском свете было развито бугрство и что Дантес был связан с Геккереном на этой почве[5]. Да, это было распространенным явлением в Петербурге среди высшего света — преимущественно в дипломатическом кругу. Поставляли «астов» и два учебных заведения: пажеский его величества корпус и школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, в которой учился Лермонтов. Сохранилась значительных размеров рукописная стихотворная литература на педерастические темы, процветавшая в школе гвардейских подпрапорщиков, целые поэмы, среди них немало произведений пера Лермонтова. Они, конечно, никогда не появятся в печати и останутся только историческим свидетельством своеобраз-

---

[1] Остафьевский архив кн. Вяземских, Спб., т. IV, 1899, стр. 60. Хотелось бы привлечь исследователей к поискам архива Леве-Веймара: здесь должно быть немало материала для истории и русской культуры и литературы.

[2] Сравн. выше в нашей книге, стр. 132. Привожу запись Лонгинова: «Покойная графиня А. К. Воронцова-Дашкова встретила в это время Пушкина и Данзаса, едущих на острова. Она догадалась о причине этой поездки, искала кого-нибудь, чтобы помешать делу, и, не найдя к тому возможности, приехала домой в отчаянии. Она знала, что было уже поздно, и повторяла печально: «Вы увидите, что с Пушкиным случилось большое несчастие».

[3] Под № 14 — переписанный рукою Лонгинова пасквиль.

[4] Указанием записи Лонгинова в книжке Аммосова я обязан П. Е. Рейнботу.

[5] См. выше, стр. 352. Стоит обратить внимание на чересчур женственный характер писем к Дантесу его полковых товарищей. См. выше, стр. 293; сравн. у М. А. Цявловского в «Рассказах о Пушкине», стр. 102.

ного великосветского эротизма. В дальнейшем изложении нам еще не раз придется встречаться с общественной группировкой по «астическому» признаку.

О жене Борха «с кучером» встречаем ряд сведений в письмах Андрея Николаевича Карамзина к матери Е. А. Карамзиной, писанных летом 1837 года[1] из Баден-Бадена.

V.

На несколько мгновений перенесемся в этот курорт, излюбленный русской знатью. Русская аристократия по сезонам всегда переполняла его; так было и в летний сезон 1837 года — после убийства Пушкина. Тут сошлись все наши, tout le monde: и А. О. Смирнова с мужем, и кн. Ольга Долгорукая, и господин Платонов, безнадежно влюбленный в Смирнову, и чета Киселевых, и граф Лев Соллогуб, и Свистуновы, и Радзивилл, и Полуектова, и графиня Панина... Словом, все. И все они sont toujours et partout les mêmes. Тут же и Дантес с женой, и старый Геккерен, и графиня Борх с мужем[2]. На короткое время наезжал и великий князь Михаил Павлович. Прогулки, танцы, балы, приемы... Андрей Карамзин познакомился с ней, с графиней Борх, 25 июня на празднике русской колонии в день рождения Николая. «За обедом, — пишет он матери, — я сидел между Полуектовой и графиней Борх, с которой тут же познакомился. Nous avions un sujet tout trouvé, Ernest Штакельберг. Скажите ему, что она сперва очень покраснела, но потом обошлось, и так как нам обоим беспрестанно подливали, то к концу обеда мы стали очень откровенны. Она очень хороша». Она очень понравилась Карамзину, и у него нет для нее других эпитетов, как: миленькая, прелестная, хорошенькая. Он был ее спутником в partie de plaisir, кавалером в танцах. Но мужа он не выносил, он аттестовал его несносным, грубым, глупым и просто «умником» в кавычках. «В последнее воскресенье, — писал Карамзин матери, — ездил я верхом с графиней Борх... на высокую гору. Мы все были веселы и довольны, одна бедная и милая графиня беспокоилась от того, что муж, ехавший за нами в коляске, не мог следовать по дурной дороге и был принужден воротиться... Кислая фигура de ce vilain avorton de mari наводила уныние на все общество». Avorton de mari — хорошее прозвище для рогоносца, живущего с форейтором, avorton — выкидыш, недоносок, выродок — муж-выкидыш, муж-недоносок! И среди этого русского общества царил Дантес. Карамзин встречался с ним на общих забавах и удовольствиях. Дантес участвовал и в этой поездке с Карамзиными и четой Борх: «За веселым обедом в трактире, подстрекаемый шампанским, он довел нас до судорог от смеха». На балу в присутствии семьи герцога Баденского Дантес предводительствовал мазуркой в паре с графиней Борх. А вот и русский бал у Полуектовой... «Странно было, — писал Ка-

---

[1] Напечатаны в сборнике «Старина и новизна», кн. 17, 1914 г. и кн. 20, 1916 г. Странным образом сообщения Карамзина о чете Борх ускользнули от внимания исследователей.

[2] Речь идет именно о чете Иосиф и Любовь Борх. Из формулярного списка видно, что в июне 1837 года Иосиф Борх получил отпуск к минеральным водам.

рамзин, — мне смотреть на Дантеса, как он с кавалергардскими ухватками предводительствовал мазуркой и котильоном, как в дни былые». А у рулетки торчал старый Геккерен! Блестящая иллюстрация к лицемерным утверждениям о том, как отвернулись все русские, бывшие в Бадене, от убийцы Пушкина.

А вот и еще одно неизвестное в литературе и заслуживающее всяческого доверия свидетельство об отношении к Дантесу и Пушкину государева брата великого князя Михаила Павловича. Это свидетельство принадлежит князю Одоевскому и извлечено из его дневника: «Встретивши Дантеса (убившего Пушкина) в Бадене, который, как



богатый человек и барон, весело прогуливался с шляпой на бекрень, Михаил Павлович три дня был расстроен. Когда графиня Соллогуб-мать, которую он очень любил, спросила у него о причине его расстройства — он отвечал: «Кого я видел? Дантеса!» — «Воспоминание о Пушкине вас встревожило?» — «*О нет! туда ему и дорога!*» — «Так что же?» — «Да сам Дантес! бедный! — подумайте, ведь он солдат».

Все это было, — добавляет Одоевский, хорошо лично знавший Михаила Павловича, — в нем — не притворство; но таков был склад его идей»[1].

Вот все наши сведения о графине Любови Борх. Мы еще знаем, что графиня Эмма Борх, рожденная Голынская, умерла 11 марта 1868 года и похоронена в Париже на кладбище Montmorency[2].

---

[1] Гос. Публ. библиотека, бумаги В. Ф. Одоевского, сборник № 15. Как тут не вспомнить слова П. И. Бартенева: «Высокая и в высшей степени примечательная личность этого человека, почти неизвестная в русской литературе... Пушкин высоко ценил и любил великого князя». Русск. арх., 1873, т. I, .0424—0425.

[2] «Русский Некрополь в чужих краях». Вып. I. Спб., 1915. Эмма — Aimée — Любовь.

Но «по царственной линии» для Борха пока нет материалов[1].

VI.

Но если даже с Борхом по царственной линии и ничего не выходит, все же у нас достаточно оснований для предположения, что анонимный пасквилянт наносил язвительную рану чести Пушкина намеком на Николая. Если мы допустим такое предположение, то для нас станет понятным и участие посла Геккерена в фабрикации пасквиля. Обвинение Геккерена в составлении диплома, резкое и решительное, идет от Пушкина, но это обвинение страдает психологической неувязкой, пока мы думаем, что пасквиль метил в Наталью Николаевну и Дантеса. Трудно принять, что Геккерен хотел навести ревнивое внимание Пушкина на любовную игру своего приемного сына: не мог же он думать, что Пушкин пройдет молчанием такой намек. А вот направить через анонимный пасквиль намек на царя — это выдумка, достойная дипломата, и автор ее, по собственному соображению, должен был остаться в состоянии полной неуязвимости. Мотивы, толкавшие Геккерена на учинение неприятности Пушкину, ясны.

Дело в том, что осенью 1836 года чета Геккеренов, отец и приемный сын, были одурачены Пушкиным. В истории дуэли мы привели бесспорные свидетельства того, что мысль о женитьбе Дантеса на Катерине Гончаровой возникла и существовала до получения Пушкиным анонимных писем и, следовательно, до вызова[2].

Вылущивая зерно истины из рассказа А. В. Трубецкого, я приходил к заключению: правдоподобным остается один факт — «раз Дантес и Н. Н. Пушкина были настигнуты поэтом; Н. Н. объяснила свое интимничанье намерением Дантеса сделать предложение ее сестре Екатерине, и об этой своей, объясняющей свидание, уловке довела до сведения Дантеса». Дантес был настигнут Натальей Николаевной и вынужден был подтвердить перед Пушкиным объяснение Н. Н.[3] Я не обратил в свое время внимания на одно свидетельство, весьма авторитетное, приведенное в воспоминаниях Альфреда Фаллу, известного французского политического деятеля, монархиста и клерикала, биографа пресловутой m-me Свечиной. В 1836 году, на 26 году от рождения, вместе с маркизом де ла Бульери он посетил Россию и побывал в Петербурге. M-me Свечина дала ему рекомендации к m-me Нессельроде, жене вице-канцлера, а m-me Нессельроде обласкала странствующих французов и приставила к ним показывать город и жизнь сначала своего сына Д. К. Нессельроде, а потом блестящих кавалергардов — князя Александра Трубецкого, знакомого нам по его рассказу о дуэли, и барона Жоржа Геккерена. Уезжая летом из Петербурга, Фаллу увозил самое

---

[1] Отмечу для будущих розысков, что Голынские — Ольга и Любовь — были внучками генерал-лейтенанта Павла Ивановича Арсеньева (род. 1770, ум. 25 ноября 1840 в Москве); указание на это родство в дневнике И. М. Снегирева (Русск. арх., 1902, т. III, 179, 182, 183). П. И. Арсеньев был кавалером при великих князьях Николае и Михаиле Павловичах — т. е. воспитателем. Между прочим, 29 июня 1835 года этому Арсеньеву из кабинета е.и.в. были отпущены пожалованные ему 10 000 руб., неизвестно, за что (архив б. мин. имп. двора).

[2] См. выше, стр. 75—76.

[3] См. выше, стр. 358.

светлое о них воспоминание[1]. Через год он появился в салоне m-me Свечиной. «Первое лицо, которое я встретил, — m-me Нессельроде. Эти две подруги, разделенные скорее обстоятельствами, чем расстоянием, редкий год проводили без свиданий. Когда имп. Николай потребовал от Луи-Филиппа отзыва Баранта, Свечина и Нессельроде назначали встречи в Франкфурте, Бадене или провинциальном французском городке, где легко было соблюсти инкогнито, и когда отношения между Россией и Францией налаживались, Нессельроде проводила в Париже недели и посвящала почти все свои вечера Свечиной». Фаллу стал расспрашивать и о петербургских новостях и от нее узнал и о катастрофе, постигшей Геккерена. Фаллу вслед за этими словами сообщает следующий рассказ из непререкаемого источника (de source irrécusable). «Однажды утром Геккерен увидел у себя в комнате Пушкина, поэта, самого популярного в России». «Как случилось, господин барон, — сказал Пушкин ему, — что я нашел у себя письма вашей руки?» Он держал в руке письма, действительно содержавшие выражение пылкой страсти. — «У вас нет повода считать себя обиженным, — ответил Геккерен, — m-me Пушкина согласилась их принять у меня только для того, чтобы передать их своей сестре, на которой я хочу жениться». — «В таком случае женитесь». — «Моя семья не дает мне согласия». — «Добейтесь его». — Эта беседа создала очень щекотливое положение, и, если бы брак не состоялся, m-me Пушкина могла бы быть серьезно скомпрометирована. Жорж Геккерен долго не колебался и немного спустя Петербург поздравлял его с браком»[2]. Непререкаемый источник — конечно, m-me Нессельроде. Думаю, что эта женщина, смахивавшая на мужчину, державшая в руках своего мужа, заправлявшая мнением света, положительная и точная, друг семьи Геккеренов, правильно передала историю первого столкновения Пушкина с Дантесом. Теперь можно поверить и в записочки, которые, по словам Трубецкого, носила горничная Н. Н. Пушкиной к Дантесу. Сопоставим и показание Дантеса в военно-судной комиссии о коротеньких записочках, коих выражения могли возбудить щекотливость Пушкина как мужа. Да, так оно и было в действительности, как рассказывала Нессельроде, — так случилось в конце лета 1836 года. Слово о женитьбе вылетело из уст Дантеса совсем неожиданно для него самого. 11 сентября кавалергарды перешли с Черной речки на городские квартиры, начался осенний городской сезон, и проект свадьбы повис в воздухе. Неохота самому в петлю голову класть, и, понятно, Геккерены — и Луи и Жорж — стремились отвязаться от вылетевшего слова, отбиться от совсем неподходящего брака. Конечно, росло чувство раздражения и ненависти к Пушкину, являлось желание отмстить ему за то дурацкое положение, в которое он их поставил. «В то время, — вспоминает Трубецкой, — несколько шалунов из молодежи — между прочим Урусов, Опочинин, Строганов, мой

---

[1] См. выше, стр. 291—292 — письмо Фаллу к Дантесу.

[2] Mémoires d'un Royaliste par le Comte de Falloux. Paris, 1888, t. I, p. 186—187 и 134—137. Выдержки из воспоминаний — специально о русском дворе и Петербурге — приведены в брошюре Н. И. Радцига «Россия Николая I по мемуарам Фаллу». Ярославль, 1926. Рассказ Фаллу, по свидетельству Метмана, совпадает с рассказом о дуэли Дантеса. (См. выше, стр. 303, прим. 2). Это совпадение убедительно говорит за эту версию.

cousin — стали рассылать анонимные письма по мужьям-рогоносцам»[1]. Естественно возникала мысль отвести внимание Пушкина от случая с Дантесом и направить его гнев в другую сторону. Отсюда — диплом по царственной линии с намеком на царя и Наталью Николаевну. В таком деле мог принять участие Геккерен. Ему не нужно было самому писать этот диплом, достаточно было внушить, вдохновить кого-либо из окружавшей его молодежи.

Что же вышло? Пушкин получил диплом, понял, куда направлена стрела, сразу разгадал игру Геккерена, сразу признал его составителем диплома. В черновых набросках письма к Геккерену читаем: «Не прошло и трех дней в розысках, как я узнал в чем дело. Если дипломатия ничто иное, как искусство знать о том, что делается у других, и разрушать их замыслы, то вы отдадите мне справедливость, сознаваясь, что сами потерпели поражение на всех пунктах»[2]. На клочках другого разорванного черновика письма Пушкина можно прочесть: «Удар, который, как полагало... безыменное письмо было получено... я получил три экземпляра... были розданы... смастерили с такими ничтожными предосторожностями... с первого взгляда я напал на след сочинителя. Я более не беспокоился... я был... отыскать моего шутника (моих шутников)»...[3] В действиях Пушкина в ноябре месяце резко намечаются две линии: одна — в сторону Дантеса, другая — в сторону Геккерена. На нападение он ответил двумя ударами. Первый удар пришелся по Дантесу. Пушкин послал ему вызов. Ход был совершенно неожиданным для Геккерена и буквально его ниспроверг. Геккерен взвился, завертелся, завизжал, как пришибленная собачонка, и бросился спасать положение. История его метаний известна. Тут волей-неволей приходилось поступить по слову, вылетевшему из уст Дантеса летом. Поставив Дантеса на колени, Пушкин собирался нанести второй удар уже по нидерландскому посланнику. Вызов Дантесу был взят обратно, первый хлопотун Жуковский собирался почить от посреднических дел, и вдруг ему передают слова Пушкина, сказанные им в салоне кн. В. Ф. Вяземской: «Я знаю автора анонимных писем, и через неделю вы услышите, как будут говорить о мести, единственной в своем роде; она будет полная, совершенная; она бросит человека в грязь; громкие подвиги Раевского — детская игра перед тем, что я намерен сделать»... О чувстве, с каким Пушкин говорил эти слова, можно судить по рассказу графа Соллогуба о беседе, которую Пушкин имел с ним 21 ноября у себя на дому. «Послушайте <...>, вы были более секундантом Дантеса, чем моим; однако, я не хочу ничего делать без вашего ведома. Пойдемте в мой кабинет». Он запер дверь и сказал: «Я прочитаю вам мое письмо к старику Геккерену. С сыном уже покончено... Вы мне теперь старичка подавайте». Тут он прочитал мне известное нам письмо к голландскому посланнику. Губы его задрожали, глаза налились кровью. Он был до того страшен, что только тогда я понял, что он действительно африканского происхождения. Что мог я выразить против такой сокрушительной страсти?»[3]

---

[1] См. выше, стр. 356.
[2] Русская старина, т. XXVIII, 1880, июль, стр. 518, 520.
[3] См. выше, стр. 86 и 99.

Небольшое отступление — на тему о громких подвигах Александра Раевского. Скандал был огромный и разразился во время пребывания царицы в Одессе. Раевский, у которого был длительный роман с женой князя М. С. Воронцова, встретил ее на улице и отчитал на всю Одессу. Он кричал ей что-то вроде: «Позаботьтесь о нашей дочери» и т. п. Чтобы удалить Раевского, Воронцов обратился по начальству с доносом на политическую благонадежность Раевского и по высочайшему повелению он был выслан из Одессы. Esclandre разошелся по всей России. Не совсем ясны мотивы поведения Раевского. Он устраивал скандал своей возлюбленной, но из-за кого? Не муж стал поперек дороги, а кто-то другой, но кто? Императрица долго не хотела слышать о Раевском: по выражению Николая, он ее встревожил.

Граф Соллогуб писал свои воспоминания через несколько десятков лет после событий, и ему казалось, что письмо, читанное ему Пушкиным в ноябре, было тем самым, которое было послано в январе; впрочем, Соллогуб добавлял: «Только прежнее письмо было, если я не ошибаюсь, длиннее и, как оно ни покажется невероятным, еще оскорбительнее». Письма, конечно, не были тождественны, но некоторые места в январском письме могли быть воспроизведены с приблизительной точностью. В изложении истории дуэли я приходил к заключению, что частичное осуществление плана необычайного отмщения Геккерену нужно видеть в известном письме к графу Бенкендорфу от 21 ноября. Нельзя не обратить внимания на то, что 21 ноября происходила беседа с Соллогубом. Решаюсь привести вновь это письмо целиком: «Граф! Считаю, что я вправе и даже обязан сообщить вашему сиятельству о том, что произошло в моем семействе. Утром 4 ноября я получил три экземпляра безымянного письма, оскорбительного для моей собственной и для жены моей чести. По виду бумаги, по слогу письма, по его редакции, я с первой же минуты догадался, что оно от иностранца, человека высшего круга, дипломата. Я стал разыскивать. Узнаю, что семь или восемь особ в тот же день получили по экземпляру такого же письма, запечатанного и адресованного на мое имя, под двойным конвертом. Большая часть лиц, его получивших, подозревая гнусность, не переслали его ко мне. Вообще негодовали на столь подлую и незаслуженную обиду; но, повторяя, что поведение моей жены безукоризненно, говорили, что поводом к этой гнусности послужило настойчивое ухаживание за нею г. д'Антеса.

Не мне было допустить, чтобы в данном случае имя жены моей было связано с чьим бы то ни было именем. Я поручил передать это г. д'Антесу. Барон Геккерен приехал ко мне и принял вызов за г. д'Антеса, прося у меня двухнедельной отсрочки.

Случилось так, что в этот условленный промежуток времени д'Антес влюбился в мою свояченицу, девицу Гончарову, и стал просить ее руки. Узнав об этом по общественным слухам, я поручил попросить г. д'Аршиака (секунданта д'Антеса) смотреть на мой вызов, как на несостоявшийся. Между тем я удостоверился, что безымянное письмо было от г. Геккерена, о чем считаю долгом уведомить правительство и общество.

Будучи единым судьею и блюстителем моей и жениной чести, а потому, не требуя ни правосудия, ни мщения, я не могу и не

хочу кому бы то ни было предъявлять доказательств того, что утверждаю.

Во всяком случае, надеюсь, граф, что это письмо служит доказательством уважения и доверия моего к особе вашей. С этим чувством имею честь быть и проч.».

Чтобы ощутить всю чрезвычайность, всю разительность замышленной Пушкиным мести, полной, совершенной, опрокидывающей человека в грязь, нельзя остановиться на том толковании письма, которое я дал в очерке дуэльной истории, надо идти дальше, надо принять предлагаемое толкование диплома «по царственной линии». Привлечь высочайшее внимание к пасквилю, предъявить его царю: «Не я один, муж Натальи Николаевны, помянут здесь, но и брат ваш, да и вы сами, ваше величество. А смастерил этот пасквиль господин голландский посланник барон Геккерен. Обратите на его голову громы и молнию!!» Такой диплом для Николая Павловича то же, что кусок красной материи для быка. Да, в таком случае произошел бы, действительно, скандал, единственный в своем роде, и громкие подвиги Раевского, конечно, детская игра в сравнении с ним! Если же остаться при прежнем толковании пасквиля как намека на Дантеса, тогда бездоказательная компрометация Геккерена по частному, семейному поводу, сделанная бездоказательно в оригинальном письме, представлялась бы бледной попыткой с негодными средствами. Такое уведомление не достигло бы цели — это надо признать.

Не было бы эффекта!

Указание на Геккерена как на составителя подметного письма, задевающего семейную честь императорской фамилии, сослужило бы Пушкину несомненную пользу и в отношениях царя к чете Пушкиных. Произошло бы поражение и другого опасного — гораздо более опасного, чем Дантес, — поклонника Натальи Николаевны — Николая Павловича Романова. Атмосфера была бы разрежена. Вот та тонкая игра, которую хотел повести Пушкин!

Пушкин был обязан к величайшей осторожности в своих действиях и свое крайнее раздражение должен был ввести в тихие берега светского благоприличия. Николай должен был почувствовать намек Пушкина, но весь гнев его должен был пасть на Геккерена.

Особый смысл приобретает фраза письма: «Не мне было допустить, чтобы в данном случае имя жены моей было связано с *чьим бы то ни было именем*». По принятому толкованию пасквиля, ни с чьим, кроме Дантеса, и не связывали, а при предлагаемом — выражение Пушкина понятно: с чьим бы то ни было именем, — Дантеса, царя — все равно.

Каким образом Пушкин мог осуществить свое намерение? К кому он должен был обратиться? Прямо к царю он не имел доступа. Значит, к одному из приближенных. Письмо 21 ноября принято считать адресованным к Бенкендорфу[1], хотя в рукописных списках и при первом появлении в печати оно было отнесено к Бенкендорфу только предположительно. Мне представляется возможным отнести его теперь к графу Нессельроде, министру иностранных дел. Если компрометировать Геккерена, то, конечно, надо делать это

---

[1] См. выше, стр. 100, прим. 2.

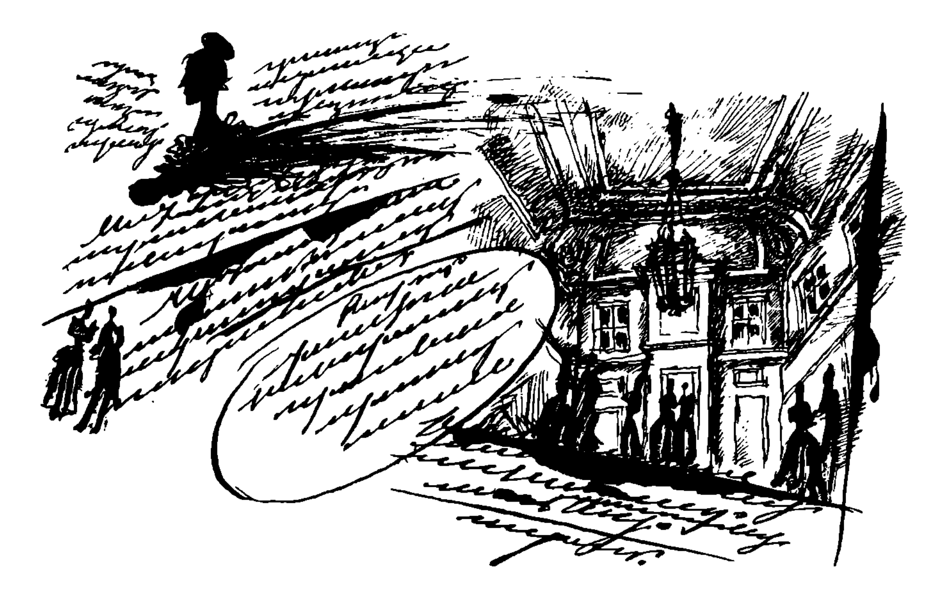
по соответствующему ведомству — не по III отделению, а по ведомству иностранных дел. Остается открытым вопрос: отправил ли по адресу свое письмо Пушкин. В обнаруженном в 1917 году секретном досье III отделения такого письма к Бенкендорфу не оказалось — лишнее, возможное подтверждение предположения о Нессельроде как адресате письма. А если оно направлено Пушкиным графу Нессельроде и им получено, то могло ли случиться так, что Нессельроде скрыл его в тайнике своего стола и не дал ходу? На этот вопрос с глубоким убеждением могу ответить: да, так могло быть.

VII.

Графиня М. Д. Нессельроде играла виднейшую роль в высшем свете и при дворе. На этот счет показания современников сходятся. Дадим слово ее поклоннику, Альфреду Фаллу: «Граф Нессельроде играл в течение долгого периода в России ту же роль, какую играл в Австрии Меттерних; он был непохож только по внешности. Это был человек небольшого роста, с умными глазами, закрытыми толстыми стеклами очков. Великосветские манеры, которым я удивлялся в австрийском канцлере, достались в удел графине Нессельроде; ее лицо и рост были благородны и внушительны. Те, кто видел ее на короткое время и официально, сделали ей репутацию упрямой и жесткой женщины. Но это ошибка и несправедливость... Графиня при дворе и даже в глазах императорской фамилии пользовалась моральным авторитетом, независимо от ее высокого положения»[1]. Вот отзыв другого поклонника графини Нессельроде, барона М. А. Корфа[2]: «Графиня Мария Дмитриевна Нессельроде, по необыкновенному уму своему и высокому просвещению и особенно по твердому, железному характеру, была, конечно, одною из примечательнейших, а по общественному своему положению и влиянию на высший петербургский круг одною из значительнейших наших дам в царствование императора Николая. С суровою наружностью, с холодным и даже презрительным высокомерием ко всем мало ей знакомым или приходившимся ей не по нраву, с решительною наклонностью владычествовать и первенствовать, наконец, с нескрываемым пренебрежением ко всякой личной пошлости или ничтожности, она имела очень мало настоящих друзей, и в обществе, хотя, созидая и разрушая репутации, она влекла всегда за собою многочисленную толпу последователей и поклонников; ее, в противоположность графу Бенкендорфу, гораздо больше боялись, нежели любили. Кто видел ее только в ее гостиной прислоненную к углу дивана, в полулежачем положении, едва приметным движением головы встречающую входящих, каково бы ни было их положение в свете, тот не мог составить себе никакого понятия об этой необыкновенной женщине, или разве получал о ней одно понятие, самое невыгодное. Сокровища ее ума и сердца, очень теплого под этой ледяною оболочкою, открывались только для тех, которых она удостаивала своею приязнию; этому небольшому кругу избранных, составлявших для нее, так сказать, общество в обществе, она

[1] A.Falloux, назв. соч., т. I, стр. 126—128.
[2] «Русская старина», т. CII, 1900, стр. 48—50.

являлась уже, везде и во всех случаях, самым верным, надежным и горячим, а по положению своему и могущественным другом. Сколько вражда ее была ужасна и опасна, столько и дружба — я испытал это на себе многие годы — неизменна, заботлива, охранительна, иногда даже до ослепления и пристрастия. Совершенный мужчина по характеру и вкусам, частию и занятиям, почти и по наружности, она, казалось, преднамеренно отклоняла и отвергала от себя все, имевшее вид женственности. Так и самый разговор ее вращался всегда в предметах, обыкновенно находящихся вне круга дамских бесед. Она любила говорить о серьезной литературе, о высшей администрации и политике — более, однако, внутренней, чтобы



не компрометировать случайно своего мужа, — о государственных наших людях, о действиях правительства и о новых его постановлениях, соединяя в себе, впрочем, две противоположности: беспредельную преданность не только монархическому началу, но и царственному нашему дому, с самою взыскательною оппозициею против распоряжений правительства и даже против личных действий его членов, так что великий князь Михаил Павлович, никогда не жаловавший графини, говоря о ней, называл ее в шутку: ce bon monsieur de Robespierre. При большой резкости в мнениях и приговорах графиня была большею частию основательна в своих суждениях и чрезвычайно счастлива на меткие слова, умные наблюдения, тонкие и оригинальные замечания. Но все это она оставляла для своего тесного кружка, а в свете сохраняла редко прерываемое молчание и самое аристократическое спокойствие. Салон графини Нессельроде, после смерти соперничествовавшего с ней в этом отношении князя Кочубея, был неоспоримо первый в С.-Петербурге; попасть в него, при его исключительности, представляло трудную задачу; удержаться в нем, при разборчивости и уничижительной гордости хозяйки, было почти еще мудренее; но кто

13*

водворился в нем, тому это служило открытым пропуском во весь высший круг». В характеристике, оставленной Корфом, одна черта обращает особое внимание: *вражда ее была ужасна и опасна*. Эту черточку мы запомним.

После Фаллу и Корфа — слово князю П. П. Вяземскому, сыну друга Пушкина[1]: «Графиня Нессельроде, одаренная характером независимым, непреклонная в своих убеждениях, верный и горячий друг своих друзей, руководимая личными убеждениями и порывами сердца, самовластно председательствовала в высшем слое петербургского общества и была последней, гордой, могущественной представительницей того интернационального ареопага, который свои заседания имел в Сенжерменском предместье Парижа, в салоне княгини Меттерних в Вене и салоне графини Нессельроде в доме министерства иностранных дел в Петербурге. Ненависть Пушкина к этой последней представительнице космополитического олигархического ареопага едва ли не превышала ненависть его к Булгарину. Пушкин не пропускал случая клеймить эпиграмматическими выходками и анекдотами свою надменную антагонистку, едва умевшую говорить по-русски. Женщина эта паче всего не могла простить Пушкину его эпиграммы на отца ее, графа Гурьева, бывшего министром финансов в царствование императора Александра I».

После этих выспренних характеристик, грешащих одинаковым гиперболизмом, сведем графиню Марью Дмитриевну Нессельроде на землю с метафорических небес. Мы располагаем показаниями о чете Нессельроде человека, отлично знавшего высший свет и двор николаевского времени, князя П. В. Долгорукова. Его рассказы до сих пор не были введены в научный оборот.

Сначала о графе: «Карл Васильевич Нессельроде, немец происхождением и, по своим понятиям, немец старого покроя: человек ума не обширного, но ума необыкновенно хитрого и тонкого, ловкий и вкрадчивый от природы, но совершенно чуждый потребностям современным, им принимаемым за прихоть игривого воображения. Искусный пройдоха, обревший большую помощь в хитрости и ловкости своей жены-повелительницы, столь же искусной, как и он, пройдохи и к тому же страшнейшей взяточницы, Нессельроде был отменно способным к ведению обыденных, мелких дипломатических переговоров. Но за то высшие государственные соображения были ему вовсе чуждыми: поклонник Меттерниха, он считал его за идеал ума человеческого и всегда благоговейно, слепо и неразумно преклонялся перед этим самозванным божеством политики. Впрочем, ленивый от природы, он не любил ни дел, ни переговоров; его страстью были три вещи: вкусный стол, цветы и деньги. Этот австрийский министр русских иностранных дел, Нессельроде, не любил русских и считал их ни к чему не способными; зато боготворил немцев, видел в них совершенство человечества и, вероятно, полагал, что при сотворении мира господь бог, уже отдохнув на седьмой день, лишь на восьмой день, после отдыха и собравшись с силами, создал первого немца»... Своим возвышением Нессельроде

---

[1] Кн. П. П. Вяземский. Собрание сочинений. Спб., 1893, с. 562.

обязан сильному придворному влиянию искусных интриганов, своих тестя и тещи, графа и графини Гурьевых[1].

Дальше о графине: «Женщина ума недальнего, никем не любимая, и не уважаемая, взяточница, сплетница и настоящая баба-яга, но отличавшаяся необыкновенной энергиею, дерзостию, нахальством и посредством этой дерзости, этого нахальства державшая в безмолвном и покорном решпекте петербургский придворный люд, люд малодушный и трусливый, всегда готовый ползать перед всякою силою, откуда бы она ни происходила, если только имеет причины страшиться от нее какой-нибудь неприятности»[2].

Резким отзывам Долгорукова можно поверить, ибо в конечном счете основные черты характера графини изображены так же и в отзывах ее поклонников. Характеристика Долгорукова лучше объясняет резко отрицательное отношение Пушкина и к графу и к графине. Следует сказать еще и несколько слов о политических взглядах графини. Муж ее обожал Меттерниха и находился под его влиянием, она сама брала уроки политической мудрости у m-me Свечиной. Безоглядная преданность началам Священного Союза, преклонение перед самодержавием и монархом, вражда и отрицание всякого движения, в малейшей степени оппозиционного, и, конечно,

---

[1] Уместно сопоставить со словами Долгорукова свидетельство Ф. Ф. Вигеля: «Из разных сведений, необходимых для хорошего дипломата, усовершенствовал Нессельроде себя только по одной части: познаниями в поваренном искусстве доходил он до изящества. Вот чем умел он тронуть сердце первого гастронома в Петербурге, министра финансов Гурьева. Зрелая же, немного перезрелая дочь его, Марья Дмитриевна, как сочный плод, висела гордо и печально на родимом дереве и беспрепятственно дала Нессельроде сорвать себя с него. Золото с нею на него посыпалось: золото, которое для таких людей, как он, то же, что магнит для железа». (Записки Ф. Ф. Вигеля, ч. V. М., 1892, стр. 61—62.) Колоритный рассказ о Гурьеве находим у того же Долгорукова в его «Листке» (1863 г. ноября 24, № 15, стр. 119) — хороший комментарий к строчке на Гурьева в приписываемой Пушкину эпиграмме «Встарь Голицын мудрость весил, Гурьев грабил весь народ»... «Этот сановник, своим взяточничеством и грабительством своим изумлявший даже самый русский чиновничий мир, умел, посредством происков своих и интриг жены своей, величайшей пройдохи своего времени (достойной маменьки графини Марии Дмитриевны Нессельроде), распорядиться таким образом, что, назначенный, по увольнении Дм. Прокоф. Трощинского, в 1806 году, министром уделов, он успел выхлопотать себе, в 1809 году, министерство финансов, с сохранением в руках своих и уделов. В то время должность государственного казначея была отдельною от министерства финансов, но, по прошествии нескольких месяцев, Гурьев успел 1 января 1810 года примежевать к финансам государственное казначейство, а в 1814 году примежевал и министерство коммерции. Когда, в субботу на страстной неделе 1823 года, министром финансов назначен был Канкрин, то в Петербурге на следующий день говорили, поздравляя друг друга: «Христос воскрес, Гурьев исчез!!».

[2] Любопытный рассказ о взяточничестве М. Д. Нессельроде — у того же Долгорукова («Листок», 1863, № 4 от августа 1862, стр. 80 примечание): «После помолвки своей Шувалов (жених дочери Александра I от Нарышкиной), числившийся по министерству иностранных дел, пожалован был камергером по официальному представлению графа Нессельроде; император Александр Павлович, со дня помолвки уже обходившийся с Шуваловым, как с будущим зятем, улыбаясь, спросил у него: *сколько он подарил графине Нессельроде?* Этот анекдот рассказывала мне княгиня Екатерина Александровна Долгорукова, жена князя Ильи Андреевича и сестра Софьи Александровны Шуваловой». Сведения о чете Нессельроде рассеяны в изданиях П. В. Долгорукова — «Будущность», 1860, стр. 6, 22, 23; «Листок», 1863—1864 гг., стр. 95, 119, 159, 164.

стопроцентная ненависть ко всякой революции. В 1925 году мы имели удовольствие познакомиться с политическими письмами графини о событиях 14 декабря и не можем согласиться с мнением их издателя о значительности и ценности этих писем. Ни ума, ни оригинальности в них не заметно. Привычная благоговейная восторженность перед новым монархом, патриотическое подхалимство и решительная бесчеловечность к заговорщикам. «Какое это должно быть ужасное чувство — иметь в своей семье преступника! По сравнению с этими извергами приходится и смерть находить чем-то мягким»[1]. Для нее, так же, как и для графа Бенкендорфа, Пушкин оставался un ami du quatorze, другом декабристов, скрытым революционером. Это тоже следует запомнить. Уже одной этой репутации Пушкина достаточно было для того, чтобы положить предел между ним и графиней. Он был неприемлем для нее, она — для него.

Но были какие-то бытовые отношения, питавшие злые против графини чувства. На их след наводит одна деталь, записанная П. И. Бартеневым со слов Нащокина. «Графиня Нессельроде, жена министра, раз без ведома Пушкина взяла жену его и повезла на небольшой [придворный. — *П. Щ.*] Аничковский вечер: Пушкина очень понравилась императрице. Но сам Пушкин ужасно был взбешен этим, наговорил грубостей графине и, между прочим, сказал: «Я не хочу, чтоб жена моя ездила туда, где я сам не бываю»[2]. Следовательно, в сближении, которое могло только пугать Пушкина, Натальи Николаевны с двором и Николаем посильную долю участия приняла и графиня Нессельроде. Значит, у Пушкина было за что ее ненавидеть.

В дуэльный период Нессельроде играла роль, на которой не останавливались до сих пор. Она судачила с Геккереном о семейных делах Пушкина, она была поверенной сердечных тайн Дантеса. Ей докладывал Геккерен о своих усилиях порвать несчастную связь своего приемного сына. Оправдываясь перед Нессельроде и полагая, что оправдание будет доведено до сведения царя, Геккерен не назвал по имени двух высокопоставленных дам, но одна из них — графиня Нессельроде, конечно. Такое допущение доказывается и упоминанием в письме Геккерена к сыну, оказавшемся в секретном архиве III отделения[3]. «Ради бога, будь благоразумен, — писал Геккерен

---

[1] Красный архив, т. X, 1925 г., стр. 261—285. Письма М. Д. Нессельроде, охватывающие период 1820—1839 годов, к матери, брату, жене брата были представлены Александру II; для царя были сделаны извлечения любопытных мест из всей переписки. И письма и выборки, хранившиеся ранее в Государственном архиве, ныне хранятся в московском Историческом архиве. Я просмотрел перечень содержания всем писем и выборку и не нашел ничего, относящегося до Пушкина и до его дуэльной истории. За период 1836—1837 гг. писем нет.

[2] «Рассказы о Пушкине,» назв. соч., стр. 42 и 111.

[3] А. С. Поляков, впервые напечатавший это письмо, почему-то полагает: первое — письмо должно защитить Геккерена от обвинений в составлении пасквиля; второе — оно было представлено Геккереном в целях самооправдания. Защитный смысл письма Поляков вывел, главным образом, из факта представления этого письма Геккереном по начальству, но как раз этот факт и не доказан, а только предположен. Мало ли какими путями III отделение могло добыть это письмо, — на то оно и III отделение! Согласимся, что письмо попало сюда помимо воли Геккерена, и тогда, перечитав его, мы не будем иметь ни права, ни возможности вывести из его содержания доказательства непричастности

сыну, — и за этими подробностями (о внешности анонимного пасквиля) отсылай смело ко мне, потому что граф Нессельроде показал мне письмо, которое написано на бумаге такого же формата, как и эта записка. Мадам Н. и графиня София Б. тебе расскажут о многом. Они обе горячо интересуются нами». Не лишенная острой пикантности картина рисуется на основании этого письма. Вице-канцлер, министр иностранных дел, рассматривает пасквиль, жена министра может рассказать о многом в этом деле и горячо интересуется Геккеренами. Всякий суд по этим признакам должен был бы вызвать всех названных в письме лиц в качестве свидетелей.

Корф определил графиню: если друг, так верный друг; если враг, то враг жестокий. Геккеренам она была верным другом. И посаженной матерью была на странном бракосочетании Дантеса, и утешительницей семьи Геккеренов в вечер и ночь после дуэли 27 января. На Мойке в доме Волконской доктора боролись со смертью за жизнь, боролись почти без надежд, а граф и графиня Нессельроде (так же, как граф и графиня Строгановы) проводили вечер у барона Геккерена и оставили его дом только в час пополуночи, и когда после дуэли в отношениях высшего общества к Геккерену повеяло холодком, графиня не забывает послать пригласительный билет старому другу на званый обед. Графиня Нессельроде грудью стояла за Геккеренов во время военно-судного процесса, вплоть до отъезда семьи Геккеренов. 8 апреля 1837 года кн. Вяземский сообщил А. Я. Булгакову об отъезде Геккерена из России и писал: «Под конец одна графиня Нессельроде осталась при нем, но все-таки не могла вынести его, хотя и плечиста и грудиста и брюшиста»[1].

Итак, если 21 ноября 1836 года Пушкин писал графу Нессельроде (а не графу Бенкендорфу) и если он отправил свое письмо, то Нессельроде мог не дать ему движения и скрыть его от царских очей: слишком близка была прикосновенность его супруги к вражде Геккеренов с Пушкиным и к дуэльному делу.

В сочинении диплома Пушкин в первые же дни заподозрил одну даму, которую он назвал Соллогубу и которую не назвал нам Соллогуб. Не она ли? Не графиня ли Нессельроде? А через три дня по получении письма он уже знал о ближайшем участии Геккерена в составлении пасквилей, в их фабрикации. Одно не исключает другого.

А. И. Тургенев, занося в свой дневник под 17 февраля 1837 года всякие обстоятельства в связи со смертью Пушкина, записывает два слова: «Подозрения. Графиня Нессельроде» и только. Загадочная

Геккерена к делу пасквилей. Письмо, на наш взгляд, писано после первого вызова, когда Дантес находился на дежурстве: нельзя допустить, что оно писано после дуэли, когда Дантес был под арестом и когда m-me de N. и la comtesse Sophie B. вряд ли согласились бы навещать его на гауптвахте. Геккерен в письме дает подробное описание внешности пасквиля как будто для того, чтобы Дантес мог отличить этот пасквиль от какого-либо иного. Может быть, в руки Пушкина попал иной пасквиль!

[1] Кн. П. П. Вяземский, назв. соч., стр. 562. Надо думать, что о чете Нессельроде говорит конспиративно Геккерен в письме к Дантесу после его высылки. «Муж и жена относятся к нам безукоризненно, ухаживают за нами, как родные, даже больше того — как друзья». См. выше, стр. 290.

близость этих двух слов может дать основание к горестным размышлениям.

В 1927 году — через девяносто лет после вечно печальных событий осени и зимы 1836—1837 гг. — было названо имя Нессельроде как автора анонимного пасквиля. В. Гольцев из записок, писанных уже в XX веке, некоего князя А. М. Голицына извлек следующую запись: «Государь Александр Николаевич у себя в Зимнем дворце за столом, в ограниченном кругу лиц, громко сказал: «Ну, так вот теперь знают автора анонимных писем, которые были причиной смерти Пушкина; это Нессельроде (c'est Nesselrode)». Слышал от особы, сидевшей возле государя. Соболевский подозревал, но очень нерешительно князя П. В. Долгорукова»[1]. Нессельроде и Долгоруков... Одно не исключает другого.

А может быть, Пушкин и не отправил по адресу сокрушительного обличения, потому ли, что уступил настояниям Жуковского, или потому, что остановился перед теми последствиями, которые могли произойти не для одного Геккерена. Неслыханный план мести не осуществился, но чувство едкой ненависти к врагу, к Геккерену, по-прежнему разрывало сердце Пушкина.

VIII.

Еще несколько соображений в доказательство предлагаемого толкования диплома — по царственной линии.

Если бы Пушкин считал, что диплом открывал ему глаза на Дантеса, то он послал бы вызов ему, но не стал бы искать автора или составителя пасквиля в Геккерене, потому что доводы порядка — и логического и психологического — не позволили бы ему прийти к заключению об участии Геккерена в фабрикации пасквиля. Конечно, всякий анонимный пасквилянт рассчитывает, что он не будет открыт, но какой смысл для Геккерена был в обращении ревнивого внимания Пушкина на своего сына, особенно после того, как из уст последнего вылетело слово о сватовстве к Катерине Гончаровой? Мрачный и мстительный характер Пушкина — caractère ombrageux et vindicatif — был известен Геккерену, и, конечно, не мог он предполагать, что Пушкин проглотит анонимную обиду, останется в пассивном положении и не обрушится на Дантеса со всей стремительностью пробужденной ревности. В интересы Геккерена входило не вызывать в памяти Пушкина летнего инцидента, а, наоборот, замять, предать забвению. Самая мысль о причастности Геккерена к фабрикации пасквиля находится в антагонизме с утверждением, что пасквиль направлен в Дантеса Геккереном.

Для всякого ясно следующее: при существующем толковании пасквиля, как намека на Дантеса, было бы уже совсем нелепо предположить, что автором или составителем его мог быть сам Дантес. Нелепость такого предположения очевидна, а между тем шеф жандармов, граф Бенкендорф, получив приказание разыскать автора, пускается на хитрости, чтобы достать русский почерк — кого же?.. Дантеса — и сравнить его с почерком пасквиля. А если Бенкендорф

---

[1] Московский пушкинист, I. М., 1927, стр. 67. "C'est Nesselrode" — скорее указывает на графа Нессельроде. Досадная описка: согласимся с В. Гольцевым, что имеется в виду не граф, а графиня.

так сделал, то, значит, он видел в пасквиле намек не на Дантеса, а на особ повыше.' И для него и для его суверена недопустимо дерзким было упоминание о брате августейшего монарха в сопоставлении с престарелым обер-егермейстером Нарышкиным. В их глазах уже одного этого упоминания было бы достаточно, чтобы принять диплом в том смысле, какой хотел дать ему составитель. А в таком случае и Дантес годится в обвиняемые!

Пушкин мог считать Геккерена участником фабрикации пасквиля только при принятии его как намека на Николая, а Пушкин с момента получения пасквиля и до самой смерти был крепко убежден насчет Геккерена. Следует взвесить и оценить следующее обстоятельство. История второго, январского, вызова, расследованная нами, возлагает всю вину за вторичное столкновение всецело на Дантеса и отводит Геккерену роль сравнительно незначительную. Одураченный жених поневоле и муж по принуждению с трудом мирился с положением. Он добросовестно выполнял обязанности мужа Катерины Николаевны, но красота сестры по-прежнему волновала и будила несытые желания. И что же? Пушкин шлет вызов, но кому?.. Посланнику Геккерену. До Пушкина доходят слухи, что Дантес, только что оженившийся, добивается свидания с Натальей Николаевной, и Пушкин вызывает... Геккерена. 26 января он отправляет посланнику письмо — в нем он ничего не прибавляет к обвинениям, формулированным в бешеном письме, которое он прочел 21 ноября 1836 года графу В. А. Соллогубу. По фактическому содержанию письмо 26 января может быть отнесено и к ноябрю. Правда, в письме от 26 января уже не содержится тех прямых обвинений Геккерена в фабрикации анонимных писем, которые налицо в клочках разорванного черновика. Но я должен отказаться от высказанного мною на стр. 118 мнения: «Важное отличие черновиков от письма указывает на то, что полной и решительной, основанной на фактах и могущей быть доказанной уверенности в авторстве Геккерена у Пушкина не было». В этом вопросе следует напирать на свидетельство кн. П. А. Вяземского в письме к вел. кн. Михаилу Павловичу: «Как только были получены анонимные письма, он заподозрил в их сочинении старого Геккерена и умер с этой уверенностью. Мы так никогда и не узнали, на чем было основано это предположение, и до самой смерти Пушкина считали его недопустимым. Только неожиданный случай дал ему впоследствии некоторую долю вероятности. Но так как на этот счет не существует никаких юридических доказательств, ни даже положительных оснований, то это предположение надо отдать на суд божий, а не людской». Только по глубокому убеждению в том, что вина за ноябрьский диплом рогоносца по царственной линии лежит всецело на Геккерене, Пушкин в январе отправил вызов не Дантесу, а Геккерену.

Сохранился след реакции Пушкина на сближение имени его жены с царем. В академическом издании «Переписки Пушкина» под № 1091 напечатан пасквиль, полученный Пушкиным 4 ноября 1836 года, и сейчас же вслед за ним под № 1092 идет письмо Пушкина к министру финансов графу Канкрину. Напомним обстоятельства, в которых Пушкин находился в это время: 4 ноября получил анонимные письма; послал вызов; в тот же день пришел к нему Геккерен, попросил отсрочки; 6 ноября Геккерен явился

вновь, приехал Жуковский; все эти дни Пушкин был в поисках составителя пасквиля, находился в возбуждении, волнении и тут же нашел время писать министру финансов. Пушкин крайне нуждался в средствах последние годы своей жизни; скрепя сердце, он вынужден был просить у царя денег сначала на издание истории Пугачевского бунта, а потом взаймы, с погашением жалованием по службе. В 1836 году долг его равнялся 45 000 руб. И вот Пушкин пишет Канкрину о том, что он, Пушкин, *«желает уплатить свой долг сполна и немедленно»* и просит Канкрина принять в уплату долга отписанное ему отцом сельцо Кистенево с 220 душами. К этой просьбе он присоединяет еще одну: «Осмелюсь утрудить Ваше сиятельство еще одною, важною для меня просьбою. Так как это дело весьма малозначуще и может войти в круг обыкновенного действия, то убедительнейше прошу Ваше сиятельство не доводить оного до сведения государя императора, который, вероятно, по своему великодушию, не захочет такой уплаты (хотя оная мне вовсе не тягостна), а может быть, и прикажет простить мне мой долг, что поставило бы меня в весьма тяжелое и затруднительное положение: ибо я в таком случае был бы принужден отказаться от царской милости, что и может показаться неприличием, напрасной хвастливостью и даже неблагодарностию».

В сущности, Пушкин не имел никакой возможности платить долг имением, потому что он уже отказался от ничтожных доходов с крепостных имений и предоставил их сестре и брату. Сколько труда положил Жуковский на то, чтобы наладить отношения Пушкина с двором, с царем, и вдруг... «желаю платить долги сполна и немедленно... не желаю, чтобы царь знал об этом, боюсь, что он прикажет простить мне долг, тогда попаду в весьма тяжелое и затруднительное положение». Ясно, случилось что-то, всколыхнувшее душу Пушкина, наполнившее ее отчаянием. Подальше от царя, от его милостей, от его денег![1] Нельзя не связать этого письма к Канкрину с пасквилем, ну, а если связывать, то уж нечего еще раз повторять, что Пушкин принял намек диплома — «рогоносец по царственной линии».

Пушкин не осуществил плана громкой компрометации Геккерена перед царем. По всему видно, что о ноябрьской истории Николай не получил от своих приближенных полной информации, не знал содержания пасквиля: и он считал, как все, что неловкое положение у Дантеса с Пушкиным должно кончиться дуэлью, и он, как все, думал, что после женитьбы Дантеса дело заглушено, и уж ему никак не могло прийти в голову, что и он замешан в этой истории. Но произошла дуэль, и Николай потребовал полной информации по делу Пушкина: дело докладывалось ему и графом Бенкендорфом по III отделению, и графом Нессельроде по министерству иностранных дел. Доклад последнего состоялся 28 января: в этот день Геккерен послал Нессельроде документы, относившиеся «до того несчастного происшествия, которое граф благоволил лично повергнуть на благоусмотрение его императорского величества»[2]. Эти

---

[1] Канкрин 21 ноября ответил, что для удовлетворения просьбы Пушкина надо испрашивать высочайшее повеление. Пушкин более не обращался по этому поводу.

[2] См. выше, стр. 269.

документы должны были, по мнению Геккерена, убедить и царя и министра в том, что он, Геккерен, не мог поступить иначе. Через день, 30 января, Геккерен, досылая Нессельроде документ, которого не хватало, просил его «умолить государя уполномочить его прислать ему в нескольких строках оправдание его поведения, чтобы он мог чувствовать себя вправе оставаться при русском дворе, ибо он был бы в отчаянии покинуть его». В этот же день Геккерен писал своему министру в Гаагу; он излагал обстоятельства дела, сообщал, что он получает знаки внимания и сочувствия от всего петербургского общества и заверял, будто император, сообщая роковую весть о смерти Пушкина императрице, выразил уверенность, что барон Геккерен не мог поступить иначе. Геккерен и не помышлял еще о возможных для него лично следствиях этого дела. Но прошло всего два дня, и Геккерен 2 февраля уже направляет к наследнику престола, принцу Оранскому, мужу сестры Николая, просьбу поддержать перед королем его ходатайство о переводе его из Петербурга. За эти несколько дней царь составил определенное мнение о роли Геккерена, и, конечно, Геккерен узнал это мнение от своего благожелателя графа Нессельроде.

Дипломат, бывший долгое время на лучшем счету у петербургского правительства, сразу стал канальей в глазах царя. Этого каналью Николай не желал больше терпеть при своем дворе; никакие его оправдания и документы ему были не нужны, и он сразу же решил выгнать его вон из Петербурга. 3 февраля Николай написал два письма: одно брату Михаилу, который был в это время в Риме, другое сестре Анне в Гаагу. Изложив кратко историю дуэли, Николай писал брату: «Пушкин погиб и, слава богу, умер христианином. Это происшествие возбудило тьму толков, наибольшею частью самых глупых, из коих одно порицание поведения Геккерена справедливо и заслуженно; он точно вел себя, как гнусная каналья. Сам сводничал Дантесу в отсутствие Пушкина, уговаривал жену его отдаться Дантесу, который будто к ней умирал любовью, и все это тогда открылось, когда после первого вызова на дуэль Дантеса Пушкиным, Дантес вдруг посватался к сестре Пушкиной; тогда жена Пушкина открыла мужу всю гнусность поведения обоих, быв во всем совершенно невинна[1]. Так как сестра ее точно любила Дантеса, то Пушкин тогда же и отказался от дуэли. Но должно ему было при том и оставаться, чего не вытерпел. Дантес — под судом, ровно как и Данзас, секундант Пушкина, и кончится по законам, и, кажется, каналья Геккерен отсюда выбудет». А сестре он писал: «Пожалуйста, скажи Вильгельму (мужу, принцу Оранскому), что я обнимаю его и на этих днях пишу ему, мне надо много сообщить ему об одном трагическом событии, которое положило конец жизни знаменитого Пушкина, поэта: но это не терпит почты». Действительно, письмо принцу Оранскому было отправлено с курьером 22 февраля 1837 года,

[1] Отметим, что в этом кратком изложении истории дуэли Николай говорит очень много о невинности Натальи Николаевны. Любопытно и то, что Николай писал свое письмо, как будто имея перед своими глазами письмо Пушкина к Геккерену от 26 января. «Вы говорили, что он умирает от любви к ней, вы ей бормотали „отдайте мне моего сына“» — в письме Пушкина; «Уговаривал жену его отдаться Дантесу, который будто к ней умирал любовью» — в письме Николая.

но, несмотря на неоднократные обращения к нидерландскому правительству с просьбами о розыске этого письма, в котором Николай требует отозвания посланника и, несомненно, излагает поведение Геккерена, письмо не было найдено. По справке голландского министерства иностранных дел, его не оказалось ни в архиве королевского дома, ни в архиве кабинета королевы. Будем надеяться, что письмо цело и лежит на своем месте; и в департаменте полиции в свое время мне ответили, что никаких материалов о дуэли и смерти в архиве III отделения не имеется. Оказывается, нужна была революция, чтобы открыть секретный архив этого учреждения и обнаружить в нем пачку с искомыми материалами.

Николай порвал все отношения с Геккереном. Когда Геккерен покидал Россию, официально уезжая в отпуск, он попросил аудиенции. Царь приказал Нессельроде передать Геккерену, что он желает избежать объяснений, которые могут быть только тягостными. В знак же благоволения Николай выслал Геккерену, точно жалкому просителю, в прихожую дворца бриллиантовую табакерку, и Геккерен принял ее, а дипломаты — коллеги Геккерена — разъясняют смысл подарка: «Табакерку, по установившемуся при императорском дворе обычаю, дарят послам, покидающим свой пост окончательно, из чего явствует, что император не пожелал видеть его здесь долее и что его сюда не ждут». Баварский посланник делает любопытные и значительные для нашей точки зрения пояснения: «Присылка табакерки вместе с отказом в обычной аудиенции явилась настоящим ударом для Геккерена, вызванным какой-нибудь особою причиною, что император, по всей вероятности, и объяснит королю Голландии»[1].

По характеру и по силе реакции Николая на ознакомление с делом Пушкина во всех подробностях можно заключить, что не бесчестие, нанесенное Пушкину, взволновало царя. Из-за Пушкина Николай не пошел бы на такие крутые меры; царь не любил поэта, относился к нему на всем протяжении их личного знакомства — с 1826 года — с подозрительным недружелюбием; не любил как человека, не ценил как писателя. Только благодаря неимоверным стараниям друзей Пушкина и прежде всего Жуковского, Николаю была создана репутация хранителя русской национальной славы в лице Пушкина, благожелательного опекуна, отечески любившего своего верноподданного поэта. В практических целях друзья укрепляли эту репутацию, но про себя-то они знали цену царской любви. 9 ноября 1843 года в парижском ресторане А. И. Тургенев встретился с д'Аршиаком, разговорился о Петербурге, о Пушкине и стыдливо записал, придя домой, в своем дневнике: «Государь не любил Пушкина». А если Николай учинил Геккерену бесчестие в масштабе европейском, то сделал он это потому, что почувствовал себя оскорбленным. Он видел, что пасквиль задевает его, и, кроме того, знал из источников, нам неизвестных, что причастен к фабрикации пасквиля барон Геккерен. Только при допущении этих положений нам будет понятна реакция Николая. А на самом деле, разве не

---

[1] См. выше, стр. 336. Перемена в отношениях царя к посланнику повлекла за собой и охлаждение к последнему высшего общества: барон Геккерен, по сообщению Гогенлоэ-Кирхберга, сделал все, чтобы навлечь на себя всеобщее неудовольствие, и многие лица, в былые времена отличавшие посланника, принуждены в настоящее время сожалеть об этом. (См. стр. 325—326.)

каналья этот голландский посланник! Царь, как офицеришка, еще только ездил мимо окон, на окнах даже шторы опущены, а его уже сравнивают с братом Александром, который 13 лет жил с Нарышкиной. Каналья вмешался не в свои дела и каналья выбудет из Петербурга!

У одного из наиболее осведомленных о деле Пушкина дипломатов, виртембергского посланника князя Гогенлоэ-Кирхберга, женатого на русской, бывавшего у Вяземского и принимавшего к себе и Вяземских, и Тургенева, и других приятелей Пушкина, в донесении своему правительству есть любопытное сообщение: «Об анонимных письмах существует два мнения. В обществе наибольшим доверием пользуется мнение, приписывающее их О. (Ouvarow — Уваров); мнение правительства (du pouvoir), основывающееся на тождественности пунктуации, на особенностях почерка и на сходстве бумаги, инкриминирует их Н (конечно, Heeckeren)». Да, мнение правительства было такое, вернее, мнение царя. Любопытно, что когда воля царя была сообщена Геккерену, когда вопрос об его отозвании был решен, он пишет 1 марта 1837 года графу Нессельроде письмо — оправдание против обвинений, которые, как он знал, конечно, со слов Нессельроде, царь предъявляет против него. Их было два обвинения — в сводничестве и в авторстве анонимных писем. Оправдание против последнего обвинения Геккерен начинает так, как начал бы всякий уважающий себя человек: «Никто не думает, чтобы я снизошел до оправданий», но, оставляя сразу эту позицию, он переходит к оправданиям и основывает их на разъяснении, что анонимные письма — не в интересах ни его, ни сына. Совершенно правильно, если согласиться не видеть, замолчать намек на Николая и заменить его намеком на Дантеса. А затем Геккерен упирает на невозможный, неслыханный характер письма Пушкина к нему. Этот характер признавали все — и царь в том числе, но царь в письме к Михаилу Павловичу зато и писал: «Последнего повода к дуэли, заключавшегося в самом дерзком письме Пушкина к Геккерену, никто не постигает».

Итак, Пушкин и Николай сошлись во взглядах на Геккерена и поняли смысл пасквиля. Их заключение по делу представляется наиболее авторитетным — пасквиль кивал на царя, и ближайшее прикосновение к нему имел барон Геккерен. А ближайшие друзья Пушкина из всех сил бились, доказывая, что все дело пошло, продолжалось и кончилось все из-за дерзких ухаживаний Дантеса за женой Пушкина, и в то же время они твердили о тайне в деле Пушкина[1]. «О том, что было причиной этой кровавой и страшной развязки, говорить много нечего. Многое осталось в этом деле темным и таинственным для нас самих...» Или: «Адские козни окутали Пушкиных и остаются еще под мраком». Так писал кн. П. А. Вяземский А. Я. Булгакову[2]. *Тайной и была прикосновенность к этому делу Николая Павловича Романова*, но друзья Пушкина и мечтать не смели о том, чтобы

---

[1] Новое толкование пасквиля в печати впервые было заявлено мной в очерке «Смерть Пушкина» в номере журнала «Огонек», посвященном Пушкинскому дню, № 7 (203) 13 февраля 1927 года. К одинаковому со мной мнению одновременно, но независимо от моих изысканий, пришел и П. Е. Рейнбот; его взгляд прокламировал и поддерживал М. А. Цявловский в своем докладе на Пушкинском вечере в феврале месяце, в день годовщины смерти, в Москве.

[2] Русский архив, 1879, т. II, стр. 248 и 253.

приоткрыть хоть уголок такой тайны. Понятно, они укрывали тайну не только по соображениям об общеопасности такого открытия, но еще во имя охранения чести Натальи Николаевны — и в этом они успели[1].

IX.

Барон Геккерен был не один в гнусном деле. От него тянулись нити в разные стороны. Одна из них приводила в салон m-me Нессельроде, к двум высокопоставленным дамам, имевшим сомнительную честь быть поверенными его интимных рассказов. В доме Нессельроде Геккерен прижился, был как свой: пользовался покровительством графа и графини Нессельроде[2]. Но в городе репутация барона была незавидна. Граф Гогенлоэ-Кирхберг в своем донесении прямо говорит, что в последние годы к Геккерену относились хуже и многие избегали знакомства с ним[3]. Геккерен был окружен аристократической молодежью, с которой он был в отношениях неестественной интимности. Вспомним, как определил князь А. В. Трубецкой одну из «шалостей» Дантеса: «Не знаю, как сказать: он ли жил с Дантесом или Геккерен жил с ним... В то время в высшем обществе было развито бугрство»[4]. К кругу молодых «астов», шаливших вместе с Геккереном, тянется другая нить в этом деле. Здесь Геккерен мог найти и *нашел* физических исполнителей своих замыслов.

Вопрос о том, кто писал диплом своей собственной рукой и кто разослал его Пушкину и его знакомым, оставался невыясненным и по сей день. С наибольшим упорством молва называла три имени: князя И. С. Гагарина, князя П. В. Долгорукова и графа С. С. Уварова[5]. Эти имена стали произносить в первые же дни после смерти Пушкина. А. И. Тургенев записал в дневнике под 30 января 1837 года: «Вечер у Карамзиной. О князе Иване Гагарине». Под 31 января: «Обедал у Карамзиной. Спор о Геккерене и Пушкине. Подозрения опять на К.И.Г.» (т. е. на князя И. Гагарина). Так как князь И. С. Гагарин жил вместе с князем П. В. Долгоруковым, то, естественно, подозрение распространилось и на него. Н. М. Смирнов, муж А. О. Смирновой, в 1842 году, т. е. через пять лет после событий, изложил в своем дневнике взгляд на происхождение и распространение подметного пасквиля, — взгляд, очевидно, принятый

---

[1] А. И. Тургенев ноябрь 1836 года проводил в Москве, в Петербург он приехал только 25 ноября, но в Москве он уже слышал об анонимных письмах. В письме к брату после смерти Пушкина он дал такое определение диплому: «В анонимном письме говорили, что он после Нарышкина первый рогоносец». Очевидно, Н. И. Тургенев должен был понять значение термина «первый после Нарышкина рогоносец». «Пушкин и его современники», вып. VI, стр. 59.

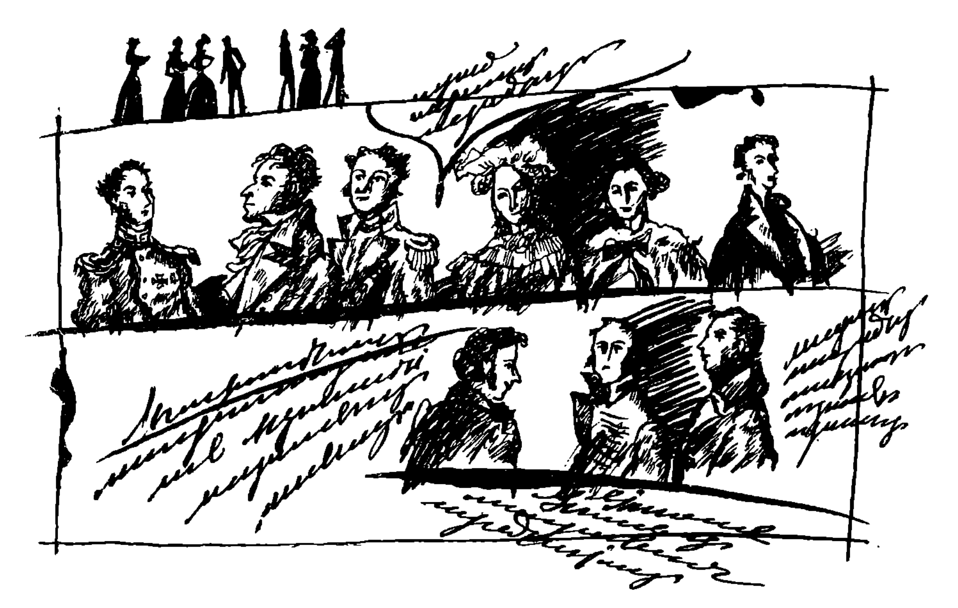
[2] См. выше, стр. 327.

[3] См. выше, там же.

[4] См. выше, стр. 352.

[5] В дальнейшем изложении я совершенно не останавливаюсь на выяснении прикосновенности графа С. С. Уварова к составлению и распространению пасквиля — в уверенности, что П. Е. Рейнбот напечатает читанный им 28 июля 1927 года в собрании Пушкинского дома доклад на тему: «Дуэль Пушкина (Идалия Григорьевна Полетика, Варфоломей Филиппович Боголюбов, Сергей Семенович Уваров)». Уваров, конечно, мог сочувствовать и покровительствовать распространению пасквилей, поражающих честь своего врага Пушкина.

в светских кругах, сочувствовавших Пушкину: «Весьма правдоподобно, что <Геккерен> был виновником сих писем с целью поссорить Дантеса с Пушкиным и, отвлекши его от продолжения знакомства с Натальей Николаевной, — исцелить его от любви и женить на другой. Подозрение также падало на двух молодых людей — кн. Петра Долгорукова и кн. Гагарина, особенно на последнего. Оба князя были дружны с Геккереном и следовали его примеру, распуская сплетни. Подозрение подтверждалось адресом на письме, полученном К. О. Россетом: на нем подробно описан был не только дом его жительства, куда повернуть, взойти на двор, по какой идти лестнице и какая



дверь его квартиры. Сии подробности, неизвестные Геккерену, могли только знать эти два молодые человека, часто посещавшие Россета, и подозрение, что кн. Гагарин был помощником в сем деле, подкрепилось еще тем, что он был очень мало знаком с Пушкиным и казался очень убитым тайною грустью после смерти Пушкина. Впрочем, участие, им принятое в пасквиле, не было доказано, и только одно не подлежит сомнению — это то, что Геккерен был их сочинитель»[1]. О круге Геккерена выпуклые воспоминания сохранились у князя Вяземского: «Старик Геккерен был известен своим распутством. Он окружил себя молодыми людьми наглого разврата и охотниками до любовных сплетен и всяческих интриг по этой части, в числе их находились князь П. В. Долгоруков и граф Л. С.»[2]. На членах этой геккереновской стаи мы и остановились.

Обвинения князя И. С. Гагарина и князя П. В. Долгорукова были оглашены в печати впервые в 1863 году в брошюре Аммосова

---

[1] «Русск. арх.», 1882, I, 234—235.

[2] «Русский архив», 1888, II, 312. Граф Л. С. — конечно, Лев Соллогуб, брат Владимира.

«Последние дни жизни и кончина А. С. Пушкина»[1]. Аммосов писал со слов К. Данзаса следующее: «Автором этих записок по сходству почерка, Пушкин подозревал барона Геккерена-отца и даже писал об этом графу Бенкендорфу. После смерти Пушкина многие в этом подозревали князя Гагарина; теперь же подозрение это осталось за жившим тогда вместе с ним князем Петром Владимировичем Долгоруковым.

Поводом к подозрению князя Гагарина в авторстве безымянных писем послужило то, что они были писаны на бумаге одинакового формата с бумагою князя Гагарина. Но, будучи уже за границей, Гагарин признался, что записки были писаны действительно на его бумаге, но только не им, а князем Петром Владимировичем Долгоруковым.

Мы не думаем, чтобы это признание сколько-нибудь оправдывало Гагарина — позор соучастия в этом грязном деле, соучастия если не деятельного, то пассивного, заключающегося в знании и допущении, остался все-таки за ним»[2].

Заявления Аммосова были перепечатаны во многих русских журналах и газетах и нашли широкое распространение как в России, так и за границей[3]. Обвиняемые были в то время живы: князь Иван Сергеевич Гагарин, принявший католичество еще в 1842 году, был священником иезуитского ордена, а князь Петр Владимирович Долгоруков, самовольно и тайно оставивший отечество в 1859 году, был эмигрантом совершенно особенного типа и вел жестокую литературную войну с сановниками русского правительства. И тот и другой не оставили без ответа позорившие их сообщения Данзаса.

Первым отозвался князь П. В. Долгоруков. Он напечатал в герценовском «Колоколе» (1863 год, № 168 от 1 августа) и в своем журнальчике «Листок» (1863 год, № 10) письмо в редакцию «Современника», повторившего на своих страницах в рецензии на книжку Аммосова его заявления. Это письмо появилось затем и в сентябрьской книжке «Современника» за 1863 год, с исключением одной фразы, выброшенной цензурой. Приводим полностью это письмо, содержащее кое-какие любопытные фактические данные.

«М.Г. В июньской книге Вашего журнала прочел я разбор книжки г. Аммосова „Последние дни жизни А. С. Пушкина“ и увидел, что г. Аммосов позволяет себе обвинять меня в составлении подметных писем в ноябре 1836 г., а князя И. С. Гагарина — в соучастии в таком гнусном деле и уверяет, что Гагарин, будучи за границею, *признался* в том.

---

[1] О князе И. С. Гагарине см. биографическую статью *Пирлинга* в «Русском биографическом словаре»; о князе П. В. Долгорукове см. статьи М. К. Лемке — «Князь П. В. Долгоруков в России» («Былое», 1907, февраль) и в его книге «Николаевские жандармы и литература 1826—1855 годов». (Спб., 1908) и «Князь П. В. Долгоруков-эмигрант» (там же, март) и статью Б. Л. Модзалевского в книге «Новые материалы» и т. д., стр. 13—48.

[2] *Аммосов,* назв. соч., 9—10.

[3] В русской журналистике, кажется, один лишь М. Н. Лонгинов не только отнесся с недоверчивостью к рассказу Аммосова, но высказал ему порицание за предъявление подобного обвинения без всяких доказательств. См. отзыв М. Н. Лонгинова о книжке Аммосова в «Современных известиях», 1863, № 18, стр. 12.

Это клевета и только: клевета и на Гагарина, и на меня, Гагарин не мог *признаться* в том, чего никогда не бывало, и он никогда не говорил подобной вещи, потому что Гагарин человек честный и благородный и лгать не будет. Мы с ним соединены с самого детства узами теснейшей дружбы, неоднократно беседовали о катастрофе, положившей столь преждевременный конец поприщу нашего великого поэта, и всегда сожалели, что не могли узнать имен лиц, писавших подметные письма.

Г. Аммосов говорит, что писал свою книжку со слов К. К. Данзаса. Не могу верить, чтобы г. Данзас обвинял Гагарина или меня. Я познакомился с г. Данзасом в 1840 г., через три года после смерти его знаменитого друга, и знакомство наше продолжалось до выезда моего из России в 1859 г., т. е. 19 лет. Г. Данзас не стал бы знакомиться с убийцею Пушкина, и не он, конечно, подучил г. Аммосова напечатать эту клевету.

Г. Аммосову неизвестно, что Гагарин и я, после смерти Пушкина, находились в дружеских сношениях с людьми, бывшими наиболее близкими к Пушкину; г. Аммосову неизвестно, что я находился в дружеских сношениях с друзьями Пушкина: гр. М. Ю. Виельгорским, гр. Гр. А. Строгановым, кн. А. М. Горчаковым, кн. П. А. Вяземским, П. А. Валуевым; с первыми двумя до самой кончины их, с тремя последними до выезда моего из России в 1859 г. Г. Аммосову неизвестно, что уже после смерти Пушкина я познакомился с его отцом, с его родным братом и находился в знакомстве с ними до самой смерти их.

Начальнику III отделения, по официальному положению его, лучше других известны общественные тайны. Л. В. Дубельт (младший сын его женат на дочери великого поэта) никогда не обвинял ни Гагарина, ни меня по делу Пушкина. Когда в 1843 г. я был арестован и сослан в Вятку, в предложенных мне вопросных пунктах не было ни единого намека на подметные письма.

С негодованием отвергаю, как клевету, всякое обвинение как меня, так и Гагарина в каком бы то ни было соучастии в составлении или распространении подметных писем. Гагарин, ныне находящийся в Бейруте, в Сирии, вероятно, сам напишет Вам то же. Но обвинение — и какое ужасное обвинение! — напечатано было в «Современнике», и *долг чести предписывает русской цензуре разрешить напечатание этого письма моего*[1]. Прося Вас поместить его в ближайшей книге «Современника», имею честь быть, Милостивый государь, Вашим покорнейшим слугою

князь Петр Долгоруков»[2]

Оправдание князя Ивана Гагарина появилось в № 154 «Биржевых ведомостей» за 1865 год и было ответом на помещенную в № 102 этой газеты статью, которая, в свою очередь, была заимствована из «Русского архива». В «Русском архиве» этого года был помещен

---

[1] Строки, напечатанные разрядкой (курсивом. — *Я. Л.*), цензурой были исключены.

[2] Под текстом письма в «Колоколе» следующая дата: "I. Parson's Green, Fulham, London, 12 (24) июля 1863».

отрывок «Из воспоминаний графа В. А. Соллогуба»[1]. Сообщив со слов Дантеса о том, что документы, поясняющие смерть Пушкина, целы и находятся в Париже и среди них диплом, написанный поддельной рукой, граф Соллогуб высказал предположение: «Стоит только экспертам исследовать почерк, и имя настоящего убийцы Пушкина сделается известным на вечное презрение всему русскому народу. Это имя вертится у меня на языке, но пусть его отыщет и назовет не достоверная догадка, а божие правосудие!» Граф Соллогуб не назвал этого имени, но редактор «Русского архива» П. И. Бартенев в примечании к этому месту процитировал приведенное нами выше заявление Аммосова. Князь И. С. Гагарин опубликовал любопытнейшее письмо, которое мы и приводим без изменений, Упоминаемые в письме его лица обозначены инициалами, которые раскрыты (вполне верно) Бартеневым, перепечатавшим письмо Гагарина в «Русском архиве» (1865, изд. 2-е, 1242—1246).

«В № 102 „Биржев. ведомостей“ помещена статья, в которой, по поводу безымянных писем, причинивших смерть Пушкина, приводится мое имя. Статья эта меня огорчила, и невозможно мне ее пропустить без ответа. В этом темном деле, мне кажется, прямых доказательств быть не может. Остается только честному человеку дать свое честное слово. Поэтому я торжественно утверждаю и объявляю, что я этих писем не писал, что в этом деле я никакого участия не имел; кто эти письма писал, я никогда не знал и до сих пор не знаю. Чтобы устранить все недоразумения и все недомолвки, мне кажется нужным войти в некоторые подробности. В то время, как случилась вся эта история, кончившаяся смертью Пушкина, я был в Петербурге и жил в кругу, к которому принадлежали и Пушкин, и Дантес, и я с ними почти ежедневно имел случай видеться. С Пушкиным я был в хороших сношениях; я высоко ценил его гениальный талант и никакой причины вражды к нему не имел. Обстоятельства, которые дали повод к безымянным письмам, происходили под моими глазами, но я никаким образом к ним не был примешан, о письмах я не знал и никакого понятия о них не имел. Первый человек, который мне о них говорил, был К.О.Р.[2] В то время я жил на одной квартире с кн. П.В.Д.[3] на Миллионной. С Д. я также с самого малолетнего возраста был знаком. Бабушка его княгиня Д.[4] и особенно тетушка его М.П.К.[5] были в дружной и тесной связи с моей матушкой. Мы в Москве очень часто видались, потом Д. отправлен был в Петербург в Пажеский корпус. Я потерял его из виду и встретился с ним опять в Петербурге в 1835 или 1836 году. Мы наняли вместе одну квартиру. Однажды мы обедали дома вдвоем, как приходит Р. При людях он ничего не сказал, но как мы встали из-за стола и перешли в другую комнату, он вынул из кармана безымянное письмо на имя Пушкина, которое было

[1] Вышли отдельным оттиском — «Воспоминания графа В. А. Соллогуба. Новые сведения о предсмертном поединке А. С. Пушкина». М., 1866.

[2] Конечно, Клементий Осипович Россет.

[3] Князь Петр Владимирович Долгоруков. В «Адресной книге на 1837 год» Карла Нистрема жительство кн. Гагарина показано в Галерной улице, дом 34, а жительство Долгорукова — в Большой Миллионной, дом. 20.

[4] Кн. Анастасия Симоновна Долгорукова, умерла 7 апреля 1827 года.

[5] Тетка Долгорукова, кн. Марья Петровна, замужем за Н. П. Римским-Корсаковым, она умерла в 1849 году.

ему прислано запечатанное под конвоем, на его (Р.) имя. Дело ему показалось подозрительным, он решился распечатать письмо и нашел известный пасквиль. Тогда начался разговор между нами; мы толковали, кто мог написать пасквиль, с какою целию, какие могут быть от этого последствия. Подробностей этого разговора я теперь припомнить не могу; одно только знаю, что наши подозрения ни на ком не остановились и мы остались в неведении. Тут я имел в руках это письмо и рассматривал. Другого экземпляра мне никогда не приходилось видеть. Сколько я могу припомнить, Р. нам сказал, что этот конверт он получил накануне.

Несколько времени после того, однажды утром, в канцелярии министерства иностранных дел, я услышал от графа Д.К.Н.[1], что Пушкин накануне дрался с Дантесом и что он тяжело ранен. В тот же день я отправился к Пушкину и к Дантесу: у Пушкина не принимали: Дантеса я видел легко раненного, лежавшего на креслах.

В то время было в Петербурге много толков о безымянных письмах; многие подозревали барона Геккерена-отца; эти подозрения тогда, как и теперь, мне казались чрезвычайно нелепыми. Я и не воображал, что меня также подозревали в этом деле. Прошло несколько лет; я провел эти годы в Лондоне, в Париже и в Петербурге. В Париже я часто видался со многими русскими; в Петербурге я везде бывал и почти ежедневно встречался с Л.[2], и во все это время помину не было о моем мнимом участии в этом темном деле. В 1843 году я оставил свет и поступил в новициат ордена иезуитов, в Ахеоланскую обитель (L'Acheul), где и оставался до сентября 1845 года. В Ахеоланской обители меня навестил А.И.Т.[3], мы долго с ним разговаривали про былое время. Он мне тут впервые признался, что он имел на меня подозрение в деле этих писем, и рассказал, как это подозрение рассеялось. На похоронах Пушкина он с меня глаз не сводил, желая удостовериться, не покажу ли я на лице каких-нибудь знаков смущения или угрызения совести, особенно пристально смотрел он на меня, когда пришлось подходить ко гробу — прощаться с покойником. Он ждал этой минуты; если я спокойно подойду, то подозрения его исчезнут; если же я не подойду или покажу смущение, он увидит в этом доказательство, что я действительно виноват. Все это он мне рассказывал в Ахеоланской обители и прибавил, что, увидевши, с каким спокойствием я подошел к покойнику и целовал его, все его подозрения исчезли. Я тут ему дружески приметил, что он мог бы жестоко ошибиться. Могло бы случиться, что я имел бы отвращение от мертвецов и не подошел бы ко гробу. Подходить я никакой обязанности не имел, — не все подходили, и он тогда бы очень напрасно остался убежденным, что я виноват.

После этого несколько раз до меня доходили слухи, что тот или другой человек меня подозревал в том же деле. Я, признаюсь, не обращал на эти подозрения никакого внимания. С одной стороны, я так твердо убежден был в моей невинности, что эти слухи не делали на меня впечатления. С другой стороны, так много людей

---

[1] Граф Димитрий Карлович Нессельроде, сын министра.

[2] Бартенев относит с вопросом инициал к Лермонтову.

[3] Александр Иванович Тургенев.

не могли себе объяснить, почему я оставил свет и сделался иноком. Стали выдумывать небывалые причины. Иные предполагали, не знаю, какой роман, любовь, отчаяние и бог весть что такое. Другие полагали, что я непременно совершил какое-нибудь преступление, а как за мною никакого преступления не знали, то стали поговаривать: „А может быть, он написал безымянные письма против Пушкина?“

Пушкин убит в феврале 1837 г., если я не ошибаюсь; я вступил в орден иезуитов в августе 1843 г. — слишком шесть лет спустя; в продолжение этих шести лет никто не приметил за мной никакого отчаяния, даже никакой грусти, и сколько я знаю, никто не останавливался на мысли, что я эти письма писал; но как я сделался иезуитом, тут и стали про это говорить.



Несколько лет тому назад один старинный мой знакомый приехал в Париж из России и стал опять меня расспрашивать про это дело; я ему сказал, что я знал и как я знал. Разговор пал на бумагу, на которой был писан пасквиль; я действительно приметил, что письмо, показанное мне К.О.Р., было писано на бумаге, подобной той, которую я употреблял. Но это ровно ничего не значит: на этой бумаге не было никаких особенных знаков, ни герба, ни литер. Эту бумагу не нарочно для меня делали; я ее покупал, сколько могу припомнить, в английском магазине, и, вероятно, половина Петербурга покупала тут бумагу.

Кажется, к этим объяснениям насчет моего мнимого участия в безымянных письмах более ничего прибавлять не нужно. Но не могу умолчать о кн. Д. Конечно, он в моей защите не нуждается и сам себя защищать может. Одно только я хочу сказать. Как видно из предыдущего, во время несчастной этой истории я с ним на одной квартире жил, — следовательно, если бы были против него какие-нибудь улики или доказательства, никто лучше меня не мог бы

их приметить. Поэтому я почитаю долгом объявить, что никаких такого рода улик или доказательств я не приметил.

Примите уверение и т. д.

Ивана Гагарина,
священника общества Иисусова».

В указаниях князя Гагарина мы не находим никаких противоречий. Ссылка на А. И. Тургенева находит подтверждение в его дневниках и письмах к кн. П. А. Вяземскому. В дневниках немало упоминаний о князе Гагарине самого дружественного характера; в особенности их много в 1838 году, когда Тургенев жил в Париже и чуть не ежедневно встречался с князем И. С. Гагариным. Вместе с ним Тургенев посещал лекции в Сорбонне. 14 марта 1838 года Тургенев сообщал князю П. А. Вяземскому: «Я часто вижу кн. Ивана Сергеевича Гагарина: он, кажется, опять стал тем же, каким я знавал его в Мюнхене, где мне он очень нравился. Не чуждаясь света, он заглядывает в книги и любит салоны Свечиной и ей подобных». Хорошее впечатление с течением времени только усиливалось. Так 9 апреля 1838 года Тургенев писал опять Вяземскому: «Я часто видаюсь здесь с кн. Иваном Гагариным. Он попал в перноклассное fashionables и имеет на то полное право: богат, умен, любезен и любопытен»[1].

Гагарин принадлежал к «кружку 16»: участники сходились по вечерам и вели беседы, так, как будто бы III отделения не существовало. Среди les Seize были Ю. Ф. Самарин, гр. Андрей Шувалов, А. А. Столыпин (лермонтовский Монго), сам М. Ю. Лермонтов, граф П. А. Валуев, барон Д. П. Фредерикс, кн. С. Н. Долгоруков, кн. А. Н. Долгоруков и др. Все это были люди весьма молодые и весьма аристократического происхождения[2].

Ничто не предвещало того духовного переворота, который через четыре года привел Гагарина в католическую церковь, на лоно братьев иезуитского ордена. Православные друзья Гагарина были ошеломлены известием об обращении Гагарина: Самарин вступил с ним в полемическую переписку на тему о сравнительном достоинстве христианских религий, Тургенев тоже попытался уяснить причины перехода и с этой именно целью он навестил Гагарина в Ахеоланской обители. Об этом посещении и упоминает Гагарин в своем письме. Тургенев посетил Гагарина два раза — 27 и 28 сентября 1844 года. Через три дня он сообщил К. С. Сербиновичу: «Я был два раза в L'Acheul и спорил с послушником Иваном Ксаверием; но об этом более после; не он во всем виноват, а мы, т. е. вы, я, Филарет, Муравьев и весь летаргизм нашего православия; опять: sapienti sat. Дайте всем верить и думать»[3].

В дневнике Тургенев записал, конечно, посещения. 27 сентября был лишь незначительный разговор, и свидание было условлено на следующий день. Вот запись 28 сентября, в которой по неразборчивости почерка не удалось прочесть несколько слов: «В 7 часов St. Acheul, Гагарин уже ожидал меня, приготовил комнату, камин, шеколад и кофе.

---

[1] Остафьевский архив кн. Вяземских. Спб., 1899, т. IV, стр. 32, 34, 39.
[2] Сочинения Ю. Самарина. М., 1911, т. XII, стр. 63—64.
[3] «Русская старина», т. XXXIV, 1882, май, стр. 454.

Сам спит с другими в зале. Исповедь его. Мысли мои при сем случае. Гагарин о Криднер и Бенкендорфе, кажется, намекал, что желает обратить его!! о богородице, о Шеллинге, коему сказал поручение. Об отце и матери; слезы навертывались. О надеждах для России. Книги Филарета и Муравьева решили его. Равиньян, беседа и советы его. Свечина отговаривала вдруг. Опасение, что знать будут. Нельзя исповедаться в России кат. свящ. всё иезуитские извинения, но чистосердечны. Мое участие в его прениях с самим собою. Самарин знал, что католик, и в России сам плакал. Боборыкина вопрос: не отрекся, но отмолчался. Обещал ему книгу Самарина и друг. В 9 часов простились. Усадил меня...» Тургенев в своей записи и не заикнулся о разговоре, который произошел между ним и Гагариным о Пушкине и анонимных письмах. Молчание не значит, что Гагарин облыжно упомянул о беседе, а может означать только то, что Тургенев не счел даже нужным отметить этот разговор: он показался Тургеневу ничтожным по своим результатам, и, очевидно, у него не было ни капли сомнения в непричастности Гагарина к пасквильному делу.

Неназванный Гагариным старинный знакомый, с которым он беседовал об анонимных письмах, это — друг Пушкина, С. А. Соболевский. Он тоже оставил рассказ о беседе с Гагариным в письме к князю С. М. Воронцову: «Вам известно, что в свое время предполагали, что этот поступок (составление пасквиля) совершил Гагарин и что угрызения совести в этом поступке заставили последнего сделаться католиком и иезуитом; вам известно также, что главнейший повод к такому предположению дала бумага, подобную которой, как утверждали, видали у Гагарина. С своей стороны я слишком люблю и уважаю Гагарина, чтобы иметь на него хотя бы малейшее подозрение; впрочем, в прошедшем году я самым решительным образом расспрашивал его об этом; отвечая мне, он даже и не думал оправдывать в этом себя, уверенный в своей невинности; но, оправдывая Долгорукова в этом деле, он рассказал мне о многих фактах, которые показались мне скорее доказывающими виновность этого последнего, чем что-либо другое. Во всяком случае оказывается, что Долгоруков жил тогда вместе с Гагариным, что он прекрасно мог воспользоваться бумагою последнего и что поэтому главнейшее основание направленных против него подозрений могло пасть на него, Гагарина».

Трудно было бы допустить вообще легкость и интимность общения, если бы А. И. Тургенев питал хоть сколько-нибудь основательное подозрение на князя И. С. Гагарина. Значит, подозрение, возникшее было, действительно рассеялось у А. И. Тургенева в момент похорон, но как же оно было неосновательно, раз для его рассеяния достаточно было одного мимолетного впечатления!

Нам известен еще один собеседник Гагарина на тему об анонимных письмах.

Н. С. Лескову принадлежит интереснейший рассказ об его беседах с Гагариным по этому вопросу[1]. Свои выводы Лесков резюмирует следующим образом: «Из встреч и бесед с Гагариным у меня сложилось убеждение: 1) что дело смерти Пушкина тяготило и мучило Гагарина ужасно; 2) что он почитал себя жестоко оклеветанным; 3) что опровержений своих он не почитал достаточно сильными для ниспровержения всей этой клеветы; и 4) что он был убежден в существовании более

[1] Иезуит Гагарин в деле Пушкина. — «Ист. вестн.», 1886, авг., стр. 269—273.

сильного и неопровержимого доказательства его правоты, каковое доказательство и есть во Франции... Характер и судьба И. С. Гагарина чрезвычайно драматичны, и всякий честный человек должен быть крайне осторожен в своих о нем догадках. Этого требуют и справедливость и милосердие». К этим словам нелишне присоединить и следующую характеристику Гагарина, оставленную Лесковым: «Гагарин совсем не отвечал общепринятому вульгарному представлению об иезуитах. В Гагарине до конца жизни неизгладимо сохранялось много русского простодушия и барственности, соединенной с тою особою кадетскою легкомысленностью, которую часто можно замечать во многих русских великосветских людях... Гагарин был положительно добр, очень восприимчив и чувствителен. Он был хорошо образован и имел нежное сердце... Он не был ни хитрец, ни человек скрытный и выдержанный, что можно было заключить по тому, как относились к нему некоторые из лиц его братства, в котором он, по чьему-то удачному выражению, не состоял иезуитом, а при них содержался».

Психологическая трудность усвоения пасквиля князю Гагарину бросается в глаза при чтении опубликованных писем князя И. С. Гагарина к Ф. И. Тютчеву от 1836 года[1]. Гагарин в 1833—1835 гг. служил в нашей дипломатической миссии в Мюнхене и здесь сблизился с Ф. И. Тютчевым. Переехав в конце 1835 года в Петербург, князь Гагарин стал деятельным пропагандистом поэзии Тютчева. Через него именно попали в «Современник» стихотворения Ф. И. Тютчева. Гагарин писал Тютчеву в следующих выражениях: «До сих пор, любезнейший друг, я не поговорил с вами как следует о тетради, которую вы мне прислали с Крюднерами. Я провел над нею приятнейшие часы. Тут вновь встречаешься в поэтическом образе с теми ощущениями, которые сродны всему человечеству и которые более или менее переживались каждым из нас: но, сверх того, для меня это чтение соединялось с наслаждением совершенно особенным; на каждой странице живо припоминались мне вы и ваша душа, которую, бывало, мы вдвоем так часто и так тщательно разбирали... Пушкин ценит ваши стихи как должно и отзывался мне о них весьма сочувственно. Я отменно рад, что могу передать вам эти известия. По-моему, мало что может сравниться со счастием напечатлевать мысли и доставлять умственные наслаждения людям с дарованием и со вкусом. Поручите мне почетную должность быть вашим издателем».

Изложенными выше данными исчерпывается также и все то, что мы знаем о роли князя П. В. Долгорукова. Никаких выводов отсюда делать было нельзя, но темные слухи с течением времени превращались в категорические утверждения. Так, в изданной в Берлине в 1869 году русской книжке «Нынешнее состояние России и заграничные русские деятели» на стр. 13-й можно прочесть: «Вероятно, вам памятно, как он, Долгоруков, будучи еще молод и неопытен, позволил себе написать анонимное письмо к нашему народному поэту Пушкину». Князь П. А. Вяземский, весьма осведомленный свидетель-современник, против этой фразы отметил на полях книжки: «Это еще не доказано, хотя Долгоруков и был в состоянии сделать эту гнусность»[2]. Неприглядность нравственной личности князя Долгорукова, действительно, не есть еще

---

[1] «Русский архив», 1879, II, 118—123.

[2] Сообщение графа *С. Д. Шереметева* в «Русском архиве», 1901, III, 255.

достаточное основание для его обвинения в составлении и распространении пасквиля. Б. Л. Модзалевский, давший большой материал для отрицательной характеристики Долгорукова и высказавшийся за причастие его к фабрикации пасквиля, в конце концов опирался на эту характеристику и не указал объективных улик[1].

В конце концов из всех выдвинутых против Гагарина и Долгорукова соображений и обстоятельств наиболее веским, громко говорящим против них является их нахождение в кругу Геккерена. Молодые люди наглого разврата окружали посланника, и князья-друзья были из их числа, и, конечно, мы должны считать их в 1836 году в стане врагов Пушкина. Они принадлежали к золотой молодежи Петербурга. Об ее забавах и шалостях как раз в интересующий нас период рассказывает князь А. В. Трубецкой[2]: «В то время несколько шалунов из молодежи — между прочим Урусов, Опочинин, Строганов, мой cousin, — стали рассылать анонимные письма по мужьям-рогоносцам. В числе многих получил такое письмо и Пушкин». Характерно в этом сообщении то, что автор не видит ничего особенного в действиях шалунов из молодежи, что ему представляется рассылка пасквилей по мужьям-рогоносцам делом обыкновенным, в порядке вещей. Какой же низкий моральный уровень современного Пушкину света зафиксирован свидетельством князя Трубецкого! К сообщению князя А. В. Трубецкого надо добавить рассказ графа В. А. Соллогуба о пасквилях. Отъезжая из Петербурга в начале декабря 1836 года, граф Соллогуб зашел проститься с д'Аршиаком. «<Д'Аршиак> показал мне несколько печатных бланков с разными шутовскими дипломами на разные нелепые звания. Он рассказал мне, что венское общество целую зиму забавлялось рассылкою подобных мистификаций. Тут находился тоже печатный образец диплома, посланного Пушкину. Таким образом, гнусный шутник, причинивший его смерть, не выдумал даже своей шутки, а получил образец от какого-то члена дипломатического корпуса и списал»[3].

В такой атмосфере творили свое гнусное дело питомцы Геккерена. Но кто же списывал, кто писал пасквиль?

X.

III отделение в свое время разыскивало переписчиков пасквиля, но оно занималось розысками по понуждению, неохотно, без всякого рвения. Сохранилась в секретном досье III отделения «записка для памяти» графа Бенкендорфа следующего содержания (по-французски): «Некто Тибо, друг Россетти, служащий в Главном штабе, не он ли

---

[1] «Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина», стр. 13—49.

[2] См. выше, стр. 356.

[3] Воспоминания графа *В. А. Соллогуба.* Новые сведения... М., 1866, 56—60. Воспоминаниям графа В. А. Соллогуба очень повезло на Западе: появилось несколько переводов, французских и немецких. Так, см.: "Erinnerungen des Grafen *W. A. Sollohub,* 1884". Между прочим, см.: "La mort de Pouchkine" в "La Revue Nouvelle d'Alsace-Lorraine", 1884, № 4, 1 septembre. В моем собрании есть этот номер, пересланный мне А. Ф. Онегиным, а он получил его из самых убийственных рук Дантеса. «Статья о Дантесе, — записал на обложке номера Онегин, — тут им самим при мне разрезана!!! нервно пальцами!» На воспоминаниях Соллогуба и на общеизвестных документах основана статья маркиза де *Сегюра* "Le duel et la mort de Pouchkine" в его книге "Vieux dossiers — Petits Papiers". Paris, Calmann-Lévy.

написал гадости о Пушкине». Отделение заработало, выяснило, что в Главном штабе Тибо нет, а есть два Тибо на почтамте. Были доставлены почерки того и другого Тибо. А. С. Поляков по поводу жандармских розысков замечает: «Каковы были результаты расследования, чем оно закончилось, документы III отделения нам ничего не говорят. Подозрения, видимо, были напрасны, так как «дела» о Тибо не имеется, а Осипа Тибо и в следующем году мы также видим служащим в почтамте на той же должности». А. С. Поляков произвел собственные разыскания и указал еще на одного Тибо, Людвига, учителя французского языка Ларинской гимназии, но это уже неизвестно к чему[1]. Кто направил Бенкендорфа на след Тибо, неизвестно, но я думаю, инспиратор не имел в виду ни одного из названных Тибо. Вернее всего, это был m-r Тибо, упоминаемый и в записках А. О. Смирновой[2] и в письмах А. Н. Карамзина[3], воспитатель или гувернер в семье Карамзиных; конечно, это он был в приятельских отношениях с К. О. Россетом, братом А. О. Смирновой.

После неудачных диверсий в сторону Тибо III отделение попыталось еще поставить сличение почерка пасквиля с почерком Дантеса. Надо было затребовать русский почерк Дантеса, но Дантес как будто догадался об умысле и при собственноручном письме на французском языке препроводил адрес учителя русского языка, написанный рукою слуги[4]. Сохранилось и еще одно сообщение о розысках — в воспоминаниях Н. И. Иваницкого, бывшего в то время студентом университета. «Тайная полиция часто обращалась с этим письмом к нашему отставному профессору Бутырскому, не может ли он узнать по почерку этих писем, потому что под его руководством воспитывалось много молодых людей, и, следовательно, он мог примениться к разным почеркам. Но Бутырский, разумеется, не мог узнать. Я слышал это от Бутырского»[5]. III отделение в своих поисках шло по ложному следу и, производя розыски, точно отбывало какую-то тяжелую и неприятную повинность.

Только III отделение действительно могло получить какие-либо выводы о писцах пасквиля, потому что в его распоряжении был подлинный экземпляр пасквиля. Вне III отделения подлинных экземпляров не было; друзья Пушкина уничтожили анонимные письма, и пасквиль обращался только в копиях. Мы уже говорили о том, что Соболевский разыскивал подлинный экземпляр в 1861 году и не нашел. И он и В. А. Соллогуб возлагали большую надежду на результаты сличения почерков. Соллогуб утверждал: «Стоит только экспертам исследовать почерк, и имя настоящего убийцы Пушкина сделается известным на вечное презрение всему русскому народу. Это имя вертится у меня на языке, но пусть его отыщет и назовет не достоверная догадка, а божье правосудие».

Только во втором десятилетии двадцатого века были обнаружены подлинные экземпляры диплома, и только в 1927 году, через девяносто лет после событий, я мог поставить научную экспертизу почерков. Впервые на место достоверных догадок мы опираемся на объективные данные графического анализа, и впервые не божье правосудие, а судебный эксперт ленинградского Губсуда называет имя человека, чьей рукой

---

[1] А. С. Поляков, назв. соч., стр. 26—28, 84.
[2] «Русский архив», 1895, т. II, стр. 325, 453.
[3] «Старина и новизна». Книга 17-я. М., 1914, стр. 270, 283.
[4] А. С. Поляков, назв. соч., стр. 28—29.
[5] «Русский архив», 1909, т. III (№ 9), стр. 136.

написан диплом на звание рогоносца. Конечно, этому жалкому пасквильному герою мы не дадим эпитета «настоящий убийца Пушкина». Если даже возводить (чего мы не делаем) смерть Пушкина от ран на дуэли только к анонимным письмам, то и тогда мы должны сказать, что убийца был не один, что убийцей был целый коллектив, члены которого были объединены и спаяны общим пороком. В этом патологическом коллективе один играл роль руководителя, другие исполнителей. Одного из таких физических исполнителей мы можем назвать теперь без риска ошибки.

В конце июля 1927 года я обратился к известному ленинградскому специалисту, судебному эксперту и инспектору научно-технического бюро ленинградского губернского уголовного розыска А. А. Салькову и предложил ему произвести графическое исследование почерков на предъявленных мною документах, а предъявлены были следующие документы: 1—2) два подлинных экземпляра пасквиля, разосланного 4 ноября 1836 года; 3) конверт, в котором был прислан один из указанных экземпляров; 4) письмо посланника барона Геккерена к Жоржу Дантесу, то самое, которое было обнаружено в 1917 году в секретном архиве III отделения (о нем см. выше стр. 277); 5—6) письмо И. С. Гагарина к Н. И. Тургеневу с русским и французским текстом; 7) почтовый конверт с адресом, написанным рукой И. С. Гагарина; 8) письмо Гагарина к А. И. Тургеневу от 1 октября 1838 года; 9—10) два письма — одно с конвертом, — адресованные П. В. Анненкову и написанные кн. П. В. Долгоруковым; 11) письмо кн. П. В. Долгорукова от 24 октября 1864 года к Я. П. Полонскому; 12) конверт с адресом на имя Щербины, писанный рукой кн. П. В. Долгорукова; 13) факсимиле письма кн. П. В. Долгорукова к князю Воронцову от 4/16 июня 1856 года; и 14) факсимиле сфабрикованного кн. П. В. Долгоруковым анонимного письма, бывшего предметом разбирательства в гражданском суде департамента Сены в 1861—1862 году.

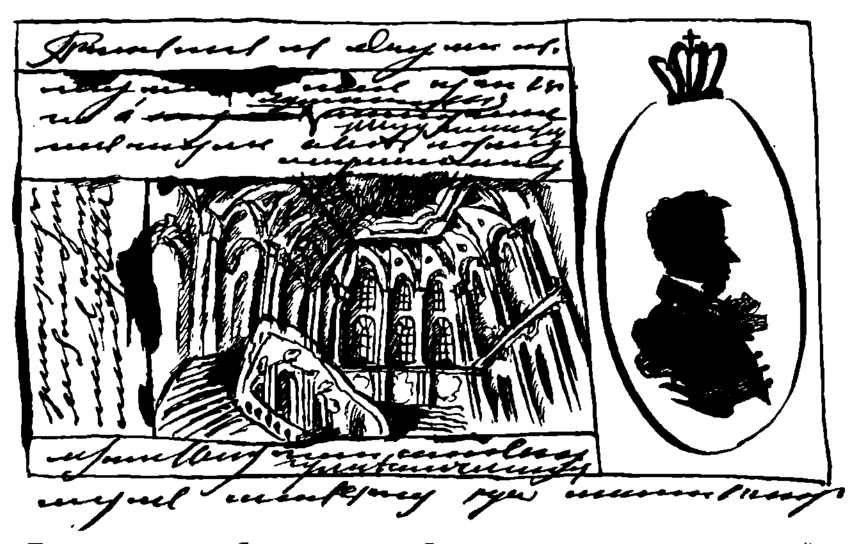
Таким образом, три человека были привлечены к следствию по делу о написании пасквилей: барон Луи Геккерен, князь Иван Сергеевич Гагарин и князь Петр Владимирович Долгоруков. В течение августа судебный эксперт производил изучение и сличение почерков этих лиц с почерком диплома. Результаты своего исследования он изложил в обширном «протоколе графической экспертизы почерка», который мы печатаем в полном виде в дополнении к нашей книге. Мы воспроизводим также и документы, обследованные экспертом. На них повторяющимися значками обозначены одинаковые буквы, указывающие на тождество почерка пасквиля и одного из трех достоверных почерков, подвергшихся экспертизе. Читатель имеет возможность лично проверить все утверждения экспертизы.

Привожу здесь заключение экспертизы: «На основании детального анализа почерков на данных мне анонимных пасквильных письмах об А. С. Пушкине и сличения этих почерков с образцами подлинного почерка князя Петра Владимировича Долгорукова в разные годы его жизни, а также с умышленно измененным почерком анонимного письма шантажного характера к князю Воронцову, в 1855 году, отождествленного с почерком князя Петра Владимировича Долгорукова экспертом Theophile Délarue в 1861 году в Париже, я, судебный эксперт, Алексей Андреевич Сальков, заключаю, что данные мне для экспертизы в подлинниках пасквильные письма об Александре Сергеевиче Пушкине в ноябре

1836 года написаны несомненно собственноручно князем Петром Владимировичем Долгоруковым».

XI.

Итак — князь Петр Владимирович Долгоруков! Имя называлось много раз, но всякий раз называвший делал оговорку, отказывался от категорического утверждения (даже кн. П. А. Вяземский). Теперь у нас есть фактические основания, чтобы пригвоздить имя этого князя к позорному столбу. Один из физических исполнителей найден, но повторяем, в этом гнусном деле участвовал коллектив. Долгоруков, конечно, не один.



Теперь уже мы обязаны вновь обратиться к личности князя, войти в рассуждение об его интеллектуальных качествах и выяснить мотивы его поведения в деле Пушкина.

Князь Долгоруков — на всем протяжении сознательной жизни — характерное и по временам комическое порождение фронды родовитого русского дворянства против самодержавия и узурпации так называемой династии Романовых. В эмигрантских кругах того времени Долгорукова в шутку называли претендентом на русский престол. А сам он всерьез считал себя таковым. Мы можем привести свидетельство современника о том, как в последние годы жизни в России князь Долгоруков без всяких стеснений среди дворян Чернского уезда Тульской губернии говорил: «Романовы узурпаторы, а если кому царствовать в России, так, конечно, мне, Долгорукову, прямому Рюриковичу»[1]. Действительно, Долгоруковы побивали своей генеалогией Романовых.

Не останавливаясь на предках князя Долгорукова, игравших громкую роль в XVIII веке, отметим его деда Петра Петровича, генерала-от-инфантерии, служившего, между прочим, московским губернатором и начальником Тульского оружейного завода. От брака его с Анастасией Семеновной Лаптевой было три сына: Владимир, Петр и Михаил, и две

---

[1] Со слов Н. В. Минина; ему рассказывал отец, чернский предводитель дворянства.

дочери: Елена (замужем за С. В. Толстым) и Мария (за Н. П. Римским-Корсаковым). Старший сын Владимир (1773—1817), отец нашего князя Петра, не сделал особо громкой военной карьеры: как говорят современники, его военным дарованиям не суждено было развернуться. Но два младших брата, Петр (1777—1806) и Михаил (1780—1808), были, тоже по словам современника, на редкость блестящих качеств и исключительного счастья. Петр, один из ближайших сотрудников Александра I в первые годы царствования, генерал-адъютант на 21 году жизни, был идеологом борьбы с Наполеоном, вел по поручению Александра переговоры с Наполеоном; Наполеон называл его дерзким повесой и жаловался, что он разговаривает с ним, как с боярином, которого решили сослать в Сибирь. Князь отличался самонадеянностью и вздорным своеволием. Современники приписывали проигрыш Аустерлицкого сражения его вмешательству в военные операции. Ему предстояла блестящая будущность, но он умер на 30 году жизни. Михаил Долгоруков — генерал-адъютант на 27 году жизни, блестящий представитель русской аристократии, прославленный подвигами бранными и любовными, увлекший сердце царской сестры Екатерины Павловны. Об этих дядьях князя Петра надо было сказать, потому что его детское воображение было поражено рассказами о их громкой, яркой карьере. Их слава была его путеводной звездой[1].

Петр Владимирович Долгоруков родился 27 декабря 1816 года. Этот день в то же время и день смерти его матери. Отец немного пережил свою жену; умер 24 ноября 1817 года. Единственный сын остался сиротой и воспитывался в Москве у своей бабушки Анастасии Семеновны, жившей в доме дочери М. П. Римской-Корсаковой[2]. 13 декабря 1817 года годовалый ребенок был определен пажом к высочайшему двору. 11 лет, в 1827 году, он был отвезен в Пажеский корпус, где и закончил свое образование. В 1831 году, 22 апреля, он был произведен в камер-пажи, но в этом же году с ним что-то стряслось, в чем-то он провинился, но мне не удалось разыскать в остатках архива Пажеского корпуса никаких данных о его проступке. По высочайшему повелению он был разжалован за дурное поведение и леность из камер-пажей в пажи.[3]. В чем состояло дурное поведение, остается невыясненным. Но проступок этот испортил всю карьеру Долгорукова и сказался при выпуске из корпуса. Пажеский корпус поставлял офицеров в самые привилегированные полки, а Долгоруков не только не попал в гвардию, но и не получил назначения по армии; он был выпущен к статским делам, да и то не с чином 10 класса, а только 12 класса. Хуже нельзя было кончить. Но этого мало: из Пажеского корпуса выдали ему аттестат, в котором было упомянуто и о разжаловании за дурное поведение в пажи, и о неспо-

---

[1] О Долгоруких см. книгу вел. кн. Николая Михайловича: «Князья Долгорукие». Биографич. очерки. 2-е изд. Спб., 1902.

[2] Д. Благово. «Рассказы бабушки». Спб., 1885, стр. 209.

[3] Высочайшее повеление было объявлено в предписании главного директора Пажеского и кадетских корпусов ген.-адъютанта Демидова от 9 авг. за № 3712; этого предписания в архиве корпуса не оказалось. А ведомости об успехах сохранились: между прочим, на 1 октября 1831 года Долгорукову был сбавлен балл за поведение, с 10 на 9, «за неточное исполнение обязанностей». Отметки Долгорукова: высшие баллы по закону божьему, истории (12), по российскому, французскому языку, статистике (11), низшие — по математике, алгебре, артиллерии (4). По строевой службе он был за младшего унтерофицера

собности к военной службе,—не аттестат, а прямо волчий паспорт[1]. Если такой аттестат выдали на руки Долгорукову, юноше, связанному родством с крупнейшими представителями знати, значит, его «поведение» было исключительно «дурным». Из товарищей по выпуску назовем А. О. Россета, брата известной приятельницы Пушкина А. О. Смирновой; кн. Сергея Васильевича Трубецкого, выпущенного в Кавалергардский полк, знаменитого повесу и соперника Николая Павловича по любовным делам, брата того самого А. В. Трубецкого, который оставил любопытный рассказ об отношениях Дантеса и Пушкина; Баранова, тверского губернатора и брата известного временщика при Александре II[2] Среди товарищей Долгорукова был и А. С. Маевский, о котором сам Долгоруков рассказывает: «Маевский был одарен обширными умственными способностями, энергиею и даром слова, но был характера бешеного и, к сожалению, был подвержен азиатскому пороку. Находясь адъютантом л.-гв. Литовского полка, он имел в 1840 году, из-за одного молодого барабанщика, гнусную ссору с офицером того же полка Разводовским и в припадке гнева, выхватив шпагу, нанес Разводовскому легкую рану» и т. д.[3] Вот какие взрывы дает иногда борьба на почве «астических» увлечений.

Аттестат Долгорукова, выданный Пажеским корпусом, послужил тяжким препятствием к службе у статских дел. Нужна была особая протекция для поступления на службу, и он нашел ее у С. С. Уварова, управлявшего министерством народного просвещения, того Уварова, которого ославил Пушкин в оде «На выздоровление Лукулла». 10 февраля 1834 года кн. Долгоруков обратился с просьбой об определении его по министерству народного просвещения. В тот же день Уваров положил резолюцию определить на службу с откомандированием в канцелярию министерства; в тот же день были выполнены все формальности[4], и Долгоруков был зачислен по ведомству Уварова без жалования. Очевидно, Долгоруков только числился и вряд ли нес какие-либо служеб-

---

[1] Можно судить, в какой мере соответствует действительности инспирированная в 1863 году Долгоруковым биографическая о нем справка Л. П. Блюммера в его брошюре «Разбор гражданского процесса кн. П. В. Долгорукова с кн. С. М. Воронцовым» (Лейпциг, стр. 67): «11 лет поступил Долгоруков в Пажеский корпус, по окончании курса в котором, вместо того, чтобы идти в императорские преторианцы, как это бывает сплошь и рядом, он занялся изучением родного края».

[2] Д. М. Левшин. «Пажеский е.и.в. корпус за сто лет». Спб., 1902, т. II. Приложение, стр. 287. В этой юбилейной истории, полной неточностей, история Долгорукова изложена следующим образом (т. I, стр. 423): «Камер-паж Петр Долгоруков с большими природными способностями, но односторонними и, получив дома довольно широкое образование в словесных науках (это по 11-му году жизни!), поступил в корпус прямо в третий класс, переведен во второй и произведен в камер-пажи еще при директоре ген.-лейт. Гогеле. Затем на первом экз. уже в присутствии ген.-ад. Кавелина и при отличных экз. по словесным наукам выказал весьма слабое знание по математике и военным наукам, что и было им замечено. Но кн. Д., оставаясь на 2 и 3 кам.-пажем, выказал соверш. пренебрежение к наукам военным и к мат. Г.-ад. Кав., не взирая на его обширное аристократическое родство и связи, представил его к выпуску в гражданскую службу, как пажа, только 12 класса, а не 10, как обыкновенно выпускались кам.-пажи». Но «дурное» поведение, в чем оно? В сочинении О. фон-Фреймана «Пажи за 185 лет с 1711 по 1896 год» (Спб., 1898, стр. 293) сообщены неверные сведения о Долгорукове.

[3] «Листок», издаваемый кн. П. В. Долгоруковым, 24 ноября 1863, № 15, стр. 117.

[4] Все данные о службе Долгорукова взяты из дел о нем в архивах мин. нар. просв., мин. вн. дел и мин. имп. двора.

ные обязанности[1]. В 1839 году он уж занимался генеалогией; по отношению канцелярии мин. нар. просв. от 28 апреля 1839 года был допущен в герольдию правительствующего сената и к осмотру книг дворянских родов.

Выйдя из Пажеского корпуса, Долгоруков по своему происхождению и родству не мог, конечно, не занять известное положение в свете, но все отзывы о нем сходятся: все отрицательны. Родственница его вспоминала впоследствии: «Умный человек, но очень резкий на язык, собой не хорош и прихрамывал (отсюда его прозвище bancal)». В 1834 году он еще не вышел из опеки и был просто восемнадцатилетний аристократ, который веселится так, как он хочет. Он тоже оказался среди молодежи, окружавшей барона Геккерена, и, следовательно, принадлежал к той же великосветской группировке по сходству противоестественных вкусов. Были уже цитированы показания на этот счет хорошо осведомленных свидетелей — кн. Вяземского и Н. М. Смирнова[2]. Мы можем добавить еще одно свидетельство о женоненавистничестве Долгорукова. Он женился в 1848 году на О. Д. Давыдовой; супружеская жизнь Долгорукова была сплошным скандалом; о непрерывных семейных ссорах (вплоть до избиений, совершаемых кн. Долгоруковым) даже и III отделению надоело слушать. И когда князю говорили, как он может оставлять в пренебрежении свою жену, красивую женщину, он отвечал (вспомним о чете Борх!): «Это кучерское дело»[3].

В 1836 году осенью, когда разыгралась семейная история Пушкина, Долгорукову еще не было полных 20 лет. Принял он участие в гнусной игре против Пушкина не по каким-либо личным отношениям к Пушкину (таких отношений мы не знаем), а просто потому, что, вращаясь в специфическом кругу барона Геккерена, не мог не принять участия в общих затеях. В мемуарной литературе сохранился рассказ В. Ф. Адлерберга о том, как зимою 1836—1837 гг. на одном из вечеров он увидел, как стоявший позади Пушкина молодой князь Долгоруков кому-то указывал на Дантеса и при этом поднимал вверх пальцы, растопыривая их рогами[4]. Действительно, молодой князь из Рюриковичей веселился, как хотел. И злобы у него на Пушкина никакой не было, а отчего не потешиться! Допустимо сделать предположение, что он-то и заострил диплом и направил намек в Николая, ибо никакой любви и преданности он не имел к царю, так жестоко обидевшему его и положившему конец его карьере. «Исторические» подробности, которыми изобилует диплом, выдают в авторе любителя истории, а таким и был князь П. В. Долгоруков.

Так объясняю я участие Долгорукова.

XII.

Собственно говоря, на этом моменте можно бы и расстаться с князем Долгоруковым в истории жизни Пушкина; но гнусное преступление, им

---

[1] Ежегодно Долгоруков получал отпуск, в 1834 году на три месяца, в 1835 году на четыре месяца, в 1836 году на 28 дней в Тульскую губернию с 31 июля 1836 года; в срок явился.

[2] Надо сопоставить и свидетельство графа М. Д. Бутурлина «о непочтительной фамильярности, с каковою обходились с Долгоруковым иные молодые люди и на которую он как бы не обращал внимания». — «Русск. арх.», 1901, т. III, стр. 410.

[3] Со слов Н. В. Минина.

[4] «Русский архив», 1892, т. II, стр. 489.

совершенное, заставляет меня войти в некоторые подробности к его характеристике.

Представитель древнейшего рода, плененный своей родословной, князь Долгоруков должен был поставить крест на своей карьере служебной. Самолюбие его было уязвлено раз навсегда. Чем были его дядья, любимцы царя, в его возрасте! А он только «числился» при министрах — сначала народного просвещения, а потом внутренних дел. По собственному его заявлению (1843 года) он «имел, невзирая на молодость свою, сознаниие умственных способностей, дарованных ему богом, и — может быть — не совсем обыкновенных». И при таком сознании никакого приложения способностям! В 1843 году с ним случилась неприятность, о которой скажем дальше, он был выслан в Вятку с предложением губернатору определить его на службу. По этому поводу Долгоруков обратился к графу Бенкендорфу с письмом: «Прошу у вашего сиятельства дозволения представить вам (и весьма бы мне желательно было видеть доведенным это до высочайшего сведения), что насчет определения моего на службу в Вятку, определение это нарушает закон о дворянстве, коим предоставлено каждому дворянину служить или не служить. Закон сей помещен в Своде Законов, изданном по повелению государя императора. Насчет ссылки моей за издание книги, наиполезнейшей для русского дворянства, покоряюсь без ропота воле бога и государя, и куда бы меня ни заточили, в Вятку ли, в Нерчинск ли, в крепость ли, хотя на всю жизнь, я всякое несчастие приму с покорностью, как тяжкое испытание, ниспосланное мне богом, а судить меня с государем будут бог и потомство!»

Как это ни странно, но письмо подействовало, и вятскому губернатору приказано было не считать его на службе. А когда в следующем году Долгорукову было разрешено оставить Вятку и посвятить себя службе по собственному выбору, Долгоруков отказался от службы и разъяснил Бенкендорфу мотивы своего решения: «За последние 30 лет повышать в чинах у нас стали гораздо медленнее, чем это было прежде. Теперь к 50 годам дослуживаются только до чина, до которого прежде можно было дослужиться в 30—40 лет. Из всех лиц, занимающих теперь высокие посты и пользующихся доверием его величества, семь из десяти сделали именно такую быструю карьеру и в 30 лет или около того были уже генералами или действ. статскими советниками. *Кроме того, я принадлежу ко второму разряду гражданского производства*[1] и даже за отличие могу быть повышен лишь раз в три года. Я могу поступить в службу только в чине IX класса (ибо в 1841 г. окончил срок службы в X классе). Мне 27 лет, и, следовательно, чин д. ст. советника я могу получить только 42 лет. Мой отец и мои дядья были генералами в 25 лет»[2].

Да, самолюбие Долгорукова было ущемлено навсегда, и он почитал себя кровно обиженным и монархом и его ближайшими слугами.

Долгорукову надо было компенсировать себя за крах служебной карьеры. С юношеских лет он находил удовольствие в генеалогических разысканиях. Обычно родословные разведки сухи и академичны, но Долгоруков придал им жизненную остроту и живость. Расследуя родословные первейших сановников российской империи, вскрывая тщательно укрываемые ими непочтенные подробности из истории воз-

---

[1] Эти слова и в оригинале написаны по-русски.

[2] М. К. Лемке. «Николаевские жандармы и литература». Спб., 1908, стр. 540 и 544.

вышения их родов, запоминая их настоящие действия в борьбе за чины и положение, Долгоруков нашел способ отмщения: Он понял, что знать боится оглашения гнусностей родовых и личных, и мечтой его стало опубликование собранных им материалов. В 1843 году он сделал первую попытку. В 1841 году он выехал за границу; в письме А. И. Тургенева к П. А. Вяземскому находим любопытное сообщение об его появлении в Париже: «Косолапый князь Долгоруков здесь; но у меня все будет в целости, ибо я не пущу его к себе»[1]. В Париже он напечатал в 1843 году под псевдонимом графа д'Альмагро небольшую книжку «Notice sur les familles de la Russie» и положил начало распубликованию исторических подробностей, весьма неприятных и для высшего дворянства и для самого царя[2]. «Эта брошюра, — доносил в III отделение Я. Н. Толстой, — весьма некстати изображает русское дворянство в самых гнусных красках, как гнездо крамольников и убийц... Это произведение проникнуто духом удивительного бесстыдства и распущенности... Автор имел нескромность говорить, что он будет просить у русского правительства места, соответствующего его уму и дарованиям... Он мечтает не более, не менее, как быть министром... Долгоруков думает, что его книга может служить пугалом, с помощью которого он добьется чего угодно»[3]. От Долгорукого потребовали немедленного возвращения на родину. Он повиновался: на пути из Берлина он написал прелюбопытное и не без хитрости письмо Николаю: «Не преступлением ли было бы со стороны истории, пишет он, потакать притязаниям фамилий, притязаниям часто нелепым до невероятности, или покрывать завесою равнодушного забвения гнусные воспоминания лихоимства и грабежа?.. Но высшей моей заслугой перед доблестным дворянством, к первому слою коего имею честь принадлежать по своему рождению, — было оклеймение памяти цареубийц!..» Не лишенное остроумия оправдание оказало влияние на Николая, и Долгоруков отделался кратковременной, годичной ссылкой в Вятку. Из Вятки Долгоруков приехал в Москву. Ю. Ф. Самарин писал в 1844 году по поводу его появления в Москве в кругу Аксаковых: «Сколько из этого выйдет драматических столкновений и смешных положений. Долгоруков думает поселиться в Москве; он держит себя точно так, как держал себя Валенштейн в опале. Признаюсь, что мысль, что я избавлюсь от его дружбы и частых посещений, одна утешает меня при отъезде из Москвы»[4].

Долгоруков обратился к занятиям по генеалогии: после «Российского родословного сборника», вышедшего еще в 1840—1841 гг., он засел за огромную «Российскую родословную книгу». Четыре ее тома появились в 1855—1857 годах. Труд его признается выдающимся в области генеалогии и до сих пор не утратил своей ценности. Но, работая и публикуя свои работы в России, Долгоруков, конечно, не мог использовать собранные им генеалогические материалы обличительного характера в силу цен-

---

[1] Остафьевский архив кн. Вяземских, т. IV, 1898 г., стр. 132.

[2] О роде Пушкиных в этой книге Долгоруков сообщает (стр. 76): дом Пушкиных дал много бояр в 17 веке, а в 19-м он дал поэта, самого национального, какой когда-либо был в России, — знаменитого Пушкина, имя которого составит эпоху в русской литературе. Перечень положительных упоминаний о Пушкине в "Mémoirs" Долгорукова дан Б. Л. Модзалевским в названной статье, стр. 39—40, прим.

[3] М. К. Лемке. Николаевские жандармы, назв. соч., стр. 530. Здесь все подробности о деле по поводу издания книги.

[4] «Русский архив», т. II, стр. 329.

зурных условий. Закончив четырехтомный труд и томимый жаждой славы, известности, Долгоруков в 1859 году оставил без разрешения и паспорта Россию и появился за границей в роли политического эмигранта и журналиста. В апреле 1860 года он выпустил свой памфлет на французском языке под заглавием «La vérité sur la Russie», а в сентябре начал редактировать журнал «Будущность», заполняя его преимущественно своими статьями. В 1862 по прекращении «Будущности» Долгоруков начал издавать журнал «Правдивый» (Le Véridique), сначала на русском, а потом на французском языке. В 1862—1864 гг. он издавал третий свой журнал «Листок». Во всех этих журналах привлекали внимание не публицистические статьи, доказывавшие необходимость для России конституционной монархии с двухпалатной системой, а многочисленные биографические очерки министров и сановников государства. Написанные с знанием дела, с желчной иронией и злостью, очерки рисовали картины глубокого развращения и падения правящих слоев России. Нельзя не пожалеть о том, что все эти материалы не сделались достоянием исследователей и не вошли в научный оборот. Само собой, эта деятельность Долгорукова вызвала величайшее раздражение и озлобление в русских правительственных сферах. Некоторое время Долгоруков, должно быть, чувствовал удовлетворение.

XIII.

Процессу князя М. С. Воронцова против князя П. В. Долгорукова надо уделить особое внимание: во-первых, сам Долгоруков ставил в связь с ним возникновение «клеветы» на него по делу об анонимном письме, полученном Пушкиным; во-вторых, процесс этот дает чрезвычайно важный материал для характеристики князя. Не забираясь в подробности, для моей цели не важные, изложу основные моменты процесса и приведу документы, некоторые из которых были подвергнуты экспертизе по нашему заданию в 1927 году.

4(16) июня 1856 года кн. П. В. Долгоруков обратился к фельдмаршалу князю М. С. Воронцову с письмом, французский подлинный текст которого воспроизведен в нашей книге факсимиле, а русский перевод предлагается вниманию читателей:

Светлейший князь,

Я доканчиваю теперь четвертую часть своей Родословной книги; в эту часть войдут Вельяминовы, а следовательно, и древние Воронцовы. Я тщательно пересматриваю бумаги, присланные мне вашею светлостию, и доселе не мог доискаться ни в древних актах, ни в летописях доказательств подлинности этих бумаг. Чувства уважения и благоговения, какие я питаю к Вашей светлости, крайне усладили бы для меня удовольствие угодить Вам, но я вынужден буду напечатать статью совсем не в том виде, как Вы бы желали, если Вы не поспешите прислать мне дополнительных документов, которые, выяснив темные места, могли бы устранить все затруднения.

Время идет, время идет: надо поторопиться высылкою документов. Я пробуду в деревне до первых чисел сентября. Мой адрес следующий... Тульской губернии в город Чернь.

Прошу Вашу светлость принять уверение в глубоком почтении и искренней преданности, с какими имею честь пребыть

Вашим покорнейшим слугою
князь Петр Долгоруков.

Письмо Долгорукова нашло Воронцова на водах в Вильдбаде. Когда Воронцов в присутствии жены и знакомых вскрыл конверт, в нем, кроме письма, только что процитированного, оказалась еще записка на французском языке, без подписи, писанная явно измененным почерком. Подлинный ее текст факсимилирован в нашей книге. Даем здесь перевод:

«Его светлость князь Воронцов обладает верным средством побудить к напечатанию своей генеалогии в Российской родословной книге в том виде, как ему угодно: средство это — подарить князю Долгорукову 50 000 рублей серебром; тогда все сделается по его желанию. Но времени терять не должно».

Через день по получении двойного письма Воронцов ответил Долгорукову:

«Ваше сиятельство.

Спешу ответить на письмо, которым Вам угодно было почтить меня, от 4(16) июня. Вы требуете от меня документов в дополнение к переданным Вам мною в Петербурге и которые я почитал достаточным доказательством того, что нынешние Воронцовы одного рода с прежними и происходят по прямой линии от тех, которые играли в нашей истории важную роль до разгромления их царем Иоанном Васильевичем. Рассмотрев эти документы, Вы мне откровенно сказали, что они не вполне удостоверяют Вас в том, что, напротив, нам представляется совершенно ясным, но что, для соблюдения справедливости в этом спорном вопросе, Вы напечатаете в ближайшем томе вашего сочинения все, что я вам сообщил, предоставляя окончательный суд публике. Теперь Вы спрашиваете у меня еще новых документов, которых я никак не могу иметь, особенно здесь в Вильдбаде, и настаиваете, чтоб я сделал это тотчас же, потому что Вы готовитесь издать свой четвертый том, где будет говориться о Вельяминовых, а следовательно, и о так называемых вами древних Воронцовых. От вас зависит сделать в этом случае что угодно; но как я верю в подлинность переданных Вам документов и как мне не хотелось бы, чтобы каждый говорил без дальних справок, что нынешние Воронцовы, совсем не те, что древние, и что мы происходим от какого-нибудь побродяги, который только лет за полтораста тому назад принял имя рода, к которому сам вовсе не принадлежал, то я оговариваю свое право протестовать публикацией с своей стороны, чтобы передать спор наш на суд публики. Позвольте мне между тем поблагодарить Вас за труды по всему этому делу, жалею только, что Вы не находите возможным сдержать данное мне обещание насчет напечатания моих документов рядом с теми, которые Вы прежде получили о нашем роде, причем Вы были властны не произносить об этом своего решительного мнения, предоставляя публике рассудить нас.

Прошу принять уверение в чувствах моего особенного к Вам уважения.

P. S. К великому моему удивлению, я нашел в Вашем письме записку без подписи, и руки, как мне кажется, не сходной с вашей. Посылаю Вам с нее копию. Вам, может быть, удастся разузнать, кто осмелился вложить подобную записку в письмо, запечатанное Вами и Вашею печатью. Подлинник счел нужным приберечь вместе с письмом, которым Вы меня почтили, а при свидании я готов вручить Вам эту записку, если Вы, может статься, захотите воспользоваться ею для открытия писавшего».

В маленькой приписке и заключен весь яд. Конечно, в изысканно вежливых фразах постскриптума («записка без подписи и руки, как кажется, не Вашей») никак нельзя усмотреть, что князь Воронцов не считал записку не писанной рукой Долгорукова, как впоследствии утверждал последний. Обвинение было предъявлено определенно, и Долгорукову было предложено избрать способ реакции. И как же реагировал Долгоруков? 16 (28) июля 1856 года он ответил Воронцову:

«Светлейший князь,

Я имел честь получить ваше письмо из Вильдбада от 27 июня (9 июля). Я был изумлен, узнав из этого письма, что Вы нашли в моем записку неизвестной руки, и, пробегая присланную Вами копию этой записки, я бы очень полюбопытствовал узнать, кто осмелился дозволить себе эту дерзкую проделку, этот поступок, которому нет названия!

Но возвратимся к родословному вопросу, о котором каждый из нас думает по-своему. Вы говорите в своем письме, что по выходе, зимою, четвертой части моей Родословной книги Вы напечатаете протестацию. Это совершенно справедливо: каждый имеет право протестовать против печатного сочинения. Но, когда однажды начнется эта полемика, я, в свою очередь, предоставляю себе отвечать контр-протестацией, основанной на фактах и неопровержимых доказательствах. Публика произнесет свой суд.

Прошу Ваше сиятельство благосклонно принять уверение в моем уважении.

Князь Петр Долгоруков».

Этим письмом заканчиваются все сношения князей Воронцова и Долгорукова по прискорбному случаю анонимной шантажной записки. В ноябре 1856 года Воронцов умер, и дело казалось похороненным так же, как в свое время было похоронено и дело об анонимном пасквиле. Но прошло несколько лет, Долгоруков эмигрировал за границу, начал здесь свой поход против русского правительства и аристократии и в 1870 году напечатал по-французски: «La vérité sur la Russie». 29 апреля 1870 года в «Courrier de Dimanche» появилась заметка об этой книге за подписью А. В. Мишенского; в ней находится и следующее глухое упоминание об инциденте Воронцов — Долгоруков: «Несколько времени тому назад мы были намерены подвергнуть критике работу, которая представляла на первый взгляд большой интерес. Содержание ее — генеалогическая история аристократических фамилий иностранной земли, но нам предъявили письмо автора к одному из высокопоставленных лиц, чья генеалогия должна была войти в одну книгу. Письмо это заключало категорическое предложение дать авансу 50 000 р., за что он принимал обязательство уничтожить документы, находившиеся, по его словам, в его распоряжении и дававшие основание к подозрению происхождения и прямых предков лица, которому было адресовано это предложение». Хотя в этой тираде не было сообщено ни одного имени, ни названия книги, Долгоруков поднял перчатку и выступил с письмом, помещенным в том же «Courrier de Dimanche» 6 мая 1860 года.

Здесь он прямо берет на свой счет намек, оскорбительный для его чести, и говорит, что обвинение основано на гнуснейшей клевете и на самом наглом подлоге, возможном только в такой стране, как Россия. Затем он рассказывает сношения свои с покойным фельдмаршалом, князем М. С. Воронцовым, по поводу помещения в издававшейся

Долгоруковым Родословной книге генеалогии древних бояр Воронцовых, от которых фельдмаршал производил свой род. По словам Долгорукова, он, после долгого и тщетного ожидания обещанных ему документов, только из вежливости написал фельдмаршалу, что, к прискорбию, не может исполнить его желания, так как до сих пор не имел случая видеть известных документов. «Представьте же себе мое изумление и негодование,—прибавляет он,—когда я получил от фельдмаршала оскорбительное для меня известие, будто в письме моем он нашел записку другой руки, которою его вызывали прислать мне 50 000. Раздраженный, я отвечал фельдмаршалу невежливым письмом, требуя предъявления подлинника этой записки. Я хотел начать судебное следствие и, не допуская мысли, чтоб старый воин мог изменить в этом случае долгу чести, напрасно ожидал ответа несколько недель». Князь Долгоруков рассказывает потом, как бесполезны были старания его у высших властей вызвать законное следствие по делу с «андреевским кавалером и фельдмаршалом», и заключает выходкой, что «на человека, сильного при дворе, в России никогда не найти ни суда, ни расправы».

Долгоруков просчитался. Сын покойного Воронцова князь Семен Михайлович привлек Долгорукова к суду Сенского департамента (по месту жительства ответчика) за клевету и просил суд: 1) удостоверить тождественный почерк письма кн. Долгорукова и анонимной шантажной записки, оказавшейся при письме, 2) обязать напечатать приговор в периодических изданиях и 3) взыскать протори и убытки по определению суда.

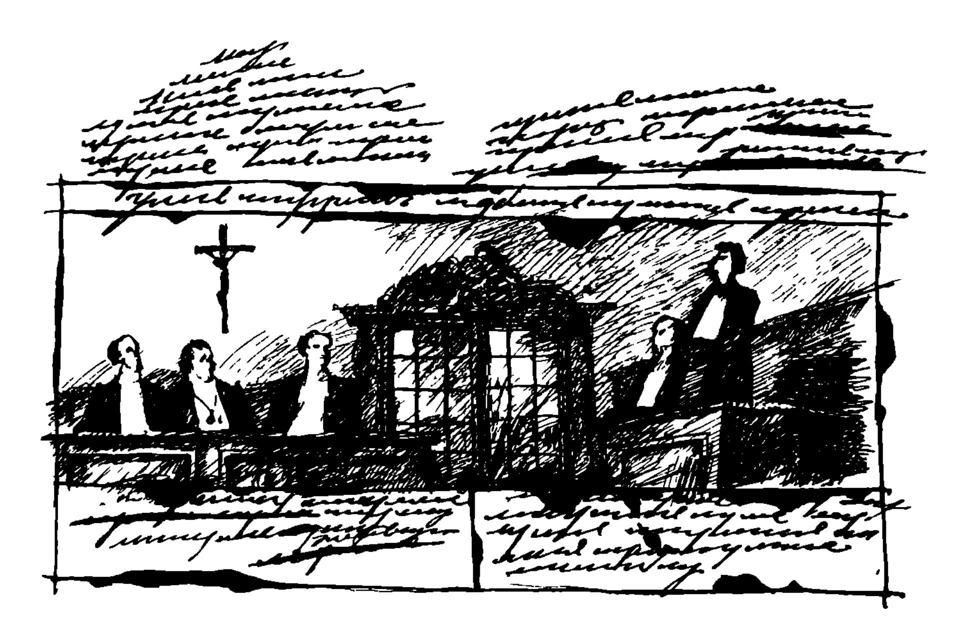
Дело разбиралось в нескольких заседаниях в декабре 1860 и январе 1861 г. Со стороны Воронцова выступал адвокат Матье, со стороны Долгорукова—Мари; экспертизу документов производил эксперт императорского двора Деларю. 3 января 1861 года суд вынес приговор, которым все требования Воронцова были удовлетворены. Долгоруков был признан автором шантажного письма[1].

Скандальный процесс двух русских князей привлек к себе необычайное внимание как за границей, так и в России. Сенатор К. Н. Лебедев в своих записках характеризовал итог процесса: «Процесс Долгорукова кончился. Он признан виновным. Итак, доказано, что князья Воронцовы не древние Воронцовы и что древний Долгоруков нанимался сделать их древними. Стоило для этого таскаться в Париж и раскладывать на весь свет наши мелкие притязания и наши грубые мерзости»[2]. Но, хотя процесс и наносил компрометацию имени Долгорукова, все-таки всеобщего доверия приговор французского суда не получил. Долгоруков не сдавался и повел дело, подобно обвиненному регенту в известном рассказе Чехова: когда регента осудил судья, он объявил его подкупленным чиновником и перенес дело в съезд, а затем он обвинил съезд в том, что и он подкуплен, и собирался найти управу и на съезд. Долгоруков, затемняя лично им совершенные факты, намекал очень прозрачно, что

---

[1] Процесс Воронцова—Долгорукова породил обширную литературу, перечисленную в статье М. К. Лемке («Былое», 1907, III, 173) и Б. Л.. Модзалевского (Новые материалы... Назв. соч., стр. 18). Я пользуюсь изданием: “Procès du prince Woronzow contre le prince Pierre Dolgoroukow”, Leipzig, 1862 и выдержкой из него «Дело кн. М. С. Воронцова против князя Долгорукова и против журнала “Courrier de Dimanche”. Москва, 1862.

[2] Русский архив, 1911, февраль, стр. 234.



французский суд пристрастен и лицеприятен в силу близких связей Воронцова с высокопоставленными французскими бюрократами и в том числе с графом Морни, президентом законодательного корпуса. Долгоруков доказывал, что его процесс является актом мести со стороны русского правительства и русской знати за те разоблачения, которые он делал. Долгоруков считался политическим эмигрантом, жертвой преследований III отделения, и позиция, занятая им, была ему чрезвычайно выгодна. И Герцен должен был оказать ему защиту. В «Колоколе» от 15 января 1862 года он напечатал следующую заметку: «До нас доходят крики радости русской аристократической сволочи, живущей в Париже, о том, что, натянувши всевозможные влияния, им удалось получить какое-то бессмысленное осуждение кн. Долгорукова. Не знаем, насколько прилична или неприлична эта радость, — нравы передней нам мало знакомы, — но что французским юристам не до смеха от такого приговора, в этом мы уверены. Процесс этот делает своего рода черту в их традиции. Независимее от положительных доказательств суд редко поступал вне той страны, в которой судьи избираются из русской аристократической сволочи, живущей в России»[1].

Этой заметке нельзя отказать в известной доле сдержанности. И. С. Тургенев, прочитав ее, писал Герцену: «Ты поступишь благоразумно, если не прикоснешься более ни единым пальцем до всего этого дела. Долгоруков (между нами) нравственно погиб и едва ли не поделом, ты сделал все, что мог в «Колоколе»; надо было его поддержать в силу принципа, а теперь предоставь его своей судьбе. Он будет к тебе лезть в самую глотку, но ты отхаркаешься. Нечего говорить, что

[1] Герцен. Полн. собр. соч., ред. М. К Лемке, т. XV, стр. 23.

Воронцовых тебе не из чего поддерживать; превратись в Юпитера, до которого все эти дрязги не должны доходить»[1].

Возможно, что резкое отношение Тургенева объясняется некоторыми личностями, но, разбираясь в настоящее время в следственных материалах долгоруковского процесса со всевозможной объективностью, мы должны признать суждение французского суда справедливым и экспертизу французского эксперта правильной. Конечно, шантажное письмо написал кн. Долгоруков, и никто другой. Позволю себе привести одно соображение о мотивах его поступка. На суде адвокат Долгорукова говорил, что его клиент человек состоятельный и что на 50 000 он не польстится. Корыстный мотив, единственно объясняющий шантаж, представлялся весьма сомнительным защитникам Долгорукова. Но если исходить из известных нам биографических данных о характере Долгорукова, человека вздорного, неуживчивого, ёрника, обделенного судьбой злеца и завистника, то, конечно, не корысть мы должны предполагать в мотивах его действий, а провокационные вожделения скандала. Не денег жаждал от фельдмаршала Долгоруков, а только согласие на уплату: его было бы достаточно, чтобы Воронцов был скомпрометирован грандиознейшим образом. Но Воронцов не побоялся шантажа, и Долгоруков затих.

XIV.

Разоблачения князя Долгорукова на французском процессе, объявление его автором шантажного письма заставило, наконец, и друзей Пушкина назвать, наконец, вслух то имя, которое они повторяли в беседах между собой. Имя Долгорукова было названо в 1863 году Аммосовым со слов Данзаса. Со стороны Долгорукова последовало опровержение. Оно было напечатано в «Колоколе» от 1 февраля 1863 года с следующим предисловием редакции, т. е. Герцена: «Мы получили от кн. П. В. Долгорукова следующее письмо, посланное им в „Современник“. Что же, издатель „Дня“ и тут удивится, зачем Долгоруков желает, чтоб его письмо было напечатано именно в „Современнике“? Довольно, что правительство конфискует имения отсутствующих, — конфисковать право ответа было бы из рук вон. Мы уверены, что письмо кн. Долгорукова будет напечатано»[2].

Опасения Герцена и Долгорукова были напрасны: письмо было напечатано и в «Современнике». Выше на стр. 400 мы привели полный текст оправдания Долгорукова. Анализируя его содержание, мы должны различать в нем две части: первая — декларативная — объявляет клеветой обвинение Долгорукова и Гагарина в соучастии в гнусном деле; вторая дает несколько фактических указаний, которые, по мнению Долгорукова, свидетельствуют в его пользу. Долгоруков взывает к свидетелям — и прежде всего к Данзасу: «Не могу верить, чтобы г. Данзас обвинял Гагарина и меня. Я познакомился с г. Данзасом в 1840 г., через три года после смерти его знаменитого друга, и знакомство наше продолжалось до выезда моего из России в 1859 году, т. е. 19 лет. Г. Данзас не

---

[1] Герцен, т. XV, стр. 51—52. Тургенев отзывался о Долгорукове весьма резко. Так, в письме к М. А. Марко-Вовчок от 31 августа 1862 г. из Берлина: «К сожалению, он (неизвестный, встретившийся в Бадене) глуп, как... как кн. П. В. Долгоруков. Сильнее сравнения я не знаю». — «Минувшие годы», 1908, № 8, стр. 96.

[2] Герцен, т. XVI, стр. 428.

стал бы знакомиться с убийцею Пушкина, и не он, конечно, подучил бы г. Аммосова напечатать эту клевету». Быть может, факты, указанные Долгоруковым, и верны, но из них еще нельзя сделать вывода в его пользу. И вот соображение, которое говорит против него. К. К. Данзас был жив. когда появилась книжка Аммосова; был жив, когда опубликовано было оправдание с этим самым обращением по его адресу, но ни в это время, ни позже (умер Данзас 3 февраля 1870 года) он не выступил ни с какими опровержениями рассказа Аммосова. Рассказы Данзаса слушал не один Аммосов; в 1840 году — значит, в тот самый год, когда познакомился с ним Долгоруков[1], — в имении князей Голицыных Никольском он рассказывал историю дуэли Пушкина среди других слушателей и Фридриху Боденштедту и составителями анонимных писем назвал князей Гагарина и Долгорукова[2].

---

[1] Данзас, служивший на Кавказе, имел отпуск в 1840 году с 20 января на 4 месяца, просрочил его и возвратился 1 декабря 1840 года. См.: Г. Гастфрейнд. Товарищи Пушкина по Лицею. Т. III. Спб., 1913, стр. 332.

[2] К сожалению, несмотря на старанья, не удалось собрать сведений о книжке Аммосова, ни о процессе составления этой книжки, ни о самом составителе. Из рецензии на книгу, появившейся в «Современнике» (том 96, 1863 год, № 6, стр. 318), узнаем, что составитель книги — некий г-н Аммосов, «имя которого встречалось под двумя или тремя убогими стихотворениями». Почему именно Аммосов был близок к Данзасу, в шестидесятых годах уже отставному генерал-майору, жившему только на пенсию, в бедности, и в какой мере можно считать авторизованной запись Аммосова — вопросы, на которые не можем дать ответа. Во всяком случае, повторяем, книга вышла в 63 году. Данзас умер в 70 году, и за семилетний период он не выступил в печати ни с какими замечаниями по поводу неправильностей и неточностей воспроизведения его воспоминаний. Один из слушателей Данзаса в 1840 году Фридрих Боденштедт, впоследствии известный переводчик русских писателей, а в то время учитель в семье кн. Голицыных в Никольском под Москвой, в своих воспоминаниях передает существенное из рассказа Данзаса, «произведшего на него сильное впечатление» (Erinnerungen aus meinem Leben von Friedrich Bodenstedt; 2-te Auflage. Berlin, 1888, B. 1, S. 161–178). При ближайшем рассмотрении записи Боденштедта оказывается, что он, воспроизводя свои воспоминания, пользовался книгой Аммосова, очевидно, в целях уточнения своих воспоминаний, и перевел на немецкий язык все существенное из этой книги, приложив к переводу и французские тексты дуэльных документов, появившиеся в 1863 году в книге Аммосова. Таким образом, мы лишены возможности путем сравнения записи Боденштедта и записи Аммосова восстановить общий источник — подлинный рассказ Данзаса.

Отметим для целей пушкиноведения не вошедшие в научный оборот фактические данные как в помянутой рецензии «Современника», так и в воспоминаниях Ф. Боденштедта. В рецензии — две подробности: 1) «Автором пасквиля Пушкин подозревал Геккерена-отца «по сходству почерка» и, как мы слышали, еще потому, что некоторые из читавших записки признавали, что они писались на той самой бумаге, которая употреблялась в голландском посольстве» (стр. 318) и 2) «Мы слышали, что ген. Да́нзас видел в ту ночь во сне, что Пушкин умер, и сам спешил к нему, чтобы узнать, не случилось ли с ним что-нибудь» (стр. 323). Из воспоминаний Боденштедта даем характеристику барона Луи Геккерена: «Случай свел меня со старым бароном Геккереном в середине шестидесятых годов, в Вене, куда я прибыл на несколько недель из Мюнхена, вскоре после смерти короля Максимилиана; я встретил его у баварского посланника графа Брея, которому я нанес визит, но наша встреча была крайне непродолжительной: самый звук моего имени, произнесенного при представлении, казалось, отпугивал старого грешника, которому, как это я узнал позже от графа Брея, не осталось неизвестным мое упоминание о нем в предисловии к моему переводу Пушкина. Мне, однако, было очень любопытно посмотреть на него. Он держал себя с той непринужденностью, которая обыкновенно вызывается

Но ссылкой на Данзаса Долгоруков не ограничивается. «Г. Аммосову неизвестно, что я находился в дружеских сношениях с друзьями Пушкина: гр. М. Ю. Виельгорским, гр. Г. А. Строгановым, кн. Горчаковым, кн. П. А. Вяземским, П. А. Валуевым; с первыми двумя до самой кончины их, с тремя последними до выезда моего из России в 1859 году. Г. Аммосову неизвестно, что уже после смерти Пушкина я познакомился с его отцом, с его родным братом и находился в знакомстве с ними до самой смерти их». Из числа друзей Пушкина, поименованных Долгоруковым, исключим князя А. М. Горчакова — недружелюбие его к лицейскому товарищу Пушкина засвидетельствовано, — графа Г. А. Строганова — исключительно приязненное его отношение к семье Геккеренов известно нам из опубликованных в нашей книге материалов — и П. А. Валуева вряд ли Пушкин мог считать своим другом 22-летнего камер-юнкера, делавшего карьеру. 22 мая 1836 года Валуев женился на дочери кн. П. А. Вяземского Марье Петровне. «Валуев уже тогда имел церемониймейстерские приемы и жил игрой, потому что ни жена, ни он не имели состояния», — вспоминала А. О. Смирнова[1]. Семью Валуевых нельзя считать дружественной Пушкину. На Валуеву и Валуева указывал Жорж Дантес-Геккерен как на свидетелей в своем деле против Пушкина[2]. О том, как смотрел кн. П. А. Вяземский на князя Долгорукова, мы знаем из его записи: «Не доказано еще (составление пасквиля Долгоруковым), хотя Долгоруков и был в состоянии сделать эту гнусность». Эти слова написаны Вяземским по смерти Долгорукова. О существовании подозрений именно на Долгорукова у графа Виельгорского и Льва Пушкина мы узнаем из воспоминаний добросовестного свидетеля барона Ф. Бюлера: «В 1840-х годах, в одну из литературно-музыкальных суббот у князя В. Ф. Одоевского, мне случилось засидеться до того, что я остался в его кабинете сам четверт с графом Михаилом Юрьевичем Виельгорским и Львом Сергеевичем Пушкиным, известным в свое время под названием Левушки. Он тогда только что прибыл с Кавказа, в общеармейском кавалерийском мундире с майорскими эполетами. Чертами лица и кудрявыми (хотя и русыми) волосами он несколько напоминал своего брата, но ростом был меньше его. Подали ужин, и тут-то Левушка в первый раз узнал из подробного, в высшей степени занимательного рассказа графа Виельгорского все коварные подстрекания, которые довели брата его до дуэли. Передавать в печати слышанное тогда мною и теперь еще неудобно. Скажу только, что известный

богатством и высоким положением, и его высокой, худой и узкоплечей фигуре нельзя было отказать в известной ловкости. Он носил темный сюртук, застегнутый до самой его худой шеи. Сзади он мог показаться седым квакером, но достаточно было заглянуть ему в лицо, еще довольно свежее, несмотря на седину редких волос, чтобы убедиться в том, что перед вами прожженный жуир. Он не представлял собой приятного зрелища с бегающими глазами и окаменевшими чертами лица. Весь облик тщательно застегнутого на все пуговицы дипломата, причинившего такие бедствия своим интриганством и болтливостью, производил каучукообразной подвижностью самое отталкивающее впечатление. Духовное ничтожество Геккерена явствует из письма, написанного им Пушкину незадолго до дуэли между этим последним и его приемным сыном» (стр. 169—170).

[1] Русский архив, 1895, т. II, 325.

[2] См. выше, стр. 266—267.

впоследствии писатель-генеалог князь П. В. Долгоруков был тут поименован в числе авторов возбудительных подметных писем»[1].

Последняя ссылка — на Л. В. Дубельта, управлявшего III отделением и при допросе Долгорукова в 1843 году по совсем иному поводу не спросившего его об авторстве пасквиля — наивно несостоятельна и на разборе ее останавливаться не стоит. Вот и вся фактическая часть оправдания Долгорукова.

XV.

Один из трех слушателей рассказа графа Виельгорского о дуэли и о кн. Долгорукове, составителе подметных писем, кн. В. Ф. Одоевский оставил и свое свидетельство об этом князе, до сих пор в литературе неизвестное. Позволю себе остановиться на инциденте Долгоруков — Одоевский несколько подробнее.

В 1860 году в № 1 своего журнала «Будущность», вышедшем 15 сентября, Долгоруков напечатал статейку «Министр С. С. Ланской». В примечании Долгоруков дал язвительнейшую характеристику князя В. Ф. Одоевского, женатого на Ольге Степановне Ланской, сестре министра Сергея Степановича. До Одоевского сначала дошли только слухи об этой выходке. В октябре месяце 1860 года он записал в своем журнале[2]: «Говорят, что в журнале кн. Долгорукова (bancal) „Будущность" он объявляет, что я сделался придворным царедворцем, но, впрочем, не по моей вине, но по самолюбию жены! — что Серг. Степ. проиграл все свое состояние на девицах и румянах».

Но, наконец, он и сам прочитал и статью, и примечание, посвященное ему. Оно возмутило и взорвало Одоевского. Он переписал в дневник текст статейки и, переписывая, в скобках в своих замечаниях дал выход чувству гнева, им овладевшему. Привожу полностью запись Одоевского: разрядкой <курсивом. — *Я. Л.*> набраны слова, им подчеркнутые, а в скобках приписки к тексту самого Одоевского:

«В «Будущности» кн. Петра Долгорукова (1860, № 1 — сент. 15) посвящена мне следующая любопытная статейка (стр. 6 в прим.):

«Князь Одоевский, ныне единственный и весьма жалкий представитель древнего и знаменитого рода князей Одоевских, личность довольно забавная! В юности своей он жил в Москве, усердно изучал немецкую философию; *кропал плохие стихи* (неповинен). Производил неудачные химические опыты (т. е. учился химии) и беспрестанным упражнением в музыке терзал слух всем своим знакомым. В весьма молодых летах он женился на Ольге Степановне Ланской, старше его несколькими годами, женщине крайне честолюбивой (!). Она перевезла мужа в Петербург и до такой степени приохотила его к *петербургским слабостям и мелким проискам* (!), что при пожаловании

---

[1] Русский архив, 1895, т. II, стр. 204. К ссылке Долгорукова на родственников Пушкина добавим еще свидетельство дочери Пушкина графини Н. А. Меренберг о том, что мать ее, Наталья Николаевна, считала авторами подметных писем Долгорукова в первую очередь, а Гагарина во вторую. См. «Новые материалы о дуэли Пушкина», назв. соч., стр. 128—129.

[2] Госуд. Публ. библиотека. Бумаги В. Ф. Одоевского, сборник № 15, журнал 1859—1864 гг.

своем в каммер-юнкера, Одоевский пришел в восторг столь непомерный, что начальник его тогдашний министр юстиции Дашков (никогда в юстиции не служил), человек весьма умный, сказал: *вот, однако, к чему приводит немецкая философия!* (Экий вздор — я не ожидал моего камер-юнкерства и когда выразил мое удивление Дашкову, он мне сказал: que voulez vous – c'est une convenance.) Одоевский бросался на все занятия (виноват); давал музыкальные вечера (которые брали приступом); писал скучные повести (может быть, только их нет уже в торговле и все они переведены на все языки) и чего уже не делал (даже не пускал к себе в переднюю



таких негодяев, как Петр Долгорукий)! По выходе его пестрых сказок знаменитый Пушкин (*тот самый, к которому анонимные письма писал тот же Долгорукий, бывшие причиной дуэли*) спросил у него (я тогда вовсе и не был еще знаком с Пушкиным): «Когда выйдет вторая книжка твоих сказок?» (мы с Пушкиным были на вы). «Нескоро, — отвечал Одоевский, — ведь писать не легко!» — «А коли трудно — зачем же ты пишешь?» — возразил Пушкин (такого разговора не было вовсе—и не могло быть,—Пушкин сам писал с большим трудом, в чем сам сознавался и чему доказательства его черновые стихотворения, — Пушкин уважал меня и весьма дорожил моими сочинениями, и печатал их с признательностью в Современнике). Ныне Одоевский между светскими людьми слывет за литератора, а между литераторами за светского человека. Спина у него из каучука (ну уж этого никто на Руси, кроме подлеца, не скажет) — жадность к лентам и к придворным приглашениям непомерная (ну уж убил бобра), и, постоянно извиваясь то направо, то налево, он дополз (!) до чина гофмейстера. При его низкопоклонности, украшенной совершенной неспособностью ко всему дельному и серьезному, мы очень удивимся, если, при существовании нынешнего порядка (или правильнее: бес-

порядка) вещей в России еще лет десяток не увидим Одоевского обергофмейстером и членом Государственного совета».

Я посылаю Петру Долгорукову следующий ответ:

Стихов не писал,
Музыкой не надоедал,
Спины не сгибал,
Честно жил, работал,
Подлецов в рожу бивал.

Отчего и теперь не отказываюсь при первой встрече.

Но что пользы! если я ему прострелю брюхо, все-таки его клевета останется без ответа. Где писать? в наших журналах нельзя, ибо запрещается говорить о запрещенных книгах. За границей? где? неужели послать в Колокол? странное положение, в которое ставят нас цензурные постановления. Впрочем, Долгоруков прав: всякая полезная деятельность бывает смешна, ибо встречает препятствие, след. неудачи, и всякая неудача смешна, над вредною деятельностью не смеются, но иногда ненавидят. Бездействием всегда возбуждается уважение, как калмыцкими идолами, факирами, браминами».

Итак, в замечаниях Одоевского князь Долгоруков безоговорочно назван составителем пасквиля. Утверждение Одоевского представляется нам особо авторитетным. Нужно сказать, что, несмотря на безутешный вывод о цензурных постановлениях, Одоевский не оставил мысли напечатать возражение на статью Долгорукова. В этой мысли укрепляли его и друзья, среди них С. Д. Полторацкий. Последний был «вне себя от негодования на гадость Петра Долгорукова» — записал Одоевский в своем дневнике 24 ноября 1860 года. Одоевский написал свое возражение. В его бумагах сохранился собственноручный черновик и перебеленная писарем копия с новыми исправлениями автора. Воспроизвожу вторую редакцию статьи Одоевского, давая в примечании первоначальные чтения черновика[1].

«В одном безграмотном журнале, выходящем за границею, который, вероятно, в насмешку над всем русским присвоил себе название „Будущность", есть статья, где объявляется во всеуслышание, что я, нижеподписавшийся, предан низкопоклонному, чрезмерному любочестию, а сверх того, безделью[2] и даже писанию плохих стихов. Этот журнал издается человеком, которого не хочу называть, ибо он бесславил свое, к сожалению, историческое имя. Доныне *этот недоучившийся господин практиковался лишь по части сплетен, переносов анонимных подметных писем и действовал на этом поприще с большим успехом: от них произошли многие ссоры, семейные бедствия и, между прочим, одна великая потеря, которую Россия доныне опла-*

---

[1] Бумаги Одоевского в Госуд. Публ. библиотеке, сборник № 85: 1) л. 36—37 (57—58) — автограф, первая редакция; 2) л. 38—42 (378—382) — перебеленная копия, вторая редакция. П. Н. Сакулин цитировал отрывок об отношениях Пушкина к Одоевскому по первой редакции, опустив место о Долгорукове. См. П. Н. Сакулин. Из истории русского идеализма. Кн. В. Ф. Одоевский. Т. 1, ч. 2. М., 1913, стр. 322.

[2] В собственноручном черновике Одоевский изложил начало статьи так: «В журнале, выходящем за границею и трудно здесь находимом, „Будущность", есть статья, где объявляется во всеуслышание, что я предан низкопоклонству, чрезмерному любочестию, безделью...»

кивает. Брань такого человека не стоит даже презрения; на его клевету ответ вся моя, скоро шестидесятилетняя, честная, трудовая жизнь; кто ее хоть несколько знает, тому самый род порицания, избранный клеветником, покажется довольно странным[1]. Был ли мой труд в пользу или без пользы, не мое дело судить; я не имел никогда поползновения к автобиографии, полагая, что она должна следовать лишь за некрологией. Но в статье этого господина есть клевета другого рода, более положительная; он рассказывает о моих сношениях с А.С. Пушкиным и с Д. В. Дашковым. Я не могу и не должен молчать в таком деле, где клеветник вмешал столь знаменитые, столь дорогие для России имена; пошлым анекдотам, насмешкам не поверит никто[2] из тех, кто знает меня и помнит мои сношения с Пушкиным и Дашковым, но эта ложь без всякой протестации могла бы, пожалуй, когда-либо войти в биографии этих великих людей; в подобных случаях долг литератора, как человека публичного, разоблачать хотя ради исторической истины всякую клевету, из какого бы грязного болота она ни поднималась.

С Пушкиным мы познакомились не с ранней молодости (мы жили в разных городах), а лишь пред тем временем, когда он задумал издавать „Современник“ и пригласил меня участвовать в этом журнале; следовательно, я, что называется, товарищем детства Пушкина не был; мы даже с ним не были на ты — он и по летам, и по всему был для меня старшим; но я питал к нему глубокое уважение и душевную любовь и смею сказать гласно, что эти чувства были между нами взаимными, что могут засвидетельствовать все наши тогдашние знакомые, равно мое участие в „Современнике“, письма ко мне от Пушкина и проч. т. п.; после горькой его кончины я вместе с кн. П. А. Вяземским, В. А. Жуковским и П. А. Плетневым имел счастие быть редактором тех номеров „Современника“, которых издание было предпринято нами для того только, чтобы исполнить обязанности великого поэта, как издателя, — к подписчикам на его журнал. При такой обстановке дела анекдот, выдуманный бесчестным клеветником, и по времени, и по характеру наших отношений с Пушкиным, не мог существовать ни в каком виде, и ни при каком случае.

С Дашковым я познакомился в 1827 году при начале моей службы и имел счастие тогда же получить от него три весьма важные работы, за которые, может быть, многие грехи мне простятся в сем мире; в числе их было, между прочим: положение о правах авторской собственности в России, потом (почти без перемен) вошедшее в силу закона и дотоле не существовавшее в нашем законодательстве. Служба моя под начальством Дашкова длилась недолго, ибо он вскоре потом был сделан министром юстиции, а я оста-

---

[1] В черн.: «Доныне сколько известно, по части литературы этот господин практиковался лишь в писании анонимных, подметных писем»

[2] В черновике: «Брань такого человека не стоит даже презрения; кто меня знает, тому избранный им род порицания покажется довольно странным. Что же касается до того, потрудился ли я в жизни, как я трудился, был ли мой труд полезным или бесполезным, — не мое дело судить. Но в статье этого господина есть клевета другого рода, более положительная; он рассказывает о моих сношениях с Пушкиным и с Д. В. Дашковым. Оба анекдота — клевета; ей, конечно, не поверит никто»...

вался в министерстве внутренних дел, но приязненные отношения между нами не прекращались до самой кончины этого знаменитого государственного мужа. Награда, о которой упоминает клеветник в подтверждение своего вымысла, последовала гораздо дольше и была для меня совершенною неожиданностью. Следственно, и анекдот обо мне с Дашковым есть также чистейшая ложь. Все это вымышлено клеветником (зачеркнуто: безнравственным негодяем) потому только, что *после многих его бесчестных и бесчеловечных поступков более или менее тайных совершился один ужасный, в действительности которого уже не было ни малейшего сомнения*, и тогда я запретил этого безнравственного негодяя пускать к себе в переднюю. Inde ira».

Но статья Одоевского не появилась в печати, а 14 февраля 1861 года он записал в своем дневнике: «Полторацкий с известием, что моя статья против кн. Долгорукова не может здесь быть напечатана». Так имя Долгорукова и осталось неоглашенным до появления книжки Аммосова. Но свидетельство Одоевского определенно и авторитетно, и значение его невозможно снизить даже ссылкой на личную обиду, причиненную Долгоруковым Одоевскому.

XVI.

Публикуя свое оправдание в собственном своем органе «Листок» (№ 10 от 4 августа 1863 года, стр. 75—79), Долгоруков присоединил к нему и «Замечания по поводу книжки Аммосова». Замечания в литературе неизвестны; они прекрасно рисуют позицию Долгорукова, дополняют его «оправдание» и в целях полноты подбора заслуживают быть воспроизведенными.

«Вышепомещенное письмо к редактору Современника написано было нами в таком виде, чтобы не подать русской цензуре ни малейшего повода к запрещению напечатать его в России: по этой причине мы должны были в нем умолчать о размышлениях, невольно в нас вызываемых поступками и образом действий врагов наших, орудием коих, в настоящую минуту, является г. Аммосов.

Желания: личной свободы, свободы слова и возможности, через посредство свободы слова, быть, по мере сил наших, хотя несколько полезным отечеству и не возвращаться в него, доколе не будет введен в нем настоящий конституционный порядок вещей со всеми ручательствами за права свободы личной и свободы слова. В 1859 году выехали мы из отечества, а в 1860 году напечатали книгу *«Правда о России»* и начали издавать журнал *«Будущность»*. Тотчас же вскипели против нас злоба, вражда и жажда мщения во всех тех индивидуумах, которые имели поводы страшиться истины. Они хотели нам мстить во что бы ни стало и для этого вздумали пытаться доказать, что мы человек бесчестный. Но они сами не обдумали, что делают? В 1860 году нам уже было 43 года от роду, лета, в которых характер человека уже сложился окончательно и свойства его не подлежат перемене, а тем менее перемене внезапной. В отечестве нашем мы находились в приятельских, а отчасти и в дружеских отношениях с лицами, стоящими на первом плане на всех поприщах: литературном, государственном, общественном, и, конечно, не всякому дано иметь связи, подобные нашим. Итак, если мы человек низкий и подлый, то как же назвать тех людей, с кото-

рыми мы находились в близких связях? Разве эти люди так глупы, что не умели, среди короткого знакомства, нас распознать? Разве эти люди так бесчестны, что, зная человека способным к делам мерзким, к поступкам гнусным, вели с ним приязнь? Нет: люди эти и умны и честны. Как же назвать теперь врагов наших, прибегающих к подобным проделкам?..

Первое нападение на нас произведено было князем Семеном Воронцовым, полуидиотом, бессознательно служившим, в этом случае, орудием врагов наших; обвинили в вымогательстве 50 000 рублей, то есть в поступке гнусном, человека, который известен своим бескорыстием. Враги наши знали весьма хорошо, что мы доказали свое бескорыстие в *важнейших случаях жизни человеческой*; они знали также, что мы, добровольно выселяясь из отечества для приобретения свободы личной и свободы слова, добровольно пожертвовали частию нашего состояния. Много у нас пороков; но двум порокам мы совершенно чужды: жадности и подлости: а враги наши вздумали обвинять нас именно в этих двух пороках.

Обратились к французским судам. Всякий, посещавший Францию с 1852 года, хорошо знает, что такое ныне суды во Франции и что такое за правительство во Франции. Правительство это, захватившее в руки власть клятвопреступлением, резнею, изгнанием и ссылкою в Кайенну тех граждан, которые защищали свои законные права и свободу родины от насилия от хищности клятвопреступного Бонапарта, правительство это держится страхом, подкупом и целою сетию мер, основанных на призыве к чувствам подлости и низости. Чтобы отвлечь внимание французов от жалкого и унизительного положения их родной стороны, правительство за границею мутит, то в одной стране, то в другой; проповедует свободу у других, а у себя дома держит подданных под гнетом деспотизма азиатского. Древняя магистратура французская, столь знаменитая в истории, совершенно перевелась: место ее заступила шайка гражданских янычар, которые не только раболепно исполняют повеления своего султана, но еще, как усердные рабы, спешат предупреждать его желания. Этим-то гражданским янычарам предъявлена была записка, о которой *сам фельдмаршал Воронцов писал, что она писана не моею рукою, и которую он не предъявлял ни суду, ни правительству; записка,* написанная на бумаге *одесской*, бумаге, которой я не мог иметь в Тульской губернии, через пять лет после последнего посещения мною Одессы. Французские гражданские янычары решили, что я писал эту записку; решили, что человек, неоднократно являвший доказательство бескорыстия, дожив до сорокового года своей жизни, захотел продать свою честь за деньги; решили, будто человек, которого никто никогда не считал глупцом, вложил такую записку в конверт, своею печатью запечатанный (чего бы и пошлый дурак не сделал), и все это они решили потому, что желали угодить: во-первых, Морни, женатому на родной племяннице княгини М. В. Воронцовой, а во-вторых, и самому французскому правительству, которое, из-под руки копая, с 1859 года, петербургскому правительству яму в Польше, желало усыпить его бдительность разными, для него приятными гостинцами и знало, что клевета на меня будет для с.п.б. правительства гостинцем весьма приятным...

Много вопиющих несправедливостей сделано, в последние десять

лет, шемякинскими судами нынешней Франции; но мой процесс составляет, конечно, одно из явлений, наиболее вопиющих...

Процесс мой дал возможность проявиться во всем своем отвратительном блеске подлости многих русских, алкавших низкопоклонничать перед моими врагами, то есть перед петербургскою царскою дворнею. Баронесса Александра Ивановна Боде, рожденная Черткова, передала князю Воронцову *конфиденциальные* письма, мною к ней писанные за шесть лет перед тем, и совершила этот низкий поступок с той целью, что письма эти могли поссорить меня с некоторыми лицами. Двоюродная сестра моя, графиня Александра Сергеевна Панина, дочь ее, княгиня Мария Александровна Мещерская, и зять, князь Николай Петрович Мещерский, дошли до такой гнусности, что *лжесвидетельствовали*, объявляя, что во время коронации я был в Москве, тогда как пребывание мое в деревне, во время коронации, известно всему уезду Чернскому, всему уезду Новосильскому и войскам, которые на возвратном пути из Крыма проходили через мое имение и, разумеется, были угощаемы мною... Вот до чего способны дойти, с одной стороны, злоба, вражда, а с другой, человекоугодничество, низкое и подлое[1]...

Теперь враги мои подучили некоего Аммосова напечатать, будто я сочинял подметные письма, бывшие причиною гибели Пушкина, и будто это рассказывал князь Иван Сергеевич Гагарин. *Это ложь, гнусная ложь и клевета.* Гагарин этого никогда не говорил и не мог говорить, потому что он человек честный и благородный, не способен лгать, а тем менее клеветать. Впрочем, когда Гагарин, ныне находящийся в Сирии, в Бейруте, узнает об этой гнусной клевете, он, вероятно, сам ее опровергнет.

В разборе аммосовского пасквиля, помещенном в июньской книжке Современника, сказано: „Долгоруков издавал за границею прекратившиеся со скандалом журналы Будущность, Правдивый и Правдолюбивый, а года два тому назад подвергся в Париже публичному преследованию и осуждению за анонимное же письмо к князю Воронцову“ (стр. 319). Не знаем, кому принадлежит эта фраза. Аммосову или безымянному рецензенту? Об воронцовском деле мы сейчас говорили, и читатель мог видеть, в чем оно состояло. Журнала Правдолюбивый мы никогда не издавали, и он, напротив, был издаваем против нас; всякий человек с здравым смыслом, видевший хоть один № Правдолюбивого, мог легко догадаться, что мы не довольно глупы, чтобы издавать журнал столь безграмотный и столь пошлый. Что же касается до Будущности и до Правдивого (русского, потому что издание французского Le Véridique будет продолжаться), то Будущность и Правдивый прекратились точно со скандалом, но скандал этот падает не на меня. Прекратились они потому, что владелец Будущности, парижский книгопродавец Герольд (преемник А. Франка), и печатавший Правдивого лейпцигский книгопродавец Вольфганг Гергард поддались... *златому* красноречию петербургского правительства. Это самое и побудило меня завести мою

---

[1] Один из соотечественников наших напечатал книжку, наделавшую много шума: “La vérité sur le procès du prince Pierre Dolgoroukow”. Враги наши и французское правительство беснуются против этой книжки.

Л. П. Блюммер напечатал любопытный разбор процесса кн. Долгорукова с кн. Воронцовым. (Прим. Долгорукова.)

собственную типографию, где и печатается Листок. В настоящее время, в России, нападки и клеветы на эмигрантов соделались ремеслом, и выгодным ремеслом, почему неудивительно, что души низкие и подлые занимаются этим мошенничеством нового рода...

Теперь врагам моим, некоторые из коих весьма влиятельны в Петербурге, остается только объявить, будто я: 1) делал фальшивые ассигнации, 2) совершал поджоги и 3) крал платки из карманов. Почему знать: может быть, моя двоюродная сестра графиня Панина, ее дочь Мещерская и зять Мещерский и объявят, что я у них крал платки? Учинив однажды ложное показание, — почему не учинить и в другой раз?..

Что же касается до меня, то я отвечаю врагам моим презрением полным и глубочайшим: буду продолжать идти по избранному мною пути, скромно по мере сил моих, но с твердостию непоколебимою, и *никто меня молчать не заставит...*

К.П.Д.»

Все это сказано очень громко и неубедительно, но решительный тон на некоторых действовал, в том числе и на Герцена. «Замечания» после всего сказанного не вызывают ни к какому расследованию, ни к какой критике: факты достаточно говорят сами за себя. Одно замечание: Долгоруков перечисляет своих врагов — баронессу Боде, графиню А. С. Панину, князей Мещерских, свидетельствовавших в процессе против него; пусть так, но назовем и одну особу, на которую он ссылался в процессе. Это — известная нам графиня С. И. Борх. Ее письмецо к Долгорукову от 2 января 1859 года, содержавшее дружеское приглашение на обед, было оглашено на суде его защитником в доказательство хороших к нему отношений высшего общества.

В заключение упомяну об одной шутке Долгорукова 1863 года, напоминающей его «шутку» 1836 года. В № 5 «Листка» (1863, янв., л. 39—40) Долгоруков напечатал статейку «Учреждение новых орденов». Начинается она так:

«Из Петербурга пишут, что наше мудрое правительство, по случаю вступления России во *второе тысячелетие* безурядицы, собирается учредить двое новых орденов, а именно: в награду лицам, известным и своею преданностью самодержавию и своими невысокими умственными способностями, — орден *Полосатого Осла*; в награду благонамеренным писателям, которые порют дичь в защиту самодержавия, — *орден Дичи.*

Пишут, что уже составлены списки кавалерам новых орденов и что кавалерами ордена Полосатого Осла назначены: министры граф В. Ф. Адлерберг, князь В. А. Долгоруков и Прянишников; фельдмаршал князь Барятинский» и т. д. Долгоруков перечисляет несколько десятков имен сановников, жалуемых им в кавалеры ордена Полосатого Осла и ордена Дичи. Затем он назначает канцлера обоих орденов (Н. В. Елагина), вице-канцлера (Катакази), казначея; генерал-адъютанту Огареву он поручает составить форму орденов, а государственному секретарю В. П. Буткову составить уставы и т. д. Не правда ли, Долгоруков повторяет самого себя, и выдуманные им ордена Полосатого Осла и Дичи повторяют — орден рогоносца?[1]

[1] За границей неприятели Долгорукова выпустили литографию, на которой князь был изображен в больничной шапочке с ослиными ушами и с орденом

XVII.

После судебного процесса, после распубликования Долгорукова, как участника в деле о пасквилях, в его деятельности наступает перелом. Он прекращает издание своих периодических публикаций и уходит в писание своих мемуаров — вернее, в записывание исторических анекдотов о главнейших деятелях XVIII века. Эта книга выходит под заглавием «Mémoires du prince Pierre Dolgoroukow» (Genève, 1867, t. 1) и вызывает блестящую статью Герцена «Новая «бархатная книга» русских дворянских родов». Герцен заканчивает свою статью: «...с нетерпением ждем второй части великого обличения и разоблачения нашей аристократической дворни и тогда разом сделаем выписки из чрезвычайно интересных „Записок“ кн. П. В. Долгорукова. Мы видели прадедов наших петербургских и московских матадоров, — взглянем на их дедов... и искренно просим автора поскорее познакомить с отцами»[1].

Второй части мемуаров Долгоруков не написал, и разрозненные материалы увидели свет после его смерти в издании... ни мало, ни много... самого III отделения[2].

Характер его портился с каждым годом. Он всегда был ужасно горяч и невоздержан на язык, но по временам происходили необыкновенные взрывы гнева, и только Герцен действовал на него успокоительно и умел обуздывать самые дикие проявления его характера. Н. А. Тучкова-Огарева дает характеристику его, относящуюся к 1862 году: «Наружность князя была непривлекательна, несимпатична; в больших карих глазах виднелись самолюбие и привычка повелевать; черты его лица были неправильны, князь был небольшого роста, дурно сложен и слегка прихрамывал, почему его прозвали: le bancal. Не помню, на ком он был женат, только жил постоянно врозь с женой и никогда о ней не говорил. Герцен не чувствовал к нему влечения, но принимал его очень учтиво и бывал у него изредка с Огаревым»[3].

Поддерживая в печати Долгорукова как эмигранта, боровшегося с русским правительством, Герцен в переписке отзывался о нем с иронией, вроде: «Князь Долгоруков едет в Лондон, в силу чего я ищу квартиру вне Лондона»; князь «Болдорукий», или князь «Перд» Владимирович, или просто Петр IV. Но, наконец, и Герцен не выдержал. 20 декабря 1867 года он писал Тургеневу: «Для утешения скажу на закуску, что Долгоруков все пакостничает, а потому я прервал дипломатические сношения (только все же он не крал, как Некрасов, и не посылал доносами на виселицу, как Катков)». А в мае 1868 года Герцен убеждал Огарева: «Не давай призу Долгорукову, чтоб он стал дерзок; обделай тихо и отклони его «благомудро»; если нужно, напиши учтиво, что ведь общего у нас нет с ним, что ряд размолвок должен был привести к охлаждению... Наконец,

---

Полосатого Осла. Литография имеется в собрании Пушкинского дома. Воспроизведена в журнале «Огонек» (№ 42, 16 октября 1927) при моей статье «Кто писал анонимные письма Пушкину?».

[1] Герцен, т. XIX, стр. 200.

[2] Об этой удивительной затее — в книжке Р. М. Кантора «В погоне за Нечаевым».

[3] Воспоминания Н. А. Тучковой-Огаревой, 1903, стр. 164.

что ни ты, ни я ничего не хотим, кроме тихой руптюры»[1]. Но когда «князь Гиппопотам» стал помирать и попросил Герцена приехать к нему, Герцен не отказал ему в этой просьбе, Герцен был свидетелем его агонии. «Ничего ужаснее не выдумал ни один трагик. Может быть, когда-нибудь я напишу эту смерть», — писал он Тургеневу. Герцен не описал смерть Долгорукова, но некоторые подробности находим в его письмах к Огареву. «Лицо Долгорукова совершенно осунулось и стало как-то важнее. Говорит несвязно, глаза потухли; он не знает близости конца, но боится. А главное, внутри его идет страшная передряга». 17 августа 1868 года Долгоруков умер. Герцен помянул его совсем кратким некрологом[2].

XVIII.

Враги Пушкина... Их было много в высшем свете. Мы не задавались целью пересчитать их. Мы отметили тех, кто был наиболее активен, кто перевел чувство злобного недоброжелательства к Пушкину в действие против него. От низин идут физические исполнители. Они примыкают к патологическому на сексуальной почве коллективу, группировавшемуся вокруг Геккерена. Спаянные общими вкусами, общими эротическими забавами, связанные «нежными узами» взаимной мужской влюбленности, молодые люди — все высокой аристократической марки — легко и беспечно составили злой умысел на честь — потом оказалось — и на жизнь Пушкина. К их гнусной забаве с одобрительным поощрением относились старшие представители — все эти графини Софьи Б., m-me Н... И на вершинах законодательница высшего света графиня М. Д. Нессельроде; конечно, ее должно отнести к «надменным потомкам известной подлостью прославленных отцов». И много их там, «стоящих жадною толпой у трона». Против Пушкина было сплоченное большинство. И, наконец, сам монарх.

Пушкин был чужеродным элементом в организме высшего слоя общественного класса, к которому он принадлежал по своему рождению, и чужеродный элемент медленно, но неуклонно извергался организмом. И в Пушкине происходил неосознанный им процесс деклассирования. Было одно основное отличие, которое недостаточно оценивалось при рассуждениях о классовом самосознании Пушкина. Материальная база жизни Пушкина коренным образом отличалась от материальных баз всего дворянства. Он не жил на крепостные доходы, на крестьянские оброки; он не жил и на жалованье. Единственный приход, обеспечивающий, правда не в достаточной степени, существование его и его семьи, состоял в авторском гонораре. В тридцатых годах, с таким заработком, Пушкин был белой вороной среди всех своих друзей, среди своего общества. Недаром иностранные наблюдатели, дипломаты, выражаясь в привычных терминах, говорили, что Пушкин не имел успеха в высшем классе и принадлежал «третьему» сословию. «Особенно спешили, — говорит один из таких наблюдателей, — рукоплескать чиновники, многочисленный класс, являющийся в некотором роде третьим сословием в России; они создают апофеоз человеку, произведения которого являются

---

[1] Герцен, XVI, 102; XX, 117, 274.
[2] Герцен, т. XXI, стр. 315, 15, 17, 89.

выражением их собственных чувств. С самого начала и, быть может, бессознательно Пушкин рассматривался и признавался ими как представитель оппозиции»[1]. Виртембергский посланник граф Гогенлоэ-Кирхберг, автор этих слов, определял положение Пушкина вернее и правильнее его друзей: друзья отдавали Пушкина, присваивали его целиком государю. Но сам Николай не был убежден ни в искренности, ни в нужности такого усвоения[2].

---

[1] См. выше, стр. 328.

[2] С выходом настоящей работы теряют свое значение напечатанные мной статьи в журналах «Минувшие дни» (№ 1), «Огонек» (№ 42, 1917 г.) и газете «Вечерняя Москва» за 13 и 14 октября 1917 г.

X. ПРОТОКОЛ ГРАФИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПОЧЕРКА

1927 года, августа 1 по 31 дня, я, судебный эксперт и инспектор Научно-технического бюро ленинградского губернского уголовного розыска Алексей Андреевич *Сальков,* производил графическое исследование и сличение почерков на предъявленных мне Павлом Елисеевичем *Щеголевым,* хранящихся в Пушкинском доме и в библиотеке Академии наук СССР в Ленинграде, следующих документах: 1) анонимном письме, написанном на французском языке, подражанием печатному шрифту, на плотной английской почтовой бумаге размером 11½×18½ сантиметр.; 2) таком же письме, такого же содержания — пасквиле на Александра Сергеевича *Пушкина;* 3) обложке для вышеуказанных писем с надписью: *„Графу Михайле Юрiевичу Вiельгорскому на Михайловской площади дом графа Кутузова“,* сбоку штемпель: „Городская почта 1836 г. 10.8. Утро“ и сургучная печать; 4) такой же обложке для письма, с надписью: *„Александру Сергеичу Пушкину“;* 5) письме князя Ивана Сергеевича *Гагарина* к Николаю Ивановичу *Тургеневу* на русском и французском языках от 8/20 сентября 1842 года; 6) конверте почтовом, серого цвета от кн. *Гагарина* с надписью: "Monsieur Nicolas de Tourgueneff, 55 rue de la Pepinière"; 7) письме кн. *Гагарина* из Парижа от 1 октября 1838 г. на французском языке; 8) письме барона *Луи де Геккерена* без даты на французском языке; 9) письме князя Петра Владимировича *Долгорукова* к Павлу Васильевичу *Анненкову* из Парижа от 20/8 января 1861 года на русском языке; 10) конверте почтовом от вышеуказанного письма к *Анненкову* с собственноручной надписью адреса кн. *Долгоруковым* на французском и русском языках, „в Демидовский переулок в С.-Петербург“, 11) письме от кн. Петра *Долгорукова* из Москвы от 24 октября 1864 года на русском языке к Якову Петровичу *Полонскому;* 12) конверте с надписью: „Monsieur de Stcherbina hôtel Westminster N2—13, rue de la Paix", от к. Петра *Долгорукова;* 13) письме от князя Петра *Долгорукова* к Павлу Васильевичу *Анненкову* на русском языке; 14) факсимиле письма князя Петра Владимировича к князю *Воронцову* от 4/16 июня 1856 года на французском языке и 15) факсимиле анонимного письма на французском языке к князю *Воронцову.*

Последние факсимиле писем воспроизведены литографским способом и взяты из изданной в 1862 году в Лейпциге книги „Procès du Prince Woronzow contre le prince Prierre Dolgoroukow et le courrier de Dimanche"[1].

---

[1] Из документов, подвергнутых экспертизе и перечисленных в протоколе, факсимилированы следующие: № 1 — факсимиле 5; № 2 — факсимиле 6; № 3 —

Для более точного исследования почерков мною, экспертом *Сальковым,* были сделаны фотографические снимки, в несколько увеличенном виде, со всех вышеперечисленных документов, после чего приступлено к детальному анализу и сличению фотоснимков с почерка анонимных пасквильных писем об А. С. *Пушкине* со всеми фотографическими снимками почерков вышеуказанных документов, причем мною установлено, что в анонимных письмах, обозначенных здесь порядковыми № 1 и 2, среди многих букв французского алфавита имеется немалое число прописных букв русского алфавита; что оба письма умышленно написаны крупным шрифтом; что надпись всего адреса на обложке: „Віельгорскому“ сделана на русском языке и имеет еще большее число прописных букв более мелкого шрифта, чем самые письма. Строение этих прописных букв в надписи на обложке имеет вполне достаточные признаки сходства с такими же буквами в обоих анонимных письмах, на основании чего устанавливается, что надпись на обложке сделана тем же самым лицом, которое писало и анонимные пасквильные письма (См. документ по порядку № 3 — факс. № 9). Для ясности все сходные между собою буквы в этих 3-х документах мною отмечены особыми значками.

При исследовании и сличении, последовательно, на обложке надписи: «*Александру Сергеичу Пушкину*» (факс. № 7); почерка в письме князя Ивана Сергеевича *Гагарина* к Николаю Ивановичу *Тургеневу* (факс. № 2 и 3); почерка на конверте (факс. № 4); почерка в письме кн. *Гагарина* из Парижа от 1 октября 1838 года (факс. № 7) и, наконец, почерка в письме барона Луи де *Геккерена* на французском языке (факс. № 1) я, эксперт *Сальков, не нашел* признаков *сходства* в почерке на анонимных пасквильных письмах ни с одним из почерков вышеуказанных лиц, ни по техническим приемам писания, ни по каким-либо характерным и индивидуальным особенностям начертания большинства букв, их расположения, наклонов, интервалов и пр., на основании чего следует признать, что анонимные пасквильные письма об А. С. *Пушкине* написаны не князем Иваном Сергеевичем *Гагариным,* не бароном *Луи де Геккереном* и не лицом, учинившим надпись на обложке пасквиля: Александру Сергеичу Пушкину.

Для сокращения в дальнейшем анонимные пасквильные письма *о Пушкине* мы будем именовать просто пасквилем.

При исследовании же почерка во всех указанных выше письмах князя Петра Владимировича *Долгорукова* и сличении с почерком пасквилей об А. С. *Пушкине* устанавливаются следующие характерные, общие признаки сходства.

Почерк надписи на обертке пасквиля с адресом графа *Виельгорского* представляет собою нормальную, без искажения, величину почерка лица, делавшего эту надпись, и вполне совпадает с размерами в высоту и ширину букв и их интервалов с почерком князя *Долгорукова* в его письмах, взятых для сличения, когда он писал

факсимиле 9; № 4 — факсимиле 7; № 5 — факсимиле 2 (русск.) и 3 (франц.); № 6 — факсимиле 4; № 8 — факсимиле 1; № 13 — факсимиле 11; № 14 — факсимиле 12; № 15 — факсимиле 10. Упоминаемые дальше в протоколе документы факсимилированные указываются по номеру факсимиле, кратко: Факс. № ... Документы невоспроизведенные упоминаются под тем номером, которым они отмечены в протоколе, кратко: докум. № ...

S'il s'agit de la lettre anonyme dont tu veux
parler, je te dirai qu'elle était cachetée avec de
la cire rouge, peu de cire et mal cachetée, un
cachet assez singulier, s'il m'en souvient, on
a au milieu de cette forme " A " avec beaucoup
d'emblèmes autour de A, je n'ai pas pu
distinguer exactement ces emblèmes car je
le répète c'était mal cacheté; il me semble
cependant qu'il y avait des drapeaux, canons etc.
mais je n'en suis pas sûr. — Je crois me rappeler
que c'est avec plusieurs côtés; mais aussi sans en
être sûr. Au nom de Dieu sois prudent, et
cite moi hardiment pour ces détails puisque
c'est le Comte Nesselrode qui m'a montré la lettre
qui est écrite sur un format de papier comme
celui de ce billet. —
Mde de N. et la Comtesse Sophie B. te font dire
bien des choses, elles s'intéressent toutes les deux à
nous et chaudement. Puisse la vérité être mise
au grand jour c'est le voeu le plus ardent de
mon coeur.

à toi l'âme et de coeur

pourquoi me demande tu tous
ces détails? Bon soir dors tranquille

B. d. H.

Почерк барона Луи де Геккерена
(письмо к Жоржу Дантесу, обнаруженное в архиве III отделения
в 1917 году — см. стр. 277—278. Ныне в собрании Пушкинского дома)

Я был эти дни в деревне
и недавно приехал; вот
почему не мог отвечать
прежде на Вашу записку.
Читаю протестантскую
книгу о христианстве и
читаю с большим удоволь-
ствием Эрскина. Прекрасно
однакож будет [illegible]
протестантами не [illegible];
Je n'aime les protestants que

Русский почерк кн. И. С. Гагарина
(Письмо к Н. И. Тургеневу; хранится в рукописном отделении Академии наук СССР)

их без намеренного изменения своего почерка, а не так, как это наблюдается у него, например, в анонимном письме к князю *Воронцову* (см. факс. № 10), где он умышленно, с целью изменить почерк, написал очень крупными буквами.

Однако известный эксперт французского императорского двора Delarue, в 1861 году, совершенно правильно установил тождество почерка в этом письме с почерком князя Долгорукова.

То же самое мы видим и в пасквилях о *Пушкине*, написанных крупно с подражанием шрифту печатного французского алфавита (см. факс. № 5 и 6).

quand ils protestent contre les incrédules,

J. Gagarin

4/20 septembre 1842

Французский почерк кн. И. С. Гагарина
(Письмо к Н. И. Тургеневу; хранится в рукописном отделении
Академии наук СССР)

Так как почерк на вышеуказанной обложке письма и на самых пасквилях один и тот же, то нужно признать, что и почерк князя *Долгорукова* имеет сходство по размерам с крупным почерком на пасквилях и мелким почерком в его письмах.

В почерке кн. *Долгорукова* большинство букв имеют наклоны в различные стороны — одни направо, другие — налево и некоторые пишутся совершенно вертикально. Весь почерк, таким образом, кажется расшатанным, причем буквы не одинаковой величины и не одинаково расположены по прямой линии строк, одни поставлены выше, другие ниже. Эти различные наклоны при анализе почерка мною обозначены на факсимиле документов проведением пунктирных линий по основным штрихам букв.

Все эти характерные признаки в почерке кн. *Долгорукова* остаются неизменными во все время его жизни, судя по письмам, которые написаны в разные годы (см. факсимиле № 11, 12 и 13). То же самое мы наблюдаем и в почерке таких же букв на пасквилях и на обертке их с адресом графа *Виельгорского* (см. факсимиле № 5, 6 и 9).

На основании такого совпадения указанных признаков в почерке князя *Долгорукова* с почерком на пасквилях о *Пушкине* нужно признать и в этом отношении определенное их сходство.

Кроме того, как в почерке кн. *Долгорукова,* так и в почерке на пасквилях, имеется не вполне однообразная, как бы нерешительная тонкость письма, без определенных нажимов пера в тонких и толстых штрихах в одних и тех же буквах. Обнаруживается очень характерное сходство в различии промежутков между строчками, которые то несколько шире, то у́же как в пасквилях, так и в письмах кн. *Долгорукова.*

При анализе каждой буквы в отдельности и сопоставлении их формы и расположения в строках замечаются те же самые непра-

Ив. Гагарин

Monsieur Nicolas de Tourgueneff

55. rue de la Pépinière

Конверт письма к Н. И. Тургеневу
(Собственноручная надпись кн. И. С. Гагарина; хранится в рукописном отделении Академии наук СССР)

вильности в начертании некоторых букв французского алфавита, наподобие букв русского алфавита, как в пасквилях, так и в письмах кн. *Долгорукова*, например: маленькая французская буква „k” кн. *Долгоруковым* пишется всегда как русское „к“, без удлиненной обычно кверху основной палочки; французская маленькая буква „r” печатного шрифта *Долгоруковым* пишется, как французское „V“, что имеется также и в пасквилях. В своих письмах кн. *Долгоруков* пишет эту букву еще и наподобие русского „г“; или, например, французская буква „u” в анонимных письмах написана в нескольких случаях, как русская буква „н“, точно так же, как французская маленькая буква „n” в пасквилях написана, как русское „п“ печатного типографского шрифта. Такое начертание этих букв определенно указывает, что пасквиля об А. С. *Пушкине* не мог написать иностранец, а русский, что и подтверждается нахождением такого начертания вышеуказанных букв в письмах князя Петра Владимировича *Долгорукова*[1]. Из особенно характерных и индивидуальных признаков сходство в почерке кн. *Долгорукова* с почерком в пасквилях имеется в начертании и построении букв: „A“ в слове „Altesse” в письме *Долгорукого* к кн. *Воронцову* в июне 1856 года (см. факсимиле № 12 из книги „Процесс кн. *Воронцова*“), в каковой букве в верхней ее части имеется лишний короткий штрих и такой же лишний штрих имеется и в букве „A“ в слове „Alexandre” в пасквиле о *Пушкине* (см. факсимиле № 5), — буквы эти отмечены кружком. Указанный признак

[1] Сравн. аналогичное заключение Б. В. Томашевского в его заметке «Мог ли иностранец написать анонимный пасквиль на Пушкина?» в книге «Новые материалы» и т. д., стр. 131—133. *П. Щ.*

Les Grands-Croix Commandeurs et Chevaliers du Sérénissime Ordre des Cocus réunis en grand Chapitre sous la présidence du vénérable grand-Maître de l'Ordre, S. E. D. L. Narychkine, ont nommé à l'unanimité Mr. Alexandre Pouchkine coadjuteur du grand Maître de l'Ordre des Cocus et historiographe de l'Ordre.

Le sécretaire perpétuel: Cte I. Borch

Пасквиль, вложенный в конверт, адресованный графу Виельгорскому
(До 1917 года в архиве III отделения, ныне в Пушкинском доме)

в виде излишнего штриха в букве „А“ очень характерный и не может считаться случайным, так как повторялся на протяжении 1836 и 1856 годов и, очевидно, повторялся неоднократно в других письмах, а потому является индивидуальным и присущим почерку князя Петра Владимировича *Долгорукова.* Следующая буква „С“, во всех случаях в письмах кн. Долгорукова, удлиненной формы, слабо выраженной, с едва заметным, очень коротким загибом верхнего конца, а не точкой, как это чаще всего встречается у других лиц, причем эта буква по начертанию своему, особенно в анонимном письме *Долгорукова* к князю *Воронцову,* является точной копией с такой же буквы „С“ во всех, где она имеется, словах в пасквилях. Буква эта во всех письмах, взятых мною для сличения, отмечена особым знаком, в виде буквы „Т“ печатного типографского шрифта.

Затем буква „t” в пасквилях о *Пушкине* имеет также большое, а в некоторых случаях полное, сходство по начертанию в виде креста без загиба нижней части с такой же буквой во всех письмах кн. *Долгорукова,* взятых мною для сличения почерков.

Буква „k” французское маленькое в пасквилях нигде не имеет удлиненного переднего основного штриха и во всех письмах кн. *Долгорукова* также имеет полное сходство.

Буква „g” в пасквилях имеет сходство с этой же буквой в письмах кн. *Долгорукова* по своему характерному крутому загибу в левую сторону нижней петли.

Такое же сходство в построении и форме имеется в букве „Р“, и, наконец, буква „ф“ в словах „графу“ в двух местах написанного адреса *Віельгорского,* на обложке от пасквилей о *Пушкине,* имеет несомненное сходство с этой же буквой в слове *„Фредерикса“* в письме кн. *Долгорукова* к *Анненкову,* вторая половина этой буквы напоминает русскую букву „р“.

Все вышеперечисленные буквы для сравнения их сходства отмечены мною особыми значками (см. факсимиле писем за № 5, 6, 9, 11, 12 и 10). Кроме того, в пасквиле и обертке с адресом графа *Віельгорского* имеется большое, а у некоторых даже полное, сходство с целым рядом букв в письмах кн. *Долгорукова,* обозначенных мною особыми значками для каждой буквы, а именно:

Буква „n”, обозначенная знаком ∇ — треугольником, вершиной вниз, в пасквильном письме № 1, в строках 1, 3, 6 (см. факсимиле № 5).

В пасквильном письме № 6, в строках 1, 2, 3, 4, 6 и 7.

В анонимном письме к князю *Воронцову,* в строках 1, 2, 7 (см. факсимиле № 10).

В адресе на обложке письма *Віельгорскому,* в строке 3-й (см. факсимиле № 9).

В письме *Долгорукова* к *Воронцову,* в строках 1, 2 и 4-й (см. факсимиле № 12).

Буква „С“, обозначенная знаком Т — в виде печатного „m“, в пасквиле, факс. № 5, в строках 1, 2, 3, 7 и 8, в пасквиле, факс. № 6, в строках 1, 3, 4, 5, 6, 8 и 9.

В адресе обложки письма *Віельгорскому,* в строках 2, 3 (см. факсимиле № 9).

В анониме к *Воронцову,* в строках 4, 5 (см. факсимиле № 10).

В письме к *Воронцову* в 1856 г., в строках 1, 3, 9, 11, 12, 13 и 14 (см. факсимиле № 12).

Les Grands-Croix, Commandeurs et
Chevaliers du sérénissime ordre des
Cocus, réunis en grand chapitre sous la
présidence du vénérable grand maître
de l'Ordre, S. E. D. L. Narychkine, ont nommé
à l'unanimité Mr Alexandre Pouchkine
coadjuteur du grand-Maître de l'Ordre
des Cocus et historiographe de l'Ordre.!!

Le sécrétaire perpétuel: Cte J Borch

Пасквиль
(В 90-х годах передан в Пушкинский музей при Лицее; ныне в Пушкинском доме)

В письме *Долгорукова* к *Анненкову,* в строках 2, 4, 5 и 8 (см. факсимиле № 11).

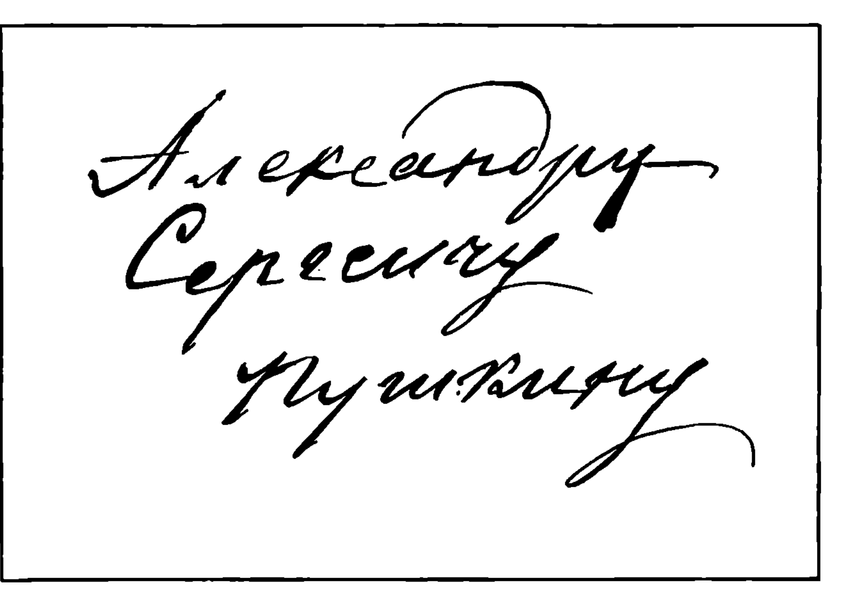
Буква „i” в пасквиле, обозначенная знаком ⊥, точкой с черточкой под ней (см. факсимиле № 5), в строках 1, 3 и 7.

В пасквиле, факс. № 5, в строках 1, 3, 6, 8 и 9.

В письме *Воронцову,* в строках 5, 6, 7, 8 и 9 (факсимиле № 12).

В письме *Долгорукова* к *Анненкову,* в строке 10-й (факсимиле № 11).

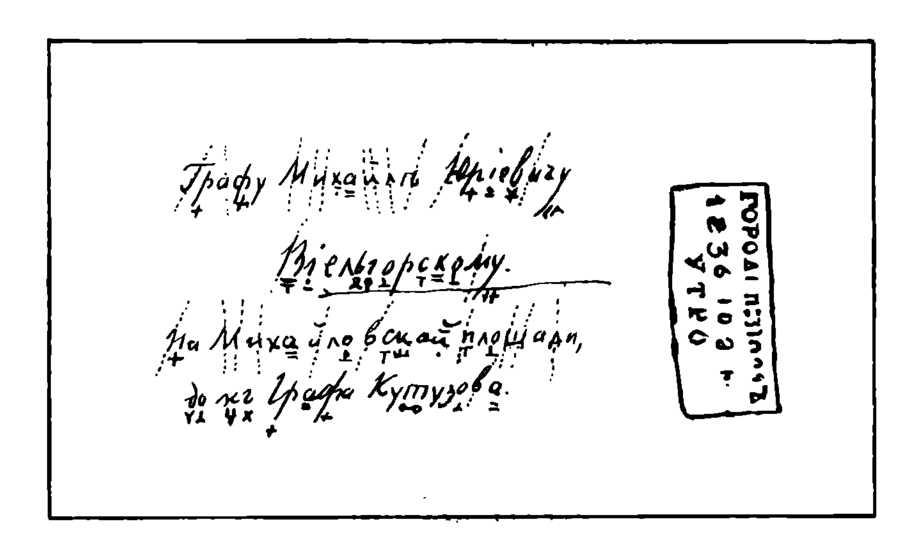
В адресе обложки — *Вiельгорскому,* в строках 1 и 2-й (см. факсимиле № 9).


Александру
Сергеичу
Пушкину

Адрес, написанный на оборотной стороне пасквиля,
вложенного в конверт на имя графа Виельгорского



Печать на конверте, в который был вложен пасквиль,
полученный графом М. Ю. Виельгорским



Конверт, в который был вложен пасквиль
(До 1917 года в архиве III отделения, ныне в Пушкинском доме)

Буква „m", обозначенная знаком ∞ — двумя кружками, в пасквиле, факс. № 6, в строках 1 и 6-й.

В пасквиле, факс. № 5, в строках 1, 5 и 6-й.

В анонимном письме к *Воронцову* (факсимиле № 10), в строках 3-й и 7-й.

В адресе на обложке — *Віельгорскому,* в строке 4-й (см. факс. № 9).

В письме *Долгорукова* к *Воронцову* в 1856 году, в строках 1-й, 6-й и как русское „г" в письме *Долгорукова* к *Анненкову,* в строках 3, 5 и 9-й (см. факсимиле № 11).

Буква „u", обозначенная знаком ш — тремя вертикальными черточками, в виде перевернутого „ш", в пасквиле, факс. № 5, в строке 2-й.

В анонимном письме к *Воронцову,* в строке 5-й (факсимиле № 10).

Буква „a", обозначенная знаком = двумя горизонтальными черточками, в пасквиле № 5, в строке 7-й.

В анонимном письме к *Воронцову,* в строках 2, 8 и 10 (факсимиле № 10).

В адресе на обложке письма к *Виельгорскому* в строках 1, 3 и 4-й (факс. № 9).

В письме *Долгорукова* к *Воронцову* в 1856 году, в строках 1, 4, 6, 7, 8, 12 и 14 (см. факсимиле № 12).

Буква „p", обозначенная знаком + крестиком, в пасквиле, факс. № 5, в строках 8-й и 10-й.

В адресе на обертке к *Віельгорскому* (факсимиле № 9), в строках № 1-й и 4-й.

В письме *Долгорукова* к *Воронцову,* в строках 8, 11 и 19-й, см. факс. № 12 и в письме к *Анненкову,* в строках 4, 7, 8 и 12, см. факс. № 11.

Буква „P", обозначенная знаком × умножения, в пасквиле № 5, в строке 7-й.

В пасквиле, факс. № 6, в строке 6-й.

В анонимном письме к *Воронцову*, в строке 4-й (факсимиле, № 10).

В письме к *Воронцову* в подписи „Pierre" (факсимиле № 12).

Буква „t", обозначенная знаком Δ — треугольником, вершиной вверх, в пасквиле, факс. № 5, в строках 5, 7, 8 и 10-й.

В пасквиле, факс № 6, в строках 5, 7, 8 и 9-й.

В анонимном письме к *Воронцову* (факсимиле № 10), в строках 4, 5 и 10-й.

В письме к *Воронцову* (факсимиле № 12), в строках 4, 5, 6, 7, 9, 12 и 16.

Буква „д", обозначенная знаком Y в виде типографской печатной буквы „у", в адресе на обертке письма к *Віельгорскому,* в строке 4-й (факс. № 9).

В анонимном письме к *Воронцову,* в строках 2 и 5-й (факсимиле № 10).

В письме к *Воронцову* в 1856 году, в строках 1-й и 2-й (факсимиле № 12).

Буква „о", обозначенная знаком ⊥ в виде перевернутой печатной буквы „т" русского алфавита, в пасквиле, факс. № 5, в строках 3-й и 7-й.

В пасквиле, факс. № 6, в строках 3, 5, 6 и 8-й.

В адресе на обложке письма к *Віельгорскому* (факсимиле № 9), в строках 2-й, 3-й и 4-й.

В анонимном письме к *Воронцову,* в строках 1 и 4-й и в письме к *Воронцову,* 1856 г., в строках 2, 4, 5, 11, 14 и 15-й, факс. № 12.

В письме к *Анненкову,* факс. № 10, в строке 11-й, факс. № 11..

Буква „r", обозначенная знаком ⅄ — кружком с угольником, в пасквиле, факс. № 5, в строках 4, 8, 9 и 10-й.

В пасквиле, факс. № 6, в строке 8-й.

В анонимном письме к *Воронцову,* в строках 3, 5, 7-й, факс. № 10.

В письме к *Воронцову,* в строках 4, 5 и 12-й (факсимиле № 12).

Буква „V", обозначенная знаком V̲ — угольником с черточкой, в адресе на обложке от письма *Віельгорскому,* в строке 1-й (факсимиле № 9).

В анонимном письме к *Воронцову,* в строке 8-й, факс. № 10.

В письме к *Воронцову,* в строках 11 и 18-й, факс. № 12.

В письме к *Анненкову,* в строках 7-й и 8-й, факс. № 11.

Буква „к", обозначенная Ш̲ — знаком в виде буквы „ш", в надписи адреса на обложке письма к графу *Віельгорскому* (факсимиле № 9), в строке 2-й.

В пасквиле, факс. № 5, в строках 5-й и 7-й.

В письме к *Анненкову,* в строках 4, 6-й и 10-й, см. факс. № 11.

В пасквиле, факс. № 6, в строке 6-й.

В письме к *Воронцову,* в строке 15-й, — в подписи *Долгорукова* (факсимиле № 12).

Буква „g", обозначенная знаком Ⲧ — кружком с черточкой и перекладиной наверху, в пасквиле № 1 (факсимиле № 5), в строках 4-й и 8-й.

В анонимном письме к *Воронцову* (факсимиле № 10), в строках 3-й и 6-й.

В письме к *Воронцову* 1856 г. (факсимиле № 12), в строках 2, 8, 11 и 16-й и в подписи *Долгорукова.*

Буква „B", обозначенная знаком ╤ — двумя горизонтальными

Son Altesse le Prince Woronzoff
a un moyen sûr de faire
imprimer sa généalogie dans la
Росс. Родосл. Книга telle qu'il
la veut: c'est de faire cadeau
au Pce Pierre Dolgorouky
d'une somme de cinquante mille
roubles argent; alors tout se fera
suivant ses désirs. — Mais il
n'y a point de temps à perdre. —

Шантажное письмо князю М. С. Воронцову
(Писано кн. П. В. Долгоруковым измененным почерком. Извлечено из книги "Procès du prince Worontzow contre le prince Pierre Dolgoroukow". Leipzig, 1862)

почтеннейший поклон Вашим семейным, вот копия с моего письма. Сообщите ее нашим знакомым, в особенности Егору Петровичу Ковалевскому и Ивану Сергеевичу Тургеневу. Скажите пожалуйста Ивану Сергеевичу, что если Г. Панаев и Г. Некрасов ответят мне хотя немного дерзко, а мне вызов на дуэль, и тогда буду просить Вас и Ивана Сергеевича сделать мне честь быть моими секундантами.

Живу я на Владимирской, в доме Фредерикса, подъезд против церкви.

Ваш искренно-любящий и почитающий

Петр Долгоруков

н. п. с.

P. S. При сем [illegible] проект.

Почерк кн. П. В. Долгорукова
(Письмо к П. В. Анненкову; находится в Пушкинском доме)

черточками и одной вертикальной, в пасквиле № 1 (факсимиле № 5), в строке 10-й.

В пасквиле № 2 (факсимиле № 6), в строке 9-й.

В адресе на обложке письма к *Віельгорскому* (факсимиле № 9), в строке 2-й.

В письме к *Анненкову* (факсимиле № 11), в строках 8-й и 10-й.

Буква „ь“, обозначенная знаком Z, в адресе на обложке от письма *Віельгорскому* (факсимиле № 9), в строке 2-й.

В письме к *Анненкову* (факсимиле № 11), в строках 6-й и 8-й.

Буква „ф“, обозначенная знаком ⊢ — вертикальной черточкой с горизонтальным отростком посредине. В адресе на обертке письма к *Віельгорскому* (факсимиле № 9), в строках 1-й и 4-й.

В письме к *Анненкову* (факсимиле № 11), в строке 10-й.

Буква „н“, обозначенная знаком ÷ — двумя точками с черточкой между точками, в пасквиле (факсимиле № 1), в строке 7-й.

В письме к *Анненкову* (факсимиле № 11), в строках 6-й и 7-й.

В адресе на обложке письма к *Віельгорскому* (факсимиле № 9), в строке 3-й.

Буква „у“, обозначенная знаком //— — двумя наклонными черточками с боковым отростком посредине, в адресе на обложке письма к *Виельгорскому* (факсимиле № 9), в строках 1-й и 2-й.

В письме к *Анненкову* (факсимиле № 11), в строках 3-й и 4-й.

Буква „г“, обозначенная знаком ⚲ — кружком с черточкой вниз, в адресе на обложке письма к *Виельгорскому* (факсимиле № 9), в строке 2-й.

В письме к *Анненкову* (факсимиле № 11), в строках 3-й и 5-й.

В письме к *Воронцову*, 1856 г. (факсимиле № 12), в строках 2, 7, 8, (9) 10 и 13-й.

В анонимном письме к *Воронцову* (факсимиле № 10), в строках 4-й, 8-й и 10-й.

Буква „ъ“, обозначенная знаком ⊼ — черточкой с угольником вниз, в адресе на обертке письма к Виельгорскому (факсимиле № 9), в строке 4-й.

В письме к *Анненкову* (факсимиле № 11), в строках 1, 2 и 11-й.

В письме к *Воронцову*, 1856 г. (факсимиле № 12), в строке 15-й.

Обращая особенное внимание на характерные, исключительно индивидуальные особенности построения и начертания рисунков большинства букв, как в нормальном, так и в умышленно измененном их виде, особенно же написанных с большим промежутком во времени, и, устанавливая в основе их неизменяемость в пределах всегда возможных чисто случайных их физических или психопатологических дефектов и учитывая в соответствии с этими изменениями общие законы развития физиологии письма, в смысле его постепенного оформления и устойчивости, в течение целого ряда лет, а также изменения и расстройства под влиянием времени, физических и душевных болезней, или каких-либо иных функциональных изменений, я не нашел их в почерках анонимных пасквильных и шантажных писем, написанных при различных обстоятельствах и в различное время в 1836 и 1856 годах. Так, равным образом, я не нашел таких же коренных изменений в образцах почерка князя Петра Владимировича *Долгорукова*, сходного с почерком вышеуказанных писем, а, напротив того, установил сохранившимися все индивидуальные их особенности, как-то: беспорядочные, неоп-

Je m'occupe en ce moment à mettre la dernière main au quatrième volume
de mon livre généalogique; dans ce volume se trouveront les Wéliaminow
et par conséquent les anciens Worontzow. J'examine scrupuleusement les
papiers que Votre Altesse m'a envoyés, et jusqu'à présent, il m'a été
impossible de découvrir, dans les deux documents et les chroniques, des
preuves de l'authenticité des papiers en question. Les sentiments de respect
et d'admiration que je professe pour Votre Altesse m'auraient rendu bien
doux le plaisir de vous être agréable, mais je serais obligé d'imprimer
l'article d'une manière complètement opposée à celle que vous auriez
désirée, mon Prince, si vous ne vous pressez point de m'envoyer des
documents supplémentaires, qui, éclaircissant les passages obscurs
auraient pu lever toutes les difficultés.
Le temps marche. Il faut se hâter dans l'envoi des documents.
Je resterai ici à la campagne jusqu'aux premiers jours d'octobre. Mon
adresse est: Тульской губернии, въ городъ Чернь.
Je prie Votre Altesse d'agréer l'hommage du profond respect et du
sincère dévouement avec lesquels j'ai l'honneur d'être,

votre très-obéissant serviteur,

Prince Pierre Dolgoroukow

Rokoslovskoé–Spésehnévo,
district de Tchern, ce 4/16 de juin

Письмо князя П. В. Долгорукова князю М. С. Воронцову, 4 (16) июня 1856 года (Извлечено из книги "Procès du prince Worontzow contre le prince Dolgoroukow". Leipzig, 1862)

ределенные наклоны букв в разные стороны, неравномерность букв и их расположение, неравномерность интервалов между буквами и между строками и вместе с тем нерешительную тонкость письма, без определенных нажимов пера в тонких и толстых штрихах, что, между прочим, является признаком беспорядочного и мятежного характера писавшего анонимные письма и письма князя Долгорукова.

Кроме того, замечается совершенно одинаковый прием при неумении изменить начертание рисунков букв, умышленно писать очень крупно, однако, те же неправильные начертания некоторых букв французского алфавита наподобие русского, как, например, буквы „k" как русское „к"; „r" как французское „v" или как русское „г"; и „n" — как русское „п"; „u" — как русское „н" и друг.

Исследуя каждую букву в отдельности в почерке анонимных пасквильных писем о *Пушкине* и подлинных писем князя *П. В. Долгорукова* 1856 и 1861 гг. и письма его 4/16 июня 1856 г., почерк коего французским экспертом Delarue найден тождественным с подобного рода анонимным письмом шантажного характера к князю *Воронцову*, факсимиле каковых писем помещены в изданной в 1862 году

в Лейпциге книге "Procès du prince Woronzow contre le prince Pierre Dolgoroukow", я обнаружил в некоторых из букв такие характерные и индивидуальные признаки их изображения, которые в данном случае являются присущими только одному почерку князя Петра Владимировича Долгорукова, как, например, буквы: „A", „C", „t", „k", „g", „P" и „ф". Все выявленные мною особенности, как общего характера письма, так и отдельные сходные в некоторых случаях до фотографической точности признаки в почерках писем, данных мне для экспертизы, дают мне право утверждать о несомненном, а не случайном сходстве почерка князя *Петра Владимировича Долгорукова* с умышленно-измененным почерком в анонимных пасквильных письмах об *А. С. Пушкине.*

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеприведенного детального анализа почерков на данных мне анонимных пасквильных письмах об *А. С. Пушкине* и сличения этих почерков с образцами подлинного почерка князя *Петра Владимировича Долгорукова,* в разные годы его жизни, а также с умышленно измененным почерком анонимного письма шантажного характера к князю *Воронцову,* в 1856 году, отождествленного с почерком князя Петра Владимировича *Долгорукова* экспертом Théophile Delarue в 1861 году в Париже, я, судебный эксперт *Алексей Андреевич Сальков,* заключаю, что данные мне для экспертизы в подлинниках пасквильные письма об *Александре Сергеевиче Пушкине* в ноябре 1836 года написаны *несомненно собственноручно* князем *Петром Владимировичем Долгоруковым.*

Судебный эксперт и инспектор, заведыв. Научно-техническим бюро при ленинградском губернском уголовном розыске,

А. Сальков.

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ В КОММЕНТАРИЯХ

Абрамович. — Абрамович С. Л. Пушкин в 1836 году: Предыстория послед. дуэли. Л.: Наука, 1984.

Акад. — Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937—1949. Т. 1—16.

Аммосов. — Аммосов А. Н. Последние дни жизни и кончина Александра Сергеевича Пушкина. Со слов бывшего его лицейского товарища и секунданта Константина Карловича Данзаса. Спб., 1863.

Архив Опеки. — Летописи Государственного Литературного музея. М.; Л.: Изд-во Гос. Лит. музея, 1939. Кн. 5. Архив Опеки Пушкина/Ред. и коммент. П. С. Попова.

Ахматова. — Ахматова А. А. О Пушкине: Статьи и заметки. Л.: Сов. писатель, 1977.

Боричевский. — Боричевский И. Заметки Жуковского о гибели Пушкина//Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937. Кн. 3. С. 371—392.

Военно-судное дело. — Дуэль Пушкина с Дантесом-Геккереном: Подлинное военно-судное дело 1837 г. Спб., 1900.

Вокруг Пушкина. — Ободовская И. М., Дементьев М. А. Вокруг Пушкина: Неизвест. письма Н. Н. Пушкиной и ее сестер Е. Н. и А. Н. Гончаровых/Ред. и автор вступ. ст. Д. Д. Благой. М.: Сов. Россия, 1975.

Врем. ПК. — Временник Пушкинской комиссии.

Вяземский. — Вяземский П. А. Полное собрание сочинений. Спб., 1878—1896. Т. 1—12.

Зап. ОР ГБЛ. — Зап. Отд. рукописей/Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина.

Звенья. — Звенья: Сб. материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIV—XX веков/Под ред. Влад. Бонч-Бруевича. М.; Л., 1932—1951. Сб. 1—9.

Карамзины. — Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 годов. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960.

ЛН. — Литературное наследство.

Переписка. — Переписка А. С. Пушкина. М., 1982. Т. 1—2.

Письма последних лет. — Пушкин А. С. Письма последних лет, 1834—1837/Отв. ред. Н. В. Измайлов. Л.: Наука, 1969.

После смерти Пушкина. — Ободовская И. М., Дементьев М. А. После смерти Пушкина: Неизвест. письма/Ред. и автор вступ. ст. Д. Д. Благой. М.: Сов. Россия, 1980.

Прометей. — Прометей: Ист.-биогр. альманах серии „Жизнь замечательных людей“. М.: Мол. гвардия, 1974. Т. 10.

П. в восп. 1950. — А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М.: Гослитиздат, 1950.
П. в восп. 1974. — А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М.: Худож. лит., 1974.
П. в восп. 1985. — А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. В 2 т. 2-е изд. М.: Худож. лит., 1985.
П. Исслед. — Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1956—1983. Т. 1—12.
РА. — Русский архив.
РС. — Русская старина.
Яшин. Хроника. — Яшин М. И. Хроника преддуэльных дней // Звезда. 1963. № 8. С. 159—184; № 9. С. 166—187.

ИСТОРИЯ ПОСЛЕДНЕЙ ДУЭЛИ

С. 24. Щеголев имеет в виду „Записки А. О. Смирновой: Из записных книжек 1826—1845 гг.“, публиковавшиеся в 1893 г. в „Северном вестнике“, а затем вышедшие отдельным изданием (Спб., 1895—1897. Ч. 1—2). Эти записки представляют собой фальсификацию, составленную дочерью А. О. Смирновой, Ольгой Николаевной Смирновой. Впервые подлинные записки Смирновой были напечатаны в 1929 г. (см.: Смирнова А. О. Записки, дневник, воспоминания, письма/Со ст. и примеч. Л. В. Крестовой. Под ред. М. А. Цявловского. М., 1929). См. также: Смирнова А. О. Автобиография: Неизданные материалы/ Подготовила к печати Л. В. Крестова. М., 1931; Житомирская С. В. К истории мемуарного наследия А. О. Смирновой-Россет//*П. Исслед.* 1980. Т. 9. С. 329—344.

С. 24. Теперь письмо Е. Карамзиной от 30 января известно. Приводим его текст: «Милый Андрюша, пишу к тебе с глазами, наполненными слез, а сердце и душа тоскою и горестию; закатилась звезда светлая, Россия потеряла Пушкина! Он дрался в середу на дуэли с Дантезом, и он прострелил его насквозь; Пушкин бессмертный жил два дни, а вчерась, в пятницу, отлетел от нас; я имела горькую сладость проститься с ним в четверьг; он сам этого пожелал. Ты можешь вообразить мои чувства в эту минуту, особливо, когда узнаешь, что Арнд с перьвой минуты сказал, что никакой надежды нет! Он протянул мне руку, я ее пожала, и он мне также, и потом махнул, чтобы я вышла. Я, уходя, осенила его издали крестом, он опять протянул мне руку и сказал тихо: „перекрестите еще“, тогда я опять, пожавши еще раз его руку, я уже его перекрестила, прикладывая пальцы на лоб, и приложила руку к щеке: он тихонько поцеловал и опять махнул. Он был бледен как полотно, но очень хорош; спокойствие выражалось на его прекрасном лице. Других подробностей не хочу писать, отчего и почему это великое несчастье случилось: они мне противны; Сонюшка тебе их опишет. А мне жаль тебя; я знаю и чувствую, сколько тебя эта весть огорчит; потеря для России, но особенно наша; он был жаркий почитатель твоего отца и наш неизменный друг двадцать лет. <...> Дуэли ужасны! А что они доказывают? Бедного Пушкина нет больше! А через два года никто из оставшихся не будет и думать об этом. Пусть охранит тебя от них небо, и пусть твое доброе сердце и разум тебя от них отдалят! Прижимаю тебя к сердцу, опечаленному и страдающему, жалея тебя, потому что перенесу те же чувства в твое сердце. Благословляю тебя с любовью, поручая тебя милости господней. Я чувствую себя вполне хорошо“ (*Карамзины.* С. 166—167).

С. 25. Судьба писем Н. Н. Пушкиной к мужу давно занимает исследователей. Известно, что письма эти были на квартире поэта во время жандармского досмотра и с позволения Николая I были возвращены Жуковским владелице. С этого момента их судьба полна загадок. Никто из исследователей их не видел, не видел их даже П. В. Анненков, читавший всю переписку поэта, хранившуюся в его семье. В последние годы появилось несколько статей, посвященных возможной судьбе этих писем. В 1966 г. С. Г. Энгель напечатала статью „Где письма Натальи Николаевны Пушкиной?" (Новый мир. 1966. № 11. С. 272—279), в которой, основываясь на просмотренных ею архивных документах Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина, утверждала, что письма Н. Н. Пушкиной к мужу хранились в Румянцевском музее, фигурировали в издательских планах, а затем загадочно исчезли. «Загадочность» их исчезновения С. Г. Энгель связывает с уничтожением и фальсификацией части документов Румянцевского музея, которые якобы удалось ей обнаружить.

Проверку доводов С. Г. Энгель, тщательный анализ архивных документов и кропотливую работу по выявлению и сопоставлению всех упоминаний в печати о переписке Пушкина с женой провела С. В. Житомирская. Результаты ее исследования были опубликованы в 1971 г. (Житомирская С. В. К истории писем Н. Н. Пушкиной//*Прометей.* 1971. Кн. 8. С. 148—165). Изучение входящих книг Румянцевского музея, нумерация страниц и протоколов показали, что никакой «фальсификации» не было. Сын поэта А. А. Пушкин передал в музей только письма самого поэта к жене, а все сообщения о письмах Натальи Николаевны исходят из одного источника — интервью с А. А. Пушкиным, в котором он сообщил репортерам, что в 1882 г. передал «переписку Пушкина с женой» в Румянцевский музей. Слово «перéписка» привело виднейших пушкинистов — Лернера, Щеголева, Брюсова — к убеждению, что письма Н. Н. Пушкиной, так же как и письма самого поэта, находятся в музее. С. В. Житомирская связывает это убеждение со словесным недоразумением. К моменту появления интервью слово «переписка» (в особенности для специалиста) имело тот же смысл, что и для нас, — обмен письмами между двумя корреспондентами, но «для поколения, к которому принадлежал А. А. Пушкин, это слово равно обозначало и обмен письмами, и письма разных лиц к одному адресату». Убедительное объяснение дает Житомирская и всем другим упоминаниям о «Письмах Н. Н. Пушкиной» в архивных документах. Придя к выводу, что письма жены поэта «Румянцевскому музею никогда не принадлежали», она заключает свою статью обнадеживающими словами: «...поиски эти остаются делом будущего». Однако, скорее всего, эти поиски безнадежны. Письма могли сгореть в 1919 г., когда сгорел дом А. А. Пушкина, но, может быть, к этому времени они уже и не существовали.

Незадолго до появления статьи Житомирской М. А. Дементьев опубликовал письмо Российской книжной палаты от 30 октября 1920 г., где в перечне изданий, намеченных «к техническому исполнению... в первую очередь», упоминаются (так же, как и в ряде документов, приводимых в статье Житомирской) «Письма Н. Н. Пушкиной — 3 печ. листа». М. А. Дементьев считает это письмо «чрезвычайно важным документом», даже «на сегодня единственным документом, который подтверждает, что письма Н. Н. Пушкиной действительно хранились в Румянцевском музее и действительно готовились к печати» (Дементьев М. А. Еще о письмах Пушкину его жены//Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз.

1970. Т. 29. Вып. 5. С. 447—448). Раскрывая инициалы в аналогичных документах, Житомирская читает: «Письма Наталье Николаевне Пушкиной» (т. е. письма поэта к жене, которые действительно хранились в Румянцевском музее). Правильность такого прочтения подтверждает совокупность приводимых ею доводов.

В 1902 г. П. И. Бартенев писал В. И. Саитову, издававшему «Переписку» Пушкина: «Писем Натальи Николаевны к мужу не сохранилось, как говорил мне недавно старший сын их» (отрывок из этого письма впервые публикуется в статье С. В. Житомирской). Правда, через 10 лет после этого, незадолго до смерти, он выразил недоверие к словам А. А. Пушкина, написав о возможной публикации этих писем «в далеком будущем». Но, скорее всего, это только надежда ученого. Чтя память мужа и понимая научное значение его писем, Н. Н. Пушкина-Ланская сохранила все его письма, свои же письма к нему она вполне могла уничтожить, ограждая себя от любопытства будущих поколений.

С. 26. **Письма членов семьи Карамзиных — вдовы историографа** Екатерины Андреевны и его детей — Софьи Николаевны, Екатерины Николаевны (Мещерской), Александра, Владимира и Елизаветы к их сыну и брату Андрею Николаевичу, писанные во время его заграничного путешествия в 1836—1837 годах, обнаружены были в Нижнем Тагиле накануне Великой Отечественной войны. Полностью письма (французские оригиналы и русские переводы) опубликованы: *Карамзины.* В настоящем издании отрывки из писем приводятся в русских переводах.

С. 30. Рассказ о случайной встрече Дантеса с Николаем I принадлежит секунданту и другу Пушкина К. К. Данзасу. Приводим отрывок из его воспоминаний, записанных А. Аммосовым: «Счастливый случай покровительствовал Дантесу в представлении его покойному императору Николаю Павловичу. Как известно Данзасу, это произошло следующим образом.

В то время в Петербурге был известный баталический живописец Ладюрнер (Ladurnère), соотечественник Дантеса. Покойный государь посещал иногда его мастерскую, находившуюся в Эрмитаже, и в одно из своих посещений, увидя на полотне художника несколько эскизов, изображавших фигуру Людовика-Филиппа, спросил Ладюрнера:

– Est-ce que c'est vous, par hasard, qui vous amusez à faire ces choses là? (Это не вы, случайно, развлекаетесь подобными работами?) — Non, sire! – отвечал Ладюрнер. — C'est un de mes compatriotes, légitimiste comme moi, m-r Dantess. (Нет, государь... Это мой соотечественник, легитимист, как и я, господин Дантес).

— Ah! Dantess, mais je le connais, l'impératrice m'en a déjà parlé (Ах, Дантес, я его знаю, императрица говорила мне о нем), — сказал государь и пожелал его видеть.

Ладюрнер вытащил Дантеса из-за ширм, куда последний спрятался при входе государя.

Государь милостиво начал с ним разговаривать, и Дантес, пользуясь случаем, тут же просил государя позволить ему вступить в русскую военную службу. Государь изъявил согласие. Императрице было угодно, чтобы Дантес служил в ее полку, и, несмотря на дурно выдержанный экзамен, Дантес был принят в Кавалергардский полк, прямо офицером, и, во внимание к его бедности, государь назначил ему ежегодное негласное пособие» (*П. в восп. 1974.* Т. 2. С. 319).

С. 31. Двух «gens d'esprit» — двух умных человек (*фр.*).

С. 32. О воспоминаниях Араповой см. ниже, с. 540.

С. 34. Приведем несколько свидетельств современников о *близости Геккерена и Дантеса:* «Барон Гекерн, нидерландский посланник, <...> усыновил Дантеса, передал ему фамилию свою и назначил его своим наследником. Какие причины побудили его к оному, осталось неизвестным; иные утверждали, что он его считал сыном своим, быв в связи с его матерью; другие, что он из ненависти к своему семейству давно желал кого-нибудь усыновить и что выбрал Дантеса потому, что полюбил его». Смирнов Н. М.//*П. в восп. 1974.* Т. 2. С. 239; «Имея счастливую способность нравиться, Дантес до такой степени приобрел любовь бывшего тогда в Петербурге голландского посланника барона Гекерена (Heckerene), человека весьма богатого, что тот, будучи бездетен, усыновил Дантеса, с тем единственным условием, чтобы последний принял его фамилию.

По поводу принятия Дантесом фамилии Гекерена кто-то в шутку распустил тогда в городе слух, будто солдаты Кавалергардского полка, коверкая фамилии — Дантес и Гекерен, говорили: «Что это сделалось с нашим поручиком, был *дантист,* а теперь вдруг стал *лекарем».* (Данзас К. К. *П. в восп. 1974.* Т. 2. С. 319). О противоестественных отношениях между Геккерном и Дантесом см. свидетельство товарища Дантеса по полку, А. В. Трубецкого (наст. изд. С. 350—363) и запись П. В. Анненкова со слов Данзаса: «Гекерн был педераст, ревновал Дантеса и потому хотел поссорить его с семейством Пушкина. Отсюда письма анонимные и его сводничество» (Работы П. В. Анненкова о Пушкине//Модзалевский Б. Л. Пушкин. Л., 1929. *С.* 41).

С. 35. Господину барону Дантесу (*фр.*).

С. 38. взысканий... М. И. Яшин, обратившись к приказам по Кавалергардскому полку, составил своеобразную «хронику» его штрафных дежурств (см.: *Яшин. Хроника*//№ 8. С. 171—173).

С. 39. Одним из самых красивых кавалергардов и одним из самых модных людей (*фр.*).

С. 39. Игра слов, основанная на созвучии выражений manger la vache (есть говядину) и manger la vache enragée (терять надежду). Буквально: «Он нас заставил есть бешеную говядину, приправленную лампадным маслом» (*фр.*).

С. 40. Трехбунчужный паша (*фр.*).

С. 40. К *отзыву современника* добавим также характеристику, которую дает Дантесу Александр Николаевич Карамзин уже после смерти Пушкина. — См. с. 471 настоящего издания.

С. 40. К списку перечисленных Щеголевым в сноске работ о семейной жизни Пушкина добавим работы, вышедшие в советское время: Казанский Б. Гибель поэта//Лит. современник. 1937. № 3. С. 219—243; *Яшин. Хроника;* Левкович Я. Л. Новые материалы для биографии Пушкина в 1963—1966 годах//*П. Исслед.* 1967. Т. 5. С. 370—371; Яшин М. И. История гибели Пушкина//Нева. 1968. № 2; Левкович Я. Л. Две работы о дуэли Пушкина: [рец. на указ. выше работы М. И. Яшина]//Рус. лит. 1970. № 2. С. 211—219; Ахматова А. А. О Пушкине. Л., 1977. С. 134—148 (ст.: Гибель Пушкина; Александрина); Ободовская И. М., Дементьев М. А. Вокруг Пушкина: Неизвестн. письма Н. Н. Пушкиной и ее сестер Е. Н. и А. Н. Гончаровых/Ред. и автор вступ. ст. «Погибельное счастье» Д. Д. Благой. М., 1975; То же. 2-е изд., доп. М., 1978; Благой Д. Д. Душа в заветной лире: Очерки жизни и творчества Пушкина. 2-е изд., доп. М., 1979. С. 397—476; *Абрамович*; Лотман Ю. М. О дуэли Пушкина без

«таин» и «загадок»: Исследование, а не расследование [рец. на кн. С. Л. Абрамович]//Таллин, 1985, № 3. С. 90—99.

С. 41. Письмо от 5 *апреля 1830 г.* (*Акад.* Т. 14. С. 75). Подлинник — по-французски.

С. 41. Щеголев имеет в виду слова *П. А. Вяземского* в письме к Пушкину от 26 апреля 1830 г.: «Я помню, что <...> сравнивал я Алябьеву avec une beauté classique <с красотой классической>, а невесту твою avec une beauté romantique <с красотой романтической>. Тебе, первому нашему романтическому поэту, и следовало жениться на первой романтической красавице нынешнего поколения» (*Акад.* Т. 14. С. 80).

С. 41. история женитьбы Пушкина... См.: Благой Д. Д. Погибельное счастье//*Вокруг Пушкина.* С. 7—63. Овчинникова С. Т. Пушкин в Москве: Летопись жизни А. С. Пушкина с 5 дек. 1830 г. по 15 мая 1831 г. М., 1984. С. 133—140.

С. 41. Письмо *А. Я. Булгакова брату* от 16 февраля 1831 г.

С. 41. Письмо *Пушкина Кривцову* от начала (не позднее 9-го) февраля 1831 г.//*Акад.* Т. 14. С. 149—150. С этими словами соотносится автобиографический набросок Пушкина «Участь моя решена. Я женюсь...», датированный 12 и 13 мая 1830 г. — см.: *Акад.* Т. 8. С. 406—408.

С. 41. Письмо *Булгакова брату* от 19 февраля 1831 г. Булгаков имеет в виду судьбу матери Байрона. Пушкин в своей неоконченной статье 1835 г. «Байрон» писал о ней: «...расчетливый вдовец (капитан Байрон) для поправления своего расстроенного состояния женился на мисс Gordon, единственной дочери и наследнице Георгия Гордона, владельца гайфского. Брак сей был несчастлив; 23 500 f. st. (587 500 руб.) были расточены в два года. <...> В 1786 году муж и жена отправились во Францию и возвратились в Лондон в конце 1787. В следующем году 22 января леди Байрон родила единственного сына Георгия Гордона Байрона <...> В 1790 леди Байрон удалилась в Абердин, и муж ее за нею последовал. Несколько времени жили они вместе. Но характеры были слишком несовместны — вскоре потом они разошлись. Муж уехал во Францию, выманив прежде у бедной жены своей деньги, нужные ему на дорогу» (*Акад.* Т. 11. С. 275).

С. 42. Письмо *Пушкина к матери невесты* от 5 апреля 1830 г. (*Акад.* Т. 14. С. 76. Подлинник по-французски).

С. 42. Запись в дневнике А. Н. Вульфа 28 июня 1830 г.

С. 42. Письмо *Е. М. Хитрово* от середины мая 1830 г. (*Акад.* Т. 14. С. 91. Подлинник по-французски).

С. 42. Письмо *Пушкина П. А. Плетневу* от 24 февраля 1831 г. (*Акад.* Т. 14. С. 154—155).

С. 42. Письмо *А. Я. Булгакова* к К. Я. Булгакову от 28 февраля 1831 г.

С. 42. Письмо *Е. Е. Кашкиной* от 25 апреля 1831 г. Подлинник по-французски.

С. 43. Письмо *В. И. Туманского* С. Г. Туманской от 16 марта 1831 г.

С. 43. Письмо *Пушкина к теще* от 26 июня 1831 г. (*Акад.* Т. 14. С. 182. Подлинник по-французски).

С. 43. Щеголев неточно цитирует отрывок из письма *Пушкина к П. А. Плетневу* от 26 марта 1831 г. У Пушкина: «Знаешь ли что? мне мочи нет хотелось бы к Вам недоехать, а остановиться в Царск.<ом> Селе. Мысль благословенная!» (дальше — как у Щеголева. *Акад.* Т. 14. С. 158).

С. 43. Емкую характеристику *жены поэта* дает *Д. Ф. Фикельмон* и в своем дневнике:

«1831. 25 октября. Госпожа Пушкина, жена поэта, здесь [у Фикельмонов. — *Я. Л.*] впервые появилась в свете; она очень красива, и во всем ее облике есть что-то поэтическое — ее стан великолепен, черты лица правильны, рот изящен и взгляд, хотя и неопределенный, красив; в ее лице есть что-то кроткое и утонченное; я еще не знаю, как она разговаривает, — ведь среди 150 человек вовсе не разговаривают, — но муж говорит, что она умна. Что до него, то он перестает быть поэтом в ее присутствии; мне показалось, что он вчера испытывал все мелкие ощущения, всё возбуждение и волнение, какие чувствует муж, желающий, чтобы его жена имела успех в свете.

1831. 12 ноября. Поэтическая красота госпожи Пушкиной проникает до самого моего сердца. Есть что-то воздушное и трогательное во всем ее облике — эта женщина не будет счастлива, я в том уверена! Она носит на челе печать страдания. Сейчас ей все улыбается, она совершенно счастлива, и жизнь открывается перед ней блестящая и радостная, а между тем голова ее склоняется, и весь ее облик как будто говорит: «Я страдаю». Но и какую же трудную предстоит ей нести судьбу — быть женою поэта, и такого поэта, как Пушкин!

1832. Сентябрь. Госпожа Пушкина, жена поэта, пользуется самым большим успехом; невозможно быть прекраснее, ни иметь более поэтическую внешность, а между тем у нее немного ума и даже, кажется, немного воображения.

1832. 21 ноября. Самой красивой вчера была, однако ж, Пушкина, которую мы прозвали поэтической, как из-за ее мужа, так и из-за ее небесной и несравненной красоты. Это — образ, перед которым можно оставаться часами, как перед совершеннейшим созданием творца» (*П. в восп. 1974.* Т. 2. С. 141. Подлинник по-французски). Зоркая наблюдательность принесла Д. Ф. Фикельмон славу «Сивиллы Флорентийской» — предсказательницы будущего. Записи о поэте и его жене, о несовместимости их характеров еще раз оправдывают это прозвание. Предчувствие грядущей трагедии высказывает она и в своих письмах к П. А. Вяземскому (*РА.* 1884. Кн. 2. № 4; ср. с. 43 наст. изд.), которые во многом повторяют ее дневник.

С. 44. Письма *О. С. Павлищевой* от 4 июня, 9 июня, 13 августа 1836 г. (подлинники по-французски).

С. 44. Письмо *В. А. Жуковского* от конца июля — начала августа 1831 г. Французские слова в письме переводятся: «Именно так».

С. 45. Письма *О. С. Павлищевой* от 13—15 августа, 4 сентября, 13, 22 октября 1831 г. (подлинники по-французски).

С. 45. «Что касается моей невестки, то здесь это самая модная женщина. Она вращается в высшем свете, и вообще говорят, что она — первая красавица; ее прозвали „Психея“» (письмо от 17 ноября 1831 г. — *фр.*).

С. 46. Мнение Щеголева *о Наталье Николаевне* основывается на отзывах современников, которые писались главным образом после смерти Пушкина; в них не могло не отразиться сознание вины Натальи Николаевны в гибели мужа. Поэтому мемуарные свидетельства расходятся с признанием самого поэта, что душу ее он любит «еще более» ее лица (см.: *Акад.* Т. 15. С. 148).

С. 46. Письмо *Пушкина матери невесты* от 5 апреля 1830 г. (*Акад.* Т. 14. С. 76). Подлинник по-французски.

С. 46. В высшем свете (*фр.*).

С. 47. Щеголев предвзято относится к *Жуковскому* и его участию в сближении Пушкина с двором. Отношения Пушкина с царем складыва-

лись независимо от Жуковского. После первой встречи в Кремлевском дворце 8 сентября 1826 года Пушкин короткое время питал иллюзии в отношении Николая I. Результатом явились стансы «В надежде славы и добра». Иллюзии оказались кратковременными. Вскоре возникло дело о стихотворении «Андрей Шенье», отрывок из которого распространялся в списках под названием «На 14 декабря», затем поэта привлекли к допросу в особой комиссии в связи с дошедшей до правительства «Гавриилиадой». Над Пушкиным был учрежден секретный надзор (см. об этом: Благой Д. Д. Творческий путь Пушкина (1826—1830). М., 1967. С. 32—137). В 1831 году, после революции во Франции и польских событий, от Николая I ждали назревших реформ. У Пушкина «мелькнула мысль оказать влияние на правительство, противостоя булгаринскому наушничеству» (Лотман Ю. М. Александр Сергеевич Пушкин: Биогр. писателя. Пособие для учащихся. Л., 1981. С. 195). Именно в это время поэт задумал издание официальной политической газеты «Дневник» и начал свои исторические занятия (об издании газеты см.: Пиксанов Н. К. Несостоявшаяся газета Пушкина «Дневник» (1831—1832)// Пушкин и его современники: Материалы и исслед. Спб., 1907. Вып. 5. С. 30—74; Модзалевский Л. Б. Комментарий//*Письма.* Т. 3. С. 489—500). Своей радостью от того, что царь «открыл» ему архивы, Пушкин делится в письме к Плетневу от 22 июля 1831 г., которое ниже приводит Щеголев. Однако надежды на перемены во внутренней политике царского правительства не осуществились — с этим связан и отказ Пушкина от уже разрешенной ему газеты (см.: Оксман Ю. Г. «Дневник»// Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Л., 1931. Т. 6. Кн. 12. Путеводитель по Пушкину. С. 126. Прилож. к журн. «Красная нива» на 1931 год). Но возможность «рыться в архивах» привлекала его по-прежнему и удерживала при дворе. В 1834 г. Пушкин подал прошение об отставке, вызвал этим гнев Николая I — вот тут и потребовалось вмешательство Жуковского, чтобы уладить конфликт (см. об этом ниже, примеч. к с. 462).

Высказывание Щеголева о «Медном всаднике» отражает господствовавшую в конце 1920-х — начале 1930-х гг. вульгарно-социологическую концепцию творчества Пушкина. Историю изучения поэмы в последующие годы и современную ее интерпретацию см. в работах: Сандомирская В. Б. Поэмы//Пушкин: Итоги и пробл. изучения. М.; Л., 1966. С. 398—406; Измайлов Н. В. «Медный всадник» А. С. Пушкина: История замысла и создания, публикации и изучения//Пушкин А. С. Медный всадник. Л., 1978. С. 147—265; Осповат А. Л., Тименчик Р. Д. «Печальну повесть сохранить...»: Об авторе и читателях «Медного всадника». М., 1985.

С. 47. Письмо *Пушкина Плетневу* от 22 июля 1831 г. (*Акад.* Т. 14. С. 197). Первой фразы («Царь со мною очень милостив и любезен») в письме к Плетневу нет. Она взята из письма к П. В. Нащокину от 26 июля 1836 (*Акад.* Т. 14. С. 196). Перевод французской фразы: раз он женат и небогат, надо дать ему средства к жизни (буквально: заправить его кастрюлю. — *фр.*).

С. 47. Письмо *Пушкина* к Н. Н. Пушкиной около (не позднее) 14 июля 1834 (*Акад.* Т. 16. С. 180).

С. 47. В 1831 г. вышла *брошюра* «На взятие Варшавы» (ценз. разрешение 7 сентября 1831 г.), содержащая два стихотворения Пушкина («Клеветникам России» и «Бородинская годовщина») и одно стихотворение Жуковского («Русская песнь на взятие Варшавы»).

С. 47. Письмо *Жуковского А. И. Тургеневу* от 7—10 сентября 1831 г.

С. 48. Щеголев имеет в виду известный эпизод с отставкой Пушкина, разыгравшийся в конце июня — начале июля 1834 г. 25 июня Пушкин обратился к Бенкендорфу с просьбой «исходатайствовать» ему разрешение оставить службу. Решение Пушкина выйти в отставку диктовалось свойственным ему всегда стремлением к независимости — материальной, личной и общественной. Пушкин надеялся, что отъезд в деревню поправит его денежные дела, предотвратит разорение семьи, обеспечит будущее детей, а главное — даст возможность спокойно заниматься творческой работой (см. его письма к жене от 21 и 29 сентября 1835 г. — *Акад.* Т. 14. С. 48—49, 51). Выйти в отставку Пушкину не удалось — на его просьбу царь ответил, что никого не хочет удерживать на службе против воли, но что после отставки вход в архивы будет поэту запрещен. Это не только делало невозможным исторические занятия Пушкина, но и грозило новой опалой. В это время Жуковский буквально мечется между поэтом и двором, всячески сглаживая конфликт (см. об этом наш комментарий в кн.: *Письма последних лет.* С. 231—232 и Иезуитова Р. В. Пушкин и «Дневник» В. А. Жуковского 1834 г.// *П. Исслед.* 1978. Т. 8. С. 219—247). Когда хлопоты Жуковского увенчались успехом и конфликт был уже позади, сам Пушкин писал жене: «На днях я чуть было беды не сделал: с *тем* чуть было не побранился — и трухнул-то я, да и грустно стало. С этим поссорюсь — другого не наживу. А долго на него сердиться не умею, хоть и он не прав» (Письмо от 11 июля 1834. — *Акад.* Т. 15. С. 178).

С. 48. Письмо *Пушкина жене* от 11 июня 1834 г. — *Акад.* Т. 15. С. 159. Перевод французской фразы: «Вчера на балу госпожа такая-то была решительно красивее всех и одета лучше всех» (*фр.*).

С. 49. Письмо *к жене* от 18 мая 1834 г. — *Акад.* Т. 15. С. 150.

С. 49. петли... затягивались. Щеголев имеет в виду материальную зависимость Пушкина от двора. 26 февраля 1834 г. поэт через Бенкендорфа обратился к царю с просьбой о выдаче ему «из казны заимообразно, за установленные проценты, 20 000 рублей, с тем чтоб оные <он> выплатил в два года, по срокам, которые угодно назначить начальству» (*Акад.* Т. 15. С. 112). Деньги получены были на издание «Истории Пугачевского бунта». Ссуда была выдана поэту. Однако надежды Пушкина на доход от издания не оправдались, и в 1835 году он был вынужден снова обратиться к правительству для устройства денежных дел: сперва просил разрешить ему издание газеты и получил отказ; затем просил отпуск на 3—4 года, мотивируя свою просьбу тем, что «необходимость проживания в Петербурге» вовлекла его в новые долги, и называя сумму долгов — 60 000. Вместо этого царь предложил «безвозвратную сумму в 10 000 рублей и отпуск на 6 месяцев». Но царские «милости» не спасали положения и, согласившись на короткий отпуск, Пушкин просит о займе в казне 30 000 рублей (для уплаты «долгов чести») с удержанием этой суммы из его жалования. Ссуда была Пушкину выдана. Переписка с Бенкендорформ по поводу отпуска и ссуды велась в апреле — июле 1835 года (см. письма от 11 апреля, 1 июня, 22 и 26 июля (*Акад.* Т. 16. С. 18, 41, 42). Об этом эпизоде см. наш комментарий в кн.: *Письма последних лет.* С. 269, 270, 274. Ср.: Левкович Я. Л. Из наблюдений над черновиками писем Пушкина// *П. Исслед.* Т. 9. С. 137—140.

С. 49. Письмо Пушкина жене *об отъезде из Петербурга* от конца (не позднее 29) мая 1834 г. (*Акад.* Т. 15. С. 153). Связано с намерением Пушкина подать прошение об отставке — см. выше, примеч. с. 462.

С. 49. Письмо *сестры* от 31 августа 1835 г. (Подлинник по-французски).

С. 49. ...современница. Щеголев цитирует письмо Е. Н. Мещерской, адресованное ее золовке Марии Ивановне Мещерской и написанное 16 февраля 1837 г. (Подлинник по-французски. См.: *П. в восп. 1985.* Т. 2. С. 388—389).

С. 51. О судьбе *писем Натальи Николаевны* к Пушкину см. с. 456—457. До недавнего времени в руках исследователей вообще не было писем Н. Н. Пушкиной, если не считать трех писем к деду А. Н. Гончарову и приписки в письме Н. И. Гончаровой к Пушкину от 14 мая 1834 г. В 1970 г. И. М. Ободовская и М. А. Дементьев в архиве Гончаровых нашли письма ее к брату Д. Н. Гончарову (см.: Ободовская И., Дементьев М. Неизвест. письма Н. Н. Пушкиной/Пер. с фр. И. Ободовской//Лит. Россия. 1971. 23 апр.; см. также: Пушкинский праздник. Спец. вып. «Лит. газ.» и «Лит. России». 1971. 2—9 июня. С. 10; *Вокруг Пушкина.* С. 87—180; *После смерти Пушкина.* С. 53—173). Об этих письмах и облике жены поэта, как он восстанавливается по письмам Пушкина к ней, см. вступ. статью, с. 13 наст. изд. Подробнее см.: Левкович Я. Л. Письма Пушкина к жене//Рус. лит. 1984. № 1. С. 188—196.

С. 52. (что) отзывается невоспитанностью (*фр.*), вульгарно (*англ.*).

С. 53. Брюсов неточно пересказывает письмо Пушкина от 21 сент. 1835 г. из Михайловского. Поэт просит прислать ему «Essays de M. Montaigne» <«Опыты» Монтеня>, изданные в Париже в 1828 г. «4 синих книги» сохранились в библиотеке Пушкина в разрезанном виде (см.: Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина. Библиогр. описание. Спб., 1910. № 1185 (П. и его современники. Вып. 9—10)).

С. 54. Здесь и ниже цитаты из *писем Пушкина* от 3 октября 1832 г., 2, 8, 11, 30 октября 1833 г., 6 ноября 1833 г.

С. 54. Письмо от 11 октября 1833 г. *Жених княжны Любы* — С. Д. Безобразов (1801—1879), флигель-адъютант, ротмистр лейб-гвардии Кирасирского полка, «один из красивейших мужчин своего времени» (Лорер Н. И. Записки декабриста. М., 1931. С. 258). В 1833 г. женился на фрейлине Л. А. Хилковой. Однако брак оказался несчастливым. Причиной этого явилось подозрение Безобразова, что жена его была любовницей Николая I. В дневнике Пушкина есть несколько записей о «семейных ссорах Безобразова с молодою своей женой» (1, 7, 26 января и 17 марта 1834 г.: *Акад.* Т. 12. С. 318—319).

С. 54. Письмо от 30 октября 1833 г. (*Акад.* Т. 15. С. 89). *Парасковья Петровна* — вероятно, дочь П. А. и В. Ф. Вяземских. Ей в это время было 16 лет. Сказка (а не *басня*) *А. Е. Измайлова о Фоме и Кузьме* называется «Заветное пиво» и содержит следующую мораль:

Красавицы кокетки!
Ведь это вам наветки!
Зачем собою нас прельщать?
Зачем любовь в нас возбуждать?
Притворной нежностью и острыми словами,
Когда мы нелюбимы вами,
И не хотите вы руки своей нам дать?
Вам весело, как мы любовию к вам жаждем,
Смеетесь, как мы страждем.
Не корчите Фому —
Не то попасть вам на Кузьму.

С. 55. Письмо *Пушкина к жене* от 21 октября 1833 г. *(Акад.* Т. 15. С. 87).

С. 55. Письмо от 10 окт. 1833 г. (*Акад.* Т. 15. С. 89).

С. 56. Письмо от 20 апр. 1834 г. (*Акад.* Т. 15. С. 130).

С. 56. Письмо *матери невесты* от 5 апр. 1830 г. (*Акад.* Т. 14. С. 76).

С. 57. Стихотворение *«Когда в объятия мои»* в сочинениях Пушкина датируется 1830-м годом, т. е. написано до женитьбы Пушкина. При жизни Пушкина не печаталось.

С. 57. Автограф стихотворения *«Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем»* не сохранился. В авторитетных копиях оно имеет в рукописи дату: «19 января 1830». Дата, скорее всего, связана с нежеланием Пушкина, чтобы в адресате стихотворения угадывали его жену. Оно было написано после женитьбы поэта, т. е. после 18 февраля 1831 года. При жизни Пушкина не печаталось.

С. 58. В Аничкове, т. е. на придворных балах в «собственном» (Аничковом) дворце для тесного круга приглашенных, близких ко двору и к царской семье (в отличие от балов в Зимнем дворце, куда иногда допускали широкий круг дворянства и даже купечество).

С. 58. Письмо *Пушкина П. В. Нащокину* датируется «между 23 и 30 марта» — см.: *Письма последних лет.* С. 30, 215.

С. 59. Имеется в виду *выражение Пушкина* из письма к П. В. Нащокину: «Что-то будет с Алекс<андром> Юрьевичем <Поливановым, который сватался за Ал. Н. Гончарову. — *Я. Л.*>? ...Воображаю его в Заводах en tête-à-tête <с глазу на глаз — *фр.*> с глухим стариком, а Нат.<алью> Ив.<ановну> *ходуном ходящую* около дочерей крепко накрепко заключенных» (около (не позднее) 20 июня 1831 г. — *Акад.* Т. 14. С. 178).

С. 59. Письмо *Пушкина* от 11 июня 1834 г. (*Акад.* Т. 15. С. 158—159).

С. 59. Письмо *Пушкина* от 26—27 июня 1834 г. (см.: Письма последних лет. С. 53, 233).

С. 59. Письмо Пушкина от 14 июля 1834 г. — *Акад.* Т. 15. С. 181.

С. 59. Письмо к мужу от 12 сентября 1835 г. Подлинник по-французски.

С. 59. Письмо от 4 мая 1835 г.

С. 60. Она очень похожа на дылду или ручку метлы — сравнения кавказской галантности (*фр.*).

С. 60. Современники по-разному определяли роль *Александры Николаевны* («Александрины») в доме Пушкиных. В рассказах В. Ф. Вяземской она выступает «добрым ангелом» поэта, поклонницей его таланта и помощницей в домашних делах (см.: *П. в восп. 1974.* Т. 2. С. 163). Свидетельство Вяземской, что «хозяйством и детьми должна была заниматься Александрина», косвенно подтверждает анекдот о сыне «Сашке», который Пушкин рассказывает Нащокину в письме от 27 мая 1836 г.: «Ему запрещают (не знаю зачем) просить, чего ему хочется. На днях говорит он своей тетке: „Азя! Дай мне чаю: я просить не буду"» *(Акад.* Т. 16. С. 121). Другие современники (О. С. Павлищева, Анна Н. Вульф) поэта писали об увлечении поэта свояченицей. О том, что Пушкин якобы влюблен в А. Н., сообщает брату Андрею С. Н. Карамзина 27 января (в день дуэли). См. отрывок из ее письма ниже — в примеч. с. 486 наст. изд. Вяземский и С. Н. Карамзина шокированы. А. О. Россет отношения в семье Пушкиных определяет иначе: «сплетни» («Тогда уже, летом 1836 года, шли толки, что у Пушкиных в семье что-то неладно: две сестры, сплетни, и уже замечали волокитство Дантеса» — *П. в восп. 1974.* Т. 2. С. 315). А. А. Ахматова убедительно показала, что «сплетня» была пущена в оборот Геккерном и Дантесом, чтобы опоро-

чить Пушкина и, может быть, спровоцировать его дуэль с одним из братьев Гончаровых (*Ахматова*. С. 141). В распространении этой сплетни участвовали враги поэта, в том числе И. Г. Полетика, которая даже в 70-е гг. продолжала повторять, что дуэль произошла из-за ревности Пушкина к Александрине и боязни, что Дантес увезет ее во Францию. Эту версию («версию Дантеса», — как пишет Ахматова) излагает и друг Дантеса по полку А. В. Трубецкой (см. наст. изд., с. 359). В несколько ином варианте мы находим ее в воспоминаниях А. П. Араповой (см. ниже, с. 360—362). В исследовательской литературе она нашла отражение в книге Н. А. Раевского «Портреты заговорили» (Алма-Ата, 1976. С. 20—21). Поводом к сплетне могли послужить доверительные отношения между Пушкиным и свояченицей. Умная, наблюдательная Александрина (см. ее письма к Д. Н. Гончарову в кн.: *Вокруг Пушкина*. С. 241—330) сочувствовала поэту. Он делился с ней своими планами и намерениями. Это подтверждает, например, ее письмо к брату Дмитрию от конца июля 1836 г., в котором имеется тщательно зачеркнутая фраза. Ее разобрала И. Ободовская. Передавая брату просьбу Пушкина прислать писчей бумаги разных сортов, Александрина Николаевна добавляет: «Не задержи с отправкой, потому что мне кажется, он скоро уедет в деревню». И. Ободовская полагает, что Пушкин собирался летом 1836 года увезти жену в деревню. Своим планом он поделился с Александриной, прося сохранить его в тайне, — потому она и зачеркнула эти, случайно вырвавшиеся слова (см. об этом: *Вокруг Пушкина*. С. 311). Александрина была одной из двух женщин (второй была Е. Н. Вревская), которые знали о предстоящей дуэли и понимали, что предотвратить ее нельзя, — обстоятельства были сильнее поэта. Характерно и письмо Александрины также к брату Дмитрию, написанное уже после женитьбы Дантеса, когда в семействе Геккернов разыгрывалась картина семейного счастья. Эта картина ввела в заблуждение даже проницательную С. Н. Карамзину (см. ее письмо на с. 485 наст. изд.), но не обманула А. Н. Гончарову. В начале двадцатых чисел января 1837 г. она пишет: «Все кажется довольно спокойным. Жизнь молодоженов идет своим чередом, Катя у нас не бывает; она видится с Ташей у Тетушки и в свете. Что касается меня, то я иногда хожу к ней, я даже там один раз обедала, но признаюсь тебе откровенно, что я бываю там не без довольно тягостного чувства. Прежде всего я знаю, что это неприятно тому дому, где я живу, а во-вторых, мои отношения с дядей и племянником не из близких; с обеих сторон смотрят друг на друга несколько косо, и это не очень-то побуждает меня часто ходить туда. Катя выиграла, я нахожу, в отношении приличия, она чувствует себя лучше в доме, чем в первые дни. Она слишком умна, чтобы это показывать, и слишком самолюбива тоже; поэтому она старается ввести меня в заблуждение, но у меня, я считаю, взгляд слишком проницательный, чтобы этого не заметить. В этом мне нельзя отказать, как уверяла меня всегда Маминька, и тут она была совершенно права, так как ничто от меня не скроется. <...> Что касается остального, то что мне сказать? То, что происходит в этом подлом мире, мучает меня и наводит ужасную тоску. Я была бы так счастлива приехать отдохнуть на несколько месяцев в наш тихий дом в Заводе» (Там же. С. 328—330).

С. 60. Один из них... Далее Щеголев цитирует воспоминания В. Ф. Ленца. Латинские слова переводятся: поступью походила на богиню.

С. 61. Слова *«много встречал женщин»* у Щеголева пропущены.

С. 61. послал вызов... Пушкин вызвал В. А. Соллогуба на дуэль после

одного из петербургских балов, заподозрив его в развязном поведении по отношению к Н. Н. Пушкиной. Вот как сам Соллогуб рассказывает об этом: «Накануне моего отъезда <в Тверь и Ржев. — *Я. Л.*> я был на вечере вместе с Нат.<альей> Ник<олаевной> Пушкиной, которая шутила над моей романтической страстью и ее предметом. Я ей хотел заметить, что она уже не девочка, и спросил, давно ли она замужем. Затем разговор коснулся Ленского, очень милого и образованного поляка, танцевавшего тогда превосходно мазурку на петербургских балах. Все это было до крайности невинно и без всякой задней мысли. Но присутствующие дамы соорудили из этого простого разговора целую сплетню: что я будто оттого говорил про Ленского, что он будто нравится Наталье Николаевне (чего никогда не было) и что она забывает о том, что она еще недавно замужем. Наталья Николаевна, должно быть, сама рассказала Пушкину про такое странное истолкование моих слов, так как она вообще ничего от мужа не скрывала, хотя и знала его пламенную, необузданную природу». Дальше Соллогуб излагает развитие событий, закончившихся примирением противников (см.: *П. в восп. 1974.* Т. 2. С. 308—310). Известны одно письмо Соллогуба к Пушкину и одно письмо Пушкина, касающиеся этого эпизода (*Акад.* Т. 16. С. 84, 89). История с Соллогубом показывает, насколько щепетилен был Пушкин в вопросах чести.

С. 61. Щеголев цитирует «Записку о Лицее» *М. Корфа* с ошибками. Следует читать так: «Прелестная жена, любя славу мужа<...>, пользуясь всеми плодами литературной известности мужа, исподтишка немного гнушалась тем, что она светская дама par excellence <прежде всего>, — в замужестве за homme de lettres <за стихотворцем>. Брачная жизнь привила к Пушкину семейные и хозяйственные заботы, особенно же ревность и отогнала его музу». П. А. Вяземский, публикуя «Записку» Корфа, сопроводил это место следующим примечанием: «Жена его любила мужа вовсе не для успехов своих в свете и нимало не гнушалась тем, что была женою d'un homme de lettres. В ней вовсе не было чванства, да и по рождению своему не принадлежала она высшему аристократическому кругу» (*П. в восп. 1974.* Т. 1. С. 461).

С. 62. «Как поживает ваша жена? Ее тетка в нетерпении увидеть ее в добром здравии, — дочь ее сердца, ее приемную дочь...» (*фр.*). (*Акад.* Т. 12. С. 324). Запись от 8 апреля 1834 г.

С. 62. Письмо *Ольги Сергеевны* от 7 марта 1837 г. Подлинник по-французски.

С. 64. о двухлетнем постоянстве... В данном случае прав не Пушкин, а Геккерн, который впервые узнал о влюбленности Дантеса в Наталью Николаевну из писем Дантеса к нему в январе и феврале 1836 г., т. е. за год до дуэли. В этих письмах влюбленность Дантеса представлена как новость, которая еще неизвестна барону (он уехал из столицы осенью 1835 года). Письма эти впервые опубликованы французским писателем Анри Труайя в 1946 г. в двухтомной биографии Пушкина (Troyat H. Pouchkine, Paris, 1946. Vol. 1—2. Перевод их на русский язык, сделанный М. А. Цявловским, с его комментариями опубликован: *Звенья.* М.; Л., 1951. Т. 9. С. 173—176). Приводим эти письма в переводе Цявловского:

Петербург, 20 января 1836.

«Дорогой друг мой,

Я действительно виноват, что не ответил сразу на два добрых и забавных письма, которые ты мне написал, но, видишь ли, ночью

танцуешь, утром в манеже, днем спишь, вот моя жизнь последних двух недель, и предстоит еще столько же, но что хуже всего, это то, что я безумно влюблен! Да, безумно, так как я не знаю, как быть; я тебе ее не назову, потому что письмо может затеряться, но вспомни самое прелестное создание в Петербурге и ты будешь знать ее имя. Но всего ужаснее в моем положении то, что она тоже любит меня и мы не можем видеться до сих пор, так как муж бешено ревнив: поверяю тебе это, дорогой мой, как лучшему другу, и потому, что я знаю, что ты примешь участие в моей печали, но ради бога ни слова никому, никаких попыток разузнавать, за кем я ухаживаю, ты ее погубишь, не желая того, а я буду безутешен. Потому что, видишь ли, я бы сделал все на свете для нее, только чтобы ей доставить удовольствие, потому что жизнь, которую я веду последнее время, — это пытка ежеминутная. Любить друг друга и иметь возможность сказать об этом лишь между двумя ритурнелями кадрили — это ужасно: я, может быть, напрасно поверяю тебе все это, и ты сочтешь это за глупости; но такая тоска в душе, сердце так переполнено, что мне необходимо излиться хоть немного. Я уверен, что ты простишь мне это безрассудство, я согласен, что это так; но я не способен рассуждать, хотя мне это было бы очень нужно, потому что эта любовь отравляет мне существование; но будь покоен, я осторожен и я был осторожен до такой степени, что до сих пор тайна принадлежит только ей и мне (она носит то же имя, как та дама, которая писала тебе обо мне, что она была в отчаянии, потому что чума и голод разорили ее деревни); ты должен теперь понять, что можно потерять рассудок от подобного существа, особенно когда она тебя любит! Повторяю тебе еще раз — ни слова Брогу или Брагу? потому что он переписывается с Петербургом, и достаточно одного его сообщения супруге, чтобы погубить нас обоих! Потому что один бог знает, что может случиться: еще, дорогой друг мой, четыре месяца, которые мы должны провести вдали один от другого, покажутся мне веками, потому что в моем положении необходимо быть с кем-нибудь, кого любишь, чтобы иметь возможность открывать ему свое сердце и просить у него поддержки. Вот почему у меня скверный вид, потому что, помимо этого, никогда в жизни я себя лучше не чувствовал физически, чем теперь, но у меня так возбуждена голова, что я не имею минуты покоя ни ночью, ни днем; это-то мне и придает больной и грустный вид, а не здоровье... До свиданья, дорогой мой, будь снисходителен к моей новой страсти, потому что тебя я также люблю от всего сердца».

«Петербург, 14 февраля 1836.

Дорогой друг, вот и масленица прошла, а с ней и часть моих мучений; в самом деле, кажется, я стал немного спокойнее с тех пор, как не вижу ее каждый день; и потом всякий не может больше брать ее за руку, за талию, танцевать и говорить с нею, как это делаю я, и спокойнее, чем я, потому что у них совесть чище. Глупо, но оказывается, чему бы я никогда не поверил, что это ревность приводила меня в такое раздраженное состояние и делала меня таким несчастным. И потом, когда я ее видел в последний раз, у нас было объяснение. Оно было ужасно, но облегчило меня. Эта женщина, у которой обычно предполагают мало ума, не знаю, дает ли его любовь, но невозможно внести больше такта, прелести и ума, чем она вложила в этот разговор; а его было очень трудно поддерживать, потому что речь шла от отказе человеку, любимому и обожающему, нарушить ради него свой долг; она описала мне свое положение

с такой непосредственностью, так просто, просила у меня прощения, что я в самом деле был побежден и не нашел ни слова, чтобы ей ответить. Если бы ты знал, как она меня утешала, потому что она видела, что я задыхаюсь и что мое положение ужасно; а когда она сказала мне, я люблю вас так, как никогда не любила, но не просите у меня никогда большего, чем мое сердце, потому что все остальное мне не принадлежит, и я не могу быть счастливой иначе, чем уважая свой долг, пожалейте меня и любите меня всегда так, как вы любите сейчас, моя любовь будет вашей наградой; право, я упал бы к ее ногам, чтобы их целовать, если бы я был один, и уверяю тебя, что с этого дня моя любовь к ней еще возросла, но теперь это не то же самое: я ее уважаю, почитаю, как уважают и почитают существо, к которому вся ваша жизнь привязана. Но прости, мой дорогой друг, я начинаю письмо с того, что говорю о ней; но она и я это нечто единое, и говорить о ней это то же, что говорить обо мне, а ты укоряешь меня во всех письмах, что я недостаточно распространяюсь о себе. Как я уже говорил, я чувствую себя лучше, гораздо лучше, и начинаю дышать, слава богу, потому что моя пытка была невыносима; быть веселым, смеющимся на людях, при тех, которые видели меня ежедневно, тогда как я был в отчаянии, это ужасное положение, которого я и врагу не пожелаю...»

Из писем видно, что жена поэта, выслушав признания Дантеса, ответила ему, как Татьяна Ларина, отказом, поставив долг выше чувства. Очевидно и то, что Дантес обещал ей с уважением относиться к ее «долгу». В письмах он как будто заботится о репутации любимой женщины — просит не предпринимать попыток разузнать, за кем он ухаживает. Но эта забота была лишь красивой позой. Он вне себя так, что его влюбленность сразу же стала достоянием молвы. В феврале 1836 года об ухаживании Дантеса за Пушкиной услышал В. А. Соллогуб в Твери от проезжавшего через Тверь П. А. Валуева — жениха М. П. Вяземской (см.: *П. в восп. 1974.* Т. 2. С. 489). Позднее наблюдательная Д. Ф. Фикельмон записала в дневнике о Дантесе: «Он был влюблен в течение года, как это бывает позволительно всякому молодому человеку, живо ею восхищаясь, но ведя себя сдержанно и не бывая у них в доме. Но он постоянно встречал ее в свете и вскоре <...> стал более открыто проявлять свою любовь» (Там же. Т. 2. С. 142). Итак, Соллогуб, Фикельмон и сам Дантес свидетельствуют, что он влюбился в Пушкину за год до дуэли. Почему же Пушкин в письме к Геккерену пишет о «двухлетнем постоянстве» Дантеса? Объяснение этого дала А. Ахматова. Она считала, что «легенда о многолетней, возвышенной любви Дантеса идет от самой Натальи Николаевны» (*Ахматова.* С. 114). В статье «Гибель Пушкина» читаем: «Ни Жуковский, который писал Бенкендорфу о Дантесе: „С другой стороны был и ветреный и злонамеренный разврат“, ни Вяземский, который писал нечто подобное Мусиной-Пушкиной, ни, что еще важнее, сам Пушкин, который назвал поведение Дантеса manège (происки — *фр.*) (см. черновик картеля), не верили в любовь Дантеса. В нее верила только Наталья Николаевна и дамы высшего общества, и этого, как ни удивительно, было достаточно, чтоб потомки получили эту легенду во всей неприкосновенности» (Там же). Можно думать, что, объясняясь с женой поэта в феврале 1836 года, Дантес уверял ее, что влюблен уже давно.

С. 63. О «Записках А. О. Смирновой» см. выше, с. 455.

С. 63. Л. Н. Павлищев (1834—1915) — сын сестры Пушкина Ольги Сергеевны Павлищевой. В своих мемуарах он ссылается на рассказы

матери и широко пользуется перепиской родителей между собой и с Н. О. и С. Л. Пушкиными. Тексты писем он печатал с большими искажениями, иногда даже подделывал целые письма. Поэтому не все сведения, сообщаемые им, вызывают доверие.

С. 65. Он ее взволновал (*фр.*).

С. 66—67. «Сводничество» Геккерна подтверждается свидетельствами современников. Так, Александр Карамзин писал брату Андрею, что в конце октября, когда Дантес «был болен грудью и худел на глазах», «старик Геккерн сказал госпоже Пушкиной, что он умирает из-за нее, заклинал ее спасти его сына, потом стал грозить местью». «Два дня спустя, — заключает Карамзин, — появились анонимные письма» (*Карамзины.* С. 190. Письмо от 13(25) марта 1837 г.). А. Н. Гончарова рассказывала впоследствии своему мужу, барону Г. Фризенгофу, что старый Геккерн убеждал жену поэта «оставить сына» (см.: Гроссман Л. П. Цех пера. М., 1930. С. 267). Ал. Карамзин относит этот разговор Геккерна с Н. Н. Пушкиной ко времени болезни Дантеса, сам Пушкин в письме к Геккерну от 25 января также связывает его с болезнью его «сына». Результатом «сводничества» было свидание Н. Н. Пушкиной с Дантесом на квартире Идалии Полетики. Щеголев и другие исследователи относили это свидание к январю и считали его поводом к дуэли. С. Л. Абрамович убедительно датирует эту встречу 2 ноября. После свидания «жена поэта оказалась в зависимости от Геккернов. Ей стали грозить местью» (*Абрамович.* С. 66). Через два дня после свидания появились анонимные письма. Это предположение вполне сходится со свидетельством Ал. Карамзина. По предположению Абрамович, «Дантес рассчитывал, что оскорбленный муж обратит свой гнев и ярость прежде всего против жены, а это толкнет ее на сближение с ним» (см.: Там же. С. 79—80). Более правдоподобно предположение Ахматовой, что таким образом Геккерн стремился добиться, чтобы Пушкин увез жену из Петербурга в деревню (см. ниже, с. 524).

С. 67. Нельзя согласиться со Щеголевым, когда он пишет, что император мог приказать расспросить «*всех указанных им свидетельниц по делу*». Допрос «высокопоставленных женщин», как и самой Н. Н. Пушкиной, противоречил бы тем представлениям о приличии, с которыми не мог не считаться даже император.

С. 68. Щеголев опирается на впечатление А. Н. Вульф, которая 9 марта 1836 г. пишет сестре Е. Н. Вревской: «...Natalie <...> est plus mondaine que jamais et son mari est tous les jours plus en plus égoïste et plus ennuyeux» <Натали более светская, чем когда-либо, а ее муж с каждым днем становится все более и *более эгоистичным* и *скучным*>.

С. 68. Письмо *А. Н. Вульф* к Е. Н. Вревской от 10 октября 1836 г. Подлинник по-французски.

С. 68. Разговор с *Адлербергом* о *«желании»* Дантеса *«проехаться на Кавказ и подраться с горцами»* находит подтверждение в «Воспоминаниях» В. А. Соллогуба и относится, по-видимому, ко времени, когда женитьба Дантеса на Е. Н. Гончаровой была уже решена. В записке «Нечто о Пушкине» Соллогуб пишет о своем разговоре с Дантесом на рауте у Фикельмон 16 ноября — за день до того, как помолвка Е. Н. Гончаровой была объявлена. «Он говорил, что чувствует, что убьет Пушкина, а что с ним могут делать, что хотят: на Кавказ, в крепость — куда угодно» (*П. в восп. 1974.* Т. 2. С. 301, 456. Вторая цитата в подлиннике по-французски). Не исключено, что Дантес, зная, что при любом исходе дуэли

противникам придется нести наказание, подготовлял для себя наиболее эффектную и романтическую кару.

С. 68. ухаживание Дантеса за Н. Н. Пушкиной... По словам барона Густава Фризенгофа (с 1852 г. — мужа Александрины Гончаровой), «это было ухаживание более афишированное, чем это принято в обществе» (Гроссман Л. П. Указ. соч. С. 320). Так же писала об ухаживании Дантеса и Д. Ф. Фикельмон. 29 января она записывает в дневник обстоятельства, приведшие к дуэли и смерти Пушкина. Об отношениях жены поэта и Дантеса она пишет: «То ли одно тщеславие госпожи Пушкиной было польщено и возбуждено, то ли Дантес действительно тронул и смутил ее сердце, как бы то ни было, она не могла больше отвергать и останавливать проявления этой необузданной любви. Вскоре Дантес, забывая всякую деликатность благоразумного человека, вопреки всем светским приличиям, обнаружил на глазах всего общества проявления восхищения, совершенно недопустимые по отношению к замужней женщине. Казалось при этом, что она бледнеет и трепещет под его взглядами, но было очевидно, что она совершенно потеряла способность обуздывать этого человека и он был решителен в намерении довести ее до крайности» (*П. в восп. 1974.* Т. 2. С. 142). Эта запись сделана после смерти Пушкина. Иначе воспринималось ухаживание Дантеса до катастрофы. Вот как описывает один из вечеров в доме ближайших друзей Пушкина, Карамзиных, С. Н. Карамзина в письме брату от 19 сентября/1 октября 1836 г. из Царского Села: «В среду мы отдыхали и приводили в порядок дом, чтобы на другой день, день моего ангела, принять множество гостей из города; в ожидании их маменька сильно волновалась, но все сошло очень хорошо. Обед был превосходный; среди гостей были Пушкин с женой и Гончаровыми (все три — ослепительные изяществом, красотой и невообразимыми талиями), мои братья, Дантес, А. Голицын, Аркадий и Шарль Россет (Клементия они позабыли в городе, собираясь впопыхах), Скалон, Сергей Мещерский, Поль и Надина Вяземские (тетушка осталась в Петербурге ожидать дядюшку, который еще не возвратился из Москвы) и Жуковский. Тебе нетрудно представить, что, когда дело дошло до тостов, мы не забыли выпить за твое здоровье. Послеобеденное время, проведенное в таком приятном обществе, показалось очень коротким; в девять часов пришли соседи: Лили Захаржевская, Шевичи, Ласси, Лидия Блудова, Трубецкие, графиня Строганова, княгиня Долгорукова (дочь князя Дмитрия), Клюпфели, Баратынские, Абамелек, Герсдорф, Золотницкий, Левицкий, один из князей Барятинских и граф Михаил Виельгорский, — так что получился настоящий бал, и очень веселый, если судить по лицам гостей, всех, за исключением Александра Пушкина, который все время грустен, задумчив и чем-то озабочен. Он своей тоской и на меня тоску наводит. Его блуждающий, дикий, рассеянный взгляд с вызывающим тревогу вниманием останавливается лишь на его жене и Дантесе, который продолжает все те же штуки, что и прежде, — не отходя ни на шаг от Екатерины Гончаровой, он издали бросает нежные взгляды на Натали, с которой, в конце концов, все же танцевал мазурку. Жалко было смотреть на фигуру Пушкина, который стоял напротив них, в дверях, молчаливый, бледный и угрожающий. Боже мой, как все это глупо! Когда приехала графиня Строганова, я попросила Пушкина пойти поговорить с ней. Он было согласился, краснея (ты знаешь, что она — одно из его *отношений*, и притом рабское), как вдруг вижу — он внезапно останавливается и с раздражением отворачивается. «Ну, что же?» — «Нет, не пойду, там уже сидит этот граф». —

«Какой граф?» — «Д'Антес, Гекрен, что ли!» (*Карамзины.* С. 108—109). Здесь и далее* отмечены слова, написанные во французском тексте по-русски.

С. 69. Дантес, действительно, был очень близок дому Карамзиных. Это видно из письма С. Н. Карамзиной к брату от 18/30 октября 1836 г.: «Как видишь, мы вернулись к нашему городскому образу жизни, возобновились наши вечера, на которых с первого же дня заняли свои привычные места Натали Пушкина и Дантес, Екатерина Гончарова рядом с Александром <Карамзиным. — *Я. Л.*>, Александрина с *Аркадием* <Россетом. — *Я. Л.*>, к полуночи Вяземский и один раз, должно быть по рассеянности, Виельгорский, и милый Скалон, и бестолковый Соллогуб* и все по-прежнему, а нет только Андрея, а потому еще побесцветнее»* (*Карамзины.* С. 120). Поведение Дантеса по отношению к жене поэта было осмыслено Александром Карамзиным только после дуэли. Приведем его письмо к брату Андрею, написанное после гибели Пушкина: «*Ты спрашиваешь, почему мы тебе ничего не пишем о Дантесе, или, лучше, Эккерне. Начинаю с того, что советую не протягивать ему руки с такою благородною доверенностью: теперь я знаю его, к несчастию*, по собственному опыту. Дантес был пустым мальчишкой, когда приехал сюда, забавный тем, что отсутствие образования сочеталось в нем с природным умом, а в общем — совершенным ничтожеством как в нравственном, так и в умственном отношении. Если бы он таким и оставался, он был бы добрым малым, и больше ничего; я бы не краснел, как краснею теперь, оттого, что был с ним в дружбе, — но его усыновил Геккерн, по причинам, до сих пор совершенно неизвестным обществу (которое мстит за это, строя предположения). Геккерн, будучи умным человеком и утонченнейшим развратником, какие только бывали под солнцем, без труда овладел совершенно умом и душой Дантеса, у которого первого было много меньше, нежели у Геккерна, а второй не было, может быть, и вовсе. Эти два человека, не знаю с какими дьявольскими намерениями, стали преследовать госпожу Пушкину с таким упорством и настойчивостью, что, пользуясь недалекостью ума этой женщины и ужасной глупостью ее сестры Екатерины, в один год достигли того, что почти свели ее с ума и повредили ее репутации во всеобщем мнении. Дантес в то время был болен грудью и худел на глазах. Старик Геккерн сказал госпоже Пушкиной, что он умирает из-за нее, заклинал ее спасти ее сына, потом стал грозить местью; два дня спустя появились анонимные письма. (Если Геккерн — автор этих писем, то это с его стороны была бы жестокая и непонятная нелепость, тем не менее люди, которые должны об этом кое-что знать, говорят, что теперь почти доказано, что это именно он!). За этим последовала исповедь госпожи П.<ушкиной> своему мужу, вызов, а затем женитьба Геккерна; та, которая так долго играла роль посредницы, стала, в свою очередь, возлюбленной, а затем и супругой. Конечно, она от этого выиграла, потому-то она — единственная, кто торжествует до сего времени и так поглупела от счастья, что, погубив репутацию, а может быть, и душу своей сестры, госпожи П.<ушкиной>, и вызвав смерть ее мужа, она в день отъезда этой последней послала сказать ей, что готова забыть прошлое и всё ей простить!!! Пушкин также торжествовал одно мгновение, — ему показалось, что он залил грязью своего врага и заставил его сыграть роль труса. Но Пушкин, полный ненависти к этому врагу и так давно уже преисполненный чувством омерзения, не сумел и даже не попытался взять себя в руки! Он сделал весь город и полные народа гостиные

поверенными своего гнева и своей ненависти, он не сумел воспользоваться своим выгодным положением, он стал почти смешон, и так как он не раскрывал всех причин подобного гнева, то все мы говорили: да чего же он хочет? да ведь он сошел с ума! он разыгрывает удальца! А Дантес, руководимый советами своего старого неизвестно кого, тем временем вел себя с совершеннейшим тактом и, главное, старался привлечь на свою сторону друзей Пушкина. Нашему семейству он больше, чем когда-либо, заявлял о своей дружбе, передо мной прикидывался откровенным, делал мне ложные признания, разыгрывал честью, благородством души и так постарался, что я поверил его преданности госпоже П.<ушкиной>, его любви к Екатерине Г.<ончаровой>, всему тому, одним словом, что было наиболее нелепым, а не тому, что было в действительности. У меня как будто голова закружилась, я был заворожен, но, как бы там ни было, я за это жестоко наказан угрызениями совести, которые до сих пор вкрадываются в мое сердце по многу раз в день и которые я тщетно стараюсь удалить. Без сомнения, Пушкин должен был страдать, когда при нем я дружески жал руку Дантесу, значит, я тоже помогал разрывать его благородное сердце, которое так страдало, когда он видел, что враг его встал совсем чистым из грязи, куда он его бросил. Тот гений, что составлял славу своего отечества, тот, чей слух так привык к рукоплесканиям, был оскорблен чужеземным авантюристом, приемным сыном еврея, желавшим замарать его честь; и когда он, в негодовании, накладывал на лоб этого врага печать бесчестья, его собственные сограждане становились на защиту авантюриста и поносили великого поэта. Не сограждане его так поносили, то была бесчестная кучка, но поэт в своем негодовании не сумел отличить выкриков этой кучки от великого голоса общества, к которому он бывал так чуток. Он страдал ужасно, он жаждал крови, но богу угодно было, на наше несчастье, чтобы именно его кровь обагрила землю. Только после его смерти я узнал правду о поведении Дантеса и с тех пор больше не виделся с ним. Может быть, я говорил о нем с тобой слишком резко и с предубеждением, может быть, причиной этого предубеждения было то, что до тех пор я к нему слишком хорошо относился, но верно одно — что он меня обманул красивыми словами и заставил меня видеть самоотвержение, высокие чувства там, где была лишь гнусная интрига; верно также и то, что он продолжал и после своей женитьбы ухаживать за госпожой Пушкиной, чему долго я не хотел верить, но, наконец, сдался перед явными доказательствами, которые получил позднее. Всего этого достаточно, брат, для того, чтоб сказать, что ты не должен подавать руку убийце Пушкина» (*Карамзины.* С. 190—192). Однако Андрей Карамзин не последовал этому совету. Его письма из-за границы см. ниже, с. 526—529.

С. 69. Свидание Натальи Николаевны *с Дантесом* на квартире Полетики состоялось только один раз, 2 ноября (см. выше, с. 469). Вдова поэта, обманом вынужденная на это свидание, не могла простить этого своей бывшей подруге. Вернувшись в 1839 году в Петербург, она не бывала в доме Полетики и «никогда не говорит с ней о прошлом» (письмо Полетики к Е. Н. Гончаровой-Дантес от конца 1838 — начала 1839 г.//*Звенья.* Т. 9. С. 182). После дуэли Полетика была полностью на стороне Дантеса. В письмах к Дантесу и его жене в 1837—1839 гг. она горячо сочувствует убийце Пушкина и злорадствует по поводу неоправдавшихся надежд на доходы с

посмертного издания сочинений поэта (Там же. С. 178—183). Эту ненависть Бартенев объясняет тем, что Пушкин „не внимал сердечным излияниям невзрачной Идалии Григорьевны и однажды, едучи с нею в карете, чем-то оскорбил ее“ (*РА*. 1908. Кн. 3. С. 295). П. С. Шереметев относит к Полетике эпизод, рассказанный в дневнике В. П. Горчакова о некоей Аделаиде Александровне, оскорбленной Пушкиным (см.: Цявловский М. А. Книга воспоминаний о Пушкине. М., 1931. С. 212). С. Л. Абрамович справедливо считает, что рассказ Шереметева не может относиться к Полетике. Из контекста рассказа „ясно, что речь идет о Пушкине неженатом и о влиятельной светской даме, хозяйке известного столичного салона, любившей окружать себя знаменитостями. Ни время действия, ни положение дамы в петербургском обществе не позволяют отнести этот рассказ к Полетике. Идалия вышла замуж в 1829 г. До этого она не могла играть никакой заметной роли в свете, да и после замужества ее положение в обществе ничем не напоминало то, которое Горчаков приписывает героине переданного им анекдота“ (*Абрамович.* С. 55). Не подходит к Полетике и характеристика, которую дает ей Бартенев. Ее портрет, опубликованный И. С. Зильберштейном, свидетельствует, что она была хороша собой (см.: Зильберштейн И. С. Парижские находки // Огонек. 1966. № 47. С. 26—27).

С. 69. Пособницей. О том же пишет в дневнике Д. Ф. Фикельмон: „Одна из сестер госпожи Пушкиной, к несчастию, влюбилась в него <Дантеса>, и, быть может, увлеченная своей любовью, забывая о всем том, что могло из-за этого произойти для ее сестры, эта молодая особа учащала возможности встреч с Дантесом“ (Запись 29 января 1837 г. — *П. в восп. 1974.* Т. 2. С. 142). Александр Карамзин считает, что она была не только „посредницей“, но и возлюбленной Дантеса (см. его письмо Андрею Карамзину на с. 471 наст. изд.). Называя Е. Гончарову „возлюбленной“ Дантеса, Ал. Карамзин, очевидно, пытается объяснить самому себе причину женитьбы Дантеса. В трусость его он, по-видимому, не может поверить.

С. 70. Кроме указанных Щеголевым *Вяземского, Виельгорского, Васильчиковой и Хитрово,* аналогичные письма получили Карамзины и К. О. Россет (см.: Смирнов Н. М. Из памятных записок // *П. в восп. 1974.* Т. 2. С. 239). А. Ахматова впервые обратила внимание на то, что дипломы были посланы только *друзьям* Пушкина и объясняет это так: „Очевидно, голландский посланник, желая разлучить Дантеса с Натальей Николаевной, был уверен, что le mari d'une jalousie révoltante (возмутительно ревнивый муж — так называет Пушкина Дантес в своем письме к Геккерну от 20 января 1836 г. См. наст. изд., с. 467), получив такое письмо, немедленно увезет жену из Петербурга, пошлет к матери в деревню (как в 1834 г.) — куда угодно и все мирно кончится. Оттого-то все дипломы были посланы *друзьям* Пушкина, а не врагам, которые, естественно, не могли увещевать поэта“ (*Ахматова.* С. 127). С. Л. Абрамович уточнила наблюдение Ахматовой — приведя свидетельство В. Соллогуба, отметившего, что „...письма были получены всеми членами тесного карамзинского кружка“ (*П. в восп. 1974.* Т. 2. С. 300). И действительно, П. А. Вяземский — брат Е. А. Карамзиной по отцу, „дядюшка“ ее детей, В. Соллогуб, — соученик братьев Карамзиных по Дерптскому университету, Аркадий Россет — близкий друг Александра и Андрея Карамзиных, М. И. Виельгорский — связан с домом Карамзиных (как

и Пушкина) многолетними дружескими отношениями. Из посторонних карамзинскому кружку лиц письмо получила только Е. М. Хитрово, но она преданно любила Пушкина, и можно было быть уверенным, что если она и будет действовать, то только как друг поэта, т. е. не допустит скандала. „Все это, — пишет С. Л. Абрамович, — говорит о том, что организатор интриги с анонимными письмами был как-то связан с карамзинским салоном. Пушкин, по-видимому, уверился в этом, когда убедился, что все экземпляры пасквиля получили распространение только в карамзинском кружке. <...> И, конечно, не случайно Пушкин в ноябре избрал своими секундантами В. Соллогуба и К. Россета: дело должно было завершиться в присутствии свидетелей из числа завсегдатаев карамзинского дома" (*Абрамович.* С. 71). С карамзинским салоном был тесно связан и Дантес (см. выше, с. 471 наст. изд.).

В настоящее время известны два экземпляра „диплома" (см.: Данилов В. В., Султан-Шах М. П. Документальные материалы об А. С. Пушкине: Крат. описание // Бюл. рукоп. отд. Пушкинского дома. 1959. Вып. 8. № 1). Оба сохранились в архиве III отделения. Один из них был отправлен в конверте на имя М. Ю. Виельгорского. Впервые текст пасквиля был напечатан в журнале Герцена и Огарева „Полярная звезда" (Лондон. 1861. Кн. 6), но еще до этого широко распространялся в рукописных сборниках документов, относящихся к гибели Пушкина. Н. Я. Эйдельману удалось найти 30 таких рукописных сборников (см.: Эйдельман Н. Я. О гибели Пушкина: По новым материалам // Новый мир. 1972. № 2. С. 202). Сборник составляли следующие документы (приводим их в той последовательности, как они расположены в сборниках и с теми же названиями): „1. Два анонимных письма к Пушкину, которых содержание, бумага, чернила и формат совершенно одинаковы. 2. Письмо Пушкина, адресованное, кажется, на имя графа Бенкендорфа 21 ноября 1836 года. 3. От Пушкина к Геккерну-отцу. 4. Ответ Геккерна. 5. Записка от Аршиака 26 января 1837 года. 6. Записка от Аршиака 27 января 1837 года. 8. Визитная карточка Аршиака. 9. Письмо Пушкина к Аршиаку 27 января между 9½ и 10 часами утра. 10. От Аршиака Вяземскому. 11. Князю Вяземскому от Данзаса. 12. От графа Бенкендорфа к графу Строганову". В ряде списков вслед за этими идет еще тринадцатый документ — письмо Вяземского московскому почт-директору А. Я. Булгакову от 15 февраля 1837 г. Те же самые документы, кроме анонимного пасквиля, который не был пропущен цензурой, были напечатаны в приложении к воспоминаниям К. К. Данзаса (см.: *Аммосов.* С. 43—70). Подробно об этих сборниках см. названную статью Н. Я. Эйдельмана.

С. 71. Надпись на конверте выглядела так: „Александру *Сергеичу* Пушкину" (курсив мой. — *Я. Л.*).

С. 71. О душевном *состоянии Пушкина* свидетельствует эпизод во время празднования лицейской годовщины 19 октября 1836 г. П. В. Анненков, со слов „одного из лицейских товарищей Пушкина", приводит „трогательный анекдот" о чтении Пушкиным своего стихотворения. Поэт „извинился перед товарищами, что прочтет им пьесу не вполне доделанную, развернул лист бумаги, помолчал немного и только начал, при всеобщей тишине, свою удивительную строфу: „Была пора: наш праздник молодой Сиял, шумел и розами венчался", как слезы покатились из глаз его. Он положил бумагу

на стол и отошел в угол комнаты, на диван... Другой товарищ уже прочел за него последнюю лицейскую годовщину“ (Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина. Спб., 1855. С. 425; ср. то же: М., 1984. С. 378). Эпизод со слезами повторяет и В. П. Гаевский, ссылаясь на Яковлева: „По свидетельству Яковлева, поэт только что начал читать первую строфу, как слезы полились из его глаз и он не мог продолжать чтение“ (Гаевский В. П. Празднование лицейских годовщин в пушкинское время // Отеч. зап. 1861. № 11. С. 38). Детали этого эпизода в статье Гаевского приведены со ссылкой на „Материалы“ Анненкова с примечанием: „Заметим, что Пушкин читал наизусть и, следовательно, никто не мог дочитать его стихов“. О чтении стихов наизусть записал тот же Яковлев в протоколе годовщины (см.: Грот К. Я. Празднование лицейских годовщин при Пушкине и после него // Пушкин и его современники. Спб., 1910. Вып. 13. С. 61). По-видимому, Анненков пользовался информацией не Яковлева, а кого-то другого из товарищей поэта. Несоответствие показаний („всех стихов не припомнил“) и неизвестного „лицейского товарища“ дало основание Гастфрейнду усомниться в подлинности рассказа о слезах поэта (см.: Гастфрейнд Н. А. Товарищи Пушкина по имп. Царскосельскому лицею: Материалы для словаря лицеистов первого курса 1811—1817 гг. Спб., 1912. Т. 2. С. 250). Это же мнение высказал и А. Л. Осповат в комментариях к фототипическому изданию „Материалов для биографии Пушкина“ П. В. Анненкова (М., 1985. С. 160—161). Между тем ссылка Гаевского на Яковлева и все, что мы знаем о состоянии Пушкина осенью 1836 года, подтверждают этот эпизод. Умолчание о слезах поэта в протоколе годовщины может объясняться деликатностью Яковлева. И все же „состояние“ Пушкина осенью 1836 г. нельзя назвать „оцепенением“ — он активно занимался делами „Современника“. Даже в самое трудное для него время, за несколько часов до дуэли, он написал деловое письмо к детской писательнице А. О. Ишимовой (см. выше, с. 128—129 наст. изд.).

С. 71. Объяснение Пушкина с *женой* состоялось 4 ноября, после получения анонимных писем, когда Н. Н. Пушкина рассказала мужу, как полагает С. Л. Абрамович, о свидании у Полетики (*Абрамович.* С. 67). „Эти письма, — писал потом Вяземский, — привели к объяснению супругов между собой и заставили невинную, в сущности, жену признаться в легкомыслии и ветрености, которые побуждали ее относиться снисходительно к навязчивым ухаживаниям молодого Геккерна: она раскрыла мужу все поведение молодого и старого Геккернов по отношению к ней; последний старался склонить ее изменить своему долгу и толкнуть ее в пропасть“ (см. наст. изд., с. 222—223).

С. 72. Щеголев полагает, что Дантес был *дежурным* по полку 5 ноября. Данные, полученные Щеголевым от С. А. Панчулидзева, проверил М. И. Яшин, пересмотрев приказы по Кавалергардскому полку. Приказом № 307 от 3 ноября назначался смотр полку на 4 ноября. В приказе предлагалось „при сем смотре находиться всем г.г. офицерам“ с 8 часов утра. В том же приказе дежурным по первому дивизиону на 4 ноября назначался „поручик бар. Д.-Геккерн“. Дантес заступил на дежурство сразу после развода. Дежурство кончалось в 12 часов следующего дня — 5 ноября (см.: *Яшин. Хроника.* № 8. С. 161). Таким образом, вызов Пушкин послал не

5-го, а 4 ноября, в день получения пасквиля. Это подтверждает В. А. Соллогуб, который принес Пушкину экземпляр пасквиля, адресованный тетке его А. И. Васильчиковой: „Только две недели спустя, — пишет он, — узнал я, что в этот же день он послал вызов кавалергардскому поручику Дантесу“ (*П. в восп. 1974.* Т. 2. С. 299). „Две недели“ истекали 18 ноября, так как Геккерн должен был получить вызов Пушкина 5-го утром, когда Дантес еще не вернулся с дежурства. А накануне, 17-го, Пушкин послал Соллогуба к д'Аршиаку условиться „насчет материальной стороны дуэли“ (см.: *П. в восп. 1974.* Т. 2. С. 301). Что вызов был послан сразу после получения „диплома“, подтверждает и Вяземский в письме к Денису Давыдову: „В первую минуту при получении этих писем он с яростью бросился на Геккерна“ (*П. в восп. 1950.* С. 132).

С. 72. После восьми тревожных дней я был так счастлив и так спокоен вчера вечером (*фр.*). Действительно, первый из этих „восьми“ дней начинался 5-го. По-видимому, Геккерн отбрасывает первые сутки, когда вызов попал в его руки и он сразу получил от Пушкина отсрочку на 24 часа.

С. 72—73. Рассказ... А. О. Россета Щеголев приводит на с. 95 наст. изд. А. О. Россет не называет числа, когда к его брату Клементию приходил Пушкин, а пишет „осенью 1836 года“. Н. М. Смирнов связывает этот эпизод с днем, когда был получен пасквиль (т. е. с 4 ноября 1836 г.). Об этом дне он пишет: „Что происходило по получении вызова в вертепе у Гекерена и Дантеса, неизвестно; но в тот же день Пушкин, сидя за обедом, получает письмо, в котором Дантес просит руки старшей Гончаровой, сестры Натальи Николаевны. Удивление Пушкина было невыразимое“ (*П. в восп. 1974.* Т. 2. С. 240). Сам Смирнов в это время был за границей, и его рассказ, несомненно, восходит к сведениям, полученным от Россета (Смирнов был женат на сестре Россета, Александре Осиповне). М. И. Яшин, полагаясь на воспоминания Смирнова и Россета, высказал предположение, что „Геккерн успел за те несколько часов от момента получения пушкинского вызова до того момента, когда Пушкин прочел письмо, о котором пишет Россет, связаться с Дантесом, обсудить план действий и послать это письмо“ (*Яшин. Хроника.* № 8. С. 163). Но вызов Пушкина Геккерн мог получить по городской почте только 5-го утром. С. Л. Абрамович справедливо относит эпизод, рассказанный Россетом, к 17 ноября, когда В. А. Соллогуб и д'Аршиак после обмена письмами между Дантесом и Пушкиным приехали к Пушкину, чтобы официально сообщить об окончании дела. Соллогуб вспоминает, что они застали Пушкина за обедом (см.: *Абрамович.* С. 138—139). Пушкин приглашал Россета в секунданты не 4-го, а 17 ноября, уже после того, как поручил переговоры с д'Аршиаком Соллогубу. По всей вероятности, он опасался, что Соллогуб будет недостаточно твердо отстаивать его интересы, так как после первого разговора с Дантесом Соллогуб надеялся переубедить Пушкина. В ответ на все его доводы Пушкин сказал: „Не хотите быть моим секундантом? Я возьму другого“ (*П. в восп. 1974.* Т. 2. С. 487).

С. 73. Не *6-го,* а *5 ноября* (см. выше).

С. 73. „Мне не подобало видеть, чтобы имя моей жены было в данном случае связано с чьим бы то ни было именем. Я поручил это сказать г-ну Дантесу. Барон Геккерн приехал ко мне“ и т. д. (*фр.*).

С. 74. Дочери ее сердца, ее приемной дочери (*фр.*).

С. 74. „Молодой Гончаров“ — Иван Николаевич служил в лейб-гвардии уланском полку, который в это время был расположен в Царском Селе. Наталья Николаевна, по-видимому, вызвала брата в Петербург 5-го, и в тот же день он вернулся в Царское Село, передав Жуковскому просьбу срочно приехать к Пушкиным.

С. 75. Mes antécédents (мои прежние действия. — *фр.*). Эта запись Жуковского и сейчас остается еще неясной. Очевидно, он еще раньше, т. е. до пасквиля, предпринимал какие-то действия, смягчающие отношения между семьями Пушкина и Геккерна. Слово „неизвестное“ прочитано Щеголевым неправильно. Следует читать „незнание“ (см.: Левкович Я. Л. Заметки Жуковского о гибели Пушкина // *Врем. ПК,* 1972. Л., 1974. С. 78).

С. 75. Намеки... в разорванном черновике письма Пушкина к Геккерну касаются 2 ноября, когда, по предположению С. Л. Абрамович, состоялось свидание Н. Н. Пушкиной с Дантесом на квартире И. Полетики (*Абрамович.* С. 53—66). Французская фраза, которую приводит Щеголев в примечании, переводится так: „2 ноября вы узнали от вашего сына новость <которая вам> доставила большое удовольствие. Он сказал вам, что моя жена опасается... что она теряет голову“.

С. 75. Более вероятно, что речь шла о *родстве Геккерна с Дантесом.* Это еще одна лживая уловка, чтобы добиться расположения Жуковского.

С. 76. Утверждение Щеголева о *проекте сватовства* было принято (см.: *Яшин. Хроника.* С. 169; Левкович Я. Л. Комментарий // *П. в восп. 1974.* Т. 2. С. 504). Основано оно на ошибочном чтении письма *Ольги Сергеевны* Павлищевой к *отцу,* С. Л. Пушкину. Щеголев читал: „Вы мне сообщаете новость о браке Гончаровой“. С. Л. Абрамович обратилась к подлиннику и поправила ошибку Щеголева. Речь идет не о „мадемуазель“, а о „господине“ Гончарове (т. е. во французском тексте вместо m-lle четко читается m-r). С. Л. Пушкин в середине октября сообщал дочери (это письмо до нас не дошло) о свадьбе Сергея Николаевича Гончарова, который собирался жениться на баронессе Шенк (см. в письме П. В. Нащокина к Пушкину от конца октября — начала ноября 1836 г. — *Акад.* Т. 16. С. 181): „Брат же твой, т. е. по жене, — Сергей, — женится на баронессе Шенк; был сей час у меня — и объявил мне — звал меня к себе“. В книге С. Л. Абрамович (с. 106) приводится факсимильное воспроизведение письма О. С. Павлищевой.

С. 77. Сомнения *Смирнова* о мотивах брака Дантеса разделяла даже императрица. Свою фрейлину Е. Ф. Тизенгаузен (сестру Д. Ф. Фикельмон) она спрашивает: „Я так хотела бы узнать у вас подробности невероятной женитьбы Дантеса, неужели причиною явилось анонимное письмо? Что это — великодушие или жертва?“ (Письма Пушкина к Е. М. Хитрово, 1827—1832. Л., 1927. С. 200. Подлинник по-французски). О женитьбе Дантеса в обществе ходили самые разнообразные толки. Это было главное событие, занимавшее свет. 25 ноября С. А. Бобринская пишет мужу: „Никогда, с тех пор как стоит свет, не поднималось такого шума, от которого содрогается воздух во всех петербургских гостиных. Геккерн-Дантес женится! Вот событие, которое поглощает всех и будоражит стоустную молву. Да, он женится, и мадам де Севинье обрушила бы на него целый поток эпитетов, каких она удостоивала некогда громкой памяти

Лемюзо! Да, это решенный брак сегодня, какой навряд ли состоится завтра. Он женится на старшей Гончаровой, некрасивой, черной и бедной сестре белолицей, поэтичной красавицы, жены Пушкина.

Если ты будешь меня расспрашивать, я тебе отвечу, что ничем другим я вот уже целую неделю не занимаюсь, и чем больше мне рассказывают об этой непостижимой истории, тем меньше я что-либо в ней понимаю. Это какая-то тайна любви, героического самопожертвования, это Жюль Жанен, это Бальзак, это Виктор Гюго. Это литература наших дней. Это возвышенно и смехотворно.

В свете встречают мужа, который усмехается, скрежеща зубами. Жену, прекрасную, бледную, которая вгоняет себя в гроб, танцуя целые вечера напролет. Молодого человека, бледного, худого, судорожно хохочущего; благородного отца, играющего свою роль, но потрясенная физиономия которого впервые отказывается повиноваться дипломату.

Под сенью мансарды Зимнего дворца тетушка плачет, делая приготовления к свадьбе. Среди глубокого траура по Карлу X видно лишь одно белое платье [о белом платье Е. Н. Гончаровой см. также в примечании на с. 481 наст. изд.], и это непорочное одеяние невесты кажется обманом! Во всяком случае, ее вуаль прячет слезы, которых хватило бы, чтобы заполнить Балтийское море. Перед нами развертывается драма, и это так грустно, что заставляет умолкнуть сплетни. Анонимные письма самого гнусного характера обрушились на Пушкина. Все остальное — месть, которую можно лишь сравнить со сценой, когда каменщик замуровывает стену. Посмотрим, не откроется ли сзади какая-нибудь дверь, которая даст выход из этого запутанного положения. Посмотрим, допустят ли небеса столько жертв ради одного отмщенного...“ (опубликовано Н. Б. Востоковой // *Прометей.* Кн. 10. С. 266—268. Подлинник по-французски). Е. А. Карамзина также удивлена. Она пишет сыну: „Прямо невероятно, — я имею в виду эту свадьбу, — но все возможно в этом мире всяческих неожиданностей“. В этом же письме более пространно выражает свое недоумение С. Н. Карамзина: „Я должна сообщить тебе еще одну необыкновенную новость — о той свадьбе, про которую пишет тебе маменька; догадался ли ты? Ты хорошо знаешь обоих этих лиц, мы даже обсуждали их с тобой, правда, никогда не говоря всерьез. Поведение молодой особы, каким бы оно ни было компрометирующим, в сущности, компрометировало только другое лицо, ибо кто смотрит на посредственную живопись, если рядом — Мадонна Рафаэля? А вот нашелся охотник до этой живописи, возможно потому, что ее дешевле можно было приобрести. Догадываешься? Ну да, это Дантес, молодой, красивый, дерзкий (теперь богатый) Дантес, который женится на Катрин Гончаровой, и, клянусь тебе, он выглядит очень довольным, он даже одержим какой-то лихорадочной веселостью и легкомыслием, он бывает у нас каждый вечер, так как со своей нареченной видится только по утрам у ее тетки Загряжской; Пушкин его не принимает больше у себя дома — он крайне раздражен им после того письма, о котором тебе рассказывал Аркадий <письмо А. Россета до нас не дошло. По-видимому, он писал Ан. Н. Карамзину об анонимном пасквиле. — *Я. Л.*>. Натали нервна, замкнута, и, когда говорит о замужестве сестры, голос у нее прерывается. Катрин от счастья не чует земли под ногами и, как она говорит, не смеет еще поверить, что все это не сон. Публика

удивляется, но так как история с письмами мало кому известна, объясняет этот брак очень просто“ (письмо от 20 ноября 1836. — *Карамзины.* С. 137, 139—140). Что С. Н. Карамзина имеет в виду, говоря, что публика „объясняет этот брак очень просто“, разъясняет, по-видимому, письмо Ал. Н. Карамзина, написанное уже после смерти Пушкина: „...та, которая так долго играла роль посредницы, стала, в свою очередь, возлюбленной, а затем супругой“ (Там же. С. 190—191). А. Н. Карамзин строит свою догадку, зная не больше того, что Дантес в своей любовной игре с Н. Н. Пушкиной маскировался ее сестрой. Но в 1929 г. Л. П. Гроссман, не подозревая о предположении Ал. Карамзина, выдвинул версию, что причиной неожиданного сватовства была беременность Е. Н. Гончаровой (Гроссман Л. П. Женитьба Дантеса: Новые материалы о дуэли Пушкина // Красная нива. 1929. № 24. С. 10—12). Эта версия основана на письме Н. И. Гончаровой к дочери Екатерине в Париж, в котором упоминался новорожденный малютка. Письмо ошибочно датировано „15 мая 1837“ вместо „15 мая 1838 г.“. Известно, что Е. Н. Гончарова родила дочь 19 октября 1837 г. Еще одну версию о женитьбе Дантеса выдвинул М. И. Яшин, предположивший, что Дантес женился на Е. Н. Гончаровой по указанию царя. Яшин даже назвал дату, когда было дано это указание — 9 октября 1836 г. В этот день Дантес был назначен конным ординарцем при особе императора. По его мнению, отдавая этот приказ, царь якобы выражал заботу о репутации жены поэта. Гипотеза об „указании“ царя подкреплялась записками дочери Николая I Ольги, изданными в 1963 г. в Париже на русском языке („Сон юности. Записки дочери Николая I великой княжны Ольги Николаевны, королевы Вюртембергской». Париж, 1963). „Папа... — читаем там, — поручил Бенкендорфу разоблачить автора анонимных писем, а Дантесу было приказано жениться на младшей <правильно: старшей. — *Я. Л.*> сестре госпожи Пушкиной, довольно заурядной особе“ (с. 67). Ольга Николаевна связывает вмешательство Николая I с анонимными письмами, т. е. приурочивает его к ноябрю, однако слово „приказано“ в русском переводе фигурирует, поэтому как ни казалось необоснованным предположение Яшина, исследователи с ним согласились (см.: Андроников И. Л. Я хочу рассказать вам... 2-е изд., доп. М., 1965. С. 118—120; Левкович Я. Л. Новые материалы для биографии Пушкина, опубликованные в 1963—1966 годах // *П. Исслед.* Т. 5. С. 373—374). Записки королевы Вюртембергской написаны на французском языке. В 1960 г. в Германии вышел их немецкий перевод, а парижское издание 1963 года является переводом не с подлинника, а с этого немецкого издания. Обращение к подлиннику показало, что там речь идет не о вмешательстве царя, а об активности друзей поэта, „которые нашли только одно средство, чтобы обезоружить подозрения, — принудить Дантеса жениться“ (см.: Воронцов-Вельяминов Г. М. Пушкин в воспоминаниях дочери Николая I // *Врем. ПК,* 1970. Л., 1972. С. 24—29). Таким образом, предположение Яшина о женитьбе Дантеса по приказу царя снова превратилось в неподтвержденную документами гипотезу. Подтверждением своей гипотезы Яшин считал некоторое учащение штрафных дежурств Дантеса осенью 1836 г. Однако это, скорее всего, могло быть связано с тем, что 5 мая 1836 г. Дантес был усыновлен Геккерном, положение его в обществе упрочилось и — соответственно — ослабло служебное рвение. Штрафные дежурства и даже аресты

офицеров за малейшие провинности были проявлением общего режима в николаевской армии после декабрьского восстания. Александр Карамзин, например, в письмах к брату Андрею постоянно жалуется на аресты и гауптвахту, то „за какой-то рапорт", то „за какой-то промах", „то за ошибку писарскую", то „сам не ведаю за что" (*Карамзины.* С. 129, 153, 180). Еще один довод Яшина: Дантеса перестали приглашать на придворные балы и концерты (*Яшин. Хроника.* № 9. С. 171). Эти данные, полученные им из записей в камерфурьерских журналах, находят объяснение в дневниках Александры Федоровны и ее письмах к графине С. Бобринской (впервые опубликованы: Герштейн Э. Вокруг гибели Пушкина: По новым материалам//Новый мир. 1962. № 2. С. 211—226). Императрицу коробили развязные манеры Дантеса, и она опасалась его дурного влияния на своего фаворита А. В. Трубецкого.

С. 80. В записи *Жуковского от 7 ноября* фиксируются как бы два взаимоисключающих эмоциональных состояния Пушкина: *„большее спокойствие"* и *„слезы"*. „Спокойствие"—это состояние человека, принявшего твердое решение, готового ценой жизни смыть оскорбление, нанесенное его дому, жене, ему самому. „Слезы"—душевная боль, которую можно открыть только такому близкому человеку, как Жуковский.

С. 80. Так как *„разоблачения"* или „откровения", касающиеся его самого, *Геккерн* уже изложил Жуковскому, можно предположить, что в ход пускаются какие-то слухи, порочащие поэта, может быть связанные с Александриной (см. примеч. с. 464—465).

С. 82. Письмо Геккерна писалось по-французски. Третий абзац переведен Щеголевым с ошибками. Приводим часть его в переводе, помещенном в статье М. И. Яшина: „Как вам известно, милостивый государь, все происшедшее по сей день совершалось через вмешательство третьих лиц. Мой сын получил вызов; принятие вызова было его первой обязанностью, но, по крайней мере, должны были бы сказать ему, ему самому, по каким мотивам его вызвали" (*Яшин. Хроника.* № 8. С. 177).

С. 83. В письме Жуковского слова Геккерна приведены по-французски. Щеголев датирует письмо Жуковского 10 ноября. М. И. Яшин, основываясь на днях дежурства Дантеса, считает, что оно было написано 11-го утром. Этому противоречит запись от 10 ноября в конспективных заметках Жуковского: „Молодой Геккерн у меня. Я отказываюсь от свидания".

С. 83—84. «Что Пушк. сказал Александрине». С. Л. Абрамович объясняет эту запись *Жуковского* так: „В настоящее время, когда многое прояснилось, мы можем с достаточной долей уверенности прокомментировать эту запись <...>. Все дело в том, что Александрина в те дни могла спокойнее, чем кто-либо иной в доме, говорить с Пушкиным о предполагаемом браке Дантеса. И от Пушкина она, видимо, услышала то, что потом он говорил по этому поводу всем. Вероятнее всего, он сказал Александрине, что все это обман, затеянный для того, чтобы избежать дуэли, что брак этот не состоится, а Екатерину слухи о сватовстве только ославят в свете, и репутация сестер еще больше пострадает" (*Абрамович.* С. 120).

С. 86. Это письмо *Жуковского* в академическом издании датируется 11—12 ноября (*Акад.* Т. 16. С. 185—186). С. Л. Абрамович датирует его 14 ноября (*Абрамович.* С. 123).

С. 87. Второе *письмо Жуковского* в академическом издании датируется 14—15 ноября (*Акад.* Т. 16. С. 186—187), С. Л. Абрамович датирует его ранним утром 16 ноября (*Абрамович.* С. 124). Слова, сказанные Пушкиным В. Ф. Вяземской, в подлиннике приведены по-французски. Говоря о „подвигах Раевского", Пушкин имел в виду публичный скандал, который устроил Ал. Н. Раевский Е. К. Воронцовой в 1828 году, когда вынужден был покинуть Одессу по просьбе М. С. Воронцова, ревновавшего его к жене. П. А. Бартенев, со слов В. Ф. Вяземской, записал: „С княгиней он был откровеннее, чем с князем. Он прибегал к ней и рассказывал свое положение относительно Гекерна" (*П. в восп. 1974.* Т. 2. С. 163). Накануне дуэли Пушкин напомнил Вяземской об этом разговоре: „Я уже вам сказал, что с молодым человеком мое дело было окончено, но с отцом — дело другое. Я вас предупредил, что мое мщение заставит заговорить свет" (Бельчиков Н. Неизвестное письмо В. Ф. Вяземской о смерти Пушкина // Новый мир. 1931. № 12. С. 188—193). Сопоставление с "громкими подвигами Раевского" свидетельствует, что Пушкин задумал публичное оскорбление Геккерна.

С. 89. в одном черновике... Щеголев цитирует первоначальный проект письма к В. А. Соллогубу от 17 ноября, в котором Пушкин соглашается взять обратно вызов, посланный Геккерну. Переводится этот отрывок так: „За то, что он вел себя по отношению к моей жене так, как мне не подобает допускать (в случае, если господин Геккерн потребует указать причину вызова)" (*Письма последних лет.* С. 199). В окончательном тексте письма эта фраза убрана.

С. 90. Пушкин посылал *Соллогуба к д'Аршиаку,* потому что 18 ноября истекала двухнедельная отсрочка, данная им Геккерну, и в связи с этим секундант Дантеса д'Аршиак посетил Пушкина.

С. 90. Е. Н. Гончарова, как невеста, могла быть *в белом платье,* хотя официально помолвка была объявлена только на следующий день, 17 ноября, на балу у С. В. Салтыкова, после того, как с помощью секундантов конфликт между Пушкиным и Дантесом был улажен и поэт взял свой вызов обратно. До этого дня все, знавшие о вызове Пушкина и о возможном его завершении, обязались хранить полное молчание (см. выше письмо Жуковского к Пушкину, с. 85—86 наст. изд.). Только после официального объявления Е. А. и С. Н. Карамзины решились написать Андрею Карамзину о свадьбе и о всех предшествующих событиях в доме Пушкина (письмо от 20—21 ноября 1836 г., см. наст. изд., с. 478). Пушкин продолжал по-дружески относиться к свояченице. Аммосов, со слов Данзаса, записал: „Со свояченицей своею во все это время Пушкин был мил и любезен по-прежнему и даже весело подшучивал над нею по случаю свадьбы ее с Дантесом. Раз, выходя из театра, Данзас встретил Пушкиных и поздравил Катерину Николаевну Гончарову, как невесту Дантеса; при этом Пушкин сказал шутя Данзасу:
— Ma belle-soeur ne sait pas maintenant de quelle nation elle sera: Russe, Française ou Hollandaise?! <Моя свояченица не знает теперь, какой она будет национальности: русскою, француженкою или голландкою>" (*П. в восп. 1974.* Т. 2. С. 322).

С. 91. В записке *Соллогуба* „Нечто о Пушкине" еще раз передается этот эпизод. После слов *Дантеса* „Я человек честный" там следует: „Разговор наш продолжался долго. Он говорил, что чувствует, что убъет Пушкина, а что с ним могут делать, что хотят:

на Кавказ, в крепость,—куда угодно. Я заговорил о жене его.

– Mon cher, c'est une mijaurée (Мой милый, это жеманница). Впрочем, об дуэли он не хотел говорить.

– J'ai chargé de tout d'Archiac, je vous enverrai d'Archiac ou mon père (Я все поручил д'Аршиаку, я пришлю к вам д'Аршиака или моего отца).

С Даршиаком я не был знаком. Мы поглядели друг на друга. После я узнал, что П. подошел к нему на лестнице и сказал: „Vous autres Français, – vous êtes très aimables. Vous savez tout le Latin, mais quand vous vous battez, vous vous mettez à 30 pas et vous tirez au but. Nous autres Russes – plus en duel sans... <пропуск в рукописи> et plus il doit être féroce" (Вы, французы, вы очень любезны, все вы знаете латынь, но, когда вы деретесь на дуэли, вы становитесь в 30 шагах и стреляете в цель. Мы же, русские, — чем поединок без... тем он должен быть более жестоким).

На другой день—это было во вторник 17 ноября—я поехал сперва к Дантесу. Он ссылался во всем на д'Аршиака. Наконец сказал: „Vous ne voulez donc pas comprendre que j'épouse Catherine. P. reprend ses provocations, mais je ne veux pas avoir l'air de me marier pour éviter un duel. D'ailleurs je ne veux qu'il soit prononcé un nom de femme dans tout cela. Voilà un an que le vieux (Heckeren) ne veut pas me permettre de me marier» (Вы, кажется, не хотите понять, что я женюсь на Катрин. Пушкин берет назад свой вызов, но я не хочу выглядеть так, как будто женюсь, чтобы избежать поединка. Причем я не хочу, чтобы во всем этом деле было произнесено имя женщины. Вот уже год, как старик <Геккерн> не хочет позволить мне жениться) (*П. в восп. 1974.* Т. 2. С. 486—487).

С. 91—92. Из четырех названных документов известны только тексты первого и четвертого. Вызов Пушкина и „записка посланника" до нас не дошли.

С. 93. Щеголев прав: это не *черновик,* а копия, находившаяся в бумагах П. В. Анненкова и принятая И. А. Шляпкиным за черновик.

С. 95. биться об заклад, что свадьбы не будет... Ср. в письме С. Н. Карамзиной к брату на с. 509 наст. изд.

С. 96. Князь! Г-жа Гончарова, спрашивая у ее императорского величества милостивого позволения на ее брак с г-ном бароном Геккерном, нижайше просит Вас оказать ей любезность и подтвердить его, сообщив княгине Долгорукой и т. д. (*фр.*).

С. 96. Письмо С. Н. Карамзиной от *20 ноября* см. с. 478—479.

С. 97. Среди прочего утверждают, что Пушкин получил по городской почте диплом с золотыми рогами, подписанный самыми заметными лицами высшего общества, известными как братство, которые пишут ему, что они чрезвычайно горды, приняв столь знаменитого человека в свой круг, и спешат послать ему этот диплом как члену их общества <...> и что вследствие этого устроился брак г-жи Гончаровой. Что же касается других версий, я их берегу, чтобы было что рассказать вам, когда мы увидимся (*фр.*).

С. 98. Щеголев цитирует *обрывки* разорванного Пушкиным письма Геккерну от 21 ноября 1836 г. Текст этого письма был реконструирован Н. В. Измайловым (см.: История текста писем Пушкина к Геккерну // Летописи Гос. Лит. музея. М., 1936. Кн. 1. Пушкин. С. 338—357) и Б. Казанским (см.: Письмо Пушкина Геккерну // *Звенья.* 1936. Т. 6. С. 5—93). Приводим перевод первой черновой редакции этого

отрывка в чтении Измайлова (подлинник был разорван на 16 кусков, из которых 5 утрачено): „2 ноября у вас был [от] с вашим сыном [новость <...> доставила большое удовольствие. Он сказал вам] [после одного] вследствие одного разговора <...решен>, что моя жена опаса<ется> анонимное письмо [<......> что она теряет голову] <.....> наносит решительный удар <...> составленное вами и <экзем>пляра [ано<нимного> письма] <.....> были разосланы <.....> было сфабриковано с <.....> был уверен, что найду моего <.....> не беспокоился больше. В самом деле, после менее чем трехдневных розысков я уже знал, как мне поступить". Дальше как у Щеголева. (См.: *Письма последних лет.* С. 202. Здесь же, на с. 162—165 полная реконструкция письма). Во втором черновике (он разорван на 32 куска, из которых 16 утрачено) Пушкин убирает все упоминания о жене. С. Л. Абрамович справедливо считает, что „зачеркнутые строки приоткрывают тайну 2 ноября" — дня, когда, по ее мнению, состоялось свидание Н. Н. Пушкиной с Дантесом на квартире И. Полетики (*Абрамович.* С. 65). Жена поэта оказалась в зависимости от Геккернов. Огласка погубила бы ее репутацию. Пушкин знал от жены мотивы, которые вызвали анонимные письма, — это привело его к убеждению, что инициаторами их были Геккерны. Со своими друзьями он поделился подозрениями, но умолчал о мотивах — это и вызвало приведенные Щеголевым слова Вяземского в письме к Михаилу Павловичу: „Мы так никогда и не узнали, на чем было основано это предположение".

С. 100. Письмо от 26 января 1837 г. является переработкой ноябрьского письма.

С. 100. Текст отрывка, приведенного в сноске Щеголевым, сильно изменен. У Пушкина: „Vous sentez bien, Monsieur le Baron, qu'après tout cela je ne puis souffrir que ma famille aye la moindre relation avec la vôtre" <Вы хорошо понимаете, барон, что после всего этого я не могу терпеть, чтобы моя семья имела какие бы то ни было сношения с вашей> (*Акад.* Т. 16. С. 222).

С. 100. В настоящее время известен *подлинник письма,* хранившийся у потомков секретаря Бенкендорфа и почитателя Пушкина, лицеиста VI выпуска П. И. Миллера. У верхнего края первой страницы письма находится несколько стершаяся карандашная запись рукой П. И. Миллера: „Найдено в бумагах А. С. Пушкина и доставлено графу Бенкендорфу 11 февраля 1837 года". Этот факт Миллер еще раз подтверждает в черновой записке, посвященной истории гибели Пушкина: „Письмо к гр. Бенкендорфу он <Пушкин> не послал, а оно найдено было в его бумагах после смерти, переписанное и вложенное в конверт для отсылки" (см.: Эйдельман Н. Я. Десять автографов Пушкина из архива П. И. Миллера//Зап. ОР ГБЛ. 1972. Вып. 33. С. 308—309). Показав письмо Бенкендорфу, Миллер оставил его себе „на память", и вскоре после смерти Пушкина оно, в числе других документов, стало распространяться в так называемых „дуэльных сборниках" (см. о них примеч. на с. 474 наст. изд.). Таким образом, сведения Бартенева об этом письме, идущие от Вяземских и Миллера, были подтверждены находкой автографа с пометой Миллера.

С. 101. ...письмо это осталось непосланным... 21 ноября Пушкин написал два письма — к Геккерну и Бенкендорфу, и оба письма остались неотправленными. Как связывались в сознании Пушкина неотправленные письма? Казалось бы, что каждое из них опровергает

другое и что отсылка этих двух писем одновременно психологически невозможна. Оскорбительное письмо Геккерну вело к дуэли, письмо к Бенкендорфу — должно было ее остановить. Предположение, что Пушкин, оскорбляя Геккерна, т. е. провоцируя дуэль, предпринимал шаги к тому, чтобы дуэль не состоялась, — невозможно. В письме к Бенкендорфу Пушкин прямо обвинял посланника в составлении анонимных писем, отказываясь представить какие бы то ни было мотивы своего обвинения. Он не требовал „правосудия", но мог надеяться, что правительство обратит внимание на то, что „недавно произошло" в его семействе, и поступит, как сочтет нужным. А могло счесть нужным разобраться в истории с пасквилем и не только выразить свое неудовольствие посланнику, но и принять меры к удалению его из Петербурга. Наверное, мысль о том, что Геккерна могут удалить из Петербурга, мелькнула в сознании Пушкина, когда он готов был заявить правительству, что посланник Нидерландского королевства — мерзавец, занимающийся составлением подметных писем (да еще писем, в которых содержатся намеки на двух императоров — покойного и царствующего).

Мог ли надеяться Пушкин, что обвинение, не подтвержденное конкретными доводами, будет принято? Когда писал письмо, очевидно, думал, что царю достаточно его слова; написав письмо и обдумав его еще раз — в этом усомнился. Поэтому можно предположить, что письмо к Геккерну было написано только тогда, когда отпала мысль о посылке письма Бенкендорфу. Подтверждение этого имеется в словах самого Пушкина. В ноябрьском письме к Геккерну есть фраза, которая сразу же была вычеркнута Пушкиным: „Быть может вы желаете знать, что помешало мне до сих пор обесчестить вас в глазах дворов нашего и вашего" (*Акад.* Т. 16. С. 190). Истолковать ее можно только так: хотел „обесчестить" (написал письмо к Бенкендорфу), но не стал (не отослал его). Эта вычеркнутая фраза не оставляет сомнений, что Пушкин имел два плана мести, что он колебался, какой из них выбрать, остановился на втором (письмо к Геккерну), прочитал его Соллогубу, и только вмешательство Жуковского, по-видимому, остановило отсылку этого письма (см. вступит. статью, примеч. к с. 10—11 наст. изд.).

С. 103. Это очень красивый и добрый малый, он в большой моде (фр.). Все письмо по-французски.

С. 104. ...я прощаю Пушкину. Эти слова Е. Н. Гончаровой-Дантес приводит А. И. Тургенев в письме к П. А. Осиповой от 24 февраля 1837 г. (Пушкин и его современники. Спб., 1903. Вып. 1. С. 59).

С. 104. Щеголев ошибается. Единственный свидетель разговора *«в квартире д'Аршиака»* — Данзас об этом не пишет. Очевидно. имеется в виду разговор на квартире Пушкина, куда приехали д'Аршиак и Соллогуб после того, как эпизод с первым вызовом был улажен. Соллогуб так вспоминает об этом: „Мы застали Пушкина за обедом. Он вышел к нам несколько бледный и выслушал благодарность, переданную ему д'Аршиаком.

— С моей стороны, — продолжал я, — я позволил себе обещать, что вы будете обходиться со своим зятем, как с знакомым.

— Напрасно, — воскликнул запальчиво Пушкин. — Никогда этого не будет. Никогда между домом Пушкина и домом Дантеса ничего общего быть не может" (*П. в восп. 1974.* Т. 2. С. 304).

С. 105. О поведении Дантеса по отношению к Н. Н. Пушкиной

после женитьбы на Е. Н. Гончаровой пишет С. Н. Карамзина. Ее письма передают также психологическое и эмоциональное состояние Пушкина. Из них мы видим, что даже близкие друзья перестали его понимать и не видели, какая трагедия разыгрывается перед ними. Приводим отрывки из писем ее и А. Н. Карамзина. 29 декабря. С. Н. Карамзина: „...я продолжаю сплетни и начинаю с темы Дантеса: она была бы неисчерпаемой, если бы я принялась пересказывать тебе все, что говорят; но поскольку к этому надо прибавить: никто ничего не знает, — я ограничусь сообщением, что свадьба совершенно серьезно состоится 10/22 января; что мои братья, и особенно Вольдемар (очень чувствительный к роскоши), были ослеплены изяществом их квартиры, богатством серебра и той совершенно особой заботливостью, с которой убраны комнаты, предназначенные для Катрин; Дантес говорит о ней и обращается с ней с чувством несомненного удовлетворения, и более того, ее любит и балует папаша Геккерн. С другой стороны, Пушкин продолжает вести себя самым глупым и нелепым образом; он становится похож на тигра и скрежещет зубами всякий раз, когда заговаривает на эту тему, что он делает весьма охотно, всегда радуясь каждому новому слушателю. Надо было видеть, с какой готовностью он рассказывал моей сестре Катрин обо всех темных и наполовину воображаемых подробностях этой таинственной истории, совершенно так, как бы он рассказывал ей драму или новеллу, не имеющую к нему никакого отношения. До сих пор он упорно заявляет, что никогда не позволит жене присутствовать на свадьбе, ни принимать у себя замужнюю сестру. Вчера я убеждала Натали, чтобы она заставила его отказаться от этого нелепого решения, которое вновь приведет в движение все языки города; она же, со своей стороны, ведет себя не очень прямодушно: в присутствии мужа делает вид, что не кланяется с Дантесом и даже не смотрит на него, а когда мужа нет, опять принимается за прежнее кокетство потупленными глазами, нервным замешательством в разговоре, а тот снова, стоя против нее, устремляет к ней долгие взгляды и, кажется, совсем забывает о своей невесте, которая меняется в лице и мучается ревностью. Словом, это какая-то непрестанная комедия, смысл которой никому хорошенько непонятен; вот почему Жуковский так смеялся твоему старанию разгадать его, попивая свой кофе в Бадене.

А пока что бедный Дантес перенес тяжелую болезнь, воспаление в боку, которое его ужасно изменило. Третьего дня он вновь появился у Мещерских, сильно похудевший, бледный и интересный, и был со всеми нами так нежен, как это бывает, когда человек очень взволнован или, быть может, очень несчастен. На другой день он пришел снова, на этот раз со своей нареченной и, что еще хуже, с Пушкиным; снова начались кривлянья ярости и поэтического гнева; мрачный, как ночь, нахмуренный, как Юпитер во гневе, Пушкин прерывал свое угрюмое и стеснительное молчание лишь редкими, короткими, ироническими, отрывистыми словами и время от времени демоническим смехом. Ах, смею тебя уверить, это было ужасно смешно. Я исполнила твое поручение к жениху и невесте; оба тебя нежно благодарят, а Катрин просит напомнить тебе ваши прошлогодние разговоры на эту тему и сказать, что она напишет тебе, как только будет обвенчана.

Но достаточно, надеюсь, об этом предмете. Для разнообразия

скажу тебе, что на днях вышел четвертый том *Современника* и в нем напечатан роман Пушкина *Капитанская дочка*, говорят восхитительный. <...> Вчера мы с госпожой Пушкиной были на балу у Салтыковых, и я веселилась там больше, чем при дворе; не знаю, почему все с пренебрежением говорят об этих вечерах, называя их простонародными, а между тем там все бывают и танцуют от всего сердца...“

16/28 января 1837 г. А. Н. Карамзин: „*Неделю тому назад сыграли мы свадьбу Эккерна с Гончаровой. Я был шафером Гончаровой. На другой день я у них завтракал. Leur intérieur élégant (их изящно обставленный дом) мне очень понравился. Тому 2 дня был у старика Строганова (le père assis) (посаженного отца) свадебный обед с отличными винами. Таким образом кончился сей роман à la Balsac (в роде Бальзака), к большой досаде с.-петербургских сплетников и сплетниц*“.

27 января 1837 г. С. Н. Карамзина: „В воскресенье <24 января> у Катрин было большое собрание без танцев: Пушкины, Геккерны (которые продолжают разыгрывать свою сентиментальную комедию к удовольствию общества). Пушкин скрежещет зубами и принимает свое всегдашнее выражение тигра, Натали опускает глаза и краснеет под жарким и долгим взглядом своего зятя — это начинает становиться чем-то большим обыкновенной безнравственности; Катрин направляет на них свой ревнивый лорнет, а чтобы ни одной из них не оставаться без своей роли в драме, Александрина по всем правилам кокетничает с Пушкиным, который серьезно в нее влюблен и если ревнует свою жену из принципа, то свояченицу — по чувству. В общем, все это странно, и дядюшка Вяземский утверждает, что он закрывает свое лицо и отвращает его от дома Пушкиных“ (*Карамзины.* С. 147—149, 154, 165).

С. 106. Вариант анекдота с *поцелуем* см. в воспоминаниях товарища Дантеса по полку А. В. Трубецкого (с. 350—363 наст. изд.). Эта сплетня была, вероятно, пущена в ход самим Дантесом.

С. 107. Запись *Жуковского* о *„двух лицах“* Щеголев, а вслед за ним и Боричевский (*Боричевский.* С. 383) относили к Пушкину. Е. С. Булгакова в докладе, сделанном на квартире В. В. Вересаева в 1936 г., правильно расшифровала ее как двуличие Дантеса по отношению к Н. Н. Пушкиной. А. Ахматова, принявшая это объяснение, пишет: „Дантесу нужно было, чтоб кто-то рассказывал Наталье Николаевне о грубости его с женой, якобы свидетельствующей о великой страсти к самой Наталье Николаевне. А Александрина ходила к Дантесам и, возвращаясь, говорила, что Дантес чуть не бьет Коко, и госпожа Пушкина была в восторге — значит, он меня действительно любит, значит, это в самом деле grande et sublime passion» (великая и возвышенная страсть — *фр.*) (*Ахматова.* С. 144). Ахматова пристрастна не только к Н. Н. Пушкиной, но и к А. Н. Гончаровой. Запись Жуковского вовсе не значит, что Александрина делилась своими наблюдениями с сестрой. Запись „des révélations d'Alexandrine” (разоблачения Александрины, см. ниже) сразу же за рассказом о „двух лицах“, которую Щеголев считал „совершенно нерасшифрованной“, можно объяснить так: двуличие Дантеса заметила умная и наблюдательная Александрина и тут же поделилась своими наблюдениями с Жуковским.

С. 107. Грубости (*фр.*).

С. 107. И. Боричевский вместо très читает tire. Таким образом, первая французская фраза переводится: „Балагур метит хорошо". Вторая: „Вы принесли мне счастье". Вся запись после слов „Разоблачения Александрины", кроме двух слов, относится к Дантесу. Его грубость (такая же показная, как и мрачность „при ней" — то есть при Н. Н. Пушкиной) — это средство заставить Н. Н. Пушкину поверить в его великую страсть. „Балагур" — Дантес (*Боричевский.* С. 382). „Вы принесли мне счастье" — очевидно, реплика поэта на казарменные каламбуры Дантеса (один из таких каламбуров приводит Щеголев на с. 109), которые „принесли счастье Пушкину", т. е. отвратили от Дантеса жену поэта. Слова „История кровати", по-видимому, не случайно расположены между рассказом Александрины о двуличии Дантеса и фразой о балагуре. До Жуковского, очевидно, дошла сплетня, о которой писал А. Россет и отзвуки которой находятся в воспоминаниях Араповой. О „сплетне" см. выше, примеч. на с. 464 наст. изд. От кого узнал Жуковский эту сплетню — неизвестно, но размещение записи свидетельствует, что в его сознании она как-то связана с домом и поведением Геккернов.

С. 109. со времени приезда этих дам... Суждение Вяземского о том, что разговоры с „тригорскими приятельницами" (Е. Н. Вревской и А. Н. Вульф) подтолкнули Пушкина к дуэли, неосновательно. С. Л. Абрамович опубликовала письма Е. Н. Вревской к мужу, Б. А. Вревскому, и к брату, А. Н. Вульфу, написанные из Петербурга 19 и 20 января 1837 г. Письма рассказывают о встречах с Пушкиным, но никакого „трагического подтекста" в них нет. Речь идет о продаже Михайловского, которое хотела купить у Пушкина П. А. Осипова. С Е. Н. Вревской о дуэли Пушкин говорил тогда, когда письмо Геккерну было уже отослано, и она понимала неотвратимость дуэли (см.: *Абрамович С.* Накануне дуэли // Лит. Россия. 1985. 8 февр. С. 6—7).

С. 110. Пойдем, моя законная (*фр.*).

С. 110. Ты возьмешь его, негодяй (*фр.*).

С. 111—112. О свидании Н. Н. Пушкиной и Дантеса на квартире у И. Полетики, кроме Араповой и В. Ф. Вяземской, писал, по просьбе Араповой со слов Александрины Гончаровой, ее муж, барон Г. Фризенгоф (его письмо, датированное 14/26 марта 1887 г., см. Красная нива. 1929. № 24). Вяземская, говоря о свидании, не дает указания на какую-либо дату, из письма Фризенгофа можно понять, что свидание произошло до ноябрьской дуэльной истории (анализ его письма см.: *Абрамович.* С. 62—64). Арапова утверждает, что свидание явилось непосредственным поводом к дуэли, т. е. состоялось в январе. В ее рассказе есть неувязки, которые отметил М. Яшин. Арапова пишет, что во время свидания Пушкиной с Дантесом ее отец П. П. Ланской „прогуливался около здания", чтобы „зорко следить за всякой подозрительной личностью" (Арапова А. П. Н. Н. Пушкина-Ланская // Приложение к газ. „Новое время". 1908. 2(15) янв. С. 2). Яшин, обратившись к книге приказов Кавалергардского полка, в котором служил П. Ланской, установил, что с 19 октября 1836 г. по 19 февраля 1837 г. Ланской был в Черниговской и Могилевской губерниях „для наблюдения при наборе рекрут" (*Яшин. Хроника.* № 8. С. 175). Это позволило ему считать свидетельство Араповой об участии Ланского в устройстве свидания „вымыслом" и уверенно относить его к 22 января, когда Дантес был дежурным по полку (Полетики жили близко от расположения полка). Дата,

предложенная С. Л. Абрамович (2 ноября — см. выше, примеч. на с. 469 наст. изд.), объясняет недосказанности, которые встречаются в письме Г. Фризенгофа к Араповой, и объясняет упоминание этой даты в разорванном черновике письма Пушкина к Геккерну, писавшемся 21 ноября 1836 г. (см. примеч. на с. 482 наст. изд.).

С. 116. Французские фразы в письме А. Н. Карамзина переводятся так: „...был словно черепицей, упавшей ему на голову. ...Ваше семейство, которое я сердечно уважал, ваш брат, в особенности, которого я любил, которому доверял, покинул меня, стал моим врагом, не желая меня выслушать и дать мне возможность оправдаться, — это было жестоко, это было дурно с его стороны. <...> Мое полное оправдание может прийти только от г-жи Пушкиной; через несколько лет, когда она успокоится, она скажет, быть может, что я сделал все возможное, чтобы их спасти, и что если это мне не удалось — не моя была в этом вина <...> это все, что я могу сделать". Об отношении Ал. Н. Карамзина к Дантесу см. в его письме на с. 471 наст. изд.

С. 116—117. Цитата неверна. *Смирнов* пишет: „Письма эти были так сильны", имея в виду „письменный вызов" Дантесу и „письмо к Геккерну, в котором объявляет, что знает его гнусное поведение" (*П. в восп. 1974.* Т. 2. С. 241). Однако „письменного вызова" Дантесу в январе Пушкин не посылал, ограничившись оскорбительным письмом Геккерну.

С. 117. Письмо Пушкина Геккерну печатается по копии в военно-судном деле о дуэли Пушкина с Дантесом. Подлинник, возможно, находится в семейном архиве баронов Дантесов-Геккернов во Франции. На копии пометы: „С подлинным верно: Начальник отделения Шмаков" и „Подлинное письмо отправлено при отношении генерал-аудитора от 30 апреля 1837 г. № 1514, директору канцелярии Военного министерства, для обращения г. министру иностранных дел. Начальник отделения Шмаков" (*Военно-судное дело.* С. 51—52). Дату письма (26 января), поставленную на копии, подверг сомнению Б. В. Казанский, предложивший датировать его 25 января (*Звенья.* Т. 6. С. 77—81). Основным аргументом его было свидетельство В. Ф. Вяземской, писавшей, вскоре после смерти Пушкина, о вечере, бывшем у нее 25 января, на котором присутствовали Пушкины, Геккерны и А. Н. Гончарова. Вяземская пишет: „С понедельника, 25-го числа, когда все семейство (Пушкины, Дантес с женой и А. Н. Гончарова) провело у нас вечер, мы были добычей самых живых мучений. Было бы вернее сказать, что мы находились в беспокойстве в продолжение двух месяцев, но это значило бы начать очень рано. Смотря на Жоржа Дантеса, Пушкин сказал мне: „Что меня забавляет, это то, что этот господин веселится, не предчувствуя, что ожидает его по возвращении домой". — „Что же именно? — сказала я. — Вы ему написали?" Он сделал утвердительный знак и прибавил: „Его отцу". — „Как! Письмо уже послано?" — Он сделал тот же знак. Я сказала: „Сегодня?" — Он потер руки, опять кивая головой <...>. На следующий день, во вторник, они искали друг друга, объяснились. Дуэль с сыном была назначена на завтра" (там же. С. 78; ср.: Новый мир. 1931. № 12. С. 189). Эту дату, по свежим следам рассказов Вяземской о случившемся, подтверждает и С. Н. Карамзина. Рассказывая о „неосторожной" Н. Н. Пушкиной, которая „не побоялась" встретиться с Дантесом „в воскресенье у

Мещерских, а в понедельник у Вяземских", она добавляет: „Уезжая от них, Пушкин сказал тетушке: „Он не знает, что его ожидает дома!" То было письмо Геккерну-отцу, оскорбительное сверх всякой меры..." (*Карамзины.* С. 167). Казанский объясняет дату, поставленную в военно-судном деле, ошибкой чиновника, снимавшего копию с письма. Такая ошибка представляется маловероятной. Но нельзя не доверять и свидетельствам Вяземской и С. Н. Карамзиной. В. Э. Вацуро, комментируя это письмо Пушкина, считает, что в разговоре с Вяземской Пушкин исказил действительное положение вещей, сказав, что письмо уже послано, и объясняет это так: „Можно думать, что, приняв твердое решение о поединке, Пушкин всеми силами старался избежать помех, которых можно было ждать в первую очередь от ближайших друзей (например, при появлении Вяземского он прекратил разговоры с д'Аршиаком на бале у Разумовской). „Проговорившись" Вяземский под влиянием мгновенного раздражения, вызванного веселостью Дантеса, он, вероятнее всего, хотел создать у нее впечатление совершенной неотвратимости развернувшихся затем событий" (см.: *Письма последних лет.* С. 354—357). Скорее всего, письмо было написано 25-го, а отослано 26-го (см. примеч. на с. 490 наст. изд.). Расчет времени позволяет уложить все преддуэльные события в период 26—27 января. Не исключено, однако, что, называя 25 января, княгиня совместила события, соединила воедино какую-то реплику Пушкина на вечере 25-го и разговор, который был у нее с Пушкиным на следующий день, 26 января. Позднее с ее слов Бартенев записал: „*Накануне дуэли* (подчеркнуто мною. — *Я. Л.*) вечером, Пушкин явился на короткое время к княгине Вяземской и сказал ей, что его положение стало невыносимо и что он послал Геккерну вторичный вызов. Князя не было дома. Вечер длился долго. Княгиня Вяземская умоляла Василия Перовского и графа М. Ю. Вельегорского дождаться князя и вместе обсудить, какие надо принять меры. Но князь вернулся очень поздно. На другой день Наталья Николаевна прислала сказать <...> о случившемся у них страшном несчастье" (*П. в восп. 1974.* Т. 2. С. 164). „Вторичный вызов" — ошибка памяти В. Ф. Вяземской. Пушкин, конечно, сказал ей, что послал Геккерну не вызов, а оскорбительное письмо. Вяземский понимал, что теперь вызов будет уже от Геккернов. Скорее всего, узнав от жены о надвигающейся беде, Вяземский не счел возможным или не успел что-либо предпринять.

С. 117. С этим условием я согласился... Приводим более точный перевод этой фразы: „Только на этом основании согласился я не давать хода этому грязному делу и не обесчестить вас в глазах дворов нашего и вашего, к чему я имел и возможность и намерение" (*Акад.* Т. 16. С. 427). „Возможность" обесчестить Геккерна у Пушкина была во время разговора с Николаем I во дворце 23 ноября. Из этих слов следует, что о своей убежденности в причастности Геккерна к составлению анонимного пасквиля Пушкин царю не сказал.

С. 118. к письму от 21 ноября. Щеголев прав, отказываясь принимать это письмо за то, которое в ноябре 1836 г. Пушкин читал Соллогубу. Письмо, писавшееся 21 ноября, было найдено разорванным в кабинете Пушкина после его смерти. Составляя в январе новое письмо, вызвавшее картель, Пушкин пользовался текстом ноябрьского письма, но, как правильно заметил Щеголев, изменил его содержание. Об этих письмах см. выше, с. 482—484 наст. изд.

С. 118. Французская цитата из письма Пушкина переводится: „Я не могу терпеть, чтобы моя семья имела какое бы то ни было сношение с вашей“.

С. 118. Запись *в дневнике А. Н. Мокрицкого,* о которой упоминает Щеголев, сделана 25 января. В дневнике читаем: „Сегодня в нашей мастерской было много посетителей — это у нас не редкость, но, между прочим, были Пушкин и Жуковский. Сошлись они вместе, и Карл Павлович угощал их своей портфелью и альбомами. Весело было смотреть, как они любовались и восхищались его дивными акварельными рисунками, но когда он показал им недавно оконченный рисунок: „Съезд на бал к австрийскому посланнику в Смирне“, то восторг их выразился криком и смехом <...>. Пушкин не мог расстаться с этим рисунком, хохотал до слез и просил Брюллова подарить ему это сокровище, но рисунок принадлежал уже княгине Салтыковой, и Карл Павлович, уверяя его, что не может отдать, обещал нарисовать ему другой. Пушкин был безутешен: он с рисунком в руках стал перед Брюлловым на колени и начал умолять его: „Отдай, голубчик! Ведь другого ты не нарисуешь для меня, отдай мне этот“. Не отдал Брюллов рисунка, а обещал нарисовать другой. Я, глядя на эту сцену, не думал, что Брюллов откажет Пушкину. Такие люди, казалось мне, не становятся даром на колени перед равными себе. Это было ровно за четыре дня до смерти Пушкина» (*П. в восп. 1974.* Т. 2. С. 291—292).

С. 122. Пушкин... открылся княгине Вере Федоровне... Выше (см. с. 488—489) приведено свидетельство Вяземской, написанное по свежим следам событий. Там она пишет, что Пушкин впервые сказал ей, что письмо отослано не 26, а 25 января.

С. 122. В рассказах Н. М. Смирнова... Эта характеристика Медженитса принадлежит не Н. М. Смирнову, а А. О. Россету (см.: *П. в восп. 1974.* Т. 2. С. 316). Perroquet malade — больной попугай (*фр.*).

С. 123. Дело отложено, я предупрежу вас (*фр.*).

С. 123. Явно недостоверное сообщение. Сообщение П. П. Вяземского соответствует действительности. Его подтверждают В. Ф. Вяземская и С. Н. Карамзина (см. выше, с. 489).

С. 126—128. Объяснение, которое дает Щеголев расхождениям в показаниях современников и в конспективных заметках Жуковского, представляется убедительным. „В 12-м часу утра“ (до прихода Данзаса) у Пушкина успел побывать библиофил Ф. Ф. Цветаев. „Пушкин был весел“, — вспоминает он (см.: *ЛН.* Т. 58. С. 138).

С. 130. Я хочу теперь посвятить вас во все (*фр.*).

С. 131. Французский *текст условий дуэли* см. выше, с. 265. М. И. Яшин в статье „История гибели Пушкина“ (Нева. 1968. № 2, 6; 1969, № 3, 4, 12) сделал попытку доказать, что дуэль велась не по правилам, поведение секундантов не соответствовало дуэльному кодексу, что д'Аршиак и Дантес вели себя бесчестно, а Данзас шел у них на поводу. Иначе говоря, дуэль Пушкина была убийством, организованным Геккернами, которое Данзас не смог разоблачить. Исходными данными является поведение Геккернов в ноябре, когда они всячески противились дуэли, и в январе, когда, по мнению Яшина, они „вдруг“ решились на поединок. Яшин называет вызов Геккерна „игрой ва-банк“ и пишет, что к ней „был примешан и какой-то нечистый расчет, ибо была же на чем-то основана самоуверенность в благополучном исходе дуэли“ (№ 12. С. 178). Свои подозрения

он строит: 1) на письме Геккерна к Пушкину с вызовом, в котором он находит „решительный и отважный тон“ и „угрозы“ (например: „Я найду средства научить вас уважению“), 2) на словах Дантеса, переданных В. Соллогубом: „Он говорил, что чувствует, что убьет Пушкина, а что с ним могут делать, что хотят: на Кавказ, в крепость — куда угодно“ (*П. в восп. 1974.* Т. 2. С. 468) и 3) на разговоре Дантеса с женой в день дуэли, когда он сказал ей, что „боится, что будет арестован“. Но разговор с Соллогубом состоялся еще в период ноябрьского конфликта, когда, как пишет сам Яшин, „Геккерны всеми способами отделывались от вызова Пушкина, прося отсрочки“ (№ 12. С. 179). Тон письма Геккерна определялся его содержанием — это был картель, и оскорбленная сторона пыталась сохранить достоинство. Слова же Дантеса о возможном аресте, скорей всего, явились не понятым Екатериной намеком, сделанным, может быть, с расчетом предотвратить дуэль. В январе, как и в ноябре, Геккерны не рвались в бой. Именно этим объясняется, почему Пушкин, приняв твердое решение о поединке, постарался сделать все, чтобы избежать возможных помех. Его решимостью драться вызван и оскорбительный тон письма к Геккерну, и выбор в секунданты лицейского друга Данзаса. Обвинения против Данзаса Яшин строит на основе дуэльного кодекса. Яшин сообщает, что кодекс предписывал секундантам осмотреть одежду противника, пригласить врача на место дуэли, а непосредственно после нее составить подробный протокол поединка. Ни одно из этих условий не было выполнено. Яшин называет три дуэльных кодекса, известных в пушкинское время (British Code of Duel. 1824. London, Clere Smith; Cavarin, Brilliant. Essai sur le duel. 1819; Chateauvillard. Essai sur le duel. 1836. — см.: Яшин М. И. История гибели Пушкина// № 12. с. 178). В наиболее обстоятельном кодексе, составленном Шатовиларом, присутствие врача предусматривается только в случае «поединка при одном заряженном пистолете“ (с. 79), „протоколами“ поединка называются условия дуэли, составленные секундантами, а составление протокола после поединка не упоминается вовсе. Автор кодекса рекомендует противникам „не сходиться ближе 15 шагов“. В случаях „исключительного поединка“ расстояние может быть уменьшено вплоть до выстрела в упор, но автор советует „в целях человечности не сходиться ближе, чем на 10 шагов“ (с. 74) — именно таким было расстояние между барьерами на дуэли Пушкина и Дантеса. При „исключительных дуэлях“ разрешаются также отступления от правил кодекса, и ход поединка определяется условиями, составленными секундантами. Чтобы соотнести поступки Данзаса с дуэльным кодексом, необходимо выяснить, как относился к дуэльному кодексу сам Пушкин. В день дуэли в 10 часов утра у него еще не было секунданта, и в ответ на настойчивые напоминания д'Аршиака поэт писал, что он не согласен ни на какие переговоры между секундантами, потому что не хочет „посвящать петербургских зевак в свои семейные дела“ и что своего секунданта он привезет лишь на место встречи и даже согласен заранее принять секунданта, которого выберет ему Геккерн, а также предоставляет противнику выбор часа и места, „по нашим, по русским обычаям, — заключает поэт, — этого достаточно“ (*Акад.* Т. 16. С. 225—226). Это было демонстративное противопоставление дуэльного законодательства — бытующей практике поединков в России. Отказ Данзаса от осмотра одежды Дантеса Яшин назы-

вает „игрой в благородство“ (№ 12. С. 192). Однако мы не знаем ни одной дуэли и ни одного литературного описания дуэли, когда бы секунданты осматривали одежду противников, — подобная проверка могла поставить проверяющего в смешное положение, вызвать пересуды, возмущение и даже новую дуэль. В качестве примера „неукоснительного выполнения“ правил дуэли Яшин приводит поединок Шереметева с Завадовским, когда Завадовский отдал своему секунданту Кавелину часы, „чтобы ничем не быть защищенным“ (там же. С. 194). Поведение Завадовского — скорее бравада, чем следование кодексу. Пушкин во время дуэли имел на себе часы (об этом свидетельствует В. А. Нащокина — см.: *П. в восп. 1974.* Т. 2. С. 207), а Лермонтов перед дуэлью взял у Е. Г. Быховец на счастье и положил в карман золотое бандо (см.: М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М., 1964. С. 354, 355), однако мы не сомневаемся в их благородстве. Возможно, что протокол, составленный на месте, прибавил бы некоторые подробности к нашему знанию обстоятельств поединка, но вряд ли следует обвинять друга Пушкина в том, что он „даже не знал толком, куда ранен Дантес, следовательно, и не осматривал его, хотя должен был настоять на составлении протокола поединка“ (Нева. 1969. № 12. С. 192). У Данзаса была другая забота — скорей доставить раненого Пушкина домой. Отсутствие врача причинило Пушкину лишние страдания, но нельзя писать, что это „сыграло трагическую роль“ — поэт был ранен смертельно. Рассуждения об осмотре одежды Яшин связывает с проблемой панциря на Дантесе. В наши дни возникла и оказалась очень устойчивой легенда о том, что во время дуэли на Дантесе была кольчуга или какое-то иное защитное приспособление и потому он не был убит, а отделался легким ранением. Современники думали иначе; они считали, что пуля, пробив руку Дантеса, наткнулась на пуговицу сюртука и рикошетировала. О пуговице пишут многие современники — Жуковский, Вяземский, С. Н. Карамзина, Либерман, Люцероде (см. с. 155, 332, 339 наст. изд., *Карамзины.* С. 168). Так думал и секундант Пушкина Данзас, а он был боевой офицер и хорошо знал свойства и возможности пуль. Легенда о кольчуге возникла в начале 30-х гг. с легкой руки В. В. Вересаева. Некий архангельский литератор рассказывал ему, будто в Архангельске в старинной книге для приезжих он видел запись о том, что от Геккерна приезжал человек и поселился на улице Оружейников (см. об этом: Рахилло И. Рассказ об одной догадке // Москва. 1959. № 12. С. 171—178). В 1963 г. легенда о кольчуге обрела новую жизнь — была распространена аппаратом ТАСС по всем более или менее крупным газетам Советского Союза под сенсационным заглавием „Эксперты обвиняют Дантеса“. Эксперты (правильнее было бы употреблять единственное число) — это В. Сафронов, врач, специалист по судебной медицине, напечатавший в 1963 г. статью о дуэли Пушкина (Сафронов В. Поединок или убийство? // Нева. 1963. № 2. С. 200—203). Этой же сенсационной теме была посвящена статья В. Гольдинер „Факты и гипотезы о дуэли Пушкина“ (Сов. юстиция. 1963. № 3. С. 22—24). Сенсационное сообщение Сафронова было изложено в популярной книге П. Н. Беркова „О людях и книгах: Из записок книголюба“ (М., 1965. С. 51—68). Проникло оно и в зарубежную печать. 18 мая 1963 г. оно было напечатано в Париже, в газете „Paris match” (1963. № 736), а в журнале „Le ruban rouge”

(1963. № 19) появилась статья Флерио де Лангло „Дуэль Пушкина". Статья очень сочувственная по отношению к поэту, поведение Дантеса перед дуэлью трактуется как „лукавое и отталкивающее". Автор приводит сообщение ТАСС и спрашивает, на каких документальных данных основана версия о кольчуге. Основная цель статьи Сафронова — отвергнуть версию о пуговице. Он пишет, что на дуэли Дантес был одет в сюртук, на котором пуговицы располагались „в один ряд по средней линии груди" и, таким образом, „далеко отстояли от места удара пули в грудь Дантеса"; второй довод тот, что офицерские пуговицы делались „из тонкого олова", покрытого сверху тончайшими листками латуни, т. е. из мягкого металла, и, следовательно, от такой пуговицы пуля не могла отскочить. Версия Вересаева — Сафронова была рассмотрена и опровергнута Б. С. Мейлахом (Мейлах Б. Дуэль, рана, лечение Пушкина: О некоторых распространенных гипотезах//Неделя. 1966. № 2. С. 8—9). Не перечисляя всех доводов его статьи, укажем, что Б. С. Мейлах основывался главным образом на документе, полученном Пушкинской комиссией АН СССР в связи со статьей Сафронова. Это заключение о работе Сафронова, написанное доктором юридических наук Я. И. Давидовичем, кандидатом исторических наук Л. Л. Раковым и сотрудником Эрмитажа В. М. Глинкой. Лица, подписавшие заключение, — крупнейшие специалисты по военному костюму и знатоки пушкинской эпохи. Они опровергают доводы Сафронова и утверждают, что однобортных сюртуков в русской армии не было, а были двубортные с двумя рядами пуговиц, кроме того, офицерские пуговицы выливались из серебра или из твердых сплавов, и потому-то современники и соглашались с существовавшей версией ранения Дантеса. Правда, одни (С. Н. Карамзина) упоминают о сюртуке (*Карамзины.* С. 168), другие (Либерман — см. наст. изд., с. 339) — о мундире, третьи (Жуковский — см. наст. изд., с. 155) — о «пуговице, которою панталоны держались на подтяжке против ложки". Яшин в упоминавшейся статье ловит современников поэта на „противоречиях" и ставит эти противоречия в связь с нарушением дуэльного кодекса. Различия в показаниях современников объясняются, скорее всего, тем, что они не придавали значения этой спасительной для противника Пушкина пуговице. В отдельных случаях противоречия появились вследствие неточности перевода. Либерман писал не о „пуговице мундира", как переводит Щеголев, а о „форменной пуговице" ("un bouton d'uniforme"). Также Софья Карамзина упоминала не „пуговицу на сюртуке", а „пуговицу его платья" ("un bouton de son habit". — *Карамзины.* С. 168). В статье Яшина также речь идет о защитном приспособлении на Дантесе, но он пишет уже не о кольчуге, а о кирасе. В 1830-е гг. кирасы делались из кованого железа — такую кольчугу невозможно было бы спрятать под военный мундир или военный сюртук, не изменив своего внешнего вида. Подробнее полемику с М. И. Яшиным о якобы существовавших нарушениях дуэльных правил см.: Левкович Я. Л. Две работы о дуэли Пушкина//Рус. лит. 1970. № 2. С. 216—219.

С. 132. Мне это совершенно безразлично, только постарайтесь сделать все возможно скорее (*фр.*).

С. 132. Все ли, наконец, готово? (*фр.*).

С. 133. „Я ранен" (*фр.*). В воспоминаниях Данзаса — единственного свидетеля, оставившего свои воспоминания о поединке, этот эпизод

передан так: «По сигналу, который сделал Данзас, махнув шляпой, они начали сходиться.

Пушкин первый подошел к барьеру и, остановясь, начал наводить пистолет. Но в это время Дантес, не дойдя до барьера одного шага, выстрелил, и Пушкин, падая, сказал:

– Je crois que j'ai la cuisse fracassée (Мне кажется, что у меня раздроблена ляжка)». (*П. в восп. 1974.* Т. 2. С. 327).

С. 133. Подождите, у меня хватит силы на выстрел *(фр.).*

С. 133. Рана господина Пушкина была слишком серьезна, чтобы продолжать, – дело было закончено. Сделав выстрел, он снова упал и почти сразу дважды терял сознание: после нескольких минут совершенного забытья он наконец пришел в себя (*фр.*).

С. 135. – Он убит?

– Нет, но ранен в руку и в грудь.

– Странно, я думал, что мне доставит удовольствие его убить, но я чувствую теперь, что нет <...>. Впрочем, все равно. Как только мы поправимся, начнем снова *(фр.).*

С. 135. Придя в себя, он спросил у д'Аршиака: «Убил я его?» – «Нет, – ответил тот, – но вы его ранили». – «Странно, – сказал Пушкин, – я думал, что мне доставит удовольствие его убить, но я чувствую теперь, что нет. Впрочем – все равно – как только мы поправимся, снова начнем» *(фр.).*

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

I. Письмо В. А. Жуковского к С. Л. Пушкину о смерти Пушкина

С. 143. Не входите *(фр.).*

С. 143. Не входите. У меня посетители *(фр.).*

С. 144. Арендт меня приговорил. Я ранен смертельно *(фр.).*

С. 144. Недоумевая, почему *Арендт* должен был вернуть *записку* царю, Щеголев не учитывал того, что оставить записку в руках подданного значило бы сделать из нее «рескрипт», т. е. оказать такую «высочайшую» милость, которой Пушкин в глазах Николая I не мог быть достойным. Дальше Щеголев отмечает, что содержание записки варьируется в свидетельствах друзей Пушкина, и выражает сомнение в существовании записки. Доводы, которые приводит Щеголев, неубедительны. Николай приказал прочесть записку Пушкину, что и было исполнено Арендтом, а друзья только могли слышать ее текст или знать в пересказе от лиц, его слышавших. Так, например, в пересказе передает содержание записки Е. А. Карамзина в письме к сыну Андрею: «...государь написал ему карандашом записку в таких выражениях: *„Если судьба нас уже более в сем мире не сведет, то прими мое последнее и совершенное прощение и последний совет: умереть христианином! Что касается до жены и детей твоих, то можешь быть спокоен, я беру на себя устроить их судьбу“*» (*Карамзины.* С. 170). Совет царя исполнить «христианский долг» не имел решающего значения. Записка Николая I только ускорила действие, на которое Пушкин уже дал согласие (см. вступ. статью и примеч. к воспоминаниям И. Т. Спасского, с. 176 наст. изд.). Большинство современников было тронуто жестом Николая I. Так, например, Д. Ф. Фикельмон писала: «Император, всегда

великодушный и благородный в тех случаях, где нужно сердце, написал ему эти драгоценные строки» (*П. в восп. 1974.* Т. 2. С. 144). Но далекие от Пушкина светские люди относились к этому иначе. Характерна запись в дневнике П. Д. Дурново: «Это превосходно, но это слишком» (Теребенина Р. Е. Записи о Пушкине, Гоголе, Глинке, Лермонтове и других писателях в дневнике П. Д. Дурново // *П. Исслед.* Т. 8. С. 262).

С. 145. Примерно *(фр.).*

С. 147. Примерно (*фр.*).

С. 154. Пушкин не *«встретил Данзаса на улице»,* а вызвал его к себе. См. с. *155.* наст. изд.

С. 155. Я ранен <...> не трогайтесь с места; у меня еще достаточно сил, чтобы сделать свой выстрел *(фр.).*

С. 156. Не входите, у меня посетители *(фр.).*

С. 156. Не входите *(фр.).*

С. 156. Благодарю вас, вы поступили по отношению ко мне как честный человек <...> надо устроить мои домашние дела *(фр.).*

С. 158. попросите... чтобы он меня простил... За что именно просил Пушкин для себя прощения, разъясняет письмо Е. А. Карамзиной к сыну Андрею от 1 февраля 1837 г.: «После истории со своей первой дуэлью <то есть после ноябрьского конфликта. — *Я. Л.*> П<ушкин> обещал государю больше не драться ни под каким предлогом, и теперь, когда он был смертельно ранен, он послал доброго Жуковского просить прощения у гос<ударя> в том, что он не сдержал слова» (*Карамзины.* С. 170). Такое обещание Пушкин, очевидно, дал царю во время аудиенции 23 ноября (см. примеч. на с. 543 наст. изд.).

С. 159. Сын Н. И. Греча Николай умер 25 января 1837 г.

С. 160. О записке, посланной Николаем I к Пушкину, см. примеч. на с. 494 наст. изд.

С. 161. У Тургенева в письме к неизвестному... Письмо А. И. Тургенева адресовано А. И. Нефедьевой.

С. 162. о прощании с Карамзиной см. примеч. на с. 455.

С. 163. Скажи, что я ему желаю... Последняя фраза, скорее всего, придумана Жуковским.

В письме Вяземского к Булгакову Пушкин говорит эти слова не Жуковскому, а Арендту в момент получения записки от царя. Истину этого факта Вяземский подкрепляет заявлением: «Эти слова слышаны мною и врезались в память и сердце мое по чувству, с коим они были произнесены» (*РА.* 1879. Кн. 2. С. 441). Но из сообщения доктора Спасского (см. выше, с. 176 наст. изд.) видно, что Арендт говорил с Пушкиным наедине. Все это позволило Щеголеву поставить под сомнение сам факт произнесения Пушкиным этих слов, а текстологический анализ автографа Жуковского, проделанный им, позволил усомниться и в точности приведенных слов благодарности и пожеланий Пушкина царю. Включить в письмо эту придуманную фразу Жуковского вынудили следующие обстоятельства: 29-го вечером он (тогда еще он не думал о письме, которое потом напишет отцу поэта и которое будет распространяться в списках, а потом появится в «Современнике») представил Николаю I проект записки о милостях семье Пушкина (см. наст. изд., с. 190). Туда он и вписал приведенную фразу: заботясь о семье поэта, он как бы выполнял волю Пушкина. Это была плата за благополучие семьи покойного. Фраза эта появилась в следующем кон-

тексте: после пожеланий, касающихся материальных дел семьи и издания сочинений Пушкина, Жуковский пишет: «К вышесказанному осмелюсь прибавить личную просьбу. Вы, государь, уже даровали мне высочайшее счастие быть через вас успокоителем последних минут Карамзина. Мною же передано было от вас последнее радостное слово, услышанное Пушкиным на земле. Вот что он отвечал, подняв руки к небу и с каким-то судорожным движением (и что вчера я забыл передать В<ашему> В<еличеству>): как я утешен! скажи государю, что я желаю ему долгого, долгого царствования, что я желаю счастия его в сыне, что я желаю счастия [его] в счастии России. И так, позвольте мне, государь, и в настоящем случае быть изъяснителем вашей монаршей воли и написать ту бумагу, которая должна будет ее выразить для благодарного отечества и Европы» (см. наст. изд., с. 191). Дальше шли снова денежные просьбы. Попытка Жуковского убедить царя, что он «забыл» передать ему пушкинские слова, не удалась, а скорее раздражила его — отсюда и убеждение, что если бы не он, царь, то Пушкин умер бы без исповеди, как нехристь и бунтовщик. Однако написанные Жуковским однажды слова неизбежно должны были войти и в следующие документы — в публикацию в «Современнике», и в письмо, не предназначенное для печати. Т. е. повторился случай с секундантом — Данзасом (см. с. 127 наст. изд), когда свидетельство, выдуманное, вынужденное обстоятельствами, обрело силу документа.

С. 165. великая княгиня — Елена Павловна, жена вел. кн. Михаила Павловича. Ее записки к Жуковскому, наполненные тревогой за Пушкина, от 27—29 января напечатаны в «Литературном наследстве» (М., 1952. Т. 58. С. 134—135). Впоследствии Жуковский вспоминал: «Великая княгиня, очень любившая Пушкина, написала мне несколько записочек, на которые я давал подробный отчет ее высочеству, согласно с ходом болезни» (Жуковский В. А. Соч. 8-е изд. Спб., 1885. Т. 6. С. 17). Отношение Е. П. к Пушкину видно из ее письма к мужу в Лозанну: «Я видаю иногда Вяземского, как и твоих протеже — семью его, и я приглашала два раза Пушкина, беседа которого кажется мне очень занимательной» (подлинник по-французски. — *ЛН.* Т. 58. С. 135).

С. 171. более десяти тысяч человек... Назывались и другие цифры: С. Н. Карамзина писала 20 000 (*Карамзины.* С. 171), Я. Н. Неверов — 32 000 (Моск. пушкинист. 1927. Вып. 1. С. 44), прусский посол Либерман — 50 000 (см. наст. изд., с. 340).

С. 172. Имеется в виду *стихотворение* 1835 г. «Вновь я посетил...».

II. Записки врачей о болезни и смерти Пушкина

С. 174. Записка доктора Шольца, как и другие материалы из собрания А. Ф. Онегина, в настоящее время находится в Институте русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР.

С. 174. Благодарю вас, вы поступили по отношению ко мне как честный человек <...>. Надо устроить мои домашние дела (*фр.*).

С. 175. мало имел к нему доверия. Тем не менее врачебные советы Спасского поэт часто передает в письме к жене. Пушкин поддерживал со Спасским и дружеские отношения («Послезавтра

обедаю у Спасского», — писал он жене в начале мая 1834 г. — *Акад.* Т. 15. С. 143).

С. 176. Николай I приписывал *исполнение* Пушкиным *христианского долга* своему давлению. Из воспоминаний Спасского видим, что поэт согласился исповедаться «по желанию родных и друзей». Это естественно: в пушкинское время обряд причащения был обязателен (см. статью, с. 17 наст. изд.).

С. 182. Анализ характера ранения Пушкина и его лечения Арендтом, Спасским и Далем см. в следующих работах: Юдин С. С. Ранение и смерть Пушкина // Правда. 1937. 8 февр.; Бурденко Н. Н., Арендт А. А. Рана Пушкина // Изв. ЦИК СССР. 1937. 5 февр.; Удерман Ш. И. Избранные очерки отечественной хирургии XIX столетия. Л., 1970. С. 197—250. Наиболее обстоятельно сведения о болезни и смерти Пушкина см.: Шубин Б. М. История одной болезни. М., 1983 (впервые под загл.: Скорбный лист, или История болезни Александра Сергеевича Пушкина // Дружба народов. 1983. № 7. С. 162—167; № 8. С. 134—149).

III. В. А. Жуковский в заботах по делу Пушкина

С. 186. Примерно (*фр.*).

С. 186. Ср. в письме Е. А. Карамзиной к сыну Андрею: «Когда В.<асилий> А.<ндреевич> Ж.<уковский> просил г<осуда>ря во второй раз быть его секретарем для Пушкина, как он был для Карамзина, г<осуда>рь позвал В.<асилия> А.<ндреевича> и сказал ему: „Послушай, братец, я все сделаю для П.<ушкина>, что могу, но писать как к Карамз.<ину> не стану. П.<ушкина> мы насилу заставили умереть, как христианина, а Карамз.<ин> жил и умер, как ангел“». Дальнейшие слова свидетельствуют, насколько не понято было истинное место Пушкина в русской литературе: «Что может быть справедливее, тоньше, благороднее по мысли и по чувству, чем та своего рода ступень, которую он поставил между этими двумя лицами» (последняя фраза написана по-французски, *Карамзины.* С. 170). Такое отношение может быть вызвано тем, что Пушкин в последние годы не печатал многих своих лирических стихотворений. Не знали современники и таких произведений, как «Медный всадник», «Каменный гость», «Русалка», «Дубровский», «История села Горюхина», «Египетские ночи».

С. 187. «друзья четырнадцатого» (*фр.*) — так Николай I называл декабристов.

С. 189. Запись Пушкина в дневнике, как и вся история с перлюстрированным письмом, относится не к 1835, а к 1834 г. Речь идет о письме Пушкина к жене от 20 и 22 апреля 1834 г., где поэт писал: «К наследнику являться с поздравлениями и приветствиями не намерен: царствие его впереди; и мне, вероятно, его не видать. Видел я трех царей: первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку; второй меня не жаловал; третий, хоть и упек меня в камер-пажи под старость лет, но променять его на четвертого не желаю; от добра добра не ищут. Посмотрим, как-то наш Сашка будет ладить с порфирородным своим тезкой, с моим тезкой я не ладил. Не дай бог ему идти по моим стопам, писать стихи да ссориться с царями!» (*Акад.* Т. 15. С. 130—131). В действительности Николай I не читал это письмо, а только

знал содержание его в изложении Бенкендорфа. Копия, посланная Бенкендорфу московским почт-директором А. Я. Булгаковым, была спрятана секретарем Бенкендорфа и почитателем Пушкина, бывшим лицеистом П. И. Миллером. Впервые об этом рассказал в печати сын поэта-лицеиста М. Д. Деларю в 1880 г. (*РС.* 1880. Кн. 9). После этого сам Миллер внес в рассказ Деларю следующие уточнения: «Прочитав копию, граф положил ее в один из двух открытых ящиков, стоявших по обеим сторонам его кресел перед письменным столом. Так как каждый ящик был перегорожен на три отдела и этих отделов выходило шесть, то граф нередко ошибался и клал полученную бумагу не в тот отдел, для которого она предназначалась. Это, разумеется, вело к тому, что он потом долго искал ее и находил не прежде, как перебрав бумаги. Такая процедура ему, наконец, надоела, и он поручил мне сортировать их каждый день и вынимать залежавшиеся.

Когда я увидел копию в отделе бумаг, назначенных для доклада государю, у меня сердце дрогнуло при мысли о новой беде, грозившей нашему дорогому поэту. Я тут же переложил ее под бумаги в другой отдел ящика и поехал сказать М. Д. Деларю, моему товарищу по лицею, чтобы он немедленно дал знать об этом Пушкину на всякий случай. Расчет мой на забывчивость графа оказался верен: о копии уже не было речи, и я через несколько дней вынул ее из ящика вместе с другими залежавшимися бумагами» (*РА.* 1902. № 10, С. 232). О П. И. Миллере и «услуге», оказанной им Пушкину, см.: Эйдельман Н. Я. О гибели Пушкина: По новым материалам // Новый мир. 1972. № 3. С. 214—217; Он же. Десять автографов Пушкина из архива П. И. Миллера // Зап. ОР ГБЛ. С. 308—309.

С. 189. Видок — начальник парижской тайной полиции, с которым Пушкин сравнивал Булгарина.

С. 189. О несостоявшейся дуэли между Пушкиным и В. А. Соллогубом см. выше, с. 465—466.

С. 190. деревня — село Михайловское, имение матери Пушкина, Н. О. Пушкиной. «Во младенчестве» Пушкин там не жил и первый раз приехал туда после окончания лицея. После смерти Надежды Осиповны (29 марта 1836 года) имение перешло к ее детям — Ольге, Александру и Льву (Сергей Львович отказался от своей доли в пользу дочери). Пушкин, дорожа имением, хотел оставить его за собой и предложил выплачивать брату и сестре выкупную сумму. После его смерти опека над детьми и имуществом Пушкина (см. примеч. ниже) выкупила Михайловское и обратила его во владение детей поэта.

С. 191. скажи государю... Эта фраза, по-видимому, придумана Жуковским. См. выше, с. 495—496.

С. 191. 3 февраля 1837 г. была учреждена «Опека над детьми и имуществом Пушкина». Основные установки и круг деятельности Опеки были определены этой *запиской Николая I.* В ходе работы Опеки было установлено, что общая сумма долгов Пушкина составляла 138 988 руб. (из них 44 тысячи Пушкин был должен казне). Об Опеке и ее деятельности см.: Модзалевский Б. Л. Архив Опеки над детьми и имуществом Пушкина // Пушкин и его современники. Спб., 1910. Вып. 13. С. 90—162.

С. 193. Полное собрание *сочинений Пушкина* вышло не в 7-ми,

а в 11 томах. Редакторами-издателями его были друзья Пушкина В. А. Жуковский, П. А. Вяземский, П. А. Плетнев и В. Ф. Одоевский. Первые 8 томов, включавшие художественные произведения, опубликованные при жизни Пушкина, вышли в 1838 г. В 1841 г. к ним были присоединены три дополнительных тома, содержащие главным образом оставшиеся в рукописи произведения, изданные посмертно. Первоначальный тираж издания был определен в 10 тыс. экз.; расчет на повышенный интерес к творчеству Пушкина в связи с его трагической гибелью побудил Опеку увеличить тираж до 13 тыс. экз. Однако надежды, возлагавшиеся на доходы от издания, не оправдались, о чем, например, с большим злорадством писала Е. Н. Гончаровой-Дантес Идалия Григорьевна Полетика: «Прекрасное рвение к распространению произведений покойного ужасно замедлилось; вместо того, чтобы принести пятьсот тысяч рублей, они не принесут и двухсот тысяч» (*Звенья.* Т. 9. С. 180). Действительно, подписка к ноябрю 1838 г. дала лишь 262 тыс. руб. дохода, а всего разошлось 7000 экз. Причины неуспеха издания обусловливались прежде всего дорогой ценой (25 руб. за экземпляр, с пересылкой — 35 руб., на веленевой бумаге — 40 руб., с пересылкой — 50 руб. ассигнациями) и некрасивым внешним видом (см.: *Архив Опеки* Пушкина. С. 160). В издании было много небрежностей и ошибок (особенно в компоновке сложных текстов), были пропущены некоторые произведения, печатавшиеся при жизни Пушкина, например, «Отрывки из писем, мысли, замечания», помещенные в «Северных цветах» на 1828 год. П. В. Анненков писал по этому поводу: «Довольно странно, что беглые мысли Пушкина, набросанные с твердостию руки, обличающей мастера, и драгоценные по отношению к нему самому, пропущены были последним, посмертным изданием его сочинений, которое не обратило даже внимания на стихи его, помещенные между ними» (Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина. Спб., 1855. С. 198). Произвольно обращались редакторы и с пушкинскими текстами, изымая и переделывая все, что могло вызвать недовольство цензуры. Издание вызвало резкую критику Белинского (см.: Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М.; Л., 1955. Т. 7. С. 99—100). Подробнее о «посмертном» издании см.: Измайлов Н. В. Текстология // Пушкин: Итоги и проблемы изучения. М.; Л., 1966. С. 560; Макаров А. А. Жуковский — редактор Пушкина // Книга: Исслед. и материалы. 1975. Сб. 30. С. 68—91.

С. 197. Подробно о разборе бумаг Пушкина см.: Цявловский М. А. «Посмертный обыск» у Пушкина // Цявловский М. А. Статьи о Пушкине. М., 1962. С. 276—358.

С. 200. О несостоявшейся *дуэли Пушкина с Соллогубом* см. примеч. с. 465—466 наст. изд.

IV. Свидетельства друзей Пушкина

С. 203. Естественно, что в делах III отделения не было найдено это смелое письмо Жуковского. Получив его, Бенкендорф вряд ли оставил его в делах своей канцелярии, где его могли прочитать чиновники. (Подробнее см. нашу статью «Жуковский и последняя дуэль Пушкина» (*П. Исслед.* Л., 1987. Т. 13.)

С. 204. Речь идет о «Философическом *письме*» П. Я. *Чаадаева*, напечатанном в № 15 «Телескопа» за 1836 г. Письмо было написано по-французски. В «Телескопе» появился его перевод с некоторыми сокращениями. Кроме того, было отпечатано 25 отдельных оттисков статьи под названием «Философические письма к г-же*** <Е. Д. Пановой>. Письмо 1». Один из этих оттисков Пушкин получил от Чаадаева через И. С. Гагарина (см.: Чаадаев П. Я. Сочинения и письма/Под ред. М. О. Гершензона. М., 1913. Т. 1. С. 198). С письмом Чаадаева Пушкин был знаком еще в 1831 году (см. его переписку с Чаадаевым//*Акад.* Т. 14. № 613, 626, 627, 681). За опубликование его Чаадаев был объявлен сумасшедшим, «Телескоп» запрещен, а редактор его Н. И. Надеждин выслан из Москвы. В «Письме» речь шла об отсталости России по сравнению со странами Западной Европы, о неразвитости общественной жизни и о равнодушии ко всем общественным вопросам, даже в наиболее просвещенной части общества. Чаадаев выдвинул тезис «нашей исторической ничтожности», т. е. рассматривал все историческое развитие России как путь к социальному и духовному тупику. Причину этого он видел в религиозной обособленности России, отдаленной православием от европейского католического мира. Письмо Чаадаева вызвало огромный резонанс в обществе. Софья Карамзина писала, что оно «занимает все петербургское общество, начиная с литераторов и кончая вельможами и модными домами» (*Карамзины.* С. 128). Пушкин соглашался с оценкой «нашей общественной мысли», но иначе смотрел на взаимоотношения Запада и России, исходя из своеобразия русского исторического процесса, и писал Чаадаеву об исторической миссии России, дважды спасшей Европу от монгольского нашествия и завоевательского азарта Наполеона (неотосланное письмо к Чаадаеву от 19 октября 1836 г.). Письмо Пушкина написано по-французски. Пушкин не послал его Чаадаеву, узнав о реакции правительства и послушавшись К. О. Россета, который знал содержание и советовал не посылать письмо (см.: *Акад.* Т. 16. № 1270). После смерти Пушкина письмо было извлечено из бумаг Пушкина Жуковским и во время «посмертного обыска» уже находилось у него, так как не имеет жандармской нумерации. Все же текст его был известен правительству (см. об этом в письме Жуковского к Бенкендорфу — наст. изд., с. 216). 5 июня 1837 г. Чаадаев просил Жуковского прислать ему копию письма (см.: *РС.* 1903. Окт. С. 185—186 и *РА.* 1884. Кн. 1. С. 453).

С. 206. Письмо Жуковского Бенкендорфу написано после 25 февраля, когда закончился «посмертный обыск» на квартире Пушкина, и до 8 марта, когда Жуковский читал его своим друзьям (см. запись в дневнике А. И. Тургенева на с. 254 наст. изд.). Подробнее обоснование датировки см.: Левкович Я. Л. Заметки Жуковского о гибели Пушкина. С. 77—83.

С. 208. оду ко Свободе... Имеется в виду «Вольность». Написана в 1817 г.

Стихотворение *«Кинжал»* написано в 1821 г. Занд — немецкий студент, убивший в 1819 г. реакционного писателя Коцебу.

С. 208. в письмах его к жене... О событиях, связанных с Июльской революцией, Пушкин писал Н. Н. Гончаровой только один раз, в письме от 11 октября 1830 г.: «Не знаю, что делается на белом свете и как поживает мой друг Полиньяк» — подлинник по-французски

(*Акад.* Т. 14. С. 115). Жюль-Огюст Полиньяк — министр иностранных дел при короле Карле X, был арестован во время Июльской революции 1830 г. и приговорен к пожизненному заключению (освобожден в 1836 г.). Революционные круги требовали казни, а монархисты утверждали, что оснований для суда нет. Пушкин считал, что необходимы суд и казнь, и заключил в августе 1830 г. шуточное пари на бутылку шампанского с Вяземским, казнят ли министров. 4 ноября он в письме к Вяземскому вспоминает о заключенном пари: «Кстати о Лизе голинькой <Е. М. Хитрово> не имею никакого известия. О Полиньяке тоже. Кто плотит за шампанское, ты или я? Жаль, если я» (*Акад.* Т. 14. № 534). Имя Полиньяка встречается в письмах Пушкина к Е. М. Хитрово и П. А. Плетневу. Подробно об отношении Пушкина к Июльской революции см.: Томашевский Б. В. Французские дела 1830—1831 гг. в письмах Пушкина к Е. М. Хитрово // Письма Пушкина к Елизавете Михайловне Хитрово, 1827—1832. Л., 1927. С. 205—256.

С. 209. Корбова рукопись — «Дневник поездки в Московское государство в 1608 году» И.-Г. Корба, опубликованный в Вене в 1700 г. Пушкин, вероятно, пользовался рукописным переводом книги, полученным через К. В. Нессельроде.

С. 211. все они были читаны — намек на перлюстрацию писем Пушкина к жене. Ниже Жуковский упоминает письмо поэта к жене от 20—22 апреля, которое было вскрыто на почте и копия с которого была послана Бенкендорфу (см. примеч. на с. 497 наст. изд.).

С. 211. О *письме* Пушкина *к Чаадаеву* см. примеч. на с. 500 наст. изд.

С. 212. «На взятие Варшавы». Имеется в виду стихотворение «Бородинская годовщина» (см. примеч. на с. 461 наст. изд.).

С. 212. «К Свободе». Так Жуковский называет оду «Вольность».

С. 212. Стихотворение *«Кинжал»* написано в 1821 г.

С. 213. стихами к Лукуллу. «На выздоровление Лукулла» — сатира на С. С. Уварова, известного, кроме крайней реакционности, еще и стяжательством. Она привлекла всеобщее внимание и, вопреки утверждению Жуковского, была с удовлетворением встречена друзьями поэта. «Спасибо переводчику с латинского, — писал А. И. Тургенев Вяземскому, — <...> Пушкин заклеймил его <Уварова> бессмертным поношением» (*ЛН.* Т. 58. С. 120).

С. 218. общее чувство... О количестве людей, прошедших мимо гроба Пушкина, см. примеч. на с. 496 наст. изд. Смерть Пушкина вызвала в обществе взрыв возмущения. Об этом доносили своим правительствам аккредитованные в Петербурге послы. В их донесениях (с. 314—342 наст. изд.) мелькают слова «национальная потеря» (шведский поверенный в делах Г. Нордин), «национальное негодование», «всеобщее возмущение» (баварский посол Лерхенфельд), «мучительнейшее впечатление на публику» (датский посол Бломе). Выявилось резкое размежевание в обществе (см. с. 521 наст. изд.). Контраст между «плебейскими почестями» поэту и равнодушием «позолоченных салонов» отметила и Е. Н. Мещерская. См.: *П. в восп. 1985.* Т. 2. С. 389.

С. 223. он заподозрил Геккерна... В письме к О. А. Долгоруковой, написанном уже после отъезда обоих Геккернов из Петербурга, Вяземский высказывается о подозрениях против Геккерна более определенно: «Чтобы объяснить поведение Пушкина, нужно бросить

суровые обвинения против других лиц, замешанных в этой истории. Эти обвинения не могут быть обоснованы положительными фактами: моральное убеждение в виновности двух актеров этой драмы, только что покинувших Россию, глубоко и сильно, но юридические доказательства отсутствуют» (Красный архив. 1929. Т. 33. С. 231). «Моральное убеждение» друзья получили только после смерти Пушкина. Очевидно, свидание у Полетики перестало быть для них тайной. Вяземский мог узнать о нем от своей жены, к которой прибежала Н. Н. Пушкина прямо от Полетики, Жуковскому могла рассказать об этом Александрина, с которой также поделилась Наталья Николаевна. Об этом свидетельствует письмо барона Фризенгофа к Араповой (см.: Гроссман Л. Цех пера. С. 267).

С. 224. «Ты этого хотел, Жорж Данден» (*фр.*) — слова героя комедии Мольера «Жорж Данден» — употребляются в значении сам виноват, пеняй на самого себя. Здесь имеют еще и каламбурный характер, основанный на созвучии имен: Жорж Данден — Жорж Дантес.

С. 224. случайность помешает браку... См. примеч. на с. 509 наст. изд.

С. 225. приехали его соседки по имению... В Петербурге в это время были А. Н. Вульф и Е. Н. Вревская. Пушкин был откровенен с Вревской (см. выше, с. 113 наст. изд.).

С. 226. не понят... друзьями... Об этом свидетельствуют письма Карамзиных, в частности письмо С. Н. Карамзиной, написанное 27 января, в день дуэли Пушкина (см. с. 486 наст. изд.).

С. 227. О *письме П. Чаадаева* см. примеч. на с. 500 наст. изд.

С. 228. толпа... намеревалась... Ср. запись в дневнике А. П. Дурново: «Говорят, что на похоронах Пушкина спрашивали, где тот иностранец, которого мы бы хотели растерзать» (Казанский Б. В. Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина // *Врем. ПК.* Т. 1. М.; Л., 1936. С. 238). В эти же дни А. И. Тургенев писал брату Николаю: «Публика ожесточена против Геккерна, и опасаются, что выбьют у него окна...» (Пушкин и его современники. Вып. 6. Спб., 1908. С. 62).

С. 229. Вяземский употребляет слова *«военный парад»* в ироническом смысле, имея в виду «целый корпус жандармов», собравшихся у гроба Пушкина. Однако такой парад состоялся в действительности. М. И. Яшин нашел в камер-фурьерском журнале отметку о параде войск, который назначался на 2 февраля 1837 г. (т. е. на другой день после отпевания Пушкина, когда его тело было еще в подвале Конюшенной церкви), и соответствующие приказы по Кавалергардскому и лейб-гвардии Конному полкам. В этих полках на 2 февраля были назначены обычные эскадронные учения, а потом сделано дополнение, изменившее первоначальный приказ. 60 тысяч кавалерии и пехоты со всеми обозами были вызваны на площадь к Зимнему дворцу. В приказах был указан порядок прохождения войск и обозов, причем конечным пунктом для обозов была указана Конюшенная улица; здесь они должны были остановиться. Это объясняет, почему отпевание было перенесено из Исаакиевской в Конюшенную церковь. Правительство могло не опасаться большого стечения народа (см. *Яшин. Хроника.* № 9. С. 185—187).

С. 229. генерала Ламарка. Ламарк Максимилиан (1770—1832) — французский генерал. Во время Ста дней Наполеона командовал

войсками в Вандее. С 1828 г. член палаты депутатов от оппозиционной партии. Похороны его послужили поводом к восстанию 5 и 6 июля 1832 г.

С. 230. интересам Генриха V. Июльская революция 1830 г. во Франции свергла с престола Карла X. Карл отказался от престола в пользу своего внука Генриха Бордоского, сына герцога Беррийского (Вяземский называет его Генрихом V), назначив при этом Луи-Филиппа, герцога Орлеанского, «наместником Франции». Последний в палате говорил лишь о своем регентстве, умолчав о новом престолонаследнике. Через некоторое время палата депутатов предложила корону Луи-Филиппу, но в общем мнении он остался узурпатором.

С. 230. эти стихи... Речь идет о стихотворениях «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина». См. примеч. с. 461 наст. изд.

С. 231. «Из дневника А. И. Тургенева». Об А. И. Тургеневе см.: Гиллельсон М. И. А. И. Тургенев и его литературное наследство // Тургенев А. И. Хроника русского. Дневники (1825—1826 гг.). М.; Л., 1964. С. 441—504.

С. 232. Имеется в виду *книга* академика *С. П. Крашенинникова* «Описание земли Камчатки» (1775). Сделанные Пушкиным выписки из нее и заметки являются последним трудом его, очевидно, предназначавшимся для очередного тома «Современника» (печатается под заглавием «Заметки при чтении „Описания земли Камчатки“ С. П. Крашенинникова»). На конспекте исторических событий, который Пушкин озаглавил «Камчатские дела», поставлена дата: «20 января 1837 г.» (см.: *Акад.* Т. 10. С. 437).

С. 232. статьи для журнала. В «Современнике» (т. 1, 4) были напечатаны заграничные письма А. И. Тургенева под заглавием «Хроника русского».

С. 232. навряд ли будет издан. Дневники Тургенева издавались М. И. Гиллельсоном: 1) Пушкин в дневниках А. И. Тургенева 1831—1834 гг. // Рус. лит. 1964. № 1. С. 125; 2) По страницам дневников и писем А. И. Тургенева (Пушкин и А. И. Тургенев) // *Прометей.* Кн. 10. С. 355—396 (публ. под псевдонимом: М. Максимов); 3) А. И. Тургенев. Хроника русского. Дневники (1825—1826 гг.). М.; Л., 1964; 4) От арзамасского братства к пушкинскому кругу писателей. Л., 1977. С. 169—177, 181—197; 5) Тургенев А. И. Из «Дневника» // *П. в восп. 1974.* Т. 2. С. 167—183; 6) Тургенев А. И. Из «Дневника» // *П. в восп. 1985.* Т. 2. С. 206—219.

С. 233. «История с Чаадаевым» — см. примеч. с. 500 наст. изд.

С. 234. Речь идет о *письме*, которое *Пушкин 17 ноября* 1836 г. написал В. А. Соллогубу и в котором он берет вызов обратно, «узнав из толков в обществе, что г-н Жорж Геккерн решил объявить о своем намерении жениться на мадемуазель Гончаровой после дуэли» (подлинник по-французски. *Акад.* Т. 16. С. 188).

С. 234. Об этом *вечере С. Н. Карамзина* писала брату: «В среду мы были неожиданно обрадованы приездом Александра Тургенева, оживившего наш вечерний чай своим прелестным умом, остротами и неисчерпаемым запасом пикантных анекдотов обо всех выдающихся представителях рода человеческого. Он очень сожалеет, что сейчас он не в Париже и не может тебя представить, между прочим, госпоже Рекамье» (*Карамзины.* С. 143).

С. 234. «Семейство Сусан[ина]» — опера М. И. Глинки «Иван Сусанин». Об этом представлении и о впечатлении, которое произ-

вела опера на «общество», имеется любопытное свидетельство С. Н. Карамзиной: «Вчера, в четверг, состоялось открытие Большого театра (он очень красив): давали *„Ивана Сусанина“* Глинки в присутствии двора, дипломатического корпуса и всех государственных сановников <...>. Многие арии оперы прелестны, но все в целом показалось мне написанным в жалобном тоне, несколько однообразным и недостаточно блестящим; все построено на русских темах и в миноре. В последней сцене декорация Кремля великолепна, толпа народа, переходящая в лица, написанные на полотне, казалась продолженной в бесконечность. Восторг, как обычно в нас, был холодноват, аплодисменты замирали и возобновлялись как бы с усилием» (*Карамзины*. С. 143—144). Но Пушкин, Жуковский, Вяземский, Виельгорский и Одоевский встретили оперу с восторгом и приветствовали ее известным «Каноном в честь Глинки», написанным 13 декабря 1836 г. Опера, как известно, по требованию Николая I была переименована в «Жизнь за царя» и под этим монархическим названием шла до 1917 г. Но в обществе ее знали как «Ивана Сусанина», и дневник Тургенева, как и письмо С. Н. Карамзиной, подтверждают это.

С. 234. Ниже, в письме к брату, Тургенев пишет о «семейных делах» Пушкина — по-видимому, *Жуковский у Карамзиных* сообщил ему некоторые подробности, связанные с предстоящей женитьбой «Экерна», в ложе которого был Тургенев в тот вечер.

С. 234. «Вчера я был на открытии театра: давали новую русскую оперу „Семейство Сусаниных“ композитора Глинки, и это было очень хорошо во всех отношениях: роскошная постановка, костюмы, публика, музыка и балеты! Двор присутствовал почти полностью. Ложи, украшенные прекрасными дамами в богатых туалетах. Я нашел Жук.<овского> в добром здравии; он по-прежнему тот же во всем и со всеми, и скажу, со мною также. Вяз.<емский> уже не так печален; Пушкин озабочен из-за одного семейного дела» (*фр.*).

С. 235. «другая Пушкина» — Наталья Николаевна, которую Тургенев сравнивает с графиней Эмилией Карловной Мусиной-Пушкиной. Обе женщины соперничали в красоте. Пушкин в письме к жене от 14 сентября 1835 г. спрашивал: «Счастливо ли воюешь со своей однофамилицей?» (*Акад.* Т. 15. С. 47).

С. 235. Какое *«вранье»* сообщил Тургеневу *Вяземский*, можно судить по письму С. Н. Карамзиной к брату Андрею от 21 ноября. Сообщая «новость» о скорой женитьбе Дантеса на Е. Гончаровой, она пишет и о Пушкине: «Один только Пушкин своим взволнованным видом, своими загадочными восклицаниями, обращенными к каждому встречному, и своей манерой обрывать Дантеса и избегать его в обществе добьется того, что возбудит подозрения и догадки, *Вяземский говорит*, что он выглядит обиженным за жену, так как Дантес больше за ней не ухаживает» (*Карамзины*. С. 139;* отмечены слова, написанные по-русски). Очевидно, что-либо подобное Вяземский говорил и Тургеневу.

С. 235. Очевидно, в разговоре с Пушкиным речь шла о «местничестве», которое в XV—XVII вв. устанавливало право бояр на государственные должности, чины и звания, в зависимости от родовитости. По этому обычаю строго соблюдалось распределение мест за великокняжеским столом и во время церемоний. Выражение *«быть без мест»* означало отступление от этого правила. В записи

Тургенева оно могло иносказательно обозначать собственное положение Тургенева (да и Пушкина, считавшего унизительным свое камер-юнкерство).

С. 235. Эмилия Карловна Мусина-Пушкина (1810—1846), урожд. Шернваль, и ее сестра *Аврора* (1808—1902).

С. 235. Поведение Екатерины Гончаровой и Дантеса, как и Пушкиных, было постоянно предметом наблюдения и обсуждения в гостиных Петербурга. См. примеч. на с. 477—480.

С. 235. бесконечно малых (*фр.*).

С. 236. Строганов Григорий Александрович, граф (1770—1857), двоюродный дядя Н. Н. Пушкиной. После смерти поэта возглавил опеку над детьми и имуществом Пушкина. Строганов был членом верховного суда над декабристами — отсюда и нежелание Тургенева выказывать к Строганову дружескую приязнь.

С. 236. Очевидно, речь идет о «*Записке* о древней и новой России» *Карамзина* (1811), которую Пушкин собирался печатать в «Современнике» и которая не была пропущена цензурой. Позднее, после настойчивых хлопот Жуковского, фрагмент «Записки» был опубликован в т. 5 «Современника» (см. об этом: Вацуро В. Э. Подвиг честного человека // Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины». М., 1972. С. 109—112).

С. 236. Принцесса Гогенлоэ (урожд. *Голубцова* Екатерина Ивановна), жена вюртембергского посланника (см. с. 323). О знакомстве ее с Пушкиным см.: Глассе А. Пушкин и Гогенлоэ // П. Исслед. Т. 10. С. 356—364.

С. 237. «о брате» — Николае Ивановиче, декабристе, который в момент восстания 14 декабря был за границей и не вернулся в Россию.

С. 237. «тришуете» — плутуете (от французского tricher — плутовать).

С. 237. Следуйте за мной (*фр.*) — вероятно, намек на изречение Христа: «Кто меня любит — идите за мной».

С. 237. Бурбье Виржини, род. в первых годах XIX в. С 1828 г. с успехом выступала в Петербурге на Михайловской сцене.

С. 237. мадам Ансло Луиза-Виргиния (1792—1875) — жена французского драматурга и публициста Жака-Арсена Ансло (1794—1854).

С. 237. В тот вечер разговор с Пушкиным шел о декабристах. *Р.* и *Б.* — Рылеев и Бестужев, которые призывали Пушкина обращаться к гражданским темам в стихах и не приняли «Евгения Онегина». М. Ф. Орлов, П. Д. Киселев, А. П. Ермолов и А. С. Меншиков сочувствовали движению декабристов. А. П. Ермолова декабристы прочили в состав Временного правительства в случае победы восстания. «Без нас не обойдутся» — очевидно, слова, сказанные одним из них. Тут же Пушкин читал Тургеневу недавно написанное стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Известны только два упоминания о чтении этого стихотворения Пушкиным — настоящая запись Тургенева и письмо Александра Карамзина к брату Андрею от 31 августа 1836 г., в котором он передает содержание стихотворения Пушкина со слов Н. А. Муханова: «Пушкин показал ему только что написанное им стихотворение, в котором он жалуется на неблагодарную и ветреную публику и напоминает свои заслуги перед ней. Муханов говорит, что эта пьеса прекрасна» (*Карамзины.* С. 96).

С. 237. Рекамье Юлия Аделаида (1777—1849) — известная красавица,

хозяйка салона в Париже. Только что вернувшийся из-за границы Тургенев, сожалея, что сам не может ввести Андрея Карамзина в парижские салоны, послал ему рекомендательные письма. Так, в письме к Андрею родных от 13—16 (25—28) декабря 1836 г. он сделал следующую приписку: «Я пишу к тебе письмо, которое ты отдашь M-me Récamier, лично поцелуешь у ней за меня милую ручку и познакомишься моим именем с Баланшем, который у ней ежедневно и живет напротив нее, а она в Abbaye aux bois. Тут увидишь и Шатобриана и вместо всякой рекомендации скажешь ему свое имя и передашь мое почтение; но прежде всего побывай у Свечиной. Она любила отца и друга нашего Карамзина... Обнимаю и завидую тебе и Парижу: там Смирнова» (*Карамзины*. С. 278).

С. 237. Шлецер Август-Людвиг (1735—1809) — немецкий историк и филолог. Его главный труд «Нестор» (1802—1809) является попыткой дать критически проверенный текст летописи. Задуманное издание «Песни о полку Игореве» Пушкин не успел осуществить. О работе его над «Словом» см.: Новиков И. Пушкин и «Слово о полку Игореве». М., 1951; Прийма Ф. Я. «Слово о полку Игореве» в русском литературном процессе первой трети XIX века. Л., 1980. С. 156—178.

С. 237. Три fichus — три косынки (*фр.*).

С. 238. Что скажут об этом в Англии (*фр.*).

С. 238. «соперница» Э. К. Мусиной-Пушкиной — Н. Н. Пушкина.

С. 238. Н. Г. *Устрялов* (1805—1870) — профессор Петербургского университета. Его диссертация «О системе прагматической русской истории» содержала критику «Истории государства Российского» Карамзина и вызвала острые дискуссии. Устрялов 27 октября 1836 г. послал свою книгу Пушкину с запиской, в которой просил «прейти об ней молчанием в „Современнике“» (*Акад.* Т. 16. С. 178).

С. 238. Щербин. Очевидно, неправильно прочитано. Следует читать: Щербат<ову> Петру Александровичу, женатому на сестре декабриста И. Н. Горсткина.

С. 238. С. Н. — Софья Николаевна Карамзина, которая сочувствовала Дантесу и возмущалась поведением Пушкина (не зная всех обстоятельств, связанных со сватовством Дантеса). Ее отношение к Пушкину передает письмо к А. Н. Карамзину от 27 января 1837 г. (см. выше, с. 486 наст. изд.).

С. 238—239. Я очень рада вас видеть. Вы меня понимаете (*фр.*).

С. 239. Речь идет о *Келлере* Егоре Егоровиче (1765—1838) и *сыне* его Дмитрии Егоровиче (1807—1839). Ср. запись в дневнике Д. Е. Келлера от 17 декабря 1836 г.: «Был на балу у Е. Ф. Мейендорфа. Он и жена говорили о Пушкине, о данном мне поручении перевести для государя рукопись генерала Гордона (сподвижника Петра). Я не танцевал и находился в комнате перед залой. Вдруг вышел оттуда Александр Сергеевич с Мейендорфом и нетерпеливо спрашивал его: „Но где же он? Где он?“ Егор Федорович нас познакомил. Пошли расспросы об объеме и содержании рукописи. Пушкин удивился, когда узнал, что у меня шесть томов in quarto, и сказал: „Государь говорил мне об этом манускрипте, как о редкости, но я не знал, что он так пространен“. Он спросил, не имею ли других подобных занятий в виду по окончании перевода, и упрашивал навещать его» (Пушкин А. С. Соч./Под ред. П. Ефремова. Спб., 1905. Т. 8. С. 486).

С. 239. По поводу выписок *о Шотландии* М. И. Гиллельсон пишет: «Выписки о Шотландии в бумагах Пушкина обнаружены не были; они бесследно исчезли, и до последнего времени их содержание не было известно. Однако ознакомление с неизданными дневниками Тургенева позволяет утверждать, что Тургенев передал Пушкину описание своей поездки из Лондона в Абботсфорд летом 1828 г. Осмотр шекспировских мест (Стратфорд-на-Эвоне), Оксфорда, Вудстока и Кенильворта, знакомство с Робертом Саути, трехдневное пребывание в гостях у Вальтера Скотта были опорными пунктами его повествования; это была единая цепь историко-литературных ассоциаций, последовательно подводящая к кульминации — к посещению Абботсфорда» (Комментарий // *П. в восп. 1974.* Т. 2. С. 434). Из этих записей видно, как активно собирал Пушкин материал для V тома «Современника».

С. 239. «Мое положение» — положение брата декабриста.

С. 239. «Хроникой», т. е. продолжением «Хроники русского», напечатанной в только что вышедшем томе IV «Современника».

С. 240. Пушкин зазвал к себе. Об этом визите к Пушкину Тургенев пишет А. Я. Булгакову 25 декабря: «Вчера не успел побывать у Марьи Кон., ибо пушкинский завтрак превратился в лукулловский обед, и я, заболтавшись с собутыльниками, увлечен был поэтом Пушкиным в трехкрасотное его семейство, а оттуда на Christbaum...» (Тургенев А. И. Письма Александра Тургенева Булгаковым. М., 1939. С. 201).

Christbaum (*нем.*) — рождественская елка.

С. 240. роман Пушкина — «Капитанская дочка», напечатан в т. IV «Современника».

С. 240. о Плюшаре — по-видимому, об издававшемся А. А. Плюшаром «Энциклопедическом лексиконе», который начал выходить с 1835 г. 16 марта 1834 г. Пушкин присутствовал на учредительном совещании у Греча по поводу издания «Лексикона» (см. запись в его дневнике 17 марта 1834. — *Акад.* Т. 12. С. 321).

С. 240. В т. III «Современника» было напечатано стихотворение Пушкина «Полководец», посвященное *Барклаю* де Толли. Племянник Кутузова Л. И. Голенищев-Кутузов в печати упрекнул поэта в забвении заслуг Кутузова. Ответ ему Пушкин поместил в т. IV своего журнала, где писал: «...не могу не огорчиться, когда в смиренной хвале моей вождю, забытому Жуковским, соотечественники мои могли подозревать низкую и преступную сатиру...» Жуковский, называя в своем стихотворении «Певец во стане русских воинов» героев Отечественной войны 1812 года, «забыл» упомянуть Барклая де Толли.

С. 240. Гизо Франсуа-Пьер-Гийом (1787—1874) — писатель, историк. 10(22) декабря был избран во Французскую академию. Речь его при избрании произвела большое впечатление и обсуждалась в петербургских салонах (см.: Максимов М. [М. И. Гиллельсон]. По страницам дневников и писем А. И. Тургенева // *Прометей.* Т. 10. С. 386—387).

С. 240. Парижская газета *«Курьер».*

С. 240. «Отец Горио» (фр.) — роман Бальзака.

С. 241. хорошая мина при плохой игре (*фр.*).

С. 241. О *вечере у Мещер[ских] с Пушк[иными]* подробно пишет С. Н. Карамзина брату на следующий день, 29 декабря. Отрывок

из этого письма, касающийся не только этого вечера, но поведения Геккернов и Пушкиных в близкие к нему дни, см. на с. 485—486 наст. изд.

С. 241. 2 N d'or — два золотых (*фр.*).

С. 241. Три теологические добродетели, которых мне не хватает (*фр.*). Тургенев имеет в виду веру, надежду и милосердие.

С. 241. Я вас люблю (*фр.*).

С. 242. Т. — по-видимому, Екатерина Федоровна Тизенгаузен, дочь Е. М. Хитрово.

С. 242. М. Ф. — Мария Федоровна, жена Павла I (1759—1828). Речь идет, очевидно, о помиловании декабристов, приговоренных к смертной казни. *А. Ф.* — императрица Александра Федоровна.

С. 242. Святой сброд на святой церемонии (*фр.*) — цитата из стихотворения Барбье «Собачий пир».

С. 242. англичанин — Чарлз Уильям Вейн Лондондерри, лорд, английский политический деятель. Осенью 1836 г. он и его жена посетили Петербург.

С. 242. Рассказ Баранта должен был особенно заинтересовать Пушкина, работавшего над автобиографическими записками. В планах его записок большое место занимают также годы молодости и детства.

С. 243. «Исповедь» Ж.-Ж. Руссо.

С. 243. В *письме к А. Я. Булгакову* Тургенев писал об этом вечере: «Беседа была разнообразной, блестящей и очень интересной, так как Барант рассказывал нам пикантные вещи о Талейране и его мемуарах, первые части которых он прочел; Вяземский вносил свою часть, говоря свои острые словечки, достойные его оригинального ума. Пушкин рассказывал нам анекдоты, черты Петра I и Екатерины II, и на этот раз я тоже был на высоте этих корифеев литературных салонов» (подлинник по-французски). Тургенев был лично знаком с Талейраном (Тургенев А. И. Письма Александра Тургенева Булгаковым. С. 204).

С. 243. Ср. в письмах *А. Я. Булгакову* от 9 января 1837 г.: «Повесть Пушкина „Капитанская дочка“ так здесь прославилась, что Барант не шутя предлагал автору, при мне, перевести ее на франц. с его помощию, но как он выразит оригинальность этого слога, этой эпохи, этих характеров старо-русских и этой девичей русской прелести — кои набросаны во всей повести? Главная трудность в разказе, а разказ пересказывать на другом языке — трудно. Француз поймет нашего дядьку (ménin), такие и у них бывали; но поймет ли верную жену верного коменданта» (Тургенев А. И. Письма Александра Тургенева Булгаковым. С. 204).

С. 243. Пастиш (фр.) (т. е. подделка) Пушкина *на Вольтера* — статья «Последний из свойственников Иоанны д'Арк».

С. 243. Франц[узские] *бумаги* — выписки Тургенева из парижских архивов, содержавшие донесения французских послов из Петербурга. Пушкин интересовался этими документами в связи с работой над „Историей Петра I“ (см.: Фейнберг И. Л. Незавершенные работы Пушкина. 4-е изд. М., 1964. С. 162—187).

С. 243. спас Грибоедова. См. об этом: Шимановский Н. В. Арест Грибоедова // А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М., 1980. С. 115—121; Ср.: Нечкина М. В. А. С. Грибоедов и декабристы. 2-е изд. М., 1951. С. 482—490. Ср. выше, с. 234.

С. 243. де *Жюльвекур* Поль, граф (ум. в конце 40-х гг. XIX в.) — французский писатель. В 1830-х гг. путешествовал по России.

С. 243. выписки из дневника Тургенева *о Веймаре* были напечатаны в посмертном, пятом томе „Современника" под названием „Отрывок из записной книжки путешественника (Веймар. Тифурт. Дом в кабинете Гете. Письмо к нему В. Скотта)".

С. 243. Ивашева — мать декабриста В. П. Ивашева.

С. 243. „со свадьбы" Дантеса и Е. Н. Гончаровой. *Шаферами* невесты были Александр и Владимир Карамзины. Об этой свадьбе С. Н. Карамзина писала 9(21) января: „Ведь завтра, в воскресенье, состоится эта удивительная свадьба, мы увидим ее в католической церкви. Александр и Вольдемар будут шаферами, а Пушкин проиграет несколько пари, потому что он, изволите ли видеть, бился об заклад, что эта свадьба — один обман и никогда не состоится. Все это по-прежнему очень странно и необъяснимо; Дантес не мог почувствовать увлечения, и вид у него совсем не влюбленный. Катрин во всяком случае более счастлива, чем он". И через три дня: „Итак, свадьба Дантеса состоялась в воскресенье; я присутствовала при одевании мадемуазель Гончаровой, но когда эти дамы сказали, что я еду вместе с ними в церковь, ее злая тетка Загряжская устроила мне сцену. Из самых лучших побуждений, как говорят, опасаясь излишнего любопытства, тетка излила на меня всю желчь, накопившуюся у нее за целую неделю от нескромных выражений участия; кажется, что в доме ее боятся, никто не подал голоса в мою пользу, чтобы по крайней мере сказать, что они сами меня пригласили; я начала было защищаться от этого неожиданного нападения, в конце концов, чувствуя, что мой голос начинает дрожать и глаза наполняются слезами досады, убежала. Ты согласишься, что, помимо доставленной мне неприятности, я должна была еще испытать большое разочарование: невозможно сделать наблюдения и рассказать тебе о том, как выглядели участники этой таинственной драмы в заключительной сцене эпилога. Александр говорит, что все прошло наилучшим образом, но ты ведь знаешь, он по природе своей не наблюдателен. На другой день они были у нас; на следующий день, вчера, я была у них. Ничего не может быть красивее, удобнее и очаровательно изящнее их комнат, нельзя представить себе лиц безмятежнее и веселее, чем их лица у всех троих, потому что отец является совершенно неотъемлемой частью как драмы, так и семейного счастья. Не может быть, чтобы все это было притворством: для этого понадобилась бы нечеловеческая скрытность, и притом такую игру им пришлось бы вести всю жизнь!* Непонятно" (*Карамзины.* С. 151, 152—153). Иначе расценивала психологическую атмосферу в доме Геккернов наблюдательная Александра Николаевна Гончарова — см. ее письмо к брату от 22—24 января 1837 г. на с. 465 наст. изд.

С. 244. „Андрюша" — Андрей Николаевич Карамзин.

С. 244. сватовство... Эта запись является, по-видимому, отзвуком светских пересудов о женитьбе Дантеса.

С. 244. Норман, или Ленорман Мария-Анна-Аделаида (1772—1843), — известная французская гадалка, предсказавшая декабристу Каховскому, что он будет повешен (см.: Раевский В. Ф. Мой арест // *П. в восп. 1974.* Т. 1. С. 376).

С. 244. Зашел к Пушкину; стихи к Морю... Тургенев писал И. С. Аржевитинову: „...прочел он мне наизусть много стихов, коих я не знал,

ибо они не были напечатаны. Одни более других мне понравились и тем уже, что написаны по случаю распространившегося слуха, что будто брат Николай выдан англичанами; стихи адресованы к другому поэту, который написал стихи „К морю“ и славил его“ (*РА*. 1903. Кн. 1. С. 144). Тургенев имеет в виду стихотворение Пушкина „Так море, древний душегубец...“. Стихи вызваны слухами, что Н. И. Тургенев, обвиненный по делу декабристов, арестован в Лондоне и привезен на корабле в Петербург.

С. 245. journalière — ежедневная (*фр.*).

С. 245. А. Ф. Закревской посвящены три стихотворения Пушкина: „Портрет“, „Наперсник“ и „Счастлив, кто избран своенравно“. Два первых напечатаны в альманахе Дельвига „Северные цветы“ на 1829 г. (Спб., 1828), последнее при жизни Пушкина не печаталось. Очевидно, его Пушкин и читал Тургеневу.

С. 245. 100 jours — Сто дней Наполеона, вторичное правление его во Франции (14 марта — 22 июня 1815) после бегства с острова Эльба.

С. 245. Что его письмо убедило Людовика. Оно почти убедило меня самого (*фр.*).

С. 245. Место, где кончается Европа и начинается Азия. <...> это конституционный министр: у него две палаты (игра слов: комнаты — палаты) (*фр.*).

С. 245. Скорее всего, имеется в виду *письмо Ломоносова к И. И. Шувалову* от 19 января 1761 г., впервые опубликованное в альманахе „Урания... на 1826 год“ (М., 1825. С. 54—58). Письмо это могло импонировать Тургеневу выраженным в нем сознанием независимости человека и творца от властей и даже самого „господа бога“. „Не токмо у стола знатных господ или у каких земных владетелей дураком быть не хочу, но нижé у самого господа бога, который дал мне смысл, пока разве отнимет“. Эти слова часто цитирует Пушкин (см.: письмо к жене от 8 июня 1834 г. — *Акад.* Т. 15. № 950; „Путешествие из Москвы в Петербург“. — *Акад.* Т. 11. С. 254 и запись в дневнике от 10 мая 1834 г. — *Акад.* Т. 12. С. 329). Возможно, Тургенев узнал об этом письме от Пушкина. В 1825 г., когда вышла „Урания“, он жил за границей.

С. 245. и для сброда, по виду вовсе не святого (*фр.*).

С. 245. Княгиня Наталья Петровна *Голицына* (17 янв. 1741 — 20 дек. 1837) — прототип пушкинской „Пиковой дамы“.

С. 245. 18 января у Люцероде были танцы в честь новобрачных Геккернов (см.: Герштейн Э. Комментарий // *Ахматова*. С. 297).

С. 246. У кн. Вяземского Тургенев, очевидно, услышал пересуды о семье Пушкина. О чем могла идти речь, разъясняет письмо С. Н. Карамзиной к брату Андрею от 27 января 1837 г. (см. отрывок из него — примеч. на с. 486 наст. изд.). О неумении Н. Н. Пушкиной сдерживать свои эмоции свидетельствует письмо к ней П. А. Вяземского от 6 апреля 1842 года, которое приводит Э. Герштейн в комментариях к кн.: *Ахматова*. С. 297. Вяземский наставляет вдову поэта, как вести себя в присутствии заинтересовавшего ее человека (Вяземский называет его „пирожник“): „Войдя в комнату, не краснеть и не бледнеть, присесть хозяйке и гостям учтиво и выбрать себе местечко общее, а не отдельное <...>. 20 минут, полчаса *особенного* разговора довольно. Потом встать с места и подойти к другим <...> завести *общий* разговор <...>. С пирожником сидеть, но не засиживаться... за пирог не садиться, *если будут усаживать и сводить*“. Затем Вяземский

взывает по-французски: „Поменьше тщеславия и побольше самолюбия... одним словом: достоинство! достоинство!“ И дальше пишет: „От этих *особенных* разговоров проку мало, а толков много. Из пустого в порожнее довольно уже было перелито...“ В последней фразе Э. Герштейн справедливо видит намек на недавние трагические события. Тут же она приводит слова Ахматовой в черновом конспекте портрета Натальи Николаевны: „Письмо Вяземского, где он учит ее хорошим манерам“ (*Ахматова.* С. 297).

С. 246. Имеется в виду *стих*[отворение] *Пушкина* „Так море, древний душегубец...“. См. примеч. на с. 509–510.

С. 246. письмо Пушкина — к Соллогубу, в котором он отказывается от своего вызова Дантесу (текст его см. с. 94–95 наст. изд.).

С. 246. Тургенев имеет в виду свое *письмо* Вяземскому от 7 сентября 1836 г.: „Как мое Европейство обрадовалось, увидев у Симбирска пароход, плывущий из Нижнего к Саратову и Астрахань... Отчизна Вальтера Скотта благодетельствует родине Карамзина и Державина. *Татарщина* не может долго устоять против этого угольного дыма шотландского; он *проест* ей *глаза,* и они прояснятся“ (Лит. архив. М.; Л., 1938. Т. 1. С. 85).

С. 246. Лубяновский Федор Петрович (1777–1869), сенатор, в прошлом пензенский губернатор, жил в одном доме с Пушкиным. Его рассказ о ссоре наместника Петрозаводской губернии Т. И. Тутолмина с Державиным записал Я. К. Грот (см.: Державин Г. Р. Соч. Спб., 1880. Т. 8. С. 376–377).

С. 246. Хотел... выкинуть стих. Лобанова. Желание Пушкина было выполнено. Эта корреспонденция Тургенева напечатана в V томе „Современника“ без стихотворения Лобанова.

С. 246. Свояченицей (*фр.*).

С. 246. Тургенев читал труд *Шатобриана* “Essai sur la littérature anglaise et considérations sur la génie des hommes, des temps et des révolutions”.

С. 247. Разговор о Пушкиной. Об этом вечере у Мещерских см. в письме С. Н. Карамзиной от 27 января 1837 г. (приведено на с. 486 наст. изд.), где она пишет об отношении П. А. Вяземского к поведению Пушкиных. Очевидно, княгиня разделяла мнение мужа, и Тургенев вступился на Наталью Николаевну.

С. 248. О записке Николая I Пушкину см. выше, примеч. на с. 494 наст. изд.

С. 248. Князь А. Н. *Голицын* — обер-прокурор синода. Тургенев пытался использовать его влияние при дворе.

С. 248. Справедливость неоднозначна (*фр.*).

С. 248. О *стих*[отворении] *Пушк*[ина] „Так море, древний душегубец...“ см. выше, примеч. на с. 509–510.

С. 249. О пенсии, назначенной вдове Пушкина и детям, см. выше, с. 191 наст. изд.

С. 249. Англичанин — Артур Медженис (1801–1867), советник английского посольства в Петербурге, которого Пушкин 26 января 1837 г. на балу у гр. М. Г. Разумовской просил быть его секундантом. Медженис, переговорив с д'Аршиаком тут же, на балу, и убедившись в невозможности примирения противников, ответил Пушкину письменным отказом в 1 ч. 30 мин. ночи 27 января. Очевидно, д'Аршиак передал Тургеневу свой разговор с Медженисом.

С. 249. parfaite — превосходным (*фр.*).

С. 249. И. С. Гагарина подозревали в составлении анонимного пасквиля (см. примеч. на с. 549 наст. изд.).

С. 249. Вероятно, Е. А. Карамзина *„пеняла"* детям за их недальновидность, непонимание событий, которые происходили в семье Пушкина, и за сочувственное отношение к Дантесу.

С. 249. Тургенев имеет в виду *слова государя,* сказанные *Жуковскому:* „...в одном только не могу согласиться с тобою: это в том, чтобы ты написал указы, как о Карамзине. Есть разница: ты видишь, мы насилу довели его <Пушкина. — *Я. Л.*> до смерти христианской, а Карамзин умирал, как ангел" (см. выше, с. 497 наст. изд.).

С. 249. К. И. Г. — князь Иван Гагарин.

С. 249. А. Бестужев — очевидно, описка Щеголева. Декабрист и писатель А. Бестужев-Марлинский, разжалованный в рядовые, сражался с горцами на Кавказе. В 1835 г. в Петербург вернулся младший из братьев Бестужевых — Павел, который бывал в доме Пушкина (см.: Левкович Я. Судьба Марлинского // Звезда. 1975. № 12. С. 163) и, конечно, был знаком с А. И. Тургеневым.

С. 249. Единственный русский (*фр.*).

С. 249. смерть — примиритель — речь идет об отношениях Пушкина и С. С. Уварова. С. С. Уваров (1786—1855) — министр просвещения, председатель Цензурного комитета, в прошлом — член „Арзамаса", на заседаниях которого и познакомился с ним Пушкин. Уваров вел жесткую цензурную политику, от которой не раз страдал Пушкин. В феврале 1835 г. Пушкин в связи с выходом „Истории Пугачевского бунта", записал в дневнике: „Уваров большой подлец. Он кричит о моей книге, как о возмутительном сочинении..." (*Акад.* Т. 12. С. 337). После появления направленной против Уварова сатиры Пушкина „На выздоровление Лукулла" (1835) отношения между ними приняли откровенно враждебный характер. Свидетельством этого была эпиграмма Пушкина „В Академии наук" (1835), направленная против невежественного М. А. Дондукова-Корсакова, назначенного по протекции Уварова вице-президентом Академии. После смерти Пушкина Уваров потребовал от цензоров соблюдения в некрологах „надлежащей умеренности и приличия" (Щукинский сборник. М., 1902. Т. 1. С. 298) и сделал выговор издателю „Литературных прибавлений к „Русскому инвалиду"» А. А. Краевскому за публикацию некролога, написанного В. Ф. Одоевским. О посещении Уваровым Конюшенной церкви П. И. Бартенев писал: „Живы еще лица, помнящие, как С. С. Уваров явился бледный и сам не свой в Конюшенную церковь на отпевание Пушкина и как от него сторонились" (*РА*. 1888. Кн. 2. С. 297).

С. 249. Письмо Н. Н. Пушкиной к Николаю I с просьбой об учреждении Опеки над детьми и имуществом Пушкина написано позднее, но содержание его, очевидно, обсуждалось 1 февраля. Приводим текст этого документа:

„Супруг мой двора вашего императорского величества камер юнкер Александр Сергеевич Пушкин волею божиею скончался 29 минувшего генваря, оставя по кончине своей малолетних детей сыновей Александра 3-х и Григория 2-х лет и дочерей Марью четырех лет, Наталью восьми месяцев и недвижимое наследственное имение, состоящее в разных деревнях Псковской губернии. Вместе с тем осталось и движимое его имущество, надлежащей описи как недвижимому, и так и движимому его имуществу еще неучинено. — А как

по роду оставшегося по смерти мужа моего имущества необходимо было назначить несколько опекунов, то я, избрав для того двора вашего императорского величества обер шенка действительного тайного советника графа Григория Александровича Строганова, шталмейстера тайного советника графа Михайла Юрьевича Виельгорского и действительного статского советника Василия Александровича <описка Н. Н. Пушкиной — Андреевича. — Я. Л.> Жуковского, всеподданнейше обратилась к вашему императорскому величеству о назначении лиц сих опекунами. Текущего февраля 3-го числа г. министр юстиции тайный советник Дашков уведомил меня, что ваше величество по упомянутому предмету высочайше соизволили на назначение в опекуны избранных мною лиц, но с тем, чтобы я с настоящею просьбою обратилась куда следует установленным порядком. <...> Сверх назначенных выше особ, я считаю непременным долгом матери принять на себя обязанности опекунши детей моих и присовокупить еще к числу упомянутых опекунов камер юнкера надворного советника Атрешкова. А как не только упомянутое выше движимое имущество покойного мужа моего находится в С. Петербурге, но и я сама должна для воспитания детей моих проживать в здешней столиции, и как при том все избранные мною в опекуны лица находятся на службе в С. Петербурге, то по сему и прошу:

Дабы высочайшим вашего императорского величества указом повелено было сие мое прошение принять, малолетних детей моих взять в заведывание С. Петербургской дворянской опеки и, утвердив поименованных выше лиц в звании опекунов детей моих, учинить распоряжение, как законы повелевают.

Всемилостивейший государь, прошу вашего императорского величества о сем моем прошении решение учинить 8-го февраля 1837 года. К поданию надлежит в С. Петербургскую дворянскую опеку, прошение сие переписывал со слов просительницы писарь Леонтий Герасимов. — Его императорского величества камер юнкера Александра Сергеева сына Пушкина Наталья Николаевна дочь Гончарова руку приложила.

Звание опекунов принять согласны:

Двора е. и. в. обер шенк граф Григорий Строганов,

Двора е. и. в. шталмейстер граф Михаил Виельгорский,

Действительный статский советник Василий Жуковский,

Двора е. и. в. камер-юнкер Наркиз Атрешков.

Жительство имеют:

Наталья Николаевна Пушкина: на Мойке против Конюшенного моста в доме Волконской.

Граф Григорий Александрович Строганов на углу Италианской и Караванной улицы в доме принца Гогенлоэ-Киршберг № 21.

Граф Михаил Юрьевич Виельгорский в доме Кутузова подле Михайловского театра.

Василий Андреевич Жуковский в Зимнем дворце.

Наркиз Иванович Атрешков на Невском проспекте в доме Чаплина“ (*Архив Опеки*. С. 344—345).

С. 249. к Аршиаку... Простился с ним... 2 февраля секундант Дантеса д’Аршиак, как участник дуэли, вынужден был покинуть Россию. О посылке для Андрея Карамзина письма и книги Ек. А. Карамзина пишет: „Записку мою Тургенев передаст д’Аршиаку, которого отсылают в качестве курьера после этой злополучной истории с несчастным Пушкиным; если ты с ним где-нибудь встретишься,

то сможешь узнать подробности об этом роковом поединке. Он тебе привезет также маленький томик — новое издание *„Онегина“*, по-моему, очень изящное, которое сейчас, я думаю, доставит тебе удовольствие“ (*Карамзины.* С. 169).

С. 250. *Записку Спасского* см. на с. 175—178 наст. изд.

С. 250. Запись *„он еще не мертвый“* разъясняет письмо С. Н. Карамзиной к брату Андрею: „...расскажу об одной забавной мелочи среди всех горестей, Данзас просил разрешить ему сопровождать тело, но государь ответил, что это невозможно, потому что он должен быть отдан под суд (впрочем, говорят, это будет только для соблюдения формы), и назначил для того, чтобы отдать последний долг Пушкину, господина Тургенева, как единственного из его друзей, который ничем не занят. Тургенев уезжает с телом сегодня вечером, он немного раздосадован этим и не может этого скрыть. Вяз<емский> хотел тоже поехать, и я сказала Тургеневу: „Почему бы ему не поехать с вами?“ — *„Помилуйте, со мною! — он не умер!“*» (Там же. С. 173). Слова „он не умер“ означают, что ему, Тургеневу, доверяют только мертвых. Досада Тургенева, о которой пишет Карамзина, по-видимому, вызвана формой поручения, в которой Тургенев увидел не только пренебрежение к своему общественному положению, но и враждебность Николая I к другу Пушкина и брату декабриста.

С. 251. *альбум* П. А. Осиповой не сохранился. *„Нигде не напечатанные“* стихи Пушкина, по-видимому, „Простите, верные дубравы...“ (1817) и „Цветы последние милей...“ (1825).

С. 252. *Дочь* — Мария Ивановна Осипова (1820—1896), ее воспоминания о Пушкине записаны М. И. Семевским (см.: *П. в восп.* 1974. Т. 2. С. 423—427).

С. 251. *Сережа* — Сергей Иванович Тургенев, умерший в 1827 г.

С. 252. keepsake — альбом (*англ.*).

С. 252. Никому не отдам моей чести (*лат.*).

С. 253. *в деревню,* т. е. в Полотняный Завод, куда 15 февраля уехала Н. Н. Пушкина с детьми и А. Н. Гончаровой.

С. 253. *о фраке Пушкина,* т. е. о недовольстве Николая I тем, что Пушкин был похоронен не в мундире камер-юнкера. Хороня мужа во фраке, Н. Н. Пушкина выполняла его волю. Пушкин не любил свой мундир и называл его „полосатым или шутовским кафтаном“. Приучая жену к мысли о необходимости выйти в отставку, он писал: „Умри я сегодня, что с вами будет? мало утешения в том, что меня похоронят в полосатом кафтане, и еще на тесном петербургском кладбище, а не в церкви на просторе, как прилично порядочному человеку“ (около 28 июня 1834 г. — *Акад.* Т. 14. С. 167) и через несколько дней: „Хорошо, коли проживу я лет еще 25; а коли свернусь прежде десяти, так не знаю, что ты будешь делать и что скажет Машка, а в особенности Сашка. Утешения мало им будет в том, что их папеньку схоронили как шута и что их маменька ужас как мила была на аничковских балах“ (около 14 июля 1834 г. — *Акад.* Т. 14. С. 180).

С. 253. *На печатание* „посмертного“ собрания сочинений *Пушкина* (Т. 1—11. Спб., 1838—1841).

С. 253. *о 3—5 пакетах,* будто бы *вынесенных* Жуковским *из кабинета* Пушкина во время „посмертного обыска“ на его квартире, см. с. 210 наст. изд.

С. 253. Прекрасное письмо Жуковского к С. Л. Пушкину от 15 февраля 1837 г. см. с. 152—172 наст. изд.

С. 254. Поэма „Медный всадник“, написанная Пушкиным в 1833 г., не была напечатана. Николай I требовал исключения и замены некоторых мест, на что Пушкин не согласился. 14 декабря он записал в дневнике: „Мне возвращен „Медный всадник“ с замечаниями государя. Слово *кумир* не пропущено высочайшею ценсурою; стихи

И перед младшею столицей
Померкла старая Москва,
Как перед новою царицей
Порфироносная вдова —

вымараны. На многих местах поставлен (?), — все это делает мне большую разницу. Я принужден был переменить условия со Смирдиным“ (*Акад.* Т. 12. С. 317). Поэма была напечатана в 5-м т. „Современника“ с поправками Жуковского. Тургенев был одним из немногих слушателей поэмы при жизни Пушкина (см. его запись в дневнике от 15 октября 1834 г.: „Вечер у Пушкина: читал мне свою поэму о Петербургском потопе“. — *П. в восп. 1985.* Т. 2. С. 208).

С. 254. В. А. Жуковский, В. Ф. Одоевский, П. А. Плетнев и *П. А. Вяземскии* — новые издатели „Современника“.

С. 254. Статья Лёве-Веймара в „Журнале дебатов“ напечатана Щеголевым в наст. изд. (см. с. 346—348) с неправильной датой: 2 марта вместо 3 марта. Из слов Тургенева можно понять, что друзья Пушкина хотели перепечатать ее (или дать сообщение о ней) в т. 5 „Современника“. 12 ноября 1837 г. Кривцов спрашивал П. А. Вяземского о статье Лёве-Веймара: „Скажите мне, прошу Вас, кто автор статьи о Пушкине, напечатанной в „Revue des Deux mondes“? <Кривцов ошибался — статья напечатана в „Journal des Débats“> Очень хорошо составлена и очень толкова, написана она в чисто французской манере и в то же время обличает знание русского языка, что необычно у иностранцев. Все это задело мое любопытство, и я был бы Вам очень благодарен, если бы Вы его удовлетворили“ (*ЛН.* Т. 58. С. 148).

С. 254. Имеется в виду стихотворение Пушкина, написанное к *лицейской годовщине* 19 октября 1836 г. „Была пора: наш праздник молодой“. Друзья Пушкина, познакомившись с его творческим наследием в рукописях, были потрясены стихами, которые Пушкин не успел или не мог печатать. 13(25) марта 1837 г. Александр Карамзин писал: „Говорили, что Пушкин умер уже давно для поэзии. Однако же нашлись у него многие поэмы и мелкие стихотворения. Я читал некоторые, прекрасные донельзя. Вообще в его поэзии сделалась большая перемена, прежде главные достоинства его были удивительная легкость, воображение, роскошь выражений et une grâce infinie jointe à beaucoup de sentiment et de chaleur <и бесконечное изящество, соединенное с большим чувством и жаром души>; в последних же произведениях его поражает особенно могучая зрелость таланта; сила выражений и обилие высоких, глубоких мыслей, высказанных с прекрасной, свойственной ему простотою; читая их, поневоле дрожь пробегает и на каждом стихе задумываешься и чуешь гения“ (*Карамзины.* С. 192).

С. 254. Письмо Жуковского к Бенкендорфу см. с. 206—221 наст. изд.

С. 254. журнал Пушк[ина] — его дневник. Первая запись в нем

сделана 24 ноября 1833 г., последняя — в феврале 1835 г. Жуковский давал читать дневник Пушкина не одному Тургеневу. Имеется свидетельство Н. В. Путяты, что „короткое время“ эта тетрадь Пушкина была у Баратынского, а потом и у самого Путяты, которого Баратынский просил „возвратить ее Жуковскому“ (см.: *П. в восп. 1985.* Т. 2. С. 7).

С. 254. Очевидно, речь идет о *статье* Лёве-Веймара (см. выше, с. 515).

V. Документы 1836—1837 гг. К истории дуэли

С. 256. Н. Я. Эйдельман отметил, что „кавычки внутри приведенной цитаты означают, что дается выдержка из полученного Щеголевым письма, — вероятно, от русского посланника в Гааге Н. В. Чарыкова“ (Эйдельман Н. Я. Секретное донесение Геверса о Пушкине//*Врем. ПК,* 1971. С. 5). Названные Щеголевым документы действительно находились в Государственном архиве Нидерландов. Только газетная вырезка была сделана из газеты, издававшейся не на французском, а на немецком языке, — “St-Peterburgische Zeitung”. О нидерландских материалах см. также указ. статью Эйдельмана и примеч. на с. 534—535, 547 наст. изд.

С. 256. 19 документов из архива Нидерландов были опубликованы в 1937 г. голландскими учеными И. Бааком и Грюйсом (Baak J. C. et P. von Panhuys Polman Gruys. Les deux barons de Heeckeren: documents Néerlandais // Revue des Etudes slaves, 1937. t. XV11. N. 1–2, p. 18–45). Публикация изложена в статье С. Моргулиса „Новые документы об убийце Пушкина“ (Лит. современник. 1937. № 2. С. 221—227). Моргулис ошибочно утверждал, что Баак и Грюйс собираются в ближайшем будущем опубликовать и письмо Николая I к Вильгельму Оранскому о гибели Пушкина, посланное с курьером. Голландские ученые такого заверения не давали. Не получили они доступа и в архив Высшего совета знати. В 1970 г. Гос. библиотека СССР им. В. И. Ленина запросила Государственный архив Нидерландов и архив нидерландского королевского дома об имеющихся там материалах о дуэли и смерти Пушкина. Вскоре был получен микрофильм двадцати документов, которые значились там под рубрикой “Affaire Pouchkine” (Дуэль Пушкина). Документы эти (переписка Геккерна с министром иностранных дел Нидерландов бароном Верстолком ван Суленом, донесение Геверса и др.) были опубликованы Н. Я. Эйдельманом (Нидерландские материалы о дуэли и смерти Пушкина//Зап. ОР ГБЛ, 1974. Вып. 35. С. 196—247. Предварительную публикацию см.: Эйдельман Н. О гибели Пушкина: По новым материалам//Новый мир. 1972. № 3. С. 201—226.

С. 256. Щеголев считал, что копии появились вследствие *перлюстрации* писем в Петербурге. Но из письма Вильгельма Оранского к Николаю I от 8 (20) марта 1837 г. видно, что они были присланы царю из Гааги с просьбой вернуть их обратно. По предположению Н. Я. Эйдельмана, Николай I вернул Вильгельму Оранскому документы, но приказал снять с них копии. О письме Николая I, которое было послано в Голландию со специальным курьером, см. ниже, примеч. на с. 547—548 наст. изд.

С. 257. 27 января 10 часов утра (*фр.*).

С. 258. 27 января (час пополудни) (*фр.*).

С. 258. О письме *Николая I Вильгельму Оранскому* см. с. 547—548.

С. 259. весьма известного... Так Щеголев переводит французское trop célèbre. Более точный перевод — „пресловутого Пушкина, поэта". См. примеч. на с. 546—547 наст. изд.

С. 260. Из пяти записок... Щеголев недооценил значение записей Жуковского. Он делил заметки по внешнему признаку, т. е. по числу листов, на которых они записаны. Правильнее различать их по содержанию. Всего Жуковским сделано не пять, а восемь записей, из которых Щеголев использовал только три первые. Эти три заметки он и положил в основу своего изложения дуэльных событий. Четвертую он принял за „план" намеченной записи (см. с. 262) и небрежно, с ошибками прочел ее, пятую счел простым перечнем лиц, которые играли „ту или иную роль в течение смертных дней Пушкина". Шестая запись — предварительный карандашный набросок седьмой — их (как и восьмую запись) Щеголев ошибочно принял за конспект письма Жуковского к Бенкендорфу. Впервые все восемь записей опубликовал И. Боричевский (*Боричевский.* С. 371—392), с исправлениями по рукописи — Я. Л. Левкович (Левкович Я. Л. Заметки Жуковского о гибели Пушкина//*Врем. ПК,* 1972. Л., 1974. С. 77—83). Приводим здесь записи 4, 5, 7 и 8. Запись 6 опускаем — она является предварительным карандашным наброском записи седьмой.

Запись четвертая

Спасский. О жене и Грече
Арендт
Просит прощения
Уехали
Страдание ночью
Возвращение Арендта
Фельдъегерь
Прибытие Арендта
Записка
Исповедь и причащение.

Четвертая запись фиксирует течение событий в доме Пушкина после возвращения его с дуэли: приезд доктора Спасского, просьба передать сочувствие Н. И. Гречу по поводу смерти его сына, забота о жене, просьба о прощении у царя (см. примеч. на с. 495 наст. изд.) и т. д. — все эти события изложены в письме Жуковского к С. Л. Пушкину (см. с. 152—172 наст. изд.).

Пятая запись

Данзас —
Плетнев +
Вяземская
Вяземский
Мещерский
Карамзина
Даль
Вьельгорский —
Спасский
Одоевский
[Краевский]

Пятую запись И. Боричевский расшифровал как действия друзей поэта после его кончины. Знак „минус" отсутствует около имен лиц, которые уже начали действовать: Спасский 2 февраля написал свою

записку „Рассказ очевидца о последних днях Пушкина“ (см. выше, с. 175—178 наст. изд.), Даль написал отчет в начале февраля (см. выше, с. 178—181 наст. изд.), а в середине месяца он уже распространялся в списках (см.: Переписка Станкевича. Пг., 1914. С. 258), Е. Н. Мещерская выступила с письмом около 14 февраля (см.: *П. в восп. 1985*. Т. 2. С. 389—390), в то же время Вяземский при содействии жены закончил свое письмо к Михаилу Павловичу (см. выше, с. 221—231 наст. изд.). Минусы поставлены около двух фамилий—Данзаса и Виельгорского. Первый был под арестом, а второй не любил никаких общественных выступлений (см. запись в дневнике А. И. Тургенева о Виельгорском 1 января 1837 г.: „Вельгурский вредно-равнодушен к казням“ — с. 241 наст. изд.). Плюс, поставленный Плетневу, отличает его выступление от всех остальных. Плетнев готовил статью о Пушкине для публикации в т. V „Современника“ (И. Боричевский рассматривает этот знак как зачеркнутый минус, т. е. как свидетельство того, что на него Жуковский не рассчитывал. Указ. соч. С. 387). Из близких, присутствующих около умирающего Пушкина, лиц Жуковский не внес в список Тургенева. Боричевский объясняет это так: Тургенев „начал писать свои послания о смерти Пушкина еще при его жизни. И чуть ли не каждый день засыпал разных лиц новыми письмами или копиями прежних. Жуковскому не было нужды включать его в список: так же, как и самого себя“ (Указ. соч. С. 387).

Запись седьмая

Разбор сделан.
Расположение.
Протестую.—Донос на меня.
Что буду делать с ма<нускриптами>
Что же оказалось
Мое положение
Что оказалось о Пушкине
Его раздраже<ние>
Его положение
письма Бенкендорфа
предубеждение его
Его образ мыслей
письмо к Чад.<аеву>
цензура
Самод.<ержавие>
Июль
Польша
Его смерть
Слухи
Студенты
Мещане
Купцы
речи
Граф Строганов
Нельзя же остановить многие посещения
Фрак
Вынос и жандармы
Перемена церкви
удвоенное де<журство>

толки
народ на площади
оскорблен<ие>
Министры
Церемония в церкви и поклонение гробу
Непозволение печатать
Критика Дондука
Отчего все эти страхи.
чего боялись объявить отпуска
но он был невозможен
Сильно сшиблись
Сильно оскорблен
Какой контраст с государем

Большая часть седьмой записи соответствует отдельным положениям письма Жуковского к Бенкендорфу — см. с. 206—221 наст. изд. Это и навело Щеголева на мысль, что вся она является конспектом этого письма. Между тем здесь продолжается начатое в третьей записи изложение событий после смерти Пушкина — сперва связанных с „посмертным обыском" на квартире поэта, потом с обстоятельствами отпевания Пушкина и реакцией в обществе на смерть поэта. Конец записи (начиная со слов „непозволение печатать") тоже касается событий, которые разворачивались вокруг мертвого Пушкина, но которые Жуковский обходит в своем письме. Речь идет о „непозволении печатать" некрологи Пушкина, о выговоре, который получил А. Краевский за публикацию некролога Пушкина в «Литературных прибавлениях к „Русскому инвалиду"», о запрещении отпусков студентам в день отпевания Пушкина, о „сшибке" Жуковского с Дондуковым-Корсаковым — председателем цензурного комитета и попечителем университета, который запретил отпуска студентам и сделал выговор Краевскому. Отношение Дондукова-Корсакова к мертвому поэту, по мнению Жуковского, было „контрастом" к тем „милостям", которые оказал семье Пушкина „государь", — на Жуковского все еще продолжает действовать принятая Николаем I поза монарха-благодетеля. Боричевский трактует слово „он" в записи „но он был невозможен" как „заговор", в котором обвинили друзей Пушкина, будто бы пытавшихся использовать смерть Пушкина для возбуждения волнений в народе. По его мнению, „благонамеренный" Жуковский боится даже бумаге доверить слово „заговор". В действительности „он" — Дондуков-Корсаков. Полемику с интерпретацией Боричевского седьмой и восьмой записей см. в указ. статье Я. Л. Левкович.

Восьмая запись

Мне было плохо. Я глупец; из-за плеч моих другие.

Не могу не отве<чать>, ибо вы поставили меня перед ним как щит <?>

Что бы ни делать, все уже осталось.

Каков в пись<ме>, таков и в мо<их> мыслях <?>

[Если]

Я читал мое письмо — то же и на днях. Что же вы сделали? Государь — до

Удивление и страх заго<товить> указ.

Только в семье своей убежище.

Восьмая запись почти вся относится к Жуковскому, фиксирует его эмоции, слова и действия. И только в конце ее появляется

фраза о „государе“, его „удивлении и страхе“ в ответ на просьбу Жуковского сопроводить „милости“ умершему поэту специальным рескриптом (см. выше, с. 519 наст. изд.). Эта, восьмая, запись свидетельствует о гражданском прозрении Жуковского. Обстоятельства похорон, разбор бумаг поэта вместе с жандармами были стимулом для письма Бенкендорфу (см. с. 206—221 наст. изд.). Написав и сформулировав все обвинения в адрес шефа жандармов, Жуковский осознал, что Бенкендорф действовал с согласия государя, — тогда и припомнился „страх“ царя заготовить „указ“. Соседство записей о чтении письма друзьям и о реакции царя на просьбу об указе свидетельствует, что в записи „Я читал мое письмо“ речь идет уже не о письме к С. Л. Пушкину, которое было написано 15 февраля, до того как был сделан „разбор“ бумаг поэта (он закончился 25 февраля), а о письме к Бенкендорфу. Противопоставление своего чтения бездействию друзей („Что же вы сделали?“) позволяет предположить, что, вопреки совету А. И. Тургенева (см. запись его в дневнике 8 марта 1837 г. — с. 254 наст. изд.), письмо к Бенкендорфу было отослано Жуковским.

С. 260. ряд фамилий... См.: Пятая запись.

С. 260. конспектик. См.: Седьмая запись.

С. 261. Анонимные письма (*фр.*).

С. 261. Мои прежние действия (*фр.*).

С. 261. Правильно читается „Незнание“.

С. 261. Откровения (*фр.*).

С. 261. Переговоры (*фр.*).

С. 261. Откровения Геккерна (*фр.*).

С. 261. Разоблачения Александрины (*фр.*). Очевидно, эти „разоблачения“ и изложены в следующей записи: „При тетке ласка к жене и т. д.“. Речь идет о Дантесе (см. выше, с. 486).

С. 261. Слова *„История кровати“* объясняют воспоминания А. Араповой (см. с. 360—362 наст. изд.). Это, конечно, следствие „сплетен“, о которых пишет А. Россет (см. с. 363). Поводом к сплетне могли быть отмеченные В. Ф. Вяземской (см. с. 360) добрые отношения Пушкина со свояченицей, а пущенная врагами поэта сплетня превратила, в свою очередь, эти добрые отношения в связь. См. об этом примеч. на с. 464—465.

С. 261. Перевод и объяснение двух французских фраз см. выше, с. 487.

С. 262. Не входите (*фр.*).

С. 262. „Ссора на лестнице“, очевидно, была последней вспышкой гнева Пушкина, вызвавшей его оскорбительное письмо к Геккерну. Жуковский не объясняет, зачем приезжал Геккерн и что вызвало „ссору“ (в доме все должны были ее слышать — и домашние и слуги). Объяснение этой ссоры находим в „оскорбительном“ письме Пушкина. Пушкин начинает его словами: „Барон! Позвольте мне подвести итог тому, что произошло недавно“ (*Акад.* Т. 16. С. 427). Первая часть этого „итога“ действий Геккернов кончается „жалкой ролью“, которую Пушкин заставил сыграть Дантеса после вызова; вторая — изложением махинаций самого Геккерна. Дальше следует фраза: „Вы хорошо понимаете, барон, что после всего этого я не могу терпеть, чтобы моя семья имела какие бы то ни было сношения с вашей“. Письмо было непосредственным поводом к вызову на дуэль, причем же здесь „сношения между семьями“? Известны слова Пушкина, обра-

щенные к д'Аршиаку, когда первый конфликт был улажен: „Никогда между домом Пушкина и домом Дантеса ничего общего быть не может" (см. наст. изд., с. 95). Решение Пушкина не иметь ничего общего с Дантесом как бы сохраняло в силе его вызов. Еще одной попыткой сгладить отношения, снять со своего дома оттенок неблагопристойности, заставить в обществе забыть о событиях, предшествующих конфликту (в своем доме Геккерны разыгрывали „веселость и большое согласие"), и был, по-видимому, приход Геккерна к Пушкину. Слова Пушкина о „сношениях" между семьями не укладываются в контекст оскорбительного письма, но их легко объяснить как ответ на только что состоявшуюся „ссору на лестнице". Скорее всего, в этот день, 25 января, Пушкин и начал перерабатывать свое ноябрьское письмо к Геккерну, а вечером того же дня, опережая события, сказал В. Ф. Вяземской, что письмо уже отослано (см. примеч. на с. 488—489 наст. изд.).

С. 265. Условия дуэли между господином бароном Жоржем де Геккереном и господином Пушкиным (*фр.*). Условия дуэли приведены выше; кроме заголовка, в этом переводе нет даты и подписи. Даем их перевод: 27 января 1837, 2½ часа пополудни подписано: виконт д'Аршиак, атташе французского посольства, Константин Данзас, инженерный подполковник (*фр.*).

С. 266. комиссии по делу о дуэли. По законам о дуэлях суд над дуэлянтами учреждался при воинской части (но не той, в которой служили участники или один из участников). В данном случае приказом от 1 февраля 1837 г. военно-судная комиссия была учреждена при Конном полку, под председательством полковника этого полка флигель-адъютанта Бреверна 1-го и в составе нескольких офицеров полка (*Военно-судное дело.* С. 17). О суде над Дантесом см. также примеч. на с. 526.

С. 267. Об отношении к смерти Пушкина *„простого народа"* или „второго общества" пишут С. Н. Карамзина и Е. Н. Мещерская. В письме С. Н. Карамзиной читаем:

„О да, мой милый Андрей, письмо твое интереснее, чем когда-либо, и, вообрази, чтобы прочесть его, мне пришлось ждать следующего дня, так много было у нас целый день в воскресенье народу, а вечером мы ходили на панихиду по нашем бедном Пушкине. Трогательно было видеть толпу, которая стремилась поклониться его телу. В этот день, говорят, там перебывало более двадцати тысяч человек: *чиновники*, офицеры, купцы, все в благоговейном молчании, с умилением, особенно отрадным для его друзей. Один из этих никому не известных людей сказал Россету: *„Видите ли, Пушкин ошибался, когда думал, что потерял свою народность: она вся тут, но он ее искал не там, где сердца ему отвечали"*. Другой, старик, поразил Жуковского глубоким вниманием, с которым он долго смотрел на лицо Пушкина, уже сильно изменившееся, он даже сел напротив и просидел неподвижно четверть часа, а слезы текли у него по лицу, потом он встал и пошел к выходу; Жуковский послал за ним, чтобы узнать его имя. *„Зачем вам*, — ответил он, — Пушкин меня не знал, и я его не видал никогда, но мне грустно за славу России"*. И вообще это второе общество проявляет столько увлечения, столько сожаления, столько сочувствия, что душа Пушкина должна радоваться, если только хоть какой-нибудь отзвук земной жизни доходит туда, где он сейчас; среди молодежи этого второго общества

подымается даже волна возмущения против его убийцы, раздаются угрозы и крики негодования; между тем в нашем обществе у Дантеса находится немало защитников, а у Пушкина — и это куда хуже и непонятней — немало злобных обвинителей. Их отнюдь не смягчили адские страдания, которые в течение трех месяцев терзали его пламенную душу, к несчастью, слишком чувствительную к обидам этого презренного света, и за которые он отомстил в конце концов лишь самому себе: умереть в тридцать семь лет, и с таким трогательным, с таким прекрасным спокойствием! Я рада, что Дантес совсем не пострадал и что, раз уже Пушкину суждено было стать жертвой, он стал жертвой единственной: ему выпала самая прекрасная роль, и те, кто осмеливаются теперь на него нападать, сильно походят на палачей.

В субботу вечером я видела несчастную Натали; не могу передать тебе, какое раздирающее душу впечатление она на меня произвела: настоящий призрак, и при этом взгляд ее блуждал, а выражение лица было столь невыразимо жалкое, что на нее невозможно было смотреть без сердечной боли. Она тотчас же меня спросила: „Вы видели лицо моего мужа сразу после смерти? У него было такое безмятежное выражение, лоб его был так спокоен, а улыбка была такая добрая! — не правда ли, это было выражение счастья, удовлетворенности? *Он увидел, что там хорошо“*. Потом она стала судорожно рыдать, вся содрогаясь при этом. *Бедное, жалкое творенье*! И как хороша даже в таком состоянии!

В понедельник, в день похорон, *т. е. отпевания*, собралась несметная толпа, желавшая на нем присутствовать, целые департаменты просили разрешения не работать, чтобы иметь возможность пойти помолиться, все члены Академии, художники, студенты университета, все русские актеры. *Конюшенная* церковь не велика, и туда впускали только тех, у кого были билеты, т. е. почти исключительно высшее общество и дипломатический корпус, явившийся в полном составе. (Один из дипломатов сказал даже: «Лишь здесь мы впервые узнали, что значил Пушкин для России. До этого мы встречали его, были с ним знакомы, но никто из вас — он обращался к одной даме — не сказал нам, что он — ваша народная гордость»). Вся площадь была запружена огромной толпой, которая устремилась в церковь, едва только кончилось богослужение и открыли двери; и ссорились, давили друг друга, чтобы нести гроб в подвал, где он должен был оставаться, пока его не повезут в деревню. Один очень хорошо одетый молодой человек умолял Пьера <Мещерского> позволить ему хотя бы прикоснуться рукой к гробу, тогда Пьер уступил ему свое место, и тот со слезами его благодарил» (*Карамзины*. С. 171—172).

А вот как изображено поклонение Пушкину «второго общества» в письме Е. Н. Мещерской.

«...В течение трех дней, в которые тело его оставалось в доме, множество людей всех возрастов и всякого звания беспрерывно теснилось пестрою толпой вокруг его гроба. Женщины, старики, дети, ученики, простолюдины в тулупах, а иные даже в лохмотьях, приходили поклониться праху любимого народного поэта. Нельзя было без умиления смотреть на эти плебейские почести, тогда как в наших позолоченных салонах и раздушенных будуарах едва ли кто-нибудь думал и сожалел о краткости его блестящего поприща. Слышались даже оскорбительные эпитеты и укоризны, которыми поносили память слав-

ного поэта и несчастного супруга, с изумительным мужеством принесшего свою жизнь в жертву чести, и в то же время раздавались похвалы рыцарскому поведению гнусного обольстителя и проходимца, у которого было три отечества и два имени. Можно ли после этого придавать цену общественному мнению или, по крайней мере, мнению нашего общества, бросающего грязью в то, что составляет его славу, и восхищающегося слякотью, которая его же запачкает своими брызгами» (*П. в восп. 1985.* Т. 2. С. 389—390).

С. 269. его покинуть. В то время, когда Геккерен писал это письмо, его судьба была уже решена Николаем I и Вильгельмом Оранским. Оба монарха были раздражены поведением посланника еще до конфликта Пушкина с Геккернами. Геккерн в депешах правительству Нидерландов позволил себе сообщать о семейных делах своего монарха. Н. Я. Эйдельман опубликовал письма Вильгельма Оранского (который был женат на сестре Николая I Анне) его августейшему шурину. Первые признаки раздражения против Геккерна видны уже в письме от 26 сентября (8 октября) 1836 г.: «Я должен сделать тебе, мой друг, один упрек, так как не желаю ничего таить против тебя. Как же это случилось, мой друг, что ты мог говорить о моих делах с Геккерном как с посланником или в любом другом качестве? Он изложил все это в официальной депеше, которую я читал, и мне горько было узнать таким путем, что ты думаешь о моих отношениях с твоей сестрой. Я надеялся до сей поры, что мои домашние дела по крайней мере не осудит никто из близких Анны, которая знает всю истину» (Эйдельман Н. Я. О гибели Пушкина. С. 199.) Очевидно, Николай I в своем письме постарался успокоить родственника, так как, отвечая ему 10(22) октября, Вильгельм Оранский пишет: «Я должен тебе признаться, что был потрясен и огорчен содержанием депеши Геккерна, не будучи в состоянии ни объяснить ситуации, ни исправить твою ошибку; но теперь ты совершенно успокоил мою душу, и я тебя благодарю от глубины сердца. Я тебе обещаю то же самое, при сходных обстоятельствах» (Там же. С. 207). Дуэль Пушкина с Дантесом оказалась удобным предлогом для того, чтобы избавиться от ставшего неугодным дипломата. 12(24) февраля Вильгельм Оранский отвечает Николаю на полученное от него известие о дуэли и роли Геккерна в дуэльной истории: «Дорогой Николай! Всего два слова, чтобы использовать проезд курьера, тем более, что Поццо <граф Поццо-ди-Борго, русский посол в Англии. — *Я. Л.*> послал его сюда по моей просьбе, не зная, что я имел бы случай отвечать на твое письмо о деле Геккерна через посредство стремительно возвращающегося Геверса, который вот уже три дня в пути.

Я пишу тебе очень поспешно: сегодня у нас святая пятница и приготовление к причастию.

Геккерн получит полную отставку тем способом, который ты сочтешь за лучший. Тем временем ему дан отпуск, чтобы удалить его из Петербурга.

Все, что ты мне сообщил на его счет, вызывает мое возмущение, но, может быть, это очень хорошо, что его миссия в Петербурге заканчивается, так как он кончил бы тем, что запутал бы наши отношения бог знает с какой целью». И, наконец, еще в одном письме от 8(20) марта 1837 г. находим такие слова: «Мне кажется, что во всех отношениях Геккерн не потеря и что мы, ты и я, долгое время сильно обманывались на его счет. Я в особенности надеюсь, что тот, кто его заменит,

будет более правдивым и не станет изобретать сюжеты для заполнения своих депеш, как это делал Геккерн» (Там же). 1(13) апреля Геккерн покинул Петербург.

С. 271. Э. Г. Герштейн уточняет перевод: не *высокопоставленные дамы,* а «две весьма знатные дамы» („Deux dames de la plus haute distinction”) (комментарий в кн.: *Ахматова.* С. 239).

С. 271. броситься в его объятия... С. Л. Абрамович полагает, что Геккерн в этом месте своего письма невольно «проговорился» и что «с точки зрения Геккернов, такая ситуация была возможной. По их мнению, Н. Н. Пушкина после появления анонимных писем могла быть отвергнута мужем, опозорена в глазах света, и это должно было толкнуть ее на сближение с Дантесом» (*Абрамович.* С. 80). Ближе к истине мнение Ахматовой, считавшей, что вся затея с анонимными письмами преследовала цель — удалить Н. Н. Пушкину из Петербурга (см.: *Ахматова.* С. 127).

С. 273. избегали посещать дом... Пушкина... Геккерн лжет. Он и его семья стремились к сближению с Пушкиными, но все их попытки наталкивались на решительный отказ Пушкина (см. примеч. на с. 520—521 наст. изд.).

С. 274. Мы видим, что Геккерн получил письмо *во вторник,* т. е. 26 января днем, ближе к вечеру (в доме Пушкиных, например, обедали в 6 часов), — это еще одно подтверждение того, что письмо Пушкина могло быть отправлено 26 утром (см. примеч. на с. 488—489).

С. 274. убедил... умереть христианином... В действительности Пушкин согласился исповедаться «по желанию родных и друзей» сразу, как только узнал, что рана его смертельна (см. воспоминания доктора Спасского, с. 176 наст. изд.). Геккерн вслед за царем создавал легенду о Пушкине — нехристе и бунтовщике.

С. 277. Это недатированная записка старшего Геккерна, написанная, как полагает Э. Герштейн, во время суда над Дантесом (см. ее комментарий в кн.: *Ахматова.* С. 239—240). Ее назначение, по-видимому, — уверить всех, кому она попадает в руки, в непричастности Дантеса (как и самого Геккерна) к анонимному письму. Впервые опубликована А. Поляковым (Поляков А. С. О смерти Пушкина: По новым данным. Пб., 1922) в неверном переводе. Щеголев приводит ее с теми же искажающими смысл ошибками. Приводим текст записки в переводе Н. В. Бонди, как он дан в комментариях Э. Герштейн: «Если ты хочешь говорить об анонимном письме, я скажу тебе, что оно было запечатано красным сургучом. Сургуча мало, запечатано плохо. Печать довольно своеобразная, насколько я помню; „а“ посреди этой формы „А“ и множество эмблем вокруг „А“. Точно разглядеть эти эмблемы я не смог, так как, повторяю, запечатано было плохо. Помнится, что вокруг были знамена, пушки и т. п., но я не уверен. Помнится также, что они были с разных сторон, но в этом я тоже не уверен.

Ради бога, будь осторожен и за этими подробностями отсылай смело ко мне, потому что <сам> граф Нессельроде показал мне это письмо, которое написано на бумаге такого же формата, как и эта моя записка.

Мадам де Н. и графиня Софи Б. шлют тебе свои лучшие пожелания. Обе они горячо интересуются нами.

Да выяснится истина — это самое пламенное желание моего сердца. Твой душой и сердцем

б<арон> де Г<еккерн>

Почему ты спрашиваешь обо всех этих подробностях? Доброй ночи, спи спокойно» (*Ахматова.* С. 240).

Имя одной из упомянутых в этом письме женщин не вызывает сомнения: «мадам де Н» — графиня М. Д. Нессельроде. О горячем сочувствии ее Дантесу писал П. А. Вяземский А. Я. Булгакову 8 апреля 1837 г.: «Под конец одна графиня Нессельроде осталась при нем <Геккерне>, но все-таки не могла вынести его, хотя и плечиста, и грудиста, и брюшиста» (Вяземский П. П. Собр. соч. Спб., 1893. С. 562). Другая «дама» — скорее всего, графиня Софья Александровна Бобринская. Э. Г. Герштейн называет ее имя с уверенностью (см. ее коммент. в кн.: *Ахматова.* С. 240 и статью «Вокруг гибели Пушкина» // Новый мир. 1962. № 2). С Герштейн согласилась Ахматова (*Ахматова.* С. 241). Поляков и Щеголев называют имя Бобринской предположительно, отдавая предпочтение Софье Ивановне Борх (см.: Поляков А. С. О смерти Пушкина. С. 212—215; наст. изд., с. 376). М. И. Яшин решительно отводит Бобринскую (*Яшин. Хроника.* № 9. С. 169—171). Против кандидатуры Бобринской возражает и Н. Н. Петрунина (см.: Письма последних лет. С. 369). Мнение Герштейн подкрепляет одно место из письма Геккерна к барону Верстолку, которое опубликовано в книге Щеголева. 11 февраля (30 января) 1837 г.: «Нахожусь пока в неизвестности относительно судьбы моего сына. Знаю только, что император, сообщая эту роковую весть императрице, выразил уверенность, что барон Геккерен был не в состоянии поступить иначе» (с. 274 наст. изд.). Разговор Николая I с женой, скорее всего, дошел до Геккерна через Бобринскую. Бобринская была интимной подругой императрицы, часто с ней виделась и вела постоянную переписку (эта переписка опубликована Э. Герштейн в статье «Вокруг гибели Пушкина»). О сочувствии Дантесу свидетельствует и ее письмо к мужу от 25 ноября 1836 г. (см. выше), но написано оно до дуэли, когда сватовство Дантеса к Ек. Гончаровой могло рассматриваться как жертва, принесенная во имя возвышенной любви к жене поэта. Однако сочувствие Дантесу не означает, что Бобринская, как полагают Герштейн и Ахматова, была в стане врагов Пушкина. Сам Пушкин, как и его друзья Жуковский и Вяземский, относились к ней с неизменной симпатией. Вот что пишет о С. Бобринской Вяземский: «Графиня Софья Александровна Бобринская была женщиной редкой любезности, спокойной, но неотразимой очаровательности. <...> Ясный, свежий, совершенно женский ум ее был развит и оснащен необыкновенной образованностью. Европейские литературы были ей знакомы, не исключая и русской. Жуковский <...> узнал ее, оценил, воспевал и остался с нею навсегда в самых дружеских отношениях. <...> Графиня мало показывалась в многолюдных обществах. Она среди общества, среди столиц жила какою-то отдельною жизнью — домашней, келейной; занималась воспитанием сыновей своих, чтеньем, умственной деятельностью; она, так сказать, издали и заочно следила за движениями общественной жизни, но следила с участием и проницательностью. Салон ее был ежедневно открыт по вечерам. Тут находились немногие, но избранные» (*Вяземский.* Т. 7. С. 223—225). Среди этих «немногих» в салоне Бобринской бывал и Пушкин. О С. Бобринской см.: Востокова Н. Б. Пушкин по архиву Бобринских // Прометей. Кн. 10. С. 261—273.

VI. К ИСТОРИИ ДАНТЕСА. ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

С. 281. Мусина-Пушкина Елизавета Федоровна (1759—1835) — двоюродная бабушка Жоржа Дантеса (см. с. 30 наст. изд.).

С. 285. St. Jean Baptiste — Иоанн Креститель, чью голову потребовала у царя Ирода Саломея за свой танец. Т. е. для Е. Н. Гончаровой Дантес — только жертва.

С. 285. Письмо Н. И. Гончаровой ошибочно датировано *1837 г.* В действительности оно написано в 1838 г. — в нем упоминается о свадьбе Вани. И. Н. Гончаров женился 10 января 1838 года, «малютка» — дочь Екатерины Николаевны Геккерн (Гончаровой) родилась 7 октября 1837 г. Ошибка в дате этого письма позволила Л. П. Гроссману высказать предположение, что Е. Н. Гончарова была в связи с Дантесом еще до свадьбы (см. Гроссман Л. П. Женитьба Дантеса// Гроссман Л. П. Цех пера. М., 1930. С. 277. Мнение Гроссмана было оспорено Б. В. Казанским, который впервые предположил описку в дате письма: 1837 год вместо 1838 [см.: Казанский Б. В. Разработка биографии Пушкина// *ЛН,* 1934. Т. 16—18. С. 1147—1148). Так же считал и М. И. Яшин. См.: *Яшин. Хроника.* № 8. С. 168—169. Версию Гроссмана в 1974 г. снова поддержала Т. Г. Цявловская в послесловии к указ. выше публикации материалов из архива Бобринских (*Прометей.* Кн. 10. С. 272—273).

С. 288. Суд над Дантесом был окончен 19 февраля; приговор, по которому Дантес был *разжалован в рядовые* с лишением прав русского дворянства и подлежал высылке за границу, был утвержден 18 марта; на другой день, 19 марта, Дантес был выслан до границы в сопровождении жандармского унтер-офицера (*Военно-судное дело.* С. 151; Никольский В. В. Дантес-Геккерен// *PC.* 1880. № 10. С. 429).

С. 288. К таким *«благомыслящим» людям* относился и старший сын дружественной Пушкину семьи Андрей Карамзин. Приводим отрывки из его писем к родным из Парижа и Баден-Бадена, содержащие отклики на смерть Пушкина.

«24/12 февраля.

Я получил ваше горестное письмо с убийственным известием, милая, добрая маменька, и до сих пор не могу опомниться!.. Милый, светлый Пушкин, тебя нет!.. Я плачу с Россией, плачу с друзьями его, плачу с несчастными жертвами (виноватыми или нет) ужасного происшествия. Поздравьте от меня петербургское общество, маменька, оно сработало славное дело: пошлыми сплетнями, низкою завистию к гению и к красоте оно довело драму, им сочиненную, к развязке; поздравьте его, оно того стоит. Бедная Россия! Одна звезда за другою гаснет на твоем пустынном небе, и напрасно смотрим, не зажигается ли заря на востоке — темно!

Как пишу вам эти строки, слезы капают из глаз — мне грустно, неизъяснимо грустно. Я не свидетель того, что теперь происходит у вас, но сердце замирает при мысли de la masse de désespoir qui déchire en ce moment le coeur de quelquesuns <о великом отчаянии, которое разрывает теперь некоторые сердца>. Пушкин — это высокое создание, оставил мир, в котором он не был счастлив, возвратился в отчизну всего прекрасного; жалки мы, которые его оплакиваем, которые лишились того, который украшал наш круг своим присутствием, наше отечество своею славою, который озарял нас всех отблеском своего света.

Нельзя и грешно искать виноватых в несчастных... бедная, бедная Наталья Николаевна! Сердце заливается кровью при мысли о ней. Милая маменька, я уверен, что вы ее не оставили. Сидя за столом у Смирновых, мне вручили ваше письмо, я переменился в лице, потому что только четыре дня тому назад, что получил последнее, но, увидя вашу руку и милой Сонюшки, успокоился; прочел, вскрикнул и сообщил Смирновым. Александра Осиповна горько плакала. Вечером собрались у них Соболевский, Платонов (cet homme que vous n'aimez pas, cet homme qui fait parade d'une stoïque insensibilité a pleuré en dévorant ses larmes, когда я показал ему ваше письмо) et remplis du sentiment de l'amitié ils ont prononcé des anathèmes impitoyables... <этот человек, которого вы не любите, человек, щеголяющий своей стоической бесчувственностью, плакал, глотая слезы,* когда я ему показал ваше письмо*, и, полные дружественного негодования, они произносили беспощадные проклятия...>. Бог им прости, я не мог им вторить ни сердцем, ни словами; спорил и ушел, потому что мне стало неприятно, и я уверен, что, если бы великий покойник нас мог слышать, он поблагодарил бы меня; он же сказал: «Что бы ни случилось, ты ни в чем не виновата...». Да будет по словам его. Я не знаю, что сказать о Дантесе... Если правда, что он после свадьбы продолжал говорить о любви Наталье Николаевне, то il est jugé, <он осужден>, но я не могу и не хочу верить. Не думают ли о памятнике? Скажите брату Саше, что я ожидаю от него письма, он, как мужчина, мог многое слышать, пусть не поленится. Неужели не откроется змея, написавшая безымянные письма, и клеймо всеобщего презрения не приложится к лицу злодея и не прогонит его на край света. Божеское правосудие должно бы открыть его, и мне кажется, что я бы с наслаждением согласился быть его орудием» (Старина и новизна, 1914. Кн. 17. С. 291—293).

28/16 февраля

«Как я вам благодарен, милая и добрая маменька, и тебе, ma chère Sophie, <моя милая Софи>, за письмо, полученное сегодня. Я очень желал, но не смел надеяться получить его, потому что это более, нежели сколько было обещано. Но вы знали, что, отчужденный от родины пространством, я не чужд ее печалям и радостям и что с тех пор, как роковое известие достигло меня и русскую братию в Париже, наши сердца и взоры с тоскою устремились на великого покойника, и мы жадно ожидали подробностей. Если что может здесь утешить друга отечества и друга Пушкина, так это всеобщее сочувствие, возбужденное его смертию: оно тронуло и обрадовало меня до слез! Не все же у нас умерло, не все же холодно и бесчувственно! Есть струны, звучные даже и в петербургском народе! Милые, добрые мои сограждане, как я люблю вас! Но с другой стороны, то, что сестра мне пишет о суждениях хорошего общества, высшего круга, гостинной аристократии (черт знает, как эту сволочь назвать), меня нимало не удивило; оно выдержало свой характер: убийца бранит свою жертву, — это должно быть так, это в порядке вещей. Que d'Antès trouve des défenseurs <что Дантес находит защитников>, по-моему, это справедливо; я первый с чистою совестью и с слезою в глазах о Пушкине протяну ему руку: он вел себя честным и благородным человеком — по крайней мере, так мне кажется, mais que Pouchkine trouve des accusateurs acharnés... les misérables!.. <но то, что Пушкин находит ожесточенных обвинителей... негодяи!..> Быстро переменялись чувства в душе моей при чтении вашего письма, желчь и досада наполнили ее при известии, что в церковь впускали по билетам

только la haute société <высшее общество, знать>. Ее-то зачем? Разве Пушкин принадлежал ей? С тех пор, как он попал в ее тлетворную атмосферу, его гению стало душно, он замолк... méconnu et déprécié il a végété sur ce sol arride et ingrat et il est tombé victime de la médisance et de la calomnie <отвергнутый и неоцененный, он прозябал на этой бесплодной, неблагодарной почве и пал жертвой злословия и клеветы>. Выгнать бы их и впустить рыдающую толпу, и народная душа Пушкина улыбнулась бы свыше! <...>».

В конце письма из Парижа от 16(28) февраля 1837 г. Андрей Карамзин беспокоился о судьбе Дантеса: «Зачем вы мне ничего не говорите о Дантесе и бедной жене его?» (Старина и новизна. Кн. 17. С. 295). Возмущаясь светским обществом, приведшим, по его убеждению, Пушкина к гибели, он склонен был видеть в дуэли только дело чести и потому оправдывал Дантеса. 13/25 марта Александр Карамзин, давая в своем письме убийственную характеристику Дантесу, советовал брату «не протягивать ему руки с такою благородною доверенностью» (*Карамзины*. С. 190). Андрей Карамзин не последовал этому совету. Вот как он описывает встречу с Дантесом в письме из Бадена от 26 июня/8 июля 1837 г.

«Вечером на гулянии увидел я Дантеса с женою: они оба пристально на меня глядели, но не кланялись, я подошел к ним первый, и тогда Дантес à la lettre <буквально> бросился ко мне и протянул мне руку. Я не могу выразить смешения чувств, которые тогда толпились у меня в сердце при виде этих двух представителей прошедшего, которые так живо напоминали мне и то, что было, и то, чего уже нет и не будет. Обменявшись несколькими обыкновенными фразами, я отошел и пристал к другим, русское чувство боролось у меня с жалостью и каким-то внутренним голосом, говорящим в пользу Дантеса. Я заметил, что Дантес ждет меня, и в самом деле он скоро опять пристал ко мне и, схватив меня за руку, потащил в пустые аллеи. Не прошло двух минут, что он уже рассказывал мне со всеми подробностями свою несчастную историю и с жаром оправдывался в моих обвинениях, которые я дерзко ему высказывал. Он мне показывал копию с страшного пушкинского письма, протокол ответов в военном суде и клялся в совершенной невинности. Всего более и всего сильнее отвергал он малейшее отношение к Наталье Николаевне после обручения с сестрою ее и настаивал на том, что второй вызов a été comme une tuile qui lui est tombée sur la tête <был словно кирпич, упавший ему на голову>. С слезами на глазах говорил он о поведении вашем (т. е. семейства, а не маменьки, про которую он мне сказал: „A ses yeux je suis coupable, elle m'a tout prédit d'avance, si je l'avais vue je n'aurais rien eu à lui répondre“ <„В ее глазах я виновен, она мне все предсказала заранее, если бы я ее увидел, мне было бы нечего ей отвечать“> в отношении к нему и несколько раз повторял, что оно глубоко огорчило его... „Votre famille que j'estimais de cœur, votre frère surtout que j'aimais, dans lequel j'avais confience, m'abandonnait en devenant mon ennemi sans même vouloir m'entendre ni me donner la possibilité de me justifier – c'était mal à lui, c'était cruel“ <Ваше семейство, которое я сердечно уважал, ваш брат в особенности, которого я любил, которому доверял, покинул меня, стал моим врагом, не желая меня выслушать и дать мне возможность оправдаться, – это было жестоко, это было дурно с его стороны“> – и в этом, Саша, я с ним согласен, ты нехорошо поступил. Он прибавил: „Ma justification complète ne peut venir que de

M-me Pouchkine, dans quelques années, quand elle sera calme, elle dira peut-être que j'ai tout fait pour les sauver et que si je n'y ai pas réussi, cela n'a pas été de ma faute“ <„Мое полное оправдание может прийти только от г-жи Пушкиной; через несколько лет, когда она успокоится, она скажет, быть может, что я сделал всё возможное, чтобы их спасти, и что если это мне не удалось — не моя была в том вина“> и т. д. Разговор и гулянье наши продолжались от 8 до 11 часов вечера. Бог их рассудит, я буду с ним знаком, но не дружен по-старому — c'est tout ce que je puis faire <это все, что я могу сделать>» (Там же. С. 317—318).

Через несколько дней Андрей Карамзин встретился с убийцей Пушкина на балу:

«Странно мне было смотреть на Дантеса, — писал он 4(16) июля, — как он с кавалергардскими ухватками предводительствовал мазуркой и котильоном, как в дни былые“ (Там же. С. 319).

Еще через несколько дней состоялось полное примирение, а затем и встреча Андрея Карамзина с Геккерном, о чем он рассказывал в письме от 15(27) июля:

«...за веселым обедом в трактире... Дантес, подстрекаемый шампанским, nous donnait des crampes à force de rire <заставлял нас корчиться от смеха>. Кстати о нем. Il m'a tout à fait désarmé en me prenant par mon faible: il m'a témoigné constamment tant d'intérêt pour toute la famille <Он меня совершенно обезоружил, пользуясь моим слабым местом: он постоянно выказывал мне столько участия ко всему семейству>, он мне так часто говорит про всех вас и про Сашу особенно, называя его по имени, что последние облака негодования во мне рассеялись, et je dois faire un effort sur moi-même pour ne pas être avec lui aussi amical qu'autrefois <и я должен делать над собой усилие, чтобы не быть с ним таким же дружественным, как прежде>. Зачем бы ему предо мною лицемерить? Он уже в России не будет, а здесь он среди своих, он дома, и я для него нуль. На днях воротился сюда старый Геккерн, мы встретились с ним в первый раз у рулетки, он мне почти поклонился, я сделал, как будто бы не заметил, потом он же заговорил, я отвечал как незнакомому, отошел и таким образом отделался от его знакомства. Дантес довольно деликатен, чтоб и не упоминать мне про него» (Там же. С. 320—321).

С. 288. просил позволения... уехать... Геккерн и здесь лжет. См. его письма к К. В. Нессельроде от 30(11) января и 1(13) марта 1837 г. на с. 269—273 наст. изд., а также примеч. на с. 523 наст. изд.

С. 290. муж и жена... Очевидно, речь идет о чете Нессельроде.

С. 291. Шурина *(фр.)*.

С. 294 г. Смирнов... был нелеп. Непонятно, что имеет в виду д'Аршиак. Н. М. Смирнов, как и остальные друзья поэта, находившиеся за границей, был потрясен гибелью Пушкина. В одном из писем Ан. Н. Карамзина рассказывается о столкновении Смирнова с одним из недоброжелателей поэта: «...Медем, член нашего немецкого посольства чуть не выцарапал глаза Смирнову за то, что он назвал Пушкина l'homme le plus marquant en Russie <человеком наиболее значительным в России>, и прибавил; “Pouschkine a fait de jolis vers, c'est vrai, mais sa popularité ne lui est venue que de ses satires contre le gouvernement” <Пушкин писал изящные стихи, это правда, но его популярность произошла только от его сатир на правительство>. Жаль, что он не сказал этого мне; я бы осадил ревельскую селедку! Уж эти немцы безотечественные, непричастные русской славе и русским чувствам, долго ли им хмелиться на чужом пиру? Как ни сойдемся, всё

говорим про одно, и разойдемся, грустные и сердитые на Петербург!» (*Карамзины.* С. 401).

С. 300. состоял среди приверженцев... герцогини Беррийской. Этот эпизод из биографии Дантеса оспаривается. 4(16) августа 1837 г. А. И. Тургенев писал Вяземскому из Киссингена: „Я узнал и о его происхождении, об отце и семействе его; все ложь, что он о себе рассказывает и что мы о нем слыхали: его отец — богатый помещик в Эльзасе — жив и, кроме его, имеет шестерых детей; каждому достанется после него по 200 тысяч франков. С Беррийской дюшессой он никогда не воевал и на себя налгал. Об отношениях его к Геккерну и она <т. е. великая княгиня Мария Павловна, о которой Тургенев пишет выше. — *Я. Л.*> слыхала; но]В не могла *объяснить* мне их, и я о главном должен умолчать" (*ЛН.* Т. 58. С. 148).

С. 301. События 1815 года — битва при Ватерлоо и падение Наполеона.

С. 303. Из слов Луи Метмана следует, что дуэль была спровоцирована *анонимными письмами,* которые Пушкин получил в январе. Эту точку зрения разделял не только Щеголев (см. с. 112), но и другие исследователи, например М. И. Яшин (см.: *Яшин. Хроника.* № 9. С. 174—176). Предполагалось, что в январе Пушкин получил письмо, сообщавшее о свидании Н. Н. Пушкиной с Дантесом. После того, как С. Л. Абрамович отнесла свидание ко 2 ноября, этот довод отпадает. В доказательство того, что новые анонимные письма *были,* Яшин приводил *военно-судное дело* о дуэли Пушкина. В числе заданных Дантесу вопросов был такой: „Кто писал в ноябре и после того к г. Пушкину письма от неизвестных и кто виновник оных" (*Военно-судное дело,* С. 75). Скорее всего, аудитор Маслов, составлявший вопросы, знал, что анонимное письмо было получено в ноябре и что писем было несколько, но не разобрался в том, что это были идентичные письма, отправленные в один день, — потому и спрашивал о письмах, полученных „после". Следов январских писем нет ни в переписке, ни в воспоминаниях лиц из ближайшего окружения Пушкина. Не упоминает о них и Жуковский в своих конспективных заметках — это позволяет считать, что их не было.

С. 304. почерк... менялся постоянно... Дошедшие до нас два экземпляра анонимного пасквиля написаны одним почерком.

С. 304. Письма Е. Н. Гончаровой к брату Дмитрию из-за границы (из Сульца, Баден-Бадена) и комментарий к ним см. в кн.: *После смерти Пушкина.* С. 261—322. Судя по этим письмам, жизнь Екатерины Николаевны не была столь безоблачной, как это изображает Луи Метман. Перед свадьбой Екатерины Дмитрий Гончаров как глава семьи дал Геккерну обязательство выплачивать сестре ежегодно 5000 руб. Для разоренной семьи это было тяжелым бременем, и деньги не всегда вовремя приходили в Сульц, где жили Геккерны. Письма Екатерины Николаевны полны просьб о своевременной присылке этих денег. В денежные дела вмешивался и Жорж Геккерн. Приводим его бесцеремонное письмо к Д. Н. Гончарову от 11 июля 1843 г.:

„Любезный Димитрий,

так как бумага, которую вы послали Катрин через госпожу вашу матушку, касается только денежных вопросов и так как моя дражайшая славная жена в них совершенно ничего не понимает, я счел уместным ответить сам, чтобы изложить вам мои соображения.

Я прочел с самым большим вниманием подробный отчет о состоянии ваших дел и, вспоминая различные разговоры, которые у меня были с Жаном <И. Н. Гончаровым> по этому предмету, я вижу, что, хотя он и описал это положение в очень мрачных тонах, он, к несчастью, был весьма далек от печальной действительности.

Скажу вам откровенно, что положение вашей сестры самое плачевное; не желая сейчас начинать с вами спора по тем статьям, которые, как вы утверждаете, изложены в бумаге, что вы мне прислали, я буду говорить только о содержании, которое вы должны выплачивать Катрин, совершенно определенном обязательстве, взятом вами во время моей женитьбы, когда ваше состояние было уже так же расстроено, как и теперь. Поэтому замечу вам, что для такого человека, как вы, привыкшего к коммерческим сделкам, и который, следовательно, должен понимать значение обязательств, вы действовали в отношении меня весьма легкомысленно. Действительно, зачем предлагать мне то, что вы не хотели мне давать? Бог свидетель, однако, что, женясь на вашей сестре, я имел более благородное чувство в душе, нежели деньги! Кроме того, вы должны помнить, что это вопрос, который я лично даже не хотел обсуждать; но, поскольку обязательство было взято, я счел себя вправе на него рассчитывать; отсюда мои затруднения.

Я изложу вам наше положение с полной откровенностью и предоставлю вам судить о нем! После нашего возвращения во Францию барон, чтобы дать мне занятие, поручил мне управление частью своих имений, кроме того, он мне предоставил сумму в <...> (В подлиннике сумма не указана. — *Я. Л.*) на обзаведение и содержание семьи; естественно, в эту сумму входили и пять тысяч Катрин. Теперь, поскольку этой суммы нам недоставало с крайне огорчительным постоянством, а я не хотел ни в чем ограничивать комфорта, к которому привыкла моя славная Катрин, и так как щедрость барона де Геккерна мне это позволяла, я затронул капиталы, которые были мне доверены, рассчитывая позднее покрыть дефицит, когда ваши дела позволят вам уплатить задолженность, в чем, впрочем, Жан неоднократно меня заверял, и вот в качестве утешения я получаю отчет о состоянии ваших дел. Мое положение становится крайне затруднительным. Что же я должен делать? Не могу же я послать этот отчет в Вену, поскольку я всегда заверял барона, во всех моих письмах, что ваши дела идут лучше и что, следовательно, мне заплатят, потому что вы должны не сестре, а барону, который все время выплачивал ей содержание, так что до сих пор она еще никогда не ощущала последствий вашей неаккуратности.

Признаюсь вам откровенно, что мой здравый смысл отказывается понимать, как можно сохранять поместья, когда они столь непомерным образом заложены и перезаложены? Не знаю, любезный друг, как вы ведете дела в вашей стране, но мне прекрасно известно, что во Франции, чтобы спасти остатки подобного состояния, был бы только один способ: продать. Действительно, помимо того, что вы живете в постоянных хлопотах и беспокойстве, основная часть ваших доходов уходит на уплату процентов.

Я даю вам совет, потому что вижу по вашему собственному отчету, что он выполним: поскольку вы продали Никулино — вы можете продать и остальные земли. Но прежде всего, любезный Димитрий, не поймите превратно размышления, которыми я заканчиваю свои

советы: я знаю хорошо, что вы живете в трудах и беспокойстве с единственным и благородным желанием прийти на помощь братьям и сестрам и что, несмотря на это, вам не удается достигнуть благоприятных результатов. Боюсь, что все это происходит от неправильно понятых стараний ведения дел.

Я не хочу брать в качестве примера того, что можно видеть на землях, купленных Жаном. Он мне двадцать раз рассказывал, что его имение приносит ему тридцать с чем-то тысяч рублей дохода в год! Это увеличение 100 на 100 — я видел эту цифру в письмах, адресованных Катрин в период этой продажи (тогда как эта земля давала только от 12 до 15 тысяч рублей, когда она была в ваших руках), — может быть только следствием хорошего управления. Но я ставлю себя на ваше место и утверждаю, что с самым наилучшим усердием в мире почти невозможно успешно заниматься своими имениями и одновременно иметь на ходу такое предприятие, как ваше.

Не могу не возвратиться опять к тому же вопросу: полное прекращение вами присылки денег. Если бы это было вам фактически невозможно, я бы не настаивал, но ваш отчет доказывает мне обратное. Я вижу в статье „*обязательные расходы*“ 10000 рублей для моего отца (Л. Геккерна. — *Я. Л.*), нет ничего более справедливого, затем в статье „*содержание отдельным лицам* — 27500 рублей“ значитесь вы, ваши два брата и Александрина; среди вас должна быть распределена эта сумма, но самая простая справедливость требовала бы, чтобы она была разделена на 5 частей, а не на 4, тогда Катрин имела бы хоть что-нибудь, потому что, поймите бога ради, у нас будет четверо детей, а у вашей сестры даже не на что купить себе шпилек! А так как я прекрасно знаю, что вы слишком справедливы, чтобы не понимать, насколько обоснованы мои требования, я вам предлагаю соглашение, которое могло бы устроить всех. Что помешало бы вам, например, в обмен на официальную бумагу от вашей сестры, по которой она бы отказывалась от отцовского наследства, признать за нею сумму в (сумма в подлиннике не указана. — *Я. Л.*) как спорную между вами, а затем включить ее в число ваших кредиторов. В случае, если для доведения этого дела до конца нам понадобился бы представитель в России, князь Лев Кочубей, с которым я остался в дружеских отношениях, взялся бы, я в этом уверен, вести с вами переговоры. Таким образом, вы обеспечите будущее Катрин, что я в настоящее время не могу ей гарантировать; я не имею даже возможности сделать в ее пользу завещание, не имея еще ничего положительного, лично мне принадлежащего. Мой отец (Дантес-старший. — *Я. Л.*), слава богу, здоров; он мне предоставляет только квартиру и стол; барон, будучи в отношении нас неизменно щедрым, — остается хозяином капитала, так что, если меня не станет, что, надеюсь, не случится, но что возможно, Катрин будет всецело зависеть от опекунов моих детей.

Я кончаю, любезный Димитрий, умоляя вас принять во внимание мои требования и прочесть мое письмо с тем же расположением, какое диктовало мне его, то есть с твердым желанием примирить все интересы, не нанося никому ущерба.

Прошу вас засвидетельствовать мое почтение вашей жене, а вас — принять выражение моих самых сердечных чувств.

Б. Ж. де Геккерн“. (Там же. С. 308—311.)

С. 305. В коллекции П. Н. Беркова находилась вырезка из газеты „Новое время" (1899. 12(24) июня), где была помещена „Беседа с бароном Геккерн-Дантесом-сыном постоянного парижского корреспондента „Нового времени" И. Яковлева" (И. Я. Павловского). Приводим рассказ Дантеса-сына о Леонии-Шарлотте: „Знаете ли, что у меня была сестра — она давно покойница, умерла душевнобольной. Эта девушка была до мозга костей русская. Здесь в Париже, живя во французской семье, во французской обстановке, почти не зная русских, она изучила русский язык, говорила и писала по-русски получше многих русских. Она обожала Россию, и больше всего на свете — Пушкина". К этой вырезке из „Нового времени" была сделана приписка неизвестной рукой: „У Леонии-Шарлотты комната была обращена в молельню. Перед аналоем висел большой портрет Пушкина, на стенах были другие его портреты. Дочь Дантеса молилась перед портретом своего дяди, в которого была влюблена. С отцом она не говорила после одной семейной сцены, когда назвала его убийцей Пушкина. Сумасшествие ее было на почве загробной любви к дяде. Стихи Пушкина она знала наизусть. А. Ф. Отто (Онегин-Отто. — *Я. Л.*) видел ее до болезни; он считал ее девушкой необыкновенной" (Берков П. Н. О людях и книгах. М., 1965. С. 64—65).

С. 306. Симфония в белом мажор (*фр.*).

VII. Иностранные дипломаты о дуэли и смерти Пушкина

С. 312. Обращение Баранта *к Пушкину* включено в переписку поэта (см.: *Акад.* Т. 16. С. 196—197). Здесь же ответ Пушкина (С. 199—201).

С. 312. Зарубежные события. Россия, политическая корреспонденция (*фр.*).

С. 313. „Жизнь и письма первого графа Дерама". Лондон (*англ.*).

С. 314—315. Фикельмон явно не знает, что Николай I переменил свое решение и бумаги Пушкина Жуковский просматривал вместе с жандармским генералом Дубельтом. Очевидно, друзья Пушкина скрывали факт „посмертного обыска".

С. 315. S — А. О. Смирнова-Россет.

С. 317. Так трансформировались в обществе слухи о *прощении,* которое просил у царя перед смертью Пушкин (см. примеч. на с. 495 наст. изд.).

С. 318. полковник русской службы. Данзас был подполковником. За участие в дуэли он содержался в крепости на гауптвахте два месяца.

С. 319. Иронический рассказ о *распродаже* имущества Геккерна содержится в письме П. А. Вяземского к Э. К. Мусиной-Пушкиной от 16 февраля 1837 г.: „Папаша его <Дантеса> расторговался, продает свою квартирную обстановку, все ездят к нему на аукцион в мебельном складе; купили даже стул, на котором он сидел" (Сев. край, 1899, 14 ноября, № 331). То же рассказывает и Н. М. Смирнов в своих „Памятных заметках": „Барон Геккерен, голландский посланник, должен был оставить свое место. Государь отказал ему в обыкновенной последней аудиенции, и семь осьмых общества прервали с ним тотчас знакомство. Сия неожиданная развязка убила в нем его

обыкновенное нахальство, но не могла истребить все его подлые страсти, его барышничество: перед отъездом он публиковал о продаже всей своей движимости, и его дом превратился в магазин, среди которого он сидел, продавая сам вещи и записывая сам продажу. Многие воспользовались сим случаем, чтоб сделать ему оскорбления. Например, он сидел на стуле, на котором выставлена была цена; один офицер, подойдя к нему, заплатил ему за стул и взял его из-под него" (*П. в восп. 1974*. Т. 2. С. 242).

С. 320. Отбывший в отпуск (*фр.*).

С. 321. Французские фразы *в дневнике Пушкина* переводятся: „Не знаю почему, только о Дании нет речи в комедии"... „Не более, чем в Европе". В пьесе Скриба под видом истории датского министра Струензе изображается картина революции применительно к Июльской революции 1830 г. во Франции.

С. 321. Пушкин и Дантес стрелялись *на расстоянии* 10 шагов — см. „Условия дуэли..." на с. 131.

С. 324. Щеголев публиковал *депеши Гогенлоэ* по копиям, полученным из Главного государственного архива в Штутгарте. В копиях имеется несколько пропусков, сделанных, очевидно, по дипломатическим соображениям. Публикацию подлинных документов см.: Глассе А. Дуэль и смерть Пушкина по материалам вюртембергского посольства//*Врем. ПК*, 1977. Л., 1980. С. 5—35. Хронологически более широкий круг материалов, исходящих от Гогенлоэ, см.: Глассе А. Пушкин и Гогенлоэ: По материалам Штутгартского архива//*П. Исслед.* Т. 10. С. 356—375. Здесь же обстоятельная биография Гогенлоэ и анализ его связей в литературных и светских кругах Петербурга.

С. 325. во всех классах общества столицы. Дальше в подлиннике следует (здесь и ниже приводим русские переводы текста, сделанные А. Глассе): «И это еще раз убеждает, насколько чисто русская партия с каждым днем входит в силу и выигрывает в спорах» (*Врем. ПК*. 1977. С. 14).

С. 325. чисто русская партия, к которой принадлежал Пушкин... Дальше в подлиннике следует: «хотя правительство императора, без сомнения, не должно сожалеть о человеке, который в своих сочинениях постоянно проповедовал свободу и даже несколько раз нападал на высокопоставленных лиц, имея в виду их нравственность и их политические мнения. Назначение Пушкина историографом было только средством связать его перо и отвратить его от поэзии, в которой каждый стих выражал чувства, мало соответствующие тем, какие хотели бы видеть у большинства нации» (Там же. С. 12).

С. 325. изменила настроение умов в пользу Пушкина... Дальше в подлиннике: «и было бы неблагоразумно бросать вызов этой партии, обнаруживая хотя бы малейшую симпатию к предмету ее ненависти. Время принесет успокоение умам, но никогда в русских сердцах не удастся пробудить вполне сочувственное отношение к иностранцам» (Там же. С. 12).

С. 327. История текста этой *„Заметки о Пушкине"* примечательна. В 1973 г. по микрофильму, полученному из нидерландского Гос. архива, было опубликовано донесение о Пушкине, составленное поверенным в делах нидерландского посольства Геверсом (заменившим Геккерна). Н. Я. Эйдельман, опубликовавший текст донесения Геверса, заметил, что он является „близнецом" „Заметки о Пушкине", присланной из архива вюртембергского министерства иностранных

дел в Штутгарте. „Основная часть обоих текстов совпадает дословно; в <...> штутгартской рукописи есть отрывки, отсутствующие в донесении И.-К. Геверса; наоборот, у нидерландского дипломата есть строки, отсутствующие в „Записке“ из Вюртемберга“. Анализ текстов двух документов привел исследователя к выводу, что источником „Заметки о Пушкине“, составленной Гогенлоэ, „вероятно, послужил первый, черновой вариант донесения Геверса“ (Эйдельман Н. Я. Секретное донесение Геверса о Пушкине// *Врем. ПК,* 1971. Л., 1973. С. 9, 19). С Эйдельманом не согласна А. Глассе, которая приводит убедительные доводы в пользу того, что „Заметка о Пушкине“ — первична, а донесение Геверса является редакцией, которую Гогенлоэ „любезно предоставил дипломату“ (Глассе А. Дуэль и смерть Пушкина по материалам архива вюртембергского посольства// *Врем. ПК,* 1977. Л., 1980. С. 21—35). Приводим для сравнения текст депеши Геверса, который в свое время Щеголеву не удалось получить.

С.-Петербург, 2 мая/20 апреля 1837 г.

Личное.

Его превосходительству барону Ферстолку де Сулену,
министру иностранных дел

Господин барон!

Тягостная задача — говорить о прискорбной катастрофе, жертвой которой стал г. Пушкин, но мне представляется, что долг мой — не скрывать от Вашего превосходительства то, как высказывается общественное мнение по поводу гибели этого выдающегося человека, являющегося литературной славой своей страны. Достаточно обрисовать характер г. Пушкина и его как личность, чтобы дать Вашему превосходительству возможность судить о степени популярности, завоеванной поэтом. С этой единственной целью я и постарался вкратце и беспристрастно изложить здесь различные мнения, высказанные в связи с этим, которые мне удалось собрать.

Посещая салоны столицы, я был поражен бесцеремонностью, проявляемой в отношении всего, касающегося дуэли и обстоятельств, ей предшествовавших. Как литератор и поэт, Пушкин пользовался высокой репутацией, еще возросшей в силу трагизма его смерти; но как о представителе слишком передовых воззрений на порядки своей страны соотечественники судили о нем по-разному. Мне думается, что причины такого различия мнений нетрудно понять. Для каждого, кто, живя в России, мог изучить разнообразные элементы, из которых состоит общество, а также его обычаи и предрассудки, — знакомство с биографией Пушкина и чтение его произведений легко объясняет, почему их автор мало почитаем некоторой частью аристократии, тогда как остальное общество превозносит Пушкина до небес и оплакивает его смерть как непоправимую национальную утрату.

Колкие и остроумные намеки, почти всегда направленные против высокопоставленных лиц, которые изобличались либо в казнокрадстве, либо в пороках, создали Пушкину многочисленных и могущественных врагов. Такова убийственная эпиграмма на Аракчеева по поводу девиза на гербе этого всесильного министра, сатира против министра народного просвещения Уварова — сочинение, которое своим заглавием — „Подражание Катуллу“ — усыпило обычную бдительность цензуры и появилось в одном из литературных журналов; ответ Булгарину, где, защищаясь от упрека в аристократизме, Пушкин напал на влиятельнейшие дома России: вот истинные преступления

Пушкина, преступления, усугубленные тем, что противники были сильнее и богаче его, были в родстве с знатнейшими фамилиями и окружены многочисленной клиентурой. Им было нетрудно вызвать настороженность властей, так как направление пушкинских сочинений давало его врагам достаточный повод для доносов. Вот, повторяю, истинные причины той антипатии, которую питала к Пушкину в течение всей его жизни некоторая часть знати (и особенно высшие должностные лица),—антипатии, которая не угасла и с его смертью. Это объясняет и то, почему Пушкин, казалось, пользующийся милостью монарха, не переставал оставаться под надзором полиции.

А молодежь, как всегда пылкая, наоборот, приветствовала либеральные, лукавые, порой скандальные сочинения этого автора,—правда, неосторожного, но смелого и остроумного. Также и многочисленный класс чиновников, являющийся своего рода третьим сословием, спешил аплодировать и ныне прославляет человека, в чьих сочинениях многие находили верное отражение собственных чувств, и Пушкин стал для них, быть может, сам того не зная, символом неизменной оппозиции.

Пушкин родился в Москве в 1799 г. и принадлежал по отцу к одной из древнейших фамилий. Его дед по матери (по происхождению негр, подобранный или купленный Петром Великим и привезенный в Россию еще ребенком) звался Анибал; при Екатерине II он достиг адмиральского чина, был победителем при Наварине, его имя и славные деяния начертаны на полуростральной колонне, воздвигнутой в Царском Селе. Именно в Царскосельском лицее воспитывался Пушкин. Его густые и курчавые волосы, смугловатая кожа, резкие черты, пылкий характер—все выдавало наличие в нем африканской крови, и уже в ранней его молодости сказались те буйные страсти, которыми он был обуреваем впоследствии. В 14 лет он написал стихотворение „Царское Село“, а также „Послание Александру I“—сочинения, которые были отмечены его учителями. Исключенный вскоре после того из лицея за мальчишеские проказы, Пушкин выпустил „Оду свободе“ и затем, одно за другим, целую серию произведений, пропитанных тем же духом. Это привлекло к нему внимание общества, а позднее—и правительства. Ему было предписано покинуть столицу—местопребыванием ему назначена была сначала Бессарабия, а затем он в течение пяти лет, до самой смерти императора Александра, оставался у графа Воронцова в Одессе. По настоятельным просьбам историографа Карамзина, преданного друга Пушкина и настоящего ценителя его таланта, император Николай, взойдя на трон, призвал поэта и принял его самым ласковым образом, о чем можно судить по ответу императора на замечание по этому поводу князя Волконского: „Это не прежний Пушкин, это Пушкин раскаивающийся и искренний,—мой Пушкин, и отныне я один буду цензором его сочинений“. Тем не менее до самой своей смерти писатель оставался под надзором секретной полиции. В 1829 г. Пушкин сопровождал князя Паскевича во время турецкой кампании, а в следующем, холерном, году он женится на замечательной красавице мадемуазель Гончаровой, чей дед, возведенный в дворянство, был прежде купцом. После женитьбы Пушкин вернулся в Санкт-Петербург, жена его была принята при дворе, и некоторое время спустя ему дали чин камер-юнкера. Пушкин всегда проявлял глубокое презрение к чинам и ко всяким милостям вообще. Но с тех пор,

как его жена стала бывать при дворе, резкость его убеждений как будто смягчилась. Будучи назначен камер-юнкером, он счел себя оскорбленным, находя этот ранг много ниже своих заслуг; его взгляды приняли прежнее направление, и он опять перешел в оппозицию. Его сочинения в стихах и прозе многочисленны, и среди них особенно примечательны „Цыгане“, небольшое стихотворение, пушкинский шедевр, который русские считают образцом совершенства в этом жанре; мелкие стихотворения под заглавием „Байрон“ и „Наполеон“ <имеется в виду стихотворение „К морю“> также признаются прекрасными. Кроме того, он издавал литературный журнал „Современник“ и по приказу императора несколько лет работал над историей Петра Великого.

По мнению литераторов, стиль у Пушкина вообще блестящий, ясный, легкий и изящный. Пушкина рассматривают вне всяких школ, на которые делится ныне литературный мир. Как личность гениальная, он умел черпать красоты из каждого жанра. И, наконец, в России он — глава школы, ни один из учеников которой не достиг до сей поры совершенства учителя.

У него был буйный и вспыльчивый характер; он любил, особенно в молодости, азартные игры и острые ощущения, но позже годы начали умерять его страсти. Он был рассеян, разговор его был полон обаяния для слушателей. Но вовлечь его в беседу было нелегко. Заговорив же, он выражался изящно и ясно, ум у него был язвительный и насмешливый.

Его дуэль с бароном Геккерном (д'Антесом) и обстоятельства, которые сопровождали его смерть, слишком хорошо известны Вашему превосходительству, чтобы нужно было здесь говорить об этом. В письме, которое Пушкин написал моему начальнику и которое явилось причиной дуэли, едва можно узнать писателя, язык которого чист и почти всегда пристоен, — он пользуется словами мало приличными, внушенными ему гневом, и это показывает, до какой степени Пушкин был уязвлен и как далеко увлекла его пылкость характера!

Задолго до гибельной дуэли анонимные письма на французском языке, марающие добродетель его жены и выставляющие Пушкина в смешном виде, были разосланы всем знакомым поэта, либо через неизвестных слуг, либо по почте. Некоторые пришли даже из провинции (например, письмо к госпоже де Фикельмон) <Геверс путает, письмо получила мать Фикельмон — Е. М. Хитрово>, причем под адресом, явно подделанным почерком, стояла просьба передать их Пушкину. Именно в связи с этими письмами господин Жуковский, наставник наследника, пенял Пушкину, что тот слишком близко принимает к сердцу эту историю, и добавлял, что свет убежден в невиновности его жены. „Ах какое мне дело, — ответил Пушкин, — до мнения графини такой-то или княгини такой-то о невиновности или виновности моей жены! Единственное мнение, с которым я считаюсь, — это мнение среднего сословия, которое ныне — одно только истинно русское, а оно обвиняет жену Пушкина“.

Таковы, господин барон, сведения, которые мне удалось собрать о личности поэта; надеюсь, что их достаточно для того, чтобы объяснить Вашему превосходительству, насколько популярность Пушкина и литературные надежды, которые он унес с собой в могилу, повлияли на выражение общественного мнения по поводу причин его смерти и насколько это обстоятельство оказалось прискорбным

по своим последствиям для г. Геккерна. Своего рода национальное самолюбие вызвало участие, относящееся только к поэту, а не к частному лицу; и поклонники, и враги писателя — все единодушно жалеют его как жертву несчастья, порожденного столь же недоброжелательством, сколь самым непостижимым и неосмотрительным легкомыслием.

Точность, с которой я пытался изложить эти детали, их подлинность, за которую, мне кажется, я могу поручиться, — все это заставляет меня желать, чтобы чтение настоящего письма представило некоторый интерес и заслужило внимание Вашего превосходительства.

Имею честь быть Вашего превосходительства покорнейший слуга. *Геверс*

Пользуюсь отъездом английского курьера, чтобы доставить это письмо Вашему превосходительству.

Прилагаемая немецкая газета дает в целом представление о приговоре, вынесенном по делу молодого Геккерна". (*Врем. ПК*, 1971. Л., 1973. С. 14—16).

С. 327. эпиграмма против Аракчеева — „Всей России притеснитель".

С. 327. сатира на Уварова — стихотворение „На выздоровление Лукулла", напечатанное с подзаголовком „Подражание латинскому".

С. 328. ответ Булгарину — „Моя родословная".

С. 328. дед... по отцу... Гогенлоэ ошибается. Родство Пушкина с Ганнибалом шло по материнской линии.

С. 329. Пушкин остается... в Одессе. Гогенлоэ не знает о ссылке Пушкина в Михайловское.

С. 329. Уступая настояниям Карамзина... Гогенлоэ что-то путает. Карамзин ходатайствовал за Пушкина перед высылкой его из Петербурга. После вступления на престол Николая I Карамзин отошел от двора. Умер он 22 мая 1826 г., а Пушкин был привезен с фельдъегерем из Михайловского в Москву 8 сентября.

С. 344. Из Петербурга сообщают 12 февраля: „Только что одно из самых трагических событий взволновало все общество этой столицы. Прославленный г. Пушкин — литератор и самый знаменитый поэт России был убит на дуэли свояком г. д'Антесом, французским офицером на русской службе, приемным сыном иностранного посланника, аккредитованного при российском дворе. Семейная ссора, поначалу утихшая, но которую коварство поспешило снова разжечь и обострить, заставила г. Пушкина вызвать на дуэль г. д'Антеса. Дуэль состоялась на пистолетах. Пушкин был смертельно ранен пулей, пронзившей ему грудь, но прожил еще два дня. Его противник тоже был тяжело ранен.

Много говорят о бале, данном здесь недавно г. бароном де Барантом, и т. д." (*фр.*).

С. 344. „„Morning Chronicle" рассказывает также о причинах дуэли, которая состоялась в С.-П. между г. д'Антесом и знаменитым русским поэтом Пушкиным.

Г. д'Антес, молодой француз, недавно усыновленный голландским посланником при российском дворе бароном де Геккереном, женится на сестре г-жи Пушкиной. Но вскоре его внимание и любовь были перенесены на саму г-жу Пушкину. Оскорбленный муж вызвал свояка на дуэль и был убит в этом роковом поединке, который очень огорчил императора.

Другая газета сообщает о приказе императора, чтобы барон д'Антес предстал перед военным судом, так как, покинув службу во Франции после Июльской революции, д'Антес получил довольно высокий чин в русской императорской гвардии» (*фр.*).

С. 344. «Из С.-П. сообщают: „Перед смертью Пушкин просил имп. Николая о покровительстве своей жене, которую признавал невиновной, и своим детям, которых он оставлял без средств. Вместо ответа имп. послал к нему своего духовника, который спросил его, будет ли он, умирая, упорствовать в своих атеистических мыслях, которые исповедовал всю жизнь. После того, как Пушкин ответил, что он раскаивается и отрекается от своего материализма, ему сообщили перед смертью, что имп. назначает пенсию в две тысячи рублей его вдове и что все его дети будут помещены в государственные заведения"» (*фр.*).

С. 344. под влиянием... государя. См. примеч. на с. 497 наст. изд.

VIII. Рассказ князя А. В. Трубецкого об отношениях Пушкина к Дантесу

С. 353. Здравствуй (*фр.*).

С. 354. Очень срочно (*фр.*).

С. 354. Любовная записка (*фр.*).

С. 354. Опровержения (*фр.*).

С. 354. Забавных рассказов (*фр.*).

С. 358. Позднее *дневник А. Н. Вульфа* был напечатан отдельным изданием: Вульф А. Н. Дневники: Любовный быт пушкинской эпохи. М., 1929.

С. 358. Предположение Щеголева не может быть принято. Известно только одно свидание Н. Н. Пушкиной с Дантесом на квартире И. Полетики 2 ноября 1936 г. (см. выше, с. 469). Попытка Щеголева подтвердить рассказ Трубецкого тем, что *„слухи о возможном браке Дантеса... распространились еще до 4 ноября"*, опровергнута обращением к автографу письма О. С. Павлищевой (см. выше, с. 477). Это подтверждает и письмо Е. А. и С. Н. Карамзиных, которые узнали о сватовстве Дантеса только в середине ноября (см. с. 478).

С. 359. Запись Жуковского прочитана неверно. Вместо „неизвестное" следует читать „незнание"(см. выше, с. 520).

С. 359. Верную оценку воспоминаниям Трубецкого дала А. Ахматова: „Щеголев недооценил мемуары Трубецкого, — пишет она. — Все, что там сообщено, говорит не Трубецкой, а сам Дантес (и отчасти Полетика, что все равно. <...> Только от самого Дантеса Трубецкой узнал, что Пушкин дрался не за жену, а за свояченицу; это должно было обелить „бедного Жоржа" и втоптать в грязь Пушкина, обесчестившего порученную ему матерью молодую девушку, <...>

Все, что диктует Трубецкой в Павловске на даче, — голос Дантеса, подкрепленный одесскими воспоминаниями Полетики. Трубецкой ни Пушкина, ни его писем, ни сочинений о нем не читал; он по серости своей свято поверил фольклорной истории с поцелуем, углем, лампой, свечкой... усами. Дантес казался ему идеалом остроумия, изящества, умения вести себя с женщинами..." (*Ахматова.* С. 138). О слухах или „сплетнях", порочащих Пушкина, пишет в своих воспоминаниях А. О. Россет (см. наст. изд., с. 363). Сплетни эти достигли и близких Пушкину людей. Их повторяет О. С. Павлищева

(см. с. 60 наст. изд.) и С. Н. Карамзина (см. с. 486 наст. изд.).

С. 361. Эти записки выходят... Издание не осуществилось.

С. 360—363. Воспоминания А. П. Араповой крайне тенденциозны: стремясь оправдать мать, она всячески чернит поэта. В поток порочащих Пушкина измышлений включается и рассказ старой няньки. Свидетельство о нежелании поэта проститься с Александриной опровергается воспоминаниями Данзаса: „Поутру на другой день <после дуэли. — *Я. Л.*>, 28 января, боли несколько уменьшились. Пушкин пожелал видеть жену, детей и свояченицу свою Александру Николаевну Гончарову, чтобы с ними проститься" (*П. в восп. 1974.* Т. 2. С. 331). Правда, Данзас не присутствовал при прощании Пушкина с семейством, а другие мемуаристы вспоминают только, что „детей приносили полусонных" (с. 161 наст. изд.), но приносила именно Александрина. Ее муж барон Г. Фризенгоф писал (со слов самой Александрины) Араповой: „После катастрофы Александра Николаевна видела Пушкина только раз, когда привела ему детей, которых он хотел видеть перед смертью" (Красная нива. 1929. № 24. С. 1).

С. 364. Воспоминания *Е. А. Долгоруковой* (урожд. Малиновской) о предсмертных днях Пушкина (*РА.* 1908. Кн. 3. С. 295; 1912. Кн. 3. С. 87) не подтверждаются (см.: *П. в восп. 1974.* Т. 2. С. 415).

IX. Анонимный пасквиль и враги Пушкина

С. 367. Щеголев неправильно воспроизводит эту надпись. Правильно: „Александру *Сергеичу* Пушкину".

С. 368. не пользовался отношениями... Существует и другое свидетельство. В воспоминаниях Т. О. Немировской-Ситниковой (1867—1949) есть рассказ, записанный ею со слов Ольги Львовны Оборской (1844—1920), дочери Льва Сергеевича Пушкина, племянницы поэта: „Царь Александр I, — пишет она, — оригинально платил Нарышкину за любовь к себе его жены. Нарышкин приносил царю очень красивую книгу в переплете. Царь, развернув книгу, находил там чек в несколько сот тысяч, будто на издание повести, и подписывал этот чек. Но в последний раз, очевидно, часто очень и много просил Нарышкин, царь сказал: „Издание этой повести прекращается". По словам Т. О. Немировской-Ситниковой, О. Л. Оборская слышала этот рассказ от дочери поэта Марии Александровны Пушкиной-Гартунг (1832—1919), которая „была фрейлиной при дворе императрицы Александры Федоровны и знала все придворные романы и интриги, бывшие и раньше и настоящие" (Воспоминания арзамасской учительницы Немировской-Ситниковой находятся в Горьковском литературном музее. Цитирую по статье: *Яшин. Хроника.* № 8. С. 165). Рассказ М. А. Пушкиной — скорее всего, анекдот, но знали его, по-видимому, гораздо раньше, чем М. А. Пушкина появилась на свет. Вполне вероятно, что знал его и Пушкин, живо интересовавшийся придворными анекдотами и отводивший им немалое место в своем дневнике. Известен и другой способ уплаты Нарышкину за бесчестие: он получил рескрипт Александра I и „при сем 300 тысяч рублей" (Русские портреты XVIII и XIX столетия. Спб., 1907. Т. 3. Вып. 1. № 35. М. А. Нарышкина).

С. 370. увлечения... В 1834 г. внимание общества привлекла скандальная история четы Безобразовых. Флигель-адъютант С. Д. Безобразов женился на фрейлине Л. А. Хилковой. Брак оказался несчастливым.

Причиной этого явилось подозрение Безобразова, что жена его была любовницей Николая I. В дневнике Пушкина имеется несколько записей о „семейных ссорах Безобразова с молодою своей женой" (1, 7, 26 января и 17 марта). Об „истории" Безобразовых см.: Цявловский М. А. Записи в дневнике Пушкина об истории Безобразовых // *Звенья.* 1950. Кн. 8. С. 1—15.

С. 370. наказанию... Слух о том, что Пушкин до ссылки был высечен в тайной канцелярии, был распущен Ф. И. Толстым, которого Пушкин, возвратясь из ссылки, вызвал на дуэль. Дело закончилось примирением. Очевидно, после первого издания книги де Култюра кто-то указал ему на допущенную ошибку.

С. 372. в камер-юнкеры. Щеголев цитирует неточно. 1 января 1834 года Пушкин записал в дневнике: „Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры (что довольно неприлично моим летам). Но двору хотелось, чтобы Наталья Николаевна танцевала в Аничкове, так я же сделаюсь русским Dangeau" (*Акад.* Т. 12. С. 318). Пушкин имеет в виду придворные балы в „собственном" (Аничковом) дворце для тесного круга приглашенных, близких ко двору и лично к царской семье (в отличие от балов в Зимнем дворце, куда допускался широкий круг дворянства и даже купечества).

С. 372. В 1910 г. к книге *де Кюстина* мог быть приложен только отрывок из *дневника А. О. Смирновой,* фальсифицированный ее дочерью. См. примеч. на с. 455 наст. изд.

С. 372. Вопрос, почему Пушкин называл себя *русским Данжо,* вкладывая в это определение угрожающий смысл, неоднократно привлекал внимание исследователей и решался по-разному. Первые комментаторы этой записи В. Ф. Саводник и Б. Л. Модзалевский в угрожающей формуле Пушкина („Так я же сделаюсь...") видели ироническое отношение к его новому придворному званию. (См.: Саводник В. Ф. Вступительная статья // Пушкин А. С. Дневник. 1833—1835 гг. / Под ред. В. Ф. Саводника и М. Н. Сперанского. М.; Пг., 1923. С. 20; Модзалевский Б. Л. Предисловие // Пушкин А. С. Дневник. 1833—1835 / Под ред. и с объяснит. примеч. Б. Л. Модзалевского. М.; Пг., 1923. С. 4). Д. П. Якубович истолкование этой фразы перенес в план личной жизни Пушкина. В угрозе Пушкина он (так же как и Щеголев) увидел сходство его судьбы с участью рогоносца минувшей эпохи (см.: Якубович Д. П. Дневник Пушкина // Пушкин. 1834. Л., 1934. С. 31—35). Б. В. Казанский видел смысл записи в сопоставлении „анекдотического" содержания мемуаров Данжо и интереса к анекдоту (т. е. изображению нравов прошлой эпохи и современных) в дневнике Пушкина. Ясность в истолкование записи внесла Л. В. Крестова. На основании материалов, доказывающих, что Данжо воспринимался современниками Пушкина как писатель-обличитель и что его хроника имела значение для широких политических выводов, Крестова пришла к выводу, что, называя себя „русским Данжо", Пушкин сознательно выполнял ту роль, которую Данжо осуществил непреднамеренно" (Крестова Л. В. Почему Пушкин называл себя „русским Данжо"? К вопросу истолкования „Дневника" // *П. Исслед.* Т. 4. С. 276).

С. 373. Запись *Корфа* см. в кн.: *П. в восп. 1974.* Т. 1. С. 122. А. Ахматова считает, что „разговор царя с Натальей Николаевной был для Пушкина чуть не последней каплей, переполнившей чашу", и что разговор этот означал, „что по-тогдашнему, по-бальному, по-зимне-

дворскому жена камер-юнкера Пушкина вела себя неприлично" (*Ахматова.* С. 120). С. Л. Абрамович, комментируя этот разговор, пишет: „И слова благодарности, с которыми обратился к царю Пушкин, не случайно запомнились Николаю I навсегда. То, что сказал поэт, в сущности, было немыслимой дерзостью. Примерно так же поблагодарил Пушкин за три года до этого великого князя Михаила Павловича, поздравившего его с камер-юнкерством: „Покорнейше благодарю, ваше высочество; до сих пор все надо мною смеялись, вы первый меня поздравили". В благодарственных словах поэта, записанных в 1848 г. Корфом, угадывается та же игра в простодушие, едва прикрывавшая откровенную дерзость. С членами императорской семьи никто, кроме Пушкина, не осмеливался говорить в таком тоне" (*Абрамович.* С. 182—183).

С. 375. Он был похож на блуждающий огонек (*фр.*).

С. 377. m-lle Гончаровой. Правильно: М-г Гончарова (см. примеч. на с. 477 наст. изд.).

С. 378. Avec un M. — с М. (*фр.*).

С. 379. Все общество (*фр.*).

С. 379. Всегда и везде все те же (*фр.*).

С. 379. У нас естественно возник сюжет (*фр.*).

С. 379. развлечениях (*фр.*).

С. 379—380. Щеголев цитирует *письмо* Андрея *Карамзина* родным от 26 июня (8 июля) 1837 г. (полный текст см. с. 528—529).

С. 381. бесспорные свидетельства Щеголева оказались несостоятельными (см. выше, примеч. на с. 477 наст. изд.).

С. 381. Щеголев имеет в виду Софью Петровну *Свечину* (урожд. Самойлову, 1782—1857), жену Николая Сергеевича Свечина (1759—1857), бывшего петербургского военного губернатора, проживавшего с 1815 г. с женой в Париже. С. П. Свечина перешла в католичество и имела в Париже широко известный католический салон.

С. 382. Это совпадение, вопреки мнению Щеголева, подтверждает догадку Ахматовой, что мы имеем дело с „версией Дантеса", которую тот распространял среди близких ему людей.

С. 383. другого черновика... Щеголев цитирует второй перебеленный текст письма Пушкина к Геккерну, писавшегося между 17 и 21 ноября и разорванного 25 января, когда на основе этого текста Пушкин написал оскорбительное письмо Геккерну, вызвавшее дуэль. Приводим этот текст в более правильном чтении и переводе Н. В. Измайлова: „...удар, казавшийся <....> <ано>нимное письмо было составлено <..> я получил три экземпляра <....> был разослан <.....> было сфабриковано с такой неосторожностью <....> первого взгляда я напал на сле<д> <..> <ав>тора. Я больше не беспокоился об этом, я был <..> найду негодника" (*Письма последних лет.* С. 204. Здесь же, на с. 356, см. сопоставительный анализ ноябрьского и январского писем).

С. 384. Скандал (*фр.*).

С. 385. Щеголев исходит из предположения, что это *письмо к Бенкендорфу* было отправлено Пушкиным по назначению. В действительности оно было найдено в кабинете Пушкина после его смерти и адресовано Бенкендорфу (см. примеч. на с. 483—484 наст. изд.), а не Нессельроде, как пишет Щеголев ниже.

Когда книга Щеголева была уже в наборе, он нашел документ, вносящий новый эпизод в историю дуэли. Это следующая запись

в камер-фурьерском журнале, сделанная 23 ноября 1836 г.: „10 минут 2-го часа его величество одни в санях выезд имел прогуливаться по городу и возвратился в 3 часа во дворец. *По возвращении его величество принимал генерал-адъютанта графа Бенкендорфа и камер-юнкера Пушкина*". По поводу этой записи Щеголев писал: „У нас не было никакого представления об этом свидании в неурочное время поэта с царем в присутствии шефа жандармов. Никто из трех лиц, беседовавших 4 ноября в 4-м часу дня 23 ноября 1836 года в царском кабинете в Зимнем дворце, не проговорился ни одним словом об этом свидании, и если бы бесстрастный камер-фурьер не записал о нем в свой журнал, тайна свидания схоронена была бы на век. Чем вызван был этот чрезвычайный прием, о чем шла речь — мы можем строить только предположения. Попытаемся их высказать. Чрезвычайность приема (после окончания обыкновенного приема, после царской прогулки, в необычное время) свидетельствует о чрезвычайности тех обстоятельств, которые заставили шефа жандармов привести с собой камер-юнкера Пушкина. И, понятно, важность была не в событиях частной жизни Пушкина (из-за этого не стоило бы беспокоить государя!), а в чем-то, совершенно выходящем из пределов. Но вспомним слова Пушкина, сказанные им в салоне княгини В. Ф. Вяземской: „Я знаю автора анонимных писем, и через неделю вы услышите, как будут говорить о мести, единственной в своем роде; она будет полная, совершенная". Вспомним, каким изобразил Пушкина граф Соллогуб, прослушавший 21 ноября его письмо к Геккерну: «<...> Мне кажется, не противоречащим истине будет предположение, что Пушкин доставил-таки начальству <...> свое заявление о том, что автором диплома, позорящего честь и его, Пушкина, и самого царя, является голландский посланник <...>. Создавался неслыханный скандал. Можно предполагать с полной вероятностью, что Бенкендорф попытался урезонить, успокоить Пушкина, но он был в таком настроении, когда никакие резоны на него действовать не могли. Оставался один верховный судья — сам царь. Только он один и мог предотвратить катастрофу. Но ведь и Пушкин жаждал этого свидания <...>. Надо думать, что Пушкин осведомил царя о своих семейных обстоятельствах, о дипломе (как тут себя почувствовал Николай!) и об Геккерене — авторе диплома. Результаты свидания? Они ясны. Пушкин был укрощен, был вынужден дать слово молчать о Геккерене. Его отмщение Геккерену не получило огласки, но на царя известное впечатление он произвел — тут Николай должен был сообразить дальнейшие последствия своих ухаживаний за Натальей Николаевной и оценить поступок голландского посланника <...> с полной уверенностью можно теперь утверждать, что Николай не был неосведомленным относительно происходившего: наоборот, он знал о деле Пушкина больше, чем его друзья, Жуковский и Вяземский. Уж никак нельзя утверждать, что Николай был тут не при чем". „Правда, — заключает Щеголев, — мои выводы — только предположения, но предположения естественные, вытекающие из хода событий, как оно представляется на основании последних моих разысканий" (Щеголев П. Е. Из жизни и творчества Пушкина. М.; Л., 1931. С. 145—146. Впервые // Огонек. 1928. № 24. С. 4—5).

Щеголев считал, что письмо к Бенкендорфу было отослано, а затем и последовал вызов поэта во дворец. Такая точка зрения надолго утвердилась в пушкиноведении. Однако теперь известно, что письмо

адресат получил только после смерти поэта (см. выше, примеч. на с. 483 наст. изд.). Таким образом, не все предположения Щеголева сходятся с фактами. Приводя отрывок воспоминаний Соллогуба, он опускает место, где говорится о последующих действиях Соллогуба. Соллогуб пишет, как он поехал к В. Ф. Одоевскому, где нашел Жуковского, как „рассказал ему про то, что слышал". Жуковский испугался и обещал остановить отсылку письма (*П. в восп. 1974.* Т. 2. С. 304). Одоевский жил в Мошковом переулке, в нескольких шагах от квартиры Пушкина на Мойке. Жуковский, конечно, сразу же, не откладывая на завтра, поспешил к Пушкину. Результатом его посещения и было, по-видимому, общее их с Пушкиным решение — просить аудиенции у государя. Только так можно объяснить, почему эта аудиенция состоялась (при неотосланном письме Пушкина к Бенкендорфу). Итак, была аудиенция, был разговор Пушкина с царем, скорее всего, с глазу на глаз, а не вместе с Бенкендорфом; в результате этого разговора Пушкин не стал посылать Геккерну приготовленное письмо и дал обещание не провоцировать дуэль. Все это составляет значительное звено в истории преддуэльных событий. Однако пунктуальный Жуковский в своих точных заметках все эти события опускает. Высказывалось мнение, что об аудиенции во дворце и об обещании не драться, которое Пушкин дал царю, Геккерны знали, что об этом могла рассказать Дантесу его невеста Екатерина Гончарова (*Абрамович.* С. 178). Заметки Жуковского убеждают нас, что свидание с царем держалось в строжайшей тайне. Жуковский не сказал о нем секунданту Пушкина Соллогубу, который предупредил его об опасности, больше того, он не доверил тайну свидания своим заметкам. Не удивительно поэтому, что об аудиенции не упоминает никто из современников. Они знают, что Пушкин когда-то дал царю слово (за нарушенное слово Пушкин перед смертью просил у царя прощения), но не знают, при каких обстоятельствах это слово было дано. Вяземский рассказывал Бартеневу, как царь, „встретив где-то Пушкина, взял с него слово, что, если история возобновится, он не приступит к развязке, не дав знать ему наперед" (*П. в восп. 1974.* Т. 2. С. 161). О слове поэта, данном царю, писала и Е. А. Карамзина сыну Андрею: „После истории со своей первой дуэлью Пушкин обещал государю больше не драться ни под каким предлогом, и теперь, когда он был смертельно ранен, он послал доброго Жуковского просить прощения у государя в том, что не сдержал слова..." (*Карамзины.* С. 170). Что хотел скрыть Жуковский от тех, кому попадутся в руки его заметки? Наиболее вероятный ответ: роль, которую играл император в дуэльной истории. Царь знал об опасности, грозящей поэту, и не уберег его. Взяв с Пушкина слово, Николай, очевидно, в свою очередь, дал поэту какие-то обещания или заверения. Может быть, приструнить наглого кавалергарда, может быть, найти улики против составителя пасквиля, может быть, выразить свое неудовольствие дипломату. Запись о событиях после первого вызова Жуковский делал в январе 1837 г. В это время уже было ясно, что своего обещания царь не сдержал.

С. 386. так могло быть. Находка автографа с пометой Миллера (см. примеч. на с. 483—484) отводит это предположение Щеголева.

С. 387. Славный господин Робеспьер *(фр.).*

С. 388. Эпиграмма „Встарь Голицын мудрость весил, Гурьев грабил весь народ") ошибочно приписывалась Пушкину.

С. 390. „Другом четырнадцатого" *(фр.).*

„Друзьями четырнадцатого“ Николай I называл декабристов.

С. 390. Аничковский вечер — вечер в Аничковом дворце для узкого круга близких ко двору лиц. Дальше П. В. Нащокин пишет: „Слова эти были переданы, и Пушкина сделали камер-юнкером. Но друзья, Вельегорский и Жуковский, должны были обливать холодною водою нового камер-юнкера: до того он был взволнован этим пожалованием! Если бы не они, он, будучи вне себя, разгоревшись, с пылающим лицом, хотел идти во дворец и наговорить грубостей самому царю. Впоследствии <...> он убедился, что царь не хотел его обидеть, и успокоился“ (*П. в восп. 1974.* Т. 2. С. 192).

С. 391. Мадам Н. и графиня Софья Б. *(фр.).* Возможно, письмо писалось с расчетом, что оно попадет в III отделение и отведет от Геккернов подозрение в составлении пасквиля.

С. 392. о причастности Геккерена... Полемику со Щеголевым по этому вопросу см. ниже (примеч. на с. 546 наст. изд.).

С. 392. В настоящее время можно считать доказанным, что *свидание* Дантеса и Н. Н. Пушкиной состоялось 2 ноября (см. выше, примеч. на с. 469 наст. изд.). В январе Дантес уже не „добивался свидания“. По замечанию Ахматовой, „когда выяснилось, что она <влюбленность в Н. Н. Пушкину. — *Я. Л.*> грозит гибелью карьеры, он быстро отрезвел, стал осторожным, в разговоре с Соллогубом назвал ее mijaurée (кривлякой) и Närrin (дурочкой, глупышкой), по требованию посланника написал письмо, где отказывается от нее (см. выше, с. 482. — *Я. Л.*), а под конец, вероятно, и возненавидел, потому что был с ней невероятно груб и нет ни тени раскаяния в его поведении после дуэли“ (*Ахматова.* С. 114). Ахматова сгущает краски — из писем Карамзиных следует, что Дантес и после женитьбы играл роль влюбленного, но в разговоре с Соллогубом проявилось его раздражение и даже неприязнь к жене поэта. (См.: *П. в восп. 1974.* Т. 2. С. 486).

С. 393. прямых обвинений Геккерена... По этому поводу Ахматова пишет: «Щеголев не прав, когда пишет, что в январском письме не осталось и следа утверждения авторства Геккерна. Фраза „...только под этим условием я <...> не обесчестил вас в глазах нашего и вашего дворов, *как* имел право и намерение“ находится и в ноябрьском черновике в несколько иной форме, но относится прямо к возможности разоблачения Геккерна как автора анонимных писем» (*Ахматова.* С. 131).

С. 394. отказался от доходов... Имеется в виду деревня Кистенево, в которой за Пушкиным числилось 200 душ мужского пола, переданных ему 27 июня 1830 г. отцом „в вечное и потомственное владение“. Эти 200 душ 5 февраля 1831 г. Пушкин заложил в Московском опекунском совете, чтобы дать будущей теще деньги на приданое невесте. 2 мая 1835 г. Пушкин отказался от управления имением, передав доходы от своей части сестре и брату (см.: Щеголев П. Е. Пушкин и мужики. Л., 1928. С. 73–74, 143).

С. 394. С. Л. Абрамович полемизирует со Щеголевым, считая, что поводом *письма* Пушкина *к Канкрину* послужило желание Пушкина „привести в порядок свои дела“ перед дуэлью. „Он сделал попытку, — пишет она, — расплатиться с правительством сразу и сполна, предоставив казне в счет оплаты свое нижегородское имение <...>. При других обстоятельствах Пушкин не пошел бы на это, ведь тем самым он лишал своих детей единственной недвижимости, которая

ему принадлежала. Но в той крайности, в которой он очутился, ему показалось, что он нашел способ разрубить гордиев узел и обеспечить себе свободу действий в отношениях с правительством“ (*Абрамович.* С. 94, 95). Такое объяснение не согласуется с поведением Пушкина перед дуэлью и после нее в январе, когда он беспокоился о материальном положении своей семьи и был благодарен Николаю I за обещание позаботиться о судьбе жены и детей. Щеголев прав. Письмо к Канкрину — „след реакции на сближение имени его жены с царем“ в анонимном письме. Попытка С. Л. Абрамович отвести „намек по царской линии“ неубедительна. Не совсем права она и когда пишет, что „и в свете и в кругу друзей Пушкина появление анонимных писем связывали только с именем Дантеса“ (с. 98). До нас дошли устные рассказы В. А. Соллогуба, относящиеся к дуэльной истории. Один из них записал горячий поклонник поэта Н. И. Иваницкий: «23 февраля 1846. Вот что рассказывал граф Соллогуб Никитенке о смерти Пушкина: „В последний год своей жизни Пушкин решительно искал смерти. Тут была какая-то психологическая задача. Причины никто не мог знать, потому что Пушкин был окружен шпионами: каждое слово его, сказанное в кабинете самому искреннему другу, было известно правительству. Стало быть, что таилось в душе его, известно только богу <..>. Разумеется, обвинения в связи с дуэлью пали на жену Пушкина, что будто бы была она в связях с Дантесом. Но Соллогуб уверяет, что это сущий вздор. <..> Подозревают другую причину. Жена Пушкина была фрейлиной при дворе, так думают, что не было ли у ней связей с царем. Из этого понятно будет, почему Пушкин искал смерти и бросался на всякого встречного и поперечного. Для души поэта не оставалось ничего, кроме смерти“» (*П. в восп. 1974.* Т. 2. С. 482). Иваницкий путает, когда пишет, что Н. Н. Пушкина была фрейлиной (ему, как и другим, известны серальные привычки Николая I), но это не меняет основного смысла рассказа Соллогуба. Соллогубу было ясно скрытое содержание пасквиля, намекавшего не на Дантеса, а на царя. Письмо к Канкрину свидетельствует, что так понял пасквиль и сам Пушкин, — очевидно, именно это и позволило ему считать инициатором его Геккерна. Намек на Дантеса несомненно должен был привести к дуэли — этого посланник (Пушкин считал его составителем пасквиля, мы бы сказали — вдохновителем) не мог не понимать.

С. 395. Щеголев дает неточный перевод письма *Николая сестре* (в оригинале написанного по-французски). Вместо *„знаменитого Пушкина, поэта“* (“trop celebre”) следует читать „пресловутого Пушкина, поэта“. Слово “trop” вносит иронический оттенок в оценку Пушкина (отмечено в статье: Муза Е. В. и Сеземан Д. В. Неизвестное письмо Николая I о дуэли и смерти Пушкина // *Врем. ПК.* 1962. М.; Л., 1963. С. 39). В конце отрывка Щеголев пропустил слово „любопытства“. Конец его следует читать: *„но это не терпит любопытства почты“.*

С. 395. Не нашли этого *письма принцу Оранскому* и голландские исследователи И. Баак и П. Грюйс, опубликовавшие в 1937 г. некоторые, неизвестные прежде, материалы из Государственного архива Нидерландов, связанные с Геккерном и Дантесом (см. примеч. на с. 516 наст. изд.). Письмо, которое „не терпит любопытства почты“, вероятно, до сих пор хранится в недоступных исследователям западноевропейских архивах, однако Н. Я. Эйдельман, рассудив, что детали письма Николая могут „просвечивать“ в ответных письмах голланд-

ского принца, обратился к архивам Зимнего дворца и нашел несколько писем Вильгельма Оранского к Николаю I в Центр. гос. архиве Октябрьской революции, высших органов гос. власти и органов госуправления СССР (ЦГАОР, ф. 728 (рукописное собрание библиотеки Зимнего дворца), оп. 1, № 1466, часть VIII. Письма принца Вильгельма Оранского к императору Николаю I. 1813—1839; на французском языке) и опубликовал отрывки из пяти писем от октября 1836—февраля 1837 (Эйдельман Н. Я. О гибели Пушкина: По новым материалам//Новый мир. 1972. № 2. С. 201—211; Ср.: Эйдельман Н. Я. Нидерландские материалы о дуэли и смерти Пушкина//Записки ОР ГБЛ. Т. 35. С. 196—247. Пушкинский праздник. Спец. выпуск „Лит. газеты" и „Лит. России". 1971. 2—9 июня. С. 12). Публикуемые им письма приводят к любопытным выводам. Рассказывая Вильгельму о дуэли поэта, царь, по-видимому, пользовался аргументацией Пушкина, т. е. некоторые мотивы письма Пушкина к Геккерну от 26 января 1837 г., бывшего поводом к дуэли (о гнусном поведении Геккерна, о двусмысленности усыновления им Дантеса), повторяются в письме Вильгельма. После дуэли Пушкина Геккерн был выслан из Петербурга. Однако, как следует из писем, гибель Пушкина была только поводом, позволившим Николаю завершить действием свое давнее недовольство нидерландским посланником, который в официальных депешах своему правительству позволял себе излагать частные разговоры с царем о семейных делах Анны Павловны. Среди этих пяти писем было и письмо, отправленное с курьером, чтобы избежать „любопытства почты". Приводим его текст:

„Дорогой, милый Ники!

Я благополучно получил твое письмо от 15(27) февраля с курьером, который отправился отсюда в Лондон, и я благодарю тебя от всего сердца. Та тщательность и старание, с которыми ты счел нужным сообщить об этой несчастной истории, касающейся Геккерна, являются для меня новым свидетельством твоей старинной и доброй дружбы.

Я признаюсь тебе, что все это мне кажется по меньшей мере гнусной историей, и Геккерн, конечно, больше не может после этого представлять моего отца перед тобою; у нас тут ему уже дана отставка, и Геверс, с которым отправляется это письмо, вернется в Петербург в качестве секретаря посольства, чтобы кто-либо все же представлял перед тобою Нидерланды и чтобы дать время сделать новый выбор. Мне кажется, что во всех отношениях Геккерн не потеря и что мы, ты и я, долгое время сильно обманывались на его счет. Я в особенности надеюсь, что тот, кто его заменит, будет более правдивым и не станет изобретать сюжеты для заполнения своих депеш, как это делал Геккерн.

Здесь никто не поймет, что должно было значить и какую истинную цель преследовало усыновление Дантеса Геккерном, особенно потому, что Геккерн подтверждает, что они не связаны никакими кровными узами. Геккерн мне написал по случаю этого события. Я посылаю тебе это письмо, которое повторяет его депешу к Верстолку, где он знакомит того со всей этой историей; также пересылаю и копию моего ответа (Геккерну), который Геверс ему доставит; я прошу тебя после прочтения отослать все это мне обратно...". На этом основная часть письма заканчивается (цитирую по статье Н. Я. Эйдель-

мана „О гибели Пушкина: По новым материалам». С. 209). Публикуя это письмо, Н. Я. Эйдельман делает следующее заключение: «...из письма Вильгельма видны, по крайней мере, два пласта, составлявших письмо Николая; во-первых, о гнусности и лживости Геккерна <..>, во-вторых, вопрос об усыновлении. Возможно, Николай сообщал Вильгельму и какие-либо неизвестные нам подробности <..>; беспокойство же императора насчет „любопытства почты" является, вероятно, намеком на голландских министров и парламентариев, склонных вмешиваться в личные дела монархов» (Там же. С. 210).

С. 397. Новое толкование пасквиля... Несколько позже об этом писал и Б. В. Казанский в статье „Гибель Пушкина" („Звезда", 1928, № 1). Упомянутая Щеголевым работа Рейнбота не появилась в печати.

С. 399—400. Во время выхода *книги Аммосова Данзас* был еще жив и не допустил бы, чтобы его имя значилось на фальшивке.

С. 403. получил накануне... Вот как рассказывал об этом П. И. Бартеневу А. О. Россет: „Когда появились анонимные письма, посылать их было очень удобно: в это время только что учреждена была городская почта. Князья Гагарин и Долгоруков посещали иногда братьев Россет, живших с Скалоном на Михайловской площади в доме Зенфтлебена. К. О. Россет получил анонимное письмо и по почерку стал догадываться, что это от них" (*П. в восп. 1974.* Т. 2. С. 316). Проверить подозрение он и отправился к Долгорукову и Гагарину.

С. 405. fashionables — от fashion — фешенебельное общество.

С. 405. „Мудрому достаточно" или „умный поймет" *(лат.).*

С. 407. После того, как Щеголев отвел подозрения в составлении анонимного пасквиля от *И. С. Гагарина,* появилась статья А. С. Бутурлина, подтверждающая его вывод (см.: Бутурлин А. С. Имел ли И. С. Гагарин отношение к пасквилю на А. С. Пушкина? — Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1969. Т. 28. Вып. 3).

С. 408. В *шутовском дипломе* поэту присуждали еще и звание „историографа ордена рогоносцев". Это была еще одна насмешка над Пушкиным (он недавно выпустил „Историю Пугачевского бунта" и работал над „Историей Петра I").

С. 410. Экспертиза А. А. Салькова в отношении почерка П. В. Долгорукова была оспорена в 1962 г. не специалистом-криминалистом, а историком Л. Вишневским (Вишневский Л. Петр Долгоруков и пасквиль на Пушкина//Сиб. огни. 1962. № 11. С. 157—176). Стараясь представить Долгорукова в 50—60-х гг. соратником Герцена и Огарева в борьбе с реакцией в России, Вишневский пытается доказать, что обвинение Долгорукова было „полицейской провокацией". В доказательство приводится отрывок из письма Долгорукова к Гагарину, написанного после выхода брошюры Аммосова с записью воспоминаний секунданта Пушкина Данзаса, где впервые в печати было заявлено о причастности Долгорукова и Гагарина к составлению пасквиля: „Русское правительство, — писал Долгоруков, — заплатило некоему Аммосову, офицеру в чине майора, чтобы он напечатал брошюру „Последние дни жизни А. С. Пушкина..."» (опубликовано М. И. Яшиным в журнале „Нева". 1966. № 3. С. 186). Строя свои выводы, Вишневский идет наперекор фактам, выражая сомнение, что брошюра Аммосова написана со слов Данзаса. Данзас в то время, когда вышла брошюра Аммосова, был жив и не допустил бы, чтобы его именем воспользовались без его ведома. Экспертизу А. А. Саль-

кова, уже с помощью специалиста-криминалиста, в 1966 г. попытался оспорить М. И. Яшин. Не отрицая участия Долгорукова, он предположил, что к пасквилю приложил руку и Гагарин, и передал на экспертизу росчерк под пасквилем и сделанную, очевидно, другой рукой надпись „Александру Сергеичу Пушкину“ на обороте диплома. Эксперт В. В. Томилин подтвердил мнение Яшина, что росчерк сделан рукой Гагарина, а надпись на обороте написана лакеем его отца Василием Завязкиным. Для сравнения надписи „Александру Сергеичу Пушкину“ с почерком Завязкина Томилин имел написанное Завязкиным деловое письмо (см.: Яшин М. К портрету духовного лица//Нева. 1966. № 2. С. 169—176). Экспертиза Томилина вызвала возражения другого эксперта, М. Г. Любарского, которые сводились к следующему: 1) росчерк под пасквилем неполный, имеет разрывы и не дает оснований даже для предположительного вывода о руке Гагарина; 2) деловое письмо Завязкина написано официальным почерком, в котором индивидуальность писавшего стерта, поэтому для окончательного вывода необходимо большее число документов. М. Г. Любарский высказал свои соображения на обсуждении статьи М. И. Яшина в Институте рус. литературы (Пушкинский дом) на заседании группы пушкиноведения 8 февраля 1966 г. (см.: Левкович Я. Л. Новые материалы для биографии Пушкина, опубликованные в 1963—1966 годах//*П. Исслед.* Т. 5. С. 377). Сам Яшин раньше находил „поразительное сходство“ почерка надписи на обороте диплома не с почерком лакея Гагарина Завязкина, а с почерком самого Гагарина (*Яшин. Хроника.* № 8. С. 174—175). Оба эксперта — Томилин и Любарский — не отрицали, что сам пасквиль написан рукою Долгорукова. Еще одна экспертиза была проведена киевским экспертом С. А. Ципенюком, который пришел к заключению, что „вывод эксперта А. А. Салькова об исполнении пасквильных „дипломов“ князем П. В. Долгоруковым нельзя признать правильным и научно обоснованным“ (Ципенюк С. А. Исследование анонимных писем, связанных с дуэлью А. С. Пушкина//Криминалистика и судеб. экспертиза. Киев, 1976. Вып. 12. С. 90). Тем не менее подозрения друзей Пушкина падали на Долгорукова. Следует учитывать, что из семи или восьми анонимных писем до нас дошли только два. Были ли все письма написаны одним человеком — мы не знаем, таким образом, вопрос о лицах, чьей рукой писались эти письма, вне зависимости от того, принимал ли в этом участие Долгоруков, не может быть решен окончательно. В такой шутке мог принять участие и Долгоруков и еще кто-нибудь из светских шалопаев. Но сами шутники были орудием в руках опытного врага поэта, наносящего ему смертельный удар. Для нас важно, что сам Пушкин считал виновным в составлении пасквиля Геккерна. Его убежденность была настолько велика, что он счел необходимым сообщить об этом правительству. Из письма его к Бенкендорфу от 21 ноября 1836 г. (см. наст. изд., с. 100) мы узнаем, что получив пасквиль, он сразу заподозрил Геккерна, потом „убедился“, что анонимное письмо исходило от него.

О П. В. Долгорукове см. главу „Долгоруковские бумаги“ в книге Н. Я. Эйдельмана „Герцен против самодержавия“ (М., 1973).

С. 414. Косолапый (*фр.*).

С. 416. Заметки о российских семействах (*фр.*).

С. 417. Правда о России (*фр.*).

С. 426. Что же вы хотите — этого требуют приличия (*фр.*).

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН[1]

[1] Указатель имен составлен В. В. Зайцевой. Курсивом даны отсылки к страницам комментариев.

Содержание